



РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА
В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ

Том VI

Книга 1

С. В. СМОЛЕНСКИЙ
И ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ПЕРЕПИСКА

С

С. Д. ШЕРЕМЕТЕВЫМ

И

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВЫМ



ЯЗЫК. СЕМИОТИКА. КУЛЬТУРА



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА
В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ

Том VI

Книга 1

С. В. СМОЛЕНСКИЙ
И ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ПЕРЕПИСКА

С

С. Д. ШЕРЕМЕТЕВЫМ

И

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВЫМ

Подготовка текста, вступительные статьи, комментарии

М. П. Рахманова

Научный консультант

А. А. Наумов



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР
Москва 2008

Р 89 Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VI. С. В. Смоленский и его корреспонденты: Переписка с С. Д. Шереметевым и К. П. Победоносцевым. Кн. 1 / Гос. ин-т искусствознания; Гос. центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки; Подгот. текста, вступит. ст. и коммент. М. П. Рахмановой. — М.: Языки славянских культур, 2008. — 828 с., ил. — (Язык. Семиотика. Культура).

ISSN 1727-1630

ISBN 978-5-9551-0257-3

В VI томе серии «Русская духовная музыка в документах и материалах» публикуется переписка С. В. Смоленского: в первой книге — с графом С. Д. Шереметевым и К. П. Победоносцевым; во второй книге — с С. С. Волковой и представителями художественного, музыкального и церковно-певческого мира.

Историко-культурная ценность переписки Смоленского исключительно велика, и круг его корреспондентов максимально широк: от мальчиков-учеников до высших лиц государства; столь же разнообразны темы, затрагиваемые в переписке с разными лицами.

Переписка с графом Шереметевым, человеком («государственных» интересов. — это, вероятно, наиболее идеологизированная переписка Смоленского, где он высказывается не только как деятель церковно-певческого искусства или искусства вообще, но и как мыслитель, как историк, как публицист. Переписка Смоленского с обер-прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым сохранилась не полностью, и эта неполнота не соответствует исключительно важной роли, которую сыграл Победоносцев в судьбе Смоленского. Однако имеются документы, которые позволяют восполнить пробелы: это прежде всего переписка Победоносцева с С. А. Рачинским, а также письма к Победоносцеву Н. И. Ильминского. Фрагменты этих материалов помещаются в Приложении к данному разделу, смонтированные так, чтобы стали ясны как роль обер-прокурора на протяжении почти всей «карьеры» Смоленского, так и многие важные моменты биографии Степана Васильевича, до сих пор мало освещенные.

В известном смысле публикуемые письма составляют ненаписанную «третью часть» воспоминаний Смоленского (см.: РДМ. Т. IV): первая часть — детство, молодость и работа в Казани, вторая — московское 12-летие и перевод в Петербург, третья должен был составить петербургский период. Привлекательнейшая черта как воспоминаний, так и писем — прекрасный язык и стиль, откровенность и экспрессивность высказывания.

В книге имеется ряд приложений как к отдельным перепискам, так и ко всему тому. Их задача — дополнить основной массив документов, расширить исторический контекст публикуемых писем, а также ввести в оборот неизвестные ранее тексты.

ББК 85.318

Содержание

Вступительная статья	7
----------------------------	---

Переписка с С. Д. Шереметевым

«Deus conservat omnia» (Вступительная статья)	25
Переписка	61
<i>Приложения:</i>	
1. Переписка С. В. Смоленского с Е. П. Шереметевой	617
2. Переписка С. Д. Шереметева с С. С. Волковой	620

Переписка с К. П. Победоносцевым

«...Возвращение русской музыки на путь церковный» (Вступительная статья)	637
Переписка	649
<i>Приложение:</i>	
Вокруг Смоленского: переписка разных лиц	691

Приложения к тому

1. «О мерах к улучшению церковного пения в России»	751
2. Общество любителей древней письменности (краткий хронограф)	772
3. «Проекты» С. В. Смоленского	793
4. С. В. Смоленский. Программа публичного курса лекций	803
5. «Дело о Регентском училище»	809

Вступительная статья

В шестом томе серии «Русская духовная музыка в документах и материалах» (РДМ) публикуется эпистолярное наследие Степана Васильевича Смоленского: в первой книге — переписка с С. Д. Шереметевым и К. П. Победоносцевым; во второй книге — с С. С. Волковой, а также протоиереем Дмитрием Разумовским, композитором С. И. Танеевым, исследователями А. В. Преображенским и священником В. М. Металловым. Предполагается также, что деятельность Смоленского будет отражена в следующих томах — публикацией его научного наследия (работы, печатавшиеся в периодике и сохранившиеся в архивах) и материалов экспедиции на Афон в 1906 г.

Прежде всего следует констатировать, что мы до сих пор не знакомы в сколько-нибудь полном объеме с научным наследием этого без сомнения крупнейшего русского ученого-медиевиста. Труды Смоленского, на которые эпизодически ссылаются исследователи, за очень малым исключением (одно из них — предыдущие тома РДМ) не переиздавались и остаются разбросанными по разным изданиям. Ситуация усугубляется тем, что Смоленский не оставил ни одной монографии, то есть не подвел итогов своей огромной и разносторонней деятельности. Некоторые важные его идеи излагаются не в научных статьях, а, например, в докладах на заседаниях Общества любителей древней письменности (ОЛДП) или в письмах к разным лицам, иногда в Дневниках. Многие из этого не опубликовано. Отсюда неотложность восстановления истинного объема научного наследия Смоленского, то есть современного, комментированного издания его трудов, переписки и прочих документов.

Особенностью Смоленского как деятеля было выдерживавшееся на протяжении всей его жизни сочетание задач практических и историко-теоретических: раздельно они для Смоленского никогда не существовали, как не существовало для него и жесткого разделения истории русской музыки на эпохи или на проблемы — он всегда занимался всем и сразу, хотя преимущественно, конечно, церковным пением. Отсюда проистекала незавершенность многих начинаний, ибо нельзя объять необъятное, но отсюда — и огромный качественный скачок, совершенный Смоленским в науке о русском церковном пении, в частности, полное преодоление им того противоречия, по поводу которого сетовал еще князь В. Ф. Одоевский: беда, говорил он, в том, что наши музыканты — не археологи, а археологи — не музыканты. Смоленский несомненно был и тем и другим в гармоничном соотношении.

Весьма благоприятным также было то обстоятельство, что как ученый и как практик — педагог, регент, музыкант (игравший на скрипке в любительских оркестрах и ансамблях) Смоленский сложился в Казани, в среде Казанского университета и Казанской духовной академии, которая переживала тогда большой расцвет. Окончив юридический (а впоследствии сдал экзамен и за

географический) факультет университета, он пришел педагогом в Учительскую инородческую семинарию, где работал много лет под руководством такого замечательного педагога и ученого, как Николай Иванович Ильминский (дядя Степана Васильевича по материнской линии). В связи с потребностями семинарии и собственными склонностями Смоленский начал работу с ученическим хором, певшим за богослужениями, и деятельность по приспособлению переводов богослужбных текстов на разные языки народов России, преимущественно Поволжья, к традиционному русскому церковному пению. Время службы в семинарии, с 1872 по 1889, то есть до сорокалетнего возраста, было для него очень счастливым и плодотворным. Первым научно-практическим результатом этих лет стал «Курс хорового церковного пения» (в цифровой нотации), который выдержал впоследствии целый ряд усовершенствований и переизданий. Тогда же, в 1876, автору «Курса» пришла в голову мысль при поездке в Москву познакомиться с автором единственного историко-теоретического курса по церковному пению, то есть с протоиереем Дмитрием Васильевичем Разумовским. Этот эпизод красочно описан в Воспоминаниях Смоленского (РДМ. Т. IV): казанский педагог не знал, для чего вообще нужны крюки, а почтенный протоиерей, разгневавшись, заявил: «Если не поешь по крюкам — пошел вон». Готовящаяся к печати (в следующей книге) замечательная переписка Разумовского со Смоленским, продолжавшаяся вплоть до кончины Дмитрия Васильевича, показывает, что Смоленский, к концу 1870-х уже взявшийся вместе с другими профессорами Казанской духовной академии за описание рукописей переданной в академию Соловецкой библиотеки, в середине 1870-х еще плохо понимал, что такое крюки и зачем они ему могут быть нужны.

Этот момент совпал с тем, что можно назвать мировоззренческим кризисом: в порыве патриотизма Смоленский даже собрался идти добровольцем на русско-турецкую войну, к генералу Михаилу Черняеву, но в конце концов остался в Казани и занялся прояснением собственных «русских начал». Это привело его к знакомству с казанскими старообрядцами, затем он попросился на выучку к местному уставщику общины белокрыницкого согласия и дошел в знании знаменного пения до такого уровня, что получил от старообрядцев приглашение «к нам в попы». Таким образом, изучение знаменного пения Смоленский начал на практике, по душевной потребности, одновременно занимаясь теорией — исследованием соловецких рукописей и готовя к печати так и не увидевшее света описание этих рукописей (в «Православном собеседнике» в 1887 было издано только предисловие — «Общий очерк исторического и музыкального значения певчих рукописей Соловецкой библиотеки...»; найдены также весьма многочисленные «снимки» с листов рукописей, выполненные Смоленским и его помощниками). Кстати, переписка Смоленского с Разумовским данного периода — удивительный памятник сотрудничества ученого старшего и ученого начинающего. О. Дмитрий со свойственным ему бескорыстием учит младшего коллегу, советуется, отвечает на многочисленные

вопросы, посылает в Казань певческие рукописи, иногда очень ценные. В итоге через несколько лет, к моменту начала работы над изданием «Азбуки старца Александра Мезенца» (то есть к 1886) — опять-таки по рукописи, полученной от знакомых старообрядцев, — Смоленский из человека, не знавшего, зачем нужны крюки, превратился в настоящего ученого-медиевиста, притом страстно убежденного в превосходстве крюковой системы записи церковных песнопений над любой другой.

Кроме описания соловецких рукописей и издания Азбуки Мезенца имелся еще один неосуществленный, но, кажется, вновь приобретающий актуальность в наши дни проект: издание полного певческого Круга на крюках, но с новыми редакциями богослужебных текстов. Этот проект подробно обсуждается в почти неопубликованной огромной переписке Смоленского с Сергеем Александровичем Рачинским, продолжавшейся с начала 1880-х до 1902. Дело в том, что вышедший в 1884—1885 под эгидой Общества любителей древней письменности крюковой Круг, составленный старообрядцем Иваном Аверьяновичем Фортовым под редакцией Разумовского, не удовлетворил даже старообрядцев разных согласий (в Круге излагается только «белокриницкая» редакция песнопений, и часто именно та, которая была принята в руководимом Фортовым так называемом Морозовском хоре). Тем более этот Круг не мог применяться в богослужении синодальной церкви, а Смоленский полагал возможной такую ситуацию и хотел способствовать ее возникновению изданием нового крюкового Круга. Довольно любопытна переписка Смоленского в начале 1890-х с Василием Михайловичем Металловым, тогда саратовским священником и педагогом местной семинарии, который занялся составлением собственной крюковой азбуки. Металлов стремился создать пособие, удобное для усвоения семинаристами и слушателями миссионерских курсов, которым предстояло «работать со старообрядцами» и следовало не ударить перед ними в грязь лицом в крюковом пении. Смоленский же шел прежде всего от художественного значения крюковой нотации со всеми ее тонкостями и нюансами. Это, с одной стороны, очень похоже на мнение о древних роспевах, высказанное в предшествующем поколении князем Одоевским, а с другой стороны, на то, как вникал в церковнославянские тексты главный казанский наставник Смоленского Николай Ильминский (см. фрагменты его писем в Приложении к переписке с К. П. Победоносцевым).

О знаменном пении как живом явлении идет речь в составленной Смоленским и Разумовским и даже принятой в 1886 на испытание программе по церковному пению для духовных учебных заведений — через два года программа была отменена, потому что некому было по ней преподавать. К Кругу должна была прилагаться и новая крюковая азбука, приуроченная к пониманию современного человека: ее проекты сохранились в архиве Смоленского, к ним он возвращался в последние годы жизни, но они так и остались проектами. Сейчас было бы уместно вернуться к подобным идеям в связи с тем, что в целом

ряде храмов России поют или пытаются петь по крюкам, и встают вопросы, что и как петь, по каким руководствам и как учить, нужно ли копировать приемы той или иной старообрядческой традиции или идти каким-то иным путем. На последний вопрос Смоленский, при всей своей пламенной любви к старообрядчеству как феномену русской народной жизни, отвечал: идти иным путем.

Далее, с 1889, в жизни Смоленского начался продолжавшийся 12 лет московский период, когда, стоя во главе Синодального училища и хора, он, казалось бы, не имел времени для больших научных работ, но когда была подготовлена столь обширная база для них, что эта база служит ученым и сейчас. Речь идет, конечно, о собрании древнепевческих рукописей Синодального училища, которое целиком — детище Смоленского. Что касается научного осмысления этого огромного моря материалов, то оно лишь в некоторой степени осуществлено в опубликованных не очень больших по объему работах: брошюре «Обзор Исторических концертов Синодального училища церковного пения в 1895 году» (см. первую книгу II тома РДМ), докладе в ОЛДП «О древнерусских певческих нотациях» (1901) и, конечно, в прекрасном очерке, напечатанном «Русской музыкальной газетой» в 1899 — «О собрании русских древнепевческих рукописей в Московском Синодальном училище церковного пения» (см. первую книгу II тома). Можно упомянуть в этой связи и опубликованные посмертно работы «О русской хоровой церковно-певческой литературе с половины XVI века до начала влияния приезжих итальянцев» и «Значение XVII века и его “кантов” и “псалмов” в области современного церковного пения так называемого “простого напева”», которые тоже основаны на рукописях Синодального училища. Однако это лишь вершины проделанной Смоленским работы: основную плоть ее составляли так называемые каталоги и «сравнительные изложения», о которых идет речь в статьях и в переписке Смоленского и судьба которых не вполне ясна.

В статье «О русской хоровой церковно-певческой литературе...», в письмах к Шереметеву и Волковой Смоленский упоминает составленные им тематические каталоги знаменных духовных стихов, нотных духовных стихов, многоголосных крюковых партитур, кантов и псалмов, концертов и служб Божиих (отдельно по каждому жанру и по количеству голосов в партитуре), хоровых трезвонов, малых многоголосных нотных композиций, а также тематические указатели по этим каталогам. Из нотных каталогов, составленных Смоленским, известны три, причем один из трех — «Систематический указатель библиотеки рукописей Синодального училища» — находится ныне в Историческом музее. Там же имеется огромный по объему том «Обиходы по рукописям Синодального училища»: инципитный каталог одногоголосных нотолинейных песнопений всех эпох, расписанный по служебным последованиям. Кроме того, в Историческом музее хранится несколько ненотных каталогов по разным жанрам, представленным в рукописях Синодального училища (Октоихи, Триоди и Минеи общие; Тропари, Седальны и полные Каноны праздников;

Ирмологи; Трезвоны, а также едва начатое описание Ирмологионов великих южно- и западнорусских). В РГИА в фонде Смоленского имеется нотный «Каталог русского пения в XVII и XVIII веках», который еще Н. Ф. Финдейзен, занявшийся архивом ученого сразу после его кончины, назвал «громадным и чудесным». Между тем, в письме Смоленского к С. С. Волковой от 28 августа 1905 (публикуется в следующей книге) речь идет о девяти томах:

...Считаю главною и самую желательною для себя работою именно каталогические и описательные рукописные обозрения. Эти работы, как Вы уже знаете, мною почти закончены в огромных 9 томах, и мне надо для них только некоторое улучшение моего материального положения и затем определенность пользования рукописями Синодального училища.

Тут же Смоленский поясняет состав томов:

Содержание этих каталогов (их 3 — одноголосных, 2 — четырехголосных и 2 многоголосных сочинений, 2 — духовных стихов) столь полно, что их можно было бы назвать не каталогами библиотеки Синодального училища, а вообще сводом всех композиций, найденных до сего времени.

Хранящийся в Москве каталог по Обиходу Смоленский неоднократно упоминает в своих письмах и Дневниках как работу почти законченную и очень для него дорогую. Что касается «Каталога русского пения...» из РГИА, то он в своих рубриках охватывает как раз всю тематику, изложенную в письме к Волковой как «почти законченную в огромных 9 томах». Собственно, каталог из РГИА делится на две части: как обозначает Смоленский, «нотную» и «нотную». Первая часть представляет собой перечисление композиций по рубрикам: 3-голосные концерты и Службы Божии; партесные сочинения на 8 голосов; 16- и 24-голосные сочинения; хоровые трезвоны; партитуры, составленные из отдельных партий; знаменные и демественные партитуры; знаменные духовные стихи; в конце — указатель авторов сочинений и переложений. Вторая часть каталога — инципитная, по рубрикам: одноголосные духовные стихи; 1- и 3-голосные светские песни; 4-голосные обиходные песнопения; оды, канты, псалмы; 8-голосные композиции и переложения; Службы Божии на 12 голосов; 12-голосные композиции и концерты; тематический указатель переложений Обихода и Праздников (для восстановления песнопений по сохранившимся партиям). В примечании к каталогу Смоленский поясняет, что он является копией каталога, начатого им в 1896 и оставленного в Синодальном училище. Встает естественный вопрос: а где «9 огромных томов»? Существовали ли они вообще? Были ли уничтожены во время «чистки» в фонде Смоленского в РГИА, которая имела место в 1949, когда было уничтожено около 10 килограммов разных материалов? В документах Смоленского речь идет и о способе

издания этих томов — а именно, литографическом. До литографирования дело не дошло, и похоже, что бесценный материал утрачен навсегда, хотя, возможно, что-то еще найдется в недоразобранных фондах ОЛДП в Российской национальной библиотеке, как нашлись совсем недавно считавшиеся утраченными материалы Афонской экспедиции Смоленского.

После двенадцати лет работы в Синодальном училище Смоленскому пришлось покинуть Москву, и последующие два с половиной года он был занят буквально с утра до ночи на посту управляющего Придворной певческой капеллой, которую летом 1903 опять-таки был вынужден покинуть. История отставки Смоленского и драматична, и печальна, в ней множество действующих лиц, включая императора Николая II и вдовствующую императрицу Марию Федоровну; эта история подробно освещается в публикуемых ниже переписках. Поскольку же прямым виновником увольнения Смоленского был начальник Капеллы граф Александр Дмитриевич Шереметев, а прямым инициатором назначения Степана Васильевича в Капеллу — сводный старший брат начальника, то, ощущая ответственность за судьбу своего протеже, Шереметев-старший, то есть председатель ОЛДП граф Сергей Дмитриевич, поселил Смоленского во флигеле своего дома на Фонтанке и назначил его руководителем одного из отделов Общества. Таким образом, первый раз в жизни Смоленский располагал свободным временем для научной деятельности. Правда, жить ему оставалось, считая от августа 1903-го, всего шесть лет, и на эти именно годы пришлось большая всероссийская смута, то есть первая русская революция, когда вся страна оказалась выбитой из колеи и научные занятия, конечно, шли плохо. Кроме того, последние два года своей жизни Смоленский, который не мог существовать без практической деятельности, в частности без преподавания, был поглощен организацией Регентского училища, проведением регентских съездов, созданием журнала по церковно-певческому делу и проч. Но все же именно в последние годы он часто думал о перспективах своей любимой науки, и это отражено прежде всего в письмах и Дневниках, хотя, конечно, и в самой крупной опубликованной работе этих лет — «О ближайших практических задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии» (1904). Важнейшие планы Смоленского были таковы:

1. Сводное издание всех вариантов русского обиходного пения как фундамента современного церковного пения вообще¹.

¹ Ответствием этого плана можно считать еще один неосуществленный проект, заявленный Смоленским на заседании ОЛДП в ноябре 1903: «...Очевидное сходство... мирских и церковных напевов дает новые основания науке музыкальной теории. Принимая во внимание сказанное, является очевидною надобность издания справочного музыкально-тематического словаря как руководительного указателя для будущих научных работ и композиторов» (подробнее см. в Приложениях к книге).

2. Издание хрестоматии православного церковного пения, преимущественно древних периодов, с сопоставлением византийских и русских источников.

3. Составление описаний и каталогов певческих рукописей: по собраниям, по периодам, по жанрам песнопений; особенно важными Смоленский считал «сравнительные изложения», когда бытование того или иного песнопения либо того или иного певческого жанра прослеживается по рукописям разных веков.

4. Исследование связей византийского и древнерусского пения, а также соотношения русского пения с пением других славянских церквей.

5. Издание древнерусских певчих азбук и прочих руководств.

6. Исследование древнерусского многоголосия.

7. Подготовка к печати курса, составленного по материалам лекций, читанных Смоленским сначала в Московской консерватории, затем в Петербургском университете, а также намеченного им цикла публичных лекций, который не состоялся ввиду событий 1905 года; из всех этих материалов должен был составиться обобщающий двухтомный труд.

Представляется, что, несмотря на несомненные успехи нашей музыкальной медиевистики в последние десятилетия, «программа Смоленского» еще далеко не выполнена. Сопоставляя же планы ученого с его опубликованными работами, получаем следующую картину:

1. Сводного издания вариантов русского обиходного пения не существует. Смоленский начал эту работу на материале нотолинейных Обиходов.

2. Работа над хрестоматией, проводившаяся Смоленским совместно с А. В. Преображенским (а сначала и с С. С. Волковой), была прервана устроенной ОАДП в 1906 научной экспедицией на Афон и ее результатами, существенно изменившими взгляды ученых на древние периоды русского церковного пения, а затем, с осени 1907, деятельностью обоих в созданном ими Регентском училище. Тем не менее планы хрестоматии и материалы к ней в некотором количестве имеются в архиве, они представлены и в публикуемых письмах. Можно заметить опять-таки, что подобной хрестоматии до сих пор не существует.

3. Ни одно из составленных Смоленским описаний рукописей (если не считать статьи «О собрании рукописей...», дающей общее представление о древлехранилище Синодального училища), ни одна из сравнительных таблиц, или, как говорил Смоленский, «сравнительных изложений» песнопений по жанрам и по хронологии, которые поглощали большую часть его рабочего времени в поздние годы, — не опубликованы, хотя эти труды представлены в архивных фондах Смоленского в достаточно полном объеме.

4. Что касается византийско-русских параллелей, то, судя по письмам, работа по предварительному описанию материалов, привезенных с этой целью

из научной экспедиции на Афон, была доведена до конца еще при жизни Смоленского. Он сделал на эту тему ряд докладов в ОЛДП, а уже после кончины Степана Васильевича А. В. Преображенский опубликовал несколько работ, опирающихся на материалы экспедиции. Частично «афонские находки» нашли отражение также в «Дорожных впечатлениях» Смоленского, опубликованных в «Русской музыкальной газете», в его отзыве на труд В. М. Металлова «Богослужбное пение Русской церкви. Период домонгольский». Еще один важный источник — «Афонский дневник» Смоленского — пока не опубликован. В его публикацию в серии «Русская духовная музыка...» планируется включить как полный текст Дневника, так и сопутствующие тексты и материалы (переписка Смоленского, Преображенского и других лиц), а кроме того, в максимально возможном количестве, фотографии — как помещенные в Дневнике снимки различных эпизодов самой экспедиции, так и образцы сделанных на Афоне и в библиотеках Вены и Софии копий с древних рукописей.

Исследования славянских роспевов, по-видимому, были только начаты Смоленским, и некоторым «промежуточным итогом» подобных изысканий можно считать опубликованную работу ученика Смоленского Анастаса Николаева «Старо-болгарское церковное пение» (1905).

5. Сразу после кончины Смоленского благодаря поддержке С. Д. Шереметева вышел в свет текст, над подготовкой которого к печати ученый трудился долгое время — «Музыкальная грамматика» Николая Дилецкого, в которой сам Смоленский считал наиболее важным не руководство Дилецкого, а большой раздел, написанный диаконом Иоанникием Кореневым. Другие проекты издания древнерусских певческих руководств не были осуществлены (кроме, конечно, «Азбуки старца Александра Мезенца»).

6. Упоминания о занятиях древнерусским многоголосием проходят через работы и письма разных лет, а также через Дневники. Здесь Степан Васильевич, по его собственным словам, сталкивался с недостатком времени и сил для работы, требующей исключительной сосредоточенности и спокойствия. Однако его сохраняющие научную ценность мысли по остро дискуссионному вопросу о ранних формах многоголосия могут быть отчасти восстановлены из писем и архивных материалов.

7. Фрагменты разных лекционных курсов Смоленского были опубликованы после его кончины в «Русской музыкальной газете» и «Хоровом и регентском деле», имеются и их программы, но полностью курс не печатался и в архивах не разыскан, хотя в письмах Смоленского к Волковой в 1907 идет речь даже о средствах на печатание подобной книги. Возможно, продолжение работы с архивными материалами позволит более полно восстановить концепцию курса Смоленского, хотя полной его версии нам, вероятно, уже не найти.

Конечно, планы Смоленского были таковы, что на них не могло хватить сил одного сколь угодно талантливого человека. Председатель ОЛДП

С. Д. Шереметев пытался осмыслить Общество, которое действительно вело большую и плодотворную издательскую и исследовательскую деятельность, как самостоятельную, до некоторой степени «альтернативную» по отношению к государственным структурам (например, к Св. Синоду) организацию. Смоленский соглашался с этим, но призыв графа к «объединению сил» в области церковно-певческой «повисал в воздухе»: в постоянных сотрудниках Смоленский мог числить только верного ученика и друга, в ту пору сотрудника Придворной капеллы, А. В. Преображенского; С. С. Волкова, успешно начавшая трудиться вместе со Смоленским, довольно скоро вынуждена была по семейным обстоятельствам оставить научную работу.

В публикуемых письмах Шереметева к Смоленскому нередко высказывается сожаление о том, что он «разбрасывается во все стороны»: граф имел в виду отвлечения Степана Васильевича в сферы инородческого вопроса, Регентского училища, регентских съездов и т. п. Смоленский «разбрасывался во все стороны» и на поле собственно научном: от византийских прототипов и кондакарного знамени до оценки новых духовно-музыкальных сочинений и постановки преподавания церковного пения в современных учебных заведениях. В этом была его слабость: он не успевал излагать свои мысли в законченных больших трудах, — но в этом заключалась и его сила. Накопивший массу знаний и обладавший замечательной исторической и художественной интуицией, Смоленский первым смог осмыслить русское церковное пение всех эпох как единство. Более всего его привлекали связи между разными явлениями, перетекания одного в другое: таковы, например, его предположения о связи кондакарного пения с ранним демеством, о переработке ранних партесных переложений в простой напев и т. д. Мысль ученого всегда останавливалась на переломных исторических моментах смены старого новым, и он всегда шел от самостоятельного изучения максимально широкого круга источников, преимущественно рукописных.

Примечательно, что чем дальше, тем больше Смоленский рассматривал свой огромный многолетний труд как некий подготовительный этап, период собирания и накопления материалов. Он неоднократно пишет об этом разным адресатам, но особенно сильно и даже с надрывом звучит данная тема в очень откровенном письме от 29 ноября 1907, обращенном к И. В. Липасву, старому знакомому Смоленского, который, затеяв журнал «Музыкальный труженик», попросил у Степана Васильевича биографические данные для статьи о нем:

Выставляю меня теперь как «занимающегося наукою» — какое заблуждение! Этой науки пока есть только едва занимающаяся заря! Этой науке еще нет даже и признания ее наукою! Я занят и буду заниматься остаток моих дней только *первою раскопкою поля для будущей науки*. Все мои последние 30 лет работы ушли на то, чтобы заставить понять представителей нашей официальной науки, что история церковного пения в России, история и расследование русской

народной песни должны быть введены (хоть бы «для желающих») в университеты и особенно в духовные академии. Но очевидная наличность материалов ныне уже подобранных не убеждает никого до соизволения признать мой предмет за «науку», — ее отрицают, ее прямо не пускают и на порог, даже и Археологического института. Поэтому все те догадки, все те умствования, которые наполняют мою голову под впечатлениями от массы материалов самых бесценных, — разве это наука? — нет, это пока просто расчистка поля, заросшего всяким бурьяном, это обхаживание на поле за всем тем, чем еще можно связать современное с нашим прошлым в деле предстоящего художественного самосознания и самоопределения, это просто чернорабочий труд ради будущей науки, которую когда-либо все-таки признают. В этом только смысле я и могу признать за собою хоть какую-нибудь цену, — я самый простой копатель канав для фундамента будущей науки, самый простой рабочий, начавший таскать камни, известь, воду, чтобы молодые работники начали кладку бута. Как тяжела эта работа, знает только моя сторбленная и ноющая спина, но кому какое дело до этого...²

Можно допустить, что эти строки написаны в минуту большой усталости (в это время Смоленский был занят с утра до ночи устройством занятий в только что открытом Регентском училище), но в них много правды. Та закономерность жизненного пути Смоленского, о которой пишет его любимая корреспондентка Софья Сергеевна Волкова в связи с увольнением Смоленского из Синодального училища и из Придворной капеллы: его «отставляли от дел в разгар его деятельности, в то самое время, когда бывали достигнуты изумительные успехи, когда он приближался к заветной цели в налаженном и любимом труде», — эта закономерность в известной мере обнаруживается и в научной деятельности Смоленского: ему не хватало времени для раскрытия своих идей.

Может быть поставлен вопрос: почему Смоленский, уже в 1902, как следует из публикуемых писем, предчувствовавший какой-то кризис в своей жизни («со мною что-нибудь случится» — потому и начал писать Воспоминания), а к 1907, как видно хотя бы из процитированного письма к Липаеву, ощущавший упадок сил, все же взялся за новый тяжелый и неблагодарный труд по созданию училища? почему он не посвятил остававшееся время целиком своей любимой науке? Ведь С. Д. Шереметев предупреждал его в сентябре 1907:

Что касается до устройства Регентского Училища, то Вы знаете, насколько я тому сочувствую; но признаюсь Вам, опасаясь для Вас разочарований! <...> Вы лично, по свойствам Вашей художественной природы, едва ли справитесь с житейскими мелочами, обычными, неизбежными в каждом деле. <...> Всего более опасаясь для Вас утомления и огорчений, все это может отразиться на другом, не менее нужном, как это часто бывает в жизни.

² РГАЛИ, ф. 795, оп. 1, № 34, л. 7—8.

Так и произошло, но вряд ли Смоленский сожалел о своем решении открыть училище, а равным образом — участвовать в создании нового журнала «Хоровое и регентское дело», в организации и проведении регентских съездов, в сборе средств на памятник духовным композиторам и проч. Очень усидчивый в архивной и кабинетной работе, не мысливший жизни без общения с рукописями, он в то же время не мыслил себя без «артельного труда», без педагогической, воспитательной, публицистической деятельности, наконец, без живого, звучащего церковного пения.

Уже говорилось, что импульсивный характер Смоленского побуждал его иной раз высказываться в письмах и Дневниках полнее и ярче, чем в предназначенных для печати работах, тоже великолепных по мысли и по стилю. Не написанные книги Смоленского нельзя, разумеется, восстановить, но *можно попытаться воссоздать его концепции, пользуясь всеми сохранившимися материалами.*

*

Жизнь и деятельность Степана Васильевича Смоленского подробно документированы в трех видах автобиографических источников: в Дневниках (которые Смоленский вел с молодости, но которые сохранились начиная с московского периода), в Воспоминаниях (РДМ. Т. IV) и в огромной и почти неизданной переписке, рассредоточенной по разным архивам Москвы и Петербурга (некоторые письма попали и в архивы других городов). Понятно, что эти источники связаны между собой и в конце концов освещают часто одни и те же события, но каждый источник имеет самостоятельное значение и каждый интересен по-своему.

Историко-культурная ценность переписки Смоленского исключительно велика, причем в его сохраненном эпистолярии, в основном систематизированном самим Степаном Васильевичем, материалы семейно-бытового характера занимают минимальное место. Круг же корреспондентов Смоленского максимально широк: от мальчиков-учеников до обер-прокурора Св. Синода и министров; столь же разнообразны темы, затрагиваемые в переписке с разными лицами.

В этом море интереснейших материалов отчетливо выделяются три очень большие по объему переписки: с С. А. Рачинским, С. С. Волковой и графом С. Д. Шереметевым. Первая из них, начинающаяся в 1883 и продолжающаяся до кончины Рачинского в 1902-м, относится к зрелым годам Смоленского; эта переписка нуждается в отдельном издании — как ввиду ее масштабов, так и ввиду диапазона тем, затрагиваемых в ней. Вторая и третья из названных переписок, начинаясь отдельными письмами, относящимися к московскому периоду деятельности Смоленского, набирают полную силу примерно к 1902, служа заменой «исповедального общения» с ушедшим из жизни Рачинским

(об этом неоднократно говорит в письмах сам Смоленский). Переписка с Рачинским была отчасти использована Смоленским при работе над Воспоминаниями. Переписки с Волковой и с Шереметевым не могли фигурировать в таком качестве (кроме, может быть, некоторых писем к Волковой лета 1902), поскольку Воспоминания доведены автором только до конца 1902 (последняя обобщающая запись — январь 1903), причем последние их главы совпадали с текущим временем и писались практически как дневник. Таким образом переписки с Волковой и Шереметевым освещают поздние годы Смоленского, не отраженные в Воспоминаниях, и даже те события, о которых рассказывается в Воспоминаниях, освещаются в письмах часто в иных ракурсах.

Все трое главных адресатов Смоленского были людьми одного — а именно, высшего дворянского — круга, причем Софья Сергеевна Волкова с юности знала Сергея Александровича Рачинского и переписывалась с ним (см. фрагменты этих писем в Приложении к переписке с К. П. Победоносцевым); с Сергеем Дмитриевичем Шереметевым Волкова не только переписывалась, но и состояла в родстве; Шереметев с Рачинским были близко знакомы и постоянно обменивались письмами. Несомненно все трое — люди выдающихся достоинств, ставившие в жизни серьезные задачи и пользовавшиеся полученными по праву рождения сословными привилегиями в благих целях. Все трое сыграли определяющую роль в жизни Смоленского как человека и как деятеля. Благодаря Рачинскому и его дружеским связям с Победоносцевым Смоленский, тогда преподаватель Казанской учительской семинарии, сначала получил субсидию на издание своего первого большого труда — «Курса хорового церковного пения», затем научных работ — описания певческих рукописей Соловецкого собрания Казанской духовной академии и «Азбуки Александра Мезенца», потом был назначен директором Синодального училища церковного пения; благодаря Рачинскому, а в особенности благодаря Шереметеву он был переведен в 1901 в Придворную певческую капеллу. После внезапного увольнения Смоленского из Капеллы Шереметев сделал все от него зависевшее, чтобы обеспечить Степану Васильевичу новое поле научной деятельности в рамках Общества любителей древней письменности, и тот же Шереметев вместе с Волковой пытались — тщетно — устроить для Смоленского постоянное «государственное поручение» (или, точнее, «поручение от государя», позже «поручение от Св. Синода») по специальности, то есть по исследованию певческих рукописей.

Публикуемые в данном томе (в двух книгах) переписки Смоленского с Волковой и Шереметевым, охватывая один и тот же период, отнюдь не дублируют, а взаимодополняют друг друга. Смоленский вообще был великим мастером эпистолярного жанра, весьма тонко чувствовавшим личность корреспондента, в особенности если речь шла о человеке, которого он высоко ценил. В данном случае его письма обращены также к представителям разных полов. Смоленский любил женское общество, отдавал должное чуткости и своеобраз-

зию женского восприятия. В Софье Сергеевне Волковой он нашел женщину умную, высокообразованную, твердую в своих убеждениях и одновременно сердечную и заботливую. Естественно, что переписка с Волковой, при всей ее насыщенности общественной, культурной, религиозной, художественной проблематикой, все же носит до некоторой степени лирический, эмоциональный характер: Степан Васильевич никогда не забывал, что обращается к даме. Переписка с графом Шереметевым, человеком «государственных» интересов, облеченным властью (в ту пору скорее властью неофициальной), конечно, иная по характеру — это, вероятно, наиболее идеологизированная переписка Смоленского, где он высказывается не только как деятель церковно-певческого искусства или искусства вообще, но и как мыслитель, как историк, как публицист. Именно Шереметеву Смоленский пишет о главных целях всей своей неустанной работы, и потому эта переписка — интереснейший документ в наследии Смоленского.

Переписки с Шереметевым и с Волковой (как и переписка с Рачинским) сохранились почти полностью; то же можно констатировать и в отношении переписок с Разумовским, Танеевым и Преображенским. Смоленский всегда внимательно хранил обращенную к нему корреспонденцию и систематизировал ее — обычно по адресатам, но иногда и по темам. Письма, телеграммы, открытки, визитки графа Сергея Дмитриевича, а также его брата Александра Дмитриевича Смоленский переплел в особый том, присоединив сюда документы других людей (в подлинниках или копиях), имеющие прямое отношение к основной переписке. В сущности, так же поступил и Шереметев, разделив обращенные к нему письма Смоленского на «папки», «подшивки» — две «подшивки» писем вообще и «подшивка» писем и других документов Смоленского и разных лиц, связанная с увольнением Степана Васильевича из Придворной капеллы; кроме того, довольно много писем Смоленского, наряду с посланиями других лиц, было помещено Шереметевым в серию папок, озаглавленных «Смутное время» и относящихся к периоду первой русской революции (для Шереметева это — не только 1905 и 1906, но и последующие годы, до начала Первой мировой войны). Что касается переписки с Волковой, то и эта корреспондентка бережно хранила письма Смоленского и другие его рукописи, несмотря на трудное время, совпавшее с закатом ее жизни (умерла в 1932).

Переписка с Константином Петровичем Победоносцевым значительно отличается от переписок с Шереметевым и Волковой по масштабам и по содержанию. С уверенностью можно утверждать, что объем этой переписки был значительно больше имеющегося сейчас, хотя, несомненно, сохранились главные документы, обозначающие основные вехи в творческом пути Смоленского. Явная неполнота данной переписки не соответствует исключительно важной роли, которую сыграл Победоносцев в судьбе Смоленского. Имеются документы, которые позволяют восполнить пробелы: это прежде всего

переписка Победоносцева с С. А. Рачинским, а также письма к Победоносцеву Н. И. Ильминского. Фрагменты этих и некоторых других материалов помещаются в Приложении к разделу переписки с Победоносцевым, смонтированные так, чтобы стали ясны как роль обер-прокурора на протяжении почти всей «карьеры» Смоленского, так и многие важные моменты биографии Степана Васильевича.

В известном смысле VI том РДМ представляет собой ненаписанную (хотя и задуманную) последнюю часть Воспоминаний Смоленского: первая часть — детство, молодость и работа в Казани, вторая — московское 12-летие и перевод в Петербург, последней частью должен был стать «петербургский период». Кроме того, переписка с Д. В. Разумовским дополняет те достаточно краткие фрагменты Воспоминаний, в которых Смоленский рассказывает о своем обращении к древнерусскому певческому искусству, переписка с С. И. Танеевым дает яркие штрихи к «московскому периоду», а переписка с ближайшим сотрудником и учеником — А. В. Преображенским, с одной стороны, освещает работу Смоленского в Синодальном училище, а с другой — касается главных событий последних лет деятельности ученого: Афонской экспедиции и создания Регентского училища в Петербурге.

Все письма Смоленского представляют собой великолепные образцы эпистолярного жанра, и нередко его корреспонденты тоже находятся в этом отношении на большой высоте. Особое значение, на наш взгляд, имеют письма последних лет жизни ученого. Именно в этих посланиях, адресованных близким по духу людям, в полной мере раскрывается личность Смоленского, и становится ясным, какого удивительного «калибра» был этот человек. И, разумеется, привлекательнейшая черта как Воспоминаний, так и писем — прекрасный язык и стиль, откровенность и экспрессивность высказывания.

* * *

Переписка Смоленского с С. Д. Шереметевым сосредоточена в двух архивных фондах: письма Смоленского — в фонде Шереметевых в РГАДА (ф. 1287, оп. 1, № 1581, 1582, 3933, 5063-5092), письма Шереметева — в фонде Шереметевых в РНБ (ф. 855, № 30). Отдельные письма обоих корреспондентов попали в другие хранилища: в частности, письма Шереметева имеются в составе специальной подшивки документов по поездке на Афон в фонде Смоленского в РГИА (ф. 1119), в его Дневниках (там же), в фонде Смоленского в ОПИ ГИМ (ф. 379, № 4) и т. д.

Переписка Смоленского с К. П. Победоносцевым сохранилась эпизодически и находится ныне в разных хранилищах (в Музейном собрании РГБ, в ОПИ ГИМ и др.).

Переписка с С. С. Волковой сосредоточена главным образом в РГИА (письма Волковой в фонде Смоленского — ф. 1119, № 128) и в РГАЛИ (письма

Смоленского в фонде Волковой — ф. 723, № 64, № 65); отдельные документы из других хранилищ и фондов обозначены в тексте.

Переписка Смоленского с Д. В. Разумовским сосредоточена в фонде Разумовского в РГБ (ф. 380, № 15 — письма Смоленского) и в фонде Смоленского в ОПИ ГИМ (ф. 379, № 4 — письма Разумовского).

Письма Танеева к Смоленскому в основном находятся в фонде Смоленского в РГИА (ф. 1119, № 168), а также в фонде Смоленского в ОПИ ГИМ (ф. 73). **Письма Смоленского к Танееву** хранятся в РГАЛИ (ф. 880, оп. 1, № 469) и в фонде Танеева в Государственном доме-музее П. И. Чайковского в Клину (в¹¹ № 1699-1710).

Переписка Смоленского с А. В. Преображенским находится в РГИА, в фондах Смоленского (ф. 1119, № 154 — письма Преображенского) и Преображенского (ф. 1109, № 107 — письма Смоленского).

Переписка Смоленского с В. М. Металловым находится в РГИА (ф. 1119, № 52 — письма Металлова) и в РГБ (М 10794, № 36 — письма Смоленского).

Публикация каждой переписки предваряется вступительной статьей, в которой излагается история отношений Смоленского с данным лицом, характеризуется значение данной переписки и проч. Довольно много писем разных лиц помещено в комментариях к перепискам; в особенности это касается переписки с Шереметевым: здесь подобный принцип заложен самими корреспондентами, которые, как уже говорилось, создавали «подшивки», куда собирали не только основные, но и сопутствующие документы. В ряде случаев такие включения позволяют расширить или уточнить комментарий.

В письмах раскрываются все сокращения, по возможности устанавливаются датировки. Текст приближен к современной орфографии и пунктуации, с сохранением некоторых характерных особенностей стиля корреспондентов. Ввиду очень большого объема настоящего тома в комментариях к письмам постоянно даются отсылки к другим томам серии «Русская духовная музыка...»; при цитировании неопубликованных Дневников Смоленского, находящихся в РГИА (ф. 1119, № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12), указывается только номер Дневника и лист, на котором находится цитата.

В обеих книгах тома имеется ряд приложений, как к отдельным перепискам, так и к книгам в целом. Задача таких приложений — дополнить основной массив документов, углубить исторический контекст, а также ввести в оборот неизвестные ранее тексты.

Так, в **первой книге** Приложение к переписке Смоленского с Шереметевым включает переписку Смоленского с супругой графа Е. П. Шереметевой и переписку С. Д. Шереметева с С. С. Волковой, целиком посвященную Смоленскому. О Приложении к переписке с К. П. Победоносцевым сказано выше. Приложение к книге в целом содержит следующие разделы:

«О мерах к улучшению церковного пения в России» (документы, составленные М. А. Балакиревым, Т. И. Филипповым, К. П. Победоносцевым, С. Д. Шереметевым), «Общество любителей древней письменности (краткий хронограф)», «Проекты Смоленского», «Программа публичного курса лекций», «Дело о Регентском училище».

Во второй книге Приложением к переписке Смоленского с С. С. Волковой являются: ее статья, написанная под руководством Степана Васильевича, ее неоконченное предисловие к Воспоминаниям Смоленского и письмо к Волковой супруги Смоленского. В Приложениях к этой книге предполагается поместить ряд писем к Смоленскому деятелей художественного, музыкального и церковно-певческого мира, в частности, Н. И. Компанейского, Л. А. Саккетти, Уильяма Джона (Ивана Васильевича) Биркбека, священника Д. В. Аллеманова.

Марина Рахманова

Переписка с С. Д. Шереметевым



Deus conservat omnia
(«Бог сохраняет все» — надпись на гербе рода Шереметевых)

Личность графа Сергея (или Сергия, как подписывался он сам и как именуется его Смоленский) Дмитриевича Шереметева (1844—1918) представляет немалый интерес. Потомок знатнейшего и богатейшего древнего рода, Сергей Дмитриевич был праправнуком знаменитого генерал-фельдмаршала петровских времен, рыцаря Мальтийского ордена, первого российского графа Бориса Петровича Шереметева, внуком основателя Странноприимного дома в Москве и создателя Останкинского театра Николая Петровича Шереметева, сыном известного мецената Дмитрия Николаевича Шереметева (и его дальней родственницы Анны Сергеевны, носившей в девичестве ту же фамилию — другая линия от фельдмаршала Бориса Петровича), а также — внуком прославленной крепостной актрисы и певицы Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой. К концу XIX — началу XX века граф С. Д. Шереметев, практически ровесник Смоленского, являлся полновластным главой всего шереметевского «гнезда», и прежде всего собственной семьи, включавшей семерых уже взрослых детей — пятерых сыновей и двоих дочерей, а также многочисленных внуков.

Разнообразные звания графа Шереметева с трудом поддаются перечислению, хотя к обозначенному времени он официально являлся только членом Государственного совета (с 1900) и имел придворное звание обер-егермейстера (с 1904). В молодости Сергей Дмитриевич был личным адъютантом и личным другом цесаревича Александра Александровича, впоследствии императора Александра III, потом его флигель-адъютантом. В 1885—1889 граф являлся московским губернским предводителем дворянства и одновременно, с 1883 по 1894 — начальником Придворной певческой капеллы. Перечень ученых и благотворительных обществ, академий и братств, в которых он состоял, присвоенных ему наград занимает не одну страницу. Главными для него самого являлись два общества, которые он основал и которыми руководил — Общество любителей древней письменности (основано по инициативе и совместно с князем П. П. Вяземским; устав утвержден в 1877; после кончины Вяземского в 1888 Шереметев — бессменный председатель до 1917) и Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III (основано в 1895, бессменный председатель до 1917). Для нашей темы имеет значение также деятельность Шереметева как организатора и руководителя Комитета попечительства о русской иконописи (председатель с 1901).

Главным делом своей жизни граф Шереметев считал восстановление дворянских усадеб и старых городских дворянских домов как культурных центров; его можно назвать идеологом культурно-исторической миссии рус-

ского дворянства, которую он не только неустанно проповедовал, но и осуществлял на деле. Женившись в 1868 на княжне Екатерине Павловне Вяземской, внучке поэта Петра Андреевича Вяземского, он сохранил и привел в образцовый порядок знаменитую усадьбу Вяземских Остафьево, издал хранившиеся там ценные документы и основал музей¹. Он выкупил в 1870 когда-то принадлежавшую Шереметевым (по линии матери Сергея Дмитриевича) усадьбу Михайловское в Подольском уезде Московской губернии, восстановил там дом и храм во имя архангела Михаила, создал превосходно организованное хозяйство, включавшее, наряду с образцовыми садами, питомниками, рыбоводческими, птицеводческими, лесоводческими и прочими учреждениями, также книгохранилище, школу, ясли, родильный приют, больницу и естественно-научный музей, находившийся на попечении Е. П. Шереметевой.

¹ Дом в усадьбе Остафьево был построен в 1806 отцом поэта Петра Андреевича Вяземского. Позже здесь бывало множество выдающихся людей, и в их числе Жуковский, Пушкин, Баратынский, Грибоедов, Мицкевич. Н. М. Карамзин, женатый на сводной сестре Петра Андреевича, работал в Остафьево над «Историей Государства Российского». В имении было собрано множество ценных коллекций, сложился большой рукописный архив.

Для С. Д. Шереметева Остафьево было средоточием славных преданий. В церкви имения он в 1868 году венчался с Екатериной Вяземской. Впоследствии усадьба перешла к нему по наследству. В 1899 здесь был открыт общедоступный музей (о его интерьерах можно судить, в частности, по многочисленным открыткам, изданным графом), в 1903 усадьба была объявлена заповедником. Попечением Шереметева в парке были поставлены памятники Пушкину, Жуковскому, Вяземскому.

Сергей Дмитриевич, который в молодости жил в Остафьево, позже, сделав основной своей резиденцией усадьбу Михайловское, регулярно посещал Остафьево, вкладывал средства в поддержание его музейного статуса. По его инициативе и с его участием вышел в свет ряд связанных с Остафьево изданий: «Остафьевский архив князей Вяземских» в 5-ти томах, собрание сочинений П. А. Вяземского в 12-ти томах, «Архив А. И. Вяземского», «Описание рукописей П. П. Вяземского» и т. д.

Остафьево некоторое время сохраняло музейный статус после событий 1917 года. До своей кончины в 1929 здесь продолжала жить Екатерина Павловна Шереметева (похоронена в усадьбе) и один из сыновей графа — Петр Сергеевич, являвшийся хранителем музея. В 1930 музей был ликвидирован, коллекции в значительной степени утрачены, и восстановление Остафьево началось лишь в 1990-х годах.

Огромный Остафьевский архив был вывезен отсюда еще Сергеем Дмитриевичем (в Михайловское — для работы с документами), после 1918 он был перемещен в главную московскую резиденцию Шереметевых — Воздвиженский дом, где в январе 1919 было устроено Хранилище частных архивов (впоследствии Государственный архив феодально-крепостнической эпохи; ныне — РГАДА). В 1941 Остафьевский архив был передан в РГАЛИ.

В Михайловском у Сергея Дмитриевича неоднократно бывал и Смоленский. Что касается двух исконных подмосковных усадеб Шереметевых — Останкино и Кусково, то первая из них в описываемое время находилась в собственности младшего брата Сергея Дмитриевича (о нем — далее), а Кусково, которое было запущено в первой половине XIX века, после смерти Прасковьи Шереметевой, начало возобновляться по настоянию матери Сергея Дмитриевича Анны Сергеевны, и в дальнейшем, поддерживаемое в должном порядке, служило местом сбора — в определенные дни — всего рода Шереметевых². По случаю замужества дочерей Сергей Дмитриевич приобрел им в приданое и отреставрировал еще две исторические подмосковные усадьбы — Вороново и Введенское. Им же был возрожден Фонтанный дом Шереметевых в Петербурге и Воздвиженский наугольный дом в Москве. Активная деятельность развивалась и в других имениях Шереметевых, разбросанных по всей России, от Иваново-Вознесенска до Карданахи в Крыму. С. Д. Шереметев писал о старинных усадьбах:

Пока еще уцелели эти уголки и связанные с ними предания, еще жива наша Русь — самостоятельная, необезличенная, верная своему историческому прошлому! Вот почему я каждой благоустроенной усадьбе, помимо ее семейного, воспитательного значения, придаю и государственное...³

Затем Сергей Дмитриевич постоянно и профессионально работал как историк и одновременно собиратель разного рода материалов, связанных с историей России. Его перу принадлежит, по примерным подсчетам, около полутора сотен отдельно изданных книг и брошюр и примерно столько же публикаций в периодике; во многих изданиях он участвовал как их инициатор и меценат: таковы, кроме упомянутых выше (связанных с Остафьево), исследование А. П. Барсукова «Род Шереметевых» в 8-ми томах, «Творения Иннокентия, митрополита Московского» в 3-х томах, сочинения Б. Н. Алмазова

² Прочитируем воспоминания княгини Л. Л. Васильчиковой, относящиеся к первому десятилетию XX века: «Самым ярким примером [московского] баснословного гостеприимства была резиденция графа Сергея Дмитриевича Шереметева, где бы она ни находилась в зависимости от времени года. <...> Поскольку Кусково находилось недалеко от Москвы, то летом его осаждали толпы туристов. Таким образом, семья Шереметевых могла останавливаться там только поздней осенью... В определенный день в году родственники приезжали из Санкт-Петербурга в Москву, а на следующий день из Москвы в Кусково. И так годы напролет. И ни погода, ни личные капризы — ничто не могло нарушить установившейся традиции» (Васильчикова Л. Л. Мимолетное. Из воспоминаний о Москве // Московский альбом. М., 1997. С. 310—311).

³ Цит. по: Шереметевы в судьбе России. Воспоминания. Дневники. Письма. М., 2003. С. 18. Далее сокращенно — Шереметевы.

(поэта, родственника Шереметевых) в 3-х томах, «Михайловский архив Шереметевых» и т. д., в том числе издание духовно-музыкальных произведений Г. Я. Ломакина, регента Шереметевской капеллы. Авторские публикации Шереметева освещают множество тем из прошлого России, основные — история Смутного времени и история дворянских усадеб. Трудоспособность графа была поистине изумительной, и слогом он владел прекрасно, что доказывают как опубликованные его труды, так и изданные лишь недавно Воспоминания и неизданные дневники и письма⁴. Смоленский всегда восхищался усердием, проявляемым Шереметевым в работе, и его начитанностью, особенно в русской истории.

* * *

Уже упоминалось, что С. Д. Шереметев стоял во главе двух обществ исторического характера — Общества любителей древней письменности и Общества ревнителей русского исторического просвещения.

История Общества любителей древней письменности еще не написана, хотя работало оно очень плодотворно на протяжении сорока лет, список выпущенных им публикаций весьма велик, а в перечне постоянных членов представлены многие корифеи отечественной науки — филологи, лингвисты, историки и проч. Основанное по мысли тестя С. Д. Шереметева — князя Павла Петровича Вяземского в год начала русско-турецкой войны (1877), ОЛДП было задумано как вполне демократическая организация. В 1891, накануне 15-летия Общества, Шереметев писал:

Чуждое всякой исключительности, Общество особенно дорожит и почитает высокой честью иметь в своей среде людей науки во всеоружии знания и талантов, подвигом добрым подвигающихся на пользу отечественного просвещения; но оно равно доступно для простых любителей, которые дорожат своим прошлым и желают принести ему посильную пользу в пределах, им доступных⁵.

⁴ В самые последние годы (2005—2006) за ранее опубликованной первой книгой воспоминаний Шереметева (М., 2001) последовали еще две книги, основанные на его работах разных жанров: «Мемуары графа С. Д. Шереметева». Т. 2 (М., 2005) и «Мемуары графа С. Д. Шереметева». Т. 3 (М., 2005). Все они вышли в одном издательстве («Индрик»), подготовлены одним исследователем (Л. И. Шохиним) и пронумерованы последовательно, как серийное издание мемуарного типа. Тот же автор подготовил и отдельные публикации из дневников и писем; см., например: Шохин Л. И. С. Д. Шереметев-историк в своих дневниковых записях // Археографический ежегодник на 1994 год. М., 1996.

⁵ С[ергий] Д[митриевич] Ш[ереметев]. Основание ОЛДП. СПб., 1891. С. 4.

В Приложении к тому читатель найдет Устав ОЛДП, где в первом параграфе цель Общества формулируется как «издание славяно-русских рукописей, замечательных в литературном, научном, художественном или бытовом отношении, и перепечатка книг, сделавшихся библиографической редкостью, без исправлений». На самом деле ОЛДП издавало и всякого рода новые научные труды, в частности, в серии «Памятники древней письменности и искусства» вышли две центральные работы Смоленского: «О древнерусских певческих нотациях» (1901) и «О ближайших практических задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии» (1904). Став в 1901 членом-корреспондентом ОЛДП, а в 1903 заведующим 2-м отделом, в круг занятий которого входила «разработка вопросов по старинной русской музыке», Смоленский постоянно принимал участие и в общих собраниях, и в заседаниях Комитета Общества, где встречался со многими известными учеными; некоторые из них стали его хорошими знакомыми и собеседниками. В ситуации, когда в музыкальной среде Петербурга Степан Васильевич не обрел близких людей, в среде ОЛДП он получал значительную поддержку собственным научным идеям.

В Уставе Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, утвержденного 14 октября 1895, говорится:

1. Общество... учреждается в память Императора Александра III с целью умножения и распространения знаний по отечественной истории в духе русских начал, проявленных в славное царствование в Бозе почившего Государя.

2. Для достижения указанной цели Обществу предоставляется:

а) собирать и обрабатывать сведения о царствования Императора Александра III;

б) издавать периодические и другие сочинения и сборники по русской истории и соприкасающимся с нею отделам истории всеобщей, а также по церковным, правовым и бытовым вопросам;

в) на основании действующих законоположений учреждать книгохранилища и читальни, а также снабжать существующие книгохранилища, читальни, учебные заведения и народные школы как своими, так и другими изданиями, признанными Обществом отвечающими его цели.

В списке членов-учредителей этого Общества (всего 12 человек — наверняка неслучайное число) значатся известные имена: поэтов А. А. Голынцева-Кутузова и А. Н. Майкова, историка и этнографа академика Л. Н. Майкова, князя С. Д. Горчакова, историка К. Н. Бестужева-Рюмина, будущего министра внутренних дел Д. С. Сипягина и проч. Общество ревнителей, как и другие организации, состоявшие под попечительством Шереметева, работало исправно: проводило собрания, в том числе ежегодные

февральские в память Александра III, для музыкальной части которых Смоленский, а потом А. В. Преображенский подбирали репертуар и исполнителей и на которых, в частности, исполнялась «Панихида на темы из древних роспевов для хора мужских голосов» Смоленского; издавало литературу исторического характера для народных библиотек и для общего чтения. Общество ревнителей имело свой «орган для периодического обнародования собираемых им исторических материалов» — альманах «Старина и новизна» (название, заимствованное из периодики XVIII века). Всего до 1917 вышло 22 книги; в них регулярно публиковались исторические работы самого Сергея Дмитриевича; он же возглавлял редколлегия (комиссию по изданию). В изданиях Общества ревнителей напечатаны две работы Смоленского: упомянутая выше Панихида (1905) и полемический очерк «В защиту просвещения восточно-русских инородцев по системе Ник. Ив. Ильминского» (1905).

Другой, более практический характер, нежели основанные Шереметевым общества, носил учрежденный под его председательством в 1901 Комитет попечительства о русской иконописи. Инициатива создания подобного учреждения принадлежала крупнейшему специалисту той эпохи по русской иконописи академику Н. П. Кондакову, который стал «непременным членом — управляющим делами Комитета». Непосредственным же поводом явилось прошение на имя императора, поданное в 1900 мастерами-иконописцами Вязниковского уезда Владимирской губернии, то есть Мстеры, Холуя и Палеха. В прошении указывалось, что шесть тысяч иконописцев и около трех тысяч обитателей тех мест, занимающихся распространением традиционной, основанной на древних заветах иконописи, обеспокоены потоком подделок и в особенности печатных, «машинных» икон (на жести и на бумаге), с дешевой владимирские иконописцы не в состоянии конкурировать. В прошении напоминалось также, что еще в 1898 жители владимирских сел обращались в Св. Синод, ходатайствуя о запрещении продажи печатных икон в лаврах, монастырях и церквях, на что получили ответ, что «заботы об экономическом благосостоянии народа не входят в задачи Св. Синода и что в канонах церкви он не находит прямого запрещения изготовлять иконы из жести»⁶.

Хотя и в титулах обоих вышеупомянутых обществ присутствовало определение «императорское», Комитет по иконописи не только носил титул, но реально состоял под непосредственным покровительством Николая II. Как пишет современный исследователь, «вся эта концепция [возрождения иконописи] сложилась... в узком элитарном кругу, в который входили

⁶ Высочайше учрежденный Комитет попечительства о русской иконописи и его задачи. СПб., 1901. С. 8—9.

видные деятели науки и культуры: председатель ОЛДП граф С. Д. Шереметев, известный византист, академик Н. П. Кондаков, вице-президент Академии художеств И. И. Толстой, В. П. Безобразов, А. Н. Бенуа, Л. Н. Майков и другие, а также члены императорской фамилии — великие князья Константин Константинович и Сергей Александрович... наконец, сам Николай II»⁷. Накануне учреждения Комитета Кондаков и Шереметев вместе с членом Владимирской ученой архивной комиссии и хранителем местного церковного музея (и затем секретарем Комитета попечительства) В. Т. Георгиевским (это имя еще будет упоминаться в настоящем томе) совершили поездку по владимирским селам и познакомились лично с мастерами и современным положением промысла.

В Положении о Комитете его задачи определялись следующим образом:

Изыскание мер к обеспечению благосостояния и дальнейшего развития русской иконописи; сохранение в ней плодотворного влияния художественных образцов русской старины и византийской древности; содействие иконописи в достижении художественного совершенства и установление деятельных связей ее с религиозной живописью в России вообще и церковною живописью в частности.

Для чего Комитету предоставлялось право:

Открывать иконописные школы в иконописных селам Владимирской губернии, а впоследствии, по мере потребности, и в других местностях России и заведовать этими школами;

содействовать устройству, при школах и вне их, артелей иконописцев, работающих по стенным росписям, для исполнения епархиальных, правительственных и общественных заказов по росписи православных церквей и соборов;

издавать руководства и пособия для иконописцев и лицевой иконописный подлинник...

открывать иконные лавки в городах для торговли лучшими произведениями иконной промышленности, организовывать иконописные и подобные им художественные выставки, устраивать иконописные музеи и собрания.

За период с 1901 до 1913 (канун Первой мировой войны) Комитет издал огромный том лицевого подлинника «Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (СПб., 1905, под руководством Кондакова и с его текстами) и два тома «Иконография Богоматери» (СПб., 1914 и 1915); выходили и другие издания, в том числе четыре выпуска «Иконописного сборника»,

⁷ Тарасов О. Ю. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. М., 1995. С. 236.

подготовленный Георгиевским альбом «Фрески Ферапонтова монастыря», один выпуск «Материалов по иконографии». Уже в 1902 были открыты учебно-иконописные мастерские во владимирских селах и в селе Борисовка Курской губернии (имение Шереметевых). В Петербурге на Надеждинской улице работал магазин, где продавали иконы как выпускников мастерских Общества, так и других владимирских мастеров, принимали заказы на иконопись в традиционном стиле.

Несомненно, пользовавшиеся государственной поддержкой образцовые школы-мастерские Комитета, с их обширной программой обучения, не просто оживили старинный промысел, но и проложили ему пути в будущее. И если сегодня в Палехе возрождается иконопись, то во многом благодаря опыту, сохраненному после 1917 мастерами, обучавшимися в школах Комитета.

Деятельность Комитета по иконописи важна для освещения нашей темы в связи с тем, что, как можно судить по публикуемым в томе материалам, С. Д. Шереметев стремился устроить нечто подобное и в области «параллельной» иконописи — возрождения национальных традиций в церковном пении. Именно потому он добивался сначала назначения Смоленского в Придворную капеллу, а потом государственной поддержки для деятельности Смоленского по выявлению и описанию певчих рукописей. Хронологически хлопоты по назначению Степана Васильевича в Капеллу совпадают с учреждением Комитета, и явно в сознании графа это были части одного дела. Когда Смоленский был изгнан из Капеллы и не получил поддержки от государя, центром певческого возрождения Шереметев решил сделать 2-й отдел ОЛДП. Различие двух «проектов», в числе прочего, состояло в том, что вокруг иконописного дела сразу сплотилось много сил, а вокруг певческого такого объединения не возникло. Наверное, если бы «певческий проект» развивался в Москве, на фундаменте Синодального училища с его великолепным рукописным собранием и опытными педагогами, он был бы успешнее, но все равно был бы погублен событиями 1917 года, после которых Общество ревнителей, разумеется, было закрыто сразу же, а ОЛДП и Комитет по иконописи еще некоторое время пытались существовать под другими названиями.

* * *

Человек безусловно очень умный, одаренный, образованный, ответственный, Сергей Дмитриевич был однако личностью сложной, и характер его нередко ставил в тупик даже близких родственников. Племянник графа Владимир Мусин-Пушкин писал:

Граф Сергей Дмитриевич при своем тонком уме и образованности был большой чудак с очень трудным нравом как для себя, так и для окружающих.

Но как бы там ни было, тот же мемуарист признает, что его дядя был «крупным деятелем в развитии русской национальной культуры, и за это ему можно было простить личные его недостатки»⁸.

Именно так и поступал Смоленский, сталкиваясь (далеко не часто) с «неудовольствиями» Сергея Дмитриевича.

Трудный характер отчасти перешел к нему по наследству — как свидетельствуют мемуаристы, «у Шереметевых в характере вообще была какая-то мечтательность, меланхоличность, часто находила на них тоска...»⁹, а отчасти был обусловлен обстановкой, в которой прошли его детство и юность. Мать Сергея Дмитриевича — талантливая, просвещенная женщина, одна из первых красавиц своей эпохи, горячо любимая мужем — скончалась внезапно в фамильной усадьбе Кусково (11 июня 1849), когда ее единственному сыну Сергею было всего пять лет (старший сын Николай умер в раннем детстве). В связи со смертью Анны Сергеевны долго ходили слухи об отравлении, которые, впрочем, сам Сергей Дмитриевич отнюдь не подтверждал¹⁰. Дмитрий Николаевич Шереметев после смерти жены вел уединенную и несколько странную жизнь, находя утешение только в музыке и особенно в церковном пении: именно к этому периоду относится расцвет домашней капеллы графа, которой руководил Гавриил Ломакин¹¹. В 1857 граф вступил во второй брак с Александрой Григорьевной Мельниковой, в 1859 родился его второй сын Александр. Брак не был счастливым и рассматривался как мезальянс, отношения Сергея Дмитриевича с мачехой были далеки от близости, хотя отца он горячо любил и почитал. Граф Дмитрий Николаевич скоропостижно скончался в Кускове в сентябре 1871. Возникло сложное дело о разделе наследства. По рассказам родственников, вторая семья Дмитрия Николаевича еще при его жизни предприняла попытку составления такого завещания, по которому главная часть шереметевских богатств доставалась Александру. Эта попытка была пресечена, но все равно младший сын получил по завещанию не меньше, а больше старшего. Правда, Сергей Дмитриевич и своим браком, и своей хозяйственной деятельностью сумел сохранить и значительно приумножить полученное. Пока шел в течение нескольких лет раздел имущества, скончалась графиня Александра Григорьевна и Сергей стал опекуном младшего брата.

Отношения между братьями Шереметевыми — интересная тема, имеющая непосредственное отношение к судьбе Смоленского и отразившаяся, в частности, в его переписке с Сергеем Дмитриевичем.

⁸ Шереметевы. С. 241.

⁹ Шереметевы. С. 150.

¹⁰ См.: С. Д. Ш. Графиня Анна Сергеевна Шереметева. СПб., 1889.

¹¹ См. об этом подробнее в «Автобиографических записках» Г. Я. Ломакина («Русская старина», 1886, № 3, 5, 6, 8).

В РГАДА сохранилась подборка писем Александра Шереметева к брату с середины 1870-х до 1900¹². Из них следует, что в годы детства и юности Александра Сергей проявлял большую заботу о его воспитании и образовании, младший брат нередко жил в семье старшего. Как говорится в письме, написанном Александром в связи с достижением совершеннолетия (в 1880):

Не далеко то прошлое, когда, после смерти моей матери, ты принял меня под свое руководство, и потому свежо мне в памяти, с какою заботливостью ты отнесся к моему умственному и нравственному развитию, действуя на меня как личным примером, так и выбором достойных наставников. Эти добрые влияния внушили мне привычку к труду, уяснили понятия об обязанностях человека и вывели меня на ту дорогу, по которой я теперь иду и продолжать идти по которой для меня уже нетрудно. С другой стороны твоими попечениями и руководительством материальные дела мои поставлены в самое благоприятное положение...¹³

Однако последующие письма показывают, что жизненные пути братьев, их интересы и занятия сильно разошлись. Например, в письме Александра от 23 октября 1886 по поводу дел, связанных с именем Вороново Подольского уезда, читаем: «...Какое мне дело до подольского земства! Я человек от головы до пят военный и потому занимаюсь в свободное от дел время военными науками...» (никаких трудов по «военным наукам» А. Д. Шереметев не оставил)¹⁴. В письме от 3 декабря 1887 по поводу переизбрания в действительные члены Общества любителей древней письменности, куда Александр Дмитриевич был записан старшим братом с момента основания Общества (то есть десять лет назад), говорится прямо:

Любезный Сережа, в том, что я всегда готов сделать тебе приятное, ты сомневаться не можешь, но посуди сам: было ли бы, по меньшей мере с моей стороны, порядочно согласиться на принятие звания члена Императорского общества Любителей древней письменности, когда я не чувствую никакого влечения к этому делу¹⁵.

И напротив, с энтузиазмом Александр воспринимал свое членство в такой аристократической организации, как Общество ревнителей русского исторического просвещения:

...Я близко принимаю к сердцу все, что касается созданного тобою Общества, в котором сосредоточиваются все истинно русские люди, поставившие

¹² РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1941.

¹³ Там же, л. 28.

¹⁴ Там же, л. 85.

себе задачей высоко держать знамя Православия и Самодержавия: этих двух красугольных камней, на которых держится Русь и без которых она существовать не может. Да поможет нам Бог в поставленной тобою великой задаче и да расточатся все враги и супостаты, стремящиеся подкопаться под священные основы нашего государственного строя, основы, завещанные нам Богом, ибо «нести власти, аще не от Бога»...¹⁶

Граф Сергей Дмитриевич всегда был убежденным монархистом, но вряд ли подобная безграмотная и «оголтелая» риторика («держать знамя» «двух красугольных камней») могла быть ему близкой.

В отличие от широко образованного и многим занимавшегося Сергея Александр имел лишь две страсти — пожарное дело и музыку: именно к нему перешла незаурядная музыкальная одаренность рода Шереметевых. Г. Я. Ломакин, хорошо знавший Александра Дмитриевича в юности, свидетельствовал: «У молодого графа были отличные способности к музыке, слух и память удивительные»¹⁷.

На этих поприщах Александр Дмитриевич преуспевал. Он основал Российское пожарное общество, устроил Всероссийскую пожарную выставку, издавал журнал «Пожарный», организовал Пожарную дружину имени Петра Великого (с патронессой императрицей Марией Федоровной). Характерен эпизод, который приводит Смоленский в своих Воспоминаниях: при вступлении в должность начальника Придворной капеллы Александр Дмитриевич намеревался «сразу огорошить всех, предупреждая, что он “как пожарный, как военный” не остановится ни перед чем, что он сумеет поставить на своем, что если кто...»¹⁸ С трудом удалось отговорить графа от такого представления Капелле. Знаменитый издатель газеты «Новое время» А. С. Суворин записал в своем дневнике, что 27 марта 1897 к нему приходил адвокат «просить меня не помещать отчета о разбирательстве у мирового судьи, который приговорил графа Шереметева, известного под именем Пожарного, к 2-м неделям аресту за то, что он побил своего слугу, и побил за то, что тот неловко затворил форточку»¹⁹.

Однако были у Александра Дмитриевича и вполне серьезные начинания. С 1884 на свои средства он содержал хор и симфонический оркестр, с 1898 начал устраивать Общедоступные симфонические концерты, в 1910 основал Музыкально-историческое общество имени графа А. Д. Шереметева. За годы существования этих институций было дано свыше трех сотен

¹⁵ Там же, л. 78—78 об.

¹⁶ Там же, л. 101—102.

¹⁷ Указ. изд. С. 482.

¹⁸ РДМ. Т. IV. С. 439.

¹⁹ Дневник Алексея Сергеевича Суворина. М., 2000. С. 289.

концертов и лекций, в том числе проведены очень интересные премьеры ранее не исполнявшейся в России музыки (самый яркий пример — концертное исполнение вагнеровского «Парсифаля» под управлением самого графа). Имелись также планы — неосуществленные — сооружения Дворца искусств в Петербурге, Музыкального музея, наконец, устройства «русского Байрейта» для исполнения опер Римского-Корсакова. Разумеется, все это были ценные начинания²⁰. Но, будучи человеком весьма самоуверенным и несдержанным, склонным к самовозвеличиванию и приписыванию себе чужих заслуг, Александр Дмитриевич недаром приобрел в придворных кругах прозвище «шалый». Таковы же были и первые впечатления о нем Смоленского: граф показался ему человеком «совершенно не деловым, не способным рассуждать о делах и действующим прямо под влиянием первого впечатления, именно “без царя в голове”»²¹. Там же рассказывается о дирижерских успехах А. Д. Шереметева:

Он не учился музыке и любит ее, а как способный к этому искусству, дирижирует только идя за превосходно выученными хором и оркестром. Софронов и Владимир²² так вышколили свои ведомства, что граф, например, дирижирует вместо $\frac{3}{4}$ — $\frac{4}{4}$, дает не вовремя самые решительные вступления (остающиеся, конечно, без ответов), и пьесы все-таки идут хорошо, иногда даже и отлично...²³

Примерно на тех же основаниях занимался А. Д. Шереметев и композицией — как духовной, так и светской.

Тем не менее, граф Сергей Дмитриевич, исходя из несомненной музыкальной одаренности своего брата и желая приставить его к важному делу, придумал и осуществил «комбинацию», при которой Александр Дмитриевич становился начальником Придворной капеллы, а Смоленский — управляющим ею. Вероятно, Сергей Дмитриевич надеялся повторить — и усовершенствовать — свой собственный опыт сотрудничества с Балакиревым как управляющим и Римским-Корсаковым как помощником управляющего Капеллой. Он даже надеялся, что Смоленский и Александр Дмитриевич добьются большего, чем удалось ему в свое время, а именно: создадут образец истинно русского церковного пения, которое

²⁰ См. подробнее: Великанова О. А. «Служить искусству без предвзятых мыслей...» (граф А. Д. Шереметев — музыкально-общественный деятель, дирижер, композитор) // Московские Шереметевские чтения. М., 1993.

²¹ РДМ. Т. IV. С. 436.

²² В. С. Софронов — регент хора и М. В. Владимир — дирижер оркестра А. Д. Шереметева.

²³ Там же. С. 437.

затем, одобренное царствующей фамилией, будет распространено по всей России.

Шереметев, уже знавший руководителя Синодального хора, обратился к нему непосредственно за несколько месяцев до свадьбы своей любимой младшей дочери Марии, вышедшей замуж за графа А. В. Гудовича, с просьбой устроить пение на этой церемонии. Как пишет Смоленский в Воспоминаниях, он

решился... предложить ему, как вполне русскому человеку, устроить пение на его свадьбе также русское, православное, и поэтому просил его пожаловать в Синодальное училище, чтобы прослушать свадебные концерты Кастальского, тропарь венчания, прокимен и ектении. Граф приехал в тот же день и был совершенно удивлен и очарован; заметив такое благоприятное впечатление, я затащил графа в библиотеку рукописей, и здесь мы провели с ним в самой оживленной беседе гораздо большее время, чем предполагалось заранее. Свадьбу эту мы пропели так удачно, что Шереметев в письме ко мне охарактеризовал впечатление от нее как «потрясающее», а от разговоров библиотечных возникла напечатанная потом моя статья «О русских древнепевческих нотациях»²⁴,

опубликованная, добавим, в издании руководимого графом ОДП.

Итак, Шереметев слышал Синодальный хор, видел Синодальное училище, познакомился с его библиотекой и, узнав вскоре о тяжелом положении Смоленского в связи с ревизией в Синодальном училище (Смоленского стремился «выжить» из училища и хора его непосредственный начальник — прокурор Синодальной конторы А. А. Ширинский-Шихматов), захотел перенести опыт реформирования церковного пения в столицу. Граф воздействовал на Министерство двора, которому подчинялась Капелла, а другой влиятельный человек, С. А. Рачинский, обеспечил неофициальное, но все же нужное в данном случае согласие Св. Синода в лице К. П. Победоносцева (что было не совсем просто, так как Победоносцев, в свое время определивший Смоленского в Синодальное училище, выражал неудовольствие по поводу конфликта Степана Васильевича с князем Ширинским).

Предыстория этого вопроса частично затрагивается в Воспоминаниях Смоленского, а более подробно излагается в сохранившемся в архиве Шереметева документе под названием «О мерах к улучшению церковного пения в России», который представляет собой сформированную Шереметьевым подборку разных текстов, относящихся к середине 1880-х годов²⁵. Полностью текст публикуется и комментируется в Приложении к книге,

²⁴ Там же. С. 355.

²⁵ РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3932.

но сейчас важно подчеркнуть, что реформа церковного пения замышлялась уже тогда, в 1880-х, что не кому иному, как императору Александру III «благоугодно было указать... на необходимость принятия мер к улучшению церковного пения в России». Именно поэтому граф принял назначение начальником Капеллы. Он считал выполнимой подобную задачу только «при условии привлечения к делу лучших музыкальных русских сил», и таким образом в Капелле появились Балакирев и Римский-Корсаков — действительно лучшие музыкальные русские силы, хотя и, пользуясь выражением Смоленского, «не церковные певцы». Однако граф видел причину неудачи задуманного не в «нецерковности», а в непреодолимых противоречиях, которые возникли между реформаторскими амбициями Капеллы и косностью Министерства двора, с одной стороны, и синодальными властями, с другой. Министерство считало, что дело Капеллы — приличное пение в присутствии царской семьи, и не более того, а Синод не желал признавать за Капеллой право контролировать пение в храмах всей России, на что она в ту пору пыталась претендовать. Обо всем этом идет речь в публикуемых ниже двух записках Капеллы, записке Победоносцева и комментариях к ним самого Шереметева. Сергей Дмитриевич всегда, в том числе в своих исторических работах, был склонен объяснять ход событий личными особенностями и намерениями принимавших в них участие людей²⁶. Так и здесь: он объясняет неудачу задуманных реформ взаимной недоброжелательностью государственного контролера Т. И. Филиппова, стоявшего за спиной Балакирева, и Победоносцева: «обер-прокурор и государственный контролер сводили свои счеты», в результате чего «вопрос замер», и даже император ничего не смог с этим сделать, хотя и был преисполнен «теплого, искреннего... желания добра и пользы делу церковного пения, которое Он действительно любил».

Весьма характерна здесь убежденность Шереметева и Балакирева с Филипповым в том, что можно кардинально улучшить пение — не в одной Капелле, по всей стране — удачными, как им казалось, административными мерами и «тотальным» контролем, осуществляемым Придворной капеллой над всей Россией. В таком смысле Победоносцев оценивал ситуацию гораздо более реалистично, но зато вовсе не желал предпринимать что-либо решительное.

Исходя из своих представлений, С. Д. Шереметев рассчитывал, что сочетание его брата как начальника Капеллы и Смоленского как управляющего ею будет благоприятным и непротиворечивым: первый будет предста-

²⁶ Подобная позиция излагается и в письмах к Смоленскому, например, от 1 ноября 1906: «Моя же теория — что в жизни все создается и расстраивается от мелочей, ибо не много людей, стоящих вне этих назойливых и смутительных мелочей, которыми являются и соответствующие последствия...» и т. д.

тельствовать за Капеллу при дворе, второй поладит с Синодом. Казалось бы, успеху подобной «комбинации» должна была способствовать музыкальность Александра Дмитриевича Шереметева. Однако именно она сыграла роковую роль. Сергей Дмитриевич в свое время, очень много делая для Капеллы (ремонт старых корпусов и постройка нового, преобразование штатов и т. д.), никогда не вмешивался в собственно музыкальные дела, никого не учил, как нужно петь или преподавать. Потерпев неудачу в своем «большом проекте», он не опустил руки, а занимался внутренним устройством вверенного ему учреждения. Он находился в прекрасных отношениях с Римским-Корсаковым²⁷ и умел ладить с Балакиревым — по крайней мере до поры до времени: в конце концов, прослужив более десяти лет вместе, они вскоре после ухода Римского-Корсакова (в 1894) поссорились и ушли из Капеллы один за другим²⁸. Младший же Шереметев вскоре поставил на первый план свое самолюбие, свои вкусы и свои композиторские амбиции, что привело к острому конфликту со Смоленским и затем к изгнанию Смоленского из Капеллы. Из публикуемых писем ясно, что в развитии и развязке этого конфликта решающую роль сыграли не только придворные связи семейства жены Александра Дмитриевича Марии Федоровны, урожденной графини Гейден²⁹, но и вмешательство князя А. А. Ширинского-Шихматова, затаившего на Смоленского злобу со времен их совместной деятельности в Москве. Всего огромного влияния старшего Шереметева не хватило для того, чтобы остановить эту интригу. Особенно омерзительное впечатление производит тот факт, что один из решающих фазисов «дела» имел место во время торжеств в Сарове (канонизация преподобного Серафима Саровского), где Ширинский-Шихматов, пользуясь присутствием императорской семьи и двора, сумел в достаточной мере

²⁷ Письма Римского-Корсакова к С. Д. Шереметеву (см.: Петербургский музыкальный архив. Вып. 7. СПб., 2008. С. 276—284) свидетельствуют о сохранении теплых отношений между ними и в «послекапелльский» период.

²⁸ Одна из точек зрения на причины ссоры Шереметева с Балакиревым изложена в Воспоминаниях Смоленского (см.: РДМ. Т. IV. С. 429—432).

²⁹ Мария Федоровна Шереметева была дочерью финляндского генерал-губернатора и сестрой известного в Петербурге своей набожностью графа Николая Гейдена, одно время старосты Казанского собора. По воспоминаниям митрополита, тогда архиепископа, Евлогия (Георгиевского), относящимся к 1907—1912 годам, граф Гейден был «смирный, добрый человек, глубоко набожный, чуть с оттенком юродства; он ревновал о религиозном просвещении (издавал религиозно-просветительные брошюры), любил архиерейские службы и паломничество по монастырям... У Гейден было много приятелей архиереев, которых они очень часто приглашали на обеды» (Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. М., 1994. С. 197—198).

очернить своего «врага» (подробности этой интриги многократно обсуждаются в переписке Смоленского с Шереметевым и их обоих с А. Н. Нарышкиной³⁰, пытавшейся покровительствовать Смоленскому).

Из публикуемых документов совершенно ясно, сколь «непридворным» человеком был Смоленский: открытый и чистосердечный до наивности, он даже в безнадежной ситуации продолжал верить в торжество истины и справедливости и совершал одну дипломатическую ошибку за другой. Министерство двора, с которым ему приходилось иметь дело в Петербурге, оказалось еще более трудной и невменяемой структурой, чем Синод, которому подчинялись московские учреждения. Поскольку в публикуемых письмах часто идет речь об этом Министерстве и его чиновниках, имеет смысл привести посвященный ему фрагмент из Воспоминаний С. Д. Шереметева:

Раздутое донельзя Министерство Императорского Двора уже давно стало явлением ненормальным, соединяя в одном направлении и в одних руках столь разнообразные функции и столь сложную деятельность, [что] даже при одном перечне его отделов слишком давно бросается в глаза. Если прибавить к этому ту деятельность, которая требует кроме того по неуловимым вопросам характера домашнего, семейного, то, конечно, приходишь к сознанию соединения всего в одном лице, да к тому же вне контроля стоящем, совершенно невозможным. Оно не может не отражаться вредно на всей административной машине, плодя чиновников особого самоуверенного типа, ввиду своей бесконтрольности — злоупотребления неизбежны, и тем более при требуемой всеобъемлемости главного руководителя и направителя. Напрасно думают, что Министерство Императорского Двора, обслуживая известный круг деятельности, вовсе не касается дела общественного, а тем более политического. При нынешнем своем составе и размерах оно, несомненно, касается этих сторон, и многими нитями; в особенности же ощутительно это касательство по многим вопросам, касающимся художеств. Сосредоточивая в своих бесконтрольных руках Академию художеств, столицу свою имеющую Петербург, Императорские театры, консерваторию, Императорский Эрмитаж, различные музеи, Императорский фарфоровый завод, Императорский хрустальный завод, Придворную певческую капеллу и целый ряд других учреждений, оно является руководящим в вопросах изящных искусств, в разнообразнейших проявлениях искусства и даже промышленности. <...> Общая руководящая линия народной политики, в частности, должна отражаться в исполнительных органах Министерства Императорского

³⁰ Александра Николаевна Нарышкина, статс-дама, вдова обер-гофмаршала Э. Д. Нарышкина, по воспоминаниям, отличалась резким обращением даже с самыми высокопоставленными особами, что и проявилось, в числе прочего, в истории увольнения Смоленского.

Двора. Но в этом Министерстве всего менее ощутительно это сознание и это руководство. Это не столько помогающие царскому личному хозяйству, сколько подводящие его непрестанно и неизбежно, помимо личного характера правящего³¹.

Сергей Дмитриевич воспринял увольнение Смоленского как личное оскорбление, как знак недоверия к себе. Об этом красноречиво свидетельствуют не только публикуемые ниже письма, но и записи Шереметева в его дневнике. Например, запись от 14 августа 1903:

Получена депеша от Смоленского о делах в Капелле. Его дело резко и неожиданно проиграно. После недавних заверений от Г[осударя] и «дорожим» — приказано немедленно подать в отставку! Интрига пошла вовсю и достигла своего. Меня это известие глубоко огорчило и оскорбило, так как я рекомендовал Смоленского, — а с ним поступили непозволительно. Все это серьезнее, чем может казаться — а для меня имеет решающее значение. Отныне я буду стремиться уйти отовсюду — за неимением опоры и доверия. Слабость такая, что нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. При таких условиях служить трудно. Глубоко жаль Смоленского — это жертва клеветы и злобы людской. Помешанный А[лександр] Д[митриевич] им скоро покажет всю свою прыть, с чем их поздравляю. Писал Смоленскому и долго не мог прийти в себя от впечатления удручающего. Буду помнить этот день!

И через несколько дней, после встречи со Смоленским, приехавшим к Шереметеву в Михайловское:

Интрига восторжествовала. Г[осударь] незадолго перед этим ему сказал, что дорожит его директорством и сочувствует его направлению. То же и я слышал, и сравнение его с Васнецовым. И все же он его не поддержал, а выдал голову. Я даже подобной слабости не ожидал. Это серьезнее, чем может казаться. Слабость и фальшь господствуют...³²

Сергей Дмитриевич попытался сделать для Смоленского, которого считал «особо даровитым, превосходным, благороднейшим человеком», все возможное. Во-первых, он предложил Степану Васильевичу, остававшемуся

³¹ Шереметев С. Д. Воспоминания. С. 319-320.

³² Дневник С. Д. Шереметева за 1903 — РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5048, л. 95, 97. Те же мысли в еще более решительной форме высказаны графом в публикуемых ниже письме к сыну Дмитрию и вступительном тексте Сергея Дмитриевича к сформированной им архивной подборке документов по поводу увольнения Смоленского из Капеллы.

без крова (управляющие жили в казенной квартире в здании Капеллы), помещение в своем великолепном Фонтанном доме, где Смоленский прожил до 1908. Во-вторых, граф предоставил Смоленскому возможность научной деятельности под эгидой Общества любителей древней письменности, поставив его во главе так называемого 2-го отдела Общества, который был призван издавать «учебники старого времени, как то: буквари, грамматики, цифирное искусство и проч.; теоретические статьи по разным наукам и художествам; трактаты по естествоведению, астрономии, медицине, музыке, военному искусству и т. п.»³³. В-третьих, он устроил столь важную для развития музыкальной медиевистики экспедицию Смоленского и его коллег на Афон в 1906. За все это, как и за постоянную моральную поддержку, Степан Васильевич был глубоко благодарен. Можно утверждать, что его связывала с Шереметевым настоящая дружба, насколько она была возможна между людьми столь разного воспитания и общественного положения. Смоленский был знаком со многими членами большой семьи графа, не забывал присылать приветствия на его семейные праздники; очень теплые его письма адресованы Екатерине Павловне Шереметевой (см. в Приложении к данному разделу). Публикуемые письма, а также неопубликованные дневниковые записи Сергея Дмитриевича показывают, что они очень часто встречались в периоды пребывания Шереметева в Петербурге, причем как в ту пору, когда Смоленский жил в его доме, так и позже. Заезжал Степан Васильевич и в Михайловское, а приезжая по делам в Москву, всегда пользовался гостеприимством Шереметевых в их Воздвиженском доме. Заметно, что нередко Смоленский в письмах словно отчитывается перед графом в своих занятиях, однако делает он это непринужденно и с удовольствием, как с понимающим и сочувствующим собеседником. Сергей Дмитриевич, несомненно, очень высоко ценил Смоленского: об этом свидетельствуют не только письма и дневники Шереметева, но и напечатанный графом весьма прочувствованный некролог Степана Васильевича и, в особенности, то, с каким вниманием отнесся он к незаконченным делам Смоленского: на средства Шереметева была издана подготовленная ученым к печати «Мусикийская грамматика» Дилецкого, он оказывал постоянную поддержку основанному Смоленским Регентскому училищу (в том числе личными денежными взносами) и старался помогать любимому ученику Степана Васильевича — А. В. Преображенскому, который заступил на место Смоленского как в училище, так и в ОЛДП.

Все это не исключало однако серьезных противоречий между Шереметевым и Смоленским. Оба они были людьми, горячо реагировавшими на происходящее вокруг, мыслящими «государственно» — каждый по-своему и на своем месте. Расхождения позиций стали особенно ясны с конца 1905.

³³ См. публикуемый в Приложениях Устав ОЛДП.

Например, 30 сентября 1905, в канун революционных событий, Смоленский, попавший на университетскую сходку, пишет Шереметеву:

...Сам своими глазами и ушами ощутил меру именно припадка, в котором беснуется наша молодежь... Общее впечатление мое — глубокая жалость и скорбь о растрате таких сил не на пользу общую, не на благо людей, не для света науки, а ради чего-то мною совершенно неспецифического, но очевидно очень недоброго, сулящего много горя впереди.

Шереметев отвечает 17 октября:

...Прежде всего, не будем волноваться, ибо в волнении нет спасения!.. Я предпочитаю самую бурю подготовлению к буре. Теперь Вы знаете, какова она и с чем надо бороться.

А в письме к С. С. Волковой от 20 сентября комментирует:

...Он настроен болезненно-мрачно. Нарисовал он мне картину таких уличных ужасов, которые, вероятно, представились ему лишь «в тонце сне». Не будучи оптимистом, я не способен к унынию. Пресложная натура у него.

4 ноября 1905 Шереметев, подводя итог дискуссиям, пишет:

Я не поклонник Синодального правления и не поклонник правительственной системы Петербургского периода, но я не могу приветствовать «разрушение» существующего, без определенного «созидания» иного, лучшего, заменяющего.

Последнее утверждение, при всей его правильности, выглядит «прописной» риторикой по сравнению с горестными размышлениями Смоленского в канун нового, 1906, года (в письме от 30 декабря) в ответ на мысль Сергея Дмитриевича по поводу московского декабрьского вооруженного восстания: «Нарыв вскрыт и предстоит добросовестное лечение дезинфекционными средствами». Степан Васильевич пишет:

Мои мысли при обсуждении переживаемой поры пришли, наконец, к какому-то необъяснимому недоумению, — я совершенно не понимаю, что, зачем и по какой причине выделяется у нас враждующими с такою бесцельною жестокостью и саморазорением. Думаю, что тяжкие раны, наносимые теперь России, будут болеть долго, что в недоразумениях и в размножении своих несчастий виноваты все стороны.

Спустя полтора года, в июне 1907, Смоленский написал Шереметеву огромное «программное» письмо о русской жизни, русской идее и возможном развитии событий:

...Я убежден в том, что нынешняя неурядица еще не высказалась в своих подлинно народных мыслях... Предвижу еще более горькие времена и еще большие ужасы... Теперь мы расхлебываем вовсе не недавние ошибки... а целую «кадриль болезней», имеющих каждая вполне определенное течение, свои симптомы и сроки... Революция наша есть пока — борьба за власть между средостением и «интеллигенцией», глубоко буржуазною. Обе стороны жестоко ненавидят друг друга, надоели друг другу, обе — глубоко грешны, обе нерусские и изо всех сил стараются втравить в свою борьбу сфинкснарод...

Это замечательное письмо столь огорчило графа Сергея Дмитриевича, что он попросил Смоленского «во имя того, что нас связывает», прекратить переписку на подобные, то есть «политические», темы:

Она бесплодна, хуже того — что вкралось что-то постороннее, наносное в тот душевный гармонический мир, который нас связывал. В моих глазах Вы были иным, чем сделались в эти последние три года.

Эту ситуацию прокомментировал сам Смоленский в письме к Волковой:

Я получил от С. Д. Шереметева неожиданное письмо, в котором он пригласил меня, с очевидной горечью на сердце и с полным во мне разочарованием, прекратить в нашей переписке трактации о какой бы ни было политике.

Правда, вскоре пришло следующее письмо Шереметева «с очевидным признанием, что совесть укорила Сергея Дмитриевича в некоторой пылкости и некорректности за мой счет».

Теперь мы оба успокоились. <...> Конечно, я знаю «партию», которой держится Сергей Дмитриевич, — но «политики» в письме моем, собственно говоря, совсем и следа не было. Тем не менее все-таки впредь буду поосторожнее.

Писал Волковой о Смоленском и Шереметев, например, 7 ноября 1905:

...Получаю от него всегда интересные, но порывистые и нервные письма, обличающие внутреннее раздражение: в них нет того подкупающего добродушия, которое чувствовалось в прежнем Смоленском.

Впрочем, «идеологический конфликт», при всей его серьезности, не испортил отношений между корреспондентами, и темы общего порядка продолжали затрагиваться в их переписке и наверняка в их беседах. Более того, создается ощущение, что осуществление давно выдвигавшегося проекта экспедиции на Афон было «форсировано» и приурочено именно к началу лета 1906 потому, что Шереметев захотел помочь Смоленскому выйти из «раздраженного состояния», — и действительно помог: афонские образы в течение довольно длительного периода озаряли смятенный душевный мир Степана Васильевича...

На самом деле вопрос, к какой «партии» принадлежал С. Д. Шереметев, не столь однозначен. Конечно, ни к одной из тех политических партий, которые сформировались в России в период выборов в Первую Государственную думу. Смоленский в одной из дневниковых записей (в январе 1907) назвал шереметевскую «партию» «наиультраразпереправейшей» — безусловно, под горячую руку, в результате очень напряженной общественной ситуации и собственных острых дискуссий с графом.

«Крайне правым» считали Шереметева и другие мемуаристы. Например, С. Ю. Витте, замечавший при том, что Сергей Дмитриевич лично — «человек благороднейший, рыцарь»³⁴. Или один из последних российских министров иностранных дел А. П. Извольский (брат многократно упоминаемого в переписке Шереметева со Смоленским обер-прокурора Св. Синода П. П. Извольского), назвавший графа «одним из виднейших представителей реакционной партии»³⁵. Можно подумать, что речь идет о «Союзе русского народа» или «Священной дружине», чего в действительности не было.

Сам Шереметев любил относить себя к «старой русской партии». Термин был бы непонятен, если бы граф не ссылался при этом на стихи своего родственника поэта Бориса Алмазова. У него есть длинное стихотворение с названием «Старая русская партия», датированное августом 1864, то есть эпохой подавления очередного польского восстания. Оттуда можно привести несколько строф:

Пылая дружбой к слабым ляхам,
Враги России, с должным страхом,
На силы русские глядят
И с беспокойством говорят,
Как о неведомой стихии,
Иль темной силе роковой,
Иль лютой язве моровой,

³⁴ Витте С. Ю. Воспоминания, мемуары. Т. 2. М.-Минск, 2002. С. 403.

³⁵ Извольский А. П. Воспоминания. М.-Минск, 2003. С. 202.

О старой партии в России.
Они толкуют, что она
Людьми отсталыми полна,
Погрязла в старые начала,
Дерзка, упряма — но сильна
Союзом с чернью одичалой...

Да, на Руси и был и есть
Стяг старой партии народной:
В нем наша сила, наша честь;
Вокруг него толпой свободной,
В дни распрей, плена и войны,
В отпор измене дерзновенной,
Отчизны лучшие сыны
Всегда стекались, полны
Любви к согражданам священной...

Но, может быть, читатель строгий
Уже давно за мной следит,
Меня невольно вопрошая:
«Кто ж эта партия святая,
Которой держится страна,
Где, укажите нам, она?»
Как указать? Она меж нами
Владет лучшими сердцами;
Могучий дух ее живит
Всю нашу Русь; он в ней царит,
Как в нас царит душа над телом,
Но кто умом надменно смелым,
Кто тайну вечную проник
И разрешил вопрос давнишний —
Где в нас сокрыл от нас Всевышний
Души божественный тайник?

Поскольку Шереметев любил пояснять свои мысли и чувства стихами (что видно хотя бы из его переписки со Смоленским), то приведем еще несколько строк из другого, более раннего стихотворения Алмазова «Русь и Запад»:

И вот кричат они, что время
Пришло отпор нам строгий дать,
Что наглых скифов злое племя

Пора унять и наказать,
Что плена, рабства и насилья
Готовим мы для мира бич
И что давно бы надо крылья
Орлу двуглавному подстричь...

Нет! Нет! Заря с Востока встанет,
И слово русское, как гром,
Над усыпленным миром грянет,
И мир проснется и воспрянет,
И нам преклонится челом.
И мы поведаем вселенной
Святые тайны наших дум,
Все, все, что силой вдохновенной,
Лучом небесным просветленный
Создал могучий русский ум...

...И руль истории всемирной
В руках у русского царя.

Эти строки, написанные в первой половине 1850-х и выдержанные в классическом славянофильском тоне, являлись для Шереметева неким «руководством к действию» и в начале XX столетия, хотя славянофилом в полном смысле термина он не был. На этом основании, так сказать, сходились два разных мировоззрения, «правое» и «левое» — Шереметева и Смоленского. В той же дневниковой записи, где фигурирует приведенный выше термин «наиультра...», Степан Васильевич приходит к знаменательному выводу:

Сергий Дмитриевич знает русскую историю не хуже наших лучших профессоров, и потому, при искренности его горячей любви к родине, необходимо уважать его взгляды как выработанные давно и основательно. <...> Все мои записи о себе свидетельствуют о нашем согласии в оппозиции нынешнему правительству. Мы сходимся, как я — наилевейший с ним — наиультраразпереправейшим, совершенно разномысля о способе направления судеб нашей родины после случившихся и продолжающихся потрясений... в отвращении к нынешнему насилию и двухстороннему террору мы сходимся вполне...³⁶

³⁶ Дневник 6, запись от 7 января 1907.

Надо сказать и о том, чего не удалось Шереметеву сделать для Смоленского. Ему не удалось добиться для ученого и его дела государственной поддержки, официального признания.

Как ясно из писем, сначала Сергей Дмитриевич рассчитывал на помощь государя — хотя бы в виде «особого поручения» по церковному пению. В Приложении к тому публикуются тексты «проектов», с которыми Шереметев и Смоленский пытались обращаться и к государю, и к разным лицам в синодальном ведомстве и в правительстве. Самый ранний из проектов, созданный осенью 1903, сразу после официального увольнения Смоленского из Капеллы, представляет собой записку, которую Шереметев должен был вручить государю при личной встрече, однако вскоре стало понятно, что на вмешательство императора лучше не рассчитывать. В проекте, говоря в общем, речь идет о составлении Смоленским подробного описания древнерусских певческих рукописей из разных хранилищ. Пробовали привлечь похожей идеей Св. Синод, но сначала граф и обер-прокурор Победоносцев находились в натянутых отношениях (о причинах их ссоры см. в комментариях к письмам), потом наступил грозный 1905-й, затем ушел Победоносцев и в Синоде на первых ролях появился заклятый враг Смоленского — бывший прокурор Московской Синодальной конторы князь А. А. Ширинский-Шихматов (который пробыл в Синоде недолго, но успел «завернуть» присланный Казанской духовной академией проект издания составленного давным-давно Смоленским описания соловецких рукописей — якобы за недостатком средств).

Не осуществились возникшие было в конце 1903 планы приглашения Смоленского лектором в Петербургскую духовную академию и намерения (довольно туманные) Победоносцева и его заместителя В. К. Саблера привлечь Смоленского к оценке духовно-музыкальных сочинений в рамках деятельности Учебного комитета при Св. Синоде. Не был принят Смоленский и в состав педагогов Петербургской консерватории. Единственным местом приложения его педагогических сил после ухода из Капеллы и до основания Регентского училища стал Петербургский университет, где Смоленский читал бесплатно курс истории церковного пения — очень малому числу слушателей, но по крайней мере получая удовлетворение от общения с молодыми людьми.

Проекты «особого поручения» для Смоленского долго и подробно обсуждаются в его переписке с Шереметевым и Волковой, в письмах, которыми обменивались Шереметев и Волкова: Софья Сергеевна, сочувствуя Смоленскому, тоже пускала в ход свои личные и семейные связи. Протекция Волковой оказалась было удачной: новый обер-прокурор князь А. Д. Оболенский в январе 1906 принял Смоленского и, по-видимому, попросил его составить до-

кладную записку, однако при этом вставал вопрос о переезде Смоленского в Москву, ибо именно там находился основной массив нужных ему для работы рукописей (в первую очередь это касалось созданного им же собрания Синодального училища). Степан Васильевич, в свою очередь, просил о предоставлении ему права пользоваться всеми петербургскими архивами, а в отношении московских рукописей — о разрешении высылки их ему для работы небольшими партиями. Пока обсуждался данный пункт (не вызвавший восторга в Синодальном училище, где вовсе не приветствовали пересылку манускриптов), Оболенский ушел со своего поста, и дело вновь остановилось. Докладная записка Смоленского, адресованная Оболенскому, публикуется в Приложении к тому: она прекрасно написана и представляет интерес как истолкование конечного смысла «каталогических» работ Смоленского, а также вообще «певческой археологии».

В первом своем проекте («записке для государя» — см. в Приложении к книге) ученый писал:

Сближение русских музыкальных искусств народной русской песни и древнего церковного напева оказывается ныне не только возможным, но и прямо указывающим дорогу будущего русского искусства, как светского, так и церковного. Археология может русским художникам дать не только теоретическое объяснение главных устоев родного музыкального искусства, но и прямые практические указания состава народных мелодий, для их художественной разработки.

Те же мысли в другом «наклонении» — в записке для Оболенского (см. в Приложении к книге):

Св. Синоду необходимо, может быть и со значительными затратами, непременно влить мощные, художественные струи в дело предстоящего преобразования духовно-учебных заведений, струи умирительно-величавые, облагораживающие и истинно воспитывающие; необходимо учредить при духовных академиях кафедры истории церковного пения или, может быть, даже и отдельные факультеты для высшего изучения церковных искусств вообще. Св. Синоду необходимо именно «встать впереди движения» и научно раскрыть мелодические сокровища русского древне-певческого искусства. Только этою мелодическою красотой и повышением уровня образования между избранными учениками, способными к композиции, можно восстановить интерес к церковному пению и ослабить равнодушие общества, соскучившегося от повсеместного упадка певческого искусства.

Неудачи с «особым поручением» иной раз доводили Смоленского до отчаяния. Для Шереметева же это были яркие свидетельства падения

русской государственности, идеал которой он видел в эпохе Александра III. О Николае II и особенно о его дворе граф был невысокого мнения, хотя самый институт царской власти оставался для него священным. История Смоленского явилась новым доказательством «перемены курса» в нежелательную сторону. И потому, когда Смоленский, разочаровавшись во всех обещаниях и скучая без живого общения с молодежью, на свой страх и риск открыл в Петербурге частное регентское училище, Шереметев помог выхлопотать для него небольшую субсидию в Синоде. Тут Синод повел себя как будто более дружелюбно: новый обер-прокурор П. П. Извольский поддержал идею училища — по крайней мере, на первых порах. Впоследствии и эта поддержка оказалась минимальной, и настоящей заинтересованности в развитии регентского образования чиновники духовного ведомства не проявляли ни при жизни Смоленского, ни позже, когда со всеми трудностями пришлось сражаться его любимому ученику А. В. Преображенскому...

Конечно, взгляды на церковное пение, отношение к нему у Шереметева и Смоленского были разными.

Сергей Дмитриевич был глубоко религиозным человеком, получившим в детстве строго церковное, православное воспитание. Он придавал большое значение всем сторонам церковной жизни и в их числе церковному пению. С юных лет он помнил прекрасное, стройное звучание руководимого Ломакиным хора в домовых церкви Шереметевых, помнил, с каким благоговением относился к службе его отец, как глубоко знал он церковный устав. Вступив во владение наследством, в том числе Фонтанным домом, Шереметев сделал все, что мог, для сохранения хора, о чем рассказывается в «Автобиографических записках» Ломакина (капелла все же была упразднена в связи с переездом графа в Москву). Впоследствии Сергей Дмитриевич всегда проявлял заботу о пении как на Фонтанке, так и в храмах всех своих имений. Очень любивший музыку, хотя и не отличавшийся исключительной музыкальностью, свойственной его родителям и брату, Сергей Дмитриевич, в качестве историка, живо интересовался историко-эстетической проблематикой русского церковного пения. Важно было и то, что обожаемый им Александр III считал церковное пение делом государственным. Шереметев всегда стремился всячески поддержать любые ценные инициативы в данной области, часто действуя с помощью возглавляемых им обществ, особенно ОЛДП.

Нельзя не вспомнить, что до Смоленского Шереметев оказывал поддержку основателю русской музыкальной медиэвистики Д. В. Разумовскому (их переписка будет опубликована во второй книге настоящего тома) и что именно ОЛДП послужило «прикрытием» для издания по старообрядческим рукописям многотомного крюкового Круга древнего знаменного пения с предисловием Разумовского — первого в России крюкового издания, казалось бы,

немыслимого по цензурным соображениям и все-таки состоявшегося благодаря доброй воле руководителей Общества, протоиерея Разумовского, а также, конечно, финансовой поддержке старообрядца А. И. Морозова, состоявшего почетным членом Общества (в старообрядческой среде издание Круга до сих пор называется «морозовским»). Вообще Шереметев в значительной мере разделял высокое мнение Смоленского о старообрядчестве как носителе русских коренных начал (изложение этого мнения составляет одну из самых ярких страниц Воспоминаний, немало говорится об этом и в письмах) и предпринимал попытки помочь его легализации, причем Смоленский служил посредником в общении графа с московскими старообрядцами (см. в письмах и комментариях к ним). С участием Шереметева увидели свет и неизданные сочинения Н. М. Потулова. На почве церковного пения Шереметев общается с С. С. Волковой, которая, будучи в детстве ученицей Д. В. Разумовского, всегда интересовалась историей православного (и вообще древнего) пения и даже регентовала сама.

Главным для Шереметева было все же не церковное пение как искусство, а церковное пение как выражение «русской идеи», национального самосознания. В соответствии с этим он рассматривает пение как объект государственной заботы, совпадая в этом отношении с крупнейшим деятелем предшествующей эпохи — князем В. Ф. Одоевским. Смоленскому, разумеется, такой взгляд близок, но он смотрит на проблему прежде всего изнутри — на пение как на эстетический, художественный объект и на древнее певческое искусство как на фундамент для будущего самобытного развития русского творчества. Именно это — основная тема его переписки с Шереметевым, раскрытая весьма многогранно и с исключительной силой.

* * *

В незаконченном предисловии к Воспоминаниям Смоленского (см. во второй книге настоящего тома) С. С. Волкова дает меткую характеристику его личности. Рассказав о заботливом отношении Смоленского к певчим, о его нежном внимании к ученикам, маленьким и взрослым, к своей семье, о его всегдашней готовности прийти на помощь любому нуждающемуся человеку, Волкова заключает:

Однако и при всей глубокой к нему привязанности многих людей, всегда вспоминающих его с глубокой признательностью, он не пользовался популярностью. Он был горяч и настойчив, хотя и старался, по его словам, действовать «с кротким упорством». Часто, однако, в нем закипало ретивое, и тогда спокойствие утрачивалось. Упорство его тогда переставало быть «кротким». Когда Смоленский, при такой своей неуступчивости, сталкивался с непониманием и упрямством в людях власть имеющих, то «находила коса на камень». Благодаря этому

свойству Смоленский ставил себя в тяжелое положение. Так, Смоленского отставляли от дел в разгар его деятельности, в то самое время, когда бывали достигнуты изумительные успехи, когда он приближался к заветной цели в налаженном и любимом труде.

Этот анализ характера Степана Васильевича подтверждается всеми публикуемыми в томе документами; из них видно также, что Волкова, зная «взрывной» темперамент Смоленского, иногда пыталась предупредить возможные последствия его действий. Например, она пыталась уговорить его вводить изменения в богослужебный репертуар Капеллы постепенно, дав возможность высокопоставленным богомольцам привыкнуть к новому стилю пения; пыталась отговорить Смоленского как от резких докладных начальнику Капеллы А. Д. Шереметеву, так и от гневных рапортов по его поводу в «вышестоящие инстанции»; старалась успокоить Степана Васильевича в его сражениях с капелльскими беспорядками. Но безрезультатно: как писала она сама, «трудно было себе представить человека менее подходящего для придворной среды, и казалось, что он в Петрограде не найдет удовлетворения».

В послекapelльский период Волкова время от времени становилась неким посредником между Смоленским и графом Шереметевым: судя по письмам последнего, обращенным к Софье Сергеевне, граф как председатель ОДП, зная «благотворное влияние» Волковой на Степана Васильевича, поручал ей не только хлопотать по поводу его устройства, используя свои связи, но и «регулировать» и «организовывать» деятельность Смоленского в рамках ОДП, предотвращая то, что Шереметев называл «разбрасыванием во все стороны». В его письме от сентября 1905 года это поручение выражено следующим образом:

Словом сказать, Смоленскому не нужно унывать, не нужно падать духом, не нужно подвергать [себя] различным дуновениям, его сбивающим, как мне это чувствуется. Нам с вами нужно поддержать его и сберечь этого необыкновенного человека для пользы и осуществления большого дела. Правда, с ним не легко, с его постоянными скачками, метаниями, неожиданностями, волнениями, недомолвками, с теми странностями и причудами, которые в то же время составляют привлекательную сторону этого особо даровитого, превосходного, благороднейшего человека!

Софья Сергеевна со всей ответственностью исполняла возложенную на нее задачу, и, собственно, ее доклад «О древнерусских церковных напевах и о значении их для будущности русского музыкального искусства», прочитанный в собрании Общества 21 апреля 1905 и позже опубликованный (см. во второй книге настоящего тома), является широко развернутой про-

граммой деятельности как 2-го отдела Общества, так и самого Смоленского — программой, выработанной в переписке и разговорах со Степаном Васильевичем.

Две «катастрофы» пережил на своем до того вполне успешном пути Смоленский: несправедливое увольнение из Синодального училища, которому он отдал 12 лет жизни и которое превратил из запущенной певческой школы в превосходное учебное заведение, в будущем вставшее на путь преобразования в Академию церковного пения, и внезапную отставку из Капеллы после двух с лишним лет плодотворной и всеми как будто одобряемой деятельности. Первая отставка и разлука с горячо любимой Москвой были пережиты Смоленским довольно быстро — ему тут же пришлось с головой погрузиться в запутанные дела Придворной капеллы. Отставка из Капеллы стала гораздо более трагическим, до конца так и не пережитым событием: прощая графу А. Д. Шереметеву как «шалому», Смоленский не мог простить своего унижения лицам придворного мира, ничего не сделавшим, чтобы помочь ему в конфликтной ситуации. Кроме того, Степан Васильевич воспринимал свой уход из Капеллы как гибель очень важного дела. В его письмах после отставки все время повторяется слово «реабилитация». Этой реабилитацией и должно было стать «особое поручение»: хотя формально речь шла о поручении по описанию певческих рукописей, на самом деле имелось в виду большее — нечто вроде возрождения истинного православного пения, которое должен был санкционировать именно государь.

При всех своих демократических взглядах, Смоленский был не менее убежденным монархистом, чем граф Шереметев, только он, в отличие от строгого «государственника» Сергея Дмитриевича, являлся скорее приверженцем идеи «земского царя», вступающего в общение с народом, минуя бюрократические препоны. В одном из писем к Шереметеву Смоленский очень тепло говорит об Александре III, но лично знать этого царя он не мог; Николая же II Смоленский много раз видел, разговаривал с ним. Его отношение к этому государю было восторженным и даже нежным. Так, в дневниковой записи в иконе 1902 читаем:

...Я должен помянуть и милейшего, деликатнейшего Государя, не оставившего меня своим вниманием во все время и окрылявшего мою душу хотя немногими, но радушными словами, множество раз. Этот удивительно кроткий и чуткий хозяин моей жизни действительно заставил меня искренно полюбить его. Его снисходительность меня даже и удивляет. Возможна ли была бы при Николае I такая умышленная медленность, которую я формулировал в прошлом году: «*langsam und immer voran*» [«потихоньку, но вперед»]? А затем какая свобода деятельности? Что хочу — то и пою. Какая простота суждения: понравилось — скажет сполна, не понравилось — молчит... Какая

прелесть в этой удивительной приветливости и прямолинейности суждений: «это прелестно», или: «ничего не понял — спойте еще раз»; «Императрице понравилось, а мне нет — спойте в следующей службе»; или «вот и она похвалила», то есть шутовское упоминание о том, что трехлетняя Великая Княжна Мария Николаевна сказала: «Как хорошо пели сегодня». Конечно, забавнее всего то, что младенец, очевидно подученный, сыграл свою роль вполне для себя серьезно³⁷.

Николай II был музыкален, любил и знал церковное пение, обращал на него большое внимание и ободрял управляющего Придворной капеллой в его стремлении к обновлению. Смоленский не изменил своего отношения к государю после отставки, но напряженно и долго ждал проявления с его стороны какого бы то ни было внимания к себе — и не дождался. Оправившись немного от второй катастрофы, Смоленский при поддержке Шереметева полностью погрузился в научную деятельность «под эгидой ОЛДП» и начал чувствовать радостное освобождение — впервые в жизни он не был обязан целый день проводить на казенной службе. Но тут неожиданно возникла личная проблема: супруга Степана Васильевича, с которой он дружно и счастливо прожил много лет, не принимала нового образа жизни (об этом есть упоминания в письмах и много записей в Дневниках). По-видимому, Анна Ильинична считала, что, живя в доме Шереметева и не служа, ее муж и она сама «теряют лицо»; кроме того, ей не нравился новый круг знакомств Смоленского, во многом состоявший из дам высшего общества (Волковы, Нарышкина, Чичерина, Сабурова, Оленина, Коссиговская и проч.), она не видела своего места в новой жизни. Пока выяснялось все это, наступило «смутное время» 1905—1906 годов. В такую пору трудно было человеку горячего характера сосредоточиться на чисто научной деятельности, и Смоленский часто пишет, что ему «не работается». Десятки страниц Дневников этого периода густо заклеены вырезками из газет и журналов, заполнены записями собственных мыслей о происходящем в стране.

Письма Смоленского показывают, каким чутким и дальновидным историком был Степан Васильевич: в событиях 1905 года он сумел разглядеть не финал, а начало грядущих потрясений. Это сознание у столь искреннего человека, как Смоленский, «вышибало почву из-под ног»: кому нужно церковно-певческое искусство в эпоху грандиозных общественных переворотов? С особой остротой встал подобный вопрос в пору организации Регентского училища. Смоленскому была ясна «гнилость» Синода как институции (в его Дневнике немало пространных записей о будущем «демократическом», с активным участием белого духовенства и мирян, устройстве Русской Православ-

³⁷ Дневник 3, л. 2—3.

ной церкви), и он же вынужден был принимать от Синода помощь (пусть скудную) и готовить регентов, которым так или иначе суждено было служить под властью этой институции. Об этом есть яркие строки в письме к Волковой от января 1908:

Полагаю вообще, что время сильных замешательств нашей церковной жизни очень близко и Синод сам уронит свой дом, оттолкнув от себя население.

К чему же тогда «Регентское Училище»? Не касаясь внутреннего, идейно-догматического содержания, размышляю я о существовании идейно-художественной моей службы в Регентском Училище как русском церковно-педагогическом институте. <...> Как мне быть тогда, когда, за соблюдением внешней корректности и формалистики, я почувствую особую надобность сеяния мною того, что и сейчас называется «плевелами» в устах моих критиков-святителей? Как мне быть тогда, когда при той же корректной формалистике я почувствую, что школою общемузыкальных курсов я воспитываю именно тех волков, которые расхитят моих же овец? Как плыть между невежеством и предательством?

До некоторой степени Шереметев мог разделять подобные мысли: в молодости друживший с Победоносцевым (тогда еще не имевшим отношения к Синоду), хорошо знавший властного обер-прокурора в пору их совместной деятельности при Александре III, Шереметев в поздние годы относился к главе Синода с осязаемой долей иронии, присвоив ему насмешливое (хотя и на свой лад уважительное) прозвище «Кир-Константин», а его ведомству — «Ватикан» (светская власть проходит в его переписке под прозвищем «Квиринал»). Понятно, что к пришедшим на смену столь серьезному человеку, как Победоносцев, новым деятелям типа Ширинского-Шихматова граф испытывал презрение («Когда-то знамя князей Ширинских развевалось с наступающим на Русь исламом; теперь он один из “стражей Израилевых!”» — из письма от 17 октября 1905), а более мелких синодальных (как и придворных) чиновников ни во что не ставил. Однако он все же счел нужным «одернуть» Смоленского, когда тот начал высказываться о Синоде резко:

Я не могу разделять Вашего взгляда и огульного порицания всего нашего духовенства, ради того только —

Что в данную минуту
Хранители огня на алтаре,
Вверху стоящие, что город на горе,
Дабы всем виден был
И в ту светил бы тьму...

— что эти люди не на высоте своего призвания.

Это еще не значит, что таковых вовсе нет на Руси, что окончательно «оскуде преподобные»! Нет, этому я верить не могу, да я и не верю тому, что Вы этому верите, ибо иначе Вы не могли бы «работать» (4 ноября 1905).

Несколько позже, в феврале 1906, Смоленский попытался сформулировать свое собственное credo в отношении происходящего:

Я не на стороне нынешнего правительства, как и совсем не на стороне каких бы ни было социал-демократов. Я служу свободе и прогрессу родной земли моей в пределах того, что я емь сейчас и чем я могу быть ей полезен. Я уже старею, я получаю пенсию от нынешнего правительства, я не имею независимого состояния, я живу умственным трудом. Поэтому я имею право и обязан беречь мои стареющие силы ради того умственного труда, который я считаю хотя и малым, но необходимым для будущего культурного прогресса; поэтому не считаю себя вправе ни содействовать, ни противодействовать правительству в его действиях, но считаю себя обязанным для себя и своих близких, ради своего спокойного и достойного труда, — беречь себя и свою пенсию и не путаться туда, куда меня не зовут, куда я идти не обязан и куда я сам не пойду³⁸.

Конечно, подобное высказывание похоже на «самоугаваривание», но на некоторое время Степану Васильевичу удалось отвлечься от «безнадежных» мыслей: с весны 1906 все его силы были сосредоточены на тщательной подготовке и успешном проведении Афонской экспедиции. Свет Афона и радость научных открытий действительно умиротворили его душу и дали импульс к работе. Сезон 1906/07 оказался в научном отношении очень плодотворным, а к лету 1907 сформировалась идея открытия Регентского училища. Смоленский понимал, сколь тяжело вести подобное дело, не имея твердого государственного обеспечения, и все-таки в нем победил инстинкт учителя. 1 октября 1907 он писал о том, что открытие училища «подбодрило» его, «вновь подняло стремления посадить в сердца людей семена одушевлявших меня мыслей по церковно-певческой части». Дальше закрутилось колесо любимой им, хоть и трудной, «жизни на людях»: училище, регентские съезды, доклады и лекции, начало издания нового журнала по церковному пению... Между тем, силы явно шли на убыль, и Степан Васильевич это ясно сознавал. Об этом говорят записи в Дневнике последних двух лет, и особенно его последнее письмо к Шереметеву, процитированное графом в некрологе:

³⁸ Дневник 6, л. 176.

Скончался Смоленский. Известие это дошло по телеграфу из Васильсурска 20 июля, в день «Илии — гремящего Пророка». В последнем письме своем ко мне, от 5 июля сего года, он говорил:

«Пишу вам, подъезжая сверху из «Лесов» к Нижнему, проведя уже двое суток на чистом воздухе родной Волги, слушая северную, певучую русскую речь, глядя на уцелевшую еще простоту взаимного обращения, любясь уцелевшей еще массой лесов, многоводием рек...»

«Пишу вам, вместе как бы прощаясь с Волгой, как бы предчувствуя, что более уже не увижу эту красоту, восхищавшую меня с детства. Я чувствую, что жизнь моя кончается, мои силы текут во все стороны, как из старой прогнившей посудыны...»

Письмо кончается словами: «К 15 буду в С.-Петербурге».

Но Господь судил иначе. Теперь он на своей родине в Казани, где и погребен.

Не время теперь говорить об этом особенном человеке. Он служил своей Родине верою и любовью, и Родина его не забудет. Не заглохнет и то дело, которым он жил, отдав на него лучшие свои силы.

Г. С. III.

Михайловское, 21 июля 1909 года³⁹.

* * *

В заключение необходимо сказать несколько слов о дальнейшей судьбе графа С. Д. Шереметева и его семьи, о событиях, до которых не дожил Смоленский.

Невольно задаешь себе вопросы: что бы делал Степан Васильевич после 1917 года, как бы он отнесся к происходившему тогда — например, к разгрому своего любимого Синодального училища? к закрытию храмов Московского Кремля? к выборам патриарха? к процессам над хорошо знакомыми ему архиереями и церковными людьми? к изъятию церковных ценностей? Этого нам, конечно, никогда не узнать, но есть свидетельства о том, что делал в это время Шереметев-старший (Шереметев-младший, то есть Александр Дмитриевич, срочно эмигрировал с семьей).

Поведение Сергея Дмитриевича и его близких было достойным, хотя потери семья в первые же революционные годы понесла очень тяжелые: в начале 1918 погиб муж одной из старших внучек (князь Борис Вяземский), были арестованы и в начале 1919 расстреляны оба зятя Шереметева — А. П. Сабуров и граф А. В. Гудович, потом беда разразилась и над другими.

³⁹ Г[раф] С[ергий] III[ереметев]. Памяти Степана Васильевича Смоленского. М., 1909.

Сергей Дмитриевич скончался в Москве, в Воздвиженском доме 4/17 декабря 1918. С апреля 1917 вся семья собралась в этом доме, и Шереметев, насколько можно судить, не выходил или почти не выходил оттуда: у него развивалась гангрена ног.

За год до смерти, то есть в декабре 1917, пытаюсь спасти петербургский Фонтанный дом от разрушения, Шереметев решил передать его государству. Он послал в Петроград своего сына Павла. Павел Сергеевич встретился с народным комиссаром просвещения А. В. Луначарским, и 5 декабря 1917 тот подписал удостоверение о сохранении Фонтанного дома. Однако 17 января 1918 в печати появилось сообщение о том, что пустующий за отсутствием владельца дворец Шереметева на Фонтанке реквизируется для нужд Комиссариата по иностранным делам. П. С. Шереметев снова отправился в Петроград, и в результате хлопот 27 января 1918 был назначен «комиссар и ответственный хранитель» дворца.

В декабре 1917 или в самом начале 1918 Сергей Дмитриевич совершил еще один юридический акт: добровольно передал государству имения Кусково, Михайловское, Остафьево. В Фонтанном доме, передававшемся с целью устройства в нем Музея дворянского быта, оставались нетронутыми все библиотеки и коллекции; равным образом все оставалось на месте и в имениях. Можно полагать, что, с одной стороны, Шереметев стремился как-то обезопасить себя и семью, а с другой, — и это наверняка было для Сергея Дмитриевича главным, — стремился сохранить от разгрома восстановленные им старинные дома и имения. Насколько можно судить, покидать Россию Сергей Дмитриевич, в отличие от брата, отнюдь не собирался.

К 1917 его семья состояла из 28-ми человек (жена, дети, внуки). По дневниковым записям двоюродного брата Сергея Дмитриевича, Бориса Борисовича Шереметева, в день кончины главы семьи в Воздвиженском доме отсутствовали сыновья Дмитрий, который со своей многочисленной семьей находился на Кавказе, Сергей, Борис, оба зятя и старший внук Сабуров — все они сидели в Бутырской тюрьме. Дмитрий, Борис и Сергей Сергеевичи впоследствии эмигрировали, так же как жена и младшие дети Петра Сергеевича, скончавшегося в 1914. Присутствовали в Воздвиженском доме Екатерина Павловна Шереметева, обе дочери, сын Павел Сергеевич, некоторые из младших внуков. Одну из панихид по Сергею Дмитриевичу служил упоминаемый в разных томах РДМ пресвитер Успенского собора Кремля Иоанн Сергеевич Воздвиженский; отпевание совершалось в приходской церкви епископом Трифоном (князем Туркестановым) вместе с Воздвиженским, приходским духовенством, священником из Странноприимного дома А. В. Поповым, священником из Михайловского и священником И. И. Кедровым из Сокольников. Далее, как пишет Б. Б. Шереметев, «тело повезли в Новоспасский монастырь, похоронили Серезу на новом кладбище, против церкви св. Николая Чудотворца, так

как монастырь закрыт, там сидят разные арестованные, и монахов нет, осталось всего человек 5 — 6»⁴⁰. Родовая усыпальница Шереметевых в Новоспасском монастыре с конца XVIII века находилась в крипте Знаменской церкви (эта церковь, построенная Николаем Петровичем Шереметевым, сохранилась, реставрируется). Так называемое «новое кладбище», на котором похоронили Сергея Дмитриевича, ныне не существует...

Есть прекрасный источник, по которому можно судить о последних месяцах жизни С. Д. Шереметева: дневник его невестки, жены Бориса Борисовича Шереметева. Ольга Геннадьевна Чубарова, выпускница Женевского университета по общественным наукам, успешно учившаяся живописи в Париже и по возвращении в Россию вышедшая замуж за Бориса Борисовича Шереметева, жила во флигеле Воздвиженского дома. Здесь родились ее дети, здесь в 1919 скончался от тифа ее муж и здесь в августе 1941 она была убита бомбой при авианалете немцев на Москву. Ольга Геннадьевна была не только очень образованным, но и очень трезвым, сдержанным, стойким человеком; она пользовалась уважением и симпатией Сергея Дмитриевича, и в ее дневнике за 1917—1918 много раз возникает его имя.

Обитатели Воздвиженского дома, расположенного близ Кремля, находились словно в осаде, каждый день ожидая стрельбы или обысков. По вечерам они часто собирались вместе, обсуждали текущие события, но больше — вспоминали, говорили о разных исторических эпохах, иногда читали вслух, преимущественно стихи и мемуары. Из дневника Ольги Геннадьевны мы узнаем темы некоторых бесед; в хронологическом порядке: личность Победоносцева, царевич Алексей Петрович, террористические акты в России, Лжедмитрий (Сергей Дмитриевич отстаивал свою прежнюю точку зрения на Самозванца как настоящего сына Ивана Грозного), поэзия Голенищева-Кутузова, новооснованная Старообрядческая народная академия, архимандрит Фотий и графиня Анна Орлова-Чесменская, великий князь Константин Николаевич и его братья, Николай I (которого Шереметев запомнил мальчиком в год его смерти) и проч. Из дневника узнаем также, что 2 января 1918 Сергея Дмитриевича посетил в Воздвиженском доме патриарх Тихон, что в июле вся семья узнала о расстреле императора («Сережа очень расстроен убийством, хотя говорит, что это нужно было ожидать»⁴¹). Успел узнать Сергей Дмитриевич о том, что одну из его любимых усадеб — подмосковное Вороново, переданное им старшей дочери Анне, — разграбили и сожгли там архив, увидел он и начало «красного террора» после убийства Урицкого и выстрела в Ленина эсерки Каплан. 10/23 ноября в Воздвиженский дом «приехало несколько автомобилей с чекистами. Петерс во главе. Увезли всю переписку Сергея, все

⁴⁰ Шереметева О. Г. Дневник и воспоминания. М., 2005. С. 80.

⁴¹ Там же. С. 41.

золотые вещи, дневники, в общем на десять миллионов рублей золотом. Приехали, видимо, с целью арестовать Сергея, но он так плох, что уже несколько недель лежит в постели... К нему ворвались тогда, когда ему делали перевязки...»⁴² Именно в тот вечер арестовали сыновей, зятьев А. В. Гудовича и А. П. Сабурова, а также внука Бориса Сабурова.

Граф умирал в памяти и в сознании, исповедавшись и причастившись. 31 декабря 1917 он записал в дневнике: «Сохраним бодрость и верой и правдой возблагодарим Господа за все»⁴³. Он умирал в своем родовом гнезде, которое бабушка Сергея Дмитриевича называла «убежищем Шереметевых». В октябре 1903 граф написал очерк о Воздвиженском наугольном доме, заканчивающийся такими словами:

...Я сижу не только все в том же старом доме, но и в той же обстановке, с тем же видом на улицу и на Кремль. <...> Все тот же шум несется от мостовой, и тот же благовест призывает по утрам молящихся, те же люди спуют безостановочно в Казенную палату и движутся по панелям. Тот же все храм Воздвижения, упраздненный монастырь с красноречием своих стен, со своей святыней, и древность по-прежнему красуется на широкой улице. <...>

А зимою, какая тишина, какое успокоение!.. Санний путь и солнце, воздух свежий и живительный, золотые главы Кремля блестят яркими лучами, и звон этот дивный, с детства знакомый и родной, все по-прежнему ныне, как и всегда, пока стоять будет место свято, он будет разливаться по всей каменной Москве и от нее по всей земле Российской... Но когда же прекратится этот звон?.. Только тогда, когда не будет России⁴⁴.

В дни кончины Сергея Дмитриевича кремлевские колокола уже замолкли, но Россия оставалась, и в ней суждено было жить тем его детям и внукам, которые не покинули родную землю.

Марина Рахманова

⁴² Там же. С. 78.

⁴³ РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5062, л. 106. Цит. по: Ковалева М. Д. Некрополь Шереметевых в Москве // Московский некрополь. Материалы научно-практической конференции 31 марта — 1 апреля 1994. М., 1996. С. 80.

⁴⁴ Г. С. III. Воздвиженский наугольный дом. Вып. II. М., 1904. С. 11—12.

Шереметев — Смоленскому

[Москва], 24 июня 1894

Прошу на свадьбу 29 июня к часу дня Синодальный хор, человек 25, в кафтанах. Пение — простое, строгое, по чину.

При входе жениха и невесты два концерта по Вашему выбору¹.

Весьма сожалею, что не видел В. С. Орлова.

Граф Сергей Шереметев.

ОПИ ГИМ, ф. 379, № 4, л. 185

1. Это письмо и письмо от 7 августа 1899 находятся в составе подборки писем к Смоленскому московского периода, составленной самим адресатом и оставленной им на хранение в библиотеке Синодального училища после отъезда из Москвы. Имеется надпись рукой Смоленского: «*Письма Директора Капеллы Графа Сергея Дмитр. Шереметева*». Следует заметить, что после июня 1894 Шереметев совсем недолго оставался в Придворной певческой капелле, и вообще был не ее «директором», а «начальником».

В письме речь идет о пении Синодального хора на свадьбе старшей дочери графа — Анны Сергеевны (1873—1949), вышедшей замуж за Александра Петровича Сабурова (1870—1919); венчание состоялось в храме подмосковного имения Шереметевых — Кусково. В Воспоминаниях Смоленского, однако, как бы смешиваются две свадьбы в этой семье. Рассказывая о своем сближении с графом, Смоленский пишет:

При личном свидании с графом Сергеем Дмитриевичем еще задолго до этой свадьбы я решился, в свою очередь, предложить ему как вполне русскому человеку устроить пение на свадьбе его дочери также русское, православное, и поэтому просил его пожаловать в Синодальное училище, чтобы прослушать свадебные концерты Кастальского, тропарь венчания, прокимен и сктении. Граф приехал в тот же день и был совершенно удивлен и очарован; заметив такое благоприятное впечатление, я затащил графа в библиотеку рукописей, и здесь мы провели с ним в самой оживленной беседе гораздо большее время, чем предполагалось заранее (РДМ. Т. IV. С. 355).

Здесь речь идет уже о свадьбе младшей дочери С. Д. Шереметева — Марии Сергеевны (1880—1945), вышедшей за графа Александра Васильевича Гудовича (1869—1919). Свадьба состоялась в домовая церкви Живоначальной Троицы шереметевского Странноприимного дома в Москве в январе 1900. Под «свадебными концертами» и прочим имеется в виду цикл песнопений чина венчания А. Д. Кастальского (издан в 1902).

Смоленский — Шереметеву

Москва, 24 июня 1894

Ваше Сиятельство, Милостивый Государь, граф Сергей Дмитриевич.

Певчие в числе 25 чел. к назначенному времени будут под управлением г. помощника регента, ибо г. Орлов находится на Кавказе.

Надеясь вполне оправдать Ваше внимание к Синодальному хору, прошу Вас принять уверение в том, что Синодальные певчие особенно постараются угодить Вашему Сиятельству¹.

Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 2

1. Синодальный хор нередко принимал участие в разных церемониях, связанных с семьей Шереметевых. Так, через два с половиной года после свадьбы А. С. Шереметевой, в декабре 1896, Синодальный хор принял участие в отпевании Сергея Алексеевича Шереметева в церкви Симеона Столпника на Поварской:

Служил преосвященный Нестор, викарий Московский; протодиакон Шаховцов чудно прочел Евангелие. Синодальный хор пел прекрасно, церковь была полна (Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 3. М., 2005. С. 173).

Смоленский — Шереметеву

Москва, 8 августа 1899

Милостивый государь, граф Сергей Дмитриевич!

Позволяю себе предложить Вашему просвещенному вниманию мою небольшую последнюю статью «О собрании рукописей в Синодальном училище», изложенную мною в виде «краткого предварительного сообщения»¹.

Я не позволил бы себе затруднить Вас этим малым поднесением, если бы мне не была известна и высоко-симпатична Ваша деятельность в области родной художественной старины. Кратко написанное, но переполненное между строк, мое сообщение о неожиданных и огромных найденных мною богатствах в рукописях, смею думать, может занять Ваше просвещенное и к этому делу внимание.

Пользуюсь случаем уверить Вас, граф, в глубоком моем к Вам почтении, воспитанном мною к Вам с самого начала Вашей деятельности.

Вашего сиятельства покорный слуга

Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 3

1. Статья Смоленского «О собрании русских древнепевческих рукописей в Московском Синодальном училище церковного пения» публиковалась в течение 1899 на страницах РМГ и вышла отдельным оттиском.

Шереметев — Смоленскому

[Москва?], 17 августа 1899

Милостивый государь Степан Васильевич.

Примите живейшую мою благодарность за любезную присылку — вопросы, Вами затронутые, давно и близко меня интересуют. Мы сами недостаточно ценим свои сокровища, и исследования в этой области особенно своевременны и нужны.

Покойный Государь придавал им большое значение, и в его царствование я старался привлечь пр[отоиерея] Разумовского, лично представлявшегося Государю¹. У него сохранились богатые материалы, к сожалению они в руках полудикого сына...²

Наше общество «Ревнителей» в память Александра III³ названо нынешним Государем «святым делом». Оно должно служить *возрождению* всего родного...

Как давит иноземщина во всех видах! Дадим же ей дружный и твердый отпор!

Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.

С. Шереметев.

Почему бы Вам не вступить в число наших действительных членов?

ОПИ ГИМ, ф. 379, № 4, л. 186—186 об.

1. С. Д. Шереметев хорошо знал Д. В. Разумовского, встречался и переписывался с ним, в том числе по изданию Круга древнего знаменного пения в ОЛДП. Став начальником Придворной капеллы, граф пытался привлечь Разумовского к созданию истории этого учреждения, и ученый дал свое согласие. В фонде Разумовского в РГБ находится множество подготовительных материалов по истории Капеллы, однако никакого связного текста не осталось: Дмитрий Васильевич не успел его создать. По инициативе Шереметева Разумовский представлялся императору Александру III после выхода знаменного Круга. Этот эпизод с юмором описан в Мемуарах графа:

Оригинален был прием протоиерея Разумовского, известного знатока древнего крюкового пения, но человека с большими странностями. <...> Так, для подкрепления своих слов при разговоре о древних напевах он в кабинете у него громко запел, и это государю особенно понравилось (Шереметев С. Д. Мемуары. М., 2001. С. 540).

2. Сын Д. В. Разумовского — псаломщик Михаил Дмитриевич Разумовский — судя по документам, помогал отцу в его научной работе.

3. Имеемся в виду Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, организованное по инициативе и под руководством Шереметева. Устав Общества ревнителей был утвержден в 1895; цель Общества обозначена в нем как «умножение и распространение знаний по отечественной истории в духе русских начал, проявленных в славное царствование в Бозе почившего Государя» (Устав... СПб., 1895. С. 3). Общество должно было собирать и обрабатывать сведения о данном царствовании, издавать периодику и книги по русской истории, учреждать книгохранилища, читальни, народные школы, снабжая их соответствующей литературой. Руководство осуществлялось Советом из 12 членов. В первый состав Совета вошли известные поэты А. А. Голенищев-Кутузов (секретарь Общества) и А. Н. Майков, князь С. Д. Горчаков, будущий министр внутренних дел Д. С. Сипягин и др. Членами Общества с момента его основания были, в частности, князь П. Д. Святополк-Мирский (основал Пензенское отделение), актер и писатель И. Ф. Горбунов, журналист В. А. Грингмут, граф А. В. Гулявич. Отдельным пунктом в уставе было записано проведение торжественного собрания с приглашенными лицами в день рождения Александра III — 26 февраля; непременной частью этого собрания являлась панихида по императору и чтения о нем. Так, например, на первом годовом собрании в феврале 1897 хор певчих Государственного контроля исполнил догмагик 5-го гласа «В Чернем мори», член общества (упоминаемый далее в письмах) протоиерей П. А. Смирнов прочел речь «Завет Царя-миротворца», а известный искусствовед А. В. Прахов — доклад «О влиянии Александра III на возрождение русского национального искусства»; кроме того говорил С. Д. Шереметев и звучали стихи А. Н. Майкова и А. А. Голенищева-Кутузова.

Смоленский стал членом Общества ревнителей в 1901. Его деятельность там носила иной характер, чем деятельность в ОЛДП. Смоленский представлен в издательском каталоге Общества своей Панихидой для мужских голосов (звучавшей на годовом собрании Общества), брошюрой в защиту образования инородцев по системе Ильминского (см. в комментариях далее) и участием в собранном С. А. Рачинским «Татевском сборнике» (статья, точнее — фрагмент письма, о русском колокольном звоне). В его обязанности как члена Общества входила также подготовка музыкальной программы для ежегодных торжественных заседаний; упоминания об этом см. в дальнейших письмах и комментариях.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 27 января 1900

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Мне было бы весьма приятно доложить Вам предварительно о главнейшем содержании реферата, который так любезно предложено мне доложить

в Обществе Любителей древней письменности¹. Я получил из Археологического Института свои фотографии, бывшие на палеографической выставке² и потому могу демонстрировать их перед Вами в небольшой промежуток времени. Вы изволите весьма порадовать меня, если Вам угодно будет назначить время, когда я мог бы надеяться заинтересовать Вас столь любимым мною предметом.

Вашего сиятельства покорный слуга
Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 4

1. Речь идет о чтении в ОЛДП доклада Смоленского «О древнерусских певческих нотациях»: оно успешно прошло 26 января 1901 (см. раздел «ОЛДП» в Приложении к книге).

2. О палеографической выставке, проводившейся петербургским Археологическим институтом в конце 1899, в Воспоминаниях Смоленского говорится:

...Благодаря выставке... я усиленно занимался составлением коллекций фотографических снимков с образцов всякого рода и времени русских певчих рукописей. Эту коллекцию я экспонировал на выставке и делал о ней сообщение при самом открытии. Этой же поездке я обязан и подробным ознакомлением моим с Благовещенским кондакарем Императорской Публичной библиотеки, равно и поисками за надобными материалами в московских библиотеках и Румянцевском музее (РДМ. Т. IV. С. 370).

Смоленский — Шереметеву

Москва, 23 июня 1900

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Не откажите благосклонно принять эту маленькую статейку, в которой Вы, вероятно, встретите много знакомых Вам старых имен¹.

Совершенно преданный Вам
Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 5 об. На визитке Смоленского

1. Опубликованная в РМГ (1900, № 15/16, 17) статья «80 и 60 лет назад. Заметки по документам семейного архива М. А. Веневитинова». Подробнее см. в комментариях к переписке с Волковой, родственницей Веневитинова.

Шереметев — Смоленскому

[Москва,] 28 июля 1900

Увы, многоуважаемый Степан Васильевич, никак не могу уделить теперь время, ввиду отъезда в Петербург сегодня вечером и множества домашних обязательств.

Позвольте надеяться, что обещанное чтение состоится в Императорском Обществе Любителей древней письменности.

Впечатление пения Синодального хора древних напевов подавляющее. Это верх совершенства!

Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.

С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 2

1. К словам графа о пении Синодального хора Смоленский сделал на полях примечание: *«Эти слова относятся к пению хором Синодальных певчих на свадьбе дочери графа Марии Сергеевны с графом Гудовичем, бывшей в церкви Странноприимного дома, у Сухаревой башни. Пели 3 свадебных концерта Кастальского, мои ектении и знаменныя прокимны и тропари».*

Правда, свадьба отделена от данного письма полугодом, и допустимо предположить, что Шереметев за это время мог неоднократно слышать хор в Успенском соборе, в том числе на службах Страстной недели и Пасхи в присутствии императора.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 9 сентября 1900

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Пишет мне С. А. Рачинский, что Вы изволили надумать о приглашении регентом в Михайловское одного из моих учеников и что С. А. уже ответил Вам по сему все надобное¹.

Душевнейше буду рад угодить Вам и, по ознакомлении с условиями, постараюсь выбрать подходящего человека, который бы сумел оправдать Ваши желания.

Часть реферата, приготовляемого мною для Общества в память Императора Александра III, но часть весьма малую и внешне интересную по снимкам образцов, успели у меня вытащить для Парижского Конгресса в июле этого года. Я не сумел противустоять просьбам друзей и, ввиду интереса иностранцев к нашей древнерусской музыкальной графике, уступил краткую главу для конгресса. Этот реферат был читан 25 июля под заглавием: *«De la séméiographie des anciens chants religieux russes»*², но, повторяю, что, излагая его я мог

иметь в виду только музыкантов и притом только иностранных, что, конечно, далеко разнится от русских слушателей, склонных более к историческому и художественному познанию и интересу.

Вместе с тем, неожиданно для себя, имею к Вам самую убедительную просьбу в Вашем совете и указании по одному делу неспешному, но для меня крайне важному¹. Я был бы бесконечно признателен, если бы Вы позволили мне явиться к Вам в Ваш приезд в Москву.

Вашего сиятельства усердный слуга
Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 6—6 об.

1. Смоленский писал Рачинскому 8 сентября 1900:

Шереметеву напишу в Михайловское все надобное, так как очень нравится мне этот человек. Мы пели на свадьбе у его дочери в прошлом лете, и я уговорился с ним, прося его позволить пропеть свадьбу «по-русски», то есть просто (мои Ектении в это время уже были), без концертов, называемых на нашем певческом языке «жениху, невесте поздравительный и разгонный». Граф внял моим убеждениям и сказал мне после свадьбы: «Вы действительно заставили молиться эту разряженную толпу, на меня эти напевы, особенно же три свадебных духовных стиха (из «Песни песней») знаменного распева произвели прямо подавляющее впечатление, именно русской службы». Этот случай сблизил меня с Шереметевым, ранее того не раз говорившего со мною об Обществе в память Александра III и о моем сотрудничестве.

(РНБ, ф. 631, № 116, л. 14—14 об.; см. также комм. к следующему письму)

Под «всем надобным» следует понимать сведения о регенте для церкви в подмосковном имении Шереметева Михайловское.

2. Это была инициатива приятеля Смоленского профессора Петербургской консерватории Л. А. Саккетти: он перевел реферат Смоленского (русское название — «О крюках древнерусской церковно-певческой нотации») на французский и прочел, вместе со своим собственным, на парижском конгрессе. В Воспоминаниях Смоленского говорится:

Саккетти читал о церковном пении и о Синаодальном хоре и училище рефераты свой и мой на съезде в Париже (РДМ. Т. IV. С. 371).

3. «Крайне важное дело» — план, возникший у Смоленского в связи с его конфликтами с А. А. Ширинским-Шихматовым: уйти с поста директора Синаодального училища и хора и заниматься только рукописной библиотекой; именно об этом он хотел посоветоваться с Шереметевым, однако тот предложил иной план (см. следующее письмо).

К осени 1900 отношения Смоленского с его начальником, прокурором Синодальной канторы А. А. Ширинским-Шихматовым, обострились настолько, что 6 сентября Смоленский написал Победоносцеву о желании выйти в отставку. Вскоре началась ревизия училища, во время которой Смоленский заявил, что может остаться на своем посту только при условии удаления прокурора. После этого уход самого Смоленского оказывался уже предрешенным.

В эти горькие и обидные дни, — пишет Смоленский в Воспоминаниях, — однако, загорелась у меня неожиданно новая надежда на удовлетворение — сношения с графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым и вполне неожиданная надежда на возможность получить место управляющего Придворною капеллою. <...> С редкою сердечностью и участием расспросил Шереметев о подробностях моего служебного положения и затем, ввиду расстройств Капеллы и общего признания А. С. Аренского за неудовлетворительно управляющего ею, предложил мне свои услуги, так как государь меня уже знает и так как ему, Шереметеву, бывшему начальнику Капеллы, очень с руки устройство меня в Капеллу ввиду предположения сделать начальником Капеллы его брата Александра (РДМ. Т. IV. С. 379).

Письмо Смоленского к Победоносцеву и сопутствующую переписку разных лиц см. в разделе «Переписка с К. П. Победоносцевым».

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 14 сентября 1900

Милостивый государь Степан Васильевич.

Прошу меня извинить за долгое промедление в ответ на любезное письмо Ваше, предупредившее мое к Вам обращение с той же просьбой. Мне особенно дорого было бы из Ваших рук получить сведущего человека, который мог бы поправить здесь дело с любовью к нему¹.

Позвольте отложить все до личного свидания: надеюсь в начале октября быть в Москве, и тогда заблаговременно сговоримся о дне и часе, когда Вас можно будет застать². Позвольте напомнить Вам любезное обещание прочесть в Обществе Древней Письменности кое-что о древнем нашем пении.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 3

1. В течение всего периода знакомства со Смоленским Шереметев обращался к нему с просьбами рекомендовать регента или певчих для домовых церквей — в имении Михайловское и в Фонтанном доме в Петербурге. В нескольких случаях эти рекомендации оказывались вполне удачными (см. далее).

2. 16-17 октября 1900 Смоленский встретился с Шереметевым в Москве, и они подробно обсудили вопрос о возможности переселения Степана Васильевича в Петербург, в соответствии с чем граф начал предпринимать разные «дипломатические шаги» для продвижения Смоленского в Капеллу.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 18 октября 1900

Рукопись Синодального училища № 74, л. 1-52, в 1/8 д[ести].

Рукопись имеет позднейшую дату 1663 г.

«Сказание о различных ересех и о хулениях на Господа Бога и на пречистую Богородицу, содержимых от неведения в знаменных книгах».

Это заглавие сочинения инока Евфросина (1651 г.) помещено в начале собственно «сказания», перед которым имеется небольшое предисловие, начинающееся словами: «Слово к читателем писания сего. Хотящие сие писание читати или прослушать, молю, первое, утвердити смысл вниманием», etc.

Библиографическая краткая справка: Полный текст «Сказания инока Евфросина» еще нигде не был напечатан, но, во внимание к важности сочинения, трактующего о недостатках и неудобствах раздельноречного (хомового) пения, во множестве сочинений цитован в отдельных выдержках теми авторами, которые имели у себя либо рукописи, либо известное Хлудовское описание, либо известное Сахаровское «Исследование о церковном русском песнопении». В частности, главнейшие выдержки напечатаны были в «Пращице» (СПб., 1726, л. 306а) Иеремии Епископа Нижегородского, у Бычкова в «Описании сборников Императорской Публичной библиотеки (Сборник XXIII, 7 отдел, XVII в.), равно как и в вышеуказанных «Описании рукописей Хлудова» (№ 91, XVIII в., ред. Попова) и у Сахарова (Журнал Министерства Народного Просвещения, 1849, Ч. LXI, II, л. 159—162). Менее значительные выдержки в известном труде Разумовского, также у о. Металлова, в брошюре «О хомовом пении» (Псков, 1879), у Каптерева и мн. др.¹

Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 7—7 об.

1. Назначение этой «справки» — дать Шереметеву материал для включения «Сказания инока Евфросина» в издательский план ОЛДП. О судьбе проекта см. в следующих письмах и комментариях.

Упомянутые труды:

«Пращица» — сочинение противостарообрядческое не Иеремии, а Питирима,

епископа Нижегородского, с 1724 архиепископа Нижегородского и Алатырского (СПб., 1721; М., 1726);

«Хлудовское описание» — Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. Сост. А. Н. Попов. М., 1872;

труд И. П. Сахарова «Исследование о русском церковном пении» опубликован в указанном Смоленском источнике в томах 61, 63 и вышел отдельным оттиском;

под «известным трудом Разумовского» подразумевается, конечно, «Церковное пение в России» (М., 1867—1869), «у Металлова» — в труде В. М. Металлова «Очерк истории православного церковного пения в России» (Саратов, 1893);

брошюра «О хомовом пении» приписывается Гавриилу Артамонову (этот текст вышел в Трудах Киевской Духовной академии, а затем отдельным изданием во Пскове);

«у Каптерева» — в трудах крупного историка Николая Федоровича Каптерева (1847—1917), посвященных эпохе раскола (главный труд — «Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов» (М., 1887)).

Смоленский — Шереметеву

Москва, 12 ноября 1900

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич.

Я не мог ответить своевременно на Вашу любезную депешу¹, так как по случаю моей болезни был прекращен всякий доступ ко мне какой бы ни было корреспонденции. Теперь переживаю сладкую пору возвращающегося, кажется, прежнего здоровья и потому пишу Вам.

Я уже решил перед болезнью, да и в передышки между ее обострениями, что самое выгодное для меня опять возвратиться к старому плану работ, то есть представить для Общества любителей древней письменности уже написанную работу о русской певческой семиографии и развитии ее по векам до Никоновой реформы. Вы вероятно изволите припомнить из нашей последней беседы, что я посылал небольшую часть этой статьи на конгресс в Париж и что мои домашние занятия с минувшего декабря-января так ушли вперед, что мне представляется возможным составить из прежде написанного и нового такой доклад, который не утомил бы неспециалистов и, может быть, даже остановил бы их внимание на этом предмете.

Я был так уверен в том, что сначала представлю Вам «Сказание инока Евфросина...», я так увлекся перепискою этого памятника для Общества, что даже не вытребовал моего черновика первой работы от одного приятеля в Петербурге и только сейчас, вместе с этим письмом, делаю это.

Причина такой задержки заключается в следующем: я докладывал Вам, что имеющийся экземпляр «Сказания» в библиотеке Синодального училища недостаточно полон и корректен и необходимо будет выправить его текст по экз. № 91 Хлудовского, что в Преображенском, собрания рукописей². Эта

часть во всей полноте нашего училищного списка мною уже переписана и выверена. Но эта же часть убедила меня в существовании при «Сказании» значительного продолжения, мне еще не бывшего известным. Эта же часть, по дальности Преображенского и по более чем простодушным условиям работы в Хлудовской библиотеке, наградила меня столь обычной инфлуэнцей, от которой пришел в себя лишь сегодня утром. Поэтому, так как я полон желания угодить Вам, я рассудил, что домашние занятия и в своей теплой библиотеке самым легким образом приведут к скорейшему окончанию первой работы; вместе с тем минуют и холода, при которых мне ныне занятия в Хлудовской библиотеке были бы прямо рискованными.

Позволяю себе сердечнейше благодарить Вас еще раз за столь полный для меня всякой надежды и радости наш последний разговор на Воздвиженке. Я полагаю, что у меня хватит силы и умения оправдать Ваше снисходительное ко мне внимание и доверие.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 8—9

1. Телеграмма Шереметева не сохранилась.
2. Собрание рукописей Хлудова находилось тогда в единоверческом монастыре на территории Преображенского кладбища.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 1 декабря 1900

Глубокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Начинаю только еще оправляться от болезни, вконец меня истомившей. Однако вместе с тем приближаюсь к окончанию реферата «О русских певческих нотациях», который имею в виду предложить Вашему снисходительному вниманию с просьбою позволить мне прочесть в январских заседаниях Общества Любителей, то есть или 12-го или 26 января.

В этом реферате есть несколько фотографических снимков с рукописей русских с нотациями разных систем, а также с греческой, болгарской и сербской нотаций. Я предполагал бы за лучшее экспонировать их гг. слушателям с помощью волшебного фонаря и моих устных толкований, но не знаю, принято ли и допустимо ли то в общих собраниях Общества. Если это возможно, то по получении Вашего на то разрешения я немедленно распоряжусь изготовлением этих снимков для фонаря, так как фотография при Синодальном училище имеется своя, домашняя. Если это недопустимо или почему-либо неудобно, то желалось бы знать заранее о более удобной форме предварительного ознакомления слушателей с видом разного певческого письма. Я упо-

требил все усилия к тому, чтобы оживленная речь и сравнительное демонстрирование могли заинтересовать слушателей даже в таком совершенно специальном деле, как вопросы о древних нотациях. В досугах минувшей трехнедельной болезни реферат был продуман вновь и теперь переписывается заново от начала до конца именно в целях общедоступного изложения и связи его подробностей с данными филологии языка и русской истории. С сердечною радостью приближаюсь сейчас к скорому окончанию реферата и озабочен лишь вопросом частным, то есть об удобстве для господ слушателей в смысле большей для них наглядности приводимых примеров.

Надеюсь, глубокоуважаемый граф, что Вам будет угодно не отказать мне в сообщении Вашего взгляда по вышеуказанной частности предполагаемого чтения.

С чувством глубокой признательности имею честь быть Вашим преданным слугою

Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 10—10 об.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 7 декабря 1900

Милостивый государь Степан Васильевич.

Спешу Вам сообщить карточку наших заседаний. Мы будем ожидать Вас на 26 января. Фонарь вполне возможен¹. Слава Богу теперь на юге — успокоилось. Вчера получил от Государя милостивую телеграмму, в которой он добавляет о получении моего к нему «письма». Это то письмо, о котором я Вам, кажется, писал².

До свиданья. Надеюсь до праздников побывать в Москве. Не забудьте любезное обещание насчет псаломщика-регента.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 4

1. Шереметев посылал Смоленскому расписание заседаний ОЛДП на текущий сезон, а также сообщал о возможности использовать проектор для иллюстрирования чтения «О древнерусских певческих нотациях».

2. Письмо, в котором Шереметев сообщал Смоленскому о своем обращении к императору по поводу перевода Степана Васильевича в Капеллу, не сохранилось.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 9 декабря 1900

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Дело о подыскании регента-псаломщика в с. Михайловское налажено, как кажется, удачно для будущего. По рекомендации знающих людей из наставников Московской духовной семинарии я остановил свое внимание на Вас. Толгском, кончившем курс в этом году, опытном учителе школы, опытном регенте и певце, обладающем толком и вкусом к хорошей музыке; мне известно также, что г. Толгский уживчивый, умный человек и ведет себя безукоризненно, холост, 20—21 года¹.

Вероятно, в Ваш приезд в Москву Вы позволите представить Вам г. Толгского. Я же постараюсь вникнуть в него еще подробнее.

Сердечнейше благодарю Вас за депешу и письмо. К изготовлению снимков уже приступлено, и я надеюсь оправдать Ваше снисходительное доверие к моим силам хорошо, сколько сумею, отделанным рефератом «О церковно-певческих нотациях».

26 января и для меня удобнее 12-го, так как все же придется поправить частности реферата в интересах слушателей, которых я стараюсь увлечь в такую специальную область древней письменности.

Боюсь сказать что-либо относительно известной депеши, в которой добавлено о получении Вашего «письма». Бог даст, придет время, когда Вам угодно будет увидеть, как я постараюсь умненько и умеренным способом оправдать Ваши ожидания. Бог даст, Вы увидите, какого верного и преданного работника, живо чувствующего и ценящего Ваше внимание, Вы приобрели уже в сердечно преданном Вам покорном слуге

Ст. Смоленском.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 11—11 об.

1. Этот кандидат по каким-то причинам Шереметеву не подошел.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 22 декабря 1900

Милостивый государь Степан Васильевич.

Мне очень досадно, что в бытность мою в Москве не удалось повидать Вас и переговорить. Времени было мало, а морозы лютые. Будем ожидать Вас в Петербурге с обещанным чтением, для заседания конца января.

Живется суетно. Время летит, а половины не успеешь сделать.

Преданный Вам С. Шереметев.

С Императрицей М[арией] Ф[едоровной] имел разговор о Капелле и о Вас. Теперь увидим, что скажет Г[осударь]. Когда он вернется, я буду ему представляться, и вероятно он заговорит по поводу моего письма¹.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 5

1. Шереметеву удалось поговорить с императором о новых назначениях в Капеллу, о чем он сообщил Смоленскому при их ближайшей встрече в Москве 17 января.

23 января 1901 Смоленский выехал в Петербург для чтения сообщения в ОЛДП. Он сразу же встретился с Шереметевым, поскольку заседания Общества проходили в Фонтанном доме графа. Не до конца уверенный в возможности своего перевода в Капеллу, Смоленский накануне чтения, 25 января, встретился с Победоносцевым, который подтвердил, что Ширинский-Шихматов остается на своем посту и пообещал выхлопотать Смоленскому, в случае его ухода из Синодального училища, повышенную пенсию. 26-го вполне удачно прошло чтение в ОЛДП, и 27 января из разговора с Шереметевым Смоленский узнал, что вопрос о его перемещении в Придворную капеллу «решен окончательно». Степан Васильевич решил задержаться в Петербурге на несколько дней, рассчитывая получить официальное подтверждение этой новости. Однако оформлению перевода в Капеллу сопутствовали различные интриги — как придворные вообще, так и исходившие лично от Ширинского-Шихматова, который, по словам Смоленского, «через Озеровых в Аничковом дворце», то есть через своих родственников в окружении вдовствующей императрицы, которая жила постоянно в Аничковом дворце (в частности, фрейлины Екатерины Сергеевны Озеровой), «пустил в ход решительно все, чтобы затормозить дело» (РДМ. Т. IV. С. 399).

В результате приказ о назначении Смоленского состоялся только 8 мая, и весь этот период оказался для него очень беспокойным (см. следующие письма).

Смоленский — Шереметеву

Москва, 24 декабря 1900

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я только что хотел писать Вам, чтобы поделиться с Вами моею тихою радостью, как вдруг получаю Ваше любезнейшее письмо, наполнившее вновь мою душу чувством самой глубокой признательности.

Благодарю Вас, граф, от всего сердца, от всей души. Не знаю, чем отблагодарить Вас еще, кроме честного обещания действительно оправдать Ваше снисходительное внимание и действительно потрудиться там, куда может быть прикажут мне идти, потрудиться не самоуверенно, а всю силою моей любви к делу и моего некоторого знания и опыта. Глубоко радуюсь доброму началу этого дела.

Позволяю сказать и о себе. Я очень люблю часы вечера перед Рождеством, Новым годом и Пасхой. Моя одинокая елка сегодня украсилась совершенно законченным, выправленным рефератом, в который сегодня вложены последние недостававшие фотографии. Вам знакомо чувство удовлетворения после окончания письма сочинения, радующего сердце автора удачею. Я глубоко наслаждался за письмом реферата «О русских певческих нотациях» и сердечно благодарю Вас за это наслаждение, так как благодаря Вашему желанию я могу поделиться действительно интересными новостями моей скромной и молодой науки. С глубоким чувством удовлетворения собираюсь читать вечером 26 января, надеясь не наскучить содержанием моего труда, несмотря на всю его специальность. До этого времени отдохну головой и, вероятно, успею еще улучшить общедоступность моего изложения. Надеюсь, что минут 40-45 будет позволено уделить на мою долю, так как в этот срок можно неторопливо успеть прочесть главнейшие части реферата и продемонстрировать снимки волшебным фонарем. Если этот срок велик — могу сократить чтение. Если же можно будет воспользоваться, например, двумя сроками по 30 минут, с перерывом между ними, то будет для меня удобнее. Я позволяю себе докучать Вам этими мелочами именно ввиду того, что мне не хотелось бы в чем-либо нарушить порядки заседания, хотя бы и из излишнего усердия. Приветствую с праздником.

Сердечно признательный Вам Вашего сиятельства преданный слуга

Ст. Смоленский.

Р. С. Позволяю себе сделать приписку: давно я писал в Михайловское Владимиру Карловичу¹ о надобности для переговоров о регенте-псаломщике иметь мне в руках краткие сведения об условиях жизни и службы в Михайловском, так как каждый претендент вполне естественно о том спрашивает, а отвечать мне на память или предположительно не совсем удобно, да и не ведет дело далее.

Только третьего дня я получил известие, что ответ последует с Вашего указания. Между тем подвертывается человек еще лучше Толгского, идущий еще охотнее, которого упустить было бы прямой неудачей, а получить — прямым приобретением. Этот человек Мих. Мих. Серединский, кончивший курс Московской духовной семинарии по 1 разряду в 1899 году — *отличный* регент и учитель, отличный по скромности, умный и знающий, трезвый, холостой, рвется из Москвы за город. Я предпочел бы его Толгскому — кстати, ищущему место за пропуском нами некоторого времени. Серединский может ждать места, ибо он сейчас учителем школы при Чудовском хоре и инспектирует мальчиков, но все же лучше залучить его скорее².

Если будет кстати, если то понадобится, то позволяю себе доложить Вам, что Государь Император изволил слышать Синодальный хор очень много раз, до 20, и много раз изволил высказывать милостивое свое одобрение. Великий Князь Сергей Александрович, во дворце которого Синодальный хор давал духовный концерт в присутствии Их Величеств 21 апреля с. г., предста-

вил меня Государю, удостоившему меня разговором и, наконец, вопросами: «Давно вы директором Синодального хора? — 11 лет, Ваше Величество. — Так это при вас Синодальный хор достиг такого совершенства?» Я был поставлен в затруднение и не сразу нашелся. Государь улыбнулся и услышал мой ответ, что хорошее пение хора есть результат труда совместного, моего и сослуживцев. Государь затем милостиво вспомнил об успешном нашем концерте в Вене, после освящения посольской церкви, и разговор кончился.

Это было в антракте концерта. По окончании его, когда хор экспромтом пропел, буквально а *prima vista*, хор Чайковского «Был у Христа-младенца сад» (не певшийся 6 лет, о чем и было предварительно доложено), Государь вновь изволил подойти к хору и высказать свое полное удовольствие в самых незабвенных для нас выражениях. Тут же Государь вновь обратился ко мне с выражениями одобрения, вспомнив, что соборная литургия 2 апреля, повторенная во дворце по желанию Его Величества, была исполнена во дворце еще лучше и доставила Ему удовольствие именно русским у нас направлением¹.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 12—13 об.

1. Владимир Карлович Шлипс — управляющий в Михайловском.
2. М. М. Серединский тоже не стал регентом Михайловской церкви.
3. Эпизод, связанный с пребыванием императора с семьей в Москве на Страстную неделю и Пасху 1900 года, более подробно изложен в Воспоминаниях Смоленского.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 31 декабря 1900

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Приветствую Вас с Новым годом. Прошу принять мои пожелания Вам доброго здоровья и тихой радости в своей семье, радости и удачи в полезнейшей Вашей деятельности, столь достойно и глубоко ценимой всеми.

Искренно Вам преданный Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 14

Смоленский — Шереметеву

Москва, 16 января 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за извещения о Вашем приезде. Прошу позволения быть у Вас завтра в 10 1/2 часа утра или несколько позднее.

Я озаботился предупредить о Вашем прибытии г. Серединского, о котором было мною доложено Вам как о человеке желательном для Михайловского.

Искренно признательный и преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 15

Смоленский — Шереметеву

Москва, 5 февраля 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я не в силах высказать Вам меру моей благодарности. Читаю между слов депеши¹, что Вам угодно было говорить с Государем обо мне и что результаты этой беседы благоприятны.

Вы изволили сами видеть, в каком жестоком, безотрадном состоянии духа я прощался с Вами, подавленный неожиданным напором темных и ловких сил, сбивших мою чистую и идейную службу в Москве. Я совершенно растерялся от внезапности и жестокости этого натиска.

Ваша депеша воскресила меня. Опять заработала голова. Начинаю писать служебный отчет за минувший год, чтобы освободиться от душевного гнета и набраться сил. Конечно, я не сделаю никакого шага без Вашего разрешения, чтобы не осложнить начатое и успевшее так окрепнуть под Вашим снисходительным ко мне вниманием.

Прошу Вас, высокоуважаемый граф, принять еще раз уверения в том, что я всеми силами постараюсь вполне оправдать Ваше доверие в будущей службе и научной работе.

Совершенно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 16

1. Телеграмма Шереметева не сохранилась.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 7 февраля 1901

Многоуважаемый Степан Васильевич!

Как Вам, быть может, известно, в то время, как М. А. Балакирев был управляющим Придворной Певческой Капеллой и полным хозяином по музыкальной части, с содержанием и квартирой, я лично, нося наименование Начальника Придворной Певческой Капеллы, должен был способствовать ограждению ее от «внешних» влияний¹. По-видимому Государю угодно, что-

бы повторилось подобное положение, и он наметил на мое место брата моего, Александра Дмитриевича. Последний, по уговору со мною и по личному влечению, уже заявил Министру Двора, что он может принять назначение лишь при условии назначения Вашего Управляющим Придворною Капеллою.

Позвольте надеяться, что такая комбинация Вас не смутит, тем более, что в моем лице будет постоянное содействие Вам, ибо моя цель — объединение сил на пользу дорогого нам дела.

Надеюсь, что при личном свидании я буду иметь возможность Вас успокоить и относительно прочности дела, выясненного к полному Вашему удовлетворению. Вообще необходим с Вами разговор, и после масленицы чем скорее, тем лучше.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 7-7а

1. См. раздел «Дело о церковном пении» в Приложении к книге. М. А. Балакирев был управляющим Придворной капеллой в 1883—1894; одновременно С. Д. Шереметев был ее начальником.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 9 февраля 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Совершенно растроганный Вашим столь счастливым для меня письмом и снисходительным вниманием и доверием графа Александра Дмитриевича, спешу сердечно, с глубокой верой в хорошее будущее ответить Вам: благодарю, согласен, обещаю служить честно и усердно.

Комбинация возможности моей будущей службы под начальством графа Александра Дмитриевича была указана Вами еще минувшею осенью. Ныне, глубоко чувствуя условия, указанные в Вашем письме с такою положительностью, представляю себе эту комбинацию как самую желательную, обещающую быть для дела действительно полезною и успешною.

Позволяю себе надеяться, что разговор, о котором Вы изволите говорить как о необходимом после масленицы и чем скорее, тем лучше, не будет отложен. По Вашему указанию я готов прибыть в Петербург без промедления.

Позволяю себе вновь просить Вас, высокоуважаемый граф, принять выражения моей сердечной Вам признательности.

Ваш искренно преданный слуга Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 17

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 10 февраля 1901

Радуюсь Вашему приезду. Шереметев¹*РНБ, ф. 855, № 30, л. 10. Телеграмма*

1. Основной целью нового визита Смоленского в Петербург с 13 по 18 февраля было знакомство с А. Д. Шереметевым и переговоры с ним. Для этого Смоленский должен был испросить позволение у своего непосредственного начальника — А. А. Ширинского-Шихматова. В подшивке писем Шереметева к Смоленскому (л. 9) имеется записка Ширинского, датированная 11 февраля:

Многоуважаемый Степан Васильевич, ввиду неотложной для Вас необходимости побывать в Петербурге я ничего не имею против завтрашнего Вашего отъезда.

Преданный Вам Кн. А. Шихматов.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 11 февраля 1901

Надеюсь не забудете обещанную рукопись для печати.

Г[раф] Шереметев¹*РНБ, ф. 855, № 30, л. 8. Телеграмма*

1. Речь идет о тексте для публикации прочитанного в ОЛДП сообщения «О древнерусских певческих нотациях».

Смоленский — Шереметеву

Москва, 11 февраля 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за депешу. Не думаю, чтобы мною было пропущено много времени, если я прибуду в Петербург во вторник. Так как мне представляется, что время от 5 до 6 ч. пополудни есть тот час, когда я могу быть в Вашем доме, то решаюсь просить Вас не отказать мне в передаче Ваших распоряжений относительно времени, когда бы я мог явиться к Вам. Буду просить и графа Александра Дмитриевича позволить мне явиться к нему, чтобы высказать ему всю меру моей признательности и готовности быть вполне к его услугам.

Совершенно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 18

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 15 февраля 1901

Ожидал Вас напрасно сегодня по обещанию. Крайне жаль. Посылаю Вам копию моего письма министру. Шереметев¹

РНБ, ф. 855, № 30, л. 11. Телеграмма

1. Как явствует из Дневника 2, Шереметев и Смоленский встретились 15 февраля вечером. Упомянутая копия письма Шереметева от 14 февраля к «министру», то есть к К. Н. Рыдзевскому, находится в той же подшивке (л. 12—12 об.):

Государю Императору благоугодно было говорить со мною о нуждах Придворной Певческой Капеллы. Он высказал сочувствие к возвращению того положения, которое было при мне, то есть когда были: 1) Начальник Капеллы, не получающий содержания, 2) Управляющий Придворною Капеллою и 3) его помощник по музыкальной части. Таковыми были при мне Балакирев и Римский-Корсаков.

Мне стало известным из недавнего разговора с Министром Императорского Двора, что выбор Его Величества остановился на моем брате графе Александре Дмитриевиче Шереметеве. С своей стороны последний высказал (в чем я вполне его одобряю), что он считает себя вправе принять это место лишь с условием одновременного назначения Управляющим Придворной Певческой Капеллой лица со специальною музыкальною подготовкою: таковым представляется ему Директор Синодального Певческого Хора в Москве Смоленский. Это крупная сила по специальности церковного пения, и приобретение ее для Капеллы должно неминуемо поднять ее музыкальное значение.

С своей стороны я лично докладывал о нем Его Величеству, лично оценившему заслуги Смоленского в последнее свое пребывание в Москве. Без одновременного назначения Смоленского назначение моего брата не достигнет цели и поставит его в крайне затруднительное положение.

Что касается до Ляпунова, то он при всех своих музыкальных достоинствах не мог бы претендовать на место Управляющего, ибо по церковному пению едва ли кто может теперь соперничать с Смоленским, не только по технике, но и по историческим знаниям всего прошлого церковного музыкального дела в России. Эта область мало известная и весьма существенная с истинно русской точки зрения. Ляпунов же с великою пользою мог бы занять то место помощника управляющего, которое при мне занимал Римский-Корсаков.

Убедительно прошу Ваше Превосходительство оказать благосклонное содействие к одновременному назначению в одном приказе Начальника Капеллы

и Управляющего оной с помощником, как то было, когда назначен был одним приказом с Балакиревым и Римский-Корсаков, о чем найдете все данные в делах Министерства.

Граф Шереметев.

Рыдзевский Константин Николаевич (1852—1929) — управляющий кабинетом его императорского величества. Министром императорского двора был барон (с 1913 граф) Владимир Борисович Фредерикс (1838—1927); в данный период Рыдзевский временно исполнял его обязанности.

Говоря о личной оценке заслуг Смоленского императором, Шереметев имеет в виду императорский рескрипт на имя митрополита Московского, где пение Синодального хора во время пребывания Николая II в Москве на Страстную неделю и Пасху 1900 оценивалось как «величайшая красота» (см.: Т. IV. С. 372—376). Тогда же Смоленский был представлен государю, который «наговорил... много любезного о впечатлениях, им полученных ранее от пения Синодального хора» (С. 376).

Сергей Михайлович Ляпунов стал помощником управляющего Придворной капеллой в 1894, вскоре после ухода с этого поста Н. А. Римского-Корсакова; предыдущий управляющий, М. А. Балакирев, стремился иметь в качестве помощника своего любимого и преданного ученика Ляпунова. Однако вскоре, в том же 1894, Балакирев был вынужден покинуть Капеллу, и управляющим был назначен А. С. Аренский, который, однако, как вскоре показал опыт, не справлялся со своими административными обязанностями и, кроме того, много болел. Естественно, что Ляпунов, известный и талантливый музыкант, сам мог рассчитывать в этой ситуации на место управляющего; что касается Балакирева, то ему и ранее виделся на месте музыкального руководителя Капеллы С. И. Тансев (категорически отказавшийся от подобной идеи). В результате и Ляпунов, и все лица из окружения Балакирева были разочарованы назначением Смоленского. Отношения Смоленского и Ляпунова, мягко говоря, не сложились (этому конфликту посвящены многие страницы Воспоминаний, он подробно освещается и в переписке Смоленского с С. С. Волковой), и вскоре Ляпунов ушел из Капеллы.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 19 февраля 1901

Сегодня был на набережной¹. Все решено согласно общему нашему желанию. Выезжаю Москву среду. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 13. Телеграмма

1. Шереметев, вероятно, хочет сказать, что договорился обо всем с императором. До этого, 16 февраля Сергей Дмитриевич вместе со Смоленским посетил Александра

Дмитриевича Шереметева. Впечатления от знакомства с новым начальником — довольно противоречивые — Смоленский изложил в Воспоминаниях:

[Он] казался совершенно не деловым человеком, не способным рассуждать о делах и действующим прямо под влиянием первого впечатления... Ш¹ решительно не может представить себе отказа в чем-либо... [Но] он вполне порядочен, благовоспитан и очень добр... (Т. IV. С. 436).

19 февраля Шереметев направил Рыдзевскому еще одно письмо, машинописная копия которого сохранилась в фонде Шереметевых в РГАДА, в деле, озаглавленном самим графом: «Дело о назначении Графа А. Д. Шереметева Начальником Придворной Певческой Капеллы и С. В. Смоленского Управляющим оною Капеллою» (РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3930, л. 6):

Милостивый государь Константин Николаевич.

Долгом считаю предупредить Ваше Превосходительство, что сегодня утром Государю Императору благоугодно было передать мне о назначении брата моего графа Александра Дмитриевича Начальником Придворной Певческой Капеллы, директора Московского Синодального училища церковного пения и Синодального хора статского советника Смоленского Управляющим Придворной Певческой Капеллою, присовокупив при том, что оба назначения должны быть одновременны в том же приказе по Министерству Двора. В то же самое время Государю Императору благоугодно было указать на увольнение ныне заведующего Придворной Капеллою Аренского по прошению от настоящей должности. При этом я доложил Его Величеству, что Вашему Превосходительству ничего об этом не было передано Министром Двора; на что Государь Император ответил: «Да, он не знает, но я ему скажу».

Позволяю себе высказать пожелание, чтобы для пользы дела и для прекращения неминуемых толков и слухов желательно бы ускорить доклад о назначении графа А. Д. Шереметева и Смоленского. Одновременно желательно предупредить г. Аренского о необходимости для него немедленной подачи прошения об увольнении от занимаемой должности. Меня удивляет, что он не сделал этого шага, так как имел полное основание заметить не раз неудовольствия Их Величеств.

Прошу Ваше Превосходительство принять уверения в совершенном моем почтении и преданности.

Граф С. Шереметев.

Очевидно, к тому же дню относится находящееся в том же деле письмо к Сергею Дмитриевичу его невестки, жены Александра Дмитриевича: тот сам беседовал с Рыдзевским, и последний заметил, что Аренскому, возможно, неудобно увольняться из Капеллы до окончания проходящей там ревизии, хотя за беспорядки в хозяйствен-

ной части Аренский не может отвечать, ибо «был приглашен специально для музыкальной части» (л. 2).

22 февраля Смоленский и С. Д. Шереметев встретились в Москве. В Дневнике 2 читаем:

Говорил утром с только что приехавшим С. Д. Шереметевым, сообщившим мне, что в понедельник Государь положительно обещал ему назначить в одном приказе графа Александра Дмитриевича и меня, сказав, что Он велит о том заготовить доклад. Другая часть беседы была посвящена рассказу Шереметева о его свидании с К.П. [Победоносцевым], который высказался обо мне отрицательно, в смысле обнаружившегося нежелания моего «подчиняться» князю [Ширинскому-Шихматову] и моей неисправности в ведении хозяйственной части. «Странны и возбужденны, — сказал Шереметев, — были эти отзывы, после всех тех наилучших о Вас отзывах, которые я сам слышал уже много лет» (л. 85).

Московская Контора Его Сиятельства графа Шереметева

Москва, 24 февраля 1901

Его Превосходительству
Господину Директору
Синодального училища
церковного пения в Москве
Степану Васильевичу Смоленскому

По поручению Графа Сергея Дмитриевича Шереметева Московская Контора Его Сиятельства, при сем прилагая пакет, адресованный на Ваше имя, имеет честь сообщить Вашему Превосходительству, что Граф очень сожалеет, что ему не удалось видеться с Вами лично, тем не менее если Вам будет угодно его видеть, то не будете ли Вы любезны пожаловать к 11 час. вечера на вокзал Николаевской железной дороги сего дня 24 февраля.

Прилагаемую бумагу по прочтении ее Вами благоволите возвратить Его Сиятельству¹.

Заведующий Конторою И. Рычков.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 14

1. «Прилагаемой бумагой» являлся ответ К. Н. Рыдзевского на приведенные выше письма к нему С. Д. Шереметева. Этот ответ, датированный 19 февраля, находится в том же деле (л. 14 об.) в виде копии рукой Смоленского:

Временно Управляющий делами
Министерства Императорского Двора

Милостивый Государь Граф Сергей Дмитриевич.

На письмо от 14 сего февраля считаю долгом уведомить Ваше Сиятельство, что я не премину при ближайшем всеподданнейшем докладе исправить непосредственно, как то установлено существующим законоположением, Высочайшее Его Императорского Величества повеление относительно перемен в составе управления Придворною Певческою Капеллою.

Пользуясь настоящим случаем, имею честь сообщить Вашему Сиятельству, для сведения, что Министром Императорского Двора еще 9-го сего февраля было сообщено Военному Министру о последовавшем 8 февраля Высочайшем повелении на назначение Исполняющим должность Начальника Придворною Певческою Капеллою брата Вашего ротмистра Графа Шереметева, с производством его в подполковники, если к тому не встретится препятствий со стороны Его Высокопревосходительства, но об исполнении означенного Высочайшего повеления до настоящего времени еще не получено уведомления.

Прошу Ваше Сиятельство принять уверение в совершенном моем уважении и преданности.

К. Рыздзевский.

Примечание С. Д. Шереметева: «Нужно бы поторопить Куропатку, иначе будет хороший предлог протянуть дело».

Смоленский — Шереметеву

Москва, 24 февраля 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за сообщение возвращаемого при сем письма г. Рыздзевского. Вчера вечером я видел в симфоническом собрании В. Н. Лясковского¹, от которого узнал о предстоящем Вашем отъезде сегодня с курьерским. Пользуясь любезным Вашим позволением проводить Вас, я прибуду к назначенному времени тем более, что вероятно мне удастся сегодня к вечеру совершенно закончить рукопись «О древнерусских певческих нотациях».

Усердно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 19

1. Лясковский Валерий Николаевич (1858—1938) — приятель Шереметева; писа-

тель, библиограф, автор ряда книг по истории московского славянофильства; орловский помещик; расстрелян в 1938.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 27 февраля 1901

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Сегодня опять был принят Государем и получил вновь полное удостоверение в одновременном назначении, в непродолжительное время. Я говорил о нежелательности промедления ввиду приближающейся Страстной недели. Прием был самый благосклонный. К тому же радостное семейное событие. В[еликая] Княжна Ольга Александровна выходит замуж за принца Петра Александровича Ольденбургского¹, прекрасного человека.

Как только будет движение — телеграфирую.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 15

1. Брак великой княжны Ольги Александровны (1882—1960), сестры Николая II, с принцем Петром Александровичем Ольденбургским (1868—1924) оказался неудачным, и в 1916 Ольга Александровна вступила во второй брак с Н. А. Куликовским.

К письму присоединено примечание Смоленского (л. 16):

С. А. Рачинский пишет мне из Петербурга от 4 марта: «Сегодня уезжаю в Татеву, не добившись окончательного решения Вашей судьбы. При свидании расскажу Вам о том лабиринте интриги, который разросся около этого дела. Впрочем, сейчас получил от Шереметева записку, в которой говорится:

“Чудно все делается, но надеюсь, что относительно Смоленского не будет дальнейших препятствий”».

Рачинский очень беспокоился по поводу промедления с назначением Смоленского и писал по этому поводу неоднократно Шереметеву и Победоносцеву (см. подробнее в Приложении к переписке с Победоносцевым).

Смоленский — Шереметеву

Москва, 1 марта 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Немногие Ваши строки, только что полученные мною, много успокоили мои тревоги, столь большие от постоянных со всех сторон расспросов и вы-

пытываний. Сердечнейше благодарю Вас за тот несравненный душевный покой, который так дорог мне в эти дни и так полно дан Вашим снисходительным ко мне вниманием.

Усиленно обдумываю будущее, рисуя его себе во всевозможных подробностях и припоминая все минувшие впечатления всякого рода. Предполагаю, что с этими обдумантыми мыслями, которые, конечно, будут кратко доложены Вам, я могу прибыть в Капеллу достаточно подготовленным для предстоящего нелегкого труда. Думаю однако, что мои предположения будут для Капеллы так доступны и так осуществимы, что там поймут всю меру желания добра, благодушия и взаимного удовлетворения, с какими я спокойно иду к началу моей новой службы.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 20

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 10 марта 1901

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Проводили мы отсюда С. А. Рачинского, который перед отъездом особенно участливо расспрашивал о Вашем деле¹.

Понимаю вполне испытываемое Вами теперь «нервное» состояние. Увы, кто из нас теперь не переживает печальных нервных дней; но не будем унывать, а сплотимся дружнее для борьбы!

Недавно пришлось мне быть у Рыздзевского, совершенно по другому делу, и мне стало ясным, до какой степени мое личное участие в чем бы ни было раздражает Министерство; но мы имеем право и полное основание быть покойными, лишь нужно немного терпения.

Переживаемые дни тяжелы, но и назидательны; да послужат они на пользу и на возрождение! Да хранит Вас Бог.

Сердечно преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 17

1. К этому письму Смоленский присоединил письмо к нему С. А. Рачинского от 12 марта 1901 из Татеево (л. 18—19):

Дорогой Степан Васильевич.

Пишу Вам в крайнем волнении. До меня дошла нелепая весть о покушении на жизнь Константина Петровича и лишь завтра могу узнать подробности.

Из Петербурга я выехал в день безобразий, происходивших у Казанского собора, после коих заезжал на Литейную [проститься]. Читал правительственное сообщение, а также студенческие бюллетени (гектографированные), которые почему-то мне высылаются.

О Вашем деле могу сообщить следующее. Государь неоднократно выражал желание видеть во главе Капеллы Шереметева и Вас (следовательно приказал). Противодействует Рыдзевский, заменяющий отсутствующего Фридрихса [Фредерикса] — под предлогом, что до новых назначений необходима ревизия Капеллы для выяснения возникших в ней беспорядков. Что Рыдзевский — тут орудие других лиц, видно из следующего.

Накануне моего отъезда у меня была А. Н. Нарышкина. Перед тем ее посетил Государь. Зашла речь о Капелле, и Государь спросил А[лександр] Н[иколаев]ну, знает ли она Вас? Она ответила, что не знает, но что старинный ее друг С. А. Р[ачинский] отзывался о Вас с безусловною похвалою. На это Государь сказал: «так Р. его хвалит? Очень этому рад».

Далее. За несколько дней перед тем С. Д. Шереметев встретил в Аничкове фрейлину Озерову, которая сказала ему: «А я иду к Государыне. Нужно предупредить ее насчет Смоленского, которого прочтат в Капеллу. А я слышу, что он — такой-сякой». — «Помилуйте, — отвечал Ш., — знаю его с наилучшей стороны. Еще лучше знает его Р[ачинский], который ручается за него во всех отношениях». — «Если так, — сказала Озерова, — ничего Государыне не скажу».

Вы видите, что пущена в ход клевета, источник коей определить не берусь. Надеюсь вскоре получить дальнейшие вести от С. Д. Шереметева. Во всяком случае, если состоится назначение А. Д. Шереметева и Ваше, Вам обоим предстоит задача нелегкая. Придется вам очищать авгиевы конюшни.

Да хранит Вас Бог.

Преданный Вам С. Рачинский.

Газета «Московские ведомости» в номере от 10 марта 1901 сообщала:

В ночь с 8 на 9 марта прибывший из города Самары сын титулярного советника Николай Константинович Лаговский, служащий статистиком Самарской губернской управы, подойдя к дому обер-прокурора Св. Синода на Литейном проспекте, к освещенным в нижнем этаже окнам кабинета, в котором в это время занимался действительный тайный советник Победоносцев, произвел по направлению к письменному столу два выстрела, затем еще один выстрел в окно швейцарской, а четвертый выстрел дал осечку. К счастью, пули, направленные злоумышленником, ударили в потолок.

Это происшествие отражено в письме Победоносцева к Рачинскому, написанном буквально сразу после покушения:

8 марта 1901. 12 1/2 часов ночи

Сейчас в меня стреляли.
 Стрелял с улицы в окно,
 в той комнате, где вы жили.
 Снизу вверх — стало быть не
 в упор. А я в эту минуту
 выходил в овальный кабинет.
 Слышу 3 выстрела. Пробили
 Стенки — пули нашли на полу.
 Поймали стрелявшего —
 Студент в очках. Я совсем спокоен,
 но Катя, конечно, в огромном волнении.

(РНБ, № 119, л. 16)

Как отмечают историки, покушение Лаговского имело целью не столько убийство, сколько устрашение обер-прокурора, и это было не последнее из посягательств на его жизнь.

По поводу благополучного исхода происшествия 10 марта в Синодальном училище было совершено молебствие при пении полного состава Синодального хора.

В письме Рачинского упоминаются следующие лица:

Нарышкина Александра Николаевна (1839—1919) — статс-дама, жена обер-гоф-маршала Александра III Э. Д. Нарышкина; впоследствии близкая приятельница Смоленского. Эммануил Дмитриевич Нарышкин, внебрачный сын императора Александра I, был крупным благотворителем в области народного образования, и его супруга, урожденная Чичерина, сестра известного московского деятеля Б. Н. Чичерина, после кончины мужа (в декабре 1901) поддерживала эту традицию. В силу своей близости к императорской семье А. Н. Нарышкина бывала в курсе всех «подводных течений».

Озерова Екатерина Сергеевна (1850-е—1921) — камер-фрейлина двора вдовствующей императрицы Марии Федоровны, дочь командира полка Свиты Его Императорского Величества генерал-майора Сергея Петровича Озерова. «Катя Озерова» неоднократно упоминается в переписке императрицы Марии Федоровны и ее дневниках. Е. С. Озерова была родственницей А. А. Ширинского-Шихматова: мать его жены Леокадии Петровны Мезенцовой (1863—1944) — Мария Николаевна, урожденная Озерова.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 12 марта 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за столь успокоительное письмо. До 8 марта я был в отпуске, сдав все дела и поджидая вестей из Петербурга. Затем отпуск

мой продолжен бессрочно, и именно нервные дни посетили меня, несмотря на всю мою веру в будущее и отрадную работу по страницам Воскресенского древнейшего Ирмолога. Действительно, к тому же, тяжелы и ведут к размышлению недавно пережитые дни.

Но я далек и от уныния, так как умею верить и ждать. Радуюсь пока тому, что здешнее дело мое передается моим же сотрудникам и выученикам, у которых хватит ума и знаний, чтобы охранить сделанное. Радуюсь и все более ясному для меня плану труда в Капелле, полному самого искреннего служения правде и пользе, имеющему примирить своею незлобностью и терпимостью даже и вероятное раздражение. Благодарю Вас, граф, еще раз и от всей души. Мне не трудно уверить Вас, что я буду ждать от Вас добрых известий совершенно терпеливо и покорно.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 21

Шереметев — Смоленскому

[Петербург, 26 марта 1901]

Пишу на днях. Будьте терпеливы.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 20. На визитке Шереметева

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 1 апреля 1901

Христос Воскресе. Вопрос решен согласно общему желанию. Подробности письмом. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 24. Телеграмма

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 1 апреля 1901

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Вся задержка происходит от того, что производится ревизия открывшихся в Капелле злоупотреблений; ревизию производит генерал Сперанский¹, открывший растрату, причем растрочен и пожертвованный мною капитал. На днях все будет закончено, так как Государь торопит.

Все к лучшему. Вопрос же о Вашем назначении бесповоротно решен, с чем сердечно поздравляю Вас, себя и все дело возрождения нашей старины.

Итак, вопрос лишь нескольких дней. Надеюсь, до скорого свидания.

Сердечно Вам преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 25

1. О ревизии в Придворной капелле и ее результатах (неутешительных для С. М. Ляпунова и его сотрудников) см. в Воспоминаниях Смоленского и его переписке с С. С. Волковой. Ревизию проводил не генерал С. И. Сперанский, а гофмейстер С. Е. Смельский.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 2 апреля 1901

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Могу Вам сообщить, что вчера, завтракая около Императрицы Марии Федоровны, началась речь о Капелле, и Она мне говорила о Вашем предстоящем назначении с величайшим сочувствием, причем хвалили и Ляпунова, выразив желание, чтобы и он не покидал Капеллы в качестве сотрудника. От этого помехи никакой не будет, за это ручаюсь. С своей стороны Военный Министр получил уже извещение о предстоящем назначении моего брата¹. — Итак, дело в шляпе!

Теперь у меня к Вам большая просьба: если Вы не знакомы с Иваном Федоровичем Тютчевым² — горячим поклонником Рачинского и председателем Московского отдела Общества Ревнителеев русского исторического просвещения в память Императора Александра III, то очень советую с ним познакомиться и к нему заехать, о чем он мною предупрежден.

При Московском отделе образовалась Комиссия под председательством Тютчева, о развитии деятельности Общества, в смысле возрождения русских начал, а церковное пение и упорядочение этого дела — вопрос первой важности! Ваше мнение тут особенно дорого, и если бы Вы предложили себя в члены этой Комиссии (хотя и живя в Петербурге), то этим самым установилась бы желательная для общей пользы дела связь, несколько Вас не обязывающая и не обременяющая. Крайне обяжете любезным согласием.

Вам искренне преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 26—26 об.

1. Как ясно из приведенного выше письма К. Н. Рыдзевского, к перемещению в Придворную капеллу было приурочено повышение А. Д. Шереметева в воинском звании — из ротмистра в подполковники, в первый же год службы в Капелле он был произведен во флигель-адъютанты.

2. Тютчев Иван Федорович (1846—1909) — сын Ф. И. Тютчева, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе, впоследствии член Государственного Совета. В своих Мемуарах Шереметев характеризует Тютчева как «человека добрых преданий, ясного и независимого образа мыслей», но недооцененного властью и не получившего простора для деятельности.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 2 апреля [1901]

Спешу известить Вас, что все Вами сообщенное передано мной согласно Вашему желанию¹. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 26. Телеграмма

1. Не совсем ясно, о чем идет речь, но возможно, что о каком-то разговоре с А. А. Ширинским-Шихматовым, так как к этой телеграмме имеется *примечание Смоленского*: «В ответ было услышано: “Я этого не допущу”, как выразился III², услышав о предстоящем назначении меня в Капеллу».

Смоленский — Шереметеву

Москва, 6 апреля 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

По легкому, ныне прошедшему нездоровью, не успел я ответить на ваше любезное письмо от 1 апреля, столь усугубленное радостными от Вас известиями в другом последовавшем вслед письме.

Сердечно благодарю за все.

С Тютчевым я не знаком, хотя и знаю его. Знаю, конечно, и по отцу и особенно по добродетельной сестре — Анне Федоровне, по незабвенному Аксакову, которого любил и чтил всеми силами души моей¹. Вчера я, к сожалению, не застал дома Ивана Федоровича, но надеюсь увидеть этого почтенного человека вскоре и непременно. Переговорю обо всем с надобной подробностью.

«Дагмарина неделя», воспетая покойным поэтом², невольно вспомнилась мне при Вашем извещении о милостивом сочувствии к моему назначению со стороны столь давно и горячо любимой мною Императрицы Марии Феодоров-

ны. Не думаю, чтобы с моей стороны появился какой-либо повод к неудовольствию г. Ляпунова, которого ставлю головой выше очень-очень многих уже за один его сборник «Русские народные песни»³. Бог милостив, сойдемся и заработаем вместе, дружно и энергично.

Этими днями опять хлопочу о псаломщике для Михайловского, так как переманили бывшего в виду Серединского и не поддается он увещаниям, желая остаться для ученья в Москве. Есть в виду человек, как говорят, дельный, но еще не уверился в нем, да и на Пасхе никого не найдешь дома.

Мой искренний приятель и сотрудник, которому с такой спокойной душой я передал библиотеку певческих рукописей при Синодальном училище, Антонин Викторович Преображенский кончает для Общества два доклада: о единогласии в церковном пении и о хомонии. В первом рассматриваются два еще неизданных трактата некоего Агафоника (1634 г.), а о втором — неизвестного автора: «Свидетельство от божественного писания, яко подобает имя Божие в пении по достоянию нарицати» и известное сказание инок Евфросина «о ересех и хулениях»⁴. Господин Преображенский — человек очень дельный, работающий, образованный и способный. За лето отдохнет, остынет, а осенью пересмотрит и будет просить Вашего позволения доложить в Обществе.

Излишне мне говорить о себе: с величайшею любовью готовлюсь к ближнему будущему, обдумываю, обсуживаю даже слова. Слышу о Капелле многое недоброе в смысле непорядка, малознания, малоуспешности, малодетельности, но уповаю на помощь Вашу, на энергию и доброжелательность графа Александра Дмитриевича. Уповаю и на то, что в Капелле скоро должны понять, что я иду туда с самым сердечным желанием всего доброго, ласкового, дружеского — иду спокойно, приветливо и осторожно. Бог милостив, все обойдется по-хорошему.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 22—22 об.

1. Анна Федоровна Тютчева, дочь поэта, была замужем за И. С. Аксаковым. Смоленский глубоко почитал Аксакова и посвятил ему пламенные строки в Воспоминаниях.

2. Императрица Мария Федоровна, урожденная принцесса Датская Дагмара, имела очень большой успех, когда в 1866 впервые пришла в Россию для венчания с цесаревичем Александром Александровичем. Выражение «Дагмарина неделя» заимствовано из стихотворения Ф. И. Тютчева «Небо бледно-голубое...»:

...И Дагмарина неделя
Перейдет из рода в род.

3. Вероятно, имеется в виду сборник «Песни русского народа» (изд. в 1899), отразивший собирательский опыт Ляпунова.

4. Первый из названных докладов был прочтен А. В. Пресображенским в ОЛДП 9 января 1904.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 9 апреля 1901

Выслал сегодня официальную бумагу¹. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 27. Телеграмма

1. К телеграмме приложена выписка из упомянутой «бумаги» (от 7 апреля) рукой Смоленского:

...Что касается назначения брата Вашего Сиятельства, графа Александра Дмитриевича, исполняющим должность Начальника Придворной Капеллы, а Директора Синодального певческого хора в Москве Статского Советника Смоленского Управляющим тою же Капеллою, то таковое, согласно Высочайшей воле, имеет быть осуществлено по окончании работ Высочайше учрежденной особой Комиссии под председательством Гофмейстера Тайного Советника Смельского, для ревизии дел Придворной Певческой Капеллы. Комиссия эта предполагает исполнить возложенные на нее поручения к началу наступающего мая месяца.

Министр Барон Фредерикс.

Смельский Сергей Елеазарович (1838—1918) — гофмейстер, впоследствии проводивший еще одну ревизию в Придворной капелле.

Шереметев — Смоленскому

[Петербург, апрель 1901]

Убедительно прошу относительно причетника-регента. Для меня это вопрос очень важный.

РНБ, ф. 855, № 28 об. На визитке Шереметева

Смоленский — Шереметеву

Москва, 11 апреля 1901, 11 час. утра

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Прошу Вас не тревожиться насчет псаломщика-регента, так как не может быть, чтобы это дело не устроилось вполне хорошо. Лучший из кандидатов сейчас наш взрослый певчий Ив. Макс. Ситник, человек знающий, опытный и достойный во всех отношениях, но многосемейный. Он уже виделся с Владимиром Карловичем, но переговоры с ним отложены до предстоящего, по его словам, Вашего сюда приезда в это воскресенье¹.

Благодарю Вас за депешу о высылке официальной бумаги, но последняя, к полному моему недоумению, еще по сей час не получена. Вероятно, что-либо случилось по дороге.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 23

1. Регентом церкви Михайловского на длительный срок стал певчий Синодального хора И. М. Ситник.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 13 апреля 1901, вечер

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

11 апреля я писал Вам два раза: утром — о псаломщике-регенте, когда Ваше письмо, которое я так нетерпеливо ждал, не было получено до полудня, хотя это был уже третий день и петербургская почта уже была получена, и вечером, когда наконец-то, к полному моему недоумению о случившейся задержке, Ваше письмо было доставлено.

Каюсь — второе письмо некогда было послать заказным за поздним часом и потому буду осторожен в будущем. Сердечно прошу Вас извинить меня и в возвращении письма г. Министра Двора только теперь. Я понимал и при его чтении всю надобность возвратить его Вам, так как не обо мне одном идет там речь. Но меня смутило известие о предстоящем Вашем сюда приезде и о возможности случая, когда, не имея Вашего прямого указания о возвращении письма, посылка могла разъехаться с Вами. Теперь я понял сугубо свою ошибку после Вашей депеши и вновь прошу извинить меня.

По содержанию письма могу лишь сердечнейше благодарить и с глубокою признательностью чувствовать всю меру хлопот, которыми так обставилось для Вас это дело. Писал мне некоторые грустные подробности и С. А. Ра-

чинский. Но, Бог милостив, обойдется все и увидят своими глазами все те, которые сочли зачем-то надобным тормозить дело столь полезное и прекрасное в будущем.

С Иваном Федоровичем Тютчевым я уже виделся и думаю завтра или в воскресенье увидеться еще раз. Наша беседа была очень оживленной.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 24—24 об.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 16 апреля 1901

Милостивый Государь Степан Васильевич.

Комитет Императорского Общества Любителей Древней Письменности в заседании 13-го сего апреля избрал Вас в члены-корреспонденты Общества.

Имея честь уведомить Вас об этом постановлении Комитета, пользуюсь случаем выразить Вам, Милостивый Государь, свое истинное почтение.

Граф С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 31. На бланке Председателя ОЛДП

Петербург, 28 апреля 1901

Совет Общества ревнителей Русского Исторического Просвещения в память императора Александра III в заседании своем от 22 апреля 1901 года на основании статьи 21 Устава избрал Степана Васильевича Смоленского в члены-сотрудники Общества.

Председатель Общества граф С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 32. На бумаге с грифом Общества ревнителей

Смоленский — Шереметеву

Москва, 19 апреля 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вместе с сим — письмо к Вам как Председателю Комитета Общества любителей древней письменности. Конечно, только Вашему снисходительному

вниманию и доверию я обязан высокою для меня честью быть участником такого авторитетного и полезного Общества. Но радуюсь и по-своему: радуюсь возможности высказываться по временам перед высокопросвещенными людьми, радуюсь возможности быть еще полезнее своему горячо любимому делу. Не думаю, чтобы под Вашим авторитетным покровительством прошло бесследно в будущем мое участие в Обществе. Поле истории церковного пения и число памятников слишком велики, так что и я могу пригодиться в числе работников по этим частям.

Дело с псаломщиком-регентом, вероятно, наладится хорошо. Ситник, о котором я уже докладывал Вам, ждет Ваших распоряжений, а человек он подходящий.

Вчера был сюда обо мне запрос, а сегодня отправят ответ с моим формулярным списком.

Пользуясь несколькими свободными днями до начала мая, думаю поглядеть родную Казань. Путешествие свое обставляю так, что дома жене моей будет каждый день известно место моего нахождения и в случае надобности каждый день могу возвратиться. Посему, согласно указанию врача и душевному желанию поклониться родным могилам, думаю выехать на родимую Волгу и пробыть на ней около недели.

Не могу кончить это письмо иначе как выражениями моей бесконечной Вам признательности и сердечной преданности.

Ваш усердный слуга Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 25—25 об.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 3 мая 1901

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Спешу сообщить Вам радостную весть, что 6 мая в приказе будет и о Вашем назначении в Придворную Капеллу. Теперь мне кажется, что Вам следовало бы приехать сюда, хотя бы накануне 6-го, чтобы быть готовым и для необходимых переговоров, для облегчения дальнейшего, то есть переговоров частного характера с преданным Вам искренно

С. Шереметевым¹.

Как Рачинский будет доволен, а с ним и все Вам сердечно сочувствующие!

РНБ, ф. 855, № 30, л. 30

1. Получив это письмо, Смоленский тут же выехал в Петербург. 7 мая он присутствовал на обеде в доме А. Д. Шереметева с обоими братьями.

На следующий день, 8 мая, им была получена следующая телеграмма (в том же деле, л. 33 об.):

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству Вы назначены с шестого сего мая управляющим Придворною Певческою Капеллою, о чем по приказанию господина Министра извещаю.

И. д. заведующего Канцелярскою Министерства Флигель-адъютант

Полковник Мосолов.

Мосолов Александр Александрович (1854—1939) — начальник канцелярии Министерства императорского двора с 1900 по 1916; автор содержательных воспоминаний «При дворе последнего императора», написанных и изданных им в эмиграции.

А. Д. Шереметев — Смоленскому

Петербург, 8 мая 1901

Многоуважаемый Степан Васильевич,

приказ о Вашем назначении состоялся сегодня: прошу Вас немедленно приехать ко мне, на Ульянку¹, так как, по всему вероятию, в четверг, 10 мая, нам придется ехать с Вами в Петербург, утром.

Преданный Вам А. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 35

1. Ульянка — имение Шереметевых под Петербургом (около Ораниенбаума), принадлежавшее в тот период А. Д. Шереметеву. Речь идет о представлении обоих ново назначенных государю. Оно состоялось несколько позже, 13 мая.

А. Д. Шереметев — Смоленскому

Ульянка, 9 мая 1901

Приказ Вам состоялся. Выезжайте немедленно Ульянку. Вероятно четверг нам придется представляться¹. Граф Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 36. Телеграмма

1. В Дневнике 2 читаем:

12 мая

Вечером этого дня я опять был в Ульянке, так как Государь изъявил желание, чтобы я представился ему и Императрице Александре Федоровне после

обедни. В этот же вечер я ознакомился с преинтересным документом — докладом Государю (конечно, в копии) ревизионной комиссии о состоянии Капеллы (л. 102).

13 мая

Я доехал до церкви в Александрии вместе с Александром Дмитриевичем. Там после обедни, исполненной вполне по-казенному, Государь, улыбнувшись, представил меня Императрице, протянувшей мне руку, и затем в разговоре со мною между прочим сказал: «Надеюсь, что вы устроите здесь такое же прекрасное пение, какое я слышал в Синодальном хоре». Таким образом определился смысл моей деятельности в Капелле (Там же).

В тот же день Смоленский уехал в Москву — собираться для переезда. О своем теплом прощании с московскими сотрудниками он подробно рассказывает в Воспоминаниях, и там же — о первых впечатлениях от Придворной капеллы и от графа А. Д. Шереметева как начальника и как композитора и дирижера-диетанта.

Смоленский — Шереметеву

Старый Петергоф, 2 июня 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Прошу Вас принять и мое приветствие с днем Вашего ангела, и мои пожелания Вам доброго здоровья и тихих радостей в детях Ваших, удач в делах Ваших.

Я писал Вам недавно о Капелле. Конечно, новостей о Капелле сейчас Вам не имею, так как переживаемая пора есть время приведения в порядок этого истинно захудалого заведения — пора искоренения всякой праздности и самомнения — пора замены их трудом и общим сознанием сделанных упущений. Трудно мне достаются эти первые месяцы, в которые оздоравливаю дух, оздоравливаю раны в уставившихся порядках, даже и в обстановке Капеллы. Старые и малые, отвыкшие от работы, одинаково противятся воздействиям, либо не делая, потому что «этого не было приказано», либо делая никуда не годно, потому что «изволили приказать». Но, Бог милостив, скоро обойдется все к хорошему, то есть к способности работать в будущем и к радости в труде.

Живу я со всеми в ладу, тихо и мирно, но чуют празднолюбцы и мастера всячески получать всяческие деньги, что согласия у нас не будет без усердного их труда. О будущих неизбежных моих спорах с этими наизаконнейшими и наиисправнейшими по службе молодцами я, конечно, сообщу Вам, так как все они всегда на месте и даже и толкут воду. Но обо всем — до надобной поры.

Прошу Вас принять еще раз мое сердечное приветствие Вам и всем Вашим.

Преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 26—26 об.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 9 июня 1901

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Как поживаете? Мы здесь изнемогаем от жары и засухи. Получил милое письмо от С. А. Рачинского. Собирается к нам.

Посылаю Вам, на всякий случай, на память, копию с того, что было мною сказано при выходе из Капеллы, в 1894 году¹. Теперь мне Капелла стала вдвое дороже. Дай Бог ей успеха для дела *более широкого*, ныне возможного благодаря Вашему присутствию.

Преданный Вам С. Шереметев.

P. S. Не забудьте Шеффера² предупредить.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 37

1. Эта речь сохранилась в архиве графа (РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3920) в виде автографа и машинописи под названием «Прощальное письмо С. Д. Шереметева, написанное в связи с уходом из Придворной певческой капеллы»:

Благодарю Вас, господа, за ваше сочувствие, за ваше доброе ко мне внимание. Оно мне очень дорого. Отраднo сознание, что двенадцатилетнее наше совместное служение совпадает с царствованием нашего великого Государя Императора Александра III, которому Придворная Певческая капелла стольким обязана.

Его сочувствие, его теплый и ласковый привет, его любовь к церковному пению и сознание значения его и ожидаемой от него пользы в объединении всех сил трудящихся на благо дорогому делу — облегчали трудности этого дела.

В благодарной памяти нашей сохранится сознание, что в деятельности Капеллы принимали непосредственное участие такие музыкальные силы, как М. А. Балакирев и Н. А. Римский-Корсаков, что благие начинания, благодаря заботам их и с вашею помощью, осуществились в создании такого рассадника, каковы классы регентский и инструментальный, которым пожелаем широкого и беспрерывного развития.

Закончу пожеланием, чтобы дорогое сердцу Православного человека церковное пение на Руси росло бы и крепло, не уклоняясь от заветов прошлого, бла-

годарно памятуя о деятелях времен минувших, с твердою надеждою на светлое будущее.

Еще раз, господа, примите мою глубокую сердечную благодарность — и не поминайте меня лихом.

Граф Сергей Шереметев.

2. Шеффер Петр Николаевич (1868—1942) — литературовед, член Археографической комиссии, в этот период — секретарь ОАДП. Вероятно, речь идет о подготовке к изданию очерка Смоленского «О древнерусских певческих нотациях», за печатание которого отвечал Шеффер.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 20 июня 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я подождал ответить на Ваше глубоко трогательное для меня письмо, думая прочитав всем в Капелле сказанное Вами при выходе из нее. Но — уввы, я не получил еще копии Вашей речи.

Сейчас у меня — неожиданно свободный час. Нечаянно ли, нарочно ли — не знаю толком, но забыли заехать за мною, чтобы быть мне на крестинах в Михайловском [дворце]. Поэтому и могу написать Вам о Капелле более и подробнее.

Я уже успел вникнуть в очень многое, так как провожу в Капелле буквально все свое время, кроме обеда и ночи. Капелла как хор — в самом полном упадке и надобно по крайней мере полтора-два года, чтобы привести ее хотя бы к началу будущего процветания. То, что я здесь увидал и узнал — просто невероятно в сравнении с бывшим у меня в Москве. Лень и незнание, незнание даже нот *всеми* (кроме 4-х) взрослыми и малолетними певчими, полная, как кажется, безнадежность к труду г. Азеева и глубокая бесталанность гг. Попкова и Варгина, то есть помощников учителей пения¹ — вот тормозы Капеллы. Думаю, что я сумею заставить их работать не по-казенному, а как надо, что мы скоро, то есть не ближе полгода, наладим хоровой ансамбль, но до умного, художественного пения можно будет добраться только трудами талантливых людей, а не бездарной лени. Г-н Смирнов², по правде сказать, спас Капеллу и восстановит ансамбль, но не его ума и не его знаний дело о действительном воскресении художественного пения Капеллы. Здесь нужны энергичные, знающие талантливые силы, и, конечно, в недалеком будущем я найду их. Тогда — другое дело, но при том же пока Смирнове, привычном в придворном мире.

Об учебной и воспитательной части лучше не писать Вам. Тут я приношу себя прямо в жертву, надеясь, что я еще силен здоровьем и безнаказанно могу еще работать с утра до вечера. За мной дружно взялись все окружаю-

щие меня, воспитатели и даже многие старшие ученики (между которыми человек 5—6 — отличны). Непорядки, как кажется, надоели всем. Не без удовлетворения могу сообщить Вам, что с 8-го по 17 июня все мальчики, по уговору со мною, совершенно прекратили битье малышей до 17 июня, и в этот день мы праздновали первую победу над собою питьем шоколада. Но в этот же вечер чуть было не было нарушено истекающее перемирие. По этому случаю, при общем веселье, было заключено новое условие до 1 июля. Внутренняя ребячья полиция, как и следовало ждать, оказалась довольно строгою и неподкупною, берегущею свой же покой и свой же шоколад. Но трудно им владеть собою, и я учу их (как, по правде сказать, и самих гг. воспитателей) семейной школьной жизни и взаимному снисходительному уважению. Теперь синяков уже нет, суд у нас гласный, более всего обличительный, всего менее карательный, а главное веселый и умный.

Между юношами и молодыми людьми есть премилые молодые люди, но есть и очень многие «детины непобедимой злобы к ученью», по выражению Петра I. Более мягких из последней группы я уже обратил в свою веру, выдержав у них экзамен по гармонии, контрапункту, по квартетной музыке, по древнему пению, даже и по управлению оркестром. С непобедимыми (человек 5—7), вероятно, придется расстаться, так как незнание и самомнение прямо жалки, а учиться нет никакого желания, да и жениться пора, что в Капелле прямо невозможно. С юношами и с новообращенными мои дела, благодаря Бога, налаживаются очень хорошо. Мы вполне согласились и покаяться, что пропустили бестолково по 3—4 года, что пора выходить в люди и делаться честными работниками. Бесед у нас — конца нет, и мы крепнем верою в будущее с каждым днем, начинаем работать очень хорошо, в некоторых же случаях даже отлично. Братская взаимная помощь веселит нас и труд начинает очевидно побеждать праздность. Новая вера возродила энергию и не потерянную еще порядочность. Окреп и я, столь задумавшийся недели три назад.

С графом Александром Дмитриевичем у меня полное во всем согласие, и мы кой-как размежевались, так как оба еще далеко не в курсе подробностей дела, да и во всех сторонах Капеллы беспорядки самые недопустимые. Граф А. Д. взялся за хозяйственную и внешнюю часть, я — как изволите видеть, душевную и музыкальную. Когда вникнем в подробности — необходимо будет размежеваться точно, чтобы не путаться нам без нужды и чтобы помогать друг другу, да чтобы и не вышло то бездействия, то двойного несогласного труда властей. Энергией и решительностью, очевидно, нас обоих Бог не обидел, желанием пользы и добра Капелле — также, остается только дружная, умелая работа.

Негодяй эконоом уже висит на волоске, и эта, самая противная по нечистоте, часть Капеллы скоро будет начата в порядке графом. К тому времени и я подспею с моими образумленными юношами и с начавшею улаживаться Капеллою. О регентском классе — молчу, так как еще ничего не знаю.

Вот в кратких словах наши петергофские новости. В Петербурге сегодня и завтра, 21-го, набирается новое поколение, которое уже не будут бить в Капелле. «Дело более широкое», о котором Вы пишете, еще далеко впереди. Для него нет еще ни возниц, ни коней, а за Ваши слова «теперь мне Капелла стала вдвое дороже» — примите мой Вам поклон, челобитие и обет честный: будет сделано все; нескоро, неторопливо, но умненько и наверно сделаю все.

Сердечно Вам преданный Ст. Смоленский.

P. S. О «нотациях» все сделано.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 27, 27 об., 30, 30 об.

1. О Константине Варгине в Воспоминаниях Смоленского говорится: «очень способный молодой человек, но совершенно заленившийся... очень гордый, самоуверенный и грубый» (Т. IV. С. 466—467). И там же о Василии Попкове: «также из учеников Придворной капеллы... какой-то бездарнейший недоумок... воображавший о себе очень многое» (С. 467). Путем крупных скандалов их удалось довольно быстро удалить из Капеллы.

История весьма напряженных взаимоотношений Смоленского с Евстафием Степановичем Азесвым, известным хормейстером, регентом, автором духовно-музыкальных сочинений и учителем пения в Придворной капелле, подробно рассказана в Воспоминаниях и в письмах к Волковой. Смоленский добился увольнения Азесева, однако сразу же после ухода Степана Васильевича из Капеллы Азеев был восстановлен там и оставался в своей должности до конца дней, пользуясь особым расположением императрицы Марии Федоровны.

2. Отношения Смоленского с маститым регентом Капеллы Степаном Александровичем Смирновым впоследствии были вполне приятными, и Смоленский искренне оплакивал кончину Смирнова в 1903.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 7 августа 1901

Милостивый государь Степан Васильевич.

Письмо Ваше мне очень было дорого. Теперь *раз и навсегда* мы друг друга знаем и я всегда к Вашим услугам.

Теперь и я к Вам с маленькой просьбой, время еще много, а потому торопиться нечего. Я хотел Вас заблаговременно просить оказать мне любезное содействие в образовании небольшого хора в 8 человек, который пел бы строго церковно и мог бы петь в нашей домово́й церкви в течение всей зимы от ноября до апреля. У нас пели до сих пор спавшие с голоса бывшие мальчики Капеллы, и вначале (лет 8 назад) пение было стройно и поведение спокойно, но с изменением порядков в Капелле нахальство этих молодых стало ежегод-

но усиливаться, пение стало хуже, а поведение в церкви невозможно, и я решил прекратить с ними сношение. Хотелось бы, путем строго православного пения, в котором бы старина наша слышалась, служить делу распространения здравого вкуса в обществе, сбитом с толку всякой иноземщиной! Лично я безусловно против женских голосов и на клиросе видеть женщину не могу; поющие дачники и дачницы — это пикник, перенесенный в церковь!

Предания нашего хора не таковы¹, но я не задаюсь недостижимым и не имею на то средства, да мне кажется, и практичнее было бы показать, что можно сделать с небольшими средствами и с немногими голосами, ради вопиющей нужды по церквам, даже столичным, в которых господствуют в пении: безвкусице, крикливости, невежеству, небрежению, случайности и всяческий произвол. Показать то немногое, что нужно — вот, мне кажется, насущная потребность. Синодальный хор доказал, что предание в нас не замерло, а Вам указано это предание водворить у носителей польских кунтушей и у «шпажников» не-русского двора²! Почему бы не начать и скромное дело первоначального упорядочения церковного пения путем маленьких хоров?

Повторяю, времени много. Не забудьте также статью, обещанную в Общество Древней Письменности¹. Появление ее было бы вполне своевременно. До свидания.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 39

1. В данном случае речь идет уже о церкви петербургского Фонтанного дома, где во времена детства и молодости Сергея Дмитриевича было лучшее в Петербурге церковное пение в исполнении знаменитой Шереметевской капеллы, которой руководил Г. Я. Ломакин. После кончины отца, Дмитрия Николаевича, Сергей Дмитриевич пытался некоторое время сохранять капеллу (только мужской состав, без мальчиков), но, став московским предводителем дворянства, вынужден был распустить петербургский хор. Он писал, в частности, вспоминая о 1850-х—1860-х годах:

Хор наш одно время был так велик, что с трудом помещался на клиросе церкви. Альты и дисканты большею частью выписывались из Малороссии, из имений Борисовка и Алексеевка. <...> Почитателей и ценителей было всегда очень много и особенно постом, когда церковь бывала переполнена (Шереметев С. Д. Мемуары. Кн. 2. М., 2005. С. 392).

По рекомендации Смоленского в церкви Фонтанного дома с середины ноября 1901 (то есть после приезда графа из Михайловского в Петербург) начал петь небольшой и молодой по составу мужской хор под управлением А. А. Петрова, ученика Смоленского по Синодальному училищу, новоизбранного делопроизводителя и педагога Придворной капеллы. Этим хором как Смоленский, так и Шереметев сначала были

довольны, но потом оказалось, что Петров не справляется с двойными обязанностями в новом для него Петербурге.

2. Говоря о «польских кунтушах», Шереметев имеет в виду форму певчих Капеллы, которая не изменялась с XVIII века; позже в связи с этой формой возник вопрос об уместности положенной к ней в праздничные дни шпаги — при том, что в дворцовые церкви певчие проходили через алтарь.

3. Имеется в виду следующая большая работа Смоленского для ОДП, которая под заглавием «О ближайших практических задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии» была опубликована значительно позже, в 1904.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 9-10 августа 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня, вследствие вызова по телефону, я имел счастье быть по крайней мере минут 20 у Императрицы Марии Федоровны, с которою говорил по поводу пресловутого прошения учеников Капеллы. Я не в состоянии Вам передать моего восторженного состояния, в котором я вышел вполне удовлетворенным из кабинета Ее Величества. Хотя дело мое и было крайне просто и очевидно, но самая простая случайность и безапелляционность суда могли повернуть все в дурную сторону. Именно этого я и боялся. Ее Величество изволила беседовать со мною необыкновенно милостиво и неожиданно внимательно. Я, как непридворный и как вообще непривычный к объяснениям с сильными мира сего, держал себя вполне правдиво и совершенно откровенно. Вероятно, в доле внимательного участия ко мне Императрицы немало значили и Ее верные представления о полном расстройстве дисциплины в Капелле.

Императрица спросила меня, неужели правда, что я бью учеников, бросаю на них с ножом, заставляю играть на духовом инструменте по 8 часов, морю голодом и проч. глупости. Я ответил, что не могу ничего сказать кроме отрицания этих нелепостей, что за 12 лет моего пребывания в Москве я получил альбом нынешних учеников с надписью в два слова: «Директору-отцу», а от бывших учеников, списавшихся между собою со всех концов — от Холма в Польше до Амура и от Архангельска до Владикавказа — складень с такую же рекомендующую меня надписью; что, не имея своих детей, я перенес всю силу своего чувства, всю задачу своей жизни на чужих детей — моих учеников, которых потому люблю всеми силами души моей; что мое первое движение, когда я узнал, кто из учеников Капеллы подписал прошение, было обращение к Жуковскому и Голенищеву-Кутузову¹ с целью спасти и выгородить из этой истории тех учеников Капеллы, которые, по моему мне-

нию, все-таки порядочные молодые люди, но увлеклись речами нескольких негодяев и поддались посторонним влияниям. Императрица перебила меня, сказав, что она знает, чье тут есть постороннее влияние. Так как в разговоре затем имя Балакирева упоминалось Ею не один раз, так как мне известно, что ученики Капеллы были у Балакирева именно по этому делу, а Ляпунов и вся его компания превосходно умеют хоронить концы, — то мне с несомненною ясностью стали очевидными все столь недалекие от Капеллы тайные пружины этого дела².

Далее я объяснил Императрице, что едва ли через один год, вернее же через полтора, даже два года, можно надеяться поставить Капеллу на надлежащую прямую дорогу к процветанию, так как ее упадок в дисциплинарном, образовательном, художественном и хозяйственном отношениях ниже всякой критики, прямо нетерпим более; что в Капелле не только ничего не делают, но и не хотят и не умеют делать; что не только по 8 часов, а и по 2 часа я не в силах пока заставить учеников работать, что дело идет вовсе не об избежании чухотки, а о нежелании расстаться с самою возмутительною ленью и праздною, с самым дружным, коллективным упорством и желанием отстоять свою полную вольность. Относительно «голода» я объяснил Императрице, что эконом уже уволен и взят новый, но что я растерялся пока от расхищений Капеллы, ныне начинающих проявляться одно за другим от хозяйничанья бывшего эконома; что кормят в Капелле, действительно, крайне дурно, но долго еще придется чинить бывшие грехи и заводить новые порядки, так как у нас много долгов и мало кредита, много беспорядка и небрежности и мало благоразумия и сдержанности.

Императрица просто обворожила меня своею приветливостью и вниманием. Наша беседа была совершенно серьезна, деловита, совершенно спокойна. Я совершенно было растерялся, когда Государыня пригласила меня сесть около себя. При прощанье я дважды поцеловал ее руку и ушел совершенно восхищенный полученным удовлетворением.

Если на свете есть ад, чистилище и рай, как у католиков, то, конечно, я прошел первый круг чистилища, и трудно еще предвидеть, какие кручи придется пролезать еще в Капелле, прежде чем добраться до трудовой и полезной ее жизни. Старые порядки, выгодные и нетрудные для многих, конечно, без боя не сдадутся и без заступничества не обойдутся. Поэтому, памятуя Ваши наставления, я ни слова не говорю и ничего не предпринимаю без соглашения с графом Александром Дмитриевичем. Так как текущие дни слишком выгодны для нашей позиции, то мы, поставив в курс дела надобных людей в Министерстве и даже заручившись обещаниями их содействия, представляем на днях проект временного положения о Капелле такого содержания:

1. Высочайше одобренные меры, предложенные Ревизионной Комиссией, сводятся к уравнению взрослых певчих Капеллы с артистами Придворного оркестра и Императорских театров, давая 20 лет службы вместо 30, уничтожая

чинопроизводство и устанавливая определение и увольнение певчих в непосредственное распоряжение начальника Капеллы; все малолетние певчие обращаются из чиновников в простых казеннокоштных учеников, увольнение которых также ставится в распоряжение Начальника.

2. Такая перемена юрисдикции в связи с констатированным Комиссиею упадком Капеллы и надобностью принять исключительные меры к приведению ее в порядок приводят к надобности испрошения, впредь до утверждения нового устава, полномочий Начальника Капеллы, с помощью которых могли бы быть удалены все неблагоприятные ее элементы, тормозящие скорейшее приведение Капеллы в порядок; поэтому полномочия имеются в виду для удаления всех бесголосых певчих, имеющих в Капелле ради выслуги последних лет до полной пенсии, и всех плохих мальчиков, присутствие которых ведет к затруднению в восстановлении порядка в пении и в учебной дисциплине.

Графу А. Д. предложил эту меру сам Министр [двора] еще недели три назад. Теперь бумага об этом уже составлена, а время ее подачи, ввиду отъезда Государя — самое благоприятное. На всякий случай все-таки думаю получить и Вашу депешу об этом деле, так как еще 3—4 дня бумага не попадет в Министерство. Какое-то внутреннее чувство удерживает меня от этого крутого шага. Мне все кажется, что как ни скандализована Капелла и ревизией, и прощением учеников, — нет еще полной уверенности в том, чтобы Министр был очень настойчив в разрешении этой бумаги. Хотя у меня и есть многие в виду заручки на удачу, но безусловных гарантий все же нет, рисковать же было бы безумно. Я прошу графа А. Д. вновь на словах переговорить с Фредериксом и, если тот побожится — отдать бумагу лично.

Нет времени писать еще. Прошу передать графине выражения моего глубокого почтения, а Вас, высокоуважаемый граф — в совершенной и глубочайшей моей преданности. Обещаю Вам и послушание мое в трудных днях моей новой службы в Капелле. Думаю однако, что скоро должно кончиться это чрезмерное напряжение.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Первые 3 листа корректуры мною уже кончены.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 28—29

1. Александр Васильевич Жуковский и граф Арсений Александрович Голенищев-Кутузов были секретарями императрицы Марии Федоровны.

2. Безусловно Смоленский прав, говоря о вмешательстве Балакирева в его конфликт с Ляпуновым; дело усугубляется тем, что Милий Алексеевич был особенно уважаем и даже любим вдовствующей императрицей.

Смоленский — Шереметеву

10 августа 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вчера я получил Ваше столь дорогое мне письмо, с подчеркнутым словом «навсегда» в первых его строках.

Позвольте и мне подтвердить то, что я уже не раз писал Вам: я так много получил от Вас в критическую минуту моей жизни, так много обласкан Вами и согрет Вашим доверием, так много обязан возможности вновь работать любимому делу, что нет и не будет у меня другого к Вам слова, как моей самой полной и самой сердечной благодарности и неизменной преданности.

Понятно мне и то, что я не могу не считать себя совершенно обязанным всегда и как можно лучше сделать для Вас все желательное Вам. В деле составления хора из 8-ми человек, благо — время терпит, я приму самое искреннее участие и постараюсь устроить его хорошо, на основаниях не придворного обихода, а русского. Ваша мысль о начатии в Петербурге церковного пения вне образа мыслей певцов-«шпажников» и наряженных в кунтуши действительно верна. Я бы прибавил еще: и вне образа мыслей тех людей, которые лгут во всем и всю жизнь свою проводят в лжи, в лживых и недоверчивых отношениях к другим, в небрежении к родной вере, к родному языку, к родному краю и его обычаям. Но и у этих людей, как и у певцов, не заглохла еще совершенно еле живая и маленькая капелька русского и невольного преклонения перед всем святым и священным, дорогим и несравненным для каждого русского сердца и ума. И у этих людей можно еще если не расшевелить и развить, то хотя бы не способствовать к дальнейшему усыханию этой капельки.

Вот почему с чувством самой глубокой скорби гляжу я на многое, восхищающее других. Поэтому же и глубоко радуюсь, попадая на мысль о возможности запеть по-русски, хотя бы и 8-ю только голосами, не говоря уже о повороте хора царского на эту дорогу, пока для него немислимую по многим внутренним и внешним причинам. Дорога эта прежде всего малодушно и дешево-эффектно будет осмеяна, если начать дело с неподготовленными для нее певцами и не обеспечить в высокой для нас и надобной для дела сфере хотя бы мысли о надобности этой дороги.

8 певцов для Вашей церкви наберу на стороне, вне Капеллы, может быть возьму некоторых из провинциалов-певцов в регентском классе. Пока нечего говорить, кроме обещания принять к сердцу и постараться угодить Вам, даже может быть и себя порадовать чистотою этого дела среди окружающей лжи.

Вот Вы пишете о наглости учеников Капеллы. А что сказать о следующем: мой (прости ему Господи) «помощник» внедрил в шайке учеников мысль, что никогда еще Капелла не подвергалась большему позору, как в назначении

меня, «неуча» (то есть не бывшего в консерваторском ученье) и «самозванного профессора»¹. Вся история с прошением кончилась вчера в Капелле речью к ученикам, в которой я подтвердил им мое обещание вступить за увлеченных недругами. Вчера же в кучках говорилось: да еще правда ли, что прошение наше не уважено, кто такой новый Управляющий, когда достоверно известно заступничество вполне обещанное? Чем виноваты мы, если обязанные нас учить и воспитать ничего не делали, не учили и не воспитали нас, а теперь хотят разделаться с нами, выкинув на улицу без знаний и без гроша? Мы хотим учиться, но не приучены к подчинению, ибо и искусство свободно и сами свободны, а начальство обязано устроить нас, чтобы не было недовольных между нами, и т. д. Но не перебрать всех глупостей, которые одна за другою являются каждый день. Правда — все это не долговечнее мыльных пузырей, но все же вода эта мыльная, негодная.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 31, 34

1. Эта история подробнее изложена в письме Смоленского к С. А. Рачинскому от 30 сентября 1901:

...Вам памятно, конечно, как жестоко и как обидно приняли меня в Петербурге. Вся мою любовь к людям, всю мою любовь к делу, мою готовность быть полезным всем — все это было не понято, все это было встречено явным недоверием, доносом, зложелательным предательством. В одну из горьких минут из уст младенца, болтавшего мне с чужого языка, я услышал от 10-летнего малыша, что за все время своего существования Капелла никогда еще не была так унижена, как с моим назначением! «У нас были все знаменитые люди и только музыканты, а не ученые: Бортнянский, Львов, Бахметев, Балакирев, Римский-Корсаков, даже и Аренский, а вы только пишете статейки в газетах...» Когда я спросил малыша, от кого он знает это, он сказал: «все так говорят на спевке».

(РНБ, ф. 631, № 122, л. 106—107 об.)

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 13 августа 1901

Очень советую повременить до более благоприятного времени. Подробно пишу. Опасаюсь. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 40. Телеграмма

Шереметев — Смоленскому

Остафьево, 13 августа 1901

Получил оба Ваши письма, добрейший Степан Васильевич, и прочел их с большим вниманием. Не скрою, что при всей моей радости о бывшем разговоре с Императрицей Марией Федоровной (который есть только начало других разговоров, для дела весьма желательных), — я встревожен поспешностью решения приступить к радикальной реформе по совету Министра (!), решению, так сказать, *идти на приступ* без предварительного свидания и осторожного обдумывания и притом в такое крайне неблагоприятное время!¹ Не суть ли это ловушка, чтобы в случае неудачи дискредитировать Вас пред Капеллой и там сыграть в игру всяких господ недоброжелателей и завистников. Я даже не вполне понимаю, чего Вы хотите. Неужели принизить настоящее служебное положение, служа в Капелле. Ведь это крайне рискованно и принципиально не вполне справедливо. Это даст оружие в руки врагов, и министр-тупица ото всего отретется и свалит все на вас же обоих.

Возможен ли *такой* шаг дальше без предварительного обсуждения? *Мой совет повременить подачею проекта.* Если же Министр будет напирать (чего не думаю), то так легко было бы сослаться на меня, ввиду моего отсутствия для желательного предварительного совещания. Ведь *это* один из тех важных случаев, когда я мог бы пригодиться. А теперь, *извне* этого дела, помочь в случае надобности не могу. Мне известна почва, и я имею некоторую опытность. Зачем же мною не пользуетесь?

Союз *Балакирева, Ляпунова* — с одной, *Штакельберга*² [со товарищи?] с другой, *Шихматова* с клеветы с третьей — при всей их взаимной вражде может на некоторое время и сблизить их в общем стремлении *доказать* свою правоту, когда они все вместе так деятельно, до последней возможности старались Вам повредить. И все это при осторожном и твердом образе действий — ничто. Нельзя одновременно *всех* в Капелле возбуждать к неудовольствию умалением их положения. Крутые реформы без поддержки Министра могут быть рискованными. А Вы Фредериксу не верьте: Штакельберг — оберинтриган и его однополчанин и давний приятель.

Повторяю: разговоры с Императрицей Марией Федоровной — счастливое начало, и Вы лучше (между нами) сумели говорить моего брата, который иногда слишком уступчив и скромн, иногда переходит в другую крайность.

Постарайтесь сблизиться с Милием Милиевичем Аничковым³. Это почтеннейший, чисто русский человек — деловой, здравомыслящий и верный. Он человек доброго совета и всецело преданный памяти прошлого. Как относится к Вам *Кутузов*, как *Дашков* и *Путятин*?⁴

Еду в Москву, где останусь до 18 августа (Воздвиженка № 8) и куда прошу мне адресовать пока письма. Правда ли, что статьи [?] пропущены духовной цензурой?⁵ Ни о чем другом теперь Вам не хочется писать — пока Вы не

успокоите меня, что тут нет ловушки — желая дискредитировать управляющего Капеллы неудачею. А *наверху* не всегда твердо...

Буду ожидать с нетерпением дополнительных известий. Обо всем этом писал Рачинскому⁶.

Здесь со мною П. А. Гильтебрандт⁷, который Вам кланяется.

Искренно Вам преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 45

1. О разговоре с императрицей Марией Федоровной, состоявшемся в Гатчине 9 августа, Смоленский рассказывает также в Воспоминаниях: императрица успокоила его, сказав, что заявление певчих (см. выше) будет оставлено без внимания. По поводу своих действий Смоленский советовался с опытными придворными — министром Фредериксом, его помощником Мосоловым, а также с графом Александром Васильевичем Олсуфьевым (1843—1907), помощником командующего императорской главной квартирой (1895—1905).

2. Штапельберг Константин Карлович, барон (1848—1925) — начальник Придворного оркестра (с 1897), генерал-майор Свиты. Расположением С. Д. Шереметева он явно не пользовался (см. в дальнейших письмах).

3. Аничков Милий Милиевич (род. 1848) — генерал-лейтенант (1906), при Александре III помощник гофмаршала Двора, впоследствии заведующий хозяйством гофмаршальской части.

4. Секретарь вдовствующей императрицы граф Арсений Александрович Голенищев-Кутузов (1848—1913) был известным поэтом, в прошлом другом и сотрудником М. П. Мусоргского. Шереметев хорошо знал Кутузова как активного члена Общества ревнителей русского исторического просвещения (в первые годы — секретаря Общества).

Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837—1916) был ранее министром императорского двора (затем наместником на Кавказе), и Шереметев в бытность начальником Придворной капеллы постоянно имел с ним дело. Кроме того, И. И. Воронцов-Дашков являлся родственником Сергея Дмитриевича (отец жены его старшего сына).

Князь Михаил Сергеевич Путятин (1861—1938), штабс-офицер для поручений при управлении гофмаршальской частью императорского двора, по отзыву А. А. Мосолова, «любил и изучал церковную археологию» (С. 177); впоследствии он занимался подготовкой торжеств по канонизации св. Серафима Саровского. Смоленскому Путятин при знакомстве понравился весьма мало (как, впрочем, и С. Ю. Витте, который дал ему уничтожающее прозвище «полковник от котлет»).

5. Имя автора статей не разобрано.

6. Шереметев написал Рачинскому 12 августа письмо, полное тревоги по поводу ситуации в Капелле:

...Сейчас получил два больших письма от Смоленского, который восторженно описывает свой разговор с Императрицей Марией Федоровной по делам

Капеллы. Вероятно и Вам об том будет писать подробно. Дело в том, что *интрига* не дремлет — что против нового управления Капеллы образовался *союз* — с одной стороны управления Православного Музыкального Хора, с другой — в лице Балакирева и Ляпунова (который сам желал этого места), и в некотором отдалении сему еще [имеется] князь Шихматов, который до самого назначения распускал самые дурные слухи о Смоленском.

Произошла внутренняя агитация в Капелле, очевидно подогретая и рассчитывающая на успех интриги.

Смоленский пишет, что ввиду сего они готовят *радикальный проект реформы Капеллы*, по совету Министра Двора (полного тупицы) с тем, чтобы еще до отъезда Государя представить его на усмотрение! Опасаюсь тут *ловушки*; Министр — под чьим-нибудь влиянием дал мысль, от которой может при случае отказаться, а такие радикальные проекты не следует вносить второпях, и притом в глухое, неудобное время без спокойного обсуждения и совета.

По-видимому Смоленский сам чувствует что-то неладное: прилагаю его письмо. Я ему телеграфирую, чтобы по возможности воздержался от крутых мер и реформ *теперь*. Опасаюсь, что враги караулят и хотят поймать на запальчивости брата и Смоленского — *неудача* может подорвать их положение, и нужна *осмотрительность*. Меня удивляет даже, почему они так быстро восприняли мысль Министра, искренности которого — не верят.

Вот при каких условиях приходится убежденным и даровитым людям действовать *теперь*, когда Министр почти одно название, без всякого значения.

Нельзя ли посоветовать Смоленскому осторожность — да и зачем они *без меня* хотят пойти на приступ? За мною все-таки прошлая опытность дел Капеллы и знание почвы. Что не хвастовство, но ведь действительно я мог бы быть полезен и предлагал им в серьезную минуту содействие...

(РНБ, ф. 631, № 121, л. 35—36).

7. Гильтебрандт Петр Андреевич (1840—1905) — писатель, публицист славянофильского направления (в частности, сотрудник газеты «День» И. С. Аксакова), автор множества трудов по русскому фольклору, а также «справочных и объяснительных словарей» к Новому Завету и Псалтыри.

Смоленский — Шереметеву

15 августа 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Невозможно было более вовремя прийти Вашему письму, как сегодня утром. Собираясь к обеду на Собственную Дачу, я отъехал вместо того в Ульянку и там, после долгой беседы с графом Александром Дмитриевичем,

было окончательно решено воздержаться пока от всяких активных, резких и крутых воздействий на Капеллу, несмотря на множество искусительных поводов, справедливо могущих обратиться в ловушки, даже несмотря и на множество весьма мотивированных, надобных и целесообразных мер, которые бы однако легко могли быть истолкованы в совершенно обратном смысле нашими недругами.

Моя осторожность, сдержанность и пылкость внезапная как нельзя более поверяется тем же у графа А. Д., и обратно. Нет у нас разногласия ни в чем, а согласие скоро дается подробными обсуждениями дела. В Капелле действительно надобны очень крутые меры, так как распушенность и непорядок ее во всех статьях прямо нетерпимы. Но время не терпит для немедленного начала упорядочения дела, а время — в смысле текущих наверху обстоятельств действительно ненадежное, по крайней мере — не обнадеживающее. Вот почему тянет неудержимо к мерам надобным и устрашает возможность не только неудачи, но и предательства, вместо надобной поддержки.

Ваша осторожность действительно отрезвляет и успокаивает нас обоих, заставляя глядеть на предпринимаемое не только беспристрастнее, но и с точки зрения предполагаемого воздействия со стороны всякой интриги. Мы благоразумно отложили впредь до Вашего возвращения в Петербург и до возвращения графа А. Д. из-за границы всякие, так сказать, кричащие воздействия на Капеллу. Вместо них будут приняты тихие домашние меры, которые и тут будут санкционированы свыше в смысле согласия и обещания исполнить. А в самой Капелле — в смысле постановки того же Ляпунова в положение скрепившего своею подписью проектируемую меру. После Вашего письма, столь образумившего смысл переживаемого предварительного периода воздействий на Капеллу домашними и негромкими мерами, я совершенно понял и успокоился насчет предстоящих трех месяцев. Тогда я, конечно, буду еще более в курсе дела, еще более поймут меня и окружающие, слабее будет воздействие былого и попривыкнут сверху и около к некоей снисходительной будто бы моей терпимости.

Не самоуверенность употребила в последних строках слова: я, мой, — а предстоящее одиночество в эту осень и Ваше с графом А. Д. отсутствие в разных сторонах от Петербурга. Конечно, в случаях, когда я задумаюсь и время потерпит, — письмо в Михайловское поедет без замедления, как и за границу.

А все же — как трудно направить Капеллу! При таких же осторожностях — как медленно будет это поправление! Надо разделаться по крайней мере с 14-ю безголосыми неучами-певчими, из которых некоторые многосемейны, некоторые наглы и готовы на всякую низость. Надо разделаться по крайней мере с 15-ю учениками инструментальных классов, ничего не делающими 18 — 20-летними юношами, увольнение которых невозможно с устройством и помещением куда-либо. Легче, но трудно же очистить в гораздо меньшей

степени малышей, просидевших по 3 года в приготовительном или первом классе. Поверите ли, что мальчику 1-го класса Пронину теперь 15 1/2 лет и он, бесприютный, круглый сирота, есть вместе самый отъявленный лентяй и тупица, которого и прогнать некуда! А таких — хоть отбавляй! А чего стоят многие родители!!

Очень тщательно поэтому сделан прием новых мальчиков, совершенно отдаленных от среды детей, принятых в прошлые годы. Занимаемся мы с ними особенно внимательно и оберегаем их. Немало забот предстоит и с обновлением круга преподавателей и воспитателей, из которых чуть не половина распустились совершенно и довели уровень успешности как в науках, так и в искусствах до сущей жалости. Но тут уже мы хозяева и стоим вне жалоб, да и самая среда выше предыдущих, почему и воздействия сделать много легче.

Хозяйство уже налаживается понемногу и начинает быть хоть приличным, но далеко еще до порядка и до уплаты наших долгов.

Завтра уезжает Государь, Императрицы Марии Федоровны уже нет — следовательно начинается период домашней работы, от которой пение хора должно к возвращению царей произвести вполне новое впечатление. Конечно, труднее будет начать эту работу без той вычистки, какую было сгоряча мы задумали, зато и спокойнее будет думать о стараниях соваться в наши дела извне, так как к тому поводов не будет. Авось отстанут всякие недруги и любители интриг!

А прошение учеников все-таки нам не доставлено. Очень хорошо, конечно, что первый разговор с Императрицей Марией Федоровной был именно таков. В Капелле, однако, не угомонились и думают, даже и высказывают открыто, что едва ли дело это проиграно, что воля останется прежняя.

С Мирием Мириевичем [Аничковым] я давно хочу познакомиться, да нет его здесь пока, а 4—5 часов терять пока не могу. По приезде в Петербург (к 30 августа) уладится это знакомство. О выговоре П[обедоносце]ву за пропускание цензурою ответа — что-то не слышно; и в первый раз и потом разговоров было много, но неблагоприятного смысла для П[обедоносце]ва в них не было.

Кончая письмо, считаю своим долгом вновь и от всей души поблагодарить Вас, высокоуважаемый граф, за все внимание и участие. Обещаю Вам быть послушным, так как вполне верю в полную разумность быть особенно осторожным и в лучшее направление дела при Вашей опытной помощи. Да сами мы целее и крепче будем здесь все.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, [после 16 августа 1901]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за столь поднявшее мой дух и ободрившее меня Ваше письмо. Очень я искал Вас на свадьбе в Гатчине¹, но было много, а я близорук к тому же, не знаю плана дворца да и нет возможности найти свободные часы для отлучки в Петербург.

От всей души и вполне принимаю Ваши советы, полные мудрых указаний в моем трудном положении. Конечно, это положение я предвидел как вполне неизбежное, так как не сдадутся без боя прежние порядки, воспитавшие лишь грубость, незнание и беспомощное оттого состояние учеников Капеллы. Все это, конечно, мстит в духе своего уровня и будет еще мстить очень долго. Вполне и основательно эта злоба, только мне-то приходится терпеть на себе за других и не за свои вины.

Я принимаю все к сердцу очень близко, так как бесконечно жаль мне неповинных юношей, своевременно не воспитанных и не выученных, а ныне нетерпимых более в Капелле по их возрасту и дикой грубости и недопустимой наглости. Конечно, я твердо слежу за собою и не позволю себе чего-либо неосторожного, что могло бы дать пищу всяким недругам и дать возможность и предлог ко всяким пересудам и даже воздействиям. Кроме осторожности я еще защищен и тем, что Капелла как учебное заведение слишком развенчана и вполне оглашена в своем неустройстве. История с подачей прошения Императрице Марии Федоровне — лучший аттестат уровня Капеллы, ее дисциплины.

Хор — подтягивается, но опирается, стоя на своем самомнении и лени. Впрочем, другое дело пойдет при переезде в Петербург на зиму. Никуда не годны все четверо учителей — это и невежды, и неработники, еще работает Смирнов, а остальные даже и не хотят работать.

Ревизионная комиссия, с протоколами которой я ныне в достаточной мере знаком, обнажила достаточно полно и ясно все неустройства Капеллы, предложив к тому же и весьма разумный план ее преобразования. Теперь я работаю над подробностями этого плана, но встречаю невообразимое препятствие в невероятной путанице денежной части и в устройстве личного состава, ныне на $\frac{2}{3}$ никуда не годного, незнающего, ленивого, считающего только свои якобы заслуги и потому невозможность быть тронутым.

Ляпунова я видел много раз и с ним всячески лажу, но состояние инструментального класса я нашел в каком-то непонятном для меня упадке. Вероятно Ляпунов ничего не делал уже несколько лет, потому что существующее непозволительно и совершенно никуда не годно. Может быть найдется, да и то едва ли, до десятка мальчиков, играющих сносно, остальные же — какое-то недоразумение.

Но еще более печален состав больших певчих, поголовно не знающих даже нот и мнящих себя очень высоко. Я еще хожу около них и прицеливаюсь, но и держу себя очень осторожно с ними.

Вообще же смею вполне уверить Вас, что самолично, без совета с сослуживцами, без ведома и согласия графа Александра Дмитриевича, ничего не делается и не будет мною делаться в Капелле. Причины такого режима — понятная осторожность и понятная и надобная основательность всех моих действий. Хотя я и вполне уже понял дух и тело Капеллы, ее жизнь, ее прошлое и размеры ближайшего и дальнейшего улучшения Капеллы — самый простой такт, самое простое привлечение к совместной работе, к совместной ответственности и к совместному влиянию на дело, — заставляют меня держаться этого самого спокойного и законного вообще, а для дела — самого авторитетного способа действий. Внешняя осторожность — дело графа Александра Дмитриевича, которому я глубоко признателен за все, с которым у всех нас — полные лады. Даже в случае какого-либо нечаянного осложнения (а по правде сказать, от грубых учеников и певчих можно ждать каждый час) у нас есть еще заступник могучий и опытный, добрый и беспристрастный — в Вашем лице. Чего же, служа правде и в указанном направлении, бояться? Мои любимые основания «*langsam und immer hinauf*» (а не «*vogau*») [«потихоньку и все время вверх» (а не «вперед»)] и словечко моего друга С. А. Рачинского: «кроткое упорство» нисколько не ослабевают, как и мои силы и энергия. Если бы я не верил в полную победу исповедуемых мною правил — мне незачем было бы ехать в Капеллу.

Эконома Глебова у нас уже нет. Эта фигура, собственно говоря, погубила денежную часть Капеллы. Трудно и разобратся в его наследстве. Дисциплинарная часть начала у самых мальцов заметно поправляться и улучшаться, но у старших мальчиков — полное сопротивление и отрицание, полное нежелание учиться и обвинение начальства в том, что они выросли такими негодными неучами, запоздавшими к ученью, не приученными к дисциплине. Тут будет много хлопот, чтобы вычистить Капеллу от этих празднолюбцев и дармоедов.

С Победоносцевым я встретился в Гатчине, и он звал меня в Царское. Я думаю съездить туда, так как еще не был у моего брата, там живущего², да и к Победоносцеву дело есть: Синодальное училище предложило мне выбрать надобные для занятий рукописи для пожизненного пользования, а князь Ширинский-Шихматов устроил отказ. Из почти 3000 томов я выбрал себе только 34 тома, то есть около $\frac{1}{100}$ части, так и тут на прощанье сумничал столь незабвенный для меня Шихматов. Думаю, что Победоносцев будет порядочнее и признательнее, а работать надо, да хочется отдохнуть за нею от сутолоки в Капелле³.

Сердечно благодарю еще раз.

Преданный Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 56-57

1. Речь идет о свадьбе великой княгини Елены Владимировны, состоявшейся 16 августа, с пением Придворной капеллы (см. подробное описание этого придворного торжества в письме к Волковой от 17 августа 1901).

2. Имеется в виду двоюродный брат — акушер Иван Федорович Смоленский.

3. Об истории выдачи Смоленскому рукописей из древлехранилища Синодального училища см. подробнее в переписке с Победоносцевым.

Шереметев — Смоленскому

[Михайловское, после 16 августа 1901]

Дорогой Степан Васильевич.

Не знаю, что у Вас делается, но позвольте во всяком случае дать Вам совет: не принимайте все это слишком близко к сердцу и не слишком горячитесь. Вся стратегия недоброжелателей — это вывести из терпения и заставить сделать какой-нибудь промах; будьте осторожнее и не спустите на себя [собак?].… Если понадобится, я всегда в распоряжении и могу передать кому следует — что следует.

Очень мне жаль, что мы толком не побеседовали, но в этой свадебной суматохе все-таки было трудно. Пели очень хорошо...

Каков Ляпунов и как себя держит? Глупая образина Штакельберга — вчера была во всем блеске своего нахальства!

Будьте здоровы. А что, не было ли у Вас разговора с Победоносцевым после назначения?

Преданный Вам искренно С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 37

Смоленский — Шереметеву

19 сентября 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Ваш управляющий, сообщая мои слова, перепутал все: я твердо помню Ваше письмо ко мне и те требования, какие Вам было угодно поставить для хора Вашей церкви¹, то есть до 8-ми человек певцов на мужских голосах, отсутствие женского элемента, отсутствие учеников Придворной капеллы и, по возможности, направление в сторону древнего напева.

Именно все это и имеется в виду достигнуть управлением Вашим хором с помощью провинциала-регента, обучающегося в регентском при Капелле

классе. Такой регент, непетербуржец, намечен как способный и богомольный, не вертопрах и не «художник», а именно певец. Капелла здесь не при чем, кроме меня.

Пользуюсь этим письмом, чтобы и порадовать Вас: мы очень присмирели и начали ретиво работать, завели у себя чистоту. Исправляемся в поведении и в ученье так хорошо, что и радостный просвет, румяная заря хорошего будущего — несомненны, даже скорее и вернее, чем думалось. Правду сказать, что и я не жалею себя в этих первых шагах моей службы. Работаю с раннего утра и до самого позднего вечера, невольно начали работать и все мои сослуживцы, сразу понявшие всю нелепость своего поведения в виду моего труда; за сослуживцами потянулись и ученики, и представьте себе — самые старшие, то есть те самые «просители», которые так ополчились и так противодействовали мне решительно во всем. Радуют меня и все вновь принятые мальчишки, которых мы выбрали тщательно и самым строгим образом оберегаем от несноснейших поющих мальчуганов. С последними — хоть опускай руки, до такой невозможной степени неподатливы они к добру и к подчинению вследствие прямо какой-то отчаянной распушенности: $\frac{3}{4}$ из этих 11—13-летних курят, бранятся, ленятся в ученье и прямо ненадежны в дальнейшем. Эта часть Капеллы — самая тяжелая для меня.

Не лучше и господа «титულлярные советники», хотя и присмирившие, но видимо нежелающие уступать и приучаться к дисциплине. Незнание ими даже напевов придворного обихода, даже простой всенощной, даже нот — прямо невероятное. Это какое-то царство самолюбивых и грубейших неучей. Не в восторге я и от учителей хора Капеллы. Малое образование их и ограниченность их кругозоров, даже и в церковном пении, — прямо жалки.

Удалось прогнать и вора-эконома, заменив его дельным и знающим человеком из моих бывших учеников по Москве. С этим А. А. Петровым многое как бы ожило и преобразилось по самой запущенной нашей части², где воровство спустило концы в воду, перепутало все, притворилось растерявшимся и пригласило нас же распутать свои грехи...

Тем не менее радость ожидания нового, хорошего времени, порядка, успешности ученья, взаимного уважения и взаимопомощи берет свое, и нет уже более казеннейшего отношения к делу, нет равнодушия к заключенному в чем-либо беспорядку. Подбодрилось и заработало очень многое, так что к концу этого учебного года, вероятно, мы будем с недоумением вспоминать разные прорехи, теперь уже режущие наши глаза.

Этими днями, то есть 28-го, Капелла будет поминать 150 лет со дня рождения Бортнянского. Мы пропоем обедню на Смоленском кладбище, панихиду на его могиле у церкви, а вечером устроим чествование его памяти в зале Капеллы³. Этот случай убедил меня, до какой горестной степени наука и идейное служение искусству далеки от Капеллы, как груба и, простите, денежна эта наиневежественная среда, только и думающая о большей праздности

и о большем числе рублей, которые бы можно было выпросить с казны. Стыдно мне писать — но это сущая правда. Единственное средство получить вместо этого грубого нечто служащее правде и красоте — разогнать эту Капеллу, набрать новых людей вместо нежелающих и, пожалуй, безнадежных к вразумлению и упорядочению. Сгоряча я чуть было не взялся за это сразу.

Бесконечно благодарю Вас, высокоуважаемый граф, за истинно мудрый и отеческий совет, уберегший меня от большой ошибки. Эти слова — верное обеспечение моего будущего. Негодование мое было сильно, и я рад Вашему доброму совету. Он спас многое.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 35, 38, 38 об.

1. Иметсяя в виду церковь петербургского Фонтанного дома.
2. В Воспоминаниях читаем:

Описываемая пора вступления в должность Кленовского, Толстякова и Чеснокова отразилась и на мне и на Алеше Петрове (экономе) надобностью претерпеть длинейший ряд всевозможного озорства как со стороны младших и старших учеников, так и со стороны потакавших им во всем воспитателей, которые уже были предуведомлены мною о предстоящем для них увольнении из Капеллы. Делались вещи прямо невозможные. Например, новые одеяла были порезаны в куски, и затем поднялся вопль: в спальне холодно, нечем одеваться... <...> Редкий день проходил без скандала в столовой: кидались на пол котлеты, билась посуда, проливалась на скатерть всякая жидкая еда, чай, квас... (РДМ. Т. IV. С. 481).

3. См. комм. к следующему письму.

А. Д. Шереметев — Смоленскому

Генуя, 26 сентября 1901

Глубокоуважаемый Степан Васильевич,

письмо Ваше получил как раз в тот момент, когда яхта снималась с якоря, чтобы следовать из Ниццы в Савону. Читал я его под звуки волн Средиземного моря, которое все эти дни расходилось не на шутку. Хорошую погоду, в полном смысле этого слова, мы увидели только сегодня, на другой день после прибытия в итальянские воды, а именно в Геную. Сознаюсь Вам откровенно, что Вы меня очень порадовали и утешили: слава Богу, что в Капелле, наконец, взялись за ум — видно, труды Ваши начинают уже приносить добрые плоды. Да и пора... очевидно, в Капелле поняли, что тупым, бессмысленным сопротивле-

нием благим начинаниям нового начальства ничего хорошего не добьешься, что все сказанное в разное время Вами и мною не пустые фразы, брошенные на ветер. Дай Бог, чтобы все выраженное мною в моем последнем, перед отъездом, приказе как можно глубже внедрилось в умы служащих в Капелле, дабы уразумели они, что высший подвиг заключается в смирении, терпении, братской любви и молитве; я твердо верю, что с Божией помощью, да с Вашей неустанной энергией дело, которое уже теперь начинает приносить добрые плоды, в самом недалеком будущем ознаменуется самыми блестящими результатами¹. Душевно радуюсь, что всенощные в Капелле начались, причем очень прошу Вас включить и меня в число лиц, жертвующих в подписке на иконы². Мысль почтить память Бортнянского прямо-таки — блестящая; весьма жалею, что лишен возможности присутствовать на торжестве, но верьте, что мысленно я буду с Вами и надеюсь, что чествование даровитого композитора удастся на славу. Относительно подписки на венки Вы, вероятно, уже получили мою телеграмму³.

Надеюсь между прочим побывать в Риме и послушать пение Сикстинской капеллы: все так восхваляют пение этой Капеллы, что мне самому очень бы хотелось проверить, насколько все эти слухи верны. Хотелось и побывать в Неаполе, увидеть Везувий, но этим мечтам не суждено сбыться по случаю появившейся с 15 июля чумы. К счастью местные власти энергично принялись за дело, и, по-видимому, им удалось локализовать болезнь. Вообще, должен сознаться, что я ожидал гораздо большего от Италии; на деле она оказалась очень грязной и малосимпатичной страной; впрочем, говорят, что кто не видал Рима, не видал Италии. Если удастся иметь аудиенцию у Папы, то вероятно я буду иметь возможность услышать пение Сикстинской капеллы во всем его блеске и тогда напишу Вам об этом и о вынесенных мною впечатлениях во всех подробностях.

Засим, пожелав Вам дальнейших успехов, остаюсь

преданный Вам А. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 48—49 об. На бумаге с грифом «Паровая яхта “Зарница”»

1. Смоленский писал Александру Дмитриевичу о делах в Капелле 19 сентября, но это письмо неизвестно, так же как текст упомянутого в письме приказа А. Д. Шереметева по Капелле.

2. Смоленский попытался повторить в Капелле опыт Синодального училища, когда всенощные для учащихся при пении ученического хора проводились в малом зале училища (подробнее см. в I томе РДМ); очевидно для этих служб и понадобились иконы. Всенощные в Капелле начали служить с сентября 1901. В Дневнике 3 сказано, что они «возбудили общий ропот как «лишний и бесполезный труд, отнимающий время»»:

Поют, по правде сказать, прескверно, но я упорно учу Капеллу напевам гласов (их же [придворного] Обихода), которых она, стыдно сказать, совсем не

знает. Не говоря о службе, безбожно сокращаемой по придворному порядку, Капелла отличается прямо незнанием, даже полнейшим незнанием всего того, что находится вне ее искаженного придворным Обиходом богослужения. Например, здесь даже не подозревают, что есть стихиры стиховны, антифоны и т. п., прокимны поются читком, из канонов умеют петь «по партиям» только 1, 3, 6 и 9 песни и т. п. (Дневник 3, л. 43—44).

3. Речь идет о праздновании в Капелле 150-летия со дня рождения ее директора Д. С. Бортнянского, во время которого на торжественном собрании 28 сентября Смоленский произнес речь (опубликована в РМГ, 1901, № 39—40). Это мероприятие Смоленский считал очень важным и в своей речи изложил иносказательно собственную программу действий в Придворной капелле. В частности:

Разобраться в сумбуре наносного своего и чужого искусства было более чем трудно, даже и для Бортнянского; возвратиться к суровому прошлому, то есть к древнему напеву, «хотя бы и украшенному гармониею», было прямо невозможно, так как грома гармонизаций, сделанных как раз в XVIII веке, представлялась совершенно неудовлетворительною.

Очевидно у нас не было в XVIII веке такого могучего и образованного таланта, который бы вытрезвил всю эту шумиху, выбрал бы из нее все надобное к дальнейшему и сказал бы свое новое приятное современникам слово. Таким именно талантом и явился Бортнянский. <...>

Превосходный по эрудиции проект [«Об отпечатании древнего российского крякового пения»] во весь рост рисует зрелость мысли престарелого Бортнянского, оказывающегося по этому и по смыслу всей его деятельности отнюдь не «итальянцем из русских», а глубоким русским художником, тонко понимавшим не только блуждание и беспочвенность мыслей своего времени, но и великое будущее русского искусства на указанных им русских церковных началах (РМГ, 1901, № 40. Стлб. 953—954).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 1 октября 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Пришло время и мне сообщать Вам из Капеллы радостные вести: 28 сентября мы помянули, по случаю 150-летия от рождения, нашего бывшего питомца, учителя и директора Д. С. Бортнянского, и поминки эти удалась даже лучше, чем я думал. На Смоленском кладбище, где похоронен Дмитрий Степанович, мы возложили на его могилу венок; пение за литургиею было достаточно хорошее (то есть это уже по моим от Капеллы требованиям). Вечером было в Капелле торжественное собрание — вполне удачное. Если

у Вас, граф, найдется под рукою «Новое время» от 30 сентября или другие здешние газеты от 29-го, то в них можно найти рецензии очень одобрительные. Самое отрадное, однако, для меня — очевидное с каждой неделю улучшение порядка и ученья в Капелле, улучшение в чистоте помещений и в хозяйстве; подтянулись и певцы, коих начну скоро учить музыкальной грамоте. Бог милостив — тяжелое первое время всякого рода выходов, как кажется, кончилось, и мы принимаемся за дело уже без воплей на воображаемые притеснения. Ученики уже сидят за работой исправно, и взаимное между ними уважение начинает вкореняться вполне очевидно. Заработали и мои сослуживцы, так что дело уже встало на рельсы и двинулось в путь, хотя и медленно, но все же в дороге. Нет слов, граф, передать Вам меру моей радости, так как то, чем я уже начал любоваться, я думал увидеть не ближе святок.

Хор для Вашей церкви устроился. Регентом будет серьезный человек и знающий — Алексей Алексеевич Петров, кончивший курс в Синодальном училище (1893 г.). Подробные условия получить от Вас было бы желательно. Требования — известны и понятны.

На следующей неделе в конце я, с Вашего позволения, вышлю Вам мои речи, произнесенные 28-го в Капелле.

От графа Александра Дмитриевича я получил сегодня из Генуи письмо, в котором он порадовал меня многими добрыми словами. Спасибо ему!

Прошу Вас принять мои почтительные пожелания Вам и всем Вашим доброго здоровья и всякой радости.

Душевно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 36—37

Шереметев — Смоленскому

Полтава, 7 октября 1901

С великим нетерпением ожидаю я сведения и статьи¹. О многом хотелось бы поговорить и помимо Капеллы — по вопросам древних напевов и проч. Нужно, пока еще не поздно, направить вкусы на путь правый, а Вы теперь единственный носитель преданий нашего древнего музыкального творчества. Все родное теперь сглаживается с быстротою показного, ради переживаемых нами особенно неблагоприятных для всего русского условий! Тем обязательнее возбудить «течение встречное — против течения» и на деле проводить те здоровые начала, на которые всегда будет спрос при всей недостаточности подготовки и знаний и возможности добыть эти знания...

Посылаю Вам прилагаемую статью, которая меня заинтересовала. По прочтении возвратите мне ее в Петербург².

Собираемся на днях в Киев и в Москву. Здесь, под Полтавою, у меня родилась внучка Прасковья³.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 45

1. Вероятно Шереметев интересуется публикацией речи на чествовании памяти Д. С. Бортнянского.

2. Очевидно Шереметев послал Смоленскому «фельетон о лирниках и кобзарях», упоминающийся в следующем письме.

3. Прасковья Гудович скончалась в младенческом возрасте.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 10 октября 1901

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечнейше благодарю Вас за краткое, но вместе выразительное и многозначительное письмо о надобности «течения встречного — против течения». Дело это действительно надобное и полезное, но моя работа в этом деле будет, так сказать, чернорабочая — работа машиниста при паровозе, приказчика при капиталисте. Не мне утверждать новое течение, не мне обеспечить его от воздействий непонимающих людей, а тем более враждующих со всем русским. Едва хватит моих сил только на то, чтобы сломить домашнее противодействие и непонимание, мотивирующее свое упорство тем, что до сего этого не было, как-то взглянут наверху и что существующее красивее бывшего родного. Едва хватит моих сил, чтобы победить красотой русской старины самих исполнителей, давно чуждых русскому искусству и, кстати сказать, не судящих глубже первых и только внешних слуховых ощущений.

Я не принадлежу к людям увлекающимся через край, ни к малодушно отступающим перед трудным делом, но к предлагаемому «встречному течению» я пока, до тех пор когда оно не может заявить о своих звуках вполне художественно, побоялся бы довериться именно ввиду того, что его не оценят, не поймут, пожалуй даже будут и издеваться. Если же время, которое мне надобно в Капелле для приведения ее техники и образа мыслей к достаточной для дела вышины, может быть употреблено на предварительное подготовку слушателей, хотя бы и в высших сферах, то по строю мыслей этих именно людей, послушных и прислушивающихся к дуновениям свыше, будет несравненно легче вести дело и даже проявить некоторое кроткое и благоразумное упорство в своем противутечении.

Капелла для этого — сильное и хорошее подспорье. Ее концерты публичны, а исполнение и фирма — весьма авторитетны по старой памяти. Но и в Капелле мои помощники малодушны и совсем уж малOVERны, да и ма-

лознаючи. Одно слово сверху — так Капелла будет и энергична, и правоверна, начнет учиться.

Относительно Вашего хора — другое дело. А. А. Петров — московского закала, да еще с Никитской. Тут дело пойдет и легко, и умно.

Фельетон о лирниках и кобзарях очень интересен, но не разделяю я вообще мысли о вырождении у нас песни и народного искусства в той ужасающей степени, как трактуют многие пессимисты. Конечно, фабрика, чугунок, гармония и, смешно и грустно сказать, школы — очень портят народные вкусы. Но я сам слышал в Иванове-Вознесенске, в Шуе, в Орехове-Зуеве, то есть в самом горниле фабрик, такие чудесные песни, такие отлично сохраненные мелодии, такие умильные хороводы — что нечего уже упоминать о столь милых моему сердцу «лесах»¹. Конечно я не знаю уровня песенного искусства 50—100 лет назад. Может быть это искусство и пало. Но ведь это искусство — живое дело, и старым песням приходит конец, и новые песни обтачиваются до степени удивительной красоты. Смерть песни — смерть народа, а дряхлость русского народа я совершенно отрицаю. Мы еще очень молоды. Вот смерть песни среди заповивших нас немцев — другое дело. Тут цепь из Глинки, Даргомыжского, Бородина, Балакирева, Римского-Корсакова, Гречанинова — имеет смысл глубокий и мощный. К этой цепи еще не примкнуло древнее пение, — но будет время и тому. Если свыше кликнут клич — откликнутся и музыканты, вложится дух в мысль работающих, но некрепких духом. Тогда и «противутечение» нынешнее поймет близость своих последних дней, а то один в поле не воин.

Вот, граф, одна из частей моего «святая святых». С глубокою радостью и с полным упованием пишу Вам и благодарю за данный мне повод высказаться.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 39—40 об. На бланке управляющего Капеллой

1. Имеется в виду старообрядческое пение в Поволжье, по аналогии с горячо любимым Смоленским романом «В лесах» (и «На горах») П. И. Мельникова-Печерского.

А. Д. Шереметев — Смоленскому

Ницца, 11 октября 1901

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Сейчас получил прилагаемое при сем конфиденциальное предписание министра¹, помеченное 26-м сентября. Удивляюсь, что я его получил так поздно, и не говоря уже об этом, еще страннее то, что оно было адресовано лично мне, а не Начальнику Капеллы, вследствие чего оно и было послано мне

сюда. Между тем из его содержания Вы усмотрите, что дело *весьма спешное* и для Капеллы очень важное. Убедительно прошу Вас задержать, во что бы то ни стало, все дело, конечно, поскольку оно касается Капеллы, до моего возвращения, а так как мы рассчитываем вернуться 3—8 ноября, то ждать придется сравнительно недолго; между тем, я безусловно против того, чтобы вопрос этот решался в его окончательной форме без меня, так как от разрешения его в том или другом смысле будет зависеть весь ход и вся дальнейшая деятельность Капеллы. Меня крайне удивляет, что для решения столь важного для Капеллы вопроса избрали как раз время моего отсутствия, причем срок представления ответа назначен 1 ноября, то есть всего за несколько дней до истечения срока моего отпуска. Это еще более наводит меня на мысль, что моим отсутствием хотят воспользоваться; это тем более правдоподобно, что во главе комиссии стоит не кто иной, как пан Рыдзевский; этому магнату видно захотелось вспомнить старину и затеять маленькое нашествие в область чисто русских интересов. Но история учит нас тому, что поляки, иными словами ляхи, никогда не имели окончательного успеха в их борьбе с русскими, а потому позволительно надеяться, что и в данном случае Русь одержит верх над Польшей. Но осторожность, тем не менее, необходима, но осторожность, соединенная, конечно, с твердостью, столь свойственной русским людям. В заключение не откажите заготовить необходимый материал по разработке положения о новых штатах Капеллы, дабы, по моем возвращении, не задержать ответом на предписание министра. Предположение о посещении Рима, Папы *e tutti quanti* [всего прочего] оставлено; сознаюсь, Италия вообще произвела на меня очень невыгодное впечатление. Теперь мы поселились в Ницце, причем наш адрес следующий: «Nice, R-te de Brancolar, villa Val fleuri». В надежде, что Вам удастся отстоять интересы Капеллы, остаюсь

преданный Вам А. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 43 об., 47 об.

1. Речь идет скорее всего о новых штатах Капеллы; возможно, однако, что в письме, полученном А. Д. Шереметевым, упоминалось о еще одной ревизии в Капелле, связанной с готовящимся увольнением Ляпунова и его сотрудников и сопутствующей этому акту сдачей казенного имущества. Позже, весной 1902, была назначена ревизионная комиссия под председательством гофмейстера С. Е. Смельского, при том, что С. М. Ляпунов вышел в отставку в феврале 1902 и новый помощник управляющего — Н. С. Кленовский тогда же приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом подробно рассказывается в Воспоминаниях Смоленского.

А. Д. Шереметев — Смоленскому

Ницца, 21 октября 1901

Infinement reconnaissant pour bonnes nouvelles et envoi approuve tous vos projets. Vous souhaite forces et sante pour continuer la tache difficile si bien commence. Cheremeteff

Бесконечно признателен за добрые новости и охотно принимаю все ваши предположения. Сохраняйте силы и здоровье для продолжения трудной и так хорошо начатой деятельности. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 50. Телеграмма

Шереметев — Смоленскому

[Москва?], 28 октября 1901

Многоуважаемый Степан Васильевич, надеюсь вернуться ко 2 ноября¹. До скорого свидания. Писать неудобно, а на словах надеюсь отвести с Вами душу.

Преданный сердечно С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 46. На открытке с изображением российского флага

1. Имеется в виду приезд графа в Петербург на зимний период.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 18 декабря 1901

Милостивый государь Степан Васильевич.

Случайно приобретены мною прилагаемые при сем сборники, которые посылаю Вам на просмотр и для определения их достоинства¹.

Все собираюсь к Вам, но никак до сих пор попасть не могу!
До свидания.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 51

1. О каких именно сборниках идет речь в данном случае — неизвестно. С. Д. Шереметев постоянно приобретал рукописи и другие исторические реликвии — как для своего личного собрания, так и в качестве дара в рукописный фонд ОЛДП (ныне

находится в РНБ). Если рукописи оказывались музыкальными, они обычно тут же передавались для консультации Смоленскому.

Шереметев — Смоленскому

Москва, 23 января 1902

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Все собирался к Вам в Петербург, да так и не удалось ради «всяческой суеты»; а у меня имеется Вам кое-что сообщить ввиду последнего моего разговора с императрицей Марией Федоровной. Кроме того, у меня есть к Вам и дело, и мне хочется просить Вашего совета. Дело вот в чем: 28 февраля предстоит годовое торжественное собрание Общества в память императора Александра III. День этот есть день его рождения, и на этом собрании по уставу Общества полагается лишь чтение, посвященное Его памяти, которому должны предшествовать: 1) панихида и 2) исполнение музыкального произведения.

Все эти года последнее выполнялось оркестром моего брата; на этот раз, однако, 28 февраля приходится на вторник первой недели Поста, а потому исполнение «струнного» оркестра вряд ли удобно и все должно ограничиться хоровым пением — вот и являются два вопроса: первый — кто будет исполнителем этого пения и второй — что им будет исполнено? Последний выбор тем более важен, что должен заключать в себе нечто подходящее к случаю и одухотворяющее известное настроение, после чего последует чтение интереснейших воспоминаний об Императоре Александре III, которое займет полчаса времени.

До сих пор исполнителями были певцы хора моего брата, который принимал живое участие ради сочетания с оркестром, которым дирижировал, но оркестра на этот раз не будет, так как предстоит одно хоровое пение — мне и пришло в голову: не воспользоваться ли этим случаем и не преподать ли публике несколько образцов того древнего напева, возрождение которого так желательно *в Вашем духе и направлении?* Ведь этот день мог бы по преимуществу служить этой цели как вполне соответствующий духу и направлению почившего. Быть может представилась бы возможность хотя бы удовлетворения части оногo путем некоторого участия самой Придворной Капеллы, на что я мог бы всегда испросить Высочайшее разрешение, хотя бы и в небольшом размере, из числа не участвующих в этот день на заупокойной службе.

В том или в другом виде и как найдете лучшим, но особенно желательно подчеркнуть в этот день — «28 февраля, и притом во вторник первой недели Поста» — то внушительное настроение, которым желательно ознаменовать годовое чествование памяти Незабвенного для России Государя¹.

Очень одолжите добрым участием и советом ради дорогого всем нам Русского Дела.

Остаюсь здесь до 31 января.

Преданный сердечно С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 54—55

1. Этот вопрос был подробно обсужден Шереметевым и Смоленским при их личной встрече в Петербурге 1 февраля. Было решено пригласить для участия в собрании не хористов Капеллы, а студентов Петербургской духовной семинарии. В результате 28 февраля 1902 на годичном собрании Общества ревнителей исполнялись Панихида на темы из древних роспевов для мужского хора Смоленского, а также духовный стих и национальный гимн.

А. Д. Шереметев — Смоленскому

[Петербург?], 3 февраля 1902

Сердечно благодарю Вас и чинов Капеллы за приветствие¹. Тронут вниманием. Граф Александр Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 52. Телеграмма

1. Возможно, приветствие по поводу возвращения в Петербург.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 5 февраля 1902

Переговорил с Александром Дмитриевичем¹. Необходимо тотчас определение предстоящего исполнения панихиды для доклада совету и оглашения в повестках. Сергей Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 57. Телеграмма

1. То есть с А. Д. Шереметевым.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 8 февраля 1902

Собираюсь в понедельник к Царю, а вчера был у Императрицы Марии Федоровны. Имел продолжительный разговор о Капелле, содержание которо-

го необходимо было [бы] сообщить, так как им освещается многое, что доселе было темно.

Относительно напева панихиды думается, что не мешало бы публику приучать к словам специальным, как демество и проч.¹

По пути моих исследований о Смутном времени натываюсь на двух певцов или составителей церковных песнопений — *Мезенец и Иван Нос*. Последний для меня особенно важен.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 53

1. В результате при издании (в 1905) сочинение получило название «Панихида на темы из древних роспевов».

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 16 февраля 1902

Милостивый государь Степан Васильевич.

Со мною случилось неприятное обстоятельство: получил Ваше письмо, в суэтах не успел его распечатать и потерял.

Уезжаю сегодня вечером в Москву и желал бы быть уверенным, что наше предположение о панихиде 28-го, в 3 часа дня — осуществится.

Извините за беспокойство.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 56

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 17 февраля 1902

Многоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я только что получил Ваше письмо от 16 февраля, и одновременно с этим сидевший у меня А. А. Петров, бывший вчера за всеобщей, сообщил мне о Вашем отъезде прямо после службы.

Я совершенно не могу восстановить в памяти содержание моего последнего письма к Вам, даже и повода к нему. Но я отчетливо помню, что по случаю Вашей депеши ко мне о программе панихиды я, ввиду краткости срока, остававшегося до общего собрания Общества ревнителей, сначала написал Вам, а потом, послав письмо, сам приехал к Вам и объяснил содержание посланного письма. В личных объяснениях (с гектографированным нотным тек-

стом панихиды) беседа повернулась на устранение придворных певчих от участия в исполнении панихиды и на приглашение вместо них певцов семинаристов. Телефонные затем сообщения не могли не уверить Вас, что дело с панихидой налажено. Кстати скажу, что завтра в 2 часа назначена мною в Духовной семинарии уже генеральная репетиция панихиды, которую уже выучили и осталось только отделать в подробностях¹.

По всему этому я предполагаю, что Вы, получив мое письмо, вспомнили мое о нем предупреждение в только что бывшей беседе и справедливо не сочли надобным излишне утруждать себя; а потом какая-либо памятка привела Вас к предположению, что было получено новое письмо, о котором, признаться, и я толком не могу припомнить.

Дела в Капелле, слава Богу, уминаются по-хорошему: сегодня кончается дело с Азеевым, затем Н. С. Кленовский (преемник Ляпунова) уже приехал, и вероятно завтра начнем действовать.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 41—41 об.

1. Об исполнении Панихиды имеется запись в Дневнике 3:

Панихиду по Александре III я дирижировал на заседании Общества Ревнителеев в доме С. Д. Шереметева. Пело унисоном 20 басов, что производило совершенно особенное впечатление чего-то сурового, аскетического, неумолимого, но вместе и хорошего, родного, совершенно забытого, хотя и понятного во многих мелочах. Я, грешный человек, много поприукрасил эту панихиду, припутав в ней немалое число всяких мелодических вариантов. Хор семинаристов и академиком живо понял мои указания оттенков, так что художественная часть изложения была удачною. Придворные певчие, в количестве 20 басов, с которыми я было покусился один раз пропеть эту панихиду, оказались в этой области совершенно несостоятельными (л. 115).

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 24 марта 1902

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Во вторник в девять часов вечера будет у нас Некрасов, собиратель русских песен, а с ним два старообрядца Нижегородской губ., Семеновского уезда, которые будут петь былины¹. Не пожалуете ли к нам, конечно совершенно запросто? Вы — особенно желанный гость.

Преданный Вам С. Шереметев.

Полтора рубли для студентов Духовной Академии будут доставлены в самом непродолжительном времени².

РНБ, ф. 855, № 30, л. 58

1. Некрасов Илья Васильевич (1862—1905) — выпускник Петербургской консерватории, участник экспедиций Русского Географического общества, составитель сборников русских народных песен для мужского хора (совместно с Ф. М. Истоминым).

О вечере в доме Шереметева 26 марта, где Смоленский слушал «двух старообрядцев-певцов, певших, подобно Рябинину, былины и духовные стихи», есть запись в Дневнике 3:

Стараясь разобраться в впечатлениях и в способах пользования слышанным, в оценке слышанного самого по себе и в качестве исполнения, я задумался над следующим рядом мыслей: то, что слышал, состоит из трех элементов: 1) подлинно народного текста — самого доступного элемента, не вызывающего никакого другого применения и развития, кроме самого простого и поучительного пользования им в неизменно-подлинном виде; здесь и трезвый ум, здесь и нежная, но твердая поэзия, здесь и удивительные по правильности свободные формы, как в мелочах, так и в целом; 2) из подлинно народного напева, чрезвычайно мало доступного в своих тонких подробностях, чрезвычайно простого в главной основе, вполне доступной, и чрезвычайно, даже и вполне недоступного пока в тех применениях к разным стихам текста, от которого подробности варьируются в пределах пока неуловимых, но очевидных, и 3) из качества исполнения, то есть степени искусства певцов, в которой необыкновенно трудно отделить красоту внутреннюю, подлежащую частию для прогресса русского музыкального искусства в качестве материала для развития более тонкими и широкими средствами его выражения, каковы гармонизация, инструментовка, развитие тем и проч., — и часть той же внутренней красоты, — метко определенную удачно вырвавшимися у меня словами: «пот и лапоть», которые едва ли во много следует внести в содержание русского будущего искусства.

С другой стороны, нельзя не порадоваться тому, что народная поэзия у нас еще так жива и сильна в народе, что наидревнейшие предания исторические сохранены в памяти народных певцов с самой изумительной, даже невероятной твердостью и малозыблемостью. <...>

Что же можно извлечь учительного для русского музыканта и педагога из этого материала? Как разделить в нем следующее к обрусению нашего «интеллигента» из простых жителей всякого города, забывшего свою поэзию, и наших музыкантов, от того «пота и лаптя», который художествен сам по себе, но не тронет «интеллигента», да и вряд ли может быть им понят? Что надобно вложить в долю обрусительного материала и в долю «лаптя», чтобы то было действитель-

но «русским» художеством, несмотря на приложение к нему европейских или новорусских средств выражения? (л. 126-128).

2. Речь идет о гонораре для исполнителей Панихиды на собрании Общества ревнителей.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 2 апреля 1902

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

О статье г. Андреева¹ скажу так: не слышал я балалаечников до дня получения статьи, а в этот день вечером и два дня спустя слышал их впервые в Инвалидном концерте, и слышанное заставило меня крепко задуматься, ибо здоровое семя и сильный талант вложены в это дело. Г-н Андреев был у меня в день между репетицией и концертом, и так как, по-видимому, нельзя с ним говорить музыканту ни о чем другом кроме как о его балалаечном оркестре, то я не скрыл от него статьи. Благожелательность моя и прямое отношение к делу столь расположили г. Андреева, что мы обсудили всю статью и поправили его изложение вместе. Я полагал бы надобным более широкое изложение дела и более широкий взгляд на него, находя возможным развитие мысли самим же г. Андреевым. Дело это может повлечь за собою многое и весьма серьезное, и я утверждаю это не боясь косых взглядов музыкантов-специалистов.

Пишу вот о балалайке, а сам думаю: сколько горя и оскорбления в эти минуты в Вашем добром, русском сердце? Сколько ужаса и смуты, сколько позора и скандала дал нынешний тяжелый день! От всей души помолился я за покойного и да простит ему Господь все его грехи². Не потеряйтесь и Вы в эти тягчайшие дни, найдите в себе мужество и силы! Бог да укрепит Вашу скорбную душу! Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 42—42 об. На бланке управляющего Капеллой

1. Имеется в виду основатель Великорусского оркестра Василий Васильевич Андреев и, возможно, его статья «О великорусском оркестре», опубликованная как письмо в редакцию газеты «Новое время» (1902, № 9422). С другой стороны, речь идет также о какой-то «записке» Смоленского, предназначенной для Шереметева и для его дальнейшего доклада государю (см. следующее письмо).

2. Речь идет о Дмитрии Сергеевиче Сипягине (1853—1902), при Александре III московском губернаторе и товарище министра внутренних дел, с 1900 — министре внутренних дел. Сипягин был убит эсером С. В. Балмашевым именно 2 апреля 1902. Он являлся родственником Шереметева, будучи в браке с сестрой его жены княжной Александрой Павловной Вяземской.

Убийство Сипягина обозначило новый виток в развитии политической ситуации в стране. Сипягин не был ответным реакционером; по мнению С. Ю. Витте, он был человеком «чисто дворянских убеждений»: он

придерживается принципа самодержавия, патриархального управления государством на местах; это его убеждения и убеждения твердые... Человек он прекрасной души, по натуре весьма гуманный... и представляет собой в истинном смысле слова образец русского благородного дворянина (Витте С. Ю. Воспоминания, мемуары. Т. I. М.-Минск, 2002. С. 99).

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 6 апреля 1902

Многоуважаемый Степан Васильевич.

По вопросу, о котором Вы говорите в Вашей записке, посылаю Вам еще записку Некрасова¹. Из всего этого могло бы выйти нечто цельное, Вами одухотворенное и развитое на благо Русскому делу. Недаром же оно возникает теперь на свежей могиле самоотверженного борца, избранника Александра III!

Преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 59

1. Можно полагать, что Смоленский послал Шереметеву текст, развивающий мысли, изложенные в процитированном выше фрагменте Дневника 3 (в комм. к письму Шереметева от 24 марта). Равным образом неизвестна и записка Некрасова; вероятно, в ней развиваются те же мысли, что и в его статье «Песенная экспедиция», опубликованной в следующем, 1903 году в Известиях Петербургского Общества музыкальных собраний.

Эти материалы понадобились Шереметеву для доклада государю, прамбула которого сохранилась в архиве графа (РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3935; автограф и машинописные копии):

Ваше Императорское Величество.

Угодно было Вам, Государь, чтобы путем обучения в войсках возродились бы в народе древние наши музыкальные инструменты и прежде всего — балалайка, почти было повсюду оттесненная гармоникой.

Ныне, благодаря почину и стараниям Андреева, а равно прекрасному исполнению его хора, наши древние инструменты возвращаются к жизни.

Вполне соответствующее явление представляет наша *народная песня*. Доныне сохранилась она в величественных и трогательных образцах, в местах глухих и дальних, преимущественно на Севере и еще не утратила ни силы ни досто-

инства. С каждым годом, однако, все сильнее проникают в народ иные, чуждые и пошлые *фабричные* напевы и оттесняют дивные образцы нашего народного творчества.

Еще не поздно задержать это постепенное исчезновение старинной Русской песни. Еще живы элементы, способные не только это выполнить, но и возродить дорогое наследие веков — вернуть народу исконную Русскую песню!..

В повергаемой на благовоззрение Вашего Императорского Величества записке изложены как современное положение этого дела, так и возможные способы желаемого возрождения.

Вашего Императорского Величества верноподданный

граф Сергей Шереметев.

К сожалению, упоминаемая записка в деле отсутствует.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 6 апреля 1902

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Записка Некрасова очень толкова вообще, мысль же ее дельная и легко осуществимая, если только не переусердствуют, не будут, как это сплошь бывает, мудрить наши великоученые и великосамолюбивейшие музикасы. Я думал давно, еще по отрывочным наблюдениям над балалаечниками из солдат, что объединение песни и народного инструмента вполне легко. Подумаю об этом подробнее, ибо имею свежие впечатления из бесед с гг. Некрасовым и Андреевым, порознь с каждым. Покойный «Третий» был глубокий русский художник и живо чувствовал многую красоту в напеве народном и церковном¹. У Андреева также есть чутье сильное и энергия большая. Любовь и чуткость к народной красоте несомненны и очень сильны у образованного и пригодного к делу Некрасова. Хорошо было бы спеться всем, посоветоваться, дабы начать именно с малого, саморождающегося, а не придумываемого. Хорошо было бы подумать и о том, чтобы обставить дело хорошим руководством, но свободно, без опеки, особенно же самолюбивыми музикасами.

Дело это неспешное и несколько дней можно пропустить, дабы обдумать формулу самого естественного для этого предприятия содержания и направления. Теперь — Страстная неделя, и я волнуюсь от многотрудной работы и неурядицы моей малопослушной команды. Но все же я отдохну в размышлениях и об этом деле, для меня истинно дорогом и близком сердцу. Я еще не вник толком в сборник песен г. Некрасова, не разобрался в трудах Линево²; этими днями посмотрю внимательно, и тогда говорить можно увереннее, ибо ведь в них между строк много читается их художественно-музыкальная исповедь. По телефону либо я попрошу у Вас позволения приехать, либо Вы извлечете

меня из моей сутолоки через 3—4 дня — тогда и речи мои будут более определенны.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 43—43 об., 45. На бланке управляющего Капеллою

1. Имеется в виду Третий Иванович Филиппов — крупный государственный чиновник (в последние годы жизни — государственный контролер), который являлся выдающимся певцом и знатоком народной песни; с его голоса, в частности, Римский-Корсаков записал целый ряд песен, которые затем издал в собственной обработке отдельным сборником. При Государственном контроле Филиппов создал мужской хор, исполнявший народные песни и церковные песнопения.

2. Смоленский был знаком не только с трудами выдающейся фольклористки Евгении Эдуардовны Линевой, но и с нею лично; ее письма будут опубликованы во второй книге настоящего тома.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 3 мая 1902

Дорогой Степан Васильевич.

Не могу не поделиться с Вами общею нам скорбью. Мы лишились незабвенного Сергея Александровича!¹ Словами не передать все, что чувствуется, особенно в переживаемое время, когда так нужны люди подобного закала, подобной деятельности, направленной исключительно на благо близких.

Увидимся на днях, а потому более не пишу.

Будьте Богом хранимы!

Вам сердечно преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 60

1. 2 мая в Татево Смоленской губернии скорпостижно скончался Сергей Александрович Рачинский, добрый знакомый Шереметева и любимый наставник Смоленского. Степан Васильевич поехал в Татево на похороны (см. его письма в разделе переписки с К. П. Победоносцевым).

На заседании Общества ревнителей 12 мая 1902 С. Д. Шереметев сказал слово о Рачинском:

...Всего за несколько дней перед кончиною получены были мною следующие строки Сергея Александровича по поводу событий 2 апреля [то есть убийства Сипягина]: «Можете себе представить, какое горе за Россию... какой иступленный стыд возбудило у нас, как и везде, ужасное событие... Только и отдыха-

есть в мире церковном и школьном. Никогда в наших краях церкви и школы не были так переполнены, как истекшею зимою... (Речь председателя Общества ревнителей... СПб., 1902. С. 3).

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 9 мая 1902

Что же это, дорогой Степан Васильевич, звонили в телефон — отвечаю, что прошу.

Жду — а Вас нет как нет — и так утром и вечером!

Не зайдете ли, когда будет Богданов-Бельский¹, будем говорить о Татев[ской жизни?]².

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 61

1. Известный художник Н. П. Богданов-Бельский был воспитанником Татевской школы Рачинского и запечатлел некоторые сцены школьной жизни в своих картинах.

2. Как следует из Дневника З, в тот же день Смоленский посетил Шереметева, и они вместе составляли проект «высочайшего доклада» (то есть доклада Шереметева императору) об обеспечении народных школ Рачинского «продолжением увеличенной пенсии», то есть продолжением выплаты личной пенсии Рачинского в 3000 рублей, назначенной ему императором, причем с выдачей средств непосредственно попечителям школ, а не каким-либо ведомствам. Эта цель была достигнута.

Смоленский — Шереметеву

Старый Петергоф, 15 июня 1902

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечнейше благодарю за присылку Вашей речи в память о незабвеннейшем Сергии Александровиче. Сегодня прочитал и в «Новом времени» поддержку из Вашей о нем статьи — добуду и ее¹.

Скучаю я о нем очень. Столь надобную моему сердцу возможность делиться письменно я удовлетворял общением с С. А. Рачинским в течение почти 18-ти лет. Он помогал мне и знанием, и опытом, и мудрым советом. Я платил ему лишь самую чистую моей любовью и полнейшим доверием, моими исповедями в подробных к нему письмах... и вот нет у меня столь любимого и столь неоценимого друга души. Имею людей, вызвавшихся делиться со мною их дружбою ко мне, и сам люблю этих людей, но разве найдется между ними такой строгий и тонкий ум, такое любвеобильное и нежнейшее сердце.

Могу Вам сообщить о Капелле только одно хорошее. Так как годовой искус кончился, в пределах возможного удалено уже все недостойное и пульс забился уже значительно жизненнее и правильнее; уже явно очевидны благие влияния новых моих сотрудников, несравненно, даже и более того — почти безукоризненно поведение учеников, начавших учиться и хорошо работать, появился и общий умный подъем духа. На днях уходит великий интриган и смутьян Азеев, затем на днях же водворятся один за другим новые воспитатели, тщательно мною выбранные, и Бог милостив, заживем по-людски, по доброму, на пользу делу и людям. Очень остепенились и «титулярные советники», понявшие всю надобность отрестить от недавнего и позорного прошлого. Разумеется, с утверждением 20-летнего срока пенсии мы, вполне к обоюдному удовольствию, расстанемся со многими из них и наберем свежие и хорошие силы, которым уже не придется впредь распуститься и бездельничать. Конечно, уровень пения Капеллы теперь поднялся значительно, появляются к каждой службе новые пьесы, отделанные сколь возможно лучше, бодрящие самих исполнителей-певцов и повышающие интерес слушателей. Живем мы теперь в Английском дворце изумительно тихо и трудолюбиво — изумительно даже и для обитателей Петергофа. Причина тому удаление из Капеллы наиболее недостойного вообще, а на летнее время — поголовное удаление всех без исключения так называемых «студентов». Теперь я живу только с малой детворой, поющей и вновь принятой. Мы условились, что вакация не есть праздное время, а только перемена труда и перемена образа жизни, содержания занятий — пора наибольшего пользования воздухом и вникновения в явления природы, в красоту растений, в мир насекомых, мелких животных и проч. Оттого мы ежедневно до обеда работаем хотя и не в классах, но трудимся, почему и не делаем ни грубостей ни глупостей, столь обесславивших Капеллу в прошлом. Оттого и подъем духа, и умный отдых, и общее благодушие.

Вы поймете, граф, с каким глубоким удовлетворением я писал эти строки. Перечитывая свой дневник за прошлый год, я теперь содрогаюсь от непорядков и расстройств Капеллы, которые пришлось так тяжело и обидно пережить, в которых пришлось даже оправдываться в качестве обвиняемого. Благодарение Богу — прошло благополучно это тяжелое время и, как кажется, наступило время непоявления глупых жалоб и недостойных клевет, а время доверия и ожидания начала процветания Капеллы. Даже и Императрица Мария Федоровна сменила гнев на милость. С графом Александром Дмитриевичем живет хорошо и складно, да и спасибо ему — очень вникает он в пользы Капеллы и в меры к ее оздоровлению. Теперь усиленно составляется Устав Капеллы, которым, конечно, будет дано этому учреждению правильное и определенное направление деятельности.

С тревогою получал я известия о болезни графини и о Ваших волнениях. Радуюсь сердечно за Вас и выздоровлению графини. Примите от меня, граф, выражения глубочайшей Вам преданности и признательности за все Ва-

ше снисходительное доверие ко мне. Слава Богу, приходит время, когда я имею возможность думать, что у Вас будут крепкие основания сказать убежденно, что Ваше доверие ко мне оправдалось к общему удовольствию всех прикосновенных к Капелле. Мой поклон Вам и всем Вашим с пожеланиями доброго здоровья и всякой радости.

Душевно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 44—44 об.

1. Статья Шереметева о Рачинском в «Новом времени» не появлялась; вероятно, речь идет о «слове» Шереметева памяти Рачинского на заседании Общества ревнителей.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 10 июля 1902

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Хотя мы, надеюсь, скоро и увидимся, так как я собираюсь в Петербург к 22 июля, но все же желаю высказать Вам перед тем мою сердечную благодарность за дорогие для меня строки Ваши¹. Вполне понимаю всю силу незаменимой для Вас утраты в лице С. А. Рачинского. Она незаменима и для всех его знавших, но ведь в жизни нам всем суждено переживать такие незаменимые утраты. Что же нам остается делать, как не жить их памятью и сомкнуть ряды в сознании необходимости единомышленного сближения во имя дорогого прошлого. Не знаю совсем, какая судьба постигла ту записку, которая возникла при содействии Вашем и Богданова-Бельского. Лишь на днях получил я письмо от «штаб-офицера преизрядного», с заметкою мимоходом, что записка о Татеве приводится в исполнение. Какая записка — не ведаю².

Болезнь жены, хотя и выздоравливающей, побуждает нас провести два месяца в Италии и вернуться лишь к храмовому нашему празднику 4 декабря, день великомученицы Варвары. Хотелось бы пригласить на служение питомца Сергия Александровича — отца Александра из Общины³, хотелось бы в этот день помянуть и убиенного раба Божия Димитрия, которым написан Устав нашего Попечительства⁴, хотелось бы в этот день услышать и стройное пение. Увы, это пение только в начале еще держалось, а с течением зимы становилось все хуже, и с Великого поста сделалось совсем томительным; случайный безголосый подбор, при случайном руководительстве, носил на себе признаки вырождения. Отчего же немцы в своих зингферейнах и любительских кружках так умеют группироваться во имя идеи и искусства? Моя мечта о живой пропаганде путем церковных напевов среди равнодушного общества по-видимому — останется мечтой. Конечно, прошлогоднее пение никого не привлечет.

Простите мою воркотню, но Вы меня приучили быть с Вами откровенным, и Вы знаете, до какой степени я дорожу Вашим сочувствием, в нынешний век жестокий такая потребность является в дружественном общении во имя высоких идеалов.

Будьте здоровы и до скорого свидания.

Искренно преданный С. Шереметев.

Приписка Смоленского: Отв[ечено] 12 июля. В ответ письмо о предполагаемой поездке: Киев, Сучава, Букурешт, София, Афон, Охрида, Цетинье, Белград — с Николовым и Преображенским¹.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 62—62 об.

1. Речь, возможно, идет не только о предыдущем письме Смоленского, но и о его письмах из Татевы, которые были адресованы К. П. Победоносцеву, но распространялись в копиях среди друзей покойного Рачинского (публикуются в разделе переписки с К. П. Победоносцевым).

2. Непонятно, кто имеется в виду.

3. Речь идет о священнике Александре Петровиче Васильеве (1867—1918) — воспитаннике Татевской школы Рачинского, выпускнике Петербургской духовной академии, который с 1893 в течение 18-ти лет был настоятелем церкви при Крестовоздвиженской общине Красного Креста в Петербурге (с 1910 — преподавал Закон Божий царским детям, с 1914 — духовник императора и императрицы, протоиерей собора Зимнего дворца; расстрелян в 1918). Отец Александр был близким Смоленскому человеку; о встречах с ним имеются многократные записи в Дневниках.

4. Имеется в виду Комитет попечительства о русской иконописи, учрежденный по инициативе С. Д. Шереметева в марте 1901. Его устав, как и уставные документы Общества ревнителей, был написан Дмитрием Сергеевичем Сипягиным.

Сипягину посвящена речь Шереметева как председателя Общества ревнителей на заседании 21 апреля того же года:

Известно, что мысль о народных читальнях и библиотеках нашего Общества принадлежит всецело Д. С. Сипягину, — им же выработаны и правила, изданные отдельной книжкой. <...> Память о человеке бытовом и народном — деятеле дворянском и земском, о добром попечительном помещике — должна жить в среде народной... (Речь председателя Общества ревнителей... произнесенная на заседании Совета 21 апреля 1902... СПб., 1902. С. 2).

5. Эта приписка и следующее письмо Смоленского являются одним из ранних изложений мысли о поездке по разным странам Европы и на Афон с целью отыскания «прототипов» древнерусского пения.

В Дневнике 3 в записи от 8 июля читаем:

Мысль о возможности поездки в монастыри Буковины, Румынии, Болгарии и Афона, обратно же Албании, Черногории и Софии очень раздражает меня и суммою ожидаемых новых впечатлений, и возможностью получения новых материалов, столь удобной ныне при помощи фотографии. К тому же и компания с Николовым и Преображенским — самая подходящая (л. 20).

Этот проект был осуществлен через несколько лет, и притом в намеченной Смоленским «компанией».

Смоленский — Шереметеву

Старый Петергоф, 12 июля 1902

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Поклон Вам земной за Ваше снисходительное письмо, на которое сажусь отвечать немедленно, следуя сердечному моему порыву.

Начну со второй части Вашего письма, трактующей о неудовлетворительности пения минувшею зимою в Вашей домашней церкви. Я давно догадался о сделанной ошибке, и все мои старания поправить дело остались безуспешными, так как оказался бессильным сам Петров, также догадавшийся после, что в первую зиму своей службы в Капелле ему не следовало браться за постороннее дело. Несмотря на его горячую охоту, дело оказалось к тому же (кто поверит, что отблески и отражения волнений студентов так влияли на пение в Вашем храме, вследствие репрессалий духовного начальства?) — оказалось обставленным мало предусмотрительно... Стыдно было мне не раз, когда я бывал на спевках Вашего хора! Немалое число раз бегал от меня и Петров, понявший всю неосторожность своего предприятия, несмотря на лучшие свои намерения.

Обещаю Вам провести вместе с Вами 4 декабря с. г.¹ Хотя и невесела причина, заставляющая Вас покинуть временно родную землю, но прекрасна Италия, о которой теперь пишет восторженные мне письма родная сестра, попавшая теперь в Рим из Венеции и Флоренции. Я знаю эту прекрасную Италию, к сожалению, только по книгам. Но за Вашим письмом внезапно окрепла и моя мысль, которую я хотел поделить с Вами. Я задумал путешествие на Афон, через Буковину, Румынию, Болгарию и Македонию, а обратно через Албанию, Черногорию, Герцеговину и Сербию. Обстоятельства складываются так благоприятно, что со мною могут быть в оба конца страстные любители и знатоки церковного пения болгарин Анастас Николов, уроженец Салоник, и мой сердечный приятель А. В. Преображенский — ныне лучший знаток церковного пения и его истории, великий ходок по рукописной части, человек высокообразованный. Болгарин уже год как командирован ко мне своим правительством для изысканий остатков болгарского церковного пения в России.

Он, кончавший у меня курс в Москве, понаделал кучу открытий в этой области в такой степени важных, что я почувствовал небывалый прилив храбрости и отписал о значении этих открытий Болгарскому Князю и Софийскому Синоду. Подобная тройка собирается сделать, не без хищнических намерений, по крайней мере в фотографической области, объезда всех главнейших мест, где имеются певческие рукописи, и вернуться в родную страну с сотнями негативов не виданных у нас материалов. Смысл поездки пока рисуется достижением приобретения документов или хотя бы копий с них, для следующих целей: 1) выяснение греческих нотаций разных веков на одни и те же тексты для возможности разъяснить этот темнейший вопрос по отношению к нашему пению, русскому; 2) выяснение вопроса о бывшем, может быть, *самостоятельном* болгарском знамени до XIV века; 3) добыть хотя что-либо для объяснения происхождения кондакарного знамени; 4) добыть памятники сербской нотации разных веков; 5) выяснить, как и по каким знакам поет Албания и Черногория и 6) добыть певчие книги с глаголицей. Силы наши таковы: Николов отлично говорит по-гречески и по-турецки, бывал месяцами на Афоне, знает там многое, бывал в Македонии и Албании; Преображенский — головой выше нас обоих в чутье по исканию надобного в кучах всякого хлама, знает греческий язык отлично и читал очень много; я также бывал в тех местах² и, если не знаю [язык] так хорошо, как мои товарищи, то не без опытности в музыке и в церковном пении тех стран, ибо очень внимательно вникал в это их искусство.

Наконец, мы приятели, любим и уважаем друг друга и любим наше общее дело.

Не сомневаюсь, что Государь позволит сделать совпадение моего отпуска-отдыха с такою поездкою. Очень бы хотелось, однако, чтобы эта поездка имела вид командировки с ученою целью, ибо тогда совсем бы другими глазами на нас взглянули и Карл Румынский, и Фердинанд Болгарский, и св. отцы Афона, и Николай Черногорский, и Александр Сербский, да и мы сами могли бы быть посмелее. О последнем смею упомянуть по личному опыту, как о непременно надобном в тех краях, конечно в размере умном и полном достойной умеренности. Вот, высокоуважаемый граф, какое неожиданное письмо Вы получаете от меня. Если Вы позволите переговорить с Вами по этому предмету — сердечно буду рад услышать Ваши указания. А может быть Вы дадите и другое направление этому делу, кроме доброго совета?

О незабвеннейшем Сергии Александровиче — горюю до сих пор и, вероятно, долго еще буду горевать, ибо как и чем заменить в сердце столь прекрасного и многолетнего друга! Слышал и я стороною недавно, что 5 тысяч обеспечения его школ есть уже дело поконченное благоприятно, но так же как и Вы толком и определенно не имел возможности узнать ничего положительного относительно направления этих средств через те или другие надежные руки.

О Капелле вновь могу Вам сообщить только радостные вести. Я уже писал Вам, что Капелла наконец-то сдвинута мною с места и тихо поплыла вперед. Сегодня я уже читал приказ об увольнении Азеева и сегодня же был доклад министру о невозможных беспорядках в Ляпуновском хозяйстве, где воровство и халатность дошли до нетерпимых границ, вследствие самовывавших себя интриг и самоуверенной наглости этих деятелей Капеллы. Удаление подобных молодцов, конечно, немедленно развязало руки прежде всего мне, а потом освободило от нравственного гнета всех бывших в подчинении у них. Государь неоднократно выражал мне свое удовольствие в самых милостивых выражениях и, наконец, заметил в прошлое воскресенье: «Они стали петь совсем по-другому, но хорошо, очень многое новое и как-то совсем особенно». Разговор этот был в присутствии Владимира и Марии Александровны, которые также выражали свое полное удовольствие¹. Как ни приятны были эти речи, все же домашние дела Капеллы много радостнее. Как кажется, не будет более ни прошений, ни доносов, ни анонимных писем, ибо мир и тишина таковы, что я уже начал находить минуты для отдыха и покоя, не тревожась ожиданиями каких-либо отчаянных новостей, вроде прошлогодних июльских. Мы работаем теперь из всех сил, начали упражняться в пении по нотам с листа, выучили много новых пьес, добились некоторых довольно тонких оттенков в исполнении, а главное — смотрим бодро вперед. Впрочем, недалек Ваш приезд в Александрию. К 22 июля мы подтянемся посильнее, и Вы сами услышите и услышите и от других, что в Капелле настало и другое поведение и другое пение.

Прошу передать графине мои сердечные пожелания ей доброго здоровья и всякой радости. Вас, граф, душевно благодарю за все. При свидании я передам Вам многие, может быть, очень интересные для Вас подробности многого, бывшего в Ваше отсутствие.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

Граф Александр Дмитриевич благодушен и весел. Он сейчас на Иматре. В прошлое воскресенье к нему была очень внимательна Императрица Александра Федоровна.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 46—47 об. На бланке управляющего Капеллой

1. 4 декабря празднуется память св. Варвары; это имя носили двое из родственниц Шереметева, в частности, воспитывавшая его бабушка по матери Варвара Петровна Шереметева, урожденная Алмазова (1786—1857).

2. Смоленский посетил ряд южнославянских стран летом 1892 и летом 1897 годов (см. подробнее далее, в переписке с Победоносцевым).

3. Имеются в виду дядя императора великий князь Владимир Александрович и тетка императора великая княжна Мария Александровна.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 19 июля 1902, 8 часов вечера

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я был в Пулкове и думал оттуда быть у Вас к назначенному времени. Но граф Александр Дмитриевич вытребовал оттуда меня в Петергоф по телефону, вероятно по какому-либо делу по службе. Тогда я захотел ухитриться повидать во время от поезда до поезда, — но и тут неудача горькая. Говорят мне, что завтра, 20-го, Вы изволите быть в Петергофе. Не соблаговолите ли Вы вызвать меня к себе, когда Вам будет угодно?

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 48

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 11 августа 1902

Многоуважаемый Степан Васильевич.

С необычайным наслаждением прочел я прекраснейшие строки Ваши в музыкальной газете. Помянув незабвенного Сергея Александровича, Вы сказали все то, что никто другой бы сказать не мог, и сказали это так, как человек духом горящий! Жаль, что эту газету не многие читают, а оглашение Ваших слов необходимо¹.

Не забывайте меня, не забывайте о готовности моей быть полезным известному делу музыкальному, о котором мы говорили весною. Ведь Вам известны многие мысли С. А. Рачинского, почему же в память его и не двинуть вопроса о возрождении так, как понимали вы его оба, а я пока жив, готов сильно содействовать. Не все ли равно, с чего начать, а грешно было бы — дать погибнуть русской песне!²

На днях я был у обедни у Спаса на Бору, в храмовой праздник; прекрасное служение причта впечатлением умалялось благодаря неистовому пению какого-то хора, с большою самоуверенностью выкрикивавшего все важнейшие молитвы³. Неужели же нет способов остановить это вопиющее зло?

Искренне Вам преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 63—63 об.

1. Очерк Смоленского «Памяти С. А. Рачинского (из частного письма)» был опубликован в РМГ; перепечатан в IV томе РДМ.

2. См. выше обсуждение доклада императору о положении народной песни. В планах Смоленского по его работе в ОЛДП упоминается о составлении словаря на-

родно-песенных попевок, вообще народно-музыкальной речи. В дальнейшем этот план не был осуществлен.

3. Шереметев попал в упоминаемый древний кремлевский храм (ныне не существующий) на праздник Преображения и описал свои впечатления во втором выпуске «Московских воспоминаний»:

..Диакон отчетливым и сильным голосом возглашал ектению. Служба соборная, и первенствовал отец протоиерей Благоразумов. Церковь была полна молящимися. Вижу, у стенки, налево, где рака св. Стефана Пермского, стоит тетушка Александра Ивановна Булыгина! <...> Очень сторбилась, и лицо осунулось, но духом она по-прежнему бодра и, почти не прислоняясь во всю службу (более двух часов), простояла ни разу не сев. <...> Когда вспомнишь, что ей 89 лет, то невольно преклонишься перед силою ее духа и даже силою телесною. Отошла обедня, благословили плоды, священник сказал продолжительную проповедь, затем последовал молебен и многолетие по чину, а тетушка Александра Ивановна все стояла неподвижно, ничем не развлекаясь. <...> И эта древняя старушка в древнейшем храме Москвы в день престольного его праздника... оставляла глубоко неизгладимое впечатление! (Шереметев С. Д. Мемуары. Т. II. С. 501—502).

Благоразумов Николай Васильевич (1836-1907) — настоятель Спаса на Бору (Верхоспасского собора) и благочинный московских придворных соборов и церквей.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 15 сентября 1902

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Прошу Вас терпеливо прочесть мои извинительные строки. Недавно я нашел то самое письмо, которое написал Вам, запечатал и... завертелся в моей сутолоке, забыл послать, вполне думая, что письмо уже в Михайловском. Досадно бывает при пропаже писем на почте, но домашняя пропажа — сугубая досада.

На днях видел Вашего посланного и просил передать Вам, что о певчих на Фонтанку у меня забыто не будет, и в эту зиму я постараюсь устроить дело основательнее.

Скажу и о себе. Третьего дня Государь осчастливил меня после всеобщей такими словами: «Певчие стали петь с каждой неделей все лучше и лучше, начиная с этой весны. Я много раз уже получал большое удовольствие, сегодня же я увидел, что с весны они сделали поразительные успехи, появилась смелость, звучность и такое тонкое исполнение, какого прежде не было. Я очень доволен». Ее Величество Императрица Александра Федоровна также изволила похвалить пение, сказав, что сегодня пели прелестно и что Она заслушалась...

Вообще про Капеллу я могу вновь доложить Вам, что дело уже вышло на прямую дорогу и двинулось в путь довольно энергично. Удаление ленивых и самомненных людей, выход многих негодных учеников, прием свежих людей, образованных и работающих, прием свежих мальчиков, как и взрослых певцов, которым задается небывалая в Капелле выучка, — успели уже переменить бывшее очень смутное и тяжелое время на новое, более спокойное, работающее, более достойное. Наконец-то нет совсем в Капелле пресловутого Азеева, испортившего всем так много крови. По верному уподоблению князя Шервашидзе¹, натянутые фальшивые струны лопнули сами собою и подсекли самих же настроивавших этими струнами. Нет и Ляпунова, ныне вполне и официально аттестованного сверху вполне по своим деяниям. Все угомонились, поуспокоились и принялись за работу, в подбадривании которой я, какось, довольно неудержим в надобной, однако, мере. Да впрочем теперь и работать можно как следует, хотя и по тому же: «*langsam und immer voran*».

Но устал я очень и думаю, что краткими отлучками на 2—3 дня в полное уединение успею в отсутствие Государя и сколь-нибудь отдохнуть и вместе вести дело дальше.

Сердечнейше уверяю Вас, граф, в том, что едва освобожусь от части работы, едва поймут мои ближайшие новые сотрудники, что им надо и как надо содействовать мне для общей работы в Капелле, — весь сполна буду к Вашим услугам по всем Вашим предположениям, где могу я Вам с благодарностью и с радостью послужить. Время это уже очень приближается, так как самая трудная и самая опасная пора уже пережита. Вы зовете меня в ту сторону, куда давно направлены все мои задушевнейшие мысли, Вы так много сделали для меня, что кроме глубочайшего моего сочувствия Вашим мыслям я считаю долгом благодарного человека сердечнейше потрудиться для Вас всем, сердечнейше радоваться всякому случаю угодить Вам и пригодиться делу дельному.

Прошу Вас принять и передать графине мои самые искренние пожелания доброго здоровья и всякой радости, счастливого пути.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 49—50 об. На бланке управляющего Капеллой

1. Шервашидзе Георгий Дмитриевич, князь (1845—1918) — гофмаршал, состоявший при императрице Марии Фелоровне.

Шереметев — Смоленскому

Cap Martin Hôtel près Menton A. M., 10 ноября 1902
Многоуважаемый Степан Васильевич.

Чувствую, что сильно Вам надоедаю, — но время идет и положение остается неопределенным как относительно службы 3 и 4 декабря, так и по во-

просу о певчих вообще — для нашей церкви...¹ Видно моим мечтам приходится рухнуть — и вопросы, которые связаны с возрождением нашего церковного и народного пения, еще не скоро всплывут на свет Божий, а время боевое, враги не дремлют. Уж как было бы своевременно издать (?) *записку* основных положений и потребностей и представить ее пред светлые очи². Мое вторжение в эту область не почитаю натяжкой. Наше общее дело так связано, что трудно выделить составные его части в обособленные группы...

Только дружным натиском достигнем доброй цели — тем более у нас при наличии стольких врагов.

Может быть я живу в области *иллюзий* — но я не могу изменить себе, и в жизни приходилось видеть и осуществление иного, что могло казаться иллюзией...

Путешествие наше близится к концу. В Риме видели Папу Льва XIII, здесь получил карточку *Крюгера*³, оказавшегося соседом по гостинице. 15-го едем в Париж и оттуда домой.

Надеюсь, что Вы здоровы и довольны. С нетерпением ожидаю встречи, чтобы потолковать о многом. Время идет, и месяцы теперь можно, как в боевое время, считать годами...

Искренно Вам преданный С. Шереметев.

А что дело о школах Рачинского? Неужели так и заглохло?

РНБ, ф. 855, № 30, л. 64—65

1. Речь идет о службах в церкви Фонтанного дома (см. далее).

2. В данном случае под «запиской для царя» очевидно подразумевается не только записка о народной песне, но и записка о церковном пении: эта идея получила развитие примерно через год, после увольнения Смоленского из Капеллы (см. далее, а также в Приложении к книге раздел «Проекты Смоленского»).

3. Крюгер Эммануил Эдуардович (1865—1938) — скрипач, преподаватель Придворной капеллы и Петербургской консерватории, солист в балетном оркестре Мариинского театра.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 11 ноября 1902

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я позволил себе наконец первый отдых и побывал в Москве, где пять дней провел как в дорогом Синодальном училище, так и в кругу московских друзей¹. Возвратясь сюда, нашел письмо Ваше и отвечаю Вам без промедления по пунктам Ваших запросов.

Дело о певчих давно организовано и оборудовано опытным слушателем старшего регентского класса г. Пешуровым², и о том в надлежащей мере на Фонтанке уже известно.

Дело о Татевских школах — какая-то неразбериха. Говорили мне о нем и Богданов-Бельский, и один из Рачинских. Получилась какая-то нелепость, какая-то ревность, чуть не родовая обида... Одним словом, впутались в это дело местные, считающие себя уже за близких школьному делу людей; начали умничать и делать глупости, выставляя свою будто бы особую ревность к содержанию школ и особенному прославлению имени покойного. Я повторю вновь слово «неразбериха» — хоть и нескладно оно, но точно выражает причину остановки самого доброго и благожелательного дела. Одна сторона говорит: мы у себя хозяева, покойный был близкий нам человек, нам известны его мечтания о желавшемся ему направлении дела после себя, наши жертвы и без того велики, чтобы допустить хозяйничанье других в том, о чем и просьбы-то не было; надо обставить дело такими гарантиями, чтобы не появилось что-либо совсем не отвечающее бывшему, и проч. Другая сторона говорит: мы, хотя и не хозяева, но здешние же, всегда помогали покойному, мы его ученики, знаем, что мечтания покойного совсем были не те, как утверждаете вы, жертв ваших совсем не было и не может быть, а заговорили лишь спесь и неразумие — всякое даяние благо, а тем паче такое большое и хорошо обдуманное, как возможное к получению через Государя, что гарантии очевидны и достаточны и проч.

Полагаю, что к Вашему, граф, возвращению сюда выяснится еще что-либо через Богданова-Бельского. Мне во всем этом деле представляется много ненадобного, мелочного, самолюбивого и нелюбовного по отношению к памяти покойного; многое мне прямо непонятно по своей очевидной нелепости и преувеличениям.

Уже из того, что я позволил себе отлучиться в Москву, Вы можете заключить о постепенном и серьезном упорядочении моего запущенного детища. Общежитие детское теперь уже налажено с достаточною твердостью. Появился труд, зародилась дисциплина, началось порядочное ученье и поведение, заведена порядочная чистота в доме, вычищена Капелла детская от всякой нечисти, столь загрязнившей это учебное заведение. Теперь на очереди шпажники — титулярные советники, среди которых также придется произвести немало чистки, ибо тут есть у меня 14 вполне безголовых и безнадежных неучей, составивших себе репутацию либо карточных или бильярдных шулеров, либо пьяниц, либо своеобразных комиссионеров и агентов по каким угодно делам, либо самых отъявленных лентяев и празднолюбцев. Жду как из печи пирога обещанные «новые штаты» с новым двадцатилетним сроком выслуги пенсии, чтобы продренажировать это невозможное болото. Я употребил все силы и все свое уменье, чтобы сколько-нибудь поднять художественное хорошее пение, но что я могу сделать с безголовыми, ныне уже пришедшими самостоятельно к решению о надобности для них расстаться с Капеллою?

Вообще же живется и работается всем несравненно легче и успешнее прошлого года, несравненно спокойнее и увереннее, без всяких неожиданностей и при гораздо большем взаимном внимании. Мы, то есть коренные обитатели Капеллы и пришлые со мною, успели приглядеться друг к другу, дать цену бывшему уже периоду всякого неистовства по части всяких интриг и сплетен... Тяжело, даже и ужасно вспомнить об этом грустном времени! Должно быть, однако, всякому суждено переживать период такого острого брожения. По крайней мере, вскрыты и прочищены были главные язвы и оздоровление Капеллы несомненно и ее деятельность вышла уже на вполне ясную и прямую дорожку.

Прошу Вас, граф, верить, что я твердо памятую данные мною обещания и исполню их. Вы можете и теперь убедиться, что самая трудная, опасная и тревожная пора миновалась благополучно. Бог милостив, хватит ума и у меня спокойно и твердо продолжить налаженное и упорядоченное. Это уже много легче.

Прошу Вас принять и передать выражения моего чувства самой глубокой признательности и почтения Вам и графине.

Искренно преданный Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 51—52 об. На бланке управляющего Капеллой

1. О впечатлениях Смоленского от поездки в Москву см. в переписке с Волковой.
2. Регентом Фонтанного хора стал Валентин Яковлевич Пищер, который в основном удовлетворял требованиям Шереметева.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 16 ноября 1902

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня Вы вновь порадовали меня Вашим письмом. Хотя я и предполагаю, что сегодня же Вы получите мое письмо, адресованное в Париж, все-таки вновь спешу Вас уверить, что дело о певчих для Вашей церкви давно улажено и уговорено с г. Пещуровым как у меня, так и с надобными людьми в Вашем доме.

По поводу текущих дел, как о школах Рачинского, так и о Капелле, в недавнем письме было мною также сообщено все надобное. Пополняю то письмо теперь по поводу Ваших слов о возрождении церковного и народного пения — сколько вижу из письма Вашего, слов скорбных и тревожных, но, сколько разумею — слов вместе с тем напрасно столь мрачных. Извольте рассудить сами об отдельных частях этого дела, отчасти самостоятельных, отча-

сти взаимно-зависимых не только в обеспечении своего процветания, но даже и бытия своего: частей этих три: руководящая, работающая и просвещаемая; причем последняя делится на небольшую — сочувствующую и большую — не только не сочувствующую делу, но даже и прямо враждебную.

Первые люди, руководящие, так сказать, расчищают дорогу и дебри по ее пути, помогая работающим и втолковывая кому надо с помощью всяких воздействий своих свет и пользу усвоенной Вами мысли. От успеха первых людей живится энергия работающих и прочищается в кругу высшем и подбадривающем сила, блеск и настойчивость самого дела.

Вторые люди — идейные работники, труженики, облекающие мысли в плоть и кровь, равно питающие силою своей мысли, силою созданного просвещаемую третью часть. Для этих людей прежде всего надобно собрать кадр работников из самых отъявленных и из самых неисправимых и умных идеалистов, способных облекать усвоенную мысль в плоть и кровь, затем же и способных начать умненько и осторожно дело просвещения других.

К первой группе этих вторых работников убежденно причисляю себя. Не думайте, чтобы я дремал сидя в Капелле и не обращал бы понемногу людей в свою веру. Не думайте также, граф, чтобы я сидел сложа руки и не начал просвещения окружающего, хотя бы и *langsam und immer voran*. Вы изволите писать о надобности не терять время и «путем записки осветить положение и представить пред светлые Очи». Совсем хорошо! И надо то, и действительно незачем терять время, ибо незачем допускать ближе недремлющего врага. Вернетесь вы в Петербург — буду просить Вашей беседы по сему и к тому времени сам обдумаю. Но мое дело, так сказать, активно в другом смысле: я убираю людей с дороги, мешающих делу, и подбираю себе людей не только сочувствующих, но уже и опытных в этом деле. С помощью их идет и кабинетная, и практическая художественная работа в Капелле, а с помощью последней явится подспорье тому, что достигается *запискою*. Такая домашняя работа вся идет на Ваших глазах, и не порываю я связи с работающими далее в Москве. Вы сами знаете из моих сообщений, что Капеллу во внешнем ее дисциплинарном и художественном житье уже удалось поставить на твердую дорогу, но шаги наши еще медленны и не все еще у меня русские люди, не все и православные. Светлые очи уже много раз милостиво взглянули на наше дело, с достаточною шириною взгляда и приветливостью. Но мы сами, певцы, произносим родные слова и поем родные звуки разве чуть-чуть получше, чем в храме на Rue Daru¹, и нет еще у нас той силы слова и звука, которая бы властно заявила о себе и указала, что другой, неродной красоте нет и не может быть перед этими Очию никакого места. Ослабляя одно и усиливая другое, при кабинетной третьей работе, нетрудно будет угодить вовремя и совпасть с воздействиями от «записки».

Вот общие черты моего плана, который мне кажется возможным и не вызывающим никаких мрачных мыслей, но, наоборот, полным ясности и са-

мого теплого упования, самой твердой и разумной веры. План этот не придуман только-только, а уже испытан был после продуманной многолетней работы в Московском Успенском соборе. Теперь в нем лишь вставлены новые данные и новые могучие по силе влияния. Изволите по последним рассудить, если этот план удался в Москве наперекор всем, хватившимся о нем только тогда, когда в 5—6 лет дело было сделано уже накрепко, то как может не удасться то же в Петербурге? Надо только дело вести без шуму и потихоньку, чтобы не опомнились по-своему «недремлющие враги», вредящие делу только по-своему. Досадно, иной раз и больно бывает переживать препону чистому делу — но только препону временную, так как где найдутся люди для нашего дела заведомо враждебные и кротко последовательно не обратимые в друзей наших? Недремлющий же враг перед Очами разве не сокращался, разве не убегал на Ваших же глазах при первом хмуром взгляде тех Очей?

Но все это относится только к началу, к доброму, крепкому, здравомысленному началу дела. Смотрия вперед, думаю и так, что несколькими годами жизни еще, пожалуй, благословит Бог многих сущих работников дела и подогреется к тому времени и земля и вода и воздух самый для нашего родного искусства. Изволите припомнить хотя бы последние 30—40 лет, когда на наших глазах цветущее было немислимо прежде. Самая неотвязность мысли о надобности нашего дела, самая чувствительность наша к его грядущему процветанию, самая болезненность нашей ревности в случаях незначительных уколов, самая нетерпеливость и подозрительность наша — разве не указывают на силу и рост нашей мысли? Не восклицаю я только громкие «словеса сии», но спокойно верю в то, что время и нашему делу пришло, что дело это надо лишь поддерживать энергично, боясь способа тепличной выгонки, но думая об умной и неторопливой и своевременной во всем ему помощи. наших лет хватит на такое дело, а после нас продолжить его будет уже надобно, так как оно будет плотью и кровью многих просвещенных, бывших врагов, но обратившихся в сущих друзей.

Не дают мне писать еще — отрывают от дел и от стола. Полагаю достаточным и вышепрописанного с моей стороны, чтобы сказать Вашими словами: «не живу я в области иллюзий и не могу изменить себе». Эти слова — и мои слова.

Графине и Вам кланяюсь.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 53—55 об. На бланке управляющего Капеллой

1. Имеется в виду парижский православный храм св. Александра Невского, где вплоть до 1920-х годов пел хор, состоявший из французских певцов, которые искаженно произносили церковнославянские тексты.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 14 декабря 1902

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Умеют писать письма петербургские дельцы! Возвращаемое при сем письмо г. Брагина¹, конечно, производит впечатление вполне убедительного послания, если бы все то, что он пишет о себе, было правдой. Согласитесь сами, граф, какая была бы надобность уволить из Капеллы полезного работника, особенно же такого, каким сам себя описывает г. Брагин?

Скажу кратко: у г. Брагина было миром Капеллы данное прозвище «мифическая фигура», ибо бывали годы, когда ему было лень давать не только уроки пения, но даже являться за незаслуженным им гонораром, который он просил досылать ему на квартиру; бывали годы, когда г. Брагин изредка являлся в Капеллу, решительно ничего в ней не делал, проводя время в одном пустословии со своими «учениками» из взрослых певчих; бывали годы, когда г. Брагина посещали болезни либо болел кто-либо из его семьи и притом весьма продолжительно.

Я лично убедился из разговоров с г. Брагиным, что он — все, только не тот учитель пения, какой мне надобен, и потому прямо отказал ему вскоре же по моем прибытии в Капеллу, так как о таком работнике только и говорили, да, признаться, только и можно говорить либо с презрительным словом, либо с полною досадою.

По обычаям Министерства Двора вольнонаемному учителю все же за что-то дали полугодовой оклад жалованья. Зачем он беспокоит Вас, зачем он беспокоит г. Министра — вполне понятно, но следует ли оказывать внимание и участие таким людям, — я не думаю. Снисходительность необходима людям действительно работавшим, а не «мифическим фигурам», 11 лет получавшим казенные деньги и почти ничего не делавшим.

Впрочем, полагаю я и то, что не один десяток таких Брагиных осаждают Вас трогательно написанными письмами. Вон у меня и г. Ляпунов сам себя утопил у Министра таким же письмом — архикорректным и вполне лживым.

За сообщение о дьяконе Егоре Толстом — сердечно благодарю Вас и, если дело устроится, могу предсказать Ваше глубокое удовлетворение от службы такого человека. О. Егор Толстой — человек прелестный, такой же и работник. На радости я уже послал ему весточку о Вашем снисходительном внимании к его делу.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 58—58 об. На бланке управляющего Капеллой

1. К письму (с пометой Смоленского: «секретно») приложено письмо учителя пения Капеллы К. А. Брагина к С. Д. Шереметеву от 12 декабря 1902, где Брагин,

перечисляя свои заслуги перед Капеллой (и особенно подчеркивая «милостивое внимание» к нему Александра III), жалуется на недостаточное свое обеспечение при увольнении.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 1 февраля 1903

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Особенно жаль, что Вы вчера не были на заседании. Успенский Вас искал, чтобы передать Вам о драгоценнейшей рукописи крюковых нот, найденной на Афоне, издание которых (так!) он почитал бы в высшей степени желательным¹. Крайне жаль, что Ваше свидание не состоялось.

Пожалуйста, не забудьте любезное обещание относительно 26 февраля².
Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 66

1. Имеется в виду заседание ОЛДП 31 января 1903. В дневниковой записи Смоленского от 3 февраля читаем, что неожиданно приехавший из Константинополя член ОЛДП, председатель Русского Археологического института в Константинополе историк Ф. И. Успенский (см. о нем далее) показывал «удивительного письма современную 2-голосную нотную рукопись, о коей будут переговоры».

2. Имеется в виду ежегодное собрание Общества ревнителей (программу см. далее).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 3 февраля 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Для 26 февраля я просмотрел и продумал «Стих воинской», концерт «Господи, силою Твоею возвеселится царь» и кант «Аще когда солнце». Признаться, я прикинул их эффекты к надобному ожиданию настроения гостей и нашел их очень скучными и для такого собрания малоинтересными.

Не будет ли интереснее вот что: у меня есть автограф Бортнянского, посвятившего Великой Княгине Елисавете Алексеевне несколько сонат для клавирина. Я нашел и клавирина лондонский 1781 года, очень хорошо сохранный и высоко курьезный для нашего времени. В связи с музыкою графа Александра Дмитриевича, не сыграть ли, экспонируя такую композицию и инструмент, сопровождая текстом пояснительным в 1 1/2 — 2 минуты?¹

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Узнал надобное о деле Епископа Никанора². С превеликим удовольствием побывал бы у Вас, чтобы перетолковать и насчет переписки в Михайловском.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 61. На бланке управляющего Капеллой

1. На этом клавесине, принадлежавшем Н. Ф. Финдейзену, Смоленский впоследствии демонстрировал старинную музыку на одном из собраний ОДДП; окончательную программу собрания Общества ревнителей 26 февраля 1902 см. ниже.

2. Епископ Никанор — вероятно, Никанор (Николай Тимофеевич Каменский), в ту пору епископ Екатеринбургский и Ирбитский, в молодости казанский приятель Смоленского, преподаватель Учительской семинарии, впоследствии помогавший Смоленскому в формировании рукописной певческой библиотеки Синодального училища (одно его сохранившееся письмо будет опубликовано во второй книге).

Смоленский — Шереметеву

[Петербург, до 17 февраля 1903]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я уже достал и доставил ноты «Былины» Кастальского для хора графа Александра Дмитриевича, в надежде, что там не замедлят пройти эту пьесу предварительно.

Мне кажется, однако, что за масленичную сутолокою и за ожидаемыми на 1-й неделе церковными службами было бы нелишним укрепить графа Александра Дмитриевича в отдаче им приказания хору о разучении этой пьесы. Дело пошло бы много скорее, если бы не потерялись хоть несколько дней из числа уже немногих, остающихся до 26 февраля¹.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 63

1. На собрании Общества ревнителей прозвучали: панихида в исполнении хора под управлением А. Д. Шереметева, затем хор «Былинка» (а не «Былина») Кастальского (слова народные), фрагменты из оперы Гречанинова «Добрыня Никитич» (хор и оркестр под управлением А. Д. Шереметева). Далее были прочтены воспоминания протоиерея Капитона Петрова о последней всенощной императора (в Беловеже в августе 1894) и три письма Александра III к А. Н. Стюрлеру. Затем снова звучали фрагменты из оперы Гречанинова и солист Мариинского театра Иван Ершов спел романс С. В. Юферова на слова В. Л. Величко «В тумане смутных дней». Все завершилось пением «Слався» с «трезвоном колоколов, доведенных до художественности», и национального гимна.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 11 февраля 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

С чувством искренней признательности принял я известие о Вашем согласии на определение о. Егора Алексеевича Толстого на место диакона при церкви Странноприимного Дома в Москве. Вполне уверенный в высоких нравственных достоинствах и в благолепии служения о. Толстого, полагаю, что Ваше лестное для него внимание будет вполне оправдано тем более и потому, что такое перемещение соответствует давним желаниям самого о. Толстого.

Позволяю себе искренно благодарить Вас и за снисходительное Ваше внимание к моему ходатайству за о. Толстого. Я рад был случаю пригодиться этому хорошему ученику незабвенного С. А. Рачинского.

С чувством глубокого почтения имею честь быть всегда готовым к Вашим услугам.

Ст. Смоленский.

*РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 64. На бланке управляющего Капеллой***Смоленский — Шереметеву**

Петербург, 7 мая 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сейчас только возвратился я от Александры Николаевны, от которой я узнал две трогательные новости: о том, что Вы у нее были, и о том, что еще третьего дня было написано что и куда надо!¹

Вот и вновь пришлось убедиться в твердой и без того вере моей, что свет не без добрых людей. Спасибо Вам от всей души. Завтра в 5 часов прошу позволения прибыть к Вам. Дай Боже делу успех!

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 62

1. Написанное после перерыва в несколько месяцев (когда Смоленский и Шереметев оба находились в Петербурге), это письмо отражает очередную стадию уже далеко зашедшего конфликта между начальником Придворной капеллы и ее управляющим. 3 мая между ними состоялся «крупный разговор», в котором А. Д. Шереметев заявил, что теперь всеми делами Капеллы будет управлять только лично он, а Смоленский обязан подчиняться любым его распоряжениям (см. также подробнее в переписке с Волковой).

Накануне, 6 мая, А. Н. Нарышкина писала С. Д. Шереметеву:

Дорогой граф.

Наш буян [А. Д. Шереметев] все границы перешел! Ужас, что наговорил, нагрубил и такой непроходимый вздор делает, что все вверх дном поставил. У Степана Васильевича все отнято, — все еще маленькие даже расходы поручено отобрать и проверять другому. Нанят и какой-то регент, чтобы просматривать, что С.В. отдает в печать. При аккомпанементе все дерзости говорились, топанье ногами, крики и стучанье кулаками, пока по столу.

Сказано, что о нем, о его поведении, знании собраны справки и что прежде ему его образу действий полагается предел! И все это сказано почтенному человеку невежественным мальчишкой оттого, что у него миллионы, а этот бедняк стоит одинок, без защиты. Мне Вас брат рекомендовал, но я теперь знаю, какой Вы! Право, надо быть ангелом, чтобы это терпеть. Я в своем письме [осударю] только сказала, чтобы он был уверен, что лучшего человека и более знающего музыканта не найти. Может быть Он у вас спросит, в чем дело. Я не смею в это впутываться.

В Царское Село запрещено С.В. ездить, только в табельные дни. Мне кажется, он просто завидует С.В., что [осударь] с ним ласков! И все кричит: вы забываете, кто я! Мания величия обуяла эту неразвитую голову. Мой бедный С[тепан] все твердит: а вдруг я не выдержу — всплую! Пересказать всего трудно. Что за мелкота, припоминает что-то сказанное год назад, искажая слова! Ни великодушия, ни благородства, ни человечности. Это какое-то безумие, разгул сильного над бедным! Отвратительно.

Сердечный привет.

А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1169, л. 16—17 об.)

В связи с этим письмом Сергей Дмитриевич и посетил Нарышкину.

Вообще Александра Николаевна, познакомившаяся со Смоленским после его назначения управляющим Капеллой, сразу стала горячей его сторонницей. Однако уже 22 ноября 1901 она в письме к С. А. Рачинскому дала верный прогноз на будущее:

Милый наш Сергей Александрович.

Я так пленена Смоленским, что имею потребу вам это высказать. Усидит ли такая чистая душа, древнерусская в пещеском болоте! Вытерпит ли музыкальная, страстная его натура слушать вульгарное, шаблонное исполнение на бумаге только подчиненных озорников-певцов церковных песнопений? Надо видеть его лицо во время придворных обеден! Я с ним сошла духом, с первых минут знакомства. Придворный дух уже совсем развратил певчих. Если и сильные натуры устоять не могут, что же могут невежды, не верующие никакой правде сильно! Может быть у Смоленского имеется *безбрежная* русская выносливость. Пока в него кадят клеветой, грозят великими людьми. Сломать нельзя то, что коре-

нится, может быть, столетием. Да и Государю как помочь ему! Чтоб разрушить, надо иметь план нового порядка. Да и основные реорганизации не во вкусе людей. Как вчера говорил лихач — Витте о молодежи: с корнем вырвать зло. Да ведь корни-то переплетены! Может быть, и его корень вплетен там же. Как найти хирурга, который будет расчленять и отделять больное от здорового? Да и на то, что вырвать и что оставить, различные имеются взгляды. Ваш великий Константин [Победоносцев] так клеймит духовное сословие, что кажется, слушая его, что оно-то и содержит все нравственные болезни, имея однако призвание их исцелять.

Храни Вас Господь, мой милый, дорогой друг.

А. Нарышкина.

(РНБ, ф. 631, № 123, л. 84—85 об.)

В свою очередь и Смоленский при первом же знакомстве пришел в восторг от Нарышкиной, сообщив о своих чувствах все тому же Рачинскому в письме от 1 декабря 1901:

...Недавно я познакомился с А. Н. Нарышкиной, и — стыдно и приятно вспомнить! — мой первый к ней визит продолжался в течение трех часов совершенно непрерывной и самой оживленной беседы. При этом все время присутствовал преинтересный молодой Юрий Васильевич Чичерин, и мы втроем перебрали все попадавшееся на ум, бросаясь от Ключевского, Консерватории, археологии, Пушкина к старобрядцам, к кн. Одоевскому, к Татеву, к Шереметеву, к демественному пению, к Вагнеру, Шопену, Капелле, Васнецову и т. д. Признаться, не в первый уже раз я был удивлен здесь, встречая отлично образованных людей между живущими в сутолоке и суете высшего света, в безличии и мишуре придворного общества. Когда эти люди успевают прочесть и продумать столь многое — совершенно недоумеваю. Не помню, писал ли я Вам, как меня просто уничтожил мерою своих знаний в области XVIII века Великий князь Владимир Александрович. Результатом моей беседы с А. Н. было то, что она, вероятно вскоре, говорила обо мне с Государем, а Он сам заговорил о заметном уже поднятии Капеллы в недавнее свое свидание с графом Сергием Дмитриевичем Шереметевым. Я до сих пор еще не могу вникнуть в значение подробностей таких придворно-этикетных начал и содержаний, обращений и направлений беседы Государя, но граф Сергей Дмитриевич передавал мне содержание такой беседы так радостно, так удовлетворенно и так успокоительно для будущего, что многозначительность этого события, в смысле веры в правильность моих мер в Капелле, представляется безусловною и самую бодрящую. Надобно ли говорить, как искренно и глубоко я порадовался всему случившемуся! <...> Как знакомо все это по бывшему в Москве! Но здесь люди много злее и лживее, много более опытные в запутывании дела и в неумолимейшей лести. Здесь гораздо бо-

лее немца и того русского, который забыл родное-русское, а в Москве совсем другой народ...

(Там же, л. 100—101)

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 8 мая 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вот выписка из интересующего Вас места рукописи (кстати сказать, напечатанной в «Москвитянине» 1846 г., № 6, л. 173—174):

От неких слышахом про старых мастеров: Феодора, прозвищем Христианина, что был зде в царствующем граде Москве славен и пети горазд знаменному пению; мнози от него научишася и зная его доднесь славно; и от ученик его слышахом, что де он, Христианин, сказывал ученикам своим, что в великом Нове-граде были старые мастера Савва Рогов, да брат его Василий, во иноцех Варлаам, родом Кареляне, и после де того Варлаам бе митрополитом во граде Ростове, — был муж благовеин и мудр зело, пети был горазд знаменному и троестрочному и демественному пению, был распевщик и творец. И у того брата его у Саввы были ученики выперченный поп Христианин, да Иван Нос, да Стефан слыл Голыш. И тот Иван Нос да Христианин были в царство блаженного царя и великого князя Ивана Василиевича всея Руси и были у него с ним в слободе Александровой. А Стефан Голыш тут не был, ходил он по градом и учил Усольскую страну и у Строгоновых учил Ивана прозвищем Лукошко, а во иноцех Исаия. И мастер его Стефан Голыш много знаменного пения распел; а после него ученик Исаия тот вельми знаменного пения распространил и наполнил. От тех же Христианиновых учеников слышахом, что де он им сказывал про стихеры Евангельские; некто де во Твери дьякон бе зело мудр и благовеин, тот де распел стихеры Евангельские; а псалтырь распета в Нове-граде некто был инок именит Марсел, слыл Безбородый; он же сложил канон Никите, архиепископу Новгородскому, вельми изящен. А триоди распел и изьяснил Иван Нос. Он же распел крестобогородичны и богородичны минейны¹.

Этот же текст, хотя и с некоторыми незначительными разночтениями, имеется в брошюре «О хомовом пении» (л. 21—22), изданной в Пскове, 1879, 16°, в Славянской типографии. Указанная брошюра отчасти продолжает и дополняет статью (г. Петрова — как мне частно известно) «О русском безлинейном и в частности хомовом пении», напечатанную в Трудах Киевской духовной академии, 1876 г. Отдельное издание *ibid.* 1876 г.²

Григорий Нос был членом 2-й комиссии по исправлению знаменного пения с 1667 года под председательством Александра Мезенца, старца Звенигородского. Члены этой комиссии значатся при получении ими жалованья в таком порядке, кроме Мезенца: Чудова монастыря старец Александр Печерский, Патриарший певчий дьяк Феодор Константинов, Ярославский дьякон Кондратей Ларивонов, церковный дьячок Григорей Нос и церковный дьячок Фадей Никитин из Усолья.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 65—65 об. На бланке управляющего Капеллой

1. Смоленский цитирует «Предисловие, откуда и от коего времени...» по указанной им публикации И. П. Сахарова.

2. Брошюра «О хомовом пении» принадлежит Гавриилу Артамонову, автор предисловия А. С.-н (А. Е. Сорокин). По данным В. В. Протопопова текст статьи в Трудах написан Сорокиным.

Шереметев — Смоленскому

[Михайловское], 9 мая 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Сердечно благодарю за интереснейшую выписку. Дай Бог Вам всего хорошего и прежде всего душевного спокойствия. Верится мне, что все обойдется. Вы же берегите себя и здоровье Ваше для многочисленного числа Вас искренно любящих и глубоко преданных.

Ваш С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 68

Шереметев — Смоленскому

[Михайловское], 15 мая 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Ваше молчание меня тревожит: неужели со дня нашего расставания никакого не было движения? Все это характерно для переживаемой эпохи, но от этого — не легче. Усердно прошу сообщить, что нового?¹ Я сам в смущении и недоумеваю, уж не впал ли и я в немилость? У меня умерла внучка Гудович. Я по обычаю сообщил о таком семейном событии Императрице Марии Федоровне — ответа не последовало...

Искренно преданный Вам, сердечно С. Шереметев.

Победоносцев на мое письмо при отъезде из Петербурга — не ответил!

РНБ, ф. 855, № 30, л. 67

1. В этом и последующем письмах речь идет о предполагаемом «провале» проектов А. Д. Шереметева по преобразованию Капеллы (в частности, проекта создания при Капелле самостоятельной пожарной части) и его ультиматума по поводу Смоленского — «я или он», а следовательно, о возможности отставки графа Александра Дмитриевича из Капеллы. Из письма Смоленского к Волковой от 21 мая следует, что С. Д. Шереметев писал по этому поводу государю, но не получил никакого ответа.

В свою очередь Смоленский записал в Дневнике: побывав 10 мая на приеме у А. А. Мосолова, он узнал, что три дня назад А. Д. Шереметев представил проект реформы управления Капеллой «по модели Львова — Бахметева»: то есть единого начальника, совмещающего административные и художественно-педагогические функции и имеющего двух подчиненных ему помощников. По записи Смоленского, чиновники Министерства двора назвали этот проект глупым.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 18 мая 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Очень, очень порадовали Вы меня Вашим кратким, но теплым письмом. Отвечаю Вам сейчас же после получения. Я не писал Вам в эти унылые дни потому, что в сущности «нового» ничего не случилось, кроме скучных и жалких вариаций на темы, недавно разыгранные с такою уверенностью, как будто бы случилось много особенно хорошее и удачное. Я виделся три дня назад с Александрю Николаевною [Нарышкиной] и получил ее прямое указание «терпеть во что бы ни стало», что, конечно, и исполню в точности, так как и Ваше мне указание было такое же. В эту среду, 14 мая, Государь и Государыня обошлись со мной чрезвычайно милостиво, поздоровавшись много ласковее обыкновенного; Государь, по-видимому, даже что-то хотел сказать, так как отойдя от меня остановился и вновь поглядел на меня, — но все-таки не сказал ничего. Ни 16-го, ни сегодня я не видал Государя близко.

Неврастения и застой в делах Капеллы начинают уже сказываться; пробудились и приутихшие силы всяких любителей мутной воды. Уныние всех — очень заметно, но я еще бодрюсь, молясь ежедневно об умягчении сердца болярина Александра, веруя в укрепление молитвою сил моих и в помощь будущего.

Не расмейтесь пожалуйста: теперь вот уже три недели, как я отстранен от управления Капеллою и в сущности могу работать для нее чрезвычайно мало — не более старшего воспитателя и, пожалуй, юрисконсульта для делопроизводителя. Эту неожиданную праздность наполняю изучением подробностей в делах об отношениях Глинки к Придворной Капелле и даже

радуюсь покою тех минут, которые приходят ко мне во время писания рассказа по архивным документам. Был уже раза 2—4 в Публичной Библиотеке за справками, заглядываю ежедневно и в милые моему сердцу певческие рукописи... уж именно «нет худа без добра». Но на душе моей — очень тяжело и тревожно.

Вот сегодня уезжает и Александра Николаевна — остаюсь я совсем один, а наскоки, и не далее как сегодня в ночь, все еще энергичны по-прежнему, хотя были дни и без наскоков. Чем и как это кончится — теряюсь в догадках.

16 мая прошло, как я и думал, вполне благополучно, хотя неоживленно¹. Сплетен и всякого рода устрашений было так много, что их излишество и деланность прямо говорили за себя. Торжество вышло какое-то вялое и укороченное зачем-то. Набережная Невы была и 16-го, и 17-го очень весела и полна гуляющими, державшими себя вполне порядочно. О каких-либо неполадках за эти дни ничего решительно не слышно, кроме «народного дома», в котором толпа испугалась от будто бы выпрыгнувшего из клетки тигра.

Позволяю себе от всего, растроганного Вашим вниманием, болеющего моего сердца благодарить Вас за все, более же всего за незабвенную для меня беседу 6 мая, так поднявшую меня. Скажу Вам откровенно: я — плохой боец в житейской борьбе! Меня живет тихая жизнь между детьми, которых не имею в семье моей и заменяю учениками; меня живет в утомлении от школы тихий мой кабинет с тою любовью к науке, к знанию, которой заразил меня отец мой. Как мне воевать? Ни умения, ни желания не ощущаю в пассивном моем для такого боя характере. Верую лишь в правду и в несомненную ее силу. Уже много раз подтвердилась на мне самом и при мне на других эта хорошая, сильная правда. Бог милостив, и на этот раз правда возьмет свое и устыдит кого следует. Вам и Вашим шлю искренний привет.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 66—67 об. На бланке управляющего Капеллой

1. В этот день праздновалось 200-летие Санкт-Петербурга.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 19 мая 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Помнится, в «Анне Карениной» является лицо одного, кажется, сановника, который после долгих колебаний решился, наконец, сделать предложение одной девице и выбрал для сего предусмотрительно прогулку в лес. Вот они очутились одни, сели рядом, разговор начинается — но вдруг она сделала ка-

кое-то движение... Он замылся и заговорил о постороннем. Тем роман и кончился навсегда.

Мне припомнилась и нерешительность в Вашем рассказе о подходе, о колебаниях, о потугах, и — «все без последствий»... И все-таки читаю между строк Ваших, что дело Ваше крепко. Только зачем эта тяжелая волокита! Ведь лучше разрезать нарыв, чем ему гноиться. Одно слово «наскок» в состоянии меня вывести из себя; я потому умолкаю. Поживем — увидим.

Всею душою Ваш С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 70

Смоленский — Шереметеву

[Петербург, около 20 мая 1903]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

В минуты раздумья люблю я читать то Эпиктета, то Марка Аврелия, то Иисуса, сына Сирахова. Сегодня я очень раздумался и... вдруг получаю такое славное, такое доброе письмо Ваше. Совпадения бывают часто. На этот раз я читал у Сирахова (XI.19.20): «твердо стой в завете твоём и пребывай в нём и состарейся в деле твоём; не удивляйся делам грешников, веруй Господу и пребывай в труде твоём» — после того читаю, как продолжение, Ваше письмо с примером из «Анны Карениной».

Раздумье нашло на меня по такому поводу. Граф Александр Дмитриевич подал Фредериксу проект преобразования Капеллы в смысле возвращения к старому порядку, то есть сосредоточения власти в руках Директора и распределения деятельности других лиц под ответственностью лишь перед ним, директором. Недавно было заседание по этому поводу в Министерстве. В заседании были: Рыдзевский, Смельский, Мосолов, Федоров и граф А. Д. Кроме Федорова, державшегося юридической почвы и надобности ясно определить круг действий Начальника Капеллы, графу дружно возражали все в таком смысле:

1. Отмена старого порядка Львова — Бахметева произошла, несомненно, по его неудовлетворительности, почему ввиду только что (к 6 декабря 1902 года) утвержденных новых штатов Капеллы неудобно вводить сейчас же перемену в управлении Капеллою, тем более еще и потому, что проект, ныне представляемый графом А. Д., был предлагаем ему (а не им) осенью 1902 года и был энергично отвергнут самим графом тогда же.

2. При требовании графа А. Д. поручить все, во всех подробностях, ведение Капеллы ему — найдется ли у графа время, чтобы отдаться такому труду, несомненно очень большому и кропотливому? Имеется ли у него мотивированный план будущих его действий? Имеются у него причины, по которым

он считает нынешний порядок не достигающим цели, а будущий — ведущим к процветанию учреждения?

На 1-й пункт граф ответил возможностью временного усиления его власти в Капелле. На это ему ответили, что именно тут он сталкивается с коренным правилом Министерства Двора, по которому «труд — оплачивается, бесплатные услуги — избегаются»; что почетная должность Начальника именно и признается надобною для того, чтобы обеспечить Капелле возможность более удобного улажения внешних дел, трудных для не высокопоставленного управляющего Капеллою; что, в сущности, существующий сейчас порядок есть наилучший, как дающий Начальнику возможность требовать и достигать желаемого им с помощью подчиненных, а не личным своим трудом, дающим повод критиковать такой труд в других сферах, например, в Контроле, в Кабинете и проч.

На 2-й пункт граф весьма неосторожно ответил, что у него найдутся и время, и силы, и уменье, и знания, чтобы посвятить себя именно личному труду в Капелле. Затем он тут же вынул из портфеля заготовленное им изложение будущего плана своих действий и передал то Рыздзевскому. Наконец, больно писать о том, граф жестоко раскритиковал Капеллу и обвинил меня Бог знает в чем, говоря и о моем малознании, о моей вялости, о моей несостоятельности, о полнейшем упадке Капеллы и проч.

Порешено: представить Министерству на благоусмотрение о надобности более точного размежевания дел между Начальником и Управляющим Капеллою.

Что будет и чем кончится это странное недоразумение, столь горькое — не знаю, но я бодрюсь, веруя в правду. В таком состоянии — сущую радость, сущий отдых нахожу в Вашем столь добром и сердечном письме. Думаю и так, что пройдет же пыл и возбуждение у графа А. Д.? Ведь почему же нибудь терпел он меня два года, и в самом деле упорядочилась Капелла? Веруя в правду, умею находить в себе забвение прошлого, если, как в той же «Анне Карениной», все дело «образуется» по порядку само собой. Не в первый раз встречаю я такие характеры и наблюдаю течение таких недоразумений, хотя бы и очень тяжелых и тревожных. Молюсь за графа ежедневно в моей грешной молитве, так как понимаю его беспокойное состояние. Бог милостив, «образуется» все, и милая теперь моему сердцу Капелла, уже любимая мною, вновь заработает спокойно, без нервных неожиданностей и внезапных тревог.

Спасибо Вам, добрый, снисходительный граф. Вы действительно умеете ободрить! Спасибо и графине Екатерине Павловне за ее привет мне. Прошу Вас принять мой привет и поклон, благодарный, искренний, посылаемый Вам из глубины растроганного сердца.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Посылаю это письмо через Фонтанку, 34. Я перечитал это письмо и подивился его нескладности. Извиняюсь в том, так как, вероятно, раздумье мое

мешает плавному и спокойному изложению мыслей, мешает и самому простому здравомыслию. Это не мешает, однако, искренности и правдивости написанного, отражается лишь на порядке. Бог даст скоро успокоюсь и тогда буду писать более связно. Рукописи из Казани уже пришли — это лекарство на меня действует лучше брома¹.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 68—69 об. На бланке управляющего Капеллой

1. Последняя фраза означает очередное возвращение к проекту издания описания соловецких рукописей.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 25 мая 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Не могу не ответить тотчас же на теплое письмо Ваше, которое прочел с истинным умилением. Безумцы не знают, что делают, но меня сильно огорчают и медлители... Я верю в торжество правого дела, а колесо хотя и медленно вертится, все-таки вынуждено будет повернуться. Но как все это грустно, тяжело и больно; слепота, равнодушие, самонадеянность и самодурство, неискренность и ничтожество — вот с чем приходится считаться! Вы как философ-христианин смотрите на все с смиренномудрием, я же волнуюсь и негодую, в сознании своего бессилия прибавить что-либо к тому, что сделано. Но весь эпизод очень характерен; он устанавливает известные мерилы, он гораздо важнее, чем кажется, и если в наш скудный век люди, подобные Вам и одаренные свыше печатью Св. Духа — не поняты, не оценены и не согреты, то как же назвать переживаемое время, как не временным торжеством беспощадной посредственности!..

Сегодня великий праздник, светлый, радостный¹; да потонет в лучах не-вечернего света всякая скорбь земная!

Крепко жму Вашу руку, неизменно Ваш С. Шереметев.

Не знаете ли, где Богданов-Бельский? Он как-то охладел.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 73—73 об.

1. Великий праздник — Духов день.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 28 мая 1903

Советую не менять системы. Пишу. Шереметев

*РНБ, ф. 855, № 30, л. 74. Телеграмма***Смоленский — Шереметеву**

Английский дворец в Петергофе, 30—31 мая 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за депешу, сообразно содержанию которой я, конечно, и послушался Вас. Я хотел писать Вам еще вчера, надеясь получить Ваше письмо вслед за депешею; отложил до сегодня, не получив письма, а теперь, под впечатлениями известий сегодняшних из горемычной Сербии, под впечатлениями и мелочей в Капелле, отвожу свою душу, облегчаю ее, делаясь с Вами своими мыслями. Ведь я был в Белграде, можно даже сказать — жил там, как и побывал в главных городах Сербии. Песни ее сельчаков, умильнейшие церковные напевы глубоко запали в мое сердце, а славный воевода-гигант, архимандрит Дучич и сербское Королевское певческое общество совсем привязали меня к этой бедной и многострадальной стране¹. Живо припоминаю я, как, сидя на бастионах великопепной Белградской крепости, сидя у Алексица, я проверял свою подготовку к путешествию по истории этой страны и по записям о войне 1877 года. Я переживал те же волнения, какие всегда обуревают меня в Москве на Красной площади и в Кремле, а здесь — на полоске по Неве от Троицкого моста до Николаевского. Сколько тут было крови, горя, греха, геройства, преступления и великих добродетелей! Сколько воды утекло и сменилось превратностей всякого рода!

Собственно говоря, я не удивлен революцией в Белграде, но изумлен и оскорблен ее подлостью и бесчеловечием, ее ненадобною и бессмысленною жестокостью. Широкие обобщения событий за длинные и связанные периоды времени всегда занимали мой ум и потому, представляя цепь политических событий от Карагеоргия первого до новоявленного, не вижу в ней особых неожиданностей. Но как горьки, даже вчуже, подробности смерти женщин! как высоко поучительны неумолимые уроки истории, хотя бы и пришлось постигать их поучительность со слезами на глазах! Ведь сербы, дорогие сербы, разве не братья наши по крови и вере — разве не выстрадали грехи отцов своих?

Грешный я человек, давно отвернувшийся от Милана, его глупого сына-мученика, его недалёковидной Драги-мученицы и горемычной католички Наталии². Прости меня, Господи, за такую нетерпимость к таким людям, обязанным быть православными славянами, а не еврейско-немецкими самоменными

лакеями, да еще и близорукими. Но — мир праху их, мир душе страдальницы-матери Наталии, мир и дорогому, простосердечному свинопасу-сербу, мир и дорогой, многострадальной земле его, переживающей наш XVI век. А все-таки, как все грозно, непорядочно и бессердечно!

Но я еще не поблагодарил Вас за Ваше истинно сердечное письмо, которое сразу совершенно успокоило меня. И я «верю в торжество правого дела, колесо которого хотя и медленно вертится, но все-таки вынуждено будет повернуться». Не было бы без этого у меня терпенья и силы, которыми могу держать в повиновении и послушании, в подвиге выносливости моих сыновей по Капелле. Перечитываю Ваше письмо в десятый-двадцатый раз и радуюсь чистоте души Вашей, радуюсь тому, что и я, осиротелый после Рачинского, вновь пишу по-прежнему, вновь люблю, вновь доверяюсь и живу.

События дня, то есть 30 мая — самые заурядные. Передано вчера по телефону: дознаться в точности — будет ли служба в Александрии послезавтра. Отвечаем: гофмаршальская часть отзывается незнанием, хотя известно, что в воскресенье (то есть это самое «послезавтра») будет какой-то полковой праздник в Высочайшем присутствии в 11 часов утра, что как бы предсказывает, что в Александрии обедни не будет. Требуют по телефону: узнать наверное, певчих задержать от 3-х до 4-х часов, намерен лично дать все указания. Отвечаем: гофмаршальская часть вновь отзывается неполучением приказаний, прикажете ли ожидать между 3—4 часами. Спрашивают сегодня: что же, наконец, гофмаршальская часть? Задержите певчих до 3-х часов (то есть с 11-ти). Отвечаем: гофмаршальская часть вновь отзывается неимением приказаний. Опять приказывают по телефону: скоро 3 часа, распустите певчих, так как идет дождь, ехать не могу, очень вы нераспорядительны и т. под.

Одним словом, появилась Ульянка № 2-й³. Проект моего обращения к Министру, при сем прилагаемый и, конечно, посланный, сообщаю Вам, граф, в доказательство того, как истерзаны наши нервы и до какой степени я близок был до потери даже понятия о подчинении и самообладании. Сегодня большие певчие возмутились было напрасным их арестом в Капелле до 3 часов дня, но я уговорил их, хотя один из стариков все-таки понаделал глупости. Авось, улажу с этим по отношению к Ульянке, где и не подозревают, какими рикошетами отзываются и толкуются столь нетерпеливые и, скажу прямо, столь наивные и самоуверенные приказания. Могу Вас уверить, столь дорогой сердцу, столь благожелательный и беспристрастный граф, что я не изменю направления. Я все думаю, что придет же время, когда будет стыдно графу А. Д. за прошлое, когда он поймет, как до сих пор я все-таки всячески оберегаю его.

Вам и Вашим — поклон мой и привет от всей души.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

P.S. Получил крайне возбужденное письмо от старообрядческого диакона Борисовской моленной А. П. Богатенкова. Пишет мне с большим возбуждением, как они все оскорблены предательским действием наших священников

(церкви св. Мартина Исповедника на Б. Алексеевской улице), просивших позволения «только послушать» литургию в Духов день, на самом же деле, не дав «потребити святая», начавших допрос и составивших акт⁴. Этот диакон — тот самый, который показывал графу Гейдену и графу Дмитрию Сергеевичу моленную в Рогожском⁵.

О Богданове-Бельском — ни слуху, ни духу. Узнал я лишь то, что его нет в Петербурге, а где он — неизвестно.

Перечитал я прошлые Ваши письма. Как далеко в сторону ушли от Капеллы в текущие дни и древние напевы, и доброжелательное умное ученье, и дальновидное, кроткое возвращение к умной старине! Как заняты теперь мои мысли (конечно — временно) совсем другим и как беспокоен ум! Пишу 31 мая утром, испытав мудрость пословицы «утро вечера мудренее»: зачем посылать Вам удостоверение в моем малодушии, нашедшем на меня под давлением просьб моих товарищей. Прошение Министру, мною составленное, скучно теперь читается после Вашей депеши даже мною, его автором. Лучше ограничусь тем, что изложу его план и порадоюсь избежанию ошибки, которую не хотелось делать, которая претила душе моей, но которая в то же время удовлетворяла хоть сколько-нибудь моих сослуживцев. Теперь уgomонил я и этих, ставших поспокойнее и терпеливее.

Вот план документа, которому может быть придет время когда-либо: докладывается Министру с ведома Начальника Капеллы, без нарушения дисциплины;

просится инструкция о размежевании областей ведения на следующих основаниях и случившихся отклонениях от тех оснований.

Основания: Начальник Капеллы есть почетное высокопоставленное лицо, обязанное иметь высшее попечение о благоустройстве Капеллы и заведовать главнейшими внешними сношениями по ее делам, начиная от исполнения указаний Государя.

Управляющий Капеллою есть заведующий всеми внутренними делами. Сообразно профессиям Балакирева и Аренского нынешнему Управляющему должна быть предоставлена певческая часть Капеллы.

Государь подтвердил последнее, особенно указав на введение древних роспевов, «которыми Он так наслаждался в умильном исполнении Синадального хора». Не менее доказана 20-летним опытом принадлежность Управляющему непосредственного заведования хозяйственной, денежною и канцелярскою частями, кроме главнейших по ним распоряжений Начальника.

Соглашением моим и графа А. Д., с ведома и одобрения Государя, еще летом 1901 года принят план действий приведения в порядок Капеллы и улучшения ее пения, рассчитанный на 2 1/2 — 3 года. Принцип руководящий: *langsam, etc.* — тише едешь — дальше будешь.

По этому плану в первый год, то есть с мая 1901-го до окончания лета 1902-го, улучшена дисциплина малолетних певчих, начаты курсы для больших

певчих, начаты улучшение и приведение в порядок хозяйственной части, удалены более вредные элементы из Капеллы.

Государь, многократно летом 1902 года высказывавший одобрение, высказал 14 сентября, что «успехи Капеллы прямо поразительны, что Он не помнит, чтобы Капелла когда-либо пела так удивительно хорошо».

По тому же плану во второй год подвигался вперед успех хора, инструментального класса, заканчивание работ по приведению в порядок хозяйства и инвентаря.

Задерживает успех хора — замедление в Министерстве Двора проекта о пенсиях за 20-летнюю службу больших певчих, почему тормозят дело свыше 10-ти старых негодных певцов и отсутствие молодых сил.

Несмотря на это Капелла все-таки шла вперед, даже осилила Реквием Моцарта. Древние роспевы уже стали во многом обиходными. Учебная часть и дисциплинарная, как и хозяйственная, в настоящее время нормальны. Развитие шло спокойно.

Отклонения: Граф А. Д. как-то внезапно, с начала февраля 1903 года утратил доверие и уважение к нашему труду и с конца марта взял все управление Капеллою в свои руки, отстранив меня от всякой деятельности. Распоряжения графа все без исключения идут помимо меня, совершенно расшатывая дисциплину и без нужды внося беспорядок заочных из Ульянки или со Шпалерной распоряжений, часто спешных и противоречивых.

Приказ 8 мая — в копии представляемый, невозможен, как оскорбление меня, Климова⁶ и врача; в части, требующей отчета о суммах по формам главной конторы графа — незаконен и есть *contradictio in adjecto* [сам себе противоречит], ибо не могу я давать отчет в деле, которое всецело ведет сам граф.

Мне, ныне подписывающему лишь отпускные билеты ученикам, расписание кушаний, требования на вагоны и т. п. — нечего делать более в Капелле. Художественная часть несомненно падает, хотя ответственность юридически продолжает быть моею.

Прошу указаний о размежевании дел, так как переговоры с Начальником невозможны; подается с ведома графа, но без его согласия на размежевание. Почетное ему отступление надобно.

Последний пункт, конечно, был изложен лишь предположительно, так как я не пошел бы к Министру без окончательного разговора с графом А. Д. Это было бы и неправильно и неприлично⁷.

А все-таки, как все это грустно! Как благодарю я Вас за тот покой, с которым лучше «не менять системы» и терпеливо ждать. Спасибо Вам!

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 70—73. На бланке управляющего Капеллой

1. Смоленский вспоминает свое путешествие летом 1897 (см. подробнее в переписке с Победоносцевым).

Архимандрит Никифор (Ништефор) Дучич (1835—1900) был одним из крупнейших сербских общественных деятелей. Писатель, историк, автор множества трудов по истории сербской церкви, Дучич во время восстаний против турецкого гнета принимал самое активное участие в военных действиях. Он был очень известен и любим в России, носил звание почетного члена Академии наук.

2. В ночь с 28 на 29 мая 1903 в Сербии произошел очередной военный переворот: армия провозгласила королем Сербии князя Петра Карагеоргиевича. Король Александр Обренович и его жена королева Драга были убиты, та же судьба постигла некоторых министров и придворных. Король Милан IV, отец короля Александра, еще ранее был вынужден передать власть сыну; королева Наталия — мать убитого короля Александра, урожденная бессарабская княжна — была, как и ее супруг, непопулярна в Сербии ввиду своей проавстрийской позиции; в апреле 1902 она перешла из православия в католичество, обряд совершился в Париже.

3. В Ульянке под Петербургом жил в это время А. Д. Шереметев.

4. Алексей Прокопьевич Богатенко (Богатенков; 1853—1928), впоследствии старообрядческий епископ Александр Рязанский и Егорьевский и Казанско-Вятский, с апреля 1915 — местоблюститель Московской архиепископии, в 1920-х — помощник архиепископа Московского Мелетия. Старый знакомый Смоленского по Казани; ему выражена благодарность в предисловии Смоленского к изданию «Азбука старца Александра Мезенца» (Казань, 1888). Известный собиратель рукописной книги, в том числе певческой; знаток знаменного пения. В 1903 диакон А. П. Богатенко был секретарем архиепископа Московского Иоанна.

В это время служение литургии в старообрядческих храмах на Рогожском кладбище еще не было разрешено официально, алтари соборов были запечатаны, и литургия там служилась «потаенно», с походным алтарем, который устанавливался внутри церкви.

Развитие темы см. в последующих письмах.

5. Смоленский водил на Рогожское кладбище А. Ф. Гейдена и Д. С. Шереметева (сына Сергея Дмитриевича) во время пребывания части Капеллы с государем в Москве на Пасху 1903 (см. об этом далее).

6. Ученик Смоленского по Синодальному училищу Михаил Георгиевич Климов, впоследствии знаменитый хоровой дирижер, в 1902—1913 был помощником учителя пения в Капелле.

7. Черновик излагаемого в этом письме обращения к министру двора графу Фредериксу сохранился полностью в копии Н. Ф. Финдейзена (РНБ, ф. 816, № 2674).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 31 мая 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Как ни тяжело, но уж если Вы терпели до сих пор, потерпите еще и не меняйте системы. Мой совет — прежде всего устройте так, чтобы попасть при

случае в луч зрения главного хозяина, и дайте Ему возможность Вам что-нибудь сказать в благоприятной обстановке, то есть без известного свидетеля¹. Здесь явная недомолвка, вызванная свойствами характера. Но я не вижу и никаких признаков неудовольствия со стороны центрального лица (главного хозяина).

Если бы пришлось очень круто и невтерпеж, то нам необходимо будет встретиться и обсудить положение, прежде чем приступить к какому-либо решительному шагу. В крайнем случае мы можем сговориться, когда бы встретиться в Москве, в Петербурге же буду не ранее половины июля и в Саров не поеду.

Кончина И. Н. Дурново открывает вакансию Председателя Совета Министров. Не возьмут ли Кир-Константина?²

Жена Вам очень кланяется; крепко жму Ваши руки и благодарю за дружбу и доверие.

Ваш неизменно С. Шереметев.

Пишете ли Вы Нарышкиной? А что скажете про ужасную катастрофу в Белграде?

РНБ, ф. 855, № 30, л. 75—75 об.

1. Под «системой» имеется в виду поведение Смоленского в конфликте с А. Д. Шереметевым — избегание прямых столкновений. «Главный хозяин» — разумеется, император Николай II, «известный свидетель» — А. Д. Шереметев.

Смоленскому удалось побеседовать с государем «без свидетеля» 15 июня: император полностью одобрил пение Капеллы и ее репертуар (см. в письмах к Волковой), однако на дальнейшую судьбу Смоленского этот разговор не оказал положительного влияния.

2. Дурново Иван Николаевич (1834—1903) — председатель Комитета министров (1895—1903); его преемником на этом посту стал не Победоносцев («Кир-Константин»), а бывший перед тем министром финансов Сергей Юльевич Витте.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 3 июня 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Не за себя только, но и за мою бедную жену сердечно благодарю Вас по получении Вашего столь успокоительного письма. Спасибо Вам от всей души.

С главным хозяином свидание было вчера, ограничившееся рукопожатием, после же обедни тем, что Вы назвали «попаданием в луч зрения», которое однако же было, после хозяйки, попаданием от меня после, а от него прежде. И я думаю, что именно во всей истории — явная недомолвка, желание сказать мне.

Наши письма разошлись. О Белградской трагедии я Вам писал в день Вашего ко мне письма. Там же и prospectus того, что сгоряча написано, но до Вашего совета не послано, а теперь и совсем спрятано.

Терпеть — конечно, можно и должно, днями же и не трудно, а днями — и совсем нечувствительно, когда нет неустанного телефонирования. Посему и обещаю Вам не менять установившегося курса до самой последней невозможности, тем более и потому, что спокойно сравниваю два музыкантских характера и не без самоуверенности признаю за собою больше выдержки. Опасаюсь лишь неожиданности, более же того, возбуждения нового недоумения в главном хозяине. Но думаю, что и тут — хватит у моих учеников-регентов ума и такта, чтобы с моею помощью не дать повода к нареканиям. Ведь это было их пение, когда он пошутил, сказав, что и ученики, подобно учителю, оба в очках, а поют «паразитально в такой мере, что я не помню, чтобы пели так когда-либо». Помнится мне, что я Вам писал о том около половины сентября 1902 года или только рассказывал. Тогда в течение одного — полутора [годов] рост пения был замечен всеми и весьма живо комментирован, в том числе графом Александром Дмитриевичем.

Александре Николаевне, столь обласкавшей меня принятием «в сынки», я писал на прошлой неделе, но ответа ее еще не получил. Ее совет до того времени вполне сходен с Вашим. Я много раз делился с нею и до текущего конфликта моими мыслями по самым разнообразным предметам, нисколько не умея сообразоваться с какими-либо требованиями «такта», более же руководясь искренностью. Предполагаю, что таких бесед было более двадцати, с декабря 1901 года. Многие из них были очень продолжительны — часа по 3—4, очень оживленны, даже и бурно возбужденны; но с каждою из них я чувствовал, что она, ныне меня называющая «сынком», а перед прощаньем благословившая меня, становится ко мне более расположенною, в некоторых же пунктах бывших споров и обращенною в мою веру. Она называла меня в глаза, к полному моему недоумению, почему-то «чудаком», «оригиналом», «антиком» и т. п. Может быть склад моих мыслей и несвойственная гостиной искренность их выражения действительно производят впечатления для такого отзыва, тем более что наши беседы почти все (кроме одной—двух) были только один на один или в присутствии ее брата или племянницы. Может быть, мои мысли резки или мои рассказы касаются неизвестных, как кажется, ей областей, например, славянства, старообрядчества, инородцев, старого русского искусства и т. п., — но я был далек в беседах с нею удивить ее какою-либо совсем ненужною оригинальностью. Впрочем я вполне удовлетворен тем crescendo ее внимания ко мне, которое так неожиданно сказалось по отношению к «хозяину», и всем тем очевидным вниманием, которым она дарит меня, слушая мои рассказы. Это все очень привязало меня к «названной матери».

Ваш совет о побывке в случае надобности в Москву непременно исполню, но только в самом крайнем случае, так как отлучаться отсюда, чтобы от-

дать на съедение моих птенцов, было бы не по старо-учительски. В некоторых подробностях чувствуется мною и то, что все-таки мое присутствие несколько сдерживает бывший было размах и бывшую резкость обращения, ныне как будто начинающие немного утихать. По крайней мере уже бывают антракты по 1—2 дня без телефонирования и без распоряжений, конечно, по прежнему порядку, то есть помимо меня.

Графиню, добрую Екатерину Павловну, сердечно благодарю, посылая ей пожелания самого доброго здоровья и тихой радости в детях и в счастье их. Примите и Вы мой сердечный привет, добрый граф. Я уже писал Вам, что, осиротев после Рачинского, ныне вновь оживаю, вновь люблю, имея вновь возможность говорить Вам обо всем, что на душе, и тем облегчать себя в трудные дни. По старо-русскому — делаю Вам «метания три»¹.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 74—75 об. На бланке управляющего Капеллой

1. То есть три поклона «в землю».

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 5 июня 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Не знаю, как благодарить Вас за Ваши строки, за доброе расположение, за доверие. Больно мне читать Ваши письма, скорблю и негодую и в бессилии своем раздражаюсь! Ведь вот времена, куда ни сунься — всюду наткнешься либо на глупость, либо на непонимание, на самодурство или недоброжелательство!! Невольно вспомнятся старые стихи:

У нас авось
России ось
Крутит, вертит,
А кучер спит¹.

Мне грустно было читать о новой Вашей «безмолвной» встрече...²

Теперь ни с какой стороны не подойдешь... Ведь это, однако, *обязанность* Министра Двора — хороши порядки!

Верьте, что мне очень дорого все то, что Вы говорите о Ваших чувствах. Верьте, что они взаимны и навсегда.

Жена Вам очень кланяется и глубоко Вам сочувствует.

А кто же будет преемником Дурново?

Сердечно преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 76—76 об.

1. Неточная цитата из стихотворения П. А. Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвой».

2. Имеется в виду встреча Смоленского с А. Д. Шереметевым: к этому времени они общались только с помощью рапортов и приказов. К данному письму Смоленским подшиты посланные на имя П. Н. Толстякова (в Английский дворец Старого Петергофа, где находилась Капелла летом) и составленные графом программы песнопений для службы литургии в Петергофе в присутствии государя на 15 и 22 июня, причем для службы 22 июня имеются два варианта — в отсутствие Александра Дмитриевича (регент П. Н. Толстяков) и в его присутствие (регент, возможно, сам А. Д. Шереметев; в программу включено его песнопение); там же имеются две телеграммы, которыми отсутствующий граф обязывает Смоленского присутствовать на обеих службах.

С грифом Канцелярии графа А. Д. Шереметева

9 июня 1903

Многоуважаемый Павел Нилович,

имею честь препроводить Вам при сем по поручению Его Сиятельства ТРИ программы песнопений: одна на 15 июня и две — на 22-е. Граф на Литургии в Петергофе присутствовать не будет, а о 22-м — еще не известно; причем на случай своего отсутствия 22-го — предлагает Вам приготовить и исполнить программу № 1, в противном же случае приготовить программу № 2, — о том или другом случае я немедленно уведомяю Вам по выяснении.

Секретарь Петр Попов.

15 июня 1903 г.

Во время Божественной Литургии
будет исполнено:

1. Херувимская песнь (с древнего роспева). Переложение Львова
2. «Достойно есть» киевского роспева и «Отче наш» — обиходное
3. Причастный стих «Хвалите Господа с небес» № 2 Бортиянского

№ 1. 22 июня 1903 г.

Во время Божественной Литургии
будет исполнено

(на случай, если Граф не будет у литургии):

1. Херувимская песнь № 7 Бахметева
2. «Достойно есть» Бортиянского
3. Причастный стих «Се что добро или что красно» Ипполитова-Иванова

№ 2. 22 июня 1903 г.
 Во время Божественной Литургии
 будет исполнено:

1. Херувимская песнь (греческого распева) G dur. Переложение Львовского
2. «Тебе поем» A dur — греческое
3. «Достойно есть» E dur — входное (архирейское)
4. «Отче наш» D dur — Гр. А. Д. Шереметева
5. «Благообразный Иосиф» C dur — Лотти (вместо причастного стиха).

А. Д. Шереметев — Смоленскому
 13 июня 1903. 12. 45. Телеграмма

Прошу Вас быть воскресенье в Александрии. Граф Шереметев

А. Д. Шереметев — Смоленскому
 Фридрихсгольм, 19 июня 1903. Телеграмма

Прошу Вас присутствовать в Александрии на Литургии 22. Граф Шереметев

(РНБ, ф. 855, № 30, л. 77—80)

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 7 июня [1903]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Очень, очень благодарю Вас за письмо от 5 июня, на которое отвечаю немедленно и гораздо бодрее, чем Вы могли бы подумать, взяв во внимание текущие обстоятельства. Сначала лишь об одном из последних. Вчера был в Капелле граф Александр Дмитриевич, дирижировал спевкою, прорепетировал свое «Достойно есть», разученное для дебюта на завтра. По отношению ко мне барометр стоит на грани «великая сушь». Мы не сказали друг другу почти ни слова, кроме неизбежно требуемых приветствий.

Но я все-таки благодуннее, чем мог бы думать ранее. У меня бывают даже и часы, в которые я забываюсь за работою в высокой степени интересною. Спасибо графу А. Д., избавившему меня от великой массы дел, с которыми он сам не управляется, а у меня по его милости свободны мои любимые рано-утренние часы.

Потом я однажды рассудил сам собою: да чего же в самом деле я надеялся графу и Капелле, кроме хорошего, и даже очень хорошего? — ведь и в ха-

рактере графа А. Д. будет же просветление и успокоение? Ведь, наконец, как ни лжива придворная сфера, — понимают же там, что я добросовестно работаю, что есть на свете и святая правда?

По таким соображениям я взялся за любимейшие мною басни Крылова, которые знаю слово в слово, но над стихосложением которых давно ломаю голову. И представьте мой восторг, мое упоение, когда, в течение каких-либо четырех-пяти дней этого июня, вдруг просветляется мое понимание русского вольного стиха, оказавшегося высокосовременным по дисциплине и отнюдь не вольным, бесформенным.

Каюсь, забыл в эти счастливые дни графа А. Д., и Капеллу, и всякие думы. Дело в том, что я давно уже, лет 20 назад, нашел секрет музыкального рифмования стихир знаменного роспева и внутренний голос не переставал меня бодрить к отысканию родства их форм именно с формами восхитительных стихов мудрого и чисто русского гения Крылова. Конечно я перепачкал бумаги без конца, прежде чем детски простая мысль осенила мою голову и заставила подивиться на свою же недогадливость в прошлом.

Коротко сказать: я догадался о том, что весь секрет стихов Крылова состоит: 1) в пропускаемых им стопах или отдельных слогах, которые я надумал (для слогов) обозначать на письме нулями; 2) в том, что хитрый дедушка Крылов ловил всякое словечко для рифмы и писал его в виде как бы отдельного стиха, чем и сбивал меня с толку и 3) в том, что стихи Крылова, собственно говоря, строги все лишь во вторых половинах полных строк (по 13 слогов, а с нулями — по 16, или 4 х 4, то есть самая полная квадратура метрической формы); те же стихи, но в началах строк дают дедушке, необыкновенному знатоку русского языка, возможность делать сущие чудеса ритмики, маскируя их невозможную свободой языка и речи.

Я думаю, впрочем, что едва ли такой несравненный артист сам подозревал свое удивительное мастерство. Между тем посмотрите, как легко, как естественно укладываются его ямбы в квадратуру, с употреблением тяжелого акцента (не сильного, а именно тяжелого, чисто русского) на самом конце. Например, куплет из 5-ти стихов, где 7, 2, 2, 7 и 8 слогов:

	Про-	
8	казница мартышка, 0, о-	
8	сел, 0 0 козел 0 0 да	
8	ко-со-лапый Мишка 0 за-	<i>NB: нет тезиса для</i>
8	теяли сыграть квартет 0	<i>будущего «тяжкого» — на «квартет»</i>

Ведь это, согласитесь со мною, порадуите меня — это прямо великолепно по фактуре?

Затем: ставя границу перед вторым в стихах ударением, мы получаем с затактовым ямбовым первым слогом такую уопительную красоту, что можно читать только одни вторые половинки, и то выходит что-то складное. Примите во внимание и то, что у семи (где тоже есть уловка Крылова, о которой ниже) стихов, число слогов представляет такую якобы нескладицу: 10, 13, 13, 12, 9, 19 и 9 слогов. Например:

8	Ударили в смычки 00	дерут а толку нет 00
8	0 Стой братцы стой кричит	мартышка: погодите 0
8	Как музыке идти 00	ведь вы не так сидите 0
8	0 Ты с басом Мишинька	садишь против альта 00
2	я при	ма сяду против вторы 0
4	Тогда пойдет	уж музыка не та 00
2	у нас	запляшут лес и горы 0.

Прочитайте очерченное! проверьте мое впечатление, не сетуя на мою вставку «я».

Но к схеме семи-стиховного куплета только и возможен (при 8-слоговым, 4-стопном ямбе) антitezис нечетный же. Посмотрите, как хитро Крылов устроил последний 5-й стих налево, сложив его из 2+4+2 в трех последних строках¹.

Развеселю Вас и pour la bonne bouche [на закуску]. Басня «Прохожий и собаки» по своей фактуре (у итальянцев: sempre meno doppio movimento, то есть постепенно вдвое уменьшающееся движение) — точь-в-точь подходит — грех сознаться — к воскресному догматике 3-го гласа: «Какое не дивимся рождеству Твоему, Пречестная» большого знаменного роспева. Это ли не прелесть для Крылова!

Вот Вам и письмо повеселее. Если завтра или послезавтра услышу что-либо — напишу. Графине ручки целую крепко. Вам — поклон русский.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 76—77 об. На бланке управляющего Капеллой

1. В Воспоминаниях Смоленский рассказывает о первом своем «озарении» по поводу метрического стросния басен Крылова, причем именно в связи с басней «Квартет»; там же приведено факсимиле ее метрической схемы. Эпизод относится ко второй половине 1890-х (см.: РДМ. Т. IV. С. 340-342).

Тот же пример из «Квартета» приводится в работе «О ближайших практических задачах...», с комментарием:

Постоянные цезуры при ямбах стихов Крылова, его постоянные вольности в длине стихов, от 13 стихов до 2-х, не мешают, однако, довольно строгому стихосложению, обрисовывающемуся во *вторых* половинах крыловских стихов, всегда в 6 и 7 слогов, в зависимости от мужских или женских рифм. При этом, как кажется, есть возможность уловить и то, как такой чуткий поэт, дивный знаток русской красоты и языка, уравнивает вольности своих стихов в первых их половинах. Вторые половины — такие же станы наших церковных песен с их музыкальными рифмами (С. 47—48).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 19 июня 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Ваша депеша меня сильно порадовала и ожидаю продолжения и разъяснения событий!..¹

Необходимо разобраться в положении и отметить «вехи времени», дабы ориентироваться и составить дальнейший план действий.

Прочел о каком-то музыкальном музее, устраиваемом Штакельбергом на очень уже широких основаниях². Поляк видимо процветает, а это есть верный признак слабости Капеллы и ее главного представителя.

На днях уезжает на службу старший сын мой Дмитрий (флигель-адъютант)³. Вы можете с ним быть *вполне* откровенны, и он может быть полезен вам как канал, нам недостающий теперь.

За Крылова — великое спасибо. Как все это интересно и увлекательно.

Ваш С. Шереметев.

Мне *очень дорого* все, что Вы мне пишете⁴.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 84

1. «Депеша», то есть телеграмма, Смоленского не сохранилась. Возможно, он извещал Шереметева о своем благоприятном разговоре с государем 15 июня (см. следующее письмо).

2. Начальник Придворного оркестра К. К. Штакельберг предложил проект музея, в котором собирались бы образцы старинных и современных инструментов, причем в состоянии, пригодном для исполнения на них соответствующей музыки. Кроме того, в музее должно было храниться все, имеющее отношение к музыкальному искусству (рукописи, мемориальные вещи музыкантов, книги, портреты), там должны были проводиться исторические концерты и лекции. Вскоре при Придворном оркестре появился свой небольшой музей, куда были переданы некоторые инструменты из коллекции Эрмитажа и проч. (см. об этом далее).

3. Шереметев Дмитрий Сергеевич (1869—1943), старший сын Сергея Дмитриевича, с 1896 являлся флигель-адъютантом императора. Был женат на графине Ирине Илларионовне Воронцовой-Дашковой. В эмиграции — первый председатель Союза русских дворян.

4. К этому письму Шереметева в подшивке присоединено письмо А. Н. Нарышкиной от 20 июня 1903 (л. 85—86):

Мой милый Степан Васильевич. Я все хвораю и в ужасной отчаянной тоске. Вошла одинокою в опустелое гнездо, которое было такое счастливое. Что делать, да будет воля Его — не моя.

И Вы, друг сердечный, несете крест — смиряйтесь под Его тяжелую руку. Шереметев шалый орудие Его же! Если Он попустил такого ярого человека вас пытаться, так и принимайте пытку. Может быть Вам нужно временное смирение! Вы вот думали, что никто лучше Вас не знает дела пения, а вот юнец самоуверенный стал над вами мудрить. Будем оба смиренно каждый нести свой крест до времени... В начале июля верно Вас найду еще в Петербурге. Храни Вас Бог.

А. Нарышкина.

Выражение «опустелое гнездо» связано с кончиной супруга Нарышкиной, последовавшей в конце декабря 1902.

В деле имеется также (л. 84 об.) визитка генерала-адъютанта графа Александра Васильевича Олсуфьева, на которой почерком, напоминающим руку Нарышкиной, написано: «Между интересующими Вас личностями не было произнесено *ни единого слова!!*».

Смоленский датировал записку 23 июня; «личности» — это государь и граф А. Д. Шереметев, присутствовавший на службах при пении Капеллы.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 23 июня 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за последнее письмо, но не скрою от Вас и моей тревоги. Упомянув о депеше, Вы ничего не пишете о впечатлении от последовавшего за нею моего письма. Либо письма пропадают, либо я неладно поступил, подав мой рапорт графу А. Д., вследствие слов Государя: «да, сообщите».

На случай, если письмо мое не дошло до Вас, скажу кратко так: Государь беседовал 15 июня со мною около 10 минут, даже и более — чрезвычайно, даже неожиданно для меня милостиво. Суть беседы — неперемное его желание возвратиться исподволь к древним напевам и непременно вывести иностранщину. Последнее было настойчиво подчеркнуто дважды и дало мне

смелость спросить, не прикажет ли Государь передать о последнем графу А. Д.? На это я услышал твердый и быстрый ответ: «да, сообщите».

Я спросил, потому что государь говорил с графом А. Д. 8 июня, и [тот], по ходу дел в Капелле, несомненно, докладывал о подготовке нами хора соч. Лотти «Stucifixus», к которому граф приделал слова «Благообразный Иосиф». Иначе неоткуда было Государю так настойчиво сказать: «Я не желаю, чтобы “Вечери Твоя тайная”, “Благообразный Иосиф” и другие, особенно любимые мною церковные песни, пелись с какою бы ни было музыкою, кроме старой и притом привычной мне с детства». Мне кажется, также тут был намек на исполнение нами горемычной композиции графа «Да молчит всякая плоть» (в Великую Субботу в Москве), так как к вышеприведенным словам Государь выразительно прибавил: «И Императрице также нравятся только те вещи».

Конечно, я очень осторожно и очень обдуманно редактировал секретный рапорт, тайну которого не доверил канцелярии, переписав все свою рукою. Но представьте себе мое изумление и недоумение, когда я узнал сегодня стороною (!!), что хор Лотти все-таки предполагается исполнить в будущую воскресную литургию... Я безусловно уверен, что это будет совсем нехорошая настойчивость, особенно же после предупреждения.

Стороною же, по случаю моего пребывания вчера в Гатчине, узнал я, чтобы будто бы не удосужился вчера после завтрака Государь поговорить с графом А. Д. Мне, впрочем, сказали и так, что «не видали», был ли между ними разговор. Если это правда, то весьма выразительны беседа со мною 15-го и отсутствие беседы 22-го, хотя и в этот раз пели хорошо и скромно. Тонкости придворного этикета, как и уменье в них разобраться, мне совсем недоступны и непонятны. Я сужу по простому здравомыслию, без всяких намеков и без многозначений в мелочах, что и наверху все же хоть чувствуют правду и хотят судить так же попросту, даже и по-русски, даже и не без склонна к дорогой старине. Но мое сердце также говорит мне, что в последних неделях укрепилась эта правда и простота, без чего разговор Государя со мною был бы прямо немислим, особенно же в бывшей форме и в бывшем объеме.

О музее Штакельберга, весьма порядочном, сегодня в «Новом времени» окончание статьи¹. Как ни пуст этот барон, но собрать, расположить и даже прикупить — хватило его ума. В Капелле, конечно, ничего нет, ибо одним из первых распоряжений Балакирева было приказание вывезти на свалку истлевшие древние рукописи, собранные для комиссии Львова в 40-х годах. И таких возов было два...² Но я все-таки ухитрился набрать немалое число музейного облика для непременно, и притом в скором будущем, музея Капеллы. Архив Капеллы, уже разобранный мною с 1826 года до 47-го (у нас ранние дела девались неизвестно куда, может быть более ранние сгорели в пожары 1812 года), дал уже много материалов.

Но какая работа пойдет на ум при беспокойной душе? Еще радуюсь на себя, что находятся остатки бодрости, временно вспыхивающие, вроде экскур-

сий в басни Крылова или в знаменные стихиры. Бог милостив, скоро выяснится будущее совсем определенно — тогда воспрянет дух и заработается опять живо, опять радостно и сильно. Теперь я очень устал. Тяжела была пора при Ширинском в Москве, без передышки взялось дело Капеллы, а тут еще новая тягота подошла совсем уже неожиданная. Хоть бы и передохнуть, так и то не грех подумать. Впрочем — поживем и увидим, что Бог даст.

Буду поджидать и свидания с графом Дмитрием Сергеевичем. Пока некогда писать еще. Примите мой сердечный привет Вам и доброй графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 78—79 об. На бланке управляющего Капеллой

1. Статья в газете «Новое время» (1903, № 9798 и 9805) принадлежала перу М. М. Иванова и называлась «Музыкальный музей Придворного оркестра». Центральное место в этом закрытом музее было отдано императору Александру III: более пятисот его фотографий, партитуры поднесенных ему или любимых им сочинений; имелись также музыкальные инструменты, принадлежавшие императору Александру I и другим лицам царствующего дома. Понятно, что Шереметев «привревновал» Штакельберга к памяти Александра III; непонятно, почему он называет этого шведского (по происхождению) барона «поляком» (разве что иносказательно).

2. В Воспоминаниях Смоленского читаем:

...Огромное число древнепевческих драгоценнейших рукописей, собранных для гармонизаций в Капеллу при А. Ф. Львове, ко времени Балакирева сгнило и было вывезено М. Ф. Гейслером [смотрителем зданий Капеллы] по настойчивому приказанию Балакирева на городскую свалку... Два воза рукописей! (РДМ. Т. IV. С. 427).

Смоленский — Шереметеву

Английский дворец в Старом Петергофе, 24 июня 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Теперь, по получении второго Вашего письма — несомненна пропаша моего к Вам письма от 16 июня, объясняющего смысл бывшей депеши.

Я догадался о пропаже еще вчера, 23-го, когда писал Вам. Во вчерашнем письме сказано кратко о моем разговоре с Государем, бывшем 15 июня и о рапорте моем по сему случаю графу А. Д., равно и о том, что 22-го я был услан в Гатчину, а до и после службы в Александрии, равно и после завтрака Государь совершенно не говорил с графом А. Д.

В письме от 16-го был помещен полный текст моего рапорта от 15 июня за № 731:

Его Сиятельству Г-ну Исправляющему Должность
Начальника Придворной Капеллы
Рапорт

Ваше Сиятельство изволили депешю от 13 июня из г. Бьерке приказать мне быть за литургиею 15 сего июня в церкви дачи «Александрия». За этуо уже службою Вами были назначены к исполнению: 1) Херувимская песнь «древнего роспева» переложение Львова, 2) «Достоино есть» киевского роспева и 3) «Хвалите Господа с небес» (№ 2) соч. Бортнянского. Сегодня Государь Император, одобрительно отозвавшись о слушанном пении, изволил осчастливить меня милостивою беседою, в которой я услышал вполне одобрительный отзыв Его Величества об искусстве г. Толстякова в управлении хором. (Эту часть разговора я понимаю так: осенью или ранее граф А. Д. говорил с Государем о Капелле и вероятно удивил Его отзывом о бездарности и мало-знании моих учеников — как предлогом для вынужденных его воздействий на Капеллу и для устранения меня от Капеллы. Интересно, что Государь перебрал именно всех трех и вспомнил о больном Смирнове. — С. С.). Его Величество изволил высказать при этом, что умение и знание этого регента, как и его дарование, по-видимому не уступают таковым же у другого помощника учителя пения, управляющего хором в Гатчине (то есть г. Чеснокова). Государю Императору угодно было осведомиться также, где поет 3-й помощник учителя пения (то есть г. Климов)? На этот вопрос, как и попутные с ним, мною доложено, что г. Климов управляет отделением Капеллы, поющим в церкви на так называемой «Собственной Даче», и что это отделение, поющее хуже других, имеет значение как бы приготовительного класса, ибо оно составлено из вновь поступивших мальчиков, более молодых взрослых певчих и затем из тех старых певцов, которые страдают упадком голоса и дослуживают до срока пенсии.

В продолнии разговора Его Величеству угодно было еще раз высказать свое удовольствие по поводу замеченных сегодня новых оттенков исполнения в таких пьесах, которые давно известны и основаны на древних напевах. Затем Государю Императору угодно было осведомиться о состоянии здоровья учителя пения Смирнова, на что я, навестивший лично его вчера, доложил о крайне неутешительных сведениях, полученных мною, сверх личных наблюдений, от врачей и близких родных больного. (Теперь Смирнов признан безнадежным и уже подал отставку. — С. С.)

В дальнейшей беседе Его Величеству угодно было вновь возвратиться к изложению Своих мыслей о древних напевах и Своего желания слышать за службами более известные и употребительные духовно-музыкальные сочинения, а также и переложения древних роспевов. Сколько я могу восстановить в памяти, слова Его Величества, почти с буквальною точностью, были таковы: «Мне нравятся древние напевы и особенно тихое пение в сочинениях Львова и Бортнянского. Я не люблю «концертное пение», так как в нем есть что-то купеческое. Я считаю, что старые великопостные церковные песни удивительно хороши в переложениях Львова и Бортнянского; они привычны и Мне. Я уже говорил, чтобы их не заменяли никакими другими сочинениями, особенно же иностранными. (Здесь я вижу упрек на прекратившееся, но уже ставшее привычным, пение старых ектений и других пес-

нопений, также и намек на пение «Да молчит» сочинения графа А. Д. — С. С.) От старых умильных, знакомых с детства напевов у Меня иногда льются слезы — так они мне нравятся. Ее Величеству Императрице — также. Особенно мне нравятся «Вечери Твоя тайная», «Благообразный Иосиф», и Я не желаю слушать эти тексты с другою музыкою, особенно же иностранною. Вот сегодня программа была прекрасна, пели отлично — благодарю вас, очень благодарю».

Взволнованный столь милостивою и продолжительною беседою с Его Величеством я все-таки, ввиду общего характера всей беседы по отношению к Придворной Капелле, в частности же ввиду двукратного почему-то указания на иностранную музыку (это вторичное указание иностранного хора было особенно твердо, как и слова «другою музыкою»). При словах «Благообразный Иосиф» Государь даже вспомнил, что это болгарский распев, древний. — С. С.), решился весьма осторожно спросить Государя Императора, не будет ли позволено сообщить (собственно я думал о восприятии музыки иностранной) Вашему Сиятельству. На это Его Величеству было угодно приказать мне: «да, сообщите». Считаю обязанностью доложить, что я решился спросить Его Величество еще и потому, что в настоящее время Капелла учит хор Лотти «Gugifixus», а месяца полтора назад были высказаны предположения об исполнении этого сочинения со словами «Благообразный Иосиф» в присутствии Государя Императора. Для избежания (я вижу здесь влияние впечатления Государя от доклада и с своей стороны под впечатлением «да, сообщите» (сделанного очень твердо), равно и зная, что хор назначен уже к исполнению, — я решился предупредить графа А. Д. от ясно обозначившейся будущей ошибки. — С. С.) такого назначения, как и о всем вышеизложенном, сохраняя тайну сего рапорта, считаю долгом без промедления представить на благоусмотрение Вашего Сиятельства.

Управляющий Капеллою Степан Смоленский.

Такой текст был послан во время отсутствия графа на рыбной ловле. В пятницу он вернулся, хотя накануне и была его депеша ко мне, чтобы я был опять в Александрии. Признаюсь Вам, я послал этот рапорт с самым чистым и искренним желанием предупредить графа от ошибки, на которую так ясно указал Государь, и только и мог указать не иначе как после доклада графа А. Д. Ибо откуда мог узнать Государь об «иностранном хоре, предназначенном к исполнению», как не со слов самого графа?

Вчера я Вам писал о моем изумлении и недоумении, что граф А. Д. все-таки приказал готовить хор Лотти. Сегодня эта неосторожность его поправлена, так как из Ульянки уже передано распоряжение о замене другим сочинением.

Тороплюсь на поезд. О певчих — справлюсь.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 25 июня 1903

Сейчас получил письмо от 23 июня. Предшествовавшего же не получил. Радуюсь невыразимо. Дмитрий выехал¹. Потерпите.

С. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 88—89. Телеграмма

1. С прибытием Д. С. Шереметева в Петербург Сергей Дмитриевич рассчитывал устроить аудиенцию для Смоленского у государя.

Смоленский — Шереметеву

[Петербург, 25 июня 1903]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня одновременно получил Вашу дорогую мне депешу и совершенно уже странный, даже и непонятный приказ по Капелле графа А. Д. Вот текст «приказа»:

В воскресенье, 22 сего июня, в Александрии, в Высочайшем присутствии вся литургия была пропета наизусть, причем пение отличалось стройностью, что, в свою очередь, свидетельствует о том старании, с каким была разучена намеченная на этот день программа. Считаю поэтому приятным долгом выразить регенту Толстякову, а также всему хору мою признательность за то усердие, с каким они относятся к своим служебным обязанностям.

Воздавая должное исполнителям, считаю необходимым в то же время указать Управляющему Действительному Статскому Советнику Смоленскому, что подобные опыты всегда рискованны, тем более в Высочайшем присутствии, а потому Управляющий обязан был предварительно испросить на то моего разрешения. На основании вышесказанного объявляю Управляющему... выговор за самовольное распоряжение помимо моего ведома.

Вот какие дела! Я забыл в рапорте от 15 июня упомянуть, что не только 22-го, но и 15 июня Капелла пела перед Государем наизусть, что показывает конечно отличную подготовку к данной службе. Государь обратил на это внимание, похвалил и сказал, что исполнение наизусть, помимо выигрыша в ансамбле, показывает тщательную подготовку и даже с внешней, наружной стороны производит хорошее впечатление.

Вот как горько делаться самому дурным и недобрым под давлением надобности в самозащите. Зачем было делать мне выговор? Депешами из Бьерке или из

Фридрихсгама [Фридрихсхольма] указано графом быть мне за службами. Внезапное возвращение (вероятно под впечатлением и моего рапорта) было ознаменовано рядом грубых выговоров по телефону и отправкою меня в Гатчину... Так как я был командирован и потому не мог видеть графа, то мною было поручено регенту непременно спросить разрешение графа петь без нот. Это и было исполнено перед литургиею, согласие графа получено, таким образом повод «без моего ведома» падает сам собою. 15 июня за отсутствием графа, как и по праву Управляющего, я не был обязан спрашивать разрешения как автономный начальник.

Теперь подумываю представить дополнение к моему рапорту о том, как Государь похвалил пение наизусть, а по поводу приказа, который, конечно, должен быть оглашен, так как в нем выражена признательность хору, — представить рапорт о том, что я в качестве Управляющего Капеллою действительно приложил много труда для пения служб 15-го и 22-го и действительно руководил г. Толстяковым; что ввиду отсутствия графа, которого я уже более трех недель не видел в глаза, ввиду неожиданности его прибытия и моего командирования в Гатчину и, наконец, ввиду того, что мои действия, в их результатах, вызвали только одобрения и Государя и самого графа, я считаю полученный выговор незаслуженным. Обращаясь затем к чисто дисциплинарной стороне приказа, как только вредной для умаления моего авторитета в Капелле, я прошу отменить приказ, в случае же неуважения моей просьбы представить настоящее дело на благоусмотрение Министра.

Вот и прошу теперь Вашего совета, поступить так или еще потерпеть. Действительный Статский Советник Смоленский глубоко и незаслуженно скорблен; сердечно любящий Вас Степан Васильевич Смоленский — грустно смотреть на такую в сущности детскую и невредную выходку, продиктованную досадою... Как быть? Мосолова нет, Фредерикса не поймал. Могу ли ждать Вашей по сему депеши?

Вашим и Вам — поклон. Я совершенно спокоен душою и не скорблю.

Ваш Ст. Смоленский.

Пишу наскоро — в часовую побывку в Петербурге, поэтому извиняюсь в неисправности.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 82—83. На бланке управляющего Капеллою

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 27 июня 1903

Советую дождаться возвращения Дмитрия, который дежурный второго, тем более 29-го. Возможен разговор. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 91. Телеграмма

А. Д. Шереметев — Смоленскому

Ульянка, 29 июня 1903

Граф просит Степана Васильевича быть сегодня на службе в Петро-Павловском соборе, а в Александрии — граф будет сам¹.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 90. Телефонограмма за подписью П. Т. Попова

1. В этот день на службе в Александрии присутствовал государь (см. письмо к Волковой от 29 июня).

Смоленский — ШереметевуПетергоф, [до 3 июля 1903]¹

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Определенных перемен в положении нет, но признаки перемены и возможной неожиданности заставляют меня писать Вам.

Граф Александр Дмитриевич очевидно очень озабочен сам положением дела, действительно вставшего, прекратившего деятельность Капеллы вследствие беспорядочных распоряжений в Петергоф по телефону из Ульянки. На вчера и третьего дня он призывал к себе моего помощника Кленовского (бывшего до того директором Музыкального Общества в Тифлисе, человека очень умного и осторожного) и советовался с ним, как быть с Капеллой? Конечно, мотивы, заставившие будто бы графа взять все в свои руки — те же самые, то есть моя вялость, медленность, бездарность и проч. Конечно, отсутствовало при этом признание всей неудачи бывших личных воздействий графа на Капеллу. Только раз он проговорился, что «не ходить же мне самому на спектакли и вести все самому».

Кленовский был так осторожен, что уклонился от ответа, сказав, что он, как ведающий отдельную часть, не в курсе дела и потому подумает об ответе.

С другой стороны, боязнь какой-либо возможной неудачи в первую же службу у Государя дает возможность ожидать, что вся беда совершенно незаслуженно обрушится на меня, действительно отстраненного от дел, ибо все ведется безусловно помимо меня. Мои сослуживцы, приведенные в какое-то отчаяние беспорядком последних двух недель (с 11 мая за полковыми праздниками мы ни разу не пели у Государя), видя остановку в хоровом деле, начавшую уже шататься дисциплину, уговаривают меня явиться к Министру и, представив ему положение дела, просить его о приведении отношений в надлежащий законный порядок. Мне говорят, и я верю тому, что опять все воспрянет духом и в неделю выправится до прежнего положения.

Но я решил в глубине души не делать такого шага без Вашего совета и позволения, почему и пишу Вам. Что, в самом деле, кроме ультиматума или

в крайнем случае насильственного и обидного для нас обоих размежевания, может сделать Министр? Зачем мне ставить себя в положение жалующегося и ставящего ультиматумы или просящего вступить в наши дела? Зачем мне еще более вооружать против себя графа А. Д., ныне, как кажется, начинающего понимать всю неудачу своих предположений и всю беспомощность своего одиночества? Наконец, зачем рисковать Капелле? и зачем рисковать мне самому и притом решительно всем не только будущим, но и прошлым?

Такой ряд сомнений останавливает меня от действия, которое только и могу назвать грубым, казенным, пожалуй, и очень опасным, даже и могущим иметь некоторую отсрочку. Но положение все-таки невыносимо тяжелое у всех. Капелла не знает, что ей делать, что она будет петь, как, например, в пятницу 23-го все ждали во время спевки распоряжений на воскресенье, ибо получена была только отмена распоряжений, данных в четверг. Смирнов тяжело болен неврастенией и не ходит в Капеллу, молодые регенты опустили руки, как непривыкшие к неожиданностям и крайне резким строгостям. Что будет в это воскресенье — Бог знает, так как «шпажники» начинают поговаривать и перешептываться несдержанно и недовольно.

Очень бы Вы порадовали меня, высокоуважаемый граф, депешою в Английский дворец. Я стараюсь всей душой уберечь графа А. Д., но что же мне делать, если он толкует все только по-своему и только по-прежнему? Как мне сказать ему истинно доброе слово? Но вместе и как бы мне самому уцелеть?

Графине и Вам кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 84—85 об.

1. *Примечание Смоленского:* «отправляю письмо сам, потихоньку от всех».

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 3 июля 1903¹

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вчера, в день дежурства графа Дмитрия Сергеевича, я виделся с ним два раза, подробно говорил обо всем и спешу благодарить Вас за участие во мне, весьма взволнованном и весьма расстроенном вследствие ухудшения всего хода дела и целого ряда воздействий на Капеллу из Ульяновки. Наше свидание совпало со временем только что полученных распоряжений, приведших меня и товарищей в самое негодующее отчаяние, именно по бесцеремонной бестолочи распоряжений. Мы работали 3 дня, как вдруг слышим об отмене программы и назначении на воскресенье совсем новых вещей, за которыми надо еще ехать в санктпетербургские магазины...

В силу таких впечатлений я упросил графа Дмитрия Сергеевича прямо доложить Государю, если к тому представится удобный случай, о полном отчаянии моем и моих сослуживцев... Поздняя наша 2-я беседа, по возвращении графа из Александрии, выяснила, что удобного случая не представилось и что, пожалуй, сама судьба не допустила внести в дело ошибку в «выдерживании усвоенного направления».

Пишу Вам по пословице: «утро вечера мудренее», то есть пораздумав за ночь о всякой суете и назидательности всякого испытания, о судьбе всяких дел, хотя бы и правых, и о случайностях, влекущих за собою неожиданные и осложненные решения.

Решаю свое дело так: 1) поводов к нападкам на меня у графа А. Д. не могло быть, кроме явившихся в его воображении. Подавать поводы к констатированию в чем-либо моей неисправности нет нужды. Пусть останется пока неуютность. 2) Служу я прежде всего дело серьезному, а не целям угодливым или самовыставляющим; затем — служу в обществе моих учеников и товарищей, где я, как отец и старший брат, должен подавать пример достойного мужества и дисциплины. 3) Так как градус обостренных отношений и дальность области, куда забрался граф А. Д., представляются невозможными для него к миру и возвращению к нормальному порядку, то и нечего пытаться, в связи с чертами его характера, ускорять неизбежную развязку-катастрофу, особенно же мне — подчиненному, слабому и неумелому в борьбе такого рода. 4) Свет — не без добрых и справедливых людей, а правда — все-таки есть правда и сила. 5) Терпеть можно и должно, ибо могло быть хуже настоящего и посылаются свыше и не такие испытания, а гораздо большие, в чем, может быть, виноват и я сам, не сумевший разобраться в положении своем и в несознаваемых своих ошибках, в своей греховной и ненадобной гордости. 6) Что Бог даст, — то и будет; что устроится мимо меня, — то и хорошо.

Сердечно Вас благодарил я много раз и с совершенно растроганным сердцем благодарю и сейчас. Совершенно верю и в будущее Ваше во мне участие, как вновь прошу и теперь не отказать в совете на ближайшее будущее.

5-го июля, когда Вы будете держать в руках это письмо, мысленно поздравляю Вас с днем ангела, а семью Вашу с семейным праздником. Дай Бог Вам всякую радость, душевный мир, доброе здоровье и тихую радость в Вашей семье, в детях и в малых внуках.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 2. На бланке управляющего Капеллою

1. Это письмо — первое из включенных С. Д. Шереметевым в переплетенную подборку писем Смоленского, озаглавленную «Дело о придворной интриге против Управляющего Царскою Певческою капеллою Степана Васильевича Смоленского», с датою «1903 г.» (РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933). Подборке предшествует приводимое ниже вступление, написанное графом от руки. Нумерация в этой подборке идет не по листам, а по докумен-

там — всего 46 единиц, из которых три последних — письма учеников Смоленского, пересланные графу (приводятся далее). Под № 1 помещен следующий текст Шереметева:

Потомству да будет известно переживаемое нами тяжкое и безотрадное время, даже в мелких, но характерных подробностях отдельных инцидентов, по которым можно с особенною ясностью судить об общем. Сим, прилагаемым при сем «делом» — заканчивается девятилетие (1894—1903), и мы вступаем в десятое лето царствования.

Дело это с угрожающею наглядностью обличает современное положение Российского хозяйства, хотя бы в его домашнем отделе.

Мы видим и чувствуем действующих лиц, и нет надобности входить в ближайшие разъяснения. Дело говорит за себя. Торжество Кривды явное и понятное, ибо она господствует теперь всюду, вместе с бездушием и себялюбием...

Откуда ж мы теперь почерпнем силы доверия? как сберечь чувство уважения, без которого нелегко? где уверенность в завтрашнем дне? где спокойное доверие к сказанному слову?

Все это отошло в далекое прошлое и представляется почти легендарным. В нас вытравлено сознание былого — столь недавно еще озарявшего Россию светом мудрого и честного взгляда!..

При переживаемых условиях возможно ли сплочение сил положительных, даровитых и честных — лучшей опоры государства и престола? Возможно ли торжество родных начал над ходульной ложью пустозвонных фраз?..

Ныне почва стала песчаная. Сколько ни орошай ее всевозможными средствами современной техники, она в себе удержать ничего не в состоянии. Все уходит в этот песок, на который твердою ногою и вступить невозможно. И что всего обиднее, что все это бессилие создано искусственно, что оно не органическое, а случайное.

Что будет дальше — до чего доживем более, Бог весть, — но нам, современникам, видящим дело — всем, знающим причины его и способы к возврату на «светлый» путь, — нам тяжело сознание переживаемого нравственного унижения — незаслуженного и обидного недоверия, как бы прикрываемого поверхностностью и безразличием...

16 августа 1903. Мих[айловское]

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 5 июля 1903

Сердечно благодарю письма. Еще немного потерпите до возвращения Мосолова¹. Надеюсь быть Петербурге 22-го. Мысленно с Вами. Сергей Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 92—93. Телеграмма

1. А. А. Мосолов, как и другие высшие придворные чины, находился вместе с императорской семьей в Сарове на торжествах прославления св. Серафима.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 7—8 июля 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня отчасти по требованию товарищей, отчасти по своему оскорбленному чувству я отправил утром рапорт графу Александру Дмитриевичу, помеченный мною 6 июля № 826¹. Конечно, этот документ изложен вполне безукоризненно в смысле сдержанности и совершенной вежливости, но истинно-жестoko в своем содержании.

Дело в том, что на 6 июля была назначена к исполнению Херувимская соч[инения] Александра Дмитриевича. Он сам ее репетировал, сам составил программу и сам проверил последнюю и одобрил к напечатанию. Но по напечатании программы оказалось (в субботу вечером), что граф сам упустил из программы обозначение своего сочинения «№ 3» и заподозрил в этом упущении почему-то меня, отлично зная, что печатание программ идет (особенно теперь) вполне без моего ведома. По этому случаю в субботу вечером по телефону я был обруган в такой степени грубо и бесцеремонно, что сейчас же собрал товарищей для совещания по вопросу, как бы дать понять графу, что есть конец и нашему терпению.

Поэтому я выработал план бумаги в таких положениях:

1) По вступлении была изложена буквально почти вся беседа, продолжавшаяся не более 1—1 1/2 минуты, в подлинных выражениях графа; выражения неудовольствия были мотивированы так: «от подобных упущений, пожалуй, сочинения Львова будут называться сочинениями Турчанинова, — не будет в точности известно, какой №, 3-й или 4-й, «Херувимской» моего сочинения будет исполняться, — Государь может быть введен в заблуждение о том, что именно предположено к исполнению».

На приказание принять меры к улучшению корректности программы (а они до сих пор были вполне безукоризненны) я сказал, что трудно что-либо сделать, ибо дается, по позднему получению (то есть от графа Александра Дмитриевича) оригинала, для печатания лишь *одна ночь*, а типография в Петербурге. На это последовал ответ, помещенный в рапорте, на случай, если дело пойдет дальше: «Ну, что же? Слышали, поняли что ли, о чем я говорил? мне нет дела до того, насколько трудноисполнимы мои приказания; разговор окончен».

2) Изложено политично, что неудовольствие может быть принято мною лишь в качестве передаточной инстанции, почему личный характер такой резкости был отведен по адресу другого лица, то есть делопроизводителя.

3) Доказана несомненная и безусловная ошибка самого графа, проглядевшего отсутствие № в программе; доказана свидетелями и документами.

4) Просятся указания, как передать или не будет ли отменено выражение неудовольствия, то есть делопроизводителю?

Пишу Вам в 11 ч. вечера, по получении от секретаря графа по телефону сообщения: «ответа на рапорт не будет». Я ждал именно такой ответ, так как в сущности для графа А. Д. по оригинальности и резкости такого случая иной оборот дела невозможен. Мы все будем глубоко удовлетворены, что наконец-то будет понята в Ульянке невозможность такого обращения с подчиненными, вполне вредная для дела и нетерпимая в будущем.

Сердечно благодарю Вас за депешу. Я действительно жду Мосолова «как из печи пирога». Уж очень наболело на душе, и не у меня одного. Сердечно верю (и бодрит эта вера мои слабеющие уже силы), что правда и дело несомненно возьмут все. Весь вопрос во времени: теперь или в далеком, даже и очень отдаленном, почти историческом будущем.

Вашим и Вам шлю сердечный привет.

Ваш Ст. Смоленский.

Продолжаю утром 8-го, в день Казанской Божией Матери — великого торжества в родной мне Казани. Продолжаю и по пословице «утро вечера мудренее», так как пришедший сон, давно не бывавший, успокоил и укрепил, привел с собою благодушие и способность думать о другом, более интересном, чем служебные преткновения.

Вы знаете, что мое сердце особенно сочувствует всякому искреннему религиозному чувству, хотя бы и выраженному своеобразно, даже и в противоречие существующей системе. Я говорю о старообрядцах, из мира которых этими днями я получил самые обидные и досадные известия по поводу издевательств над лже-епископом Картушиным² со стороны московской полиции.

Старообрядчество мне представляется тою уцелевшею и хорошо дисциплинированную старинною Русью, которой, при умелом и деликатно-внимательном с нею обращении, несомненно придется принести нашей России огромные услуги в будущем. Не надо подтасовывать ряд заключений логических и чиновничьих, чтобы не видеть самые возмутительные проделки власть имущих в области полиции и духовенства над самыми простыми и законными правами всякого человека. Не надо много хитрить и в простых размышлениях о том, как глубоко павшая, изолгавшаяся и проворовавшаяся наша администрация в области полиции и духовенства все еще продолжает, с истинною слепотою для будущего, оскорблять самую дорогую, истово-русскую, умную и долготерпеливую часть верноподданных. Не надо и обольщаться в нынешние тяжчайшие и грозные времена, что выходки какого-нибудь г. Трепова не откликнутся в тысячах оскорбленных сердец, без всякой нужды отталкиваемых от Государя силою Его наиподлейше эксплуатируемого имени³. Нетрудно объяснить, откуда появилось у нас 25 миллионов штунды, армия эксплуататоров-чужеземцев, армия смутьянов в фабричном мире, грустное равнодушие к родному и церковному в «интеллигентном» якобы мире более учившихся людей, армия немцев, столь было притихшая на время, армия всяких воров

и грабителей во всех видах, от грубого околоточного и кончая властными министрами. Нетрудно представить и наследие от деятельности и развития успехов этих клик среди уже обнищавшего народа. Смотрю на будущее — отдаленное пламенно любимой России с каким-то трепетным ужасом и удивляюсь непризыву к отвращению грозы усилиями массы трезвых, дисциплинированных вполне русских людей, коих, благодаря Бога, еще очень много на Руси. Сколько у нас умных и честных, прямых дворян — степняков! Сколько не уступающих им образованных людей! Сколько верующих истово-русских старообрядцев! Сколько у нас художников! Какая сила, не пуская их к деятельности, даже давит эту будущую отраду России? Как бы вострепелась и удесятерилась эта отрада, если бы растерявшаяся и проворовавшаяся клика вдруг увидела приглашенную к делу эту святую, честную силу? Пожалуй, даже и образумилась бы часть самой клики, в которой не без людей умных и добрых, но с застывшей совестью и с развитыми самоуверенностями и самоослеплениями? А как бы это все не мудрено, как легко было бы начать это вразумление и покаяние! Как мирно и много дешевле были бы обеспечены на десятки лет эти огромные и здоровые, кроткие и истинно-народные силы — силы прекрасные, душевные, богомольные и человеколюбивые! Сколько бы избегнуто было бумажной и вицмундирной лжи и издевательства над терпением людей! Простите, не кляните меня за такие нечаянно вырвавшиеся, но искренние слова.

Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 3

1. В сформированной Смоленским подборке писем к нему Шереметева (в РНБ) находится упоминаемый в письме рапорт от 6 июля 1903 (на бланке Министерства Императорского двора). Обсуждение этого документа см. также в переписке Смоленского с Волковой.

Его Сиятельству Господину исправляющему должность
Начальника Придворной Капеллы

Рапорт

В субботу, 5 июля, в исходе 10-го часа вечера я получил лично от Вашего Сиятельства по телефону выражения Вашего неудовольствия из-за вкравшейся будто бы неисправности в напечатанной программе песнопений, назначенных к исполнению за службу 6 июля, и вместе с тем предложение Вашего Сиятельства принять меры к точному исполнению даваемых Вами по сему распоряжений. В качестве неисправности программы мне был указан только один пункт: отсутствие означения № Херувимской Вашего сочинения, и затем, в дальнейшей мотивировке возможных в будущем неисправностей было поставлено на вид, что

«от подобных упущений, пожалуй, сочинения Львова будут называться в программах сочинениями Турчанинова, что не будет в точности известно, какой №, 3-й или 4-й, Херувимской Вашего сочинения будет исполняться, что неисправность программ может привести Государя Императора к неточному представлению о том, что именно предположено к исполнению, и что, наконец, мне указывается принятие мер к точной корректуре указанных программ».

Поняв сразу происшедшее недоразумение, я, стоя за телефоном и не имея в руках ни рукописного, ни печатного экземпляра программы, решился лишь доложить Вашему Сиятельству, что корректирование программ в Капелле лично г. делопроизводителем будет затруднено как по крайне малому времени, имеющемуся для напечатания программ (в данном случае была одна ночь), так и по нахождении типографии в С.-Петербурге. В ответ на это Ваше Сиятельство изволили выразиться приблизительно так: «ну, что же? слышали и поняли, что ли, что я говорил? мне нет дела до того, насколько трудноисполнимы мои приказания! разговор кончен». Так как телефонное сообщение затем Вашим сиятельством было действительно прекращено, то нахожусь вынужденным настоящим рапортом доложить о нижеследующем.

Заботы об исправном напечатании и о доставке программ, как канцелярская и исполнительная операции, составляют несомненно обязанность только г. делопроизводителя, несущего ответственность и перед Вашим Сиятельством как Исправляющим должность Начальника, и перед мною как Управляющим Придворною Капеллою. По порядку, установленному Вашим Сиятельством в последние месяцы, непосредственные Ваши распоряжения по части программ, всегда минуя меня, направлялись прямо в Канцелярию. Принимая в точности и именно в этом порядке выражения Вашего неудовольствия по поводу программы на 6 июля, равно и по поводу будущей неисправности программ, я был вынужден войти в обсуждение подробностей дела, шедшего в последние месяцы помимо моего прямого в нем участия. По подробностям данного случая для меня представилась бесспорною полная исправность напечатанной программы на 6 июля, вполне согласной с данным от Вашего Сиятельства оригиналом, в котором инкриминируемого № Херувимской Вашего сочинения безусловно не было. Посему и пользуясь отлучкою г. Федорова из Петергофа с Вашего разрешения, позволяю себе ходатайствовать перед Вашим Сиятельством о некоторой отсрочке выражения через меня Вашего неудовольствия делопроизводителю Придворной Капеллы г. Федорову.

Основанием к такому моему ходатайству служит прежде всего постоянная и точная исполнительность г. Федорова в печатании программ, наблюдаемая мною уже третий год, а затем и его безусловная невинность ни в чем по случаю программы 6 июля. Затем я имею решимость доложить Вашему Сиятельству, что Ваше указание о пропуске будто № Херувимской Вашего сочинения представляется в данном случае простым недоразумением. В двух случаях когда Ваше Сиятельство изволили вырабатывать и сообщать в Капеллу программу на 6 июля, Вам не угодно было ни разу потребовать указания № Херувимской Ва-

шего сочинения. Эти оба случая имели место: 1) при передаче от Вас программы по телефону в Канцелярию Капеллы 2 июля в 3 1/2 часа дня (причем из Капеллы принимавшим телефонное сообщение было спрошено именно о недостававшем № Херувимской и получено в ответ, что Вашим Сиятельством № Вашего сочинения не указано) и 2) 4 июля на спевке в Капелле под Вашим управлением, когда прилагаемый при сем подлинный экземпляр программы был, после окончательного Вашего просмотра, немедленно затем отправлен для отпечатания.

По этим соображениям смею надеяться, что Ваше Сиятельство изволите справедливо признать мои действия достаточно осторожными в отношении к достоинству подчиненного мне лица и не откажете письменно сообщить о последующих Ваших распоряжениях по настоящему случаю.

Управляющий Придворною Капеллою Ст. Смоленский.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 101—102

1. «Аже-епископ Картушин» — архиепископ Московский и всея России Древле-православной Церкви Христовой Иоанн (Иустин Авксентьевич Картушин; 1837—1915; архиепископ с 1898). В 1900 был выслан в Тулу под надзор полиции, в 1903 ему было предложено избрать место жительства, исключая Москву с губернией.

Как уже упоминалось выше, 30 июня Смоленский получил от своего близкого друга — московского старообрядца А. П. Богатенко письмо, где повествовалось о грубом отношении к архиепископу со стороны московской и тульской церковной власти и полиции.

2. Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906) — в 1896—1904 московский обер-полицмейстер, впоследствии петербургский генерал-губернатор и министр внутренних дел. В период развертывания первой русской революции применял жесткие меры для подавления беспорядков и претендовал на роль диктатора.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 12 июля 1903

Высокоуважаемый Граф Сергей Дмитриевич!

Пишу Вам после свидания с А. А. Мосоловым и не без связи с ходом моих мыслей, изложенных в письме после свидания с графом Дмитрием Сергеевичем 2 июля. На сегодня пришлось признать обязательность подчинения некоторой доле неизбежной кошкарщины¹, так как при всей сердечности Мосолова и при всей плачевности, частью же, пожалуй, и безотрадности моего положения, все же нельзя было не вникнуть в подробности и в значение «формы» отношений.

Я рассказал Мосолову все. Он ответил мне так: разговор наш, конечно, частный, так как не в функциях моей службы официально передавать Мини-

стру жалобы словесные, да и разговор имеет не форму жалобы, а дружеского совета: как быть и что делать?

Я нахожу, сказал Мосолов, что подробности отношений графа Александра Дмитриевича получают многозначительность только в своей совокупности, указывающей вообще, что дело выбито из законной колеи, то есть и в отношении к Капелле собственно, и в личных отношениях к служащим в ней, в частности и к вам (то есть мне). Но на стороне графа есть огромный плюс — его положение начальника как лица, облеченного доверием и полномочиями, хотя бы и толкуемыми им произвольно и пространнее должного; на вашей стороне, для начала атаки, есть огромный минус, то есть ваше положение подчиненного, и притом указывающего высшему начальству неудовлетворительное ведение дела непосредственным начальником, то есть указывая высшему его небдительность.

С другой стороны, так как мы в Министерстве Двора, то дело может либо сразу чрезвычайно усложниться частичным вмешательством Высочайшей сферы, либо тем же путем неожиданно упроститься, если барометр отношений графа Александра Дмитриевича даст вполне точные и невыгодные для него указания. Тогда и министерские сферы, конечно, только и пойдут за обнаружившейся погодой. Не начиная лично ничего (то есть я), всего лучше предоставить это начало другим, сохраняя страдательное положение, хотя и тяжелое, но для дела самое верное и выгодное, выгодное и для Министерства, вовремя поспеющего распутать мудреный, хотя и ясный каждому уму узел. Полагаю, что можно будет устроить ревизию Капеллы, которая сама собою констатирует факты, как бы помимо желания сторон, и тем избежится для вас упрек в жалобе. Я (то есть Мосолов) продумаю это весьма щекотливое дело и сообщу о чем будет надобно по возвращении из Сарова.

А я, Смоленский, рассуждаю так: будь, что будет, — на все воля Божия! Суждено терпеть — терпи, суждено уйти — уходи. Покой моей совести испытал третьего дня, когда 2-е уже свидание с графом Александром Дмитриевичем вторично ограничилось абсолютным обоюдным молчанием, пожалуй, на взгляд одних выразительно-красноречивым, а на мой взгляд — весьма жалким и малодостойным нас обоих, хотя с моей стороны была готова самая искренняя речь, вполне кроткая и деловая.

Но и жестоко же мстит, по-своему, граф Александр Дмитриевич тем, кто понял его музыкальную компетентность! В остальном в Капелле все по-старому, то же *diminuendo*, то же уныние, то же постоянное ожидание постоянных перемен и выговоров по телефону.

Жду Вас, добрый граф, к 22-му с сущим нетерпением отвести душу. Ума хватит не показать того на людях, а повидать Вас до или после Александрии очень надобно. Могу ждать и в Капелле, даже если и опять случится какой-либо неожиданный пассаж.

Вам и Вашим — мой привет.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Жена моя — совершенно исстрадалась, как и товарищи, что угнетает меня, признаться, более, чем привычные уже удаления от дел в Капелле.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 4. На бланке управляющего Капеллой

1. «Кошкарровщиной» Смоленский называл всякие проявления необузданного самодурства. Выражение происходит от имени пензенского помещика И. Ф. Кошкарлова — хозяина знаменитого рогового оркестра и жестокого крепостника.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 15 июля 1903, 8 часов вечера

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Искренно благодарю Вас за депешу, столь бодрящую и утверждающую правильность хода дела¹. Действительно инициатива наступления из Министерства — самое корректное начало, столь ожидаемое всеми в Капелле.

Очень жалею я, что успел узнать так поздно о пребывании в Петербурге графа Дмитрия Сергеевича. Сейчас, за его предстоящим отъездом, нет физической возможности слетать в Петербург и повидать его.

У нас — «все то же» — то же уныние и даже растерянность. Думали было отдохнуть за время отъезда в Саров и отлучки графа на рыбную ловлю, — но последняя отменена почему-то, и нет передышки от бестолочи распоряжений из Ульяновки, постоянно новых, постоянно без малейшего спроса о возможности и удобствах исполнения распоряжений.

Нетрудно Вам поэтому представить, как нетерпеливо ждем мы и Вашего приезда, чтобы уж передохнуть на живом обнадеживающем слове. Очень прошу Вас, добрый граф, назначить мне депешью вне Александрии (куда, несмотря на повестки Двора, мне входа нет за постоянным присутствием там графа Александра Дмитриевича) — день и час нашего свидания. 22-го в церкви Александрии я, вероятно, не буду, повидать же Вас очень, очень будет мне радостно.

Примите мой искренний привет Вам и графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 86—86 об. На бланке управляющего Капеллой

1. Эта депеша не сохранилась.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 22 июля 1903

С.-Петербург. Фонтанка 34. Графу Сергию Дмитриевичу Шереметеву

Сейчас незадолго начала службы известным лицом лично предложено удалиться из дворца словами: а вам здесь нечего делать. Предложение немедленно исполнено¹. Очень опечален не успев повидать Вас. Очень скорблю, жду сегодня совета, свидания. С.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 96. Копия телеграммы

1. Подробное описание этого инцидента см. в письме к Волковой от 2 августа 1903.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 23 июля 1903

Дорогой Степан Васильевич.

С великим нетерпением ожидаю разъяснения Вашей телеграммы, сильно меня заинтересовавшей.

При сем прилагаю полученную мною бумагу от совершенно неизвестных лиц¹. Нахожусь, однако, в большом недоумении, в поисках о стройном и умелом пении в нашей церкви. Прошлогодние певчие были недурны осенью, к зиме стали хуже, постом совершенно были плохи, а на страстной и светлой — совершенно невозможны! Безголосые, службы не знающие, случайно приходящие и отсутствующие когда нужно, при полном отсутствии «направляющего», они навели на меня глубокую грусть и уныние и, можно сказать, испортили впечатление Страстной недели! Неужели моя мечта иметь хотя бы приличное пение — так невозможна, а ведь какое это сильное средство для подъема духа и для воодушевления в наш бездушный, не музыкальный и не поэтический век!..

С нетерпением ожидаю от Вас известий.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 98—98 об.

1. К письму приложено заявление регента духовного хора (в составе семи человек) А. Н. Шатохина о желании петь в домово́й церкви графа Шереметева в Петербурге.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 26 июля [1903]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Пишу в Вашем доме, через 10 минут после свидания с Мосоловым, передавая Вам самые свежие, самые отчасти неопределенные впечатления. Мосолов вызвал меня депешью, мотивированною, после моего к нему письма, словами «если желаете переговорить». Я рассказал ему точно краткую сцену удаления меня из Петергофского дворца и услышал примерно такие слова: «Конечно, очень жаль, что отношения обострились в такой мере, что дальнейшая ваша служба с графом Ш. прямо невозможна. Факты, вами приводимые, конечно, весьма выразительны и прямо совпадают с тою репутациею, которая за графом установилась давно и прочно. Но есть и другая сторона в этом деле, не начатом официально ни вами, ни графом. Несмотря на всю вашу правоту в этом деле, ваша жалоба на начальника была бы орудием обоюдоострым, так как у графа Ш. есть очень сильная поддержка в виде вашего бывшего московского начальства¹. С другой стороны, неправы и вы в том, что с самого начала вашей службы в Капелле не давали графу Ш. никаких функций для проявления его самостоятельной деятельности, принудив его, хотя бы и недостаточною корректностью, взять наконец дело в свои руки, тем более и потому, что по уверениям графа дело улучшения Капеллы могло бы идти гораздо скорее. Все наши разговоры сейчас, как и прежде, имеют совершенно частный характер, и я совершенно воздержусь дать вам какой-либо совет или указания к дальнейшему».

На мои слова, что я, не находя заступы в Министерстве, видя прямой упадок дела и всеобщее недоумение по поводу поведения графа Александра Дмитриевича, нахожусь в полном недоумении, что же предпринять в защиту себя и дела, Мосолов сказал: «подождите еще; ревизия, о которой я вам говорил, совершенно невозможна, так как дело идет не о деньгах, а лишь о неладах между двумя неразмежеванными лицами, причем официально эти нелады еще не заявлены. Может быть, произойдет что-либо такое, что понудит Министерство вступить в это дело, — тогда и разговор другой, не вами начатый...»

«В таком случае, — сказал я Мосолову, — я собираю свои последние силы и потерплю еще, надеясь, что Министерство, не зная официально, но состоя из людей, поймет, как трудно и обидно терпеть и оставаться в беззащитном и бессрочно угнетаемом положении. Я жаловаться не буду и надеюсь, что Министерство со временем даст цену этой моей сдержанности».

«Это будет с вашей стороны самое лучшее и самое благоразумное», — сказал Мосолов.

На этом беседа, длившаяся около 10—15 минут, кончилась. Признаюсь Вам, добрый граф, я думал, что содержание этой беседы будет сегодня более

решительное. Как обухом ударила меня давняя и неумолимая месть Ширинского-Шихматова (и Победоносцева — как кажется!), очевидно не пожалевшего красок в таком удобном для него случае, как Саров и мои нелады с Александром Дмитриевичем². Но и в эту минуту, конечно, очень грустную, все же не падаю духом, так как и не такое горе бывает, и не такие обиды переносятся, а гораздо большие. В этом сердечном порыве я, давно простивший Александра Дмитриевича, давно молящийся о мире души его, нахожу и свой душевный мир, свое посильное утешение, твердо веруя, что правда возьмет свое и не может не прийти тот день, может быть и близкий, когда устыдится от дел своих столь недобрый ко мне Александр Дмитриевич.

Пишу Вам после похорон Смирнова, тужко болевшего и сегодня погребенного в Новодевичьем монастыре³. Вот новая тяжелая потеря Капеллы, и притом в такие трудные дни!

Бог милостив, однако! В моем беспокойном, встревоженном сердце все же есть крепкая вера в лучшее будущее Капеллы. Благодарю Вас за бывшую радость свидания с Вами. Горячо желаю Вам счастливого пути и доброго здоровья.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 5

1. «Бывшее московское начальство» Смоленского — князь А. А. Ширинский-Шихматов.

2. См. об этом в дальнейших письмах и в переписке с Волковой; Победоносцев к «капелльской истории» не был, по всей видимости, причастен.

3. Смирнов Степан Александрович (1847—1903) — регент (ученик Ф. А. Багрещова); помощник учителя (с 1867), учитель пения в Придворной капелле (с 1878); автор духовно-музыкальных сочинений. В Воспоминаниях Смоленский отдает должное работоспособности и прилежанию Смирнова.

В Дневнике 4 читаем:

Утром... скончался в Придворном госпитале Ст. А. Смирнов, с которым у меня не было за время нашей службы и косога слова. Ст. А. болел более двух месяцев раком пищевода, осложненным брюшною водянкою. Несомненно для меня, что бестолковые натиски III³, изводившие покойного, весьма усилили развитие болезни... Степан Александрович, сколько я о нем составил представление, был самый прилежный, исправный работник, весьма мало образованный и весьма мало одаренный, бравший лишь точностью и постоянством в труде. Он был прекрасный, добрый семьянин, умный, тактичный товарищ, кроткий, но требовательный регент... (л. 211).

А. Д. Шереметев — Смоленскому

4 августа 1903

Из канцелярии Его Сиятельства

Г-на И[сполняющего] д[олжность] Начальника Придворной Капеллы

Доложить Степану Васильевичу, что впредь до отдачи приказа по Министерству Императорского Двора об увольнении в отпуск Г-на И. д. Начальника Капеллы и до отдачи о том приказа по Капелле Его Сиятельство изволит быть Начальником Капеллы¹.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 97. Телефонограмма

1. См. следующее письмо.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 8 августа 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Не знаю, по неполучению от Вас известий, дошло ли до Вас последнее мое письмо, писанное в Вашем доме сейчас же по свидании с Мосоловым. Это было 25 июля. Через несколько дней, именно 30-го, я, обсудив с товарищами положение дела, получившего уже весьма серьезное и тревожное направление, явился к Мосолову вновь и просил его сообщить Министру мою просьбу принять меня по службе для выслушания доклада о Капелле¹. Я мотивировал необходимость этого доклада тем, что граф А. Д. прервал со мною всякие сообщения, между тем ответственность моя прежняя и полная, а продолжение дела приняло характер для Капеллы унижительный и нетерпимый более. Мосолов обещал доложить и просил меня ко дню приезда Министра, то есть к 1 августа, письменно, в виде конспекта, изложить суть доклада. 1 августа эта «суть» была сообщена в самой краткой форме, и Министр передал мне через Мосолова, что он доложит Государю и что дело будет решено окончательно после возвращения с маневров.

Параграфы «сути» следующие:

Управляющий отстранен Исполняющим должность Начальника от исполнения своих служебных обязанностей.

Пала дисциплина, падает хор.

Остановилось исполнение желания Государя, высказанное Им Управляющему, о постепенном введении в репертуар Капеллы древних роспевов.

Ответственность Управляющего остается прежняя.

Практика прежних лет размежевала Начальника как ходатая Капеллы по

внешним делам и распорядителя по главнейшим внутренним; Управляющего — как художника и педагога, заведующего всеми внутренними делами.

Необходимость возвращения к выработанному практикою порядку.

Между тем смерть Смирнова и невозможные выходы Александра Дмитриевича продолжали так обострять дело, что нарушения дисциплины 3 августа стали уже очень тревожными. Вдруг я получаю депешу от А. Н. Нарышкиной о ее приезде и о желании видеться со мною 3-го. Конечно, я поехал и тут впервые после Вас передохнул сердцем, услышав о ее заступничестве за меня и Капеллу в Сарове. Тут же, однако, я был и огорчен казенным равнодушием Министерства, более, однако, поддавшимся на удочки князя Ширинского-Шихматова и его родни. А. Н. горячо вступилась за меня, сцепившись с Фредериксом и отпарировав, как следовало, резоны Ширинского-Шихматова, ей уже известные от меня ранее. Государь отнесся к ее словам вполне благосклонно².

Наша беседа продолжалась 3 августа с 4 часов до 8 часов и была поэтому очень подробною.

На третий день, то есть 5-го, Александра Николаевна по какому-то поводу была у Императрицы Марии Федоровны и там выдержала весьма энергичный натиск, подогретый теми же Озеровыми и Ширинским-Шихматовым. Но и эта беседа кончилась благополучно. 6-го я проводил Александру Николаевну в Париж и оттуда на воды Eaux Bonnes, Pyrennees Basses до начала октября.

Между тем дома меня ожидало странное сообщение по телефону, доставленное мне официально: «До приказа по Министерству Двора и до приказа по Капелле об отпуске сообщается Вам, что его Сиятельство, граф А. Д. Шереметев изволит быть Начальником Капеллы». Долго думал я и до сих пор недоумеваю, что бы могло означать такое сообщение. Утром 6-го придворные певчие в Александрии были изумлены внезапным к ним обращением графа такого содержания: «недолго потерпеть вам Смоленского — после обедни я буду говорить с Государыней о его удалении и к 10—11 августа все дело будет кончено». Как мне передали потом, граф действительно после завтрака долго говорил с Императрицей Марией Федоровной, но она отвечала ему мало и неизвестно, что именно она ответила.

Вчера распространился слух, будто бы граф Александр Дмитриевич, не решившись заговорить с Государем, написал Ему письмо, а теперь волнуется, думая, что Фредерикс ему не простит такого нарушения дисциплины. Интереснее всего, как столкнутся одновременно у Государя это письмо и новое письмо от Александры Николаевны по тому же поводу.

Я очень устал, дивлюсь, как только терплю. Будьте здоровы Вы на радость многих.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

1. Полный текст доклада Смоленского Фредериксу (машинопись) вклеен в Дневник 4 (л. 218).

2. Как будет видно из дальнейшего, вмешательство А. Н. Нарышкиной, не ограничившейся личными беседами в Сарове, но и написавшей письмо о Смоленском к государю, находившемуся затем на военных маневрах, только «подлило масла в огонь» и окончательно решило дело не в пользу Смоленского.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 14 августа 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Письмо Ваше¹ нашел я по возвращении из поездки в Лифляндию и Варшаву. Чтение письма Вашего меня конечно не могло порадовать, но и не могу придавать ему прямого «дурного» значения; справедлива поговорка — «каков поп — таков и приход»:

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить!..²

Министерская выжидательная система могла бы носить иное наименование; что же делать? нужно считаться с действительностью, как оно ни больно для всех нас, воодушевляемых единою мыслию и единым духом. Переходя на почву «дипломатическую», думаю, что совет Мосолова обладает сими качествами: не терять нравственно выгодного положения перед безнравственным противником. Помогай Вам Бог терпением. Скажу Вам одно, что если уж придется совсем Вам невмоготу, тогда напишите мне, и я — напишу Государю.

Сердечно Вам преданный С. Шереметев.

При сем прилагаю песенку о моей бабушке Прасковье Ивановне³.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 103

1. Имеется в виду письмо Смоленского от 8 августа. 14 августа, но позже, чем было отправлено комментируемое письмо, Шереметев получил две телеграммы по делу Смоленского и вечером телеграфировал и написал ему еще раз (см. ниже).

2. Из басни И. А. Крылова «Кот и Повар».

3. К письму приложено издание обработки народной песни «Вечор поздно из лесочка», посвященной Прасковье Ковалевой-Жемчуговой (графине Шереметевой). Обработка сделана приятелем графа Алексеем Константиновичем Варженевским (1855 —

после 1917), можайским уездным предводителем дворянства. Дата, обозначенная в издании: «24 ноября 1902. Романцово».

Сотрудники Придворной певческой капеллы — С. Д. Шереметеву

Петергоф, 14 августа 1903

Умоляем заступиться Смоленского. Пропадает чудный человек. Сегодня завтра дело кончено. Мы и дело гибнем. Оклеветан перед матерью¹. Ваше немедленное заступничество дело может поправить. Просят все служащие.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 7. Телеграмма

1. Иметсяя в виду императрица Мария Федоровна.

Шереметев — В. Ф. Фредериксу

Михайловское, 14 августа 1903

Убедительно прошу Ваше Высокопревосходительство заступиться за Смоленского потеря которого для Капеллы была бы незаменима. Таковое мое мнение о нем благоволите не скрывать. Граф Сергей Шереметев

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 8. Телеграмма

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 14 августа 1903, 4 часа 20 минут

Его Сиятельству Графу Сергию Дмитриевичу Шереметеву

Дело неожиданно окончательно проиграно по вполне неизвестным резонам письма Александра Дмитриевича сегодня четверг. Мосолов требует немедленной завтра подачи прошения об отставке обещая выдачу пенсии одного только года. Всего содержания при его затем хлопотах о пенсии вероятно только три тысячи и при условии однако увольнения до отъезда всех понедельник. Разница между бывшими шестью тысячами при квартире не касаясь оскорбительного не заслуженного удаления вынуждаемого за добровольное причисление Министерства сохранением содержания обычное таких случаях Мосоловым усиленно отклоняется. Хотя сказал тридцать лет службы бывшие очень многие заслуги Капелле многократное очень милостивое внимание дают все-таки весьма слабую маловероятную надежду на причисление сохранением содержания. Поэтому все же не отказывается он передать при прошении

предлагаемое им к подаче мое письмо о том Министру ибо милость в моем неожиданном незаслуженном критическом положении возможна. Решаюсь исполняя указываемую волю подать прошение вместе письмом но подожду Вашего совета немедленно депешую. Очень прошу будьте добры по памяти прошлого телеграфировать Министру или Александрию ходатайствуя Вашим мощным словом о причислении меня Министерству сохранением содержания. Буду век признателен. Веря успеху Вашей заступы беспомощному решил отдать последние силы годы науке без обидного моем возрасте положения заботы о куске хлеба сердечно простив все недалевидному врагу смиренно перенося тяжкое испытание вместе страдающей женой. Пишу слезами Вашем кабинете. Порадуйте ответом мое глубокое горе разлуки с любимой Капеллой. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 9—13. Телеграмма. Копия вклсена в Дневник 4 (Л. 231).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 14 августа 1903

Для меня все непонятно. Не могу верить. Каково бы ни было решение теперь о материальной стороне не заботьтесь. Нам необходимо свидеться когда все станет ясным. Потрясен и оскорблен. Да хранит Вас Бог. Телеграфировал Министру. Шереметев

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 14. Копия телеграммы

Шереметев — Смоленскому

Михайловское. 14 августа 1903

Дорогой Степан Васильевич,

не могу прийти в себя после получения Вашей пространной, но для меня все же недостаточно понятной депеши. То, что Вы писали о разговоре Вашем с Мосоловым, не сходится с последующим.

Я совсем взволнован и ошеломлен и только могу повторить одно: наше свидание *необходимо* и я Вас жду. Одно скажу, что Вы не должны беспокоиться в смысле материальном. Это дело я беру в свои руки, и уж как видите, *я не много значу*, но в этом деле думаю, что не выдам. Но что же это такое? Какое время переживаем, чьему слову верить. Боже мой — как невыразимо тяжело и грустно. Мне больно за Вас, больно, что я ничего не сумел сделать.

Но я лучше останавлиюсь, чтобы не писать неподобных слов... Ожидаю с жгучим нетерпением.

Ваш С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 106—107

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 15 августа 1903, 11 ч. 20 мин.

Сердечно благодарю. Да воздаст Господь Вам сторицею. Выезжаю Михайловское следующей неделе совершенно спокойным. Смоленский

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 15. Телеграмма

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 15 августа 1903, 17 час. 46 мин.

Сейчас очень подробно лично переговорил с Министром. Принят очень благосклонно¹. Смоленский

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 16. Телеграмма

1. Эта беседа подробно изложена в письме к Волковой от 17 августа.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 15 августа 1903

Очень рад но окончательно ничего не понимаю. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 109. Телеграмма

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 15 августа 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Только что отправил Вам мое письмо по возвращении из Варшавы, словно предчувствуя недоброе, как получил депешу, при сем прилагаемую¹. Ввиду сего решил я отправить телеграмму следующего содержания:

Петербург. Министру Двора Барону Фредериксу. Убедительно прошу Ваше Высокопревосходительство заступиться за Смоленского, потеря которого для Капеллы была бы незаменима, каковое мое мнение о нем благоволите не скрывать. Граф Сергей Шереметев.

Ввиду «неопределенности», другого ничего придумать не мог, ибо Министр Двора то лицо, которое обязано долгом службы в дело вступить. Если он понятлив, то он мою депешу покажет кому следует.

Пишу Вам в великом волнении чувств, глубоко оскорбленных за Вас и за дело, да признать надо — и за себя. Что будет, не знаю, но прошу об одном: при первой возможности, как бы ни повернулось дело, приехать к нам в Михайловское для необходимого разъяснения.

*

События идут быстро. Ваша подробная, хотя и не вполне ясная телеграмма меня подкосила. Придаю всему делу гораздо больше значения, чем оно может казаться. Вы меня поймете. Об одном прошу: не беспокоиться относительно вопроса материального; это дело мое и у меня руки развязаны. Общий долг всех Ваших почитателей сохранить Вас надолго для Русского дела, и если это дело должно пострадать в относительно узкой и специальной деятельности Придворной капеллы, то оно сугубо должно процветать вне всяких «ведомств» на полной свободе. У меня к Вам великая просьба: не покидать Петербурга, а почему и для чего, о том поговорим при свидании.

Написали ли Вы А. Н. Нарышкиной? Она будет в негодовании. Известно ли Вам, что сестра графини М. Ф. Шереметевой недавно назначена была фрейлиной (личной) к Императрице Марии Феодоровне?²

Для меня не ясна роль Мосолова: был ли он с Вами искренен? Все это, кажется, люди без убеждений, без принципов. Время, как видите — кисельное; положиться не на кого и нет уверенности в завтрашнем дне. «Мнози встают на мя»³, можем мы сказать с Вами, но сохраним упование и надежду на лучшие времена; все в воле Божией. Вы же, дорогой Степан Васильевич, сохраните мне Ваше доверие и дружбу; верьте, что я глубоко и сердечно люблю Вас, и хотя стою перед Вами виноватым в моем бессилии, но уповаю — придет время и Вы на деле увидите, что это не пустословие. Да хранит Вас Бог.

Все вспоминаю Рачинского. Где теперь подобные люди? Каким негодованием разразился бы он, если бы дожил до переживаемого позора!

Ваш С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 111, 123

1. Очевидно, имеется в виду приведенная выше телеграмма от сослуживцев.
2. Имеется в виду Ольга Федоровна Гейден (1864—1917), графиня, сестра

Марии Федоровны, супруги А. Д. Шереметева, и сестра графа Александра Федоровича Гейдена, в 1900—1906 начальника канцелярии главной императорской квартиры, то есть, наряду с Мосоловым, помощника министра двора Фредерикса (впоследствии начальник Морской походной канцелярии, с 1908 контр-адмирал Свиты).

3. «Мнози востают на мя» — цитата из псалма 3.

Смоленский — Шереметеву

Старый Петергоф, 16 августа 1903, утром

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Над Вашей депешей я с женою поплакал благодарными и радостными слезами, столь облегчившими вчера тяжесть нашего обидного и внезапного горя. В порыве величайшей признательности с совершенно растроганным сердцем мы помолились вместе, помянули Вас всю силою нашей грешной и скорбной молитвы и опять воспрянули верою, надеждою на хорошее будущее, взамен беды настоящего. Всю силою моей любви к людям, всю силою моего твердого исповедания я подтвердил себе сделанное мною в душе самое полное прощение и забвение графу Александру Дмитриевичу. Верю и в то, что пройдет и его возбуждение, придет и к нему время спокойного суда над своими действиями относительно меня. Тогда он не сможет не устыдиться своих необдуманно-настойчивых действий и получившихся от них столь вредных и столь досадных результатов для столь многих и столь близких к нему людей. При большем благоразумии эти же люди могли быть наверно гораздо полезнее самому Александру Дмитриевичу, чем то, к чему он неминуемо придет и, может быть, очень скоро.

И как все происходящее грустно, пусто и жалко! Как забыта правда!

Ваша депеша пришла за час до отправления мною прошения, потребованного по телефону вновь от Мосолова. Я написал следующее:

«Ввиду изменения г-м И. д. Начальника Придворной Капеллы тех условий моей служебной деятельности, на основании которых последовал мой перевод из Москвы на место Управляющего Придворною Певческою Капеллою, я не нахожу возможным продолжать службу на означенной должности и имею честь почтительно просить Ваше Высокопревосходительство об увольнении меня от службы и о назначении мне пенсии.

Но я почел бы себя счастливым, если бы мне, еще полному сил, была дана возможность продолжать мою службу в области, соответствующей моему образованию и художественному цензу, равно и в области тех специальностей, которым мною посвящено более 25 лет упорного труда по части библиографии вообще, истории русского музыкального искусства, его археологии

и теоретического исследования. Причисление меня к Министерству дало бы возможность довершить ряд открытий и исследований, сделанных мною в области древнерусских напевов. Его Императорское Величество Государь Император в многократных со мною беседах и в указаниях по Капелле изволил высказывать мне по этой части самый глубокий и постоянный интерес. Полагая, что мои силы могут еще пригодиться Министерству по всяким поручениям в области русского искусства, имею смелость, в связи с вполне неожиданною для меня потерей места в Капелле, совершенно не по моей вине, просить Ваше Высокопревосходительство, в случае снисходительного внимания к моим заслугам, о причислении меня, взамен отставки, к Министерству с сохранением моего по службе содержания».

Я объяснил Мосолову, что предлагаемая мне взамен получаемых восьми (а не шести) тысяч пенсия в 3 тысячи уменьшается в сущности до 2-х, так как третья тысяча уйдет на замен ныне имеемой квартиры, дров, света и воды. Следовательно вся убыль доходит до того, что я остаюсь при $\frac{1}{4}$ части, а $\frac{3}{4}$ теряю только по капризу графа Александра Дмитриевича и за понесенные оскорбления, за поруганный честнейший мой труд и несомненные всеми признанные улучшения Капеллы...

Затем я объяснил Мосолову, что для меня пришла минута исполнения последнего долга по отношению к Капелле и к Государю. Я считаю своим долгом предупредить Министра, даже несмотря на решение оставить графа Александра Дмитриевича в Капелле, что Александр Дмитриевич не может быть Начальником Капеллы, как по его неделовитости, постоянной субъективности при смешении личных дел со служебными, по ненормальной и нетерпимо резкой форме его действий, по постоянному его самодурству и нарушению прав и обязанностей своих и подчиненных ему, так и прямо по незнанию им своего дела и по самому полному неумению быть распорядителем. Известие о моем уходе встречено в Капелле не с сожалением, а прямо с изумленным ужасом всех благомыслящих и любящих дело людей, — до такой степени нелеп поворот дела и страшно ближайшее будущее Капеллы.

Мосолов в ответ на мои слова отправил меня к Министру, сказав, чтобы я доложил последнее лично.

Прибыв к Фредериксу около 4-х часов, я сейчас же был предуведомлен, что в 5 часов назначен прием графу Александру Дмитриевичу. Поэтому я просил посадить меня в отдельную комнату, чтобы я мог войти и выйти от Фредерикса не встречаясь с Александром Дмитриевичем. Так и случилось.

Фредерикс меня принял сейчас же, нарушив лишь назначенную очередь внезапно прибывшему Гофмаршалу Бенкендорфу¹. Я пробыл у Фредерикса в беседе более получаса, пожалуй минут 35—40. Фредерикс сначала мне сказал следующее: «Граф Шереметев прислал на маневры Государю письмо,

и Он, указывая Фредериксу на нераспечатанный пакет, сказал: “посмотрите, что пишет Шереметев, — вероятно это ультиматум по поводу его отношений к Смоленскому; одновременно я получил горячее и резкое письмо по этому делу от Нарышкиной, и Мне, очень ценящему труд и знания Смоленского, неприятно, что Смоленский нейдет прямо, а Нарышкина хлопочет не по своим делам. Шереметева Я выбрал сам, не изменил своего выбора, слышал о нем немало как о нелепо-шалом. Он выбрал себе Смоленского и он волен переменить его, лишь бы дело шло хорошо”. В это время (продолжал Фредерикс) я успел распечатать и пробежать письмо и подтвердил Государю, что Он угадал его содержание. Государь сказал: “Я уже высказал свое решение”. Тогда я сообщил Шереметеву и поручил Мосолову сообщить Вам о надобности подать прошение об отставке, равно и подробности Вашего материального обеспечения».

Я понял сейчас же, что, пожалуй, дело еще не окончательно проиграно, если мне удастся убедить Фредерикса в моей правоте. Поэтому в 3-х пунктах разрешенного мне ответа я сказал о следующем.

1. Я даю честное слово, что нисколько не виноват ни в чем перед Александром Дмитриевичем как человеком и начальником. Имею право заявить, что Александр Дмитриевич, отстранив меня от исполнения моих служебных обязанностей, самовольно нарушил условия, при которых я был переведен из Москвы, превысил свою власть, множество раз оскорбил меня (приказом, выговором при подчиненных, удалением из Петергофского дворца и т. п.), всячески унижал меня перед подчиненными, пользовался даже анонимными письмами, тайными за мною наблюдениями и т. п. Затем Александр Дмитриевич весьма неблагоприятно и оскорбительно для меня придал своим действиям будто бы вынужденный характер вследствие моего незнания, недеятельности, даже и по надобности требовать от меня ежемесячный денежный отчет... Я безусловно утверждаю, что Александр Дмитриевич успел уже подорвать достигнутые успехи Капеллы только своим властолюбивым вмешательством, уверенностью в умении начальствовать и крайне грустным желанием выставить свою артистичность и композиторство. Дисциплина Капеллы сразу упала, а один час в неделю, при всей самоуверенности графа, конечно, недостаточен для художественного руководства Капеллою. Теперь Капелла совсем уже выбита из колеи и отвечающие в ней за порядок растерялись от постоянно внезапных и беспорядочных действий графа.

Рассказав затем Фредериксу повод и постепенное усиление хозяйничанья Александра Дмитриевича, я передал и характеристику князя Ширинского-Шихматова, с которым так воевала из-за меня в Сарове Александра Николаевна. По-моему, клевета о моей «неуживчивости» лучше всего опровергается тем, что я служил в Казани на одном месте 17 лет, в Москве — 12 лет одновременно в Консерватории и Синодальном хоре; но верно, что с Ширинским после моего терпения в течение 9 лет это терпенье наконец иссякло, а с Алек-

сандром Дмитриевичем иссякло через 3—4 месяца, ибо Ширинский все же был наружно выдержан и приличен, хотя внутри — прости его Господи! Отношения мои к ним обоим сложились одинаково: я не честолюбив и не боец по этой части. Пока мой труд был надобен для усиления репутаций князя и графа — мне позволяли работать, а когда Синодальный хор стал № 1-й, а Капелла вышла на дорогу, Ширинский рассудил о ненужности делиться успехами хора со Смоленским, а граф Александр Дмитриевич нашел возможным выступить в качестве единственного воодушевителя Капеллы, ее учителя и композитора. В обоих случаях я потерпел полное фиаско, заменившееся, однако, с Вашею помощью переводом от Ширинского в Капеллу, а теперь, в эти тревожные дни — неизвестным еще, но скорым решением дела.

II. По поводу предупреждения Министра и Государя о невозможности, ради блага Капеллы, оставить графа Александра Дмитриевича Начальником Капеллы я повторил все сказанное Мосолову и высказал предположение, что, вероятно, Министр, докладывая мое прошение Государю, вспомнит мои слова и доложит их Государю. Министр обещал (неизвестно только, исполнит ли обещание).

III. Разговоры о моем обеспечении в виде причисления к Министерству Двора были совершенно кратки.

Общее впечатление от приема было весьма успокоительное, отведшее упадок духа, о чем я немедленно Вам телеграфировал.

Пора кончать — приходит час отхода почты. Нет у меня слов благодарить Вас, добрый, любящий правду граф Сергей Дмитриевич! И жена моя, и я — на век наш — Ваши вполне преданные люди. Как только уедут цари — сейчас же уеду и я в Михайловское. Вашим — мой поклон.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 17

1. Бенкендорф Павел Константинович, граф (1853—1921) — генерал, обер-гофмаршал императорского двора (с 1893).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 17 августа 1903

Дорогой Степан Васильевич. Какое значение может иметь любезность Фредерикса и какой *практический* результат? Они себя показали *холопами*, и от них ли ожидать приличия?¹ Вот почему Вам телеграфировал, что ровно ничего не понимаю.

Как же сопоставить, что Вами «дорожат», что Вашему *направлению* — «сочувствовали»?

Воображаю, какая радость по всей линии. Хамье!
Все-таки до свидания.

Ваш С. Шереметев.

Что говорит Нарышкина?

РНБ, ф. 855, № 30, л. 115

1. Шереметев хорошо знал Фредерикса и потому не ожидал от него никаких решительных действий. С. Ю. Витте, отдавая должное человеческой порядочности барона, пишет, однако, что «ни по своим знаниям, ни по своим способностям, ни по своему уму он не может иметь решительно никакого влияния на Государя... и даже по непосредственному управлению Министерством двора» (Витте С. Ю. Воспоминания, мемуары. Т. I. С. 200—201).

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 16 августа 1903, вечер

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сейчас получил Ваше дорогое письмо от 14-го в ответ на мое, адресованное в Варшаву. События этих дней так быстры, так головокружительны, что больно читать о том, как чувствовалось всего три дня назад. Сегодня я отправил Вам подробное письмо о моем свидании с Мосоловым и министром; в этом же письме и текст моего прошения об отставке.

Состояние духа (о себе и жене моей — конечно, нечего и говорить) у моих товарищей могу назвать как бы пришибленным, ошеломленным ужасом, безотчетным страхом перед ближайшим будущим. Столь темные силы, как взрослые певчие, сразу перестали кланяться воспитателям, инспектору классов, помощникам регента и т. п. Ребятишки мои бывшие ведут себя исправно, но граф Александр Дмитриевич вчера обидел и их, привезя конфет только певчуркам из малой церкви, то есть у Государя поющей, остальным же 60-ти — ничего, — ребята все очень обиделись. В Капелле все как-то растерялись и не знают, что делать, что предпринять. Да и ведь в самом деле история со мною есть какая-то нелепость, в которой нельзя добиться смысла. Если граф Александр Дмитриевич во что бы ни стало захотел проучить меня за что-то, если он хотел доказать всем в Капелле свою силу, — то кто же отрицал? Все надеялись, однако, на благородие наверху, но там отнеслись совершенно по-канцелярски, по-батальонному, не приняв во внимание неправду начальника и судьбу дела и учреждения.

В этом смысле и я вполне разделяю Ваши выражения в обеих депешах: «все непонятно», «окончательно ничего не понимаю» — я также ничего не понимаю, что и почему произошло — какая-то загадка для здравого ума, глядящего вперед, рассуждающего и о цели действия.

В частности, очень много хлопотал, говорят, граф Александр Федорович Гейден, и для меня то удивительно¹. Ему ли не знать Александра Дмитриевича, ему ли не понять суть дела и предостеречь. Я говорил ему несколько раз в апреле и мае, а ныне оказалось, что он дирижировал всем. Затем идет слух, что будто бы фрейлина Гейден (я ее не знаю) вместе с графом Александром Дмитриевичем очень хлопотала у Императрицы Марии Федоровны. Но и за всем тем, как никому из них не пришло в голову, что Александр Дмитриевич не может быть, прямо неспособен быть начальником и не будет уделять Капелле и $\frac{1}{10}$ надобного для дела времени? Как не понять, что даже и за «блестящей победой» надо мною он все-таки долго не может остаться в Капелле по своему невозможному характеру? Как не рассудить, что мои, бывшие правда давно, попытки мирной помощи Александру Дмитриевичу были отвергнуты недальновидно для него же? Мог же сам Александр Дмитриевич, хотя бы про себя, признаться в своей неделовитости служебной и в той очевидной кротости моей, с которою он получил от меня все уступки? Да, наконец, кроме удовлетворения своему, скажем, недоброму чувству ко мне, что он выиграл для дела из моего удаления? Да и дешево ли ему досталась победа надо мной, чтобы стоила она бывших у него волнений?

Но чего думали в Министерстве — это уже совершенный знак вопроса! Здесь-то уже, во внимание к многим уверениям благожелательным и рассудительным, бывшим из уст людей серьезных, по-видимому, — совсем становится непонятным признание беззакония и безнадежности графа Александра Дмитриевича, а затем тут же одновременно ратование за дисциплину и ее обязательность даже и при нелепости хода дела. Прятание за спину Государя — по-моему что-то холопски-глупое, так как Ему не докладывали подробностей. Поэтому и «резкое» письмо Александры Николаевны косвенно как бы обличает ту канцелярщину и девиз «все по закону» и «все обстоит благополучно». Но я чувствую, что есть еще что-то, не улавливаемое моим умом, в усиленном замалчивании бывших моих обращений о доведении до сведения Министра, в игнорировании высказанных Государем одобрений моего труда, в весьма подозрительной и искусственной поспешности действий в последние дни. Точно я стал какой-то чумой, заразой, нетерпимым, что ли? Невольно, однако, вспоминаю самое очевидное почтение, с которым я всегда встречаем и в Кабинете, и в Контроле, и в Канцелярии у Мосолова. Стало — это «что-то» создано недавно. От меня лично мой авторитет не мог упасть никоим образом, так как в последние четыре-пять месяцев я вел себя особенно осторожно и сдержанно. Государь в последнюю Страстную и 15 июня (день моего рапорта) был так милостив ко мне, как ни разу прежде. Внимание же прежде было постоянное и также милостивое в доле необычной для Управляющих Капеллою. От Царицы, Наследника — также... Теперь это все усиленно замалчивается и настоятельно говорят о дисциплине, забывая о здравом смысле в таком домовом у Государя деле, как Капелла. Да и кто же

нарушал дисциплину и расшатал ее — я или Александр Дмитриевич? Что это за игра словами?

Но меня особенно удивляет выбор Александра Дмитриевича в Управляющие — моего друга Кленовского, ныне пока моего Помощника, решительно не знающего, что ему делать в будущем. Он — отличный дирижер оркестра и преподаватель инструментального класса. Для этого я и вытаскил Кленовского из директоров Тифлисского Императорского Музыкального Общества. Но Кленовский абсолютно не певчий, абсолютно не чиновник-администратор. Что он будет делать Управляющим — сам он говорит: «решительно не знаю и не понимаю»². Что же будет с Капеллой?

17 утром

При всей легкости заподозрить себя в пристрастии затрудняюсь предвидеть, что ожидает Капеллу, ибо ее три воспитателя и два регента уже не желают оставаться в ней при Александре Дмитриевиче — а это, конечно, более независимые и образованные люди, более талантливые. Оскорбление меня коснулось, конечно, большее всего тех идеалистов, которые служат делу, а не считают рубли. Я всегда полагал силу духа только в труде именно талантливых людей, доброту которых нисколько не трудно дисциплинировать умом и ласкою. Офицерством и окриком их не вразумить и не испугать, грубость же им отвратительна, а они в последние 3—4 месяца с недоумением насмотрелись уже на Александра Дмитриевича. Понятно, что им нечего ждать более, а убыль дарований — самая печальная убыль для Капеллы.

Если рассчитывать на грубые материальные силы, служащие из-за рубля или из-за холопства, — то разве это друзья дела? разве ими двинется художественная работа и высшая изящность? Повиновение их до поры-времени, конечно, будет успокаивать недальновидного начальника. Но разве это есть истинная сила, покоряющая ум и сердце?

Недальновидные люди, пожалуй, назовут мой «идеализм» непрактичною утопиею, но я стою за этот «идеализм» (весьма практичный) вполне крепко и стойко именно по его практичности и невольной для него победы над пошлостью. «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво» — сказал Пушкин — и вполне верно. Именно здесь и кроется суть той дисциплины, которую я начал было пропитывать Капеллу не без успеха. Именно такая дисциплина мужественна, стойка, работяща и умна, так как вырабатывается глубоко любовным почтением к своему делу, обращая это дело в служение не только музам, но Богу, да еще родному Богу, живущему в нас, обращающему «прекрасное» в благоговейное. А последнее может быть только искренним и становится величавым само собою.

Но о такой дисциплине Александр Дмитриевич не хочет слышать, строя свою дисциплину на своей воле и на повиновении ей. Что будет от такого экс-

перимента — нетрудно предвидеть, и жалко мне Капеллу! Нетрудно предвидеть ту ступеньку падения нравственного, до которой может спуститься при Александре Дмитриевиче Капелла как имеющая еще в себе много от греховного прошлого. А это греховное уже подняло свою голову и уже заявляет о себе очень внушительно и по-моему — очень тревожно. Его можно сдерживать нравственную безукоризненную силою, а не солдатскою грубостью, — сдерживать остатками Бога в каждой такой греховной душе, а не приказами по Капелле: беспутный октавист Соколов³ своим пьянством и дебошами разбил свою семью и должен был уходить из Капеллы, терявшей в нем чудного по доброте человека, превосходный голос которого к тому же удивителен. Я принял за него немного необычно. Уговорил его говеть, пригласил его семью ласковым вниманием, и теперь тот же Соколов, надувшийся без счету — истый певец Богу и слуга Государю, жена его — растерявшаяся с горя и обиды — воспрянула духом и опять счастлива в своей семье и в своем вразумленном муже. Капелла забыла и вспоминать о куролесившем отчаявшемся пьянице-октависте. Все это достигнуто так просто, так легко и так скоро, без утраты — одною только умною ласкою и умелым вниманием вовремя. А граф упорно хочет гнать его!

Именно этого-то любвеобильного и врачующего вразумления и очищения людей, именно этого нетрудного обращения многих минусов в плюс — совершенно не понимает и не может понять граф Александр Дмитриевич, а именно этим и строится дисциплина и служение прекрасно-благоговейному. Дисциплина эта исходит изнутри, строится на совести, а не вколачивается страхом извне, неизбежным и робким повиновением грубой силе. В хоровом пении все дело основано на самой безусловной дисциплине, конечно, гораздо более духовно-строгой, чем военная, а Александр Дмитриевич только и уповает на субординацию. В моей дисциплине хор радуется ее неумолимости и сам становится строже меня, а у него хор ненавидит принуждение и унижение личности и работает лишь из-под палки. Вот где гибель дела в скором времени.

Эти соображения, в связи с другими, привели меня к мужеству и к обязанности предупредить Министра о безусловной надобности удалить графа Александра Дмитриевича из Капеллы, даже и после моего увольнения. Министр понял меня, — но найдется ли у него мужество сказать Государю — сказать трудно.

У меня на душе очень больно, но как-то необъясним для меня покой, нашедший на меня, совершенно огорошенного, оглушенного случившимся. Я совершенно не понимаю смысла и цели проделанной надо мною, над Капеллою и над моими товарищами грубой, как бы солдатски-немецкой расправы за что-то. Случилось что-то, как кажется, слишком глупое и неожиданное, всех удивившее своею нелепостью и многих огорчившее очевидно в будущем неудачею и тревогою без всякой нужды. Во всяком случае, непонятный мне покой

есть нервный покой и глубокая вера в безукоризненную правоту своего положения, страдательного по независящим и даже малообъяснимым причинам.

Сию минуту получил известие о параличе, постигшем в ночь на вчера, то есть на 16-е, Великого Князя Михаила Николаевича⁴. Его нашли утром на полу у кровати, лежащим без чувств, с перекошенным лицом. К вечеру вчера было немного лучше, но речь не возвратилась. Говорят, будто бы завтрашний отъезд может быть отложен.

Вашу милую песенку, столь трогательную, идилличную, я знаю давно, и листок, Вами присланный, я уже имел. Какой покой, какая простота и ясность в доброе, старое, наивное время! А ведь и тогда были умные люди, и тогда были страсти — и все миновало, а песенка уцелела!

В Михайловское выеду сейчас же при первой возможности — мне прямо надо вырваться отсюда. Благодарю Вас за все. Да сохранит и Вас, семью Вашу Бог всемогущий, о котором здесь в моем деле совсем забыли, забыли даже и простой стыд.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 18. На бланке управляющего Капеллой

1. Как следует из дневниковых записей, Смоленский выделял Александра Федоровича Гейдена из семьи Гейденов (родственников А. Д. Шереметева по жене) как человека умного и пытался найти в нем союзника в борьбе с Александром Дмитриевичем. С. Ю. Витте в мемуарах характеризует этого Гейдена как «честного, порядочного и образованного чиновника-сухаря», с удивлением отмечая, что позже, в 1904-1905 граф явился активным сторонником конституции и был избран в Первую думу.

2. Н. С. Кленовский пробыв в должности помощника начальника Капеллы до 1906. Степан Васильевич и позже воспринимал его поведение как предательство.

3. О «беспутном октависте» Соколове см. в письме Смоленского к Волковой от 29 мая 1901.

4. Великий князь Михаил Николаевич (1832—1909), в прошлом наместник на Кавказе, последний оставшийся в живых сын Николая I, был старейшим к тому времени членом дома Романовых и занимал по своему авторитету исключительное место в императорской семье.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 18 августа 1903

Жажду известий. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 116. Телеграмма

Смоленский — Шереметеву

Старый Петергоф, 18 августа 1903, 10 ч. 40 мин.

Оба письма Ваши [получил]. Благодарю. Оплакал сегодня горестно. Узнал [от] Мосолова, [что] дело покончено совершенно. Боюсь болезни. Четыре подробных письма были ежедневно. Пишу еще, выезжаю среду вечером. Смоленский

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 19. Телеграмма

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 18 августа 1903, 22 ч.

Предлагаю Вам удобную квартиру моем доме Фонтанке. Особняк самостоятельный. По многим причинам убедительно прошу согласиться. Шереметев

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 22. Копия телеграммы

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 18 августа 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

В деле моем наступило, как перед имеющей разразиться грозой, самое полное затишье, каковы были, в смысле отсутствия официальных известий и сношений, вчерашний день 17-го и предшествовавший — 16 августа. На душе — невыразимо скорбно, но как-то особенно покойно, вроде ожидания панихиды. Я писал Вам каждый день в последнее время, упоенный и врачуемый Вашею поддержкою, но моя бедная жена, подавленная горем, не выдержала и горюет так, что сердце мое буквально ноет от боли. Бог благословил нашу жизнь самым редким семейным согласием и самую чистую любовью, самым безоблачным покоем и здоровьем — тяжело видеть растерявшуюся страдальцу.

Новостей нет никаких, кроме точного известия, что Царица Александра Федоровна имела сообщение от кн. Ширинского-Шихматова, в котором, конечно, обо мне расписано без зазрения совести все пригодное для удовлетворения князя в его досаде на свои неудачи за мой счет. Вот уже этого я никак не думал в моей нынешней беде! Не живя иначе, как отдавая все делу, всю любовь мою, весь труд мой, все, что только у меня было лучшее, ценное, проникнувшись в Москве желанием отдать будущему действительно подготовленное поле для открытий, — я не могу быть оскорбленным никакими Ширинскими, что бы они ни говорили, как бы искусно они ни интриговали! Но тяжело подумать, что клеветы имеют значение и притом даже очень решительное! Мне

говорят: «Вы не уживчивы» — а я жил 17 лет на одном месте в Казани и 12 лет в Москве. Правда — я не ужился с Ширинским, как не ужился и с графом Александром Дмитриевичем, но ведь надо же принять во внимание и то, что каково уживаться с такими людьми, да еще при этом вести дело? Ведь надо же дать цену и тому, с какою дружбою и любовью пришли со мною в Капеллу ряд даровитых людей, не пожалевших разлуки с Ширинским?

И наконец, лежачего не бьют даже и татары. К чему доколачивают во мне мою бедную душу, оскорбляя мою честь и мое служение делу вполне и безусловно честное? Это уже бесчеловечно! Здесь я уже склонен к намерению добиться раскрытия правды, чтобы спасти хотя бы других слабых людей от Ширинского, злобу которого я отлично знаю, — я ведь, неуживчивый, выстрадал это знание 9-летним терпеньем! Я изумлялся быстрому ходу нынешнего Гофмейстера, но изумлялся и слепоте, не умеющей до сих пор понять этого вполне жестокого эгоиста и вполне неразборчивого на средства человека. Говорят, в Сарове он успел показать себя очень выразительно, но ведь и в Сарове же он вспомнил обо мне, столь выдвинувшем его с помощью успехов хора и Синодального училища! Что за неблагодарность и предательство! Он же ставит мой портрет в Синодальном училище и он же губит меня в Петербурге!

Уверяют меня, что действия Ширинского, как и Александра Дмитриевича, руководятся, кроме недоброго чувства, надобностью удалить меня от Государя, где будто бы через меня могут быть даны невыгодные для них данные. Но зачем же мерить на свой аршин и зачем думать о том, чего я еще не сделал и не был намерен сделать? Я был при Капелле, при певчих Государя. У меня были две заботы — чтобы хорошо пели и чтобы пели люди добрые. Какая мне была бы нужда чернить и князя и графа, даже если бы и представился случай? Точно кроме меня не нашлось бы более умелых людей по этой части!

Но теперь, конечно не в отместку, душа моя просит реабилитации моей чести, и не знаю, что бы предпринять, хотя бы на пользу будущих жертв князя Ширинского. Такие необычные заботы появились теперь в моей жизни! Приходится защищать честь человеку, никогда не думавшему о том, ибо честь была честна и без его защиты.

Ваш всей душою Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 23. На бланке управляющего Капеллой

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 19 августа 1903

Благодарю депешу. Разделяю Ваше состояние духа, но не унывайте. Ваше дело и мое личное дело. Шереметев

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 20. Копия телеграммы

Шереметев — Смоленскому

Михайловскос, 19 августа 1903

Получил последнее письмо, убеждающее в крайней желательности Вашего переезда Фонтанку. Шереметев

Госпоже Смоленской

Положитесь на меня и не унывайте. Шереметев

*РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 24. Копия телеграммы***Смоленские — Шереметеву**

Петербург, 19 августа 1903, 7 часов вечера

Недаром сегодня горячо молились Сергиевой пустыни¹ о Вашем здоровье душевном покое. Счастливые теперь Смоленские изумлены Вашим великодушием. Согласные принять Ваш кров с любовью отдаем Вам наши сердца. Увидите сами, как живо, глубоко умеем быть благодарными. Смоленские

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 25. Телеграмма

1. Сергиева пустынь — монастырь близ Петербурга (ныне в черте города), основанный в 1734. Там в течение долгих лет подвизался святой Игнатий (Брянчанинов).

Шереметев — Смоленскому

Михайловскос, 19 августа 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Оба письма Ваши получил и, перечитав их несколько раз, остался в прежнем недоумении. Продолжаю ничего не понимать, разве одно, что письмо Александры Николаевны не помогло, а повредило¹. Запальчивость и резкость всегда вредны, убедительность должна быть спокойна. Перечитывая известные слова, нахожу в них взаимное противоречие и кое-что еще, о чем переговорим на словах. Кроме того и неточность факта, касающегося Вас. Разъяснен ли окончательно вопрос материальный?

Вы слишком добры, продолжая заниматься психологией Ваших недоброжелателей, они того не стоят. Предоставьте им расхлебывать свою кашу; поверьте, они ее не переварят. Повторяю, конечно, обидно для Капеллы, что лишена Вас. Нам дороже Ваше сохранение для дела большого значения, а это дело Ваших почитателей — главное.

События чередуются: вот и новый Министр Финансов и новый Председатель Комитета Министров², а вот и умирающий Великий Князь Михаил Николаевич. Как я бесконечно счастлив, что сижу здесь вдалеке [от] всяческих столичных нечистот.

Будем вас поджидать с великим нетерпением, предупреждаю только, что от 25-го до 28-го меня в Михайловском не будет.

Итак, до свидания.

С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 125

1. Имеется в виду письмо в защиту Смоленского А. Н. Нарышкиной, обращенное к государю и переданное ему во время маневров.

2. Новый министр финансов — Э. Д. Плесске, новый председатель Комитета министров — С. Ю. Витте.

Далее в «Дело о придворной интриге...» подшиты две телеграммы, датированные 19 августа 1903:

Телеграмма С. Д. Шереметева — Д. С. Шереметеву (№ 21)

19 августа 1903

Смоленский резко уволен. Возмутительное торжество лжи. Шереметев

Телеграмма Д. С. Шереметева — С. Д. Шереметеву (№ 26)

20 августа 1903

Очень сожалею об увольнении Смоленского. Здоровы. Целуем. Дмитрий

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 19 августа

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я не умею Вам передать силы впечатления от Ваших двух писем и приложенной к ним копии депеши товарищей. Жена и я — не выдержали силы Вашего удивительного великодушия, — мы залились благодарными слезами и, когда прошел порыв нервный, — тихо помолились о Вашем здоровье, о покое души Вашей, столь надобном для многого, о Вашей семье и о Вашей радости в ней... Чего-чего только не пришло нам обоим на ум просить Бога для Вас в нашей возбужденной умилением молитве!

Вы, добрый, сердечный раб Божий, сын родной земли, горячо любящий эту землю, готовящуюся должно быть к испытаниям нелегким, Вы — скорбящий за землю, — Вы глубоко правы, расширяя значение мелкого случая со Смоленским в общем смысле текущего времени. Действительно тревожит,

пожалуй и грозно, значение переживаемых лет, может быть — очень тяжелых, и притом в недалеком будущем. Как и куда прорвутся огни подземные, но всюду уже прорывающие землю Русскую, готовые опалить без разбора и без уважительного рассуждения о смысле и о святости прошлого — Бог весть! Но мужество людей, еще стоящих на земле, есть долг перед родной землей. Всякий пожар в конце концов все-таки тушится и есть не более как временное горе, небольшая убыль. 100 пожаров — большая убыль, всеобщий пожар — всеобщая убыль, но не смерть, не конец, а тягчайшее испытание, в горниле которого все-таки остается живое-доброе, святое, способствующее дальнейшей жизни народной же, на устоях твердых и все-таки прежних. Поверхностное понимание исторических событий и даже игнорирование их — большая вина перед родной землей. Умное обобщение смысла времени, удержание родной земли до последней возможности уберечь от пожара, даже забота о захоронении в землю более дорогого из сгораемого — есть долг всякого перед родной землей.

Вы знаете, как страстно я люблю свою многострадальную, святую для нас родную нашу мать русскую землю! Вы знаете потому и глубокую, неизреченную сейчас мою скорбь, когда прямые и слабые мои услуги оказались ненужными и грубо отринутыми. Ни в дни утраты моего чудного отца, ни у гроба моей матери, ни на похоронах Львова, ни даже у незабвенных для меня учителей Ильминского и Рачинского я не скорбел так, как скорблю в текущие дни¹. Скорблю граждански, как осиротелый, страдаю жестоко, но все-таки мужаясь, все-таки верю твердо, крепко, верю, не ослабевая ни на одну секунду, поддаваясь горести не малодушной, а более нервно-телесной. Если Бог благословил мой чистейший труд, начатый по заветам моего отца и Ильминского, то не отринется он умною землею, сколько бы ни топтали его там, где этот труд был бы у самого сердца земли русской. И как часто умилялся я и как много раз я благодарил судьбу своего труда, глядя, как добрый царь вставал не в очередь на колена, или усиленнее молился, или чаще и чаще проникался родными, а не итальянскими звуками в родной церкви! Что же делать, дорогой граф, если всю эту мою радость, все это глубокое умиление сердца вырвали из моего простого любящего русского сердца! Стоял я на стезе русского певца, доместика, очень высоко, думал много и с верою поработать на своем месте, и уже началась эта работа успешно в самом удобном месте, у сердца очень доброго, благожелательного, — но не поняли этого ни Александр Дмитриевич, ни Мосолов, ни граф Гейден, как ни старался я втолковать им суть моего служения, как ни очевидна была его искренность и любовь, как ни беззаветен и неусыпен был мой совершенно честный труд в Придворной Капелле. Одно время, казалось мне и друзьям моим, просветлело будущее Капеллы и утвердилось ее спокойное будущее. Граф Александр Дмитриевич сам говорил мне, готовый к принятию моей веры, хорошие, умные речи, но пришел темный враг, загорелась у Александра Дмитриевича придворная близорукая ревность к воображаемому сопер-

ничеству, не поверил он тому сожалению, с которым я гляжу на суету преходящую, — и все пошло на упорную борьбу с воображаемым соперничеством, все было постепенно уничтожаемо и заменяемо своим, близоруким и рассчитанным на свое личное. Я писал Вам как-то, что я не боец в борьбе житейской и не умелый в искусных маневрах. Все мои тщательные попытки, осторожные, деликатные вразумления графа Александра Дмитриевича были приняты грубо, с самым откровенным толкованием всего дела на почве каких-то личных счетов и на моем будто бы противодействии осуществлению его, Александра Дмитриевича, стремлений по службе. Никаким моим уверениям не дал Александр Дмитриевич никакой цены, и дело приняло в его руках характер какой-то ожесточенной борьбы и стремления к победе хотя бы ценою всего будущего Капеллы! О, печальнейшее самоослепление!

Несомненно, что недалеко время, когда Александр Дмитриевич очнется от пыла своей настойчивости и озлобленности, сам увидит всю нелепость своего поведения и грубость греха. Тогда он спросит себя и в глубине души устыдится, а, увидя неизбыточные неурядки в Капелле, бросит ее. Зачем же тогда была вся эта жестокая история? Зачем же весь этот вред, огорчения и прямые злоупотребления? Зачем же и необъяснимая наверху глухота?

Дело мое как чиновника кончено, а как певца, пожалуй, только начинается. Думаю остаться в Петербурге, часто ездить в Москву в библиотеку рукописей Синодального училища и посвятить свои годы и бодрые верую силы «до самой смерти» подведению итогов в области открытий рукописных, которых множество необозримо и очень важно для осмысления периодов русской художественной культуры. Внимание мое не будет развлечено более ничем посторонним, памятование мое в своих же записях нисколько не ослабло, но, в перерыве последних 2 1/2 лет, как-то объединило научные данные, открытые документы в ряд осмысленных обобщений и вполне ясных для меня способов к дальнейшей работе над ними. Хватит с великим избытком этой работы на мою остальную жизнь, исцелит покой такого труда мою страдающую теперь душу и много, пожалуй, если Бог поможет, буду иметь радости в своей работе. Глядя так на предстоящее будущее, имею силы даже теперь, в эти жгучие дни, забыть оскорбления, совершенно простить их, сполна, без воспоминания даже о них, даже с благодарностью за урок! Зато приветствую свой будущий покой и тихий, свободный труд!

Нет времени писать еще. Сегодня вечером продолжу. Мосолов — оказался колесом мельницы, которая может только вертеться на поставленный № размола. Какие там убеждения у таких людей!

Будьте здоровы Вы, дорогой и сердечно любимый граф Сергей Дмитриевич! Отлично понимаю два Ваши слова «потрясен, оскорблен» в тех именно пределах, каковы именно так естественны для Вас. Привет Вам и семье Вашей.

Любящий Вас Ст. Смоленский.

1. Отец Смоленского Василий Герасимович скончался в 1882, мать Евдокия Степановна — в 1894, казанский наставник Смоленского по музыкальной части Леонид Федорович Львов — в 1890, Н. И. Ильминский — в 1891, С. А. Рачинский — в 1902.

К этому письму Смоленского в «Деле о придворной интриге...» подшито письмо А. Н. Нарышкиной из Парижа от 15 августа (№ 28):

Любезнейший граф.

Вчера поздно вечером получила я депешу от бедного Смоленского, извещающую меня о том, что он уволен. Я горячо поплакала от этого действия нашего дорогого Ц[аря], который не устоял против натиска придворных особ. Никто из них музыки не понимает, но они на высоте своего близорукого мышления видят, с одной стороны, неизящного, неловкого человека, высокая душа коего им всегда была бы недоступна и непонятна. В Сарове, говоря о Смоленском, я убедилась, как он низко стоит в их глазах. Но говоря о нем с Государем, я вынесла надежное чувство. Ваш брат вел себя недостойно, уверил даже всех, что Смоленский своего дела не понимает. Сущая ложь!..

Но что нам делать с бедным Степаном? Придумайте, добрый и милый граф!

Материально он не погибнет, но нравственно он убит. Надо нам его поддержать! Не будет благословения Божиего на шалого человека, разрушившего и душу, и дело благое, ибо Капелла со Смоленским сослужила бы службу всей России, воспитав регентов. Все гады туда возвратятся. Но это мне все равно, при Дворе это неизбежно. Меня беспокоит нравственное состояние Степана. Вот уже пострадал буквально за правду, не желая клониться перед мишурным талантом Вашего брата. И что за обращение — это крепостное право, которое могло породить такие характеры. Напишите мне, мой милый, что Вы придумаете. Ведь мы одни у него. Адрес мой: Eaux-Bonnes — Basses Pyrenees — H[ôtel] de France.

Очень я огорчилась таким действием Г[осударя].

Храни Вас Господь! Ни единая слеза не пропадет пред Ним, тем более страдания чистого человека Степана.

А. Нарышкина.

В деле имеется также телеграмма С. Д. Шереметеву от сотрудников Смоленского по Капелле (№ 29):

Оранисенбаум, 22 августа 1903

Глубоко тронуты Вашей нравственной поддержкой дорогого для нас и неоцененного для дела Степана Васильевича, незаслуженно обиженного и потрясенного удалением от любимого дела. Да хранит Вас Бог. Сослуживцы, потерявшие незаменимого начальника руководителя.

Смоленский — Шереметеву

Подольск Московской губ., 23 августа 1903

Добрый и высокоуважаемый Граф Сергей Дмитриевич!

Сидя на Подольской станции, изумляюсь врачебной силе Вашего и доброй графини снисходительного внимания и считаю сердечною обязанностью вновь благодарить Вас всеми силами души моей. Совсем не тот я был всего 2 дня назад — так смягчилась острота прошлого и тепло прояснилось доброе будущее. Бывают действительно в жизни тяжелые дни! Относительное владение собою, вера в правду подвергаются невольным колебаниям и не у таких, как я, а у гораздо более сильных духом. В эти тяжелые дни я нашел в Михайловском ободрение и укрепил свое малодушие. Благодарю Вас от всей души всею мерою моего теперь сокращаемого отдыха. Примусь вновь за труд. Время терять незачем, силы возвращаются. Храни Вас и Ваших Господь всемогущий!

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 30

1. В подшивке писем Шереметева (РНБ) имеется запись Смоленского:

Вечер 21-го и весь день 22-го августа я провел в Михайловском, выехав от графа Сергея Дмитриевича рано утром 23 августа (л. 124).

Судя по Дневнику 4, Смоленский приехал из Петербурга в Москву 21 августа. Он посетил Успенский собор, помолился у Иверской и выехал в Михайловское. Там, помимо разговоров с Шереметевым о своих делах, Смоленский написал превосходный фрагмент о достоинствах унисонного знаменного пения в сравнении с пением многоголосным, который тут же прочел графу в качестве «тематического наброска» первой главы будущей книги (процитирован с некоторыми сокращениями во вступительной статье к Воспоминаниям Смоленского в IV томе серии, см. с. 34-35). Обсуждался также вопрос помощи старообрядчеству (см. далее).

В Михайловском Смоленский слушал за службой местный хор под управлением рекомендованного им графу синодального певчего Ивана Максимовича Ситника и остался доволен. 23 августа утром Смоленский покинул Михайловское; по дороге из Москвы в Петербург он на несколько часов заезжал к Волковым в Спасское.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 25 августа 1903

Сердечно благодарю. Не забудьте Рогожское¹. Шереметев*РНБ, ф. 855, № 30, л. 131. Телеграмма*

1. Имеется в виду Рогожское кладбище в Москве — духовный и административный центр старообрядцев белокриницкого согласия. Из последующих писем ясно, что, наряду с прочими планами, в Михайловском обсуждался проект помощи старообрядцам в получении ими разных гражданских прав; было прочтено обращение московских старообрядцев к новому министру внутренних дел В. К. Плеве, присланное Смоленскому его московским другом (и одним из крупнейших деятелей старообрядчества белокриницкого согласия) диаконом А. П. Богатенко (в других документах — Богатенков). Было решено, что Смоленский встретится с ним и договорится о посещении Рогожского кладбища С. Д. Шереметевым в сентябре.

Суть обращения старообрядцев изложена в документе (машинопись), сохранившемся в подборке писем Шереметева к Смоленскому в РНБ (л. 126—132). Вкратце старообрядцы просили о следующем:

Отменить обращение к старообрядцам как «раскольникам».

Дать им возможность жертвовать на благотворительные учреждения.

А также даровать старообрядцам:

Право иметь собственные школы.

Право заключать браки с православными господствующей церкви.

Право публично исповедовать свою веру и отвечать на недобросовестные обвинения.

Право законно иметь свое священство, официально причисленное к духовному сословию, с вытекающими отсюда правами.

Право приглашать священника к старообрядцам в больницах.

Право погребальных процессий на кладбищах.

Смоленский — Шереметеву

Старый Петергоф, 25 августа 1903, 9 ч. 25 мин. вечера

Успел подробно условиться Рогожском¹. Квартиру радостно осмотрел. Сердечно за все благодарю. Обдумываю статью уговоренную². Новостей нет. Пишу. Смоленский

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 31. Телеграмма

1. 23 августа Смоленский встретился проездом через Москву с А. П. Богатенко, и тот подтвердил возможность посещения Рогожского кладбища Шереметевым.

Это посещение состоялось 21 сентября, для чего Смоленский еще раз приезжал в Москву. В Дневнике 4 читаем:

Посещение затем Рогожского кладбища с III¹ было полно массою всяких впечатлений обоюдных, и на гостей, и на хозяев. Мы осмотрели обе церкви, певческую школу, ризницу, а потом и закусили с шампанским (л. 273).

2. «Уговоренная статья» — «О ближайших практических задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии», опубликованная ОЛДП в следующем, 1904 году.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 25 августа 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня я посетил с женою будущее для меня жилье в Вашем доме и вновь с совершенно растроганным сердцем пишу Вам о чувстве глубочайшей признательности нас обоих¹. Живется, конечно, не весело, но по крайней мере уже и не растерянно, а с глубокою верою в достойное и спокойное будущее.

В Капелле до сегодня все еще нет о моем увольнении никаких известий, хотя мой бывший помощник Н. С. Кленовский уже заправляет Капеллою, ибо граф Александр Дмитриевич уезжает отсюда завтра.

Обдумываю я условленную статью, но испытываю что-то особенное, до сих пор еще неизведенное: то представится все содержание статьи так ясно, так законченно, то вдруг растеряюсь в подробностях мотивировки и утрачиваю ясность всего плана. Объясняю, что голова утомлена, душа беспокойна, ум действует порывисто и напряжение ума обессиленного не может быть продолжительным и сосредоточенно правильным.

С главарем-старообрядцем Алексеем Прокопьевичем Богатенковым виделся с минуты приезда на Курском вокзале и до 3-го звонка на Николаевском. Переговорили подробно и о приеме Вас на Рогожском, и о прощении, душою которого тот же Богатенков. Я знаю этого чудесного человека уже лет 25, он — дьякон их общества и секретарь совета их епископов, — человек очень умный, добрый, высоко-благочестивый, да притом и певец первого разряда. Через него же было устроено посещение на Пасхе². С ним у нас свободный и гостеприимный ход в старообрядстве куда угодно, так за все время нашей дружбы ни одного кособокого слова не было. Я условился списаться с ним заблаговременно перед моим приездом к 20—22 сентября в Москву, чтобы в краткое время можно было Вам увидеть большее и лучшее. Конечно, угостят Вас и старательным «волчьим воем» по крюкам³, поразмыслив сначала, на чем бы именно показать Вам это истовое искусство.

Волчий вой! Как далеко в сторону и как безнадежно к возвращению на родное должен уйти «благоверный» русский князь, откровенно щеголяя такими суждениями! Да и один ли он? Как загубели сердца к этому дивному пению даже и русских музыкусов! Думают они, что подражая выхватываемым кусочкам из наших народных песен, они развивают современное искусство в сторону народного русского искусства — экое полнейшее незнание и заблуждение! Даже не подделка, вызывающая хоть какое-нибудь впечатление воспитывающее, не шаг или полшага вперед, а прямо вредный шаг в сторону, удаляющий от родного и естественного. А между тем как просто, как благодушно можно легким способом сделаться нашим художникам русскими людьми! В молитве, знакомой нам, мы утверждаемся знакомыми словами и поднимаем свой дух до возвышенного настроения, поднимаясь до творчества в мире надежд получения просимого, до веры искренней и до осмысления знакомой молитвы сущей поэзией нашей духовной молитвы ее же словами и вдохновением. Насколько менее озарение наших духовных глубин в житейской прозе в сравнении с силою порыва души, особенно же созерцательной, настолько же и церковные напевы выше наших несравненных народных песен. Каковы же должны быть достоинства церковных напевов нашей святой Руси, столь многострадальной? Ответ ясен. Ясен и способ обновления мышления наших художников: они не подозревают, что невидимые рукавицы у них же за поясом. Надо только явить их и научить художников способу просто понять эту красоту, без всякой учености, а прямо как сырой материал, но учительный.

Вот Вы мне говорили об обиде, высказанной танцмейстером, не пожелавшим обучать русской пляске, — разве не то же самое проявляют и наши музыкусы, мнящие себя даже и проповедниками русского искусства!

Когда я прощался с Вами вечером — принесли депешу, не сразу принятую мною к сердцу, так как я волновался от предстоящей разлуки с Вами и с Михайловским. Здесь я вспомнил про депешу товарищей, порасспросил их, благодаря за участие, и узнал некоторые трогательные подробности о некоторой хитрости этих добрых людей, предусмотрительно телеграфировавших не из Петергофа, а из Ораниенбаума¹.

Когда будут новости — сообщу Вам без промедления, если же что-либо экстренное и серьезное — сообщу депешою.

Благодарю Вас, добрый граф, за все и от всего сердца. Графине и всем — мой поклон и привет. Будьте здоровы, храни Вас Господь!

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 32

1. С осени 1903 и до начала 1908 Смоленский жил во флигеле шереметевского Фонтанного дома (около корпуса справа от входа в усадьбу, где проходили

собрания ОАДП, а ныне помещается инструментальная коллекция). На самом деле первые впечатления от посещения нового жилища были противоречивые: с одной стороны, Смоленские, конечно, были искренне благодарны Шереметеву, но с другой, не могли не отметить тесноту и скромность нового жилища в сравнении с квартирой директора Капеллы; Степана Васильевича более всего огорчала невозможность поставить в новом доме только что купленный им рояль (его пришлось заменить на пианино).

2. Как уже отмечалось выше, Пасху 1903 года государь с семьей проводил в Москве, и Смоленский в качестве управляющего Капеллою сопровождал его с группой придворных певчих. Пользуясь этим случаем, он посетил своих друзей на Рогожском кладбище и, желая быть им полезным, познакомил с московскими старообрядцами Д. С. Шереметева и А. Ф. Гейдена.

3. «Волчьим воем» назвал знаменное пение в разговоре со Смоленским великий князь Владимир Александрович — отчасти в шутку, потому что на самом деле великий князь был хорошо образованным человеком и любил русскую старину, а также высоко ценил пение Синодального хора. Об этом есть запись в Дневнике 4 от 7 июля 1902:

Великий князь Владимир Александрович оказался большим шутником, довольно прямолинейным и весьма вооруженным против «крюков, слышанных им на Валааме, похожих на волчий вой» и т. п. (Дневник 4, л. 18).

Точнее, великий князь считал крюковое пение приемлемым, например, на Валааме, но «странным и бесцельным» в Петербурге, так как оно «игнорирует прогресс целых столетий».

Собственно, «волчьим воем» называл знаменное пение и К. П. Победоносцев, который до знакомства со знаменным распевом в исполнении Синодального хора тоже не одобрял подобного увлечения стариной:

Ах уж эти крюки! Ах, ох-хо-хо этот знаменный распев. Заведут: у-у-у-у-у — конца нет, только что какое-нибудь слово скажут, и опять: ууу-ууу-ууу!

— так передает мнение Победоносцева в своих Воспоминаниях Смоленский (С. 307).

4. Речь идет о приведенной выше благодарственной телеграмме Шереметеву от сослуживцев, которая была отправлена ими не из Петергофа, где находилась летом Капелла, а для «маскировки» с соседней телеграфной станции.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 28 августа 1903, вечером

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

До сих пор еще нет мне «решения», что, ввиду бывшей стремительности в дни 14—19 августа, представляется непонятной медленностью.

Но я все-таки не теряю время, не только обдумывая, но излагая на бумаге условленную статью. Через некоторое время вся статья будет выслана на Ваш суд и совет, так как и содержание, и изложение должны соответствовать условленной цели¹.

Работа несколько развлекает мою голову, теперь повеселевшую, но не имею еще сил отстранить мои душевные боли. Бог даст и это пройдет, так как все более проникаюсь мыслью о будущем многолетнем спокойном труде за рукописями и за констатированием массы уже сделанных находок. В самом деле, пожалуй, «все к лучшему»! Тихий кабинетный труд, вне службы, играл в моей жизни роль как бы санитарную, успокоительную. Теперь этот труд, столь хорошо знакомый и любимый, сделается главным содержанием моей жизни, итогом прошлого и успокоением от всяких тревожений. Я не увлекся бы своим трудом и в моем прошлом, если бы не видел в нем действительно ясные картины нашего художественного удивительного творчества и тот путь, по которому, и только по нему, следует вывести наших музыкантов на русскую сознательную дорогу — свободную и свою. В этом моем убеждении, для меня доказанном неопровержимо, лежит весь смысл моего труда, все счастье моей жизни, весь покой моего духа. Секрет этой дороги так прост для каждого русского, так хорошо явлен в прошлом, разработан во всем богатстве средств нашего творчества, что «явить его миру» в главном руководительном и воспитывающем значении — дело совсем нетрудное. Гораздо труднее доказать эту правду умам руководящим, но достигшим руководства силою нерусской выучки и потому поучающим русских по-немецки или по-католически. Трудно, даже пожалуй невозможно будет ожидать от таких музыкантов способности или даже просто желания вникнуть в чужой, несамостоятельный и несвободный образ мышления и в направление творческой деятельности, столь вбитой у них с детства для деятельности по иноземным и иноверным правилам. Трудность такого как бы самоотречения и отступничества от взлелеянного юным умом и от принятого в систематичной школе я ведь пережил сам и живо помню много лет этого тяжелого умственного горения, как и радость чувства освобождения от пут, радость восприятия родной красоты. В этом смысле я смотрю на труд моих предстоящих лет как на духовное завещание, которое должно быть явлено еще при моей жизни, чтобы остаться, по моей смерти и в областях завещанного, уже бесспорным и доказанным еще при моей жизни спорами со мною же.

Вы хорошо знаете, что я очень недолюбливаю высокоученость, в которой нет практической пользы. Судьба уже вооружила меня по этой части добрую толпою моих учеников, так сказать, отравленных ересью моею с их детских лет к великому недоумению других их учителей-немцев. Есть у меня в запасе и Синодальный хор с его регентами — также моими учениками. Есть у меня и добрые десятки учеников из слушателей Московской Консерватории. Даже в Капелле, где уввы! личное мое воздействие прикончилось так скоро, дело обставлено даже пожалуй и твердо, так как новый Управляющий Н. С. Кленовский — мой давний единомышленник — этнограф, притом убежденный и умный (древнего пения он не знает, однако), да кроме него в Капелле также не без «моих» в остальном товариществе.

При такой, так сказать, «действующей армии» не будет трудно мне корректировать себя на деле и в дружеском неумолимом суде. Московский Успенский собор ныне уже не слышит итальянщины, несмотря на два с половиной года, как меня нет в Москве, да и трудно теперь, пожалуй, представить в стенах этого храма нерусское пение.

Все эти основания дают моей мысли «силу и крепость к продолжению учения сего». Не отрицая надобности чисто исторических разысканий, как бы великоучености в области древнейшей поры, я все-таки полагаю и их только в направлении прямой пригодности к делу живому и животворному. Не те теперь времена пока, чтобы наслаждаться слишком отдаленно-пригодным, хотя и не отрицаюсь и от утверждения для будущего многого из имеющегося готовым и обследованным.

Вот мои суждения, высокоуважаемый граф, с которыми я готовлюсь к будущему труду. У меня уже написана мотивированная сортировка рукописных исследований по группам, в которой кратко указано, что именно имеется в виду получить для общего смысла работы от каждой группы рукописей, сортируемых и по векам, и по содержанию, и по местонаписанию.

Не скрою от Вас великого благодушия, с которым пишу Вам. Так велика моя вера в этот труд надобный и так ясны мои мысли о доступности его исполнения даже и моими силами! Если действительно Бог ведет наши жизни к лучшему, не справляясь о нашем о том мнении, то я прямо предвкушаю будущий лучший по покою, достоинству и полезности период моей жизни, совершенно забываю минующие боли и печали, совершенно ликую от укрепляющегося восстановления. Что может быть выше ясности в будущем и свободы в настоящем?

Обсуждаю и возможность осуществления будущего «особого поручения». Неужели кроме служения науки, кроме силы моей веры в надобность моего труда, не поможет и то положение вынужденной и незаслуженной мной отставки, за которую не может не устыдиться Царево сердце? Ведь не будет же это особое поручение синекурою? Ведь можно же ждать от скромного моего труда пользы будущему времени?

Пишу эти строки 29-го утром, а возы с имуществом уже выехали с дачи в Петербург. Увижу ли еще милый Петергоф, в котором было пережито так много!

Вам — мой глубоко благодарный поклон от всего моего благодушного сердца и — по-старинному — «метания три». Боярыне-матушке — тож. Да хранит Вас Бог!

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Жена всею душою благодарит Вас за депешу, полученную ею по моем и после ее возвращения из поездки. Как ни часто плачет моя милая Анна Ильинична, но и ее вера окрепла и ее надежды стали тверже, а любовь — та же, как и прежде.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 33

1. В этом письме и дальнейших письмах 1903—1904 годов речь идет о двух пересекающихся, но не тождественных замыслах, которые, по всей вероятности, обсуждались Смоленским и Шереметевым во время их свидания в Михайловском. Первый из них — обзор проблем и программа изучения древнерусского певческого искусства, которая могла бы осуществляться в рамках деятельности Смоленского и других ученых в ОЛДП («статья для Общества»). Второй замысел — текст, связанный с «особым поручением», или, иначе, текст «записки для государя», которую Шереметев намеревался представить Николаю II. Первый проект имел следствием большую статью «О ближайших практических задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии». О развитии второго проекта см. в следующих письмах и в Приложении к книге.

К этому письму в подшивке писем Смоленского (РГАДА) присовокуплено обращенное к графу письмо А. Н. Нарышкиной из Франции от 29 августа (№ 37):

Добрейший граф.

Я таким уважением, такую сердечную любовью воспламенилась к Вам, что я должна это Вам высказать. Ваш поступок с моим бедным Смоленским так благороден, что я преклонилась пред Вашим высоким духом. Вы надеждою возвращаете ему жизнь и этим пред Богом заглаживаете великий грех неправды Вашего несчастного брата! Ибо безумный всегда несчастен. В России многие радовались, что Капелла со Смоленским очистит церковное пение и сформирует регентов! И все это пропало! Как бы нам поднять это пение, которое имеет такое же великое значение, как иконы!

Но я за Смоленского пострадала! Государь, ангел доброты, верно крепко мне простит мое неуместное заступничество, но с Вашей невесткою — война объявлена! Чтобы мне отмстить, она официальным письмом меня извещает, что оставляет общежитие Св. Ксении, которое мы с нею вели столько лет! Это мое слабое место, потому что горячо люблю это столь полезное дело. Пишу теперь,

молю Великую Княгиню Ксению уволить меня, но оставить графиню. Ссора с графиней Марьей Федоровной мне очень горька! Но я горяча, не смогла смолчать.

Храни Вас Господь, дорогой и глубоочтимый граф. Вашей супруге мой сердечный привет.

А. Нарышкина.

Общежитие св. Ксении — приют для женщин «легкого поведения», который, как явствует из письма, патронировали супруга А. Д. Шереметева и А. Н. Нарышкина.

Великая княгиня Ксения Александровна (1875—1960) — сестра императора, супруга великого князя Александра Михайловича.

Шереметев — Смоленскому

Вороново, 30 августа 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Спешу ответить на любезное письмо Ваше, которое меня порадовало видимою переменою Вашего настроения. В общем, конечно, нам с Вами радоваться нечего: все же известный факт налицо, а с ним и печальные его результаты для дорогого нам дела. Все же Вы не убедите никого, что переменна эта обозначает и *перемену направления*. Что пользы, что хозяин думает иначе, если дальше платонического сочувствия дума эта не идет. Не довольно говорить о своем сочувствии, когда факты помимо воли его свидетельствуют противное¹.

Но и при этом печальном сознании *унывать нельзя*, а нужно из него же извлечь неожиданную пользу для того же дела и извлечь так, чтобы торжество иноверцев, торжество пришельцев, иноземцев, перешедших наш порог, в особенности немцев, было бы не полное. Ведь и Бородинский бой казался победою для французов и после него они даже заняли Москву, но не будь Бородина, не было бы и причины разложения их армии и изгнания из России.

Не знаю, удобно ли будет предлагаемое Вам помещение; опасаясь за тесноту и полагаю, что необходимы приспособления; но придаю свое значение Вашему водворению около О.Л.Ц.П. как базиса для дальнейших действий — и для наступления со стороны неожиданной, под тем же стягом, но с большею свободою действий и с большею, то есть полною самостоятельностью, и без посредствующих элементов, заслоняющих Ваше *приближение*. И когда последнее станет живым и убедительным, то оно и обозначит, что дело живо и не проиграно даже с точки зрения внешней. Вот к чему мы должны стремиться и вот для чего нужно *прямое наступление*, и притом с таким оружием, которым владеете *вы один*. С ним поневоле придется считаться.

Все печатное должно быть представлено пред светлые очи и всякое объяснение должно быть дано с полною откровенностью, дабы все дело приняло

характер осуществления того, что некогда говорилось: «в новизнах твоего царствования нам старина наша слышится».

В силу последнего Ему должно быть известно и Ваше отношение к тому миру, в который Вы должны в Москве так скоро проникнуть². Это будет новая точка сближения и усиления интереса. Параллель с другими отделами того же направления — желательна. Область искусства растяжима, и известный отпечаток желательно расширить, придавая всему характер *возрождения*, связываемого с известною, определенной эпохой! Помните, что времена «декадентства» не так бывают далеки от годов «возрождения», — а мы уже дошли до *последних* пределов обезличения и падения! Уже секира при древе...

Да послужит хорошим предзнаменованием, что пишу Вам в сегодняшний день — памяти дорогого Царя. Помните, что была Россия 2 марта и чем она стала к 20 октября после 13 лет!³ След[овательно] *унывать* нельзя.

Итак, вперед — и да расточатся врази!

Сердечно преданный С. Шереметев.

Жена вам очень кланяется.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 132—135

1. В первом абзаце речь идет о «направлении» царствования Николая II, которое, по мнению Шереметева (и не его одного), все более уклонялось от заветов Александра III.

2. Имеются в виду контакты Смоленского с московским старообрядчеством.

3. 30 августа — день именин императора Александра III (св. благоверного князя Александра Невского); 2 марта 1881 — первый день правления этого императора, 20 октября 1894 — день его кончины.

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, 31 августа 1903

Высокоуважаемый Граф Сергей Дмитриевич!

Сейчас случайно встретил я члена совета Министра Двора Гофмейстера Серг[ея] Елеаз[аровича] Смельского, очень ко мне благоволившего все время и близко знающего Капеллу, так как после его ревизии последовало увольнение Аренского. Конечно, мы разговорились и он мне сказал следующее:

«В вашем деле действительно разыгралось что-то роковое, всем непонятное, всеми отрицаемое, но тем не менее восторжествовавшее. Министр наткнулся на несокрушимую скалу — имя и достоинства рода Шереметевых, столь любимых Государем. Граф Александр Дмитриевич уверил Государя, что вы ничего не делали, что последние успехи Капеллы вызваны только теми занятиями, которые, наконец, граф Александр Дмитриевич был вынужден

лично взять на себя, то есть, кроме руководства хором, ведение всех дел и личное распоряжение всем; что ему обеспечил легкую победу Ширинский и его родня у Императрицы Марии Федоровны, более всего уговорившие последнюю также встать на сторону графа Александра Дмитриевича, хотя и вынужденно; что моя отставка прямо имела в виду мое возвращение после того упадка, в который скоро и неминуемо должна прийти Капелла, и что по возвращении моем положение будет уже совсем авторитетно, так как по слухам столь понравившийся Государю эту зиму Архангельский отказался от места регента Капеллы».

Я возразил: 1) Непонятное, всеми отрицаемое — только одни слова, так как все, в том числе и Ваше Превосходительство, знали и знаете: как я работал прежде и как за короткое время удалось мне выправить Капеллу и поставить ее успехи на прямую и верную дорогу; знает это и Мосолов, и Министр, и мои товарищи и певчие, причем все последние видели, как я трудился с утра до вечера; знает это и сам Александр Дмитриевич, знает даже и Ширинский. 2) Наивно утверждать, что приезды на одну спевку перед службою улучшили то дело, которое прежде всего держится воспитанием внутренней дисциплины и затем уже вдохновением талантливого учителя и дирижера. 3) Я совершенно бессилен противостоять мастерству Ширинского и его родни в умных клеветах, но только и укажу, что «неуживчивость» моя простерлась до девяти лет терпенья Ширинского, а «неуменье» мое дважды уже доказано на Синодальном хоре и Капелле. 4) Возвращение мое в Капеллу почти невозможно, так как талантливые работники либо уйдут из Капеллы заблаговременно (как сейчас уже собираются уйти пятеро — лучших), либо будут изгнаны; вследствие такой убыли известных людей, как и под впечатлением от моего увольнения, другие даровитые люди остерегутся принять службу — наберется поэтому всякая посредственность, с которою восстановление дела в десять раз труднее, — сам я не могу не чувствовать обиды и не могу не считать порванными все те струны, которыми был я так сердечно связан с Капеллою; взяв решение посвятить свои последние годы науке, я пожалуй *еще мог бы остаться в Капелле в случае неприятия моего прошения об отставке*, чтобы спасти тем и пропадающего без толку моего преемника Кленовского, и моих товарищей, продолжающих пребывать в ужасе и изумлении от начавшихся расстройств; недоумевая о непонятной волоките дела о моем увольнении (до сего часа известия о нем нет), я безусловно решил, если увольнение состоится — не возвращаться на службу, а отдать себя устройству итогов в сделанных мною рукописных разысканиях.

Беседа наша продолжалась около получаса, и Смельский сказал мне: «Знаете ли что? — я напишу сегодня же Министру». Я ответил: «Это я считал бы пока за лучшее, так как при всей моей вере в хорошее будущее и без службы, я все же очень жалею Капеллу и ее ближайшие неустройства, —

впрочем не прошу Вас, полагаюсь на ваши собственные соображения и свою справедливость. Г-н Министр знал и должен был знать и быть справедливым не только как человек, но и как чиновник, как слуга Государя. Министру я доложил лично и подробно, и он должен был по службе честно вступить за правду до доведения дела к кризису, так как Капелла слишком близка к Государю и дело о моем увольнении было до очевидности ненадобно и несправедливо».

На этом мы расстались. Теперь я нахожусь на Мойке, 20 — занимаюсь с значительно успокоившимися нервами разборкою бумаг покойного Юрия Карловича Арнольда¹; продолжаю обдумывать дело о газете², очень уже обрисовывающейся по совещании с товарищами. Один из них, Антонин Викторович Преображенский — отлично толковый и работающий, умный и любящий дело, готовит работу и для Общества Любителей Древней Письменности — конечно, по древнему пению³. Он — более историк, хотя и певец-музыкант, очень знающий и образованный. Записка моя эти два дня стояла без движения, так как переезд из Петергофа утомил меня, а бумаги Арнольда надо возвратить. Но это промедление не задержит все-таки своевременного, то есть к 20 сентября ее изготовления, так как смотрю на это дело как первостепенно важное.

Полагаю о разговоре со Смельским как о совершенно случайном, что еда ли он и напишет Министру, — но в то же время невольно думаю: что значит промежуток в 17 дней от подачи прошения, оставляемого без ответа? Как странна была торопливость требования прошения и как малообъяснима теперь медленность!

Вашим и Вам мой глубокий поклон и привет. Я так привык теперь писать Вам, — так же как когда-то незабвенному Сергию Александровичу, — что странно мне не писать Вам 2—3 дня и тяжело не получать от Вас хотя бы краткого известия. Храни Вас Господь!

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 34

1. Арнольд Юрий Карлович (1811—1898) — теоретик, композитор, педагог, автор духовно-музыкальных композиций и исследований по древнерусскому и византийскому церковному пению. Смоленский был хорошо знаком с Арнольдом; между ними в последние годы жизни Юрия Карловича велась оживленная переписка (письма Арнольда сохранились в подборке писем к Смоленскому московского периода в ОПИ ГИМ, а письма Смоленского — в архиве Арнольда в петербургском Институте истории искусств). В письме к Н. Ф. Финдейзену от 31 августа 1903 Смоленский приглашает его познакомиться с находящимися у Степана Васильевича «весьма интересными бумагами» Арнольда. В дневниковых записях этого времени упоминается посещение тяжело больной родственницы Арнольда — Анжелины Карловны Арнольд-

Видеман (скончалась 19 сентября 1903) и разговор с ней об «устройстве книг и бумаг» покойного ученого.

2. См. дальнейшие письма.

3. Антонин Викторович Преображенский в эти годы стал ближайшим другом и самым преданным последователем Смоленского; упоминаемая его работа для ОЛДП — «Вопрос о единогласном пении в русской церкви XVII века» опубликована в серии «Памятники древней письменности и искусства» в 1904 (Вып. 155).

Смоленский — Шереметеву

Петергоф, [после 30 августа 1903]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сию и думаю о Вашем письме¹, которое чувствую очень глубоко, но как-то не вполне, не всю мерю его истинно возвышенного содержания; чувствую сильно и больно, частью успокоительно, радостно, — но печаль все-таки напоминает о себе, как ни светло, как ни освобожденно и тихо-спасительно глядится вперед.

Гляжу на Капеллу по отношению к ней самой и по части потери ее мною: тяжело уже сейчас видеть начавшееся безначалие и непорядок, начавшиеся проявления притихших было темных сил, не осмеливавшихся тревожить хороших работников; тяжело видеть сборы на сторону некоторых талантливых людей, уже приглашенных людьми, ценящими их дарования; тяжело чувствовать ушедшую из Капеллы, но несомненно уже бывшую в ней светлую, благодушную работу, энергичное, дружное, одушевленное товарищество... Несомненно утрачено мною то, что уже давало в руки многое и было бы вскоре отличным средством также для очень многого, да и какое еще отличное средство-подспорье! Невыразимо жалка мне с этой стороны утрата Капеллы. Даже и в наилучшем ходе будущего — все-таки — какое могучее подспорье для дела могла бы дать та же столь авторитетная в прошлом, горемычная Капелла! Совсем подходяще Ваше сравнение с Бородиным, — но какой это все-таки горький пример и какой дорогой!

Я совершенно полон веры в спокойное и достойное мое рабочее будущее. В самом деле, может быть, судьба вовремя разлучает меня с Капеллою, указывая деятельность более полезную, хотя бы и не для ближайшего, непосредственного будущего. За последние две недели много было продумано мною совершенно строго и искренно, и я пришел к спокойному решению, обдуманному плану научных работ и деятельности по части сообщений о их движении.

Прежде всего — каталогические работы, которыми можно было бы установить весь арсенал нашего обиходного древнего пения, столь бедно по корректности и столь миниатюрно по объему представленного в наших Синодаль-

ных изданиях. Этот самый важный из краеугольных камней нашего пения и самый богатый источник для будущих наших работников-художников уже разработан мною в такой степени полно, что осталось очень немного для приготовления его к *предварительному* напечатанию, которое я думал начать еще года четыре назад в виде только литографическом, в количестве может быть 50—100 экземпляров. Уподобляю такое предварительное издание, совершенно дешевое и автографическое, той же надобности выстояться, как то потребно для нового дома, для доброго вина, для озимого хлеба. Механическая работа каталога мелодий нашего Обихода должна быть одухотворена подстрочными примечаниями к означению мелодий в прошлом и к возможному использованию в будущем. С одной стороны, это певческий «Лицевой сборник», с другой же, не только школа, но и просветление для будущих художников. Механически эта работа огромна, духовно — еще большая, и я совершенно счастлив, что большая [часть], почти $\frac{9}{10}$ этой работы уже сделана мною в прошлые годы, а механическая готова совсем. Отдых первый от той работы уже был, и имею теперь возможность приступить к ней с совершенно свежими и бодрыми силами².

Затем — безусловно необходимое издание *ветхой* рукописи, уцелевшей в одном экземпляре — «Муסיкия» диакона Иоанна Коренева XVII века, хранящаяся в Обществе Истории и Древностей³. Этот капитальный труд русского ученого теоретика был широко эксплуатирован в компиляции известного Дилецкого и есть, безусловно, № 1-й в ряду ступеней изъяснения *нашего* певческого искусства с научной стороны. Считаю Коренева несравненно выше Дилецкого и за русского, несравненно менее подчинившегося польскому художеству, чем Дилецкий, и за учителя всей русской школы, столь много давшей до нашествия первых итальянцев.

Друг мой А. В. Преображенский, ныне библиотекарь Капеллы и неутомимый работник по истории русского певческого искусства, хотя и крепко приуныл, но все же готовит Обществу Л. Д. Письменности солидную работу о «единогласии» (в смысле документов, свидетельствующих стремление искоренить бывший обычай сокращать церковную службу одновременным чтением и пением «по нужде в 2 и 3 голоса, инде же 5 и 6») и о «хомонии». Множество вещей у Антонина Викторовича — сущие новости, так как по части копания в архивах он мастер очень умелый.

Но умолчу о дальнейших своих теоретических работах, так как ведь это письмо ответное. Смотрю я на будущую близость к Обществу Л. Д. Письменности как на тихую свою пристань, в которой действительно сбережется много моих сил для дела хорошего, плодотворного, а представление «пред светлые очи» «новизны, в коей старина наша слышится» уже теперь глубоко радует мое сердце.

И вот почему: не один уже раз я разбирал бумаги после покойных трудолюбцев, — таковы были Ильминский, князь Одоевский, Разумовский, а сей-

час Арнольд⁴. Сколько в них начатых работ, сколько недоговоренных слов, сколько недописанных мыслей! А ведь как они работали и как любили! Вот мне выпадает иное счастье — работать и прямо проводить в жизнь свои заветные думы — разве это не окрыляет душу, разве не веселит сердце и не добрит ум? Зачем же уныние, хотя бы и невольное и причиненное, при таком редком счастье? Прочь эту слабость — вера сильнее!

И я глубоко любил Александра III, мужественно вставшего на обе ноги по-русски, мужественно и здравомысленно, не без доли упрямства, твердившего упорно, что мы русские и в старине нашей много учительного для нас же. Доброе Его сердце чувствовало живо, и недаром Он плакал, читая умиленную молитву при венчании на царство, недаром Он так любил Москву, недаром так легко отряхал иноземные тонкие паутины! Хороший был царь — самый заправский! Очень мне нравилась в Нем неречистость в сравнении со столь много болтавшим тогда соседом-немцем, — а дела сделал все-таки очень много и сильно. Но что же делать, если не дал Бог веку! Ведь и струя Александра III, как бы впадшая теперь в уклонение, как от впадения в большую реку большого притока, все же течет, и главная вода большой реки лишь приняла иную воду — не более, а река все была и будет русской. Да и может ли быть иначе? Какие бы бури и половодья, затишья и засухи ни случались, все-таки Волга останется Волгой-матушкой, несмотря на вновь появившиеся перекаты и отмели. А уж она ли не многострадальная? Уж на что было тяжела сгоревшая мученица Москва с поругателями французами, а ведь живем же и мы, радуясь быломu недавно и любясь прекрасному родному будущему?

И посему повторяю всею силою моей твердой веры хорошие слова Ваши: «унывать нельзя — вперед, да расточатся врази».

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Графине кланяюсь и вновь благодарю.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 36

1. Имеется в виду письмо Шереметева от 30 августа.
2. О «каталогических работах» Смоленского см. во вступительной статье к тому.
3. «Муסיкией» Коренева Смоленский занимался все последующие годы, и она была издана ОЛДП посмертно (см. подробнее далее).
4. Говоря о разборе архивов Одоевского и Разумовского, Смоленский, возможно, имеет в виду и ту часть наследия Разумовского, которая попала в Синодальное училище (ныне хранится в ОПИ ГИМ), и основной архив протоиерея, который ныне находится в РГБ. Смоленский мог ознакомиться и с архивом Одоевского, переданным после смерти Одоевского в 1869 в Московскую консерваторию, однако никаких следов деятельности Смоленского в огромном музыкальном архиве князя, относящемся к последним годам его жизни и ныне находящемся частично в Московской консерватории, частично в ГЦММК, частично же в РГБ (певческое книжное собрание), не обнаруживается.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 1 сентября 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Большое Вам спасибо за письмо, как и всегда оно полно интереса и уносит в особый мир, таинственный, привлекательный и родной. Дай Бог в добрый час начать и провести дело.

А как Вы объясняете себе странную медлительность после судорожной торопливости? Каким образом Капелла может остаться до сих пор официально не уведомленной о таком крупном событии в ее жизни? Темно и баснословно — как история мидян¹.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш С. Шереметев².*РНБ, ф. 855, № 30, л. 136*

1. «История мидян» — выражение из очень тогда популярной «сцены» актера, рассказчика и писателя Ивана Федоровича Горбунова, давнего знакомого Шереметева; по другим источникам выражение «темна, как история мидян» восходит к гимназическому учебнику истории Иловайского.

2. К этому письму в подборке писем Смоленского (РГАДА) присовокуплено переданное Шереметевым Смоленскому послание к графу дворцового протоиерея Петра Алексеевича Смирнова (одного из членов-учредителей Общества ревнителей) от того же 1 сентября, проливающее дополнительный свет на причины увольнения Смоленского (№ 35):

...За что пострадал Смоленский, пока не знаю. Слышал я, что он был очень строг и взыскателен, особенно по отношению к регентам частных хоров, и имел столкновение с неким Азеевым, регентом хора в Церкви Аничкова дворца, который якобы даже жаловался на него Императрице [Марии Федоровне]. Слышал это от лиц неважных и веры сему не даю. Ваше заступничество за лиц, Вами рекомендованных, и [помощь?] одному из лиц, Вам душевно преданных, весьма отрадны. Подумалось: «за Мене заступивши...»...

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 3 сентября 1903

Дорогой Степан Васильевич.

И я к Вашим письмам привык и они меня радуют и утешают. Пожалуйста продолжайте, к тому же вопрос становится все интересней и узел завязывается презапутанный. То, что Вы мне теперь пишете — необычай-

но. Глупа во всем этом — роль Ф[редерикса]. Ведь он же хозяин своего хозяйства, его дело было предупредить возможность разрыва и тем оказать двойную услугу лицам и ведомству, не говоря уже о третьей — главной. С[мельский], о котором Вы мне пишете, — мне совершенно не известен.

Понимаю все переживаемые Вами ощущения и желаю Вам скорее заступить за письменный стол, имея перед собою яблони и древлехранилище. Простите, тороплюсь, будьте здоровы и благополучны.

Сердечно преданный С. Шереметев.

Радуюсь, что зреет вопрос о журнале. Раз что существует «Изограф», почему не быть «Доместику»?¹ Впрочем, как хотите.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 137

1. «Изограф» — журнал иконографии и древних художеств, издаваемый И. Красницким — выходил в Петербурге в 1882—1884 (всего семь выпусков). В первом выпуске программа издания определяется следующим образом:

Поставив свою задачу в издаваемом нами журнале познакомить современное общество с разными памятниками древнего иконописания, письменности и христианских искусств и озаглавивая его именем «Изографа», не излишним считаем, прежде всего, передать, что «изографом» в старину назывался мастер церковной живописи, посвятивший себя исключительно изображению святых, по правилам и образцам древнего византийского иконописания.

Издание имело большой формат, было прекрасно иллюстрировано репродукциями икон, гравюр и книжной графики; содержало многочисленные указания для современных иконописцев.

Программу журнала «Доместик» Смоленский подробно излагает в одном из следующих писем. Этому посвящен и ряд записей в Дневнике, например, от 9 сентября:

Продолжение переговоров с А. В. Преображенским об издании певческой газеты <...> Ш⁴ предлагает [название] «Доместик», подобно тому как существует «Изограф» (Дневник 4, л. 252, 266).

Вскоре появляется и разработка программы

двухнедельного журнала, посвященного вопросам древнего и нового русского богослужебного церковного пения, а также и школьного пения <...> с иллюстрациями, крюковыми или нотными приложениями (Дневник 5, л. 4).

Идея периодического издания по церковному пению осуществилась, как известно, лишь в 1909, незадолго до смерти Смоленского, когда начал выходить журнал «Хоровое и регентское дело».

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 4 сентября 1903

Высокоуважаемый Граф Сергей Дмитриевич!

Пишу на этом листке, подвернувшемуся под руку; пишу и потому, что еще непонятно медленностию в моем деле сохраняется возможность номинально быть Управляющим Капеллою, хотя фактически проделывается вместо меня другими «нечто неподобное», может быть и невольное — не знаю толком.

Благодарю Вас за письмоце, хотя и краткое, но ласковое и теплое. Так облегчают меня Ваши письма!

Не помню, писал ли я Вам, что в день моего переезда в Петербург меня пригласил к себе Саблер по телефону. При свидании последовали бесплодные расспросы и то, о чем сказал еще Пушкин о поэме Ширинского-Шихматова: «и тяжки словеса пустые»¹. Саблер очень просил мои гармонизации древних роспевов и композиции для «вящаго распространения славы их» при журнале «Церковные ведомости», издаваемом в числе 42 тысяч экземпляров. Я, конечно, напомнил ему, что я уже дважды снабдил Св. Синод своими партитурами², что я отнюдь не композитор и потому мои партитуры лишь случайны, так как стесняюсь по своей малой в этом деле технике становиться самовольно в первые ряды; да к тому же, прибавил я, и взгляды мои более археологические, совсем уж не новомодные, хотя я и полагаю их имеющими будущее.

Но вчера, 3-го, вдруг получаю вновь приглашение прибыть в Синод — на этот раз «к самому», то есть, как Вы называете, Кир-Константину. Принят был вскоре и очень предупредительно. Разговор зашел на тему об инспекторе чувашских школ в Симбирске г. Яковлеве — великом человеколюбце и просветителе чувашей³. Министерство Народного Просвещения с большого ума взяло да и закрыло его должность в июне сего года. Я, близко знающий дело просвещения поволжских инородцев по системе незабвенного Ильминского, возмущен столь сильно, что написал Константину Петровичу [Победоносцеву] письмо, прося его вступить в спасение дела, погубяемого умниками Министерства. Они выдумали возможность сепарации, наивно считая чуваш за финляндцев, мордву за латышей, черемис за поляков и забывая, что прямо толкают сами этих юных и наивных православных в хитрые ковы ислама.

Конечно, К. П., сначала было отозвавшийся тупостью Министерства, вскоре вступился в это вопиющее и нелепое гонение и уже начал отстаивать инородцев энергично. Конец разговора, однако, оказался «совсем из другой оперы».

«Да, да! Слышал и я об истории, которая стряслась над вами в Капелле! Тяжело, пожалуй и невозможно служить с таким крутым характером; это совсем не то, что осторожный его брат, граф Сергей Дмитриевич. Ну, а что же вы теперь будете делать? Как вас устроят? пенсию, что ли, или причисляют к Министерству [Двора]? Вот теперь, по-моему, и приходит вам самая пора заняться любезными рукописями. Есть у вас тут горячий почитатель Дм. Ник. Соловьев⁴ — он все настаивает, и давно, уж лет 5, еще до Капеллы, чтобы устроить вас профессором Академии. Надо, говорит он, прямо создать кафедру истории церковного пения, благо Смоленский еще в силах и охотится работать. Я сочувствую этому очень, только откуда возьмем мы денег, да и потом в Академии развелись партии. Вот сейчас вы будете свободны, — если подумаете, ступайте к ректору Епископу Сергию прямо от моего имени и также напишите Митрополиту Антонию⁵, а я переговорю с Саблером насчет устройства дела здесь из Синода».

Я ответил Константину Петровичу, что хотя и весьма благодарю за внимание, но мне надо подумать об ответе, так как я не думаю оставаться на службе, а жить в отставке своею пенсией. Поэтому от профессуры казенной, на службе, я прямо отказываюсь теперь же, о чтении же частных лекций дам ответ некоторое время спустя, по возвращении вашем (то есть К. П.) из Крыма, около конца сентября.

Конечно, я дал такой ответ, имея в виду спросить Ваше мнение и указание Ваше, чтобы не нарушить целостность плана будущего. Обсуждая, однако, предложение, я нашел в нем такие доводы за и против:

За: 1) Готовый у меня и испытанный уже курс в 46 лекций, читанный в Московской Консерватории⁶; конечно, в этом курсе следует сделать перемены, расширив некоторые параграфы ради лучшего знания студентами Академии русской церковной истории, древней литературы и древних напевов; некоторые же параграфы следует сократить ради незнания теми же студентами музыки.

2) Прóдух моей головы чтениями и возможность регулировать подробности курса постоянными новостями из моей кабинетной работы были всегда мне симпатичны и очень бодрили меня к работе.

3) Нигде нельзя найти более подходящих продолжателей моего дела, как именно между академиками, которых и учат серьезно, которых и отбирают в Академию строго и тщательно. В связи с этим и будущее основание новой кафедры истории русского церковного пения, пожалуй, имеет значение существенное и благонадежное.

Против: 1) Попы, монахи, Саблер, Кир-Константин etc., etc., etc. — атмосфера довольно мною выстраданная.

2) Неясный намек на какие-то «партии» в Академии и надобность еще «переговорить с Саблером», и даже не «журавли в небе», а так что-то, ни то, ни это.

3) Неувольнение мое пока и невыясненность хотя бы приблизительная моего будущего, которое для меня, конечно, важнее всякой профессуры.

Вот какие дела!

В Капелле собираются отправить за границу 20—25 певчих, а потому и хлопот много⁷. Догадок и всяких предположений о замедлении моего увольнения — того больше, а всяких проектов в самой Капелле — совсем уж много. Все это стало, однако, очень далеким от моего сердца, много пережившего и горевавшего в последние три недели.

*

Сию минуту, 3 ч. дня, в № 197 «Правительственного Вестника» от сего числа: «Увольняются от службы: согласно прошению Управляющий Придворною Певческою Капеллою Действительный Статский Советник Смоленский с 17 августа».

Этот самую свежую, хотя резанувшую по нервам новостью заключаю письмо, чувствуя себя спокойным в моей совести перед делом, перед Государем и перед окружающими Его недобрыми людьми. Дай Господи мир душевный и графу Александру Дмитриевичу, ибо предвижу для него скорые разочарования и больное ему неизбежное наказание от дел его. Совершенно жаль мне его! О потере места не скорблю нисколько, с верою и радостью глядя на свободное и достойное будущее.

Вам спасибо за все прошлое и предстоящее. Поклон мой графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 38. На бланке управляющего Капеллой

1. Саблер Владимир Карлович — товарищ обер-прокурора, впоследствии (с 1911) обер-прокурор Св. Синода — хорошо знал Смоленского еще с казанских лет, а затем по службе в Синодальном училище. А. С. Пушкин имел в виду поэта князя Сергея Александровича Ширинского-Шихматова (1783—1837).

2. Имеются в виду следующие издания, вышедшие как приложения к журналу Св. Синода «Церковные ведомости»: «Главнейшие песнопения Божественной литургии, молебного пения, панихиды и всенощного бдения, переложенные для хора мужских голосов Ст. В. Смоленским» (1893) и «Ектении и некоторые краткие песнопения на Божественной литургии... Переложение Ст. Смоленского» (1900). Подробнее см. в Приложении к переписке с К. П. Победоносцевым.

3. Яковлев Иван Яковлевич (1848—1930) — крупный чувашский педагог, хороший знакомый Смоленского еще по Казани; вопросу просвещения поволжских инородцев по системе Ильминского посвящена специальная работа Смоленского, изданная Обществом ревнителей русского исторического просвещения в 1905 (Вып. XIV). Эта тема развивается в последующих письмах.

4. Дмитрий Николаевич Соловьев (1843—1909), преподаватель пения, публицист, автор духовно-музыкальных переложений, в то время был директором канцелярии

обер-прокурора Св. Синода. Выступал за введение знаменного пения в программы духовных учебных заведений. Возглавляемый им хор петербургского Братства во имя Пресвятой Богородицы открывал собрания Братства, обычно проходившие на квартире К. П. Победоносцева, унисонным пением древних роспевов, что не вызывало энтузиазма у хозяина дома.

5. Епископ Сергей (Иван Николаевич Страгородский) — в будущем местоблюститель патриаршего престола и патриарх Московский и всея Руси, в то время ректор Петербургской духовной академии (см. далее его письмо к Смоленскому); митрополит Антоний (Александр Васильевич Вадковский) — митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский (с 1898).

6. Полная рукопись консерваторского курса впоследствии оказалась утраченной (см. в переписке с Волковой).

7. Посылка певчих Капеллы в Германию, в Дармштадт осуществлялась в связи с пребыванием там государя и членов царской семьи; певчими Капеллы руководил ученик Смоленского П. Н. Толстяков.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 5 сентября 1903, утром

Благодарю письмо. Продолжаю удивляться. Советовать трудно. Хорошо бы соединить оба дела¹ имеющие между собою связь. Напишу когда разъедутся гости прибывшие празднику². Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 139. Телеграмма

1. *Примечание Смоленского:* то есть Каталог и Коренев.

2. Осенний праздник семейства Шереметевых — «Михайлово чудо» (престол храма в Михайловском).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 6 сентября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Мысленно приветствую в Михайловском и молюсь в храме, чувствуя Ваш праздник. Ведь и такое теплое, сердечное общение не есть ли остаток далекой русской старины, невольно соблюдаемый нами по далекому же преданию от приходской-общинной когда-то жизни, единившейся в такие праздники? Вот и у Вас в Михайловском наверно молебен будет после литургии и никто не уйдет от него, а здесь молебен служится до литургии, чтобы не утратить и не задержать излишне! О, немцы на Руси! Вдруг мне почему-то

вспомнилось признание одного беглого ссыльного, сделавшего тысячи верст пешком и в праздник родного села поспевшего из лесу, с пригорка, посмотреть на родной храм, услышать звон родного колокола, увидеть издали родную крышу. Сердце его не вытерпело: он пошел в родную церковь, затем уже «законы» начали действие... Но сколько пережила эта хотя бы и грешная душа в краткий час до ареста, когда он все-таки повидал отца и мать, успел благословить детей! Кто бы, кроме закона и немца, не исцелил эту душу грешную в такие минуты?

Благодарю Вас за депешу. Соединение двух работ одновременно, конечно, вполне возможно, так как каталогическая работа над обиходными мелодиями требует одних усилий, более же всего памятливого сближения и сопоставления, выяснения изменений и роста частных напевов по географическим влияниям; совсем другие усилия ума надобны для «Музикии» Коренева, где шаги разных культур, разбор сочинителем разных художеств сближаются на почве наилучшего их приложения к новому порыву русских песнотворцев XVII века. Порыв этот был только упорядочен и умно направлен Корневым, а плеяда русских композиторов от дьяка Василия Титова пошла несомненно по указанной дороге. И здесь дело идет ведь не о пустоте, а о том огромном числе напевов, которые живы до сих пор, стали народны, после того как с вдохновений этих чисто-русских людей сила народного ума и суда сбросила мишуру модной тогда польской школы, а русский остов прочувствованной, простой мысли заставляет молиться и нас, 200 лет спустя. Не сомневаюсь и в том, что пройдет скоро нынешнее беспочвенное якобы «народничество», переживется и декадентство, а истинная почва будущему искусству все-таки пригодится для будущих хороших художников, являющихся на свет самородками как бы в отрицание современной им действительности, как бы даже на зло ей. Всегда я задумывался при обсуждении таких отношений над отношением времени к великим людям. Что такое был столь любимый мною А. В. Суворов среди париков, шитых кафтанов, как не истинно русский благочестивый, простой, честнейший гений? Его отрицания разве не сходны с величайшею простотою и ясностью мышления нашей несравненной гордости — Пушкина? А Глинка — кажется, и сам не понимавший цены себе? Разве и это не есть «возвращение домой» во времена самого безотрадного пред-севастопольского поражения многого, очень многого. Я отнюдь не славянофил, но не умею иначе, как с глубоким благоговением, поминать имена Хомякова, Аксаковых, Киреевских, Самариных, — а ведь это были все почвенные люди — «соль земли русской», как и незабвенные для меня Рачинский и Ильминский!

Теперь и я в отставке. Предвкушая свою свободу и рабочую пору, не могу еще ясно представить себе меру этого нового блага, но чувствую сердцем, что отпали от меня служебные волнения, постоянная невозможность принадлежать себе хотя бы по несколько часов и, что самое главное — казенная без-

жалостная канцелярщина и неметчина. Невыразимо радуюсь, что не увижу более придворную сутолоку и ложь, не буду носить шпагу и треуголку, не услышу более окрика и выговора начальства! Работы предвижу себе многое множество, но хорошей, радостной, любимой и привычной, лишь бы сохранил Бог здоровье мое, жены да добрых людей!

В будущей квартире я был дня 4—5 назад и изумился ее разгрому и капитальному ремонту: ни полов, ни печей, ни окон — все отсутствует, все набито мастерами — цементными, печниками, плотниками и т. п. Осмотр квартиры указал лишь ненадобность никаких переделок в будущем и только постановку будущей перегородки не на прежнем месте, откуда ее уже сняли, а аршином далее. Михаил Николаевич² очевидно торопит и обещает к октябрю все устроить, меня же, как кажется, посоветятся гнать с Мойки. Квартира в Вашем доме напомнила мне многострадальный день 19 августа, когда я с женой надумал помолиться в Сергиевой пустыни. Тяжело было у нас на душе и усердно мы молились о своем будущем, о Вас и об Александре Дмитриевиче. Приезжаем домой, и вдруг Ваша депеша! Не буду писать Вам подробности этих минут, — слишком святы в жизни, слишком редки и изумительны иногда невольню брызнувшие радостные слезы. Совпадения всегда воссоздают силы, в этот же день Вы прямо спасли жену мою и меня.

Последние мои предстоящие дни у Певческого моста я не теряю и в том смысле, что наскоро снимаю сливки с архивных дел Капеллы, где имеется, конечно, множество интересного. Пользуюсь этим потому, что прежде успел их потихоньку прочитать все с 1826 по 1848 год, то есть за время самой напряженной деятельности Львова, за время Турчанинова и Глинки, просмотрел также и пикантное дело о литургии Чайковского, равно и курьезные бытовые воздействия Бахметева на всяких басов и теноров. Записываю все спешно, лишь бы сохранить себе главнейшее, да иметь возможность прямо искать страницы в делах, а не тратить даром будущее время³.

В Капелле две крупные новости: послезавтра едут за границу 20 певчих и пригласили вновь Азеева, только что прогнанного тем же графом Александром Дмитриевичем, прогнанного с таким усилием перед Императрицей Марией Федоровной. Не говоря уже о непоследовательности, не могу понять смысла реставрации Азеева — это совершенный трутень, когда-то бывший порядочным, но потом совершенно опустившийся от праздности и хохлацкой, беспробудной лени. Что он будет делать — не постигаю.

В Дармштадт едут будто бы на обручение, по другим же — и на свадьбу Наследника с Цецилией⁴, точно не знают; едут только на один месяц.

Из Академии был запрос о программе курса, на что я ответил возможностью послать лишь программу бывшего консерваторского курса. Мои размышления по этому делу склоняются к тому, что 1) чтение лекций в Академии хорошо бы тренировало цельность моих занятий, заставляя меня постоянно освежаться общением с аудиторией, 2) занятие это не отвлекло бы меня

несколько от специальных работ, так как курс мой давно обработан во всей подробности, 3) боюсь забыть свой курс, доставивший мне так много радостей и случаев поверять свои временные впечатления от занятий с молодыми силами.

Но есть и препятствия, о которых не вспомнил в прошлом письме. Мне знакомы московские древлехранилища, в частности же библиотека Синодального училища, несравненно подробнее петербургских, а добрая половина лекций шла с рукописями в руках. Хотя и имею у себя их довольно, хотя и силен я запасом отлично сделанных ф[отографических] снимков (коих коллекция, конечно, будет в Обществе Любителей Древней Письменности очень скоро) — но всего этого мало для той живости, с которою курс читался наглядно в Московской Консерватории. Думаю и так, что неизбежно и неделями придется жить в Москве, где на Никитской оставлены мои каталоги, а в Патриаршей, Типографской, Хлудовской, Румянцевской и др. [библиотеках и] древнехранилищах много моих близких сердцу знакомых и книг, и людей ласковых. Впрочем, ведь это придет само собою. Кир-Константин намекнул ясно, что я уже частное лицо, а рукописи Синодального училища казенные, хотя и не будет запрету работать над ними вволю — но лучше бы дома в Москве.

Пора кончать. Будьте здоровы! Примите мой привет Вам и графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 39

1. Выражение «я отнюдь не славянофил» прямо противоречит действительности: Смоленский был убежденным славянофилом. Эту фразу можно рассматривать как некую уступку Шереметеву, который, уважая и любя крупных представителей славянофильства, поименованных Смоленским, не принимал классическое славянофильство как идеологическое направление (в частности, за недооценку им роли русского дворянства).

2. Михаил Николаевич Ермолов — управляющий в Фонтанном доме; речь идет о переезде Смоленского с казенной квартиры в здании Капеллы.

3. Результаты своих «раскопок» в архиве Капеллы Смоленский изложил в разных письмах и публикациях, в частности, в статьях для РМГ «О «Литургии» ор. 41 соч. Чайковского (из литературно-юридических воспоминаний)» (РМГ, 1903, № 42, 43) и «О теноре Иванове, сопутствовавшем Глинке в Италию» (Там же, № 47).

4. Имеется в виду великий князь Михаил Александрович (1878—1918), младший брат императора, который до рождения цесаревича Алексея (1904) являлся наследником российского престола. Предполагаемый брак с немецкой принцессой не состоялся; позже великий князь (уже не являвшийся наследником) женился морганатическим браком на Н. С. Вульфферт (урожденной Шереметевской).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 8 сентября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Копаясь в архивных делах Капеллы, я напал на прецедент, довольно подходящий к моему положению и случившийся с известным композитором о. Петром Ивановичем Турчаниновым, вышедшим в отставку по болезни и бывшим в Капелле учителем церковного пения.

Турчанинов, как известно, занимался переложениями древних роспевов и издал, еще при Федоре Петровиче Львове, бывшем директоре Капеллы с 1826 по 1836 год, две тетради своих переложений. При сыне Федора Петровича, известном Алексее Федоровиче Львове, одновременно с выходом Турчанинова в отставку шло дело о разрешении напечатать 3-ю тетрадь его переложений. В этом делопроизводстве, пришитом к папке «Дополнение к 7-му делу 1827 года», интересны следующие бумаги:

1) Лист дела 161: Отношение Канцелярии Министерства Императорского Двора 1-го отделения, № 806, от 25 октября 1841 г. заключает в себе, после разрешения на 3-ю книгу и «последующие, по мере их изготовления протоиереем Турчаниновым», — неожиданный запрос известного Владимира Ивановича Панаева¹ Алексею Федоровичу Львову: «По встретившейся надобности прошу уведомить меня: будет ли протоиерей Турчанинов продолжать сочинение означенных книг и сколько еще оных может быть издано?»

2) Турчанинов через инспектора Капеллы Беликова² ответил письмом № 90 от 30 октября 1841 года: «...честь имею уведомить, что продолжать переложение простого церковного пения я буду тем более, что, ежели получу увольнение в отставку, то единственным поставлю себе удовольствием возложенный на меня по Высочайшему повелению сей труд оканчивать... Теперь вчерне приготовлено у меня 2 книги... Представить же их теперь не могу, потому что они еще с поправками и не приведены в ясность, а когда будут совершенно окончены и переписаны начисто, тогда не замедлю их представить» (листы дела 163 и 164).

3) После этого имеется письмо Львова к Панаеву с таким заключением (№ 172, от 4 ноября 1841 года, лист дела 165): «честь имею присовокупить, что труды прот. Турчанинова, буде он окончит все предназначенные им книги, то *(некоторая нелогичность строения предложений мною сохранена здесь в полной точности выражений Львова)* Капелла изданием оных приобретет весьма значительные выгоды и сверх того мера сия послужит доставлению надлежащего понятия об отличной простоте древнего пения Православной церкви нашей».

4) От Министра Двора кн. Волконского³, 10 ноября 1841 года № 3828: «Государь Император Высочайше повелеть соизволил: уволенному за болезнью вовсе от службы протоиерею Стрелинского [Стрельнинского] дворца Пе-

тру Турчанинову производить из Кабинета Его Величества за приведение в гармонический порядок старинного церковного пения, впредь до окончания сего поручения, по 475 р. 15 к. серебром в год, независимо от пенсионна, назначенного ему из Государственного Казначейства» (л. 166).

Через 8 лет, а именно 25 января 1849 года за № 444, Кабинет Его Величества вдруг сделал запрос Львову: «не кончено ли Турчаниновым сделанное ему поручение?» (л. 167).

По этому запросу в деле имеется большое письмо Турчанинова от 30 января 1849 года. Перечислив все свои заслуги, он пишет, кроме всяких второстепенных резонов, следующее инспектору Беликову: «Чувствуя, как мои труды были приятны покойному родителю Алексея Федоровича, имея много благодарных писем от преосвященных архиереев, зная, с каким удовольствием мои сочинения поются всеми хорами и постоянно слыша от богомольцев лестные о них отзывы, я с удовольствием изъявил на это (то есть исполнение особого поручения) мое согласие и в то же время представил много пьес, которые хотя и были петы в Придворной Капелле в присутствии Алексея Федоровича, но оставлены без всякого употребления, а более — узнав, что Алексей Федорович сам занимается продолжением сего переложения, я и остановился напрасным исправлением многих пьес, которые мною были вчерне приготовлены, тем более, что из напечатанных под руководством Алексея Федоровича книг я увидел, что все пьесы написаны очень хорошо, умно, так что лучше и желать нельзя, а главное, все то в них добавлено, чего в первом издании не доставало» (л. 169).

В этом столь длинном предложении Турчанинов под конец выражается столь двусмысленно, что можно понимать последние строки и в похвалу Алексею Федоровичу, и себе. Время показало полное забвение трудов Львова и полное торжество турчаниновских переложений.

Переписки дальнейшей в деле нет.

Обсуждая мысль об «особом поручении», я пришел к такому ряду соображений. Я буду просить позволения представить Вам доклад мой письменный в двух видах — подробном и кратком. Подробный доклад может содержать:

1) Общие соображения о надобности подвести итоги материалам по исследованию церковных русских напевов, их числа, систем, рукописных главнейших памятников певческих и по истории пения.

2) Общие соображения о надобности именно теперь, в виду нашего «возвращения домой», подготовить научно доказанную почву для будущего направления русского искусства пения, именно церковного и русского. Полезность предполагаемых изданий и для науки не только в виде, подобном иконописному «лицевому сборнику», но и в виде первого обнародования массы напевов, доселе вполне неизвестных. Надобность эта очевидно доказывается тем, что даже такие надобные певчие книги, как Миняя общая и 12 месячных миней, имеющиеся еще в рукописях XI—XII веков, не напечатаны Св. Синодом.

3) Моя достаточная подготовленность и самая сердечная готовность заняться этим трудом очень облегчается свободой от служебных обязанностей, но вместе и затрудняется надобностью добывать себе средства к жизни ввиду недостаточности назначаемой мне пенсии.

Посему (тут и меня убеждает сходство моего положения с турчаниновским) желательно было бы иметь: 1) для большего авторитета дела Высочайшее особое мне поручение, 2) для неотвлечения сил на добывание средств к жизни — пособие к пенсии до окончания поручения, 3) сосредоточить все издания в Обществе Л. Д. Письменности и 4) разрешение (если только надо о том хлопотать) выписывать в Общество Л. Д. Письменности надобные документы и рукописи.

Вот как обрисовывается будущее дело, о котором я мечтаю с замирием сердца. Вспомнил еще вчера, что у меня еще имеются две готовых работы: систематизация всех хоровых переложений древних роспевов нотных и крюковых и систематизация всех кантов, виршей и псалмов⁴. Эти вещи уже усохли довольно по их написанию лет 5—6 назад. Простой их просмотр может привести прямо к печатанию. Сочинение второе (между нами сказать) может только уяснить бедность материалов, бывших в распоряжении милого Перетца⁵, а первое сочинение дает возможность, с помощью тематического в нем указателя, осмыслить каждую разрозненную хоровую партию, найденную от остальных утраченных.

Относительно Петербургской Духовной Академии возникло самое неожиданное препятствие и притом непреодолимое — закон! Оказалось, что приватдоцентура в духовных академиях не только не существует, но и не допускается «во избежание прецедентов». Посему извиняюсь перед Вами за беспокойство, ибо, как говорится, «инцидент исчерпан»⁶. Но как это странно и как малопонятно! Для чего же и меня-то ворошили, да еще в текущие дни? Не могли же не знать такого странного закона синодальные законники! Да и каким, стало быть, малым кредитом пользуется в духовном мире церковное пение и его история! О, моя поистине горемычная наука, все еще не признаваемая даже и в академиях, даже духовных и русских! Консерватории оказываются более передовыми и шире глядящими вперед! Впрочем, не поучительна ли вместе и ревнивость, кажется, сходная с отношением того же духовного мира к иконописи?

Я получаю ежедневно много писем отовсюду с запросами и с недоумениями о моем увольнении — придется отвечать и не знаю, что делать. Особенно тверда и настойчива в запросах милая Москва. Но как с каждым днем мирнее становится на душе и как все более овладевает мною благодущие — самому не верится. Сужу о своем успокоении не только по состоянию улучшающегося здоровья моего и жены, но и по тому, как начинает спориться и удаваться работа за столом, от которого в эти дни почти не отхожу и порой совсем даже забываю недавно минувшее. А все Вы, дорогой, добрый граф — спасибо Вам. Вашим поклон.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 40

1. Панаев Владимир Иванович (1792—1859) — статс-секретарь, директор канцелярии Министерства императорского двора; поэт.

2. Беликов Петр Егорович (1793—1859) — в 1829—1858 инспектор Придворной капеллы, автор статей в Энциклопедическом лексиконе Плюшара и переводчик книг по музыке; ему иногда приписывается авторство знаменитого «Проекта Бортнянского».

3. Волконский Петр Михайлович, светлейший князь (1776—1865) — генерал-фельдмаршал, министр двора и уделов (1826—1852).

4. Результаты деятельности Смоленского по систематизации хоровых переложений древних роспевов и систематизации кантов и псалм изложены в довольно кратком виде в вышедших посмертно работах «О русской хоровой церковно-певческой литературе с половины XVI века до начала влияния приезжих итальянцев» («Хоровое и регентское дело», 1910, № 1, 3, 5/6) и «Значение XVII века и его “кантов” и “псалмов” в области современного церковного пения так называемого “простого напева”» («Музыкальная старина». Вып. 5. СПб., 1911). О певческих каталогах Смоленского см. во Вступительной статье.

5. Перетц Владимир Николаевич (1870—1935) — литературовед, впоследствии академик; автор множества работ на темы взаимоотношения литературы и фольклора, русско-украинских литературных связей, раннего русского театра и фольклорного театра. Часто выступал в собраниях ОЛДП с сообщениями, так или иначе затрагивающими проблематику духовных стихов и псалм. В частности, публикация его работы «Повесть о трех королях-волхвах в западнорусском списке XV века» в выпусках серии «Памятники древней письменности» ОЛДП (Вып. 150) непосредственно предшествует публикации работы Смоленского «О ближайших практических задачах...» (Вып. 151).

6. Дело было, однако, не только в отсутствии в академии приват-доцентуры (то есть возможности для Смоленского служить без потери пенсии). В Дневник 4 под датой 4 сентября (л. 266а) вложено письмо епископа Сергия, по-видимому, от 3 сентября 1903 (дата срезана):

Ваше Превосходительство, Милостивый Государь Степан Васильевич!

Исполнение того, о чем мы говорили, оказалось невозможно. Приват-доцентуры в Академиях нет, поэтому Совету пришлось бы начинать дело, совсем не указанное в Академическом Уставе. Правда, там есть параграф, позволяющий вводить новые предметы (штатные) с разрешения Св. Синода, «по усмотрению нужды». Но, если говорить о нужде, то, конечно, на первой очереди должны стоять предметы, ближайшим образом нужные для академического преподавания. И только после удовлетворения этой более настоятельной нужды можно думать и о некоторой роскоши, какой для нас в настоящее время явилась бы кафедра истории церковного пения в России. Мы уже более года назад начали хлопотать об открытии особой кафедры по истории церковей Византийской, Грузинской и др. Это не только необходимость, но для Православной Академии прямо неловко и стыдно

не иметь этой кафедры, и, однако, хлопоты наши пока не приводят ни к чему, по отсутствию в Св. Синоде средств на это (1200 рублей в год). Ввиду неудачи первого ходатайства поднимать второе, притом не столько нужное, Совет не нашел возможным. Об этом, конечно, будет Вам особое официальное уведомление, я же, с своей стороны, счел должным выяснить Вам мотивы и предупредить Вас.

Призывая на вас Божие благословение, с совершенным почтением и преданностью имею честь быть Вашего Превосходительства покорнейший слуга
Епископ Сергий.

Тут же в Дневнике имеется и официальное уведомление от 8 сентября на бланке Петербургской духовной академии.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 9 сентября 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Большое Вам спасибо опять за Ваше любопытное послание. Не сетуйте на меня, что не могу теперь отвечать пространно, время суматошное. 15-го переезжаем в Москву, откуда напишу по поводу известного предположения, но не повредит ли оно Вам ввиду последней эволюции Кир-К[онстантина]?¹
Всегда Ваш С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 140

1. Шереметев, возможно, опасается, что продолжение контактов Смоленского с московскими старообрядцами («известное предположение») может входить в противоречие с его намерениями получить какую-либо поддержку от Св. Синода: Победоносцев, как известно, всегда относился к расширению прав старообрядцев резко отрицательно, а в данный период этот вопрос стоял особенно остро. Но может статься, что граф предполагает: обращение к государю за «особым поручением» в церковно-певческой области может не понравиться Победоносцеву, поскольку производится как бы «через его голову» и минуя Св. Синод.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 10 сентября 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Посылаю Вам копию с того, что я писал об Вас сыну моему Димитрию в Вену¹, где он назначен состоять при Государе.

Сердечно преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 141

1. К письму приложена машинописная копия фрагмента письма С. Д. Шереметева к сыну, датированная тем же 10 сентября:

...Почти ежедневно получаю интереснейшие письма от Смоленского, которому я предложил переехать к нам в дом и под стягом Общества Древней Письменности заняться исследованиями о древних напевах, в которых он у нас теперь единственный знаток.

Всего непонятнее то, что так недавно еще самим Государем было ему выражено сочувствие к его деятельности и направлению. Произошло что-то совершенно для меня непонятное, это печальное торжество интриги, ибо, очевидно, Смоленский оклеветан. Ученик Рачинского и друг его, человек, каких у нас мало на Руси, испытал на себе всю дикость произвола ненормального ближайшего начальства, и в серьезную минуту, когда речь шла о сохранении его для Капеллы, и не только для Капеллы, а для всего Русского церковно-музыкального дела — его выдали головой.

Это гораздо серьезнее, чем может казаться, это торжество анти-русского направления. Ведь деятельность Смоленского в области церковной музыки, ведь это то же, что направление Васнецова в живописи. Ведь это новизна, в которой старина наша слышится и которая привела к Попечительству о церковной иконописи. Это то направление, которым проникнута история Павлова, и все это вместе пользуется особым сочувствием Государя, и тем не менее Смоленский круто и обидно удален. Эту обиду чувствую и я, и она отнимает всякую энергию. Я думал, что заслужил большего доверия. Как бы то ни было, но дело сделано бесповоротно и непоправимо по своей обширной огласке. Но следует ли из этого, чтобы пропало все дело? Нет, правда должна восторжествовать.

Путем Общества Древней Письменности мы постараемся доложить Государю, насколько пользы церковно-музыкального дела на Руси нуждаются в силах и в знании Смоленского, и если бы Государю Императору благоугодно было бы впоследствии дать Смоленскому непосредственно от себя определенное поручение в этом направлении и касающееся общей постановки у нас церковно-музыкального дела, то этим бы сугубо вознаградилась понесенная ныне утрата. Во всяком случае записку по этому поводу я подам Государю. Не худо было бы, однако, если бы при случае зашла речь о Смоленском, тогда бы по крайней мере выяснилось, — чем именно он провинился пред Государем. Не следует забывать, что Смоленский не был назначен моим братом, а самим Государем и что впервые он назван был Ему — мною. Правда, что тогда же сильная интрига Ведомства Православного Исповедания с Шихматовым во главе затормозила его назначение, а это дало повод А. Н. Нарышкиной всем рассказывать, что Государь с ней советовался о назначении Смоленского и назначил его только по ее удостоверению. Это подчеркивалось тогда. Но если это правда (а сомневаться

в этом трудно), то понятно и последнее вторжение в это дело такой женщины, как *** [А. Н. Нарышкина]. Что она Государю написала неприличное письмо, что вмешалась не в свое дело — это явно, но прикосновенность ее к этому делу вызвана самим Государем... Но если не права Нарышкина, что вмешивалась, то в этом не виноват Смоленский, который никогда о том просить ее не мог и который во всем этом тяжком для него деле держался с тем благородством и тем достоинством, которых вовсе лишены были действия его непосредственного начальства...

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 11 сентября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Отвечаю Вам немедленно. Очень рад тому, что уже второй раз Вы похвалили мои письма к Вам, — рад тому, что они очевидно утрачивают характер скучного нытья. Что было делать — тяжело жилось! Теперь — совсем не то — упований впереди много!

Дело с профессурою в Академии, столь оригинально начатое и тут же поконченное, я ни в коем случае и не подумал бы даже припомнить, даже и в случае его полной удачи, если бы оно сколько-нибудь могло повредить «особому поручению». О конце дела я уже доложил Вам в письме, где описал о бывшем «особом поручении» Турчанинову, а в первом письме и сам высказался *pro et contra* [за и против] до Вашего совета. Считаю сейчас вопрос о профессуре даже и ненадобным к продолжению.

Сегодня получил бумагу о моем увольнении с пенсией в 3 тысячи рублей и с единовременным пособием в 5 1/2 тысяч. Канцелярские господа и тут ухитрились включить 1-й год пенсии в обещанный годовой оклад, — но Бог с ними. Проживу, Бог милостив, и эту тяжелую годину с Вашею мощною помощью и ободрением. Но — голова устала — много передумала и прямо требует отпуск. Мараю иной раз бумагу, для «поручения» — толку мало; то вдруг все ясно — то вдруг запутаюсь в подробностях и не могу выбраться. Должно быть, в самом деле надо передохнуть хоть немного. Ведь в последние 14 лет я только и имел передышку на Рижском Strand'e, да у славян на Балканах, а уж на службе, да еще певческой, — какой тут отдых!

Относительно «Доместика», или как-либо по-иному, — сведения примерно такие:

1) Издание всего выгоднее начать по 2 №, в 1-м листе каждый, и не более 2-х текста литературного, что составит в год 22 №№, ибо в два летних месяца можно будет выпускать по одному двойному №.

2) Безусловно желательны иллюстрации [и] нотные приложения к каждому №, ибо тут будет видно на деле, что говорится в тексте газеты.

3) Весьма гарантированы на первое время лишь очень немногие подписчики, притом же и небогатые. Можно думать на первое время о числе их не более 300, пожалуй, и несколько менее.

4) Цена годовая — 3 р., с пересылкою 3 р. 50 к.

5) Предварительный расход: объявления, хлопоты, даровые экземпляры, гарантия бумажной фабрике, типографии, уступка книжным магазинам, гононарар посторонним сотрудникам, всякий непредвиденный расход — около 3000 р., ибо цена за газету ставится нарочно самая малая, сразу убыточная.

6) Цензорство снисходительное уже обещано, как и сочувственное содействие, под условием пропаганды мысли о надобности певческого-регентского съезда в Москве как-либо в будущем.

7) Намеченные дельные и бесплатные сотрудники обещаются работать усердно.

8) Программа примерно такая: Церковно-певческий вестник посвящается вопросам богослужбного и школьного, древнего и нового церковного пения.

§1. Узаконения и распоряжения Св. Синода и Епархиальных властей по делу церковного пения.

§2. Исследования, статьи, материалы по вопросам истории церковного пения и его теории.

§3. Выяснение и обсуждение современного положения церковного и школьного пения, его потребностей и способов улучшения.

§4. Сообщения и очерки из жизни церковных певцов.

§5. Корреспонденции.

§6. Биографии и некрологи деятелей в области церковного пения.

§7. Библиография. Отчеты, мелкие известия и заметки. Почтовый ящик и ответы редакции.

§8. Объявления.

§9. Приложения от 2-х до 4-х страниц: духовно-музыкальные произведения.

В этой программе я встретил у товарищей разногласие в самом существенном пункте, а именно в цене 3 р., установленной ради того дешевого назначения цены, которое обещал лучший нотный печатник Шмидт. Иные уговаривают 4 и 4 р. 50 к., а я не знаю, что сказать, по сущей моей неопытности и при моей лишь готовности трудиться.

Вот мои новости. Следующее письмо адресую уже в Москву, сам думаю выехать 19-го. Графине, Вам и Вашим — привет и поклон.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 12 сентября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я только что получил копию с письма Вашего в Вену графу Дмитрию Сергеевичу и в порыве несказанном пишу Вам. Вы действительно утверждаете меня в моей крепкой вере в правду и в добрых русских людей, Вы действительно умеете восстанавливать людей в беде! Да наградит Вас Господь! Вера моя всегда была крепка, всегда я любил русских людей, но бывала и у меня пора не ослабления моей веры, а сокрушения о малодушии и малостойкости в окружающих меня людях, сердечно и беззаветно любимых мною. Вот тут заболела душа моя, и страдал я при своей беспомощности к дорогим сердцу «круподушствующим и блазнящимся»; страдал я, не находя им слов утешения, не думая отречься от своего образа мыслей. Тут и подоспело Ваше чудесное слово, тут именно оно уврачевало ту милую мне, святую и умную, но женски-слабую, любящую душу, какую послала мне судьба моя в счастье моей жизни. Оживилась, встрепенулась духом моя добрая Анюта, и — опять хорошо мне на свете, и опять я по-прежнему «безнадежен к исправлению», как выразились обо мне давно приятели. Но именно в этом кротком упорстве черпаю я свои силы, хотя и болит душа моя, видя, как легко устраивались бы мои дела без такого моего упорства. А не могу, совершенно не могу сдаться — для меня в моем служении правде, свету знания компромиссы совершенно даже и непонятны, ибо упрямство и твердость — вещи совсем различные. От первого дело только теряет, от второго же только выигрывает; даже и в невзгодах твердая, умная вера в правду только спасает и подвигает к стойкому мужеству.

Но считаю надобным доложить Вам и по пунктам.

1) Считаю себя прямо счастливым от возможности быть близ Вас и неустанно работать под стягом Общества Древней Письменности. Вы увидите сами и скоро, что мое по сему направлению слово вполне твердо.

2) Правда, что Государь вполне, даже и в необъяснимой степени, был внимателен ко мне и очень подбодрял постепенное введение в придворный при Нем обиход древних напевов, искренно восхищался ими и не пропускал *решительно ни одного* из них. Полагаю, что я имел с Государем по крайней мере 40—50 бесед, из которых некоторые были продолжительны и очень трогательны по Его интересу к напевам и по желанию вникнуть в подробности полученных Им впечатлений¹. Высоко ценя милостивое внимание Государя к любимому мною делу, я держался политики в самой высшей степени осторожной и медлительной. Напевы древние стали уже привычными при Государе в такой степени, что Он несколько раз заставлял вставлять их в программы, и не было решительно ни одного случая, ни прямого, ни косвенного, когда был бы хотя бы намек на Его неудовольствие. Завтра, 13 сентября, будет год, ко-

гда я был, на прощанье перед Крымом, ошастливлен столь упоительными похвалами (обоих Императорских Величеств), что, озадаченный их мерою, не знал, что ответить. Помнится, и Вам было мною об этом отписано в подробности.

3) Этими днями я узнал вновь, что действительно я был оклеветан (гадко писать!), будто бы я бил детей в такой степени, что одному даже вышиб два зуба. Как оправдываться мне, не имеющему своих детей и отдавшему свое чувство ученикам! У Вас есть уже собрание моих писем — прошу приложить к ним письма учеников моих из первых подвернувшихся мне под руку. Сам и не хочу оправдываться, как и в клевете по поводу будто бы незнания мною даже и теории музыки. Бог с ними, — дело говорит за себя лучше. Пусть скажут за меня ученики, давние и далеко живущие.

4) Не Вы первый сближаете мое имя с чудным Васнецовым, коего я и мизинца не стою. Бывали и у меня суетные мысли, вполне грешные, когда слушал я своего письма напевы, ставшие обиходными в Московском Успенском Соборе². Благословил действительно Бог наметить тропу для будущей радости, но далеко еще решение очень многих вопросов по этой дороге и далеко не доказана она так блестяще, как лучезарны композиции чистого духом Васнецова. Правда, удались мне многие мои страницы в партитурах, удались и многие мои ученики, убежденно идущие по указанной им дороге, — но смею ли сказать о себе как о безошибочно думающем? Уверен лишь я в том, что все-таки мои мысли есть шаг вперед, пожалуй и твердый, — но ведь верно сказал наш общий друг Рачинский: «цвет русского искусства — впереди, наша работа только подготовительная».

5) Упоминание Ваше об «истории Павлова» приводит меня к воспоминанию об историке Бориса Годунова — Платоне Васильевиче, истинно много-страдальном и высокопочтенном работнике, чистоте которого я удивлялся. Его ли Вы подразумевали или какого-либо иного? Сильно терпел каноник А. Ст. Павлов, но не знаю подробностей жизни этого моего бывшего профессора, сполна твердого и честного³.

6) От А. Н. Нарышкиной имел я недавно хорошее письмо (ее адрес теперь: Biarritz, Hôtel Victoria), из которого вижу прежнее ее ко мне внимание и сочувствие⁴. Может быть, Александра Николаевна и действительно, как говорится, «вмешалась», — но что я могу почувствовать к ней, кроме самой лучшей благодарности? Что она могла иметь в виду, кроме добра мне?

Посылаю это письмо еще в Михайловское, в расчете, что застанет Вас еще дома. Думаю выехать в Москву 19-го, чтобы подготовить все надобное проверкою об условленном мною для Вас с Богатенковым. Полагаю посему либо 20-го, либо 21-го сентября (хотя я и помню о дне рождения графини) повидать Вас. Прошу Вас лишь передать Ваше распоряжение швейцару Вашего углового дома на Воздвиженке, когда бы я мог застать Вас без помехи.

Кончаю письмо 13-го, так как был у меня старый друг, англичанин Биркбек⁵, сегодня в 14-й раз приехавший в Россию и хлопочущий о соединении

церквей. Кажется, Вы его знаете. Он очень образован, живой, сведущий, а в деле своем говорит духом; завидно одушевленным огнем согреты его кроткие, умные речи, и не дал он мне кончить письма своим неожиданным приездом. И на этот раз он привел старца-епископа из Северо-Американского Висконсина. Биркбек у старообрядцев так же знакомый человек, как и в Соловках, и в Суздале, и в Ростове, — а в нашем церковном уставе он на моих глазах устыдил покойного Донского Епископа Германа⁶ и престарелого московского протоиерея, подивившихся точности его знаний. Забавно сказать, что он смекал петь по крюкам после моей выучки, ибо как отличный музыкант скоро понял их; он отыскал мне в Вене существенно важную рукопись — сестру Есфигменского Ирмолога XI века⁷. Забавно вспомнить изумленные лица Рогожских певцов, когда с трудом говорящий по-русски иноземец вдруг запел у них в храме по крюкам. Впрочем, пора кончать. Графине и Вам мой и жены поклон.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3933, № 43

1. Выдержки из Дневника Смоленского, посвященные беседам с государем, см. во вступительной статье к Воспоминаниям (Т. IV). К ним можно добавить и, например, такой эпизод, относящийся к 2 декабря 1902:

В Гатчине после завтрака Государь сказал мне приблизительно следующее: «А вы все еще воюете со старыми непорядками? Они стали петь гораздо лучше прежнего, но нет у них того славного, открытого, здорового звука, какой меня удивил у вас в Синодальном хоре в Москве; здесь какой-то сдавленный, мертвый звук, неестественный. Я не говорю, чтобы надобен был крик, который нравится купцам. Сколько я знаю, моя бабка, Императрица Мария Александровна, не могла в конце своей жизни выносить сильного звука придворных певчих и их перучили петь сдержанно. Потом — они поют почти одно и то же вот уже несколько лет» (Дневник 3, л. 63-64).

О впечатлениях императора от пения Капеллы в 1902 см. также в переписке с Волковой.

2. В репертуаре Синодального хора находился ряд сочинений и переложений Смоленского, в частности, «Буди имя Господне», догматик 5-го гласа, «Един свят», «Не имамы иныя помощи», Стихиры Пасхи, «Тебе поем», «Хвалите имя Господне», Херувимская (ля минор), Ектении, «Кто Бог велий» (см. репертуар Синодального хора: РДМ. Т. II, кн. 2). В Дневниках неоднократно отмечается исполнение этих произведений за службой в Успенском соборе.

3. Шереметев имел в виду историка Платона Васильевича Павлова (1823—1895). С 1847 он был профессором Киевского университета, в 1849 защитил докторскую дис-

сертацию в Московском университете, с 1859 стал членом Археографической комиссии в Петербурге и одним из первых в России организаторов воскресных школ для народа; много выступал в периодике, в частности, в либеральном журнале «Отечественные записки». В 1861 был назначен профессором русской истории в Петербургском университете, но не прочел ни одной лекции. В начале 1862 был выслан в Ветлугу административным порядком за то, что на публичном чтении в пользу нуждающихся литераторов закончил речь о 1000-летию России утверждением: «Россия стоит теперь перед бездной, в которую мы и повергнемся, если не обратимся к последнему средству спасения, к сближению с народом». В 1866 был возвращен из ссылки, преподавал в Константиновском военном училище, позже в Киевском университете, однако к научной деятельности не вернулся.

Павлов мог быть особенно интересен Шереметеву как исследователь главной для самого Сергея Дмитриевича как историка темы — Смутного времени: докторская диссертация Павлова называется «Об историческом значении царствования Бориса Годунова». Кроме того, Павлов придавал большое значение культуре и искусству как составляющим исторического исследования.

4. Упомянутое письмо А. Н. Нарышкиной не сохранилось.

5. Биркбек Уильям Джон (в России — Иван Васильевич) (1859—1916) — английский религиозный деятель и музыковед. Много раз путешествовал по России, в том числе как представитель архиепископа Кентерберийского. Выступал за сближение англиканской и православной церковей. Подробнее см. о нем статью С. Г. Зверевой в Православной энциклопедии (Т. V. С. 224—225). Письма Биркбека к Смоленскому будут опубликованы в следующей книге.

6. Вероятно, епископ Кавказский и Екатеринодарский Герман (Александр Космич Осецкий; 1828—1895), который в 1886 был назначен настоятелем московского Донского монастыря и председателем Училищного совета при Св. Синоде.

К этому письму, последнему в подборке «Дело о придворной интриге...», приложено три адресованных Смоленскому и пересланных им Шереметеву письма (№ 44—46): от А. Т. Гречанинова и от двух учеников Степана Васильевича — П. Г. Чеснокова и учителя пения Д. М. Тихомирова (выпуск Синодального училища 1901 года).

Гречанинов — Смоленскому
6 сентября 1903

Дорогой Степан Васильевич!

Только что прочел о Вашем уходе из Капеллы. Не хотелось верить глазам. Неужели же тьма одолевает? Ужасно. И кем же они заменят Вас? Ведь кроме Вас другого достойного занимать этот важный пост нет никого... Что же такое у Вас с Шереметевым произошло?.. Смотрите, что стало с Синодальным Училищем после Вашего ухода, — то же самое будет и с Капеллой¹. Что же станет с нашим бедным церковным пением? Лично за Вас мне страшно обидно: до чего

у нас не умеют ценить людей! Но пусть для Вас будет утешением, что все эти разные III. III. умрут и после них останется пустое место и больше ничего. Ваше же имя будет жить и будет записано золотыми буквами на скрижалях русского церковного пения.

От всего сердца крепко, крепко целую Вас и желаю Вам не терять духа и продолжать свою славную деятельность по археологии нашего искусства. Будьте здоровы. Надеюсь с Вами скоро встретиться.

Горячо любящий Вас А. Гречанинов.

1. О неурядицах в Синодальном училище после ухода Смоленского, связанных с отсутствием административных способностей у нового директора В. С. Орлова, см. в переписке Смоленского с Кастаньским в V томе РДМ.

П. Г. Чесноков — Смоленскому
29 августа 1903

Дорогой, горячо любимый Степан Васильевич.

До меня дошла весть, что Вы оставили Капеллу. Это печальное известие повергло меня в уныние.

Не стану излагать Вам все то, что я передумал по этому поводу. Скажу Вам только то, что Вы не одиноки. Кроме Ваших друзей и близких у Вас есть много друзей-учеников, которые, храня неизменно в сердцах своих Ваши заветы и восторженные о Вас воспоминания, всегда постоят за честь своего горячо любимого учителя.

Молю Бога, чтобы Он послал Вам и глубокоуважаемой Анне Ильиничне силы перенести новое испытание.

Любящий Вас горячо ученик Ваш

П. Чесноков.

Д. М. Тихомиров — Смоленскому
29 августа 1903

Милый, дорогой и горячо любимый Степан Васильевич!

Я как громом был поражен, читая из Вашего письма, что Вы скоро совсем уезжаете из Капеллы, теряя место. Да как же все так могло неожиданно случиться? что Вы могли такое сделать злым людям, если они совсем не дают Вам покоя? что это они ополчились на Вас, чего требуют и хотят от Вас?

Хотят лишить Вас вполне и достойно заслуженного видного общественного положения, хотят оторвать Вас от любимого Вами дела, как мать отрывает от своего дитяти. Это за что же? — за все Ваши тяжелые труды, хлопоты, за все

муки, огорчения и страдания, которые Вы испытываете, неутомимо работая на пользу православного церковного пения.

Не безбожно ли это? И неужели наше святое, дорогое искусство лишится такого идеально честного, всегда неутомимого и бодрого труженика? Господи! — не верится и не хочется даже верить всему этому. Дорогой Степан Васильевич, может быть все это одно только Ваше предположение, что Вы теряете место. Может быть этого не будет никогда, никогда. Как бы хорошо было, если все, что Вы думаете о потере места, было бы одной только гипотезой. Может быть враги Ваши сознают, что напрасно они Вас терзают и мучат, — устыдятся и посрамятся и Вы останетесь на наше счастье, на нашу великую радость по-прежнему директором Капеллы.

Не оставляйте, дорогой Степан Васильевич, Капеллу, — осиротеет мы тогда совсем, не имея твердого, крепкого и опытного начальника в деле церковного пения; ведь мы, все заинтересованные в деле церковного пения, опираемся на Вас как на столп. Вы наша опора и надежда. Вам Бог поможет, дорогой Степан Васильевич, остаться в Капелле, а мы будем молиться за Вас. Пусть благословит и сохранит Вас Господь для православного церковного пения.

С Вашего разрешения и благословения, дорогой Степан Васильевич, я хлопочу о перемене места; как только переведусь и устроюсь на новом месте, то первым долгом почту для себя обо всем Вам сообщить.

Поклон и пожелание всего наилучшего дорогой Анне Ильиничне.

Остаюсь глубоко опечаленным, благодарным и преданным на всю жизнь Вашим учеником.

Дмитрий Тихомиров.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 15 сентября 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Пишу Вам только два слова в день отъезда из Михайловского. Сердечно благодарю Вас за присылку писем Ваших почитателей и учеников. Не забудьте обещания меня с ними познакомить.

Все, что Вы пишете о содержании музыкальной газеты, — очень интересно, и дай Бог сему скорей осуществиться, хотя и многому другому.

От А. Н. Нарышкиной получил еще письмо — очень хорошее. Когда будете ей писать, скажите, что я еду на Кавказ и буду у нее непременно по возвращении в Петербург. По-видимому ее отношения обострились с Гагаринскою набережною, и она покидает то дело, которым занималась, что жаль! Несомненно, она много повредила своею болтовней, но кто же ее ввел в это дело, как не тот, который теперь был недоволен ее вмешательством. Итак, в добрый час до свидания в Москве.

Преданный сердечно С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 143

1. Под «Гагаринской набережной» понимается петербургский дом А. Д. Шереметева, а под «делом» — Ксениевское общежитие (см. выше).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 15—16 сентября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Пишу Вам в часы объяснений, месяц тому назад, с Мосоловым и Фредериксом, и думаю: какая огромная разница между бывшими тяжелейшими волнениями и огорчениями, оскорблениями и тревогами тех дней сравнительно с тем благодушием и работоспособностью, какими наслаждаюсь я, порой даже и не вспоминая о бывших тяжелых невзгодах!

Переживаю и новое, благодушное чувство свободы — еще неясной, но очень хорошей. Сравниваю пока это чувство с бывшим когда-то удивлением, что подходит восемь с половиной часов утра, а мне, студенту — не надо бежать в гимназию, сижу дома и работаю над чем хочу; или после университета удивляюсь я переживаемой полной грудью красавице-весне, смутно радуясь неимению тяжелых экзаменных студенческих напряжений, чувствуя себя полноправным человеком, а не учащимся и трепещущим. Вот и в настоящие дни: работаю много, с сущим удовольствием, даже с какою-то особенною радостью — и вдруг удивляюсь тому, что меня никто не оторвал от работы, никто не потревожил, никто не отнял времени по поводу чего-либо неприятного, или торопливого, или неожиданного.

Но верх радостной свободы еще и в том, что я могу располагать собою на будущее время. Сегодня я пойду куда мне надо, буду завтра в Публичной Библиотеке, 19-го я поеду в Москву, до того времени я отложу одно и займусь другим — и никакое начальство не отменит этой свободы выбора в занятиях. Я так долго страдал, по певческой профессии, от несвободы летом и зимою, в будни и в праздник, что отвык от свободы — теперь же она кажется мне каким-то особым упоением.

Переживаю и еще особую радость — ясность будущих работ. Два года перерыва занятий древними рукописями и напевами, два года всяких волнений, смена Москвы Петербургом так отдалили мои мысли от бывших занятий, что в этот промежуток сами собою улеглись, упорядочились, осмыслились и сами собою пришли в стройную и ясную систему целые рои всяких мыслей и додумок. Теперь, в своем отставном досуге и покое хожу на прогулки, даже и занимаю свою голову выработкою этой ясности и стройности работ в отдельных их, хотя и взаимно соприкасающихся частях. Выплывают на свет Божий всякие когда-то написанные певчие знаменные, нотные азбуки, теперь по-

лучающие смысл в ряду других работ, как кольца одной цепи, тянущейся к одной цели. Ведь Вы знаете, что я дорожу древними напевами, кроме их прелести мелодической, кроме их пригодности в родной церкви, — еще и в смысле откровения русским музыкантам логики нашего художественного мышления. Не помню, писал ли я Вам о том, но, кратко сказать, дело вот в чем: народная песня наша еще не записана, а церковный напев давно записан и в записи своей, как стих у поэта, отделялся, влияя тем и на технику самой записи. Отсюда — совершенство обеих сторон церковного напева: внутренней — художественной и внешней — логической. Брат и сестра — церковный напев и народная песня — дети одного отца, но церковь имеет дело с озарениями высшими и более разнообразными, почему и церковный напев, к тому же записанный в величайшей степени остроумно и по-своему, по-русски, — дает высшие проявления русского духа и высшую грамматику русского художественного изложения, высшую логику.

Именно этой грамматики не знают у нас русские музыканты, живо чувствующие, смутно творящие нутром, беспочвенно блуждающие все еще под влиянием немецкого ума, штудирующего данное положение, вдохновение по правилам геометрических отношений и по хорошей, правда, но не высшей и не по свободной логике развития суждений — логике все-таки немецкой, а не русской. Универсальность геометрии и логики не мешала возникнуть после чудного греческого искусства удивительной готике, восхитительной поре Возрождения, ибо прибавка к универсальному краски народной и есть именно то, что воспитывает нас детьми родной земли. Поэтому, как ни восторгаюсь я собором св. Стефана в Вене, все же Московский Успенский собор и Василий Блаженный — мои родные; как ни чудесна Сикстинская Мадонна или очаровательная Испанка в Лувре¹ — все-таки в нашей Владимирской, Казанской, в Васнецовской есть наша родная красота — та же самая, которая ставит в тупик немца, умно и логически мыслящего. Оттого, от этой свободной, высшей логики, не режут наш глаз невозможные для немца нарушения перспективы и единства рисунка в наших иконах, хотя тот же великий Микеланджело в Сикстинских фресках на потолке, тот же Васнецов в «Преддверии рая», в «Страшном Суде» нарушили умышленно всякие законы первичного логического изложения; оттого и Глинка, особенно большой человек — Балакирев, меньший его — Бородин, Римский-Корсаков, Лядов, Ляпунов и др. идут ощупью, делая самые элементарные ошибки в ритмике изложения своих прелестных вдохновений, чуя свою свободу, временами приводящую их к нехудожественной разнузданности и грубости. Ритмика знаменного распева даст им эту высшую грамматику.

Я так полюбил Вас, дорогой Сергей Дмитриевич, что возвратились ко мне дни моих неудержимых писаний, каковыми, бывало, отводил свою душу в письмах к милейшему С. А. Рачинскому. В порыве моих мыслей пропустил возможность отправить это письмо вовремя. Но и то благо: руководственное

Ваше мне письмо было в день памяти о чудном царе, 30 августа. Вы получите это письмо в день соединения чудных же имен: Веры, Надежды и Любви, с премудрою матерью их. Переводя имена на означаемые ими нежные, доверчивые, простые чувства — сколько выигрывают они от окрыления их премудростью матери? Вы получите это письмо в Москве, которую я страстно люблю. В чувствах Веры, Надежды и Любви, при мудрой Софии — как грешны нечистые наши канцелярии с многозначительными словами: закон, порядок, право, дисциплина и проч.! Самые эти канцелярии, консистории, со всей неметчиной вроде шпицрутенов, гауптвахт, чинов, орденов — разве не та же первичная логика отношений, обезличений и стеснений, нарушивших выработанные нашим русским умом огромные и свободные формы: самодержавный царь, православная церковь, мир и вече и т. п.? Эти простые, но величаво свободные, способные к совместной жизни, русские формы — разве не лучше, не роднее нам, чем те, которые так зло осмелял Козьма Прутков в афоризмах: «Камергер редко наслаждается природою», или: «Не будь портных, как бы ты различил судебные ведомства?» и проч. не менее ядовитые.

Записку об «особом поручении» я возьму с собою, но каюсь: я ею совершенно недоволен, так как она вышла какая-то сухая, тяжелая, трудная. Если окажется еще свободное время и подойдет хороший «sein Morgenstunde» [«свой утренний час»] — напишу ее же по иному плану. Прямолинейное логическое мышление надобно и для русских дел в некоторых случаях.

Графине мой поклон. Если в Ваше время в Москве произойдут перемены порядка посещений, то по Вашей депеше я готов выехать хоть завтра. Ведь я теперь свободен и волен отлучиться, да и благодушен вполне.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 87—89 об.

1. Неясно, какую картину подразумевает Смоленский, возможно, не «Испанку», а «Цыганку» Франса Хальса.

Смоленский — Шереметеву

[Петербург, сентябрь 1903]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Как Ваше здоровье? Непокойно у меня на душе и тревожусь за Вас чем-то.

Работаю здесь исправно и благодушно, продолжая отделку доклада к первому заседанию Общества Любителей Древней Письменности. От благодушия спорится работа и голова думает ясно, мысль работает дальновиднее и связнее. Очень, по правде сказать, люблю я умную женскую критику, а выучила меня тому давно в случайной беседе графиня София Андреевна Тол-

стая, как известно, без всякой жалости критикующая сочинения своего Льва Николаевича¹. Переписчица-друг имеет мужество до сих пор по 7—8 раз писать целые томы, с трудом разбирая трудный почерк великого писателя земли русской. В сотой, конечно, доле и в совсем иных отношениях, но столь же неумолимый цензор, умный и хладнокровный, есть и у меня. Из этой цензуры возвратилась вчера та самая записка, первую часть которой я Вам читал, и возвратилась с многими красными в ней повреждениями, указывающими на надобные поправки в смысле ее лучшей общедоступности. Не скажу Вам пока имени моей цензорши, дельной музыкантши и умно думающей головки, но увидите и Вы, что бреши в докладе будут сделаны заново с мотивами более доказательными. Поспееет дело вовремя.

О Капелле могу Вам сообщить грустные сведения. Дело пошло хуже, чем можно было ожидать, и скорее обозначилась слабость нового режима, его безыдейность и бестолочь от недостатка исполнительской скорости в делах и в занятиях не только учебных, но даже и в хоровых. С одной стороны, как бы нарождаются подтверждения и доказательства очевидной ошибки в поручении дела Кленовскому, а с другой, в неиссякающей еще моей любви к Капелле почерпаю жалость к растерявшимся и беспомощным моим в ней товарищам и ученикам. За последнюю неделю пошли стычки, нелады, резкие приказания свыше, чиновно-казенное равнодушие снизу, — а во всем этом на будущее предвидится мало хорошего, даже и во внешне-показной, то есть хоровой части.

В Петербурге, как слышно, очень встревожены высадкою японцев в Корею и мутью сношений в Европе. Что-то случилось в Гааге очень недоброе², да и наше братание с трепетною в агонии Австро-Венгриию как бы не повело к новым тревогам из-за немцев же. Экие времена подходят! беспросветные и дряблые речи только томят, дела тревожат своею напряженностью и неожиданными, а твердого, столь недавнего краткого слова, общего подъема духа, как то было в 70-х годах, не слышно и не видно. Тревоги и суматошной болтовни, шепота и таинственных интриг — много, а ясного дела опять чего-то не чувствуется.

Все «Пл», как сказал недавно кто-то в Москве: Плева, Плеске, Платонов, чуть не Плевако — подбирается в какой-то ничего не обещающей, бессодержательной, но ясно диминутивной прогрессии³. Не обидно ли читать такие депеши (24 сентября): «Русский министр путей сообщения разъезжает с научною целью на автомобиле по улицам Наварреса»⁴.

Напишу Вам вскоре еще, но вероятно с новоселья. Голова кругом идет от домового укладки. Графине доброй — поклон и привет мой.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

1. С Софьей Андреевной Толстой Смоленский, в бытность директором Синодального училища, неоднократно встречался у своего друга С. И. Танесва. Вместе с Танесвым Смоленский даже редактировал послание Софьи Андреевны в Св. Синод после отлучения А. Н. Толстого от церкви.

2. В Гааге была созвана Первая мирная конференция, которая запретила применение боевых отравляющих веществ и разрывных пуль. В это время также велись переговоры между Россией и Японией, которую открыто поддерживали Англия, Германия и США; Япония не принимала компромиссных предложений России, дело явно шло к войне, которая и началась в январе следующего года.

3. В. К. Плеве был министром внутренних дел, Э. Д. Плеске — министром финансов, Ф. Н. Плевако — крупнейший русский юрист; кто имеется в виду под фамилией «Платонов» — неясно; возможно, сенатор С. Ф. Платонов. Смысл каламбура в том, что все фамилии известных людей начинаются на «пл», так же как глагол «плевать» («диминутивная», то есть убывающая, прогрессия).

4. В этом месте в письмо вклеена маленькая вырезка из газеты «Московские ведомости». Министром путей сообщения был тогда князь М. И. Хилков.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 23 сентября [1903]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

В шесть часов буду. Очень скорбел вчера, глядя на Вас и на жестокость всех нас, досидевших до полуночи. Совершенно изумлен неожиданностью приезда графа Дмитрия Сергеевича из-за границы¹. Вчера, перед приходом к Вам, записка, как программа-исповедание, была прочитана мною с сотрудниками — единомышленными моими товарищами и учениками на Никитской и одобрена к поднесению Вам. Будьте здоровы.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 92

1. Д. С. Шереметев вернулся из Дармштадта, где находился при императоре.

Шереметев — Смоленскому

Москва, 29 сентября 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Получил из Парижа письмо от А. Н. Н[арышкиной]; говорит, что жена Александра Дмитриевича обвиняет Вас, что Вы били детей и выбивали им зубы; но главное, что Вы дела не знаете! Это последнее такая прелесть, что мож-

но только посмеяться. Как хватает у людей (чего — не скажу), чтобы решаться подобное писать...¹

А как Вы поживаете? Давно не видал Вашего почерка — мы оба прихворнули и на Кавказ вовсе не едем, а будем ждать до половины октября в Первостольной!

Сердечно преданный С. Шереметев.

Жена Вам кланяется.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 144

1. Приводим письмо Нарышкиной к Шереметеву (из Парижа, без даты):

Глубокочтимый граф.

Пишу Вам под впечатлением страшно меня смутившего письма графини М. Ф. Шереметевой. Она говорит: вы не знаете, кого вы защищаете; Смоленский злой интриган, дела своего *не знает*, с певчими суров (зубы выбивает). Да неужели можно так чернить человека без уверенности того, что говорит! Упреки, как смела я вмешиваться в дело Смоленского — за *ее спиной*, как она выражается! Подняла и Великую Княгиню Ксению! Сколько все это принесло волнений моему уже измученному без того сердцу и обиды, и высказать не умею. Могу только себя укрепить тем, что я конечно ошибаться всегда могу, но верила безусловно своему верному другу Рачинскому, который близко его знал. Моя мечта теперь — как бы нам с Вами доказать, что Смоленский дело свое знает, и наглядно это доказать! Ведь и Государь теперь будет думать, что Смоленский невежда и выбивал зубы певчим. Бог конечно правду видит, да не скоро скажет. Ведь музыка церковная на Руси в полном хаосе! В Сарове в день открытия певчие Митрополита исполняли декадентские мотивы! Вы в этом сослужить можете патриотическое дело, быв близки к Государю! Великие Цари не только серьезно к этому относились, но даже сочиняли прекрасные канты. Подумайте об этом, мой милый. Я, в чем могу, верная Вам слуга. Я музыку знаю хорошо. Смоленского побранила, потому что совсем опешил. Что за слабость духа, хуже бабы. 3000 рублей ему достаточно. Надо сознаться, он не очень умен и тактичен. Бог пытается для очищения души, значит, надо было и хорошо!

Сердечно преданная А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1169, л. 16—17 об.)

Обвинения, выдвинутые М. Ф. Шереметевой против Смоленского, были повторены ею также в письме к О. Н. Шереметевой (см. ниже).

Несколько позже А. Н. Нарышкина передала С. Д. Шереметеву письмо к ней М. Ф. Шереметевой, о котором идет речь выше. Ответ Шереметева сохранился в подшивке его писем к Смоленскому (л. 176, копия и комментарий рукой Смоленского):

7 апреля [1904] гр. С. Д. Ш., возвращая А. Н. Нарышкиной клеветническое обо мне письмо к ней от гр. Мар. Фед. Шереметевой (жены А. Д.), писал ей:

Многоуважаемая Александра Николаевна,

Печальные строки Вам возвращаю. Конечно, всю душою готов содействовать делу, которое серьезнее, чем думают. Теперь особенно неблагоприятное время. Все помыслы обращены в другую сторону, но тем и нужнее помощь ради сохранения души и веры в конечное торжество правды.

Как часто мимо нас проходит человек,
Над ним ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиление¹.

Вам искренно преданный С. Шереметев.

1. Из стихотворения А. С. Пушкина «Полководец».

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 30 сентября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я сегодня уже писал Вам, соскучившись по Вас, а сейчас принесли от Вас весточку с сообщением от графини Марии Федоровны, что я не знаю будто бы своего дела и бью детей (даже до выбивания зубов). Конечно, ведь надобно же было чем-либо мотивировать неотложную необходимость расстаться со мною! Но жалко мне графиню М. Ф. за ее малодушие, за ее податливость на всякие самоуверения. Придет время, и устыдится она.

Конечно, мне туда оправданий или возражений посылать незачем. Как уверять людей и заставлять их сознаваться? Но для Вас я считаю позволительным себе просить Вас прочесть подлинный адрес мне от товарищей по Синодальному училищу по случаю 10 лет моего в нем директорства. Я отклонил этот адрес, черновик же выпросил себе на память, вместо всяких бархатных папок.

Что касается битья, то, право, горжусь тем, что я именно вывел битье, руготню и всякие гадости из Капеллы, а не упражнялся сам в битье детей. Графиня М. Ф. видала меня не раз в куче облепивших меня детей, и стыдно ей было бы забыть о том, да еще повторять всякие несообразности. Вот в Вене я всего только один вечер провел в концерте со своими певчурками, и то в «Neue Freie Presse» прочитал (11.IV.99): «Es war noch interessant zu beobachten, wie väterlich der Direktor der Kapelle von Smolensky für alle, aber namentlich

für die kleinen Sopran und Altsänger sorgte»¹. А между тем ларчик открывается очень просто: у меня нет своих детей, которых я страстно люблю за их чистоту, ради которых я стал учителем. Только любовью детей к себе и можно сделать хорошую школу, только ею и сделано было более чем на половину исцеление Капеллы как школы. Уж на что был несдержан по моему адресу Ширинский-Шихматов, но и он не позволил себе столь нехороших утверждений про меня как воспитателя и учителя.

Впрочем, скучно писать о таких вещах; мне даже говорили о свидетелях — ну уж если так, — так уж и не знаю даже что и писать. Пожалуй, даже присягу примут! Но до чего могут мельчать люди!

Гораздо более заняты сейчас мои мысли мечтаниями о новоселье, где малая комнатка, чуть не келья, будет моим уголком среди книг и рукописей. «Зажгу я в ней свою лампаду и, пыль веков от хартий отряхнув, перепишу правдивые сказанья», «о старине родной, глубокой» — «церкви и отечеству на пользу». Признаться, начинаю даже сам удивляться своей плодовитости в письме. Или, может быть, в самом деле отставные так празднуют начало своей свободы и благодушия — или, может быть, опять у меня какой-либо подъем нервов и умственного возбуждения — не разберусь хорошенько и сам. Все говорят мне, что я выгляжу несравненно спокойнее, чем даже года три назад, и сам я чувствую то, а делается со мною что-то особенное. Мне ничего не стоит теперь, не отрываясь, ни разу не вставши, проработать 3—4 часа и затем, чуть-чуть передохнув, опять засесть на 3—4 часа, работая без помарок, без потери времени, иной раз прямо находя надобные справки без всякого исканья или усилия что-либо вспомнить, — такая ясность мысли! Мечтаний и планов у меня — без конца, как только уткнусь в свои дневники и записи о давно пережитых впечатлениях в рукописной библиотеке на Никитской. И действительно: что за море новостей и всяких поводов для шагов вперед! что за интересное царство самых небесных вдохновений, самых возвышенных чувств русской души! Как могла лежать эта уйма прелести без разработки?

Сегодня я видел на минутку графиню Марью Сергиевну [Шереметеву] перед ее отъездом куда-то, и она мне показалась вполне благодушною и здоровою, спокойною. Переезд на новоселье надо будет отложить дня на 3—4 ради не высохших еще полов и надобности дожидаться освежения воздуха от красочного духа, — но это дело совсем малое. Графине кланяюсь усердно. Радуюсь Вашему здоровью.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 93—94

1. Эта же цитата из немецкой газеты (наравне с другими) приводится в Воспоминаниях Смоленского (РДМ. Т. IV. С. 362—363): «Было еще интересно наблюдать, как потечески директор Смоленский заботился обо всех, особенно о юных сопрано и альтах».

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 1 октября 1903, утро

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

На случай, если Вам надо быть в курсе, сообщаю сейчас полученное извещение Капелле из гофмаршалской части, что «Государь возвращается будто бы 3 октября», совершенно оскорбленный за Муравьева в Гааге и ультиматумом Японии, однодневным, и выходкою немца. Не знаю и не ручаюсь за верность этого известия, но думаю, что положение дела действительно повернулось очень внезапно и резко. Турок и Австрияк говорят уже по-иному, и все успокоения газетные о будто бы «колоссальной биржевой мистификации», ныне де разоблаченной, что-то сомнительны¹.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 95

1. Имеется в виду министр юстиции Николай Валерьянович Муравьев (1850—1908), командированный в Гаагу для участия в заседаниях международного третейского суда для решения венесуэльского вопроса.

Шереметев — Смоленскому

Москва, 1 октября 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Не совсем я понял, о какой переписчице-друге Л. Н. Толстого и Вашем цензоре Вы говорите¹. Конечно, бывают поправки на пользу, но бывает и наоборот; и было все-таки хорошо.

Вполне Вам сочувствую в том, что Вы говорите об автомобилистах всякого рода.

Вчера дерзнул: письмо Кир-Константину. Ответит ли — увидим.

Вам преданный искренно С. Шереметев.

С праздником!²

РНБ, ф. 855, № 30, л. 146

1. Шереметев просто плохо понял несколько замысловатую грамматическую конструкцию в письме Смоленского, где упоминается графиня Толстая: Софья Андреевна была для мужа «переписчицей-другом», а для Смоленского «цензором» выступала Софья Сергеевна Волкова. Она в этот период внимательно читала главы Воспоминаний Смоленского, а также редактировала текст его обращения к государю (см. в Приложении к книге раздел «Проекты»).

2. Шереметев поздравляет Смоленского с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Шереметев — Смоленскому

Москва, 2 октября 1903

Дорогой Степан Васильевич, Вы меня озадачили Вашими тревожными известиями¹. Знаю, что [Государь] должен был ехать в Скерневицы в 20-х числах октября [и будет там до?] 3 ноября — когда действительно собирается назад к гусарскому празднику. Впрочем, я здесь живу «не у дел» и могу многого не знать. А время действительно сложное и врагов хоть озеро пруди.

Здесь зима — и прекрасный санный путь.

Будьте здоровы.

Ваш С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 145. Открытка с видом села Амирсво

1. «Тревожные известия» связаны с внешнеполитической напряженностью. Смоленскому хотелось как можно скорее представить государю проект «особого поручения», а это можно было сделать только после приезда в Петербург как государя, так и Шереметева. Скерневицы — личное имение императора в Белоруссии, на границе с Польшей.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 3 октября 1903, вечер

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Перестаю что-либо понимать в доходящих до меня рикошетом сведениях о приезде Государя, сегодня ожидавшемся, теперь «отложенном на неопределенное время», как опять по службе известила та же гофмаршальская часть ту же Капеллу... Не осудите, если и я ввел Вас в недоумение.

В Капелле творится какое-то неладное ничегонеделанье, чесание языков, многообещающие самоублажения и какая-то особая праздность. Был я невольным свидетелем собрания пришедших ко мне для совета товарищей, начинающих серьезно тревожиться состоянием неуправляемых дел Капеллы. Кленовский оказался совершенно малоспособным к управлению болтуном, малодетельным и теряющимся начальником, поющим с чужого голоса и не умеющим заставлять работать, давать каждому дело по принадлежности; оказался к тому же и склонным к слушанию всякого вздора и к выходкам столь же

бесцельным, как и обидным. Трудно разобраться в начавшемся сумбуре и лени, несомненна только очевидная убыль и застой во всех частях и начавшееся отбывание того, чего уже нельзя не делать для прилику и текущей жизни. А как жалко! Еще не так давно все работало и веровало!

Мой переезд задержался болезнью жены, теперь поправляющейся, да неокрепшею еще краскою полов на новоселье. Во вторник, 7-го, думаю быть уже не в Капелле, тем более что присутствие мое на Мойке, по-видимому, никого не стесняет, хотя и тяготит меня. Тяжело слышать ежедневно о рушении дела и об общей растерянности работников хороших и способных, но не управляемых более, а слушающих лишь болтливые обещания, вместо очевидной работы и подбадривания.

Я работаю в эти дни очень хорошо, написав статью памяти Чайковского¹. Десятилетие его кончины, совпадающее с 25-летием его Литургии, по иронии судьбы будет помянуто тою же Литургиею, которою так ославил себя Бахметев нелепым процессом в суде. Вот цветок — эта Литургия, — по которому можно судить, как порывисто растет наша художественная мысль. Совершенно непонятая сначала, Литургия Чайковского мало-помалу стала общеизвестною, потом любимую, потом привычною уже только в лучших своих страницах, а теперь уже стареющею, по местам же и жалкою. И это всего в 25 лет!

О цензорше, упомянутой в прошлом письме, могу дополнить, что это Соф. Серг. Волкова. А об «автомобилистах» могу сообщить лишь то, что буквально ни слуху, ни духу из Высокого².

Работаю и над продолжением статьи к первому заседанию. Не случилось мне на словах возобновить с Вами сведения об «особом поручении» Турчанинову, бывшем ему от Императора Николая I по выходе в отставку. Я нашел дело в архиве Капеллы и писал Вам как о подходящем прецеденте, но забыл о том в Москве. С Рогожского обещали известить меня о дальнейшем, но чего-то молчат, хотя и пора бы быть письму.

Сегодня Петербург наполовину празднует санную езду по первопутку, так как неожиданно выпало за ночь очень много снега; так хорошо и беспыльно на воздухе, так странны дымящие эту чистоту пароходы на Фонтанке и Мойке.

Не помню, кажется, я сообщал Вам, что мною сделано все надобное для получения ложи 14-го на первое представление оперы «Добрыня Никитич» Гречанинова. Сегодня читаю в газете из Москвы о перенесении спектакля будто бы на 20 октября, то есть время, когда Вы уже не предполагаете быть в Москве, и не знаю как быть³.

Графине шлю мой душевный привет. Приветствую и Вас от всей души.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

1. Статья опубликована в РМГ, 1903, № 42, 43.
2. Имеется в виду А. Д. Шереметев; шереметевское Высокое находилось в Смоленской губернии (ныне Смоленская область, Новодугинский район).
3. См. последующие письма.

Шереметев — Смоленскому

Москва, 4 октября 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Сейчас прочел в «Новом времени» корреспонденцию из Дармштадта, в которой описывается служба в нашей церкви и исполнение «Отче наш» *композиции г[осподина] Т[олстякова]*¹. Видите, как мы последовательны!..

Скоро ли вернется Нарышкина; я ей отвечал в Париж.

Вчера видел чудную игру Coquelin в мольеровском *Bourgeois Gentilhomme*².

На улицах еще снег.

Ваш С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 147

1. Имеется в виду сочинение П. Н. Толстякова. В его письмах к Смоленскому из Дармштадта описывается пение хора за службами в местной православной церкви и в концерте.

Говоря с иронией о «последовательности» А. Д. Шереметева, Сергей Дмитриевич имеет в виду его плохое отношение к представителям «школы Смоленского» в Капелле, что не помешало, однако, отправке П. Н. Толстякова в Дармштадт и даже исполнению его композиции.

2. В начале октября в Москве в помещении Театра Солодовникова гастролировал знаменитый французский актер Бенуа Констан Коклен (старший) со своей труппой. Шереметев посетил спектакль «Мещанин во дворянстве».

Шереметев — Смоленскому

Москва, 7 октября 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Теперь, надеюсь, Вы переехали. Какая досада, что с оперой Гречанинова такая задержка¹. Здесь погода ужасная, снег хлопьями, метет.

Сидим дома.

Смутно вокруг и невесело. Хожу в Архив Министерства Иностранных Дел и отдыхаю при виде документов — очень интересных, освещающих некоторые вопросы, меня занимающие.

Преданный Вам С. Шереметев.

Воображаю, что будет за неурядица в Капелле.

Ordre contre ordre — desordre... [Порядок против порядка — беспорядок.] Нужен бы психиатр...²

РНБ, ф. 855, № 30, л. 148

1. Первое представление оперы «Добрыня Никитич» в Большом театре неоднократно откладывалось по разным причинам; в конце концов спектакль состоялся 14 октября.

2. Речь идет о столкновениях А. Д. Шереметева со своими сослуживцами; они самым подробным образом описываются в Дневнике, поскольку бывшие сотрудники Смоленского едва ли не каждый день посещали его в Фонтанном доме и жаловались на своего начальника.

Шереметев — Смоленскому

Москва, [9] октября 1903

От души приветствую переездом¹. Запоздавшую хлеб-соль поднесу лично. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 149. Телеграмма

1. Имеется в виду переезд Смоленского из здания Капеллы в дом Шереметева на Фонтанке, окончательно совершившийся 8 октября. В тот же день Степан Васильевич начал Дневник 5, открывающийся планом нового жилища. Квартира состояла из столовой (8 x 7 аршин), комнаты брата Анны Ильиничны В. И. Альсона (примерно вдвое меньше), кабинета (4 x 5,5 аршин), спальни (10 x 7), комнаты для прислуги, кухни, ванной, сеней, чулана и приемной со стеклянной галереей. Смоленский замечает, что такая квартира обходилась бы при найме в 1000 рублей в год.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 9 октября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Не было никакой возможности написать Вам вчера, сейчас же по водворении под Ваш кров и под стяг Общества Л. Д. П. Случилось почти то же, что

бывает со всеми, то есть самая тщательная обдуманность куда и что поставить кончилась все-таки невообразимым сумбуром в квартире, от которого растерялось многое, в том числе и письменные принадлежности.

Теперь я сел впервые за письменный «свой» стол (ибо за ним я кончил гимназию, университет и работаю по сей день) и первые строки на новоселье пишу Вам. Излишне излагать, что я чувствую сейчас по отношению к Вам! При прощании в Москве я уверил Вас, что сами Вы увидите, как живо и как продуктивно я заработаю на новоселье, как я сумею посильно, но с самым искренним прилежанием отдать себя беззаветно любимой русской науке и не менее беззаветно любимому русскому певческому искусству. Да благословит Бог всемогущий тот день, когда я, наконец-то, пришел к тиши кабинета от служебных тяжких волнений, и пришел еще полный сил, с достаточною для моего дела подготовкою. И Вы знаете, что мои надежды, мои мысли о будущей дороге русского искусства, о будущей научно-художественной почве для его развития и здорового направления отнюдь не принадлежат к мимолетным увлечениям или к произвольным мечтаниям. Не в мои годы и не после стольких лет первоначальных работ говорить мне о журавлях в небе. Я истинно счастлив тем, что, говоря о своих додумках и мотивируя их с свойственною моим научным положениям, с присущею именно им, а не моему уменью, с неотторжимою именно от них простотою, ясностью, неопровержимостью, я даю такие средства для будущих работ, которые нисколько не стеснят будущих художников, а только заставят их почувствовать себя русскими людьми. Не самонадеянность, не односторонность специалиста заставляют меня говорить такие слова, а глубокая вера и достаточный опыт, и не мои только, но и моих учеников и товарищей.

И Вы трудились в тиши кабинета немало лет, а выяснившийся круг мыслей, конечно, не один раз радовал Вашу душу, столь любящую русскую науку и родное искусство. И Вас, вероятно и не раз, радовали высокие и трогательные внимания и поощрения сильных мира сего, начиная с незабвенного Александра III. Вспомните самую приятную с Ним беседу о старине русской¹ и посудите о том душевном умилении, с которым пишу я Вам, обновляя мое новоселье. Не умею Вам высказать меру моей признательности — пусть вместо слов будет мой труд и моя ежедневная за Вас молитва! Любовью согрею этот труд, так тесно соединенный с Вашим несравненным ко мне вниманием и участием. В час добрый! Глубокое Вам спасибо! Будьте здоровы с графиней, дай Бог Вам тихой радости в детях!

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

О причетниках и прочих делах напишу завтра; с хором певчих дело устроено.

1. О таких беседах повествуется на многих страницах мемуаров графа, который, видимо, рассказывал о своем общении с Александром III и Смоленскому. В частности, император проявлял большое внимание к деятельности ОЛДП.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, [11 октября 1903]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Оказывается, что новоселье требует очень много времени и всяких хлопот, чтобы уставиться, развеситься и разместиться. Только этим и могу извинить себя перед Вами в том, что вчера решительно не успел написать Вам.

Сегодня как будто бы новоселье принимает вид человеческого обиталища, что, после сумбура этих дней, доставляет мне невыразимое удовольствие. Я уже могу переменить молоток на книгу и аршин на перо. В таком удовольствии пишу Вам.

Псаломщик найден, хотя я и предполагал бы за лучшее пока испытать его на деле, хотя бы в течение одного месяца. Зовут его Алексей Николаевич Васильев. Он только что кончил курс в С.-Петербургской семинарии, очень любит пение и знает его, 22-х лет, родом здешний. Отзывы про него имеют отличные, как о вполне скромном, даже и застенчивом молодом человеке, преданном церкви. Я слушал, как он поет и читает. Голос не сильный, но ясный и довольно приятный, читает отчетливо, поет очень сносно, даже и порядочно; но сам он сознался, что от волнения не может показать мне имеющуюся у него силу голоса, как и свое уменье. Во всяком случае я полагаю, что даже и того материала, какой я слышал сегодня, хватит для ясного во все стороны слышания чтения и пения. Вообще г. Васильев произвел на меня впечатление молодого человека симпатичного и серьезно держащего себя, совершенно скромного и с достаточным достоинством.

В разговоре с ним возник один параграф, на который я не сумел ему ответить, а Михаил Николаевич [Ермолов] не догадался заблаговременно спросить. Это — вопрос о штате, то есть утверждён ли при Вашем храме штатный причт и требуется ли для служения в нем кроме Вашего согласия согласие митрополита или нет? Если да, то псаломщик, по месту, подлежит освобождению от воинской повинности, и это для Васильева вопрос первой важности.

Прерываю письмо, чтобы ответить Вам выражением самой искренней признательности моей и жены. Ваша краткая депеша всколыхнула наши сердца уже не в первый раз. Благодарим Вас оба и ждем Вашу хлеб-соль с сущою радостью.

Отвечаю не депешою потому, что отвезу сам это письмо к курьерскому поезду, так что, пожалуй, не скорее ли депеши дойдут эти строки.

Пишет мне из Дармштадта регент Капеллы мой ученик Толстяков, что там поуспокоились и, как слышно, не думают уезжать ранее 26 октября.

Потом пишет, что цари захвалили его в такой степени, что надумали необычайную вещь, а именно благотворительный в пользу Общества Красного Креста концерт Придворной капеллы в Дармштадте. Государь вытребовал от Паши Толстякова возможную по его усмотрению программу из духовных и светских хоров и одобрил представленное, как и прослушанное. Императрица Александра Федоровна обещала принять участие лично... Захвалил вновь Толстякова и Янышев, так что ученик мой ожил надеждою, что авось, как погрозили из Высокого, не выгонят его из Капеллы сейчас же по возвращении¹.

В Капелле делается что-то уж совсем непонятное. Третьего дня была проба голосов желающим поступить в большие певчие, и Кленовский пробовал так странно, что остальные экзаменаторы сначала пожимали плечами и переглядывались, потом пробовали вразумить Кленовского, а потом и совсем ушли. Ушли в недоумении и певчие. Помянули, как мне говорили, и меня, так как при мне, конечно, нелепостей бы не могло быть. Оказалось, что Кленовский, как не певец, а тем более не церковный певчий, добивался от конкурентов «музыкальности», «восприимчивости», «абсолютного слуха» и забыл попробовать голосовые средства, по церковному же пению и совсем не спрашивал... В результате выбран какой-то хлам безголосый и вместо двух басов и двух теноров — четыре сиплых безголосицы... Во внутренней жизни Капеллы издаются ежедневно новые инструкции по всем частям, сегодня объявляемые, на завтра наполовину отменяемые, дополняемые или ограничиваемые близкими сроками. Жалко и писать Вам так про свое недавнее детище. Уж именно «беда, коль пироги начнет печи сапожник».

Некогда писать еще. Благодарю Вас еще раз и за депешу и за все. Живется уже много легче.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

NB: В Канцелярии Министерства и в «Кабинете» на днях было категорично высказано, что Кленовский, судя по его действиям, не может получить место Управляющего Капеллою, хотя бы даже и последовало о нем представление.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 103—104 об.

1. Письма Толстякова к Смоленскому будут опубликованы в следующей книге, здесь процитируем письмо, отправленное после концерта:

Дармштадт, 15 октября 1903, 7 ч. вечера

Дорогой Степан Васильевич.

Только сейчас вернулся с концерта, прошло все очень хорошо. Орбелиани говорит следующее: «пели замечательно, немцы в таком восхищении, что броси-

лись к Государю, прося его устроить еще концерт, и Государь, кажется, дал согласие и концерт состоится во вторник».

Слава Богу. Все хорошо. Больше писать не могу, устал.

П. Толстяков.

(РГАДА, ф. 1119, № 192)

3. Кленовский все же стал на несколько лет (до 1906) помощником начальника Капеллы.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 13 октября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня, слушая других из добывающихся места псаломщика, я остановился на некоем Собакине, ученике Училища живописи и ваяния (Штиглица в Соляном Городке), но бывшем в течение семи лет псаломщиком здешнего Троицкого подворья у Аничкова моста, у митрополитов Сергея и Владимира. Впечатление как человек Собакин производит, пожалуй, лучше семинариста; хотя язык и перебит немножко, но голос лучше, опытность отлична, да и родня Вашему бывшему псаломщику, оставившему вдову сам-сем. Семинарист холост, а этот женат и в 30 лет уже при трех детях, а заработка нет, и потому просит очень.

Я порешил так, что Ваше слово будет последним в этом деле, так как лучше всего было бы прослушать за службу каждого, хотя бы по одному разу.

Увы! я должен отказаться от поездки в Москву на 14-е, как бы того ни хотелось!¹ Некоторое недомогание, все еще беспокойные нервы жены и, наконец, Ваш ожидаемый сюда скорый приезд тормозят мою отлучку. Хочется мне показать Вам поуютнее мое новое гнездышко. Начинаю в нем чувствовать что-то совсем новое и прямо благодатное по отсутствию волнений, по непрестанной семейной жизни, заменившей прежде бывшие свидания со своими только за едою. Отборные рукописи, вывезенные мною из Москвы, теперь постоянно под рукою, и я живу с ними в такой тишине, что слышу тиканье старых часов отца, степенно стоящих в конце другой комнаты; эта тишина, вместо бывших тромбонов, спевов, ребячьей беготни, вместо бывших иногда и неприятных, иногда и очень возбужденных объяснений по службе, — кажется какою-то необъяснимою, как бы странною, непривычною, но чувствуется при ней очень спокойно и бодро. Работается потому очень легко, и без запинки спорятся работы одна за другою, начинает опять работать память то те, то другие мелочи когда-то замеченного и где-то записанного.

Явился я моцион, введя новый обычай относить письма до Николаевского вокзала. Поэтому и это письмо кончается. Прошу передать мой сердечный привет графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 99—100

1. То есть отказаться от поездки на премьеру оперы Гречанинова.

Шереметев — Смоленскому

Москва, 14 октября 1903

Дорогой Степан Васильевич.

Из прилагаемого при сем документа, который препровождаю для Вашего архива, Вы усмотрите, кто главное лицо, интриги которого влияли на направление дел. Документ этот, по-моему, драгоценен по своей невменяемости. Письмо написано к жене дяди моего Бориса Сергеевича Шереметева, Вам известного — Ольге Николаевне¹.

Сегодня собираюсь к Добрыне Никитичу, 16-го в Ярославль к Вице-Губернаторше², 19-го утром надеюсь быть в Петербурге.

Сердечно преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 151

1. Шереметев Борис Сергеевич (1822—1906) — в то время главный смотритель шереметевского Странноприимного дома в Москве, музыкант-любитель; его супруга — Ольга Николаевна (урожденная Шипова).

2. Шереметев собирается на премьеру оперы Гречанинова в Большой театр, а затем в Ярославль к дочери Марии Сергеевне Гудович.

В приложение к письму Шереметев послал Смоленскому полученное им от О. Н. Шереметевой письмо М. Ф. Шереметевой от 7 августа (л. 152—153 об.):

Дражайшая Ольга Николаевна,

простите, что так долго задержала Вас ответом, но дело в том, что мой муж ничего решительного не мог сказать, так как пока вакансия регента (только что умершего г. Смирнова) не замещается, временно.

Между нами будь сказано, со Смоленским дело совсем не идет, он возбудил против себя всю Капеллу и притом оказался в музыкальном отношении весьма слаб. Надо его удалить, что, конечно, очень трудно. А потому пока вопрос этот не разрешился в ту или другую сторону, мой муж не хочет заменять вакансии новыми лицами. На меня Нечаев произвел очень приятное впечатление, и если Вы его рекомендуете как музыканта, то, я надеюсь, он будет один из первых кандидатов на это место. Но пока надо еще выждать.

Очень рада была получить от вас известия и ласковый привет, который меня очень обрадовал. Поцелуйте, пожалуйста, от нас обоих дорогого Бориса Сергеевича.

До свиданья, милейшая Ольга Николаевна. Дай Бог Вам всего хорошего.
Сердечно Ваша М. Шереметева.

Упомянутый в письме Виктор Иванович Нечаев — в 1903—1905 регент московского Чудовского хора, претендовавший на место старшего учителя пения в Капелле.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 15 октября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за депешу о «Добрыне»¹. Оставшись здесь и я пожалел, что не съездил в Москву на дебют моего молодого приятеля, которого сердечно люблю, хотя и провожу с ним время в постоянных и бурных спорах. Вы угадали сразу большое место оперы, написанной нынешним, а не старым способом, когда увертюру, как свод главных мелодий, писали после окончания оперы. Ныне пишут «введения», и, несомненно, либо в «Добрыне» будет новая увертюра, либо во второй (уже сочиняемой) опере увертюра будет написана на старый (и умный к тому же) манер².

Глубоко радует меня успех «Добрыни», с которым соединяю представление о новом шаге вперед именно русской музыки, певучей, бесхитростной, общедоступной, теплой душевною красотой, а не вычурностью внешних средств, столь развитых немцами и немцами из русских. Александр Тихонович — кровный русак, умный и способный, чувствующий родную красоту, но еще не обстрелянный и потому значительно самонадеянный, хотя и способный слушать дружеские речи.

Продолжаю работать дома с каким-то упоением, без удержу — целые дни, удивляясь своему покою и с каждым днем возрастающему благодущию. Действительно убеждаюсь теперь в тяжелой бывшей службе и в нескончаемой ее бывшей сутолоке с утра до вечера. Действительно начинаю отдыхать нервами и чувствую восстанавливающееся душевное равновесие, укрепляющуюся вновь память и способность к сосредоточению.

В эти дни из-за одного положения, которое хотелось доказательно высказать, проработал все время над сборниками народных песен. Мне надо утвердительно сказать, что незнание крюкового письма такими тузами, как Балакирев, Римский-Корсаков, Лядов, Ляпунов, Кленовский, Орлов, Чайковский и др., привело их при изложении одного и того же текста только к разноголосице и к самоизмышлениям, вместо простого логического изложения песни как факта грамматически-художественного. Крюковое письмо, прямо указывающее логический состав напевов и общие формы построений в целом, прямо бы открыло глаза этим собирателям песен, а они нагородили в их изложении каждый по-своему. Теперь уже имею десяток примеров, выуженных мною в эти дни, что пригодится для реферата.

Пора бежать на вокзал. Благодарю Вас за депешу, графине кланяюсь.
Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 102, 102 об., 105

1. Эта депеша, в которой, видимо, сообщалось об успехе оперы, не сохранилась.

2. Неясно, какая опера имеется в виду: второй оперой Гречанинова стала «Сестра Беатриса», в которой увертюра во всяком случае не написана «на старый манер», а представляет собой именно «введение». Но может быть, что речь идет о другом плане, который занимал тогда композитора — опере «Сакунтала» по индийскому сказанию или опере «Станционный смотритель» по Пушкину.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 5 ноября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Благодарю Вас за новость, имеющую для меня крупное значение, так как с уходом Ширинского-Шихматова из Синодальной Московской конторы¹, в частности же и из Синодального училища, открывается для меня, конечно, совсем иной доступ к московским рукописям и в Патриаршей библиотеке, и в Синодальном училище. Теперь мне в Москву — иная дорога.

Конечно, не радуюсь я за Тверскую губернию, получившую столь близорукого, мелочного и недоброго губернатора. Зато радуюсь и торжествую за Синодальное училище и хор, избавившиеся от столь угнетавшего их Прокурора; радуюсь особенно за церковно-певческое искусство, волею судеб попавшее в цензурном смысле в жесткие руки столь плохого музыкуса, как Ширинский-Шихматов². Впрочем, ведь и не такие чудеса бывают в цензурном деле.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 106

1. А. А. Ширинский-Шихматов получил пост тверского губернатора. В воспоминаниях С. Ю. Витте ситуация охарактеризована следующим образом:

В связи с Саровским Серафимом сделал себе карьеру прокурор Московской Синодальной конторы князь Ширинский-Шихматов, приготовивший все для открытия мощей. После этого торжества он был назначен губернатором в Твери, но так как он там потребовал от священников, чтобы они ему аттестовали политическую благонадежность населения, то князь [Святополк-]Мирский, будучи министром внутренних дел после Плеве, его уволил, хотя и не без неудовольствия со стороны Его Величества. Как только князь Ширинский приехал в Петербург, Государь его принял, спокой-

но выслушал всякие инсинуации на князя Мирского и назначил, вопреки обыденным правилам, сенатором (Витте С. Ю. Воспоминания, мемуары. Т. I. М.-Минск, 2002. С. 398).

2. Говоря о цензуре, Смоленский имеет в виду тот факт, что, будучи прокурором Московской Синодальной конторы, Ширинский-Шихматов по уставу был и председателем Наблюдательного совета при Синодальном училище, занимавшегося рекомендацией к печати новых духовно-музыкальных сочинений и переложений.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 9 ноября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вот краткие сведения о человеке, который, может быть, будет Вам по мысли для диаконского у Вас места. На случай, если Вам угодно будет его вызвать к себе депешею, чтобы лично поглядеть его, вместе с сим пишется в Москву г. Воскресенскому от Румянцева¹, с изложением главнейших условий службы при Вашей церкви.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 107

1. Румянцев Николай Ефимович — воспитатель и преподаватель в Капелле, бывший преподаватель истории в Синодальном училище.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 29 ноября 1903

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Поиски продолжаютя, ибо московский кандидат отказался, а пока 4 декабря, как, вероятно, Вам уже докладывал Михаил Николаевич Ермолов, предполагается пробная служба дьякона Гомеопатической аптеки, что здесь на Каменноостровском проспекте. Есть как будто и еще один, но еще до него не добрался. Был еще, но того пришлось забраковать без пробы, ибо счел возможным прийти для первого знакомства в неладном виде. Ищут мне, кроме того, сейчас один чиновник Синода и один чиновник митрополита, но оба говорят — дело трудное, так как дьяконов вообще мало, имеющих же попридерживают. Конечно, у меня это дело не забытое.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1581, л. 108

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 20 января [1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Ваша записка застала меня за только конченным в переделке «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная»¹.

Ко 2-му часу постараюсь кончить записку по Вашим указаниям². Не позволите ли одновременно показать и мечтаемые направления в будущей церковно-русской композиции?

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 1

1. То есть за работой над песнопениями, вошедшими в «Панихиду на темы из древних роспевов для хора мужских голосов», которая была издана Обществом ревнителей в 1905 (Вып. XIII). Она исполнялась 18 февраля 1904 в домашней церкви Фонтанного дома под управлением Смоленского в службе «по убиенным воинам» (уже шла русско-японская война). В печатном экземпляре Панихиды, принадлежавшем С. Д. Шереметеву (ныне в Музыкальном отделе РГБ), на титуле от руки поставлена дата «26 февраля 1904», то есть день памяти Александра III, и перечислены факсимильными подписями 12 исполнителей произведения, в том числе в первых басах — регент Фонтанного хора Валентин Яковлевич Пищер, во вторых басах — сам Смоленский.

2. Речь идет о «записке для государя» (см. в разделе «Проекты Смоленского» в Приложении к книге), которую Шереметев рассчитывал вручить Николаю II при личной аудиенции, вместе с только что вышедшим изданием работы «О ближайших практических задачах...».

Как следует из Дневника 5, Шереметев в эту неделю не один раз встречался с государем и поднес ему труд Смоленского (письмо Шереметева, сопровождавшее это поднесение, см. в разделе «Проекты» в Приложениях к книге), однако поговорить об «устройстве» Смоленского ему не удалось ни тогда, ни после. 21 января император сказал несколько «благоприятных слов» по поводу поднесенного труда, но 22 января, во время аудиенции, как сказано в Дневнике 5, «случилось нечто неожиданное», аудиенция была прервана, и император начал срочное совещание с министром иностранных дел — это было начало русско-японской войны.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 23 января 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Мысль отца Востокова¹, даже и в его скромном изложении, вполне превосходна и представляется мне продуманною им. Возможно и, сколько могу

понимать нынешние времена, надобно, или по крайней мере было бы очень нелишним дать ей ход. Не думаю, однако, чтобы доверие правительства снизшло даже и до обсуждения такой мысли, ибо в сущности мысль о Востокова есть не «мелкая земская единица», а как бы наимельчайшая, с сравнительно большою автономиею в самоуправлении, делающем прямо излишними многие надзирающие ныне чины.

К крайнему прискорбию я совершенно не могу вспомнить имя автора статьи о приходах¹. Книгу эту, конечно, у меня зачитали. Очень было бы кстати теперь возобновить доводы того автора, ибо в развитии дальнейшем мысль о Востокова кажется мне прямо упоительною.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 2

1. Речь идет об известном проповеднике, в будущем члене Поместного Собора Владимире Игнатьевиче Востокове. О Востоков издавна был знаком с Шереметевым, поскольку до 1903 служил в храме деревни Старый Ям Подольского уезда, рядом с имением графа, и часто по приглашению Сергея Дмитриевича посещал Михайловское и служил в его храме на праздники. О Востоков довольно много печатался в церковных и светских изданиях, в частности, в изданиях ОЛДП и Общества ревнителей, предназначенных для «народного чтения»; он был также членом Подольского отделения Общества ревнителей. С. Д. Шереметеву посвящен сборник статей о Востокова «Мысли и чувства православного христианина на великие и святые дни» (1902). О Востоков был знаком с Рачинским и посещал его в Татево. В переписке о Востокова с Шереметевым (РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 339), охватывающей период с 1898 по 1914, находится отзыв на статью Смоленского о Рачинском в РМГ:

Прекрасную, правдивую статью... прочитал с искренней благодарностию ее автору за доброе слово о незабвенном, истинном друге народа (л. 27, письмо от 25 августа 1902).

В ноябре 1903 о. Востоков по семейным обстоятельствам переселился в Москву и 21 января 1904 писал оттуда Шереметеву, что открыл в своем московском приходе беседы на темы «общественных явлений и вопросов». Судя по Дневнику Смоленского, речь в статье шла «насчет приходских общин и их администраций».

2. О какой книге или статье речь идет, неизвестно, но из дневниковых записей Смоленского разных лет понятно, что он очень внимательно следил за дискуссиями по поводу нового церковного устройства и придерживался в этом вопросе позиций, близких принятым впоследствии на Поместном Соборе 1917—1918 годов.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 26 января [1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Хормейстер Георгий Алексеевич Казаченко пишет мне, что, согласно Вашему желанию видеть его, он просит позволения быть у Вас в среду, 28 января, от 5 1/2 — 5 3/4 ч., так как, по случаю особо возбужденной в эти дни деятельности театров, у него на этой неделе найдется свободное время лишь в этот день¹.

Совершенно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 3

1. Речь идет о музыкальной программе очередного мемориального заседания Общества ревнителей в феврале. Казаченко Георгий Алексеевич (1858—1938) — хормейстер и композитор, в то время учитель хора Мариинского театра.

В программе заседания в 1904 значится, кроме исполнения Панихиды древних роспевов, выступление хора Императорской оперы под управлением Казаченко и чтение первой главы книги С. С. Татищева «Император Александр III. Его жизнь и царствование».

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 30 [января 1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Предварительное обозрение мною дел «Приказа Тайных дел», что при архиве Министерства Иностранных Дел, уже условлено мною по соглашению с директором архива С. М. Горяиновым, моим давним приятелем, столь неожиданно найденным в таком подходящем для поисков учреждении¹. Я виделся с ним вчера, и мы условились, что с этого четверга я ежедневно буду в Архиве, чтобы предварительно узнать, с чем, примерно, придется работать. Конечно, о находках я доложу Вам без промедления.

Душевно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 4

1. Горяинов Сергей Михайлович (1849—1918) — историк, дипломат. В течение весны 1904 Смоленский, знакомый с Горяиновым еще с казанских лет и заезжавший к нему в разные места во время своих зарубежных путешествий, неоднократно навещался в руководимый Горяиновым архив, но к 1 апреля пришел к следующему выводу:

Обозрение лучшего, что только могли мне показать в Архиве М.И.Д. по делам Тайного приказа, повергло меня в глубокое разочарование... (Дневник 5, л. 109).

Обозрение певческих рукописей во всех архивах России, особенно Петербурга и Москвы, входило в программу «особого поручения».

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 3 марта [1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

С глубоким интересом только что прочел я «От Углича к морю студеному» и, признаться, очень подивился на Вас, недоумеая, как Вы успеваете работать так подробно! С любовью увидел и Варлаам Рогова, близкого моему сердцу хорошего русского «роspěвщика и творца»¹.

Сегодня, Господи благослови, тронулись в путь-дорогу мои певцы-обличители и новаторы XVII века инок Евфросин и диакон Коренев. Посему вновь живу полно и радостно².

Относительно Важского архива позволяю себе сказать так: в нынешнем погосте «Верховажске», очень захудалом, уцелел — собор дивный, из коего я в свое время извлек для библиотеки Синодального училища наилучшие хорошие рукописи и притом в очень большом числе. Посему лет 10 назад я много переписывался с тамошним настоятелем и тогда были словечки о «многих делах» в подвалах собора³.

Полагаю, что с помощью губернатора либо какого-либо умного человека из Вологды (а там есть и после Суворова⁴), можно было бы поискать и еще, как и в Вельске.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 5

1. В историческом очерке Шереметева «От Углича к морю студеному», опубликованном в 7-й книге издаваемого Обществом ревнителей исторического просвещения сборника «Старина и новизна» (СПб., 1904), Варлаам Рогов упоминается в следующем контексте:

Для нас особое значение имеет личность Св. Трифона Вятского, «опальника» Бориса Годунова одновременно с другим выдающимся иерархом Варлаамом Роговым (Ростовским), покровителем «певцов». Опала со стороны Годунова понятна, ибо основана на сильном подозрении этих двух северных деятелей, которым ничто выдающееся в северном крае не могло, конечно, быть чуждо (С. 215).

См. выше письмо Смоленского от 8 мая 1903.

2. Смоленский имеет в виду свою работу над древнерусскими теоретическими трактатами, начатую еще в Москве. Доклад о «сказании» инока Евфросина по рукописи из собрания Синодального училища был сделан им на заседании ОЛДП 19 марта 1904, но не был издан (точнее, изданы только тезисы в отчетах ОЛДП; см. в Приложении к книге). Черновой автограф работы под заглавием «Сказание о различных ересех...» объемом в 16 листов машинописи (датирован: М., 1900) сохранился в фонде Финдейзена в РНБ (ф. 816, оп. 3, № 2647) и представляет собой текст памятника, выверенный по разным спискам.

По этому поводу есть запись в Дневнике 5 от 3 марта:

Три с половиной года спустя вновь двинулся в путь-дорогу мой «Инок Евфросин», которого тогда так внезапно заменили «Древнерусские певческие нотации». Вечером, читая 7-ю книгу «Старины и новизны», подивился начитанности в документах XVI века у графа Сергея Дмитриевича. Когда он успевает столько читать — понять трудно! (л. 91).

3. Певческие рукописи из Верховажска Олонецкой губернии представлены в собрании рукописей Синодального училища, в том числе в той (весьма небольшой) его части, которая попала в ГЦММК.

4. Суворов Николай Иванович (1816—1896) — вологодский историк и краевед.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 14 марта [1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Очень легко и неожиданно написался еще реферат для заседания Любителей в эту, 19 марта, пятницу. Это сообщение есть как бы введение для 16 апреля, план для которого и надобные материалы уже выяснились и в наибольшей части мною записаны. 1-й реферат — о «Сказании о ересех и хулениях на Господа Бога и Пречистую Богородицу, содержимых от неведения в знаменых книгах», 1651 год, инока Евфросина, а 2-й — о «Мусикии» государева диакона Иоанна Коренева и о «Мусикийской грамматике» Николая Дилецкого, 1681 года¹.

Не умею Вам объяснить меры подъема моего духа — работается как-то само собою, нетрудно и складно, целыми страницами без помарок.

Конечно, оба реферата будут кратки.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 6

1. См. предыдущее письмо. Второй реферат был прочтен 16 апреля 1904 и также опубликован тезисно в отчетах ОЛДП (см. в Приложениях к книге).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 17 мая 1904

Дорогой Степан Васильевич.

Как поживаете? Черкните словечко о себе. Ваши письма всегда так содержательны и интересны, а Вы в прошлом году меня приучили к ним. Привет Вашей супруге. Жена Вам кланяется.

Ввиду курьеза посылаю Вам прилагаемое прошение¹.

Сердечно и искренно Вам преданный искренний почитатель Ваш

С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 183

1. Приложения к письму не имеется.

В период с середины марта до середины мая Смоленский и Шереметев часто виделись, живя в одном доме. Смоленский в это время усиленно работал над казанской главой своих Воспоминаний (для публикации в сборнике к юбилею Казанского университета) и начал вникать в дела, связанные с положением инородческих школ Ильминского. Тогда же им была получена награда митрополита Макария за работу «О древнерусских певческих нотациях» (вторая в его жизни; первую он получил за издание «Азбуки старца Александра Мезенца»).

3 апреля между Смоленским и Шереметевым состоялся «большой разговор», в течение которого выяснилось, что в настоящий момент к государю обращаться с певческими делами невозможно ввиду обстановки на русско-японском фронте. Шереметев предложил устроить «особое поручение» Смоленскому от ОЛДП, которое, как думал граф, потом перерастет в «поручение от государя». Было решено к осени составить записку о плане ближайших работ по певческому искусству и смету вознаграждения за них. Эта тема подробно развивается в переписке Смоленского с Волковой, которую Шереметев «привлек» для помощи Степану Васильевичу в организации работы 2-го отдела ОЛДП.

В свою очередь А. Н. Нарышкина тоже включилась в поиски подходящего «статуса» для Смоленского. 6 апреля 1904 она писала Шереметеву:

Дорогой и глубокочтимый граф.

Я все хотела дать Вам письмо графини М. Ф. Шереметевой. Оно меня глубоко огорчило, и я до сих пор сожалею, что увлекшись своим порывом сердца впуталась так бесцельно в дела, меня не касающиеся. Прочтите и верните.

Думая вчера о нашем разговоре, я Вас прошу, мой милый, написать мне, ибо боюсь спутать, какого рода командировку можно придумать для нашего бедного Смоленского? Я попробую, где нужно, где Вы укажете, выпросить поручения какого-нибудь. В Синоде ли, где о музыке ничего не смыслят, в Министерстве внутренних дел? Я в очень хороших отношениях со всеми кроме Воронцовых. Ради возможной помощи кому бы то ни было я блюду с тщанием самые разнообразные сношения. Не мне судить о качестве людских поступков, ни о двигателе их действий, мне только бы кому впадшему в несчастье помочь! Личных интересов у меня более нет.

Но Смоленский высокая, чистая душа! Надо нам его последние дни усладить, смягчить глубокую скорбь, сгладить горечь беспримерной несправедливости. Совершенно нравственное убийство! Мы с вами обвяжем его зияющую рану — для Господа. За это и Он нас порадует! Очень я Вас чту, люблю.

А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1169, л. 7—8 об.)

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 25 мая 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я вернулся сегодня из родной Казани, отводя душу на берегах чудной Волги, в эти дни одетой в свежую зелень, в белеющий цвет яблочных садов. Полная водою «матушка» — прямо восхитительна. Я проехал ее от родного Кашина Тверской губернии¹ и действительно наслаждался, успокоился, окреп нервами, отдохнул, развлекся.

Возвратясь, нашел Ваше дорогое письмо. Отвечаю Вам без промедленья, хотя и не думаю, чтобы удалось мне без перерыва дописать это письмо. Сразу, в первые же минуты после недавнего покоя оглушили меня тяжелые вести из Капеллы.

Моя поездка в Казань была, кроме желания передохнуть, вызвана еще надобностью условиться на месте относительно печатания моего «Курса хорового церковного пения»². Я хотел печатать книгу в Казани, но оказалось, что это предприятие стоило бы там дороже, вышло бы мешкотнее и неудобнее, наконец, и хуже, чем в Петербурге. Поэтому через 2 дня я уже ехал обратно, успев, однако, сделать самые дорогие сердцу визиты, то есть к могилам моих родителей и незабвенного Н. И. Ильминского.

Здесь я еще толком не переговорил со своими, так как тьма всяких новостей заставила забыть о своих делах. Единственное впечатление, из самых очевидных и сильных, было то, что я удивил всех своим покоем и в свою очередь удивился взвинченности всех без исключения. Приписываю свой покой

нечтению мною газет и действительно животворному, успокоительному простору Волги; здешнюю нервность только и могу объяснить полною нелепостью службы в Петербурге, беззащитностью и бесправием малых по службе, равно и бесконтрольностью действий остальных людей.

Но несмотря на отсутствие деловых переговоров с разными типографскими, все-таки предвижу, что все лето придется проработать сидя здесь, пожалуй, и без возможности отлучиться. Кроме моего «Курса» немало работы предстоит как по приготовлению текста «Инока Евфросина», так и по приготовлению странички из истории русского церковного пения, которую мне хотелось бы возможно живее и доступнее изложить из двух моих рефератов. Скажу Вам по секрету: жена собирается уехать в Казань недели на три, — а этого времени будет для меня довольно, чтобы горячее заняться делом, по ее мнению, никому не надобным именно теперь. Я не возражаю своей жене, но все-таки делаю по-своему втихомолку, а в ее отсутствие работать именно над рефератами будет легче, так как разложиться со многими книгами и рукописями, распевать всякие фиты помехи не будет ни мне, ни другим³. Это «уединение любя» всегда сопровождало мои наиболее обдуманые работы, а к возможно живой передаче исторической картинки из середины XVII века я не переставал готовиться всю эту весну, даже и до сего дня утром в вагоне.

О Капелле я напишу Вам после и поподробнее. Теперь достаточно сказать, что как снег на голову вдруг объявилась опала графа Александра Дмитриевича разом на 3-х воспитателей, притом самых лучших. Излишне прибавлять, что это мои друзья и что тут воспользовались моим отъездом⁴. Общйй характер опалы тот же, как и со мною в прошлом году. Плохо приходится и подсидевшему меня Кленовскому, также, как слышно, собирающемуся уходить за невозможностью оставаться. Жалко мне моих друзей, из которых двое женаты и с детьми. Неожиданность катастрофы и ее бестолочь, равно и безвыходность положения — прямо жестоки. Впрочем, не того еще можно ждать в Капелле. Не такие еще пассажи предстоят теперь при проживании ее в Петербурге, Царей в Гатчине и Царском Селе, а Начальника на Ульянке — да еще при такой дезорганизации дела. Поживем — увидим.

На Фонтанке, сколько слышно, все благополучно. Но на войне, сколько слышу и могу понимать, наши дела будто бы очень не важны, особенно же по продовольственной и медицинской части. Болтают об обнаруженных будто бы колоссальных хищениях в этих областях, — но я толком еще не мог разобраться в слухах. Плохи, говорят, те же области и на самом месте военных действий. Очень, говорят, плохо занятие японцами Дальнего, откуда нашим не прогнать врага без огромных жертв. А мы отдали даром!

Теперь, в разлуке с Вами, прошу позволения писать Вам на тех же условиях, как то было когда-то у меня уговорено с Рачинским, то есть без ожидания Ваших ответов на каждое мое письмо. У Вас найдется дела и кроме ответов мне, а у меня будет сердечная радость писать Вам и хотя бы мысленно

быть в общении с Михайловским. Понятно, что Ваши письма ко мне будут моими праздниками, но я свободнее Вас и люблю писать Вам, а теперь мне кроме Вас и писать не к кому.

Графине прошу передать мой и жены привет и поклон. Вам — также.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 7—9 об.

1. Из Кашина Тверской губернии происходил дед Смоленского по матери протоиерей Стефан Димитриевич Колеров, выпускник Петербургской духовной академии, с 1830 ректор Кашинского духовного училища, протоиерей Воскресенского собора.

Смоленский уехал из Петербурга 12 мая. В Кашине он посетил могилы деда и бабки по матери Прасковьи Андреевны Колеровой, деда по отцу о. Гавриила Смоленского, а также встретился с жившими в этом городе пятью своими двоюродными сестрами. Большой радостью для него было услышать во время воскресной службы в кашинском соборе свои Ектении. Далее Смоленский направился на пароходе в Казань, где гостил у сестры Ольги; там же им была прочтена корректура воспоминаний для университетского сборника. 25 мая он вернулся в Петербург.

2. Речь идет об исправленном и дополненном 6-м издании Курса хорового церковного пения, первоначально составленном для преподавания в казанской Учительской семинарии (1-е, литографированное изд. — Казань, 1885).

3. В это время в доме Смоленского сложилась напряженная обстановка: Анна Ильинична категорически отказывалась принять как новый образ жизни мужа (только научная работа, без службы), так и новый круг его знакомств (в основном дамы из аристократических семейств: Волковы, Нарышкина, Чичерина, Оленина, Коссиковская, Сабурова и др.); хорошие отношения сложились у А. И. Смоленской, может быть, только с графом Сергеем Дмитриевичем и его супругой, а также с Софьей Сергеевной Волковой, которая была знакома со Смоленскими еще в Москве.

4. Имеются в виду воспитатели Капеллы А. К. Смирнов, Н. Е. Румянцев, Г. С. Васильев.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 2 июня 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Продолжение последнего моего письма к Вам было задержано неожиданной кончиной моего товарища с детства Николая Кесариевича Невзорова, директора здешней 7-й гимназии. Жена Невзорова еще более близка мне, так как наши отцы были крепкие друзья всю жизнь; затем мы — все погодки, росли вместе¹. Подобная и притом внезапная утрата вышибла меня в эти дни из

колеи, заставила похлопотать, побегать, узнать многое впервые, огорчиться, подосадовать на святых отцов в Невской Лавре и проч.

Одновременно увязалась в эти же дни торопливая беготня по духовно-цензурным властям, так как мне дорог для издания моего «Курса» каждый день, а власти оказались ленивыми, укрывающимися за циркуляры и законы, за надобность «соблюдения порядка». Панихиду я все-таки выручаю от властей этими днями вместе с другими моими писаниями. Забавно и, признаться, порою досадно даже и говорить с цензурными властями. Что за бесполезное и что за ненадобное учреждение чуть не на $\frac{9}{10}$ своей деятельности!

Одновременно же возникает опять попытка привлечь меня к частной, по вольному найму, деятельности в Св. Синоде, где, как ни странно, действительно нет никого сколько-нибудь основательно знающего церковно-певческую часть. Я узнал от Саблера, что будто бы предположено пригласить меня в «сверхштатные члены» Учебного Комитета при Св. Синоде и что это приглашение не замедлит последовать; что за труд рецензента и цензора мне будет предложено до 1000 рублей в год.

Конечно, одновременное пребывание меня теперь в тисках духовно-музыкальной цензуры и приглашение быть ее же руководителем теперь же не лишено некоторой доли несообразности. Прежде моего ответа Саблеру по привлечению меня к деятельности, я попросил его ради моих интересов этих дней, то есть ради избавления меня от томительных ожиданий и от надобности вразумлять цензора — труса и законника, — попросил вразумить цензора о моей признаваемой «ad futurum» [«на будущее»] художественной благонадежности. В ответ на это последовал немедленный звон телефона и уверения, что падают всякие законы и циркуляры, что цензура вскоре одобрит к напечатанию. Вслед за таким благоприятным поворотом дела я сказал Саблеру, что 1000 рублей в год меня не устраивает в Петербурге, хотя и улучшает возможность остаться именно здесь; что затем усвоение мною позиции рецензента и цензора духовно-музыкальных сочинений, конечно, расширяет мою личную свободу по этой части, как и свободу других, так как я только и могу быть свобододобивым, уважающим мысль всякого художника; что мне особенно было бы приятно, если бы с званием Члена Учебного Комитета была восстановлена лично мне (а это возможно) полная доступность поисков по монастырским собраниям рукописей и возможность продолжить и закончить мои труды в библиотеке Синодального училища; что я самым положительным образом отрекаюсь заранее от участия в делах Учебного Комитета вне моей специальности, так как не желаю и не буду тратить свое время на бумагомарание, как известно, составляющее всю суть его занятий, весьма благочестивых, высокозаконных, но все же напоминающих мельницу, ставшую на раззол № 1, № 2 и проч. Мои объяснения Саблеру, как кажется, все-таки показались не особенно опасным вольнодумством, и он согласился, что в самом деле мои занятия и мое положение не может не быть в будущем совсем отдельным

и нешаблонным. Я сказал ему в ответ, что, если будет возможно достойное соглашение, то работы будет у меня выше головы, но в направлении этой работы я не только ставлю условием свою свободу, но даже и обязательное для меня содействие. На этом наш предварительный разговор покончился.

Что выйдет в конце концов из этого разговора — сказать трудно. Мне не хочется, однако, утрачивать хотя бы отдаленную пока надежду на осуществление комбинации, которая имелась в виду минувшей зимой. Здесь, представляется мне, можно было бы работать гораздо шире, именно поднимая на свет свежие новости, не отвлекаясь никакими рецензиями и цензурами. Наконец, здесь и высокое покровительство делу от Государя и под стягом Общества Любителей Древней Письменности дают совсем иной тон всему делу, гораздо лучший, несравненно более авторитетный, чем где бы ни было, особенно же в столь затхлом Синоде, где «Святейшего» так мало, а святого — совсем нет.

С другой стороны, однако, имение в руках надобных нитей по церковно-певческому, хотя бы и художественно-археологическому делу невольно облегчает многое, так как все-таки, кроме науки и свободы, неизбежен и дым кадила, и глас 1-й, и те же старые книги, и та же цензура... Пока не могу еще разобраться в степени силы воздействий и содействий, которых бы следовало либо избежать, либо извлечь из Синода. Поэтому и пишу Вам об этом так подробно. Не хватает у меня дальновидности — это не то что копание в рукописях или письмо рефератов. Признаться следует и в том, что и общение с гг. синодальными деятелями, столь знакомыми мне почти поголовно, вовсе не из тех удовольствий, к которым я бы стремился хотя сколько-нибудь. Лукавых законников и благочестивых беззаконников в Св. Синоде более, чем где-либо. Они — гнусны.

Граф Александр Дмитриевич продолжает изумлять Капеллу, и трудно сказать, когда и чем кончатся его своеобразные эксперименты над этим горемычным учреждением. Сейчас Капелла в Петергофе. Под резонном, что мальчики устали и нуждаются в отдыхе от занятий, под резонном, что в Английском дворце работает Красный Крест и «может состояться посещение Императрицы Марии Федоровны», — были внезапно отменены все без исключения научные и музыкальные занятия с преподавателями на все лето. Между тем этих же преподавателей пригласили на лето жить близ Капеллы, чтобы заниматься с детьми. Теперь и дети, и преподаватели не знают, что делать. Я уже писал Вам о странном приказании трем лучшим воспитателям подать прошения об отставке... Эти трое удалены уже от исполнения своих обязанностей самым непонятным и необъяснимым образом до 1 сентября. Остальные четверо, дежурящие теперь в Петергофе, не знают, что им делать с толпой ребят, которой приказано быть праздною. Не менее были озадачены недавно члены особой комиссии, обсуждавшей по поручению Фредерикса вопрос о дальнейшем при Капелле существовании регентских классов. Ввиду того, что Синод устраивает в Петербурге Синодальное училище № 2, подобное московскому, Министерство Двора задумало еще 3 года назад передать регентские классы

Синоду². В заседании комиссии был Янышев³, депутат от Синода, председатель Смельский (ведущий у Фредерикса всякие ревизии Капеллы), — рассуждали много и толково. Вдруг совершенно неожиданно и резко граф Александр Дмитриевич заявил примерно так: «Вы можете рассуждать и постановлять что хотите, а я не допущу упразднения регентских классов при Капелле; я доложу Государю, уговорю Его, и дело будет по-моему». Опешила комиссия после такого заявления настолько, что порешили было спросить сначала Министра, как быть? но потом, ввиду демонстративного ухода А. Д. из заседания, все же опомнилась и постановила по силе своего разума, то есть закрыть классы. Что выйдет из этого странного столкновения — сказать пока трудно.

Конечно, Министерство обо всем этом знает. Видит, понимает, но что же делать такому Министерству? В том же Английском дворце в складе Красного Креста на днях зачем-то был получен транспорт сахара. Отправлено было 400 пудов, а приехало 200... Поговорили, поговорили и решили «не огорчать Императрицу Марию Федоровну оказавшуюся неисправностью Балтийской железной дороги» и произвести «негласное дознание»... то есть, лучше сказать, предать дело забвению! Что же делать с таким Министерством?

Вам и графине мой и жены поклон и привет.

Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 10—11 об.

1. Невзоров Николай Ксариевич (1848—1904) — историк литературы, переводчик, педагог, в 1900-х член Учебного комитета Св. Синода; его супруга Надежда Александровна, урожденная Владимирская — дочь сотрудника отца Смоленского протоиерея Александра Поликарповича Владимирского, профессора и ректора Казанской духовной академии.

2. Разговор об устройстве в Петербурге учреждения, подобного Синодальному училищу, начался, судя по Дневнику, в марте 1904. Однако еще раньше, в мае 1903, о проекте передачи регентских классов Капеллы в Синодальное училище упоминает А. Д. Кастальский (в письме к Смоленскому от 13 мая 1903):

...Что сие есть за сон, что министр Двора писал Победоносцеву о возможности перевести регентские курсы из Капеллы в Синодальное училище, «так как там они уже существуют», а в Капелле на них много расходов и прочее. <...> Как это ни смешно, а все-таки интересует меня то, отчего Капелла желает отбояриться от регентских курсов... (РДМ. Т. V. С. 608—609).

Тогда по настоянию А. Д. Шереметева классы остались в Капелле, но в конце концов с лета 1907 был прекращен прием в них частных лиц. Это дало толчок к открытию Смоленским и его соратниками частного Регентского училища.

3. Янышев Иоанн Леонтьевич (1826—1910) — в прошлом ректор Петербургской духовной академии, в данный период придворный протоиерей.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 12 июня 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Был я сегодня на Литейной у К[онстантина] П[етровича] П[обедоносцева], или, как назвали его недавно, у «кучки потухшего пепла». Разговор наш был очень оригинален и заключался в том, что К. П. всячески хотел поставить меня в положение просителя, а я всячески хотел внушить ему, что именно этого от меня не будет. Оригинальность же состояла в том, что К. П. всячески уверял меня, будто бы благоустройство церковного пения от Синода не зависит, что цензура и вообще регулирование изданий церковно-певческих есть чуть ли не *pensens*, что к воспретительным действиям могут относиться лишь случаи, когда кто-либо напишет Херувимскую с мелодией «По улице мостовой». «Я полагаю, — сказал К. П., — что Синод прямо бессилен тут сделать что-либо: он одобряет одно, — смотришь, никто не поет в церквах одобренное; он запрещает петь другое, — смотришь, поют чуть не в каждой церкви...»

Я: Ваше В[ысокопревосходитель]ство указали именно то болезненное место в церковно-певческой практике Синода, которое находится в таком противоречии с жизнью и которое вполне легко устраняется, раз как за дело возьмутся знающие люди, а не чиновники или мнящие прилагать к искусству несуществующие для него гражданские законы. Умное проведение умных принципов было у Вас на глазах в Москве. Уважительное исполнение требований авторов, снисхождение к художественным привычкам толпы, вкусы которой издавна испорчены как Капеллою, так и архиереями, — все это нетрудное к исправлению скоро может быть предано забвению при двух условиях: при свободе и при провозглашении действительно животворных и притом ненавязываемых принципов, талантливо иллюстрированных не чиновниками Синода и не архиереями, а именно художниками. Даже неповиновение церковного клироса, указываемое Вами, в сущности показывает, что даваемые Синодом распоряжения несимпатичны народу и что этими распоряжениями вполне игнорируется то художественное, что именно и дорого народу. Разделяя в церковном пении две области: одну — обиходную, нерушимую, лучше сказать, менее подвижную, и другую — свободную, постоянно меняющуюся даже на памяти одного поколения, мы можем прийти к самому простому плану регулирования церковно-певческого искусства. Это регулирование необходимо надобно, так как разнузданность, портящая все дело, не есть свобода, которой, в ее умной и достойной степени, Синод почему-то очень боится. Настоящий регулятор в достоинстве храмового

пения вовсе не закон, не Синод, не чиновник, а ум коллективный того благочестивого богомольца (именно ум, а не вкус), который добровольно наполняет храмы. Именно от развития и чуткости этого ума зависит то, что в двух храмах на одной и той же улице поют разное, в одном достойное, в другом недостойное, не справляясь о позволениях и о законах, а повинувшись свободному и уважительному для храма своему посильному умственному кругозору. Вот этот-то кругозор и надо перевоспитывать деликатно и умно, рядом влияний, которых значение бы понималось всеми и которых предьявление не оскорбляло бы ни свободы певцов, ни свободы богомольцев. Вы знаете, что в Москве этот опыт был сделан вполне успешно в самом ее сердце, то есть в Успенском соборе практикою Синодального хора.

К. П.: Я понимаю и чувствую, что певческое дело, поскольку в жизни оно соприкасается с деятельностью и влиянием Синода, приняло характер отношений не только ненормальных, но иногда даже и нелепых, как, например, то видится в деятельности Наблюдательного совета [при Синодальном училище], от которого идет только вред, а не польза. Затем все Ваши суждения суть только общие размышления, не дающие определенных границ для действий сторон, не устанавливающие дисциплины сторон. Да наконец, для того дела нужны деньги, а у нас их нет...

Я: Я понял смысл моего приглашения побывать у Вас именно так: Св. Синод готов сделать первый шаг навстречу мне; если это будет, я могу сказать, что могу пойти навстречу. Вы знаете очень хорошо, что я теперь свободен, что я нуждаюсь, что мое желание иметь вознаграждение за труд вызывается отнюдь не корыстью, так как, несомненно, я дам Синоду гораздо большее. Мне нужны деньги для свободы моих же действий. С другой стороны, и я знаю и вполне подтверждаю Ваши слова, что действительно Синод запутался в регулировании своих отношений к свободному (а не к обиходному) церковно-певческому искусству. Для распутывания этого дела, кроме ничтожного расхода на меня лично, нужны не деньги, а очень большие деньги, да кроме того доверие и терпение Св. Синода.

К. П.: Я поговорю еще раз об этом с Саблером.

*

Я не получил от Вас, многоуважаемый граф Сергей Дмитриевич, ответа на мое последнее письмо, в котором была описана как бы увертюра к разговору с К. П. Теперь дело достаточно прояснилось, чтобы думать о нем и раскинуть умом на будущее. Разговор о возможности занятий моих в Синоде интересует меня, конечно, более всего со стороны возможности моих воздействий на церковно-певческое дело именно там, в Синоде, где этому делу вредят вполне нелепо и притом вполне неумелые люди. Само собою разумеется, что тысяча рублей в год нисколько меня не устраивает так, как бы мне было надо, без всяких лишних для меня пожеланий. Но занятия в

Синоде, которые, конечно, я могу бросить при всяком проявлении там дикой настойчивости и столь обычной «*pop possumus*» [«не дозволяем»], нисколько бы не мешали свободному продолжению моих научных занятий, в некоторых же отношениях даже приближали бы меня к собранию рукописей на Никитской улице. Очень бы мне хотелось слышать Ваше по сему мнение, так как все-таки предстоящая «осень», хотя бы и поздняя, все же милее мне, чем текущее лето.

В Капелле вдруг этими днями гнев сменился милостью. Кажется, мои бывшие товарищи обязаны этою переменою там уговорам всей семьи Гейденов, которыми она вразумила Александра Дмитриевича не губить ни в чем не повинных семейных людей. «Изгнание из Капеллы москвичей», теоретически задуманное для обновления ее духа, вдруг встретилось с вопросом о надобности оправдать такое воздействие. Тут именно, в связи с известным уже Вам будто бы эффектным заявлением графа А. Д. о воле Государя продолжить существование регентских курсов в Капелле, получилось вполне обратное впечатление на графа Александра Дмитриевича. Он уступил уговорам Гейденов, убедившись, что эффект уже сделан хотя бы в стенах Капеллы, а эффект внешний в самом деле может повернуться также неблагоприятно для него, как и в заседании Комиссии о регентских курсах. Мои горемыки-товарищи, совсем повесившие носы, опять ожили, хотя положение Капеллы сейчас в Петергофе продолжает быть каким-то сумбурно-вулканическим, бестолковым и полным великих тревог.

Я продолжаю работать, сидя дома, иной день и с утра до вечера. Возбудил даже подозрение Михаила Николаевича Ермолова в моей неспособности оценить Ваш чудный сад. Работы действительно выше головы, и времени для отдыха нет совсем. Завтра начну совместное чтение рукописей с Майковым¹ в Публичной Библиотеке. Погода стоит этими днями очень хорошая.

Мой и жены моей поклон и привет Вам и графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

P. S. Слышно, что А. Н. Нарышкина на днях вернется.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 12—13 об.

1. Майков Владимир Владимирович (1863—1942) — историк, палеограф, библиограф; работал в Археографической комиссии, с 1900 в Рукописном отделении Публичной библиотеки; член ОЛДП и в тот период его секретарь; исследовал и издал многочисленные древнерусские источники.

С Майковым Смоленский считывал параллельные редакции «Сказания» инока Евфросина. Также в это время Смоленский работал над параллельными изложениями ирмосов и догматиков в рукописях разных веков.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 16 июня 1904

Дорогой Степан Васильевич. Бью челом и прошу не упрекать за молчание. Только что вернулся из хозяйственной поездки и уехал на месяц. Меня тревожит, что Вы не даете себе никакого отдыха. Все, что пишете, очень неопределенно и представляет опасность [?]. Чего хотят они — и чего не хотят, не разберешься — только мешать русским. От этого не легче.

Будьте благополучны.

Ваш С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 177. На открытке с гербом Казанской губернии

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 21 июня [1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Немало порадовало меня Ваше письмецо с родным мне Казанским гербом. Я было начал задумываться о причине Вашего молчания. Да и вообще веселее общение с Вами.

Наконец-то «Панихида» получена из цензуры и притом без красных чернил. В вопросе о печатании ее является теперь особое удобство в том смысле, что я одновременно надумал напечатать несколько своих других вещей и для того уже имею металлографию. С другой стороны, полагаю, что едва ли у Общества Ревнителеев или Любителей Древней Письменности были издания чисто нотные. Посему и думаю, если только дело издания Панихиды уже прошло надобные в Обществе постановления Комитета, — предложить свои услуги, чтобы не затягивать дело. В куче моих дел по металлографии, конечно, печатание Панихиды меня не затруднит нисколько.

Сейчас я только и отвожу душу маленькими поездками на пароходиках, так как корректуры по малой привычке граверов к цифирной нотации были ужасны. В общем дело налаживается и тут, что позволяет мне подумывать о дальнейших корректурах, систематически высылаемых по дороге моей в разные места, в том числе, если позволите, и в Михайловское — на 2—3 дня.

Затем о совсем странном. С Синодом, лучше сказать с К. П. Победоносцевым, у меня опять выходит, или выйдет непонятная и ненадобная история вроде минувшей профессуры в Духовной Академии. Странно и писать о людях, отлично знающих мое положение, отлично помнящих целый ряд моих услуг Синоду, оказавшихся не только не вознагражденными, но даже и повер-

нутыми мне же как бы в укор, как не оговоренные деньгами заблаговременно... Странно писать о том, что Синод, совершенно запутавшийся услугами неучей в церковном пении, нарушил мой покой и опять пошел на попятный! Дело об устройстве, для меня собственно, места сверхштатного члена в Учебном Комитете затормозилось по неимению денег 1000 рублей на мое вознаграждение. Но зачем же огород городить, притом же и во второй раз?

Действительно К. П. стал стареть и видеть в людях только ту безотрадную пошлость, которая так плотно и так давно засосала его в Синоде. Саблер в последнем со мною разговоре «обнадежил» меня, что старец сдася, точно будто бы так уж желательны мне именно такие благосклонные внимания таких людей. Бог с ними! Бог милостив, и без них хватит у меня будущего заработка!

В Капелле наступило какое-то затишье после натиска Гейденов на Александра Дмитриевича. В том хорошо по крайней мере то, что не пострадали ни в чем не повинные люди и оказался, наконец, способ усовершенствовать Александра Дмитриевича для его же блага, кроме блага других, поплатившихся нервами.

С Майковым продолжаю читать Евфросина. Сравнение столько прославленного когда-то Хлудовского экземпляра с другими привело нас далеко не в пользу Хлудовской рукописи¹.

Не пострадали ли и Ваши усадьбы от феноменального урагана-смерча? То, что говорили мне очевидцы-москвичи — прямо невероятно, прямо ужасно, страшно.

Графине и Вам мой и жены моей поклон и привет.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 14—15 об.

1. Основным для предполагавшегося издания был выбран не Хлудовский, а Погодинский список.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 26 июня 1904

Не пеняйте на меня, дорогой Степан Васильевич, за мое долгое и необычное молчание. Сложилась так обстановка и дни, что завален разными делами и переписка хромает. Но меня Вы совсем сбили, что очутились все лето в Петербурге и за работой. Ведь вопрос об отдыхе был, сколько помнится, поставлен врачами, и я радовался Вашему отъезду во врачующий простор, а в результате вышло совсем другое. Только уделите время для отдыха; требуется сил и дело, которому Вы служите.

О делах в Придворной Капелле не хочется и знать — да к тому же все так запутано, что свои своих познать не могут. Кто с кем, против кого и за что и ради чего — отказываюсь понимать. Ясно, увы, одно это наверху — легкомыслие и равнодушие. Все это, увы, даром не пройдет. [Относительно] вопроса о переговорах с Синодальными. Что за чепуха? Я получил старческое послание, весьма хорошее¹. Надеюсь быть в Питере в половине июля. До свидания, надеюсь.

Искренно преданный Вам С. Шереметев.

Вернулась ли А. Н. Нарышкина и где она? Что так скоро?

РНБ, ф. 855, № 30, л. 179

1. Имеется в виду письмо К. П. Победоносцева. Многочисленные послания обер-прокурора к Шереметеву сохранились в фонде последнего в РГАДА (ф. 1287, оп. 1, ч. 1, № 1334, 1335), упоминаний о Смоленском в них нет.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 29 июня 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня у Вас праздник¹, и мечтал я когда-то провести этот день в Вашем чудесном Михайловском. Увы! Придется, пожалуй, провести здесь и июль, и август, сидя с корректурами моего Курса. Отвечаю на Ваше письмо, только что полученное, хоть мысленным приветом Вас и всех Ваших с семейным праздником, воспроизведя в памяти все виденное мною у Вас, начиная с околдовавшей меня библиотеки.

Этими днями я послал Вам главу из моих «Воспоминаний»². Стыдно мне, и закаялся я наперед печатать что-либо через других лиц — до того ужасна корректура в этой брошюре. Но, если Вы пробежите глазами ее содержание, Вам должны кинуться в глаза многие там междустрочия, скрытые, потому что не мне учить других и въявь исповедоваться, как бы душа ни болела.

Эпопея переговоров с Синодальными как-то вдруг сразу покончилась, и недоумеваю я: какая была нужда трогать меня еще лишний раз? какая была нужда начать дело у себя же недоговоренное? Что-то уж совсем мудрено, да и не могу догадаться о цели подобных мероприятий. Если хотели они взять от меня мои композиции (уже напечатанные без спроса в Синодальном сборнике), то я бы отдал их и без посулов-маневров; если хотели, под каким-либо предлогом, дать мне объяснение со старцем, то к чему то было — совсем странная вещь, и жалею я о своей наивной доверчивости.

А. Н. Нарышкина еще не возвращалась из Франции, из тех же *Eaux Bonnes*. Мы переписались два раза, и в обоих ее письмах были жалобы на нездоровье. Три недели, на которые она было поехала туда, давно миновали, а здесь тем временем подвели какую-то комбинацию, по которой ее поездка в Читу, может быть, и совсем не состоится. Здесь умеют подвести!

Типографские мои работы, сначала бывшие очень тугими, теперь наладились и пошли в порядке достаточно хорошем, так что и отдых у меня есть почти каждый день, да и мастера не утомляют невозможно-неисправными корректурами. С Майковым у меня небольшой антракт, ибо Публичная Библиотека на несколько дней около 1 июля закрыта. С Панихидой — подожду Вашего приезда, тем более что, как Вы вероятно знаете, Хрущов скончался¹.

Наверху, как слышно, все по-прежнему. Лишь на днях была у меня в руках прелюбопытная афишка концерта в «*Al Davil*», данного при участии «*illustrissima Sign-на А.Ф.*», «*serenissime quartetto*»-м и проч. — это было бы пожалуй и остроумно даже и 1 1/2 года назад, но далеко несерьезно, и даже незящно. Впрочем, что же другое мог бы выдумать Штакельберг!⁴

Графине и Вашим — мой поклон и привет. Прошу и Вас принять мои самые сердечные поздравления к 5 июля.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 16—17

1. Смоленский имеет в виду день преподобного Сергия — 28 июня по старому стилю.

2. Шереметеву был послан единственный изданный при жизни Смоленского фрагмент его Воспоминаний — «Из воспоминаний о Казани и о Казанском университете в 60-х и 70-х годах», вышедший в составе «Литературного сборника к 100-летию Императорского Казанского университета» (Казань, 1904). О плохой корректуре этого текста Смоленский писал и Волковой.

3. Хрущов Иван Петрович (1841—1904) — историк литературы, с 1879 член учебного комитета по Ведомству императрицы Марии, председатель комиссии по устройству народных чтений в Петербурге; в 1896—1899 попечитель харьковского учебного округа; автор трудов по древнерусской литературе и истории, в частности, эпохе Смутного времени. Активный член Общества ревнителеев; в изданиях Общества вышло две его книги: «Сборник чтений по русской истории с древнейших времен» (1906) и «Сборник рассказов из русской и чужеземной жизни» (1905).

4. Речь идет, по всей видимости, о придворном концерте, представлявшемся Смоленскому особенно неуместным в контексте печальных событий на русско-японском фронте.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 6 июля 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Был у меня сегодня гость — родной младший брат известного Попадопуло-Керамевса¹. Молодой человек кончил курс в Петербургской духовной академии 3 года назад, и оттуда, за обучение на казенный счет, его угнали учить мальчиков греческому языку в Бугурусланское (Самарской губернии) духовное училище. Там молодой человек успел жениться и, так сказать, завинтил себя в Самарской степи.

Я встретил его сегодня во второй раз в жизни и провел с ним преинтересных 2—2 1/2 часа. В 1-й раз я увидел его после моего реферата в Обществе Любителей три года назад. Он пылко напал на меня по окончании заседания. Он был как бы оскорблен тем, что я недостаточно стоял за благодеяние, данное нам греками в виде наших певческих крюков и незаслуженно преувеличивал русские улучшения в изложении и в составлении наших напевов. Молодая пылкая голова (несомненно — умная и начитанная) наговорила тогда много ненадобных резкостей, думая более об убедительности такого сорта нападений. Оказалось затем, что греческое самолюбие было задето очень глубоко. Керамевс засел за книги, вооружился против меня всем, что только нашлось, и написал против моих «Нотаций» самое жестокое опровержение. Статья эта была доставлена в Археологический Институт к проф. Покровскому² и затем... пропала куда-то совершенно бесследно. Конечно, в таком своеобразном беззаконии нужно видеть высшую степень любви г. Покровского к своему горячему и уважаемому питомцу, отведенному от ошибки и бестактности столь оригинальным способом.

Сегодня мы встретились и поразговорились по поводу этой статьи. В Керамевса я почти влюбился. Он остыл, поумнел и подучился за эти три года, потому беседа с ним стала интересною и содержательною. Сейчас он здесь в командировке по поручению Академии наук и работает все на той же дороге, то есть в области греческого пения, перенесенного в Россию. Как природный грек-певец, ныне же как образованный человек, застрявший в России, человек этот пришел теперь к раздумью о надобности не тенденциозной научной работы, а о выработке самого безукоризненного, высшего, беспристрастного служения правде. На этой именно почве, на широких исторических обобщениях, на основаниях глубины политики высоко-терпимого обращения восточно-православных церквей с вновь принявшими православие народностями, на разнице этой политики обращения у католиков и у мусульман, была основана моя речь к молодому и даровитому Керамевсу.

Вторая часть нашей беседы относилась к значению алфавитов вообще, всегда отстающих от преуспеяния или от перерождения данных языков. От-

того — невольное изъятие существовавших прежде букв, изобретение новых, усвоение составных букв и удержание древнего правописания. Сообразно же алфавитам и политике правящих церковей надобно обсуждать и алфавит певческих знаков. Образный алфавит более пылких фантазиею восточных народов сказался и здесь, в сравнении с формальным западным анализом; так же как «Аз буки вем; глаголь: добро есть живети; рцы слово твердо; как люди мыслете? наш Он покой» и проч. — есть живая образная речь в сравнении с сухо-протокольными А, В, С, D, E, F и проч., так же и наш «голубчик борзый», «голубчик тихий», или «стрела», или «чашка», «змийца», «палка» и проч. суть такие же живые образы в сравнении с Ut, Re, Mi, Fa или C, D, E, F, которые ничего не говорят, кроме как бы статей закона правящего и аналитического.

Наконец, третья часть нашей беседы коснулась того теплого, благодарного чувства, которое неискоренимо в народе-сыне к просветившему его народу-отцу. Здесь, как и в семье, подрастает и крепнет сын, стареет отец; умнеет, мыслит и действует по-новому молодой, вздыхает и корит старый и проч. Одни и те же житейские волны, в смысле вековых событий, производят на оба народа вполне разные впечатления не в подробностях только, но и в существенном смысле событий. Но чувство продолжает не только существовать, но и расти, подобно благодарному чувству возмужавшего сына или внутренней радости-любви старика, любующегося красотой сына, но тут же порицающего в сыне его новшества, порицающего мягко, любовно, так как старик невольно помнит, что настали другие времена.

Выводы мои были понятны сами собою. Но они были столь неожиданны для молодого ученого, что я залюбовался его волнениями, охватившими его, как кажется, вопреки целям, с которыми он зашел ко мне. Мы расстались новыми друзьями, тем более потому, что у Керамевса рассеялось представление о бывшей у меня будто бы на него обиде.

Но по уходе Керамевса я, стареющий, задумался о том, зачем такой несомненно выдающийся человек и несомненный будущий работник сидит в Бугуруслане, да еще занимается столь бесполезным делом, как ученье будущих дьячков и пономарей греческому языку? Как близоруки в Синоде, когда не только под носом у них вырастают люди исключительных дарований и стремлений, а их толкают Бог знает в какие медвежьи углы? Вот в Казани кончил в Академии курс блестяще даровитый татарин Даулей¹. Хлопотали и за него, как и за Керамевса, а Синод услав его в Курган, за Тобольск, также учить дьячковских детей (да еще наполовину остяков!) и также, прости Господи, греческому языку. Что за слепота и что за глухота!

Узнал я, что Вы скоро будете здесь и радуюсь свиданию с Вами. К 16-му прибудет и А. Н. Нарышкина.

Мой и жены поклон Вам и графине.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 18—19

1. «Известным Попадопуло» Смоленский называет старшего брата своего гостя, Афанасия Ивановича Пападопуло-Керамевса (1856—1912) — греческого византолога, который с 1890 работал в России (доцент Петербургского университета). Известна его работа, связанная с древнейшей русской книгой — Путятинской Минеей, в которой имеется одна нотированная стихира: «Происхождение нотного музыкального письма у северных и южных славян по памятникам древности, преимущественно византийским» // Вестник архитектуры и истории. Т. XVII. СПб., 1906.

По предложению Смоленского оба брата стали членами-корреспондентами ОЛДП.

Свое мнение о самостоятельности русских мастеров пения на самых ранних этапах жизни этого искусства на Руси Смоленский отстаивал и позже, в том числе после Афонской экспедиции, когда его знакомство с византийскими певческими рукописями значительно углубилось.

2. Покровский Николай Васильевич (1848—1917) — археолог, церковный историк, директор Археологического института в Петербурге (с 1898).

3. Даулей Роман Павлович, кандидат богословия, с 1906 преподавал русский язык в Казанской учительской семинарии.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 6 июля 1904

От души благодарю, дорогой Степан Васильевич. Надеюсь, что скоро увидимся, вероятно прибуду в половине июля и тогда будем сладце беседовать... Что за события не бывали в Казани... Похищение иконы, святотатство...¹ Известия от Д. С.² смутны и противоречивы.

Живется тревожно и беспокойно при таких условиях.

Итак, до скорого свидания.

Вам преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 178. На открытке с видом Михайловского

1. Имеется в виду похищение иконы Казанской Божией Матери. Так, «Московские ведомости» в номере от 1 июля 1904 (№ 179) сообщали:

Казань. 29 июня. В 2 часа ночи кощунственно ограблен Богородицкий монастырь, находящийся в центре города. Похищены: святыня г. Казани, чудотвор-

ная икона Св. Казанской Богоматери и иконы Спасителя и Николая Чудотворца. Иконы осыпаны драгоценными камнями. Еще похищены драгоценные священные сосуды и ограблены кружки. Воры связали ночного караульщика и бросили его в подвал. Масса поломок. Царские врата полуоткрыты. Сенсация среди местного населения страшная. Похитители и вещи не найдены. Производится следствие.

2. Речь может идти об известиях, полученных от сына Шереметева Дмитрия Сергеевича и касающихся, вероятнее всего, военных прогнозов.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 28 июля 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня, после двух ненастных дней, опять солнышко и опять тепло; опять стало веселее на душе, хотя не могу сказать, чтобы мне вообще хмурилась жизнь этим летом. При тепле, однако, много веселее, и работается в садовом фонарике у крыльца — совсем по-молодому, совсем особенно удачно, споро, скоро и ясно. В бытность Вашу здесь мне не удалось сообщить Вам о сути моей текущей работы, одушевляющей теперь каждый час моего труда. Я составляю теперь параллельные изложения 8 ирмосов и 8 догматиков, по одному на каждый глас, и делаю тем очевидными для всякого не только сохранность наших текстов и напевов, но и, так сказать жизнь их от XI века по настоящее время¹. Эта жизнь выражается в постепенных изменениях языка и его правописания, в постепенном развитии мелодических частностей и их изложения знаками.

Не подумайте, чтобы задачей прояснения в этом труде была бы у меня та мертвая, ученая и бесплодная сушь, которая никому не надобна, кроме немца. Я считаю эту работу весьма жизнетворною, даже и весьма надобною в практическом смысле, кроме ее внутреннего глубокого интереса и даже внешней красоты. Позволю себе по этому случаю некоторые, хотя бы и смелые сравнения: все гениальные мысли Гуттенберга в сущности сводятся к простой идее о надобности отдельности каждой буквы для набора; отсюда, то есть из величайшей чреватости идеи — все дальнейшие усовершенствования — до современной ротационной машины; из энергии Гуттенберга, осуществившего на деле только типографский набор — и именно Библии (так как ничем иным нельзя было бы освятить это великое изобретение), получили свою энергию и все остальные печатники, даже и до наших дней. Другое сравнение: стоит передо мной стаканчик и в нем ветка резеды и левкоя. Как прекрасны и как постоянны, как повторяемы и все-таки несравненны эта прелесть внешняя и внутренняя в каждом цветке! Но всмотревшись или смутно сравнивая с розой (зачем-то), скажешь, пожалуй, что резеда не красива или в ней нет ничего особенного; то же и про

левкой! Но в минуту растворенной души, в краткую минуту чувствования красоты, тот же один цветок резеды, тот же один левкой, случайно присоседившись в одном стакане, вызывают не только наслаждение, не только удивление их прелестью, их мудростью, но вызывают и на размышление.

Таковы и мои ирмосы с догматиками. Благодарю Бога и радуюсь тому, что имею силу чувства и ума рассудочно и сердечно сравнить их с случайно оказавшимися перед моими глазами двумя цветками. Выбор мой первых ирмосов воскресных и недельных догматиков, конечно, не случаен, так как я уже проработал над ними более десятка-другого лет. Великую их художественную сущность уподобляю тому преимуществу, какое имеет Библия перед всеми книгами мира. Предварительные работы и опыты многих лет были уже проделаны мною. Теперь, очевидно, «прииде час» — и я с радостью работаю вновь, идя прямо к цели. Цель эта проста, совершенно не гениальна, скорее же вполне прозаична и практически-деловита. Цель эта заключается в показании хода художественной мысли с ее первоначального появления до развития частностей. Простота основной мысли как художественного изложения представляется столь поразительной и вместе столь обыкновенной, что последнее затмевает всю силу первого. Совсем как «тише едешь — дальше будешь», где и стихи, и сжатость изложения, и нравоучение под видом парадокса, не лишено русской специфичности. А мы обращаемся с этой прелестью как с вещью самую обыкновенную, даже иногда и подсмеиваемся над нею, даже и изощряем свое остроумие, переиначивая слова, легкомысленно не вникая в глубину этой мысли. В догматиках, известных мне до самых мелких подробностей, я вижу именно свод таких музыкальных пословиц, изложенных с великим искусством, недоступным для творений отдельных людей, но вместе и изложенных так, что поучительность их, очевидная и понимаемая, не проникает еще в наши умы, для высшего нашего самовоспитания этою красотю. Наши музыканы уделяют этой красоте столько же внимания, сколько то видно в вышеуказанном будто бы остроумном перевираии пословиц, сколько то получается от прохождения мимо цветка и, вместо удивления перед его прелестью, вместо вникания в его поучительную красоту, вместо пользования его красотю внешнею и внутреннею, — от преждевременного выбрасывания тех цветов в виде ненадобного сора. А между тем сколько мыслей явится у тех же музыканов (а они у нас изумительно даровиты, отличные техники, хотя, к сожалению, вообще очень мало образованы и еще менее благовоспитанны), если ткнуть их носом в глубь этой красоты и сказать: идя по такой дороге и делая так-то и то-то, вы найдете то-то. Тогда не будет уже им удержу, и они, все-таки ищущие, покажут вновь силу русской оригинальности и мастерства.

Нечего и доказывать верность этих слов. Подобно Гуттенбергу, наш Глинка ввел ощупью (именно так!) в нашу композицию церковные гаммы и гармонии — в этом вся его заслуга. Посмотрите, как развернулось после того наше искусство! Тот же Глинка умышленно, складом своего дарования, ввел

в нашу музыку родные песни, не постигая, однако, их внутреннего строения, до сих пор еще не открытого сколько-нибудь. Посмотрите, как великолепно развернулось и это указание Глинки в трудах наших художников!

Но тут же заключается и начало того худосочия, по которому труды последователей-подражателей не могут пережить труды Глинки. Он, хотя и «нутром», стоял на неиссякаемой почве, которую возделал с его огромным техническим (то есть для того времени) мастерством. Наши музыкусы приняли за школу именно мастерство, а не мастерское производство на почве. Наша техника есть вывод из своего же подражательного мастерства, а не рост из неиссякаемой почвы. Глинка эту почву не знал теоретически, но был сыном почвы и великолепным цветком на ней. Музыкусы, к сущему огорчению, еще более не знают почвы и судят только по собственному цвету и запаху, ставя ныне их уже в закон. Глинка как гений — был в величайшей степени скромнен и тих, музыкусы как не гении в величайшей степени самолюбивы и жалки.

А между тем те же музыкусы жаждут почвы, понимая всю меру недолговечности и, в сущности, беспринципности своих нововведений. Дружеские мои беседы со многими тузами, здравствующими до сего дня, убедили меня в их мучительном чувстве по этой части, в их сознании своей полной, по отысканию соков почвы, неподготовленности. Они готовы только сжать и вымолотить, испечь и съесть, а не вспахать и посеять, не удобрить, ни выждать день сбора. Это — иная наука.

Конечно, пахарь — не кондитер и садовник не барышня, связывающая букет. Нельзя и требовать от музыкусов не их труда, раз как они уже заскорузли в своем внешнем самовозвеличении. Но нельзя, да и смысл времени таков, оставить молодые силы без указа им почвы и семян для нее. Их наука не может не быть совсем иною. Мы живем теперь как бы в конце марта; быть может, грянут и вешние грозы, — но ничто не остановит весны, а взойдет только посеянное. Старики посеют по-старому, а молодежь по-новому на нови, и именно то, что всегда, хотя и забвенно нынешними стариками, росло в земле русской и еще живо донине. Умный же посев требует и доброй нивы и добрых семян. Усердия и труда, сообразительности и умения хватало у всякого поколения.

Эту почву и семена, как говорят в Казани, даст сближение искусств, в познании которых наука дает пищу уму художников, а внутренняя красота народная — пищу для чувства. Как ни люблю я родину и ее искусства, не было бы у меня и малой доли энергии, если бы я не знал, не чувствовал меры надобности почвы и семян, меры возможности для меня сделать в этом деле хорошую услугу родному искусству. Отсюда и мой покой, и моя радость в труде, мое прилежание к нему и моя уверенность в успехе и пользе труда.

Вот пока основания для ирмосов и догматиков. Письмо затянулось и время отправки близко. Кланяемся мы оба Вам с графинею.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 20—24

1. Одна из этих работ, под названием «Сравнительный текст догматиков воскресных в знаменных и нотных изложениях с XIV—XV веков по XIX век», была завершена Смоленским. Она не опубликована до сих пор, хотя на необходимость ее обнаружения указывал еще Н. Ф. Финдейзен в своей статье «К полугодовщине дня кончины С. В. Смоленского» (РМГ, 1910, № 3). Ныне находится в фонде Смоленского в РГИА (№ 42). Что касается ирмосов, то эта работа тоже имеется в архиве, но в незавершенном виде. О других «сравнительных изложениях», выполненных Смоленским, см. во Вступительной статье и в комментариях к переписке с Волковой.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 29 июля 1904

Дорогой Степан Васильевич.

Только что получил Ваше письмо и спешу тотчас же Вам ответить. Я истине изумляюсь Вашей удивительной силе и бодрости духа! Труд Ваш — вдохновительный и вдохновляющий. Его оценят вполне только в будущем. Не по плечу он современным пигмеям, в древней, забытой пашне Вы могучим плугом вздымаете новь. Дай Бог Вам жить и трудиться еще многие годы во славу родной земли, сохраняя для нас, неблагодарных и непонятливых, и для грядущих поколений «струн вещей пламенные звуки». И как, среди всеобщего смятения и сумбура, среди самобичеваний и отрицаний всего родного, в годину всяческой декаденщины и разнообразнейших падений, Вы наперекор господствующему разладу и нашего церковного пения — мирно, спокойно и сильно ударяете в наш древний, исконный, всероссийский колокол и строгим благовестом призываете к порядку мыслей. Да будет же Ваш благовест предвестником великого обновительного трезвона, в неизбежность которого верю, если только мы, по выражению Александра III, не заслужили дней полного гнева Господня.

«О стонати Русской земле...»

Ваш С. Шереметев.

«И оба лика поюще... ударяют во вся кампаны и тяжкая» и «клеплют довольно».

«И бывает приношение велие по вся...»¹

РНБ, ф. 855, № 30, л. 180—180 об.

1. Неточные цитаты из «Слова о полку Игореве», из службы Пасхальной заутрени, из «Последования артоса в день святых Пасхи».

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 2 августа 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Крепко я задумался над Вашим несравненно-преlestным письмом, и нет у меня силы духа, чтобы принять все Ваши слова сполна. Конечно, пишу Вам совершенно растроганный Вашим снисходительным вниманием и глубоко, от всей души благодарю Вас.

Но задумался и так: смотрю я на свои труды вообще как на тот сыновний долг родине, который обязателен каждому в мере его сил и знаний; знаю я и глубоко верю в надобность, даже и в неизбежно скорую необходимость моего труда; глубоко убежден я и в правоте избранной мною дороги, давно и на все стороны мною обсуженной и внимательно обследованной. Как труд воина не считается ни с чем, ни с какою-либо опасностью, даже и со смертью, так и труд всякого умного и любящего сына родной земли не продается за деньги, не меняется на мелочи, ибо куда же денется тогда мысль в случае надобности отдать себя за дело? Так и мой посильный труд, движимый только радостью быть сыном моей родной земли, движимый только радостным служением ее старой, испытанной, вдохновенной, но забытой правде, — мой труд есть радость от начала, во все его продолжение и не только до его окончания, но и до окончания следующих трудов. Оттого нет у меня душевной усталости, ясен мой ум, роятся мысли и пишется вновь только с радостью. Думаю и о ней: чему радуюсь? Ужели мои крюки так многозначительны, чтобы дать и им место в будущем нашего искусства? Отвечаю: да! но радуюсь кроме того и своему счастью, возможности для себя дать каплю меда в будущем родного искусства; радуюсь тому, что пришла мне пора подводить итоги многолетних трудов и с радостью за будущее родной земли думать о своем счастье в направлении этого дорогого мне искусства на дорогу, хотя и старую, но верную. Радуюсь, наконец, и тому, что с каждым годом вижу между приятелями-певцами все более и более «неисправимых», начинающих в довольном числе быть уже не столько «пропадающими» в глазах немцев-музикусов, но и прямо «безнадежными».

И вдруг Ваше письмо! Читаю в нем и прямо и между строк Ваше ободрение, Ваше сочувствие, Вашу крепкую веру в то же, что живет меня! Совсем различны с рождения и до сего дня, во всем без исключения, Ваша жизнь, Ваше положение и деятельность в сравнении с тем, что дала судьба на мою долю. Тем более высоко ценю я и глубоко волнуюсь, глубоко радуюсь, чувствуя в Вас то добро, ту правду, ту любовь и радость, которые так редки в подавляющем большинстве людей, которые так спасают людей и более сильных духом, чем я; тем более крепнет во мне вера в правду и в труд мой, хотя бы и пришла правда после моей смерти, как и доброе слово о труде. Я знаю и верю, что правда

всегда побеждает, как и труд, и не печалюсь о времени; думаю только о том, чтобы не терять это время и поработать поболее. Но и за то, что уже имею от Ваших ободрений, как мне благодарить Вас? Какими словами? Не лучше ли трудом моим и всеми моими «мыслями, желаниями и делами»?

Продолжу прошлое письмо. Очень интересно глядеть в столбцах таблиц, как, углубляясь в далекие века, русская художественная мысль, оставаясь сохраненною в главном, становится все более простою и народною. Чтобы Вам удобнее было судить о составе таблиц, я перечислю их с нижней строки. Порядок такой: 1) нынешняя нотная синодальная редакция в печатных изданиях, 2) то же в двойном изложении (то есть крюками и нотами) по редакции одобренных после-никоновских исправлений, то есть признанной официально обязательною, 3) то же в старообрядческой редакции (также крюками и нотами) по Иосифовскому тексту, 4) то же в раскольничьей беспоповщинской редакции (также крюками и нотами), то есть наибольшей степени развития хомонии, 5) то же в киевской древне-нотной редакции по до-Иосифовскому тексту, 6) то же по беспопетному тексту начала Смутного времени.

Эта часть, так сказать, общедоступная, наглядная даже для непевцов и для нефилологов, ибо все нотные переводы, расположенные слог в слог один под другим, очевидны по своим нотным рисункам. Простые толкования уясняют дело еще более.

Продолжение: 7) то же в изложении XVI—XV в., 8) то же в изложении XIV—XIII в., 9) то же — XII—XI века и 10) древнейший греческий текст со знаменами же.

Если первые 4 редакции представляют живые до сих пор страницы, которые распеваются в монастырях и скитах, раскольничьих молельных, то 5-я редакция жизненна наполовину в Галиции и Буковине, а в другой половине высокоинтересна в сопоставлении с 4-ю и особенно с 3-ею. Кроме художественного интереса вполне очевидно и просто проявляется в этих сопоставлениях, как именно правились наши певчие книги в бурную Никоновскую пору, как именно уперлись упрямые беспоповцы за старину, в сущности заведенную очень недалеко до их старины... Еще интереснее переименование той, принятой за исходную, старины старообрядцами. Это — плюс для науки и истории церкви.

У нас хоть были действительно умные и осторожные справщики-певцы, а у этих моих приятелей многие «столпы неколебимии» очень шатаются, нагородили много совсем неладных вещей.

Но ведь кроме этих будущих читателей есть еще и художники! Им, как и старообрядцам, а того более нам, «господствующим», предстоит самая интересная часть, то есть дальнейшая глубь веков. Здесь, каюсь, доступность уже становится не столь очевидною, так как и язык иной (то есть более древнерусский), да и ноты менее доступны для проверки разночтений. Но я считаю эту часть самую главную, так как достаточно будет в пределах данных материалов убедительно утвердить самые простые и самые коренные устои наших

напевов и ритмов. Тогда из очень поредевшего числа читателей выделится еще меньшая часть, которая начнет уже в обратном порядке, то есть от грека и нашего XI века к XX-му. Здесь, для очень немногих, я предвкушаю обращение в мою веру тех, кого надо, наконец, вразумить на будущее. Эти читатели, но уже из знающих (а таких между старообрядцами немало, есть они и между нашими «безнадежными») проследят обратное развитие напевов, то есть действительно бывшее. Они начнут свое чтение, утвердившись в простом положении, усвоив простой древнейший напев, и проследят в его дальнейшей жизни все отпадения отживших свое время частей и все развития вновь развившихся частей. Не думайте, чтобы эта мысль была у меня нова. 25 лет назад профессор ботаники Н. В. Сорокин¹ указал мне на такой именно ход развития ветвей у каждого дерева, причем погибает множество ежегодных молодых побегов, даже и многолетних, а остаются лишь сильные соками и дающие от себя новые побеги. Пораженный этим сравнением, я напечатал еще в 1888 году, то есть уже 16 лет назад, все таблицы примеров в Азбуке Мезенца (их 83), расположив их по векам, и с тех пор стал крепнуть сам в удаче этой мысли, еще тогда приведшей меня к главным положениям. Теперь Бог дал силы и возможность раздвинуть дело и исполнить его с самою простою ясностью и доступностью, с самою очевидною практическою пользою для филологов и музыкантов из молодежи. Теперь эта действительная новь для меня так же легка, как легко пишется это письмо, ибо решить на бумаге теорему и доказать обдуманное есть уже второстепенно в труде, конченном теоретически. Все мастерство мое будет направлено лишь к тому, чтобы не запугать читателя крюками, а расположить его мысль к тому, что когда-то было бесхитростною грамотою для самых простых дьячков, для поющих детей и для благочестивых мирян. Представьте себе таких певцов хоть в годы Ивана Грозного или Ивана III? Какой смысл был бы в мудреной грамоте? Моя задача и склоняется теперь к тому, чтобы читающий подсмеялся над бывшим у него предубеждением и подивился бы трезвой простоте и остроумию древнерусского певца, чтобы читатель дал цену причине жизненности векового напева и умилился бы постоянству напева и его изменяемости в подробностях. Мысль эта сродна отчасти, в психологической основе, с тем тонким наслаждением, которые мы получаем, вспоминая либо хороший стих, либо хороший мелодический пример. Совпадение данного в этот момент нашего настроения с красотою стиха или мелодии, подтверждает в глубине нашего сердца нахлынувшее извне ощущение красоты, и это именно совпадающее подтверждение возвеличивает авторитет стиха или мелодии, очищая в то же время и наше сердце. Этим именно и животворим мы себя в церкви, в театре, в концерте, в картинной галерее, за стихом Пушкина, за слезою при пении родной песни, за чистотою помысла в родном напеве, хотя бы и крюковым. Следовательно, самая простая мысль в этих случаях возбуждает только самые чистые душевные движения. Именно ряд этих мыслей и носится сейчас в моей голове как необходимый для всякого читателя

результат просмотра будущих скоро догматиков. Эти поэмы — просто удивительны — недаром им более 1000 лет.

Вот и писать негде. Графине и Вам — поклоны.

Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 25—28 об.

1. Сорокин Николай Васильевич (1846—1909), профессор ботаники Казанского университета, фигурирует также в Воспоминаниях Смоленского.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 19 августа 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я кончил все свои работы в Петербурге по материалам, бывшим там под рукою, и вдруг так востосковался по родимой Волге и дорогой сердцу Москве, что приехал сюда «неоконченная исправить» по рукописям Патриаршим и Типографским на Никольской. Думал и о том, что увижу Вас здесь хоть на минутку.

Пробуду здесь сегодня и завтра, потом поеду на Волгу и прошу Вашего позволения быть у Вас в Михайловском на обратном пути в начале или около 10 сентября¹. Я очень утомлен, но радостен духом от удачных работ. Москва, ее сегодняшний крестный ход, Кремлевские святыни действуют на меня с какою-то новою силою². Графине и Вам от жены и меня посылаю сердечный привет и поклон. Если Вы надумаете порадовать меня Вашим хотя бы кратким письмецом — мой адрес: Казань, правая сторона Булака, д. Н. П. Тихонова. Я пишу Вам в состоянии духа совсем особенном, именно московском, столь отличающемся от петербургского. Будьте здоровы.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 29—29 об.

1. Письмо послано с Воздвиженки, 8, то есть из московского дома Шереметева, где Смоленский по приглашению графа всегда останавливался во время визитов в Москву. К письму приложена копия телеграммы Шереметева Смоленскому (без даты): «Сердечно благодарю письмо. Вызван Петербург». Степан Васильевич попал в Михайловское как раз к празднику 6 сентября («Михайлово чудо»).

2. 19 августа (старого стиля), в день празднования Чудотворной Донской иконы Божией Матери, в Москве происходил крестный ход из Успенского собора Кремля в Донской монастырь.

Смоленский выехал в Москву 18 августа, по дороге заехав на несколько часов к Волковым в Спасское. В Москве он, как и рассказывается в письме, работал в библиотеках, а также встречался с семьями сестер Марии (в замужестве Гауэнштейн) и Ольги (в замужестве Фроловой), которые тогда жили в окрестностях Москвы. 23 августа он прибыл на пароходе в Казань и потом, снова на пароходе, отправился до Перми и обратно. В Казани Степан Васильевич работал с рукописями Соловецкой библиотеки, встречался с родными и неоднократно посещал старообрядческие церкви, внимательно прислушиваясь к пению.

В Михайловском у Шереметева было решено возобновить ходатайство об «особом поручении», имея в виду назначение нового министра внутренних дел — князя П. Д. Святополк-Мирского, с которым Шереметев был дружен. Равным образом должны были возобновиться и ходатайства по старообрядческим вопросам. В Дневнике 5 приводится составленный совместно в Михайловском план работ (л. 159—160):

1) приготовление к напечатанию двух рефератов — об иноке Евфросине и «Мусикии» Коренева;

2) каталоги всех гармонизаций и оригинальных хоровых церковных сочинений конца XVII и начала XVIII веков, равно и каталоги духовных и светских песен, кантов и псалмов, нотных и крюковых;

3) сравнительные изложения текстов догматиков и ирмосов воскресных всех восьми гласов и во всех редакциях; параллельно — замечания по поводу сохранности роспевов и их изменений вследствие развития языка и влияния географических и исторических условий;

4) краткое практическое и общедоступное изложение грамматики русского крюкового пения;

5) если позволит время и если Казанской духовной академии удастся хлопотать суммы на печатание — приготовление к изданию «Описания певческих рукописей библиотеки Соловецкого монастыря».

О том, насколько были реализованы эти планы, см. во Вступительной статье.

Смоленский провел в Михайловском несколько дней, затем вернулся в Москву (где слушал за службами Синодальный хор) и 11-го уехал в Петербург (снова заехав на несколько часов в Спасское).

Смоленский — Шереметеву

[Петербург, 17 сентября 1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич! В Москве я, признаться, позамотался немного, потеряв немало времени в библиотеках за сниманием надобных копий, а здесь мне вдруг занездоровилось и схандрилось. Вот причина,

по которой я так много виноват перед Вами и доброй графиней, — не успев поблагодарить Вас своевременно за хлеб-соль и отдых в Вашем славном Михайловском. Сегодня мне полегчало, и я с сущим удовольствием начинаю с письма к Вам, начиная с выражений глубокой признательности за все, Вам и графине, с поклонов всем в Вашем доме.

Не скажу, чтобы утешила и порадовала меня Москва в этот приезд: 8-го я слушал обедню в чудном Успенском соборе, но не заслушался моими бывшими певцами и не было у меня в течение всей службы ни разу того подъема, который прежде бывал по многу раз от пения несравненного Синодального хора. Правда, что я предъявляю к нему большие требования, — но ранее тот же хор пел неподражаемо хорошо, иногда же совершенно ни с чем не сравнимо. Теперь — не то. Такое же впечатление начавшегося упадка вынес я и из столь любимого моего детища — Синодального училища, где ныне очень ослабела и дисциплина и, особенно, ученье. А жаль — это была отличная школа.

По части передачи мне каталогов хоровых вещей XVII века вышла какая-то заминка, которая меня, признаться, немного озадачила, хотя, вероятно, ненадолго задержит это приготовление моего труда. Я просил себе 13 составленных мною, собственноручно мною написанных каталогов, и Правление училища, справедливо говоря, что каталоги эти имеются только в одном (моем) экземпляре, почему и имеют совсем исключительную ценность, — направило вопрос о выдаче (мне — в виде исключения) на усмотрение Константина Петровича¹. Я, конечно, тронут таким сбережением моих трудов, но желал бы иметь для себя большие льготы там, где мною же все было устроено. Уповаю однако на Константина Петровича вполне.

В Петербурге я нигде не был, но по разговорам слышу о глубоких, выжидательных волнениях в умах лучших людей, ждущих начала деятельности князя Святополк-Мирского, первых его шагов и первой его речи, как «profession de foi [исповедания веры]». В «Новом времени» уже значительно развязали язык, делая пробные выходы по адресу бюрократии, отсутствия гласности, неисправностей всякого рода, даже и о приказании «будто бы» Куропаткину принять бой у Мукдена² и т. п. Общее настроение — глубокая вера в ум и такт Святополк-Мирского, с которыми он поведет линию вполне, но не резко и не сразу, отличную от линии Плеве³, — с большим доверием земству, с большим доверием к печати и с менее крутыми мерами против молодежи; говорят, что будто бы предстоит очень большая перемена в составе губернаторов и значительное усилие в соглашении с разными министерствами; говорят и о льготах евреям, старообрядцам, финляндцам и проч., которым жилось так неприветливо при Плеве. Впрочем, все это только одни предположения и желания, выросшие на почве нашего чрезмерного бюрократизма, взявшего в свои руки непосильно большие задачи. Что скажет Святополк-Мирский, вероятно, определится этими днями в степени меньшей против ожидаемого. «Московские ведомости» этих дней — одно чудо!

Много говорят и о Гриппенберге⁴, как и по поводу мобилизаций, надобности новой армии и надобности урегулирования отношений в неладах между всякими генералами здесь и на войне. В этой части я уже совсем мало слышал и в точности не знаю ничего, но о неладах и в заступу за Куропаткина, за его свободу, за надобность не учить его и не стеснять, волнуются сильно многие.

Я застал здесь письмо А. Н. Нарышкиной, весьма энергично написанное, полное упований в удаче своей деятельности; местами в письме она крепко бранит местных челябинских деятелей, злоупотребляющих про себя, а ей подносящих букет при встрече со всякими овациями, местами в письме очень хвалит сестер милосердия, разных идейных работников, отдающих свой труд раненым и снаряжающих воинов на войну. Пишет А. Н. и то, что часто и очень радует ее письмами К. П. Победоносцев.

Пишу Вам в самый любимый мною день в году, когда поминают Веру, Надежду и Любовь, с матерью их премудрою Софиею. Кроме моих нежных, дружеских чувств к двум Софьям, высокую симпатию питаю я и к существительным именам, имеющим свою матерью мудрость, а в церковном дне соединенным так гармонично в одну семью кротких женщин или в церковном же — иконы Софии-Премудрости и чудные храмы Новгорода, Киева и Царьграда — разве не целые вековые поэмы? И разве не движется все в нашей жизни верою, надеждой и любовью, при кроткой мудрости труда, великой способности к самопожертвованию и всепрощению? И чем мы живем в нашем прошлом, ради будущего, как не этими же великими силами, двигающими все в мире к добру и благу всех?

Вам и Вашим, до утоливших меня Ваших певцов — мой привет и поклон.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5063, л. 132—133 об.

1. В этом письме впервые появляется цифра 13 по отношению к каталогам, оставленным в Синодальном училище (обычно Смоленский упоминает 9 каталогов). Письмо к Победоносцеву от 21—22 сентября см. в разделе переписки с ним.

2. Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — генерал-адъютант, с 1898 военный министр, с начала русско-японской войны командующий Маньчжурской армией, с октября 1904 главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке. Речь идет о неудачных действиях российской армии.

3. В июле 1904 был убит террористами министр внутренних дел В. К. Плеве. Его преемником стал виленский генерал-губернатор князь П. Д. Святополк-Мирский.

Князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский (1857—1914) окончил Николаевскую академию Генштаба; в 1893—1895 — харьковский уездный предводитель дворянства, в 1895—1897 — пензенский губернатор, в 1897—1900 — екатеринославский губернатор. В 1900—1902 был товарищем министра внутренних дел и командующим Отдельным

жандармским корпусом, но оставил эти должности из-за несогласия с внутренней политикой, проводившийся министром Сипягиным. В период 1902—1904 — губернатор виленский, ковенский и гродненский. Член Общества ревнителей, в 1896 организовал его Пензенское отделение.

Восприятие Смоленским прихода Святополк-Мирского после Плеве совпадает с общей точкой зрения:

...От него ждали полной перемены курса внутренней политики, и этим ожиданиям он дал повод несколькими своими публичными выступлениями, в которых он совершенно искренно и честно говорил о своей готовности идти рука об руку с представителями общественности везде, где этого будет требовать государственная польза. <...> С легкой руки Суворина в «Новом времени» заговорили о «весне», о «свободе», притом не в единственном числе, а сразу во множественном, о «свободах», разгорались надежды в то время и при тех условиях совершенно несбыточные (Князь Борис Васильчиков. Воспоминания. М.—Псков, 2003. С. 176).

4. Гриппенберг Оскар-Фердинанд Казимирович (1838—1915) — генерал от инфантерии, в 1904 командующий 2-й Маньчжурской армией; был в оппозиции к главнокомандующему Куропаткину.

Смоленский — Шереметеву

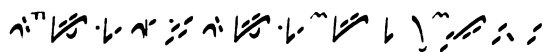
Петербург, 20 сентября 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вот письмо дьякона старообрядческого Алексея Прокопиевича Богатенкова, моего сердечного друга, отвечающего на мою к нему записку¹. В Москве я так замотался, что не успел не только навестить его, но даже известить его о приезде своем. Отсюда я написал ему, что по-видимому задула хорошая для их дела погода, потеплело и проч. Старообрядцы вновь встрепенулись и ожили любовною надеждою вернуть себе своего отца — архипастыря Иоанна, он же в миру — казак Иустин Картушин. Я ответил им сегодня: «тише едешь — дальше будешь» и «нечего пороть горячку», а подождите, что скажут те, которые сочувствуют вам и сумеют указать день, час и путь-дорогу. Признаться, я горячо сочувствую их делу и не в силах Вам описать, что за глубокое волнение пережил в ту минуту, когда только что по приезде к Вам услышал, что подул новый ветер, возможно большее тепло для этих истинно русских людей, возможно хотя бы выслушание и частичное участие и утешение в их самых чистых и сдержанных просьбах, полных скромности, терпения, достоинства и глубокого такта.

Я уверен, что поездка указанных в письме лиц будет временно отложена. Прошу Вашего совета: можно ли мне вполне откровенно обратиться к Владимиру Владимировичу² и поступить по его дальнейшим указаниям? В Москву я отписал глухо, чтобы подождали моего письма, и, конечно, умолчал обо всем.

В конце моего письма была шарада-ребус:



 Д _ _ _ ОУ _ _ Д _ _ _ Л _ _ _ _ Б _ _ _

(то есть «дерзайте убо, дерзайте людие Божию»). Друг-певец догадался прочитать, как и я разгадал шараду-ребус, помещенный в конце его ко мне письма.

Решаюсь обратить Ваше внимание и на тайное от властей воззвание Иоанна Картушина³. Чем оно хуже воззваний предержавших властей и во сколько раз оно искреннее, проще и действеннее? Как недалновидно и неосторожно было министерство Плеве, отталкивая целую массу истинно русских и верных людей обидным невниманием к их просьбе!

В школьном мире все недоумевают о выборе Глазовым себе в товарищи заядлого немца Ренара⁴. И в самом деле — удивительно и малопонятно, точно как бы нет русских людей! Я сдал сегодня в Архив Св. Синода все рукописи, как было условлено в Москве, и подаю вновь просьбу о высылке новых⁵. Поэтому некоторое время буду сиротой и отдал этот досуг Обществу Любителей, засев за приготовление к печати «Мусикии» Коренева.

Сегодня кончилось прелестное и длинное «бабье лето» и первый день, как с утра «Петербургский сентябрь» — пренесносный. Тороплюсь отправить письмо на поезд и потому кончаю приветом Вам и доброй графине, как и всем Вашим.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5063, л. 134—135

1. В том же деле сохранилось письмо А. П. Богатенко от 18 сентября 1904 (л. 136—137 об.):

Дорогой и незабвенный Степан Васильевич!

Сердечно благодарю Вас за Ваше письмецо и за любовное христианское чувство к нам. Совет ваш принят с благодарностию. На будущей неделе в Петербурге будут представители нашего общества: Сергей Матвеевич Кузнецов, Иван Карпович Рахманов и Иван Алексеевич Пуговкин (последние Вам знакомы), чтобы поздравить нового министра.

Кто-нибудь из них или и все трое собираются посетить и Вас, чтобы попросить вашего доброго совета в наших делах. Я же с своей стороны покорнейше

прошу Вас, дорогой Степан Васильевич, не откажитесь принять их и откровенно сказать Ваш добрый совет, а если возможно, то и набросать черновик прошений.

Старец наш на родине сейчас; возвратится через неделю. Не знаю, согласится ли он единолично подать Прошение! Он ранее был против этого, говоря: если Обществу я нужен, оно и должно ходатайствовать о разрешении проживать мне в Москве, а я жил и в хуторе — в келье.

Еще вопрос: как подписывать ему Прошение? Просто казаком — он не согласится! Архиепископом не велят (из-за этого собственно он и в изгнании). Он согласится так подписать: в мире Области Войска Донского казак Островской станицы Иустин Картушин, среди же старообрядцев архиепископ Иоанн — или вроде этого, но непременно с обозначением сана, носимого им среди нас. Иначе свои — старообрядцы — осудят его, как и Савватия.

Посылаю Вам копию речи, произносимой им в Донских пределах, после молебнов о даровании победы нашему христоролюбивому воинству.

Засим низенько кланяюсь Вам с пожеланием здравия и успеха в делах.

Искренне благодарный Вам диакон А. Богатенков.

Далее следует крюковая строка, написанная рукой А. П. Богатенко. За ней — приписка Смоленского:

Это значит:

Глас Д̄

По-даждь оу - те - ше - ни - я Сво - им ра - бом

А продолжение этого Богородична 4-го гласа читается так: «Утоляющи лютая на ны обстояния, всякия скорби нас изменяющи, Тя бо едину твердо и известно основание имама и Твое заступление стяжахом, да непостыдимся, Владычице, Тебе призывающи. Потщися на умоление иже верою Тебе вопиющих: радуйся, Владычице, всем помощнице, радость и покров душам нашим».

2. Возможно, имеется в виду В. В. Лысогорский (см. далее).

Владимир Владимирович Лысогорский (род. 1866) — директор департамента Министерства внутренних дел, приятель Шереметева, член ОЛДП.

3. К письму приложена машинопись «Речи по поводу русско-японской войны, произнесенной старообрядческим архиепископом Иоанном Московским, при обозрении своей епархии в Донской области в мае месяце 1904 года» (копия, л. 138—138 об.)

4. Речь идет о генерале Владимире Гавриловиче Глазове (1848—1920), который в мае 1904 был определен Министерством народного просвещения руководителем Особого совещания по вопросу об образовании инородцев; см. об этом с дальнейших письмах. Помощником Глазова стал тайный советник И. К. Ренар.

5. См. об этом в письме к Победоносцеву от 21—22 сентября 1904.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 21 сентября 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Совершенно неожиданно продолжаю вчерашнее письмо. Оказалось сегодня утром, что московские старообрядцы чувствуют живее и нетерпеливее, чем я думал. Сегодня часов в 11 вдруг пожаловали ко мне поименованные в письменном извещении о. Богатенкова все три староверских туза, то есть Пуговкин, Кузнецов и Рахманов, «поздравители-депутаты» от московских старообрядцев к новому министру, восторженно рассказывая, как только что они были ласково приняты Святополк-Мирским и как, не задевая никаких ходатайств, они неожиданно услышали от князя почтительное отношение к старообрядчеству, основанное на его знакомстве с виленскими старообрядцами, как он близко принимает к сердцу их нужды и как будет следить, что будет делать в благожелательном для старообрядчества смысле будущий его «товарищ» гофмейстер Ватаци...¹

Сколько восторга у них — не могу Вам даже и описать. Мне сказали они положительно, что подождут более удобного момента для возобновления своих ходатайств. Кажется, этим временем они решили считать: 1) возвращение разъехавшихся сановников на зиму в Петербург; 2) надобный пропуск времени, чтобы князь Святополк-Мирский успел, как и г. Ватаци, оглядеться на своем месте; 3) выжидание хоть какого-либо покрупнее благоприятного события на войне — то есть примерно подождут еще месяц или полтора.

Сколько понял я, собираются старообрядцы вновь попросить Вас пожаловать на Рогожское кладбище послушать их пение и посмотреть иконы. На наивно-хитрые их распросы я ответил им, что чего проще, как подождать Вашего приезда в Москву и деликатно узнать, примете ли Вы такое приглашение. А как же это сделать? — спросили они. «Чем проще — тем будет прямее и искреннее», — ответил я.

Вообще же — надежд, радостных упований сегодня у них без конца. Истинно я умилился, глядя на них и думая: как немного надо сильным мира, чтобы повернуть за собою все, бесповоротно и беззаветно! Как много и кротко

терпели старообрядцы, не помяная и словом столько лет ненадобных угнетений и обид! Графине — мой поклон и привет.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

21 сентября — в годовину посещения Рогожского кладбища.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5063, л. 139—139 об.

1. Ватаци Эммануил Александрович (1856—1920) — в 1904—1905 директор департамента общих дел, в 1905—1906 товарищ министра внутренних дел.

Визит ко мне Рахманова, Пуговкина и Кузнецова — то есть трех тузов старообрядчества в Москве, был вполне неожидан. Они, конечно, «поздравили министра Святополк-Мирского с новосельем», «возобновили бывшее приятное знакомство» и т. п. Он ответил неменьшею любезностию, похвалив знакомых ему виленских старообрядцев, посулив «журавля в небе», говоря что делами по облегчению старообрядцев будет у него ведать Товарищ Ватаци (Дневник 5, л. 166).

Иван Карпович Рахманов, Иван Алексеевич Пуговкин, Сергей Матвеевич Кузнецов были в это время попечителями Рогожского богаделенного дома и Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 22 сентября 1904

Дорогой Степан Васильевич. Спасибо за Ваши уроки и за приложение, уже драгоценное. И я с Вами повторю: «Держайте!». Эти слова были прочтены мною в адрес Александру III вскоре после его воцарения — и не прошли даром... Бог в помощь. А я с нетерпением ожидаю с Вами встречи в начале октября в Петербурге.

Преданный Вам С. Шереметев.

У меня родился внук Георгий Сабуров¹.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 181. На открытке с видом Плесковских прудов

1. Георгий Александрович Сабуров — младший сын Анны Сергеевны Шереметевой (Сабуровой), после 1917 был репрессирован, как и старший ее сын Борис.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, [23 сентября 1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за письмо, но ответу на него предварительно своими делами. В. В. Майков оказался в отпуске, и таким образом не могли осуществиться предположенные было мои занятия с ним по части приготовления Евфросина к печатанию, как я о том недавно писал Вам. Вместо того сижу теперь в Обществе Любителей над «Мусликеей» Коренева и работаю единолично. Этими днями перешлю Вам, для Вашего архива, большое мое письмо к К. П. Победоносцеву по поводу выдачи мне в будущем рукописей из Синодального училища¹. Сочинение такого документа и переписка его заняло у меня два дня, и я был порадован сообщением мне, что мои желания были весьма приняты Победоносцевым к сердцу. Таким образом дорога к будущим работам расчищена. Но и трудно же работать ныне, даже и «во славу Божию»!

Относительно указанного Вами «Держайте» скажу так: Вы переполнили мое сердце, утвердив во мне посылку помочь в этом деле, — в деле справедливом, надобном, дальновидном и неотложном. Но как я могу приняться за него, кроме случая быть вовремя передаточным пунктом к тем людям, кто составляет «душу живу» старообрядческого общества? Все затруднения этого дела в настоящее время, то есть с переменою в личном составе министерства (не считая, разумеется, самого министра), заключаются в том, чтобы узнать от сколь-нибудь порядочного человека (он же и повлиятельнее в министерстве) — как и к кому, когда и с какою именно просьбою обратиться. Окрики и утеснения, полученные менее года назад, от чинов, гораздо меньших и потому уцелевших после Плеве, должны смениться теперь вниманием и облегчением Святополк-Мирского, но ведь, в сущности, через руки тех же кричавших и утеснявших при Плеве. Бывшие у меня «депутаты» — в восторге от самого Святополк-Мирского², все упования свои, по его указанию, возложили на Ватаци, но нет того знакомого, им и мне, человечка, через которого можно было разузнать, так сказать, внутренние погоды в министерстве и по ним получить указание: теперь пора, идите туда-то с тем-то. Я думал было обратиться по этой части к Владимиру Владимировичу, но знаю его мало и боюсь ошибиться в выборе именно его, а ошибиться — значит рисковать совсем даром попасть в самое неловкое положение самому, да и делу не принести никакой пользы. Просил бы я Вас указать мне, пригоден ли для дела Владимир Владимирович?³

Вы пишете мне, что Бог дал Вам еще внука — Георгия Сабурова. Какая радость! — хотя не могу чувствовать ее пределов, так как не благословил меня [Бог] своими детьми и знаю я отцовское чувство только живо любясь счастливыми отцами и небесною радостною любовью молодых матерей. Недаром последние забывают все ужасы родов и радуются, родят вновь и опять радуются.

Моя беззаветная любовь к ученикам моим, которых послала мне судьба и которых я выращивал всю силу моего человеколюбия и самоотвержения, — конечно, не есть даже и тень родительского чувства. Но я, уже стареющий учитель, имею возможность сравнивать Ваше дедовское чувство с тем, что я испытываю, видя радость моих детей — учеников в успешном выращивании своих детей и учеников, а мне — внуков. И я не раз уже благословлял моих таких внуков и не раз крестил их не по одной только записи в метрическую книгу. Не раз видел я и отличные школы — труды моих учеников, теперь уже взрослых отцов по духу. Поэтому, хотя это дедовство и разнится от естественного, но его радость уже ближе отцовской. Поэтому я приветствую Георгия Сабурова в радость его молодых родителей и в Вашу с графиней сугубую радость, тихую, благодарную, уповательную. Благослови Боже колыбель новую! Да оправдает он в себе имя «земледельца-пахаря» от грека и вольного трудолюбца по Юрьеву сроку когда-то. О, как хорош, незлобив и глубокомыслен земледелец в сравнении с иными, мятущимися и маловерными! Как хорошо и имя Георгий!

Не осудите последнее. Я не люблю некоторые имена, например: Варвара — дикая, Аполлинарий — губитель войною, Власий — невежа, Павел — малый, Лидия — из географии и т. п. Противупоставляю им славные, звучные, русские имена: Богдан, Всеволод, Вера, Надежда, Любовь, Владимир и проч. В каждом имени нельзя не признать силы впечатления, производимого на носителя в продлении всей его жизни. Эту силу, пожалуй, в добрых семьях создается оттенок характеров людей именно в зависимости от их имен как выражающих определенную, руководящую мысль. Какие ведь и богатыри — русские святые!

Много, очень много говорят сейчас про Святополк-Мирского, трактуя его и по Екатеринославу, и по Вильно, и по его болезни, и по тому, как все делается свободнее и отраднее в надеждах на приближение правительства к обществу. Каждый день — статьи о нехороших чиновниках, о восстановлении земства, о раскольниках, об инородцах, о школах и пр., и все это с каким-то облегченным подъемом, с какими-то очень благими начинаниями и ожиданиями. Заступаются в газетах и за Куропаткина против «самоявившихся Наполеончиков» и т. д. Но оправдаются ли эти ожидания и оживления — Бог весть. И делам, и деятельности присущи только свойственные им скорости, как раз но текут вода, масло, ртуть, нефть, воск топленный, так и делам суждено идти своей дорогой по своему руслу, без ускорения, кроме, однако, отдельных частей из общего потока. Но как же было тяжело при Плевне и как мы выносили-долго-терпеливы! Как немного надо, чтобы сердца всех (кроме Грингмута⁴) дрогнули и с любовью, разом повернулись в одну сторону!

Графине и Вам, Вашим всем мой поклон и привет.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

1. См. это письмо в разделе «Переписка с К. П. Победоносцевым».

2. При первой же своей встрече с императором новый министр заговорил о веротерпимости и свободе совести и сразу же по вступлении в должность озаботился составлением программы преобразования внутреннего строя империи. Общее руководство подготовкой доклада осуществлял князь А. Д. Оболенский, впоследствии, с октября 1905 сменивший К. П. Победоносцева в должности обер-прокурора Св. Синода. В декабре указ «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» был опубликован. В рамках этого документа были подняты и вопросы, касающиеся Православной церкви и старообрядчества. Новый министр верил в возможность быстро и честно решить старую проблему.

Настроения власти были восприняты старообрядцами, и вскоре после своего назначения Святополк-Мирский стал получать от них индивидуальные письма и коллективные обращения. В частности, особое послание было направлено старообрядцами белокрыницкого согласия (о которых и идет речь в переписке Смоленского и Шереметева): они просили, чтобы их делами занимался не Св. Синод, а Министерство внутренних дел, и требовали освободить их от стеснений со стороны «низших административных властей, действующих под влиянием духовенства».

В шестом пункте указа «О предначертаниях...» предписывалось «подвергнуть пересмотру узаконения о правах раскольников... и независимо от сего принять ныне же в административном порядке соответствующие меры к устранению в религиозном быте их всякого прямо в законе не установленного стеснения». В течение январь-марта 1905 Комитет министров во главе с С. Ю. Витте занимался вопросом о порядке выполнения шестого пункта указа. В это время вновь сменился министр внутренних дел — им стал А. Г. Булыгин, однако дело продолжало развиваться, и результатом стал известный указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905, во многом соответствовавший пожеланиям старообрядчества. За день до этого, на Пасху, были торжественно распечатаны алтари Покровского собора Рогожского кладбища. В жизни старообрядчества началась новая эпоха. (Подробнее см., например: Фирсов Сергей. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.) М., 2002. С. 251—293.)

3. Речь идет, вероятно, о В. В. Лысогорском.

4. Грингмут Владимир Андреевич (1851—1907) — редактор-издатель газеты «Московские ведомости», основатель Русской монархической партии. В дальнейшем скептически относился к указу о веротерпимости, считая, что его последствия ведут к ослаблению русского влияния в тех местностях, где большинство составляют не православные. Член Общества ревнителев.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 24 сентября 1904

Дорогой Степан Васильевич.

Спешу Вам ответить по поводу последнего письма и интересного сообщения и прежде всего исправить маленькую ошибку: Ватаци назначается не Товарищем Министра Внутренних Дел — а Директором Департамента Общих Дел. Затем, ввиду того, что известное дело уже двинулось, мне представляется в данную минуту неудобным давать повод к ненужным толкам — вторичным посещением известного места. Как бы невинно оно ни было, как бы с другой стороны интересно ни было это вторичное посещение, но полагаю, что ради пользы самого дела оно было бы теперь несвоевременно и могло бы состояться лишь впоследствии¹.

Думается мне, что старец на Литейной многим должен теперь раздражаться!² Недавно написал я ему «идиллическое» письмо с напоминанием о луне — ответа не последовало.

Прошу Вас только передать известным лицам то, что пишу по поводу их, но так, чтобы они не могли оным обидеться, ибо мое сочувствие их «разумным» желаниям — Вам известно.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 182

1. Речь идет о возможности вторичного посещения Шереметевым старообрядческого Рогожского кладбища и о его советах старообрядцам относительно их поведения в новой ситуации. Можно заметить, что С. Д. Шереметев больше на Рогожское не ездил, но его сын Дмитрий Сергеевич принял участие в торжественном распечатании алтарей Покровского собора кладбища на Пасху 1905 года.

2. «Старец на Литейной» — К. П. Победоносцев, которому, разумеется, не нравились новые веяния, но который в тот момент уже не мог им противостоять.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 29 сентября 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

По Вашему последнему письму без промедления были предупреждены в Москве надобные лица, дабы воздержались от приглашения и вообще от каких-либо действий до поры до времени, ввиду ненадобности давать хотя бы и

отдаленный повод к суждениям всякого рода. На старой Москве сидят люди и деликатные, и осторожные, и высоко дорожащие Вашим вниманием. Поэтому надо думать, что Ваше желание будет исполнено в совершенной точности¹.

Дальнейшее содержание этого письма я повергаю на Ваш дальновидный суд и прошу Вас дать мне Ваш благожелательный совет, ибо я просто не знаю, как мне быть и что делать.

Дело в том, что в здешнем Университете, под впечатлением ли моих работ, в виде ли рикошета известного Вам случая моего с здешней Духовной Академией, появилась мысль о приглашении меня читать лекции по истории церковного русского пения. Назад тому час был у меня А. И. Соболевский² и высказал мне, что, в случае моего согласия читать хотя бы одну лекцию в неделю, притом без вознаграждения, Университет может отблагодарить меня поднесением степени почетного доктора. Подача мною прошения ректору Университета и представление моих двух последних работ, изданных Обществом Любителей Древней Письменности, вполне гарантируют немедленное ходатайство Университета перед Министром о разрешении мне читать лекции в Университете, по праву моей бывшей профессуры в Московской Консерватории.

Признаться — сам волнуюсь от возможности иметь аудиторию, где в былые годы переживались мною самые сладкие минуты среди музыкантов-слушателей. С другой стороны, по переезде в Петербург я лишился возможности регулярно и последовательно беседовать с молодыми людьми и посвящать их в подробности моей науки. Наконец и обратно: 1) непонятных две неудачи с Синодальным ведомством в прошлом и нынешнем году совершенно вырвали из моего сердца симпатии к тому ведомству, которому мои силы, казалось бы, были подходящи всего более, и 2) готовый и привычный мне годовой курс, случайно утраченный в рукописи вполне бесследно, может быть мною забыт совсем, и на возобновление его, без толкающей к тому аудитории, я даже не имею и возможности. А курс этот — очень разработан.

Обращаюсь к Вам с совершенно раскрытым сердцем и ожиданием Вашего высокоавторитетного для меня совета. Что мне делать? Петербург, кроме только одного Вас, так разуверил меня в людях, что боюсь я теперь всякого шага, имеющего сколько-нибудь публичный характер, сколько-нибудь выставляющего вперед мое имя. Полагаю, что едва ли чтение лекций в Университете будет для меня затруднительно. Полагаю, что для репутации «Истории церковного пения в России» имеет значение появление профессуры этого предмета в Университете ранее, чем в Духовной Академии. Полагаю также, что и в Придворном ведомстве такая профессура не может не произвести некоторого впечатления. Впрочем, ведь это все предположения, приходящие на ум при волнениях, с которыми пишутся эти строки. И лестно, и приятно, и — чего-то боязливо и недоверчиво.

Вам и графине мой поклон и привет, как и от жены моей. «Муסיкия» Коренева — идет у меня этими днями полным ходом.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 30—31 об.

1. Речь идет опять-таки о поведении московских старообрядцев.

2. Соболевский Алексей Иванович (1856—1929) — филолог, академик; автор многочисленных трудов по древнерусской письменности и палеографии; активный член ОЛДП и впоследствии один из любимых собеседников Смоленского.

Предложение было принято, и Смоленский читал лекции в Петербургском университете (см. о них в переписке с Волковой). Из данного письма следует, что консерваторский курс лекций по истории русского церковного пения был потерян; из писем к Волковой следует, что Смоленский свой курс восстановил. Но и восстановленный курс, очевидно, пропал; после кончины Смоленского были опубликованы лишь вступительные лекции — к московскому консерваторскому курсу (Хоровое и регентское дело, 1911, № 6/7), к петербургскому университетскому (там же, 1914, № 5/6) и предполагавшемуся, но не состоявшемуся петербургскому консерваторскому курсу (в двух вариантах; см.: Гусейнова З. М. Смоленский и Петербургская консерватория // Петербургский музыкальный архив. Вып. 3. СПб., 1999. С. 100—112).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 1 октября 1904

Дорогой Степан Васильевич.

На письмо Ваше и на вопрос спешу ответить, что я бы на Вашем месте не колебался бы и принял предложение — уже по тому одному, что оно сразу выдвигает то дело, которому Вы посвятили Ваши силы — и при этом ничем Вас не связывает.

Многие будут удивлены и должны будут принять к сведению то, о чем не думали. В настоящее же время особенно оно благовременно.

В течение зимы Вы ближе узнаете князя Мирского, с которым непременно сообщайтесь², и он может быть и полезен. Султанов¹ имел с ним большой разговор по делу иконописи и нашел настоящее сочувствие; и с Вами вопрос старообрядцев, конечно, обратит его внимание, и я многого ожидаю от этого сближения.

Итак, с Богом! Пишу Вам в день любимого моего праздника Покрова. «Днесь благовернии людие светло празднуем!»²

Искренно преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 184

1. Султанов Николай Владимирович (1850—1908) — академик архитектуры; член ОЛДП и Комитета попечительства о русской иконописи; руководил реставрационными

работами в усадьбах С. Д. Шереметева, Странноприимном доме и Фонтанном доме. Его памяти С. Д. Шереметев посвятил прочувствованный некролог, где Султанов характеризовался как «человек редкой души, отзывчивый и вдумчивый», «чутко воспринимающий переживаемые явления», «истинный сын России» (Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 3. С. 380—381).

2. Первая строка тропаря Покрова.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, [начало октября 1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за письмо. Завтра же отправляюсь к ректору Университета для предварительных переговоров.

Вы точно читаете сокровенные мои мысли: я действительно жду случая быть представленным кн. Святополк-Мирскому и поподробнее переговорить с ним. Боюсь только моей всегдашней застенчивости при начинающихся знакомствах, особенно же с высокопоставленными. Спасибо Вам за будущее.

Относительно Общества при Капелле скажу так: я принимал в его устройстве и в написании устава самое живое участие. Г-н Дементьев (небольшой чин в Министерстве Финансов) — бывший ученик Капеллы Вашего времени, лет 35—40 — очень умный и деловой — суцая душа дела¹. В тонко написанной Вам бумаге, конечно, между строк читается желание их иметь Вас членом Общества. Конечно, там отлично знают Ваши симпатии Капелле в прошлом и сообразили меру своей автономии от нынешней администрации, мало им сочувственной и сочувствующей. Но Общество энергично и ведется умно.

Нет времени писать еще. Сердечно благодарю Вас. Напишу еще вскоре. Пока шлю графине мой и жены поклон и привет.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 34—34 об.

1. Вероятно, к письму Шереметева была приложена «бумага», в которой речь шла об Обществе вспомоществования бывшим воспитанникам Придворной певческой капеллы (1904—1909); среди его действительных членов — Гавриил Дмитриевич Дементьев, упоминаемый в письме.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 19 октября 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сижу над первым вступительным чтением, которое мне предстоит в закрытом заседании Филологического факультета. По обычаю оно должно быть совершенно кратко, вполне оригинально, самостоятельно и отчасти возможно полным «profession de foi». Мне предложена тема «отношение русского искусства к византийскому», и я надеюсь, что Вы позволите мне, прежде факультета, то есть прежде 30-го, просить Вас уделить мне 15—20 минут этой исповеди. Она уже написана. Теперь она «сохнет» и к Вашему приезду примет вид надлежащий.

Много говорят здесь о превосходном мастерстве, с которым градоначальник Фуллон умирил две студенческие манифестации, грозившие быть очень неприятными и несвоевременными¹. Тот самый блестящий остроумием Ваня Фуллон, которого я помню юнейшим офицером еще в 1867 году, — был виден мною в огромной толпе студентов на Невском в 3 часа 17 октября. Он беседовал со студентами, слушавшими его вполне почтительно и внимательно. То же, но по новизне приема еще более неожиданно и выразительно, было и у Тюремного замка, где скончался Малышев.

Меня очень удивило известие, будто бы все дела по сектантской части временно остаются без движения у князя Святополк-Мирского вследствие неимения им начальника отделения Департамента духовных дел и даже, будто бы, бесцельности его поисков человека, подходящего для этого занятия. Мне говорил это один воспитатель Капеллы, академик — специалист по иноверным исповеданиям, которому обещано там место, уже давно вакантное, но не замещаемое именно по нежеланию нынешнего исправляющего дела — взять нового человека, который, пожалуй, окажется не по душе будущему начальнику. Вообще о Святополк-Мирском — прежние симпатии и общая готовность совпасть с его «доверием», начинающим проявляться, действительно, очень широко и открыто, — общее взаимное доверие, кроме шипящих и злоречащих старых чрезмерных бюрократов. Я не умею разобраться в подробностях переживаемого, но чувствую, что, минуя неизбежные мелочные прорухи и неизбежные в мелочах пересаливания, все же, должно быть, мы переживаем дни предвестия чего-то очень хорошего, — хотя, может быть, не дай Боже, и чего-либо неожиданного. Верю глубоко в общий ум и такт, в не раз оправданную меру нашего долготерпения и выносливости при душевной надежде на симпатичное и ожидаемое лучшее.

Тороплюсь послать это письмо, так как по другому буду писать Вам еще. Мне как-то легче после разрешения к Вам на письме. «Муסיкия» в Обществе Любителей идет своим чередом. Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

19 октября — Как прекрасны стихи Лицейского дня:

Служенье муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво²

и проч. — именно при «Мусикии» Коренева вспомнились мне эти слова поэта, правдивые и для дьякона XVII века.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5064, л. 29—30

1. Фуллон Иван Александрович (1844—1920) — генерал-адъютант, с февраля 1904 по январь 1905 петербургский градоначальник; оказывал покровительство Г. А. Гапонову, уволен от должности после событий 9 января 1905. Будучи уроженцем Казанской губернии, был издавна знаком Смоленскому.

2. Строки из стихотворения Пушкина «19 октября».

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 1 ноября [1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Не могу удержаться, чтобы не поделиться с Вами известием о моей удаче в Петербургском Университете. В субботу я читал пробную лекцию в «закрытом заседании» профессоров филологического факультета на данную тему: «Отношение русской церковной музыки к византийской». Результатом чтения было то, что Университет, признав меня достойным кафедры, уже отправил о том свое за меня ходатайство на утверждение Министра. Последний, полагают все, утвердит меня, так как в самом деле не имеется к отказу никаких оснований.

Чтение мое было непродолжительно — немного более 20 минут (по факультетскому обычаю), но я постарался сделать его сколь возможно содержательным и фактически доказательным. Сегодня я уже получил из Университета сообщение об успехе моего чтения.

Ученый мир много толкует здесь о коллективном прекращении лекций в Археологическом Институте. Разом ушли Лихачев, Сергеевич, Середонин, Лавров и Шляпкин. Посему теперь читают только Покровский, Майков и Воронов, — чего, конечно, мало¹.

От князя Святополк-Мирского до сих пор зова еще не имею. Графине прошу передать мой привет и поклон. Вам — сугубо.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 35—35 об.

1. Имеется в виду Петербургский Императорский Археологический институт, существовавший с 1878 года. Прекращение лекций в нем было, конечно, связано с внутривосточными событиями.

Лихачев Николай Петрович (1862—1936) — историк, источниковед, искусствовед, коллекционер. С 1892 преподавал в Петербургском Археологическом институте, где основал кафедру дипломатики. Член-учредитель Русского генеалогического общества.

Василий Иванович Сергеевич преподавал в институте юридические древности (ушел после 1904), Сергей Михайлович Середонин — историческую географию и этнографию, Андрей Петрович Воронов — архивоведение, Илья Александрович Шляпкин — древнерусскую палеографию. Николай Васильевич Покровский был директором Археологического института с 1896 по 1911. Будущий сотрудник Смоленского по Афонской экспедиции Петр Алексеевич Лавров вел в институте курс славянских древностей. С. Д. Шереметев являлся почетным членом Археологического института.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 12 [ноября 1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Приветствую Вас с днем рождения и прошу передать всем Вашей семье мой и жены привет с семейным праздником. Пишу совсем через силу: нарыв в горле истомил меня очень — который уже день не ем, не пью, а боли невозможны. Постоянная полудрема и неимение сна ужасны, о работах совсем забыл — мыслями не собираюсь.

Примите мой и жены привет Вам и графине с пожеланиями Вам всякой радости.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Сегодня, вероятно, граф Дмитрий Сергеевич поднесет старообрядческую икону во время дежурства¹.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 36

1. Поднесение старообрядческой иконы государю флигель-адъютантом Д. С. Шереметевым было связано с подготовкой новых законоположений о старообрядчестве. Эта икона была написана Богатенко, но не Алексеем Прокопьевичем, а его сыном, известным иконописцем и знатоком крюкового пения Яковом Алексеевичем, о чем свидетельствует его сохранившееся в архиве Смоленского письмо.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 14 ноября [1904]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Глубоко благодарю Вас за депешу и отвечаю без промедления так: как будто мне начинает быть легче или же скоро ждется мною облегчение. У меня был, как выразился врач, «не нарыв, а нарывище в горле». Без сомнения он теперь прорвался и сам собою очищается. Но я еще в компрессах, в курсе всяких полосканий и проч. Я вообще не из хворых людей и потому, так сказать, не умею себя вести во время болезни, не умею сдерживать себя, не умею терпеть; семь суток без возможности работать, половина их без еды, питья, почти без возможности говорить довели меня до малодушного уныния. Теперь опять подбираюсь силами и начинаю хоть читать понемногу. Откуда нашла на меня такая хворь — ума не приложу¹.

Вся неделя прошла вне какой-либо работы. Друзья, навещавшие меня, наносили всякие новости во вкусе текущих дней и газет — сегодня утверждающих, завтра же опровергающих вчерашнее. Но возбуждение все-таки у всех здесь очень большое, хотя и порядком бестолковое, если разобраться в дневных к тому поводах. Разговорам про 104-х зем[ских представителей], про «интригу» К. П. Победоносцева (теперь уж через имп[ератрицу Марию?] Федоровну), про Святополк-Мирского — просто конца нет, врут все с превеликим усердием, кажется уже и не отдавая отчета в цели и объеме подхваченных выдумок². Очень много говорят про какой-то презлой фельетон в газете «Русское слово» (4 ноября или 3-го) «Великий инквизитор», где будто бы безжалостно прохватили Синод³. Я не читал этого фельетона. Но сущая злоба дня — новая газета «Наша жизнь» — крайне резкая и местами неправдивая, понесшая кару на 4-й день, даже и от Святополк-Мирского⁴. Мне говорили, что запрещение ее розничной продажи дало редакции в тот же день до 20 тысяч подписчиков. Вообще — смутно, очень беспокойно и нет, по-видимому, в небе просвета, указывающего на ближайшую хорошую погоду.

Не могу писать еще. Я еще слаб физически. Приветствую Вас и графиню от всего сердца. Присоединяется к этому привету и Анна Ильинична. Дай Бог Вам здоровья, радостей в детях и внуках.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГИА, ф. 1088, оп. 2, № 99, л. 1—1 об.

1. На самом деле это было, очевидно, возвращение старой болезни горла, от которой Смоленский страдал в последние годы своего пребывания в Казани и которую с трудом вылечил в Москве. В дальнейшем подобные приступы повторялись.

2. «Разговоры про 104-х земских представителей» и проч. связаны с подготовкой к выборам в Первую Государственную думу после завершения русско-японской войны (заключения Портсмутского мира) и принятия закона о выборах (в августе). Все это происходило на фоне забастовки железнодорожников и других рабочих, с одной стороны, и появления манифеста 17 октября, с другой: этот документ воспринимался как шаг к ограничению монархии и превращению России в конституционное государство. Об отношении Смоленского к манифесту 17 октября см. в переписке с Волковой.

3. Фельетон появился в газете «Русское слово» 2 ноября под заголовком «Страшный нигилист» и был перепечатан «Санкт-Петербургскими ведомостями» 4 ноября под названием «Великий инквизитор». Текст принадлежал перу молодого священника, известного проповедника Григория Петрова. Не называя Победоносцева по имени, автор создал пугающий символический образ:

Все, что было честного и талантливое в стране, все сторонилось изможденного старика. Ему приходилось брать, кто шел к нему сам, и подбор получился ужасный. Ни одного искреннего, убежденного, идейного, одушевленного делом веры человека. [Старик потерял веру во все], осталось одно голое ничто, и с этим ничто надо идти к Тому, Кто был, есть и будет все.

О. Григорий Петров был в Петербурге той поры в высшей степени популярной личностью, депутатом Думы, хотя перед тем находился под спитимьей в Черемнецком монастыре. Впоследствии он снял сан и стал журналистом, во время Первой мировой войны — военным корреспондентом.

4. «Наша жизнь» — «ежедневная общественно-политическая, литературная и экономическая газета без предварительной цензуры», редактор-издатель профессор А. В. Ходский. Выходила в Петербурге в 1904—1905.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 25 декабря 1904

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Этот игумен Анастасий, настоятель Камско-Березовского черемисского монастыря Уфимской губернии, есть та самая «свеча Божия» среди черемисязычников, тот самый удивительный просветитель-миссионер, о котором я Вам говорил дня 3—4 назад¹.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

1. Анастасий (Александр Иванович Кидалашев) — марийский (черемисский) просветитель, выпускник Учительской семинарии Н. И. Ильминского; в 1900—1917 — настоятель образованного им Камско-Березовского миссионерского монастыря в Бирском уезде Уфимской губернии.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 28 декабря 1904

Многоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сережа Клипин — мой ученик, притом один из самых любимых. Он прислал это прошение вследствие моего недавнего разговора с Вами о нем, так как я отписал ему в Москву¹.

Клипин отлично учился, очень серьезен и деловит, вполне воспитан и приличен, так как вырос в хорошей семье. Конечно, он знает свое дело отлично.

Если бы Клипин не был вполне достойным молодым человеком и хорошим работником, конечно, я не решился бы Вам рекомендовать его.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГИА, ф. 1088, оп. 2, № 99, л. 2

1. Характеристику Сергея Михайловича Клипина, выпускника Синодального училища, см. также в переписке Смоленского с Волковой (письмо от 17 августа 1902). Здесь речь идет об определении Клипина на службу в Институт московского дворянства для девиц благородного звания имени императора Александра III в память императрицы Екатерины II (располагался у Красных ворот). Это определение не состоялось.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, [начало января 1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич! Скучно мне здесь без Вас, хотя и не сижу я без работы, хотя и радуюсь в семье молодых дам Вашей семьи. Заставали они не раз меня за разборкой Ваших нотных шкафов, попался я за этим занятием даже и Великой Княжне Ксении Александровне. Моей бывшей придворной растерянности хватило и на этот раз: я, говоря с именинницей, забыл и поздравить ее¹.

Впечатления от остатков бывшей нотной библиотеки такие: хламу — очень много, притом же и не имеющего никакой цены; такова масса дубликатов голосовых партий, к тому же и разрозненных, растерянных, замазанных.

Дорогих вещей — очень много, но более в области оперной музыки (рукописной) и менее — церковно-певческой; первая — не старше конца XVIII века, вторая же в малой части — начало XIX, а в большей относится к половине XIX века. Разнобой невообразим по своей безжалостности, но есть вещи очень ценные, особенно же из области доморощенных опер. Имею и такое впечатление: здешние ноты необходимо должны иметь подобающее продолжение либо в Кускове, либо в другом месте; в общем же не может не составиться нечто весьма крупное и своеобразное для характеристики нашей русской школы времен париков с косичками и роскошно расшитых камзолов. Ломакин — к полному удивлению моему, вырисовывается в дополнительных к известному чертах очень скудно, так же как и бытовые стороны капеллы. Еще немного побогаче говорят маленькие черточки начала XIX века о знаменитом хоре, а 40-е — 50-е годы — совсем скудны. Очевидно, кто-то жестоко выбрал отсюда все лучшее и оставил все неговорящее потомкам².

О Петербурге скажу так:

В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба
Грянула. С треском кругом от нее разлетелись осколки.
Он же вздрогнул — и к народу могучие медные звуки
Вдаль потекли, негодуя, гудя и на бой созывая...³

Немного надо поправить в этих чудных строках для обрисовки текущих горьких — нет! скажу более: жестоко-горьких, безжалостных дней, истинно-зловещих. Я страшно страдаю опять, опять не могу работать, опять заставляю себя носить пуды, передвигая только золотники. Трещусь я в эти дни опять очень много, но толку от труда очень мало — только одни попытки не поддаться всеохватывающим кошмарам. Нигде не бываю и не могу быть, живется очень трудно и безотрадно. Вполне изумил меня слух, довольно будто бы верный, что А. Г. Булыгин выбрал в товарищи себе кн. А. А. Ширинского — моего столь горького бывшего сослуживца⁴. Считаю этот выбор весьма зловредным и вполне неудачным. Теперь не такие люди нужны, а поумнее и подобнее.

Графиню приветствую от всего сердца. Жена ей посылает, как и Вам, поклон и привет. Вы — будьте здоровы и тверды. Сколько могу разобраться в тревожном ералаше, — ужели же и в Москве не заговорят подтверже, чтобы и здесь вслушались?

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

С старообрядцами в пресловутом Комитете как будто рассудили очень умно; даже и Митрополит [Петербургский] Антоний с Саблером говорили дельно, — но не осияют ли все-таки «дни лукави»?⁵ Чему ныне поверишь?

1. Имеется в виду великая княгиня Ксения Александровна, сестра императора, которая наносила визит дамам из семейства Шереметева, присутствовавшим тогда в Фонтанном доме.

2. В соответствии с рассказами родных Шереметев считал, что в предшествующий период старые ноты были «свалены» в здании грота в саду Фонтанного дома. Рассказывали также, что Ломакин просматривал их и нашел будто бы автограф «Stabat Mater» Гайдна.

Сохранилось, — продолжает граф, — и любопытное собрание музыкальных рукописных произведений прошлого столетия в переплетах того времени (Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 2. С. 429).

Однако в последующую эпоху (во время второго брака Дмитрия Николаевича Шереметева) многое из дома пропало бесследно, и Смоленский описывает реальную картину увиденного им.

3. Стихотворение А. К. Толстого цитируется явно в связи с известными событиями 9 января 1905 — расстрелом рабочей демонстрации у Зимнего дворца.

4. Слух оказался не совсем точным: заместителем министра внутренних дел Булыгина князь Ширинский-Шихматов не стал, но в марте 1905 Победоносцев уволил своего заместителя (товарища обер-прокурора) В. К. Саблера, который занимал эту должность в течение четырнадцати лет, и назначил на нее Ширинского-Шихматова. Правда, вскоре князь ушел в отставку, но снова вернулся в Синод, уже в качестве главы с апреля по июль 1906 (после князя А. Д. Оболенского). Затем Ширинского уволил П. А. Столыпин, но князь тут же получил назначение членом Государственного совета.

5. Имеется в виду Комитет министров под руководством С. Ю. Витте, у которого в этот период была инициатива по разрешению вероисповедных вопросов; Витте лично вполне благожелательно относился к запросам старообрядчества. Митрополит Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) принимал участие в работе Комитета по просьбе Витте, что вызывало неудовольствие Победоносцева. В марте 1904 Победоносцев добился у императора передачи вопроса о церковных преобразованиях обратно в Св. Синод. Однако указ о веротерпимости 17 апреля все-таки был подписан императором, а события осени 1905 сделали невозможным пребывание Победоносцева на его посту, и 17 октября, в день публикации манифеста, провозглашавшего создание объединенного правительства во главе с Витте, он подал в отставку.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 22 [февраля 1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Наконец-то, после всяких рабочих треволнений, имею удовольствие перелистывать свою «Панихиду», экземпляр которой при сем посылается. Вчера вечером, вскоре по получении я был у графини и передал ей экземпляр, но потом рассудил наутро написать Вам по следующему поводу.

В мои руки попала вовсе не редкая книжка Гельбига «Russische Guentlinge» (1809), имеющаяся и в русском переводе Бильбасова «Русские избранники» (Берлин, 1900). В последней мне попалось на глаза давно известное утверждение, которое мне давно же казалось нелишним осуществить, как в сущности дело небольшое, но по отношению к «Ревнителям Исторического просвещения» имеющее значение, воспитывающее людей и вообще уясняющее прошлое¹.

Я говорю о постановке на некоторых домах Петербурга (а позднее — Москвы и других городов) самых простых мраморных досок, для памяти о случившемся в тех местах. Например, Петр I скончался в нынешней казарме у Зимней Канавки. «От еремитажного театра или от Невы это 3-е и 4-е окно комнаты, выходящей на канал из Невы в Мойку; следовало бы обратить комнату, в коей великий монарх умер, в часовню», — пишет Гельбиг (у Бильбасова л. 57).

Несколько далее (л. 61): «Екатерина I умерла в том же доме, где умер и Петр, но над комнатою Императора».

В сущности расход по моей мысли был бы совсем небольшой. Ведь украшен же Петербург дощечками повсюду об уровне воды в знаменитое наводнение! Но отчего же в Петербурге даже образованные люди не могут ориентироваться, где именно были, например, трагедии XVIII века, разыгравшиеся в существующих до сих пор домах по Миллионной и по всем набережным?

Припоминаю Франценсбад, где на обыкновенном доме есть простая 25-рублевая доска с надписью: «Hier wohnte Beethoven im j. 1806, Goethe — 1808», а на другом — еще более простая доска с надписью, что здесь Бисмарк с нашими дипломатами подписали прелиминарии Берлинского конгресса. Многие ли в Петербурге знают, где написал Львов народный гимн или жили Меншиков, Остерман, где были арестованы Бирон, Миних, Анна Леопольдовна, где казнен Волянский и т. п.

Многие ли знают в Москве наши знаменитые исторические места всякого рода, уцелевшие дома, бывшие учреждения в них и т. п. Мало разве сказали бы доски: «Здесь родился Император Александр 2-й» или «Здесь скончался Гоголь, Грановский, Хомяков, Скобелев...»

Мне думается, что и надписи «в эти ворота въехал Наполеон», «здесь был избран на царство Михаил Феодорович Романов», «здесь заседал собор 1666-67 годов», «здесь был Посольский приказ» и мало ли какие другие были

бы весьма учительны для Москвы, так же как и надписи на храмах о времени их строения и т. п.

Очень я соскучился, редко видя Вас и мало беседаю с Вами. Графиня здравствует, по-видимому, хорошо.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 40—41

1. Историк В. А. Бильбасов перевел книгу Георга фон Гельбига, впервые вышедшую в Тюбингене в 1809 и состоящую из 110-ти популярно изложенных биографий разных лиц, оставивших след в истории России, преимущественно немецкого происхождения, но также и русских.

Шереметев — Смоленскому

[Петербург,] 15 марта 1905

О значении пения вообще и церковного в частности на развитие религиозного и патриотического чувства и как правительственное начало, которым следует дорожить, и тем более в наш железный, жестокий и себялюбивый век.

Возврат к добрым, жиздительным началам старины — призванный различить подлинное от поддельного во всех областях родного искусства, казалось бы, должен оказать могучее содействие той созидательной работе, которая предлежит современному поколению — озаряя лучами своими и грядущее родной земли.

Не знаю, так ли выражаю то, что, однако, ясно сознаю и чувствую¹.

С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 187

1. Письмо содержит формулировки для очередного «проекта», который Шереметев и Смоленский намеревались представить либо новому министру внутренних дел А. Г. Булыгину, хорошему знакомому и родственнику Шереметева, либо новому обер-прокурору Св. Синода А. Д. Оболенскому, а может быть, и министру народного просвещения. См. в дальнейших письмах, а также в разделе «Проекты» в Приложениях к книге.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 15 марта 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Конечно, я вседушевно присоединяюсь к Вашей мысли. Подробности в ее прошлом и в предстоящем будущем, как Вы знаете, наполняют всю мою трудовую жизнь. Жестокость века сего, думаю, не коснется моего искусства, как слишком нежного для жестоких сердец этого века. Но ведь не все же сердца и участвуют в чувствах этого века — есть и будут в большинстве те сердца, для которых будет еще отраднее то пение, искони веков живое, которое всегда росло и оставалось родным, всегда хорошело и оставалось умным и русским, всегда радовало те сердца, которые умели любить, молиться и благодарить за доступность их сердцам именно родных звуков. Жестокому веку такие наслаждения не под силу, потому недолговечен и самый век, хотя и силен он временностью вихря. Вот первые впечатления в ответ на Ваши строки.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

*РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5065, л. 218—219***Шереметев — Смоленскому**

Петербург, 17 марта 1905

Министр народного просвещения просит Вас к себе вечером в четверг, то есть сегодня, в 9 часов, чтобы поговорить об Ильминском¹.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 186

1. Министром народного просвещения, как уже упоминалось, стал генерал Владимир Гаврилович Глазов. По «направлению» он был близок Шереметеву, однако ушел со своего поста очень скоро, в октябре 1905. Впоследствии Глазов был помощником командующего войсками Московского округа, с 1907 — председателем Общества истории и древностей российских при Московском университете.

В мае 1904 Министерство народного просвещения созвало Особое совещание по вопросу об образовании инородцев (его труды были изданы в 1905), равным образом в январе 1905 Министерство утвердило новые правила для инородческих школ, в которых подтверждались основные принципы Ильминского: первоначальное обучение на родном языке, с постепенным введением русского; выбор учителей из инородцев того же происхождения, что и ученики; при издании книг на инородческих языках использование

русского алфавита для языков, не имеющих своей письменности, и двойной транскрипции для языков, имеющих не кириллическую письменность, и т. д. Смоленский принял активнейшее участие в деятельности Особого совещания (см. дальнейшие письма).

Шереметев — Смоленскому

[Петербург, 4 апреля 1905]

Надеюсь, сегодня в 8 1/2 ч. пожелаете для чтения. Крайне интересно¹.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 168

1. *Примечание Смоленского:* По этому приглашению в семейном кругу, при некоторых гостях я читал 4 апреля 1905 года свою статью «В защиту просвещения инородцев».

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 11 апреля 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Спешу сообщить Вам, что вчера на заседании Совета доложено было мною относительно издания Обществом Ильминского и Советом принято с особым сочувствием¹. Таким образом вопрос решен утвердительно. Не скрою, однако, что многие желали познакомиться с текстом, и если бы была возможность отдать его дня на два, на три для прочтения, то этим удовлетворили бы понятному любопытству; причем решительное утверждение вопроса остается в полной неприкосновенности. Бог в помощь нам и Вам.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 192

1. Имеется в виду решение об издании Обществом ревнителей брошюры Смоленского «В защиту просвещения восточно-русских инородцев по системе Ник. Ив. Ильминского» (Вып. XIV).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 24 [апреля 1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Считаю нелишним сообщить Вам на всякий случай, будто бы сегодня в Синоде весьма торжественно будет праздноваться 25-летие Обер-Прокурорства Константина Петровича. Я слышал об этом, однако, в дамском кружке¹.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 42

1. На самом деле юбилей Победоносцева праздновался относительно скромно: была отслужена в домово́й церкви Св. Синода литургия с молебном, юбиляра приветствовали различные церковные и общественные организации, но ни министры, ни члены императорской фамилии (за исключением великой княгини Елизаветы Федоровны) своих поздравлений не прислали.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 1 мая 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Пишу Вам вечером 1 мая, когда стало несомненным, что этот тревожно ожидавшийся день прожит без всяких беспорядков, вполне в обычном порядке. Вот до чего уже дошли! Приходится радоваться своему благоразумию и тому, что не было поводов оказаться неразумным и поплатиться за это! «Тревожный праздник» — но что потом?

Сейчас вернулся я из Думской залы, где в годовом заседании Братства Пресвятой Богородицы слышал свои «Пасхальные стихиры» в хорошем исполнении их хором Митрополита¹. Здесь же мне рассказывали о необыкновенно забавном столкновении петербургского духовенства с полицией... Батюшки, дьяконы собрались для поднесения адреса Митрополиту, весьма огорченному, как говорят, невыгодными для него версиями о неудавшемся патриаршестве и особенно неожиданным направлением дела о «соборе». Полиция, с большого-то ума, заподозрила в таком «неразрешенном собрании» какой-то предварительный комитет к созданию столь модных теперь «союзов», начинающих свое существование явочным порядком. Последовал, как мне говорили, ряд высоко-комичных объяснений, кончившихся однако распушением собрания. Батюшки рвали и метали, гневаясь на случившуюся столь неожиданную и столь нелепую стычку с полицией.

Кончил я и корректуру статьи об Ильминском. Статья эта попадает, как говаривал незабвенный Ильминский — «в самую точку». Уже съезжаются сюда вызванные Глазовым все главные деятели по инородческой части, не обойден и я приглашением Глазова; отчет ездившего по этому делу ревизора, известного Будиловича² оказался как нельзя более в пользу этого святого дела, заклеванного было пришлыми и самоуверенными казанскими новыми просветителями. Около 10 мая начнутся заседания этого съезда, и думаю, что Бог благословит поправить дело.

Но как ни мила Софья Сергеевна, как «не бывавшая в Саксонии»³, а все-таки очень хороший толк, по-видимому, может выйти из ее энергичной и настойчивой проповеди в пользу церковно-певческого искусства. У нас состоялось в эту субботу частное заседание пяти лиц, при обмене мнений которых прояснилось очень многое и очень толковое, особенно же по части обдумываемого мною «Курса»⁴.

Вырисовывается нечто очень содержательное из возможного с моей стороны удовлетворения ряда требований со стороны первого ядрышка слушателей, коих уже близко к десяти даже теперь, притом сплошь образованных и живо интересующихся делом, хотя и различающихся в подробностях своих требований, то художественных, то научных. Думается мне, что действительно заживет 2-й отдел Общества Любителей и возможны будут в нем и новые ростки, теперь даже и непредвидимые. Когда я обдумывал это дело в последние дни, меня прямо поразила мысль об обширности наших художественных богатств, дошедших от старой поры; обширность эта, в связи с более доступным теперь старообрядчеством, так увлекательна и так оживляется, что действительно трудно сказать, по которой именно из многочисленных дорожек тронется в путь исследование дорогой старины. Слишком много для того всяких материалов и слишком разнообразны ожидания ответов от этих документов, слишком жива нужда и разнообразна она в этом деле. Во всяком случае, не знаю я, как мне благодарить мою судьбу за то, что я здоров и свободен, находясь к тому же и при хороших удобствах для работы. Истинное счастье человеческой жизни, по-видимому, подходит и ко мне на закате дней моих. Чего же еще желать? С Богом — за работу.

Поклон мой Вашей доброй графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5066, л. 170—171

1. Хор митрополита Петербургского под управлением И. Я. Тернова не раз исполнял в эти годы духовно-музыкальные композиции Смоленского, в том числе за службой; Братство Пресвятой Богородицы было создано при Св. Синоде директором канцелярии обер-прокурора Д. Н. Соловьевым, известным публицистом и автором духовно-музыкальных переложений. К Смоленскому Соловьев всегда относился с уважением и симпатией.

2. Будилович Антон Семенович (1846—1908) — ученый-славист, автор ряда трудов по вопросам славянства и учебников по церковнославянскому языку.

3. Поговорка «Молода, в Саксонии не была» имеет водевильное происхождение; вероятно, она употребляется в отношении Волковой в связи с тем, что Софья Сергеевна оставалась незамужней.

4. Об итогах этого «заседания» см. в письме Волковой к Шереметеву от 6 мая 1905 (в Приложениях к разделу).

Смоленский — Шереметеву

[Петербург, 15 мая 1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вы пристыдили меня Вашею любезною депешешу, но оправдаюсь тем, что она застала меня почти с пером в руке для письма в Михайловское.

Через В. В. Лысогорского дело о соблюдении формальностей для устройства моих лекций теперь выяснено. Для того надобно Ваше отношение от лица Общества Л.Д.П. к Министру внутренних дел, направленное частно через В. В. Лысогорского. Он берется все обустроить, так как дело оказывается весьма многоместным, ибо надобны еще согласия Генерал-Губернатора и Министра Народного Просвещения. Отношение должно иметь при себе программу, а содержание отношения ввиду некоторых частных мне даже продиктовали. Эту диктовку я при сем прилагаю¹.

Вчера у меня с Глазовым вышло препечальное для меня недоразумение: до меня каким-то необъяснимым способом не дошло его приглашение на обед, который он давал всей нашей Комиссии. Были все, кроме меня, а обед вышел чрезвычайно интересный в смысле полного торжества дела Ильминского, подкрепленного на днях еще раз особым, специальным приказанием Государя во что бы ни стало утвердить эту именно систему образования инородцев. И меня-то, начавшего первый крик по этому делу, увлекшего Чичерину и Нарышкину², — меня-то и не оказалось на этом обеде! Говорилось много речей, посланы были приветственные депешки Нарышкиной и вдове Ильминского, пили даже и за меня дважды... а меня-то и не было! Но сегодня недоразумение объяснилось, и я поехал к m-me Глазовой, чтобы извиниться перед нею за задержку обеда, вызовы меня по телефону и проч., — а Министр настоял, чтобы вместо вчерашнего я обедал сегодня, что и было.

Но о письме, которое было послано 9-го из Вашей уборной — ни полслова, ни до, ни после трапезы.

Решительно не дают писать. Я продолжу это письмо завтра. Клянюсь графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Глазов мне сказал, между прочим, что недели через 1 1/2 мы все поедем в Петергоф, так как Государь пожелал видеть всех членов Комиссии. Вот и мне предстоит повидаться — но как эксплуатировать этот случай? Неужели Государь скажет мне хоть словечко?³

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 45—46

1. Начиная с этого письма обсуждается тема публичных лекций, цикл которых Смоленский предполагал прочесть в зале Фонтанного дома осенью 1905. По известным причинам политического характера идея не была осуществлена. Курс этих лекций, если он был полностью записан Смоленским (в чем есть основания сомневаться), не сохранился. Точнее, в фонде Н. Ф. Финдейзена в РНБ (ф. 816, оп. 3, № 2649) имеется черновик двух первых чтений (тема первого — «общие положения о национальности искусства» и «параллели народной песни и церковного пения»; второго — греко-русские параллели; намеченная тема третьего — кондакарное знамя; первые два текста были посмертно опубликованы в РМГ). Подробную программу лекций см. в Приложениях к книге.

2. В комиссию министра просвещения Глазова по делу о просвещении инородцев входила хорошая знакомая Смоленского, племянница А. Н. Нарышкиной Софья Васильевна Чичерина (в замужестве Бобровникова; 1867—1918). Летом 1904 она совершила большую поездку по Казанской, Вятской, Симбирской и Уфимской губерниям, посетив около трех десятков инородческих селений. Свои впечатления Чичерина изложила в докладе «Положение просвещения у приволжских инородцев», прочитанном 24 января 1906 в отделе этнографии Императорского Русского Географического общества (опубликован: СПб., 1906).

3. В последнем абзаце Смоленский выражает слабую надежду, что на приеме у императора по «инородческому» вопросу сможет как-то продвинуть идею «особого поручения», связанного с описанием певческих рукописей (см. дальнейшие письма).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 16 мая [1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Окончить письмо вчера вечером не удалось из-за множества посетивших меня деятелей, огорчившихся моим отсутствием на обеде у Глазова. Все они нашли (как и я впрочем), что эта трапеза была знаменательною в смысле

широкого обобщения для будущей русской школы принципов педагогики Ильминского; затем все нашли, что так как я «злу всему причина», то я и должен знать подробности речей, многозначительность которых была сугубо подчеркнута Глазовым, как определившаяся программа будущего народного просвещения.

Конечно, я глубоко радуюсь тому, что и брошюра моя в защиту просвещения инородцев вышла в свет как раз вовремя. Из Казани пишут о превеликом там смущении в рядах недавно еще озорничавшего начальства, вредившего без удержу и с сущей злостью вымещавшего на жаловавшихся подчиненных, у которых не стало уж мочи терпеть издевательства. Впрочем, в одной ли Казани вредят России сатрапы всякого рода, от митр до генералов и беззаконников всякого сорта?¹

Сегодня получил 600 рублей — сердечно благодарю Вас — ибо на лето хватить должно даже и с врачеванием². Задумываюсь я очень над своею работою к будущей зиме. Очень мне хочется написать все предположенные 12 лекций, — но боюсь, что не хватит силы для такой работы, так как утомлен я очень, а теперь даже и волнуюсь, усиленно работая для дорогого моему сердцу инородчества.

При сем отдельно бандеролью посылаю программу 12-ти лекций, на случай представления ее к исполнению. Меня крайне заботит значительная неловкость во взимании платы за такие лекции, и я был бы гораздо спокойнее, если бы (если уже то неизбежно надо ввиду расходов) могла быть назначена самая наименьшая, например 3 рубля за все 12 чтений, а для учащихся — половина цены. Уверяю Вас, граф, что в глубине моей души копошится какое-то безотчетное чувство, говорящее о ненадобности платы. Я не могу в нем сам разобраться, но плата стеснит мою свободу, при которой я смотрю на каждую возможность высказаться о любимом предмете — как на новую радость, как новый шаг вперед, как еще на одну новую крышу к недостроенному когда-то дому. Каюсь — никогда не продавал я этих домов, а работал именно во славу Божию, находя за то поддержку в другом — обязательном служебном труде. Может быть от такого разделения и воспиталась в душе моей глубокая любовь к художественным занятиям и чувство неизбежного терпения от служебного ярма. Теперь, когда я свободен и успел уже понять цену этой свободы для завершения моих художественных работ, мне как-то странно примешивать к ним что-либо хотя бы косвенно трактующее о деньгах по заказу. Например, на 600 рублей и не смотрится как на деньги, а как на случайную радость, кстате к тому же и выручившую в данную минуту, — хотя что же это, как не те же деньги?

Впрочем, я совершенно не смею стеснять Вашего усмотрения в плане устройства 12-ти лекций и прошу Вас поступить так, как Вы сочтете необходимым. В бандероли вложен мною листок, писанный по указанию, полученному в Министерстве Вн[утренних] Дел. Впрочем, о подробностях сего было уже писано вчера.

В Петербурге тихо и лишь волнуются в ожидании известий от Рождественского, а сегодня как раз и газет нет, вечерние же депеши пусты и из Токио³.

Кланяюсь доброй графине. Желая Вам всякой радости. Сегодня на досуге, после вчерашней трапезы, опять пришел в недоумение — отчего вполне любезный Глазов все-таки промолчал насчет письма.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 43—44 об.

1. Суть происходившего в Казани по поводу инородческих школ подробно раскрывается как в брошюре Смоленского, так и в его переписке с казанским продолжателем дела Ильминского педагогом И. Я. Яковлевым.

2. Гонорар был получен Смоленским за работу по описанию рукописей из собрания ОЛДП, а также из личной коллекции графа.

3. Позже в этот день было получено страшное известие о гибели эскадры адмирала Рождественского под Цусимой, обозначившее поражение России в войне с Японией.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 18 мая 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Большое Вам спасибо за присылку, прочитав с наслаждением, препроводил все Майкову для дальнейшего движения. При сем известная Вам страничка¹.

Необычайно любопытно Ваше будущее представление наверху, что даже с трудом себе представляю. Это не лишено значительной пикантности. С нетерпением буду ожидать подробностей.

Вам, вероятно, известно о существовании в 20-х годах XIX века весьма славившегося хора певчих Дубенского любителя-музыканта?² Отец мой в молодости их слышал.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 193

1. Речь идет о программе лекций, которую Шереметев пересылает для издания секретарю ОЛДП, и прошении о разрешении на чтение этих лекций в Фонтанном доме.

2. О хоре Дубенских (правильно: Дубянских) Шереметев, со слов своего отца, рассказывает:

Они были любители хорового пения и в особенности церковного. У них был свой прекрасный хор, и влиянию Дубенских отец немало обязан развитием своего музыкального вкуса (Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 2. С. 323).

Имеются в виду братья Дубянские, Дмитрий Михайлович и Александр Михайлович, из которых первый был назначен директором Придворной капеллы после Бортнянского, но скончался, прослужив лишь месяц, а второй являлся композитором-дилетантом (в том числе автором духовно-музыкальных сочинений) и владельцем одного из лучших крепостных хоров. Певчие Дубянских соперничали в ту пору с Шереметевской капеллой.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 18 мая [1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сию в глупом раздумье, ошеломленный невозможными известиями о неопикуемой беде с нашим несчастным флотом. По правде сказать, даже и не могу собраться с мыслями о том, во что теперь обойдется эта истинно горестная война, как закончим мы ее на Востоке и как расквитаемся у себя дома, даже и на сколько лет впредь придется расплачиваться на разные стороны. Истинно Божий гнев посетил бедную страдалицу Россию! Именно — «ходяком в волях сердец наших, еще же и отеческая предания ни во чтоже вменившие, прогневахом Тя о чуждых».

Весь день не работаю — дело из рук валится, мысли не вяжутся. Начнешь думать и все-таки приведет к той же жуткой скорби. Сам понимаешь, что горевать стыдно и бесполезно, а горе осиливает. По слухам, только «Алмаз» да избитый «Изумруд» достигли родной земли, все же остальное либо потонуло, либо в плену. Такое неслыханное поражение надолго вычеркивает нас как морскую державу в водах Тихого океана. Слышно, что нас били только дальнобойные снаряды, подводные лодки и мины, наши же слабые орудия даже будто бы молчали, не имея силы долетать до японцев; будто бы японский боевой флот почти цел весь, а нашими судами, взятыми в плен, равно и поднятыми в Порт-Артуре, японский флот увеличится до очень грозной силы и очень для нас надолго.

Сегодня Суворин в «Маленьком письме» воскликнул, что следовало бы, не дожидаясь Булыгинской комиссии, созвать поскорее представителей (то есть, конечно, к Государю) и посоветоваться...¹ Конечно, советы даже собранных Государем, например, предводителей и хоть городских губернских голов, председателей земских управ прежде всего заявят о надобности подчинить ответственности министров, обуздать произвол чиновников (в частности, губернаторов и полиции) и о надобности хоть какой-нибудь свободы печати и собраний. Всегда я боролся с беспорядком и всегда недоумевал, почему у нас так

бояться зловредной будто бы «свободы»; всегда я глубоко верил в ум народа, в надобность самодержавия и в надобность охранения его умом народа, а не тучею наших беззаконнейших чиновников, задерживающих развитие страны и разделяющих царя от народа. Еще Шиллер восторженно пропел более 100 лет назад, что «закон не создал ни одного человека великим — и только свобода рождает колоссов...» Что же сказать о нашей бедной родине, где чиновники проворовались все и держат в руках и царя, и министров, давая всякую гласность, утверждая всякое бесправие, угнетая даже мысль о свободе.

Вот я присутствую теперь ежедневно в Комиссии по образованию иногородцев и вижу чуть не сотый раз, как «немеющие перед законом» ловко обходят прямо выраженную Высочайшую волю, указывая на то, что предположения Комиссии (вполне умные и законные) «не пройдут», что «опыт» Министерства народного просвещения «не допустит» новых течений, явно разногласящих с недавним прошлым. А это наивозмутительнейшее «недавнее» они называют «прискорбными недоразумениями, явившимися на почве неясности закона», вместо того, чтобы отдать под суд казанского попечителя Спешкова, подобно сделанному с пресловутым Димитрием, бывшим Казанским, ныне Одесским!²

И как убедительны примеры! Министерство народного просвещения вторично признало себя бессильным в борьбе с мусульманскою школою как энергично отстаивавшею свою независимость и неподчинение никакому контролю. Всего три месяца назад в казанское медресе не пустили командированного для ревизии тайного советника Будиловича. Стало быть, какую силу создает свобода? Что же, если бы за свое знамя приняло эту свободу то же Министерство, — какую бы силу оно завоевало в населении вместо нынешнего сознания своей немощи и вместо нынешнего его незнания, что же, наконец, ему делать после своих многолетних нелепостей? Как Синод проглядел многомиллионную штунду, так и Министерство народного просвещения проглядело отатарение Киргизской степи и Кавказа, где отатарились тысячи не только грузин, осетин, но даже греков, даже армян. Как штунда создала православие мощную плотину от Польши до Кавказа, так и отатарение создало полукруг от Казани на Оренбург, Ташкент, Тифлис, Крым и Стамбул.

Простите, сердечно любимый Сергей Дмитриевич! Я вполне расстроен и пишу лишнее. Японцы и Китай с монголами остаются на долю Ваших правнуков. Простите, но оскорбленное сердце не выдерживает.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5066, л. 226—227 об.

1. Свое очередное «маленькое письмо» (№ DLXXVII), вышедшее в свет в тяжелые для России дни поражения под Цусимой, знаменитый публицист завершает призывом к собранию народных представителей:

Все придавлено ужасающей драмой на море. Ничего не можешь себе объяснить и всякие объяснения кажутся такими малоговорящими, что они раздражают встревоженное чувство. Кто бы что ни говорил, в нашем прошлом много доблести, ума и дарований. А все это подает руку будущему, не тому, которое готовят буйственные реформаторы, желающие удивить мир среди смуты и злобы, а тому, которое нужно великому народу, в его естественном и свободном развитии. Поэтому настоящее требует немедленного собрания представителей Русской Земли, не дожидаясь окончания работ Булыгинской комиссии. Начатые в других условиях, они отстали от событий, которые разразились такою грозой, и время не терпит. Нужен разум всей России, нужно все ее русское чувство, чтобы овладеть быстро мечущейся волной настоящего.

Александр Григорьевич Булыгин (1851—1919), родственник Шереметева, в бытность свою министром внутренних дел (с февраля по сентябрь 1905) явился инициатором и председателем комиссии по выработке проекта положения о Государственной думе; комиссией был разработан закон о Думе как высшем представительном законосовещательном органе, а также положение о выборах в нее. 6 августа 1905 вышел императорский манифест о созыве Первой Государственной думы (так называемой «булыгинской»).

2. Имеется в виду архиепископ Херсонский и Одесский Димитрий (Михаил Георгиевич Ковальницкий; 1838—1913), который до марта 1905 был архиепископом Казанским и Свияжским.

Спешков Сергей Федорович (1847-?) — тайный советник, с 20 августа 1905 член совета министра народного просвещения.

Вероятно, Смоленский был недоволен действиями упомянутых лиц в связи с инородческими школами Ильминского.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 20 мая 1905¹

Оскорбленные сердца не выдерживают, говорите Вы, дорогой Степан Васильевич. Да как же быть иначе и как можно быть не оскорбленным в переживаемую историческую годину, полную небывалых бедствий и испытаний, доставшихся на долю нашей Родины. Горе, горе нам за гордыню, и самомнение, и легкомыслие, и упорство, за разврат и вырождение, за извращенность мыслей, за отрицание всего родного, за погоню ради популярности, за лживый сентиментализм при отсутствии сердца, за многое и многое.

Но России всегда бывали на пользу передраги, а счастливая тишина — во вред, приучая нас к лени и беспечности. Борьба России с Японией — безумная, бесплодная, бесконечная. Это должны сознать обе стороны... но уни-

зительного мира мы принять не можем². Ведь это будет прямая гибель. И вот итог годов многих и грехов бесчисленных.

Преданный Вам С. Шереметев.

РГИА, ф. 1119, № 9, л. 288 об.

1. Это письмо Смоленский вклеил в свой Дневник.

2. Тем не менее вскоре был заключен так называемый Портсмутский мир между Россией и Японией, хотя и не столь унижительный, но стоивший России потери ряда дальневосточных территорий.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 20 мая [1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Просто бы убежал хоть куда-нибудь из противного Петербурга, — по-прежнему гулянья, оперы и прочее, как будто бы ничего не случилось, даже как будто бы и все обстоит благополучно. Слышно, «изыскивают средства на энергичное продолжение войны», водворяют в столицы из лагерей по ночам все новые и новые войска, расквартировывают войска менее благонадежные... И во всем этом решительно подчеркивается стремление *faire le bonne mine* [делать хорошую мину], как будто бы совсем и не бывало ничего похожего на дурную игру.

Помянул я Вас сегодня в Вашем отзыве о Кобеко¹. Сегодня к изумлению моему прочитал в «Новом времени» о состоявшемся вчера заседании Комиссии Кобеко. Мое отсутствие в этой Комиссии совершенно теперь понятно, так как в ней был «директор Капеллы». Но зачем же еще три месяца Кобеко приглашал меня и заставил сделаться подробно знающим такую прелесть, как цензурный устав? Зачем было заставлять меня трудиться над составлением целого доклада о юрисдикциях духовно-музыкальных сочинений до и после их напечатания, равно и одобрения для богослужения? Ведь в конце апреля и начале мая никто, а тем более я сам, не тянул Кобеко не [только] подтвердить, но и настоятельно просить о том, чтобы я отнюдь не уезжал, а изготовил бы доклад... И вдруг читаю, что заседание уже состоялось и дело закончится завтра во втором заседании, к которому, конечно, приглашение прислано не будет. К чему же комедии?

Но вместе с досадою на такой случай задаю себе искренний вопрос: не заключается ли и во мне самом что-либо такое, заставляющее не только забывать всякое приличие в обращении со мною, но еще даже и надобность производить то даже демонстративно? Доля моего участия в Комиссии Кобеко создана и регламентирована только им. В нескольких свиданиях, сообразно его указаниям,

мой доклад был переделываем не только по силе существующего закона, не только сообразно общему смыслу состоявшихся постановлений Комиссии того же Кобеко, но и сообразно им же, Кобеко, одобренных к пожеланию улучшения закона о нашем церковно-певческом искусстве. Я был лишь рабочим художником-юристом, годным к делу лишь потому, что понимаю цензорскую волокиту, конечно, гораздо лучше графа Александра Дмитриевича. Я ведь пережил обе стороны этой формы цензуры и как автор, и как должностное лицо.

С другой стороны, чего иного мог ждать от меня Кобеко, кроме самой сердечной услуги делу? Наконец, до последнего часа между нами не только не было, но и не могло быть каких бы ни было даже и поводов к неудовольствиям или к недоразумениям.

Вот сию и разбираюсь в возможности так или эдак решить столь мудреное «уравнение с двумя неизвестными». Вот уже именно незаслуженное занятие.

Относительно возможности для Комиссии по образованию инородцев представляться Государю сегодня впервые пробежал слух, что приема этого будто бы не будет, ибо (что и понятно) Государь сильно огорчен неудачей флота, особенно же растущими беспорядками внутри и разногласием советов от окружающих. Но это только слух. В субботу прошлую Глазов объявил приглашение вполне твердо. Конечно, если мы поедем в Петергоф, то я, в случае надобности, даже телеграфирую Вам или подробно напишу в тот же день. Но очень уж пошатнулась моя вера в возможность какого-либо удовлетворения отсюда. И жалко то, и горько, подчас и досадно, подчас же и согресишь, сказав: поделом, хоть и наш ты, да мы-то не свои стали, хочется простить и покаяться — да моготы нет, слишком уж тяжелы страдания всех, слишком беспросветно все и, пожалуй, очень надолго. Да и какой же, в сущности, грозный и неопровержимый обвинительный акт вся эта война, проведенная японцами без единого, хотя бы малого случая неудачи! Будь мы подальновиднее, хотя бы два-три года назад, могла ли разыгаться такая трагедия, да еще и, пожалуй, только начало трагической трилогии? Совершенно темно теперь и близкое впереди, где и не ждётся ничего хорошего. Именно Божья кара!

Обратите внимание на злобу дня в ученом мире, то есть угрозу уволить с 1 сентября всех профессоров, если они не начнут читать лекций, хотя бы без студентов. Министерство народного просвещения получило самый единодушный отказ от всех заграничных ученых, получивших приглашения занять кафедры увольняемых русских профессоров. Это обращение за границу что-то уж ни с чем не сообразно, как и вся «ученая забастовка», попавшая в глупое и к тому же безвыходное положение. Впрочем, говорят, и положение сегодняшнего именинника не из веселых².

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Извиняюсь в недосмотре, начав писать не с обычной страницы.

1. Кобеко Дмитрий Фомич (1837—1918) — крупный чиновник, историк, выдающийся библиофил; член-корреспондент Академии наук, директор Публичной библиотеки (1902—1918), член ОЛДП и Общества ревнителей. В 1905 по поручению С. Ю. Витте занимался составлением нового цензурного устава.

Смоленского очень интересовала эта проблема по отношению к цензуре духовно-музыкальных произведений, поскольку он сталкивался с ней и в Москве, будучи членом Наблюдательного совета при Синодальном училище (этот этап описан им в Воспоминаниях), и в Петербурге — как управляющий Придворной капеллой, ответственный за разрешение новых произведений к печати, наконец, и как автор сочинений и переложений. В следующем письме Смоленский говорит, что с досады сжег свой доклад, приготовленный для комиссии Кобеко, однако в архивном фонде Смоленского в РГИА сохранилось множество материалов по цензурному вопросу, в том числе письма тоже очень неравнодушного к данному вопросу Н. И. Компанейского.

2. Непонятно, о ком идет речь; возможно, об А. Н. Куропаткине.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 21 мая 1905

Ах, дорогой Степан Васильевич, как Вы еще молоды и впечатлительны (готов прибавить: слава Богу), но от этого не легче.

О Кобеко и о значении его [одно слово неразборчиво] интриги я уже Вам говорил.

Меня всего более во всем нашем несчастье удивляет сдача четырех судов. На флоте этого не принято. Может быть взята в плен команда, но судно должно погибнуть своими руками.

Говорят (слухи дошли до меня), что была измена...¹ Знаю одно, что сижу здесь разбитый физически и нравственно и скрываюсь от людей. Уж слишком велика обида.

Что же правительство? Слово за ним.

Вам преданный С. Шереметев.

А что девица Волкова?²

РНБ, ф. 855, № 30, л. 194

1. Речь идет о цусимской катастрофе, в результате которой погиб русский флот; разговоры об измене действительно велись в русском обществе, но факт ее не был доказан.

2. См. следующее письмо.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 23 мая 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я только что вернулся из последнего секционного заседания Комиссии по образованию инородцев и прежде всего прочитал Ваше письмо. Отвечаю сейчас же. Признаю Вашу полную правду, что по части политических суждений я вполне молод головою и излишне впечатлителен. Как ни искренно, как ни многократно я убеждал себя в том, что политика — не моей головы дело, что я излишне горяч, не умею сдерживать себя при каком-либо сильном огорчении и, меряя на свой аршин, произношу суждения «собственные», лучше сказать, наивные и совершенно непрактичные и ни на что не похожие, кроме несдержанного порыва. Хватился я о том и в прошлом письме к Вам, догадался извиниться, чувствуя, что наговорил много лишнего и несообразного. Извините и на этот раз.

Что говорить еще о Кобеко! Бог с ним, хотя и жалко мне и невыслушанного моего отзыва (а сгоряча я его даже сжег в камине), жалко и ошибок, сделанных комиссией Кобеко. Совсем не то нам надо.

Относительно сдачи наших четырех броненосцев говорят вполне определенно, будто команда взбунтовалась, связала Небогатова и офицеров и сдалась сама, видя гибель броненосцев Рождественского и удаление Энквиста¹. Говорят, что будто бы вполне точные данные сообщены самим Небогатовым, но не публикуются. Во всяком случае, его броненосцы совершенно целы и вскоре будут палить по Владивостоку, ибо снарядов множество, мало же было только угля. Последнее весьма вероятно, ибо косвенно подтверждается известиями и о других наших судах. Этому подходит и две депеши, сейчас только опубликованные².

Вообще с каждым днем я все более погружаюсь в размышления о предстоящем России будущем и не могу отвязаться от мысли, что дебют Линевица³, пожалуй, также может быть не удачен. Слухи о постоянных заседаниях военно-полевого суда и о постоянных расстреляниях ходят также очень упорно и давно. Плохо — а на правду очень похоже.

Что же будет тогда — не приложу ума, тем более что и дома стоит какая-то заволочка всякой правды и далее пустых слов нейдет. Но меня истинно поражает петербургская улица, театры, загородные гулянья и прочее — здесь обычное веселье, как будто бы ничего не случилось и все обстоит благополучно. Везде видимо-невидимо народу вполне веселого, по-прежнему процветают скачки, бега, цирковая борьба силачей, пари, пикники, всякое мотовство и кутеж. Или, может быть, это все иностранцы? Или из нас добрая половина перестала быть русскими? В доказательство последнего приклеиваю еще вырезку из сегодняшних же известий, касающуюся даже офицеров и даже моряков. Сомневаюсь, чтобы это сообщение рискнуло быть неверным⁴.

Со старообрядцами вдруг опять начались обидные утеснения официальные. С инородцами дела улаживаются. Мы, ученики и последователи Ильминского, дружно надели на чиновников, и наши протоколы прочтутся впоследствии как память о нашем сражении со здешними руководителями просвещения. Спасибо, впрочем, ясной и чрезвычайно восприимчивой голове нашего председателя Антона Семеновича Будиловича, целиком вставшего на нашу сторону. Я, конечно, давно знаю его имя, но теперь лично убедился в его эрудиции и находчивости. В некоторых заседаниях я прямо любовался его памятью, умению толково говорить о сложных вещах и мирить спорящих. Русские спорщики, особенно из горячих, так ведь близки чуть не полезть в рукопашную.

У С. С. Волковой я был вчера на минутку между заседаниями. Она вернулась из Москвы, где повидала и взвинтила надобных делу людей; здесь ее энергия не остывает, и она работает сильно и дельно. Сколько могу и я ей помогаю, останавливая кой в чем. Думаю, что ее работа в печати будет так же оригинальна и прекрасна, как может быть увлекательна серьезная барышня, невольно вкладывающая женскую изящность даже и в ученую работу. Теперь привлечен к нам еще и Волков (рукописник), а в Москве Металлов и Георгиевский¹. Преображенский также работает. Одним словом — дело не спит. Я — также работаю. Полагаю, что недельки через полторы я освобожусь и тогда уже умышленно отдохну, уехав отсюда в какое-нибудь одиночество под Петербургом. Здесь мне тяжело, да и устал я свыше меры вообще, более же того ходят нервы, рисуя будущие страхи всякого рода.

Прошу Вас передать мой сердечный привет доброй графине. От жены нет поклона, так как она в Казани, но я забыл приписать о том, что дня 4—5 назад такой ее поклон был мне предписан оттуда для передачи. Вам сугубо кланяюсь и желаю тихого покоя от всяких тревожений, действительно тяжелых в эти дни.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5066, л. 247—248 об.

1. Дело контр-адмирала Николая Ивановича Небогатова имело очень большой общественный резонанс. Суть дела состояла в том, что при сокрушительном разгроме 2-й Тихоокеанской эскадры (под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского) в Цусимском сражении Небогатов сдал японцам четыре боевых корабля с их командами. В ноябре 1906 в Петербурге открылся судебный процесс, в ходе которого Небогатов утверждал, что пошел на такой шаг с целью спасти около двух тысяч жизней офицеров и матросов. Суд приговорил Небогатова и еще нескольких офицеров к смертной казни, которая затем была заменена длительными сроками тюремного заключения.

Контр-адмирал О. А. Энквист, предвидя полное поражение русской эскадры в Цусимском сражении, принял решение увести оставшиеся у него три крейсера на юг; после морского перехода эти корабли прибыли на Филиппины.

2. В письмо вклеены две газетные вырезки.

3. Генерал-лейтенант Николай Петрович Линеви́ч с марта 1905 стал главнокомандующим русскими сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке; он являлся последовательным оппонентом предыдущего главнокомандующего — А. Н. Куропаткина.

4. В письмо вклеена вырезка из газеты «Новая жизнь» под названием «Эхо Цусимы»:

В ресторане на Каменноостровском проспекте во время обеда поднялся неизвестный господин во фраке и произнес горячую речь по поводу последних событий, закончив ее выражениями крайнего негодования против главных виновников войны. В зале было много офицеров гвардейских и морских. После речи неизвестного гвардейские офицеры сочли своим долгом удалиться, а морские офицеры выразили полное свое сочувствие говорившему.

5. Н. В. Волков — автор указателя древнерусских рукописей, опубликованного в «Памятниках древней письменности» ОЛДП (Вып. СХХIII); из этого труда С. С. Волкова заимствована перечень древнерусских крюковых рукописей XI–XIV веков, который напечатан как приложение к ее статье «О древнерусских церковных напевах и о значении их для будущности русского музыкального искусства» (подробнее см. в переписке с Волковой).

Василий Тимофеевич Георгиевский (1861—1923), исследователь и архивист, в это время был уполномоченным по делам иконописных школ при Комитете попечительства о русской иконописи.

Что касается В. М. Металлова, то известна его небольшая переписка с Волковой; в частности, 9 сентября 1905 он писал ей:

...Немало удивлен тем глубоким интересом, которым Вы одушевлены в отношении вопросов церковно-певческой древности и современности, несмотря на трудность этого рода занятий, разбросанность и малоисследованность материала изучения. Но Ваша роль в этом деле еще более своеобразна, что Вы, едва ли ошибаюсь, обладаете особым даром оживить намеченный вопрос, возбудить большой интерес, одушевить в работе, увлечь на труд, объединить разрозненное в одном общем деле.

Граф Сергей Дмитриевич прислал мне избрание меня в члены Общества Любителей Древней Письменности, и я по долгу избрания, так или иначе, вовлечен в совместную, надеюсь, дружную и небесполезную работу на пользу церковно-певческой древности.

(РГАЛИ, ф. 723, № 59)

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 25 мая 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Большое Вам спасибо за Ваши горячие строки, но раз навсегда прошу Вас оставить мысль, что Вы чем-либо можете меня смутить. Ваша пылкость и Ваше воодушевление — явления отраднейшие, доказывающие лишний раз, что в Россию можно верить, все же желаю прежде всего не унывать, а бодро глядеть в будущее, по примеру того адмирала, который на телеграмму мою ответил следующим образом: «Только поражением противника можем мы изгладить боль причиненного себе стыда и горя, и я твердо верю, что Россия вынесет это поражение. Дубасов»¹.

Дай Бог побольше нам людей твердых духом, не на словах, а на деле доказавших, как бороться с противником и побеждать его.

Прошу Вас прилагаемое при сем письмо передать той милой особе, что «в Саксонии не была». Опасаясь ошибиться в адресе, обращаюсь к Вашему любезному посредству.

Преданный Вам С. Шереметев.

Жена Вам кланяется и просит передать поклон Вашей жене.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 195

1. Дубасов Федор Васильевич (1845—1912) — адмирал (в 1897—1899 командующий Тихоокеанской эскадрой); с ноября 1905 по июль 1906 московский генерал-губернатор, в дальнейшем член Государственного Совета.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 26 мая 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Софья Сергеевна Волкова до 30 мая еще здесь (Надеждинская, 48), а после того ее адрес: ст. Подсолнечная Николаевской ж. д., в с. Спасское.

Я говорил с ней вчера подробно и просто радуюсь, глядя на нее — такая она умная, энергичная и схватывает все на полуслове, так как читала многое.

Относительно медной дощечки с надписью «Отдел церковного пения» — чего же лучше и прямее. Но думаю так: дощечку будет недолго заказать и к шкафу, в котором будет уже стоять хоть что-нибудь. Я буду, Бог даст, сильно работать, и с помощью добрых людей наберется немало и для первого года — тогда бы и дощечку, а то как бы не было стыдно...¹

Вчера весь вечер, а сегодня все утро писал копию с «Музикии» Коренева и, признаться, временами забывал не только о наших внутренних бедах, но даже и о Цусиме. Сейчас, поздно вечером, пишу Вам, вернувшись с Волкова кладбища. Вы, конечно, догадываетесь, что не одни только «Литераторские мостки» и могилы Салтыкова и Тургенева тянули меня туда. Я наконец-то собрался к «малой вечерни» к брачным беспоповцам-федосеевцам. «Малая» вечерня (что у нас — минут 20—25) шла однако под Вознесенье 2 1/4 часа, — но и наслаждался же я! На меня нашли давно не переживавшиеся минуты сущего умиления, я опять почувствовал себя в кругу чисто русских людей. Совсем как в милой мне Казани: то же обращение на «ты», «друг», «сынок» и прочее, та же простота во всем, та же изумительная чистота моленной и проч. Невольно вспомнились мне слова казанского Пафнутия: «Эх, Степан, какой бы из тебя поп к нам вышел, кабы не твоя трубочка» (то есть табак)². Отказался я сегодня быть у них к утрени. Посудите сами — начинают в 11 часов вечера, а кончают к 5 или 4 1/2 утра... И так каждый день! Это ли не пульс народной артерии, это ли не сила?

И таких-то людей опять начали обижать, умышленно суживая всякими новеллами в самовольных толкованиях закона 17 апреля! «К Светло-Христову Воскресенью дали, а Вознесенье не пришло — уже наполовину отняли — зачем же давали?» — вот буквальная жалоба, слышанная мною сегодня. И в самом деле, по нынешним временам трудно понять, зачем то?

Несомненно, с сегодняшнего дня Петербург в большом смятении по поводу неслыханных полномочий, данных Трепову, авторитет которого не велик, а самоуверенность и бесцеремонность очень велики³. О созыве представителей, по-видимому, решено повести в направлении «всестороннего обсуждения вопроса, требующего известного (?) времени». Что выйдет из таких мероприятий — сказать очень трудно. Сплетен видимо-невидимо, арестов — также. Слышно, Булыгин уходит.

Всей душой, всем исстрадавшимся моим сердцем, всю беззаветную мою любовь к родине присоединяю я к Вашим строкам, недавно полученным мною. Даже и поплакал я над ними, чувствуя силу Ваших волнений и скорби. Они — мои также.

В Павловске уже дважды заставили замолчать оркестр графа Александра Дмитриевича, и собрание обращалось в революционный митинг многотысячный. Известный Новиков (сын лондонской Ольги Александровны, недавний бакинский городской голова) будто бы произнес громовую речь про резню, в которой виноват Накашидзе...⁴ Новикова с трудом будто бы арестовали, так как за него вступились гвардейские офицеры, чуть ли не обнажившие оружие против полиции. Если хоть и наполовину то правда — горько признать хоть и половину правды, признать такие времена, когда могут случаться такие сцены, — совсем как на днях в ресторане Эрнеста!

И вот как поволнуешься разными разностями — какая оказывается тихая, безмятежная пристань в науке и в любезных моему сердцу крюках! Я

уже почти решил написать этим летом к лекциям все, что только успею, чтобы и лекции вышли точнее, и нервы не расходовались на бесполезные возбуждения, неотразимо волнующие, если не спрятаться в раковинку. По крайней мере, если сердце вытерпит издали переживаемые тягчайшие горести, хоть останется след не бесполезно пережитых этих дней. Буду ходить к бракоборам, австрийцам, единоверцам¹, общаясь с этою Русью вместо брома. Иначе — какой толк от моих горьких волнений? Какой я боец? Куда годна моя любовь ко всему русскому, когда какой-нибудь Трепов может стирать людей с лица земли по своему усмотрению? Солжет, что «счел надобным» — и кончено! Сегодня я шел по «Литераторским мосткам» Волкова кладбища, где направо и налево лежит немало сущих рыцарей чести русской, скорбных страдальцев за прогресс именно русский. Если бы они воспрянули сегодня из могил, разве не были бы они арестованы в эту же ночь тем же Треповым, столь прославившимся речью о «перепроизводстве образования»!

Доканчиваю это письмо ранним утром в Вознесенье. «Утро майское» — чистое, ясное, теплое, при множестве цветов и неумолкаемом щебетаньи птиц — при торжественной тишине особого рода, дополняющей эту несравненную простую красоту. И как люди не ценят прелесть майского утра, предпочитая проводить время с вечера, чтобы встретиться не бодрым после сна, а усталым после вчерашнего болезненно-греховного, немирного?

Но пора за работу в этот дорогой утренний час. «Мусикия» Коренева не только переписывается, но и комментируется попутно. Вам и Вашим — поклон.
Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5066, л. 278—279 об.

1. Речь идет о заказе таблички для книжного шкафа в помещении ОЛДП.

2. Эпизод с приглашением Смоленского казанскими старообрядцами «к нам в попы» подробнее рассказан в его Воспоминаниях (см.: РДМ. Т. IV. С. 212). За давностью автор письма позабыл некоторые детали: «в попы» его приглашал не Пафнутий, а Артемий — Артемий Прокопиевич Пичугин, его главный учитель крюковой грамоты, старообрядец белокриницкого согласия.

3. Д. Ф. Трепов был в это время петербургским генерал-губернатором и практически имел полномочия диктатора.

4. Бакинский губернатор князь М. А. Накашидзе 11 мая 1905 был убит бомбой, брошенной в его экипаж в центре города. Городской голова А. В. Новиков обвинял его в недостаточном противодействии тем острым конфликтам на национальной почве, которыми был полон тогда Кавказ.

Мать Новикова, «известная Ольга Александровна» — имеется в виду Ольга Алексеевна Новикова (урожденная Кирсева; 1840—1925), писательница и публицистка. Она постоянно жила в Англии и выпустила ряд книг исторического содержания на английском языке. Статьи Новиковой об англо-русских отношениях появлялись в разных английских журналах и газетах, она печаталась также в «Московских ведомостях», «Русском обозрении», «Новом времени».

5. Под «бракоборами» здесь понимаются те ветви беспоповского старообрядчества, в которых отрицался брак (в частности, федосеевское согласие), под «австрийцами» — приемлющие священство старообрядцы белокриницкого согласия (в Белой Кринице, находившейся тогда на территории Австро-Венгерской империи, был их церковно-административный центр), под «единоверцами» — та ветвь старообрядчества, которая в 1800 присоединилась к синодальной церкви на особых условиях, подразумевающих полное сохранение старого богослужебного устава и обряда.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 28 мая 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Благодарю Вас за письмо. Вы меня несколько не поняли относительно «дощечки». Дело в том, что она должна прикрывать помещение не пустое. У меня уже собралось несколько книг по этой специальности — Одоевского, Разумовского, Потулова, а также записок и проч. Это особый отдел библиотеки, в которую должны поступить будущие труды и исследования по этой специальности, в том числе и ожидаемые от зарождающегося дела. Следовательно, пустого места уже и теперь нет; и если я прошу подойника, то потому лишь, что корова налицо!

Радуюсь Вашему настроению, но желал бы Вам более частого чередования между делом и отдыхом. Самый отдых нужен для пользы дела, а лучший отдых — перемена места, и тем более, когда эта перемена связывается с широким раздольем матушки Волги.

Будьте здоровы и благополучны.

Сердечно преданный С. Шереметев.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 29—30 мая 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за письмо Ваше и отвечаю Вам немедленно. Но прежде о делах ближайших, потом же об отдаленных. С. С. Волкова работает усиленно и успешно. Я помогаю ей. А. Н. Нарышкина должна сегодня тронуться из Челябинска сюда, пробудет здесь некоторое время. Упоминаю о том в связи с тем, что она, вероятно, будет у сильных мира сего, ибо и с инородческим делом обстояло не без ее участия. Нас, «инородцев», Государь примет 1 июня, то есть в среду. Если что-либо произойдет особенное при Его встрече со мною, я, конечно, сейчас же напишу Вам, а то так и телеграфирую. Но я не думаю о какой-либо перемене от этого свидания в моей дальнейшей деятельности. Гораздо более меня интересует то, что одновременно с нами будут приняты москвичи-депутаты от «300». Имена Шипова, Львовых, обоих Долгоруковых, Петрункевича, Головина, Родичева и др. слишком понятно говорят, что доложат эти депутаты Государю¹. Мне представляется весьма многозначительным, чтобы именно теперь мог быть прием лиц, о которых еще так недавно мнения были так нелестны в кругу властных и руководивших чиновников и особенно г. Трепова. Никого из депутатов я не знаю, но давно слышал восторженные отзывы о их честности, большом уме и деловитости — главное же, о их прямом, увлекательном свободомыслии и самой пылкой, разумной любви к родине. Говорили мне, что есть между ними и очень опытные, знающие земцы, стоящие вне влияния какой-либо партии, очень независимые и терпкие к разумным доводам. Если все это так, то нельзя не признать, что прием Государем именно таких людей, да еще из Москвы — «сердца России», приобретает значение первостепенное и во многих отношениях преобладающее на ближайшее будущее. Как повернутся судьбы наши и дошла ли до краев чаша наших страданий — сказать трудно, но все же я глубоко верю, что на какое бы ни было обращение в сторону свободы и ослабление средостения все могут откликнуться лишь с великою радостью, с великим подъемом духа, с великим прощением и забвением жестокого, хотя и недавнего прошлого и с необъятною мощью подъема сил всей Руси. Если выборные люди Руси будут облечены доверием Царя, — вырастет Царь духом и воспрянет вся обрадованная Земля во славу и в мощь того же Царя и Земли. Вы знаете, что я считаю еще надолго впредь неотторжимым Самодержавие и считаю надобным для возвеличения Его мощную помощь всей Земли, а не господ чиновников, только унижающих Самодержавие и повергающих Россию в неслыханные бедствия. Вы знаете также, что я всегда считал свободу всего за наилучший порядок, а не за разнузданность, за самоограничение свободы каждого ради свободы другого, а не за неустойчивое «я» во всем; наша забитость и неподготовленность к свободе,

конечно, даст случай увидеть, пожалуй, и целый ряд нелепых выходов, — но небольшой и недолговременный, так как здравый смысл должен взять свое и наверное победить. Зато какое множество тысяч умных и честных людей с полной готовностью пойдет теперь на службу России? Сколько тысяч чиновников, еще не погибших для чести и славы родины, ради исправного бумагомарания, «придут в себя» — по выражению Спасителя в притче о блудном сыне?

Невольно думаю о народах, получивших неожиданно-негаданно все блага свободы. Скажу о Болгарии и Японии, равно и о выработавшей свободу Западной Европе. Во всех трех случаях — какая разница в смысле предшествовавшего свободе и результатов ее, хотя бы на протяжении первого полустолетия? Сопоставляя их свободы теоретически с возможным (и должным) ее у нас развитием, невольно вспоминаю нашу необъятную землю с ее разноплеменностью и ту свободу в сельском «мире», в городском «вече» и государственном «земском собрании», которую так явно и так любовно выработала наша земская старина рядом с непрекращавшимся самодержавием как удельных и великих князей, так и царей с императорами. Вы знаете, сердечно любимый граф, что я отнюдь не аксаковско-хомяковский славянофил и отнюдь чужд всякой сентиментальности по адресу страстно любимой родины. Меня всегда удивляла пронизательность мысли наших свободолюбивых, самоуправлявшихся предков, не только сохранявших, но и поддерживавших самодержавие как безусловно надобное и неизбежно-благодетельное для всех исключительных случаев, когда формулы «*fiat lux — pereat mundus*»² или «*dura lex — sed lex*» [«закон суров, но это закон»] становились сущими нелепостями и требовали именно Самодержавия «Белого Царя». Только нелепый немецкий период нашей истории, столь явный в своих волнах с гребешками, как царь Алексей, Петр I, Анна с Бироном, Елисавета, Екатерина, Павел, Александр I в начале и конце, Николай I и начало Александра II, конец его, Александр III и Николай II — разве не есть совершенно выдержанная, последовательная дорога. Конечно, мнущая частности, можно и возражать против этих обобщений. Но не заключается ли в фундаментах этажей прочность последнего, в котором живем мы? И не заключается ли совершенно определенная и ясная программа предстоящего жития России, хотя бы и в пределах жизни будущего первого поколения?

И как не вспомнить: «на все воля Божия» и «велик Бог земли Русской»! Да будет так!

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

30 мая

Письмо уже было в конверте, как получилась спешная бумага о том, что Государь примет нас вместо 1 июня — сегодня в 12 часов дня. Поэтому я задержал отправку этого письма и прибавляю полученные сегодня впечатления.

Государь показался мне очень осунувшимся, бледным, хотя спокойно владеющим собою. Перед приемом Глазов был спрошен, при обозрении спис-

ка представлявшихся, кто это Смоленский, не бывший ли в Капелле? И по получении ответа было сказано: да, я хорошо его помню, он ведь такой знаток крюков; но какое же у него отношение к просвещению инородцев? Глазов сказал: Смоленский — родственник Ильминского и многолетний его сотрудник; инородцы до сих пор поют по партитурам, которые составил Смоленский, а для этой Комиссии и самое дело началось после того, как Смоленский убедил Чичерину и Нарышкину вступить за дело Ильминского, которое начали угнетать в Казани... *Государь*: Я совершенно не знал этого за Смоленским.

Так как я предвидел, что могу взволноваться, разговаривая с Государем, то я уговорился со своими обоими соседями, что они будут слушать и запомнят порядок беседы Государя со мною. Государь, беседуя по очереди со всеми, начал беседу со мною обращением: «А! Старый знакомый! Я и не подозревал, что вы так близко стояли к делу Ильминского. Министр Мне сказал, что он был ваш родственник и вы были его сотрудником в Казани?» *Я*: так точно, Ваше Величество. Ильминский — мой крестный отец и учитель, я был регентом в Казанской учительской семинарии у Ильминского 17 лет, до самого назначения моего в Москву директором Синодального хора. *Государь*: «Я знаю, что вы занимаетесь старинным крюковым пением. Видел недавно книжку, которую вы написали в защиту системы Ильминского по просвещению инородцев». *Я*: Ваше Величество, я не прерываю до сих пор моих занятий над древним крюковым пением. Образованию инородцев под руководством Ильминского я отдал много труда и все мои молодые годы. Поэтому я считаю для себя инородческое дело родным, святым и, если Бог даст, буду и еще работать над этим делом, так же, как и над крюками. *Государь*: «Какие вы написали партитуры для инородцев?» *Я*: для татар, черемис, чуваш, частью для мордвы и вотяков, алтайцев. В этих партитурах были изложены более всего самые обычные песнопения, приуроченные к текстам обедни, всенощной, Поста и Пасхи, переведенным на эти языки.

После этого Государь перешел к моему соседу. Вообще беседа привела всех в какое-то особое умиление, так как, после еще столь недавних и настоячивых гонений дела и работников при нем, никому и в голову не приходило, чтобы правда и честный труд могли так споро взять свое и притом получить поддержку от самого Царя. Милостивое царское слово всем заключило аудиенцию, длившуюся около 25 минут. Глазов стоял близ Государя и постоянно направлял разговоры. Мы уехали завтракать в Большой Дворец, и Глазов, прибыв к нам минут через 15, сказал, что Государь еще раз пересмотрел список представлявшихся и спросил Глазова еще дополнительно о некоторых. Передает поэтому Глазов нам всем полное удовольствие Его Величества о том, что имел случай услышать от нас многое для Него вполне новое и интересное.

После того мы, весьма оживленные, поехали по домам. Я не знаю, как то ни странно для меня именно, мерила, которым оцениваются подробности внимания Государя к кому-либо и по которому подводятся итоги. Но всех

удивило подчеркнутое веселым голосом обращение Государя: «А, старый знакомый!», как и несколько большая со мною беседа, чем с другими. Нас было 16.

С. С. Волкова решительно неумоима и работает, поднимая всех на дело. Теперь она подняла на ноги еще Б. А. Тураева³, и сегодня вечером мы будем беседовать втроем. Она была у меня, и я встретил ее, возвращаясь из Царского. Поэтому, как был во фраке с моими скудными орденами, так и поехал с нею к Тураеву, указавшему чрезвычайно интересную статью некоего Гейссера (Рим), исследовавшего наши пасхальные стихиры у всех православных, то есть и армяне, и копты, и сирийцы, греки, румыны, сербы, болгаре, русские и проч.⁴ Это сравнительное исследование высоко заинтересовало меня, — но инородческое дело еще не кончено, и чувствую я, что тянусь из последних силшек, что надо, очень надо передохнуть...

Принесли и Ваше дорогое мне письмо. Я называю его дорогим мне потому, что переписка с Вами заменила мне мои исповеди Рачинскому, и нет уже у меня старших людей, которым бы открывался с такою надобною и целебною для меня искренностью. Приходится мне писать все людям моложе меня, более же всего ученикам моим. Ваши ответы бодрят меня так, как Вы даже и едва ли представляете себе. Поэтому — дороги Ваши мне письма.

Относительно «дощечки» — имею теперь ясное представление. Даже думаю и так: если между множеством всяких дубликатов после-Ломакинского наследства отобрать по одному, то это не уменьшит достоинства остального, но создаст, так сказать, Шереметевскую церковно-певческую страницу в истории искусства XIX века. Если Бог благословит растормошить хотя бы наполовину того, насколько тормозит милая Софья Сергеевна, то, конечно, шкаф наполнится даже и быстро. Я думаю, что не отстану и я в заполнении шкафа. Несколько лет назад рушилась моя окрепшая было мечта скончать свои дни в Москве. Поэтому я, надеясь работать усиленно, наполнил много шкафов, отдав Синодальному училищу все, что только имел и успел собрать в России и за границей. Теперь начинаю чувствовать мою кончину в Петербурге и потому глубоко радуюсь шкафу с дощечкой, куда скопятся мои так сказать «последние годы».

Что нам надо воспрянуть духом и усиленно работать — не может быть и сомнения. Ведь не дожидаться же нам ученья от иностранцев даже и в области церковно-певческой? Вышеуказанное сочинение Гейссера прямо указывает, что на Западе не спят, а работают. Стыдно и вспомнить, как появилась в Риме 25 лет назад книга иезуита Иоанна де Кастро «*Methodus cantus ecclesiastici Graeco-Slavici*». Мы только обругали ее в нашем Журнале Министерства народного просвещения в нелепой рецензии, — а книга-то далеко не нелепая и по моему настоянию ее перевел И. И. Вознесенский и издал Юргенсон⁵. А мы и до сих пор почти спим! Стыдно сказать, что уже составился целый кружок ксендзов для изучения нашей литургии, а передовые из кружка уже работают сейчас в здешних библиотеках и скупают книги у букинистов, советуясь с профессорами наших академий. Как же молчать нам, да о своем кров-

ном? Конечно, надо работать во всю мочь и тормозить всех на работу, тормозить не менее С. С. Волковой,

Пора кончать. Чуть не валится перо из рук, а сегодня вечером еще предстоит совещание с Тураевым.

Графине — мой сердечный привет. Кланяюсь Вам и благодарю Вас за письма.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5067, л. 3—6

1. 6 июня 1905 в Петергофе состоялась первая встреча русского самодержца с представителями оппозиционного общества. Встрече предшествовал съезд земских деятелей, которому, в свою очередь, предшествовал разгром русского флота под Цусимой. В депутации, которую Николай II согласился принять, были как непримиримые, так и более умеренные деятели: граф П. А. Гейден, князь Г. Е. Львов, Н. Н. Львов, И. И. Петрункевич, Д. Н. Шипов, князья Петр и Павел Долгоруковы, Ф. А. Головин, Н. И. Ковалевский, Ю. А. Новосильцев, Ф. А. Родичев и князь Д. И. Шаховской, то есть «сливки» либеральной интеллигенции. От имени делегации говорил князь С. Н. Трубецкой, главным в его речи было пожелание созыва народных представителей. В эти дни царь принял еще несколько депутатий — от дворян, от писателей и т. д. Как отмечают историки, тогда и был предreshен манифест 17 октября, переводивший Россию на путь парламентской монархии.

В ответ на прием 6 июня стали спланиваться «правые» силы, отстаивавшие незыблемость основ самодержавия: их депутация была принята государем 21 июня (в числе представлявшихся и говоривших речи был сын Шереметева Павел Сергеевич).

2. Здесь Смоленский совмещает две латинские поговорки: «*fiat justitia — pereat mundus*» («да свершится правосудие, хотя бы погиб мир») и «*fiat lux*» («да будет свет»).

3. Тураев Борис Александрович (1868—1920) — египтолог, создатель отечественной школы истории Древнего Востока — был ученым мирового уровня, знатоком памятников и блестящим преподавателем (в данный период являлся профессором Петербургского университета). Смоленский встречался впоследствии с Тураевым и беседовал с ним о пении восточных церквей.

4. Монах-бenedиктинец Гуго Гейссер (Gaisser; 1853—1919) является автором ряда работ по византийскому пению, в частности: «*Le système de l'Eglise grecque*» (1903), «*Les "heirmoi" de Pâques dans l'office grec...*» (1905; ее, по-видимому, и упоминает Смоленский).

5. См.: Вознесенский И. И. Церковное пение православной Юго-Западной Руси. Вып. IV. Метод греко-славянского церковного пения испанца Иоанна де Кастро с приложением сборника (Энхиридиона) песнопений той же церкви, составленного тем

же автором. М., 1899. Рецензия в Журнале Министерства народного просвещения, о которой говорит Смоленский, принадлежала А. Д. Рязжскому и была опубликована в мартовском номере за 1884. После выхода в свет перевода И. И. Вознесенского книгу доброжелательно отрецензировал А. В. Преображенский в РМГ (1900, № 5).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 9 июня 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич! Давно нет от Вас бодрящих меня строк и, ожидая их, я пришел к мысли, что либо не достигло до Вас мое подробное письмо с описанием приема у Государя, либо было что-нибудь нескладное в том письме, либо Вам самим не до меня в текущую пору.

Теперь, после окончания заседаний, завершившихся сниманием в фотографии вместе с Владимиром Гавриловичем Глазовым, а вечером в тот же день — дружным обедом в честь его, я свободен с 3 июня и потому делю свой отдых с попутною ежедневною работою над «Мусикией» Коренева и над совещаниями по приведению в порядок изложения Софьи Сергеевны.

Я расстался с В. Г. Глазовым на его словах «мы еще скоро увидимся», а вчера он, говоря с одним просителем, вспомнил ему мой с ним разговор именно об этом просителе, вспомнив и начало обращения Государя ко мне 30 мая, то есть слова «а! старый знакомый».

Ничего не могу сообщить Вам о здешних делах, так как уединяюсь ради отдыха и мало слышу. Общий и радостный говор идет только о приеме московских и иных земцев, равно и о речах князя Трубецкого и Федорова¹, равно и об ответе им Государя. Встревожены все и будто бы плохим расположением войск у Линевича, вынуждаемого к бою отлично расположившимися японцами, и будто бы очень плохим потому поворотом вопроса насчет мира. Но я плохо смыслю в военных делах, да и много всякой неправды говорится по этим делам — всякий по-своему.

По научной части июнь сказывается разездом — даже в Публичной библиотеке очевидное оскудение занимающихся; их было очень много, благодаря забастовке, а теперь один-два. Зато дома работается очень хорошо. У меня, в летнем кабинете, то есть в деревянном крыльце, в зелени, в постоянном аккомпанементе воробьев — сущий рай по свежести воздуха и тишине.

Мой глубокий поклон и привет графине Екатерине Павловне. Жены — также. Приветствую Вас от всей души.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Я забыл сообщить Вам, что дело Ильминского не только спасено, но расширено, даже и утверждено в своих общих основаниях для всех инородцев.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5067, л. 66—66 об.

1. О С. Н. Трубецком см. в предыдущем письме; М. П. Федоров был гласным Петербургской городской думы, он тоже присутствовал на встрече с государем 6 июня и говорил речь.

Шереметев — Смоленскому

Троице-Сергиева лавра, 13 июня 1905

Дорогой Степан Васильевич!

Перед самым выездом сюда получил Ваши строки и радуюсь за успех инородческого дела, и притом вдвойне, так как оно отвлекло Вас от певческого дела. Радуюсь, что «старый знакомый» видимо не потерял царского сочувствия и может быть столь полезен в измененном виде и с этой стороны¹.

Мы прожили несколько дней в Кускове, а затем переберемся в Остафьево. Здесь у жены две внучки и внук — мой тезка². Погода чудная, благодатная.

Я радуюсь приему господ конституционалистов, которые предпочли бы отказ ради мученичества, а теперь они сыграли роль глупую, что мне нравится. Но я этим господам *не верю* и соли земли в них *не вижу*. В общем же эти господа для меня — шуты, и увлекаться ими невозможно.

Я вообще не человек компромиссов. В XVIII веке издавалось периодически: «И То и Сіо»³. Сие изречение не служит ли явным (?) девизом правительства — а по-нашему оно «ни в городе Богдан — ни в селе Селифан» по половице, а таковое может быть только пагубно.

Волкова мне написала только несколько строк кратких. Видимо она занята повсю.

Тураев для дела — ценное приобретение. Ничего кроме добра он не даст делу. И человек он прекрасный, взглядов и направления самого желаемого — почтенного. Еще автор исследований о древнем Египте и об Ефиопах. И глаза у него египетские, сфинксообразные. Увидите его, пожалуйста от меня поклонитесь.

Надеюсь, что не слишком утруждаете себя.

Всего Вам хорошего желаю и еще благодарю за писание.

Искренно Вам преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 192, 197—199

1. «Старый знакомый» — К. П. Победоносцев, принявший участие в разрешении «инородческого вопроса».

2. «Тезка-внук» — сын Дмитрия Сергеевича, Сергей Дмитриевич Шереметев младший (1900—1972); в 1919 эмигрировал вместе с родителями.

3. Сатирический журнал, издававшийся в Петербурге понедельно в 1769.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 20 июня [1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Наконец и я сдвинулся с места, то есть начал курс своих отдыхов-поез-док¹. На этот раз пишу Вам, возвратясь от очаровательной Иматры, где про-был два дня, любуясь многим и осмысливая по-своему виденное, примеривая финляндское к русскому, отгоняя от себя последние кошмары с войны. Хоро-ша Иматра очень! Малая Иматра мне понравилась даже более, чем большая, — слишком уже бешеная, свирепая, грозная. Если Малую Иматру можно срав-нить с гордой, красивой голубоглазой финкой (а такова именно была ехавшая со мною студентка Гельсингфорского Университета), то Большая Иматра пря-мо говорила мне: страна наша бедна плодородной землей, теплом, всякими благами в своих недрах, — но она воспитала в нас любовь к ней и к такой, любовь пылкую, полную торжества от победы нашего труда и ума над нашею бедностью, полную энергии и неудержимой свободы, полную веры в свою мощь и достоинство. Студентка ехала с отцом-стариком, видимо — очень не-богатым, но вполне, в каждом движении напоминавшим собою Большую Има-тру. Дочь, прекрасно говорившая по-русски, сконфузила бы меня, старика, ес-ли бы мы вздумали померяться знанием литератур. Она — очевидно много чи-тала по-русски, знает твердо Пушкина, Гоголя, Островского, Некрасова, Че-хова и др. А я — лишь однажды был в восторге от песен Рунеберга, знаю лишь 2—3 сборника чудно-музыкальных финских песен, да успел насладиться не-сравненно по красоте Калевалою! Дочь Финляндии — сама прелесть — ум-ная, серьезная, деловитая, вместе простая и гордая, строгая и добрая, ни-сколько не «шикарная», нисколько не «стреляющая глазами», но в то же вре-мя сущая красавица. Одета она просто, не без сохранения национальности в костюме, но без всякого крика. Ее студенческая фуражка сидела на чудных волосах (белых, как лен) — очень изящно, а лицо было совсем открытое и симпатично-приветливое. Она серьезно говорила с кем-то о новой и непонят-ной для нее ошибке нашего правительства, вновь начавшего нивелировать Финляндию, вновь оскорбившего страну обращением ее в часть Санкт-Петер-бургского военного округа, о перечислении народных на то финских денеж-ных средств в распоряжение Санкт-Петербургских властей... Отец угрюмо молчал и отстранялся от такой беседы. Но было видно по гневному лицу этой

Большой Иматры, что в Петербурге неудачно выбрали минуту нового притеснения Финляндии.

На Иматре я попал в гостиницу, где предупредили о неимении ни вина, ни пива; паспорт мой так и пролежал в кармане; порядок и чистота, удивительные вежливость и дешевизна, отсутствие какой бы ни было роскоши — все просто, прямо, ясно, определено, свободно, уважительно. Оригинальны даже железнодорожные буфеты, где ничего не подают, а каждый волен взять себе все, что бы ни захотел, и съесть и выпить, сколько ему придет на ум и совесть, — и все это за 1 марку. Контроль билетов только у русской границы. Всюду и во всем — полное доверие порядочности путешественника и гостеприимство. Говорили и мне раньше, что кража, взятки, вымогательства по службе были совершенно неизвестны в Финляндии, будто бы как совершенно противные народному укладу, не задумавшемуся издревле сохранить для таких оскорбителей смертную казнь. Ныне, будто бы, русские власти в пограничных особенно местностях, более же всего около центрально-русских властей в Гельсингфорсе, завели совсем иные порядки, глубоко несимпатичные населению. Впрочем — здесь так возможны преувеличения и взаимные недовольствия!

Два дня, проведенные вне книг и Петербурга, очень оживили меня новостью и своеобразностью впечатлений. Завтра думаю продолжить свой отдых, то есть через Выборг морем, затем каналом до Саймы, озерами до Куопио и обратно этою же дорогою, — всего на 5 1/2 суток. Это — в своем роде путешествие по шхерам, только озерным, а не вдоль морского берега. Ожидаю и от этого путешествия отдыха.

«Мусикию» сегодня переписываю на 108-м листе, любуясь ее наивностью и оригинальностью, равно и живостью задора, с которым диакон Трофим [Иоанникий] проповедует новое искусство, постоянно ополчаясь на любителей старины.

Из политических новостей до меня ничего не доходит, но чувствуется мне, что скрывают многое со всех сторон, восточной и западной; в середине же — какая-то пресумбурная неурядица и неразбериха, усиливающиеся с каждою неделю, и притом, как будто бы, при некоторой слабости, бессилии местных администраций унять волнения. В общем, чувствуется постепенное, неудержимое расшатывание нашей государственной машины и ослабление веры в близость спокойного будущего. Думается не без тревоги обо многом, неотвязном, как ни отгоняешь от себя всякие мысли печального содержания.

Перед отъездом на Иматру я проводил за границу А. Н. Нарышкину с С. В. Чичериной; идучи на проводы, встретил С. С. Волкову, перебивавшуюся с Балтийского вокзала на Николаевский, чтобы отправиться под Подсолнечную, в Спасское. При этой встрече я узнал, что статья ею окончена и перешлетя мне этими днями для последнего прочтения и передачи мною В. В. Майкову. О лекциях я думаю постоянно и кое-что записываю уже, что-

бы не посрамиться скудостью содержания, а заинтересовать глубиной новых идей, саморождающихся из дорогой и богатой старины.

Графине кланяемся, как и Вам.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 47—48 об.

1. В течение летних месяцев 1905 Смоленский для отдыха несколько раз ездил в Финляндию — на водопады и на дачу к друзьям Невзоровым. Некоторые поездки были совершены им в обществе навестившего его в Петербурге П. Г. Чеснокова.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 27 июня 1905

Дорогой Степан Васильевич.

От души благодарю Вас за Вашу постоянную память. Сюда приехал барон де Бай, Вам известный путешественник, любящий Россию и интересующийся ее древностями, которым придает значение, увы, для многих русских непонятное¹. Так заинтересовался он и общим нашим делом — возрождением музыкальной древности. Он желал бы усвоить себе стремления Ваши и цели, дабы ознакомиться с ними своих соотечественников, что, мне кажется, и для дела нашего будет не вредно. С нетерпением ожидаю появления детища С. С. Волковой.

При всем моем сочувствии делу интересов инородцев и Ильминского, в интересах другого дела было бы крайне желательно, чтобы Вы сосредоточились пока на последнем, а то, простите, Вы кажется склонны уходить в сторону под влиянием временного увлечения.

Мне же кажется, что то дело, которое теперь Вас захватило, и есть то центральное дело, которому Вы один можете дать решительный, могучий и плодотворный толчок, на пользу истинно Русскому делу!

Что за личность Кастальский, ныне живущий в Остафьеве?² Он должно быть нелюдим, потому что в Остафьеве от меня схоронился. А мой сын в Питере действует вкупе с Расторгуевым...³ Сочувствую, но протестую против наименования Царя — «Печальником Русской земли». Печальниками были Филиппы Митрополиты и им подобные.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 200

1. Барон де Бай (de Baue) Жозеф (Иосиф Августович; 1853-1931) — французский археолог, в 1902—1915 один из управляющих С. Д. Шереметева, автор брошюр о России; о бароне есть иронические упоминания в воспоминаниях детей графа.

2. Речь идет об А. Д. Кастальском, который проводил летние месяцы поблизости от этого имения Вяземских-Шереметевых.

3. Имеются в виду Д. С. Шереметев и московский купец-старообрядец Петр Сидорович Расторгуев, один из попечителей Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища. В результате подобных действий в сентябре 1905 под председательством товарища министра внутренних дел С. Е. Крыжановского состоялось совещание, на котором представители старообрядцев — поповцев и беспоповцев смогли высказать свои соображения по представленному Советом министров проекту законоположений в отношении старообрядчества. Принципиально новым было то, что высшие государственные чиновники и некоторые иерархи с глубоким уважением отнеслись к представителям старообрядческого духовенства. 17 октября 1905 император подписал указ «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин и о правах и обязанностях входящих в состав общин последователей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантов». По сути это была легализация старообрядческой церкви, получившей все права, которыми ранее пользовались в России инославные христианские конфессии.

Смоленский — Шереметеву

[Петербург, 1 июля 1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич! Очень благодарю, очень благодарю Вас за письмо Ваше, только что полученное мною. По содержанию его ответу ниже, отдавая и вновь народившийся предмет обращения к Вам, а сначала ответу о второстепенных вопросах хотя бы кратко, но с достаточною определенностью.

1. Для барона де Бай, полагаю, будет достаточно ознакомиться с сообщением С. С. Волковой, от которой я жду на днях ее текст сполна для передачи В. В. Майкову. В этом сообщении не только прямо, но и между строк, читаются не только указания на ближайшие ожидания, но и на вероятные исполнения упований.

2. Кастальский — мой искренний приятель — глубокий нелюдим и дикарь, хотя и золотой человек на своей полосе. Его положение ныне вполне трагикомично и очень мутит его. Это — отлично образованный человек вообще, отличный музыкант и смело, ново мыслящий композитор, очень умный и притом упрямый русак. Ему следует быть кабинетным ученым и чем угодно, только не регентом, а он, благодаря близорукому, покровительственному вниманию князя Ширинского-Шихматова, попал именно в регенты Синодального хора. Как регент Кастальский совершенно никуда не годен и терпеть не может это занятие; к тому же в Синодальном хоре он заменил великолепного

регента Орлова. Последний, по настоянию того же Ширинского-Шихматова, сделан директором и погиб уже, попав не на свое место. Также гибнет и Ка-стальский, оказавшийся однако более стойким, чем гордый Орлов. Погибло и Синодальное училище — мое детище в руках доконавшего его Ширинского-Шихматова и в руках нелепого невежды — нынешнего прокурора г. Завьялова¹. Впрочем, не одиноки у нас случаи, когда людей, специально способных к чему-либо, у нас как бы на смех над ними и над делом сажают именно не по тем местам, где они могли бы полезно и радостно работать.

3. Вы угадали, что я склонен временно уходить в сторону от своего дела, как то было недавно по поводу инородцев и Ильминского. Дело это мне чрезвычайно дорого по близости моей к нему с молодых лет и по святой для меня памяти Ильминского. Как и выше, в Казани завелась целая шайка местных властей (архиереи и попечитель Спешков), оказавшихся еще более самоуверенными и глупыми душителями истинного благодеяния Поволжья. Поэтому и я горячо взялся за протест. Но по нынешним временам чувствую, что едва ли и на этот раз выйдет что-либо, так как Глазов пренелепо повел дело о репрессиях по адресу высших учебных заведений и, в связи с другими своими неудачами, едва ли долго останется министром. А при другом министре опять все с начала — то в лучшем случае, а то так и восторжествуют казанские при-шлые и самолюбиво-настойчивые дельцы.

Но все это нисколько не может отвлечь меня от главных моих занятий, которым я, уже третий скоро год, вполне решил отдать мои последние годы, — то есть окончание и приведение в порядок всех моих начатых работ и собранных материалов по русскому церковному пению. Эти занятия я ни в каком случае не брошу, да, по правде сказать, даже и не смею бросить. Последние мои 12 лет в Москве были порою чернорабочего архивного труда, и я сам теперь понимаю силу лежащей на мне обязанности осмыслить для других этот мой бывший труд, чтобы избавить будущих тружеников от тяжкого положения чернорабочего в области рукописей. Ныне мои записи понятны, как черновые и хронологические по времени занятий, только мне одному и никому более. После моей смерти нет им никуда дороги кроме печки. Совсем иное — если я успею их рассортировать и систематизировать, хотя бы приготовив только к изданию. Это будут уже вполне ясные и простые дорогие, вполне готовые материалы для будущих тружеников и художников, которым не будет надобно тратить годы и годы на черную работу. К этим работам, после моей от них передышки с 1901 года, я чувствую себя подготовленным более, чем к каким-либо другим. Эти работы вместе и самые любимые и самые интересные для меня, так как в деле приведения их в порядок, подобно Пимену «На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною... давно ль оно неслось событий полно? Теперь оно безмолвно и спокойно: не много лиц мне память сохранила, не много слов доходят до меня, а прочее погибло невозвратно... Но близок день, лампада догорит — Еще одно, последнее сказанье»².

Действительно моя лампада, то есть сердце, догорает, так как с каждым полугодием я чувствую по этой части усиливающийся минус и потому тороплюсь писать последнее сказанье, чтобы оставить другим в понятном виде все то, что было найдено и продумано мною в Москве. Я припоминаю сейчас с величайшею признательностью те минуты, когда я чувствовал, что некоторые строки моих сообщений в Обществе Любителей Древней Письменности, как казалось мне, доставляли Вам некоторое удовольствие. Каюсь Вам: это были лишь обобщения собранных материалов, итоги многолетних продуманных, выстраданных мыслей, которые хватило моей смелости высказать, пожалуй, несколько преждевременно и с надлежащими осторожными оговорками. Я полагаю, веря в силы Руси, эти итоги значительно большими и гораздо более приложимыми к действительной жизни будущего русского искусства, чем о том можно говорить до объявления подлинных материалов и документов. Мой восторг, мои предчувствия торжества у нас несравненной русской бытовой красоты, в том числе и пения народного, так переполняют меня, что я не в силах был сдержать свои порывы и выдал их раньше времени, в сущности еще не доказанными документально. Только с этими доказательствами, Бог даст, лягу я спокойно в могилу, до которой уже недалеко, но до которой все же надеюсь успеть сделать все надобное.

Закончу это письмо словами, соответствующими отчасти Вашим «мой сын действует вкупе с Расторгуевым»; вот что мне пишут из Москвы сегодня: «Троицу я служил на Рогожском кладбище; не могу выразить, что я чувствовал, — переполняло меня и чувство благодарности к Царю-Батюшке и ко всем поспешествовавшим открытию св. алтарей наших». — «С чувством живейшей радости ждем мы встретить в Первопрестольной своего Царя и выслушать слова утешения в эти дни всеобщего шатания, и заявить, что мы готовы по первому слову Его положить за Него и за Землю живот свой и все достояние. Собираем охрану, чтобы оградить Его от злодеев или лечь костями»³.

Понимает ли наш Царь, какая выносливая и долготерпеливая сила все еще есть в его руках — сила, благодарная даже за удаление беззакония? Это ли не кротость русская! Это ли не коренная Русь, за которую давно бы взяться!

Письмо это есть ответ на мой запрос о возможности сопровождения графа Дмитрия Сергеевича со мною в поездку по Керженским и иным скитам во второй половине августа. Конечно — ответ благоприятный — но Д.С. сегодня едет в Москву по печальнейше-позорному случаю, и я не успел переговорить с графом — не раздумал ли он о такой поэтической поездке «в леса». Не сомневаюсь, что скиты воспроизведут нам и Манефу, и Потапа Максимыча — ведь эта Русь еще так жива!⁴

Не решаюсь исповедаться Вам о текущих политических печалях и позорах. В Финляндии — временное отдохновение мною получено. Какая чудесная страна — бедная, но культурная и свободная духом, работающая и достойная всякого уважения.

Графине — мой и жены, как и Вам — сердечный поклон. 5-го буду мысленно в Михайловском, здесь же выпью за Ваше здоровье.

Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5067, л. 128—129 об.

1. Алексей Александрович Завьялов (1861—1907) был прокурором Московской Синодальной конторы с 1903 по 1906; его деятельность на этом посту не оставила существенных следов в истории Синодального училища и хора.

2. Цитата из монолога Пимена в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

3. По всей видимости, автором этого несохранившегося письма был А. П. Богатенко.

4. Матушка Манефа и Потап Максимович Чапурин — основные действующие лица старообрядческой эпопеи П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах».

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 2 июля 1905

Вы думаете, дорогой Степан Васильевич, что легко ответить на последнее письмо Ваше, в котором Вы говорите о желательности поездки в скиты? Ведь это не письмо, а как говорил капитан Копейкин — «в некотором роде целая поэма»¹. Шутки в сторону. Ваше письмо произвело глубокое и отраднейшее впечатление. Его читали по несколько раз и вслух, и как раз его читать пришлось Дмитрию. Всех оно пробрало до глубины души. Вы удивительно раскрыли нам родную картину, которую многие глаза не высматривают и не понимают. Впечатление письма Вашего именно подобно «гусям звончатым» и песням вещего Баяна. Рокотание струн народного гения воодушевило все сердца. Великое Вам спасибо, что в тяжкую годину Вы задели за живое; еще дороже, еще ближе нам стал:

И дум и песен самородный
Неисчерпаемый родник!..²

Будьте здоровы и благополучны. Будем надеяться и не унывать. Ведь мы с Вами стоим не на болоте, а на твердом камне! Жена Вам и супруге Вашей кланяется и я тоже.

Сердечно преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 201

1. Капитан Копейкин — персонаж «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

2. Последние строки стихотворения Б. Н. Алмазова «Памяти М. В. Ломоносова» (1865).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 4 июля 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сего 5 июля в каком-нибудь уголку Михайловского, в какую-нибудь уединенную от всех минуту, мысленно побуду с Вами и буду приветствовать Вас с днем Вашего ангела, высказывая сердечные пожелания Вам доброго здоровья и всякой радости. То же — и доброй Вашей подруге жизни — кроткой графине. Пожелал бы Вам и тишины душевной в эту годину, — да как надеяться на исполнение такого пожелания, когда ни впереди, ни кругом, ни в прошлом нет никаких к тому оснований? Покоя и уверенности едва ли можно дожидаться даже и в таком уединенном труде, окрыленном хотя бы надеждою быть понятым через поколение, через предстоящее время. Уцелеет ли в предстоящие годы та бумага, которой доверяются со скоростью записанные мысли? Сами наши мысли, святые, казалось бы, для других по силе вкладываемого нами в них чувства, будут ли святы следующему поколению? Даже, отчасти, будут ли нужны ему в мере нашей простой веры в их святость? Сохранится ли у будущего поколения чистота нашей любви к родной старине, так хорошо врачующая у нас даже и теперь наши страдающие, но еще здоровые сердца? Отчасти, в смысле этих вопросов, шлю Вам и Екатерине Павловне мои пожелания теперь же прозорливо увидеть и уверовать в тихую, достойную радость в Ваших внуках. Счастливый возраст их не позволяет им теперь понимать ни наших чувств к ним, к родной старине, ни ко всему ужасу, переживаемому в текущую горькую пору. Они вырастут без наших душевных ран и встретят будущее во всей мощи юных, свежих сил, а в них по биологическому закону «через одно поколение» должны возродиться в ком-либо душевные силы деда и бабки. В личиках этих детей, в отдельных жестах их, в отдельных духовных проявлениях их маленьких умов и теперь чуткая, старая любовь деда и бабки может угадать повторения себя в будущем. А что может быть прекраснее и радостнее такого наследника, в котором чувствуется заранее и любится горячо своя душа, свои мысли, свои мечтания о далеком будущем? Шлю Вам и графине пожелания именно такой радости в шумном, беззаботном мире Ваших внуков и внучек.

Мы уговорились с графом Дмитрием Сергеевичем отложить поездку по старообрядческим скитам. Я глубоко сожалею о том, но в то же время надумал все-таки сделать эту поездку хотя бы отчасти. К этому меня подвигает несколько резонов, кроме надежды все-таки уговорить графа Д.С. съездить со мною по скитам. Думаю, что едва ли когда-либо обстоятельства могли бы сложиться так благоприятно для обеих сторон, как ныне: с одной стороны приезд именно Шереметева, в частности же Дмитрия Сергеевича, к открытию Рогожских алтарей сделал его по имени и фамилии одним из самых известных людей в старообрядчестве; затем в наше распоряжение командировается сердечный друг мой — диакон Алексей Прокопиевич Богатенков (отец живописца, поднесшего Наследнику складень), лично по сыну за то признательный графу и кроме того один из самых влиятельных и авторитетных воротил в старообрядчестве московском. Конечно, он и ради графа, и по дружбе ко мне устроит поездку интересную, содержательную, серьезную, тактично обставленную для нашей стороны, не кричащую, но такую, где бы мы могли окунуться в мирок чистый, благочестивый, спокойный и беспримесно-русский. С другой стороны — как ни буйны, как ни тревожны наши дни наверху, в больших городах, в нашем самоотравлении от газет и от общений с людьми встревоженными и изверившимися не менее нас, — все же надо признать, что в лесах, в старообрядческих скитах, в вековой старине «спасенья» царит полная тишина, полный порядок. Поэтому я полагаю, что граф Дмитрий Сергеевич будет не только восхищен, но прямо уничтожен впечатлениями для него совершенно неожиданными, из мира не имеющего ничего общего с чинами, орденами, с придворной или светской жизнью, со всею их ложью, нервностью и суетою. Приобщиться такому миру, найти в себе силы понять этот мир, его духовно-народную красоту, его чистую родную силу — вот что желал бы я показать и пояснить Дмитрию Сергеевичу, как, Бог даст, будущему русскому деятелю. Я обдумал свою с ним поездку в качестве толмача-добровольца, ибо ни сам граф, ни друг мой Алексей Прокопиевич не найдут общего между собою языка, ни общих тем для разговоров, ни способа обратить внимание на одно, разглядеть другое и вдуматься в третье. Поездку для Дмитрия Сергеевича я считал бы исключительно надобной и по нынешнему времени, надобной и для него и для старообрядчества, имеющей, пожалуй, пригодиться и для Государя. Ибо кто же наверху имеет понятие о коренной Руси иное, кроме непозволительно-поверхностного?

Скажу о себе так: я измучен, исстрадался. Давнишние впечатления от «Лесов», перевернувшие всю мою жизнь, подсказывают мне, что моя изболевшая душа успокоится вновь, приобщившись родной красоты и пожив хотя краткое время вне города, вне сюртука, полиции, газеты, войны и всякого бесправия и беззакония. Впрочем, нет у меня слов, чтобы охарактеризовать всю меру разности между минутой жизни в Петербурге и на Керженце. Там послушаем и пения, увидим и икону, и архитектуру деревянного строения, пого-

ворим с бородатыми бесхитростными иноками, послушаем подлинные духовные стихи, попьем русский мед, яблочный квас, русские щи с кашей впервые узнает Дмитрий Сергеевич, как и неминуемую для него баню, вроде той, какая растрогала когда-то Потапа Максимыча; увидит здесь Ваш сын и сарафан штофный, пожалуй — случиться может, попадем на богатую свадьбу — тогда слушаем родных песен — и мало ли чего. Всего этого он не видал, не представляет себе во всей чистоте и силе этой чистоты. Он не представляет себе, что пожалуй, если Бог благословит, и переродится он сам, омытый этою чистотою после своей придворной мишуры.

В душе всякого русского человека есть уголок, часто не подозреваемый самим человеком, где неожиданный луч света, неожиданный родной звук, неожиданный вид родной красоты, либо что иное вдруг дают уму ясновидение и понимание многого. Дмитрию Сергеевичу предстоит еще будущее, и знать, или по крайней мере иметь случай узнать, попытать свои душевные силы при желании узнать подлинную русскую жизнь — необходимо надо. Если в душе Дмитрия Сергеевича найдется сила почувствовать русскую красоту, почувствовать живо, сильно — благо ему! Я говорю здесь вот о чем: как в иконе, как в песне, так и в сарафане, в коньке на крыше (но только, конечно, подлинно русских) — дается мастером как будто бы очень мало художественного, но все же кой-что доступное даже с первого раза. Например, порыв нежности в движении Младенца на иконе Владимирской Божией Матери; например, что-то сразу захватывающее нас в напеве народной песни, даже и незнакомой; например, полная вкуса гармония цветов в монистах, серьгах с узорами кисейной белой рубашки и толстого штофа в старинном сарафане, гармония его с головным убором девушки и т. п. В этом немногом имеется то, что развивается уже самостоятельным и умелым наблюдателем во многое, обобщающее, делающее понятным и интересным другое, прежде не замечавшееся. Так и тут, я полагал бы, что Дмитрий Сергеевич увидал бы много такое, что, кроме душевного его удовлетворения, убежденно переродило бы его в отношении к русской земле и к родной красоте — убежденно повернуло бы в будущем и образ его мыслей и действий, выгодно выделив его из круга товарищей, наивно не подозревающих и о самом существовании такого русского мира и наивной, но родной и плодотворной красоты.

Но я чувствую, что я совсем уж много написал и опоздал на почту. Повторяю Вам, дорогой именинник, что в 7 1/2 часов вечера 5 июля я встану здесь и буду Вас приветствовать отсюда, посылая Вам и доброй графине лучшие пожелания. Присутствующим — мой привет, кто знает меня, и поздравление с дорогим именинником.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, [после 17 июля 1905]

Высокоуважаемый Сергей Дмитриевич!

Не заладилось это письмо: то оторвут от него, то в голове толчется не то, то работу бросить не хочется, а то так и не пишется. Была у меня этими днями какая-то полоса безмыслия, апатии и особенного утомления: не думалось, не работалось, даже и не отдохнулось.

Не один раз начинал я свой ответ на Ваше последнее письмо, совершенно меня растрогавшее. Не помню теперь, что было написано мною по поводу предполагавшейся поездки в скиты. Помню, однако, что всколыхнулось в памяти очень многое из того, что когда-то совершенно перевернуло мою жизнь. Так как в те далекие годы это было живо прочувствовано и граничило с тем, что я сжег все, чему поклонялся, и поклонился тому, что сжигал, — то есть всю неметчину в моем воспитании и образовании (особенно же музыкальном), то, конечно, у меня могли вырваться только искренние слова, только сильная собою правда. Теперь, не ждав описанных Вами впечатлений от моих строк, радуюсь им. Глубоко правы Вы, сказав мне в ответ: «эту правду многие глаза не высматривают и не понимают». А между тем, как проста, как прекрасна и полезна, как доступна эта дорогая правда для «имеющих уши слышати».

Перейду к совсем прозаическому предмету: недавно я завершил покупку для Вас Энциклопедического Словаря [Брокгауза и Эфрона] и полагаю, что последние его томы уже в Михайловском. Если не ошибаюсь, первая покупка, уже оплаченная (ноябрь, 1903), состояла из 76 книг. Поэтому за остальные 6 книг мне приходится получить 14 р. 50 к., то есть по 2 р. 25 к. за книги №№ 77 и 78 и по 2 р. 25 к. за №№ 79—82-й.

Считаю надобным сообщить Вам свои впечатления о болящем Петре Андреевиче¹. Я навестил его несколько раз. Больной очень слаб, хил, отошал до самой невозможной степени. Голова ясна, но скоро утомляется. Я думаю, что у Петра Андреевича есть, кроме называемой им общей невралгии, какой-либо скрытый от него злой недуг. Вспрыскивания подкожные, конечно, делают ему приступы в улучшении самочувствия, — но ведь это не есть врачевание недуга, даже и не паллиатив.

Сию я в Петербурге в самом несносном плену у еврейского типографа, без всякого стыда и жалости затягивающего печатание 1-й части моего Курса хорового пения. Чувствую я, что давно уже устал и не могу работать, — а вырваться отсюда нет возможности. Работается у меня в последние недели только механическая часть, вроде переписки «Музикии», подыскания справок, чтения корректур. Часть творческая совершенно ослабела, — то есть надобен отдых, — а тут раздражение от невольного юдофобства.

От С. С. Волковой имел письмо вчера. Она также, видимо, утомилась и, под предлогом надобности переделать свою статью, известила В. В. Майкова о намерении приготовить ее к сентябрю. Владимир Владимирович, как пишет мне С.С., «совершенно не одобрил такое поведение». Я же сегодня поддержал Майкова и позволил себе всячески подбодрить Софью Сергеевну, торопя ее кончить теперь же². Впрочем, я вполне понимаю волнения и недоверие к себе у начинающей авторши. Успокоить ее постараюсь и впредь.

О затишье в текущие дни я боюсь и думать. На душе почему-то копошатся предчувствия недобрые.

Следующее письмо обещаю Вам попространнее и повеселее. Мой и жены поклон и привет графине и Вам.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Р. С. За «скиты» — неожиданно получил от Дмитрия Сергеевича бекасов из Новгородской охоты — превкусных³.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 49—50

1. Имеется в виду старый друг Шереметева, член ОЛДП П. А. Гильтебрандт; записи о посещениях его Смоленским неоднократно встречаются в Дневнике 5.

2. См. письмо Смоленского к Волковой от 17 июля 1905.

3. Составляя подшивку писем, Смоленский приложил к ней забавную записку от Д. С. Шереметева на его визитке (л. 202, без даты):

Многоуважаемый Степан Васильевич. Посылаю Вам бекасов, убитых мной на охоте в Новгородской губернии на реке Ильмени. Может быть Вы их скушаете с удовольствием. Очень буду рад. Искренно жму Вашу руку.

Ваш Д. Ш.

Позже, 11 августа Смоленский писал в Москву А. П. Богатенко по поводу поездки Д. С. Шереметева в Черемшанские старообрядческие скиты; поездка (без участия Смоленского) состоялась и прошла вполне успешно (см. следующие письма).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 11 августа [1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я забыл покаяться Вам на вокзале в том, что не успел вовремя вспомнить о постоянно делаемой всеми путанице в названиях старообрядческих мо-

настырей, называемых то «Хвалынь», то «Иргиз». Всеобщее смешение этих названий у старообрядцев до сих пор обычно в их просторечии. Между тем, хотя и очень недалеко Хвалынские скиты от собственно Иргизских (то есть лучше сказать: лежащих недалеко от города Николаевска), — все же это вещи разные. Я предполагаю, по некотором размышлении, что едва ли граф Дмитрий Сергеевич поедет именно на Иргиз (туда дорога удобнее ведь из Саратова), но думается мне, что для первых его впечатлений достаточно будет побывать ему около самого Хвалынска в достаточно еще типичных по хранению старины монастырях и скитах. Сколько помнится, около двух-трех верст от Хвалынска — общественная моленная — вещь очень основательная, высокоинтересная по множеству ценнейшей старины. Тут же пребывал прежде и архиерей; не думаю я, чтобы графу Дмитрию Сергеевичу удалось его видеть, так как он должен этими днями выехать в Москву (к 20-му августа) на «собор». Затем на реке Черемшане, выше и ниже по течению — целая уйма «древлего благочестия», сколько помнится, длиною далеко не в одну версту. Кажется, от города будет что-то около 8—10 верст. Здесь пониже, то есть ближе к городу — женский скит, а повыше — мужской скит, есть и монастырское общежитие, бывали и затворники «великого образа». На Дмитрия Сергеевича хватит и Хвалыни.

На всякий случай, так как у меня теперь, за давностью лет, нет ни одной знакомой черемшанской или хвалынской души, — пишу вместе с сим в Москву, чтобы надобные люди распорядились встретить честь-честью графа в Черемшане. Полагаю поэтому, что такому гостю, как граф, будет предупредительно все показано, ибо, вероятно, по моему письму будет сообщено в Хвалынск все надобное и кому следует, так что на месте сам граф увидит, как ему распорядиться. А чего поглядеть — того найдется в изобилии.

Не скрою от Вас, что я ушел сегодня с вокзала в весьма глубоком раздумье о самом себе. Предстоящая Ваша отлучка до ноября, как Вы сказали мне, равно и неудавшаяся моя беседа с Вами здесь, рисуют мне будущее мое проживание в Петербурге самыми печальными красками. Конечно, много помогают тут моему раздумью и мои печали о переживаемой родиною тяжелой поре; много прибавляет и мое утомление от работы, моя, так сказать, «припечатанность» к еврейской типографии, — но много же прибавляют раздумья и как бы безвыходность моего материального положения вместе как бы с ненужностью моего научно-певческого труда решительно ни для кого теперь, а лишь только для отдаленного будущего... Тяжелое раздумье о неимении хотя сколько-нибудь лучшего материального положения совершенно одолевает мою энергию и парализует силы к труду. Я твердо решил не разбрасываться в труде и вполне отдаться церковно-певческим исследованиям. Поэтому я не пишу ни для журналов, ни для газет, не даю уроков и вообще не ищущу заработка поденного, мечтая о покойном ряде годов в самом уединенном труде ради науки. *Мне надо кончить свои работы.*

Вполне понимаю я все, или почти все, как кажется, причины неудач за последние две зимы. Бог с ними! Как было сказано мною Вам недавно, так и повторю, что сердце мое почти совсем отвернулось от некоей стороны. Но я не могу не страдать душевно, видя свою необеспеченность, а за нею не только необеспеченность моего труда, но и горький отказ в помощи многим родным, поддержка которых есть мой неперменный долг.

С другой стороны, Вы видели в минувшие две зимы, что я работать не ленив, хлопотать же о себе совершенно не умею. Вот почему, глубоко дорожа Вашим вниманием и снисхождением ко мне, я решаюсь вновь просить Вас подумать обо мне и о возможности мне работать далее. Знаете Вы и то, что я отнюдь не деньголюбив, не честолюбив — может быть и надумается Вам что-либо? Усердно прошу Вас, а то очень тяжело на душе и не работается так, как бы хотелось и как надобно для дела очень большого. Горько глядеть на неконченные работы.

Графине кланяюсь и желаю всякой радости.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5068, л. 34—35 об.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, [около 10] августа 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Великий же Вы оригинал! Ну как же, живя бок о бок *три дня*, Вы не заикнулись словом — и вдруг вдогонку посылаете мне письмо, на которое всего неудобнее и непрактичнее ответ письменный!

Как же так? Мне осталось только одно: просить Вас высказаться по душе с Н. А. Агаповым, человеком практическим и доброжелательным¹.

Или же заглянуть в половине сентября в Михайловское для необходимых разъяснений?

Ведь я почитал, что курс Ваш будет оплачен. Так смотрит и г-жа Волкова. Почему вдруг Вы пришли к тому, что Ваш труд *никому не нужен*, а только будущему. Это что-то новое, вызванное особенностями Вашей сложной природы. Чувствую, что недостает С. А. Рачинского. Он бы Вас пожурил. Будьте *совсем* откровенны и не оставляйте чего-либо недоговоренного. Это лучшее средство помочь горю.

Вам неизменно преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 204

1. Николай Александрович Агапов (1841—1912; известен посвященный ему некролог С. Д. Шереметева) заведовал петербургской конторой графа. Далее в письме

речь идет о чтении Смоленским курса публичных лекций в зале Фонтанного дома: о стеснительности для него брать плату за посещение этих лекций Смоленский писал Шереметеву и раньше, об этом подробно говорится в письмах к Волковой.

Разрешение из Министерства народного просвещения на проведение курса лекций было получено Шереметевым как хозяином помещения в 20-х числах августа (сохранилось в подшивке, л. 203; датировано 23 августа).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 22 августа 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я вернулся только что с Иматры и затем из краткого посещения на даче моих друзей в Финляндии. Возвратясь, не без глубокого стыда увидел Ваше письмо, в котором, как и следовало ожидать, прочел «достойное по делом моим»...

В Финляндию я, попросту сказать, сбежал из Петербурга вследствие внезапно почувствованного утомления и невозможности работать более: голова ослабела, память притупилась, творческая мысль и способность к обобщению совсем иссякла... К такому печальному состоянию присоединились огорчения от типографии, крайне тянущей издание моего Курса хорового пения; затем вдруг обнаружилась временная, но болезненно почувствованная недостача денег; а потом и кратковременное свидание с Вами произвело такое именно впечатление, какое может только создать себе взвинченный человек, временно, но сильно схандривший и жестоко страдающий. Я не нашел в себе сил, чтобы сообщить Вам о новом огорчении, полученном из Св. Синода. Там, как мне тогда частно сообщили, решили отказать Казанской Духовной академии в двух с половиной тысячах рублей, просимых ею на напечатание Описания певческих Соловецких рукописей. Предполагалось, что я съезжу в Казань и вновь проверю и дополню свое Описание, составленное еще 20 лет назад. И вдруг отказ «за неимением средств»; а на ремонт дома на Литейной нашлось свыше 100 тысяч!¹ К сожалению, молчание Синода в течение последних двух недель только подтверждает справедливость частного мне сообщения; тайные пружины этого дела понятны. Вот причина моих горьких слов: «никому мой труд не нужен». Я думал пробыть сентябрь и октябрь в Казани и заручиться материалами для сообщений в Обществе Любителей Древней Письменности — теперь же сижу, как рак на мели — со знаниями, но без документов и материалов. Я думал кончить отличную большую работу, сделанную уже более чем на $\frac{3}{4}$, — и вдруг ничего, даже и прятанье друг за друга: не я, не я, это он сказал «нет средств» и проч.

Сегодня думаю на краткое время выехать в старый Новгород, где поброджу несколько дней, читая по карнизам стен, окон, по куполам, звонницам и

проч., посижу на мосту, на вече, в Юрьевом послушаю старого пения и проч. Работать я сейчас совершенно не могу — совсем голова плоха и слаба.

Ваши предположения, что я написал Вам о себе вслед за Вашим отъездом, что я сейчас будто бы крепко нуждаюсь, были бы совершенно правильны, если бы я не болел в минуты письма.

Письмо было написано немедленно вследствие указанной Вами поездки графа Дмитрия Сергеевича в Хвалынск. Сначала я отписал в Москву о том же (оттуда уже имеют и ответ о сделанных приготовлениях и распоряжениях по приему Дмитрия Сергеевича), потом написал Вам; потом устал и схандрил, вследствие чего и появилась вторая половина письма, в коей каюсь перед Вами.

Денежной помощи мне, конечно, не надо. Поэтому и разговоры с Н. А. Агаповым мне кажутся пока преждевременными. Меня обессиливает отсутствие покоя душевного, неполучение реабилитации в виде внимания отсюда, откуда уже были случаи и приличные поводы к какому-либо ко мне вниманию и к поощрению хотя бы репутации моего предмета, чтобы невозможны были щелчки делу и мне, слуге дела, вроде описанного эпизода с Казанской Духовной академией. Конечно, увеличение моих годовых получений, кроме пенсии, значительно увеличило бы мой покой, ибо вместе с тем связана постоянная от меня помощь некоторым моим беднейшим родным старикам и старушкам. Теперь я не в силах им отказать в том последнем, что они имеют от меня, и потому ограничиваю себя. При возможности устроиться хоть в какую-нибудь «Комиссию», где бы однако я все-таки мог бы работать над своим делом, хотя бы под видом и названием археологии или археографии, — я, сколько понимаю себя, успокоился бы совершенно и до конца дней моих. Но нет такой «Комиссии», куда бы можно было приткнуть меня по вольному найму! Церковно-певческая археография, русская музыкальная археология еще не котировались на рынке нашей науки, ибо «наши художники были не археологи, а археологи не были художниками» — как выразился однажды князь Одоевский. Я мечтал и мечтаю (как, впрочем, кажется, как-то и говорил Вам) не только об устройстве своего улучшенного положения, но и о даровании как бы прав гражданства своей все еще не признаваемой нигде науки. И покойный Разумовский, и Потулов, и я, и Преображенский, и о. Металлов — все мы лишь случайные чудаки-любители, а не признаваемые специалисты; наше научное поле — в сущности не значится ни в чьей усадьбе... Ни консерватории, ни Синод, ни Министерство народного просвещения не почтили еще «Российское мусикийское искусство» присвоением его себе. А между тем как бы следовало им всем внять лепету этой молодой науки. Что за тьма, что за незнание царствуют по этой части там, где должно быть всякое движение вперед! Но как их расшевелить и сдвинуть?

Теперь я пишу Вам поспокойнее прошлого письма, хотя тоже волнуясь. Ничего не могу сказать пока о приезде моем в Михайловское к половине сентября — немного спустя, после Новгорода виднее будет.

Навестил болящего Петра Андреевича. Плох он очень и начинает скорбеть духом. По всему судя — недолго ему жить, отошал совершенно, головы поднять не может. Я обещал у него быть в будущее воскресенье.

От Софьи Сергеевны имел вчера хорошее письмо с анализом формы «Твоя победительная десница»². Работает она совсем успешно и дельно.

Графине поклон мой. Вас прошу — не кляните. Будьте здоровы и покойны.
Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5068, л. 61—62 об.

1. Имеется в виду дом Синодального ведомства на Литейной.
2. Это письмо Волковой не сохранилось.

Смоленский — Шереметеву

[Новгород], 26 августа 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Завтра я уезжаю домой из бывшего Великого Новгорода — увы, именно бывшего. Я пробыл здесь четыре дня, старательно подготовившись к обзору знаменитой когда-то столицы русского народоправства. Правда, каменной старины здесь осталось довольно и большинство церквей имеют от 600 и более лет — но в каком разоренном виде эта почтенная старина теперь! Стыдно и вспомнить виденное.

Хороша, даже очень хороша в общем Св. София, в которой я был ежедневно за обедней и вечерней. Много в ней сохраненной и умно восстановленной старины. Только из-за одного этого храма стоит побывать в Новгороде. Я увлекся здесь моею давнею слабостью, то есть рассмотрением графических планов сложно-составленных икон, например «Верую», «Величит душа моя Господа», «Премудрость созда себе храм [дом]», «Достойно есть яко воистину» и т. п. Меня всегда занимала «бестолковщина» этих композиций, ныне оказывающаяся в моих глазах столь толковой, столь поэтической и столь свободной, что диву даюсь, созерцая смелость таких рисунков, в сущности глубоко гармоничных в расположении множества своих отдельных частей. Сколько независимости духа, сколько именно «свободного творчества» и вместе — сколько самого тонкого, изящного умения и вдохновения!

Но хороша Св. София и во множестве самых обыкновенных вещей, встречаемых всюду, да не в том достоинстве и не в таком количестве. Вечная память недавно скончавшемуся Феогносту¹ за умную реставрацию Св. Софии! Горнее место за престолом восстановлено с удивительною прелестью; главный

иконостас — также; стенная живопись, так сказать, воссоздана очень умело и умно; по дороге на хоры сохранены и обережены всякие старые надписи; даже снаружи Св. София выглядит гораздо лучше прежнего, так как отняты нелепые контрфорсы, восстановлена фигурная крыша и проявлены окна, зачем-то заложенные в прошлом.

В 4 дня я обошел весь город, осмотрел почти все более старые храмы и подивился тому искусству, с которым многие из них выстроены, и тому варварству, с которым они переделаны и украшены. Наружный вид многих храмов по-прежнему очень хорош, но внутри — прости Господи новгородцев за их нелепое усердие!

Особенно меня огорчил Юрьев монастырь. Вы знаете, конечно, что этому монастырю, как Успенской лавре в Киеве, как и Успенскому собору в Москве, предоставлено в виде исключения беречь утвердившиеся в них спокон века их древние напевы. Еще 7—8 лет назад я сам слушал и любовался, как уцелел древний новгородский знаменный вариант (очень отличающийся от московско-владимирского) и как энергично его пели Юрьевские монахи. В то посещение неожиданно оказалось, что покойный престарелый настоятель Исаия был земляк моей матери и знал ее еще до замужества в богоспасаемом Кашине Тверском². Старик воспрянул духом при воспоминаниях детства и угостил меня обеднею и вечернею, за которыми его певцы показали все свое искусство — совсем хорошее.

Что же теперь? Умер Исаия, прислали какого-то Владимира (также умершего уже) — совсем чужого монастырю³. Владимир нашел, что следует ввести новое пение, взял отставного певчего из Капеллы (Галкина), разогнал умелых певцов, стоявших за старину, и Юрьевский монастырь огласился сочинениями Бахметева...⁴ Нужно знать, граф, что за публика так называемые «послушники-певцы», чтобы представить себе, какое художество водворено «отставным капелланом», к счастью скоро прогнанным тем же Владимиром. Но прежних певцов уже старательно разогнали по другим монастырям, и нет уже более старинного пения в Юрьеве! Пожалуй, и нет надежды восстановить все то, что передавалось по преданию и на слух. Мне сделалось невыносимо тяжело услышать начало вечерни в исполнении «бритоусами», какими-то полупьяными фигурами в пиджаках. Я ушел из храма, возмущенный до глубины души. Разговорившись с встретившимся старцем, я услышал такие слова: «Теперь у нас забыли свое пение так, что и подобны-то петь перестали, даже и названия-то их забыли; недолго побыл Владимир, да надолго о себе недобрую память оставил».

Истинно пожалеем при таком случае, что ушел из Синода Саблер. Он, узнав об этом, живо сумел бы выправить это дело. Здешний архиерей Гурий⁵, как слышно, не обращает на это вопиющее дело никакого внимания. Богатейший монастырь видимо падает, пустеет людьми и набивается чуть не золоторотцами. Какое уж тут хранение древнепевческого искусства! Мы действительно не храним остатки прошлого по вине нашего вполне невежественного

начальства, равнодушного ко всему кроме своих особ, своих карманов да своих отношений к высшим.

Я попробовал, идя из Юрьева «релью» (то есть лугом) с двумя старушками, полюбопытствовать, знают ли они о перемене напева в Юрьевом монастыре. Меня совершенно удовлетворила горькая жалоба их обеих: «Прежде бывало в Юрьеве-то во как намолимся — на месяц в один день, а теперь туда и ходить перестали. В городе много лучше поют, потому как все трезвые».

Что прибавить к суду этих двух простых душ?

Как город — «Великий» захудал до сущей невозможности. Кругом Деинца вместо рва с водой проточной — сплошная заросшая болотина; у памятника 1000-летия бродят коровы, козы, щиплющие траву всей площади; на Ярославовом дворище и там, где было бурное вече, — жида и жидовки с жиденятами, торгующие невозможной дребеденью и всяким хламом; тут же и «обжорный ряд» для голытьбы. Новгородцы даже не ремонтируют знаменитую свою осиротевшую колокольню у Николы Можайского! Грех им!

У Николая I и Принца Вюртембергского хватило ума в 1830 году выстроить знаменитый Волховский мост хоть сколько-нибудь по рисункам старого, драчливого моста, бывшего еще при суровом Иване IV^м. Теперь, 3 года назад, устроили нечто вроде цепного-висячего, железнодорожного — и нет уже ничего общего, связывавшего прежде Детинец с Ярославовым дворищем! Такая обида!

Тем не менее я хорошо отдохнул здесь от перемены впечатлений столичных на провинциальные и от полного неработанья во все 4 дня. Приобрел я себе и комиссионера по доставке рукописей — по-видимому очень сочувствующего этому делу, в лице здешнего регента архиерейского хора⁷. В прошлом он уже помог мне однажды. Теперь наше знакомство окрепло, и он обещал мне доставку рукописей, даже и обильную. Надо, очень надо мне работать, не теряя времени! Годы мои уходят — могу ослабеть телом и духом — нечего медлить, пока еще есть «дух бодр». А сколько еще надо сделать — Боже мой! Как много работы неоконченной и необходимой!

Графине кланяюсь!

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5068, л. 87—88 об.

1. Феогност (Георгий Иванович Лебедев; 1829—1903) — архиепископ Новгородский и Старорусский (1892—1900), в дальнейшем митрополит Киевский и Галицкий. О проведенной в его бытность в Новгороде реставрации собора Св. Софии существовали разные мнения. Так, епископ (впоследствии митрополит) Арсений (Стадницкий), ставший одним из преемников владыки Феогноста на новгородской кафедре (с 1910), выступил на церковно-археологическом съезде в Новгороде в 1911 с рефератом, направленным против археологов, которые «только губят старину»: «Доказательством этого и является Софийский собор, который за десять лет после капитальной рестав-

рации... претерпел гораздо больше, чем почти за десять веков своего существования» (цит. по: Митрополит Арсений (Стадницкий). Дневник. Т. 1. 1880—1901. М., 2006. С. 39).

2. Исаия (1826/27—1896) — архимандрит Юрьева монастыря.

3. Владимир (?—1905) — архимандрит Юрьева монастыря в 1896—1905.

4. И. Д. Галкин был певчим (партия басов) Придворной капеллы в 1890-х — начале 1900-х годов.

5. Епископ Гурий (Николай Васильевич Охотин; 1828—1912) был епископом Новгородским и Старорусским с 1900 по 1910.

В Дневнике 6 Смоленский подробно описал свои впечатления, в частности от пения в Юрьевом монастыре:

Оказывается теперь, что бывший после Исаии настоятель Владимир (недавно умерший) в короткое время «много напортил», отменяя старые порядки. О знаменном пении, сохраненном в Юрьевом монастыре, как и в Успенском Московском соборе, в силу исключительного «указа» именно для этих двух храмов, ныне нет и помину более. «Забыли даже и как называется-то такое предивное пение», — с горечью сказал мне монах, живущий в Юрьевом уже 37 лет. <...> Изгнание знаменного пения из Юрьева монастыря заставляет меня вдуматься в значение этого явления. В связи с ним вспоминаю крайнее оскудение певцов в числе братии Московского Успенского Собора. Равным образом (правда — только в Петербурге и Москве) подходит к этим двум явлениям замеченное мною стремление старообрядческих и особенно единоверческих певцов вводить в одnogолосное пение гармоническое сопровождение. Последнее часто слышится в заключительных нотах, более же всего в каденциях $2\backslash 1$ или $2/3$ или $1\backslash 7$; в них эти певцы, ничтоже сумняшеся, прямо распевают полные каденции с V ступенью... Почему все это? В частности, не увлекаюсь ли я древним пением, не вникая в такие его подробности, которые, может быть, и в самом деле отжили свое время? А может быть, и гораздо большая часть знаменного пения уже отжила свой век? (л. 39—40).

6. Герцог Александр Фридрих Вюртембергский (1871—1833) с 1800 состоял на русской службе главноуправляющим ведомством путей сообщения; его именем была названа судоходная система, построенная в 1825—1828 для соединения Волги и Северной Двины.

7. Имеется в виду А. М. Покровский, который был также преподавателем местной Духовной семинарии и автором ряда работ по истории и теории церковного пения: «Знаменный роспев (большой). Техническое построение роспева на древнегреческих ладах и разбор мелодических строк (лица и фиты)» (Новгород, 1897); «Семиография. Опыт раз-

вития музыкальных певческих знаков» (Новгород, 1900); «Азбука крюкового пения. Объяснение главнейших начертаний древнего русского безлинейного нотописания» (М., 1901) и проч. Впоследствии Покровский оставил воспоминания о Смоленском (Гуфельки яровчаты, 1910, № 7—8) и опубликовал письмо Смоленского к нему (№ 11).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 27 августа 1905

Вместе с Софией Сергеевной предпринимаем относительно Вас обходное движение с полной надеждою на успех. Только что вернулся с двойных семейных похорон¹. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 205. Телеграмма

1. Судя по переписке Шереметева с Волковой, одними из упомянутых похорон были похороны Натальи Афанасьевны Шереметевой, урожденной Столыпиной (1834—1905), супруги Василия Сергеевича Шереметева; С. Д. Шереметев и Волкова встретились на поминальном обеде. В тот же день умерла также тетка С. Д. Шереметева Александра Ивановна Булыгина (1812—1905). Обе были погребены 25 августа в Новодевичьем монастыре.

Об «обходном движении» см. следующее письмо Шереметева.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 28 августа 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня в ночь я возвратился домой из Новгорода Великого. Перед отъездом отсюда я кратко описал Вам мои впечатления. Сегодня утром я получил Вашу депешу, затем письмо от С. С. Волковой. Собирая подробности Вашей депеши с письмом, спешу благодарить Вас, прося не оставить без окончания Вашей мощной и важной для меня помощи.

Понимаю свои будущие лекции отнюдь не как начало первостепенной для дела важности всего предприятия. Лекции эти, конечно, рисуются мне со многих заманчивых сторон, но они все-таки не могут иметь значения сильного шага вперед. В лекциях будет и profession de foi, будут итоги научных работ моих и других авторов, будут попытки обратить в свою веру кого-либо и найти новых работников, будет общедоступное изложение предмета и его современно-общественного интереса, будут упования и мечтания о будущем зна-

чении нашего искусства как русского, как православного, как средства выражения в самой задушевной и возвышенной деятельности нашего молитвенного чувства. Поэтому мне представляются будущие лекции имеющими значение общеобразовательное, объединяющее, более всего петербургское.

Совсем другое и гораздо большее значение я придал бы тем работам, которые суть итоги моей многолетней чернорабочей разборки в содержании рукописей. Вы знаете, что я их проштудировал несколько тысяч, причем у меня прошли в руках рукописи решительно из всех местностей и почти всех столетий для каждой местности. КATALOGИ этих рукописей мною составлены почти до конца с самою сущою подробностью и тщательностью; масса отдельных заметок, имеющаяся в моих черновиках, обещает пролить, в дополнение к тем каталогам, сущее множество данных для отдельных статей по нашему древнепевческому искусству. Я чувствую себя для этого труда подготовленным давно и основательно; я давно люблю наслаждение регистрировать чуть не каждый день новые открытия и объяснять их достоинства для своего времени и для нашего будущего. Вот работа, которую я непременно хотел бы исполнить, так как, пока жив и здоров — сумею разобраться в сделанном и пополнить сделанное, конечно, лучше другого работника. Не думаю даже, чтобы было надобно печатать эту работу типографически, так как для меня будет вполне одинаково писать оригинал обыкновенными или литографическими чернилами. С последних можно оттиснуть копий 100 за самый небольшой расход, несравненно дешевле типографии, а 100 экземпляров — за глаза нашей науке вперед по крайней мере лет на 50, даже и более. Это издание понадобится только для главнейших библиотек и для специалистов, ибо будет только констатированием существующих произведений, изданием справочно-каталогическим, описательным. Художники-музыканты придут сюда много позже.

Не изволите ли припомнить толстую нотную тетрадь, которую я предъявил в последнем заседании Общества Любителей? Это был тематический каталог *только многоголосных* русских хоровых сочинений, не содержащий однако в себе самого главного рода нашего хорового пения, то есть 4-голосного, обыкновенного. Чтобы представить себе величину последнего, то есть 4-голосного, достаточно сказать, что только одна обедня и всенощная была иллюстрирована нашими предками в количестве более чем 2000 сочинений. А ведь остались еще концерты и «Службы Божии» и другие разные вещи (свадьбы, похороны, молебны, праздники, пост и проч.) на те же 4 голоса! Посудите сами, сколько тут может быть всяких сокровищ!

Затем составлены каталоги одноголосного пения, отдельные для крюкового и для нотного-линейного. Тут уже надо считать дело прямо томами. Мною их уже составлено 9, только для рукописей Московского Синодального училища. Вот эту работу я бы с сущим удовольствием желал бы иметь под подушкою в моем гробу. Начерно $\frac{9}{10}$ этой работы уже сделано мною и отданы ее томы в Синодальное училище. По этой работе теперь черпает полною рукою все надобное о. Василий Михайлович Металлов, а я сам сижу без всего, а все

другие желающие работать и того плачевнее. Вот именно этой работы и следовало бы, по исправлению и дополнении, отлитографировать 100 экземпляров!

Но как приступить к ней, живя в Петербурге и без содействия Константина Петровича? С другой стороны, как забыть о столь недоброжелательном мне человеку, как князь Ширинский-Шихматов, ныне товарищ обер-прокурора? Наконец, как приступить мне к такой работе, когда мой печальный годовой бюджет все еще ограничивается только одной пенсией?

Софья Сергеевна пишет мне, что, за примирением Вашим с Константином Петровичем и за окончанием войны, можно подумать и о возможности что-либо сделать для меня. О, как бы я заработал тогда! Тогда ничего бы не стоили частые поездки в Москву и организация общения всех церковно-певческих музыкантов и археологов обеих столиц! Тогда бы закипела совсем другая жизнь и во 2-м отделе Общества Любителей, ибо, конечно, ничего бы не стоило мне раскатать московских дикарей, вроде Кастальского, Металлова, Чеснокова, то есть таких же, каким был и я до знакомства с Вами. В Москве ведь любят дело и умеют работать, да и есть с чем работать.

Дело по описанию Соловецких рукописей Казанской духовной академии — совершенно отдельное от всего вышеизложенного. Это моя лично давняя, молодая работа, сполна когда-то конченная в экземпляре, разрешенном к печати, а в части снимков с рукописей даже и напечатанная еще 20 лет назад. Мне, как и Казанской духовной академии, крайне хочется докончить эту работу. Мне необходимо пересмотреть ее по рукописям вновь — всю от начала до конца, так как за 20 лет я, конечно, выучился сам многому и стал многоопытнее. Если бы и здесь можно было как-либо подвинуть старца Константина Петровича — сугубо благодарила бы Вас Казань, то есть и Академия, и я. Помнится, я писал Вам, что Академия просит на это издание 2 1/2 тысячи рублей, а в Синоде будто бы сказали «нет денег», да и положили дело в долгий ящик.

Стыдно мне за Св. Синод, за себя же схандрилось ужасно! Вот эта хандра и была причиной моего письма к Вам, моего бегства на Иматру и в Новгород. Обидно мне показалось, что уж именно К.П. должен был бы понимать и помнить мой труд, следовательно и поддержать его, особенно же при ходатайстве Казанской академии. В конце же получилась такая-то нелепость, вроде предполагавшейся профессуры... Невольно дрогнешь душевно и с огорчением усумнишься в себе.

В вопросе о том, как может отозваться на мне окончание войны, я совсем как бы утратил надежду на возможность моей реабилитации вниманием свыше. Впрочем, может быть, повернется и ко мне лицом там кто-либо по Вашему слову? Софья Сергеевна пишет неясно.

Сейчас получил от Вас разрешение Министерства народного просвещения насчет чтения лекций. Слава Богу — дело доброе. Благодарю Вас за это известие — все же ближе к делу. Графине мой поклон.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 1 сентября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Вернувшись в деревню с похорон двух дорогих мне родственниц-стариц, потеря которых для меня незаменима, — нашел письмо Ваше. Из него я вижу о благом желании Вашем не обходить Победоносцева. По опыту знаю, что если к нему обратиться как к источнику «ожидаемого добра», то благоприятные результаты скажутся скоро. Ввиду же нового моего с ним сближения готов взять на себя подготовку почвы, и притом не только по отношению к Победоносцеву, но и по отношению к Ширинскому, как путем его друга Роговича, так и личным объяснением моим с Ширинским¹.

Не унывайте, дорогой Степан Васильевич: ведь мир заключен, и теперь разговор другой по вопросам нас интересующим. Теперь руки развязаны и действовать возможно. Вот и говорю я Вам не тем языком, каким говорил прежде, когда силою обстоятельств советовал Вам выжидание.

Сына Дмитрия еще не видел, но слышал, что он успел посетить старообрядческие скиты, где встреча была необыкновенная. Этим, вероятно, он Вам обязан. Теперь просижу здесь, но через месяц дня на два придется съездить в Петербург.

Относительно Победоносцева начну дело тотчас же письменно, чтобы не терять времени. Будьте здоровы и благополучны.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 206

1. Речь снова идет о государевом «особом поручении» Смоленскому описания певческих рукописей, поскольку обстоятельства изменились: закончилась русско-японская война, Шереметев «помирился» с Победоносцевым, и у Победоносцева появился новый заместитель — Ширинский-Шихматов. А. П. Рогович, в описываемый момент ярославский губернатор, стал в дальнейшем товарищем обер-прокурора (при обер-прокуратуре Ширинском-Шихматове и далее, 1906—1912).

О новой мотивации «особого поручения» см. также в письме Волковой к Шереметеву от 3 сентября 1905 (в Приложении к разделу).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, [2 сентября 1905]

Дорогой Степан Васильевич, К. П. [Победоносцеву] пишу и Роговичу также, прилагаю при сем копию¹. В конце сентября надеюсь дня на два приехать в Петербург.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 207. На открытке с русским портретом XVIII века

1. К открытке приложена копия письма Шереметева к А. П. Роговичу от 2 сентября 1905 (л. 208):

Многоуважаемый Алексей Петрович.

Тяжело мне братья за перо и писать Вам после всех событий нами пережитых! Конечно, могло бы быть еще хуже, если б не был заключен мир, и с таким миром приходится мириться, помня екатерининские слова, что «худой мир лучше доброй ссоры». Что касается до надежд и ожиданий по поводу Государственной Думы, то я их не «разделяю», ибо верю только в то, что создается инициативой сверху, а не снизу, и в последнем вижу опасность для будущего.

Теперь позвольте к Вам обратиться с маленькой просьбой. Ведь Вы в близких отношениях с князем Ширинским, теперешним Товарищем Обер-Прокурора, а я его почти не знаю. Знаю только, что он очень не сочувствует Смоленскому, которого я лично считаю человеком выдающимся по своей специальности и по знанию в области древнего церковного пения. В настоящее время при Императорском Обществе Любителей Древней Письменности возникает отдел церковного пения, и Смоленский будет читать зимою в нем курсы древнего пения. Казалось бы, добытые им знания дают право надеяться на возможность поручения ему со стороны Ведомства П[равославного] И[споведания] описывать церковно-певческие рукописи, принадлежащие Ведомству, и тем получить материальную поддержку, в которой он, несмотря на пенсию, весьма нуждается.

Только в России не умеют дорожить такими людьми, не умеют поддерживать их и вызывать к той деятельности, которая хотя и специальна, но служит к созиданию, а не разрушению. Церковно-певческое искусство древних времен России достойно возрождения и, подобно древнерусскому искусству иконописному, значительно могло бы способствовать к развитию того направления общегосударственного, по которому бы в «новизнах» царствования и в грядущем неизменно и последовательно нам бы «старина» наша звучала и слышалась!

Когда буду в Петербурге, постараюсь по возможности и от себя замолвить слово.

Смоленский — Шереметеву

[Петербург], 5 сентября 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Отвечаю Вам, волнуемый чувством глубокой признательности и твердою верою в то, что на этот раз, по Вашему слову за меня, настанет моя пора в спокойном и свободном труде. Радуюсь тому, что опять будут у меня под руками знакомые рукописи и вновь заработаю я над дорогим мне делом.

Вы знаете хорошо, что, по юной поре моей науки, по всему ряду моих бывших работ, я считаю себя только чернорабочим в своей области, только поднимающим новь, только готовящим ниву для других. Поле мое оказалось так обширно для сил одного человека, что нет возможности приняться за разработку, — приходится лишь успеть вершить давно начатое. Эта масса вынуждает меня выбирать в своем труде то, что в данное время соответствует либо состоянию здоровья, либо состоянию духа, либо материалам и пособиям, имеющимся под руками, и проч. С этой стороны я назвал свой труд свободным.

С другой стороны, меня интересует внутренний склад древнепевческого искусства, и мне приходится вникать в некоторые его тайны. Вы знаете, что я уже давно догадался о планах русских музыкально-певческих форм; не далее этого года Бог благословил меня догадаться о нашем контрапункте еще в половине XVI века¹. Эта область разысканий требует прежде всего душевного покоя и уравновешенности. Этот труд не может быть иным, как спокойным, радостным в своих удачах. Эта часть моей работы не меряется числом написанных страниц, но глубиною и чреватостью хотя бы немногих новых мыслей. Для таких работ — без покоя душевного нет хода и дороги уму.

С душевным трепетом буду ждать известия о том, как откликнутся столь надобные для моего дела лица, что они ответят Вам и рассеются ли их предубеждения после Ваших писем. Боже мой! сколько надо у нас усилий только для того, чтобы можно было работать, даже и в деле им же нужном!

Но в час добрый! Охотно забуду всякие бывшие огорчения и примусь за работу, если сладится все в таком благоприятном случае с Вашею помощью. Вновь воспряну духом, увидя знакомые переплеты и продуманные рукописные страницы старого письма. В час добрый, дай Господи! С какою радостью бываю я тогда и в Москве, и в Казани.

Лекции пишутся мною. О хорах болгар, греков, сербов, старообрядцев и беспоповцев переговоры уже идут².

6-го буду мысленно на Вашем Михайловском празднике. Прошу всем передать мой поклон и привет, начиная с доброй графини. Вам — глубокое спасибо. Сердечно был рад, что все удалось в Черемшане.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

1. Об изысканиях Смоленского в области древнерусского певческого многоголосия см. в переписке с Волковой.

2. Речь идет об иллюстрировании лекций Смоленского исполнением церковных песнопений разных стилей.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 7 сентября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Софья Сергеевна действует вовсю. Мне кажется, что она права, когда говорит, что нам следует действовать в интересах дела и Ваших личных от О. Л. Д. П. Мне все кажется, что Вы недостаточно пользуетесь положением Вашим как председателя одного из отделов Общества. Всякое ходатайство, исходящее от Общества, состоящего под особым покровительством Императора, будет действительнее отдельных ходатайств личных, и эту точку отправления следует себе усвоить. 25-тилетняя давность Общества дает ему авторитет, и ходатайство к кому бы то ни было от имени его — будет самое действительное. Имейте в виду, что новый заведующий Архивом Министерства Двора человек мне близко известный (К. Я. Грот¹), он будет нашим союзником по вопросу о рукописях Министерства Двора.

Итак, не будем унывать, не будем разбрасываться. Не мешало бы нам привлечь к этому делу и Грота и о. Металлова. В единении сила!

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 209

1. Грот Константин Яковлевич (1853—1934) — филолог, специалист по славянским древностям, публицист. По указанию Шереметева Смоленский встретился с Гротом и нашел в возглавляемом им архиве массу интересных певческих дел, преимущественно по XVIII веку (см. также в переписке с Волковой).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 10 сентября 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за все — с каждым днем начинает подниматься дух мой. Вы правы, что Софья Сергеевна угадала верную дорогу о закреп-

лении всего дела через Общество Любителей. Признаться, даже удивляюсь, как самому мне не приходила в голову такая простая мысль.

Вчера по получении Вашего письма я решил не откладывать знакомства с К. Я. Гротом. Сегодня я с ним виделся и условился. Мы говорили более получаса и уговорились, что ко вторнику у него будет выяснено, что именно может найтись в Архиве годного к эксплуатации для Общества, то есть какие есть рукописи и какие имеются дела по части церковно-певческой. Грот в Архиве совсем новый человек и потому еще не знает толком о том, что у него находится.

В Вашем последнем письме есть указание мне, что я недостаточно широко пользуюсь своим положением во 2-м Отделе. Я нарочно прочитал после того Устав Общества и, признаться, ничего там не нашел, кроме возможности (по § 33) иметь помощника. Думаю однако, что сама жизнь и потребности Отдела, равно как и Ваше руководство, укажут подробности пользования правилами Устава.

Под впечатлениями писем от Вас и Софьи Сергеевны, под радостными упованиями на будущее начинаю я восстанавливаться духом и крепнуть здоровьем. Не имею еще времени писать сегодня, так как пора спешить на вокзал с этим письмом.

Во вторник, после нового свидания с Гротом, я сообщу Вам обо всем у него оказавшемся.

Графине кланяюсь.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5069, л. 12—12 об.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 12 сентября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

На днях о. Металлов прислал мне целый ряд своих произведений и исследований. Для меня это отрадный признак, и мы его выберем в члены-корреспонденты Общества Письменности, как равно и Грота, с которым сближение Ваше также чрезвычайно отрадн¹. Бог милостив, свинья не съест то дорогое дело, ради которого стоит потрудиться.

У нас погода прекрасная. До свиданья.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 210

1. Оба указанных лица были выбраны в члены-корреспонденты ОЛДП.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 13 сентября 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Возвратясь от К. Я. Грота, из Общего Архива Министерства Императорского Двора, пишу Вам под свежими впечатлениями. Собственно певческих рукописей в Архиве — очень мало. Много их прислано сюда было зачем-то в 1903 году, но это мои «хорошие знакомые» еще по Троицкой башне в Москве. Если описать их (так как многие не лишены интереса) — понадобится работы не более двух-трех месяцев. Во всяком случае это собрание в сравнении, например, с Синодальным училищем в Москве совершенно ничтожно и по качеству, и по количеству.

Но что меня безусловно поразило и восхитило — это «дела», относящиеся к церковно-певческому делу, к камер-певчим, к Придворной капелле и к музыке вообще. Сегодня я просмотрел несколько томов описей этих дел на несколько букв и подивился обширности этого совершенно непечатого поля, совершенно неизвестного и, сколько думаю, должно быть очень интересного. До чего велик архив, можно судить по тому, что номер тома описи дел, то есть на букву П (Певческая капелла), есть 1463. До чего слаба у нас разработка материалов по церковно-певческому искусству, даже о самой, так сказать, эффективной его стороне, видно из того, что и мне, работавшему более других, приходится лишь сознаться в полном незнании даже того, что такие материалы существуют! Ну, как не соблазниться, чтобы поработать над ними! Недолго думая я уже подал Гроту докладную записку о допущении меня к занятиям. Интерес — прямо захватывающий! Хоть бы переписать все то, что есть и откуда можно черпать прямо на страницы истории!

Грот произвел на меня впечатление совершенно такое же, как и когда-то граф Салиас¹ в Москве, то есть занимающего архи- и архиспокойнейшее место, на котором он вволю может работать над интересующим его славянством, ничего общего с архивом не имеющим. Совсем то же, что Барсуковы, Гильтебрандт и т. п. Но Общий Архив — поразителен по богатству и порядку, оставляющих далеко за собою, например, Троицкую башню, даже и более крупные архивы. Служащие в архиве, конечно, носят тот отпечаток, который указан и званием «старых архивных крыс», и знаменитыми пушкинскими «архивными юношами». Такой покой на лицах можно найти еще разве в монастырях и в женских богадельнях.

Работаю я в эти дни лучше, чем было до Новгорода. Выжидаю конца сезона сходов, которыми теперь обуреваемы все высшие учебные заведения, в том числе и Университет, где мне также предстоят лекции. В переписке «Музикии» уже близится конец, ибо из 180 листов я сию уже в конце 160-х. Эта работа оказалась неожиданно более трудною, чем думалось.

Графине мой поклон.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Распечатал письмо, чтобы приписать известие из вечерних газет, что К. П. Победоносцев уезжает за границу для поправления здоровья...

А. Н. Нарышкина возвращается в Петербург из Парижа 16 сентября и через несколько дней снова отправляется в Челябинск на передаточный пункт возвращающихся раненых.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5069, л. 21—22

1. Салиас де Турнемир Евгений Андреевич, граф (1840—1908) — писатель, публицист, в данный период директор московского отделения Архива Министерства императорского двора.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 15 сентября 1905

Благодарю за письмо. Не сравнивайте Грота с Салиасом, человека делового и пожилого с ничтожеством. Гроту я не успел объяснить, в чем дело, и не хочу этого делать письменно. Его назначение в Архив М[инистерства] Д[вора] — желанное, и он вовсе человек не равнодушный, думающий о своих удобствах. Не увлекайтесь в новую сторону, хоть понимаю, как интересны открытия. Отец Металлов прислал мне свои труды.

Скоро ли переедет в Петербург С. С. Волкова?

Известию об отъезде Победоносцева за границу не верю!

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 211. На открытке с видом Кусково

1. Действительно, К. П. Победоносцев не уезжал в это время из России, хотя уже ходили слухи о его отставке.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 16 сентября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Писал уже Вам, кажется, что выбираем Грота и Металлова в члены-корреспонденты Общества Письменности. Писал Победоносцеву прежде всего,

чтобы узнать, верен ли слух об его отъезде. Во всяком случае, когда буду в Петербурге, выдвину известный Вам, касающийся Вас вопрос. А каково Вильгельм наградил Витте!¹

«Бдите» и «смотрите в корень», по совету известного мудреца².

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 212

1. С. Ю. Витте после подписания в США Портсмутского мира с Японией (на относительно благоприятных для России условиях) получил приглашение по дороге в Россию посетить германского императора. После собеседований на разные темы европейской политики император прислал Витте свой портрет с надписью и цепь ордена Красного Орла, которая обычно давалась только царствующим особам и членам царствующих домов. Одновременно в России Витте был возведен в графское достоинство. Как ясно из последней фразы письма, данный факт вызвал у Шереметева подозрение в патриотизме Витте.

2. «Известный мудрец» — Козьма Прутков.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 18 сентября 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я отнюдь не сравнивал К. Я. Грота с графом Салиасом как людей и работников (ибо то — люди несоизмеримые), а сравнивал лишь синекурный покой их должностей — вполне близкий и, пожалуй, завидный. Салиаса я даже и не видал ни разу.

Пишу Вам рано утром, после бывшего с вечера свидания один на один с А. Н. Нарышкиной. Она вернулась 16-го и пробудет здесь недели две, думая затем опять уехать в Челябинск. В Париже она виделась несколько раз с Витте, виделась уже и здесь, а новопожалованная графиня Матильда ушла от А. Н. перед моим приходом всего за несколько минут¹. Было много разговоров всякого рода о психологии толпы и о перемене настроений общественного мнения, равно и о бурных проявлениях чувств, которые пришлось испытать и пережить Сергею Юльевичу в Америке и Европе, торгуясь в то же время с японцами и переживая величайшие волнения и давления. Мысли А. Н. разбираются в сутолоке этих волнений и особенно давлений отовсюду (паче же из Петербурга) со своеобразной логикой, по-видимому не лишенной доли воздействий со стороны *Père du Lac*²; но подробности отношений разных сторон и демонстративной разности прелиминарных и глас-

ных почестей, от верхов и от толпы, показались мне высокоинтересными и очень многозначительными.

Как ни несомненны каузальные и эволюционные законы движений толпы, все же приходится задуматься о резкой разногласии отношений к ним в Берлине и Петербурге со стороны высших сфер. Как ни непреложно указание «ни даже волос не упадет с головы без воли Божией», как ни безгранична (по указанию А. Н.) религиозность Витте, — все же до последней минуты его приближения к границе России обращение с ним свыше будто бы было грубо и досадительно до последней степени. В последнем будто бы участвовало настойчивое желание продолжать войну и потому приказания предъявлять требования мира, лишь затруднявшие возможность миссии Витте. Ревнивое чувство к последнему, прикрытое теперь милостями, будто бы проникает теперь всюду для помехи дальнейшей деятельности Витте, кандидатура которого в премьер-министры представляется всем неизбежно и досадною, даже будто бы и опасною. Экая сумятица!

В ответ на Ваши слова, чтобы я не увлекался архивными поисками у Грота, могу сказать так в ответ: если обстоятельства повернутся в сторону этой работы (хотя бы например столь надобный очерк истории камер-певчих и Придворной Капеллы, деятельности итальянцев и *особенно* обзора художественного творческого порыва русских в церковном пении от времени Екатерины I и Анны Иоанновны вплоть до протеста Синода своими изданиями 1772 года) — то все же мне придется на $\frac{3}{4}$ сидеть не над «делами», а над нотными рукописями, прочитывая в последних претворения предписаний и воздействий свыше в то искусство, которое не могло и быть в русских умах чисто чужеземным, а перерождалось в обычно слышимое нами в церквях до настоящего времени. Вышеуказанные издания Синода, поразительные по своей ошибочности, неточности и, более того, по нелепости выбора любимых тогда напевов, так и просятся на сравнение их именно с теми песнопениями, которыми наши певцы XVIII века протестовали против польской школы сначала, затем и против итальянской. Как трудно читать в сердцах, так трудно и угадывать в нотных строках господство или подчеркивание авторами их тенденций. Иное дело при чтении каких-либо официальных сношений или каких-либо деловых актов, к которым прямо отнесены и поименно толкуются те нотные строки. В этих случаях «оставление без уважения» какой-либо просьбы, награда за поднесение композиции, поручение сочинить что-либо или указание «6 января 1721 года по сим нотам изволил петь Император Петр I», — прямо одухотворяют *известные уже мне* рукописные материалы. Сколько могу судить из краткости старых бумаг, их категоричности, — думаю, что увлечься придется немногими делами, а осветить удастся многое, притом же и вполне до сих пор темное. Чего например стоят, кроме Общего Архива Двора, бесценные документы Архива Св. Синода! Комбинация документов обоих этих хранилищ может дать множество света. Изошренный прогресс и родное невежество!

Но я прежде всего певчий, потом же архивокопатель, даже и новичок в последнем занятии. Если и увлекусь архивною стороною, то не по лично-му, не по своеручному копанию в делах, а с помощью такого страстного мастера, каков А. В. Преображенский, обещавший быть моею правою рукою. Сила архивного дела не в обнаружении его документов, а, так сказать, в уловении главных нитей, которыми сшивалось все дело пения в XVIII веке. Считаю этот век еще более драматичным, чем пору Иосифа, Никона и Мезенца в их борьбе с польским художеством. Как там, так и при Сартри с русскими отщепенцами главное — партитуры, «дела» же — так сказать, фонари по дороге.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5069, л. 47—48 об.

1. Имеется в виду супруга С. Ю. Витте — Матильда Ивановна (в первом браке Лисаневич, урожденная Нурок). Следует иметь в виду, что приемная дочь Витте (дочь его первой жены) Вера Сергеевна была замужем за родственником Александры Николаевны — дипломатом Кириллом Васильевичем Нарышкиным. Сам С. Ю. Витте был частым посетителем дома А. Н. Нарышкиной.

2. Станислас Дю Лак (1835—1909) был весьма влиятельным педагогом и проповедником, в 1900-е годы жил в Париже и с большим публичным успехом проповедовал в крупнейших храмах французской столицы; у него есть и печатные труды.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 20 сентября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

По сведениям, лично полученным от К. П. Победоносцева, ему и в голову не входило уезжать за границу, и пущенный слух один из тех, которые пускаются умышленно и верить которым не следует!

А между тем С. С. Волкова на этом мнимом отъезде строит здание предположений, которые я спешу разрешить в смысле успокоительном.

Ох уж эти слухи!

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 213

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 22 сентября 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Пишу Вам, только что поставив последнюю точку в переписанной мною рукописи «Мусикия» дьякона И. Коренева, в которой вся вторая часть — «Грамматика мусикийского пения» Дилецкого. Скучновато было местами переписывать длинные и нескладные периоды на старорусском языке, но вместе с тем эта же работа оживлялась проникновением моим в междустрочие трактата. Что за жизнь, что за энергия, что за теплая вера в прогресс и в силу знания! Ярая борьба двух сильных умов, каковы Александр Мезенец — консерватор и кряколюбец и Коренев с Дилецким — прогрессисты и космополиты, полна ловкости, задора, крепкого стояния за свое и полного внимания к маневрам противника. Это уже совсем не та полемика, как московских и южнорусских богословов с польскими и униатскими. Здесь и следа нет того «неистового брехания», которым язвили друг друга фанатики. Нет, здесь спорят два разномыслящих художника, чутко понимающих хорошие стороны друг у друга и пылко стоящих за свои доказательства одного и того же хорошего и возвышенного.

Сердечно радуюсь, что через мои руки будет печататься «Мусикия» Коренева — так же, как когда-то я напечатал А. Мезенца. Этот художественный диспут нисколько не уступает бывшему междуусобию между иосифлянами и Белозерскими старцами. Как ни люблю я до сих пор умного патриота Мезенца, — хватит у меня уважения и беспристрастия, чтобы отдать должное и горячим новаторам-художникам XVII века. Посему и предвижу, что «Мусикиею» впишется хорошая новая страница.

Был я вчера у А. Н. Нарышкиной, которую едва-едва убедил приостановиться в желании ее переговорить с Государем обо мне, впредь до Вашего о том указания. У меня просто волосы встали дыбом, когда я вспомнил о ее услуге 12 августа 1903 года, после которой последовало мое крушение. Не сказав А. Н. ни полслова о происходящем теперь и ненадобном для нее в этом участии без Вашего ведома, я поставил ей вопрос ребром так: «глубоко тронут, совершенно благодарю, но судьба моя теперь связана с занятиями в Обществе любителей древней письменности, и потому я *прямо прошу Вас не создавать неожиданностей для моего труда, стоящего теперь на прямой и ясной дороге*. Вы, переговорив с Государем, уедете в Челябинск, и потому эксплуатация такого случая только и может кончиться фактом бывшей случайной беседы, может быть даже и такой, последствия которой окажутся лишь вредными. Поэтому указания графа С. Д. Шереметева безусловно необходимы и обязательны к исполнению; я же решительно противлюсь какому-либо начинанию без него. Разговор начался случайно, повернулся же в эту сторону еще неожиданнее; меж-

ду тем основания моей к Вам просьбы пока отложить это дело — вполне серьезные, да к тому же и дело неспешное — терпелось до сих пор, потерплю и еще».

А. Н. обещала мне то, и я, признаться, вздохнул посвободнее, а то — совсем дух захватило. Зная ее горячность и резкость, равно и неосторожность, я почувствовал, что гора с плеч свалилась.

Много А.Н. рассказывала и о том сумбуре, который идет сейчас наверху, но я не умею разобраться в противоречиях, равно и в оценке значения сил, ведущих наверху ярую борьбу. Несомненно, Редигер уходит, и на его место — Палицын, о котором говорят очень дурно вообще, а жалея Редигера — особенно, прямо браня и понося Палицына¹. Очень также раздражены все против Витте, ревнуя его популярности и особенно почестям от Вильгельма. Не менее волнуются и из-за университетов, где молодежь действительно безумствует и не знает удержу в своей нетерпимой и бестактной резкости. Даже и умеренная, очень притом многочисленная партия «академистов» не знает, что бы предпринять для укрощения открыто бунтующих товарищей, губящих и себя и университеты. Одним словом, куда ни повернись — всюду плохо, даже и опасно, даже отчасти и безнадежно. О последнем мне вчера рассказывал армянский священник, только что приехавший с юга (Симферополь), но близко, по-видимому, знающий вспышку Кавказского пан-исламизма, в огне которого одинаково горят и русские, и армяне. Я отбрасываю долю необходимого преувеличения со стороны такого свидетеля, но не могу не поделиться с Вами тем, что известия из *Киргизской степи*, становящейся средостением между Россией (от Гурьева городка на Урал и до Томска) и *волнующимся уже Туркестаном*, — очень тревожны. Конечно, тут и не без англо-японского последнего соглашения. Наши правители в тех местах, по обыкновению, пишут только бумажки с успокоениями, не видя под носом начинающегося грозного пожара. Пожар этот — страшнее японцев.

Вообще — живетса небывало тревожно и беспросветно! Да и трудно тушить огромный пожар, не имея хорошей команды, частью не стараясь о тушении, частью пуская огонь по ветру. Что будет далее — один Господь знает. Заваривается смута очень сложная и очень большая; наследия войны еще впереди, как и последствия голода, болезней от него и неурядиц от всего и во всем. Одно горе!

От Софьи Сергеевны Волковой не имею писем уже давно, хотя знаю, что она писала недавно к Вл.Вл. Майкову. Все эти дни и я никому не писал, доканчивая «Мусикию» и продолжая составление лекций. Навестил я только болящего Гильтебрандта, чтобы сколько-нибудь утешить его в скорби. Начинает он слабеть духом, телом же давно и безнадежно ослаб. Не работник он более; лишь только и осталась в нем еще ясная мысль и скорбь о недоделанных работах.

Графине кланяюсь. Вас благодарю сердечно за краткие Ваши, но бодрящие письма. Как ни тяжело вокруг, все еще имею я силы забыться в кабине-

те и работать вне суеты мирской и треволений моря всероссийского. В писании своем о далеком прошлом есть своего рода идиллический покой и бесстрастное созерцание красоты русской. Это врачует меня, и я чувствую себя лучше, чем недавно в августе.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5069, л. 74—75 об.

1. Речь идет о возможной отставке новоназначенного военного министра Александра Федоровича Редигера (1853—1920), который после русско-японской войны пытался проводить в армии серьезные экономические реформы; он оставался на своем посту вплоть до 1909. Федор Федорович Палицын (1851—1923) был в 1905—1908 начальником Генштаба.

Шереметев — Смоленскому

Введенское, 25 сентября 1905

Бог даровал внучку Марию Гудович¹. За письмо благодарю, писать теперь не могу. Прекрасно съездили в Н[ижний] Н[овгород].

РНБ, ф. 855, № 30, л. 214. На открытке с видом Таврического дворца

1. Мария Александровна Гудович (1905—1940) была впоследствии замужем за П. С. Истоминым, сосланным на Соловки, потом за князем С. С. Львовым, расстрелянным в 1937; она сама также подверглась репрессиям.

Шереметев — Смоленскому

Введенское, 28 сентября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Получил хорошее письмо Ваше с известиями о П. А. Гильтебрандте и поспешил ему написать, хотя, судя по словам Вашим, не предвидится с ним ничего доброго. Труженик был перворазрядный. Жена моя с ним работала и посылала карточки для словаря поэзии князя П. А. Вяземского¹, и теперь у него в руках множество ее карточек, которые, признаться, хотелось бы у него выручить, потому что труд такой уже ему не по силам, а труд жены может пропасть даром. Если найдете возможным об этом поговорить с его женою, то весьма обяжете (только с должною осторожностью).

Ваше письмо, как всегда, полно разнообразнейшего интереса. Особенно радуюсь, что Вы не поддались добрым порывам А.Н. [Нарышкиной], — но когда она вернется, то *совокупно* до чего-нибудь и дойдем хорошего. Только не унывайте!

Хотя я приезжаю всего на две ночи, но просил Майкова собрать нас в Комитет Древней Письменности для *начала*². Всегда есть о чем поговорить, да и план действий для будущего необходимо наметить. С. С. Волкова очень озабочена тяжкою болезнью матери и потому, вероятно, стала молчаливее.

Ваши труды и Ваши открытия обещают много высоких наслаждений — какое счастье уметь уходить в миры иные от презренной современности, от пошлости, цинизма и разврата переживаемых дней. *Dies irae!* уж подлинно во многом заслуженные.

У меня здесь родилась внучка Мария Гудович, № 15. Все слава Богу. Слышен благовест Саввино-Сторожевского монастыря, воздух прозрачный — и солнце днем, и по ночам полная луна — и вдали огоньки Звенигорода — и кругом ели и сосны и торжественный покой природы, нашей родной и верной, которую не променяю ни на какие красоты Юга!

А в Москве мятежи, позор и горе. «О стонати Русской земли!»

Вы поймете, почему я приезжаю всего на два дня и тороплюсь в деревню, чтобы остаться там до снега, до метели, — и о Питере думаю только по необходимости. Одна светлая точка — это уютный уголок под сводами Древней Письменности, где еще живешь Русью.

Что посеяли сами, то и пожали; вот почему не могу унывать. В нас — горе, в нас же, если захотим, и возрождение!

Помните у Пушкина:

Порой опять гармонией упьюсь.
Над вымыслом слезами обольюсь!
И может быть на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

А Вы живете в гармонии миров, как те, кто

Имеют песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный³.

На днях 1 октября, и услышим тропарь «Днесь благовернии людие светло празднуем». И Вам от души желаю того же.

Сердечно Вам преданный С. Шереметев.
Супруге Вашей мое почтение. Жена тоже кланяется.

1. Такой словарь не был издан.
2. Комитет ОЛДП собирался в Петербурге под председательством Шереметева 5 октября.
3. Из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 30 сентября [1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Радуюсь Вашей дедовской радости и приветствую Вас, как и добрую бабушку, с внучкой Марией. Приветствую и молодую счастливую мать. Скажу откровенно — если внучка будет походить на свою маму — лучше желать нечего, отличная выйдет внучка Мария.

Радуюсь я и тому, что Вы одобрили мой ответ Александре Николаевне Н[арышкиной]. Но ей, сколько могу судить, не понравился мой ответ, и я чуть ли не нахожусь во временной опале. По крайней мере телефон, обычно извлекающий меня из дому на Набережную у Мошкова переулка, молчит, несмотря на угovor повидаться. Может быть и ошибаюсь я, впрочем подожду еще немного.

Работаю дома я много, но без особого движения вперед. Работа не спорится за моим утомлением и подавленностью духа под впечатлениями переживаемой неурядицы. Вот и сегодня поплакал с утра, помянув новопреставленного князя Сергея Николаевича Трубецкого, одного из честнейших людей, умных патриотов¹. Не выдержало его любящее сердце переживаемых волнений и омывается уже слезами друзей его чистая душа, ныне успокоившаяся! Какой хороший был человек и сколько надежд возложилось на него ради успокоения припадка, обуявшего нашу молодежь! И вдруг — нет его, столь добного!

Пишу последние слова, потому что три дня назад, условливаясь в Университете о дне моей вступительной лекции, неожиданно попал на студенческую сходку и сам своими глазами и ушами ощутил меру именно припадка, в котором беснуется наша молодежь. Вечером в тот же день я имел горячую двухчасовую беседу с одною студенткою-медичкою. Общее впечатление мое — глубокая жалость и скорбь о растрате таких сил не на пользу общую, не на благо людей, не для света науки, а ради чего-то мною совершенно неслостигаемого, но очевидно очень недоброго, сулящего много горя впереди. На сходке творилось нечто ни с чем не сообразное.

Прочитайте фельетон Смирновой в «Новом времени» от 29 сентября (№ 10624)², и Вы почувствуете меру того безумия, куда зарвалась наша молодежь.

От Софьи Сергеевны имею известия о болезни ее матери, да ряд ее недоумений, которые вчера разъяснил ей.

Будьте здоровы. Мой поклон всем, всем.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 52

1. Трубецкой Сергей Николаевич, князь (1862—1905) — крупный общественный деятель, профессор философии и первый выборный ректор Московского университета, редактор журнала «Вопросы философии и психологии». Судя по Мемуарам Шереметева, граф считал Трубецкого человеком благонамеренным, но наивным (той же точки зрения придерживался С. Ю. Витте); наоборот, Смоленский возлагал на Трубецкого много надежд (см. в письмах к Волковой).

2. В этом фельетоне, опубликованном в газете «Новое время» 29 сентября под названием «В защиту свободы», С. И. Смирнова выступает против методов так называемого «революционного студенчества»:

У нас хотят создать полицейское государство на демократической подкладке, в котором верховными судьями и полицейскими будут наши монтеры [революционеры]. <...> И это поборники свободы? Эти господа, стаскивающие с трибуны ораторов, заглушающие свистом и ревом тех, кто не разделяет их взглядов? Они разделяют Россию, как при Грозном, на земщину и опричнину. Голос земщины заглушен. Мы слышим только повелительные крики опричнины.

Смирнова (в замужестве Сазонова) Софья Ивановна (1852—1921) — писательница, публицистка, постоянная сотрудница «Нового времени».

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 17 октября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Вот видите, как я был прав, когда говорил Вам о сомнительной возможности чтения лекций в переживаемое время. Ну, возможно ли теперь рассчитывать на трезвых слушателей, да еще созываемых в такой дом, как № 34 на Фонтанке!¹ Но это не значит, что дело проиграно. Далеко нет, как с частной точки зрения, так и с общегосударственной. А потому, прежде всего, не будем волноваться, ибо в волнении несть спасения! Да и самое дело всего менее можно бросать теперь. Я предпочитаю самую бурю подготовке к буре. Теперь Вы знаете, какова она и с чем надо бороться. Но ведь еще и Златоуст

сказал: каковы бы ни были сильные бури — они не потопят корабля Иисусова! А наша Русь все еще «православная»; вот когда она перестанет ею быть — туда и дорога!..

А я написал Шихмату Ширинскому по делу Вашему². Когда-то зная князей Ширинских развевалось с наступающим на Русь исламом; теперь он один из «стражей Израилевых»! Sed alia tempora [Времена переменялись].

Будьте здоровы и благополучны, а главное, берегите себя и простите — не метайте бисера перед свиньями.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 219

1. 17 октября 1905 был издан императорский указ «Об усовершенствовании государственного порядка...», что однако вовсе не привело к общественному умиротворению; в Петербурге проходили многочисленные манифестации, продолжалась забастовка железнодорожников.

2. См. следующее письмо.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 18 октября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Надеюсь, что Вы получили мое последнее письмо, так как пути частично открылись.

Князю Ширинскому послано мною обстоятельное письмо¹. В конце его говорится о выходе Вашем из Капеллы, и я по поводу этого пишу ему следующее:

«В Придворной Капелле поступили с Смоленским несправедливо, и мой долг как лица, его рекомендовавшего Государю, был поддержать его чем могу, вполне сознавая, что он был жертвою интриги и невежества».

Меня очень беспокоит Софья Сергеевна, ввиду болезни ее матери и задержки в ее возвращении в Петербург. А что кавалерственная Александра Николаевна, остается ли в Петербурге или едет к Востоку, все «к Востоку» (хотя сердце ее на Западе)?²

«Музикию» будем печатать, конечно, и я прошу только прислать мне предварительную смету.

Шихматову писал определенно о желательности определенного же поручения Вам работы по Вашей специальности (церковно-певческие рукописи), с определенным вознаграждением, дабы Вам с спокойным духом продолжать то истинно Русское дело, упускать которое при Ваших дарованиях и Вашей

подготовке было бы более чем обидно! Как Вам известно, почва подготовлена должна быть другом Ширинского — Роговичем, а если последует и дальнейшее колебание, то поведем атаку на самую цитадель — сиречь «село крови на Литейной»³.

Крепко жму Вашу руку.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 220

1. Письмо Шереметева к Ширинскому-Шихматову неизвестно; очевидно, там говорилось примерно то же, что в приведенном выше письме к Роговичу.

2. Ирония по адресу А. Н. Нарышкиной, которая принимала участие в делах инородцев и заботилась о своем челябинском имении («Восток»), но проводила немало времени на западных курортах и находилась под влиянием упомянутого выше французского священника-иезуита, который в письмах именуется «Père Du Lac».

3. «Село крови на Литейной» — дом синодального ведомства на Литейном проспекте, где жил К. П. Победоносцев (можно обратить внимание и на ироническое употребление выражения из Евангелия).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 27 октября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Представьте себе, что я получил письмо от князя Ширинского-Шихматова, который сообщает, что мое к нему письмо прибыло, когда он уже не был Товарищем Обер-Прокурора и потому сделать ничего не мог. Удивительное сочетание. Теперь новый Обер-Прокурор свежий, но писать ему для меня совершенно невозможно, тут всего лучше может помочь А. Н. Нарышкина или кто-либо из друзей княгини Долли, мамы легковесного Алешеньки, и я советую об этом поговорить с Нарышкиной и просить ее прямого содействия¹.

Очень Вам благодарен за последнее письмо Ваше, из которого вижу, что настроение Ваше бодрей. Ничего еще не могу сказать относительно своего приезда, но до заседания 25 ноября еще далеко. Пожалуйста сообщите, когда вернется Волкова.

Пусть события внешние идут своим чередом, сменяясь неожиданностью и противоположностью явлений, всего более обличающих полную разногласицу. Мне почему-то кажется, что Государственная Дума подготовит немало неожиданностей. Булыгин ушел с чистым и честным именем и истинным ра-

ботником². Я поспешил отправить ему поздравительную телеграмму. Он не из тех, чтобы выть по-волчьи с волками. Получаю много интересных писем, но конечно не по почте.

Будьте здоровы и благополучны.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 221

1. По поводу скоропалительного ухода Ширинского-Шихматова с поста помощника обер-прокурора процитируем фрагмент из воспоминаний С. Ю. Витте: после манифеста 17 октября

было решено, что обер-прокурор Победоносцев оставаться на своем посту не может, так как представляет определенное прошедшее, при котором участие его в моем министерстве отнимает у меня всякую надежду на водворение в России новых порядков, требуемых временем. Я просил на пост обер-прокурора Св. Синода назначить кн. А. Д. Оболенского (Витте С. Ю. Воспоминания, мемуары. Т. II. С. 75).

Вместе с Победоносцевым, естественно, ушел и Ширинский-Шихматов, но ненадолго.

...Когда я был вынужден, собрав первую Думу, покинуть пост председателя Совета Министров, кн. Ширинский был назначен обер-прокурором Синода в кабинете Горемыкина, а когда после 72 дней вместо Горемыкина был назначен председателем Совета Столыпин, кн. Ширинский опять должен был уйти, но Его Величество сейчас же назначил его членом Государственного Совета. Теперь он присутствует в Государственном Совете в качестве председателя черносотенной банды. Кн. Ширинский имеет все пороки К. П. Победоносцева, не имея даже тени его положительных качеств: образования, культуры, опытности, знаний и даже политической порядочности (Витте С. Ю. Воспоминания, мемуары. Т. I. С. 399).

Алексей Дмитриевич Оболенский, назначенный на пост обер-прокурора в октябре 1905, оставался в Св. Синоде до апреля 1906. Переговоры с ним были проведены с помощью А. Н. Нарышкиной и С. С. Волковой. Уже в первых числах ноября Смоленский получил письмо на бланке Товарища Обер-Прокурора:

Милостивый государь Степан Васильевич.

Спешу известить Вас, что буду ожидать Вас в пятницу, 4-го сего ноября, от 2 до 3 ч. дня в помещении Синод. канцелярии.

Его Сиятельство Г. Обер-Прокурор Св. Синода может принять Вас не раньше как через неделю.

Примите уверение в истинном почтении и совершенной преданности.

П. Остроумов.

(РНБ, ф. 855, № 30, л. 222)

О дальнейшем развитии событий см. в переписке Волковой с Шереметевым и в разделе «Проекты Смоленского» в Приложениях к книге.

Мнение Шереметева о А. Д. Оболенском как о «легковесном» подтверждается другими мемуаристами: он был человеком дворянско-либеральных настроений, образованным и желающим добра, но слабым и неуравновешенным (по выражению Витте, «томился противоположностью своего привитого дворянского либерализма 80-х годов с проявлением многих из этих либеральных начал на почве демократической действительности»; Т. II. С. 159—160).

2. Булыгин Александр Григорьевич (1851—1919) — московский губернатор (1893—1901), помощник московского генерал-губернатора (1902—1904), министр внутренних дел (с января по октябрь 1905), впоследствии статс-секретарь, член Государственного Совета. С именем Булыгина связано создание первого в России законодательства о выборах и положения о Государственной думе.

Смоленский — Шереметеву

[Петербург, около 1 ноября 1905]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Ну, что же делать, как не поскореть немножко по поводу неудачи в Синоде! Подожду и еще, благодарю Вас и вновь прошу не оставить меня. Согласно Вашему указанию повидаю Александру Николаевну и перетолкую с нею насчет зондирования почвы у «легковесного Алеши». Действительно, после Константина Петровича, при всех его недостатках и старости, любой новый обер-прокурор легковесен! Но не будет ли подвижнее?

Вместо Ширинского взяли синодального старого «сих дел мастера» Остроумова. Кто ухитрился выбрать такого остроумца — не могу постигнуть.

Сегодня, по случаю кончины П. И. Нечаева, ревизовавшего когда-то Синодальное училище¹, убедился я, что в кругу синодальных чинов господствует преувеличенное смятение от стремительного ухода всех бывших властей, «паче же» (как один выразился) «от потрясения основ испытанных и благополезных». Ход князя Оболенского из «Внутренних Дел» мерещится им в перевоплощение Оболенского в памятного графа Протасова². Огромнейший скандал в области духовных семинарий и академий, в рядах невежественных и самодурных архиереев, конец режима Синода «шито-крыто» заставляют синодальных чиновников совершенно понурить головы и признать близкий конец их власти и благодушия.

Впрочем, и поделом многим из них, остальные же платятся, как и все в наше время. Чувствуется, что что-то умирает, что хоронится такое, что составляло дух прежней жизни. Часть этого духа — мне очень жаль.

В Петербурге, как кажется, утихает многое, хотя все были весьма встревожены ожидавшимся погромом евреев в минувшую субботу; не менее все встревожились и нелепым бунтом в Кронштадте³. Слухи носились чудовищные, даже до бомбардировки Петергофа из кронштадтских береговых орудий. «Очевидцы» даже дали повод «Новому времени» состричь про какого-то корреспондента: «врет, как очевидец». Впрочем, ведь и «у страха — глаза велики».

Я опять начал работать и радуюсь тому без конца. Днями этими переписался с Софьей Сергеевной, с московским фотографом, с некоторыми здешними и теперь убеждаюсь, что дело хрестоматии может быть налажено хорошо, даже очень. Недавно я писал Вам о плане этой хрестоматии, но, вероятно, Вы не получили этого письма, так как в Вашем нет ничего по этой части. Если Бог благословит удачею и в находках по части хорошо сохранившихся рукописей (а боюсь я особенно за XIII век и XIV), то можно будет думать, что Общество Любителей издаст очень хорошую, ценную по интересу книгу — сущее пособие и могучий шаг вперед по церковно-певческой части. Если одновременно издадутся «Мусикия» Коренева и «Сказание» Евфросина — то, пожалуй, можно будет считать ближайшие годы и за годы такие, в которые церковно-певческому русскому древнему искусству особенно посчастливилось.

Размышляя о нынешнем положении Синода, в продолжение вышеуказанного, нахожу, что положение это в сущности весьма печально. Несомненно для меня, что Синод проспал штунду и раскол с их присными, ныне поднявшими свои головы; что внутри Синода, внизу, крепко заколочены и обезличены духовные учебные заведения и оба духовенства, а наверху — жестокая борьба одинаково беззаконующих митр и вицмундиров со звездами. Против этих верхов непримиримо и с величайшею ненавистью бунтуют низы, чувствующие отсутствие талантливых вождей между митрами и будущее служебное положение вицмундиров.

Пока перекипит этот омут и перегорят в нем уродливые наслоения, нельзя нам — певцам терять время и следует подготовить для будущего порядка все то, что истинно нужно, истинно православно и истинно плодотворно. Я разумею в этом следующее: когда объяснятся результаты борьбы (до тех пор пение не будет затронуто, ибо не до него), тогда отсутствие мотивированных оснований для будущего направления певческого искусства может повести к грубым ошибкам властных людей. Полагаю это потому, что так было при Никоне, что и теперь, и впредь не найдется между нашими властными людьми таких, которые бы светло и умно понимали родное пение. Потому и 101-я ошибка вероятна в этот решающий момент. Потому и необходимо безотлагательно

разъяснить: 1) что из ныне живущего в церковном пении жизнеспособно в смысле русском и как должно быть поддержано свыше, 2) как пересоздать обучение церковному пению от школы до духовных академий включительно и 3) как пересоздать регулирование церковно-певческого искусства при участии Синода административном и издательском?

Будущим членам Синода, либо Патриарху, надо ясно втолковать, что, подобно «Gesangbuch» у лютеран и «Missale» у католиков, есть и у нас, вне свободно-церковного искусства, нечто утонувшее в своеволии последнего. Огромность и богатство нашего родного искусства потому и оказались официально гибельными для него, что огромность не регулируется легко, богатство не укладывается в казенщину. Оттого, при нашей даровитости, явились всякие плевелы с красиво выглядывающими цветами, семена которых сугубо плодят плевелы же; оттого древнее искусство захирело у нас и, будучи все-таки живым, ждет умного восстановления; оттого в наших духовных школах нет учителей, учат Бог знает чему, и все духовенство, не имея категоричного «Gesangbuch'a» или «Missale», феноменально в глубочайшем невежестве не только в родном искусстве, но даже и в музыкальной грамоте; оттого и Синод прямо забыл о церковном пении, ибо к тому же занят другим, а ныне же и не может вспомнить о пении по всяким, кроме незнания, причинам. Какая же, при всех этих условиях, возможность ждать умное решение дела по окончании пыла текущей поры? Наши прадеды были умнее, ибо задолго еще до краха и скандала Никона Комиссия Мезенца уже созывалась. Отчего же бы и теперь не сделать то же? И разве работы научные последних лет не служат единственно верною, мотивированною и гласною дорогою к созданию того «Gesangbuch'a», который так легко составляется, если умно выполоть плевелы и оставить лишь пшеницу? И что может быть проще (по тому новому Обиходу, из старины родной) учебно-певческих курсов до профессуры в академиях? И что может благодетельнее в этом деле для Синода, как не получить заранее продуманное и готовое решение?

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Графине — мой и жены привет.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5070, л. 27—29

1. Нечаев Петр Иванович (1842—1905) — член-ревизор Учебного комитета при Св. Синоде, духовный писатель; именно в результате его ревизии Смоленский был вынужден уйти из Синодального училища.

2. Протасов Николай Александрович, граф (1798—1855) был обер-прокурором Св. Синода с 1836 по 1855 и, подобно Оболенскому, пришел на эту должность с должности министра; управление Протасова духовным ведомством отличалось жесткостью командных методов.

3. На следующий день после опубликования манифеста 17 октября в Кронштадте прошла политическая демонстрация, 23 октября там состоялся матросский митинг, организованный эсерами и социал-демократами. Участники добивались улучшения положения нижних чинов, выдвигали требования введения всеобщего избирательного права и уничтожения сословий. Восстание началось стихийно 26 октября во 2-м крепостном батальоне, к вечеру 40 солдат были арестованы. Матросы попытались их освободить, но при столкновении с конвоем двое матросов были убиты. В ответ восстали 4-й и 7-й флотские экипажи, а также учебно-минный и учебно-артиллерийский отряды. К концу дня к ним присоединились солдаты-минеры и артиллеристы, другие флотские экипажи и часть рабочих (всего около трех тысяч матросов и полторы тысячи солдат). Кронштадт фактически оказался в руках восставших, однако отсутствие руководства и дисциплины привело к погромам винных складов, магазинов и жилых домов. Прибывшие из Санкт-Петербурга и Ораниенбаума войска подавили восстание, около трех тысяч его участников были арестованы.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 4 ноября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Не сетуйте, что не отвечаю Вам по всем пунктам и в особенности по вопросам церковного пения. Ведь Вы знаете, что я, во-первых, профан, а во-вторых, Ваш верный почитатель, сочувствующий всем Вашим музыкальным начинаниям.

Майков прислал мне смету «Мусикии». Ведь Вы ее видели — не правда ли? Теперь Вы говорите о Хрестоматии. Следовательно, это второе уже дело? Оно и должно пройти чрез Ваш отдел с определением стоимости приведения его в исполнение. Майков пишет, что С. С. Волкова прислала свою статью. Вероятно, Вы ее видели? Приехала ли она?¹

Вот мы все толкуем о материях серьезных, почтенных, просветительных, а «земля наша невидима и неустроена и тьма в верху бездны». Будем уповать, что «Дух Божий» и ныне возродит ее. Отвечать Вам на то, что Вы пишете по этому поводу — не могу. В словах Ваших много горечи, много отражений неизбежных от причин известных. Я не поклонник Синодального правления и не поклонник правительственной системы Петербургского периода, но я не могу приветствовать «разрушение» существующего, без определенного «созидания» иного, лучшего, заменяющего. Я не могу разделять Вашего взгляда и огульного порицания всего нашего духовенства, ради того только — что в данную минуту

Хранители огня на алтаре,
 Вверху стоящие, что город на горе,
 Дабы всем виден был
 И в ту светил бы тьму...

— что эти люди — не на высоте своего призвания².

Это еще не значит, что таковых вовсе нет на Руси, что окончательно «оскуде преподобные»! Нет, этому я верить не могу, да я и не верю тому, что Вы этому верите, ибо иначе Вы не могли бы «работать». Ведь это приближалось бы ко взгляду признающих священство только в идеале, то есть той определенной группы, наименование которой Вам известно³. История нашей церкви, история нашей иерархии громко говорит против такого мнения до XVIII и XIX века включительно. Зачем указывать на одни пятна и не видеть светлых лучей? «Горькое слово» не внесет умиротворения, оно неминуемо повредить должно всему, что стремится к «благому созиданию». Ведь это напоминает мне изречение одного государственного человека перед войною 1877 года, когда при мне ему говорили о неизбежности кровавых жертв. — «Что же, — ответил он небрежно-иронически, — лес рубят, щепки летят!»...

Весьма советую не упускать времени с А. Н. Нарышкиной, дабы с помощью «Алеши» достигнуть определенного Вам поручения, относительно дальнейшего «описания церковно-певческих рукописей».

Обидно, что наш Квиринал и наш Ватикан⁴ расписались в равномерной полноте своего беспощадного невежества!

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 223—224

1. О проекте Хрестоматии по церковному пению см. в переписке с Волковой. В ноябре 1905 она еще не вернулась в Петербург (см. далее).

2. Строки из стихотворения А. Н. Майкова «Вопрос».

Мнение Смоленского по поводу внутрицерковной ситуации этого периода выражено многократно и в Дневниках, и в переписке с Волковой. Он, конечно, не «поричал огульно» все духовенство, но жаждал переустройства церковной иерархии на выборных, «народных» началах. Приведем дневниковую запись чуть более позднего времени (апрель 1906):

Мне рисуется будущее управление Русскою церковью так: мелкие земские единицы — приходы выбирают себе церковные причты и входят с ними в совершенно определенные отношения, непременно оговоренные в отмене задельной платы за все требы как унижающие духовенство и лишающие его свободы про-

поведи. Несколько местных земских деятелей и весь причт в каждом приходе составляют хозяйственный приходский совет под председательством священника. Этот совет ведет все дела прихода, в том числе и свои школы, больницы, богадельни и т. п.

Несколько приходов составляют благочиние, в котором выборный благочинный ведает все дела собственно причтовые, а совет при благочинном, под его председательством и при участии от каждого прихода священника и выборного мирянина, ведает главнейшие дела хозяйственные, общие для благочиния.

Несколько благочиний составляют уездную церковную общину, в которой управление делами также вверяется выборному старшему благочинному с советом выборных при нем.

Несколько уездных общин составляют викарную епархию, во главе которой выборный совет из благочинных и мирян, под председательством выборного управляющего по делам мирян и белого духовенства и епископа — по делам епископской компетенции и всего монашества.

Несколько викарных епархий составляют губернскую епархию, в которой городской епископ (он же и епископ уезда этого города) имеет титул архиепископа и заведывает по не своим уездам лишь апелляционную часть по всем делам губернской епархии. Делами мирян и белого духовенства в епархии заведывает протопресвитер.

Как протопресвитер, так и епископы и архиепископы — все выборные, утверждаемые Высочайшей властью. Св. Синод, выборно составляющийся из пополам архиепископов и протопресвитеров, заседает в Москве, а не в Петербурге, и состоит не менее $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{6}$ части из высших чинов церковной русской власти. Московский Синод есть постоянный Русский церковный собор, которому подчинены определенно и ежегодно (как и экстренно) собирающиеся поместные Соборы-синоды... Постановления поместных Синодов сообщаются к сведению Московского Собора. Не менее одного раза в 5—6 лет собирается на краткое время в Москве Всероссийский Синод из представителей поместных Соборов по важнейшим делам церкви (Дневник 5, л. 265—267).

3. Имеются в виду старообрядцы-беспоповцы — не приемлющие священство, а следовательно, не имеющие иерархии.

4. Как уже отмечалось во вступительной статье, «Квириналом» Шереметев имел светскую власть, а «Ватиканом» — церковную.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 7 ноября 1905

Получил я, дорогой Степан Васильевич, смету на «Мусикию», вероятно Вами уже просмотренную? Что же, в добрый час!..

Надеюсь, что Вы говорили с Нарышкиной и двинули дело о церковных певческих рукописях?

Недавно мне попала в руки «Музыкальная газета»; и думал я, разбирая ее, что не найду в ней никаких «политических мотивов». Увы, я ошибся. В передовой статье, приветствующей «мучеников свободы», выражается сожаление, что мы пробавляемся глупой «марсельезой» и не изобрели своего «революционного гимна»!¹ Я бросил газету и решил далее на нее не подписываться. Злорадствующие разрушению знают, конечно, что оно тогда лишь будет действительно, когда выразится победою над христианством! Культ «силы и материи» на стяге наших разрушителей, а мы, близорукие, от них ждем обновления!!! Да разве возможно обновление там, где оно проповедуется насилием, разбоем, озверением и неизмеримою гордынею ограниченного ума человеческого?

И я верю в «обновление»; но не такими приемами, не такими людьми, не такими учениями.

Теперь выяснилось окончательно, что жена проведет всю зиму в Михайловском; я же, по возможности, буду наезжать, ради неотложных дел (и совершенно вне сфер правительственных), по мере состояния моего здоровья. Тем не менее надеюсь, что церковь наша, Св. Великомученицы Варвары, не останется «без пения» и будет посещаема. Об этом подробно пишу Ермолову, который и с Вами будет об этом говорить.

Неужели С. С. Волкова еще не приехала? Будьте здоровы и благополучны.

Преданный Вам С. Шереметев.

Канун храмового праздника

РНБ, ф. 855, № 30, л. 225

1. Надо полагать, что в руки Шереметеву попал № 43/44 от 23 октября с набранной крупным шрифтом передовой статьей без подписи (вероятно, принадлежащей редактору-издателю РМГ Н. Ф. Финдейзну), где содержались рассуждения о том, что французская революция дала миру «Марсельезу», а русская — никакого ценного музыкального отражения событий.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 12 ноября 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Ко дню Вашего рожденья шлю Вам сердечный привет мой и самые добрые пожелания! Мысленно присутствую на Вашем семейном празднике и приветствую всех Ваших, начиная с доброй графини Екатерины Павловны.

Тяжело живется! Очень тяжело! Кто живет без печали и гнева — тот не любит отчизны своей. Поневоле и склоняешься при молитве «о избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды». Сердечно желаю Вам душевного покоя и доброй энергии в тяжелую нынешнюю годину.

Очень передумываю я заново многое и о себе, как и о своем деле. Передумал я и о том, что пришлось увидеть при попытке хоть увидеться с новыми властями в Св. Синоде. Я обратился было к товарищу обер-прокурора письменно, прося мне назначить свидание с ним и доложить князю Оболенскому о желании моем видеть и его. Собственноручный ответ был получен немедленно от г. Остроумова с указанием, что первое свидание с ним может быть 4-го в Синоде, а второе, с князем Оболенским — не ранее недели. Моему удивлению не было конца, когда явившись в указанные час и место, я услышал, что г. Остроумова нет и что он и не будет... На оставленную мною карточку до сих пор нет ни ответа, ни привета. На обещанное к извещению свидание с князем — так же, даже до сего дня.

С Александрой Николаевной я говорил о ее помощи к устройству моего свидания с князем Оболенским до этого пассажа. Она мне сказала, что она не знакома с князем Алексеем Дмитриевичем, но познакомится с ним через несколько дней, так как будет с ним вместе у кого-то обедать. Вместе с тем А. Н. предупредила меня, что было бы крайне легкомысленно обнадеживать себя помощью от такого лица, как князь Оболенский. Она охарактеризовала его как узко смотрящего карьериста, как совершенно не думающего ни о чем сколько-нибудь серьезно, а тем более о пользе нашей церкви и о своей задаче послужить ей на посту обер-прокурора.

Во второе мое свидание с А. Н., после пассажа, она сказала мне, что совместного обеда не было и ее знакомство с князем Оболенским не состоялось. Затем А. Н. сказала, что князь до такой степени занят с Витте и постоянно с ним, что мне нет и надежды увидеть его отдельно и иметь с ним продолжительный разговор. Вместе с тем А. Н. сказала, что мое дело, несомненно, должно оказаться для князя Оболенского до такой степени чуждым, что он и не поймет всей его надобности именно сейчас. Судя затем по эпизоду, рассказанному А. Н. о свиданиях князя Оболенского с о. Григорием Петровым, о визите и причитаниях бывшего у нее митрополита Антония,

следует заключить, что особого ансамбля между Синодом и обер-прокурором вообще еще не установилось, а по части переживаемой поры — и того более.

Вот как обрисовались отношения вообще и к моему делу в частности. Нисколько не ропщу и не унываю от того, но горю силою все-таки работать впредь, хотя бы и при жуткой обстановке. Решение это может измениться разве только при полной уже невозможности работать, при полной надобности бросить все. До той поры мой труд продолжается по-прежнему. Я слишком ценю его надобность и мою подготовленность к нему, равно и имеющиеся еще силы и энергию. Правда, мой труд относится не к грубо-надобным сейчас новшествам и не к грубой ломке существующего. Для его оценки и приложения на деле надобен ум и другое, более спокойное время. Но для изготовления такого труда мне самому не к чему терять время, а тем паче унывать и падать духом. Если бы равнодушие и игнорирование со стороны гг. Остроумова и князя Оболенского показались мне компетентным и своевременным приговором, то тогда и другая была бы мера моего упадка духа. Но этого, по моему суждению, совсем нет — потому «отъиду от зла и сотворю благо».

Думаю, что и Вы одобрите мое суждение о том, что пока не стоит возиться со Св. Синодом и следует вновь уединиться и, продолжая работать, выждать время, когда появятся, наконец, люди поумнее, поблагочестивее и пошире глядящие на нашу церковную старину ради лучшего будущего.

В этой радостной мысли, без всякой печали на только что виденное, вновь приветствую Вас. Желаю Вам, начинающему старцу, радостей в детях и внуках Ваших, радостей вне суеты переживаемой, радостей в светлых упованиях на скорый конец наказания земли нашей и самонаказания нашего в ней. Будьте здоровы и веселы. Как бы желал я сейчас быть среди вас на Вашем празднике! Графине и всем, до малых, мой и жены привет и поклон.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5070, л. 97—98 об.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 22 ноября 1905

Два слова, дорогой Степан Васильевич, с верною оказией. У меня всегда будут такие из Петербурга, которыми прошу пользоваться¹.

Получил длинное, интересное, толковое письмо (случайно) от С. С. Волковой². Одно жаль, что приезд ее неопределенно замедляется тяжкою болез-

нюю ее матери. Как все теперь не спорится. Все мы связаны по рукам и по ногам. Возможно ли сказать определительно о своем приезде? О современном положении скажу только, что судьбы народов совершаются по непреложным законам со времени столпотворения. Одинаковые причины приводят к одинаковым последствиям. Und damit Punktum. [И все тут.]

Сын мой Дмитрий едет 25-го в Петербург. Он хорошо знает Оболенского (Н. Д.). Правда ли, что Кочубей назначен помощником Фридрикса?³ Как бы это точно узнать. Это обстоятельство благоприятное.

Почему бы Вам не посетить Победоносцева. Ведь он теперь лучше прежнего, и наша переписка возобновилась наиприятнейшая.

Преданный сердечно С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 228

1. Речь идет об оказиях, с которыми доставлялись письма, так как в это время еще продолжалась забастовка железнодорожных и почтовых служащих.

2. Письмо Волковой от 15 ноября см. в Приложении к разделу.

3. Оболенский Николай Дмитриевич, князь (1860—1912) — управляющий кабинетом императора (после К. Н. Рыздзевского); брат обер-прокурора А. Д. Оболенского.

Князь Виктор Сергеевич Кочубей (1860—1923) — генерал-лейтенант, начальник Главного управления уделов — действительно был лицом, близким к министру Двора графу Фредериксу, но официально помощником его не стал.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 23 ноября 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

С сердечною радостью отвечаю Вам без всякого промедления, благодарю Вас за весточку и за возможность писать Вам вне нынешнего почтово-телеграфного разлада.

Давно уже я ниоткуда не имею никаких вестей и ничего не знаю ни о ком из близких сердцу! Именно создалось одиночество на миру, скорь на людях, неволя в свободе, беззаконие при законе.

Впрочем, Вы и без меня слышите довольно количество таких охов. Про себя могу сказать так: по-прежнему и еще усиленнее внедряю себя в область тихой науки и чистых звуков старины; работаю при самом энергичном самоотталкивании к уединению, чтобы сколько-нибудь уберечься от волнений текущей

поры. Конечно, получается лишний расход рабочих часов и меньшая производительность труда, ибо болит все-таки душа моя и, по-прежнему, не вижу просвета в будущем, по-прежнему страшусь текущей бури и ее случайностей. Моему уму не дано способности к активному участию в борьбе политической, и вообще в жизни я очень плохой боец. Но сердца не остановишь! В тихой кабинетной работе я убежденно вижу и чувствую свою полезность и надобность. Все беседы частные, даже в своей семье, при приступе к какой-либо «политике» вносили в мою душу и в мою жизнь лишь бесполезный расход сил и огорчение.

Слышал я от умирающего П. А. Гильтебрандта, что на «Спиридона-поворота» будете Вы здесь. Если Вы будете здесь и на заседании 16 декабря, то надеюсь доставить Вам удовольствие изготовляемым мною докладом в Обществе любителей древней письменности. Доклад о том, громко говоря, на долю наших певческих рукописей выпала возможность достойно отблагодарить болгар за полученную нами от них письменность через св. Кирилла и Мефодия. Ныне мы, русские, оплачиваем болгарам тем, что они от нас получают свое древнепевческое искусство, вытравленное у них фанариотским духовенством до полного забвения и исчезновения даже и следов болгарской художественной старины. Работа моего ученика еще по Москве Анастаса Николова, после 4-летнего труда при помощи моей и А. В. Преображенского, теперь кончена и первый выпуск уже вышел из печати, а весь найденный и критически проверенный Болгарский «Круг» займет 6 выпусков. Событие это, при нынешнем возрождении в Болгарии своей старины и при самой обстановке дела (Николов ведь командирован лично ко мне для занятий своим Синодом еще в 1901 году) во всяком случае обрисует нашу певческую археологию с самой выгодной и с прямо практической стороны. Редактируя вместе с Николовым этот труд, я с глубоким удовлетворением оставил его слова в предисловии: «Тот дух (то есть народного самосознательного творчества) был единственной народной твердыней, которую ни турецкий ятаган, ни алчный и ехидный греческий поп не могли разрушить»¹.

Не могу послать Вам особого экземпляра за неизготовлением, но посылаю полученный мною «первенец», в котором Вы даже и на первой странице увидите знакомый Вам почерк.

А мы, русские? Увы! — в миниатюре и здесь тот же 1877 год! В другом смысле и здесь та же мудрость «что имеем — не храним, потерявши — плачем», еще частнее, не даем и хранить, не даем оберегать то, о чем несомненно будем горько плакать! Тем решительнее и энергичнее обязуюсь быть хотя бы непризванным и отгоняемым охранителем нашего дорогого искусства, цену которого не постигает только одна печальнейшая наша интеллигенция, власть имущая, стоящая ближе всех к церковному престолу Божию!

Ваше замечание, оконченное словами «und damit Punktum», в сущности буквально относится и к моему делу, потому ставлю и здесь точку. Судьбы народов и в подробностях их истории.

С нетерпением буду ждать графа Дмитрия Сергеевича, чтобы перетолковать с ним о надобном и указанном Вами. О Кочубее — решительно ничего не слышал, ибо упорно сижу дома. От С. С. Волковой не имею известий уже более 10 дней.

Благодарю Вас еще раз за все.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5070, л. 118—119 об.

1. Смоленский пишет по-болгарски: «Тоз дух... бе единственната народна твърдина, която ни турският ятаган, ни алчният и ехиден грецки поп не можаха да разрушат». Всего вышло в свет не шесть, а два выпуска болгарского «Круга». Подробнее см. в разделе «ОЛДП» в Приложении к тому.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 28 ноября 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Пишу на этот раз кратко и прежде всего конечно благодарю Вас за ваши всегда приятные строки. Радуюсь, что Вы духом бодры и воодушевлены трудом, того стоящим.

Не пишу Вам подробно потому, что надеюсь к 14 декабря объявиться в Петербурге, тогда наговоримся. Быть может, найдете возможным устроить и заседание 2-го Отдела, хотя бы и без Волковой, как это ни жаль.

Жена моя сердечно благодарит Вас за добрые пожелания и память. Итак, до скорого свидания.

Преданный Вам С. Шереметев.

Вы мне прислали книгу, Вам поднесенную, прилагаю ее обратно как мне не принадлежащую.

Бедный П. А. Г. — кончается...¹

РНБ, ф. 855, № 30, л. 226

1. Имеется в виду П. А. Гильдебрандт.

В письмо вложен отдельный лист (л. 227):

В письме С. С. Волковой так обозначен последовательный ход подлежащих работ [2-го отдела ОЛДП]:

1. Хрестоматия образцов с XI по XIV век, согласно постановлению 21—22 апреля.

2. Каталог тематический — в сущности свод всех композиций с XIV по XVIII в., найденных доселе. Этот каталог, громадный по объему, мог бы быть не напечатан, а только литографирован, для библиотек и людей, трудящихся в этой области.

3. Каталогизация певческих рукописей и история церковного пения за XVIII век, что зависит от доступа к Архиву Мин[истерства] Двора.

Верно ли?

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 2 декабря 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я посылаю к Вам свой экземпляр «Старо-болгарского церковного пения» в качестве последней новости, значение которой едва ли преувеличиваю я по существу в будущем, в настоящем же — по той роли, какую сыграла наша археология в столь важном деле. Сердечно рад тому, что и моего меду тут есть несколько капель. Теперь книга вышла в свет, и экземпляр ее преподносится Вам с просьбою принять его от учителя и ученика, то есть от меня и Анастаса Николаевича Николова.

Вместе с сим посылаю попутно корректуру к Софье Сергеевне в Подсолнечное — Спасское. Ее статейка вышла очень милою.

Относительно «хода работ», обозначенных в письме Софьи Сергеевны к Вам, конечно, надобно будет собраться 2-му отделу, ибо все лето я с А. В. Преображенским хлопотал по-всякому, держась выработанной программы. Вам могу сообщить в дополнение к ее письму еще следующее.

1. По части Хрестоматии образцов уже пересмотрены все уцелевшие в Петербурге «праотцы-греки», то есть наидревнейшие отрывки (XII век греческий для нас уже не годен, ибо наши крюки сходны лишь с бывшими у греков в X веке), посему, ввиду немалой бедности найденного и ввиду желания выбрать из большего, я уже писал в Англию к И. В. Биркбеку, ибо у меня есть его же давнее сообщение об имеющейся в Британском музее рукописи «Праздники», именно такой, какая была бы для нас всего пригоднее. Ответа мною еще не получено¹.

Точно так же нет пока ответа и от о. Металлова из Москвы по этому же пункту.

Припоминаю я, что мною было писано Вам об обдуманном мною плане Хрестоматии, о чем я советовался здесь со многими. В части собственно русских композиций, то есть непереводаемых, например, служба св. князьям Борису и Глебу, надобные справки будут доставлены мне этими днями. Вообще можно сказать, что мысль о Хрестоматии живейше заинтересовала наших славистов и языковедов, и содействие их уже оказывается весьма деятельным и полезным. Но следует и прибавить, что общее мнение всех таково, что лучше не торопить дело, а осмотреться повнимательнее и выбрать образцы с большею тщательностью. Успехи науки филологической в последнюю пору таковы, что занимающиеся древнерусским языком наконец-то поняли и достойно оценили, какие массы секретов нашей фонетики раскрываются для них именно в певческих, а не четьих книгах. Поэтому господа ученые и вцепились в мысль о певческой хрестоматии и ждут ее издания, как из печи пирога. Про нас — певцов и говорить нечего — это наш праздник.

2. По части «Тематического каталога» — моя работа сделана наполовину была еще в Москве. Мнение Софьи Сергеевны о том, что такой каталог невыгодно печатать, но надо литографировать лишь для библиотек и для любителей, — считаю я совсем основательным. Полагаю, что будущие поколения всегда пользуются от предшествовавших лишь квинтэссенцией их трудов. Мы находимся сейчас еще в периоде сбора трав для такого снадобья. Уже после нас эта квинтэссенция, попав в надобные натуры, возбудит лелеемые нами мысли. Тем не менее, как ни жутко живется, как ни обиден отказ Синода Казанской духовной академии — все же подумываю я по части «Тематического каталога» съездить после Рождества в Казань, чтобы закончить свою работу 80-х годов именно по этой части. Тогда будет и все то, из чего можно будет выгонять квинтэссенцию русской мелодики и ритмики, из чего можно будет хотя бы свить кнут для более патриотической в пении деятельности Св. Синода. Да и нельзя разве дело делать для русской церкви и науки и без помощи Св. Синода? «Тематический каталог» всех наших церковных напевов действительно огромен и не надобен в печати как свод только сырого материала. Литография для воспроизведения его в небольшом количестве в 6 — 7 раз дешевле печати, не требует корректуры и потери времени, а между тем есть способ создать дешево фундамент дела большого и существенно надобного в будущем и для археологов, и для музыкантов. Для завершения каталога напевов надобно еще проработать, отдавшись ему специально, по крайней мере один год.

3. «Каталогизация певческих рукописей и история церковного пения за XVIII век» — есть собственно два разных дела, хотя и связанные между собою документами, хранящимися у Грота в Архиве Министерства двора. Софья

Сергеевна, сколько думаю, ошибочно связала огромность интереса этих двух дел с их будто бы неотложностью. С другой стороны, здесь замешана бывшая недавно попытка устроить меня лично ради обеспечения материального, что, конечно, не имеет отношения ко 2-му Отделу, а теперь, по переживаемой по-ре, пожалуй, и ко мне лично. XVIII век — век иностранщины и брожения в певческом искусстве, имеет с XVII веком разве только ту связь, что переживался на одной и той же территории и в одной и той же православной русской церкви. Поэтому из XVII века мы должны извлечь все для лучшего будущего, а из XVIII века мы должны лишь вывести поучительные предостережения для охранения будущего расцвета русского искусства. Но чтобы охранять что-либо, надо, чтобы это «что-либо» уже было налицо, а у нас, не считая отдельных работ, всего только и есть 2-й Отдел с благими и обдуманными намерениями и радостными надеждами.

О себе скажу Вам так: похороны Петра Андреевича и последние дни немало нарушили мою работу в эти дни, особенно меня радовавшую по своим удачам в новых находках по части кокиз казанского знамени. Именно «земля наша велика и обильна», если хоть сколько-нибудь копнуть ее. Поэтому бодрюсь и благодушествую по-прежнему и работаю хорошо, собираюсь после Рождества (может быть) поработать в Казани месяца 2 — 1 1/2, но о том при свидании.

Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5070, л. 156—157 об.

1. Смоленский перепутал: нужная ему рукопись находилась не в Британской библиотеке, а в Венской придворной (на что и указал ему Биркбек); см. подробнее далее, в письмах, посвященных экспедиции на Афон.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 6 декабря 1905

Два слова только, дорогой Степан Васильевич, так как я на днях надеюсь быть в Петербурге. Знаете ли Вы, что в Обществе Древней Письменности хранится скрипка XVII века Иеронима Антонио из Кремоны и принадлежавшая Петру III? Не попробуете ли Вы ее?

До скорого свидания.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 231

1. В заседании Комитета ОЛДП 23 марта 1906 было решено: «Выразить согласие относительно предполагаемой продажи в Музей Придворной Капеллы скрипки, принадлежавшей, по преданию, императору Петру III и пожертвованной ОЛДП детьми С. Д. Шереметева».

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 18 декабря 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Многого не хватало для меня в заседании ОЛДП 16 декабря! Ваше отсутствие, как и горькие причины Вашего неприязда, отшибли у меня половину того подъема духа, который, в ожидании этого собрания, волновал меня всего. Да впрочем, я ли один был под таким сиротливым впечатлением?

В заседание пришло много болгар, говорят — до 40 человек. Перед заседанием выяснилось, что вновь отпечатанный сборник Николова «Старобългарско церковно пение» собрал около собирателя любительский хор, и этот хор, по прочтении моего доклада, исполнил тропарь св. Кириллу и Мефодию и еще три песнопения из сборника. Таким образом впервые гласно были восстановлены болгарские старые напевы через 250—300 лет.

Мне уже известно теперь, что в кругу болгар, бывших на заседании, доклад и само появление в свет труда Николова произвели очень сильное впечатление. Сегодня был у меня студент Духовной академии Генев и читал мне текст коллективного заявления бывших в заседании болгар Софийскому Синоду. Болгары восторженно заявляют Синоду, что они плакали, услышав родные звуки, что они основали хор, что они начнут в Петербурге церковную службу с употреблением родных старых напевов, что они просят Синод вникнуть в это дело как можно тщательнее и как можно энергичнее поддержать беззаветный труд Николова, знаменующий собою духовное возрождение Болгарии в области ее клироса.

Одновременно Генев сообщил мне, что, сколько ему известно, корреспонденции о моем сообщении в Обществе уже отправлены в Болгарию, что мой доклад уже начат переводом на болгарский язык (я забыл упомянуть выше, что какой-то офицер выпросил у меня после заседания мою рукопись) и что вообще оказавшийся подъем духа у болгарской колонии в Петербурге не оставляет желать ничего лучшего.

Нужно ли добавлять Вам, граф, что чувствую я, переживая возможность так писать Вам, имея право сказать о доброй услуге, которую удалось сделать с помощью наших рукописей! Ведь Николов — мой ученик, как говорится, «с азов», и когда-то я едва-едва спас его, отстояв оставление его в Синодальном училище. Уму и проницательности Болгарского Синода предстоит понять зна-

чение сделанных находок в наших рукописях, равно и надобность найти меру и способ введения их в жизнь Болгарской церкви. Будущее противодействие части болгарского духовенства, конечно, проявится немедленно, ибо где же нет невежд и где же свежая мысль встречается с надлежащим доверием и уважением!

Конечно, греческая псалтикия, вколотенная фанариотами¹ еще 400—450 лет назад, не могла не обогариться в подробностях своих мелодий и потому отчасти все же говорит кое-что болгарскому сердцу, независимо от вековой уже привычки к той псалтихии. То же ведь произошло и у нас, обрусивших у себя греческие напевы, обрусивших например и болгарское «Тебе одеющего» или «Благообразный Иосиф» до степени нашего родного напева. Мы ведь даже и забыли эти два песнопения в своем изложении ради полюбившегося нам болгарского. Поэтому и ожидаю я отчасти и справедливого противодействия стариков-болгар, так как и в обогарившейся греческой псалтихии не все же сплошь плохо и достойно только изгнания.

Охотно соглашаюсь и с тем, что, как ни живуч народный дух, все же он должен поддаваться влияниям своего возраста и влияниям пережитых впечатлений. Болгаре нынешние, как народ, на 300 лет старше тех своих предков, которых фанариоты лишили своих родных напевов; как ни миновало турецкое иго, разве оно может быть бесследно? По нынешним болгарским песням видно несомненное перерождение нынешних народных мелодий, в которых с найденными в рукописях церковными напевами улавливается уже немного общее.

Но рассуждаю и так: обогарение псалтихии указывает, что народная сила еще жива; наличность в народных песнях элементов турецкого, греческого и, что хуже всего — европейско-музыкального (вроде влияния нашей гармонии, граммофона и т. п.) может быть истолковано только как худосочный плод исковерканного судьбою народа. Красота найденного в рукописях и разность этой красоты от худосочия в песнях — указывает на то, чем проявили себя болгары в свое здоровое и молодое время; степень ожидаемого подъема духа покажет меру оставшегося еще здоровья в болгарском народе, способность к возрождению энергичному или к обновлению постепенному.

Вот мои мысли. Не пишу Вам о своих печалях по дорогой Москве — есть вещи невыразимые.

Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5070, л. 283—284 об.

1. Фанариоты — буквально участники греческого восстания против власти Турции в 1821—1830, в более широком смысле — влиятельные и богатые греки, часто потомки древних родов, занимавшие до восстания важные административные посты в турецкой империи. Фанариотское духовенство насаждало в славянских странах, нахо-

дившихся под властью Турции, греческую культуру, в том числе церковно-певческую, иногда это наносило ущерб местному пению, которое и пытался, как ему представлялось, восстанавливать Николов.

Смоленский и Николов были уверены, что болгарский распев в русских рукописях тождествен старинному церковному пению в самой Болгарии и что именно его нужно там насаждать. Немного позже, находясь на Афоне, они пытались найти там древние «оригиналы» болгарского пения, но эти попытки не увенчались успехом (см. в дальнейших письмах).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 26 декабря 1905

Дорогой Степан Васильевич.

Большое Вам спасибо за Ваши всегда столь содержательные строки. Чувствуется, что в Болгарском откровении — начало чего-то очень хорошего¹. Как жалею, что не мог быть лично. Теперь надеюсь в половине января (около Михаила Клопского) добраться до Петербурга.

Сведения о скрипке очень интересны. Следовательно, держать ее нам не следует. Мне кажется, что нужно было заявить о том в нашем комитете, который соберем тотчас по приезде и где постановим насчет и скрипки на исправление, а пока Вы бы взяли ее к себе и попробовали бы на ней поиграть.

Нарыв Московский прорвался². Теперь нужны проколы и в других местах, и тогда гной уйдет при чистоте и умении, добросовестном лечении дезинфекционным. Теперь опять просьба — быть может, в последний раз (десятилетие) — подготовить музыкальную программу нашего заседания Ревнителей на 26 февраля.

Нужно бы что-нибудь оригинальное, подходящее к переживаемому, ободряющее и возвращающее к забвенному родному. Ведь это заседание *историческое*.

Всегда Вам преданный С. Шереметев.

Прошу передать супруге Вашей мои искренние привет и поздравление.

И в то же время нужно усладить чем-либо знакомым, возбуждающим добрые чувства.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 232—233

1. В Нотно-музыкальном отделе РГБ сохранился экземпляр «Старо-болгарского церковного пения», подаренный Смоленским Шереметеву, с экслибрисом последнего и с надписью Смоленского:

Высокоуважаемому графу Сергию Дмитриевичу Шереметеву — почтительно подносят этот первый лепет восстанавливаемого с помощью России старо-болгарского церковного пения — нашедший его Ст. Смоленский и его ученик Ан. Николов. СПб., 2 декабря 1905.

2. Имеются в виду московские события декабря 1905 года. Волнения начались 7 декабря (по старому стилю), когда была объявлена общая политическая забастовка, к которой, как предполагалось организаторами, позже должны были присоединиться Петербург и вся Россия. В Москве забастовали типографии, крупные заводы и фабрики, железнодорожные служащие; затем включились учебные заведения, электрические и водопроводные станции. В ночь на 9 декабря после грандиозного митинга начались вооруженные столкновения демонстрантов и бастующих с полицией. На 10 декабря Советом рабочих депутатов было объявлено вооруженное восстание, в городе началось возведение баррикад. К 20-м числам декабря восстание было в основном подавлено с помощью военных частей, но в городе еще сохранялась большая напряженность.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 30 декабря 1905

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я обещаю Вам внимательно заняться скрипкою, спросить знающих людей и разъяснить это дело для будущего. Думаю, что едва ли успею сделать то к Вашему сюда приезду, так как диагноз этот не из легких и требует большого внимания. Впрочем, ведь и дело не спешное.

Ваша мысль о будущем значении болгарского роспева, найденного в наших рукописях, совершенно подтверждает мою крепкую веру в предстоящее восстановление болгарами своей церковной старины. От проничательности и дальновидности нынешнего Болгарского Синода зависит скорость и прочность успеха этого восстановления. Вероятно, не обойдется тут без умничанья и хозйничанья всяких завистников, имеющих, как всюду, вопить и распинаться, лишь бы показать себя. У меня лишь сильна и обоснована вера в то, что Бог привел меня к возможности сделать доброе дело и отдать сделанное с сущою любовью и доброжелательством. Перевод моего реферата на болгарский язык уже поехал в Болгарию и, вероятно, будет там издан без промедления¹. У нас по поводу этой находки также встрепенулись доверяющие мне музыкусы, — они взялись гармонизовать болгарские напевы. Таким образом и колыбель хорового болгарского церковного пения будет также из России.

Сердечнейше поздравляю Вас и графиню с наступающим Новым годом и, вместе с женою моею, полон пожеланий Вам и всем Вашим всякой радости.

Полагаю, что и 1906 год будет не из легких, но все же полегче 1905-го. Охотно поделился бы я мыслями в ответ на Ваши слова «Нарыв вскрыт и предстоит добросовестное лечение дезинфекционными средствами». Мои мысли при обсуждении переживаемой поры пришли, наконец, к какому-то необъяснимому недоумению, — я совершенно не понимаю, что, зачем и по какой причине выделяется у нас враждующими с такою бесцельною жестокостью и саморазорением. Думаю, что тяжкие раны, наносимые теперь России, будут болеть долго, что в недоразумениях и в размножении своих несчастий виноваты все стороны. Впрочем, совсем не моего ума эти дела, — я не принимал и не приму в них участия. Мое будущее определяется моею созидательною и уединенною работою в своем деле, и отрываться от этого значит для меня — бросить его на произвол неумелых людей, равно и снабдить своею персоною какую-либо партию одним плохим борцом. Поэтому — остаюсь со своими крюками и рукописями.

Ваше желание относительно 26 февраля, конечно, будет посылно исполнено мною. Полагаю, что кредит будет одинаков с прошлогодним. Относительно программы для меня ясна вполне Ваша характеристика ее общая, но неясно Ваше желание, с чьею помощью можно было бы осуществить такую программу, то есть пригласить ли опять хор из оперы или придумать что-либо новое, например, оркестр, солиста? или, усилив Ваш церковный хор, обойтись лишь программами с какими-либо своеобразными и подходящими к 26-му содержаниями? Если я получу по сему от Вас еще какие-либо указания, то, конечно, будет мне посвободнее приготовиться, пожалуй, и к Вашему сюда приезду.

Приветствую Вас с Новым Годом!

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 53—54

1. О издании реферата Смоленского на болгарском языке ничего неизвестно.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 5 января 1906

Дорогой Степан Васильевич.

В ответ на письмо Ваше спешу сказать прежде всего по вопросу о 26 февраля, что ввиду особого значения 10-тилетнего заседания Общества в этот день и вероятного присутствия на оном (между нами) нашего Почетного Члена В[еликого] К[нязя] Михаила Александровича¹, — желательна более торжественная обстановка, то есть желателен хор, оркестр и соло, при пении обыкновенной панихиды и гимна и при чтении очерка об Александре III —

В. Н. Лясковского на полчаса времени для последнего; самый большой срок всего заседания полтора часа². Надеюсь, увидимся до 20-го и уговоримся о подробностях, о которых должен буду доложить Совету.

Наконец-то твердое, властное, разумное правительственное слово раздалось в Москве и произвело свое действие, ибо не осталось одним только словом³. Менее чем когда-либо унываю и твердо верю в светлое будущее. От многолетних шатаний тошнит, пора встряхнуться!

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 234—234 об.

1. Шереметев хочет сказать: ввиду «круглой» даты существования Общества ревнителй. Великий князь Михаил Александрович — младший брат императора.

2. Очерк об Александре III В. Н. Лясковского, члена Общества ревнителй, напечатан в изданиях Общества.

3. «Твердое правительственное слово» было, надо думать, произнесено Ф. В. Дубасовым, занимавшимся ликвидацией последствий московского восстания в начале зимы 1905.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 5 января 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

По поводу Вашего желания составить к 26 февраля (а то будет в воскресенье конца 2-й недели Поста) программу музыкального отделения, я просил Вас указать мне что-либо относительно средств и способа исполнения, но не получил еще от Вас ответа. Между тем чувствую я, что в предстоящий Ваш приезд будет собрано распорядительное заседание Ревнителй и к этому заседанию программа должна быть готовою, — а время идет, и «нечто оригинальное, соответствующее переживаемой поре», пожалуй, придется ограничить лишь хором Казаченки и только подбором подходящих текстов различных сочинений.

С другой стороны, признаюсь Вам, и я бы очень поторопился с этим делом, чтобы съездить в Москву на неотложную работу для Общества Любителй недели на 3—4. Порешив с 26-м, получилось бы одной заботой меньше, одним проясненным делом больше, да и свобода к новому делу. Посему, если я угадал Ваш план обсудить 26 февраля именно в этот приезд и если допустимо опять участие хора Казаченки (то есть здешней оперы) —

благоволите сообщить мне о том, дабы я не терял время до Вашего прибытия.

С. С. Волкову не видел в последние дни, а с Преображенским работаю исправно, почему дело о хрестоматии начинает просветляться и налаживаться. По этому же делу, кроме врачевания себя переменной места и лиц, думаю быть в Москве и даже в Казани. Очень уж осложняются мои родственные дела и текущей порой, и смертями, и становящимися на ноги подростками. Я ведь старший в семье, и заботы мои требуются.

Вы, конечно, уже осведомлены о предстоящем созыве церковного собора, теперь подталкиваемого свыше и действительно надобного в тяжелейше переживаемую пору. Слышно, что из-за собора чуть не идет резня между архиереями¹.

Раздумывая о будущем соборе по части его занятий столь печальною теперь духовною школою, я невольно задумался и о необходимости не пропустить случай, чтобы заявить о восстановлении у нас изучения церковных искусств. На первый раз мне представляется это дело существенно важным с практической стороны. Сколько я понимаю положение нынешних духовных семинарий (из них открыты 2, закрыты 56), преобразование духовной школы, от низшей до академии (закрыты все 4), должно иметь характер, так сказать, раскрепощения, то есть удаления из низших классов поповского духа и заменю того общеобразовательным направлением, и привлечения всех желающих из всех сословий к слушанию курсов для священников. Зло нынешней духовной школы в том, что она употребляет все усилия к невыпуску на сторону таких учеников, которые не хотят идти в духовенство, равным образом не принимает, или принимает с великими препятствиями, желающих из других сословий, кроме своего, духовного. Другое зло духовной школы — монашествующее в ней начальство и в некоторых отношениях совершенно нелепые программы обучения. Учебный план как бы имеет в виду напичкать ученика всем, точно он после школы не возьмет книги в руки. Оттого проходит все плохо, трудно и частью весьма отстало, даже и затхло. Пение поставлено совершенно никуда не годно: программы пения вполне «всесторонние», но на изучение их отведено только по 1 часу в неделю, а преподают «любители», никогда и нигде дела не изучавшие основательно.

Между тем, взглядываясь в суть дела, нельзя не сказать, что принадлежности нашей службы требуют от священника, как и вообще от клира, следовательно и от духовно-учебных заведений, владения тремя искусствами — чтения, пения и проповедания. Наши нынешние самоучки сплошь не умеют толково, а тем более истово читать, совершенно не умеют петь и не знают пения, наконец, совсем худо проповедают. Что печальнее всего — много ведь между этими самоучками (до архиереев включительно) умных, образованных и охочих людей, даже и любителей, — но мастеров совсем не видно и не слышно. А между тем как надобны и как полезны эти

искусства в храмах! Как еще недавно учили наше духовенство умело читать, петь и проповедовать! Здесь еще с киевского Петра Могилы и с московского Симеона Полоцкого были заведены специальные классы духовных художников.

Эти мысли, в связи с живописью и архитектурой, привели меня к мысли о надобности устроить у нас «духовную академию художеств», специальной задачей которой было бы на первые годы приготовление первых кадров учителей этих искусств для наших духовных семинарий, а затем наивысших знатоков.

Мне всегда казалось, что мы, русские, совершенно не ценим наших народно-художественных дарований и эти дарования у нас гложут и падают сколько от небрежения к ним свыше, столько же и от вторжений в области народного совершенно чуждых нам влияний. Я был совершенно поражен, например, мерою изумления иностранцев перед московским Синодальным хором². <...> Впрочем, что же другое можно сказать о нашем народном даровании, если вспомнить глубину наших древних напевов и древних песен, или красоту наших народных платьев, или превосходную по задорному веселью нашу народную пляску? Ну, где немцу до всего этого? А между тем всякие Багрецовы, Архангельские и Бахметевы парализуют возвращение в наши храмы старых напевов, так же как и знаменитый «спинжак», рукава с буфами, гармоника и проч. ослабляют народную одежду, песню. Между тем я, еще не старик, а помню и старину в храме, и превосходные сарафаны, шляпы с перехватом, гусли, балалайку, множество песен. При мне начали разгонять хороводы, при мне завелась гармоника, при мне начали насильно вводить Львовский Обиход³, и вымерли последние певцы и великолепные чтецы.

Теперь, останавливаясь на пении, падают последние столпы певческого искусства: в новгородском Юрьевом монастыре поют никуда негодно, в Московском Успенском Соборе «братия» также бросила петь⁴; о Троице-Сергиевой Лавре — и говорить нечего, про Киево-Печерскую жалко и вспомнить. Наши архиереи — сплошь невежды в пении, священники — также. Впрочем, мудрено ли было настать такому упадку после обер-прокурорства Д. А. Толстого? Ведь пение не преподается в семинариях уже почти 40 лет, а в духовных академиях всегда отсутствовало. Теперь сначала нужны учителя.

Мне кажется теперь, что весьма было бы вовремя начать усиленную по сему проповедь, благо и собор, и преобразование духовной школы должны быть вскоре. Слышно — идут в Синоде споры большие.

Скрипка у меня, и я на ней играю ежедневно, добываясь ее пробуждения. Мягкость тона сохранилась, и звук как бы разогревает скрипку через 20—30 минут игры, — но звук очень слабый и, конечно, дает, может быть, $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{10}$ часть бывшего.

Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5071, л. 51—52 об.

1. 8 марта 1906 открылись работы высочайше утвержденного Предсоборного Присутствия, созванного для обсуждения вопросов, предлагавшихся к рассмотрению на ожидавшемся Поместном Соборе Православной Российской Церкви (состоялся в 1917—1918). Регулярные заседания Присутствия продолжались до июня, затем возобновились 1 ноября и завершились в декабре 1906. В работе Присутствия принял участие цвет русской богословской науки того времени, в частности, среди участников заседаний были митрополиты Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), Московский Владимир (Богоявленский), Киевский Флавиан (Городецкий), архиепископы Димитрий (Ковальницкий), Сергей (Страгородский), епископы Антоний (Храповицкий), Арсений (Стадницкий). Они придерживались порой диаметрально противоположных взглядов по целому ряду важных вопросов внутрицерковной жизни.

Результаты деятельности Предсоборного Присутствия были высоко оценены современниками и расценены как существенный вклад в развитие русской богословской науки.

2. Далее приводятся выдержки из венских газет, посвященные выступлению Синодального хора в этом городе в 1899; с возможной полнотой эти рецензии опубликованы в РДМ (Т. II. Кн. 2).

3. Имеются в виду издания Придворной капеллы, осуществленные во второй половине 1840-х годов под редакцией директора А. Ф. Львова и предписанные как обязательные для употребления во всех церковных хорах России.

4. В Успенском соборе Московского Кремля вплоть до 1917 сохранялся обычай одногласного пения за повседневными службами мужского хора, состоявшего из членов соборного причта. Подробнее см., например: Воздвиженский В. И., Ермонский Н. С. Воспоминания о московском Большом Успенском соборе // РДМ. Т. 1. С. 599—608. Имеющиеся воспоминания не подтверждают мнение Смоленского об упадке этого пения в первое десятилетие XX века.

5. Граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823—1889) был обер-прокурором Св. Синода до К. П. Победоносцева, с 1865 по 1880; в это время были приняты новые программы для духовных учебных заведений, в которых пению (а также другим церковным искусствам) уделялось недостаточное место. Все же Смоленский в своем высказывании явно «сгущает краски»: знатоки и любители церковного пения несомненно имелись среди духовенства всех рангов.

Смоленский — Шереметеву

[Петербург], 12 января [1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Прошло и 11-е, то есть память Михаила Клопского, слышно и о том, что завтра, 13-го, «Письменность» будет заседать не под Вашим личным председательством¹. Ожидая Вас, я пропустил два дня, теперь пишу, ибо время течь незачем.

По Вашему желанию иметь 26 февраля более торжественную обстановку собрания, то есть хор, оркестр и соло, я имел переговоры с хором и оркестром здешней оперы. Предварительно, согласно помещению, выяснилась надобность иметь 29—30 человек оркестра и до 40 человек хора. Из пьес пока намечены «В бурю во грозу» и «Боже, храни Царя» (из «Жизни за Царя»), «Ах ты поле» и «Заплетися плетень» (из «Русалки») и хор из «Князя Серебряного» Казаченко. К этому (20 мин.) может быть прибавлен еще №, еще не определившийся пока, минут на 5—6.

Вознаграждение этих артистов по 8 рублей каждому — то есть около 560 рублей. Отдельно, по примеру прошлых лет — дирижеру Казаченко — 100 рублей. Кроме того предстоит еще расход на перевозку из Большого Театра надобного количества инструментов (контрабасы и т. п.), пюпитров, нот. Всего — немногим более 700 рублей.

Отдельно от сего необходимы ваши письма к г. Теляковскому²: 1) о разрешении хористам, оркестровым музыкантам и Казаченко принять участие 26-го, 2) о разрешении им взять казенные ноты, пюпитры и литавры (о последних было сказано мне особо, ибо тут есть какая-то административно-театральная отдельность в их получении).

Насчет солистов, признаться, я и не заикнулся Казаченке, так как и времени длительности концерта совсем мало, да и гг. артисты — в сущности плохие — заламывают ни с чем не сообразные цены — 500—600, 1000 рублей. Я еще не остановился бы перед переговорами, если бы концерт длился часа 2 — 2 1/2; а то за полчаса времени, смею думать, не стоит тратить, тем более что есть полная возможность обойтись и без плохих, но самоненных гг. артистов³.

Ответ предположительный Казаченко обещал дать мне к утру 15 января. Я очень бы желал для твердости моих речей иметь Ваш ответ относительно вышеизложенного. Конечно, с моей стороны никаких обязательств или положительных указаний ему высказано еще не было.

Здесь все благополучно. Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

1. Заседание комитета ОЛДП 13 января действительно прошло без Шереметева.
2. Теляковский Владимир Аркадьевич (1860—1924) — с 1901 директор императорских театров.

3. Возможный репертуар музыкальной части обсуждаемого заседания сохранился в подшивке. Он датирован 13 января и записан рукой Георгия Алексеевича Казаченко:

1. «Боже, люби царя» («Жизнь за царя»)
2. «В бурю во грозу» и Фуга
3. «Славься, славься!»
4. «На Волге-реке» («Князь Серебряный»)
5. «Ах ты поле» и «Заплетися плетень»

Рекомендую:

6. Гимн из «Орлеанской девы» Чайковского
7. «Да здравствует наш князь молодой» («Русалка»).

По сообщению «Нового времени» от 27 февраля (№ 10760) в этом собрании после панихиды хор под управлением Казаченко «превосходно исполнил шесть пьес» и состоялось чтение из книги В. Н. Ляковского «Император Александр III».

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 15 января 1906

Несколько смущен цифрой¹. Поговорим надеюсь девятнадцатого. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 237. Телеграмма

1. Речь идет о расходах на музыкальную часть заседания Общества ревнителей. В деле сохранилась также датированная январем записка Шереметева на визитке:

Очень жаль, что не зашли. Теперь должен выехать. Не зайдете ли завтра, в десятом часу утра?

Смоленский — Шереметеву

Москва, 26 февраля 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Второй упоительный по успешности рабочий день над кондакарями кончился совершенною неожиданностью, в которой, признаться, сам еще не

разберусь толком. Я упал в люк Манежа (в совершенно темном его вестибюле) и сильно повредил себе ногу, переломив малую лучевую кость у левой ступни и растянув сухожилия. Это было вчера в 6 часов вечера¹.

Как ни совестно мне перед Вами, как ни тяжело прервать работу — нахожусь вынужденным просить Вашего позволения временно остаться на Воздвиженке, ибо доктор Сергей Михайлович сулит мне скорую возможность к передвижению на клюшках. Работы домашней, без рукописей Синодальной и Типографской библиотек, у меня хватит надолго, но мне надобен покой от мысли, что Вы не поставите мне в вину случившееся несчастье. Сколько могу судить — придется пролежать около трех недель, в течение которых досуг все-таки будет заполнен неустанной работой. Но сообщение мое 17 марта в Обществе Любителей, конечно, должно быть отложено.

Я был бы, добрейший граф, сердечно рад получить от Вас ободряющее слово, которое бы уравновесило сейчас мою душу и успокоило бы ходуном ходящие нервы. Относительно успешности работы дома у меня нет сомнений, так как мои здешние друзья участливо помогут мне во всем надобном по книжной и древне-рукописной части.

На всякий случай, до первого облегчения, я не сообщаю моей жене о постигшем меня несчастье. Пусть она сидит себе в Петербурге, ничего не подозревая.

Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5072, л. 2—2 об.

1. Целью поездки Смоленского в Москву была подготовка к экспедиции на Афон: выписки из певческих рукописей в разных хранилищах. Однако, приехав в Москву 23 февраля, Смоленский 25 февраля, идя из Синодальной библиотеки в Кремле через Манеж, сломал ногу:

Здесь в темнейших сенях солдатик пошел вперед, чтобы отворить дверь. Когда я пошел было за ним, то совершенно неожиданно оступился в открытый люк и, попав правую ногою на ступеньку лестницы, поскользнулся (Дневник 6, л. 190).

Жил он в это время в Воздвиженском доме Шереметева, и лечили его врачи шереметевского Странноприимного дома, в частности, упоминаемый в письмах Сергей Михайлович Клейнер. 3 марта Смоленский написал Е. П. Шереметевой (см. это письмо в Приложении), которая приняла большое участие в постигшем его бедствии и отправилась в Москву супругу Смоленского (сам Степан Васильевич сначала ничего жене не сообщал, не желая делать ее свидетельницей своего тяжелого состояния).

За вышеприведенным письмом следуют еще два кратких послания к Шереметеву, от 27 февраля и от 1 марта с извещениями о лечении перелома.

Смоленский — Шереметеву

[Москва, 5 марта 1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня мне загипсовали ногу, и я уже не держу ее выше в ступне, так как поранения уже успокоились, кровоподтеки рассосались, все встает понемножку на старые места, и таким образом выздоровление близится.

Конечно, от ожидания здоровья полегчало и на душе. Как я ни бодрился, оказалось однако, что я наработал мало в истекшую неделю. Письмо лежа на боку утомляло очень скоро, и работа невольно перешла в область продумывания найденного в последние два дня среди московских кондакарей и обдумывания будущих моих действий. Мне пришлось потерять здесь почти 10—12 дней. Следовательно, если я и задержусь здесь в работе, то придется все же наквитать потерянное хотя бы и форсированным трудом. В предстоящий четверг (9 марта) назначен первый выход мой в библиотеку. До того времени будет проводиться домашний курс умения встать, ходить и сесть с помощью клюшек. Оказывается теперь, что я очень ослабел в эту неделю, а чуть не полупудовый вес гипсовой повязки требует воспитания сил совсем особенных, так как нога непривычна была к тому, да и ранена сама по себе. Но Бог милостив, налажусь и в этом умении.

Жену свою я уговорил не останавливаться в Вашем доме, а остановиться у сердечного друга нашей семьи Е. Е. Констан¹. Там — женская гимназия и потому сплошное женское царство, следовательно и наличность всего того, что успокоит жену в часы вечерние и утренние. Днем Анна Ильинична, конечно, со мною и, утомившись однообразием моего времяпрепровождения, частью же и неумением принять к неременному исполнению все ее советы, — она несомненно отдыхает вечером в дружеской семье. Я также пользуюсь вечером для записи итогов дня и для уединенных размышлений, для писем и т. д. Я уже писал графине Екатерине Павловне выражения моей глубокой признательности за тот покой и уход, который я нахожу в Вашем доме. Конечно, если бы условия моего врачевания не были бы так хороши — дорого бы обошлось мне падение в прошлую субботу.

Не могу не сообщить Вам весьма характерную подробность моих отношений к Синодальному училищу, проявившуюся в среде моих уцелевших еще там товарищей. Вчера был в Училище кн. А. Д. Оболенский. Он должен был быть там в прошлую еще пятницу, но экстренно почему-то отложил свой выезд из Петербурга.

В связи с уходом отсюда г. Завьялова (преемника Ширинского-Шихматова) и в связи с моим приездом мои товарищи вдруг воспылали желанием вновь служить со мною и составили петицию обер-прокурору о том, чтобы меня пригласили занять место Ширинского—Завьялова. Основной мотив тот, что

Синодальное училище прямо гибнет, процветание начатого мною художественного направления, обещавшего «новую школу» — совсем захирело, хор падает жестоко, а библиотека рукописей — только отирается от пыли.

Слеза меня прошибла от таких слов, но я, продумав сутки, наотрез отказался, подробно мотивируя свое положение сейчас и непрочность их затей.

Мои товарищи промолчали Оболенскому в это его посещение. Он обещал быть вторично на днях в Синодальном училище, и до того времени атака направлена на мою жену, чтобы взять меня с этой стороны. Но я думаю упереться и выдерживать осаду мужественно. В Москве меня интересуют теперь только научные работы, и если устроится хотя бы комбинация, предложенная Оболенским (Синодальное училище уже поспешило заявить ему о возможности доставлять рукописи в Петербург), пребуду вольным работником до недалекого конца дней моих². Это будет умнее, спокойнее и много полезнее.

Спасибо и Вам за все.

Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5072, л. 20—21 об.

1. Констан Екатерина Евгеньевна — учредительница (1891) и директор известной московской женской гимназии.

2. Еще 6 февраля 1906 А. Д. Оболенский написал С. Д. Шереметеву в ответ на его обращение от 3 февраля, что естественнее было бы заниматься каталогизацией московских рукописей, находясь в Москве (см. это письмо в разделе «Проекты Смоленского» в Приложении к книге), однако обер-прокурор отложил решение вопроса до своей поездки в древнюю столицу.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 8 марта [1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Пишу Вам первому эти первые слова, сидя у стола и даже одетый в нечто, не напоминающее сполна о болезни, а как бы только свидетельствующее о некоторой незаконченности туалета. Одним словом, бессменное лежание кончилось и наступило чередование постели со стулом. Только болевший и болеющий человек может понять меру моей наивной радости, да еще чуткое сердце Ваше может разделить этот тихий, благодарный восторг. Момент, когда ум сознал, что выздоровление началось, — есть святой момент, поэтический, радостный, полный чувства самого высокого.

Я почти незнаком с порою выздоровления, так как в последний раз тяжело хворал в возрасте 12—13 лет и, признаться, уже забыл о бывшей тогда радости. Теперь со всею радостью в душе, всеми способностями к определению своего чувства — радуюсь, веселюсь, торжествую и неудержимо мечтаю.

Выздоровление обозначилось в своем начале еще вчера, то есть в сознании вдруг блеснула мысль, что я становлюсь крепче, что те движения больной ноги, которые были невозможны ранее, стали возможны теперь и лишь требуют некоторой смелости перед самим собою. Но попытки сесть и работать подольше сейчас же сопровождались началом отека и болями. Сегодня я уже дописываю эту страницу Вам, а отек и боли еще не начинались, хотя уже чувствуется надобность принять вскоре горизонтальное положение и укрепить себя для большего срока при следующем опыте.

После отдыха снова принимаюсь за перо и спешу прежде всего благодарить Вас и добрую графиню за приют и покой. К выражению меры моей благодарности не имею подходящих слов, так как не могу представить себе, что пришлось бы мне пережить при других условиях. Думаю также, что и скорость моего выздоровления прямо зависит от отличных удобств, которые так счастливо и как-то сразу сложились для меня в Вашем доме. О почтеннейшем докторе Сергии Михайловиче могу высказаться только восторженно; о ухаживающем за мною Петре — только с истинно растроганным сердцем.

Минувшая неделя, несмотря на всю посильную для меня работу, оказалась, конечно, много слабее, чем это могло бы быть в обычное время. Писать лежа на боку, кося глазами, оказалось трудным физически, — главное же очень скоро утомлявшим напряжением. Поэтому я воспользовался взятым с собою собранием снимков с рукописей и занялся приготовительными и вспомогательными работами для предстоящих посещений библиотеки.

Выходить, сколько думаю, мне можно будет только через несколько дней, в течение которых обтерпится нога и приобретется искусство вставать, ходить и садиться. Особенно теперь страшат меня лестницы. Вероятно к понедельник-вторнику — буду в силах подняться из дому. Ранее я думал, что завтра я уже буду около рукописей, — но сегодня радуюсь уже тому, что сижу, хотя и дома, да все-таки и пишу, а не лежу и не читаю.

Устал вторично и потому кончаю. Благодарю Вас от всей души и вместе с женой шлю мой самый искренний Вам и доброй графине привет и поклон.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

В. В. Майкову отписано уже все надобное, то есть действительно в Петербурге работать удобней, а все надобное для клише я изготовляю собственноручно, то есть вернее всякого переписчика.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 20 марта [1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Посылаю эти приветственные Вам строки с женой моей, возвращающейся домой, так как мое выздоровление, слава Богу, очевидно крепнет с каждым днем. Конечно, работать продолжаю ежедневно, но придуманный мною сокращенный курс выписок из рукописей — далеко уже не то, что предполагалось. Думаю, что 22-го перекочую в Типографскую библиотеку на Никольской ул. Там также работы немало, — но я чувствую себя бодрее с каждым днем¹.

Благодарю Вас от всей души. Думаю, что в Великий Четверг я буду в Петербурге. Графине сердечно кланяюсь.

Преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 59

1. Действительно, в 20-х числах Смоленский смог работать в Синодальной и Типографской библиотеках, а также в Синодальном училище, продолжая выяснение типов древних Миней и Стихирарей. В его архиве (РГИА, ф. 1119) сохранилось несколько работ (неизданных) этого периода: «Параллельное указание содержаний Миней певчих и Стихирарей XII—XIII вв. по рукописям Синодальной библиотеки в Москве» (№ 38), «Сравнительный указатель содержания годовых Стихирарей по рукописям Императорской Публичной библиотеки, Московской Синодальной, библиотек Императорской Академии наук и Петербургской Духовной Академии» (№ 39), «Указатель текстов Триодей и Стихирарей, хранящихся в Синодальных библиотеках (Московская Синодальная, Типографская, Софийская, Новоиерусалимская, библиотека Петербургской Духовной Академии)» (№ 40).

Смоленский — Шереметеву

[Москва], 23 марта [1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за депешу. Хоть и очень мне стыдно, но признаться должен, что не успел писать Вам в последние дни. Москва совсем опьянила меня своими богатствами, и я вновь заработал совсем по-молодому, забывая временами даже и то, «чего моя нога хочет». Конечно, наквитать потерянные 18 дней лежания теперь уже невозможно, так как табельные дни прерывают работы, да и, несмотря на всю мою прыть, не по летам и не по недавнему дефекту, все-таки в имеющиеся 11 дней не наработаешь предполо-

женного на 20 дней. Поэтому я отказался от части моей работы совершенно, то есть от сравнения ирмосов, и работаю только над кондакарями и над стихирами русским Борису и Глебу, сопоставляя их в разновременных редакциях. Воскресенье, 26-го, я думаю проработать в Троицкой Лавре над Кондакарем и вернуться к вечеру домой¹. Понедельник, вторник и среду предназначаю для Типографской библиотеки, чтобы закончить разные мелкие недостатки в работе и в среду же под вечер, Бог даст, тронуться в обратный путь в Петербург.

Записка об Афоне переслана мною в Петербург с тем, чтобы Преображенский, Николов и Лавров пообсудили ее в одиночку и вместе². Совместное со мною обсуждение предполагается на 4 апреля вечером у меня. Таким образом, после этого числа я уже могу положительно доложить Вам о разработке главной мысли этой поездки. Общий тон ответных мне сообщений насчет записки я не могу назвать даже горячим увлечением, но каким-то, скорее всего, пламенным азартом. Люди собираются чуть не на тяжелейшую работу и глубоко радуются, торжествуют о том, что именно им выпадает счастье такой работы и наслаждение увидеть первыми все то, что так давно и неотложно необходимо. Все дружно согласилось ограничить свои личные бюджеты до самой последней крайности и отдать все возможное из полученной субсидии на фотографии, чтобы с честью вернуться домой и иметь право сказать и услышать от других о действительной пользе для русской науки сделанного путешествия.

Признаюсь Вам и я, что личный состав такой экспедиции подает твердые надежды на самый полный успех, особенно же в случае поддержки если не от Государя, то хотя бы от нашего посла в Константинополе. В Афонских монастырях, как известно, двери отворяются по протекции гораздо шире, и потому с заручкой посильнее будет легче достижение научных целей.

Впрочем, 4 апреля уже недалеко.

Обращаю мою мысль в другую сторону. Сегодня я провел 8-й день в библиотечной работе: как были тихи, достойны и спокойны эти дни! как много было почувствовано в их тишине самых возвышенных радостей и упоений какою-то особою, родною красотою! Что же вижу я в часы вне-библиотечные в те же дни? Где тишина, достоинство и достойные радости? Да и в ближайшем будущем — где предвидится хотя бы намек на достойное, деловое спокойствие?

Графине кланяюсь, как и Вам.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 60—61 об.

1. Эта поездка благополучно состоялась.

2. Под «запиской об Афоне» сначала понимался текст обращения к великой княгине Елизавете Федоровне: его черновик сохранился в сформированной Смоленским

подборке документов, связанных с экспедицией (РГИА, ф. 1119, № 84, л. 5—6). Однако это обращение не было послано, так как Шереметев нашел иную возможность финансировать поездку (см. его письмо от 31 марта далее). Как пишет Смоленский в своем Афонском дневнике, это окончательно выяснилось 7 апреля: экспедиция отправлялась от имени ОЛДП, и Шереметев сказал Смоленскому, что деньги он собрал «от разных лиц». Теперь «записка» адресовалась уже в ОЛДП и содержала примерный маршрут и смету поездки.

Шереметев — Смоленскому

[Петербург], 27 марта 1906

Здравствуйтесь, Степан Васильевич. Радуюсь Вашему выздоровлению!

Необходимо главным образом выяснить «цифру», необходимую для Экспедиции¹. Меня озарила новая мысль: чем скорее увидимся, тем лучше.

Преданный Вам С. Шереметев.

РГИА, ф. 1119, № 84, л. 3

1. «Цифра» оказалась равной 3000 рублей.

Смоленский — Шереметеву

[Москва], 27 марта [1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вчера ездил я в Троицкую лавру, чтобы поработать над кондакарем и поклониться преподобному. Товия¹, сердечно вспоминая о Вас и далеком прошлом, принял меня весьма радушно и даже благословил иконою.

Сегодня я сделал первую попытку к хождению без клюшек, только с палкою, и не без успеха, хотя и с трудом великим, больше же с трусливою осторожностью.

Таким образом и проба дороги железной, как и проба хождения, сделаны — следовательно, пора думать и о возвращении домой. Последнее тем более улыбается потому, что и сокращенный курс занятий утомил меня очень сильно. Смотря по ходу занятий апрельских, думаю, что либо буду собираться на Афон, либо опять в Москву. Последняя — просто необходима. Неоконченная работа волнует меня, а неоконченностей у меня много, так как 10 рабочих дней все же оказались хотя и энергичными, но слабосильными и медлительными. Болезнь берет свою долю!

Все последние дни, кроме кондакарной работы², я провел в подведении текстов одинаковых один под другой из разных столетий, чтобы выяснить хотя сколько-нибудь, чтобы как-нибудь уловить связь их между собою и особенно с греческим наидревнейшим. Увы! мы совершенно бедны здесь последним, и поездка на Афон совершенно необходима — иначе как без рук! Второе препятствие — конец XIII или начало XIV столетия, когда (несомненно уже теперь) наше певческое искусство пережило бурю не менее, чем при Никоне — в иных же подробностях, пожалуй — еще более чем бурю. Найденные теперь мною страницы, хотя и немногие, но XII—XIII века, в сравнении с XIV веком ставят меня в сущий тупик. Я даже не могу ответить себе, что такое я имею перед собою на этих страницах и куда девалось потом это искусство? Да и вообще, просидевши чуть не 30 лет над крюками, странно мне наткнуться на столь поразительные новости, совершенно недоуменные, говорящие прямо о какой-то близкой Америке, о чем-то очень развитом, систематичном, но совершенно забытом и растерянном.

Вы знаете, что я более склонен признавать за древней Русью достаточно высокую *музыкальную* культуру в сравнении с Западною Европою той же поры. Найденное утверждает меня в этой мысли еще крепче. Но монгольское иго и гибель рукописей заставляют искать догадками дома и заставляют [искать] документов вне Руси. Разорение было самое полное, хотя уцелевшее рисует весьма радужные надежды на великое просветление.

Впрочем — до личного свидания в четверг. Мне пора ехать к Сергию Михайловичу Клейнеру, чтобы снимать гипсовые узы. Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 62—63

1. Архимандрит Товия (Трофим Тихонович Цымбал; 1836—1916) возглавлял Троице-Сергееву лавру с 1904 по 1914. Он благословил Смоленского на дорогу иконой подобного Сергия.

2. Итоги работы Смоленского над проблемой кондакарного пения были изложены в его сообщении в ОЛДП 14 апреля 1906 и опубликованы посмертно под названием «Несколько новых данных о так называемом кондакарном знамени» (РМГ, 1913, № 44—46, 49). Рукопись этого доклада, как и других докладов Смоленского, прочитанных в ОЛДП, хранится в РГИА (ф. 1119, оп. 1, № 27). См. также раздел «ОЛДП» в Приложении к книге.

Смоленский — Шереметеву

[Петербург], 30 марта [1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я прибыл благополучно и наслаждаюсь первыми ощущениями удовольствия быть дома и увидаться со своими.

Спешу от всего сердца благодарить Вас и графиню за все доброе и участливое, живо пережитое мною в минувшей невзгоде.

Сердечно приветствую Вас и всех Ваших с принятием Св. Таин. Сегодня вечером после всенощной прошу позволения побывать у Вас на короткое время.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 64

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 31 марта 1906

По поводу проекта письма Вашего к Великой Княгине Елизавете Федоровне скажу Вам, по зрелом обсуждении, что такое обращение в настоящее время по многим причинам неудобно. Известное Вам дело экспедиции на Афон может стать на ноги проще, прочнее и действительнее совершенно иным путем, для чего понадобится только записка, излагающая ясно цель экспедиции, причины ее вызывающие и ожидаемый результат предприятия, которому следует придать известную яркость, как поручению, даваемому со специальною научною целью состоящим под Высочайшим Государя Императора покровительством Императорским Обществом Любителей Древней Письменности!

Вопрос о средствах для экспедиции уже выяснен в проекте письма, а потому в записке касаться оно не следует, а вопрос этот может быть изложен отдельно в особой записочке, в виде приложения к делу.

Преданный Вам С. Шереметев.

РГИА, ф. 1119, № 84, л. 4

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 4 [апреля 1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Ваш вопрос «подвигается ли дело?» застал меня во время сборов в совещание № 2-е именно об указанном «деле». Завтра утром прошу Вас указать мне удобный для Вас час, чтобы я мог доложить Вам о результатах совещания¹.

Вчера и сегодня, особенно же в первый день, я чувствовал себя дурно и объясняю то барометрическими способностями, проявившимися в ногу. Сегодня, однако, были первые опыты пробных и осторожных шагов даже без палки.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 65

1. На этом совещании был окончательно сформирован проект записки членов-корреспондентов ОЛДП С. В. Смоленского, П. А. Лаврова, А. В. Преображенского и А. Н. Николова, выясняющей задачи и цели экспедиции. Записка (хранится в архиве ОЛДП в РНБ), в свою очередь, была одобрена на заседании Комитета ОЛДП с резолюцией:

Доложить общему собранию заявление г. председателя о поступившей в его распоряжение сумме в три тысячи (3000) рублей с исключительной целью осуществления в 1906 г. особой экспедиции, от имени Общества, на Афон, в Солунь и в Охриду и прочесть в том же собрании записку членов-корреспондентов Общества С. В. Смоленского, П. А. Лаврова, А. В. Преображенского и А. Н. Николова, выясняющую задачи и цели этой экспедиции.

В Афонском дневнике читаем:

4 апреля совещание состоялось в квартире А. В. Преображенского как недомагавшего. Мы совещались с 8 часов до полуночи, обсуждая по возможности подробно все, что кому представлялось надобным к объяснению. В этом совещании единодушно постановлено: ограничивать расходы на себя до последней крайности и экономить деньги ради результатов нашей поездки (л. 4—5).

Далее в то же дело вклеено две визитки Шереметева без дат (л. 16, 17):

«Подвигается ли дело, как живете?»; «Все утро дома — и просим!», а также проект заявления об экспедиции, доложенный в ОЛДП 11 апреля.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 19 апреля [1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Без Вас — скучно мне. Когда Вы тут — знаешь, что Вы недалеко, — захотелось что-либо Вам или мне, — беседа не замедлялась. А теперь — пиши, — много ли напишется в сравнении с беседой!

В приготовлениях к поездке попался, наконец, и указанный Вами рассказ о Димитрии Самозванце. Если это то самое, о чем Вам писал А. А. Дмитриевский, — сомневаюсь, чтобы то было интересно. Мы нашли эту рукопись по каталогу Ламброса № 4830 во 2-м томе¹. Значится так: Иверский монастырь, библиотека, рук. № 710, на бумаге, $\frac{1}{16}$ д. листа, XVIII века, большой сборник; на стр. 100-й до 102 об. «Рассуждение о возмущении Ажедимитрия в России и другие краткие заметки о Русской истории в XVII веке»².

Как видите, на 2 $\frac{1}{2}$ страницах, да еще XVIII столетия, — трудно думать, чтобы «Рассуждение» могло собою представлять что-либо особенное, а тем паче какие-либо новые документы. Не менее портят впечатление «и другие краткие заметки», очевидно за счет изложения может быть и не о том же Самозванце, на тех же 2 $\frac{1}{2}$ страницах.

Во всяком случае это «Рассуждение» на месте будет нами прочитано, а то так и списано, если в нем окажется хоть что-либо интересное. Другой рукописи в подробнейшем каталоге греческих рукописей о Ажедимитрии не значится, ибо Ламброса мы кончаем поверкою вторично и едва ли бы ускользнула от нашего внимания какая-либо вторая рукопись.

Но у того же Ламброса есть при каталоге каждого монастыря отдел: связки, свертки и отрывки. Может быть А. А. Дмитриевский действительно нашел нечто не внесенное в каталог? Тогда надо его прямое указание.

У того же Ламброса начинаем наткаться на новости для нас несколько непонятные или по крайней мере еще вполне неслыханные. Таковы в нескольких примерах знаки для чтения нараспев Евангелия не более, не менее как VII века. Утверждай это другой кто, а не столь основательный Ламброс, — мы сочли бы эту цифру за опечатку, — теперь же записали о пластинках Эдвардса большого формата³.

Вообще — дух захватывает и боимся думать, с чем мы вернемся и не волнуемся ли мы излишне? Ближайшие знакомства с каталогами, как и ожидалось, показали, что греческих рукописей более [славянских?] очень значительно, древнее несравненно, — что и требуется. Но и славянские есть также очень хорошие.

Но возник неожиданно, под впечатлением находок, новый вопрос: не присоединить к певческому же делу два рода указываемых у Ламброса рукописей: рукописи со знаками чтения нараспев и музыкально-теоретические трактаты?

Первые, конечно, относятся к певческому делу совершенно косвенно, так как знаки эти несходны с певческими собственно, а суть особой системы. Эти знаки перешли к нам отчасти, и, конечно, значение их археологическое и художественное несомненно, но второстепенно.

Вторые, если только трактаты толкуют именно о тех крюках, которые перешли к нам в Россию, — были бы чрезвычайным открытием. Но сейчас нечего сказать за глаза. Ламброс — совсем не певец и только указывает — «с певческими знаками». Выходит, что Одоевский прав не для одной России. И в Греции — «археологи — немусыканты, а музыканты — совсем не археологи»⁴. Только на месте придется решить этот интереснейший вопрос.

П. А. Лавров, как ни симпатизирует нашему общему делу, в котором его услуги по части оттенков сербских, или болгарских, или македонских редакций, конечно, вне конкурса, — все же нет-нет да и потянет в столь любимую им древнейшую славянщину, хотя бы без пения. Теперь он в Москве, куда нарочно поехал, ради увертюры к Афону. По правде сказать, ведь наука-то русская одна, равная для всех и во всем, но у меня с Преображенским вдруг появилась черта некоторой скупости... Пусть его снимает, думаем мы, коли не наберется певческих. А самим в то же время как будто и стыдно экономить на фотографических пластинках.

Сегодня принялся заканчивать надобные копии для «Мустикии», и таким образом она к отъезду будет совершенно готова к печати.

Работаем мы все очень много и очень одушевленно. От графа Александра Дмитриевича представление Министру об отпуске Преображенского уже отправлено⁵. Следовательно этот пункт уже обеспечен. Я и Лавров уже начали ходатайства о заграничных паспортах. Николову же только надо отметить-ся выбывшим в своем посольстве.

Если приготовления наши к поездке будут идти так же успешно, как и теперь, то мы выедем, пожалуй, и раньше конца мая, может быть и в половине. Это будет зависеть от ответов из Вены и Константинополя, то есть Ягича и Успенского⁶. Лучше провести самую жаркую пору посевнее, чем на Афоне, на самом припеке, например в Вене, но это дело еще не решенное.

Графине и Вам — мой и жены благодарный поклон и искренний привет. Сегодня я впервые выходил в сад, так как погода была чудесная. В саду были все так называемые «принадлежности» — то есть те мал-мала меньше, ради которых живем все мы, радуясь на них. Эта милая молодежь — возвеселила и меня — увы, бездетного.

Ваш душевно Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 66—67

1. Дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856—1929) — профессор церковной археологии и литургики Киевской духовной академии; активный член ОДДП. В архиве

Общества (в РНБ) сохранились материалы экспедиций Дмитриевского на Афон и в Палестину.

Еще в 1890 Дмитриевский опубликовал свой труд «Путешествие по Востоку и его научные результаты (Отчет о заграничной командировке в 1887/88 году доцента Киевской Духовной академии)» (Киев, 1890). Крупный специалист по древним православным уставам, он издал двухтомное «Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока» (Киев, 1895—1901). Ссылаясь на свидетельства разных русских путешественников, а также и на собственный опыт, Дмитриевский прямо утверждал:

Славянские рукописи и старые предметы славянской эпохи Афонской горы, свидетельствующие об исторической судьбе того или иного монастыря, тщательно скрываются от взоров путешественников в сырых подвалах и чердаках или же самым беспощадным образом уничтожаются («Путешествие...», с. 11—12).

С другой стороны, Дмитриевский рассказывал и о своих необычайно удачных «раскопках» в этих подвалах и чердаках. Разумеется, у такого страстного собирателя, как Смоленский, подобные сведения только подогревали энтузиазм.

Под «Ламбросом» имеется в виду «Каталог греческих рукописей на горе Афон» греческого историка, профессора Афинского университета Спиридона Ламброса (Lambros S. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Vol. I—II. Cambridge, 1895—1900) — единственный в ту пору (хотя неполный и неточный) каталог афонских рукописных собраний.

2. Указанная рукопись интересовала Шереметева в связи с его работой как историка над эпохой Смутного времени. См. также дальнейшие письма Смоленского с Афона.

3. Речь идет о принадлежностях для фотографирования.

4. Высказывание Одоевского находится в его статье «К вопросу о древнерусском песнопении» (см.: РДМ. Т. III. С. 50—60).

5. Как сотрудник Придворной капеллы, А. В. Преображенский должен был испрашивать разрешение на отпуск у министра двора через посредство своего начальника — А. Д. Шереметева.

6. Ягич Ватрослав (Игнатий Викентьевич) (1838—1923) — славист, академик; в то время работал в Вене. Смоленский списался с ним и получил ответ, где подтверждалось, что одна из рукописей венской Придворной библиотеки «есть для нашей цели туз, первой величины фигура XI века» (имеется в виду Стихирарь и Триоди Постная и Цветная XII века, № 136); Ягич прислал и несколько «снимков из Болонской

псалтири с знаками для чтения нараспев». В «Дорожных впечатлениях» Смоленский рассказывает о помощи им Ягича — «на редкость образованного и пламенного славянина».

Успенский Федор Иванович (1845—1928) — крупный византист и славяновед, в 1894—1914 директор Русского археологического института в Константинополе; член ОДП.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 22 апреля 1906

Дорогой Степан Васильевич.

Спешу ответить на любезные строки Ваши. Хотя скоро увидимся (надеюсь, 3-го), тогда спокойно обо всем поговорим, но не могу не предупредить, что я с Вами о Ламбросе не говорил и Вы слышали это от кого-нибудь другого; я же говорил Вам, что на Афоне имеются письма патриарха Игнатия за это время и что эти письма были бы крупной находкой¹. Впрочем, вернее это дело оставить, чтобы гусей не раздразнить и не повредить другому.

Позвольте также напомнить Вам изречение Пруткова — «никто не обнимет необъятного!» Я же не скрою Вам — побаиваюсь расплывчатости, недостаточной определительности самой задачи, склонности к увлечениям в сторону и отсутствия руководства. Ум хорошо, говорят, а два лучше, а тут сразу четыре ума, а вспомните нашу печальной памяти «Семибоярщину», да и крыловская басня может прийти в голову. А когда летят журавли, смотрите — какой порядок, и всегда есть направитель. Впрочем об этом поговорим также при встрече².

До скорого свидания. Будьте здоровы и благополучны.

Преданный Вам С. Шереметев.

РГИА, ф. 1119, № 84, л. 31—31 об.

1. Имется в виду патриарх Игнатий (ум. в 1640), по происхождению грек, который после взятия острова Кипр турками прибыл в Россию, занял при Борисе Годунове место рязанского епископа, затем перешел к Самозванцу и по приказу его был избран Московским патриархом. После смерти Самозванца он был то низвергасм, то снова возводим на престол сторонниками короля Сигизмунда III. Впоследствии бежал в Польшу, где и окончил свои дни.

2. Это письмо Шереметева Смоленский в Афонском дневнике охарактеризовал как «нехорошее» и тут же послал ему успокаивающий ответ (см. следующее письмо).

Смоленский — Шереметеву

[Петербург, 25 апреля 1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Отвечаю без промедления, чтобы рассеять Ваше сомнение по поводу сообщенной Вам находки о Лжедимитрии.

Мы, конечно, отнюдь не разбрасываемся, но твердо и определенно идем только к одной намеченной цели поездки. Цель эта с общего согласия, после нескольких совещаний, была определена в заявлении Обществу в выражениях самых точных: «добыть возможно большее количество фотографических снимков с рукописей, объясняющих появление у нас, уже в начале XII века обширно развитого церковно-певческого искусства».

Поэтому, следовательно, нас интересуют рукописи более раннего периода, чем XII век в России, и потому мы работаем теперь только над предварительною записью всего, что имеется на Афоне сейчас именно от этой поры и ранее ее по части пения греческого и славянского.

Ламброс напечатал каталог всех греческих рукописей всех афонских монастырей, притом же и всякого содержания. Понятно, что, готовясь не потерять и часа на Афоне, мы тщательно и заблаговременно выписываем из громадного каталога Ламброса (6000 номеров) только надобное нам и ничего более.

Но попался на глаза параграф о Лжедимитрии, и я вспомнил Ваши слова и написал Вам. Признаюсь откровенно, я не вспомнил, что Вы говорили мне о письмах Игнатия, и потому не сделал бы такой ошибки.

Мы объединились совершенно, и объединяющая, руководящая часть вручена спутниками мне. Уже по этому одному церковно-певческие дела не могут быть даже отчасти заслонены какими бы ни было другими, и я, конечно, не допущу увлечения в какую бы ни было сторону всю экспедицию, так как в том проявилось бы только ее самоотрицание. В самом крайнем случае, если бы таковой обнаружился, у меня, конечно, найдется твердость «журавля-направителя», и я нисколько не думаю о возможности неподчинения мне, так как слово в том уже было дано и подробности распределения труда уже уговорены между нами согласно и искренно.

В Вене уже найдена надобная рукопись — наиредчайшая — грек XI века, а может быть и ранее. В Есфигмене также найден подходящий Ирмологий. В других монастырях Афона уже найдены Евангелия со знаками для пения наидревнейшие. Следовательно, в общем уже теперь дни занятий на первое время и подавляющее число предметов для фотографирования уже намечены совсем определенно в количестве, в порядке следования и в самом содержании рукописном. На месте от нас, сверх механического фотографирования, прибавится то, что только и может быть добыто на месте, то есть обследование па-

мятника, осмысление его в ряду других, установление его общего и певческого значения. В этом именно культурном труде и скрыт умышленный выбор разносторонних специалистов, имеющих, однако, общее им всем, то есть непоколебимую любовь к науке, выносливость в труде и неудержимое желание использовать настоящую поездку вполне единодушно и сколько возможно производительно и широко для своей церковно-певческой цели.

В этой крепкой вере уже теперь чувствуются радости и сила будущего несомненного успеха. Этою верою мы надеемся увлечь к себе на помощь и надобных людей на Афоне. Чем благословит Бог нас — сказать сейчас, конечно, никто не может, — но вера наша крепка и полна желанием дел — следовательно, и благословение может быть по силе той веры.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5072, л. 209—210

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 16 мая 1906

Как поживаете? Совсем забыли. Ответа посольского еще нет¹. Шереметев

РГИА, ф. 1119, № 84, л. 48. Телеграмма

1. Имеется в виду русское посольство в Константинополе.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 17 мая 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Изнываю я в Петербурге; не одно письмо к Вам было начато, но ни одно не дописалось. В ответ на Вашу депешу скажу еще так: могу ли забыть Вас? Я лишь не в силах перебороть удручающие меня впечатления; мне помешали текущие одесские беспорядки ехать прямо Варна—София—Константинополь, а на Вену — нет билетов от поголовного отсюда бегства в количестве свыше числа мест в вагонах. Поезжай хоть морем на Берлин!

У Извольского я был и оставил ему надобную благодарственную записку за себя и сотоварищей¹. Все научные приготовления к поездке закончены, заказы сделаны, уговоры между нами выяснены, справки надобные получены. Николов и Лавров поедут, минуя Одессу, железной дорогой на Софию 22-го;

я выезжаю 21-го на Границу, Вену, Белград и Софию; Преображенский выезжает прямо в Константинополь через Румянцевский музей в Москве и Севастополь, так же как и я через Венскую Hofbibliothek. Сборный пункт в Пантелеимоновском подворье в Константинополе, ибо пароход на Афон идет 9 июня в 10 часов утра. Таким образом с 10 июня начнется работа до 5 августа включительно.

Венская рукопись XI века (греческая) — восхитительная находка. В ней 265 листов двойной нумерации, и снимки этого откровения для русской музыкально-певческой науки уже заказаны Венскому Графическому институту по крайне дешевой цене по 1 кроне за страницу 18 x 24, всего же 530 крон, то есть около 250 рублей. Эту дешевизну устроил нам наш венский дьякон П. Гр. Преображенский (двоюродный брат нашего)² с Ягичем, и нет слов выразить, какое облегчение и прояснение дает эта случайность нашим поискам на Афоне.

Но во всем остальном, вне науки, Афона и вне своей семьи — переживаю я совершенно удрученное состояние духа, полное недоумения и смутного ожидания тяжких тревог в разлуке. Не могу сколько-нибудь ясно представить себе, что я застану при возвращении домой, что придется узнавать, сидя на чужбине у берега моря? Грядущее почему-то кажется мне крайне резким, и сама кротость науки, самая тишина монастыря, сама теплота юга едва ли уберегут мое бедное сердце. А впрочем — никто как Бог и во всем Его святая воля!

Стихотворение Гречанинову передано³ и от него получен такой ответ: текст короток и особенно развернуться негде; если форма композиции обрисуеться в широкой картине, то придется повторять слова, что всегда невыгодно. Сидя близ Касимова в Истомине, на берегу Оки, ждет минуты, и если она придет — напишется, что скажет душа поэта.

Проводил я и С. С. Волкову на кратковременный отдых в Ушаки (с Марьино княгини А. А. Голицыной) — очень плоха здоровьем наша милая приятельница. Но еще хуже — состояние здоровья ее матери. Я был у нее вчера и, по душе сказать — простился с ней.

Видел я и А. Н. Нарышкину — нервничающую свыше всякой меры. Увижу ее еще раз завтра, ибо она посылает небольшое «поминование» в Руссик.

В доме у Вас все благополучно и все цело и благодушно, сколько могу я судить о том.

Конечно, я буду отводить душу на Афоне письмами к Вам сколь возможно частыми. Но я прошу Вас, по возвращении моем домой, позволить мне вновь просмотреть их и сделать из них для себя надобные выписки. Хотя я и веду дневник моей жизни весьма аккуратно, подробно и ежедневно, но письма к Вам давно уже были обусловлены особою частью, которой нет в моих письмах к кому бы ни было, даже и в дневнике. Со смертью Рачинского мое

сердце выбрало Вас как старшего, как духовного отца, и Вы, конечно, заметили, что с каждым годом мое решение крепнет и обращается в духовную потребность. Поэтому Вы будете иметь сведения с Афона в таком количестве и качестве, которые пригодятся впоследствии и не мне одному. Мимолетные соображения иногда в позднейшем повторении вызывают очень плодотворную работу, а отчет об Афоне мне хочется изложить возможно лучше, со всем арсеналом мимолетных впечатлений и их развития или опровержения. Ведь право же, кроме дела, кроме суровой документальности рукописей, есть на Афоне и доля сладчайшей поэзии вне мира сего! Уже немало страниц написано мною в особой книге, начатой отдельно от дневника, ради Афона; также немало страниц накопилось в «деле», где пришивается вся переписка по поводу того же Афона. Всего этого с текущими впечатлениями, с новостями в областях всяких хватит для многих, даже и очень многих к Вам Афонских писем.

Во всяком случае, если что-либо случится, мой маршрут приблизительно таков: до 26-го включительно — Вена (Hotel Ungarische Krone), 27—30 — Белград, 31—3 июня — София (хотел Булевар), с 4 июня — Константинополь, Пантелеимоново подворье, до утра 9-го.

Затем — простите Христа ради и благословите в путь-дорогу. Прошу прощенья и благословения и у доброй графини Екатерины Павловны, которую прошу, как и Вас, в случае какого-либо несчастья не оставить участием мою жену в Петербурге. Помолюсь за Вас и детей и внучат Ваших всею силою моей молитвы у святой Скоропослушницы и о Вашем здоровье на радость многих. Да хранит Вас Бог всемогущий!

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Жена моя посылает всем душевнейший ее поклон и привет.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5073, л. 59—61 об.

1. Имеется в виду министр иностранных дел (с 1906) Александр Петрович Извольский (1856—1919), который обеспечил экспедиции помощь русской дипломатической службы в Константинополе.

2. Преображенский Петр Григорьевич — диакон русской посольской церкви в Вене.

3. Неизвестно, какие стихи передавал Шереметев Гречанинову через Смоленского, однако из сохранившихся писем Гречанинова ясно, что ответ был не вполне такой, как это излагает Степан Васильевич. Действительно, композитор указывал, что текст короткий, а далее писал: «...Во всяком случае, мне мешает сочинить музыку на этот текст уже одно то, что предложение исходит от господина, испачканного черносотенной грингмутовской краской» (письмо от 5 мая 1906 — РГИА, ф. 1119, № 132).

Смоленский — Шереметев

Петербург, 19 мая 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня был у меня из Министерства иностранных дел г. Ионин и, не оставив меня дома, только и сумел объяснить, чтобы я побывал у него, так как имеется до меня спешное дело. Поэтому я поспешил явиться в Министерство и, к немалому изумлению своему, услышал, что Канцелярия недоумевает по вопросу о том, «как поставить дело? просить ли Обществу Любителей Древней Письменности у Государя *позволения* командировать нас или что-либо другое?»

Я объяснил г. Ионину, что вопрос был об испрошении такой санкции Государя (сам я формулировать ее название по неумению отказался), которая бы, с помощью нашего посла в Константинополе, с помощью обращения г. Министра к тамошнему патриарху греческому, возможно шире растворила двери Афонских библиотек; что ввиду нашего отъезда послезавтра надобны наискорейшие обращения как к этим, так и к другим лицам в Белграде, Софии и проч., ибо запоздание может поставить нас в положение совершенно бессильное.

Г-н Ионин ответил мне: так как не может быть ни малейшего сомнения в получении от Государя полнейше-удовлетворительного и благоприятнейшего ответа, то, несмотря на предстоящий доклад Министра только во вторник 23 мая, Министерство *сегодня же отправит все и всем* надобные бумаги, и мы можем быть вполне уверены, что во всех вышеуказанных пунктах бумаги Министра предупредят наш приезд, и следовательно Ваше желание будет исполнено так, как то было обещано Вам г. Извольским.

Посему — мой и спутников моих Вам благодарный поклон и привет.

Мы выезжаем в воскресенье вечером (21-го) на Вену, ибо на Одессу пути заказаны накрепко.

Мой поклон и привет Вам и доброй графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5073, л. 70—71

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 19 мая 1906

Сердечное спасибо письмо. Дерзайте не унывайте. Шереметев¹

РГИА, ф. 1119, № 84, л. 48. Телеграмма

1. 21 мая участники экспедиции выехали поездом из Петербурга на Вену с пересадкой в Варшаве. 23 мая в Вене они были встречены кузеном А. В. Преображенского — венским диаконом Петром Преображенским, которому тут же были поручены работы по копированию упомянутой выше рукописи из Придворной библиотеки. 24 мая в Вене Смоленский работал в этой библиотеке, встречался с регентом местной православной церкви А. М. Архангельским (в прошлом певчим Синодального хора) и посетил спектакль «Волшебная флейта» Моцарта в Придворной опере (дирижировал Густав Малер). В тот же день Смоленский писал жене, Шереметеву и Волковой (см. в переписке Волковой со Смоленским). 26 мая состоялась встреча с Ягичем. 27 мая рано утром экспедиция выехала в Белград на пароходе по Дунаю, на следующее утро прибыла в Будапешт, 29 мая — в Белград.

Смоленский — Шереметеву

[Будапешт, 28 мая 1906]

Я не в силах Вам описать меру впечатлений сегодняшнего дня. Мы выехали сегодня по Дунаю на пароходе в Белград. Дорога оказалась сплошным рядом восхитительных видов. Пароход по случаю разлива шел полным ходом. Немного мешали надоевшие всем патриоты-венгерцы и студенты-поляки, весь день певшие нелепые песни и крайне плохо. Подоспевшая пара цыганов-скрипачей заставила их замолкнуть своими чардашами. Но Буда-Пест, уже знакомый мне давно, оказался сегодня «городом новых дворцов», выстроенных с необычайною роскошью. Город — превосходен в полном смысле, особенно по чистоте и порядку.

Пора кончать, ибо через 10 минут трогаемся в Белград. Всем поклон.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 68. На открытке с видом Будапешта (Klotild-Palais)

Смоленский — Шереметеву

Белград, 29 мая 1906

Белград принял нас неласково, а в библиотеках — совсем уж плохо в смысле новостей. В таможене несмотря на уверения мои, что мы едем в Софию и пробудем может быть сутки или полтора, так привязались к моим папиросам, что я их бросил на глазах чиновников в воды р. Савы, причем солдаты не утерпели и бросились набивать недолетевшими свои карманы. В библиотеках — крайняя скудость, осмотренная сполна вся в один день. Поэтому сегодня же выезжаем в Софию, куда без остановки в Белграде прямо проследует

П. А. Лавров. До сих пор вспоминаю с восторгом и благодарностью чудесного Ягича. Кланяюсь Вам и Вашим. Юг уже начинает быть очень теплым с темными ночами. Оригинальностей день ото дня более, культуры же — увы! менее.
 Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 69. На открытке с фотографией сербского народного танца

Смоленский — Шереметеву

София, 1 июня 1906

Вот уже третий день, высокоуважаемый Граф Сергей Дмитриевич, как я работаю в здешней «Народной библиотеке». Я пересмотрел уже около 200 рукописей, но пожива для русской науки пока еще очень мала. Зато встретилось нечто совсем новое в пергамене XI—XII века, где на сохранившихся 4-х страницах я, к удивлению своему, нашел что-то очевидно-певческое. Не доверяя своим познаниям, я поднял на ноги здешних профессоров-славистов Милетица и Цонева, пришедших также в недоумение. Кроме этих 4-х страниц, Болгарского пения ни древнего, ни старого, ни позднего решительно не находится. Куда оно подевалось — сказать невозможно, было ли оно записано — до Афонского Зографа сказать невозможно с отрицанием. Тем более загадочны вышеуказанные 4 страницы¹. Вскоре напишу еще. Всем поклон.

Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 70. На открытке с видом Будапешта

1. В «Дорожных впечатлениях» указывается, что, поскольку Белград «не дал ничего нового», экспедиция сразу выехала в Софию, куда и прибыла 30 мая. Тут же Смоленский говорит о смысле своей софийской находки: листах очень старого болгарского письма на пергамене с знаками для чтения на роспев.

Шереметев — Смоленскому

[Михайловское], начало июня 1906

Remercie letters. Compliments (?). Bon voyage. Cheremeteff
 [Благодарю за письма. Приветы (?). Доброго пути. Шереметев]

РГИА, ф. 1119, № 84, л. 59. Телеграмма

Шереметев — Смоленскому

[Михайловскос, начало июня 1906]

Здравствуйте, Степан Васильевич. Приветствую в Софии и надеюсь, что пребывание будет удачнее белградского.

Благодарю за Ваши карточки. Все бумаги от О.Л.Д.П. отправлены в наше посольство в Константинополе¹. У нас погода изумительная и жарко по сие время. Начался сенокос.

Желаю Вам успехов. Поклон Щеглову², а в Константинополе Успенскому.
Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 239. На открытке с видом Плесковских прудов

1. В архиве ОЛДП сохранились копии писем, отправленных в русское посольство в Константинополе; среди них — Патриарху Константинопольскому Иоакиму III, послу И. А. Зиновьеву, директору Русского Археологического института в Константинополе Ф. И. Успенскому и другим.

2. Андрей Николаевич Щеглов — посланник России в Болгарии.

Смоленский — Шереметеву

[София, 3 июня] 1906

Сегодня я покончил свои занятия в здешних библиотеках и завтра трогаясь в Константинополь. Не могу вспомнить, писал ли я Вам о том, что в здешнем посольстве мы встретили радушный прием и самое полное содействие. Относительно научных результатов можно сказать теперь положительно, что в здешних библиотеках я внимательно осмотрел (вторично после 1897 года) более 200 рукописей, между которыми много отличных пергаменов, но ни единой строки Болгарского пения. Тем более возбуждающими становятся поиски на Афоне. С найденных трех обгорелых листов Триоди постной с певчими знаками для священника заказаны фотографии с помощью здешнего Министерства Народного Просвещения. Эта находка — совершенно мне непонятная новость, но певческое ее значение несомненно, ибо знаки мне были знакомы ранее и они отчасти сходны с греческими и с Болонскою болгарскою Псалтирю. Всем мой поклон. Из Константинополя напишу непременно¹.

Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 71. На открытке с видом Софии

1. Экспедиция (кроме Николова, оставшегося улаживать свои личные дела в Болгарии) отбыла в Константинополь 4 июня, прибыла туда 5 июня.

Смоленский — Шереметеву

Константинополь, [6 июня] 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич! Прибыл с Преображенским сюда вполне благополучно вчера, и вчера же начались всякие хлопоты у властей. «Патриарха нет дома» — сказали, и действительно мы его встретили. «Посол извиняется — крайне занят и просит обратиться к первому секретарю», — а сам он сидит на балконе... Впрочем, неожиданное: от патриарха доставят бумагу сегодня с частным письмом. Оказывается, что мое звание почетного члена здешнего Музыкального Общества очень пригодилось на сей раз. А я, признаться, забыл о таком своем титуле, важном в глазах Председателя-Патриарха¹. Сегодня я был в Буюк-дере², и первый секретарь г. Нелидов, по-видимому, внял моим мольбам, обещав прислать на завтра ко времени отъезда надобные бумаги в Лавру и в Ивер, как наиболее враждебные русским. В Ватопед будет письмо от Ф. И. Успенского. С ним вчера вечером был большой и интересный разговор, хотя и не особенно веселый для русского. Наш престиж после войны и вследствие последних событий пал здесь до небывалой степени, и вражда ко всему русскому более не скрывается, тем более на Афоне. На днях там был разбой, и русского игумена едва выкупили из плена за 10 тысяч франков, проморив его в лесу несколько дней. Этот случай всполошил даже здешнее сонное писчебумажное, но — не активное посольство, где мне посоветовали купить каждому из нас по браунингу. Я отказался, ибо не могу вообразить себя, а тем паче П. А. Лаврова с оружием в руках. Завтра едем с греческим пароходом, ибо «отечественных» совсем нет³. Мой поклон, как и спутников, Вам от всего сердца.

Ваш Ст. Смоленский.

Письмо опоздало с отправлением, тем временем надобные бумаги от Пюсла и Патриарха получены.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 72. На открытке с видом Константинополя

1. Константинопольское музыкальное общество — то же самое, членами которого стали еще в 1860-х годах В. Ф. Одоевский и Д. В. Разумовский (через посредство архимандрита Антонина (Капустина); подробнее см.: Князь Владимир Одоевский. Дневник. Письма. Материалы. М., 2005. С. 458—464). В архиве ОЛДП (в РНБ) имеются поздравительные письма и почетный диплом Константинопольского музыкального общества, который был присужден Смоленскому 14 октября 1899.

В Константинополе Смоленский сразу же отправился в Русский археологический институт к Ф. И. Успенскому, который, как и рассказывается в письме, дал подробные инструкции по поводу поездки на Афон.

2. В Буюк-дере находилась летняя резиденция русского посольства, где Смоленский должен был получить рекомендательные письма.

3. Экспедиция выехала на Афон 8 июня и остановилась в русском Пантелеимоновом монастыре.

Смоленский — Шереметеву

Афон, Пантелеимонов монастырь, 11 июня 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Наконец-то мы достигли и Афона. Отъезд из Пантелеимонова подворья в Константинополе осложнился внезапно обнаружившеюся надобностью взять дополнительные паспорта («тешкере»), так как наше путешествие по Османской империи причислено к продолжительным, притом же гуртовым и ученым. Точно так же и в нашем багаже, хотя и заказанном в Константинополе заблаговременно по фотографической части, усиленно подозревали почему-то наше намерение провезти на Афон если не синематограф, то хотя бы картинки для синематографа. Поэтому таможенные обыски в Константинополе, хотя и смягченные бакшишами, все-таки привели чуть не к перерытию всего багажа и даже к вскрытию светочувствительных пластинок. Но бакшиши, виртуозно вручаемые монахами Пантелеимонова подворья и открыто простираемые турецкими таможенными чиновниками на своих ладонях для счета полученной суммы, — скоро облегчили дело.

Путешествие от Константинополя до Афона состоялось в обществе двух русских настоятелей Афонских скитов и патера-иезуита из поляков. Излишне Вам описывать благополучный переезд по изумрудной поверхности южного моря! Погода была прелестная, хотя перед Афоном и было желание стихий покачать нас. По дороге уже в Пантелеимон пришлось изумиться тем орлиным гнездам, которые обращены в келлии и в которые можно попасть только в корзинах, спускаемых иноками к плывущим по морю лодкам. Такое радикальное средство для достижения одиночества указывает одновременно и на меру трудов, которыми можно было выстроить именно в таких местах хотя бы маленькие келлии; то же средство указывает, что решаются вынести келлиоты в мере лишений по части не только молитвы в церкви, но даже и в еде. Случается, говорили мне спутники-настоятели, что спущенные корзины не получают ничего от проезжих рыбаков и богомольцев, почему и неизвестно в точности, в какой мере велики иногда лишения таких иноков-отшельников.

Я видел пока до 50 таких келлий прямо над морем в отвесных скалах, и мне говорили, что доступ к некоторым из них не то что на мулах, а и пешеходам сопряжен с самыми крайними опасностями, усугубляющимися после дождя или при ветре. Но живописность этих поселений, при виде их с парохода, можно только почувствовать — описать эти картины я решительно не в состоянии.

В Пантелеимоне нас встретили очень радушно, поместили отлично, отметили великим почетом и, наконец, кормят нас вне монастырского порядка всякими здешними кушаньями, до осьминогов, или спрутов, включительно. Ходим мы и в церковь, чтобы послушать пение и поглядеть дремлющих старцев в их «стасидиях». Конечно, присутствие на службах от начала и до конца — вещь для нас вполне невозможная. Например, сегодня всенощная началась в 8 часов вечера и кончилась в 5 1/2 часов утра, то есть длилась 9 1/2 часов. Простоять такую службу непривычному человеку невозможно. Я говорю это потому, что и привычные старцы весьма откровенно спали на этой всенощной в полу-сидячем положении, склонив голову на стасидию. Это происходило после полуночи, так как моих сил хватило только до Шестопсалмия, которое началось в 1 1/4 часа ночи, то есть через 5 часов после начала службы. Как ни странно, как ни дико было пение двух протопсалтов-греков (в главном храме — поют и греки, в память того, что монастырь был когда-то греческий и в уважение 30—40 монахов-греков, не желающих знать по-русски ни слова), как ни антихудожественны были голосовые выверты этих двух безголосиц, — все же для меня это пение было новостью, полную глубокого интереса. Оказывается, что о моем прибытии телеграфировал сюда патриарх, и потому мне придется, вероятно, послушаться художества протопсалтов в мере, достаточной для восприятия их искусства. Вчера они, очевидно, старались и выводили такие рулады, которые удивляли меня своею быстротою и неожиданностью. Но невозможная гнусавость, неуменье мое разобраться, в каких именно греко-церковных ладах раздавались эти дикие рулады, отравляли всю мою радость от этой новости. Это был сущий Katzenkonzert [кошачий концерт] высочайшего возбуждения.

В библиотеке мы работали уже третьего дня вечером и вчера весь день. Сегодня — полный отдых. Завтра едем в Карею, Кутлумуш и Андреевский скит, а также и для представления членам Протата — всяким эпистатам, антипросопам и т. п. Здешний настоятель Мисаил дал нам проводника (он же и фотограф) — так что проводник-переводчик-фотограф может оказать нам крайне важные услуги, и мы прямо порадовались такому выбору настоятеля¹.

Более подробные сведения я сообщу Вам несколько времени спустя. Сегодня мы узнали очень поздно о предстоящей возможности послать письма, да и время отправки уже подходит, а я еще не кончил письмо к жене. Но подробности у меня не утрачиваются, так как я веду самый подробный дневник нашей экспедиции. Этот дневник со временем, несомненно, сослужит добрую службу.

Поклон от меня Вам и доброй графине с пожеланиями Вам всякой радости.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5073, л. 253—254

1. Схиархимандрит Мисаил (Сапегин; 1852—1940) жил на Афоне с 1876, в 1905 был избран наместником, а затем игуменом Пантелеимонова монастыря; оставался в этой должности почти 35 лет, до конца своей долгой жизни. Документы свидетельствуют, что во многом благодаря духовной мудрости и твердости игумена Мисаила обитель выдержала тяжелые времена и не пришла в разорение, полностью сохранив свой устав.

Фотографом-проводником в поездке экспедиции по монастырям был инок Гавриил.

Смоленский — Шереметеву

Афон, 19 июня 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Со вчерашнего после-обеда монастырского мы находимся в Лавре св. Афанасия, куда, во избежание 8-часового качания на мулах, нас любезно доставили на парохоме. Путешествие это было очаровательно, так как погода была отличная, море было спокойно, а берега Афона с его крепостями-монастырями — неописуемо красивы.

Я пишу Вам из Лавры, пользуясь тем, что приходится отправлять нарочного в Пантелеимон, так как уже сегодня мы обедняли запасом взятых пластинок. Это произошло потому, что вместо одной-двух редчайших рукописей мы нашли их в первое же посещение библиотеки целых семь.

Такая находка, без сомнения, случилась от изысканно-любезного приема, который получился от представленных нами рекомендаций. Любезность дошла до того, что монахи объявили излишними для нас какие бы ни было рекомендации. Достаточно-де и того, что мы слышали уже из газет, из журналов о Вашем сюда приезде, что Вы — авторы и т. п.

Рукописи здешние — одна прелесть, и мы стали от них тем более счастливыми, что нам предложили немедленно перенести их для занятий в нашу комнату. С другой стороны, мы думаем, что во вторичное и последующие посещения библиотеки мы найдем и еще, и еще.

Сегодня мы сфотографировали полный Октоих XI—XII века, с приложенными к нему заупокойными стихирами и, что самое главное, с азбукой этой загадочной нотации! Снято 106 страниц в один день.

Работает и П. А. Лавров, нашедший для Археографической комиссии житие св. Трифона, никому еще не известное.

Вот и все новости после недавнего письма к Вам.
Кланяюсь графине и Вам от всей души.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Р. S. Какое наслаждение не читать газет и не волноваться от политики среди здешней тишины!

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5074, л. 37—37 об.

Смоленский — Шереметеву

Афон, Лавра св. Афанасия, 22—25 июня 1906¹

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Между славянскими рукописями Лавры нашелся синодик, в котором поминание начинается ни более ни менее как с «праотец наших Адама и Евы»; в числе колоссальных записей начала XVII в. (ибо царь Михаил записан позднее и лишь за здравие) значится несколько сот именно за здравие и за упокой всех монахинь Новодевичьего монастыря; на стр. 57-й (рукопись без №) значится:

«Род боярина Феодора Ивановича Шереметева:
Феодора, во иноцех схимника Феодосия,
Иноку схимницу Александру,
Иноку схимницу Евфросинию,
Иноку схимницу Феодосию,
Иоанна, Иосифа и их сродников и всех православных христиан
(приписано позднее),
Иноку схимницу Анисею,
Иноку схимницу Александру».

Вот небольшая находка и для Вашего рода, найденная среди всякого рода сербских, болгарских, румынских и очень многих знатнейших русских и малорусских фамилий, напр. Одоевских, Черкасских, Милославских, Стрешневых, Пальчиковых, Львовых, Колтовских, Волинских, Салтыковых, Пронских, Морозовых, Пожарского, Трубецких, Прозоровских, Буйносовых, Хитрово, Выговских и т. п. Нотно-славянских рукописей здесь не оказалось.

Сегодня кончаем работу в Лавре и трогаемся в Филофей и Каракалл, а потом в Ивер. Жатва здесь была хорошая, главным образом по содержанию рукописей, из которых только одна плохого писца, все же остальное отличных писем. Оказалось затруднительным, однако, проявление негативов, так как сколько-нибудь удобной темной комнаты здесь не нашлось, а в помещении избранном, несмотря на всякие затычки, свет все-таки проникал. Но это была беда небольшая. В будущем можно ждать худшего, так как

кроме Ивера, Ватопеда и Зографа будет ряд совсем второстепенных монастырей и библиотек.

25 июня. В Ивере библиотека и вообще весь монастырь оказались очень значительно пострадавшими от землетрясения, бывшего 25 октября. До сих пор идут энергичные работы. В библиотеку советовали не ходить, так как своды ее лопнули вместе со всеми сводами главной церкви, в которой находится теперь и собранная кое-как ризница.

Но две главных рукописи нам все-таки достали и дали в № архондарика, то есть приемной гостиницы. Эта гостиница так же разрушена, как и все более высокие здания, так как колебания почвы были горизонтальны. Мы живем в нижнем этаже, хотя и полном трещин и всякой осыпи, но еще стоящем пока.

Евангелие VIII века (№ 1) с певческими для дьякона знаками — вполне несравненная вещь, сохраненная удивительно. Лучшего письма, лучших заглавных букв и рисунков я никогда не видал ни на каком языке. Мы сняли с него 5 страниц.

Ирмологий певчий XI века также удивительно хорош, имеет несколько поправок, удостоверяющих своею незначительностью, что рукопись была изложена мастером своего дела и что поправки, сделанные, очевидно, певцами-практиками, не нашли многого для поправок. Снято 28 страниц двойных.

Остальных рукописей мы не видали, так как в помещение библиотеки действительно войти страшно. Все своды подперты бревнами, — но что значат такие подпорки при ежедневных почти колебаниях почвы? Нам сказали, что архитектор свидетельствует библиотеку ежедневно, так как кирпичи из потолка падают на пол библиотеки также ежедневно.

«Скнипы», то есть нечто меньшее наших мошек, величиною не более этой точки, но с крылышками, — совсем заели нас. Мы ходим теперь все покрытые чрезвычайно зудящими болячками. Велят отнюдь не чесаться, и мы уже чувствуем верность совета, моемся скипидаром, — а муки те же самые. Недаром же это самые «скнипы» были посланы в числе 10 казней на ветхозаветный Египет. Именно казнь!

Вчера между делом мы были в монастыре Ставро-Никита, что в 25 минутах езды на лодке. Рукописи, имеющиеся там, как и ожидалось, не представили ничего интересного. Но монастырь — сущее ласточкино гнездо на высокой скале над морем. Монастырь мал, беден и очень тесен и стар. Монахи предложили нам полюбоваться их греческим пением за вечерней. Стыдно и вспомнить, сколько грехов я принял на душу, слушая их «неистовое козлогласование». Моление закончилось прибытием здешнего «каймакама» (то есть исправника) — сущего красавца. Лодочник-монах, однако, уверил, что такого взяточника давно уж не было на Афоне, и этот, назначенный всего 2—3 месяца назад, уже сумел значительно облегчить монастыри, беря за все и помногу, даже и за визит.

Вот все последние новости.

Вам и графине поклон глубокий.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 73—74 об.

1. В Лавре св. Афанасия экспедиция находилась с 18 по 22 июня; 12, 13 и 15 июня Смоленский отдельно ездил в Андреевский скит, Карею, Кутлумуш, Пантелесимон, Ксиропотам; с 22 по 24 июня экспедиция находилась в Ивере, затем 25 — 26 в Ватопеде, 27 — 28 в Есфигмене, 28 — в Хиландаре, с 29 июня в Зографe, 2 июля вернулась в Пантелесимон.

Смоленский — Шереметеву

Афон, Пантелесимон, 5 июля 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

От себя и товарищей прошу Вас принять поздравления с днем Вашего ангела и всякие наилучшие Вам пожелания, начиная с покоя душевного и здоровья телесного.

Прошу также передать мой сердечный привет графине Екатерине Павловне и всем Вашим, собравшимся на дорогой всем Ваш семейный праздник.

Не могу сообразить отсюда, судя по Вашим редко доходящим до меня строкам, доходят ли мои письма до Вас? Это письмо по крайней мере 6-е или 7-е с Афона, так как я не пропускаю ни одного случая писать Вам и своей жене. Но ответы получаются здесь крайне туго. Последнее Ваше письмо имею лишь от 8, а от жены 12 июня. Судя по нумерации писем жены, церемонятся здесь с письмами из России очень мало. Тем не менее я пишу Вам с надлежащею подробностью обо всем. К тому подвигает меня желание скорее всего ознакомить Вас с нашими новостями, равно и собиравание путем таких писем тех материалов, которые потом пригодятся для отчета.

Теперь первая половина деятельности экспедиции закончена. Мы объехали весь Афон, видели все надобное, сняли все главнейшее и обсудили все необходимое на ту и другую меру находки по славянской музыкальной части, в которую плохо верилось заранее.

Находки, сделанные нами в Лавре, Ивере, Ватопеде, Есфигмене, Кутлумуше и Андр[еевском] Ските — огромны и поразительны для греческого пения. Тем печальнее самая полнейшая неудача по части славянского искусства. В греческих монастырях мы видели много преплохих славянских рукописей, среди которых, однако, не имеется ни одной, ни даже ни одной страницы с какими-либо нотами или со знаками для чтения на распев. В Хиландаре и в Зографe мы пересмотрели все и убедились лично, хотя и с глубокою скорбью, что слова «нѣма нѣщо» — жестоко верны.

Тогда определилось окончательно, что дальнейшее участие в наших поисках проф. Лаврова совершенно не надобно и он может свободно отделить-

ся от нас, оставшись среди дорогих для русской науки Хиландарских рукописей. Лаврову теперь с нами действительно делать нечего.

Тогда же определилось, что экономия в числе снимков греческого пения, имевшаяся в виду ради славянского, должна быть брошена совершенно и что нам предстоит осмыслить нашу 3-ю поездку по Афону как пополнение и возможно значительное расширение найденных греческих материалов.

Но и эта цель оказывается не вполне достижимой. Нами найдено, не считая обрывков и не считая рукописей со знаками для чтения *на роспев* (Евангелия, Апостолы и т. п.), 12 певческих рукописей X, XI и XII в., в которых имеется свыше 1800 страниц двойной нумерации, то есть, собственно говоря, 3600. Ни время, ни качество наших инструментов, ни количество наших рабочих сил, ни, наконец, наши денежные средства не позволяют сделать снимки даже с половины найденного. Наше оправдание будет состоять в том, что мы прежде всего воздержимся от снимания всего того, что может быть названо дубликатами (в строгом смысле — этого, однако, нет) и что по своему тексту богослужебному может быть названо второстепенным, например, малые праздники в сравнении с двенадцатыми или рядовые недели Поста в сравнении со Страстною неделю и т. п. За такими исключениями остальной труд представляет собою значительную законченность, многосторонность и подробности в своем содержании. Регулятором этого содержания будет собрание фототипий, заказанных мною в Вене с рукописи Hofbibliothek. Эти 600 с небольшим снимков выяснились нам только теперь в своем огромном научном значении. Очевидно, что уже 200 лет назад некто «Dr. Angerius de Busbeck» понимал дело и приобрел для Вены рукопись 1-го разряда. Это совсем не то, что наш Арсений Суханов¹, и не подумавший в свое время на Афоне о русском церковном пении.

Сами мы все-таки не успеем снять всего надобного, и потому здешние фотографы-монахи нашими камерами dokonчат надобное после нашего отъезда. Мы работаем не покладая рук.

С такими результатами, как ни жалко отсутствие славянского пения, нам будет не стыдно возвратиться домой. О мере поучительности найденного — по правде скажу — боюсь и думать. Одно только для меня несомненно: моя мысль о том, что русские, получив от греков нотацию, вскоре пошли вперед по своей дороге, — теперь окрепла в моей голове и от бывших предположений переходит в мотивированное утверждение. Снимки с греческих рукописей X века несомненно подтверждают это мнение.

Затем результат видится в возможности разобраться наконец-то в нашем «самом прекрасном демественном пении», оказавшимся очень близким по своим знакам с обоими видами греческих «kalofoniká»; точно так же теперь же просветляются горизонты русского кондакарного знамени, ибо множество знаков найдено нами новых, поясняющих взаимно свое музыкальное значение.

Наконец, высоко интересно пение родов «псалтика» и «сіндома», то есть простого и обиходно-гласового, ибо тут первоначальное родство изложения и затем самостоятельный ход развития русского искусства уже очевиден, несомненен и, так сказать, самодоказателен.

Эти результаты — суть только первые впечатления, так как нам самим совсем некогда поглубже вникать в дело. Но отсутствие славянского пения дает некоторую новую краску всему вышеизложенному. По совести говоря, я не верю в причитывания здешних славян о том, как греки систематически истребляли славянские певческие книги. Почему же именно только певческие? Почему сотни, тысячи других славянских книг не истреблены греками? Я скорее склонен думать, что пение вблизи греков, хотя и было, но не успело развиться так, как например то было у нас, вдали от греков. Незначительностью объясняю я и то, что до сих пор нигде неизвестно это пение (болгарское и сербское) по древним рукописям и они даже в прежнее время не обратили на себя внимание ученых Европы, почему о славянских рукописях не слышно и в библиотеках западных.

Рукописи со знаками чтения на роспев (например Евангелия) у славян несомненно были, и найденные мною в Софии 6 страниц с канонем Андрея Критского несомненно то доказывают, как и известный Куприяновский лист русского Евангелия XI века в Императорской Публ[ичной] Библиотеке. Но какая же это капля в море в сравнении с богатствами и несравненною красотой оставшегося от греков! Во всю жизнь мою не видывал ничего подобного Иверскому Евангелию VII—VIII века или Хиландарскому экземпляру. Греки даже и во внешности письма, даже в выделке пергамена в то время уже достигли пределов человеческого искусства. У нас нет ничего подобного. Тем более приятно здесь подчеркнуть неоспоримое первое место русских среди всех других славян, даже и западных, соприкоснувшихся с католическим искусством. Наша каллиграфия и миниатюры много выше польского, чешского и словинского искусства. Как ни далеко нам до греков, все же и мы вкладывали в наши буквы и заставки много чувства и высокого дарования, не проявлявшихся сколько-нибудь изящно и старательно у других, особенно же у болгар и сербов. Это — совсем мужики, а не художники.

Но в мелодической части и по части способов изложения мелодий новоизобретенными знаками не будет преувеличением, если мы скажем, что ученики-русские пошли дальше и отдельно от своих учителей-греков. Это положение отнюдь не рискованно, и чтобы высказать его спокойно и уверенно, стоило съездить на Афон и вытерпеть здешние лишения, жару и пр.

Кончаю, ибо нет сил писать еще. В 10 1/2 утра уже 40° на солнце и все спит, затворясь от дуновений раскаленного воздуха. Я понимаю здешние именно «всенощные», то есть службы с 8 1/2 ч. вечера до 5 ч. утра, — лучшего времени, лучшего воздуха, лучшей тишины нет на Афоне, как именно в эти часы.

Мой привет Вам и доброй графине. Я помолился о Вас и о «чадах ваших» недавно в Дохиаре у знаменитой «Скоропослушницы»².

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 75—76 об.

1. Арсений Суханов (ок. 1600—1668) — церковный деятель и писатель, инок, путешественник, в 1653 был послан на Афон для приобретения древних рукописей, коих и собрал более полутысячи и привез в Москву.

2. Об этом молебне см. в письме к Волковой от того же числа.

Смоленский — Шереметеву

Афон, Пантелеимон, 16 июля [1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Мы только что возвратились из второго путешествия в Лавру, где использовали до последней страницы все то, что ведет к исполнению целей экспедиции¹.

Рукописей в Лавре всех 7, а на Афоне с ними всего 12. Таким образом добрая половина (и самая важная) оказалась в Лавре. Это заключение получилось после того, как мы объехали весь Афон, осмотрели все главные библиотеки и пересмотрели все главные рукописи.

В первое путешествие мы твердо верили, что нам удастся найти немало славянских страниц, хотя бы обрывков. Поэтому мы сэкономили на фотографировании греческих рукописей, чтобы оставить место славянским. Но когда посещения Хиландаря и Зографа безжалостно подтвердили, что действительно от славянского искусства на Афоне не осталось ничего, не только ни одной рукописи, но даже и ни одной случайной страницы, — тогда было решено: 1) отделать П. А. Лаврова для работ по славянству за счет экспедиции, но в таком направлении содержания его работы, которое бы имело прямой интерес для Общества Любителей Древней Письменности, и 2) составить наиполнейшую греческую коллекцию снимков, чтобы считать на будущее время эту часть в истории русского церковного пения выясненной окончательно.

Поэтому мы поехали во второе путешествие по знакомым уже местам и к знакомым рукописям. В первое путешествие мы оставили описание всех рукописей и сделали с них (не считая Евангелий, Апостолов, Паремейников и др. со знаками для чтения на роспев) всего только около 250 снимков. Во вторую поездку было сделано только в Ивере до 125 и затем в Лавре свыше 600. Теперь остается для окончания путешествия съездить в соседние между собою

Ватопед с Есфигменом, и наша деятельность по фотографированию будет закончена. В этих двух монастырях мы имеем снять до 200 с небольшим снимков.

Снимки П. А. Лаврова готовятся им отдельно от нас, и в доставлении их в О.Л.Д.П. он возьмет заботы на себя.

Вообще, если не считать за неудачу отсутствие славянских певческих рукописей (то есть обстоятельство, в сущности, от нас не зависящее и к тому же отчасти предвиденное), наша экспедиция может возвратиться домой с полным удовлетворением. Этому и вторит снятие 600 снимков, заказанное мною с превосходных Венских рукописей и уже оплаченное.

Но здесь начинается третья, притом совсем уже неожиданная часть нашей работы. Мы никогда не жили в комнате с 3-мя кроватями и с почти 1000-ю негативов, то отпечатанных, то неотпечатанных, то уложенных к отправке в Россию, то неподдающихся к упаковке за неразысканием к ним какого-нибудь запропастившегося негатива. Памятуя, что мы имеем дело со стеклом, или с кипами светочувствительной бумаги, или с отпечатками, еще испытывавшими вираж и фиксаж, — мы сами вдруг притихли, чтобы что-либо не толкнуть или не открыть и т. п. Такое смирение повлекло за собою неожиданную тихость наших не только движений, но даже и негромкость наших речей между собою, даже и еще более оригинальные проявления осторожности всякого рода, даже и довольно смешные.

Классификация негативов и снимков с них оказалась делом очень трудным. От одновременности проявления негативов, их высыхания, их упаковки после приготовления отпечатка, от постоянного и вынуждаемого нарушения нами же самими порядка следования страниц рукописи, классификация негативов и снимков оказалась полною самых досадных хлопот и поисков. Негативов и отпечатков у нас в руках — непривычное никому из нас число — сущее множество. Все они похожи один на другой, так что нужно вглядеться в каждый (особенно же в древнегреческий и крюковой!), чтобы определить его место и поместить туда, где ему следует быть, между подобными ему соседями. Особенно тяжелы при этом случаи, когда в самой рукописи был утрачен какой-либо лист и потому нет связи между концом текста одной страницы и началом следующей. Да и дело-то для глаз оказалось непривычное, мелкое и по содержанию текстов совсем незнакомое.

Последнее обстоятельство в один из дней даже повергло нас в хандру. Оказывается, что наши богослужебные книги современные, как славянские, так и греческие, разнятся от употреблявшихся в XI—XII веке самым коренным образом. Множества нынешних текстов нет совсем в рукописях и, наоборот, множества рукописных текстов нет в печатных книгах. Таким образом пришлось взять за исходный пункт сортировки не печатные тексты, легко читаемые, а письменно-древние, притом же и уменьшенные в фотографических снимках. К счастью нашему тут пришел к нам на помощь здешний библиотекарь о. Матвей — очень умный и образованный монах,

притом же и выказавший неоднократно и на деле самое полное сочувствие и содействие нашему делу². С его помощью теперь дело налаживается, и путаница, постоянно заводящаяся, распутывается теперь при его помощи довольно легко.

Письмо это я отправляю с попутчиком Антонином Викторовичем Преображенским, то есть членом экспедиции, кончившим уже свои с нами занятия и возвращающимся в Капеллу к 1 августа. Он мог бы пробыть с нами и еще одну неделю, но нынешние непорядки пароходные и железнодорожные могут вызвать опоздание его в Капеллу, — поэтому и решено расстаться с ним, Антонином Викторовичем, теперь, не рискуя попасть под гнев графа Александра Дмитриевича³.

Я остаюсь здесь еще недели на 2—3, чтобы привести все в порядок, уложить, кое-что из неудавшегося, пропущенного починить, дополнить и проч. К 15 августа вероятно и я буду на родной стороне. Тогда и разговоры на словах.

Графине мой поклон и привет.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 77—78 об.

1. Вторая поездка экспедиции в Лавру состоялась 8—15 июля.

2. О талантливом и высокообразованном библиотекаре Пантелеимона старце Матфее Смоленский подробно рассказывает в статье в РМГ и в Афонском дневнике. Письма о. Матфея к Смоленскому после отъезда экспедиции с Афона хранятся в фонде Смоленского в РГИА (ф. 1119, № 84) и частично опубликованы Е. А. Борисовец (см.: Борисовец Е.А. «Помнящий Вас с любовью о Христе... смиренный инок о. Матфей» // Древнерусское песнопение. Пути во времени. Вып. 2. СПб., 2005. С. 238—259).

3. А. В. Преображенский выехал с Афона вечером 16 июля. На следующий день Смоленский начал писать отчет об экспедиции. А. Николов уехал 26 июля.

Шереметев — Смоленскому

[Михайловское, 26?] июля 1906

Remercie vivement. Revenu Petersbourg. Madame bien portante. Cheremeteff [Сердечно благодарю. Вернулся в Петербург. Ваша супруга благополучна. Шереметев]

РГИА, ф. 1119, № 84, л. 93—94. Телеграмма

Смоленский — Шереметеву

[Афон], 28 июля 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич! Я только что заскучал на Афоне, я уже утомился настолько, что даже в дневнике своем записал, что сижу здесь один, писем нет ни от кого, а от Вас уже давно, почти 2 месяца нет никаких бодрящих работу новостей. Запись моя сделана вчера вечером, сегодня же утром — вдруг Ваша депеша!

Благодарю Вас за нее от всего сердца. Я сижу здесь уже 3 дня один-одинешенек, так как Преображенский заторопился быть к 1 августа на службе в Капелле, чтобы не опоздать к явке из отпуска; а Николов уехал третьего дня, так как все их дела по экспедиции кончены. Лавров — утонул в Хиландарской библиотеке и восторгу его нет конца, так как он откопал там несколько десятков совсем неизвестных в науке хрисовулов (то есть указов сербских и болгарских царей) и ему позволили снять с них фотографии.

Я сижу здесь один за трудной работой сортировки негативов и отпечатков. Тех и других — множество, все похожи один на другой и потому каждый надо рассматривать, чтобы рассудить, в какую партию или коробку вместить его для отправки в Петербург. Мой отъезд отсюда назначен 10 августа, но я все-таки не надеюсь довести эту сортировку здесь до конца. Дело это очень трудное, кропотливое и утомительное. Более 9—10 часов в день нет у меня сил работать.

Отчет по поездке уже написан мною вчерне. Мы нашли 12 рукописей и сделали с них почти 1000 снимков, каждый по 2 страницы. Одиночных страниц, кроме надобных случаев, мы не снимали и потому их очень немного. Судя по всему экспедиция возвратится из путешествия с глубоким чувством удовлетворения своей любознательности и исполнения своих обещаний.

Разумеется, эти слова относятся к нам, певцам. П. А. Лавров не без сожаления смотрит на наше неуменье понять всю радость славянской науки по поводу находки им хрисовулов. Каюсь в том и я: как Лавров равнодушен к нашим восторгам от крюков, так и мы не в силах найти в себе восторг от неизвестных и бесполезных для пения хрисовулов. Несмотря, однако, на такое разногласие между нами — несогласие мирского рода ни разу не омрачило нашу почти двухмесячную здесь работу, и дружба членов экспедиции была самою ясною — как здешнее прелестное небо.

Я и Преображенский — совершенно уничтожены массою неожиданных церковно-певческих новостей, и мы сами еще не могли решить, хватит ли у нас ума и знаний, чтобы надлежаще понять их, разобраться в них и хоть сколько-нибудь широко использовать в интересах истории русского церковного пения. Горька была недавняя бедность — но что же делать с привалившим несметным богатством? Пока — голова идет кругом и мы мечемся от одних новостей к другим, а порядка и возможности самим осмотреться — далеко нет.

Николов — болгарский патриот и греконенавистник — совсем нос повесил. Он-то мечтал здесь найти болгарские крюковые [книги]! Вместо того — жестокое повсюду «нема нищо», да еще как бы ему в досаду — греческие находки одна за другою и наши по их поводу ликования!

О Лаврове — говорить не могу, этот ученейший профессор — совсем не от мира сего грешного. Все его разговоры с нами кончались только его вопросами: да неужели? да может ли быть? да что вы? да как это? и т. п. Он решительно ничего не знает, не понимает, не признает и не интересуется, кроме сербских, болгарских флексий, и ему решительно все равно, что кругом его, лишь бы пахло около него затхлою рукописью, а рукопись та была бы сербская. Он привезет в О.А.Д.П. свыше 200 фотографий, конечно, всемирного и всевременного интереса, так как, если что и существует на свете порядочного — так это сербы да формы старо-сербского языка. Нынешние негодные сербы — жалкие потомки великих когда-то сербов! Обществу Любителей Древней Письменности надо обогатиться, наконец, и стать в изучении сербства на первом месте! И т. д.

Впрочем, мои рассказы Вам об очаровательном Афоне — дело будущего и притом недалекого. Если меня отпустит жена в Москву вскоре по приезде домой, — прошу позволения побывать на Михаила Архангела у Вас.

Возвращаюсь я домой с легким, радостным сердцем, но усталый от многой здесь работы, и потому думаю отдохнуть в Петербурге с недельку, если только будет возможность. Графине мой сердечный поклон. Вас искренне благодарю за все.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 79—80

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 6 августа 1906

Дорогой Степан Васильевич! Не решаюсь писать Вам на Афон, пусть эти строки встретят Вас по возвращении в Петербурге. Ваше письмо от 28 июля только что получил. Радуюсь обильной жатве в столь неурожайное время. Могу себе представить интерес всего Вами узнанного — и какую принесет все пользу.

А в Петербурге прежде всего отдохните как следует; ведь усталость всегда появляется, когда наступает спокойствие. Счастлив и я, что ушел из столиц и живу здесь. Пока тихо и благополучно. Яблоков несть числа...

Впрочем всякое новое [?] не лучше прежнего, но я уже притупился — и так как помочь ничем не могу, говорю «Да будет воля Твоя» — и ухожу в прошлое. Оно и по возрасту.

В Капелле шатание: мой брат хочет уходить — потому что ему навязали Архангельского — а жена его удерживает и не пускает уходить¹. Бог с ними. Нас утешали здесь все 16 внуков, а теперь ожидаем 17-го №.

Будьте здоровы и благополучны. Поклон Вашей супруге, которую я видел в июле.

Искренно и сердечно Вам преданный С. Шереметев.

За обер-прокурорами не угоняешься, они чередуются как в калейдоскопе².
Оле безумия!

РНБ, ф. 855, № 30, л. 241

1. Н. С. Кленовского в должности помощника начальника Придворной капеллы сменил в 1906 не А. А. Архангельский, а Н. Ф. Соловьев; граф А. Д. Шереметев остался на своем посту.

2. После ухода К. П. Победоносцева в октябре 1905 и до августа 1906 пост обер-прокурора занимали А. Д. Оболенский, А. А. Ширинский-Шихматов и П. П. Извольский (последний до февраля 1909).

Смоленский — Шереметеву

Афон, 9 августа 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня, 9 августа, во время боя двух часов дня по-восточному, а по-нашему — 10 часов утра, я кончил, наконец, работу на Афоне и, положив три земных, в умилении сердца, истовых поклона, поклонился благодарно и в Вашу сторону.

Пишу к Вам в великой душевной радости, после труда многого, даже — вправе сказать, очень многого. За то и имею право радостно сообщить Вам, что мы будем иметь основание доложить Обществу, что оно получает от нас почти, без малого, вдвое более того, чем было о том предположено первоначально при размышлениях в Петербурге.

О научной важности найденного не могу я даже и распространяться. Все найденное — сплошная новость для русской науки. Конечно, не нам, и даже не первому ряду наших преемников, достанется наслаждение разобраться в море этих новостей. При всей тщательности моих попыток вникнуть в их объем, я только и воспитал в себе по отношению к содержанию какое-то чувство растерянности от важности и чувство беспомощности от моего малознания и малосилия для работы будущей.

Мысли эти основаны на ясном понимании мною системы греческого пения, давно объясненной. И в памятниках, ныне подносимых русским исследователям, не может быть иной системы, кроме общеизвестной. Затруднения будущие относятся, полагаю, не столько к прочтению массы новостей, сколько к выяснению между ними того, что должно составлять мост перехода от русского искусства к греческому и что в последнем, между найденными новостями, образует именно этот мост.

Растерянность моя была бы бессознательною, а беспомощность — досадною, если бы в уме не копошился зреющий ряд посильных догадок и обобщений. Не берусь отстаивать их правильность. Хорошо будет, если окажется достоверной хотя бы часть их. Пусть же, с другой стороны, и возможные с моей стороны ошибки предостерегут других по крайней мере хотя бы от их повторения.

Это письмо едет вместе со мною на одном пароходе, и Вы будете читать его тогда, когда, пожалуй, я уже буду в Петербурге. Поэтому, если Вы вздумаете порадовать меня тем, что слова мои дошли до Вашего сердца, — прошу Вас писать уже на Фонтанку.

В заключение этих строк, последних с Афона, прошу Вас принять от меня и от моих товарищей выражения самой глубокой благодарности за все и вся, нами и через нас наукою Вашими заботами полученным. Только Ваше доброе и чуткое сердце и Ваш просвещенный и дальнзоркий ум нашлись, чтобы участливо подумать о русском церковном пении.

Графине и всем Вашим — мой поклон и привет.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5074, л. 281—282 об.

Смоленский — Шереметеву

Олесса, 17 августа 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Пишу Вам, уже пребывая в родной земле третий день¹, так как груз экспедиции только сегодня достиг снисходительных взоров здешних таможенных властей и так как жена моя, выехавшая сюда навстречу, тянет меня на передышку отсюда на южный берег Крыма, на виноградное леченье.

По части груза экспедиции я уладил дело только сегодня, убедив власти перенести таможенный досмотр в Петербург. Этим я спасаю себя от лишних здесь проволочек и от вторичной укладки и запаковки груза, дальнейшее путешествие которого до Петербурга, благодаря монашеской заботливости, вполне безопасно для стекла.

По части Крыма я решился дать себе некоторый отдых. На Афоне я работал очень много и очень устал вообще; кроме того 3 недели Петровского поста, часть Успенского, равно и боголюбезные «однотрапезные дни», то есть понедельник, среды и пятницы, сильно расстроили мою пищеварительную часть и настоятельно требуют выправки. Сидячая работа и сломанная нога довершили мое заболевание, и жена права, требуя моего отдыха.

Поэтому недельки две я буду есть виноград и брать ванны, а к «Чуду архангела Михаила» прошу позволения быть в Михайловском.

Накладные на груз, отправляемый отсюда вскоре, перешлются прямо в Общество. Если груз придет до меня (чего не думаю), то не откажите разрешить заплатить за меня следуемое за провоз. Деньги у меня на эту часть еще имеются, но здешняя таможня отказалась получить их с меня ранее требования железной дороги, и потому груз будет отправлен наложенным платежом на предъявителя накладной. Накладные будут доставлены прямо в Общество Любителей Древней Письменности, а я немедленно по приезде уплачу все следуемое. Получение же груза возможно скорейшее необходимо ради его безопасности и неплатежа за «полежалое», то есть запоздание в получении.

С Вашего указания мне, я решаюсь напомнить Вам о Вашем согласии предоставить место учителя пения во вновь открываемом в Москве Институте (у Красных ворот) ученику моему Сергею Михайловичу Клипину². Если моя его рекомендация нужна для получения этого места, то она, как и прошение Клипина, уже была в прошлом году, и ныне вновь могу уверить Вас, что в Клипине Вы приобретете для Института вполне серьезного работника, знающего дело и вполне безукоризненного и благовоспитанного.

Мое письмо от 9 августа с Афона вероятно уже получено Вами.

Графине и Вашим, как и Вам — мой и жены моей — поклон и привет. Новый адрес сообщу.

Ваш Ст. Смоленский.

РНБ, ф. 536 (ОЛДП), оп. 3, № 228, л. 23

1. Смоленский выехал с Афона 10 августа, 12 августа прибыл в Константинополь и того же дня вечером пароходом выехал в Одессу, куда прибыл 14 августа. 16-го в Одессу поездом приехала его жена. 20 августа они вдвоем выехали в Ялту на пароходе.

2. См. комментарий к письму Смоленского от 28 декабря 1904.

Шереметев — Смоленскому

Михайловскос, 19 августа 1906

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Всею душою приветствую Вас и возвращение Ваше! Последнее письмо Ваше окрылило дух, и я с громадным нетерпением ожидал вести о Вашем возвращении. Только не совсем я себе усваиваю — что Вас радует и волнует, то есть что именно предстало перед Вами?

Эллины и Болгары между собою не ладят. Не найдете ли их примирить на звуках церковных, на взаимном признании жизненных, исторических и бытовых прав? Ведь эта рознь — радость Запада и создание его... Но я сам не знаю, что говорю — до того чужд этой распре.

А наша многострадальная родина — жива. Пусть будет что будет, лишь бы не «дать безумия Богу».

С сердечным приветом С. Шереметев.

Поклон Вашей супруге. Жена Вам кланяется.

*РНБ, ф. 855, № 30, л. 242***Смоленский — Шереметеву**

Ялта, пансион Шульц, 23 августа 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вот я обосновался на некоторое время по какому адресу. Пишу Вам потому, что очень соскучился, не имея от Вас давным-давно никаких известий. Только и пришлось по счетам моих писем с женою удостовериться, как мало церемонятся в Турции с письмами и как много их пропадает ради похищения марок! Едва ли, однако, много будет греха, если сказать, что турецкие порядки [не] хуже русских. В Ялте я всего еще 2 дня, а уже видел и слышал немало дикостей. Поэтому думаю, что едва ли возможен здесь для меня отдых и сбегу из города в пригород, сохранив, однако, непосредственность почтово-телеграфного общения.

Сию я теперь вне всяких напоминаний об Афоне. Только и есть у меня случайно оказавшиеся дубликаты немногих снимков, ошибочно напечатанные, да бракованные отпечатки. Все остальное едет по направлению к Петербургу. Но и в таком положении каждая моя минута полна воспоминаниями и размышлениями о только что пережитых сильнейших впечатлениях.

Конечно, впечатления Афонской природы и монастырской жизни — своеобразны и неотразимы. Силу таких впечатлений может узнать только тот, кто пожил на Афоне немалое время и изъездил его вдоль и поперек. Эти впе-

чатления совсем исчезают перед умственным подъемом, пережитым мною со всею душевною радостью за будущее моих работ, пожалуй и до самого моего конца. Я уже писал Вам, что экспедиция возвращается домой с запасом новостей почти вдвое превышающим то, на что мы надеялись при отправлении на Афон. Судите же сами, как полна душа моя всякой радости за себя и других!

Впрочем, обо всех таких радостях лучше всего сообщить Вам на словах. Обществу Любителей Древней Письменности мой отчет уже написан и может быть доложен в первом же заседании¹.

Жена моя передала мне об уходе будто бы из Капеллы графа Александра Дмитриевича и о назначении туда будто бы проф. Соловьева или даже и Архангельского. Бедная, несчастная Капелла! Много придется времени употребить будущему после таких начальников, чтобы вытащить Капеллу на ту дорогу, на которой ей надо быть впереди всех. Изумительно, непонятно, странно, что в Петербурге, где Соловьев и Архангельский живут чуть не по 25 лет каждый, и как «какой-то муравей был силы непомерной», не могут понять, кто такие эти гг. Соловьев и Архангельский. Правда, что «было бы болото — черти найдутся», но зачем же оболотившуюся и разоренную Капеллу губить уже совсем? Ведь и у нее есть свое знаменитое и авторитетное прошлое! Та же Капелла, даже и теперь, может и, по-настоящему, должна взять стяг в свои руки при нынешнем безвременьи и в церковном пении.

Искренно жаль мне Государя, которым вертят в таком специальном деле такие судьби-решители, как Фредерикс, Мосолов и т. п. Опять получится нелепость, вроде бывшей недавно с Кленовским!² Жалко мне, очень жалко за горемычную Капеллу.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 81—82

1. Краткий отчет об Афонской экспедиции был сделан на заседании Комитета ОЛДП 6 октября; более полный помещен в годовом отчете Общества (см. в Приложении к книге).

2. Отношения А. Д. Шереметева с Кленовским уже давно шли к разрыву, несмотря на попытки последнего удовлетворять разным требованиям графа.

Смоленский — Шереметеву

Ялта, 4 сентября 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вместо предположенного вчера отъезда пришлось мне ухаживать за прихворнувшей женою. Таким образом мне не удастся быть у Вас на празднике, как то думалось ранее. Не думаю сам, чтобы болезнь моей жены была сколь-

ко-нибудь опасна, но пускаться в столь длинную путину, как Ялта — Петербург, да еще при хвори, — представляется неразумным. Несколько дней промедления безусловно необходимы.

От меня и Анны Ильиничны посылается Вам и доброй графине, как и Вашим, сердечный привет с семейным праздником¹.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 83

1. Иметсяя в виду осенний праздник семейства Шереметевых.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 9 сентября 1906

Дорогой Степан Васильевич.

Если Вы не получали от меня известий, то сами пеняйте на себя. Вы же мне указали писать Вам в Петербург, а завернувши в Крым, не дали мне своего адреса. Я поневоле молчал, хотя в Петербурге должно быть моих два письма. Вот и теперь хотелось бы Вас приветствовать и сказать, что ожидаем Вас в Михайловском, и исполнить этого не могу.

В первой половине октября собираюсь в Петербург для заседания Комитета Древней Письменности. Очень беспокоит меня судьба Волковой; какова она и какова ее мать, ничего не знаю¹. Надеюсь, что здоровье Анны Ильиничны совсем поправилось, а Вы как? Освежились у Понта Эвксинского?

Сердечный привет и до скорого свидания.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 243

1. Волкова находилась в это время на даче в Царском Селе, около тяжело больной матери.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 25 сентября 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Прежде всего сердечно благодарю Вас за приют в Вашем доме. Еще три дня — и я тронусь в Петербург, так как теперь все надобное для

моего просветления по Афонской части за счет Русской мною уже подводится к концу¹. Я чувствую прежнюю усталость и надобность в некотором отдыхе, я давно уже не видел своей квартиры — хочется пожить поспокойнее.

Здесьние занятия мои касались общих мыслей по отношению к привезенному с Афона. Я пересмотрел древнейшие всех типов русские певчие книги и сравнил их оглавления с таковыми же греческими; затем мною сделан целый ряд сравнений отдельных мест, намеченных еще на Афоне, и сравненные русские певческие изложения, сколько могу судить, блистательно выдержали это испытание во славу русского древнего искусства.

Вы знаете, что я всегда склонялся к мысли о полной *мелодической* нашей самостоятельности даже в напевах XII века. Крайняя скудость материалов, бывших у нас до поездки на Афон, не позволяла выражать эту мысль с достаточною твердостью и доказательностью. Теперь — другое дело! В греческих рукописях мы найдем тысячи подтверждений бывшему предположению и, следовательно, — русское певческое искусство еще с XII века, то есть с первых уцелевших у нас записей, может быть считаемо за кровно-русское, за ушедшее далеко в сторону от полученного из Греции. Наши напевы — совсем родные.

В части *графической* — также подтверждения в пользу нашей самостоятельности в развитии полученного от учителей-греков. Наши знаки стали обруселыми.

Наконец по части *литургической*, не бывшей до сих пор в виду, оказывается, что и здесь мы отошли от греков совсем в сторону, распевая массу читавшегося у греков и читая то, что пелось греками. Часть эта, конечно, потребует множества труда от наших литургистов, не дававших себе [труда] различать поемое от читаемого. Но ведь теперь оказывается, что и самые облики наших древнерусских служб значительно отошли в сторону! У нас и здесь вложено множество своего нового.

С первого раза может показаться теперь, что Афонская экспедиция в применении к русскому искусству как бы дала мало прямых положительных результатов. Далеко нет! Оказывается, что, хотя альфа похожа на А, а вита на В, — все же греческая мелодия и ее письмо совсем не похожи на русские мелодии и их написания. Альфы и виты, до омег — те же и у нас, да использования их совсем другие, — к полной новой чести русского имени. Теперь, по крайней мере, мы можем узнать и тот мир греческих звуков, от которого началось наше формальное искусство и от которого можно проследить родословную почти всех певческих знаков, кроме изобретенных в России и для русских. Теперь хватит работы не одному мне, не только следующему поколению исследователей, но очень многим. Поле работ теперь — края не видать! Да и одним ли музыковедам следует теперь взяться за Афонские снимки!

Все эти мысли преисполняют меня радостью и бодростью. В меру этих моих чувств — благодарю Вас за минувшее лето.

Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

P. S. От С. С. Волковой имею очень бодрое, хорошее письмо.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 84—85

1. Смоленский, отбыв из Ялты 11 сентября, успел захватить в Михайловское: отправив жену из Москвы в Петербург, он прибыл в Михайловское 13 сентября, а через день вернулся в Москву, где встретился с рядом родственников и друзей, а также работал в библиотеках.

Свидание с Шереметевым в Михайловском произвело на Смоленского довольно тяжелое впечатление: граф был очень раздражен текущими политическими событиями. 17 сентября в Москве Смоленский слушал Синодальный хор за литургией в Успенском соборе, где служил епископ (в будущем митрополит) Серафим (Чичагов); о пении в Афонском дневнике сказано: «очень неважно, но и не особенно плохо» (л. 162).

С 18 сентября Смоленский начал занятия в Синодальной библиотеке.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 28 сентября 1906

Дорогой Степан Васильевич.

От души благодарю Вас за Ваше письмо из Москвы. Надеюсь 7 октября быть в Петербурге, а в понедельник, 9 октября в комитете И.О.Л.Д.П. для избрания дней заседаний на зиму — и для приветствия Вам по возвращении из Афона.

Нас будет немного — и надеюсь, беседа наша будет сладкая. Итак, до скорого свидания в Петербурге.

Позвольте надеяться на Ваше доброе содействие относительно церковного хора на предстоящий зимний сезон.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 244

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 2 октября 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Ваше любезное письмо от 28 сентября получено мною досланным уже на Фонтанку.

Позволяю себе вновь и от всей души благодарить Вас за приют в Москве. Он очень облегчил мне занятия в Патриаршей библиотеке.

К заседанию Комитета Древней Письменности, имеющему быть 9-го, готовлюсь и я. Постараюсь в своем докладе быть очень кратким. Вам уже известно, что хорошее содержание доклада обеспечено нашими находками на Афоне. Добавлю к нему лишь то, о чем сам узнал только что из письма с Афона. Я просил библиотекаря Пантелеимоновского монастыря о. Матфея навести поточнее справку о рукописях библиотеки духовной семинарии на острове Патмосе. Оказалось по справке и подтвердилось доставленными фотографиями, что нашелся еще богатый рудник для русской науки. В этой библиотеке нашлось 10 Стихирей и 1 Ирмолог.

Цифра 10 подвигнула меня к греху любостяжания, так как греки не могут видеть показываемого золота. Поэтому, за свой страх, я уже отписал о. Матфею (а он — очень просвещенный и умный, главное же — ловкий рукав) насчет какого-либо маневра, с помощью которого хотя бы 3—4 Стихиаря какими-либо судьбами попали в цепкий Петербург...¹

Относительно певчих я, еще до Вашего к тому приглашения, сообразил уже перекинуться словечком с М. Н. Ермоловым. В этом деле надо бы точно установить срок начала служб и соответственного вознаграждения. Иначе все певцы спешат устроиться заблаговременно и стесняются ждать, не имея определенного срока для начала заработка.

Не без удивления услышал я о требовании пошлины в 800 рублей с афонских негативов. Думаю, что эта нелепость есть плод недоразумения какого-либо усердствующего не по разуму формалиста.

Вместе с Анной Ильиничной кланяюсь Вам и доброй графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5075, л. 197—197 об.

1. 23 августа 1906, через две недели после отъезда экспедиции, о. Матфей сообщил Смоленскому о рукописях XII — XIII веков в монастырской библиотеке на острове Патмос — Стихиарях в количестве 10-ти. К письму были приложены три фотографии с них для образца (см.: Борисовец Е. А. «Помнящий Вас с любовью о Христе...» Цит. изд. С. 243).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 12 октября 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечнейше благодарю Вас за добрую вест! Буду терпеливо ждать, авось, Бог даст, хоть на этот раз устроится мое дело — крайне, очень крайне для меня надобное¹.

Душевно признательный Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5075, л. 234

1 К этому письму имеется примечание рукой Шереметева: «По делу поручения С. В. Смоленскому Синодальной библиотеки церковно-певческих рукописей».

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 14 октября [1906]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Флюс прорвался, и я опять похожу на человека. Высоко интересуюсь Вашею беседою с А. П. Роговичем и потому, если будет у Вас свободная минутка, прошу позволения быть у Вас.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

*РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5075, л. 238***Смоленский — Шереметеву**

Петербург, 30 октября 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Только вчера имел возможность быть с визитом у А. П. Роговича и П. П. Извольского. Причина такого запоздания та же самая, по которой я не имел возможности проводить Вас. Смешно и досадно сказать — сидел все время без шубы.

Зло это было бы не столь большой руки, если бы одновременно не чувствовалось непрерываемое недомогание и какое-то недавно появившееся упорное сиденье дома во что бы то ни стало. Что это последнее знаменует собою — пока не разберусь сам.

Дома сижу за интересною работой над последним сочинением о. Металлова «Богослужбное пение русской церкви в домонгольский период». Академия наук предложила мне написать отзыв об этом сочинении, ввиду желания Металлова получить премию графа Уварова¹. Очень жалко, что о. Металлов выпустил в свет свою работу до нашей поездки на Афон или что мы не побывали на Афоне годом раньше. Теперь многие страницы далекого прошлого толкуются и читаются уже по-новому и глядятся на них совсем иными глазами.

Та часть моих дорожных впечатлений, которая не относится к специальной науке, уже печатается мною в «Русской музыкальной газете». В предстоящую субботу будет выпущен третий фельетон². Мне обещали отдельно сброшюрованные выпуски всего написанного, и я, конечно, вышлю Вам без промедления с просьбою поглядеть их как-либо на досуге.

К 8 декабря в Обществе Письменности будет, конечно, речь иная, Обществу подходящая, с иллюстрациями и объяснениями. К этому заседанию работаю я вкупе с Преображенским и наслаждаемся, ликуя душою от открывающихся все новых и новых горизонтов. Отличная вещь выходит из афонских находок.

Графине поклон мой и жены, как и Вам от всей души.

Преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5075, л. 346—346 об.

1. Эта работа под названием «Отзыв на сочинение В. М. Металлова "Богослужбное пение Русской церкви. Период домонгольский"» впоследствии была опубликована в Отчете Академии наук о 49-м присуждении наград графа Уварова (СПб., 1909). За нее Смоленский был удостоен Уваровской золотой медали.

2. Очерк Смоленского о поездке на Афон, опубликованный РМГ, будет помещен в следующем томе РДМ, посвященном специально афонской экспедиции.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 1 ноября 1906

Дорогой Степан Васильевич.

Удивительный Вы человек! Ну, как же, зная, насколько меня интересует успех Вашего личного дела, — Вы, сообщая о посещении Вами Извольского и Роговича, этим и ограничиваетесь! Что же далее? Что Вам было сказано? что предложено?

Вы уже знаете, конечно, о благоприятном ответе Министра Финансов по таможенному делу. След[овательно] наше терпение вознаграждено¹.

Радуюсь, что Вы ушли в дело, но скорблю о том чувстве, на которое указываете как на предвозвестник чего-то? Зачем такие мрачные мысли? Знаю и

я, что такое нервы, — и они более всего разгораются, когда приходится думать и действовать по делам личным, — и вот почему я так всегда опасаясь, когда нервные люди сами действуют и говорят.

Житейские заботы и дразги — это область, с которою справляться не легко и человеку без всяких нерв.

Моя же теория — что в жизни все создается и расстраивается от мелочей — ибо не много людей, стоящих вне этих назойливых и смутительных мелочей, за которыми являются и соответствующие последствия — ради которых судят и рядят о человеке с внешней стороны, не желая проникать глубже или в силу сложившихся предубеждений!

Ныне стало трудно жить. Чего стоит одно: «тих голосов мучительный разлад», который, до нас проникая, до нашего чуткого «музыкального» уха, не вмещается в нем и производит тот угар, который вредит спокойствию душевному и подтачивает здоровье.

Тогда нужно повторить с поэтом:

С моей души совлечены покровы
Живая ткань совлечена,
И каждое к ней жизни прикосанье
Есть злая боль — ненужное терзанье!²

Не дай Бог испытывать что-либо подобное. Но мне ли говорить и кому же? Не о таковых ли, как Вы, сказано было:

Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный...

Не сердитесь на мою болтовню. Она от искреннего сердца Вас любящего и уважающего преданного неизменно

С. Шереметева.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 245—248

1. Речь идет о багаже с материалами Афонской экспедиции, на который сначала была наложена высокая таможенная пошлина.

2. Не совсем точная цитата из стихотворения А. К. Толстого «В монастыре пустынном близ Кордовы...»

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 3 ноября 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Очень растроган я Вашим дорогим мне письмом и отвечаю Вам без промедления.

Я вынужден был сообщить Вам о моих визитах к П. П. Извольскому и А. П. Роговичу потому так кратко, что мои визиты только и ограничились вручением карточек. Обоих их не оказалось дома. Но вчера (2 ноября) я видел случайно Д. Н. Соловьева, и на мой спрос он сообщил мне, что дело еще не подвинулось и что он напомним обоим вышеуказанным.

Негативы Афонские уже в Обществе. Я сам их разложил там в порядке и затем еще раз проверю с Преображенским всю наличность. Кажется, при досмотре не особенно церемонились, ибо я видел много коробок даже незавязанных. Видел и несколько негативов разбитыми. Теперь будем ожидать второй транспорт афонский, в котором часть есть певческая, остальное же Лаврова — найденные им хрисовулы.

Сегодня я получил сообщение из Вены, что 2 ноября с министерским курьером (значит — вне таможен и цензур) выехали в Общество Любителей наши 600 снимков с венских рукописей. Стало быть, дело сборов подходит к концу и с этой стороны.

Сегодня же я ликовал с Преображенским вот по какому случаю: я говорил Вам, что наши поиски за славянскими рукописями на Афоне кончились самым полным «нема нищо». Три Триоди, указываемые епископом Порфирием Успенским в Зографской афонской библиотеке, оказались похищенными. По крайней мере мы, вчетвером, в 8 глаз, проглядели два раза все до одной зографские рукописи, и трех Триодей положительно там не было. Представьте же себе, что тот же епископ Порфирий Успенский ухитрился стянуть из одной Триоди пергаменный лист, затерявшийся затем в Императорской Публичной библиотеке и на днях найденный там А. И. Соболевским¹. Спасибо Майкову и ему, что они дали немедленно знать мне. Я, конечно, со всех ног полетел в Библиотеку, и не было границ моей радости, когда, наконец-то, нашлись *первые* и драгоценнейшие 5 строк настоящего болгарского нотного письма XIII века! Конечно, Преображенский их немедленно снимет фотографически. Итак, факт болгарской певческой нотации отныне устанавливается вне сомнений. Но от каких же случайностей зависят самые капитальные данные нашей науки!

И вот я опять ожил, опять загорелся и по сущей совести скажу Вам — имел сегодня несколько часов самого очаровательного забвения в лучине мудрования над болгарскими крюками. Что за поэзия! Что за прелесть в возможности забыть-ся и вспомнить лишь мельком, какой прочный фундамент начинает теперь складываться для дела нашего художественного самоопределения! Покаюсь и так:

мелькнула и давняя картинка, как 34 года назад я подал 3 ноября прошение о принятии на службу и как при этом я увидел разнос управляющим Казенной палатой казанского пробирера, заплакавшего от оскорблений. Много воды утекло с тех пор, много людей прошло мимо и забыто многое множество всего. Но осталась память крепкая о незабвенных чистых людях, служивших правде, науке и благу ближнего. Они умерли уже телесно, но год от году все более и более загораются чистою честью и добротой их высокие души, непонятые в свое время окружающими. Над ними смеялись, их жалели, и эти-то «чудаки» оказались потом солью земли, минуя всяких сильных мира. Высокое сердце, всю жизнь страдавшее, только урывками радовалось за других, только перестало биться само для себя, но заставило биться другие сердца тою же высокою любовью и тою же краткою, но чистою радостью! Как жалки оказались перед этими «чистыми сердцем» все раззолоченные и возвеличенные начальники-страдалцы! Сегодня же, 3 ноября, поминаю я мою размолвку с Ширинским; сегодня же была первая моя встреча с незабвенным Рачинским. И какая же разница в судьбе их обоих!

Быстро пролетели эти мысли при усилиях ума над болгарскими знаменами. Кропотливое искание единства очертаний между ними, греческими и русскими, частью же и латинскими невмами заставили мозг быстро работать и перебегать от одного роя впечатлений и догадок к другому рою. Появились и те сладкие «муки творчества», в которых забывается все окружающее и живет в великой чистоте, в несравненном подъеме духа. Сегодня — один из таких счастливых дней моих — буду ли спать в предстоящий остаток ночи — сам не знаю, буду ли работать завтра так же, как сегодня — Бог весть. А за Ваше дорогое письмо — сердечный, глубокий поклон Вам.

Ваш Ст. Смоленский.

А экспроприатор писем С. А. Рачинского ко мне не подает из Орла никакого ответа. Подожду еще немного и попробую вновь усовестить.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5076, л. 48—50 об.

1. О привезенных епископом Порфирием (Успенским) с Афона греческих певческих рукописях и их фрагментах см.: Герцман Е. В. Греческие музыкальные рукописи Петербурга. Каталог. Т. 1. СПб., 1996.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 8 ноября 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Был у меня сегодня М. Н. Ермолов с вопросом, почему нет от меня Вам ответа на важный вопрос. Закрываю из этого, что мое письмо от 3-го,

посланное в ответ на Ваше от 1-го, следовательно написанное немедленно, не попало в Ваши руки.

Уже не первый раз пропадают письма! Одновременно с письмом к Вам не дошло вот письмо к Гречанинову, и он также спрашивает с меня ответ.

Повторю сейчас, сколько восстановит память, содержание моего письма от 3 ноября¹. <...>

Продолжу теперь о том душевном состоянии, в котором то письмо было мною писано. Ваше письмо совершенно растрогало меня, давно уже и твердо верящего в Ваше ко мне расположение. Я умею читать сердцем и между строк, потому и глубоко оценил Ваши собственноручные строки. Но я, полный любви к науке, полный веры в людей, не умею, к полной досаде на себя, и не постигаю умения устраивать себя и свои дела. Меня во всю мою жизнь всегда сажали туда, где я надобен, так же как и заставляли работать то, что надобно делу, с помощью моих знаний и труда. От этого выработалось во мне умение в беззаветном труде и полная неудачливость во всех случаях, когда я своим участием и своим неумением порчу свои же дела. Нет в моем уме этой жилки, не умею я использовать, даже и по получаемым указаниям, те «мелочи, из которых все складывается», как Вы говорите в дорогом, истинно дружеском Вашем письме. Я глубоко чувствую этот свой добросовестный недостаток, вижу, как он вреден для меня, — но не нахожу в себе сил к исправлению. Неужели Вы, дорогой и незаменимый, не чувствуете, как я болею душою, видя Ваше желание помочь мне и Вашу неослабную заботу об устройстве меня к будущему? Я не придумаю тех выражений, которыми хотелось бы сказать о желании моем облегчить Вашу трогательную заботу обо мне и выразить всю прелесть, всю поучительность для других Вашего примера! Но что же мне делать, если я умею быть только простым работником? Откуда мне взять то, чего у меня не было во всю жизнь?

Посудите сами: я зачем-то пошел в юристы и погубил три года на службе в суде; я зачем-то был скрипачом усердным и упустил ряд годов вместо усиления своего образования в те же молодые годы. Ильминский понял меня лучше, чем я сам, и приставил к педагогике, к старообрядчеству и инородчеству. Рачинский понял, что мне уже довольно затянулась казанская работа и я созрел для деятельности в Москве. Вы поняли, что я начал хиреть и меня надо пересадить в Петербург. В Казани, Москве и здесь я работал с помощью добрых людей многое множество именно того, что было в виду вне службы, что именно было дорого будущему. Теперь я свободен, но работаю уже с опытом всех прежних лет; теперь я по-прежнему горю любовью к науке и по-прежнему же нахожусь в состоянии имеющего быть посаженным другими, а не самим собою. Вспомните, дорогой граф, как мы думали, что Государь усоветится и устыдится в сделанной Им несправедливой и ненадобной со мною операции, что Он же и поправит, загладит свой промах? И что же? отвернулись затем от меня все до единого, кроме Вас и дорогой Софьи Сергеевны!

Даже в Московском Синодальном училище, даже о. Металлов, даже и Орлов потеряли всю память о прошлом, заменив бывшее благодарное чувство ко мне самым грубым недоброжелательством, якобы угодным в верхах духовного мира!

Тем более теряюсь я, плохой воин в житейской борьбе, в средствах устроить себе спокойную трудовую старость и тем более глубоко ценю немногих и действительно, по нынешним временам, редчайших друзей.

Отрадна, дорогой Сергей Дмитриевич, возможность писать эти строки, и я от всего сердца благодарю Вас за эту радость.

Графине — мой и жены поклон.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Р. С. Распечатал письмо, так как подали почту. Пишет из Орла Лясковский, что не попал в Москву, дабы вне почты, через Вашу контору возвратить мне письма Рачинского; пишет и то, что отложил свое намерение писать биографию С. А., якобы из-за противодействий в Татеве и со стороны других родных. Сегодня пишу о высылке почтой.

Другое письмо от милого друга о. Димитрия Васильевича Аллеманова (тот самый, который печатает в Обществе певческую грамматику) — решил лучше переслать Вам². Очевидно, что А. П. Рогович говорил в училище по моему делу, может быть и перетонил в тонкости, почему и дело приняло направление от нас секретное и построенное на основании: сами сделаем, дешевле и скорее. Очевидно, что и умный о. Димитрий Васильевич понял, как его обошли и заставляют братья не за свое дело. Сегодня пишу о. Аллеманову, дабы был осторожней. Ведь он один из редчайше даровитых самоучек и необыкновенных трудолюбцев. Пожалуй, съедят и такого! В действиях же А. П. Роговича совсем я разобраться не в состоянии. Либо то надобная казенная дорога, либо отголосок Ширинского-Шихматова, либо шахматный ход в мою сторону — ход благоприятный, но весьма хитрый.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5076, л. 99—100 об.

1. Далее купирован фрагмент, в котором Смоленский пересказывает свое приведенное выше письмо от 3 ноября — очевидно, попавшее к Шереметеву позже. Некоторую новую информацию содержит одна фраза этого пересказа: «Оказалось... что 5 ноября эти снимки исправно прибыли и по немедленном осмотре признаны отличными».

2. Письмо Д. В. Аллеманова в деле отсутствует. В ОЛДП в 1906 вышел труд Аллеманова (совместно с А. Зверевым) «Нотописание современной греческой церкви. Руководство к чтению нотного-богослужбных книг греческой и болгарской церквей». Излагаемые далее полученные от Аллеманова сведения — о том, что в Синодальном училище решили сами описывать рукописное собрание, если на это будут выделены средства, — находят подтверждение в документах.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 9 ноября 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня был у меня отставной генерал Ростислав Антонович Рейнбот (А⁵ Стрельна), которого направили ко мне ради совещания относительно моего участия на выставке «Музыкальный мир» и ради зондирования почвы, на которой возможно было бы предложить Вам принять участие в той же выставке¹. Рейнбот представил мне два прилагаемых объявления и сразу определил то, о чем устроители выставки мечтали бы по части получения от Вас на выставку: «скрипка Петра Третьего» и всякие автографы и инструменты, какие Вы сами заблагорассудите выставить ради общественного интереса. Направили Рейнбота к Вам через меня из конторы графа Александра Дмитриевича. Рейнбот был уже у Н. А. Агапова, но почему-то свидание их не состоялось.

Относительно своего участия в выставке я отказался наотрез, заявив Рейнботу, что у меня уже был по этой части г. Финдейзен, принявший на себя заботу об исторической части, что я предоставил ему в распоряжение то, что он нашел интересным, и что я лично, по неимению времени и по нежеланию нести расход, совершенно не приму участия в качестве экспонента.

Относительно Вас я сказал Рейнботу, желающему быть у Вас в предстоящий Ваш сюда приезд, что я, Смоленский, никоим образом не уполномочен Вами для переговоров по каким бы ни было делам и потому совершенно отказываюсь вести какие бы ни было разговоры. Ввиду несостоявшегося свидания г. Рейнбота с Н. А. Агаповым ничего не имею я против передачи Вам прилагаемых двух объявлений на Ваше благоусмотрение и сделаю то обычным в таких делах путем, то есть через контору и через того же Н. А. Агапова.

Относительно скрипки я сообщил г. Рейнботу, что настоящий ее адрес не Вы, а Комитет Общества Любителей Древней Письменности, причем я прибавил, что едва ли Комитет решит принять участие в выставке и потому Рейнбот может раскинуть умом сам по этой части, вникнув в тон речей, которые услышит вообще в Вашем ответе по вопросу о выставке, может быть через того же Н. А. Агапова, не дожидаясь Вашего сюда прибытия.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

NB. Письмо это посылается не почтою, а через контору.

Сколько я осведомлен о характере выставки, она привлекает к участию многих и старательно приглашает. Но в конце концов она — временная лавоч-

ка, о которой «пущен слух» как о якобы имеющей быть с благотворительной целью ради каких-то «детских приютов». В объявлениях однако об этом не говорится. В дальнейшем я решительно умываю руки, ибо не знаю таких дел, считаю, что выставка по нынешним временам дело мало подходящее, и считаю, что русские музыканты откликаются менее, а всякие торговцы — всего более на подобную затею.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5076, л. 101—101 об.

1. Речь идет о Всероссийской музыкальной выставке (под названием «Музыкальный мир»), которая открылась в петербургском Соляном городке 3 декабря 1906. Действительно, на выставке, в рамках большого отдела РМГ, сформированного Н. Ф. Финдейзенем, было представлено принадлежавшее Смоленскому «богатое собрание снимков» с певческих рукописей; Финдейзен выставлял и принадлежавшие ему самому церковно-певческие рукописи и редкие издания.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 12 ноября 1906

Дорогой Степан Васильевич. Спасибо за все Ваши писания. Мне совестно, что не успеваю ответить, и я Вам телеграфировал¹. Право, теперь не до того. У меня дел без числа — и заботных. Житейское море!..

Читаю Ваши статьи в Музыкальной Газете — только начала не нашел². О Роговиче расскажу при свидании. Днем здесь тихо, но вечером волнуют газеты, хотя я и стараюсь уходить в даль смутных времен за 300 лет тому назад.

Надеюсь 17-го быть в Питере.

Преданный Вам С. Шереметев.

Ай да Ляс!³ Не ожидал я от него такой прыти.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 249. На открытке с видом Кусково

1. Телеграмма Шереметева не сохранилась.

2. Имеется в виду очерк Смоленского о поездке на Афон — «Из «дорожных впечатлений»», который печатался в это время в РМГ (№ 42—46).

3. В Дневниках Смоленского упоминается некий В. Ф. Ляс из Харькова, но может иметься в виду и Лясковский, которому Смоленский писал в начале ноября 1906, прося вернуть письма Рачинского.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 12 ноября 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

К 14 ноября шлю мой привет Вам и добрые пожелания. Приветствую добрую графиню Екатерину Павловну и всю многочисленную семью вашу. Вероятно, она, хотя бы частью мысленно, будет вся сполна в Михайловском в этот день.

Моя жена недавно отбыла в Казань, но перед отъездом наказала мне передать и ее привет.

Поздравления с днем рождения осмысливаю так: благодарно провожаю минувший год жизни и уповательно встречаю новую годину. Силы начинают слабеть, ряды друзей — редеть, а жизнь требует нового подъема сил, подбора соратников, забвения и прощения прошлого, пылких надежд и веры в будущее. Как же не пожелать всего доброго, радостного, бодрящего?

Правда! силы слабеют телесные, но зато крепнут силы душевные, подводящие теперь большие итоги затратам бывшего труда и всяких волнений. Друзей становится меньше, — но как же светлеется дружба немногих и как прелестна благодарная память о покинувших нас бывших! Как хороша опытность и святое доверие, с которыми мы святим себе новых друзей!

Радостно смотрю я и на подъем сил — конечно, сил душевных. Где возьмешь себе молодую, когда-то бывшую телесную силу? Подъем душевных сил бодрит молодые силы друзей на работу, бодрящую и нас самих. Подъем сил — наши радостные, хотя и кратковременные, но очень ликующие праздники, наши смотры друзьям и обращение их в нашу крепкую веру, наше руководство друзьями.

И затем — как сладко забыть иногда и горькие подробности из недавнего прошлого! Какая мудрость, в себе самой скрытая, учиться прощению ради сбережения своих сил от расхода на гнев за минувшее! И сколько уроков самому себе при благодушном теперь воспоминании о бывшем волнении? Как крепнут упования на будущее! Как не пожелать покоя?

Этими самыми искренними строками приветствую Ваше 14 ноября. Вижу Вас и в кругу детей, в кругу внуков. Лепет последних не есть ли одна из тех несравненных ни с чем радостей, которым так благословила судьба Вас и добрую подругу Вашей жизни?

Мир Вам и радость на предстоящий год. Всякое благополучие да окружит Вас и Ваших на сущую радость Ваших друзей многих.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 27 ноября 1906

Дорогой Степан Васильевич.

Сердечно благодарю Вас за Ваши строки. Удивительно, что Вам пришлось быть как раз перед концом и даже прочесть отходную!..¹

Искренно жалею Н. П., легко сказать, 35 лет, если не более — знакомства и постоянного общения! С ним отходит целое прошлое, и много добрых воспоминаний связано с теми ранними, светлыми годами, которых не вернуть.

Выезжаю 30-го в Петербург.

Сердечно преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 251

1. Умер Николай Платонович Барсуков (1838—1906), известный историк, архивист и библиограф, близкий Шереметеву человек. О том, что Смоленский оказался в доме Барсукова во время его кончины, мог сообщить Шереметеву брат покойного Александр Платонович.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 30 декабря 1906

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Пишу Вам в Москву, так как предполагаю Ваш приезд в Белокаменную по случаю кончины престарелого старца Бориса Сергеевича¹. Пишу приветствие Вам, даже и просьбу передать приветствие мое и жены доброй графине, — но не вяжутся слова приветствий новогодних, не придумываются в голове какие-либо просветления, которые бы показались скоро осуществимыми, возможными и потому — приветственно желательными.

Выйдем на улицу — худо видится, жутко живется, зловеще чувствуется, уйдем в свою раковинку, спрячемся душою в самом себе — еще беспомощнее, еще тоскливее, чем на людях. А между тем и в церквах поем «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение», между тем и послезавтра будем в мундирах, в треуголках, в орденах, при шпагах приветствовать друг друга: «с Новым годом, с новым счастьем»!

Думаю однако, что будут лишь казенно говорить «с Новым годом», а слова «с новым счастьем» едва ли сорвутся с языков даже и казенных поздравителей. Ведь в самом деле не совсем же и не все же мы глупые попугаи? Ведь есть же хоть намек на смысл и в казенщине?

Приветствую Вас от всей души помимо нового года, просто желая Вам мира душевного и благоволения к людям и от людей. Я давно не писал Вам, мало беседовал с Вами в последнюю здесь Вашу побывку и грустно глядел на Вашу скорбь о противоречиях в окружающем между словами и делами людей, на Вашу общую со всеми скорбь о переживаемых бестолковых, жестоких днях, нелепости и гнусности которых и конца не видно, болям от которых придется отплачиваться не одним только ныне живущим, но и имеющим родиться.

Приветствую Вас с Новым годом — разве только с пожеланием Вам поскорее найти душевные силы к прощению и забвению минувшего злополучнейшего 1906 года. Думаю, что этот подъем душевных сил поднимет для мужественной встречи 1907-го, от которого ничего не жду хорошего, а страшных потрясений жду. И не могу, не имею силы отогнать от себя страха перед этим Новым годом. Оттого не имею лучшего Вам пожелания, даже думаю, что буду верен в выражении моей мысли: дай Бог, чтобы 1907-й был бы хоть полегче 1906-го.

Я думаю, что болезнь, обуявшая родину от Зимнего до бурятской кибитки, болезнь тяжкая, все же кончится благом России от перегара всего недостойного и сильного лишь наглостью, от победы сильного духом и умом. Глубоко верю в чудесные слова: «зрите и не ужасайтесь: подобает бо всем сим быти, но не тогда есть кончина. Вся же сия — начало болезнем. И аще не быша прекратилися дние оны, не бы убо спаслася всяка плоть: избранных же ради прекратятся дние оны».

Но какую же страшную цену? Но кто же эти избранные? И когда же прекратятся «дние оны»? Где мера гнева Божия и нашего безумия?

Тихо и кротко сижу я в кучках афонских фотографий и изумляюсь новооткрывающимся богатствам духа, возвеличивающим мои удивления перед богатствами русской художественной души! Врачую себя этою невольною тишиною и кротостью, преисполненною истинным величием, истинною возвышенностью и безбрежностью, неизмеримою простотою этих вдохновений. От моего рабочего стола ранним утром, в дни Ваших приездов, виден зажигаемый свет в Вашем коридоре, и я вижу всякий день, когда начинаются наши ранние обеды, за которыми мы любуемся далекой родной стариной и находим для себя забвения окружающей суеты и непрестанной боли. Начинает светать, являются люди, и нет более нашей службы, нет тишины и кротости! Но на час-другой мы все же принадлежим себе, мы — полные монахи и, наслаждаясь превыше всего, думаем, что когда-либо придет другой монах трудолюбивый и перепишет он правдивые сказанья.

Вот этих наслаждений, этих монашеских уединений я желаю Вам как можно более. Нигде не люблюсь я Вами более, как в низенькой комнатке. Ни в чем Вы не выглядите так прекрасно, как в пестро-красном халате и в очках. Никогда Вы не бываете так свежи, благодушны, как ранним утром при свете лампы и с пером в руке. Хоть бы снял кто-нибудь Вас ненароком в такую минутку на память понимающим такую красоту! Намного красивее и выразитель-

нее будет для немногих такой портрет, чем Вы же днем или Вы же в мундире придворном. Если осуществится мое пожелание — прошу мне такую карточку хоть из Михайловской малой комнатки.

С Новым годом, дорогой граф Сергей Дмитриевич! С новым счастьем в тиши Вашей рабочей жизни и в радостях Вашей семьи. Приветствую вместе с женою и добрую графиню, желая ей найти минутки счастья в кругу лепета внуков, шалостей подростков и в благодарной любви детей. Желая и ей, как и Вам, скорее забыть 1906 год. Бог с ним.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Прошу положить мой поклон покойному.

Слышно, что Константин Петрович [Победоносцев] занемог очень.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5077, л. 3—4

1. Дядя Шереметева, Борис Сергеевич Шереметев (1822—1906), смотритель московского Странноприимного дома, скончался 28 декабря.

Шереметев — Смоленскому

[Михайловское?], 31 декабря 1906

С новолетием. Поражен размером падения Синодального хора. С. Шереметев¹

РГИА, ф. 1119, Дневник 6, л. 310

1. Синодальный хор Шереметев слушал на заупокойных службах по Б. С. Шереметеву.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 1 января 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно благодарю Вас за новогоднюю депешу и в свою очередь приветствую Вас всеми добрыми Вам пожеланиями. Я уже писал Вам в Москву к Новому году. В этот день, по давнему моему порядку, я не занимаюсь не только визитами, но даже воздерживаюсь от рассылки карточек. Потому я свободнее других в день Нового года, потому и отвечаю Вам без промедления.

Вы поражены мерой падения Московского Синодального хора! Что же удивительного в том, что он упал с бывшей высокой степени его процветания? Ведь ряд нелепых начальников этого хора, то есть московских синодальных прокуроров, ни бельмеса не понимающих в области церковного пения, употребил все силы, чтобы обезличить и обесправить директора и возвеличить свое прокурорское самодурство. Иного результата, кроме падения дела, кроме гибели достойных его работников, и нельзя было ждать. Моего звания, моих устоев для Синодального хора еще хватило лет ни пять, после горестного натиска князя Ширинского-Шихматова в 1898 году. Еще в 1899 году я грудью защищал хор и особенно Синодальное Училище, прося Константина Петровича об отстранении прокурорской опеки ввиду доказанной возможности вести дело удовлетворительно. Увы! Прокурору надобно было прилично мотивированное большее жалование и большой круг занятий, чтобы не сидеть сложа руки на безделье в Синодальной конторе. Константин Петрович понимал меру вреда от прокурорского хозяйничанья, но комбинация обязанностей прокурора, вне Синодального хора и училища, как-то не сложилась, прокурору неоткуда было достать 2000 рублей в год — и Синодальный хор и Училище его погибли. Погибли и его бывшие работники, то есть я, Орлов, Кастаньский, Чесноков и др.

А между тем в том же 1899 году в Вене Синодальный хор возбудил «grenzenloses Erstaunen und Bewunderung» [«безграничное удивление и восхищение»]. Он вызвал свою *культурность* в хоровой дисциплине даже восклицание: «Hut ab vor diesem Geheimnis!» [«Шапки долой перед этой загадкой!»]. <...> Я выписываю эти восторги из любезно присланной мне из Вены на память книжки со всеми рецензиями о концерте Синодального хора, с изящно напечатанными портретами меня и Орлова...¹

О моей гибели для дела Вы знаете. Прахом разлетелись мои планы о выпуске на работу только что созревших моих учеников. Орлов — чудный регент, несравненный учитель — погиб в качестве никуда не годного директора. Теперь он погиб и физически, ибо спился с кругу. Кастаньский — чудный ум, прилежный и разносторонний работник — погиб скорее Орлова, так как он совершенно не регент, а его сделали именно регентом...

Надобен ли говорить о том, что уже 6 лет не метут и не топят знакомую Вам библиотеку рукописей Синодального училища? Недавно посетивший это чудесное древлехранилище А. В. Преображенский не смог сдержать своего негодования, увидав в сплошной и густой плесени целые полки рукописей наидрагоценнейших!

Надобен ли говорить, сколько всякого рода дряни набилось теперь в учителя, в воспитатели и в ученики Синодального училища, равно и в певчие Синодального хора при безвольном Орлове, при робком Кастаньском и при всемогущих прокурорах? Что же удивительного, что пало самое основание дела, то есть упорное учение в Синодальном училище. Оно ведь в России одно, и его вывеска, его отражение — Синодальный хор. Ученья нет более ни в хоре, ни в Училище. На бумаге, по получаемым жалованиям — все по-старому, но

культурность уже пропала, рублевое одичание водворилось, и вместо бывшего художественно певшего хора получились простые певчие, даже и плохие ремесленники, вместо же прекрасного училища вернулась прежняя бурса.

Вот одно из самых тяжелых писем для меня! Оно тяжело тем более еще и потому, что не вижу исхода, не вижу меры к поправлению моего любимого дела. Мое милое детище — Синодальное училище искалечено очень надолго и неизлечимо в своем прозябании.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5077, л. 7—8 об.

1. Имеется в виду книжка «Zur Erinnerung an das Concert des Moskauer Synodal-Chores im grossen Musikvereinsaaale in Wien am 17. April 1899». Фотография Смоленского и Орлова помещена в I томе РДМ; фрагменты из венских рецензий — в Воспоминаниях Смоленского (Т. IV) и в разделе откликов на пение Синодального хора (Т. II, кн. 2).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 10 января 1907

Сердечно благодарю за дорогие письма. Выезжаю по пути Питер. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 252—253. Телеграмма

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 9 февраля 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Как редки стали наши беседы! В последний Ваш приезд мы виделись не надолго и не разговорились. Между тем подошла новая разлука, и вновь надолго нет мне утешения поделиться с Вами тем, что для Вас было бы содержательным и интересным. Вот и сегодня прошло заседание Общества Письменности без Вашего присутствия.

Мои работы полны упоения вновь открывающимися горизонтами, и работаю я с каким-то особенным удовольствием и прилежанием. Правда, нет еще в этих раскопках новостей прямых и самозаконченных результатов, но одно уже множество нового, одни сближения совпадающих между собою находок преисполняют мои рабочие часы величайшею бодростью и возрастающим интересом. Судьбе было угодно свести меня с высоко чутким Н. В. Сул-

тановым, и в последние дни его итоги, как и мысли Забелина¹ о самобытности и художественности в нашей деревянной народной постройке и в нашем орнаменте, начинают проясняться в своих приложениях и к нашей церковной стихире, к нашему ирмосу. А Вас нет!

Статья моя о колокольном звоне вскоре выйдет, и я прошу Вас по получении прочесть ее.

Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5077, л. 385—385 об.

1. Имеется в виду Иван Егорович Забелин (1820—1908), русский историк, археолог, коллекционер, автор знаменитых трудов «Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетии», «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетии», «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетии». Забелин являлся также главным создателем и руководителем Исторического музея в Москве (с 1884 был назначен товарищем председателя музея при председателе великом князе Сергии Александровиче).

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 9 февраля 1907

Дорогой Степан Васильевич.

Известна ли Вам статья в «Московском голосе» — «какое значение имеет церковное пение в начальной школе»? Мне кажется, что она очень дельная, но хотелось бы знать Ваше мнение¹.

Как поживаете? Впрочем, вопрос этот праздный. Можно ли теперь хорошо поживать, когда национальное чувство подавлено и оскорблено!

Пробираюсь в Петербург, но не ранее 18 февраля. Одно утешение — занятия стариной, копаюсь вокруг древнего Новгорода и Переяславля.

А мне пишет Н. В. Султанов, что Вы сообщили ему одну Вашу новую и счастливую мысль, связующую творчество песнопений с творчеством строительным, хотя, признаюсь Вам, не вполне еще усвоил себе эту мысль. Радуюсь всего более, что Вы увлечены живительным трудом; а время становится все подлее. Помните интересное чтение Успенского в нашем Обществе? «Новое время» отказалось напечатать его отчет, а всякую дрянь печатает и всей этой выборной галиматье придает значение². Помните выражение Алексея Толстого — «Язвят в колене восходящем»! Сие подобает по отношению к «лучшим людям», ныне Москву в Думу посылаемым³.

Итак до скорого свидания.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 254—254 об.

1. Возможно, имеется в виду статья Я. Г. Буланова «Старообрядчество и школа», напечатанная в № 2, 9, 10 газеты «Московский голос» за 1907 (редактор-издатель Клавдий Степанов); правда, о пении там упоминается лишь вскользь.

2. 26 января 1907 в ОАДП читался доклад Ф. И. Успенского «О серальской рукописи Осьмикнижия с миниатюрами».

3. Цитируется строка из стихотворения Козьмы Пруткова «Родное». Далес речь идет о выборах во II Государственную Думу, заседания которой открылись 20 февраля.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 12 февраля 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Не знаю я, как называется в науке и в жизни тот случай, когда двое, разделенные расстоянием, одновременно обращаются друг к другу. Наши последние письма написались чуть не в один час, и содержание их почти одинаково. В моем письме только нет обуревающей все и вся политики и скорби текущей поры. Я действительно замариновал себя по этой части. Я не читаю даже и газет, чтобы не волноваться, не тратить внимание, силы, нервы, время. И представьте себе, что я отлично чувствую себя физически и душевно. Конечно, это не значит, чтобы меня радовало происходящее. Нет, но я решил давно, а ныне и приобрел уменье и привычку быть вне всего и беречь свой труд для будущего после нас поколения. Принял ли бы я участие личное в нынешнем водовороте или не принял бы — все равно, это не дело моего ума, не дело моих симпатий, не дело моих нравственных обязанностей. Буря пройдет по обычным для бурь законам — набедокурит именно столько, сколько ей надо и суждено, вне каких-либо людских влияний, и кончится тогда, когда ей, как пароксизму, придет срок своего конца.

Всего более меня огорчает в этой буре обнаружившаяся во всей ясности наша полная некультурность, неразборчивость в средствах и приемах, непризнание за противником даже и доле правды и оттого извинение себе всякой сделанной прежде неправды. Конечно, как в горячке (которую, как известно, не лечат), перегорит многое отжившее и закалится многое лучшее и способное к жизни, вся происходящая теперь унижительная для России пора могла бы быть гораздо более приличною, деловитою и более целесообразною, гораздо менее опасною и расслабляющею, главное же (употребляю Ваше слово) — именно менее подлою.

Не скрою от Вас моего мнения и о том, что предполагаю кульминацию ужасов еще только впереди. Внешняя война, по-моему, для нас совершенно неизбежна и грозит тяжчайшими потрясениями. Раскол нашей церкви также почти неизбежен и грозит самую горькую насмешкою над нашим прошлым. Но я думаю, что я не доживу до этих дней или не переживет мое сердце этих волнений.

Указываемой Вами статьи «Какое значение имеет пение в начальной школе» — я не знаю и буду рад познакомиться с нею. Но одновременно и заблаговременно уже скорблю душою о том, что все благие у нас пожелания и указания совершенно не воспринимаются «ни краем уха» ни Синодом, ни Министерством народного просвещения. Было время и у меня, когда при сочетаниях нескольких умных и благожелательных людей удавалось высказывать и внедрять в мозги распорядителей весьма простые мысли, скоро их увлекавшие.

Так, например, случилось в ту пору, когда К. П. Победоносцев еще был в силе для укрощения всяких «учебных комитетов», «училищных советов», когда И. Д. Делянов еще понимал единство цели у Синода и Министерства, понимал и надобность верить Ильминскому и Рачинскому¹. Я много работал в ту пору (конец 80-х годов), но дело пошло по всяким умникам в советах и комитетах, так как мы ведь не можем обойтись без «всестороннего обсуждения». В результате — то, что мы видели недавно, и то, что снова являются статьи «Какое значение имеет пение в начальной школе».

Прошу Вас вникнуть в следующее: мы, русские, беспримерно даровиты в нашем пении, имеем мелодическое наследственное богатство совершенно безграничное. И все-таки теперь это богатство глохнет и расточается варварски, хищнически, в направлении, близком к забвению нами своего художества народного. Вспомните хоть то, сколько песен пелось в пору Вашего детства и сколько песен знают Ваши внуки?

Наша школа народная в отношении к народному искусству была каким-то сплошным выкуриванием его и насаждением вместо него всякой немецкой и итальянской дряни. Когда эта дрянь была в более крупных городах — народ еще был цел и распевал очень хорошо. Когда всякие инспекторы и ревизоры добрались до деревенской школы, когда полиция начала разгонять хороводы — тогда вскоре явилась гармоника вместо балалайки, картуз вместо шляпы, пиджак вместо азяма, кофта и юбка вместо сарафана, баварское пиво вместо квасов и медов, газета, листовка вместо бывшей «божественской», недержание поста и проч. Вот где происходит и развивается наша будущая революция — в нашем духовно-народном вымирании, а не в том бешеном потоке, который только еще захватывает наш изголодавшийся, обобранный, оскорбленный и растерявшийся народ.

Но я все-таки считаю дело поправимым, потому что не все еще вымерло, не все еще отчаялось, еще очень много у нас умных сил, сердечной любви к родному и почтения к прошлому. Угар взаимного озлобления, страстного

желания выпутаться из потока бедствий и бывших ошибок уродует нашу дивную кротость и приводит нас, растерявшихся, забывших правду и добро ради досады, к ряду сущих нелепостей, приведет и к большим бедам в будущем. В ходе нашей революции еще не встала за целость и честь родины *сама Русь*, как например в 1812 году. Сами рассудите, что как не паутина будут тогда все те, которых мы ошибочно считаем теперь за что-то значащее?

В перегоревшей буре восставится и умное родное, способное к жизни на долгие годы, ослабнет немец и немецкое, осиливающее нас до обидного неприличия.

В школе этого будущего времени понадобится и Ваш, и мой труд. Что-бы яснее сказать мою мысль, укажу примеры.

Пушкин пел сначала: «О Делия драгая...», «Что смолкнул веселия глас, раздайтесь вакхальны напевы...», «Моцарт и Сальери», «Дон Жуан» и проч., затем: «Граф Нулин», «Домик в Коломне» (и постепенно углубляясь) — «Евгений Онегин», «Полтава», «Повести Белкина», «Борис Годунов», «Русалка». Наконец — целый поток прелестей: сказки о рыбаке и рыбке, о Салтане-царе, о попе и работнике, о Золотом петушке, о мертвой царевне... Песни Западных славян и между ними: «О чем шумите вы, народные витии...» и т. п.

Или: я не поклонник нынешних композиторов, но невольно почитаю их оперы: «Добрыня Никитич», «Садко», «Снегурочка», «Сказание о граде Китеже», «Кашей Бессмертный», «Царь Салтан». Придет ли теперь кому-либо из наших композиторов написать, например, Эсмеральду, Ундину или Сервилию?

Или: наши художники, ученые, архитекторы, писатели, все до одного, *вполне невольно*, почувствовали конец чужого наносного и начало надобного будущего именно в использовании нашей родной старины. Подумайте, например, о неудержимой волне восстановления этой прелести хоть бы в Абрамцевской мебели, в постройках новых церквей, в *сути появления* «истинно-русских», в выкройках наших модных журналов, в переплетах книг, в обоях на стенах и проч.

В этом движении я вижу ту силу, которая выведет нас из бед и страданий нашей лживой и больной поры. Наше личное несчастье в том, что нам пришлось быть ее свидетелями и испытать свое бессилие в борьбе. Но и наша утеха в том, что горит зло старое, закаляется родное новое, родится свое, подрастает надобное.

Теперь опять к школе: правительство наше было и останется безнадежно неумелым в школьном деле, уча народ по шаблону, одобренному в петербургских комитетах. Я не знаю большей глупости, как постоянное внедрение в народные массы (родителей и самих учащихся) всяких забот насчет оберегания народа от революции, зловердных учений злонамеренных людей и проч. Между тем именно это оберегание прежде всего игнорировало народный ум и высоту, на которую народ поставил «свою училищу», затем оно оскорбило народ и особенно учителей грубым сыском, самым обидным недоверием,

наконец, оно обезличило и уронило школу шаблонным учением как раз не тому, чего требовала душа народная. Наконец — эта школьная канцелярщина, это иго надзора через инспектора, попа, земца и полицейского! Всей такой ферулы совсем незачем было заводить, и развал нашей школы (как и гимназий с университетами) может быть прекращен только тогда, когда она будет надобною сама в себе, когда она, врачуясь от своих нынешних беснований, обожжется сама в себе и одумается своими же мозгами. Высоко поучительна, например, сейчас пора отрезвления и разочарования своими вольностями в среде студентов. Также единственно уврачуется и гимназия, и наша начальная школа. Последняя, особенно же сельская, уравнивается и самим «миром», то есть отцами и матерями, и тем скорее, надежнее, чем скорее будут не допускаемы в школы всякие нелепые ревизоры, инспекторы, прошенные и непрошеные земцы, грубые полицейские и прежде всего — неискренние, лживые, запуганные попы.

Посмотрите, граф, как хороши, как приноровлены для себя, например, старообрядческие школы, даже и мусульманские, даже и ламаитские! Их процветание основано на том, что своя школа бережется миром так же, как мост, прясло, церковь, мечеть. Этот мир в свое время отбил от всяких циркуляров, негласных наблюдений — и остался с отличной народной школой. А наш Синод и Министерство народного просвещения всячески оберегали школу — и она почти погибла. Конечно, спасение этой школы надо искать именно в изъятии ее от будущего оберегания.

Например, жалко и обидно сказать, что у нас сделано решительно все, как бы на смех, чтобы нигде не учились церковному пению, чтобы и не у кого, негде было учиться. Нельзя без негодования вспомнить, как «учат» церковному пению в наших гимназиях, реальных училищах и даже в духовных семинариях и духовных училищах. У нас, кроме Московской консерватории, нет кафедр церковного пения не только в университетах, но даже и в духовных академиях. Надо ли мне бередить свою горечь о падении милого Синодального училища в Москве? На что стала похожа теперь знаменитая когда-то Придворная капелла?

Между тем, например, в здешнем Университете есть весьма работающий любительский церковный хор, в Духовной академии — также, в других высших заведениях, даже и в гимназиях — также. В провинциальных городах — также. Стало быть — еще поют!

Но кто же учит эти хоры? Вот тут бы я и предложил ответить Синоду и Министерству народного просвещения — авось покраснеют и заикнутся, авось пожалеют о своем упрямстве и хозяйничанье несмотря на всякие усовещивания и вразумления.

Вот с какими мыслями жду я присылки от Вас статьи из «Московского голоса». Теперь еще не время для попыток вразумления всяких Кауфманов по части русской школы и расчистки дороги церковному пению. На наш Си-

нод, скажу Вам по совести, я просто рукой махнул! Бог ему судья — этому «святейшему, правительствующему». Ничего так не боюсь, как предстоящего «Собора»².

Графине — мой и Анны Ильиничны привет и поклон.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5077, л. 399—402

1. Делянов Иван Давыдович, граф (1818—1897) — министр народного просвещения в 1882—1897, то есть при обер-прокурорстве К. П. Победоносцева. Подробнее об отношении официальных инстанций к церковному пению в этот период и о роли С. А. Рачинского см. в переписке Смоленского с Победоносцевым.

2. Имеется в виду Предсоборное Присутствие.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 15 февраля 1907

Большое сердечное спасибо за дорогое письмо. Сейчас выезжаю. Шереметев

РНБ, ф. 855, № 30, л. 255. Телеграмма

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 4 марта 1907

С Постом!

Дорогой Степан Васильевич — а вот и масленица запечатлена совершенно небывалым образом — провален потолок над ареопагом!¹ Вот так загвоздка. Разберитесь тут — в этой всероссийской каше! Или же лучше плюнем на ее позорище и уйдем по своим норкам.

Надеюсь прибыть на второй [неделе Великого Поста], а на Красной горке — еще жив буду — опять на свадьбу к сестре только что сочатавшейся — и уже в 3-е за эту зиму².

Забыл похвастаться музыкальной комнатой, мною устроенною наверху и обставленною портретами³. Вы знаете, я без музыки — как без питания...

Будьте здоровы и благополучны.

А потолок не сходит с ума: что говорит наш любезнейший зодчий — Н. В.⁴
Сердечно преданный С. Шереметев.

Я бегать не любил с толпой за многобожеством,
За мнением в чести и за людьми в ходу
И рабски им служить пружиною иль подножеством
И попугаем быть с другими наряду.
Мне нравилась всегда неторная дорога.
Что мыслил — высказал, что чувствовал — пропел,
И в осень уголок домашнего порога
Цветами поздними убрал я как умел...⁵

РНБ, ф. 855, № 30, л. 256—257

1. Обвал потолка в зале заседаний Думы в Таврическом дворце произошел 2 марта 1907. Дело было ночью, так что никто не пострадал. Тем не менее, на спешно созванном на следующее утро заседании Думы в другом помещении высказывалось предположение, что имело место покушение на жизнь народных избранников, и едва ли не со стороны правительства, возглавлявшегося тогда П. А. Столыпиным. Дальнейшее расследование показало, что виною всему была ветхость старого здания потемкинского дворца. Так или иначе, случай был воспринят как недобрый знак, и действительно, II Дума была распущена в начале июля того же 1907 года.

Митрополит Евлогий (тогда епископ Холмский и Люблинский), депутат II Думы, так описывает ситуацию:

Когда я утром приехал, я увидел на наших местах груды штукатурки. Этот недосмотр архитекторов вызвал в депутатах бурю негодования. А депутаты-крестьяне от радости, что избежали смертельной опасности, просили меня отслужить для них благодарственный молебен. Для заседаний был спешно приспособлен другой зал Таврического дворца — и загремели зажигательные речи... Обвал потолка дал повод для возмущения деятельностью правительства... (Митрополит Евлогий (Георгиевский). *Путь моей жизни*. М., 1994. С. 161).

2. Родных сестер у графа не было, речь идет, вероятно, об одной из его многочисленных двоюродных и троюродных сестер; кроме того в это время вышла замуж одна из дочерей А. Д. Шереметева.

3. Музыкальная комната была устроена Шереметевым в Михайловском.

4. Имеется в виду Н. В. Султанов.

5. Автор стихов не установлен.

Шереметев — Смоленскому

Михайловскос, 4 марта 1907

Только что отправил Вам, дорогой Степан Васильевич, письмо, как получил Вашу статью о колокольном звоне, за Вашу подписью¹.

Мне как-то особенно было грустно сегодня: такое сложное было чувство и прилив воспоминаний минувшего, и как раз связанных с преддверием Поста; все, что доходит из Петербурга, конечно, не может облегчить что-либо — тошно, противно сознавать, что мы переживаем по собственной вине, как изменяем мы родным нашим началам, как далеки от своей родины и ее гения... И вот неожиданно приходит Ваша статья — и я прочел ее тотчас же вслух моей жене, в полном уединении.

Что сказать Вам? А сказать должен тотчас же под свежим впечатлением.

Великое Вам спасибо, что Вы так удивительно умеете будить все русские струны.

И среди испытываемого унижения как отрадно вспоминать (сверх чаяния сегодня) те вдохновительные слова, те пережитые впечатления, которыми живет человек.

Вы имеете особый, Вам свойственный дар, ныне редкий — расшевелить сокровенное заглухнувшее родное. Ведь это целый ряд картин. И простите за такую откровенность — я с трудом прочел иные места громко, потому что подступили слезы.

Не удивляйтесь и не смущайтесь: бывают особые дни, особые настроения. Ваши слова пришли в один из таких дней и спасибо Вам великое за то добро, которое они сделали.

Я не склонен к унынию, но временами отдаюсь волне. В словах Ваших я прочел призыв к порядку, к сосредоточенности, к сознанию жизненной правды Вашего мирозерцания. Самая главная прелесть — это бьющийся ключ живого вдохновения, это сознание бытовых начал, это вера в дарованные народу нашему таланты... И они пробьются сквозь тину, нас заблочивающую своим чужедумством. И час этот неминуемо настанет.

Простите, пишу наскоро, несвязно и потому только, что потребность перед Вами высказаться.

Жена разделяет мои чувства и шлет Вам сердечный привет.

Ваш искренно преданный С. Шереметев.

Р. С. Сейчас узнал о кончине г-жи Волковой. Что-то наша Софья Сергеевна?²

РНБ, ф. 855, № 30, л. 258

1. Статья Смоленского «О колокольном звоне в России» опубликована в РМГ (1907, № 9/10).

2. М. В. Волкова скончалась 3 марта. С. С. Волкова и ее сестра после кончины матери находились в Москве у друзей. При этом Софья Сергеевна тяжело заболела (см. подробнее в переписке с Волковой).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 8 марта 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Провожая Вас 27 февраля, я условился с Н. В. Султановым о вчерашнем вечере для взаимной беседы. Вчера я был у него. Я отправился к нему только что получив Ваше трогательное для меня письмо, где Вы так снисходительно хвалите мой «Звон». У Николая Владимировича оказалось письмо такое же.

Глубоко благодарю Вас! Я вижу, что немногие страницы «Звона», вырвавшиеся из моего сердца, оказались доходными и до сердца ближнего. Но я ведь не писатель, не литератор, и потому не качество изложения, а самый предмет, само содержание темы и ее освещение составило то, что произвело на Вас впечатление. Вы угадали своим пронизательным умом и чувствительным сердцем, что я пишу многое междустрочие, обиняками. Это делается мною умышленно для того, чтобы и дело делать, и «дабы не быть в посмеянии у глупцов». Разделяю я ныне многих людей искренне чувствующих одно, но малодушно говорящих совершенно иное, людей чувствующих то же самое и пересаливающих в том же самом, наконец, и людей чувствующих то же самое и берегущих как это чувство, так и свою небольшую область делания. К последним причисляю и себя, избитого, искалеченного, но горячо любящего по-прежнему. Я действительно горячо верю в русскую даровитость и в силу нашего несравненного народного творчества. Я верю и в то, что несомненно должен прийти час вразумления и отрезвления нашего самую силою этих дарований, самую простотою нашего народного ума. Как великою кротостью православно-народного сердца простятся грехи многие текущей злой, малодушной поры, как великою любовью народною оберутся свои народные красоты, так умом своим мы «придем в себя», подобно блудному сыну, вразумившемуся только у края падения, так же своими дарованиями мы, избитые, самоосрамившиеся, больные, обнищавшие, униженные, — мы все-таки воспрянем, ибо мы все-таки большой, великий духом народ, мы все-таки богатыри.

Но при таком моем «Верую, чаю, исповедую» я все-таки нахожусь в периоде «достраивающего крыши на давно начатых мною домах», то есть я все-таки работаю над окончанием многих сочинений, начатых когда-то, но еще не окончанных. Таков и «Звон», таковы и будущие «Звоны». Один из них я могу

назвать даже большим Трезвонном, ибо он написан более половины и заключает в себе исторический очерк нашего пения с X века до наших дней¹. Тенденция этого Трезвона та же самая — то есть великая поучительность нашей даровитости и великая надобность всячески охранить родную красоту, великая надобность вдолбить, наконец, в современные головы убеждение в возможности для нас только этой дороги и, наконец, надобность в самом деле работать, а не пустословить.

Но у меня нет мужества говорить резко, прямо; у меня воспиталась какая-то особенная деликатность, какая-то надежда на всепокоряющую силу любви и красоты, и я говорю напрямик только в письмах, только в дружеских беседах, но не в печати. Здесь я, излагая дело, маневрирую со всякими междустрочиями, оберегаю дело и свой авторский покой от бешеных наскоков неумелых в моем деле, но дерзких на язык критиков. Одни из моих друзей говорят мне, что я действую ошибочно и делаю дело только наполовину; другие же, напротив, говорят, что я уже чересчур смел, даже и во многом чуть не совсем «крайний правый»... Прав ли — сам не знаю.

Я все-таки задумываюсь глубоко над впечатлениями, подобным указанным в Вашем письме. Они очень волнуют меня, но вместе и тревожат тем, что много ли найдется у меня чутких читателей и сочувствующих моей боли сердец? Боли моего сердца, дорогой и нежно любимый граф, очень велики! Как ни сильна моя вера — живем мы в трудное и опасное время, ибо бури нашей поры сильны и давни, сами мы ослабеваем порою и малодушничаем, утратив веру в ослабевшие рули, в истрепанные паруса. Пишу это со слезами.

Читая Ваши строки, я представил себе графиню с шерстью в руках, Вас в очках за чтением вслух «Звона» и тихий вечер в Михайловском, «прощное воскресенье» и тот «дух», который был в этой же комнате 40 лет назад, на этом же бугре 400 лет назад. Мне мелькнула в уме чудная мелодия сегодняшнего великого прокимна: «Не отврати лица Твоего, яко скорблю! Вонми души моей и избави ю!» Многие ли ныне, вместо чтения газет, романов, памфлетов, слушают такие слова и слушают эти истинно «райские напевы»?

Графине — поклон мой и жены моей.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5078, л. 35—36

1. Не совсем понятно, о какой работе идет речь; скорее всего — о первых разделах курса лекций по истории церковного пения.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 26 марта 1907

Сегодня около одиннадцати у меня собираются Султанов, Зверев, Усов и Федченко — не зайдете ли посидеть за легкой закуской?

Ваш С. Шереметев.

Книгу [?] получил. От души благодарю.

*РНБ, ф. 855, № 30, л. 261. На открытке с видом Бахчисарая***Шереметев — Смоленскому**

Михайловское, 30 марта 1907

Как поживаете? Будьте здоровы. Скоро увидимся. У нас еще вешние воды — не прошли. Как лето будущее?

До свидания. С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 262. На открытке с видом Гусевки и надписью Шереметева: «Ее уже нет!»

Шереметев — Смоленскому

[Михайловское, 21 апреля 1907]

[Пасхальная открытка с изображением колокола и подписью: «Во вся тяжкая!»]

*РНБ, ф. 855, № 30, л. 263***Смоленский — Шереметеву**

Петербург, [22 апреля 1907]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вы позволяете мне писать Вам обо всем, и я рад Вашему вниманию к моим письмам, рад и случаю выложить на бумаге мои мысли и послать их именно Вам, чуткому сердцем.

Глубоко люблю я истекающую Страстную седмицу и благодарю свою судьбу за то, что, быв регентом много лет, успел выучить все службы ее от вечера Ваий до пасхальной заутрени. Тот, кто усвоил себе мерность паремий в их внутреннем смысле, кто трогался поэзией стихир и канонов этих дней, тот уловил и великое художество нашей Страстной недели как целой поэмы, апогей которой достигает[ся] в утреню Великой Субботы. Красота соотношений между всякими прокимнами, антифонами с паремиями и стихирами, красота церемоний, исполненных трогательной простоты, — все это вместе составляет несравненную величественность, которую мы заряжаем себя однажды в год. В песнопениях Страстной седмицы нет и следа малодушной печали, но есть суровое торжество, давящее наше воображение величием последовательных воспоминаний и их несравненно умирительностью. Жалки люди, равнодушные к службам этих дней и равнодушные, может быть, только по незнанию, по неумению ясно понимать славянскую речь! Что бы было, если бы эти же дивные песни пелись по-русски? Сколько сердец задрожало бы от трагизма этих текстов и от силы значения их в приложении к нашим ищущим молитвы истерзанным душам!

И в то же время как нежны, как поэтичны и просты наши напевы, например, «Се Жених», «Да молчит всякая плоть», «Благообразный Иосиф»! Ведь у немцев нет ничего подобного, а мы считаем, что в них все для нас только самое обыкновенное, заурядное. Есть ли у католиков хоть что-нибудь сходное с нашей дивною обеднею Преждеосвященных Даров? Есть у кого-либо что-нибудь похожее на несравненную молитву «Верую, Господи, и исповедую», или «Вечери Твоя», или «Разбойника благоразумнаго», или «Чертог Твой»?

Истинно слепы и глухи те, чьи духовные очи и уши не чувствуют этой дивной красоты, в которой перлы поэзии соединены у нас и с мелодиями вне сравнения.

И какая простота! Например, «Се Жених» состоит только из двух мелодий по три ноты, к которым прибавляется глубоко-народный припев, в котором особенно хороша нота *ми*:



Се Же - них грядет и блажен в по - лу - ноци

И только всего! Десять повторений одного и того же нисколько не прискучивают от наличности родных звуков. И заметьте, как выдержана здесь форма так называемого малого сонета:

- 1: Се Жених грядет в полунощи
- 2: И блажен раб, егоже обрящет бдяща
- 2: Недостоин же паки, егоже обрящет унывающа.

1: Блюди убо душе моя
 2: Не сном отяготися
 2: Да не смерти предана будеши,

1: И Царствия вне затворишися
 2: Но воспрями зовущи:

1: Свят, свят, свят еси Боже
 2: Богородицею помилуй нас.

Или:

1 -----
 -----2
 -----2

1 -----
 -----2
 -----2

1 -----
 -----2

1 -----
 -----2

Я полагаю, что перед такою техникою текста пал бы ниц любой из поэтов, а перед восхитительною мелодиею преклонился бы любой композитор. А мы? Стыдно и вспомнить — кто мы, как мы равнодушны, глухи и слепы, как мы не ценим свое и ищем у чужих, имея свое несравненное. И какое множество у нас малых симфоний, дивно украшенных музыкою, слышимых нами каждый раз и не постигаемых нами в красоте своей формы. Например (беру старый текст):

1 Милость, мир, жертва и пение!
 2 И со духом твоим
 3 Имамы ко Господу.
 4 Достойно и праведно.

- 5 Свят, Свят, Свят Господь Саваоф
 6 Исполнь небо и земля славы Твоея
 7 Осанна в вышних: благословен грядый

8. Аминь
 9. Аминь. Аминь
 10. Поем Тя, благословим Тя, благодарим Тя
 11. И молимтися И молимтися И молимтися
 12. Боже наш.

Строки -----
 1 — 4 -----

Строки -----
 5 — 7 -----

Строки
 8 — 9 -----

Строки -----
 10 — 12 -----

— то есть прямая форма симфонии: два больших восклицательных предложения 1 и 4, внутри которых — 2-е и 3-е малые ответы; отдельная часть (5, 6, 7) — гимн из трех стихов; следующая (8, 9) — малый стих и он же двойной — противопоставляется части «Свят», и, наконец, два предложения из устроенных малых, с заключением «Боже наш», в котором («Боже наш») — длинная фита, равная всем 2 x 3 стихам.

А у нас вместо этой дивной формы поют ужасающую дребедень, написанную в западном стиле со всяким вздором в пересыпании голосов. Только и уцелела старина на Литургии Василия Великого.

Пишу Вам в пятницу вечером, после упоительной утрени, которой слушал, конечно, только немногие обрывки. Прошло безвозвратно время, когда и народ был крепче, выносливее, когда и в мыслях не было служить утрени с вечера, когда не пропускалось в службе ни слова. И ничего — не разваливались люди! с наслаждением упивались они неподражаемую поэтичностью это-

го «погребения Христа», да еще и нас выучили любоваться этою несравненною красотой! А теперь? Сегодня подано заявление певчих митрополиту Антонию¹, что они отказываются в будущем повторять три раза одинаковые песнопения и будут их петь (кроме кратких) только по одному разу... Долго тянется служба и тяжело петь, жалованья мало — вот резоны просьбы. Интересно будет узнать, напомнит ли в ответ певцам митрополит Антоний о молитве, о поэзии или в самом деле еще будут укорочены немногие в году дивные службы, и без того ободранные без жалости.

Но меня сегодня порадовал днем Казанский собор. За вечернею он был совершенно полон народа, и этот народ молился усердно.

В минуту чтения Вами этого письма уже будут петь «Христос воскрес». Без Вас здесь идут службы в порядке, но «без хозяина — дом сирота». Упреждаю наступление великого праздника тем, что во время пения первого «Христос воскрес» буду с Вами мысленно в единении. С детства привык я успевать мысленно христосоваться со здравствующими друзьями во время первых двух «Христос воскрес», а за третьим — христосовался с дорогими покойными. Увы! Теперь немногие живые друзья свободно перечисляются в первом «Христос воскрес» и едва-едва успеваю перебрать мысленно множество дорогих покойных во время второго и третьего пения тропаря. Кого ни вспомнить — все были люди крупные и было их много.

Но все-таки «простим вся воскресением! рцем: братие!»

Христос воскрес! дорогой и сердечно любимый Сергей Дмитриевич! Христос воскрес! добрая и ласковая Екатерина Павловна! Вместе с женою моею шлю Вам привет и душевные пожелания доброго здоровья и всякой радости в детях и внуках. Христос воскрес! Христос воскрес! Шлю привет и окружающим вас молодым и их радостям — детям. Шлю привет и товарищу-регенту Ситнику. Христос воскрес!

Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5078, л. 304—305 об.

1. То есть митрополиту Петербургскому Антонию (Вадковскому).

Шереметев — Смоленскому

[Петербург, после 22 апреля 1907]

Царь зовет завтра! Увы Новгород...¹

1. Судя по дневниковым записям, Смоленский с Шереметевым собирались на Светлой седмице совершить поездку в Новгород (таковая не состоялась).

РНБ, ф. 855, № 30, л. 264. На визитке Шереметева

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 20 мая 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Посетило меня после Вашего отъезда какое-то расслабление, и я мало работал в последние дни. Почему случилось то — понять не могу, так как чувствую себя вообще крепко, хотя и неблагоприятно, но явилось неотступное желание побывать где-нибудь в самом полном одиночестве, где-нибудь в уездном городе или даже в незнакомом захолустном монастыре. Припомнились афонские монастыри с не знающими по-русски и потому неразговорчивыми греками; припомнилась обаятельная южная красота и торжественная тишь прошлогодних вечеров и ранних утр.

Ораторию Дегтярева я просмотрел внимательно и сделал даже переложения для фортепиано 20—30 страниц оркестровой партитуры.

Писал и в Москву некоему согладату, чтобы разузнал почву насчет возможности напечатать «Минина и Пожарского». Это я сделал еще до получения партитуры и потом пожалел, так как сказала моя слабеющая память: так называемого «slavier» в партитуре не оказалось в обоих экземплярах партитуры. Его еще надо составлять.

Обзор «Минина и Пожарского» привел к написанию небольшой статьи, в которой $\frac{9}{10}$ — изложение либретто¹. Музыка — те же концерты Дегтярева с весьма слабою (по нынешним временам) инструментовкою, но все же музыка мелодична, задушевна. Либретто — какого-то Горчакова, может быть, и известного тогда автора многих либретто князя Дм. Петр. Горчакова, заядлого шишковиста — решительно никуда не годно². Это совсем не стихи, а прямо дрова, совсем не поэзия, а какой-то нелепый набор патриотических ходульно-приподнятых сентиментальностей. Представляю себе теперь, какое мучение было для Дегтярева писать музыку, например:

Беда, беда постигнет нас,
 Коль будем медлить мы.
 Кичливый враг готов вступить в поля,
 Что окружают нас.
 Пойдем отечество спасать,
 Мечи, знамена есть у нас.
 Кого вождем избрать?

Или, например:

Дадим себя, как россам сродно,
 Отечеству и вере в дань,
 Все силы, все именье наше
 Готовы мы в жертву для сего.

Из Москвы сказали так: «Олег» и т. п. был издан стариком Юргенсоном³, которому были доступны в одинаковой мере культура, нажива и умение ценить старину. Сыновья покойного старика больше ноют и охают по нынешнему застою торговли, не дающему их алчности случаев нажить по 200—300 процентов на рубль; потому теперь больше печатаются оперетки, куплеты Вяльцевой и т. п. Мой соглядатай даже не счел надобным заговорить с молодыми Юргенсонами о «Минине и Пожарском».

Признаться — и хорошо сделал, так как надо было делать переложение с партитуры оркестра на фортепиано в 2 руки, а это вещь очень кропотливая и дорогая.

По всем этим соображениям дело о Дегтяреве придется пока сдать в архив. Не такая ныне пора, хотя «Минины и Пожарские», по-видимому, должны явиться скоро, так как мы в самом деле почти уже совсем «измалодушествовались».

Боюсь и заговаривать о том кошмаре, который обуял всех.

Объясняю свою временную апатию ко всему невозможную погодую и своим утомлением за эту весну. А между тем очень много работы впереди и даже не вижу конца работе. Афонские рукописи с каждым месяцем вырисовываются в нечто несравненно-восхитительное, так как теперь уже совершенно несомненно и документально доказывается наша церковно-певческая самобытность, притом же и в весьма внушительном объеме, да и в самом начале нашей письменности.

Но и усталость велика... Сейчас получил приглашение от Софьи Сергеевны Волковой, только что прибывшей из Москвы, побывать у нее для переговоров. Сейчас же прочитал и воскресный (20 мая) фельетон Меньшикова о наших духовно-поповских и архиерейских делах⁴. Глубокая грусть овладела мною и при мыслях о предстоящем церковном соборе. Какая страшная сила готовит нам очевидное теперь новое потрясение в том, что хоть как-нибудь, но все же умирало наши скорбные души. У нас все же было хоть какое-нибудь убежище, где мы молились, врачевали себя и старались хоть надеяться «избавитися нам от всякой скорби, гнева и нужды». И сюда забралась эта «политика»!⁵

Графине и Вам мой и жены поклон.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5079, л. 105—105 об.

1. Эта работа Смоленского под названием «Оратория Степана Аникиевича Дегтярева "Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы"» была опубликована в сборнике под редакцией Н. Ф. Финдейзена «Музыкальная старина» (Вып. III—IV. СПб., 1907. С. 68—82, с приложением нескольких фрагментов сочинения в клавирном изложении). Как пишет автор, два экземпляра оркестровой партитуры оратории были найдены им в библиотеке графа С. Д. Шереметева, что вполне понятно, так как Дегтярев был шереметевским крепостным.

Оценка музыки Дегтярева в статье такова: оратория «может вызывать местами только улыбку», но в ней «много вдохновения»:

Дегтярев всегда певуч, небогатлив, искренен и деловит; иногда он поет с глубоким чувством, выраженным просто, вполне естественно (Цит. изд. С. 70—71).

2. Смоленский ошибается: автором либретто оратории был вовсе не князь Д. П. Горчаков, а Николай Дмитриевич Горчаков (1788—1847), известный в Москве того времени литератор, историк-мемуарист, автор интересной работы «Опыт вокальной, или певческой музыки в России, от древних времен до нынешнего усовершенствования сего искусства...» (М., 1808). Можно поспорить и с оценкой Смоленским либретто оратории как «невозможно дубоватого» и «ходульного». Скорее следует отнести к нему приведенную выше характеристику музыки оратории: текст «может вызывать местами только улыбку», но в нем «много вдохновения». Подробнее см. во вступительной статье О. И. Захаровой к изданию: Степан Дегтярев. Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы. Партитура. М., 2006.

3. Под «стариком Юргенсоном» имеется в виду основатель знаменитого издательства Петр Иванович Юргенсон; после его кончины дело продолжали сыновья — Борис Петрович и Григорий Петрович. «Олег» — драматическая пьеса Екатерины II «Начальное управление Олега» (1790), музыку для которой написали Дж. Сартти, В. А. Пашкевич и Дж. Каноббио.

4. В фельетоне известного публициста М. О. Меньшикова (из серии «Письма к ближним») подробно рассматривался вопрос об участии духовенства в современной политической жизни России. Характерны уже подзаголовки разделов: «Отцы-“товарищи”» (о бунтах в духовных семинариях и академиях, об о. Григории Петрове, которого автор называет «радикальным батюшкой»); «Депутаты церкви» (о «жалкой роли», которую играли духовные лица, выбранные в I Государственную Думу), «Синод в капкане». В этом последнем разделе, отвечая на вопрос, что делать в нынешних обстоятельствах Св. Синоду, Меньшиков пишет:

Прежде всего нужно перед Богом спросить себя, что они такое сами, высокопоставленные владыки. Кадеты ли они или люди старых национальных убеждений. Если они кадеты, то благороднее всего подать низшему духовенству пример и оставить свои пастырские жезлы. Если не кадеты, как я уверен относительно некоторых владык, — то нужно исполнять свой долг. Нужно удалить из церкви соблазн и скандал» (в частности, хождение духовенства на митинги и выступления в газетах).

5. Отрицательное мнение Смоленского о созыве Собора отнюдь не было единичным: довольно многие лица из церковной среды в то время считали, что при данных обстоятельствах деятельность Собора и восстановление патриаршества не приведут к освобождению Церкви из-под диктата государства и лишь умножат хаос и замешательство в церковной жизни. Как известно, Собор 1917/1918 года проходил при совсем иных условиях, уже после падения монархии.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 30 мая — 2 июня 1907¹

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Начинаю изложение своих мыслей сейчас же после того, как мы расстались с Вами. Я обещал Вам сообщить эти мысли в качестве соображений общих и в качестве моих упований, что в случае какого-либо, хотя бы частного их осуществления, могло бы получиться не только врачевание горя текущей поры, не только облегчение нынешних поколений хотя бы верою или начатком веры в лучшее будущее молодого поколения, но, может быть, даже и значительная доля скорого успокоения многих умов.

Мы переживаем время какого-то сумбура мыслей. Мы мечемся в разные стороны, не избрав себе определенного направления действий, главное же — не указывая следующему за нами поколению определенной, осмысленной дороги. У нас нет и памяти о недавнем прошлом, расшатавшем Россию до самой глубины ее оснований; мы закрываем глаза на то, что эти расшатывающие причины либо действуют по-прежнему, либо действуют еще разнузданнее. У нас нет и силы собраться с духом, сдержаться в надобных случаях, чтобы либо обойтись прилично с расшатытым нами же, чтобы не обозлить до бунта все почти начавшее или почти готовое бунтовать, чтобы смирить эту яркую, обозленную войну умными и достойными уступками, впереди которых были бы поставлены совершенно ясные общепонятные и легко исполнимые обязательства.

Вы знаете, что я всю жизнь был учителем и занимался искусствами. Кроме чудесных учителей, давших мне множество примеров, я сам уже пришел в тот возраст, когда давно бывшие мои ученики стали зрелыми людьми. Поэтому я мог в свое время обсудить, кроме научного приготовления к своей педагогике, множество опытов других лиц, пламенно любивших дело просвещения России, равно и свои многие годы деятельности, когда я учил и воспитывал людей с самою сущою любовью к ним, с самым беззаветным желанием сделать их умными, честными и работающими русскими людьми.

Понятно, что в достижение целей обучения и воспитания мною, как и другими, твердо памятовалась текущая пора и всячески предугадывалась пора будущая. Ведь все, если не идет вперед, то хоть перерождается в подробностях очень быстро, оставаясь в существе почти тем же, чем оно было. Внешность, приемы, взгляды, потребности, при которых я учился сам, так же как и средства обучения, обстановка и т. п. ныне совершенно переменялись. Но суть дела почти осталась та же, в некоторых же отношениях останется и впредь неизменною.

Чтобы особенно подчеркнуть последнее, укажу на то, что все мы были и остались русскими и в России, что у каждого из нас, к какому бы классу он ни принадлежал, остались одни и те же детство, юность, начавшееся мужество и

наконец гражданская готовность к деятельности. Эти неизменные сроки жизни каждого человека требуют и неизменной же минимальной школы общей, в которой одновременно бы развивалась «личность» в каждом отдельном случае и сообразная способностям каждого его субъективная, личная самодеятельность.

Отсюда, в связи с вышеизложенным, я вывожу план действий, в котором было бы необходимо соблюсти: 1) естественную и целесообразную простоту обучения и воспитания, 2) развитие в школах же возможно широкого простора для самодеятельности каждого, сообразно его способностям и 3) целесообразность обучения и воспитания дальнейшего ради выработки в нем уравновешенного, знающего свое дело гражданина, работающего над собою и после школы.

Путь к достижению таких результатов я нахожу в нахождении и доброго, и множества злого в существующих учебных заведениях России. Уберечь и развить доброе и выкурить злое — вот моя дорога.

Начну поэтому с критики существующего. Нынешнее поколение, то есть наши дети, есть прежде всего сыновья тех, которые когда-то были жесточайше оскорблены с конца 60-х годов правительственной системой обучения, которые вспоминают с сущою ненавистью бывшую классическую школу, бывшую бесправную реальную школу, бывшую нелепую поповскую семинарию. Люди постарше нас, имеющие в нынешних учащихся своих внуков, находятся не только в разладе с своими сыновьями и дочерьми, но и недоумевают о той непримиримой розни, которая решительно не допускает даже и мысли о соглашении между отцами, дедами и внуками. Первые отрицают наивность и запоздалость вторых, а малыши уже успели узнать многое такое, что отцы скрывают от дедов, что отцы сами не умеют урегулировать в своих 12—17-летних юнцах.

Отчего этот разлад? Отчего это недоверие взаимное и даже скрытая непримиримость? Отчего это наше неумение подойти к молодежи уважительно и взять ее в руки ради ее же пользы?

От нашего незнания, от отсутствия у нас самодеятельности и от нашего недоверия к самодеятельности той же молодежи. Ее любознательность, ее нежное детство, порывы ее юности — буквально те же самые, как прочувствованные нами, но забытые нами самими много лет назад. Мы не знаем, как подойти к молодежи, мы не верим ей и мы же не даем себе труда разобраться в трудности и, пожалуй, безвыходности, пожалуй, даже и необходимости ее нынешней резкости, распушенности и безотраднейшей страдальческой жизни.

Кто эта молодежь?

Письмо не есть литературная, отделанная работа, но есть только спешное изложение обуревающих мыслей. Скажу прежде всего: программы немецких гимназий и университетов, особенно же низших и специальных школ, так малы, что мы не можем читать их без глупого и высокомерного смеха. А между тем вся наука, вся техника именно там, а у нас, прости Господи, что! [Наши программы] совершенно непосильны юношеству и потому вполне вредны.

Я не имею слов почтения, которыми бы я мог выразить свое благоговение перед классическим образованием. Эта величайшая гуманитарная роскошь обратилась, однако, у нас в величайшую ненависть ко всему греческому и латинскому, так как грамматикальная система убила в классической выучке величественную суть идеализма и художественности древнего мира. Величайшие, несравненные умы и поэты классического мира дали у нас вместо гуманизма какое-то незабываемое, подлежащее отмщению чувство самой непримиримой вражды, самого настоящего истребления в нас всего истинно классического, всего возвышенного, всего художественного.

Вместе с тем мы — славяне, мы, имеющие не меньшую поэзию, самобытность, — не усвоили с детства то общечеловеческое из классицизма, что делало бы наших детей гуманистами, а ради латыни пренебрегли родною славянскою красотою.

Я не имею также слов почтения, которыми бы я мог выразить свое благоговение перед духовным образованием. Это, с христианской стороны, с бытовой русской стороны — величайшая сторона нашей народной жизни, давшая нам людей не только в рясах, но и в штатской, даже военной одежде. Кроме преподобного Сергия, святителя Алексия, Филиппа у нас были Крылов, Пушкин, Грибоедов, были Суворов, Кутузов — недавно Соловьев... Но что же мы видим теперь в наших полах, монахах, архиереях, в духовных училищах, семинариях и академиях? Что видим мы в церковной службе наших дней?

Мы видим, что в эту область вошло нечто глубоко оскорбляющее не только заветы Иисуса Христа, не только устои православия как культа, но и все то, что спасало когда-то *Святую Русь* от неслыханных бед. Именно тут — самая беда этого святого дела.

Нам грозит нашествие армии будущих (частью и теперь) попов и архиереев — сущих атеистов и карьеристов, нисколько не русских, но крепко исповедующих законы рубля и компромисса. Нам грозит забвение тех начал, которыми именно крепла *Святая Русь*.

Между тем ужели же умнейший К. П. Победоносцев не угадывал эту жестокую современность еще 20 лет назад? Ужели же само духовенство в массе, стоя у самого народа, не провидело жестокую гибель своего дела для своих же детей, родных и духовных? Ужели нельзя было направить дело по умному руслу?

Считаю я все это наследием упрямого прошлого, так как все такие волны, не регулируемые свыше, в конце концов разражаются в нелепую «мертвую зыбь». Именно эту «зыбь» переживаем мы теперь, при трясущемся и наиглупейшем Святейшем Правительствующем Синоде, не знаящем, на какой бы глас ему запеть, как бы осмелиться заявить о себе поумнее. Пожалуй, уж и поздно!

Я уже говорил Вам, что, по моему мнению, предстоящий раскол русской церкви совершенно неизбежен. В буре переживаемых событий я вижу единственно только приближение этого раскола. Не умею представить себе для того более подходящего деятеля, как Святейший Правительствующий Синод.

Но обратимся к духовным училищам.

Прежде всего следует сказать про них, что эти училища, семинарии и академии суть самые худшие из учебных заведений России. Они худшие как сами по себе, то есть мерою своего совершенного неустройства, так и худшие в смысле получения от них плодов не ожидаемых и должных, а совершенно обратного свойства. Бывшее обережение этих школ от вольнодумства, бывшая замкнутость духовной школы дали в результате самую вольнодумную и разнузданную школу и самую ярую пропаганду и обличение всего того, что хотели сделать красотой и кротостью. Та же самая школа, дававшая когда-то угловатых, но смысленных бурсаков, хороших священников, ныне дает крайних верхоглядов и озлобленно неверующих в «бога попов». Система воспитаний детей духовенства с помощью монахов-карьеристов дала нам теперь поистине ужасающие плоды. Упрямое продолжение этой системы влечет за собою лишь будущий сплошной бунт попов и сплошное обеднение России хотя сколько-нибудь годным духовенством. Я предполагаю, что единственное средство спасти наше духовное обучение и направить его должным путем, это — совершенное изъятие духовного обучения из ведомства Синода. Синод прямо погубил нашу духовную школу — не ему и спасти ее. Это дело — отнюдь не монахов и не чиновников синодальных. Здесь еще есть время для преобразования и спасения.

Специальные наши школы гораздо лучше Министерства народного просвещения и Синодальных. Таковы почти все технические, промышленные, художественные училища. Причина тому — большая самостоятельность ученика, определенная им самим себе цель его специальных занятий и одновременно меньшее обезличение ученика и меньшее обременение его курса рядом ненужных наук. Оттого в этих школах лучше учатся и выходят мастера своего дела.

Я пользуюсь последним наблюдением для двух из него выводов: 1) ограничение курса желаемую специальностью дает лучшего ученика и 2) свобода занятий дает более уравновешенного человека, спокойного и умного.

Обратное, существующее у нас в школах [Министерства] народного просвещения и Синода положение вещей, создает чрезвычайно трудные курсы учения, массу неудачников в школе и тяжелую, надорванную жизнь молодежи, осилившей трудности гимназий и университетов. Другое обратное положение, то есть несвобода занятий, дает поверхностное знание множества вещей и незнание ничего в особенности, дает людей, добившихся официальных прав по диплому и в то же время ни на что не годных работников-самозванцев. Чтобы доказать справедливость этих слов, стоит только вспомнить, каковы наши работники из кончивших курс, например, в университетах, каковы они как учителя гимназий, или поверенные по делам, или врачи, или химики и т. п. Чего-чего только они не учили в свое время, каких только наук не проходили ради отметки в дипломе. Только ученье после Университета делает из них мастеров.

Например, представим себе юриста. В гимназии он долбил латынь и греческий язык, всякие логарифмы, всяких Пизистратов и Периклов, чтобы бросить

все в университете. Здесь он проходит: богословие, философию, энциклопедию права, государственное общее и государственное русское право, уголовное общее и русское право, римское право, гражданское право, историю русского права, иностранные законодательства, международное право, финансовое право, полицейское право, политическую экономию, статистику, судебную медицину, уголовное судопроизводство, гражданское судопроизводство — итого 19. Что же получается в конце концов — ничего, кроме сумбура и самой добросовестной невозможности изучить хотя бы кратко и хотя бы $\frac{1}{4}$ долю этого вороха наук, большинство которых на $\frac{3}{4}$ решительно не надобно ни одному юристу-практику. Что же остается делать студенту, как не натаскивать себя ради лишь отметки в дипломе, как не мошенничать на экзаменах, как не приниматься за 2—3 надобные ему науки при выходе на практическую жизнь, и притом же с самых азов? И, наконец, зачем эта попытка, эта трата сил и труда? Зачем это бросаемое после школы ученье как ни на что не годное и никому ни для чего не надобное? Зачем этот самообман старших и младших, зачем этот расход времени и денег?

Но этот жестокий пример, этот тип нашего народного просвещения страдает еще и другою своею вполне отрицательною стороною.

1) Жизнерадостность, молодость убита еще в гимназии непосильным и вполне нелепым курсом, не дающим ответа на запросы любознательной, кроткой еще души. В университете юноша прежде всего, и притом вполне основательно, удостоверяется в том, что предстоящий курс так же непосилен, нелеп и так же стоит вне ответов на запросы молодого ума. Отсюда формальное подчинение и самый живой, неудержимый протест на нелепости; отсюда сделки с самим собою и обман с соблюдением формальностей; отсюда недовольство среднюю и высшую школу как ни в чем не удовлетворившими ни радостной жизни в свете науки, ни любознательности. Отсюда — начало шатания честности.

2) В курсе гимназии и университета решительно нет общения с окружающею нас живущею, жившею и имеющею жить родною нам русскою землею. Гимназист и студент во все время своих курсов ни разу не были приведены ни в умиление от родной старины, ни в преклонение перед величием нашей родины, ни в трепет сознания обязанности быть достойным сыном родной земли. Их учили всему, но, точно нарочно, все русское, все дорогое было исключено из этого обучения. Отсюда отсутствие патриотизма и крайнее развитие самовольства.

3) В тех же курсах решительно нет общения с живою красотой природы. Наша молодежь совершенно не в состоянии увлечься, например, ботаникой, минералогией, зоологией, геологией, географией. Из голов этой молодежи вышиблена самая мысль о красоте чего бы ни было в природе, о таинственной мудрости ее явлений, о божественном.

4) В тех же курсах еще более решительно изъяты все без исключения искусства. У нас из 100 студентов едва-едва один рисует самоучкой, или пилит на скрипке, или упивается Пушкиным, Гёте, или задумывается над красотой

архитектурного творчества, или признает себя знающим разве только по две строки из песен «Вниз по матушке по Волге» или «Ах, вы сени, мои сени».

Тяжело мне было писать два последние параграфа обратной стороны нашего школьного образования. Нарочно опустил я в них отсутствие у молодежи радости церковного утешения... Именно прав был великий поэт [Лермонтов], говоря:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно;
Меж тем, под бременем познания и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Мы иссушили ум наукою бесплодной...
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят.

Закончу это несколько длинное изложение еще и тем, также существенным, недостатком школы, которая не оказывает никакой заботы о здоровье учащихся, о их подвижности, юношеском веселье: только наука и наука, только сухота и сидячка; отсюда всякие переутомления, близорукость, плешивость, тайные пороки, слабоволие; вместо здоровых, веселых, умных юношей мы получаем из наших школ нечто совсем непохожее даже на нас, бывших когда-то молодыми и имеющих немало о том времени самых достойных воспоминаний.

*

Такое состояние школы, в связи с причинами, приведшими школу к упадку, невольно приводит к вопросу: какова же должна быть новая школа?

Прошрое время народного образования в России указывает на великое пренебрежение к обучению у нас сельского и уездного населения, указывает также и на совершенно своеобразное отношение правительства к обучению городского населения, и особенно привилегированных сословий.

Сельская русская школа — простая школа грамоты, зароряющая, однако, в сердца населения ненасытимую любовь к чтению. Школы эти у нас, хотя и страдают множеством всякого рода начальственных препон и опеки, но в общем все же еще довольно хороши и делают свое дело. Горе лишь в том, что у нас еще не позаботились о том, что читать народу. От такого недосмотра получилось то, что дремавшее духовенство, земство и Министерство народного просвещения проспали народное чтение, а сельское население давно уже читалось в кругу своей молодежи всякой дребедени. То, что составляло бы действительное удовлетворение народной любознательности, то есть назидательно-нравственное чтение, историческое, технически-ремесленное и земле-

дельческое и т. п., — все это давно оттеснено чтением политическим... Искусства, изучение природы совершенно не входят в курсы наших народных школ. Православие уже обуреваются штундою.

Средние школы сложились у нас исторически под требованиями правительства надобных людей для разных канцелярий и для образования кадров хоть сколько-нибудь учившихся чиновников. Нелепость давно брошенных школ этого правительственного типа создала «корень учения горек» и создала такие курьезы, как насильное отправление в школы «недорослей», между которыми народились «детины непобедимой злобы к учению», убежавшие из школы из-под караула, розог, державшие необыкновенные экзамены вроде фонвизинского Митрофанушки, или «экзамены на чины» по настояниям Сперанского. Начиная с Уварова, наше правительство набивало головы гимназистов и студентов решительно всем, что могло бы пригодиться чиновнику «на всякий случай». Правительство вполне основательно догадалось, что после его гимназий и университетов человек решительно бросал всякую науку, что безнадежные лентяи в школе, каковы были Радищев, Пушкин, делались умными и вольнолюбивыми вне программ гимназий, лицеев, университетов. Всякие Белинские, Чернышевские, Добролюбовы, Достоевские, даже и, смешно сказать, — Самарины, Аксаковы, Киреевские, Тургеневы, не говоря уже о Салтыкове или Толстом — все это разных времен Чацки по отношению к Фамусовым разных пор, все это трактовалось как «неблагонадежное», ибо «ученье — вот чума» и т. д.

К несчастью именно изгнание всего политического, изгнание всего самостоятельного, всего народного и художественного из нашей школы продолжается упорно до сих пор и дало теперь то, что школа нынешняя сплошь революционна, сплошь разнузданна, сплошь ненародна и сплошь невежественна, особенно же в знании природы и в художествах. Совершилось это все на наших глазах с тою же силою непобедимого противодействия правительству, с какою только может мстить ему молодежь за свои безотрадные и тяжелые годы школьной юности. Сами отцы с сущою справедливостью, хотя и с горем о своих детях, стоят против правительства, упрямого и упорного в своей нелепой системе народного просвещения. Науке, природе, художеству — не верят по-прежнему.

Есть у Рачинского где-то слова о том, что школа земская у нас революционна, хотя находится под контролем инспектора, члена от земской управы, местного священника и, наконец, местного полицейского. А тайная бабья старообрядческая школа, мусульманская школа — нисколько не революционны, так как отцы и матери учеников требуют от школы только того, что считают сами надобным и что школа дает действительно, уча вполне хорошо.

Из этих положений вытекает то, что и школу общеобразовательную, подобно духовной, изъемлемой от Синода, следует изъять из ведения всени-

великого правительства, оставив ему лишь надобный для его целей контроль над школами; что ума народного хватит на то, чтобы сообразно разным местам, климатам, народностям, потребностям, промыслам — доверить населению обучение и воспитание его детей именно так, как понимает его само население, а не чиновники в Синоде и в Министерстве народного просвещения. Что получится от такой перемены в исходной точке нашего образования — предсказать не трудно. Несомненно, что под впечатлениями нынешней поры найдется много умников, которые заявят о теоретически-рациональной надобности строить прямо 4-й и 5-й этажи, не строя ни фундамента, ни нижних этажей, но найдутся же и трезвые умы, которые поведут дело вполне основательно.

Государству как высшей форме общежития должна быть оставлена и высшая сфера образования. Государство, обязанное иметь монету, почту, армию, центральные органы управления и т. п., обязано иметь и все без исключения высшие научные и просветительные учреждения, в которых уже не учатся, а только занимаются высшею наукою. Это положение ведет к тому, что наши нынешние «высшие» учебные заведения должны быть очень понижены в своих обязательных учебных программах, вполне общедоступных и обязательных. Из тех же «высших» учебных заведений должны быть выделены «ученые учреждения», чтобы прекратить, наконец, тиски, давящие русскую науку и уродующие наших несчастнейших в мире профессоров. Эти горемыки либо плохо читают и еще хуже учат, отдавая себя любимой науке, либо бросают науку, оставаясь к тому же плохо учащими чиновниками. Предметная система при самом минимальном общеобразовательном курсе, но с одним специальным предметом — есть единственное спасение наших высших учебных заведений, есть единственный способ иметь отличных студентов и профессоров, иметь отличных работников во всех областях и во всех науках.

Та же самая предметная система при минимальном обязательном курсе, но также с специальным предметом, есть единственное средство спасти нашу среднюю школу. Почему это так — речь будет далее.

Общее положение, следовательно, заключается в том, что образование, в смысле прохождения общеобязательных курсов, должно быть понижено в своем объеме до самых крайних, самых наименьших размеров. Получающийся таким образом легко контролируемый курс — есть дело государственное, заведомое государством. Все остальные области дальнейшего обучения и воспитания юношества должны быть в сторону самостоятельности ученика. Понятно, что и посвящение себя служению науке есть только венец развития этой самостоятельности, а никак не прохождения общеобразовательных и обязательных курсов. Последние представляются лишь необходимою школою вообще и в том числе для получения самых обыкновенных образованных людей, знающих хотя бы одну, хотя бы и небольшую специальность, но уже зато вполне хорошо и годно для практики в своем деле.

*

Возвратимся теперь к тому, что имеется теперь в наших школах хорошего, доброго, что следует прибавить к этому хорошему и доброму, чтобы получить новую, желательную школу.

Хорошее, доброе, даже богатое имеется в виде массы зданий и инвентаря нашей школы. То и другое, конечно, пригодно все сполна в деятельности новой школы.

Затем, памятуя, что «законы наши святы, да исполнители лихие супостаты», — много доброго в законах и еще более в тех поучительнейших ошибках, избежание которых, конечно, более чем не трудно при самоуправлении областей и при нивелировании государством лишь только минимума общеобразовательных курсов.

То, что составляет прелесть детства, радость юности и благородное достоинство наступившей зрелости, было всегда у всех поколений и останется таким же в будущем. Повышение требований от каждого из этих возрастов растет необычайно тихо и в сущности зависит от роста культуры страны. Искусственное повышение требований отнюдь не есть признак повышения культуры извне, — но есть часто прискорбное воздействие, вышибающее ход развития культуры с ее вполне спокойной и естественной дороги. Умышленное и тенденциозное, заведомо направленное повышение школьных требований есть прямое преступление против культуры, всегда и везде оплачиваемое вполне горько. Мы находимся теперь именно в периоде начала расплаты за такое умышленное и тенденциозное вышибание нашей школы из ее самой простой колеи, естественной и народной.

Из этих самых простых соображений вытекает самое простое представление о том добром и хорошем, в котором заключается едва ли не самое главное наследство для будущей школы. Это — добрый, хороший характер нашего народа, еще не искалеченный окончательно школами последних 35—40 лет, это та любознательность народа, которая быстро перейдет к здоровой общеобразовательной пище от нынешних «листовок», брошюр, газет и т. п. Это те остатки нашей бытовой старины, которые устояли от напора нынешней освободительной, прости Господи, «цивилизации». Это и те уже очень немногие остатки наших исконно бытовых искусств, которыми мы расширяем свое патристическое мирозерцание и историческое самоопределение.

Я, конечно, не чувствительный идеалист-славянофил и не умиляюсь перед лаптем или перед заскорузлостью умышленного невежества. Но в настоятельной надобности поставить задачу нашей школы в первую же голову нашу народную самобытность, наши дарованья — я убежден вполне. Считаю, к тому же, это требование не только не противоречащим успеху нашей культуры от общения с Западом, но именно создающим у нас все свое и у себя дома, своими силами, так же как и при заимствовании нами (а не при навязывании нам) с Запада всего подходящего и надобного.

Следовательно, в виде общего вывода можно сказать так: часть школ, реформированная из ныне существующих, вполне годна и для предполагаемого направления новой школы. Ошибки прошлого, то есть тяжелые программы, политика в школе, недостаток изучения природы и искусств, изъятие школы от централизующего паралича [в пользу] местных потребностей и средств и, наконец, усвоение школе характера практически-народного с воспитательною в нем бытовою и историческою стороною — вот то, что вырисовывается в будущей школе за необходимо надобное, за исцеляющее, за практически-прогрессивное, нисколько не задерживающее ни хода высшего развития всех наук, ни доступа образования для любого возраста и для любой специальности. С помощью такой школы ослабится наше нелепое преклонение перед Западом и заслуженное пока самоуничижение, усилится наше самосознание и самоопределение. Такая школа быстро устранил существующее бедствие, то есть так называемый «интеллигентный пролетариат» или нелепо повторяемое его официальное наименование «перепроизводство образования». Я положительно утверждаю, что у нас очень мало образованных людей, и смешивать их с учившимися всему и ничему в особенности совершенно невозможно. У нас именно нет образованных *работников*, потому что, благодаря правительству, «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», причем наши школы с их невыполнимыми, хотя и «всесторонними» программами решительно никуда не годны на практике. Сама жизнь нынешней молодежи, ее поведение, ее агитация, ее непримиримая вражда к правительству, ее забвение всякой природы, родины, искусств, веры — лучше всего указывает, что работников культуры у нас действительно нет, что борьба с бывшими непорядками охватила решительно всех и что в самом деле этим непорядкам необходимо положить конец, не теряя времени, создавая новое как можно скорее и притом не разрушая старого плеча, без разбору.

*

В чем заключается суть понятия «общее образование»?

Отвечаю так: в знаниях кратких, необходимых всем, доступных для каждого возраста отдельно, то есть детства, юношества и наступившей зрелости (считаю по 4 года каждую учебную пору), и в добавлении к этому кругу знаний всего того, что создает основы радостной сознательной жизни в эти годы, то есть здоровья, гражданского самосознания, и, наконец, выбор труда жизни сообразно своим способностям. В частности, к *воспитанию*, идущему совместно с образованием, присоединяются: религия, искусства и спорт, с развитием всевозможной самодеятельности.

Поэтому из первой, детской стадии образования, как принципиально и из других стадий, исключается все то, что составляет так называемую теоретическую науку, и включаются все те опытные знания, сумма которых невольно создает в уме ребенка готовую и доступную научную теорию, осмысливаемую им

для себя сознательно и без всякого труда, силою опыта своего рассудка. Таковы, например, все познания арифметики, геометрии, естественной истории и, в частности, отечественной географии. Новые языки и отечественный русский преподаются только практически вместе с искусством художественного чтения и письма. Закон Божий преподается только в смысле христианской морали по Евангелию и только в кратком объяснении текстов богослужбных, например, Ектений, «Тебе поем» и т. п.

Рядом с таким курсом в качестве обязательных (но только для этого возраста) предметов — хоровое пение, черчение с рисованием, танцы и всевозможные работы на воздухе, ознакомление учащихся с возможно большим количеством общежитейских предметов, инструментов всякого производства, всякого мастерства, всякого рода общих игр и т. п. Гимнастика безусловно исключается, как и уроки, задаваемые на дом.

Вторая стадия — юношеская — есть естественное продолжение первой детской, но уже с большим подведением знакомого практически к научным системам. Вводятся грамматики языков новых и русского, вводится практическое приложение алгебры, геометрии и физики, краткая физическая география и более подробный курс естествоведения в связи с историей России; вводятся гражданское и полицейское право с обозрением земского и городского самоуправления; обозрение устройства регалий: войска, почты, суда, монеты, путей сообщения; обозрение догматической стороны православия, богослужения, священной истории Нового Завета и кратко — Ветхого Завета; самый краткий курс истории и искусств, главнейших открытий и изобретений; самый краткий курс истории последних веков. *Чтение в подлинниках великих авторов русской, немецкой, французской, английской и итальянской литературы* и самые краткие курсы новейшей литературы этих народов, при несколько большем объеме курса литературы русской.

Учащийся во второй стадии избирает себе сам тот род искусства, к которому он более склонен, и этот предмет назначается его специальностью, вместе с прямо прикосновенными к тому вспомогательными науками. В число искусств, конечно, включаются и все виды художественных ремесел и производств. Занятия на воздухе, спорт, садоводство, осмотр фабрик, заводов и т. п. обязательны лишь в объеме их общеобразовательного значения и расширяются в меру их пригодности к избранной учеником специальности.

Третья стадия образования — высшая — только специальная и лишь с незначительною частью общеобразовательного курса. Последний относится обязательно к продолжению курса религии и гражданского права как суммы отношений человека к Богу и к людям, в частности, к самоограничению как идеальному типу свободы и общего блага.

Специальности различаются и как научно-художественные или как художественно-научные, содержа в себе, сообразно их существу, преобладание либо науки, либо художества.

Этими тремя стадиями завершается то, что теперь принято называть средним образованием, соответствующим получаемому в гимназиях, реальных училищах, духовных семинариях, учительских институтах и т. п.

Высшее образование, например, врачей, инженеров, адвокатов, священников и т. п., может быть начато только по достижении гражданского совершеннолетия и не может быть допущено иначе, как только в форме возможно суженной специальности, применяясь, конечно, к ее существу. Предметная система здесь господствует во всей строгости в составе преподавания и в сроках ее прохождения.

Никаких прав, ни гражданских, ни служебных, не предоставляется никакой стадии образования. Единственная его цель — просвещение и личная выгода быть образованным человеком, притом же и знающим основательно свое дело, свою науку или искусство, избранную профессию.

*

В этом приблизительно изложенном плане народного образования уже намечены главные основания его моральной силы, то есть самодеятельность учащегося, разнообразие его забот о своей душе, уме и теле, разнообразие его знаний об окружающем его мире, осмысливаемом научно в школе же, разнообразие знаний об отношениях, обязательных для благоговейно верующего человека и дисциплинированного гражданина, — разнообразие знаний, необходимых для создания себе послешкольной жизни в достойном труде и в умелом порядке пользования своими личными способностями.

Речь идет теперь о той окраске общей, благодаря которой эту школу должно признать не космополитическою, не философскою, а русскою и научно-практическою.

Известно, что появление космополитических проповедей граничит с вырождением веры в силу своей народности и оттого прежде всего является в тех кругах, которые почему-либо утратили общение со своим народом, променяв умничанье на утеху от скорби по недостающем им чувствам.

В крайностях своих космополитизм все-таки поддается силе чувства, перерождаясь в фанатически непримиримые учения, которым прежде всего следует отказать в спокойствии, практичности и дальновидности.

Охотно соглашаюсь поэтому, что значительная часть русской «интеллигенции» давно перестала быть народно-русскою и потому решительно не обещает своего торжества в будущем.

Философская школа прежде всего следует какому-либо принятому катехизису своего учения. Одно уже разнообразие этих катехизисов указывает на разногласицу школ вообще и на игнорирование ими частных и притом неустраиваемых условий каждого дела в своем месте и в своем времени. Непрактичность философских учений о деле живом, нуждающемся прежде всего в само-

деятельности каждого отдельного растущего человека, готовящегося к своей зрелой жизни, — дело более чем общеизвестное.

Что же представляется нам, «русским», в будущей школе?

Скажу прежде всего, что школа предполагается к осуществлению в возможно скором времени. Поэтому все то, что представлялось когда-то «русским», но исчезло, вымерло, заранее нейдет в счет и представляется теперь лишь в частичном смысле, как достойное или надобное в чем-либо к восстановлению. Затем все то, что представляется нам теперь еще существующим «русским», но загрязненным всякими восприятиями с разных сторон, подлежит очищению и укреплению. Наконец, все то, что только чувствуется нами как «русское», но не сознается отчетливо, необъяснимо нам ни научно, ни по догадкам, — все это подлежит развитию и изучению, ради большей ширины нашего спасения в самосознании и самоопределении.

Я понимаю под словом «русское» ту огромную нравственную и творческую силу, которая когда-то объединилась около Москвы и затем, вследствие тесноты и надобности в покое и удовлетворении своей мощи, разлилась в обладание огромною площадью земли, с подчинением себе огромного числа народов, не оказавшихся обладающими подобною нравственною и творческою силою.

Нравственная сторона этой силы — глубочайшая ее кротость и правдивость, чрезвычайная деликатность по отношению ко всякому верованию и ко всяким обычаям иной народности, необычайная твердость в хранении своей веры, своего векового уклада и обычая.

Творческая сила русских всегда поражала всех своею разносторонностью, умением усваивать для себя все надобное и, всегда оставаясь живою, своеобразною, именно «русскою», не изменяя себе в основных началах, всегда идти вперед.

Ослабление этой нравственно-творческой силы в нас, в так называемой русской интеллигенции, есть причина всех нынешних бедствий русской Земли, свидетельствующей одновременно и об ослаблении той же силы и в среде даже сельского населения, отчасти вследствие усиления в среде интеллигенции и в среде правительства нерусских начал. Одновременно с этим прискорбнейшим явлением нашего ослабления (в наружном его проявлении) возросло усиление того, что прежде было подчинено русскому, выросло из прежнего своего состояния и заявляет теперь о себе уже враждебно.

Но что же в этом «русском» надобно нам для школы?

Нужно именно все то, что до сих пор было изгнано из современной школы и заменено именно космополитическим и философским; нужно именно то, что бы не создавало, как теперь, всезнающего верхогляда, а человека, обладающего своими, хотя бы и небольшими, сведениями, но усиленными кротостью, правдивостью в жизни, твердостью в хранении своего народного, русского; нужно именно то творчество, которое было бы разносторонне, прогрессивно и вместе с тем дисциплинировано.

Но мы, интеллигенция, не знаем этой силы, не чувствуем ее мощи и потому не имеем повода не только верить в нее, но даже и изучить ее.

Но мы, не-интеллигенция, так связаны с этою силою, так подчинены ей в текущую пору бедствий, что не надеемся более на зиждительно глубокую силу нашего чувства, а в активной деятельности видим прямое сопротивление со стороны интеллигенции космополитической и почти иноземных порядков «мероприятий» нашего правительства.

Обращаясь к благоговейно произносимому мною слову «Царь», я не могу одновременно забыть слова «сход», «мир» и проч. до слов «земский собор». Обращаясь к более спокойным годам истории родной земли, я вижу наихудшее использование правительством народных сил и обеднение народа, кротко подчинявшегося всяким Биронам, или сибирским чиновникам, или нынешним земским начальникам и полицейским властям. Обращаясь к тяжелым годам, например, 1612, 1812 (и к предстоящему 1912 году), я вижу, что лопнувшее терпенье народа сметает стихийною своею силою всякую дрянь, его обеспокоившую и оскорбившую, и вновь, но кротко и спокойно принимается за свой вековой труд.

«Царь» есть принадлежность русской земли столь же неотторжимая, как и сам народ. Немецкий чиновник нашего правительства есть величайшее зло и несчастье нашей земли именно вследствие нашей некультурности и обезличения ненародными формами правительственной дисциплины. Особенно подла наша полиция, пополняемая теперь военными, которым не подают более руки их бывшие полковые товарищи. Народная масса теперь все та же самая по отношению к правительству. Невзбешенная пока — она еще терпит и даже ждет, — но в годину гнева народного эта стихия, ныне обедневшая, голодная, оскорбленная недавней войной, сбита с толку прокламациями, может смести все и затем лишь остановиться в изумлении перед своими же безобразиями.

Следовательно, из «русского», кроткого, долготерпеливого для школы надо взять то, что хранило бы и оберегло хорошее существующее, парализуя самым энергичным образом воровство и самовольство чиновников, и что бы заполнило ряды их новыми людьми и новыми порядками.

Во главе всего, следовательно, должна быть законность, порядочность, знание дела и обеспеченность прав населения, оберегаемая свежими людьми, воспитанными на знании своего прошлого хорошего, обеспеченными в своих правах.

Невольно вспоминается мне та пора, когда Россия была «в судах неправдой черной и всякой мерзостью полна»; но изменили коронно-полицейский суд на выборно-земский в лице мировых судей — и на несколько лет была забыта грязь старых судов... Так и теперь: русские звуки народной песни в школе, русские школьные игры, русское платье, цветной орнамент, русское зодчество неминуемо внесут в души молодого поколения те новые элементы, которые разыщут в отвыкших душах целые еще, хотя и захиревшие, симпатии к родной красоте. Одно уже появление их в русской школе хотя сколько-нибудь

ослабит ту безличность, космополитичность молодежи, которая мстит нам грубым пренебрежением к своему родному и величайшему наглостью всякого пришлого разврата во всех формах среди той же молодежи.

Известно, что процветание искусств есть признак высшей культуры. Там, где эти искусства народны — культура приобретает народный же оттенок.

Вглядитесь хорошенько в кротость, скромность, сдержанность наших народных искусств, нисколько не лишенных в то же время ни юмора, ни смелости, ни самой полной свободы при дисциплине. Заунывны протяжные наши чудные песни бытовые, приуроченные, однако, со всею строгостью к определенным случаям жизни, к песням парней, девушек, взрослых отдельно, к хороводам или к зимним засидкам и т. п. Веселы, но не разгульны наши «частушки» — всегда полные юмора, грации, никогда, однако, не распеваемые не вовремя. Вглядитесь в наши прелестные танцы, полные чистоты и веселья. Вглядитесь в несравненную красоту нашего праздничного женского платья, совершенно практичного, величайше удобного и разнообразного. Вглядитесь в повторение нашего кружева в орнаменте деревянных построек или нашего церковного стиля в наших самых простых избах зажиточного крестьянина.

Все это прежде всего степенно, кротко, скромно и строго. Понятно, что и введение в курс обучения молодежи не может не влить в ее души новые струи художественные, такие же строгие и кроткие, отдаляющие от чужеземных извращений искусств, хватаемых тою же молодежью за забвением своего и за неимением возможности ознакомиться со своим.

Я не позволил [бы] себе говорить столь утвердительно, если бы не был вооружен своим чрезвычайно удачным опытом по певческой части. В Москве мне удалось изгнать высоко-немецкий учебник сольфеджио соч. Альбрехта и заменить его курсом мелодий народных песен и церковных напевов. Я изгнал также из курса рисования всякие носы, подбородки, замысловатые квадраты, заменив русским орнаментом и рисованием русских изб, окон, бытовых картинок и т. п. Неожиданно переродилась оттого сама собою география, словесность, арифметика и проч., приспособившись и тут к тому простому здравому смыслу, к той ненависти к головоломке, которая так губит теперь нашу школьную молодежь. И в конце концов получились умные, работающие русские люди...

В русском искусстве отмечу еще и иную черту, исходящую от нашей даровитости и, к несчастью, от нашего малодушия.

Даровитость наша создала в искусстве сейчас же после 60-х годов, после ослабления всякой неметчины, целые ряды художников, поставивших Русское имя с полным достоинством в ряды всемирно известных артистов. Тут есть и поэты, и писатели, и живописцы, и архитекторы, и ваятели, но все они прежде всего бытовики, удивившие мир быстрым усвоением техники, приложенной ими к разработке народных сюжетов, совершенно поразивших людей другой крови и культуры. Укажу, например, Перова, Поленова, Васнецова, Достоевского, Тургенева, Толстого, Мусоргского, Бородина, Чайковского,

Померанцева, Султанова, Суслова. Но стоило лишь усилиться иностранному влиянию и нашей малодушной боязни перед своим же возрождением, как эти же ряды великих художников теряются от неподдержки их общественным мнением, рисуемым ими себе за уже существующее... Вспомните, как глубоко скорбел несравненный Иван Сергеевич Аксаков, как гневался чудный патриот Салтыков-Щедрин, как приумолкли сразу растерявшиеся прежние мечтатели славянофилы, как на их места вдруг свободно и нагло забралась всякая жиждовá и немчура. Всякая оперетка и канкан, всякая газета-листочка и брошюра, всякая казенщина и при ней всякое беззаконие. Это отсутствие силы духа, это малодушие я объясняю тою мерою страданий, с которыми вынашивается в глубине сердца и ума та одинокость этих людей, которая заставляет их страстно думать, что они не чудаки, не одинокие в пустыне общего невежества.

Эта именно черта особенно воспитала во мне силу духа после многолетней критики склада моих мыслей. Одиночество не есть бессилие и беспомощность, но, напротив, редкое счастье, воспитывающее беззаветность долга и обязанность беречь это одиночество ради оценки в будущем. Это, так сказать, воспитание крепкой воли ради добровольного убежденного мученичества во имя твердого убеждения.

И я считаю, что введение в наши школы изучения родной художественной красоты не может не смягчить нравов предстоящего поколения и спасти его от того одичания и резкой нетерпимости, которые так горестны в молодежи текущей поры.

Точно так же я считаю, что предполагаемые мною курсы учения — прежде всего легкие, практические, дающие большое место самостоятельности и ведущие к познаниям прямо идущим в дело, — также не могут не смягчить недовольства молодежи своею школою, не могут не воспитать одновременно и дисциплинированных граждан.

Но главная мысль моя все-таки заключается в раскрепощении нашей школы от централизованной опеки Министерства народного просвещения и особенно в изъятии духовной школы из ведомства Синода. Не могу себе представить отцов врагами своих детей и потому охотнее доверяю земствам и городским обществам, ибо все-таки земцы — не карьеристы и не наемные чиновники. Не могу себе представить, чтобы в Петербурге можно было бы нивелировать потребности образования одинаковыми для всех распоряжениями, обязательными и в Архангельске, в Ялте, Варшаве, в Оренбурге или Якутске. А между тем дело ведется именно так, «рассудку вопреки, наперекор стихиям», да еще при исполнителях на местах с замашками, о которых больно и стыдно вспомнить.

Оставляя правительству ту именно область народного просвещения, из которой оно будет получать надобных ему людей всяких специальностей, я решительно не могу представить себе, что иное, кроме самооблегчения в труде, кроме избавления от тяжких и заслуженных укоров, может приобрести правительство, уступив земствам народное образование и отдав земле все те

деньги и все имущества, с которыми можно было бы продолжить дело на новых основаниях.

Оставляя Синоду его духовные академии (конечно, преобразованные) и двух- трехгодичный курс для специальных священнических и дьяконских классов, как бы обновилось наше духовенство и особенно архиерейство, доведшие нашу духовную школу и приходскую жизнь до самого сущего упадка!

Нисколько не касаюсь здесь тех училищ специальных, как Морской корпус, военные училища, — ибо совсем не знаю этой области. Но думаю, что мы нуждаемся по крайней мере в 10 000 земледельческих школ, скотоводственных, лесоводных, еще же более того в низше-технических и промышленных училищах. Мы ведь колоссально, непостижимо, неизмеримо богаты дарами природы, и при этом мы бедствуем от своего невежества и неумения разработать сокровища недр, лежащие прямо наружу. Мы бедствуем от нежелания наших инженеров провести дешевые сообщения и устроить дешевые перегрузки. Недавно один очень знающий человек уверял меня, что в умных руках каждый в отдельности родник, вроде горы «Благодать», вроде Элтонского озера, вроде Златоуста, Криворожья и т. п., может не только уплатить все наши долги, не только понизить на $\frac{3}{4}$ наши подати и акцизы, но и сделать Россию прямо всемирным поставщиком предметов первой необходимости. Но мы спим, спим и спим, нас даже боятся разбудить, опасаясь почему-то народной бодрости, просвещения и зажиточности. Между тем именно спокойствия, здоровья и довольной жизни только и можно ожидать от целесообразного просвещения. Но, к несчастью, политика внедрилась в нашу школу, и взаимное недоверие глубоко разъединило правительство и население в таком, в сущности, простом и легко поправимом деле, притом же и необходимо надобном. Если это так — то в час добрый!

Душевно Ваш Ст. Смоленский².

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5079, л. 205—214

1. *Примечание Смоленского*: «Написано это письмо под впечатлением пылкого и неоконченного разговора».

Машинописная копия иной редакции этого текста находится в фонде Н. Ф. Финдейзена в РНБ (ф. 816, оп. 3, № 2678).

2. Это огромное письмо, конечно, имеет характер статьи. Оно является отражением тех дискуссий о внутреннем устройстве страны, в частности о реформе системы образования, и в том числе духовной школы, которые тогда велись в русском обществе.

Теория федерализма и самоуправления разных местностей России, передачи дела образования земствам и прочим общественным организациям, которую излагает Смоленский, в большой мере пронизана духом «шестидесятничества» (можно напом-

нить, что в эпилоге Воспоминаний Смоленский называет себя убежденным «семидесятником», выросшим в «великолепнейшие шестидесятые годы»). Такая позиция не могла быть близка Шереметеву.

Что касается мыслей Смоленского об изменении системы духовного образования, то они перекликаются с тем, что говорилось в это время участниками Предсоборного Присутствия. Там были высказаны, в частности, предположения о разделении средней духовной школы на общеобразовательную и пастырскую, о самоуправляемости духовных академий, значительной их независимости от Св. Синода, о введении богословских факультетов в университетах и т. д.

Свои идеи относительно места церковного пения в духовном образовании Смоленский изложил несколько позже в записке в Св. Синод, которая была опубликована как статья «К вопросу о постановке преподавания церковного пения в духовно-учебных заведениях России» (Прибавления к «Церковным ведомостям», 1909, № 7, 10).

Вариант этого текста был посмертно опубликован с некоторыми изменениями и сокращениями в РМГ (1909, № 32—38) под названием «О реформе в предметных планах народного образования в русских школах»; из предисловия к этой публикации Н. Ф. Финдейзена ясно, что текст передал ему сам Смоленский. В его письме к Финдейзену от сентября 1908 читаем:

...Затем мною обдумывается статья общего содержания о надобной перетасовке в предметных планах народного образования в наших школах (от низших до высших включительно), дабы повысить вообще долю художественного воспитания за счет схоластической выучки и в целях создания более крупных художественных воспитательных предприятий общественного характера.

(РНБ, ф. 631, оп. 3, № 2676, л. 73—74)

Позже, 11 мая 1909 Смоленский писал тому же адресату:

Оказывается, что у меня сохранилась только первая редакция статьи, из которой был пересоставлен потом доклад «О реформе в предметных планах» etc. и из которой предположена была мною статья для Вас. Будьте добры — составьте мне список страниц прилагаемого письма, чтобы по этому указанию я бы мог составить для Вас нечто, не противоречащее Вашим взглядам на задачи художественного общего образования в России, и пришлите мне этот список.

(Там же, л. 77)

Таким образом выходит, что и доклад в Св. Синод, и статья в РМГ «составлены» по материалам данного письма к Шереметеву, возникшего в результате устных дискуссий Степана Васильевича и Сергея Дмитриевича.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 8 июня 1907

Дорогой Степан Васильевич.

Ваше интереснейшее письмо сугубо меня обрадовало, служа доказательством Вашего выздоровления, а то, признаюсь Вам, Вы мне очень не понравились в Петербурге.

Прилагаю при сем письмо, полученное мною от Ляковского. Оно, не правда ли, странно? Но я уже с разных сторон слышу о его «странностях», которые всего более отражаются на его семье и на его делах. Самый факт присылки его письма дает мне возможность теперь заговорить о Ваших к нему письмах. Быть может, для облегчения, не пришлете ли Вы мне письмецо, которое было бы написано таким образом, чтобы я имел возможность его предъявить при моем письме Ляковскому, тем самым он будет поставлен в весьма неловкое положение¹.

Будьте здоровы и благополучны.

Преданный Вам душою С. Шереметев.

Ее уж нет, и я не страдаю!²

РНБ, ф. 855, № 30, л. 266

1. Речь идет о «добывании» от В. Н. Ляковского писем С. А. Рачинского к Смоленскому, которые были даны последним Ляковскому для прочтения (см. также в письмах к Волковой). Как видно из следующего письма, Смоленский предполагал использовать их при продолжении работы над своими Воспоминаниями — над главой о Рачинском — еще зимой 1906/07. В общем хронологическом повествовании мемуаров Смоленского эта глава действительно носит «вставной» характер, и она явно не закончена (об этом свидетельствует и несколько десятков свободных листов, оставленных в рукописи), возможно, потому, что автору не хватало материала, а позже до этого уже «не дошли руки». В конце концов, однако, письма Рачинского были изъяты у Ляковского, попали к сестрам Волковым и от них в Отдел рукописей РГБ, где ныне и находятся.

2. Последняя фраза письма относится к роспуску II Государственной Думы.

Смоленский — Шереметеву

[Петербург], 10 июня 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сердечно был рад получить от Вас весточку. Спешу Вас благодарить занисходительный Ваш отзыв о моем «большом письме» по поводу предполагаемой

мною надобной доли искусств в воспитании и обучении будущего поколения. Мы действительно дичаем, и одичание нынешней молодежи кажется мне прямо зловещим. Искусства хоть сколько-нибудь должны сделать свое в исполнении будущего плана воспитания наших внуков.

Не удивляюсь я тому, что в последние наши свидания я Вам «очень не понравился». Живется мне вообще плохо и заботливо во всем, кроме науки. Плохо в смысле отсутствия заработка, очень мне надобного, заботливо — в смысле моих опасений за здоровье жены, которая худеет, нервничает, очень слабая к тому же физически. В науке своей я решительно не нахожу никакой возможности хоть чем-нибудь вознаградить свой труд. Работаю я по-прежнему много, очень успешно, бодро и радостно, но надумал теперь пустить в ход хотя бы частную учительскую практику по истории всеобщей и русской и географии, также всеобщей и русской. С осени буду искать уроков, чтобы заработать хотя бы 1200—1500 рублей в год. А то, когда пораздумаю о себе, — даже и сам себе не нравлюсь. Наука, конечно, будет та же, как и прежде, а добавочный заработок к моей пенсии будет бодрить меня. Предметы свои я, как старый учитель, знаю в курсе, надобном для молодежи, прямо, вдоль и поперек — следовательно, удача быть может и у такого горемыки, как я.

Зато могу, вероятно, Вам теперь еще более понравиться сообщениями об Афонских делах.

Вы знаете уже, что прошлогодние находки, так сказать, утопили меня в своем неожиданнейшем богатстве. Всю минувшую зиму я упорно работал в Академии Наук, в Публичной Библиотеке, теперь же кончаю работать в здешней Духовной Академии. С каждой неделей все более обрисовывается, что находки на Афоне суть капитальнейшее приобретение для нашей науки и что главы истории церковного пения в России придется теперь писать совсем заново. Мы просто удивлены тем, что открывается еженедельно.

Не одни мы — певцы. Оказывается, что и литургисты-историки также смотрят на Афонские находки как на нечто весьма капитальное в смысле преемственных разностей в богослужебных песнопениях между нами и греками. И это уже на самой заре православия в XI—XII веках! И этого никто не знал!

В Вашем письме есть упоминание о том, что Вы получили весточку от В. Н. Ляковского. Не сочтите за нескромность с моей стороны, если я позволю себе попросить Вас дать мне совет: как бы поделикатнее обойтись мне с Валерием Николаевичем? Он поставил меня в положение самое невозможное и, главное, для меня совершенно непривычное и затруднительное. Три года тому назад (даже и более) я имел неосторожность дать ему все письма ко мне незабвенного С. А. Рачинского. В. Н. просил у меня доверить ему эту дорогую мне переписку, оказавшуюся ему надобною для литературной работы о покойном.

Между тем и я надумал минувшею зимою написать свои воспоминания. На мою просьбу о возвращении, еще в октябре или в начале ноября прошло-

го 1906 г., В. Н. сообщил мне, что он, не доверяя почте, сам привезет письма в Москву или в Михайловское, чтобы, передав Вам, просить Вас о доставлении писем мне.

Это мой опорный пункт, по которому я решаюсь беспокоить Вас помочь мне выпутаться из моих совершенно неловких отношений к В. Н. Он — не возвратил мне писем. Так как мое желание писать свои воспоминания уже осуществилось и глава о С. А. Рачинском уже начата была мною, то я позволил себе около Нового года вторично просить В. Н. о возвращении мне дорогих и надобных мне писем. К полному моему изумлению В. Н. не только не прислал мне письма, но даже и не ответил мне. После такого реприманда я уже начал чувствовать на В. Н. некоторую досаду... Рассудивши однако, что случившееся могло быть простым недоразумением, я умерил свои чувства и в марте или в феврале написал в 3-й раз. И опять — ни ответа, ни дорогой мне коллекции писем. Наконец в начале мая я написал В. Н. в 4-й раз и, стыдно сказать Вам, — я опять не получил ни его ответа, ни писем Рачинского. Теперь я просто не знаю, что мне предпринять, чтобы уже непременно выручить мои письма от такого лица, который относится ко мне столь странно, по меньшей мере. Не могу постигнуть повода с моей стороны, не могу и постигнуть желания со стороны В. Н. Боюсь однако — целы ли дорогие мне письма? Боюсь, думая, что В. Н. просто не знает сам, как бы ему разделаться со мною. Не посоветуете ли мне, как поступить далее? В Петербурге все же у меня дома, а не то что в чужих руках, да еще в деревенской усадьбе, — совсем разные меры хранения дорогих вещей, и В. Н., казалось бы, должен был бы поспешить исполнить мою вполне законную к нему просьбу.

Глубоко извиняюсь перед Вами за эти строки, но прошу Вас согласиться с тем, что мое положение действительно очень трудное, а дело надо кончить непременно. Письма С. А. Рачинского для меня очень дороги. В. Н. писал мне, что они ему более не нужны. Чего же еще он медлит?¹

В конце Вашего письма есть приписка: «Ее уж нет, а я не страдаю». Отвечаю: и я также.

Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 88—89 об.

1. Смоленский выполняет пожелание Шереметева прислать ему письмо, которое можно было бы предъявить Лясковскому. Ранее этого Шереметев переслал Смоленскому адресованное Сергею Дмитриевичу письмо Ляковского от 6 июня, где речь идет о тяжелой финансовой ситуации семьи последнего. Оно также сохранилось в подшивке (л. 90—91).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 11 июня 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Недавно я очень соскучился в Петербурге и съездил обыденкой на пароходе в Шлиссельбург. Я пробыл в этом городе всего только 40 минут, видел издали печальнейшую крепость, а вблизи обычное безобразие торгового-берегового житья. Но в этот день был «Семик», и по дороге туда и обратно я все же видел ряды красных рубах, как даже и несколько сарафанов.

Вчера я неожиданно попал на концерт престарелого Д. А. Славянского-Агренева в здешнем Народном доме, и другого пошиба рубахи и сарафаны заставили меня вспомнить давно минувшее, глубоко родное¹.

В том же Петербурге вижу всюду ветки березок. Они привязаны и на воротах Вашего дома на Фонтанке, на всех баржах, на дугах у извозчиков, на вагонах конки, они заткнуты за вывески торговых лавок, они стоят по углам в комнатах. Люди простые, но русские ходят с цветочком в руке, или в петлице, или на шляпке; даже у лошадей ухитряются вплести либо цветы, либо березовую ветку.

Общеизвестна глубочайшая старина этого обычая и трогательная красота этого народного общения с цветом природы. Наука давно объяснила и общность обычая славянского с обычаями соседей инородцев.

Но меня занимает вопрос упорного противоречия и упорного противодействия цивилизации, искусства деланного и администрации всем проявлениям народного духа, всюду, во всех формах.

Помню я хорошо, как в Казани, еще в 60-х годах, полиция разгоняла хороводы на окраинных улицах, пытаясь прекратить народные гулянья даже на загородных местах, излюбленных народом для своих песенных сборищ. В Казани почему-то, сверх других дней, был песенным и хороводным еще «Тихонов день», то есть 16 июня, когда за 7 верст от города, на берегу озера собирались на «горке» крестьяне чуть не 20-ти деревень. Я любовался здесь истовыми, чрезвычайно старинными сарафанами, серьгами, головными уборами — чрезвычайно сохранными песнями. Но полиция и тут разгоняла... Теперь, как слышно, почти уже не собираются, даже и 16-го.

Вспоминаю я и то, как Императорское Русское Музыкальное Общество и особенно Московская консерватория грубо мотивировали в 1873 году свой отказ в чествовании юбилея Славянского. Официальные музикусы и тогда, как и теперь, уперлись на законы немецкой музыкальной науки, якобы непреложные и для русской песни, затем высчитали действительные грехи Славянского, увеличили их греховодность и отреклись от участия в таком деле, в каком русская нотка, несомненно, была и есть, — была так же сильна, как и у И. Ф. Горбунова.

Наконец, мне припомнился циркуляр министра, кажется Островского, запретивший, в видах лесоохранения, Троичные березки.

А между тем до сих пор, даже и в самом Петербурге, поет Славянский и красуются всюду Троичные березки.

Но одновременно захирело и сознание принадлежности «цивилизованных людей» к русской народности, так же как ослабла эта народность и в пригородном населении, ибо и Семик, и красные рубашки, виденные мною, конечно, уже далеко не то, что было здесь же 40—50 лет назад.

Одновременно захирело и Императорское Русское Музыкальное Общество с его нелепыми по-прежнему немецко-еврейскими консерваториями и чуждыми народу симфоническими собраниями. И здесь, как ни старательно внедрялось все чуждое, как ни велик был труд обученных немцами учителей, — все же уцелели люди, говорящие о русском искусстве. Эти люди охотно признают, что и между немцами есть отличные музыкусы, гении, учителя, артисты, но вместе требуют, чтобы заезжие немцы не топтали в грязь наше родное².

Наконец, одно то, что Троичные березки видны всюду, доказывает, что бывшее распоряжение министра, может быть теоретически разумное и для России благодетельное, — совершенно не воспринято народом, не исполняется предрезающими властями и, пожалуй, забыто как власть имущими, так и верноподданными.

Что же именно создает эти очевидные противоречия и противодействия?

Душевность и красоту, неудержимую свободу и вместе покорность я вижу во всем народном. Но тут же и темнота, инстинкт прания противу рожна.

Нивелирование, обезличение, уничтожение самобытности и неразумное использование власти и просвещения я вижу во всем правительственном и «цивилизованном». Тут же и нежелание вникнуть в прелесть и необходимость использования самобытности, необходимой тому же правительству и той же «интеллигенции».

Следовательно есть доля смутной убежденности и косности в обеих сторонах, зачем-то вставших друг против друга вместо совместной и простой дружной жизни. Я вижу это в русском снизу и в немце сверху. В русском — его даровитость, кротость, недостаток инициативы и покорность, довольство малым, чувствование себя дома и сознание своей темноты, чувствование глубокой нравственной розни с «средостением» и жалость о бессилии своего царя, об измельчании своей веры, о захирении своего здоровья и достатка.

В минуты гнева, отчаяния в этом русском просыпается зверь, является грубый бой, красный петух, беспробудное пьянство, всякая ложь, злоба.

В немце как в идейном устройтеле систематического *Polizeistatt* с полною притом централизациею я вижу чувство паразита, смертельно боящегося «мира», потому гнездящегося в городах, пребывающего только у власти и под крылом «своих», дружно держащегося только «своих», делающего всякие уступки «für uns» [«для нас»] и никаких уступок тому, кого называют «Dumme Schafe» [«глупыми овцами»]. От такого немца, деловитость которого отрицать, конечно, невозможно, нельзя ждать ни разумения текущих событий,

ни преданности России, ни спасительности предпринимаемых им мер. Поэты отлично высказались когда-то: «Не верю я... бескорыстию немца в службе», — сказал один; «у немца — хватка мертвая», — сказал другой про управляющего именем; Ермолов-русак, просившийся пожаловать его «в немцы», Суворов, Драгомиров³ — ненавидели немцев. Немцы, в минуты гнева, вспоминали свои вековые изобретения: шпицтрутену, пытки, полевые суды, всякую солдатчину. В минуты созидания они устраивали такие невозможные вещи, как Училище правоведения, консерватории, цензуру, привилегии, генерал-губернаторства, тайную полицию и проч.

Понятно, что оскорбленная Русь в свою очередь пересаливает и делает ряды непроходимых глупостей, давая предлоги немцам для новых воздействий и утрачивая в себе ту силу, которая в этой Руси еще несомненно жива. Взять хоть бы покойную «Думу» и взять хоть неистовствующего Гершельмана в Москве, нелепого Ренненкампа в Сибири, глупейшего из глупцов Каульбарса в Одессе, Скалона в Варшаве, недавнего Лауница в Петербурге или всяких Фредериксов, Штакельбергов, Мейендорфов, Грюнвальдов, Бенкендорфов, Герке, Лерхе, Шауфусов, Кауфманов, Лютце, Шванебахов и проч., и проч., и проч.⁴ Экая саранча, прости Господи!

Понятно, что невежественная и к тому же грубо резкая Государственная Дума есть продукт замершей и оскорбленной России, так же как и дружная рать сплотившихся и властных немцев есть ее неумолимый врач, к несчастию прячущийся за «закон», за «порядок». Не может же Россия уйти из России, да и куда, по правде сказать, деваться нашим отечественным немцам?

Я убежден в том, что нынешняя неурядица еще не высказалась в своих подлинно народных мыслях и далеко еще не дошла до тех потрясений, которыми уврачуются раны, нанесенные русскому всякою неметчиною. Поэтому я предвижу еще более горькие времена и еще большие ужасы. Государственный наш строй глубочайше извращен забвением народных начал, нам вполне чуждых. Внедрение византизма и шаги свихнувшегося правительства в сторону Польши и Литвы, а потом и в сторону казацкой голытьбы, дали нам жестокое Смутное время. Отголосок Бироновщины со всякими Левенвольфами и Петрами III — дали Пугачевщину. Теперь мы расхлебываем вовсе не недавние ошибки (конечно, очень тяжкие и нервирующие), а целую «кадриль болезней», имеющих каждая вполне определенное течение, свои симптомы и сроки. Меня глубоко возмущают желанья приписать наши беды «злонамеренным людям» или распространению «зловредных учений». По-моему — это глубокая неправда и сваливание с больной головы на полоумную. Наш народ глубоко умен, кроток, долготерпелив и в сущности еще не принимает участия в начинающейся революции. Революция наша есть пока — борьба за власть между средостением и «интеллигенцией», глубоко буржуазною⁵. Обе стороны жестоко ненавидят друг друга, надоели друг другу, обе — глубоко грешны, обе нерусские и изо всех сил стараются втравить в свою борьбу сфинкс-народ. Творческой деятельности,

провозглашения глубоко народных лозунгов я решительно не мог найти ни у той, ни у другой стороны, — поэтому и народ, очевидно просыпающийся, еще не принимает участия в борьбе. Клич «земли и воли» так же плох, как и пугачевское пожалование «крестом и бороною». «Закон и порядок» никому не говорят ничего, так как это в руках наших «лихих супостатов» — совсем пустые слова, ими же самими, чиновниками, совершенно не руководящие.

Не верю я и народности таких канатных плясунов, как Пуришкевич, или воющих дикие словеса устами нелепого о. Илиодора, тем паче столь «истинно-русским» людям, как Паволакий Крушеван, Грингмут и К⁰⁶.

Но что «жив Бог Земли русской» — это верно так же, как и отжило свою пору знаменитое «шапками закидаем» и т. п.

И вот когда я, раздумавшись о текущей поре, растроганный болью о родной стороне, напрягаю свой ум для того, чтобы разобраться в смысле переживаемого, мой взор падает на ту же милую, кроткую березку, стоящую в углу моей комнаты; мне мелькает и чудная мелодия «Ах да не одна-то во поле дороженька пролежала»; вспоминается и славный сарафан, славный раскольничий скит с его умирительной тишиною; вспоминается и напев церковный, и звон колокольный, и тройка лошадей среди озимого поля.

Все это прекрасно, все это способно к порядку, к усовершенствованию, к долгой жизни, к богатой, степенной зажиточности. Здесь нет противоречия ни науке, ни прогрессу, ни заимствованию всего доброго, но есть бережение своего, сознание своего родства с родным-своим, сознание долга быть хорошим сыном родной земли и, чувствуя эту «русскую правду», — сознание обязанности оберегать свое. Все это кротко, мирно, просит покоя, молится, поет, но начинает скорбеть.

И вдруг на дороге стоят немцы, евреи, глущее правительство, глущая интеллигенция! Ну, что бы подумать им, на что они все дерзают! Ну, чтобы им всем вспомнить о своих детях, которым придется расплачиваться горько за грехи нынешних отцов-скудоумцев? Это ли не понятно?

А между тем как бы просто было именно теперь сердечно покаяться и сойтись миролюбиво и уступчиво, но честно и искренно. Сколько бы здоровья, сил, богатств было спасено. Мы точно не верим, однако, в возможность такой взаимной доверчивости. Мы точно в самом деле решили, что нужно рассориться обеим сторонам, чтобы еще более ужасна была жизнь наших правнуков и чтобы действительно иссякла наша народная сила и наша красота. Но неужели же благоразумие и высшая правда являются только в пору крайнего ужаса? Неужели же народный ум не дальновиднее борющихся ныне сторон? В конце концов я все-таки верю, что народный ум, после предстоящих потрясений, вразумит враждующих. Моя вера лишь жаждет меньшей по возможности меры потрясений и невозбуждения гнева народного, ибо «жив Бог Земли Русской».

Ваш С. С.

1. Агрнев-Славянский (Агрнев) Дмитрий Александрович (1833—1908) — певец, хоровой дирижер, собиратель народных песен, создатель Славянской капеллы (1868), с которой много и успешно гастролировал в России, в Европе и США. Манера пения агрневской капеллы и ее репертуар были далеки от академических норм, и серьезные музыканты нередко относились к Агрневу скептически.

Смоленский 9 июня посетил концерт Славянского в Народном Доме и оставил запись в Дневнике 6:

Путешествия Славянского по всему свету разнесли репутацию русской песни и в артистическом исполнении утвердили репутацию русского хорового пения, которое у Славянского вполне превосходно (л. 58).

2. Выпад против консерваторий и симфонических собраний Смоленского, бывшего профессора Московской консерватории и страстного любителя симфонической музыки, может показаться странным и неожиданным, но знакомство с главой о Московской консерватории в Воспоминаниях подтверждает, что Смоленский был глубоко разочарован консерваторскими порядками и интеллектуальным уровнем как студентов, так и педагогов (за весьма немногими исключениями), не радовала его и публика, посещавшая академические концерты. В Петербурге Смоленский общался с очень немногими музыкантами из консерваторского круга и имел основания для обиды на консерваторскую среду в целом.

3. Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, военный и государственный деятель, герой войны 1812 года и кавказской войны.

Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) — генерал, военный и государственный деятель, герой русско-турецкой войны, впоследствии начальник Академии Генштаба, член Государственного Совета.

4. Гершельман Сергей Константинович (1854—1910) — генерал, с января 1906 командующий войсками Московского военного округа, в 1906—1909 московский генерал-губернатор. В Воспоминаниях В. Ф. Джунковского, служившего с Гершельманом и являвшегося его родственником, идея назначения этого генерала в Москву в столь трудный период характеризуется как неудачная.

Ренненкампф Павел Карлович (1854—1918) — генерал от артиллерии, командовал в 1905 карательной экспедицией в Восточной Сибири, в 1918 убит солдатами.

Каульбарс Александр Васильевич, барон (1844—1929) — генерал, крупный деятель в период завоевания Туркестана, участник русско-турецкой и японской войн (в последней его действия вызывали серьезные нарекания); в 1905 (с августа) — 1909 командующий войсками Одесского военного округа, временный одесский губернатор, принимал жесткие меры по подавлению общественных волнений.

Скалон Георгий Антонович (1847—1914) — генерал от кавалерии, варшавский генерал-губернатор в 1905—1914.

Лауниц Владимир Федорович (1856—1906) — в 1905 петербургский градоначальник.

Бирон Эрнст Иоганн, герцог (1690—1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны, практически правитель России в период с 1724 до 1740.

Левенвольф — вероятно, имеется в виду род Левенвольде, представители которого в нескольких поколениях занимали важные посты на русской службе.

Далее следует набор фамилий немецких родов, игравших заметную роль в государственной жизни России, часто в ряде поколений; заодно в этот перечень попал А. А. Герке, довольно крупный чиновник, но также известный фортепианный педагог. Безусловно неуместным являлось упоминание Мейендорфов: один из сыновей Шереметева, Петр, был женат на баронессе Елене Богдановне Мейендорф.

5. Термин «средостение» был очень распространен в ту эпоху и обозначал обыкновенно все слои общества, разделяющие «царя» и «народ».

6. Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — депутат Думы, один из руководителей «Союза русского народа».

Илиодор (Сергей Михайлович Труфанов; 1880—1958) — иеромонах, выпускник Петербургской духовной академии, с 1905 член «Союза русского народа». Вместе с другим известным лицом — саратовским епископом Гермогеном (Долгановым) боролся с Распутиным весьма не дипломатическими методами. В частности, епископ Гермоген и Илиодор, пригласив к себе Распутина, прокляли его, а в дальнейшем

стали бомбардировать государя телеграммами, умоляя его не принимать Распутина. Государь оскорбился и приказал вернуть епископа Гермогена в епархию, а Илиодора Св. Синод сослал во Флорищеву пустынь (Владимирской епархии). Епископ Гермоген его приказу не подчинился; тогда государь прислал флигель-адъютанта, «именем Государя Императора» приказал ему сесть в автомобиль... (Митрополит Евлогий. Цит. соч. С. 184).

Гермоген, впоследствии епископ Тобольский, мученически погиб в 1918; инок Илиодор снял сан и эмигрировал в США.

Крушеван Павел (Паволакый) Александрович (1860—1909) — публицист, политический деятель, издатель газет в Кишиневе; депутат II Государственной Думы от Бессарабии; активный член «Союза русского народа».

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 19 июня 1907

Дорогой Степан Васильевич.

Все это время был в разъездах по Коломенскому уезду. Отвечать Вам обстоятельно на письмо Ваше затрудняюсь, не только ради неизбежного размера, но и по другим причинам¹. Многим я восхищаюсь, но по некоторым пунктам

диаметрально расхожусь! Пословица говорит: «что город, то норы», а Вы желаете создать несметное количество местных рассадников просвещения, при таком же разнообразии программ и систем; притом рассадников внецерковных и внеправительственных, и это на почве полного принципиального недоверия к представительству церкви и власти! Я понимаю это чувство отчасти, при теперешнем составе, но не могу возводить его в принцип. Ведь это повторение приема земцев недавней формации, которые почитали своею главною задачею «борьбу» с Правительством, а не «содействие» ему. Желаемая Вами школьная федерация, действуя вразброд и без всякого руководства, — внесет, на мой взгляд, сугубую смуту; никакая твердая Государственная власть согласиться не может на такое отречение. Иное дело взгляд Протестантский. Ведь они не признают церкви, у них нет священства, они не знают никакого рукоположения, они толкуют Евангелие каждый по-своему. И вот это «каждый по-своему» предлагается установить девизом для Всероссийской школьной федерации.

Но довольно. Не сердитесь на меня, но мне чуждо, что Ваши аргументы были бы «сильнее» в более сосредоточенном виде и были бы «практичнее» для введения в жизнь, если бы не выходили из сфер художественных и музыкальных, то есть того элемента, который почти отсутствует в наших школах! Впрочем, я пускаюсь не в свое дело. Дай Бог Вам сил и спокойствия духа, не нарушаемого житейскими вторжениями, в которых всегда чувствуется отголосок переживаемого нами шатания мысли.

Сердечно преданный С. Шереметев.

Лясковскому пишу.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 267

1. Шереметев, очевидно, не только отвечает на письмо Смоленского от 11 июня, но и возвращается вновь к его большому посланию от 30 мая—2 июня, вероятно, прочтенному графом внимательно только после поездки.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 22 июня 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вы вполне правы, что разнообразие программ и школьных систем может породить «смуту» особого рода. Но я не имею нисколько в виду строить «свободу» будущего народного просвещения на принципиальном «недоверии» общества к существующему представительству власти и церкви. Признаю и то, что никакая твердая государственная [власть] не только не может согласиться, но даже

усиливаю Ваши слова — не имеет права отречься от своего дела вполне. По моему взгляду, вся неясность моей мысли заключалась в том, что наши предержавшие власти (то есть в лице их — прямо у дела стоящих, низших чинов) прежде всего в большинстве невежественны, склонны более всего к исполнению циркуляров всепредусматривающих и особенно ретивы к искоренению какой-либо самодетельности. В этом смысле в деле народного просвещения я разделяю часть государственную, то есть ту, которую государство, тратя деньги на народное просвещение, имеет обязанность и право осуществлять в деле создания для своих нужд надобно обученных людей, — и часть местно-земскую, то есть ту, которую обеспечивают земства и города во внимание к местным потребностям, и, наконец, часть личную, то есть ту часть образования, которая была бы вполне свободна, как в ее осуществлении для себя, так и для других.

«Недоверие», а тем паче «борьба» с правительством мною даже и не предполагалась, так как опыт опеки и неумелого руководства достаточно, кажется, убедил всех, что дальнейшие заботы правительства должны быть направлены прежде всего на те уродства просвещения, которые расплодилось от той опеки и неумелости. Правительство должно, по моему мнению, занять свое «правительственное» положение — и не более. Местно-земское начало утверждается на огромнейшем географическом пространстве России, в которой Архангельск и Вологда ничуть не сходны ни в средствах, ни в нуждах просвещения, например, с Кавказом или Туркестаном, так же как не сходны Тверь — Москва с Пермью или Алтаем.

Личное начало я вижу в прямой обязанности государства оказывать помощь каждому человеку в высших курсах, когда обязательные общеобразовательные курсы уже им пройдены и на первый план выступают ясно определившиеся личные склонности к какой-либо специальности.

С другой стороны, если даже несколько и струсить перед возможностью, так сказать, «смуты от просвещения», — неужели нынешнее состояние нашей молодежи и интеллигенции таково, чтобы стоило «оберегать», что ли, его? Ведь кто же, как не то же правительство извратило наше несчастное русское просвещение? Как доверить целиком будущее поколение тому правительству, которое донныне ссылает, а в лучшем случае само не верит и не знает, что ему делать с тою молодежью, которую оно само учило, нарушая самые простые, законные требования отцов и самой молодежи? А между тем высшее образование безусловно надобно!

Бездарность и косность нашего правительства мне недавно указали в двух выразительных примерах. Оказывается, что иные государства перешли в своих флотах на какие-то новые двигатели Дизеля, состоящие в создании двигающего пара *внутри цилиндров* и потому отменяющие и громадные котлы, и запасы угля, и проч. до возможности съездить из Петербурга в Японию и обратно без захода куда бы ни было. Эти двигатели, вдвое более дешевые, у нас отвергаются, так как власти не знают их и не хотят расстаться с дымогарками, о коих говорят уже только с пожиманием плеч везде на Западе. В нашей сухопутной армии, как

мне говорили (впрочем, я охотно признаюсь в малоосведомленности по этой части), наилучшее улучшение состоит лишь в перемене окраски верхнего платья с разных цветов на зеленоватый. Более меня занимает в данном случае лишь психология отношений населения, нисколько не желающего видеть в своем правительстве что-либо радующее, бодрящее, обнадеживающее, — но совершенно наоборот: ищущего в правительстве лишь что-либо бездарное, рутинное, именно казенное. Я понимаю, что после пережитых впечатлений, под гнетом оставшегося у дел бездарного старья, трудно найти работников и придать силу творчеству. Но в то же время, что иное, кроме свежих сил, творчества и энергии, может вдохнуть в нашу государственную машину здоровую жизнь? «Авось» — не хуже ли умысленного преступления? Знаменитое «терпение» не есть сущее безумие?

В этом именно смысле я глубоко лелею мысль об искусстве и о спорте в новой школе. При смягчающем влиянии искусств, при бодрящем воспитании тела весьма нетрудно разобраться в умеренных долях той практической школьной науки, которая прежде всего давала бы пригодных, обученных работников и затем оставляла бы широкую дорогу каждому для получения (в случае желанья и способностей) высшего образования. Моя мысль состоит именно в перенесении образования с его нынешней политико-теоретической ступени на ступень практическую, в замене научного балласта воспитанием художественным и телесным, при значительнейшем уменьшении теоретического обязательного курса, равно и при полной свободе дальнейшего специального усовершенствования. Признаюсь Вам откровенно — я никогда, ни у кого и ни в чем не встречал добровольных и умных злоупотреблений свободой и потому всегда недоумевал, почему ее боятся власть имущие? Конечно, я различаю при этом свободу и разнузданность, исполнение закона властями и знаменитое «усмотрение». Первые — сущее благо, вторые — сущий вред.

Искусства — свободны. При разнузданности искусства теряют то обаяние, которое делает их благом, и превращают нехудожественные проявления в сущее общественное зло.

У русских, волею судеб и повелениями условий нашей страны, народные искусства вполне своеобразны. У нас нет строительного камня, но есть глина и дерево — оттого у нас своя архитектура; у нас огромны леса, поля, еще более огромны неродящие земли — оттого унылы и протяжны наши песни, у нас упорна борьба с природою, где так различны зима и лето — оттого нестрастны, небыстры наши пляски; у нас все клонит к домоводству — оттого мы лежебоки и тяжкодумы, любим все увесистое, толстое, здоровое, до жирных льяконов, басовых колоколов и проч. Оттого мы охотнее сваливаем свою беду на чужую шею, отделяваясь формальностями. Вспомните, как, например, глубоко народно Гоголь вложил в уста Городничего заблаговременную благодарность Богу за предстоящую удачу в нагрянувшей ревизии: не сам он, Городничий, помолится и покается, а только поставит свечу, да и не свою, а именно чужую, толстую («на каждого бестию купца по три пуда воску наложу»).

Совпадения наших природных условий выработали у нас, при природном уме, сметливости, высокой поэтичности и нежности народных чувств, — выработали одновременно несокрушимо твердую своеобразность народно-бытового характера. Мы медленны, непредприимчивы, добры и благожелательны вообще, в случаях же, когда мы раскаляемся, теряем даже свое русское равновесие, — мы скоры, нелепы в необдуманности проступков, злы и мстительны. Поразительно то, что в народных искусствах тщательно замалчиваются эти недостатки и тщательно же восхваляются наши симпатичные черты народной кротости, сановитости, медлительности и своеобразной красоты.

Но совпадения наших природных условий, нашего характера не приходятся по вкусу тому, что принято у нас считать «цивилизацией» и «администрацией», прогрессом и порядком.

Вы знаете, что я отнюдь не византинист и еще менее славянофил. Мои размышления покоятся на самых очевидных положениях, то есть на естественных природных условиях нашей страны, на условиях бывших всегда и неотменяемых впредь никакими воздействиями. Оттого чужда мне всякая иноземная мысль, естественная там и не находящая у нас природных условий для восприятия и развития. Оттого я не восточно-церковник, не славянофил, а русский самобытник, глубоко верующий в русский народный ум и добрую русскую душу, глубоко надеющийся на наши народные неиссякаемые природные богатства.

Ум и душа русская не чужды самой изумительной способности воспринимать решительно все доброе и умное отовсюду, — но только при естественном у нас перерождении воспринятого на наш лад. Мы, правда, очень туги на первое восприятие, всегда в нас слепо-подражательное, но зато мы уже бесповоротны в переделке воспринятого.

А вот немцы всегда и всюду немцы и неспособны к обрусению так же, как неспособны и к доброму чувству, подчинению всему русскому в русской земле. Немцев не растрогивает ни наша песня, ни наш быт, ни наша своеобразность. Немец приехал к нам нажитья, занимать высшие должности и потому, отставив себя, снабжает нас циркулярами. Немец и не вникает в русское. Он, не уважая русское, гнет все по-своему. В том числе — гнет и русское просвещение и русское искусство. Конечно, я говорю «немец» в самом широком смысле, отчасти и в смысле чиновника.

Например: в недавнюю Троицкую неделю я слушал Славянского с его хором и любовался Троицкими березками, всюду расставленными — на воротах, на баржах, даже на дугах у извозчиков.

Славянский, ныне глубокий старик и уже безголосый певец, упоительно исполнил «Ивушку», «Ах, не одна во поле дороженька» и проч. Музыкантов, всецело отрицающих Славянского, на концерте не было, интеллигенции — также, а рядом в том же Народном Доме было множество этой публики, глазевшей и наслаждавшейся шутовством паяцев. Мне мелькнули в памяти и наши консерватории, с отсутствием в них изучения русских искусств, и те жалкие музыкаль-

ные опыты, которые преподносятся под именем чего-то якобы «русского». А между тем Славянский поет русскую песню и культивирует ее с эстрады уже 50 лет. Он жив сочувствием тех, кто еще не «культурен», но слышит у Славянского родные звуки, не признаваемые ни школою народною, ни школою специальною, ни даже высшим покровительством, все, без разбора, поощряющим.

Троицкие березки, как известно, были одно время воспрещены ради отечественного лесоохранения. Народ не внял этому нелепому распоряжению, и трогательное общение с природою, в виде украшения цветами, березками, скошенной травою, по-прежнему восстановилось свободно, даже и в Петербурге.

Как равнодушие музиков и власть имущих к Славянскому, так и преследование полициею весенних хороводов по окраинам городов, так и бывшая попытка воспретить Троицкие березки — все это одного поля ягоды. В них общий характер — стеснение, ненужное преследование русского и в то же время непредоставление чего-либо взамен преследуемого, то есть те же «предписание» и отсутствие творчества.

То и другое понятно: у немца, у чиновника — нет совсем или значительно ослабла связь с русскою землею, и потому ее красота бытовая либо претит немцу, либо молчит для сердца обезличенного чиновника; оба они в то же время, то есть начальствуя, смутно сознают, что заменить запрещаемое им решительно нечем, кроме неметчины, которой прием в данной области совсем безнадежен.

Все вышеприведенные мысли сводят к тому, что в будущей школе физиономия искусств должна преобразиться в смысле народном и притом во всеоружии современной общечеловеческой техники. Примеры тому налицо: в живописи — Репин, Перов, Васнецов и проч. Понятно, что не петербургские канцелярии создадут такой поворот, а именно местные силы и отдельные дарования. Требуется лишь свобода, которой, к несчастью, у нас все боятся чуть не более чумы.

Закончу это письмо неожиданным для Вас сообщением. Я задержался в Петербурге как работою (ныне уже конченною, три дня назад), так и неимением денег для поездки в Москву. В разговоре с А. Н. Нарышкиной я вдруг, совершенно неожиданно, получил от нее 200 рублей именно на окончание московской работы по части сравнения московских рукописей с афонскими. Я принял эти деньги при условии, что заявлю о такой помощи моему делу в Комитете Общества Любителей Древней Письменности.

Поэтому, с 200 рублями, можно повести дело в Москве пошире, то есть привлечь к содействию и фотографию. Как это будет широко — пока сказать трудно, так как надо оглядеться на месте. Во всяком случае числа 6—7 июля я выеду в Новый Иерусалим и проработаю там до 15—16 июля, когда откроется Синодально-Патриаршая библиотека. С этого времени прошу приютить меня на Воздвиженке.

До тех пор я корплю здесь над сравнениями разных редакций «Музыкальной грамматики» Дилецкого и тем заполню время до 4—5 июля. Потом — сборы в дорогу.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5079, л. 281—283 об.

Щереметев — Смоленскому

Михайловское, 26 июня 1907

Дорогой Степан Васильевич.

Письмо Ваше получено. Что сказать Вам? Я писал Вам и смотрел на Вас словно как бы писал и говорил с С. А. Рачинским. И вдруг, при чтении Ваших строк, уразумел, что мы друг друга перестаем понимать! И вот моя к Вам усердная просьба: во имя того, что нас связывает, прекратимте переписку на эту тему. Она бесплодна, хуже того: она в эти трудные дни прибавляет новое, тяжелое чувство — что вкралось что-то постороннее, наносное в тот душевный гармонический мир, который нас связывал. В моих глазах Вы были иным, чем сделались в эти последние три года. Я чувствую, что за эти годы [несколько слов не разобрано] отдать себе в этом отчета.

Я все понимаю, что касается чувства горечи ввиду многого переживаемого, — но, припоминая Ваше прошлое и Вашу деятельность и все то, о чем мы с Вами беседовали, — я, увы, не так понял, я слишком был пропитан душевным настроением Рачинского, чтобы предвидеть ту *горечь*, которая ныне чувствуется в словах Ваших. Вы знаете, что в этом отношении я понимаю это чувство горечи, — но мне больно писать о другом. Мне больно, что Вы в последнем письме Вашем высказались так, что невольно вспоминаются слова:

Пусть арфа сломана,
Аккорд еще рыдает...¹

И я подумал о Рачинском: что бы сказал он на это письмо Ваше, в котором *ничего нет*, что, бывало, в прежних Ваших письмах так воодушевляло, так чудно настраивало сердечные сокровенные струны.

А теперь? — Боже мой — и кто мог?!

Простите меня. Я слишком Вам предан, смею сказать — люблю то, что Вы есть Господнею волею, — но повторяю мою усердную просьбу: прекратимте переписку на эти темы. Да они — и не Ваши. Откуда, с каких сторон повеял этот жгучий, беспощадный *sigosso*, который дышит в письме Вашем?..

Дайте мне возможность сблечь в сердечной памяти того Степана Васильевича — доброго, чудного, благородного, в котором не было и тени горечи и того ужасно современного настроения, которое *мертвит* всякое святое начинание.

И я бы сказать мог — я *не то и не то*, — но что же я? ведь не разрушитель же, не отрицатель?.. Ведь то *положительное* так расплывчато, так неясно, так видимо избегает всякой формулы, что угнаться, проследить — дело бесплодное!..

Не огорчайтесь. Я простой человек — не пришибленный всякою наукою, но чувство мое от рождения верно *основным нашим началам*, и с ним я уйду в могилу. Позвольте надеяться на продолжение прежнего, но при условии *забыть политику* с ее мрачными страстями, со словом лжи и озлобления. Я слово даю Вам, что *никогда* не коснусь сих предметов!

Больно мне было прочесть многое, написанное Вашим почерком, — но довольно. Теперь от Вас зависит.

Сердечно Ваш С. Шереметев.

Согласно обещанию копию письма Вашего при сем возвращаю².

РНБ, ф. 855, № 30, л. 268—272

1. Строки из стихотворения С. Я. Надсона «Не говорите мне...».

2. Речь идет, по-видимому, о «большом письме».

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 28 июня 1907

Дорогой Степан Васильевич.

Мне было бы очень больно, если бы письмо мое Вас огорчило. Я *очень* дорожу Вашими письмами и надеюсь, что они не прервутся¹. Желаю Вам скорее покинуть Петербург, где ничего нет хорошего, где мостовые изрыты, — и на всем лежит печать похмелья. «Скука, холод и гранит», — сказал Пушкин. Дай Бог Вам всего доброго. Не забывайте Вам неизменно преданного

С. Шереметева.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 273

1. Напряженность, возникшая между Смоленским и Шереметевым в результате обмена последними письмами, прокомментирована Степаном Васильевичем в письме к Волковой от 5 июля 1907, с выводом «впредь буду поосторожнее». Еще одним комментарием может служить сохранившееся в подшивке послание к Смоленскому А. Н. Нарышкиной, с которой переписывались и Смоленский, и Шереметев.

Bourbonne les Bains,
Haute Marne,
Grand Hôtel France,
4 июля 1907

Любезнейший Степан Васильевич.

Очень утешена вашею памятью. Получила письмо от графа С. Д. Шереметева, на которое ответчу обдуманно. А Вы, кажется, беседовали с ним необдуманно и, вероятно, насчет политики, кучу нагородили, немножко, извините, зря... Вы не забывайте, друг, что ваш брат сомнительную имеет репутацию! Но знаю, что Вам нечего лезть в политические разговоры, потому что Вы можете попасть Бог ведает куда и даже лишиться пенсии.

Когда Вы мне говорите несуразные вещи, я знаю, что это пустые слова и что Вы души доброй; не все Вас знают близко. Вы также знаете, какое наболевшее сердце у графа и что он не может переварить, когда говорят вразрез его непоколебимым верованиям. Он ведь близко Вас не знает. Мы с ним страстные монархисты и знаем, что России гибель без самодержавной власти, крепкой, железной рукой надо держать самодуров россиан, хотя они умные и добрые. Но сволочь интеллигенция ни капли не имеет ни смысла, ни разума, ни патриотизма, проповедуя социализм. Мужичок лучше судит, чем эти невежды. А чиновники ведь — кто на службе, и Вы тоже. Разве государство может жить без чиновников? Купцы, что ли, будут справлять работы огромной администрации? Ополчение на чиновников — глупо. Сегодня дворянин, купец, артист — поступил на жалованье, оказался чиновником, никуда, по их, негодным. К счастью, что уехала и не слышу глупых разговоров о политике. Пробуду до 18-го здесь. Мой адрес известен всегда в доме. Насчет школы — думаю, вы все провалитесь, потому что без обеспеченного капитала нельзя ничего серьезного основывать. И все вылетите в трубу...

Не время интересоваться публику музыкальной школой. Вам не советую за это браться. Прощайте и храни Вас Бог.

А. Нарышкина.

(Там же, л. 276—277 об.)

Как видно из письма, в это время Смоленский начал обдумывать идею создания регентского училища.

Смоленский — Шереметев

Петербург, 28 июня 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

За Ваше бесконечно дорогое для меня письмо, правдивое и искреннее — не знаю, как благодарить Вас. Я, действительно, взялся на старости лет «не за

свое дело» и, не помня теперь уже хода мыслей своих в большом письме, охотно соглашаюсь с тем, что сгоряча наговорил там немало подтыкивающих друг друга несообразностей. Охотно, вполне охотно покоряюсь на Ваше желание навсегда исключить в наших общениях, письменных и устных, так называемую политику. Для меня это и в сношениях с Вами, и в сношениях с другими более чем легко, ибо в самом деле: какой я политик? С другой стороны, видя ошибки и опьяняющую страстность меня и других людей, я задал себе вопрос: стоит ли это воистину «бесплодное занятие» хотя бы потери времени мною в своем деле? Отвечаю прямо — нет, не стоит! Потому от нынешнего письма, с этой строки ставлю бесповоротно на политику (притом и не с Вами одним, а со всеми без исключения) самый русский, старинный крест.

Продолжу лишь лично о себе так: в известных афоризмах Козьмы Пруtkова вспоминаю два искренно любимых мною: «Рассуждай токмо о том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?»

И еще: «Всякий необходимо причиняет пользу, употребленный на своем месте. Напротив того: упражнения лучшего танцмейстера в химии — неуместны; советы опытного астронома в танцах — глупы».

Хотя и не к лицу мне, почти в 60 лет, писать ссылки на такие мудрости, но правда заставляет меня сделать то перед Вами в уважение тех волнений, которые я причинил Вам при чтении моих страниц и при письме Вами ко мне Ваших страниц. Глубоко извиняюсь перед Вами, уверяя Вас, что я, как и всегда прежде, до и во время Рачинского и после него, был и остаюсь и пребуду все тот же десятками лет труда сложившийся, простой и искренний работник.

В ответ на Ваше трогательное чувство ко мне отвечал и останусь навсегда впредь тем же по отношению к Вам, чем и был. Этому Вы не можете не продолжать верить, а мелькнувшую мою горячность и нелепицу прошу просто и великодушно предать забвению. Аминь.

*

С облегченною душою и со спокойным сердцем обращаюсь к Вам за советом и прошу Вас, по размышлении, ответить мне, ввиду спешности дела, хотя бы краткою депешою.

Дело вот в чем: Придворная капелла закрывает свои Регентские классы и уже официально объявила, что приема в начале предстоящего сентября в этом году в Регентские классы производиться не будет.

Четыре моих ученика по Москве, все отличные регенты, с ними же и А. В. Преображенский (то есть мой афонский сотрудник) просят меня открыть при их сотрудничестве в Петербурге частную регентскую школу, обещая достать через какого-то Павла Антиповича Потехина¹ отличное помещение в одном из здешних городских училищ, для устройства вечерних регентских

уроков. Им нужно мое имя, будто бы известное всюду и авторитетное, и мое сотрудничество в первоначальной постановке дела, равно и в преподавании мною курса истории русского церковного пения. Предложение это было 26 июня.

Я пообдумал это дело и прикинул его со стороны идейной и со стороны практической. Идейная сторона и содействие учеников — по-моему безукоризненны и надобны к осуществлению. Практическая сторона прежде всего указывает на полное отсутствие конкуренции, а затем на весьма малообещающую денежную часть, ибо ученики в наибольшей части бедняки.

С другой стороны, лично для меня, такая школа была бы возвращением именно к той деятельности, которая мне знакома вполне, любима мною и плодотворна для учеников. Предстоящие занятия совсем невелики по числу часов, но вместе и бодрят к развитию моей научной работы, как научные же с практической стороны.

Думаю, что будет трудно провести первый год, может быть, и второй год, так как дело не может начаться многолюдно для хорошего хора. Но все же хочется послужить дорогим заветам русского церковно-певческого дела, выработанным мною давно и практически уже проверенным.

Мечтать бы можно было и о Синоде, которому столь необходимо это дело и который, вероятно, не совсем же забыл меня. Ведь отчего бы ему не командировать ко мне стипендиатов?

Вот какое дело. Прошу и Вас, подобно мне, поставить крест на прошлое в первом полулисте этого письма, равно и посоветовать: не благословиться ли мне опять к пению и к учению отроков? Не усилить ли практику ту же науку?

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5079, л. 340—341 об.

1. Потехин Павел Антипович (1839—1916) — известный адвокат, в 1907 — гласный Петербургской городской думы, председатель городской комиссии по народному образованию.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, [июль 1907]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Всякие хлопоты по открытию регентской школы приходят, наконец, к скорому получению надобных разрешений, и вот я радуюсь близости отъезда моего в Москву ради окончания Афонского дела по рукописям в московских библиотеках.

Думаю выехать отсюда в четверг и прошу Вашего позволения остановиться на Воздвиженке.

Очень порадовала меня Ваша депеша с выражением сочувствия новому начинанию в регентской выучке. Действительно, оказывается теперь, что, с закрытием регентского класса при Капелле, в России решительно негде ни учиться серьезно церковному пению, ни учиться регентскому делу. С другой стороны, не преувеличивая значения тех условий, при которых приходится открывать частное Регентское Училище, нельзя не признать их благоприятными с научно-художественной стороны и благовременными в смысле отсутствия пока конкуренции.

Конечно, с денежной стороны предполагаемое Училище, особенно же на первых порах, едва ли окупит себя, так как регентские ученики — народ малосостоятельный. Если даже Училище и пойдет успешно, то барыши не могут быть большими даже и в отдаленном будущем. Но нас бодрит идейная сторона, которою проникнута в церковно-певческом смысле вся семья моих будущих товарищей из моих же учеников по Москве. Чужих между нас нет — все свои, дело ведется в посильную складчину на первое время.

Увижу ли я Вас в Москве в предстоящий Ваш проезд сюда к 22-му?

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5080, л. 48—48 об.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 25 августа 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Вчера я возвратился из Казани, а сегодня уезжаю домой в Петербург. Путешествие в Казань, кроме моего удовлетворения душевной потребности поклониться дорогим могилам моих родителей и незабвенного Н. И. Ильминского, кроме желанья увидеть еще раз несравненную Волгу, было вместе с тем отдыхом, во время которого я старался хоть сколько-нибудь «прийти в себя» после работы в Москве.

За возможность этой работы в Москве прежде всего и от всей души благодарю Вас, давшего возможность беззаботно приютиться и спокойно работать. Вам же считаю я своею обязанностью сообщить о том, что именно сделано мною в Москве в течение последней рабочей поры.

Вы, без сомнения, изволите припомнить, что в заседании Общества Любителей я заявил о невозможности пока (то есть вскоре после возвращения с Афона) не только дать отчет о сделанных там экспедициею находках, но даже и дать хотя бы приблизительное заключение о их значении научном и художественном. Находок этих, как известно, сделано огромное число, и те 2000 фотографических снимков с греческих певчих рукописей X—XII веков, которые заменили собою бывшие у нас до Афона 4 Севастьяновских снимка и 2—3 обрывка пергамента

на, прежде всего раздавили на Афоне нас самих. Мы, то есть главным образом А. В. Преображенский и я, чувствовали, что судьба привела нас к находкам, имеющим для истории русского церковного пения самое первостепенное значение; мы чувствовали свое бессилие разобраться в них сколько-нибудь на месте; мы чувствовали, что выросла нравственная ответственность в обязанности исчерпать неожиданно найденный родник знаний и, осмыслив его значение, потрудиться с пользой для русской науки нашим «подвигом добрым». Разбираться в подробностях было некогда, так как, при всем труде фотографирования, даже и нам не удалось снять все и монахи dokonчили часть нашей работы по нашему заказу. Мы почувствовали только, что мы делаем пока первую часть большой работы.

Вторая часть работы заключалась в каталогизации всего найденного на Афоне. Эту часть взял на себя А. В. Преображенский как отличный литургист и знаток греческого языка. Но еще на Афоне было замечено нами, что многих песнопений наших, славянских, нет в греческих рукописях и многих песнопений греческих, бывших у нас перед глазами на Афоне, мы не могли припомнить в наших славянских изложениях. Таким образом, еще на Афоне впервые забрезжилась заря предстоящего открытия древнейшего русского певческого искусства и освещения наших отношений к грекам в ту далекую пору. Поэтому стала необходимою каталогизация всех древнейших русских рукописей. Это составило содержание моей части работы. Я принялся за нее тотчас же по возвращении с Афона в Москву, в сентябре 1906 года. Здесь был наметен общий план работы в Москве и в ее окрестностях, работы по петербургским рукописям были отложены на минувшую зиму. Теперь, летом 1907 года мною, после окончания работы в Петербурге, закончена работа и в Москве.

Я возвращаюсь теперь в Петербург, так сказать, для «составления протокола», то есть для сопоставления описи А. В. Преображенского — греческой и описи моей — русской, для окончательного уяснения того, что имеется у нас с греками общего в церковно-певческом искусстве X—XII века, что само собою выделяется в часть греческого искусства, не воспринятого почему-то нашу церковь в ту пору, и, наконец, что само собою выделяется в самостоятельное русское искусство, созданное в Руси. Эти три отдела предполагается нами оттенить в двух красках, то есть по отношению и к текстам церковным, и по отношению к тем напевам, которыми эти тексты украшены. Таким образом, положение дела может быть выражено графически, например, следующим чертежом.

Искусство греческое X—XII веков

Невоспринятое русскими	Воспринятое русскими		
	Воспринятое и в переводных текстах, и в напевах	Воспринятое только в текстах, но украшенное русскими напевами	Созданное в Руси и в текстах, и в напевах

Искусство русское

Вам, любящему науку и родную старину, легко понять, с каким волнением душевным, с какими ожиданиями радостными я возвращаюсь теперь домой, чтобы ставить крышу над выстроенным новым домом. Меров этого чувства я благодарю Вас и за Афон минувший, и за только что использованное мною гостеприимство в Вашем доме.

Я напишу Вам подробнее из Петербурга о ходе наших занятий с А. В. Преображенским. Теперь и некогда, и нет прямых данных. Благодарю Вас еще раз от всей души. Кланяюсь доброй графине.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5080, л. 149—150 об.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 2 сентября 1907

Дорогой Степан Васильевич.

Сильно порадовали Вы меня письмом Вашим; из него я мог усмотреть, что Вы здоровы и чувствуете бодрость. Надеюсь, что супруга Ваша также вернулась благополучно¹, и прошу передать ей мое почтение.

Как не порадоваться результатам двойной работы — Афонской и Московской! Ведь по словам Вашим это сильный шаг вперед, имеющий решительное значение по важнейшему вопросу, о нашем церковном пении. Будем надеяться что-нибудь услышать о том в одном из заседаний ОЛДП.

В начале октября предполагаю переехать в Москву, и тогда начнутся (особенно после 1 ноября) учащенные поездки мои на Фонтанку.

Теперь мы готовимся к празднику, съезжаются дети и внучата и гости московские. Дни стоят мягкие, серенькие, наступает время посадок. А каков случай с «Яхтой», ведь это, что называют немцы, eine Blamage [конфуз]!² Доколе?

Сердечно преданный С. Шереметев.

Слышали ли Вы, что некий генерал-адъютант князь Белосельский, Белозерский тож, потомок побитых на Куликовом поле, взял да и перешел в Римское Католичество! Теперь лафа Институту de propaganda fide [иезуитской пропаганды]³.

Будьте здравы и благополучны.

С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 278

1. В то время как А. И. Смоленская ездила в Казань, Смоленский на месяц с лишним (с 12 июля по 19 августа) уехал в Москву, а затем еще на неделю в Казань, возвратившись в Петербург лишь к 26 августа.

В Москве он занимался как обработкой результатов Афонской экспедиции, так и подготовкой отзыва на книгу В. М. Металлова «Богослужбное пение Русской церкви. Период домонгольский».

Так, в Дневнике 6 в записи от 13 августа читаем:

Сегодня я кончил свои занятия в Синодальной библиотеке. Занятия эти состоят в каталогизации Стихирарей № 589, 572 и 279, двух Стихирарей постных, двух Ирмологов, Цветной Триоди и 10 месячных Миней. На эту работу, не включая сюда много предварительного труда в прошлые приезды в Москву, равно и работу в Петербурге (много облегчившую здешнюю работу) — потребовался месяц самого упорного, но вместе с тем и самого упорительного труда, полного всяких новостей и глубокого интереса (л. 79 об.).

В Москве Смоленский также встречался с родственниками, друзьями и бывшими учениками по Синодальному училищу, ходил слушать пение в старообрядческие храмы, слушал и Синодальный хор в Успенском соборе (хор на этот раз показался ему «утвердившимся на новой дороге»).

За отзыв на книгу Металлова Смоленский получил в сентябре Уваровскую золотую медаль и 30 сентября написал автору книги, который получил только почетный отзыв.

Достоуважаемый о. Василий Михайлович! За Ваше краткое письмо и приветствие, как и добрые пожелания Регентскому Училищу — сердечно благодарю.

Уваровскую медаль я действительно получил и не раз думал о своеобразности награды за Ваш труд и за мой. Почетный отзыв, как ни высок его авторитет академический и притом по Уваровской премии, все же только слова похвальные за очень большой многолетний труд; золотая медаль — все же хоть 55 рублей, но за малый труд нескольких недель, убавляемый для меня лично тем, что я и без Академии Наук все равно проштудировал бы Ваш труд вдоль и поперек.

Полагаю, что, будь Афонские новости известными хотя бы немного ранее, а не теперь (и то только в будущем), Вы написали бы несколько страниц по-иному и прибавили бы несколько новых страниц. Но Афон пока ни официально, ни частно не оглашен — следовательно — надо ждать 2-го издания Вашего труда.

Покорюсь заранее и прошу извинения, если в чем-либо могла бы задеть Вас моя рецензия, но уже из ее извлечения Вы можете судить о мере моего почтительного отношения к Вашему труду.

Вместе с Анной Ильиничной приветствую Вашу матушку Павлу Петровна и всю семью Вашу.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Позже, 1 января 1908 Смоленский послал Металлову подробный отчет об «афонских новостях», и тот действительно учел новые данные в последующем издании своей книги.

2. Имеется в виду случай с императорской яхтой в финских шхерах, когда в результате неосторожных действий капитана она села на мель (пассажиры при этом не пострадали).

3. Речь идет о переходе в католичество генерал-адъютанта князя Константина Эсперовича Белосельского-Белозерского (1843—1920), одного из крупнейших землевладельцев России. В подшивку писем вклеена вырезка из газеты «Новое время» (от 9 августа), в которой сообщается, помимо прочего, что супругой князя является сестра знаменитого полководца М. Д. Скобелева.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 5 сентября 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

По множеству всяких хлопот об устройстве регентской школы я не удостоился ответить Вам немедленно.

За Ваше сердечно-ласковое письмо очень благодарю Вас. Возвратясь домой, я провел с А. В. Преображенским целую неделю в точном и окончательном сведении греко-афонских находок с русскими. Кроме упоительного наслаждения открывающимися горизонтами и массаами новостей, приходится однако и вспоминать «сама себя высекла», равно и пословицу «дальше в лес — больше дров». Первое вспоминается потому, что пока не видим лица, участливо пришедшего к нашему самоотречению в труде с нами; второе вспоминается постепенным просветлением наших умов, начинающих теперь чувствовать себя дома в мраке столь далеких и столь многих древностей.

Да, Вы правы: «Афон» оказался для истории русского искусства, для литургики и многих соприкосновений с ними — событием самой первостепенной важности. Энергия и увлечение, с которыми мы вдвоем работаем уже целый год, только и может питаться сознанием великой услуги нашей науке от этого неожиданного и великолепного Афона.

Конечно, в первых же заседаниях «Любителей» наш доклад будет, так как нас самих тянет желание поскорее поделиться своими новостями и привлечь внимание к сотрудничеству. Затрудняет, однако, боязнь разбросаться в море крайне-специальных подробностей — надобность этих подробностей и оттого трудность изложить свои радости общедоступно.

Греки, крюки X—XII века — не такие материи, чтобы о них было легко беседовать даже и с интересующимися «любителями». Говорить труднее, чем потом печатать. Печать — документальна и учит при самом ее чтении, гово-

речь же очень трудно. На днях я пробовал в одиночку устно беседовать, как бы сидя против Вас в заседании, — и совсем было спасовал... Тем не менее доклад будет непременно.

Не удивляюсь тому, что Белосельский-Белозерский стал католиком, что уйдет туда же ловкостью агентов «*de propagandae fide*» и якобы *ad majorem Dei gloriam* [к вящей славе Божией] не один еще русский. Дело ведь давно начатое, еще с Мартынова и Павла Гагарина¹. Но истинно огорчаюсь тем беспобудным сном и косностью, с которыми наш Синод не думает о «новой христианской общине», растущей не по дням, по часам. В ней уже множество негласных членов, много очень видных священников, два-три епископа — и все это перед самым носом Синода... Они пишут (например «Русь», 4 сентября) напрямки о Синоде как об «окоченевшем трупе»², о своем намерении быть «независимыми от Синода», и притом в самом скором времени!

Регентская школа, Бог даст, откроется 25 сентября. Теперь ищем квартиру, печатаем объявления, программы, бланки и проч. Конечно, программа школы и предполагаемая энергия ее деятельности вполне «смоленские», а не с нынешней Никитской в Москве и не от нынешнего Певческого моста³.

У последнего происходит какой-то нелепый сумбур, вследствие воздействий нелепого и не знающего дела Соловьева⁴. Я полагаю, что граф Александр Дмитриевич — заслужил бы общее спасибо, если бы убрал Соловьева поскорее или по крайней мере ограничил бы его грубое сумасбродство. Этот странный и вполне неумелый «помощник», пожалуй, причинит А. Д. много невеселых хлопот. Как ни мало я расположен к А. Д., но мне просто жалко Придворную Капеллу. Все же — не какая-нибудь школа, не объект для неумелых и грубых опытов. Принятие Соловьева к себе в помощники — большая ошибка А. Д.

О других своих делах я напишу Вам через несколько дней. Кланяюсь графине. Мысленно стою сегодня у Вас в храме и соучаствую в Вашем духовном празднике. Приветствую с 6-м Вас и всех Ваших.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5081, л. 14—15 об.

1. «*Ad majorem Dei gloriam*» — девиз Общества Иисуса (иезуитов). Князь Иван (а не Павел) Сергеевич Гагарин (1814—1882) и Иван Михайлович Мартынов (1821—1894) — двое самых «знаменитых» русских иезуитов XIX века.

2. Материал без подписи, опубликованный в либеральной газете «Русь», представляет собой беседу со «священником В.», который рассказывает о «новой христианской общине», которая будет существовать независимо от синодальной церкви, «на началах соборности и свободы». В частности, он говорит:

От Синода нельзя ожидать церковного обновления и реформ. В нем есть известная всем твердость закоченевшего трупа. Своими застывшими пальцами

этот труп еще крепко держит миллионы живых душ; но если появиться теперь какая-нибудь новая сила — он разожмет эти пальцы, которые не сожмутся вновь.

3. Смоленский хочет сказать, что программы его училища не дублируют ни современные программы Синодального училища, ни программы Регентского класса Придворной капеллы. См. в Приложении «Дело о Регентском Училище».

4. Имеется в виду Н. Ф. Соловьев, сменивший Кленовского на посту помощника начальника Придворной капеллы.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 12 сентября 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Мне хандрится, нездоровится, не работается — причина тому, вероятно, совершенно невозможная погода этих дней, некоторая моя усталость и расхолодившаяся печень. Поэтому не осудите некоторый недостаток бодрости в этом письме.

Начну с того, о чем Вы позволили вторично написать Вам, то есть о помещении почтенной старушки Марии Сергеевны Самариной в Московский Странноприимный дом¹. (Ее адрес: Остоженка, 1-й Ильинский переулок, в доме Меркулова, квартира Григорьева.) Дело это как-то повернулось минушею весною от удачи к затыжке, а между тем старушка совсем пропадает. Она — вдова уважаемого скрипичного мастера и имеет лишь несколько ничтожных скрипок, никем не покупаемых. Ее поддерживают в складчину почитатели покойного мужа, но легко представить себе, какова такая поддержка по нынешним временам. Усердно прошу Вас помочь ей. Данное ей обещание глубоко осчастливило старушку, а затем пришла и затыжка дела, — теперь опять мечтает!.. А жить ей, вероятно, уже и не долго. Горе и нужда просят радости.

Все эти дни по несколько часов отдавал я хлопотам об устройстве Регентского Училища. Помещение нашлось очень хорошее в доме гимназии Гуревича, на углу Бассейной и Лиговки. Вчера были сделаны первые публикации об открытии училища 1 октября. Теперь наступила пора ожидания желающих учиться, которых однако «для почина» сегодня явился всего только один. При таком скудном начале немножко нашло раздумье о размере предстоящих убытков, в случае малочисленности ищущих регентской выучки. Конечно, в пределах моих средств и сметы предстоят и еще публикации многие. Но встретилась и самая неожиданная конкуренция со стороны... евреев, объявивших (Рапгоф, Поллак, Маяк) об их готовности также доставлять регентов и даже с аттестатами². Но, сколько могу судить, даже не особенно укоряя себя в самомнении,

все говорят, что моя фирма в церковно-певческой области трактуется с большим кредитом, нежели зазывающих конкурентов. Впрочем — что Бог даст.

Душевнейше радуюсь я тому, что, по-видимому, науке не предстоит какое-либо умаление от Регентского Училища, но, напротив, предстоит укрепление моей энергии от большего разнообразия занятий. Едва ли школа отнимет у меня даже и два часа в день. Вероятно будут и совсем свободные дни.

Бегодня по канцеляриям Синода и градоначальника ныне совершенно закончилась. Очень я отвык в последние четыре года от виц-мундиров и бумажных сношений, не дай Бог впредь путаться с ними и сознавать себя зависимым от какого-либо писарька по предлогу совершенно ничтожному, надобному лишь формально, но никак не по существу дела. В свободные минутки я очень люблю читать Гоголя. И вот как раз случилось в 100-й раз прочитать те несравненные страницы «Мертвых душ», где описана канцелярия при совершении купчих крепостей Чичиковым. Теперь, через 60 лет — совершенно то же самое, даже до утраты марок, бывших на прошении... Совсем как когда-то рассказывал митрополит Исидор³, получивший вчера осетра, а сегодня доклад, будто бы осетра — мыши уже успели съесть «до несъедомого людьми вида». Были у меня на прошении гербовые марки — несомненно, а куда девались — никакая канцелярия не объяснит. Сказали только, что надо уже не 2, а 4, да еще как-то переписать полулист («дайте ему за труд рубля 2—3») — и все наконец-то устроилось. Любезнейше предупредили, что предстоит еще вытерпеть «технический осмотр» помещения через городских архитекторов: «Но это, знаете — формальность, хотя и необходимая при многолюдных (это в Регентском-то Училище!) собраниях». Предупредили также «быть поосторожнее с вывеской»: оказывается, что существует их цензура и целый ряд полицейских мытарств и разрешений, даже относительно места и способа их появления на улице. Чего-чего не приходится узнать мне с этою Регентскою школою, при одном еще только ее ученике! Уж именно прав Гоголь, воскликнув: «у нас все в порядке, все по закону, все предусмотрено».

Каталогизация афонских и московских снимков и содержания рукописей, наконец, окончена совершенно. Говорю так потому, что осталось только прокаталогизовать в здешнем Архиве Св. Синода малую часть Постной Триоди, вытребованной сюда из Московской Синодальной Библиотеки. Это — работа лишь в несколько часов, не более 3—4 дней между 12—15 «присутственными часами». Как и раньше писал Вам, только изумляюсь открывающимся новым страницам и недоумеваю о том, как могли не увидеть их такие большие люди, как Буслаев, Востоков, Ундольский, Срезневский, даже и Соболевский с Шахматовым⁴. Все они, несомненно, держали в руках те 36 рукописей, которые только что прокаталогизованы, и никто из них почему-то не догадался о крюковых их сокровищах. Впрочем, и я не раз, до Афона, сам имел в руках эти несравненные документы нашего искусства еще в XI—XII веках! Прозрение, притом же самое простое, дается далеко не сразу.

Как я уже говорил Вам, прежде печатания этой каталогизации афонско-московских находок было бы желательно их предварительное издание с помощью рукописной литографии — подобно тому, как например литографически печатаются полковые приказы. Мне с А. В. Преображенским все равно придется писать оригинал будущего издания: поэтому все дело лишь в замене простых чернил литографическими и в снятии хотя бы 50 копий для университетов, академий, обществ археологических и т. п. Вероятно, по этим литографиям, ко времени настоящего печатания, мы же сами, пожалуй, и другие, найдем в своей работе то, мимо чего теперь ходим неосмысленно, или недоумая по незнанию, или по недогадкам. Литография будет стоить сущие гроши, но будущее издание несомненно будет самой капитальной важности. Полнота и обстоятельность печатного издания (после литографического лет через 5—10) должна будет, кроме певцов, глубоко задеть филологов и особенно литургистов. О музыкантах уж и говорить нечего. Подобно «Разысканиям о начале Руси» или «Истории Москвы» почти все страницы истории русского древнего церковного пения должны быть вскоре написаны совсем заново, так же как и от нового фундамента должен быть изменен вид перестраиваемого бывшего здания. Я, конечно, не доживу до использования незабвеннейших и счастливейших для меня 1906 и 1907 годов. Эти работы вполне подходят к определению Рачинского «обоз к потомству». Правда, что и наказаны же Смоленский с Преображенским своими находками! Но на долю многих ли людей выпадают такие величайшие радости?

Доброй графине кланяюсь, Вам — сугубо.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5081, л. 37—38 об.

1. Сведений о мастере Самарине найти не удалось.
2. Имеются в виду Музыкально-драматические и оперные курсы В. Б. Поллак и Музыкальные курсы Общества «Маяк» в Петербурге
Евгений Павлович Рапоф (1859—1919), русский пианист и педагог, в 1882 основал в Петербурге собственные музыкально-драматические курсы.
3. Исидор (Иаков Сергеевич Никольский; 1799—1892) — митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский с 1860 до конца жизни, духовный писатель, член многих ученых обществ.
4. Перечисляются крупнейшие специалисты по древнерусской письменности предшествующих поколений: Федор Иванович Буслаев (1818—1897), Александр Христофорович Востоков (1781—1864), Вукол Михайлович Ундольский (1816—1864), Измаил Иванович Срезневский (1812—1880), а также современники Смоленского — упоминавшиеся

выше Шахматов и Соболевский. Никто из них (кроме, до некоторой степени, Ундольского) вопросами древнерусской или древнеславянской певческой письменности не занимался.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 15 сентября 1907

Дорогой Степан Васильевич.

Только что собирался отвечать Вам на Ваше доброе письмо, как получил второе, столь содержательное. Колебания духа понятны в переживаемое время, а сознание совершаемого Вами великого дела — должно возвращать бодрость!

Вы пишете, что предпочтительнее издать пока «литографически» то, что приготовлено. Конечно, это будет значительно дешевле, да и практичнее в том смысле, на который Вы указываете, то есть ввиду неизбежных дополнений. Весьма одолжили бы сообщением расчета об издании литографически. Мне было бы особенно утешительно содействовать появлению этого труда и тем облегчить и ускорить дело.

Что касается до устройства Регентского Училища, то Вы знаете, насколько я тому сочувствую; но признаюсь Вам, опасаясь для Вас разочарований!¹ Такое дело нужно сначала обставить и утвердить на прочном фундаменте, то есть нужны средства, нужно и многое другое еще не выясненное, нужно ясное, определенное изложение цели и значения дела. Говорю с точки зрения исключительно практической, без которой лучшие задачи невыполнимы, и Вы лично, по свойствам Вашей художественной натуры, едва ли справитесь с житейскими мелочами, обычными, неизбежными в каждом деле. Вот уж и заметна трудность в начинании, как говорите Вы — один всего желающий! И это предостережение, и даже не обидное; нельзя требовать ото всех одинаковой способности схватывать мысль и воспламеняться ею. Я уже не говорю о подводных камнях сплоченного недоброжелательства, но нужно считаться не только с благонамеренными тяжелодумами, но и с людьми, любящими во всем точность и определенность. Всего более опасаясь для Вас утомления и огорчений, все это может отразиться на другом, не менее нужном, как это часто бывает в жизни.

У нас ясные дни и мы думаем протянуть здешнее пребывание до начала октября, а затем в Белокаменную...

Будьте здоровы и благополучны.

Сердечно Ваш С. Шереметев.

Лясковский прекратил со мною сношения.

1. Прогноз Шереметева оказался точным, при этом поддержкой Регентского училища он занимался, в том числе после кончины Смоленского.

Шереметев — Смоленскому

Михайловское, 18 сентября 1907

Дорогой Степан Васильевич.

Посылаю Вам прилагаемый Сборник, Вам конечно известный. Дело в том, что в нем находится молитва «Высшую небес». Желал бы знать, что это — древний напев или нет?¹

Сердечно Ваш С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 281

1. Какой сборник посылал Шереметев — неизвестно.

Шереметев — Смоленскому

[Михайловское, после 20 сентября 1907]

Здравствуйте! Давно не знаю о Вас ничего и надеюсь, что Вы мое письмо получили относительно старушки Ильминской¹. Поместить все вакансии нельзя, но она записана на первую. Получил от А. Н. Нарышкиной замысловатое письмо. Она говорит, что Ваши регентские классы берет под свою эгиду М[итрополит] Антоний². Ой ли?

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 287. На открытке с видом Михайловского

1. Письмо не сохранилось. Речь идет о повышенной пенсии (аренде) для Е. С. Ильминской, тетки Смоленского (см. подробнее в письмах к Волковой).

2. Приводим полностью очень яркое и характерное письмо А. Н. Нарышкиной:

Биарриц, 20 сентября 1907

Дорогой граф. Ваше письмо меня немножко ободрило своею надеждою на лучшие дни в будущем. Я не думаю, что Россия погибнет, но мы ее обновления в ином строе не увидим. Целое юное поколение искалечено, и разращение ума пошло

в глубь. Развратители беспрепятственно продолжают свою работу во всех углах св. России, а противодействовать некому. Конечно, Вы, как и всякий развитой человек, не основываете своей надежды только на материальной силе! Массы не имеют ни зрелого мнения, ни убеждения, а следуют за сильным человеком, который сумеет действовать на душу и поймет психологию толпы. Временное будто успокоение — внешнее, не есть отрезвление, а некоторое утомление, разочарование в безумной мечте беспрепятственного захвата добычи. Улучшения в сущности нет, и его нам не даст г-н Дубровин и компания. Скажите, что поставили бы Вы на место Думы?..

После несчастной, безумной войны, в которую втянули нас несколько глупых, ограниченных людей, которая обнажила наши внутренние язвы, — надо же было сделать что-нибудь, чтобы удовлетворить всеобщее недовольство правлением! При режиме Плеве нельзя было оставаться. Перед своею смертью он, Плеве, мне говорил: революция так сильна, что одними репрессивными мерами с нею не справиться! И это было до того, что мы всюду были побиты и побеждены! Никто из монархистов не предлагал тогда никакой меры, чтобы указать выход из опасного состояния умов! Только князь Васильчиков хотел собор!..

Вы, граф, и умнее, и развитее меня и лучше понимаете, как историк, мыслимо ли было бы созвать собор представителей всех сословий? Мой покойный друг Победоносцев и мой учитель Бестужев признавали это невозможным. Надо считаться с фактом, с тем, что происходит пред глазами; мы видели возмущение *всех сословий* правительственными органами. Россия побита, унижена, разорена, кем? Неумелыми править людьми. И менялись министры, и все то же продолжалось. Рядом с этим всякий со смыслом человек твердо сознает, что без Царя — мы не устоим, без Царя — распадение полное... гибель... Что же было делать!.. Надо, оградив власть, сделать что-нибудь для удовлетворения — не преувеличивая можно сказать — всеобщего громкого ропота на правление. 20 лет у нас на глазах безобразно велись учебные учреждения, падали университеты, и Делянов говаривал не раз при мне: *après moi le déluge* [после меня хоть потоп]. Ведь все, что происходит, есть результат многих и бесчисленных ведомых и бессознательных ошибок. Одним почерком пера были уничтожены прекрасные выборные мировые судьи и заменены никуда не пригодными по условиям, в которые они были поставлены, земскими начальниками.

И обществу, и человеку, чтобы жить, надо надеяться. И после нашего военного позора нельзя было продолжать жить при прежних условиях. Если бы были крепкие устои в государстве, подобное революционное смятение было бы скоро подавлено. Не было и двух людей с авторитетом — вне чиновничьей среды. Да и теперь никто не выделяется, около которого могла бы собраться благомыслящая группа. И вот назначен был Витте вершителем судеб. Оказался, как и предвиделось, не на высоте задачи. И кого бы не назначили, всякий наделал бы промахи; иначе быть не могло. Ибо требуемые условия не могли развиться при прежнем образе действий. Все мои надежды на то, что выделится из масс группа патриотов настоящих, со смыслом и образованием — рухнули. Всякий из нас нарушитель Закона, нетерпимый и неспособный уступить дру-

гому, даже в не особенно важном вопросе. И я не брошу камня в Витте за его ошибки. Был бы жив благородный Сипягин, и он не метнул бы грязью в Витте...

Такую крупную способность ни в каком государстве не выбросили бы за борт.

Я писала митрополиту Антонию о пользе школы для регентов и очень твердо внушила, что Смоленского надо взять в руководители музыкального отдела. Владыка ответил, что все так и будет решено. Они было хотели знать мнение Вашего брата по этому вопросу!..

Простите, дорогой граф, это длинное письмо. С Вами говорить мне — сладко. Мы можем быть разного мнения, но основа у нас одна... Одною болью страдаем и знаем, где искать силы жить, силы исполнять свой долг...

Преданная Вам Александра Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5081, л. 81—84 об.)

В письмах Шереметева и Нарышкиной упоминается митрополит Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский), с которым Смоленский был также знаком лично. Тем не менее, Регентское училище, открывшееся 1 октября как частное учебное заведение, не состояло «под эгидой» митрополита или Св. Синода, хотя позже Синод оказывал ему небольшую материальную помощь (см. далее). В письме Нарышкиной упоминаются:

Дубровин Александр Иванович (1855—1921) — врач, председатель Союза русского народа;

Васильчиков Илларион Сергеевич, князь (1881—1969) — в то время чиновник Министерства юстиции, впоследствии член Государственной Думы и участник Поместного Собора 1917—1918 годов.

Шереметев — Смоленскому

[Петербург, 27 сентября 1907]

Я совсем подавлен впечатлением вчерашнего пения и поражен был [не-разборчиво]. Впечатление сильное, и верилось бы, чтобы большее число лиц восприняло оное. Сразу так далеко уйдешь от тяжелой современности в чарующий мир звуков. Что скажете об опере «Невидимый град Китеж»? Мы только что ее прослушали¹.

Надеюсь, Ваши дела идут хорошо. Рогович так мне и не ответил². А Лясковский Вам ответил?

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 288. На открытке с видом Кусково

1. Премьера оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» в Мариинском театре состоялась 7 февраля 1906. Шереметев посетил спектакль 26 сентября 1907. Слушал ли Смоленский «Китеж», неизвестно, но упоминания этой оперы встречаются в его переписке.

2. Шереметев писал товарищу обер-прокурора по поводу Регентского училища (см. дальнейшие письма).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 30 сентября 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я очень болел душою в последние дни, и не хотелось мне ни растревлять себя, ни поведать Вам о своих волнениях, досадах и беспокойствах. Поэтому врачевал себя неустанною работою и напускным отогнанием расстраивающих размышлений. Поэтому только и не было моих писем к Вам в эти дни. Теперь чувствую себя спокойно вновь.

Завтра, 1 октября, в 7 часов вечера, в память Романа Сладкопевца, творца кондакареви, открывается, наконец, Регентское Училище, помещающееся в вечерние часы для занятий в доме гимназии Гуревича, что на углу Бассейной и Лиговской № 1/43. Открытие — без всяких речей.

Училище открывается с величайшей верой в его надобность и несомненный его будущий успех, с величайшей надеждой на удобства наконец-то провести в жизнь свои заветные мысли в среду будущих регентов и композиторов, с величайшею любовью и безграничным почтением к своему делу.

Все данные, которыми обставлено начало деятельности Регентского Училища, не оставляют желать чего-либо лучшего в смысле ума, знаний, трудолюбия, честности и энергии работников у нового дела.

Но все эти работники — сущие бедняки, ученики этих работников-идеалистов — того беднее, и потому новое дело, слабое силами, неокрепшее опытом увертываться от бешеного обстрела со всех сторон, от всяких указанных Вами подводных камней, явных и тщательно скрытых, — новое дело начинается среди самых неблагоприятных условий, готовящих в самый трудный первый год много риска и опасностей, много предстоящих огорчений.

Начать хоть бы с Придворной Капеллы, откуда Н. Ф. Соловьев едва не зарезал нас внезапным и совершенно незаконным запрещением одному из нашего товарищества, М. Е. Климову давать уроки древнего церковного пения в Регентском Училище... Тот же Н. Ф. Соловьев в тот же злополучный день (то есть всего третьего дня) поставил вдруг А. В. Преображенскому столь нелепые условия для преподавания в Регентском Училище, что мы прямо растерялись, и была да-

же мысль отложить открытие Училища, пока возвратившийся граф Александр Дмитриевич не вразумит своего совершенно неделового помощника... Но, очнувшись от удара и собравшись мыслями, мы порешили все-таки делать свое дело.

Нас пятеро: я, страстно преданный делу и умный А. В. Преображенский, три моих наилучших и даровитых ученика: Петя Алексеевич Петров, кончивший после Синодального училища курс у Римского-Корсакова с золотой медалью, Миша Егорович Климов, также кончивший консерваторию по дирижерскому классу, ныне помощник регента (с 1901 года) в Капелле, и, наконец, Паша Нилович Толстяков, также москвич мой — один из прирожденных педагогов. Мы наскребли и попризняли 1000 рублей, чтобы начать дело. Мы отреклись от получения из доходов Регентского Училища хотя бы одной копейки впредь до поры, когда дело встанет на ноги вполне твердо. Мы уговорились работать бесплатно, давая уроки и работая по всякому встретившемуся делу, лишь бы укрепить дорогое нам Регентское Училище.

Но приходится открывать завтра начало занятий с 15-ю только учениками, из которых только двое оказались богачами, сумевшими внести по 40 рублей платы за обучение на первое полугодие. Все остальные либо просят рассрочки помесечной, либо просят о бесплатном обучении. Коротко сказать, до минуты написания этой строки наш сбор платы за предстоящий труд дошел только до 165 рублей, причем 400 уже внесено Гуревичу за квартиру на полгода и предстоит платить около 100 рублей ежемесячно на плату скрипачу, пианисту, прокат инструментов, покупку нот, публикации и проч.

И тем не менее Регентское Училище все-таки открыто, так как несомненно у нас, судя по заявлениям, должно увеличиться и число учеников, и сбор с них рублей за обучение. К тому же у нас еще есть 400 рублей, следовательно можно спокойно проработать до начала февраля. Но если, именно если, нам придется уже чересчур жутко, до нетерпимой боли, до потери возможности вести дело с нашими бедняками-учениками, если число их будет все-таки недостаточно с их малыми рублями, вспомните тогда, дорогой Сергей Дмитриевич, один, или с А. Н. Нарышкиной, или с кем-нибудь, и поддержите Регентское Училище, чтобы пережить ему эту критическую минуту. Вы хорошо понимаете меня и почувствуете, чего стоило мне написать эти немногие строки. Дело Регентского Училища обсуждено с великою тщательностью и решено в безусловно положительном смысле как дело святое, умное и надобное. Но подводные камни* оказываются опасными не менее противных течений и самого благодушного штиля, например, со стороны Св. Синода. Мы боимся теперь только неожиданностей и могущего быть в феврале «если», но мы — вполне мужественны, работящи и, конечно, осторожны и бережливы, а 1 октября, на молебне — помолимся искренно.

* Смешно сказать о том, что наши конкуренты сплошь чехи и евреи: Рапгоф, Поллак, Маяк в Петербурге, Решке¹ даже и в Москве Белокаменной.

О науке археологической, идущей своим чередом, напишу Вам на днях. Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5081, л. 126—127 об.

1. Решке Богумил Вильгельмович (1877—1944) — трубач в оркестре Большого театра (с 1903), в 1904 открыл вечерние курсы в Москве (позже музыкальная школа), с 1906 — регентские и капельмейстерские классы на Арбате (с платой 100 рублей в год).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 5 октября 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Итак, Регентское Училище в г. Санкт-Петербурге открыто. Событие это не произвело вообще в подлежащих сферах решительно никакого впечатления. «Открытие» было встречено только полным молчанием прессы и самым очевидным игнорированием всех тех учреждений, к которым церковное пение имеет прямое отношение. Только в Ставрополе-Кавказском нашелся коллега, приветствовавший новорожденное мое детище депешью.

Открытие произошло до последней степени просто. Отец Лисицын (композитор и критик-журналист) открыл собрание кратким словом¹, потом отслужил молебен перед началом учения; затем, приложившись к кресту, я пригласил всех сесть за столы и выслушать первый урок в новооткрытом Регентском Училище. Тем торжество и кончилось — без речей, без трапезы, даже и без традиционного шампанского, без возгласов, приветствий и без пожеланий.

Первый урок был дан мною. Я воспользовался бывшею все-таки некоторою возбужденностью тех 25—30 человек (то есть вместе: учеников, учителей и гостей) и начал урок изложением тех мечтаний педагогических и научных, которые бесповоротно, убежденно кладутся в основание нового, самого упорного труда, самой неумолимой требовательности от будущих регентов и, наконец, самого подробного изучения нашего народного церковно-певческого и мирского песенного искусства, впервые сближаемых в Регентском Училище.

Впечатление от этого урока осталось столь сильным и полным, столь единодушным, что один только ученик струсил и заявил об отказе продолжать учение в таком строгом Училище, все же остальные заявили мне, что они употребят все силы для немедленного привлечения в Регентское Училище возможно наибольшего количества учащихся. И действительно: сегодня, 5 октября, число наших учеников уже начинает переваливать за цифру 20, а идет слух, да и сам я вижу, что этими днями прибавится и еще сколько-нибудь. Та-

кое начало, столь трепетное несколько дней тому назад, начинает успокаивать и бодрить теперь и меня, и моих сотрудников. Первые три дня занятий прошли вполне превосходно и не оставляют желать лучшего. Стрелочник не ошибся, и поезд, вступив на свою колею, начинает свое ускорение в пути.

Я писал Вам в прошлый раз о неожиданной выходке Соловьева из Капеллы. Мне не вспомнилось то, что предшествовало его запрещению для помощника регента Капеллы (моего ученика по Москве) М. Е. Климова принять участие в Регентском Училище. Теперь я изложу Вам это предыдущее, сказав пока, что ждется, судя по слухам, ожидается и еще новое в будущем, что-то очень своеобразное.

Случилось вот что: 13 сентября некий малый чин в Капелле подстроил со мною как бы нечаянную встречу у одного приятеля и полуофициально заявил мне так: послезавтра, 15-го, в Регентском классе при Придворной Капелле назначен в 2 часа молебен перед началом учения; несколько дней спустя будут сделаны переэкзаменовки ученикам, не выдержавшим весенних переводных испытаний; затем начало классов и вообще начало учебных занятий будет временно задержано, так как в последнее время выяснились особые для Капеллы удобства поскорее закрыть совсем все Регентские классы (а не прекратить только прием новых учеников) и разузнать стороною: не согласитесь ли вы, так сказать, развязать руки Капелле — взять в Регентское Училище всех частных учеников Регентского класса при Придворной Капелле?

Я спросил о числе учеников и узнал, что в приготовительном классе (за отказом в приеме) — нет ни одного, в 1-м классе выдержавших экзамены 10, а недержавших экзамены — 11; во 2-м классе выдержавших экзамены 8, а недержавших 2; в 3-м классе выдержавших экзамены — 7, а недержавших 4 и, наконец, в 4-м классе учеников только 2, а всего учеников 44. Из этого числа к началу занятий в предстоящем году, как указывают опыты прошлых лет, может явиться к продолжению занятий немного более половины, то есть человек около 25, которых и желательно перевести без экзамена в Регентское Училище. Такое требование меня озадачило.

Эта цифра, сказал я, должна быть уменьшена уже потому, что я имею уже несколько учеников, бросивших Регентские классы и поступивших в Регентское Училище. Дополню еще так: открыть 4-й класс при двух учениках, значит взять на себя явный убыток рублей по крайней мере 600—700; обязаться принять всех учеников без проверки их знаний значит обезличить себя без всякой нужды и повести дело их обучения ощупью, наугад; затем: дело оказывается спешным, так как в Капелле уже послезавтра назначен молебен... Меня застает совершенно врасплох неопределенность будущего числа учеников из Капеллы, чтобы доходом от платы за их обучение я мог бы по крайней мере покрыть расход новый, неожиданный, наверное обеспечить новое и слабое дело от сильных и к тому же навязываемых убытков. Передайте Н. Ф. Соловьеву, что я пообдумаю сегодня дело и буду ждать завтра (14-го) приглашения к нему для переговоров.

На завтра (но еще 13-го вечером) получаю по телефону приглашение прибыть в 2 часа, 14 сентября к Н. Ф. Соловьеву.

Дорогой граф Сергей Дмитриевич! Я знаю, что мои письма сохраняются у Вас на будущее. Не скрою от Вас удовольствия, с которым кратко опишу следующий вполне водевильный разговор. Он стоит того, чтобы со временем занять страничку в каком-либо очерке истории русского певческого искусства. Итак — начинаю.

Я прибыл точно к назначенному времени.

Я заметил, что, после первых приветствий, меня посадили на такой стул у стола для приема просителей, против которого проситель увидал бы прежде всего два внушающих конверта, на которых было крупно написано и густо подчеркнуто: «Его Превосходительству, Господину Помощнику Начальника Придворной Капеллы Николаю Феопемптовичу Соловьеву». Конверты эти были пустые, совершенно не бывшие в употреблении. Конечно, в моем уме они сразу достигли своей цели, и Н. Ф. оказался очень доволен, что я не скупился и не заупрямился величать Его Превосходительство чуть не каждую минуту. Разговор наш затем имел такое содержание (конечно, в самых здесь общих обликах).

Соловьев: Мне передали, что вы желали меня видеть и намерены просить о переводе в ваше Училище всех частных учеников Регентского класса. Действительно, у нас есть предположение занять квартиру Регентского класса и потому ваша просьба допустима, пожалуй и исполнима.

Я: Ваше Превосходительство! Не лучше ли будет сразу уставить характер нашей беседы? Вам надо освободить квартиру поскорее и мешают в том частные ученики, вне-капелльские; мне интересно иметь в Регентском Училище больше учеников, и я их могу получить из Регентского класса тем более, что уже и в самой их среде началось движение в мою сторону. У меня уже есть человек 5 самых лучших ваших учеников, бросивших уже Капеллу и перешедших ко мне...

Соловьев: Как их фамилии?

Я: Не могу ответить вам точно по запомыванию, но и не имею ни намерения, ни надобности скрывать их имена и свои действия. Поясню еще так: наши отношения могут теперь определиться в смысле соглашения равноправных сторон: вы — как бы продавец, желающий сбыть товар в надобных для вас условиях, я как бы покупатель, желающий приобрести только то, что мне надо и притом по цене подходящей. Поэтому я считаю себя вправе спросить: каковы ваши условия в деле соглашения со мною по поводу желаемого вами перехода ваших учеников в Регентское Училище?

Соловьев: Извольте, у меня это дело уже обдуманно. В вашем Регентском Училище есть один непоправимый недостаток, притом же и весьма гадательный в будущем к удовлетворению помимо согласия Капеллы. По вашему уставу Регентское Училище может выдавать своим ученикам *временные* свидетельства, а не полноправные регентские аттестаты, как то в Капелле состав-

ляет ее исключительную привилегию. Поэтому в вопрос о передаче учеников в Регентское Училище необходимо входит обязательство Капеллы, обещавшей своим ученикам дать им аттестаты, сдержать свое обещание у себя дома.

Я: Я не совсем понимаю, к чему вы клоните свою речь. По моему мнению, частные ученики Придворной Капеллы вольны перейти или не перейти ко мне, а вы не можете ни заставить уйти, ни заставить остаться. Ваши отношения к ним вполне просты: сами ученики внесут плату за обучение — они продолжают быть учениками; если они не внесут плату — они перестали быть учениками; если вы приняли плату — вы обязываетесь учить; если вы отказываете в приеме платы — вы передаете ученика мне, и то, конечно, в случае, когда он сам надумает придти ко мне.

Соловьев: Нет, это не так. Ваше временное свидетельство есть необязательный, бесправный документ, а наш аттестат Капеллы отворяет двери повсюду.

Я: Не смею спорить с Вашим Превосходительством. Но, в качестве бывшего Управляющего Придворной Капеллой, я безусловно утверждаю, что до меня и в мое время «звание регента» было простой мишурой, не сопряженной решительно ни с какими «правами», решительно не обязательной для какого бы ни было начальника учебного заведения или архиерея. Мы отклоняемся в сторону, обсуждая правоспособность вполне мнимую, обосновавшуюся только на настоятельности требований приема регентов из Капеллы, заведенную Львовым и продолженную Бахметевым. Я прошу изложить мне условия ваши о передаче учеников

Соловьев: Я не согласен с вами. Но, переходя к делу, скажу так: 1) вы получаете одновременно всех без исключения учеников Регентского класса Капеллы, сколько бы их ни оказалось в каждом классе; 2) все преподаватели Регентского класса также перемещаются в Регентское Училище, чтобы продолжать занятия со своими бывшими учениками, и с самого же начала «Регентское Училище Смоленского» внедрит в нем столь испытанные Капеллою принципы и программы обучения будущих регентов; 3) весной 1908 года Придворная капелла, оплачивая труд всех своих преподавателей во всю первую зиму их занятий в Регентском Училище, назначает поверочную экзаменационную комиссию, которая, кстати, удостоит экзамена и других учеников Регентского Училища, из того их состава, который не был в Придворной капелле; 4) экзаменационная комиссия докладывает Капелле о результатах испытаний и, с моего и графа Александра Дмитриевича согласия, выдает бывшим ученикам Регентского класса *аттестаты Капеллы*, как будто те ученики продолжали в ней заниматься, но учились на самом деле, по доверию Капеллы к вам, в Регентском Училище, только как бы в другой квартире, хотя и в прежнем своем товарищеском составе и у своих же преподавателей, при контроле самой Капеллы.

Если вам не будет угодно, чтобы ваши ученики, не бывшие ранее в Капелле, подверглись испытанию в экзаменационной комиссии от Придворной

капеллы, то, конечно, они и не получают полноправных аттестатов, а должны будут удовлетворяться вашими «временными свидетельствами». Вот мои условия.

*

Я должен Вам признаться, что такие речи Н. Ф. Соловьева так озадачили меня, что сначала я совсем было растерялся и произнес только, что мои предположения были совершенно вне мысли о дальнейшей опеке Капеллой своих бывших учеников. Потом я задумался над вопросом: что бы могло значить предъявление таких условий? есть ли это хитрость и непроходимая наглость зазнавшегося чиновника или есть самая простая глупость человека, явно не понимающего всю несообразность своих предложений?

Для меня было вполне ясно, что положение Капеллы, решившей, так сказать, вдвинуть в свои стены Регентский класс, оставить его только для своих дискантов и альтов, стало совершенно нелепым по нераспорядительности того же Соловьева. Недавний дифтерит или корь в Царской семье, недавняя бытность казенного Наумова в Регентском классе ради определения в придворные певчие (с помощью родного брата — воспитателя малолетних певчих в Капелле) так напугали Соловьева и Александра Дмитриевича, что они живо решили разделаться с посторонними слушателями в Регентских классах и оставить классы только для мальчиков Капеллы. Увлекаясь теперь надобностью квартиры классов для самой Капеллы, они ошиблись в силу впечатления на всех от объявленного ими прекращения приема в Регентский класс. Они обязались тем *постепенно* ликвидировать дело, доучивая учеников еще четыре года, получая освобождение квартиры только тогда, когда кончат курс принятые в прошлом году. Они ошиблись затем еще дважды в следующем: объявление о прекращении приема вызвало бегство учеников вообще из Регентского класса; у них осталась только безнадежная, ленивая дрянь, не платящая денег и к тому же малочисленная в полном своем составе, не дающая возможности вести дело далее иначе, как только с крупным дефицитом. С другой стороны, в части обучения учеников собственно Капеллы, Соловьев не озаботился выпросить у Министерства денег на эти классы и потому дисканты и альты Капеллы, хотя и числятся учениками Регентского класса, но сидят без ученья, так как преподаватели уже в прошлом году не получили полного жалованья, а теперь денег уж и совсем нет... даже и 50 рублей.

Но я овладел собою и сказал Соловьеву: ученье ведь еще не началось, молебен назначен завтра, потом будут переэкзаменовки: отложим продолжение нашего совещания до завтра?

Соловьев согласился, и тем закончилось свидание 14 сентября.

В субботу, 15-го, мы сошлись в 4 часа дня, то есть после того когда в Регентском классе уже был отслужен молебен перед началом учения. Соловьев пригласил в наше совещание инспектора Капеллы Гроздова² и делопроизводи-

теля Федорова. Я уже успел обдумать все и потому начал свой ответ, радуясь двум свидетелям моего ответа. Оба они мои старые знакомые по Капелле, следовательно церемониться с Соловьевым было нечего, но надобно было поставить дело ребром, совсем прямо.

Я начал так:

1) Ваше заявление мне о правоспособности аттестатов Капеллы, как я справился еще раз в законах со всею точностью, совершенно несправедливо; следовательно, я подтверждаю сказанное мною вчера и добавляю еще: «временные свидетельства» Регентского училища, которые вы опорочили заблаговременно и несправедливо, будут временными только до той поры, пока минует канцелярская волокита в получении права выдачи Регентским Училищем тех же самых аттестатов, как и в Придворной капелле. Отказа быть не может, так как программы наши и Придворной капеллы совершенно одинаковы, так же как и весь план Регентского Училища сходен с планом Регентских классов.

2) Принять всех ваших учеников я согласен только при условии, что я сам, без посторонних лиц, проэкзаменую каждого ученика. Причиной этого условия я выставляю ваше заявление мне, что в последнее время ученье в Регентском классе совершенно расшаталось; да и сам я, принимая в последние дни к себе нескольких учеников из Регентского класса, убедился в глубоком упадке их познаний. Плохих учеников я не берусь подготовить к определенным срокам, выдавать аттестаты лицам малознающим я безусловно отказываюсь. Плохие ученики — чужие грехи мне не надобны.

3) Я безусловно отказываюсь взять к себе в товарищи всех преподавателей Регентского класса. Приглашу к себе только двоих-троих. Остальных, как ленивых, плохих, согласно вашему нежеланию взять их к себе в Капеллу, и я не могу взять по той же причине. Я не без удивления услышал о вашем согласии уплатить всем своим преподавателям за целый год занятий в моем Регентском Училище. Значит, вы получите плату за обучение всю сполна себе и оплатите ею учителей. Чем же я должен оплатить для ваших учеников: квартиру, отопление, освещение, прислугу, учебные пособия, инструменты, ноты и, наконец, свой труд?

4) Вы предлагаете мне ревизионную комиссию, вами назначаемую для экзаменов с ведома графа Александра Дмитриевича. Но неужели вы не знаете, почему я ушел из Капеллы? Неужели же что-либо в мире заставит теперь меня опять идти в опеку, да еще к вам и к графу А. Д.? Да и кто же, наконец, будет членами ревизионной комиссии, кроме лиц, бывших моими подчиненными еще так недавно? Кто же, будучи свободным, как я, согласится отдать свою свободу без всякой надобности поступиться ею? Наконец, к чему поведет самое назначение ревизионной комиссии, как не к утверждению, что порядки, доведшие Регентские классы до закрытия, требуются к восстановлению даже и в Регентском Училище?

5) Вы предлагаете мне, после годовой работы с бывшими учениками Капеллы, уступить вам выдачу им дипломов от имени Капеллы, за вашим подписом, с

устранением меня от моего дела. Чем вызывается надобность такого действия, называемого, попросту сказать, служебным подлогом? Я заявляю вам, Ваше Превосходительство, что я лучше закрою Регентское Училище, чем соглашусь отдаться в опеку и пойти на выдачу аттестатов моего труда другими лицами.

Согласитесь вместе с тем, что существует самый простой способ закрытия Регентских классов: неприбытие слушателей и невнесение ими платы за право учения. Вы делаете опрос учеников Регентского класса (а их у вас, как мне известно теперь, может быть не более 25-ти) и удостоверяетесь, что они могут охотно перейти ко мне. Невнесение ими в Капеллу платы за обучение сразу порывает ваши отношения и освобождает вас от надобности отвечать за какие бы ни было осложнения. Внесение ими платы в мое Регентское Училище сразу определяет их разрыв отношений с вами и устройство отношений ко мне. Что может быть легче и порядочнее такого опроса? Я предлагаю вам именно это средство.

Соловьев: Прекрасно. Напишите мне официальное о том письмо и прибавьте в конце, что ввиду скорого открытия Регентского Училища вы просите поспешить исполнением такого опроса учеников.

*

Требуемое письмо было послано на другой же день. Редакция его была составлена в самом нашем совещании 14-го, прочитана, обсуждена, поправлена по мыслям всех четверых присутствовавших.

Между тем в Регентском классе были сделаны переэкзаменовки и подошло 20 сентября. Преподаватели потребовали уплаты жалованья, Соловьев ответил им заявлением о *неимении пока денег* в Регентском классе. Тем временем некоторые ученики, не дожидаясь опроса, поступили ко мне и на приглашение явиться в Капеллу не ответили ничем... Неожиданно заварилась каша из-за полковых кантонистов, обучавшихся в Регентском классе уже по 2 и 3 года. Им надоело ходить теперь в Капеллу ежедневно, болтаться без занятий и слышать «приходите как-нибудь на днях». Они заявили начальству своих полков, что несмотря на обещания, на молебен, на сделанные переэкзаменовки, на наступивший октябрь, занятий все-таки еще нет, о начале их не слышать, а время уходит.

Как теперь вывернется Соловьев из этой бестолочи, сказать пока трудно. Как перейдут ученики ко мне — также сказать трудно. Во всяком случае предстоящая неделя должна выяснить решение дела. Но ежедневно увеличивается у нас число учеников и дело наше очевидно крепнет с самого же начала. Переход остальных учеников из Регентского класса утвердит нас в первый же год совсем хорошо, но путаница, затеянная неумелым и бестактным Соловьевым, успела затянуть и осложнить дело, введя в него недоумевающее военное начальство и раздраженно-сплотившихся преподавателей. К тому же уехал и Александр Дмитриевич, к тому же идет слух, что прослышал о беспорядке в Регентском классе Государь и что-то кому-то сказал, вспомнив, как Он

приказал два года назад: «Желаю, чтобы Регентский класс продолжал существовать в Капелле по-прежнему».

Подсчет сметы на литографское издание Афонского и Московского певческо-рукописного каталога подходит к концу. Выходит, с печатным кратким предисловием, с брошюровкой, с несколькими фототипическими примерами, около 200 рублей. Книга получается прямо огромная... Если случится перерасход — то не более 15—20 рублей, но учесть теперь все дело — выше нашей сообразительности.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5081, л. 276—281 об.

1. Лисицын Михаил Александрович (1872—1918) — протоиерей, настоятель церкви и законоучитель Пажеского корпуса в Петербурге, автор духовно-музыкальных сочинений, один из критиков и теоретиков Нового направления.

2. Гроздов Христофор Николаевич (1854—1919) — этнограф, педагог, инспектор музыки (1904—1912), а затем помощник начальника Придворной певческой капеллы.

Шереметев — Смоленскому

Москва, 6 октября 1907

Дорогой Степан Васильевич. Получил Ваше хорошее письмо и отвечаю из Первопрестольной. В субботу 13-го надеюсь выехать отсюда. Содержание письма и газетные известия утешительны совершившимся фактом открытия столь нужных регентских классов. Правда ли, что М[итрополит] Антоний, как пишет Нарышкина, готов поддержать? *Timeo Danaos...* [Бойтесь данайцев, дары приносящих].

Вернется ли Нарышкина и когда? Она без дела и подолгу таскается по чужим странам — а энергией ее можно бы воспользоваться и дома.

Мой брат со всем потрохом удрал за границу, и надолго¹.

Будьте здоровы и благополучны. Вспоминаю и во всем Вас понимаю.

Преданный сердечно С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 289. На открытке с видом церкви села Чуркино

1. Имеется в виду А. Д. Шереметев.

К этому письму приложено послание от А. Н. Нарышкиной из Парижа, датированное тем же 6 октября (нового стиля):

Неверный Степан! Я-то хлопочу о школе регентской, о Вас, а Вы хоть бы голос подали! Я думаю, что Вы уже лежите в могиле и ожидаете восстания из гробов. И что это будет за зрелище, когда мы предстанем на суд! Сердечно и гневно приветствую.

А. Нарышкина.

(Там же, л. 283)

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 7 октября 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Пишу Вам по совершенно неожиданному поводу, из области дел, ко мне совершенно не относящихся и, по странному стечению обстоятельств, направляемой именно к Вам и почему-то по почину с моей «легкой руки».

Дело это для меня вполне чуждо. Человек, обратившийся ко мне по этому делу, знаком мне только по очертанию его лица, так как, видая его в Успенском соборе, я познакомился с ним только шапочно. Несколько раз однако, после отлично пропетых обеден, я уступал просьбе его товарищей «доставить им удовольствие и выпить в трактире пару чая». Меня возбуждал к такому общению только, так сказать, интерес бытовой, этнографический; я изучал на этих людях характеры «заправских москвичей».

Человека этого я сегодня в первый раз увидал в своем доме и в первый раз узнал, что его зовут Иван Федорович Мусинов. Кто он, что он такое (кроме страстной его любви к церковному пению) — я и до сих пор решительно не знаю, хотя и узнал сегодня, с его слов, что он живет на Долгоруковской улице, Тихвинский переулок, в доме Менгден.

Этот господин поведал мне вот что.

Есть в Москве три сына бывшего миллионера Алексева: Петр Семенович — дельный и деловой, Владимир Семенович — игрок и мот, Иван Семенович — лошадиник-расточитель. Дела их внезапно пошатнулись так сильно, что состояние затрещало. Чтобы вывернуться из беды, управляющий делами своими и своих братьев Петр Семенович Алексеев задумал поскорее продать свой дом на Никольской улице, что между Богоявленским монастырем и Верхними торговыми рядами, против Заиконоспасского монастыря. В прошлом году этот дом, имеющий три яруса подвальных светлых этажей и три яруса (или 4 — не помню) надземных, задумали перестроить в виде улучшения его существующих уже удобств, и смета была составлена в сумме 850 000 рублей.

В нынешнем году этот дом экстренно продается.

Еврейская компания, фигурирующая под фирмою бельгийской, будто бы дает за этот дом (а под ним земли всего 1220 кв. сажен) 2 1/2 миллиона рублей, но владельцы и слышать не хотят о сделке с евреями.

Дом и земля заложены в Московском Земельном банке в 950 тысячах и кроме того на это же имущество есть вторая закладная у какого-то Михаила Александровича Александрова — в 400 тысяч. Цена земли этой теперь будто бы по 2000 рублей за сажень, следовательно, не кладя в цену продажи стоимость дома, считая «ничтожною» ее, продажная цена этого имущества может быть указана в 2 400 000 рублей. Платеж по покупке наличными может быть по усмотрению покупателя, остальная сумма из 6 процентов годовых рассчитывается по договору.

Петр Семенович Алексеев живет в Кудрине — Подновинская, в доме Кутлер.

Я спросил своего неожиданного собеседника: не он ли предварительно осведомлялся об мне по телефону из Москвы, чтобы узнать, в Петербурге ли я и когда меня можно видеть. Г-н Мусинов ответил, что это был именно он.

Я возразил г. Мусинову тем, что он отлично знает лишь о моих певческих занятиях и совершенно ошибается о моих склонностях к каким бы ни было «делам» и тем более к столь крупным, как 2 1/2 миллиона. Мне было отвечено: Алексеев Петр Семенович и я, Мусинов, его друг и товарищ с детства, отлично знаем, что вы не занимаетесь «делами» и что вы не капиталист. Но мы давно в восторге от Шереметевского подворья на углу Никольской и Черкасского переулка¹; С. Д. Шереметев есть кровный русский человек, богатый, знатный и главное — честный. У нас явилась мысль предложить именно ему сделать эту покупку, предложить частно через вас.

Но почему же, возразил я, вы путаете именно меня в это дело? Я совершенно не знаю таких дел, и мои отношения к графу Сергию Дмитриевичу касаются только русского искусства, даже и теснее — только древнерусского церковного пения... У графа есть по покупкам-продажам, по имениям и предприятиям свои люди, его доверенные, близко ему известные. При чем же я тут? Ведь и сами вы меня почти не знаете; я вас знаю так мало, что в начале разговора спросил о вашей фамилии, имени и отчестве; о г-не П. С. Алексееве я даже и не слыхивал, что он есть на белом свете. При чем тут я?

В том-то и дело, ответил мне г. Мусинов, что, по случайности, мы множество раз видали графа Сергия Дмитриевича, но не только не знакомы, но даже и не имеем общих знакомых, которые бы могли довести до его сведения о нашем предложении.

Предположим, сказал я, что я могу на минуту побыть в звание этого «общего знакомого». В чем же может быть моя услуга по указываемому вами случаю?

Я прошу вас за себя и за г. П. С. Алексеева точно записать с моих слов главные условия дела и наши адреса, сообщив их на благоусмотрение графа Сергия Дмитриевича. Если наше предложение придется ему по мысли, он сам вызовет кого-либо из нас, но лучше хозяина самого, то есть П. С. Алексеева, чем меня, доверенного. Ваш — только почин с легкой руки.

Я ответил, что сам не слышал еще ничего о своей «легкой руке»; что написать письмо, конечно, не долго, но что в то же время я не могу написать ни более, ни менее того, в чем меня обязывает самая простая честность, благовоспитанность и мое глубокое уважение к графу С. Д.; что я решительно не могу позволить себе даже и прозрачно намекнуть на что-либо к устройству дела, так как я вижу одного агента в деловой беседе только в первый раз, притом же и совершенно мне неизвестного в этом направлении, да, наконец, и вообще такие дела мне вполне чужды.

Мне возразили: вы сами увидите, как будет доволен граф, узнав о нашем предложении. Я ответил на это, что, если надумаю написать письмо к графу Сергию Дмитриевичу, то там будут непременно помещены: 1) просьба об извинении за бестактность, если письмо мое окажется неуместным, и 2) обещание впредь не только в этом деле вполне умыть руки, но и не вступаться ни во что подобное происходящему разговору. На это последовала просьба написать Вам скорее.

Разговор деловой на этом был мною прекращен и переведен на московское пение. Мы заговорили о Синодальном хоре, упадке его, как и об упадке Синодального училища. Мой гость уже оказался осведомленным и о новооткрытом Регентском Училище и прозрачно намекнул, что хорошо бы было иметь там одному-другому бедняку-ученику стипендию. Это-де устроить из Москвы очень легко.

Я ответил на такую лукавую речь так: назовем вещи своими именами: если, без всякого моего ведома, на имя Регентского Училища в Петербурге будет положен какой-либо бессрочный капитал, с тем чтобы из процентов банк выдавал, по рекомендации Совета Регентского училища, субсидии беднякам-ученикам, — я «ничто же вопреки глаголю». Но признаюсь Вам, что меня совершенно коробит эта вторая часть разговора после первой, только что бывшей. Ничего общего между этими двумя частями быть не может, и это мое требование вполне безусловно. Считаю этот разговор конченным, ибо собой я, конечно, не торгую.

На этом и действительно покончилась сегодняшняя совершенно странная для меня в обеих частях и неожиданная беседа. Сначала я, признаться, и не хотел писать Вам, потом же спросил себя: а отчего и не написать? Ведь мало ли какие бывают экстренности?

Если я сделал неладно — простите, хотя и подтвержу о бывшем нежелании быть бестактным. Если же, пожалуй, вдруг выйдет толк из этого «зондирования почвы» — в час добрый. Но и напередки в этом все-таки ставлю точку, самую безусловную к тому, что меня не касается.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

1. Шереметевское подворье, отдававшееся в наем, было построено в конце XIX — начале XX века на углу Никольской улицы и Большого Черкасского переулка.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 10 октября 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

В глубоком волнении пишу Вам после Вашей благодетельной для Регентского Училища депеши¹.

Ученики прибывают понемногу, и теперь уже их 24 по сегодня. Но, Боже! — что за ужасающая бедность, что за благороднейшее несчастье ради ученья, что за потрясающее недоедание и очевидная нужда при огневых глазах, страстно следящих за каждым словом учителя! Видал я в 60 моих лет всякую нужду, когда-то недоедал сам на положении бедного студента. Но представьте весь ужас моего положения теперь: приходит бедняк, едва одетый; он служит на Варшавском вокзале, с утра до вечера в работе, он вынужден даже службою пропустить 2 урока в неделю; он получает только 28 рублей в месяц, без квартиры... И он, стыдно и сказать Вам, — он платит мне за ученье по 12 руб. 50 коп. в месяц! Мне нельзя не брать — я сам плачу за него, — деньги этого страдальца рвут мое сердце, но что же мне делать? Мы и без того работаем в пять товарищей бесплатно, мы рискуем, мы ждем убытка, — но а Бог? Ужели же и наши бескорыстные честные песни духовные не дойдут через Него до добрых людей?

Бывают в жизни минуты великого одушевления и великой решимости, великого самозабвения во имя доброго, светлого. Всегда я благословлял эти минуты в своей жизни и давно — очень давно отрекся от выгод мирских. Тем радостнее воспринял я благословение моих бесконечно дорогих учителей Львова, Ильминского и Рачинского, утвердивших во мне самоотречение до решимости подвига. Тем святее те минуты, когда оправдывается подвиг еще в своем скромном начале и тем тверже будет тот подвиг далее.

В ответ на Ваши слова «предлагаю услуги для упрочения дорогого нам дела» может быть только немой, но глубокий поклон за Ваше отеческое, трогательное внимание — поклон земной и благодарная молитва всех нас и особенно тех, чьи слезы утрутся, чье сердце благородно и благодарно забьется от радости ученья.

Я чувствую, что не умею сказать и еще что-то надобное, так как не подберу того от волнения. Но я глубоко счастлив тем, что святое дело мое дорого и Вам, что я опять бодр, так как не защемит мое сердце вид голодного ученика, и еще энергичнее, заботливее поведу новое дело.

Наука, обещаю Вам то легко во имя моей любви к ней, не может потерпеть от Регентского Училища решительно никакого ущерба. А. В. Преображенский

молится науке не менее меня. Недаром же именно его я благословил дорогим преемством после себя в подарке кн. Владимира Федоровича Одоевского, Потулова и Разумовского². Преображенский человек вполне надежный. И он со мною в Регентском Училище.

Еще раз поклон до земли.

Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5081, л. 285—286

1. Телеграмма Шереметева, по-видимому, с сообщением о финансовой помощи Регентскому училищу, не сохранилась.

2. Речь идет о бронзовом подсвечнике, который в свое время В. Ф. Одоевский и Н. М. Потулов преподнесли о. Д. В. Разумовскому, начавшему читать лекции по истории русского церковного пения в Московской консерватории. В свою очередь, о. Димитрий завещал подсвечник Смоленскому, а тот в начале 1907 передал его Преображенскому.

Шереметев — Смоленскому

Москва, 28 октября 1907

Дорогой Степан Васильевич.

Как живете? На днях собираюсь в Петербург, а пока только расскажу Вам странный инцидент.

У нас на Воздвиженке кое-кто собирается по вечерам (между ними старик гуслар). Вот и вздумалось мне (узнав о близости жительства) пригласить г-на Гречанинова, о котором столько от Вас слышал... Нанес ему визит и просто пригласил на вечер. Ответа не последовало — но он приехал и очутился в нашем кружке и познакомился с моею женою и посидел с нами...

В разговоре весьма скоро выяснилось, какого поля эти люди, — и я с грустью понял, какое глубокое противоречие звучит в этом человеке и как его среда должна отразиться на его даровании.

Едва ли мы в подобной обстановке встретимся. Заговорил я о Вас — ожидал от него чего-то, — но... этого «чего-то» не было¹.

Und damit Punktum!

Сердечно преданный С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 282

1. А. Т. Гречанинов в эту пору (и позже) был настроен в политическом смысле чересчур «лево» для того, чтобы понравиться Шереметеву.

Смоленский счел почему-то нужным передать впечатление графа Александру Тихоновичу, и тот довольно злобно «огрызнулся»:

Было очень интересно узнать, что графчик сразу понял «какого поля я ягода». <...> Но откуда же он понял, что во мне звучит какое-то глубокое противоречие? И что это за пророчество, что противоречие это должно вредно отразиться на моем даровании? Психолог он довольно-таки наивный. Я понял из его строк и признаю это не без гордости, что ему стало очень досадно, что может быть единственно даровитый человек, которого они хотели бы считать своим (ох, эти мои духовные сочинения!), оказался не их поля ягодой. Бедные, бедные!

(РГИА, ф. 1119, № 132, л. 78—79)

Смоленский — Шереметеву

[Петербург], 13 ноября 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Лучшим из соискателей места псаломщика в Вашей церкви оказался Иван Андреевич Никольский, которого в лицо Вы, вероятно, хорошо помните. Он несколько лет пел баритоном в Вашем хоре, пел постоянно «Да исправится». Это молодой человек с отличным голосом, очень церковный, хорошо знающий устав, отличный певец и чтец — наконец, и «свой человек». Полагаю, что этот выбор будет безукоризнен и долготелен.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 92

Смоленский — Шереметеву

[Петербург], 20 ноября [1907]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Мне очень надо попросить Вашего опытного совета по совершенно экстренному делу, вполне неотложному. В Москве, в Синодальном Училище разыгрывается лютый скандал и меня умоляют оттуда вступить в дело хлопотами у Извольского и Роговича, — а я решительно не знаю, что мне делать.

Не откажите уделить мне $\frac{1}{4}$ часа для совета. Синодальное Училище — прямо гибнет!¹

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 93

1. Речь идет о назначении нового директора в Синодальное училище после кончины В. С. Орлова: им в итоге стал С. Н. Кругликов — весьма неожиданно для сотрудников училища, которые в большинстве своем выдвигали на этот пост А. Д. Кастальского. Об обстоятельствах назначения Кругликова см. в посвященном ему разделе I тома РДМ. В ноябре — начале декабря 1907 Кастальский неоднократно писал Смоленскому по этому вопросу, предлагая вовлечь в разрешение конфликтной ситуации С. Д. Шереметева. Судя по письмам Кастальского, Смоленский в тот же день, к которому относится настоящее письмо, встретился с Шереметевым, и тот писал в Св. Синод по поводу утверждения кандидатуры директора училища. Однако это вмешательство оказалось запоздавшим: 22 ноября Кругликов был назначен директором и на следующий день объявлен таковым на общем собрании в Синодальном Училище.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 8 декабря 1907

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Глубоко благодарю Вас за письмо и в свою очередь радуюсь тому, что скромные, душевные канты оказались способными произвести впечатления хорошие, даже и после «Сказания о граде Китеже»¹.

Ваше желание о повторении вчерашнего вечера перед большим числом слушателей, конечно, могу осуществить вполне легко, даже, пожалуй, и в лучшей программе.

Еще раз сердечно Вас благодарю.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

Г-ну Лясковскому я писал еще раз, но он отмалчивается упорно.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5081, л. 78

1. 7 декабря 1907 в заседании ОЛДП Смоленским было прочитано сообщение «О трехголосных кантах и псалмах по рукописям XVII и начала XVIII века» (лекция на ту же тему прошла в Москве 13 марта 1908 при участии Синодального хора). Сообщение сопровождалось хоровым исполнением 15-ти номеров кантов и псалмов, причем образцы были литографированы, и лектор предпосылал каждому номеру краткие объяснения.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 9 декабря 1907

Дорогой Степан Васильевич.

Почему бы нам не устроить своеобразные концерты (назовите как хотите) «для привлечения публики, на благо просвещения» — и за входную плату, которая бы пошла в пользу *Регентских классов*, Вами объявленных? Я бы предоставил нашу залу, — но следовало бы составить программу, которая бы привлекла любителей и ценителей, имела за собою ту мысль, которую Вы лучше других можете выразить.

Вспомните слова Пушкина («Пророк»): «Глаголом жги сердца людей!» — а теперь только этим и спасти можно нашу исстрадавшуюся Родину.

Ваш сердечно С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 290

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 2 января 1908

Многоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Возвращая письмо г. Гена (Гиннермана), считаю долгом сказать, что я его совершенно не знаю и, признаться, даже никогда и не слышал о нем. Журнал «Театр и искусство» мною не читается, и потому г. Ген как музыкальный писатель и критик также мне несколько не известен¹.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 94

1. К письму приложено письмо С. М. Гиннермана (Геннермана) от 30 декабря 1907 (л. 95—96), где тот просит субсидию в 200 рублей. Геннерман (псевдоним Ген) Савелий Маркович (ум. 1913) — музыкальный и театральный критик, рецензент указанного в письме журнала.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 3 марта [1908]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я возвратился из Москвы с только что данным обязательством прибыть 13-го для повторения лекции в Епархиальном Доме, где под покровительством

Владыки Анастасия можно ждать хорошую выручку в пользу бедняков Регентского Училища¹.

Очень хотелось бы повидаться с Вами, переговорить и вновь поблагодарить Вас за гостеприимство.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5084, л. 28

1. Смоленский уезжал в Москву для чтения лекции о «кантах и псалмах» в новой аудитории Политехнического музея и затем посетил Казань для переговоров, касающихся издания описания рукописей Соловецкой библиотеки (см. также в переписке с Волковой).

Анастасий (Александр Алексеевич Грибановский; 1873—1965) — тогда епископ Серпуховский, викарий Московской епархии и ректор Московской духовной семинарии; впоследствии митрополит Русской православной церкви за границей.

К тому же периоду относятся два интересных письма А. Н. Нарышкиной к Шереметеву.

Петербург, 13 февраля [1908]

Любезнейший граф.

Мне надо писать Государю, и я спрашиваю себя: не замолвить ли слово-другое о пользе регентской школы?! Как Ваше мнение о сем, мой милый граф? <...>

И вот засела у меня в уме мысль: захватить Вашу душу церковным песнопением! Ведь это краса небесная. Вы, стоящий во главе изображений художественных святых лик и руководитель восхвалений Господа Бога и сил небесных... Первое, когда задумываешь дело, избрать лицо авторитетное и поставить его во главе. Кроме Вас никого нет. Вы единственный на верхах, который способен работать. Школа под названием Школа Смоленского — это ничто для нашей публики, это не жизненно, а скорее знак неуспеха, несмотря на его знания, по свойствам его характера, который мы изменить не можем... Но можем ли мы, понимая все серьезное значение для бедной дорогой родины нашей такой школы, пройти мимо и обречь ее на гибель? Тот, кто понимает, этим самым и обязывается приложить к сему руки. Я этим мучаюсь и взываю к Вашей прекрасной душе: запоем хвалу Богу стройными звуками.

А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5083, л. 201—202 об.)

Петербург, 16 февраля [1908]

Дорогой граф.

Я очень огорчилась Вашим нежеланием возродить школу регентов. Не вижу *никого*, кроме Вас. Дел у Вас, может быть, чрезмерно много, но то, что я имею в виду, одно из полезнейших. Только бы начать...

Читала я Ваш отчет о Дворянском институте. И там Вы запряжены в строительную комиссию, и это хорошо. Но там столькие могут помогать, в восстановлении же школы, кроме Вас, никого нет способного. Мы с Вами, кажется, одни в своем круге людей, более или менее видных, понимаем ее значение. И какое чудное зрелище: Вы, направляющий иконопись и музыку! Положим, что Вы не можете много отдать времени на это святое дело, но стать во главе новообразующегося дела Вы можете вполне. Я Вам буду всячески помогать, буду усердно служить. Я тверда и настойчива и буду Вашему слову покорна. Поверьте, мой милый, мы с Вами довольно сильны, чтобы слабому начинанию Смоленского не дать заглухнуть... Положим, мы его бросим, обречем на гибель. Неужели наша совесть нам это не упрекнет? Упрек будет... Потому что тайный голос будет твердить, что мы могли бы быть ей опорой и не захотели. Если ее оставить в той скромной рамке, в которой она зачата, средств надо весьма немного. Если Вы дадите свою залу постом на лекцию, — это весьма существенная помощь. Билеты мы раздадим сами... Я берусь взять на то разрешение градоначальника. Не раз приходилось даже участвовать в подобных устройствах у двоюродной сестры мужа Надежды Борисовны Трубецкой, мы тысячи набирали. Были и лекции Ешевского, пели и мы с Васильчиковой, рожденной Орловой-Давыдовой... Если Вы, мой новый друг, которого сердечно чту, согласны на такой вечер, то это обеспечит, наверное, год существования ново рожденной школы. <...>

Если бы мы этого не понимали и не чувствовали бы, то и ответственности пред своею совестью мы бы не имели. Теперь же имеем. Смотрите на других сильных идиотов. Легкой рукой погубили школу столь полезную! Если разума, смысла не дано, то и ответа, может быть, не будет. Вкратце: согласны ли на предлагаемую лекцию у Вас Смоленского постом? Как ступить дальше, укажет Бог, обладатель человеческих сердец!

Сердечно уважающая Вас
Александра Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5083, л. 223—226 об.)

В письме упоминаются: Степан Васильевич Ешевский (1829—1865) — крупный историк, профессор Московского университета; Васильчикова (урожденная Орлова-Давыдова) Евгения Владимировна, княгиня (1841—1872), сестра основательницы одной из первых в России женских монашеских общин благотворительного типа Марии Владимировны Орловой-Давыдовой.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 3 марта 1908

Приветствую Ваш возврат! Мне нужно поговорить с Вами. Не хотите ли сегодня в 5 часов? С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 292

Смоленский — Шереметеву

[Петербург], 10 марта 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Решаюсь спросить Вас: показалась ли Вам удовлетворительно программа на 23 марта, доставленная вчера вечером?

Мне кажется, что удобно было бы напечатать ее на обратной стороне билета большого формата, так как таким приемом обрисовываются одновременно и внешние стороны постановки чтения, и внутреннее его содержание; билет — афиша¹.

Если найдется у Вас по содержанию сего свободная мне минутка, — был бы я рад переговорить по сему и условиться о дальнейшем.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 97. На бланке Регентского училища

1. Речь идет о повторении московской лекции в Фонтанном доме 23 марта (см. дальнейшие письма).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 12 марта 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Имею желание и надобность на краткое время видеть Вас перед отъездом в Москву сегодня, — потому прошу уделить мне минутку.

Хор к 23-му уже налажен, но слышно, что 23-го же имеет быть Инвалидный концерт¹.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 98

1. То есть ежегодный благотворительный концерт Придворной капеллы, который, впрочем, лекции Смоленского не помешал.

В подшивке имеются также: рукописная «Программа чтения, имеющего быть 23 марта 1908 г. в зале графа Шереметева», литографированные нотные образцы к этому чтению, краткая заметка о лекции в газете «Новое время» от 25 марта. Впечатления самого Смоленского от этого публичного чтения см. в его переписке с Волковой. Имеющиеся в деле письма А. Н. Нарышкиной рисуют атмосферу подготовки чтения.

Петербург, 12 марта 1908

Любезный граф. Прошу Вас мне прислать то, что вы найдете полезным напечатать в газетах о лекции. Насчет разрешения Градоначальника позаботьтесь тоже Вы! Я его не знаю. Смертельно боюсь, что зала будет пуста, что мы не успеем разыскать серьезных любителей.

Я-то всегда была страстная меломанка. Рада очень, что такой прекрасный предмет меня с Вами соединяет.

Сердечно почитающая Вас А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5084, л. 82—83)

Петербург, 16 марта [1908]

Дорогой граф. Я очень волнуюсь, потому что не могу ускорить печатанье афиш и билетов. И боюсь, Вы на меня будете гневаться. Воейков, который за это взялся, вполне серьезный человек и всегда готов на всякое полезное начинание. Но вот и он не сдержал обещание. Верно, у нас в крови не исполнять данное обещание. Поверите ли, мой милейший граф, каждую ночь во сне вижу Ваш зал: все расставляю с Вами стулья и обхожу публику, протягивая руку, и прошу прибавочки к 5-ти рублям.

Снится и Смоленский со своими смешными ухватками. Мысль о провале вечера мучительная. Все это моя окаянная впечатлительность. Завтра поеду к двум митрополитам и пр[еосвященному] Николаю, а Вы к митрополиту Флавиану.

Принесли все. Не придумая, в какие руки сдать. Уже три отказа получила. Если Вы находите, что афиши не элегантны, можно прибавить...

Сердечно преданная А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5084, л. 108—109 об.)

[Петербург, 17 марта 1907]

Я поручаю А. А. Пиленке написать un petit entre-filet [маленькую заметку]

по поводу концерта. Он спрашивает: где же достать билет? Вот я и не знаю, что ответить. Черкните словечко, милый граф. Завтра же будет в Новом времени. Только берет сомнения: кто же будет раздавать билеты? Pour les petits bourses — trop cher, [для тощих кошельков — слишком дорого], говорят. О Боже, всего-то осталось 5 дней. Еду сегодня к митрополиту Антонию. Ждет меня к 6-ти. Ответьте сегодня же, чтобы Пиленко успел вечером же написать. Он говорит: если о лекции объявляют, значит желают посетителей, и не знаешь — где брать билет! Сам он конечно взял, да еще в 5 рублей.

Сердечно приветствую. А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5084, л. 110—111 об.)

Петербург, 24 марта 1908

Сердечноуважаемый граф.

Как Вы здравствуете? Я всю ночь кашляла, чихала и в плачевном состоянии. Огорчаюсь, что не могу ехать ко всеночной.

Удалось ли вчера, хорошо себе не уясняю. Смоленский не довольно внятно читает. Думается, что у него недостает зубов. В таком случае надо ему внушить накрепко дополнить недостающие.

Прилагаю 300 рублей. За свой билет вношу сто. Многие не заплатили. Прилагаю и книжечки, остальные у Вашего швейцара на церковном подъезде. Грущу, что вы не будете более меня посещать! Я бы очень желала прочесть Вашу статью о Дмитрие Царевиче, о коей мне говорил покойный Бестужев. Он у нас жил 8 лет и был моим учителем русского языка. Преподаватель был плохой, но отменно хороший человек.

Сердечно уважающая Вас А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5084, л. 145—146 об.)

В письме к С. С. Волковой от 24 марта Смоленский рассказывал:

Устройство этого чтения взяли на себя он [Шереметев] и Александра Николаевна Нарышкина. Они освободили меня от всяких хлопот и предварительных расходов, предоставив мне лишь подготовку хора и чтение самой лекции. Вчера вечером это чтение состоялось при значительном числе публики, притом же и самой отборной, приведшей меня сначала в большое смущение. Здесь были три Митрополита, два Архиепископа, Обер-прокурор Извольский, немалое число деятелей из Государственного Совета, а главное — много, очень много дам. А я-то перед ними — со своими кантами!.. Но скоро мое смущение миновало, и лекция прошла вся совершенно благополучно, даже в такой степени, что последовало приглашение прочитать еще либо в виде повтора, либо на другой

сюжет по моему выбору (см. это письмо во второй книге тома).

«Три митрополита» — Антоний (Вадковский), Флавиан (Городецкий), Владимир (Богоявленский), в Дневнике 8 упомянуты также архиепископы Тверской Николай (Зиоров), Томский Макарий (Невский).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 19 апреля 1908

Высокоуважаемый Граф Сергей Дмитриевич!

Вот письмо от С. И. Орбелиани. Но я не знаю, что читать и, вообще, можно ли найти что-либо между строк этого письма¹.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 99

1. К письму было приложено послание С. И. Орбелиани от 19 апреля, впоследствии возвращенное Шереметевым Смоленскому и сохранившееся в подшивке писем Шереметева в РНБ (л. 291).

Многоуважаемый Степан Васильевич,

спешу вас от души поблагодарить за присылку мне нот и интересной брошюры о колокольном звоне.

Считаю долгом только сказать, что об стихирах изволили вспомнить Сами Государь и Императрица, и по желанию Их Величеств именно этот напев был исполнен. Так что я тут была лишь передаточной инстанцией — передавая Богданову выраженное Царицей желание. Тем не менее, более чем рада иметь эти ноты и брошюру.

С. Орбелиани.

Софья Ивановна Орбелиани (ум. 1915; из грузинской княжеской семьи) была любимой фрейлиной императрицы Александры Федоровны, ее ближайшим доверенным лицом. Очевидно, по каким-то придворным каналам Смоленскому было сообщено об интересе, проявленном государем и государыней к его Пасхальным стихирам, и он счел нужным послать С. И. Орбелиани — для передачи выше — издание стихир и свою статью «О колокольном звоне в России». Говоря о «чтении между строк», Смоленский возвращается — без большой надежды, однако — к старому проекту «поручения от государя».

Богданов — Палладий Андреевич Богданов (1881—1971), учитель пения в Придворной капелле (1906—1913).

Смоленский — Шереметеву

[Петербург], 19 мая 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня я виделся с П. П. Извольским¹ и беседовал с ним подробно, вероятно около получаса или немного более. В результате условленного содержания мое к нему письмо будет доставлено сегодня же. По этому письму П. П., уже столковавшийся вчера с Митрополитом Антонием, сделает предложение Синоду. И в результате, вероятно, теперь же — денежное пособие Регентскому Училищу в размере возможном теперь (так как теперь это сверхсметное ассигнование) и увеличенное-постоянное в будущем, как имеющее пройти по Синодской смете через Государственную Думу.

П. П. был чрезвычайно внимателен, и выражения его были крайне лестны, крайне сочувственны и обнадеживающи.

Всем этим сущим счастьем Регентского Училища, сущим ободрением меня и моих сотрудников мы обязаны Вам и дорогой Александре Николаевне. Я уже был у нее сегодня и благодарил ее. К Вам — не имею достаточных слов, чтобы выразить меру моей и моих товарищей безграничной признательности. Мне легко впрочем уверить Вас, что, окрыленные теперь прочною надеждою на успех дела, даже и на скорое его преуспевание, мы со всюю энергиею примемся работать радостно и любовно, твердо веруя в близкое оправдание сделанного нам внимания и доверия. Сегодня очень волнуясь. Не могу писать еще за великим недосугом. Копию с письма к П. П. вышлю сейчас же по изготовлении. Кланяюсь графине.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 100—100 об.

1. Петр Петрович Извольский, новый обер-прокурор Синода, был, по общему признанию, человеком совершенно случайным на этом месте, однако для Регентского училища он сделал все, что смог.

К этому письму в подшивке писем Шереметева (РНБ) приложено письмо А. Н. Нарышкиной от 11 мая:

Дорогой сынок Степан.

Нашла утерянную записку обер-прокурора Синода Извольского. Прибавлю, что он отменно хороший человек. Вы увидите, что он готов Вас принять и выслушать. На всякий случай прилагаю карточку как входной билет. И все это, если Вы, друг, захотите это проделать... На Антония и Комп[анию] положить надо крест. Я бы только желала знать сущность Вашей ему записки... Чтобы не

было розни с той — поданной митрополиту. И сказать не могу, как жалею, что Вы переезжаете.

Сердечно любящая Вас А. Нарышкина.

(РНБ, ф. 855, № 30, л. 294—295)

Под «Антонием» при первом упоминании имеется в виду, вероятно, не митрополит Петербургский, а архиепископ Волынский и Житомирский Антоний (Храповицкий), которого, судя по Дневнику, Смоленский тоже пытался вовлечь в дело помощи Регентскому училищу; упомянутый же далее митрополит — есть митрополит Петербургский Антоний.

В свое письмо А. Н. Нарышкина вложила фрагмент из письма к ней П. П. Извольского от 2 мая 1908 (л. 293):

Глубокоуважаемая Александра Николаевна.

Очень прошу извинить, что запоздал ответом на Ваше письмо. Я наводил справки, не поступало ли ходатайства от г. Смоленского о пособии на учрежденную им школу регентов. Оказывается, что у нас никаких данных по этому делу нет. Во всяком случае я с удовольствием переговорю с г. Смоленским, если он выскажет мне свои желания и сообщит сведения об организованном им деле...

Тут же находится и визитная карточка Нарышкиной с надписью: «Покорно прошу принять моего друга Смоленского» (л. 296). См. также письмо к Волковой от 8 июня 1908 во второй книге.

В подборке писем в РГАДА находится машинописная копия обращения к Извольскому, которое Смоленский заготовил, вероятно, для того, чтобы передать при личной встрече (оно датировано тем же 19 мая 1908, что и комментируемое письмо Смоленского к Шереметеву):

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь Петр Петрович.

Снисходительное внимание Ваше к Регентскому Училищу, открытому с благословения Св. Синода 1 октября минувшего 1907 года, дает мне смелость доложить Вашему Высокопревосходительству нижеследующее:

<...> В сотрудничестве этих лиц были открыты первые два класса Регентского Училища при 36 учащихся: класс элементарной теории и 1 курс гармонии, при отдельных частных занятиях, для малого числа учеников, во 2 курсе гармонии и в классе контрапункта. В общем, кроме отдельных занятий по фортепиано и скрипке, в Регентском Училище в минувшем учебном году было в неделю по 20 предметных уроков. В предстоящем году число это должно увеличиться до 32 во всех будущих 3 классах, имеющих начать занятия с 1 сентября сего года. <...>

Но, служа идейно, одушевленно, Регентское Училище уже успело утвердиться духовно, уверовать в свои силы, в свою надобность и несомненную полезность русскому искусству. <...>

Глубоко тронутый вниманием Вашего Высокопревосходительства к Регентскому Училищу, могу уверить Вас за себя и за моих сотрудников в том, что нам, как работникам опытным и любящим дело, будет легко оправдать оказанное внимание и доверие.

(РГАДА, ф. 2087, оп. 1, № 585, л. 241—242)

Шереметев — Смоленскому

[Кусково], 8 июня 1908

[Открытка с видом Кусково с адресом, но без текста¹]

РНБ, ф. 855, № 30, л. 296

1. Записка, видимо, приложенная к открытке, не сохранилась. Далее в деле подшито письмо А. Н. Нарышкиной от 28 июня (л. 298):

Даже противно мне писать Ваш адрес, дорогой Степан! Но всему необходимому надо покоряться! Если Бог даст — то выезжаю в Петербург 9 июля и 11-го вечером буду Вас ожидать. Сердечный привет.

А. Нарышкина.

Речь идет о переезде Смоленского из Фонтанного дома Шереметева в квартиру на Рождественской улице (подробнее см. в письмах к Волковой).

Несколько ранее, 16 мая 1908, Нарышкина писала Шереметеву на эту тему, и ее письмо позволяет предположить, каковы могли быть реальные причины переселения Смоленского (официально считалось, что помещение, им занимаемое, необходимо для переезжавшей на Фонтанку большой семьи старшего сына Шереметева, Дмитрия Сергеевича).

Дорогой, милейший граф.

Смоленский в отчаянии, что переезжает из Вашего дома. Это одно; во-вторых, объяснил, что, верно, очень неумело выражается, коли Вы поняли, что ему хочется поместить школу регентов у вас. Открыл глаза необыкновенно, и рот во всю ширь, что довольно некрасиво, когда я его упрекнула, что он делает такое предложение неловкое.

Он мечтает о квартире с Чичериными... Но теперь это кончено. Я допросами дошла до того, что дозналась, что он, бедняга, занимает, потому что ему не

хватает на жизнь! Занимает у мужа сестры жены. Я пришла в некоторое движение духа! Да как же занимать, не имея чем платить, сказала я ему! А как я приведу в блестящее состояние школу, то долги и уплачу! Младенец! таких есть Царство Небесное. После смерти Рачинского он мне написал: «Молю вас быть моей духовной матерью...» Вот я с ним и мучаюсь и крепко браню. Вы, дорогой, делите это тяжкое бремя. Очень немногие понимают значение Смоленского. Может быть, Бог за его чистоту, за его бескорыстный труд благословит его дело, которое имеет великое значение. Сонм диких архиереев не поймет смысл образования музыкального в семинариях. Мы понимаем и должны расчищать путь.

Сердечно преданная А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5085, л. 90—91 об.)

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 11 июня 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я получил Вашу записку из Кускова вскоре после того, как мое письмо к Вам было отправлено. Справка у обер-прокурора сообщила, что П. П. Извольский возвратится в Петербург либо 14 вечером, либо 15 июня утром, то есть как раз к Вашему приезду.

Сегодня я получил Вашу депешу. Спешу благодарить Вас за сочувствие основной мысли моего последнего письма. Теперь пишу эти строки с далеко не веселой душой, так как только что вернулся с похорон дорогого сердцу Николая Андреевича Римского-Корсакова¹. Я никогда не был восторженным поклонником покойного, но вместе всегда был его искренним почитателем. Композиторы, особенно же гениальные — большая редкость, но покойный, будучи всегда плохим мелодистом, выработал у себя поистине изумительное мастерство в оркестровке; кроме того Н. А. был превосходный учитель, оставивший надолго для музыкальной выучки два отличных учебника — гармонии и инструментовки; наконец, общее наклонение композиций покойного всего более склонялось в сторону русских сказочно-бытовых сюжетов, в постоянное использование богатств русской песни и в самое трогательное и поучительное мастерство, какое получалось из родных напевов в разработках такого большого художника, как Н. А.

Вот почему и вчера, и сегодня я прощался с покойным и горячо помолился за душу его. Ведь много лет назад он и Вам был близок по умиротворявшему в Капелле характеру его, особенно по части такого тяжкодума, как М. А. Балакирев. Последний почему-то так и не был у гроба покойного своего ученика; что могло бы это значить — всех интригует, тем более что из всех соседних городов, в том числе и из Москвы, депутации были.

Но довольно об ушедших от нас в лучший из миров. Сердечно рад буду увидеть Вас 15—16-го, так как я все еще не решил о моей побывке на регентском съезде в Москве 17-го; все еще приглядываюсь и соображаю, чтобы не попасть куда не следует, а зовут меня очень усиленно: билет прислали раз, мало показалось — второй билет прислали, пишут письма каждый день и расписывают предстоящие собрания самыми радужными цветами. А я и боюсь-то именно этих радуг и горького после них беспогодья.

Новая квартира начинает приходить понемногу в вид человеческого жилья, и, вероятно, этими днями опять примусь за Публичную Библиотеку, где моя работа подходит к концу.

Пора кончать письмо, так как скоро поезд, да и скоро, надеюсь, увижу Вас.
 Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5085, л. 247—247 об.

1. Н. А. Римский-Корсаков скончался в своем имени Любенск 8 июня 1908 (старого стиля), был похоронен в Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря, впоследствии могила перенесена на кладбище Александро-Невской лавры.

Следующий далее странный отзыв Смоленского о Римском-Корсакове как «плохом мелодисте» трудно объясним. Удивительным образом Смоленский повторяет здесь старые упреки в адрес Новой русской школы, в частности, московских критиков «про-чайковской» ориентации.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 4 июля 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Примите и мои с женою приветствия к 5-му Вам и доброй графине и всем домочадцам и всем гостям Вашим. Воображаю число их в этот семейный праздник, воображаю и общее благодушие в Михайловском в этот день! Будьте здоровы и благодушны, спокойны и веселы!

Пишу Вам, возвратясь из Ярославля только вчера. И здесь оказалась преинтересная находка в древлехранилище. Уже первый осмотр найденной рукописи (сборник танцев, песен, домашних «штук» для клавикорд, времени Елизаветы Петровны) обрисовал мне описание довольно живое, не уступающее, пожалуй, и «Колокольному звону». Рукопись эта так увлекла меня (особенно тем, что в ней оказались даже вроде бы и композиции известного Сумарокова), что я буду просить о выписке ее в Петербург через Общество. В Ярославле уже уверили меня, что рукопись выслана будет. Для доклада Обществу я, пожалуй, достану и фортепьяно — редкость, кажется, 1773 года¹.

Полагаю, что исполнение современных этому инструменту песен и танцев будет иметь значительный интерес.

Вместе с сим пересылаю Вам, по поручению авторши, г-жи Кацауровой, ее брошюру об Анне благоверной, княгине Кашинской². Мне, как близкому роду Кашину по своей родне, давно знаком трактуемый предмет, и я давно, признаюсь, удивлялся упорству наших духовных властей в отказе канонизации Анны благоверной, весьма усердно чтимой местно. Но отсюда, конечно, очень далеко до «предупреждения смуты» дамскою брошюрою, хотя в общем г-жа Кацаурова пишет довольно серьезно.

С Иваном Николаевичем Кацауровым я случайно поехал на одном пароходе из Ярославля до «Толги». Это было нашею прощальною беседою. Не скрою от Вас, что в присутствии третьих лиц доктор Кацауров понравился мне гораздо менее прежнего; скажу даже и так, что его односторонность и пристрастие к своему катехизису показались мне продолжением и повторением давно выученных им речей, в сущности нисколько не мужественных, притом же и мало соответственных тому, что я сам, из его же уст, слышал в его доме. Скажу от себя так: как бы ни окрашивали теперь нашу деятельность по части неумелого просвещения, все же — «ученье — свет, а неученье — тьма»! Резкости доктора Кацаурова, как человека прошедшего все-таки русскую школу, показались мне, по адресу той же школы, несостоятельными и, главное, ничего не строящими для лучшего будущего. Кто же посмеет считать химию только «наукою для приготовления бомб»? Такие грубые преувеличения, и особенно в устах доктора, равны отсутствию истинного патриотизма и своеобразной наличности этой лирики в присутствии третьих лиц.

Но это мимолетное облачко не могло у меня затуманить восхищения от ярославских церквей. Вы знаете, конечно, известное описание Вахрамеева церкви Ильи Пророка³. Последние мои часы в Ярославле были посвящены повторению впечатлений от фресок и икон этой прелестной церкви. И как все здесь мирно, любовно, умно, богато творчеством и поразительно своеобразной техникой! Особенно поразила меня иконописная трактовка «Песни песней» Соломона (которую, признаться, я много раз читал только с начала). И вот русский живописец, убивший, конечно, много времени на достижение мастерства в иконописи, оказывается не только читавшим и прочувствовавшим поэзию «Песни песней», но и сильным в творчестве ее символической передачи! Что бы ни говорили о нашей неумелости в перспективе, — самая группировка разнообразных сюжетов, их соотношений в огромных по стенам сочетаниях невольно взывает к стремлению учиться, читать, творить для будущего, прощать и извинять слабости настоящего, удивляться силе родного вдохновения и стремиться внести хоть каплю и своего восторга для будущего. И в то же время, что это за загадка наше старое искусство! Меня поражает в нем умышленное пренебрежение нашими художниками самых очевидных достоинств западной живописи ради бурной смелости в своем, русском рисунке, всегда, однако, тонком и

высоко дисциплинированном, выпisanном чрезвычайно тщательно в мелочах. Не останавливают здесь художника ни «реки на лесах», ни «горы на реках», ни разницы в росте фигур, стоящих на первом плане, ни «речи из уст», выписанные на иконах, вне всякого реализма, длинными белыми полосами. Но вся композиция — только один сплошной повод восторженному удивлению.

Возвращаюсь еще раз к поздравлению и к добрым пожеланиям Вам и Вашим всякой радости и доброго здоровья.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5086, л. 50—51. На бланке Регентского училища

1. Клавесин принадлежал Н. Ф. Финдейзену; см. дальнейшие письма.

2. К письму приложена брошюра «Св. Благоверная и Преподобная княгиня Анна Кашинская (Церковно-историческая справка, в предупреждение новой смуты в церкви)». Ярославль, 1908. Брошюра подписана инициалами В. П. К., то есть В. П. Кацаурова.

Обстоятельства канонизации княгини Анны Кашинской довольно сложны. Чудеса при ее гробе начались в 1611, во время осады Кашина литовскими войсками. На Соборе 1649 года было постановлено открыть ее мощи для всеобщего почитания и причислить благоверную княгиню Анну к лику святых Русской Церкви. Но в 1677 патриарх Иоаким поставил вопрос на Московском Соборе об упразднении ее почитания в связи с обострением старообрядческого раскола, использовавшего, как полагал патриарх, имя Анны Кашинской в своих целях. В 1909 году произошло вторичное прославление святой и установлено повсеместное празднование ей.

3. Имеется в виду книга «Церковь во имя Святого и Славного Пророка Божия Или в г. Ярославле» (М., 1906).

Иван Александрович Вахрамеев (1843—1908) был ярославским купцом, меценатом и краеведом, членом ряда научных обществ. Состоя ярославским городским головой (1881—1887 и 1897—1905), он занимался реставрацией храмов города и собиранием рукописей, коллекция которых, согласно его завещанию, была передана Московскому Историческому музею.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 15 июля 1908

Буду дома весь вечер с 9 часов. Сердечное спасибо за дорогое письмо Ваше и изволившему написать¹.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 302. На визитке Шереметева

1. К визитке приложена копия письма С. Д. Шереметева к П. П. Извольскому от того же 15 июля с напоминанием о субсидии Регентскому училищу (л. 303):

М. П. П. [Милостивый государь Петр Петрович.]

Извините за беспокойство, но долгом почитаю сообщить Вам, что Смоленский (теперь пересехавший из моего дома в 8-ю Рождественскую, № 25) пребывает в надежде получить от Вас письменное уведомление об обещанной поддержке.

Примите и проч.

Г. С. Ш.

Шереметев — Смоленскому

[Михайловское], 18 июля 1908

Дорогой Степан Васильевич. Спасибо Вам большое за Ваши строки и за память! Как жаль Славянского; читал об нем некрологи¹, будет ли кто продолжать его дело? Говорят, у него большое собрание писем.

С Извольским виделся в Киеве и говорил о Вас. Все будет оформлено осенью, сомневаться нельзя, но характерно — эта вялость!² Скоро увидимся, надеюсь, в Петербурге.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 299

1. Дмитрий Александрович Агреньев-Славянский скончался 23/10 июля 1908 во время гастролей в Болгарии.

2. Очевидно, Шереметев встречался с Извольским на миссионерском съезде в Кисе (см. далее комментарии к письму А. Н. Нарышкиной).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 18 августа 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Давно нет известий из Михайловского, и жутко у меня на душе. К тому же и погода стоит самая плохая, не теплая, хандру наводящая. Работы идут пока домашние, что по погоде кстати, да совпадает к тому же и с надобностью сидеть дома из-за постоянно приходящих за справками о хоре и Регентском Училище. Судя по числу этих приходящих, дело мое должно пойти

лучше прошлогоднего, — приходит однако же все такая же беднота, у которой первый же разговор о плате в рассрочку за обучение или об обучении совсем бесплатном. Таким образом дело, с одной стороны, очевидно, улучшается, а с другой — ширясь, остается той же беднотой.

Но меня крепко бодрит все-таки надежда на П. П. Извольского, с помощью которого будут утешены ищущие ученья бедняки, да не останутся бесплатными и труженики-учителя, в том числе и я сам, столь «прозябающий» на 8-й Рождественской.

Запись в хор уже теперь подошла к сотне любителей церковного пения¹. Эта сотня (а я беседовал с каждым отдельно) полна самого неудержимого желания учиться, насладиться участием в хоре и непременно петь в церквях. На меня производит большое впечатление, что я давно не додумался до устройства такого класса, полезного решительно во всех отношениях. Люди хотят учиться, люди хотят петь хором, люди хотят участвовать в украшении Божьей службы — и между тем никому и в голову не пришло (в том числе и мне) устроить общедоступный хоровой класс с специально церковною целью.

Да даже, если бы и расширить такой класс в сторону светского пения, — то что иное, кроме пользы научной и художественно-воспитательной, мог бы дать такой класс? Возьмите даже тот круг, который называется у нас «высшим обществом». Что могло бы быть полезнее, например, для их детей, если бы вместе с молодежью своего круга составилась бы хор человек в 100—150? Сколько бы полезнейших впечатлений получилось при участии в таком хоре, сколько бы музыкальных познаний было приобретено с раннего детства и подрастающею молодежью? А между тем как прост, как общедоступен такой класс, — но его решительно нет в программе нашего обучения и воспитания! И это у нас — принадлежащих к самому певучему народу, к создавшему самые дивные мирские и церковные мелодии! Поистине изумительны у нас тысячи людей, любящих музыку, но никогда не учившихся ей, никогда лично не приобщившихся ею в таком простом и общедоступном занятии, как хоровое пение. А между тем посмотрите вокруг себя, на Ваших знакомых: с каким вниманием, даже более, с каким умилением, с какою любовью они слушают хорошее пение и хорошую музыку! Но во сколько же раз это удовольствие и самовоспитание увеличатся, если люди сами учатся и участвуют в исполнении?

Невольно припоминаю те Sängerkunstfeste [певческие праздники], на которых мне случилось бывать в Германии и Австрии, — что за прелесть и что за грандиозность при исполнении в любительском хоре в 2—3 тысячи голосов. Вспоминаю и Ваши слова: «все складывается из мелочей» — вот уж сущая правда. Каждый, в смысле музыкальной компетенции — нечто совсем заурядное; все вместе — воспроизводят своим общением нечто совершенно поразительное. А занятий — всего 2 часа в неделю, а то так и 1 час. Вспоминаются мне оратории о Перози в Вене². В любительском хоре его концертов было по крайней мере 1 1/2 тысячи певцов из самых сливок Вены; тут же была и масса военных,

монахинь, патеров, певших оратории всего только после 1-й репетиции предварительной и другой — генеральной. Это ли не культура в городе Гайдна, Моцарта, Шуберта и Бетховена?

И как жалки у нас обедни 11 мая в день Кирилла и Мефодия, когда ребята школьные хоры оказываются годными пропеть в Казанском соборе только «Господи помилуй», «Достойно есть» и «Отче наш»! Какие деньги бросаем мы на пение в школах и что получаем?

Все эти мысли закопошились у меня при ежедневных записях в общедоступный и бесплатный хоровой класс при Регентском Училище. Удастся ли мне осуществить начало этого дела в общепольном и воспитательно-художественном направлении — сказать пока не решаюсь, но народ подбирается, по-видимому, толковый и работающий, а помощники у меня — знающие и усердные.

Графине и Вам от жены и меня — поклон, привет и добрые пожелания.
Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

От П. П. Извольского — пока нет ничего.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5086, л. 204—205 об.

1. О хоре Регентского училища см. подробнее в письмах к Волковой.

2. Лоренцо Перози (1872—1956) — аббат, итальянский композитор, руководитель Сикстинской капеллы в 1898—1915. Смоленский слышал сочинения Перози во время своих зарубежных поездок, в частности, с Синодальным хором в 1899 (см. подробнее в I томе РДМ).

Шереметев — Смоленскому

[Михайловское,] 25 августа 1908

Дорогой Степан Васильевич.

Не сетуйте на меня за долгое молчание; время летит, а жизнь требовательна; много разъезжаю и мысль озабочена всяческими делами, всяческими «диссонансами»...

Относительно существенного вопроса об Извольском. Вы, вероятно, забыли, что я Вам говорил, с его же слов, по возвращении из Киева. Обещанная сумма «несомненно» прибудет, но по каким-то обстоятельствам (неясно им выраженным) состояться может лишь в ноябре. Чужая недремлющая интрига (сумевшая прибавить еще тысячу рублей к получаемым Архангельским¹), я сочту непременно долгим в конце сентября, проездом через Петербург, напомнить о себе обер-прокурору, а потому потерпите лишь до ноября.

Давно хотел спросить Вас, знакомы ли Вы с Петром Дмитриевичем Самариним?² Если же нет, то следовало бы. Он исключительно занят церковным пением и вопросами с оным связанными, изучая вместе с тем и крюковые ноты, которыми обложен. Таких людей следует держать в курсе благих начинаний, на пользу церковно-певческого дела, и тем более, когда во главе этих начинаний — стоит Смоленский!

Нас залили дожди, но сегодня солнце, надолго ли? Будьте здоровы и благополучны.

Сердечно преданный С. Шереметев.

Жена Вам с супругой кланяется — я также.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 304

1. Имются в виду знаменитый регент Александр Андреевич Архангельский и созданная им хоровая капелла.

2. Самарин Петр Дмитриевич (1861—1916) — историк, исследователь русского церковного пения; член Общества любителей церковного пения и Наблюдательного совета при Синодальном Училище (1902—1904); племянник Ю. Ф. Самарина и брат будущего обер-прокурора Св. Синода А. Д. Самарина. См. о нем подробнее в специальном разделе III тома РДМ. Смоленский вполне мог быть знаком с Самариним, но прямых свидетельств этого не имеется.

Далее в деле находится письмо А. Н. Нарышкиной к Смоленскому из Франции от 27 сентября 1908 (л. 306—307):

Дорогой мой Степан Васильевич=Сверчок! Очень я восхищена Вашим превосходным письмом, которое было бы полезно напечатать, выкинув все относящееся к высшим чинам без музыкальных способностей... Вы один из фаланги передовых людей, удел которых не видеть плода своего упорного труда и быть немногими понятим. Мой старший брат Борис, один из замечательнейших русских людей — просто был выгнан из московских голов, как вор, в 24 часа, по клевете мерзавцев! Но, мой друг, если Бог допускает глупцам, невеждам вроде Александра Шереметева творить зло, надо этому покоряться. Они кару понесут в свое время. Долготерпелив Господь! А Вы не преминете получить и свою награду. Ни единая слеза не пропадет пред Господом!..

Пишите чаще. 8 сентября перееду в Биарриц: Biarritz, Port Vieux, Maison Frois. Объясните мне, почему придают столько значения Киевскому миссионерскому съезду. Я что-то не понимаю и не вижу от него зла! Мало ли что болтают на съездах! Наш Шереметев по обычаю нем. И мне давно не ответил на письмо, писанное из деревни в июле. Мне очень хорошо в чудной природе. И дух спокоен. И не хочу думать о недобром, а благодарю моего Создателя ежесдневно, который осыпал меня милостями!

Здоровье лучше; хожу, не задыхаюсь. И есть друзья умные. Природа для меня высокое наслаждение, и благо великое отсутствие пустых разговоров. Софья поселилась в имении мужа-бобра. Пишет епископ Андрей — прелюдно, горячая душа. Что же делать, коли у нас нет способности миссионерской, подобной татарам, и административных способностей тоже не имеется. Храни Вас Бог.

А. Нарышкина.

Упомянутый в письме старший брат Нарышкиной Борис Николаевич Чичерин (1828—1904) — крупный историк, публицист, профессор Московского университета — в 1881 был избран московским городским головой, однако пробыл на этом посту недолго. Его речь на обеде городских голов во время коронационных торжеств Александра III в мае 1883, содержащая призыв к единению всех земских сил России и к усилению местного самоуправления, вызвала недовольство императора и особенно министра внутренних дел Д. А. Толстого, которые увидели в ней пропаганду конституции. Чичерин тут же подал в отставку.

Киевский миссионерский съезд стал крупным событием потому, что на него прибыло множество церковных деятелей со всех концов России и на нем ожидалась (и отчасти состоялась) большая дискуссия по поводу жизни церкви в условиях, созданных новым законом о свободе вероисповедания. Как пишет митрополит Евлогий, съезд не имел больших практических последствий в деле православного миссионерства.

Но тем не менее, — продолжает владыка, — я считаю, что он имел важное значение в жизни нашей Церкви уже благодаря тому, что дал возможность разрозненным церковным людям собраться вместе, совместно обсудить наиболее насущные церковные нужды, поделиться и ощутить свое единство — некий дух соборности (Цит. изд. С. 188).

Далее следует каламбур Нарышкиной в адрес ее родственницы Софьи Чичериной, которая вышла замуж за Н. А. Бобровникова («мужа-бобра»).

Епископа Мамадышского Андрея (князь Александр Алексеевич Ухтомский; 1872—1937) Нарышкина могла знать по «инородческому делу», так как с 1899 он был наблюдателем миссионерских курсов при Казанской духовной академии, а потом членом совета Братства св. Гурия Казанского. После 1917 епископ Андрей явился одним из основателей катакомбного движения истинно православных христиан; был репрессирован и расстрелян; канонизирован Русской Православной Церковью за границей.

Смоленский был знаком с епископом Андреем и высоко ценил его.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 12 сентября 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Сегодня я получил от директора канцелярии обер-прокурора Св. Синода Д. Н. Соловьева извещение, что «определение Синода о субсидии Регентскому училищу по 1000 рублей на три года состоялось»,

Мой первый сердечный порыв, полный признательности и радости, — к Вам, в Вашу сторону и в сторону доброй Александры Николаевны. Поэтому сегодня же пишу и ей эти радостные строки, полные благодарности¹.

Теперь из моей жизни, из моей работы, так же как и из жизни и работы моих товарищей-сотрудников и друзей-учеников, ослабляется и почти изгоняется на время та ежедневная дрожь, ежедневная трата сил, которые изводили нас в прошлом году. Теперь на время мы поддержаны деньгами, следовательно не потратим силы на горькие выверты от долгов, на дележ между собою последних копеек, на самоурезывание до самой тяжкой взаимопомощи. Теперь пока — наше время будет принадлежать нам и пойдет на наше же ученье; наши заботы о куске хлеба ослабнут и, по крайней мере, не будут уже столь горькими, как то было даже и на днях. Вспомните хоть горемыку — якута!

За все эти радости — земной Вам поклон за себя, моих товарищей и учеников. Завтра буду у Д. Н. Соловьева и посоветуюсь, как быть мне с выражениями признательности П. П. Извольскому и Синоду.

Ученье в Регентском Училище началось уже 2 сентября. Учеников прошлогодних — 18, вновь прибывших — также 18, следовательно семья моя стала многолюднее прошлогоднего с первых же дней. Вероятно, этими днями эта семья увеличится еще такими же прилежными и любознательными бедняками. Есть у нас и новости: появились две рясы — дьякон из Тамбова и послушник из здешнего монастырского подворья; появились две девушки из кончивших курс в епархиальных училищах и бывших уже регентшами; появился премилый певчурка из Митрополитчьего хора, удивительно даровитый, настолько, что сложились певчие и платят за него; появился и солдатской школы питомец — какая-то загадка для нас, ибо сразу постигает все на уроке, да еще угадывает что будет дальше!

Зато общедоступный хоровой класс пришлось временно распустить, ибо записалось до 200 бесплатных певцов и собирать такую толпу в пору острого именно в нашей местности напряжения холеры показалось опасным. Мы уже имели три хороших спевки и порешили временно расстаться недели на 2 1/2 — 3. Но ведь скоро минуют и эти три недели, лишь бы ослабла жестокая у нас эпидемия, особенно сильная в видах холеры «сухой» и «молниеносной». Последняя, как говорят, отправляет к праотцам чуть ли не в полтора-два часа.

Я получил этими днями прелестное письмо от милой Софьи Сергеевны Волковой. Очевидно она вполне поправилась. Зимует она в Риге.

Помянемте доброго и умного Николая Владимировича [Султанова]! Как тяжело и вспомнить, что нет уже между нами такого интересного человека! Как широко было его образование! Как отзывчива была его чудная душа! Как любил он искусство!

Мне некогда писать еще — очень уж много у меня всяких хлопот, забот и работ. Возвращаясь к началу письма, скажу: спасибо Вам, дорогой и высокоуважаемый Сергей Дмитриевич! Спасибо Вам и за свое дело и за милых мне бедняков учащихся.

Графине кланяюсь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5087, л. 69—70

1. Сколь горячо А. Н. Нарышкина принимала к сердцу дела Регентской школы, может свидетельствовать фрагменты из ее писем к Шереметеву:

Биарриц, 1 октября 1908

<...> Насчет бедняг наших — регентской школы я вот что надумала. Как бы найти несколько добрых душ, их поджечь, и чтобы всякий взял по ученику на свое содержание! Я взяла трех. Стоит каждый по 30 рублей в месяц. Право, стоит о них похлопотать! А двор тратит 14 миллионов и закрыл такую школу!..

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5087, л. 118—119 об.)

Биарриц, 10/23 октября 1908

<...> Прилагаю письмо нашего Степана. Сколько сердечной в нем теплоты! И о нем смог сказать Ваш брат, что он выбивал зубы певчим, хоть он и мухи не придавил. Регентская школа — значения великого. Я буду заводить хоры крестьянские по деревням. И первую пробу начну этим летом. Один хор уже устроен, но регента хорошего не было. Теперь возьму Степановского [то есть из Регентской школы]. Хочу купить им пианино, все же экономия школе. Возьмите, батюшка мой, хоть двух бедняков за свой счет! И хорошо бы из какой-нибудь Вашей вотчины. И он бы вернулся к семье — регентом из крестьян. Диво будет!.. И в церкви, и на улице польется музыкальная волна! Это противовес кабаку. Очень музыкален народ, да и на все способен. Но некому его вести, нет примера кругом его, благородного. Барин не в счет, а управители окаянные вымогатели! До свидания! Авось Бог даст мне эту радость.

Сердечно любящая А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5087, л. 165—166 об.)

Биарриц, 11 ноября 1908

<...> Не требуйте от Смоленского то, что он дать не может... рекламировать он не умеет. Он созидает дело великое, но выказать себя не умеет. Надо найти кого-нибудь, кто бы объяснил печатно и умело значение регентской школы. Мы несомы бурным потоком, захватывающим дыхание. Музыка, дитя неба, требует спокойствия. Вы, мой милый, просто приказывайте Смоленскому то и другое сделать. Он Ваш раб, и нет у него жизненной сметки. Неловок до крайности, а рядом с этим великие качества. Но ведь все мы сотканы с изъянами и пересыпаны сором. Не можем поэтому требовать от других совершенства. А брать то что есть и друг друга терпеть. Смоленский великой души! Дело его огромное, святое. Надо дополнять пробелы в его деятельности. И это подвиг немалый с Вашей стороны, который Вам зачтется. И краса этого подвига в том, что он непопулярен. Чистое дело во славу Божью и родины святой!

Пишите. Ваши письма — сладость!

Сердечно преданная А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5088, л. 31—31 об.)

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 27 ноября 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Оказалась у меня к Вам несколько неожиданная просьба. Дело вот в чем: вчера я прорепетировал все музыкальные номера своего доклада (назначенного на 5 декабря) и близко взгляделся в ту редкость, на которой мне придется играть разные «штуки» XVIII века. Это — маленький клавесин 1781 года работы, «Gabriel Bundebart et Sievers» в Лондоне. Инструмент этот отлично сохранен, но он так мал, так стар и слаб, что в плохо резонирующем помещении Общества Любителей звуки его решительно пропадут, как пропадут и все в высокой степени интересные «штуки». Владелец инструмента непременно доставит клавесин в Общество числа 5-го утром или 4-го вечером, но он просил меня пощадить почтенного старца и, если можно, сыграть на нем только 2—3 примера, демонстрировать самый инструмент, остальные же примеры исполнить на обыкновенном рояле или пьянино.

Совет этот в сущности превосходен, так как примеры будут гораздо рельефнее и выразительнее. Поэтому я прошу Вас вот о чем: не найдется ли

у Вас в доме какой-нибудь пьянино или рояль, который бы (настроив предварительно) можно было поставить в Обществе к 5 декабря? Брать инструмент на прокат на какие-нибудь 40 минут решительно не стоит, а может быть обойтись и домашними средствами.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5088, л. 104—105

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 2 декабря 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

За депешу и возможность достать пьянино к 5 декабря сердечнейше благодарю Вас.

«Ziermannssohn», при сем возвращаемый с благодарностью, мною давно и постоянно читается, так как я всегда слежу за оборотами и публикациями этой хорошей фирмы.

Имею еще просьбу к Вам, также по части 5 декабря: при сем программа музыкальных номеров к этому вечеру. Ее было бы надо напечатать на гектографе, экземпляров 20 или побольше, а у меня нет гектографа. В Вашей конторе, да и в Обществе, сколько помнится, гектограф был, — посему и прошу о напечатании к заседанию.

По прилагаемым приглашениям очень прошу Вас и добрую графиню пожаловать 7 декабря в Городскую Думу¹.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5088, л. 107—108. На бланке «Регентское Училище и хоровые классы Ст. В. Смоленского»

1. 5 декабря 1908 в общем заседании ОЛДП Смоленским было сделано сообщение «Клавесинная музыка в России по русским сочинениям второй половины XVIII века». Он использовал материалы, найденные в Ярославле, и сам исполнил на пианино и на клавесине сонату Бортнянского и пьесы из ярославской рукописи (см. раздел «ОЛДП» в Приложениях к книге).

7 декабря в петербургской Городской думе происходило публичное собрание для сбора средств на установку в Петербурге памятника трем русским духовным композиторам. По дневниковым записям Смоленского, церковные власти столицы на собрании отсутствовали, вырученная сумма равнялась 300 рублям.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 8 декабря 1908

Ваше Сиятельство, высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

С чувством глубокой признательности получил я сейчас 350 рублей, предназначенных Вами к преуспеянию устроенного мною Регентского Училища. Сердечно благодаря Вас за столь трогательное внимание и щедрую помощь, спешу уверить в том, что эти деньги будут употреблены мною в полном согласии с полученными от Вас словесными указаниями.

Прошу принять уверения в отличном почтении и совершенной преданности душевно признательного Ст. Смоленского.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5088, л. 149. На бланке «Регентское Училище и хоры-вые классы Ст. В. Смоленского»

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 7 или 8 декабря 1908

Нельзя ли Вам подбодрить нашего регента Пищера? Поют хуже прежнего, и голосов хватает — несмотря на уговоры, сонно, безжизненно и неверными голосами¹.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 309. На визитке Шереметева

1. Речь идет о пении в домовомой церкви Фонтанного дома.

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 8 декабря 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

С Пищером-регентом я уже говорил в минувшее воскресенье, поговорю и еще раз. Он прямо сказал мне: я совсем исстрадался со своими певцами (главным образом 1-ми тенорами): извольничались совсем, да и нездоровье пошло некстати.

Пищер-регент — человек совестливый и деликатный, очень стыдится Вас и побаивается, да и привык уже к Вам. А певцы нынешние — суди их Господи! и недавний малый стыд потеряли.

Пищер мне сказал однако, что он все силы употребит, чтобы непременно уладить дело.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5088, л. 150

Смоленский — Шереметеву

[Петербург], 11 декабря 1908

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Описание остальных 12 рукописей из Михайловского мною кончено и, вместе с рукописями, сдано Тимофееву¹.

Позволяю себе затруднить Вас покорнейшей просьбою: я уже 2 раза писал художнику Клавдию Петровичу Степанову (издателю «Цветника»), спрашивая его: намерен ли он продолжить свое издание? Ответа не имею и потому опасюсь, не пропала бы у него моя статья «О кантах и псалмах XVII века», — та самая, которая послужила содержанием прошлогодней публичной лекции. Я спрашивал его потому, что даже граф Павел Сергеевич отозвался о продолжении «Цветника» как-то неопределенно, а мне было бы жалко утратить статью².

Поэтому не откажите приказать кому-либо справиться, где и как пребывает Клавдий Петрович? Намерен он продолжать «Цветник» или нет?

К описанию рукописей Общества Любителей Древней Письменности я приступаю с будущей недели и, вероятно, в эту же зиму закончу это описание, так как такое занятие мне привычнее всякого другого.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 102—102 об. На бланке Регентского училища

1. О работе Смоленского над описанием приобретенных Шереметевым рукописей см. в письме к Волковой от 26 июня 1908.

Тимофеев Николай Васильевич — автор справочника «Издания графа С. Д. Шереметева» (СПб., 1909).

2. «Цветник» — периодическое издание: «художественно-литературный сборник изобразительных искусств. Иконопись, живопись, зодчество, ваяние в образцах древнего и современного искусства. История, литература, художественная критика». Весьма богато оформленный альманах выходил под редакцией К. П. Степанова в 1908. Вероятно, Смоленского «сосватал» туда упоминаемый в письме П. С. Шереметев, поскольку в первом же номере «Цветника» опубликован очерк Павла Сергеевича «Звад».

Упомянутая работа Смоленского была впервые опубликована Н. Ф. Финдейзен-ном в 1911 в сборнике «Музыкальная старина» (Вып. 5).

Смоленский — Шереметеву

[Петербург], 15 декабря [1908]

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я справлялся о подателе возвращаемого при сем прошения, бывшем воспитаннике Вашего времени в Капелле, г. Михаиле Лоздовском. Три лица, к которым я обращался: 1) бывший воспитатель Лоздовского, ныне инспектор Капеллы г. Григорьев, 2) бывший старший товарищ, ныне преподаватель Капеллы г. Аникин и 3) один из старых взрослых певчих — единодушно дали о г. Лоздовском самые сочувственные и самые наилучшие отзывы. Когда я объяснил им причину моих расспросов (не указывая, конечно, Вашего имени), все высказались так: должно быть Лоздовскому пришла «тугая полоса», если он решился просить о помощи. Лоздовский служит в канцелярии А. С. Танеева¹, но не может выбиться вперед по службе, хотя умен, скромен, прилежен и до сих пор страстно, как и прежде, увлекается математикой; в общем — человек вполне приличный, но крайне застенчивый и бедный, стоящий поддержки и умеющий оценить оказанную помощь.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1582, л. 103—103 об.

1. Танеев Александр Сергеевич (1850—1918) — управляющий собственной его императорского величества канцелярией, композитор-любитель (родственник С. И. Танеева).

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 10 января 1909

Здравствуйте, дорогой Степан Васильевич!

Благодарю Вас от души за Ваши строки. Заезжала А. Н. Нарышкина. Она замышляет что-то хорошее для интересующего нас дела¹. Только что вернулись с концерта Андреева². Сильно задели они мои близкие струны. Нам в деле обновления всего родного, заветного, забытого — поприще широкое, и время наступило предъявить современному невежеству и чуждедумству старую истину, что

... может собственных Платонов
и быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!¹

Бог в помощь Вам и тому святому великому делу, которому Вы служите. Вам глубокий поклон от сердечно и неизменно Вам преданного
С. Шереметева.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 304

1. Очевидно, Нарышкина пыталась организовать какую-то субсидию, частную или, скорее, государственную, для Регентского училища. В деле имеется ее письмо от 12 января:

Шлю на Ваше усмотрение и суд справедливый и правильный... Дорогой граф, Смоленский в своем деле человек великий!.. Это изложение своего дела выражено ясно... Прикажите, объясните нам, что надо написать... Мы Ваши покорные люди и с полною любовью последуем по указанному Вами пути...

Я же грущу, что редко очень вас вижу.

Сердечно почитающая вас А. Нарышкина.

(РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5089, л. 45—46)

2. Имеется в виду концерт Великорусского оркестра под управлением В. В. Андреева.

3. Из оды М. В. Ломоносова «На день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 28 января 1909

Надеюсь, дорогой Степан Васильевич, что Вам возможно будет завтра в четверг пожаловать к нам к 8 часам вечера совсем запросто послушать полный хор Андреева: балалайки, гусли, домры и проч.

Как подвигается дело? Печатается ли Ваша записка?¹

Надеюсь, до скорого свидания.

Преданный Вам С. Шереметев.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 305. На открытке с изображением библиотеки Михайловского

1. Имеются в виду работы («записки») Смоленского: «К вопросу о постановке преподавания церковного пения в духовно-учебных заведениях России» (вскоре вышла в прибавлениях к «Церковным ведомостям», 1909, № 7, 10) и «О Регентском Училище в г. Санкт-Петербурге» (Хоровое и регентское дело, 1909, № 2 и № 4).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 28 января 1909

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

За высокое удовольствие послушать В. В. Андреева, повидать Вас и Ваших — сердечно благодарю. Прибуду непременно.

Записки мои о Регентском Училище печатаются обе разом. Ту, которую Вы читали, кончают набором, а ту, которую я подал в Синод, я уже читал в корректуре. За последнюю, очевидно, будет стоять Учебный комитет при Св. Синоде. Закрываю это потому, что записку печатают предварительно помещения ее в «Церковных ведомостях», с целью ознакомить всех членов Синода перед заседанием, когда будет обсуждаться эта записка. Если Синод согласится на распоряжение о присылке епархиальных стипендиатов в Регентское Училище (о чем весьма старается благосклонный о. Д. Н. Беликов¹ — председатель Учебного комитета, и будто бы благосклонен Извольский и неблагосклонен Рогович), то эта записка будет помещена в официальной части «Церковных ведомостей» при определении Св. Синода. Буде дело это удастся — зарадуюсь и заработаю изо всех сил до конца дней моих. Извольского не вижу.

Приветствую добрую графиню, кланяюсь Вам с глубокою признательностью.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Извиняюсь за ответ по почте, медлить не могу, а заехать совсем минуты нет.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5089, л. 94—95

1. Протоиерей Дмитрий Никанорович Беликов (1852 — около 1931) был председателем Учебного комитета при Св. Синоде (до 1913), членом Государственного совета (от белого духовенства) и старым знакомым Смоленского по Казани (закончил там Духовную академию в 1878); впоследствии архиепископ Томский Дмитрий.

Шереметев — Смоленскому

Петербург, 20 марта 1909

Дорогой Степан Васильевич. Не пришлете ли Вы мне еще один листик о памятнике Бортнянскому и проч.¹ Нет ли у Вас еще чего-нибудь? Я могу располагать любезностью одной газеты, дорожащей почтенными именами лиц, трудящихся на той почве, которая всем нам дорога и где Вы вдохновитель и тайновидец!

Ваш всегда С. Шереметев.

Р. С. Письмо А. Н. Н[арышкиной] отправлено.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 310

1. Имеется в виду оттиск заметки Смоленского «О памятнике Бортнянскому, Турчанинову и Львову в Санкт-Петербурге» (Хоровое и регентское дело, 1909, № 3).

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 30 марта 1909

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

С удовольствием посылаю при сем все напечатанное мною в последние три месяца:

«Памяти А. Ф. Львова»,

«О первом регентском съезде в Москве»,

«О Регентском Училище»,

«К вопросу о постановке преподавания церковного пения в духовно-учебных заведениях» и

«О памятнике Бортнянскому, Турчанинову и Львову».

До сих пор еще не могу прийти в себя и разобраться толком во вчерашнем, неожиданнейшем внимании Государя Императора¹. Решительно не представляю себе, кроме сугубого пока молчания, как держать себя далее.

Жду — не дождусь посему весточки от доброй Александры Николаевны.

Свидетельствую графине мое и жены глубокое почтение. Вчера я так растерялся, что даже не сообразил поблагодарить графиню Ирину Ларионовну... надеюсь, она простит меня, так как сама видела мои волнения.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5090, л. 102

1. 29 марта, на Пасху, Смоленский получил от государя — через посредство Нарышкиной — тысячу рублей на нужды Регентского училища.

На пасхальном богослужении Смоленский присутствовал в церкви Фонтанного дома (где, кстати, исполнялся его прокимен «Кто Бог велий»). Там было немало высокопоставленных лиц, в том числе упоминаемая в последних строках письма невестка Шереметева — Ирина Илларионовна, урожденная Воронцова-Дашкова.

Далее в деле имеется письмо Нарышкиной к Шереметеву по поводу конфликта между Смоленским и Н. И. Компанейским, получившим отражение в газете «Новое время»: суть дела состояла в том, что Компанейский 27 апреля напечатал в этой газете статью под названием «К вопросам церковного пения», где выступил против любых регентских училищ, утверждая, что подъем русской духовной музыки возможен только тогда, когда ею займутся специальные музыкальные учреждения, прежде всего консерватории. Соответственно, он считал ненужным и Училище Смоленского. На этой позиции, собственно, Компанейский стоял и раньше (см., например, публикацию его статей в III томе РДМ). Очередное выступление критика явилось, очевидно, реакцией на выход новых «записок» Смоленского. Тот, как ясно из письма Нарышкиной, сначала не хотел отвечать Компанейскому, но потом, под нажимом чужих советов, выступил со статьей, опубликованной в «Новом времени» 20 мая. О том, откуда исходили эти советы, свидетельствует письмо Нарышкиной к Шереметеву от 9 мая:

Любезный граф! Пишет наше убогое дитяtko, во Христе брат, несуразный Смоленский, что их *ответную* статью на ложь обиженного музыкального хроникера — в «Новое время» не приняли!..

Степан не обременен умственными способностями. Он судит так: я ему простил, ибо прощаю всем своим врагам. Впечатление весьма слабое, значит — нечего отвечать. Совсем неправильное мышление: клевета на Смоленского, роняют школу, ее значение — и необходимо ответить ради ее! Впечатление статьи большое. Даже мои прислуги в недоумении! Смоленский воображает, что его репутация так велика, что никакое печатное слово эту славу не затемнит... Он ослеплен своим значением, далеко не всеми признанным. Статья, низводя его на низкую степень, ославляет школу, которая еле держится. А поэтому надо ответить. Никакого значения не имеет для дела добродетельное отношение Смоленского к его врагам.

Прикажите ему Вам дать прочесть его статью, которая задела и оскорбила бывшего друга, и прочтите ответную. Если хорошо составлена, попробую через Пиленко ее поместить в «Новом времени».

Как я была рада — что Вы у меня обедали!

Сердечный привет.

А. Нарышкина.

Справедливости ради надо отметить, что старые друзья — Смоленский и Компанейский — вскоре сделали взаимные шаги к примирению. 8 июля Компанейский писал из Друскеников (где находился на лечении), отвечая на несохранившееся письмо Смоленского:

Дорогой Степан Васильевич.

Письмо Ваше меня очень порадовало. Возста из мертвых. Не только всей душой присоединяюсь к Вашему делу, но готов служить ему лично, если бы мне нашлась там роль, хотя бы и швейцара. Моя заветная мысль написать «Основы контрапункта» пока не с места, а следовательно, к взятой роли не гожусь. Вероятно, завтра pošлю почтовых голубей с радостною вестью по всем редакциям музыкальных газет. У меня имеется в виду статья о значении духовной музыки для консерваторского образования, где я говорю о бесполезности Капеллы и Синодального певческого училища как отдельных учреждений и необходимости перенести в консерватории преподавание предметов по церковному пению, чтобы дирижеры хоров получали свое образование там же, где и дирижеры оркестров. Консерватории должны быть центром всех музыкальных специальностей, и тогда, конечно, Вы перенесете свою деятельность в стены Консерватории. Отправил в редакцию «Баяна» статью по поводу учреждения в каждом городе местных хоровых обществ с приложением проекта устава. Цель учреждения обществ исключить посредствующее звено между спросом и предложениями певческого труда, чтобы хоросодержателями являлось Певческое Общество. Подробности прочтете. <...>

(РГИА, ф. 1119, № 144)

Неизвестно, успел ли Смоленский прочесть это письмо...

Смоленский — Шереметеву

Петербург, 10 июня 1909

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я так измотался в эти дни, что запомнил расписание Ваших сроков в разных местах и совсем забыл о Кускове. Поэтому, сердечно благодаря Вас за депешу о Гурко¹, я немедленно отписал Вам в Полтаву «до востребования»... Уж извините меня — я устал.

Вчера и третьего дня оказались в этом деле некоторые осложнения. Гурко уехал из Петербурга до осени в свое имение «Сахарово» Тверской губернии. Следовательно почтовые с ним сношения во всяком случае будут медленнее личных. Минувших 12-ти дней, с 27 мая по 7 июня, также не вернешь; тем временем мои товарищи разъехались, кто на Волгу, кто в Малороссию, кто на воды, и я остался здесь один как перст, а тут оказалось — и Гурко отсутствует до осени.

Вместе с тем выросла неожиданная тревога такого содержания: оказывается, что никто в Синоде и не подумал о призыве семинаристов к отбыванию солдатчины в первую же зиму их приезда стипендиатами епархий в Регентское Училище. Неумелый советчик направил было меня в Комиссию прошений на Высочайшее имя, но лишь вчера вразумил меня умный чиновник Министерства внутренних дел, заведующий именно такими делами. Поэтому вчера же и сегодня все одна и та же моя голова разрывается на части: то пишу письмо к Гурко в Сахарово, то пишу прошение министру о солдатчине, то пишу конспект предстоящих лекций в Москве, то теряю время на вразумление депутатов от Учебного комитета на Регентский съезд, — а тут вдруг еще вчера жена занемогла. «Совсем абтрал!», как восклицают казанцы по-татарски! К тому же и утомление одолевает!

Я пишу Гурко условия, которые мы можем предложить за квартиру, прошу его ответить мне в Москву на Воздвиженку, так как я выезжаю отсюда 15-го, да к тому же и успею продумать что-либо о средствах, буде условия Гурко будут сколько-нибудь выше денежных сил Регентского Училища. Пока мы — без квартиры; положение бесприютности, конечно, не из веселых, хотя, к тому же, прямо вынужденное неизвестностью количества епархиальных стипендиатов, следовательно и будущих средств.

Вероятно, Вы уже получили мою брошюру о Регентском Училище, посланную Вам в Михайловское. Ваш приезд в Петербург был неожиданностью для меня — знай я о том, брошюра была бы вручена лично: в ней краткий отчет о деятельности Регентского Училища за минувшие два года.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Р. S. Мое письмо к И. В. Гурко — очень подробно, я прошу его ответить мне в Москву.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5091, л. 223—224. На бланке Регентского училища

1. Вероятно, перепутаны инициалы: имеется в виду Гурко Василий Иосифович (1864—1937), генерал от кавалерии, участник русско-японской войны, сын знаменитого фельдмаршала И. В. Гурко; эта семья имела поместья в Тверской губернии. Речь идет о новом помещении для Регентского училища. В письмах к Волковой указывается, что хозяин старого помещения решил сдать весь свой дом под классы Педагогической академии.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 22 июня 1909

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич! Совсем не везет мне в Москве: только что вошел во вкус Регентского съезда — посетила меня

простуда, осложнившаяся к тому же желчными и печеночными страданиями. Самое интересное заседание — последнее — пришлось проохать на постели. Самое интересное заседание — открытие регентских курсов — пришлось также страдать гораздо. Таким образом, кроме болевых мучений, пришлось лишиться себя торжественного конца съезда и начала регентских курсов.

Регентский съезд вышел гораздо лучше и продуктивнее прошлогоднего.

— Бросаю это письмо — я еще так слаб, что с трудом пишу, устаю, постоянно ошибаюсь. Продолжу завтра — Бог даст, буду покрепче. Всего 2—3 дня хворая, а сил ушло много.

Особенность этого съезда состояла в том, что 10 лучших московских хоров знакомили членов съезда как с со своим искусством, так более всего с нашими новейшими духовно-музыкальными произведениями. Но один содержатель хора, Ф. А. Иванов, оказался работающим и по части истории церковного пения. Поэтому его хор, в 130 человек, отделился от других и исполнил программу из сочинений самых сложных, то есть на 12, 16 и 24 голоса времени конца царствования Петра I. Я прочитал к этому исполнению г. Иванова исторические пояснения. Сколько можно было судить по изумленным неожиданными лицам слушателей, по нетерпеливым их требованиям повторения номеров программы, впечатления были очень сильны, высоко интересны. К несчастью, я простудился после этой лекции и потому, перемогаюсь, кое-как еще продолжал участвовать в прениях. 20-го меня уже не было на съезде. Сижу дома и до сих пор.

Регентские курсы начались 25 мая и были сменены съездом на неделю 14—21 июня, а с 22 июня опять были восстановлены. Сколько мне рассказывали преподаватели, занятия учащихся регентов выше всяких похвал в отношении дружной и доверчивой работы, в смысле какого-то особенно трогательного взаимного общения. Вероятно, я начну 25-го, тогда и отпишу Вам о своих впечатлениях¹. Я уже начал идти на поправку, но боюсь раньше времени читать, чтобы не надорвать себя. И теперь — еле пишу.

Всем Вашим в Полтаве — поклон мой и привет.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5091, л. 247—247 об. На бланке Регентского училища

1. Об участии Смоленского во втором регентском съезде и регентско-учительских курсах в Москве см. статью А. В. Никольского «С. В. Смоленский и его последнее учительство» (РДМ. Т. I. С. 161—164). Смоленский, несмотря на плохое самочувствие, начал читать лекции в указанный в письме срок.

Федор Алексеевич Иванов (1853—1920) — московский регент, хоросодержатель, автор популярных в свое время духовных композиций.

Смоленский — Шереметеву

Москва, 25 июня 1909

Высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич! Очень, очень тронут Вашей депешей и отвечаю Вам без промедления так.

Выздоровление уже наступило, и сегодня доктор Шуберт заявил мне, что в предстоящую субботу (а для докторов ведь есть только больные люди, а не полтавские победы) я могу вполне спокойно начать чтение лекций...

Мало спокойного (да то и понятно) в письмах моей благоверной из Петербурга, которая в подобных случаях волнуется свыше всякой меры. Как раз при милом докторе Шуберте пришло ее письмо. По обыкновению она ничему не верит, подозревает правдивость сообщений, рвется в Москву и требует ясной депеши с подробностями. Доктор Шуберт резонно ответил: вы будете читать лекции, а мы займемся барыней, которая, очевидно, нервничает через меру. Охладит ли такое сообщение пыл ее волнений — не знаю; как ни умна Анна Ильинична, но, как коренная казанская особа, не скоро приходит в себя. И осудить боюсь: ведь действительная любовь наша, редчайшая по дружбе и согласию семейной жизни, идет уже 28 лет, — как нам не начать потрухивать друг за друга на начинающейся старости лет?

Мои московские друзья прочитали фельетон Компанейского ранее меня, и хотя я уже успел купить номер — фельетон у меня отняли. Поэтому я, признаться, едва-едва успел только бегло просмотреть и толком даже не понял руководящих мыслей в их совместном сложении. На меня он произвел впечатление чего-то больного-мстительного, стремящегося доконать меня хоть бы острословием, — и, во всяком случае, не серьезного¹.

На деле оказывается, что г. Компанейский есть лидер интриги новаторов-композиторов, вообразивших себе, что я задумал зачем-то мешать их пропаганде новаторско-художественных приемов в хоровом русском искусстве. Первый фельетон опоздал к определению Св. Синода от 24 апреля, ибо был напечатан 27-го. Второй фельетон, оказывается, также опоздал, ибо, явясь в свет 22 июня, застал уже состоявшимся 21-го постановления здешнего съезда об уставлении через меня и моих товарищей постоянной и неразрывной связи Регентского Училища в Петербурге и постоянных летних регентских курсов в Москве. Это постановление, предложенное 21 июня будто командированным на съезд представителем от Ведомства Православного Исповедания г. Полянским², было принято единогласно и следовательно вторично, как бы «миром» утвердило уже окрепшую репутацию Регентского Училища. Если бы второй фельетон Компанейского был солиден и сильно мотивирован — другое дело; на борзописца же кто обижается? Общее недоумение и возмущение скорее всего защитит меня и Регентское Училище, умерив пыл у противников. Одно место фельетона прямо меня рассмешило. Оказывается, что я был в глазах Компанейского также декадентом, ибо поместил в пасхальной стихире басо-

вый (самый элементарный) ход, подражательный «колокольному звону». Этот прием уже пошел в ход и никому в голову не приходило видеть в таком звукоподражании «упадок». Ведь так — пожалуй и Бетховен еще в Шестой симфонии (в начале так называемого среднего периода) стал упадочником, введя кукушку, перепела и соловья, — а не слыхивал я о таком упреке Бетховену даже и от ярых врагов его.

С нетерпением буду ждать Вас в Москве. Но доктор не благословляет для меня тряски по чугунке и позволяет доехать до Волги только по Савеловской железной дороге, ибо тут и тихая езда, и всей дороги 110 верст, а о езде в экипаже запрещает и думать. Но я думаю все-таки упереться — жить только по докторским приказам иной раз уж очень скучно.

Благодарю Вас еще раз и от всего растроганного сердца.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5091, л. 284—285. На бланке Регентского училища

1. Речь идет о втором фельетоне Компанейского (в «Новом времени» от 22 июня): он еще резче по тону и содержит много выпадов против Смоленского лично.

2. Имеется в виду Петр Федорович Полянский (1862—1937), тогда сотрудник Учебного комитета и Училищного совета при Св. Синоде, впоследствии — митрополит, местоблюститель Патриаршего престола, новомученик.

Смоленский — Шереметеву

Волга, 5 июля 1909

Здравствуйтесь, дорогой именинник, здравствуйтесь, высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич! Вместе с моею женою шлю Вам и добрейшей графине Екатерине Павловне все лучшие пожелания всякой радости в детях и внуках, но главное — пожелания доброго здоровья и покоя душевного.

Пишу Вам, подъезжая сверху, из «Лесов» к Нижнему, проведя уже двое суток на чистом воздухе родной Волги, слушая северную певучую русскую речь, глядя на уцелевшую еще простоту взаимного обращения, любясь уцелевшей еще массой лесов, многоводием реки и вместе самыми заметными шагами вперед по части промысловой работы. Особенно удивила меня Кинешма — совсем уж большая вещь становится эта еще недавняя небольшая деревня, — теперь это прямо фабричный город, очевидно богатый и работающий энергично.

Пишу Вам вместе как бы и прощаясь с Волгой, как бы предчувствуя, что я более уже не увижу эту красоту, восхищавшую меня с детства. Я чувствую, что моя жизнь кончается, мои силы текут во все стороны, как из старой, прогнившей посуды... Ваше указание мне, чтобы я заблаговременно пере-

дал все подробности моих дел по Регентскому Училищу, теперь мною обсуждено, и я уже распорядился, чтобы к моему приезду в Петербург собрались мои товарищи и чтобы мои обязанности были разложены на всех их в соответственных частях. Так как двое из них были при мне в Москве, то в общих чертах дело удовлетворительно решено, причем оба мои друга потребовали, чтобы я в первую же очередь продиктовал машинистке весь курс моих лекций по истории церковного пения в России.

Я напишу Вам еще раз — теперь пока сил еще мало, все тянет либо полежать, либо погреться на солнце.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

К 15-му буду в Петербурге.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5092, л. 26—26 об. На бланке Регентского училища

Эпилог

А. И. Смоленская — Шереметеву

Телеграмма из Васильсурска в Михайловское
19 июля 1909, 9 часов 1 минута

Муж опасно болен в Васильсурске. Смоленская

Шереметев — А. И. Смоленской

Телеграмма из Михайловского в Васильсурск
19 июля 1909

Ее превосходительству Анне Ильичне Смоленской

Поражен известием. Недавно писал и телеграфировал, чтоб не беспокоился за будущее училища. Тотчас телеграфировал в Париж гостиница Вандом Нарышкиной. Да подкрепит Вас Господь. Глубокий поклон. Шереметев

Управляющий М. Н. Ермолов — Шереметеву

Из Петербурга в Михайловское
20 июля 1909

На бланке Петербургской конторы его сиятельства графа С. Д. Шереметева

Ваше Сиятельство граф Сергей Дмитриевич. <...>

Степана Васильевича Смоленского в Петербурге нет, адрес на его квартире оставлен следующий: Васильсурск Нижегородской губернии, Верхняя улица, дом Сапуненко, ее превосходительству Екатерине Степановне Ильминской.

Посланный, который был у него на квартире, мне передал, что вчера была прислана в Петербург от Анны Ильичны Смоленской телеграмма из Казани на имя брата ее Василия Ильича, где сказано, что Степан Васильевич сильно болен, сегодня же, 20 июля, получена телеграмма на его же имя следующего содержания: «Степа безнадежен. Приезжай в Казань. Смоленская». Из этих телеграмм видно, что Степан Васильевич находится в Казани, но служащие казанского адреса не знают, постараюсь разузнать его верный адрес и немедленно сообщу Вашему Сиятельству. <...>

Имею честь быть Вашего Сиятельства покорнейшим слугою. М. Ермолов.

А. И. Смоленская — Шереметеву

Телеграмма из Васильурска в Михайловское
20 июля 1909, 21 ч. 27 мин.

Сейчас скончался муж. Помолитесь за него. Везу хоронить Казань. Смоленская

Шереметев — А. И. Смоленской

Телеграмма из Михайловского в Васильурск
21 июля 1909

Потрясен, да будет ему память вечная на Святой Руси, которой служил верою и любовью. Господь да подкрепит Вас. Шереметев

Шереметев — А. Н. Нарышкиной

Телеграмма из Михайловского в Париж
21 июля 1909

Hôtel Vendome Madam Alexandrine Narischkine
Smolenski decidé aujourd'hui. Transporte Kazan. Cheremeteff
[Смоленский скончался сегодня. Перевозят в Казань. Шереметев]

Управляющий М. Н. Ермолов — Шереметеву

Телеграмма из Петербурга в Михайловское
21 июля 1909, 9 ч. 7 мин.

Сейчас сообщили, что Степан Васильевич Смоленский вчера вечером скончался. Находился в Васильурске Нижегородской губернии, Верхняя улица, дом Сапуненко. Ермолов

А. И. Смоленская — Шереметеву

Телеграмма из Казани в Михайловское
26 июля 1909

Вчера предано тело мужа земле. Благодарю Вас сердечное отношение мужу, мне. Смоленская

А. Н. Нарышкина — Шереметеву

Basses Pyrenees. Eaux Bonnes, 26 июля 1909

Дорогой граф, получила и Вашу депешу со сразившим меня известием о кончине старого, верного друга Смоленского, и оба письма. Не могу словами высказать, как огорчает меня эта утрата! Но для него лучше было умереть при его обстоятельствах. Думаю, он готов вступить в область света и правды. Удел таких людей — быть преследуемыми. И какие мелкие людишки травили и мучили святого человека, каким он был. Мы с Вами одни его поняли и поддержали, прощая его мелкие недостатки, коими изобилует всякий смертный.

Не могу сказать, до чего меня огорчает его смерть!.. Чистая, высокая, русская душа. Скорбно, что я с ним прощалась, споря за его враждебность к духовенству. И не перекрестил меня, как бывало, и не проводил... Теперь не знаю, как dokonчат учение мои два превосходные стипендиата... Супруга его мне телеграфировала, а я не знала, куда ей ответить. Квартиру должны были переменить. И как ее зовут?

Вообразите, что эта смерть оставляет в моей жизни огромную пустоту. Я находила утешение и крепость в общении с этой великой душой! Скажите, мой милый, где есть надежда Вас этой осенью встретить? Живу здесь совсем одна и каждую минуту жду рокового известия о кончине P[ère] Du Lac. Его смерть для меня величайшее горе! Так что я в самом удрученном состоянии духа. Все мое дорогое уходит раньше меня, все милые уже в могиле. Надеюсь, Ваша чудная супруга поправилась. Вы тоже.

Сердечно Вас любящая А. Нарышкина.

Некрологи

«Новое время», 23 июля 1909

<...> Из музыкальных трудов покойного следует назвать краткое описание «Знаменного ирмолога (XIII в.), принадлежащего Новоиерусалимскому монастырю» и перепечатку «Азбуки знаменного пения (XVII в.) Александра Мезенца» (с краткими разъяснениями основ крюковой семиографии). Вообще

вместе с покойным Разумовским его надо считать одним из знатоков крюковой семиографии в России, хотя оба писателя недостаточно ясно передавали эти основы в своих сочинениях.

Смоленский в бытность директором Синодального училища много ратовал за распространение старых мелодий церковного обихода и сам занялся сочинением духовно-музыкальных произведений. Как человек увлекающийся, от старых песнопений он перешел было на пропаганду новых путей в музыкально-церковной литературе, но в последние годы по-видимому снова вернулся к прежним убеждениям. Его переложения разных церковных служб и песнопений и сочинения сделаны практически, так что в большинстве случаев доступны даже скромным хорам. Вообще это был человек энергии и труда. Похоронен он в родной Казани, где проводил вакации этого лета.

«Русские ведомости», 24 июля 1909

<...> В качестве директора Синодального училища покойный Степан Васильевич положил в области церковного пения начало широкой и энергичной пропаганде старинного церковного пения, основанного на подлинной народной мелодии, и содействовал новому направлению творчества в этой области, которое брало корень в родниках народной песни (Кастальский, а за ним и другие композиторы). Кроме того Смоленский основал при Синодальном училище замечательную по своему значению библиотеку древних нотных рукописей, которые он ревностно собирал по всей России. <...> Как музыкальный ученый Смоленский известен главным образом своими сочинениями, исследующими древнерусское церковное пение, особенно со стороны его связи с древней нотацией. Но есть у него и работы по истории русской светской музыки, печатавшиеся в специальных музыкальных изданиях. Надо еще упомянуть о нескольких интересных и стильных переложениях древних напевов, сделанных Смоленским. <...>

Вл. Држ. [Владимир Держановский]

«Русское слово», 24 июля 1909

<...> Как человек Степан Васильевич поражал всех близко знавших его удивительной сердечностью, стойкостью убеждений и откровенной прямоотой. Последняя черта характера покойного создавала ему немало врагов и сильно вредила его служебной карьере.

«Сильные люди» часто не прощали ему его резкой откровенности и, конечно, находили возможность и способы доставлять ему немало тяжелых минут. Вообще это был человек редкого нравственного закала, несокрушимый борец за свои убеждения и идеалы. <...>

«Московский листок», 28 июля 1909

<...> Только что месяц тому назад он увлек весь съезд хороших деятелей в Москве своей блестящей лекцией, интересною и по содержанию, и прочитанною с тою образностью и силою, которые отличали речь покойного. Сколько раз он на этом же съезде выступал как оратор, по содержанию того или другого доклада, и всякое его выступление увлекало весь зал. А почему? Потому что всякое слово Степана Васильевича дышало такой энергиею, такой созидающею силою, что нельзя было не поддаться его очарованию. Такая сила, такая энергия у нас на Руси, в особенности в области науки и искусства, встречается не часто, и к покойному С. В. Смоленскому по справедливости следует применить эпитет «недужинной натуры». Это была личность, которая, по капризной воле судьбы, обречена была расходовать свою энергию в относительно узкой области русского церковного пения. Но как всесторонне и плодотворно работал он в этой области! <...>

Н. Р. Кочетов

П. Н. Шеффер — Шереметеву

Петербург, 30 июля 1909

<...> Был я на панихиде по С. В. Смоленскому, которую служил по нем в его квартире регентский класс. Собралось человек сорок, главным образом люди или учившиеся у него, или связанные с ним любовью к церковному пению. Певцы, они и помянули его, как могли, — примкнув к хору певчих. Как бы хорошо было, если бы его ученики-теоретики могли в память его закончить хотя бы некоторые из начатых им работ. Кажется, в этом отношении больше всего следует надеяться на Преображенского. <...>

А. И. Смоленская — Шереметеву

[Петербург], 10 августа 1909

Ваше сиятельство, глубоко уважаемый граф Сергей Дмитриевич!

Я получила Ваше письмо, и нет слов выразить Вам мою сердечную благодарность за теплое отношение Ваше к памяти моего мужа и трогательное сочувствие к моему горю. Смерть мужа для меня тяжкая и невознаградимая утрата: в нем я потеряла в жизни все. В Васильсурск я вызвана была по телеграмме и застала мужа хоть и очень слабым, — но ничто, казалось, не предвещало рокового конца. Его смерть была совершенно неожиданна для всех нас. Болезнь, которой, по-видимому, врач не придавал серьезного значения, разрешилась гнойным плевритом, от чего он и скончался, успев ис-

поведоваться и приобщиться Св. Таин. Тело его я перевезла, по его желанию, в Казань.

Теперь у меня две заботы: Регентское Училище, так внезапно осиротевшее, а затем приведение в порядок всяких дел и бумаг покойного мужа. Ваше пожелание, граф, чтобы дело Степана Васильевича продолжалось, вполне сходится с желанием покойного мужа, все силы свои отдававшего ему при жизни и часто мечтавшего о будущих для училища светлых днях. Было бы крайне обидно и тяжело, если бы это его любимое детище погибло. Его существование и дальнейшее усовершенствование по идее мужа — заветная мечта всех нас; лишь боимся, хватит ли сил справиться с этим делом. Что касается приведения в порядок бумаг и работ мужа, то это моя святая обязанность, и надеюсь, что товарищи и бывшие ученики покойного мужа, которые так искренне его любили, помогут мне в этом деле.

По приезде в Петербург, 6 августа, я решительно была не в силах, граф, повидать Вас и лично благодарить за все. Да я и не смогу, мне кажется, вполне оценить все сделанное Вами мужу, Вашу всегдашнюю нравственную поддержку и сердечное расположение к нам.

После кончины мужа я послала телеграмму в Париж Александре Николаевне Нарышкиной, но боюсь, что она не дошла по назначению.

Не откажите, граф, передать мою глубокую благодарность графине и всей Вашей семье за сочувствие в моем горе.

Сердечно уважающая и искренне благодарная А. Смоленская.
Благодарю Вас, граф, за только что полученную брошюру¹.

1. Имеется в виду некролог, написанный С. Д. Шереметевым; он был помещен в «Московских ведомостях» и напечатан отдельной брошюрой.

А. П. Барсуков — Шереметеву

[После 10 августа 1909]

Многоуважаемый граф Сергей Дмитриевич.

Истинно признателен Вам за памятку об усопшем Степане Васильевиче. Он тронул меня до глубины души. Это был, действительно, особенный человек. Подробно говорить о нем еще не время. Характер сложный, даже загадочный. Меня поразило неожиданное появление Смоленского, как некоего фатума, за несколько минут до кончины брата... Он тотчас же принялся читать отходную... И как он читал ее!.. Так прочитать мог только истинно добрый, верующий человек. Затем, в тот же самый день и на следующий, после вечерних панихид, он оставался у меня подолгу, с очевидным желанием установить во мне равновесие упавшего духа. Не забуду никогда этих одушевленных бесед, опять-таки убеждавших меня, что это истинно добрый и

глубоко верующий человек. Как ни странно, а этим и ограничились все наши отношения. Смоленский, как бы исполнив свое дело, пошел своей дорогой, а я — своей. Встретимся там, где легче разрешатся все наши людские загадки. Упокой, Господи, душу усопшего новопреставленного раба Твоего Стефана!

Истинно уважающий Вас и душевно преданный А. Барсуков.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5092, л. 78—195

Приложения к разделу «Переписка с С. Д. Шереметевым»

1. Переписка С. В. Смоленского с Е. П. Шереметевой

Смоленский — Шереметевой

Петербург, 25 января 1903

Высокоуважаемая графиня Екатерина Павловна!

Очень, очень плоховата кандидатура Павла Шидловского для поступления в Капеллу. Его голосок на нашем учительском означении может быть аттестован не более «2-», к тому же и слух более чем нетверд. Посудите сами, каково мне писать Вам при моем сердечном желании угодить Вам?

Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам, как я соскучился, давно не видав ни Вас, ни графа Сергея Дмитриевича. Вы доставили бы мне большое утешение, если бы как-нибудь приказали извлечь меня по телефону из Капеллы на Фонтанку.

Преданный Вам Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 2748, л. 1. На бланке управляющего Капеллой

Смоленский — Шереметевой

[Петербург, ноябрь 1905]

Высокоуважаемая графиня Екатерина Павловна!

Сердечно рад случаю послать Вам свое и жены приветствие ко дню Вашего Ангела, послать Вам пожелания доброго здоровья и всякой сердечной радости в детях и внуках Ваших; желаю Вам и душевного покоя, твердых сил к перенесению безропотному тех испытаний, которыми все мы, имеющие еще дар тихой и покорной молитвы, врачуем наши страдания от текущей поры.

Мысленно буду присутствовать в Михайловском на Вашем семейном празднике и любоваться Вашей кроткою ласкою, столь объединяющею большую Вашу семью. И здесь, в обеденный час в моей семье, отпразднуются Ваши именины с неменьшею приветливостью и неменьшим по чувству добрым пожеланием Вам всякой радости. И в разлуке, как и в недосказанных личных свиданиях, доброта Ваша давно уже понята и оценена в моей семье, — потому Вы поверите и не сполна высказываемому привету, — он более чувствуется, чем высказывается.

Поздравляем и высокоуважаемого, доброго графа Сергея Дмитриевича, как и всех, всех Ваших — до лепечущих еще, счастливых малых внучат. Будьте здоровы, спокойны и радостны!

Сердечно преданный Ст. Смоленский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 2748, л. 3

Шереметева — Смоленскому

Михайловское, 30 ноября 1905

Искренно благодарю вас за вашу добрую память и любезное слово и прошу передать сердечный привет мой вашей жене.

Преданная вам Е. Шереметева.

*РНБ, ф. 855, № 30, л. 229. На открытке с видом Михайловского***Смоленский — Шереметевой**

Москва, 3 марта 1906

Добрейшая графиня Екатерина Павловна!

Жена моя совершенно растрогала меня рассказом о Вашем участии в моей беде. Я спешу благодарить Вас от всей души.

Признаюсь откровенно, что в первые два дня, когда постигло меня несчастье, я не представлял себе ясно, каково именно будет мое самочувствие и, судя по бывшему налицо ряду тяжелых болей, я решил не извещать пока Анну Ильиничну о случившемся и пригласить ее несколько дней спустя, когда боли улягутся и моя болезненность не будет уже огорчать жену¹.

На деле оказалось, однако, что некоторая доля хитрости сейчас же раскрылась, обнаружив при этом ее наивность и бесполезность, равно и ее полную ненадобность. Мои страхи о своей невыносимости оказались совсем напрасными, так как проходят целые ряды часов без каких-либо болезненных ощущений. Точно так же и приехавшая моя жена оказалась гораздо тверже духом, чем я предполагал. Таким образом, благодаря Вашему участию, мое положение не только улучшилось мерою благодушия и радости, но и разогнало ту деланную фальшь, которою я думал временно оберечь и себя, и свою жену.

Я приехал в Москву, рассчитав приблизительно день в день свои занятия. Поэтому моя болезнь совершенно изменила все мои предположения, убавив к тому же и мои силы к работе. Поэтому сейчас обдумываю будущее, делая работы на неотложные и на ненадобные пока для этих неотложных работ.

Говорить о том, как бодрит меня умное и умелое участие милого Сергея Михайловича [Клейнера] — излишне. Завтра он наложит мне плотную гипсовую повязку, и затем от моего дальнейшего поведения будет зависеть, прийдет он мне клюшки во вторник, среду или четверг, — то есть выпустит он меня на работу или нет. Желанием заслужить эти клюшки переполнены теперь все мои мысли.

Излишне также говорить, как много я получил всякого внимания в Вашем здешнем доме. Меня окружает полный покой и трогательный уход служащего Петра. Но я вместе с тем живо чувствую и влияние настоящих при-

чин, создающих мое благополучие на одре болезни. Спасибо и этим добрым сердцам!

Мое состояние, сколько могу судить, улучшается с каждым днем. По крайней мере вчера и сегодня я работал так, как нельзя было и думать назад тому дня 4—5.

Жена моя кланяется и благодарит Вас и высокоуважаемого графа Сергея Дмитриевича. Примите и мой самый сердечный привет и поклон Вам и графу. Вероятно я напишу графу в воскресенье.

Преданный Вам Ст. Смоленский.

РНБ, ф. 855, № 30, л. 56—57

1. Комментарий см. в переписке с С. Д. Шереметевым: Екатерина Павловна, узнав, что Смоленский, находясь в Москве, сломал ногу, немедленно отправила туда его супругу.

Смоленский — Шереметевой

Петербург, 26 апреля 1909

Высокоуважаемая графиня Екатерина Павловна!

Очень, очень сожалею, что по нездоровью не мог послушать вчера оркестр балалаек¹. Еще более сожалею о том, что завтра, вероятнее всего, мне еще нельзя будет покинуть квартиру, что[бы] проводить Вас и Ваших. Я расхворался, по-видимому, очень досадно, хотя и не опасно; работаю все-таки при постоянных 38° и выше, ибо голова совсем свежа, но силы плохи.

Вместе с Анной Ильиничной сердечнейше желаю Вам не только счастливого пути, но и постоянных радостей в Ваших внуках. Кланяемся и доброму графу Сергию Дмитриевичу.

Душевно Ваш Ст. Смоленский

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 2748, л. 2. На бланке Регентского училища

1. Великорусский оркестр В. В. Андреева неоднократно выступал в зале Фонтанного дома, и Смоленский восхищался его игрой.

Отношения Смоленского с графиней Екатериной Павловной Шереметевой всегда были очень теплыми. Она представлялась Степану Васильевичу (и не только ему) идеалом женщины-христианки, супруги, хозяйки, матери. Кроме того Екатерина Павловна, человек очень образованный и культурный, вела самостоятельную научно-литературную деятельность (чем немало гордился граф Сергей Дмитриевич): она составляла словарь поэзии своего деда Петра Вяземского, переводила с иностранных языков книги для из-

дания в сериях ОЛДП и т. д. Смоленский восхищался гостеприимной атмосферой, которую она создавала в Михайловском, ее заботливостью о детях и внуках (которых к концу 1900-х было уже девятнадцать). Например, в дневниковой записи в июне 1908, когда по дороге с Регентского съезда в Ярославль Смоленский заехал на несколько дней в Михайловское, он говорит о «бесконечной приветливости умной и кроткой хозяйки».

2. Переписка С. Д. Шереметева с С. С. Волковой

С. С. Волкова — С. Д. Шереметеву

Петербург, 6 мая 1905

Многоуважаемый граф, 2 апреля, когда зашла речь о возможности поручить Ант. В. Преображенскому и мне составление литературного указателя как пособия для дальнейших трудов по изучению истории и построения древних песнопений, я упустила из виду одно важное обстоятельство. Такой указатель имеет значение только при наличии памятников или снимков с памятников, которые желательно изучить. 21 апреля на обсуждение Общества мною предложено было девять пунктов. Увлечись обсуждением с Ал. Ал. Шахматовым некоторых подробностей пункта 9-го, я не упомянула о том, что исполнение этого последнего пункта не представляет интерес без исполнения пункта 1-го, к которому разговор не возвращался. На днях Степан Васильевич и я вполне сознали это. Вот почему накануне 7 мая позволяю себе обратиться Ваше внимание на все те 9 вопросов, какие изложены в записке, имеющей быть напечатанной при протоколе. Простите, что только сейчас догадавшись написать Вам, уже не успела переписать прилагаемые неопрятные страницы.

1. По отрасли археологической

I. Нельзя ли безотлагательно приступить к приобретению разных русских и иностранных изданий, воспроизводящих такие памятники, к составлению указателя певчих рукописей по XV век включительно и к воспроизведению путем фотографических снимков неизданных древних певческих рукописей, находящихся в книгохранилищах в России и за границей.

II. Затем, ознакомившись таким путем возможно полнее со всеми древними певческими памятниками, избрать из них для напечатания наиболее ценные как в палеографическом, так и в богослужебном отношении. Пока такими представляются:

1) Путятинская Минея XI века, хранящаяся в Петербургской духовной академии и

2) Стихирарь 1157 года, хранящийся в Синодальной Патриаршей библиотеке.

* III. Для возможности же научного исследования также и тех памятников, которые не будут целиком изданы, казалось бы желательным составить сборник или хрестоматию из образцов всех разнородных видов.

Остальные задачи в этой отрасли определяются лишь в зависимости от того, что выяснит вышеуказанная работа.

2. По отрасли церковно-певческой

* I. Из последних чрезвычайно ценная рукопись за № 98 1677 года, быть может, автографический экземпляр старца Александра Мезенца. Из общих Миней всего желательнее казалось бы напечатать именно эту.

II. Сличение перечисленных этих рукописей между собой и со старыми стихирарями представляет особый интерес ввиду событий XVII века.

III. В-третьих, желательно бы также издать хоровое пение, начиная с крюкового двухголосного, например Казанского знамени, возникшего в конце XVI века, после взятия Казани.

3. По отрасли третьей, научно-художественной, также сложилось три вопроса:

1) О желательности продолжать собирание древних напевов, церковных и мирских.

* 2) Открыть курс истории церковного пения.

* 3) Составить указатель учебников, сборников, ученых исследований и проч., могущих служить пособием для дальнейших научных работ по изучению древних напевов.

Отмечаю звездочками четыре пункта, намеченные к исполнению. Сюда не вошел первый, однако он является основным, как для составления хрестоматии, так и для возможности дальнейших научных работ. Каюсь в неопытности и недостаточной подготовленности к обсуждению затронутых крупных вопросов. До понедельника на Страстной я не приступала к соображению программы деятельности и со Смоленским раньше не советовалась об этом.

Простите и примите уверение в совершенном моем уважении и желании служить усердно Обществу Любителей Древней Письменности. Завтра, по Вашему разрешению, надеюсь придти не в 6 часов, а уже в 5 1/2 часов, для условленного предварительного совещания.

С. Волкова.

В сотрудники 2-го отдела мне удалось завербовать Софью Доминиковну Хитрово, которая часть бывала с покойным мужем в Сирии и Палестине и

сохранила сношения со своей родиной, Италией, так что могла бы вести разнообразную переписку.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5066, л. 182—185. От слов «По отрасли археологической» — машинопись с правкой.

Упомянутая в письме Софья Доминиковна Хитрово (урожденная Тарситани; 1857—1942) была известной музыкантшей, женой Василия Николаевича Хитрово, бессменного секретаря Императорского Православного Палестинского общества.

С. Д. Шереметев — С. С. Волковой

Михайловское, 1 сентября 1905

Многоуважаемая Софья Сергеевна.

Прошу меня извинить за невольную московскую путаницу, вызванную обстоятельствами тех дней. К тому же я понял из Ваших слов, что мы, сидя за столом (*примечание Волковой*: на обеде в день похорон Н. А. Шереметевой), договорились, причем Вы сказали, что дальнейший предполагаемый разговор не нужен; у меня же было так много дела, что я с утра должен был выехать. Вернувшись сюда, получил прилагаемое письмо С. В. Смоленского, которое посылаю Вам с просьбою возвратить мне его. В нем он несколько яснее говорит о своих желаниях, хотя, по обычаю, разбрасывается и сбивает отсутствием точного и ясного плана действий. Я думаю, что откровенным разговором с Победоносцевым о нем можно кое-что достигнуть, и я готов за это взяться. Причем одновременно воздействовать и на Ширинского, путем его большого приятеля ярославского губернатора Роговича, с которым и я в отличных отношениях.

Словом сказать, Смоленскому не нужно унывать, не нужно падать духом, не нужно подвергать различным дуновениям его сбивающим, как мне это чувствуется. Нам с Вами нужно поддержать его и сберечь этого необыкновенного человека для пользы и осуществления большого дела. Правда, с ним не легко, с его постоянными скачками, метаниями, неожиданностями, волнениями, недомолвками, с теми странностями и причудами, которые в то же время составляют привлекательную сторону этого особо даровитого, превосходного, благороднейшего человека! С своей стороны пишу и ему.

Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.

С. Шереметев.

Под «прилагаемым письмом» имеется в виду письмо Смоленского от 28 августа 1905, содержащее программу его деятельности на ближайшее время; Шереметев ответил на это послание 1 сентября.

С. С. Волкова — С. Д. Шереметеву

Спасское, 3 сентября 1905

Многоуважаемый граф Сергей Дмитриевич, заранее должна извиниться за длину своего письма. Постараюсь письменно изложить, как представляется мне все дело после беседы со свящ. Металловым 25-го вечером и двух писем С. В. Смоленского. Одно я получила от него вчера утром, а другое, пересланное Вами, вчера же вечером. Я сама была виновата 26-го, что поздно послала спросить из Румянцевского музея, могу ли застать Вас. Думаю однако, что только в присутствии самого Степана Васильевича, вызывая его на полные и точные ответы, можно бы договориться основательно.

Разговор с Металловым убедил меня и в сложности предпринимаемого дела, и в необходимости воспользоваться рабочими силами Смоленского и его руководством. В Москве очень много желающих работать, и мне кажется, что ежели Смоленский примется за дело энергично как председатель 2-го Отдела, то можно бы осилить всю намеченную программу, действуя все время *именем Общества Любителей Древней Письменности*. Об этом я не говорила со Смоленским, но хотела бы спросить Вас.

Смоленский пишет мне, что «комиссия по делу Ильминского ликвидирована совершенно, мое участие более там не потребуется». Шестое издание его «Курса» по цифровой методе должно быть кончено к октябрю. О комиссии Кобеко я забыла его спросить, но надеюсь, что и это окончено. Во всяком случае на мой вопрос, вполне ли Смоленский свободен заняться крюковыми изданиями, он пишет: «Да, тысячу раз да! Эти издания, особенно же практическая азбука — моя мечта; в остальных (то есть более всего механических, от фототипии, цинкографии) — рад занять роль корректора, секретаря и т. п. Времени у меня, как знаете, много».

Из намеченных предприятий издание такой азбуки (о которой раньше не было речи), хрестоматии из образцов рукописей по XIV век включительно и издание точного снимка с рукописной Общей Минеи конца XVII века требуют совместного обсуждения и дружных трудов. Металлов готов трудиться для составления хрестоматии, и Смоленский обрадовал меня, написав «считаю абсолютно надобным завербовать его в сотрудники, он — очень знающий человек и работающий». Металлов не имеет средств напечатать те снимки с древних рукописей, которые у него уже имеются; мысль о содействии Общества привела его в восторг.

Издание *Общей Минеи* желательно с приложением перевода крюков на ноты, а таковые переводы до сих пор издавались исключительно Св. Синодом. Дело это крупное и сложное, по плечу лишь Смоленскому, с Вашей помощью. Эта рукопись приписывается старцу Мезенцу, трудами которого Смоленский уже много занимался.

Эти оба издания, так же как и лекции, и небольшие указатели, за составление которых взялись Преображенский да я, — составляют те четыре задачи, намеченные для будущего, которые были запротоколены весной и мысль о которых возникла лишь в настоящем году. Исполнение их потребует многих подготовительных работ, под сенью Общества.

Совсем иначе обстоит дело о *каталогизации* древних рукописей, начатое Смоленским в Казани и в Москве. Перемена службы и местожительства не дала ему окончить ни здесь, ни там, и мне понятна его досада, когда теперь, после 20-ти лет, он мог надеяться довершить начатое, но в Синоде встречает только отпор. Боюсь, что в князе Ширинском-Шихматове он имеет врага упорного. Но Победоносцев, может быть, вспомнит, что С. А. Рачинский обратил внимание на Смоленского именно благодаря молодым его казанским научным трудам, и даст ему возможность довести их до конца. Смоленский пишет: «Издание приостановилось разлукою моею с рукописями вследствие отъезда в Москву. В 1904 году Академия казанская спросила меня: могу ли я докончить издание и на каких условиях. Я ответил, что у меня уцелело 500 экземпляров снимков, из которых я предложил бы Академии 400, а 100 взял бы себе для раздачи друзьям; что же касается до гонорара за труд над работою около 30 листов, то я желал бы получить то же, что Академия платила всем ранее меня. По этому ответу Академия ходатайствовала перед Синодом об отпуске 2 1/2 тысяч рублей на издание и на выдачу мне вознаграждения после окончания издания. Синод отказал Академии за неимением средств. Сведение это я получил лишь частно».

Вот это единственное дело, кажется, не касается Общества Любителей, — но однако может быть поправимо лишь при Вашем заступничестве.

Из Казани перевел Смоленского в Москву Победоносцев. Мне кажется, он не должен раскаиваться в таковом своем выборе. Синодальное училище преобразовано и постановлено необыкновенно хорошо; при нем собрана выдающаяся библиотека рукописей, клад неисчерпаемый, но остается докончить каталог этой библиотеки. Каталог особый, тематический, который бы мог служить пособием и даже руководством для желающих работать. Мне пришла мысль — раз Смоленский заговорил о желательности отпечатания 100 литографических экземпляров, — может быть, Общество могло бы взять и это дело под свое покровительство, а также и дело о каталогизации рукописей Министерства Императорского Двора.

Едва ли к имени Смоленского относятся благосклонно в Синодальном и Придворном ведомствах. Нельзя ли бы, то есть не нашли ли бы Вы возможным, получить разрешение для *Общества* сделать описание рукописей Сино-

дального училища и *крюковых* редких рукописей Архива Министерства Императорского Двора; а затем уже напомнить «за городом» о желательности поручить его именно лучшему знатоку дела, Смоленскому, с почетом и вознаграждением. Кажется, Вы весной считали благоприятным назначение нового заведующего Главным архивом Министерства Императорского Двора и, может быть, возможно заинтересовать его?

Простите за все эти подробности; очень жаль Смоленского, который пишет: «Демчинский предсказывает хороший сентябрь, но отлучиться из Петербурга не могу, предвидя лишь рублевое ненастье». Однако он кажется немного воспрянул духом. Прошу Вас передать мое почтение графине.

С. Волкова.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5069, л. 1—2 об.

С. Д. Шереметев — С. С. Волковой

Михайловское, 20 сентября 1905

Многоуважаемая Софья Сергеевна.

Из получаемых мною писем от Смоленского усматриваю, что он все еще подобен взбаламученному морю! Хотя в письмах и повторяется, что он занят курсом и по-видимому его заканчивает, но за остальным угнаться не могу: так он меня сбивает своими закидками семо и овамо! Теперь, найдя исторические документы о Придворной капелле XVIII века, он готов в них погрузиться и войти в XVIII век! Он совершенно забыл, что знакомство с Гротом должно привести к главному (в практическом смысле) делу: поручения ему свыше «описания церковно-певческих рукописей, хранящихся в Министерстве Двора», помимо его Архива. Теперь он выдается с А. Н. Нарышкиной, и с нею пойдет вероятно совсем в другую еще сторону. В Гроде он находит равнодушные, почитает место его синекурою и видимо не схватывает мысль о возможной пользе от этого знакомства. При этом он настроен болезненно-мрачно. Нарисовал он мне картину таких уличных ужасов, которые, вероятно, представились ему лишь «в тонце сне». Не будучи оптимистом, я не способен к унынию. Пресложная натура у него. Таков, должно быть, удел людей незаурядных. Лишь бы «огонь на алтаре» не погас и творчество бы не иссякло, а как оно нужно в переживаемое время в различных областях!..

Прошу Вас принять уверение в искреннем моем уважении и совершенной преданности.

С. Шереметев.

РГАЛИ, ф. 723, № 72, л. 5—5 об.

С. Д. Шереметев — С. С. Волковой

Михайловскос, 7 ноября 1905

Многоуважаемая Софья Сергеевна.

Пишу Вам наугад, не зная наверное, где Вы ныне проживаете. Надеюсь, что здоровье Вашей матушки не ухудшается. Прошу передать ей мое глубокое почтение.

От В. В. Майкова получил я письмо, сообщающее о доставлении ему для печати Вашей рукописи, чему должны радоваться чрезвычайно все интересующиеся известным вопросом. К сожалению, мне очень обидно, что обстоятельства и здоровье задерживают приезд мой в Петербург, хотя от этого дело наше нисколько страдать не может.

С С. В. Смоленским нахожусь в переписке; получаю от него всегда интересные, но порывистые и нервные письма, обличающие внутреннее раздражение; в них нет того подкупающего добродушия, которое чувствовалось в прежнем Смоленском. Очевидно, тяжкие события накладывают на него свой отпечаток. Но мне думается, что тут не одни события, а нет ли незаметных нам и неведомых раздражающих влияний? Мне сдается, что мысли его, в перегонке одна за другой, лишают его должного покоя, для творчества необходимого. Пишу это Вам, зная Ваше благотворное на него влияние.

Переходя к не признаваемой им «практической» стороне, повторю то, что и ему писал. Необходимо ему помочь в деле поручения «описания церковно-певческих рукописей» за известное денежное вознаграждение. Рукописи эти находятся как в ведении Синода, так и в ведении Министерства Двора, сиречь под ведением «Квиринала» и «Ватикана», а к сим двум — имеют ныне прямое и влиятельное прикосновение братья, князья Оболенские — Николай и Алексей Дмитриевичи! Так как они оба «русские», то полагаю, что сочувствие их к сему делу достижимо. В этом направлении я посоветовал бы действовать, причем женское содействие было бы особенно желательно, как и во всяком деле. Хотя я и писал об этом С. В. Смоленскому, но вряд ли он без помощи выйдет на тропу! Ваша помощь была бы особенно действительна.

Прошу Вас принять уверение в отличном моем уважении и совершенной преданности.

С. Шереметев.

РГАЛИ, ф. 723, № 72, л. 6—7 об.

С. С. Волкова — С. Д. Шереметеву

Спасское, 15 ноября 1905

Многоуважаемый граф Сергей Дмитриевич, письмо Ваше от 7 ноября получила в деревне, где задерживает нас болезнь моей матери. Мы снова очень

беспокоились о ней в эти дни. Простите, что раньше не ответила Вам. Хотелось обдумать письмо и попытаться коснуться в нем вопросов, которые легче бы выяснить при разговоре, нежели перепиской.

Постараюсь ответить на Ваше доброе письмо по порядку. Не замечаю по письмам Смоленского, чтобы он был раздражен, вижу в нем больше желание работать, но он постоянно жалуется на крайнее утомление. В конце октября я получила от него отличное письмо с проектом хрестоматии древнерусских крюковых рукописей, согласно намеченному весной проекту издания. Кстати, Металлов прислал мне краткую смету таковой хрестоматии, но мне кажется, что 2-му Отделу предстоит еще немало трудов раньше, чем проект и связанная с ним смета могут быть повергнуты на обсуждение Комитета.

Смоленский писал мне: «Надежды на 2-й Отдел крепнут у меня в голове и в сердце, но публичная деятельность Отдела должна, думаю, сократиться, ибо “времена настали злые”... Зато можно сократить и все-таки делать свое дело. Работаю какими-то урывками, а то — голова кругом идет... Дело все-таки не остановилось и энергия не тухнет».

Кроме волнений от потрясающих родину событий, думаю, что переутомление Смоленского объясняется тем, что он не отдохнул за лето. Он мне писал, что его бюджет не дает ему возможности уехать из города, хотя бы для поездки по Волге, и отсюда заключаю, что неведомые нам раздражающие влияния, которых Вы опасаетесь, могут быть не что иное, как практические заботы и косвенно от них происходящая нервная усталость.

Ближайшим разрешением вопроса казалось ему самому поручение «описания церковно-певческих рукописей» за денежное вознаграждение. Вот тут и возникает для меня недоумение, о котором мне не пришлось говорить со Смоленским, но которым мне кажется необходимо поделиться с Вами.

Кому и для чего нужно такое описание, подробный и толковый указатель? Весь смысл его вижу в том, что это есть труд научный, необходимое предисловие ко всем прочим трудам по исследованию и изданию древнерусских напевов. Очевидно, в таком описании не нуждаются ни «Квиринал», ни даже современный «Ватикан», а потому едва ли дворцовое или синодальное ведомства дадут за него денежное вознаграждение. Весной я обратилась с подобным вопросом в Архив Министерства иностранных дел, где почему-то хранятся певческие рукописи XVII века, кажется, принадлежавшие [царю] Алексею Михайловичу. Владимир Львов предоставил Преображенскому все удобства для работы по составлению описания; он даже переслал рукописи в Министерство иностранных дел в Петербург, чтобы Преображенскому облегчить занятия; но Архив не нуждался в толковом указателе и не стал бы платить за него. В таких указателях нуждаются пока только отдельные труженики или ученые общества. Ни Государь, ни Синод не вникнут в настоящее время, сдастся мне, в значение всего предприятия, для успешности которого нужны полные и точные описания древних рукописей.

В Германии прусское «Cultus-Ministerium» дало «крюковеду» Флейшеру средства для путешествий с целью изучения рукописей для его «Neumen-Studien» — лучший труд о древних крюках; в Англии, в «Musical Notation of the Middle Ages»

описаны чуть ли не все средневековые певческие рукописи, хранящиеся в английских библиотеках; во Франции Bénédictines de Solesmes издают громадные фолианты крюковых, или невматических средневековых песнопений. У нас вижу пока два учреждения, готовых взять на себя крюковые издания, а именно Академию наук и Общество Любителей Древней Письменности. Но предварительное составление каталога рукописей от XV по XVIII век для дела необходимо. (Для рукописей домонгольского периода уже есть труд Н. В. Волкова.)

Смоленский пишет, что для довершения каталога ему нужен доступ к московским рукописям. Это дело при князе Ширинском-Шихматове так и не наладилось. Не найдете ли возможным заручиться содействием московского прокурора? Кто теперь в этой должности, не знаю. Если бы по примеру рукописей Архива Министерства иностранных дел рукописи Московского Синодального ведомства могли бы быть переведены в Петербург, это дало бы возможность Смоленскому работать над ними. Мечтаю о том, что, может быть, их перевели бы временно — и не все зараз, а постепенно, даже в помещение Общества Любителей; но если на это не согласятся, то хотя бы в Синодальное же ведомство в Петербурге. С князьями А. Д. и Н. Д. Оболенскими я не знакома, но мне кажется, что именно только Ваше слово, сказанное в интересах русской науки и древней письменности, может оказать действие. Не знаю, был ли бы Степан Васильевич со мною согласен, но мне кажется, что если Вы могли бы подействовать на прокурора в Москве и взять все дело под свое властное покровительство, то затем Смоленский, в качестве члена Общества любителей древней письменности и от Вашего имени, мог бы обратиться к князю А. Д. Оболенскому. Без Вашей защиты я бы опасалась за него вторичного отказа.

Может быть, если дело наладится с одним братом, то потом легче будет действовать через другого? Смоленский наверно без помощи не выйдет на тропу, путь к которой ему столько раз преграждали, но мне кажется, что эта помощь не в моих руках, а в Вашем горячем содействии. Так хотелось бы, чтобы Смоленский не чувствовал себя одиноким, а получил уверенность, что его труды нужны русской науке и любителям древней письменности. Труды эти пока представляются мне в следующем порядке:

1. Хрестоматия образцов с XI по XIV век, согласно постановлению [ОЛДП] 21—22 апреля.
2. Каталог тематический — в сущности свод всех композиций с XIV по XVIII век, найденных доселе. Этот каталог, громадный по объему, мог бы быть не напечатан, а только литографирован, для библиотек и людей, трудящихся в этой области.
3. Каталогизация певческих рукописей и история церковного пения за XVIII век (любимая мечта Смоленского), что зависит от доступа к архиву Министерства Императорского Двора.

Смоленский все ждал поручения свыше, но не напрасно ли? Мне кажется, это напряженное и тщетное ожидание вредно отзывается на его здоровье:

«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце», по словам Соломона. Конечно, если была бы возможна постоянная субсидия ему, ради прочной и крупной постановки всего дела через Общество, это было бы весьма желательным, — но возможно ли это, особенно в настоящее тяжелое время?

Древнерусские церковные напевы пережили уже много смут; исследование крюковых рукописей касается и русской истории, и старообрядцев, и искусства, и богослужения, и драгоценных лицевых памятников, — но кто теперь обратит на них внимание?

Вот почему, да еще при неопытности своей, не предвижу исхода из «практической стороны вопроса». Может быть, вопрос квартиры уладился в том смысле, как Вы упомянули мне в августе, и это несколько облегчило заботы Смоленского? От него ничего не знаю.

Возможности переезда нашего в Петербург не предвидим. Жалею, что Вас задерживает в деревне нездоровье; иначе была бы за Вас рада, что Вы вдали от городских тревог. Перед тем как кончить это непомерно длинное письмо, вспоминаю, что я виновата перед Вами и Людмилой Ивановной Шестаковой: она еще весной просила меня передать Вам, вместе с поклоном, что тот день, когда Вы к ней заходите, для нее праздник. Давно не имею от нее известий.

Пользуюсь случаем послать письмо в Москву, так как почта не действует.

Преданная Вам С. Волкова.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5070, л. 109—111 об.

Об упоминаемых в письме родственнике Волковой В. Е. Львове, немецком исследователе О. Флейшере, русском архивисте Н. В. Волкове, а также об изданиях западных невменных манускриптов бенедиктинскими монахами см. в переписке Смоленского с Волковой во второй книге тома.

В бумагах Волковой в РГАЛИ сохранился черновик данного письма; приводим фрагменты, дающие дополнительные нюансы к окончательному тексту:

Мне кажется, что каталогизация дворцовых рукописей могла бы дать ему лишь временное дело и вознаграждение совершенно незначительное. Впрочем, спрошу об этом Смоленского, и если ошибаюсь, то сообщу Вам о том. Смоленский же писал мне, что лишь *вознаграждение постоянное* могло бы дать ему возможность спокойно работать и жить в Петербурге. Трудов по каталогизации рукописей XV—XVIII веков Дворцового Ведомства, московских, казанских и многих других, по изданию этих каталогов, по изданию хрестоматии, по изданию Миней XVII века и проч. хватило бы на несколько лет. <...>

Вижу три стороны вопроса:

1. Немилость Смоленского — и следовательно желание уврачевать его самолюбие поручением свыше — об этом, мне кажется, что пока приходится отложить попечение.

2. Желание дать Степану Васильевичу возможность плодотворно трудиться для любимого им и нужного России дела — к чему, мне кажется, следует приложить все старания, на пользу Смоленскому и делу.

3. Необходимость денежного вознаграждения за эти труды. Пенсия, получаемая Смоленским, представляет собою лишь признание прежних трудов его как директора Синодального училища и Капеллы.

Совершенно ли невозможно ходатайствовать о назначении ежегодной субсидии Смоленскому или еще лучше Обществу Л.Д.П., хотя бы на известный срок, для трудов по каталогизации, собиранию и изданию крюковых и проч. древних певческих рукописей? Мне кажется, это сразу поставило бы все дела шире и крупнее. Но надо для этого, чтобы значительность этого дела была признана ходатайствующими. <...>

Что может быть естественнее, нежели то, чтобы О.Л.Д.П. заинтересовалось богослужебными певческими рукописями и выступило заступником драгоценных древностей, гибнущих без призора? Может ли другая отрасль древней письменности сравниться по ценности с книгами богослужебными?

Поэтому я горячо желала бы, чтобы все шаги в этом деле были сделаны от имени Общества и чтобы все дело было обосновано возможно прочнее.

Академия Наук, может быть, согласилась бы на два издания — хрестоматии и древнейшего памятника, но этого мало.

Кроме Академии и Общества Л.Д.П. не вижу, какое общество могло бы теперь интересоваться научной стороной дела. Что же касается стороны певческой, то старообрядцы, пожалуй, отнесутся живее, нежели «Ватикан» и «Квиринал» в данное время.

Мне не ясно, откуда может исходить денежное вознаграждение, но мне кажется, что сейчас «Квиринал» и «Ватикан» не нуждаются в каталогах и не увидят причины платить за них. Нуждаются в них русская наука, старообрядческая, литургическая, церковнопевческая и просто музыкальная, и — наконец — быть может, Любители Древней Письменности.

Итак, за лето в моих мыслях без ведома Смоленского возник вопрос. Не вытекает ли отсюда, что денежное вознаграждение за труды по составлению каталогов может взять на себя не ведомство, где хранятся рукописи, а общества, радеющие об исследовании (изучении) родных рукописных памятников?

Для Смоленского поручение свыше было бы особенно лестно, как врачевание за понесенную обиду, — но тут, пожалуй, оправдается поговорка — за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

(РГАЛИ, ф. 723, № 47, л. 1—2. Черновик к предыдущему письму)

С. С. Волкова — С. Д. Шереметеву

Петербург, 19 января [1906]

Многоуважаемый Граф Сергей Дмитриевич,

в ноябре Вы писали мне, спрашивая, не могу ли я переговорить с «Ватиканом» о деле крюковых рукописей. Не знаю, получили ли мое ответное письмо? В это время я не предвидела случая повидаться с князем А. Д. Оболенским, — но случай сегодня представился и я им воспользовалась. Князь Оболенский назначил С. В. Смоленскому прием в субботу в 5 1/2 часов.

Мне очень хотелось бы до этого написать князю Оболенскому в дополнение к сегодняшнему краткому разговору, но не смею сделать этого не по-видавшись с Вами. Могу ли надеяться видеть Вас в пятницу или в субботу?

С. Волкова.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, ч. 1, № 302, л. 2—3

Письмо С. С. Волковой к А. Д. Оболенскому от 20 января 1906 см. в Приложении к книге (раздел «Проекты Смоленского»).

С. Д. Шереметев — С. С. Волковой

Петербург, 31 января 1906

Многоуважаемая Софья Сергеевна.

Простите, что так долго не отвечал Вам на любезные строки Ваши, одна из причин тому — желание предварительно договориться с С. В. Смоленским, который как раз теперь был очень озабочен своими переговорами с обер-прокурором.

Не знаю, известно ли Вам, что ему было предложено, но он справедливо уклонился от переезда в Москву. Если подобное же поручение, исходящее от Ватикана, повторилось бы и со стороны Квиринала, то при наличии двух братьев оно могло бы облегчиться, и то, что Вам так хорошо удалось с одной стороны, — желательно бы повторить и с другой. Впрочем, обо всем этом легче говорить на словах, и потому я особенно приветствую, что С. В. убедился в своевременности заседания по 2-му Отделу Общества Письменности*. Следовало бы его в этом поддержать до предполагаемого его отъезда куда-то, о чем он мне намекал. Ему предложили вознаграждение в две тысячи рублей за описание певческих рукописей, но с условием переезда в Москву. Если б ему одновременно поручено было описание певческих рукописей Министерства Двора, то вознаграждение могло бы прибавиться, отъезд в Москву становился бы ненужным, а певческие рукописи московские, безопасно для хранения их, могли бы постепенно доставляться в Общество Письменности (как то принято и водится между Обществами), и таким образом он не оторвался бы от 2-го Отдела, где участие его столь дорого, ради поднятых им вопросов в связи с начавшимися работами.

При сем позвольте Вам представить прекрасное слово, сказанное в день погребения общей нашей свойственницы, глубокочтимой Александры Ивановны Булыгиной.

Преданный Вам С. Шереметев.

РГАЛИ, ф. 723, № 72, л. 8—9

* *Примечание С. С. Волковой:* Заседание состоялось 6 февраля. 7-го я простудилась и заболела настолько тяжело, что до лета не могла поправиться и не имела сил

для занятий или хлопот. Эта зима оказалась нашей последней в Петербурге. К весне здоровье матери ухудшилось.

С. С. Волкова — С. Д. Шереметеву

Петербург, 7 марта 1906

Многоуважаемый Граф Сергей Дмитриевич,

уже 7 февраля я с большим удовольствием получила от В. В. Майкова 50 экземпляров [своей] брошюры «о напевах» и успела разослать большую часть их; Ваш любезный вопрос дает мне смелость попросить еще несколько экземпляров, если окажется, что желательно разослать их еще кой-кому.

Смоленский с неделю назад писал мне из Москвы в отличном настроении и с горячей к Вам благодарностию. Не знаю, как он теперь поживает.

Я поправляюсь, но работать пока не приходится.

Тураев писал мне, что нашел вечер 6 февраля очень интересным; это тем более приятно, что совершенно для меня неожиданно.

Прошу Вас передать мой почтительный привет графине.

С. Волкова.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, ч. 1, № 302, л. 4—5

Благодарность Смоленского была связана с заботой, проявленной по отношению к нему семейством Шереметева при несчастном случае в Москве (перелом ноги).

С. Д. Шереметев — С. С. Волковой

[Петербург,] 31 марта 1906

Многоуважаемая Софья Сергеевна.

Все это время был нездоров бронхитом и теперь еще не выезжаю. Вам известно, конечно, о случае со Смоленским в Москве; но известно ли Вам о новой затее или вернее о новом хорошем деле его, о замышляемой им экспедиции на Афон с группою лиц по вопросам церковно-певческих рукописей? Теперь нужно его побудить как можно «яснее» изложить цели и основания поездки и ожидаемый от нее результат. Когда все это будет ясно изложено, то и выполнение экспедиции станет осуществимым под стягом того же нашего Общества. Только нужно сдерживать С. В. в известных рамках, иначе он расплывется, по обычаю. К сожалению, перелом ноги наполовину сократил его работу, которую он думает наверстать после Пасхи. Вопрос о ноге его также в полнейшем тумане; а меж-

ду тем в делах нужна прежде всего точность, и Обществу необходимо будет знать, когда может состояться экспедиция и при каких наличных силах. Нужно иметь уверенность, что лица, упоминаемые Смоленским, все с ним поедут.

Искренно Вам преданный С. Шереметев.

РГАЛИ, ф. 723, № 72, л. 10—10 об.

С. С. Волкова — С. Д. Шереметеву

Петербург, 5 мая [1906]

Многоуважаемый граф Сергей Дмитриевич.

Благодарю Вас за присылку писем [Рачинского]. Очень рада, что прочтение их доставило Вам удовольствие. Для меня они удивительно живо напоминают писавшего их.

Уезжаю сегодня в Москву, надеюсь вернуться в четверг или пятницу и прожить несколько дней в Петербурге и Царском Селе.

С. Волкова.

Простите, что задержала Вашего посланного. Хотелось переговорить с графиней М. Н. Толстой по телефону, но это не удалось.

С. В.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, ч. 1, № 302, л. 6

Фрагменты из переписки Волковой с С. А. Рачинским см. в Приложении к публикации ее переписки со Смоленским во второй книге данного тома.

С. С. Волкова — С. Д. Шереметеву

Марьино Новгородской губернии, 19 мая 1906

Многоуважаемый граф Сергей Дмитриевич,

Ваше письмо от 31 марта было мной получено в Риге, когда я только что отправила Вам привет к Пасхе; не знаю — дошла ли до Вас моя поздравительная карточка. В то время мне не были известны никакие подробности о предполагаемой поездке на Афон, и поэтому я затруднялась ответить Вам. Когда же в конце апреля я вернулась на Надеждинскую, то не застала Вас в Петербурге.

Я повидала Смоленского. От души радуюсь всему, что узнала от него о предстоящей поездке, и надеюсь, что это предприятие увенчается успехом и принесет, Бог даст, много пользы.

Радуюсь также и за Смоленского, что он будет вдали от современных пререканий и займется, на пользу грядущих поколений, сокровищами старины.

Мы наняли на лето и даже на будущую зиму дачу в Царском Селе, на Павловском шоссе, № 7, куда надеемся переехать в первых числах июня.

Прошу Вас передать графине мой почтительный привет и желаю Вам хорошо провести лето.

С. Волкова.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5073, л. 68—69

С. Д. Шереметев — С. С. Волковой

Михайловское, 21 июня 1906

Многоуважаемая Софья Сергеевна.

Прошу извинить меня, что так давно не откликнулся на Ваши любезные строки. Верьте, что я искренно сочувствовал Вашим заботам и Вашим волнениям. Дай Бог матушке Вашей и Вам скорейшего выздоровления.

Наш друг в полном ходу и проплыл уже Эгейское море. Теперь он на Афоне и, видимо, доволен, судя по его строкам. Кажется, ему предстоит обильная жатва, и таким образом след этой экспедиции должен остаться прочным.

Пока остаюсь здесь неподвижно по пословице: «от добра добра не ищут». Прошу передать мое глубокое почтение Вашей матушке, а Вас, многоуважаемая Софья Сергеевна, прошу принять выражения моего истинного почтения и совершенной преданности.

С. Шереметев.

РГАЛИ, ф. 723, № 72, л. 11

Переписка С. Д. Шереметева и С. С. Волковой дошла до нас не полностью. Помимо прочего, об этом свидетельствует записка Волковой, сохранившаяся в ее бумагах и относящаяся к 1921: в ней речь идет о передаче известному музыковеду С. С. Попову для прочтения ряда материалов, связанных со Смоленским, в том числе 13-ти писем Шереметева к Волковой (РГАЛИ, ф. 723, № 21, л. 40).

Сохранившиеся документы освещают в основном тему «особого поручения», которого пытались добиться для Смоленского совместными усилиями корреспонденты, а также намечавшуюся программу деятельности 2-го Отдела ОЛДП. Переписка Шереметева и Волковой в достаточной мере комментируется как перепиской Смоленского с Шереметевым, так и специальным разделом в Приложении к книге, где приводятся тексты обращений Смоленского к государю и к Св. Синоду и сопутствующие им документы. Переписка Шереметева и Волковой дает также дополнительные штрихи к психологическому портрету Степана Васильевича в его поздние годы.

Переписка с К. П. Победоносцевым



«...Возвращение русской музыки на путь церковный»

Вступительная статья к переписке с К. П. Победоносцевым

Публикуемая переписка Смоленского с К. П. Победоносцевым значительно отличается от других переписок данного тома, в том числе по объему. Поскольку в этом случае корреспонденты не оставили цельных подборок писем, то документы пришлось выявлять в разных фондах и хранилищах. Например, небольшая коллекция писем Победоносцева к Смоленскому попала в Отдел рукописей (Музейное собрание) РГБ; опять-таки небольшое количество его посланий, связанных с московским периодом деятельности Степана Васильевича, Смоленский сам включил в подборку писем выдающихся людей, которую, покидая Москву, оставил в Синодальном училище (ныне — в ОПИ ГИМ); некоторые письма Победоносцева или, чаще, их фрагменты пересылались (или переписывались) для Смоленского другими его корреспондентами, преимущественно С. А. Рачинским. Письма Смоленского к Победоносцеву сохранились либо в копиях в архиве Смоленского в РГИА (преимущественно вклеенные в его Дневники), либо в оригиналах в фонде Рачинского в РНБ: их пересылал иногда Рачинскому сам Победоносцев. С уверенностью можно утверждать, что сохранилось далеко не все, причем в особенности это касается писем Смоленского, что объем переписки был значительно больше имеющегося сейчас. Вместе с тем, несомненно, сохранились главные документы, обозначающие основные вехи в творческом пути Смоленского; поэтому большинство из публикуемых писем Степана Васильевича — это пространные, хорошо обдуманные и, вероятно, не один раз правленные послания. Собственно, иначе в этом случае и быть не могло: слишком ответственным делом являлось обращение к столь высокопоставленному и столь занятому государственному человеку, каким был Победоносцев. Кроме того, вплоть до 1901 Победоносцев являлся для Смоленского «начальством»: только перейдя на службу в Капеллу, принадлежавшую к Министерству двора, Смоленский «ушел» из подчинения Победоносцеву, но и при этом целый ряд его планов оставался связанным с синодальным ведомством. Неудивительно, конечно, и то, что обращенные к Смоленскому письма Победоносцева лаконичны и содержат либо распоряжения и просьбы, либо очень краткие ответы на вопросы корреспондента.

Явная неполнота данной переписки не соответствует исключительно важной роли, которую сыграл Победоносцев в судьбе Смоленского. Между тем, в наличии имеются документы, которые позволяют восполнить пробелы: это прежде всего огромная, многолетняя переписка Победоносцева с его ближайшим другом и любимым наставником Смоленского — Сергеем Александровичем Рачинским, а также письма к Победоносцеву учителя и родственника Смоленского — Николая Ивановича Ильминского. Письма Победоносцева к Рачинскому, тщательно сохраненные последним, до сих пор не опубликова-

ны, хотя эта переписка представляет собой выдающийся по значению эпистолярный памятник. Письма Ильминского были опубликованы после его кончины и при жизни Победоносцева — по предоставленным им оригиналам. Фрагменты этих материалов помещаются в Приложении к данному разделу, смонтированные так, чтобы стали ясны как роль обер-прокурора на протяжении почти всей «карьеры» Смоленского, так и многие важные моменты биографии Степана Васильевича, до сих пор мало освещенные. В тот же «монтаж» дополнительно привлекаются материалы переписки Рачинского с С. С. Волковой и некоторые другие документы, а в комментариях — материалы переписки Рачинского и Смоленского, тоже длительной, охватывающей почти два десятилетия. Относительно последней из названных переписок можно опять-таки говорить о выдающемся эпистолярном памятнике, практически тоже не опубликованном. Обращение к этой (хорошо сохраненной, хотя и «поделенной» между Москвой и Петербургом) переписке входит в планы составителей данной серии, однако количественно она столь велика (более полутысячи писем), что подобный проект не может быть осуществлен в скором времени. Тем более важно дать некоторые письма хотя бы фрагментарно. Кроме того, подборка хронологически восполняет тот период, который совсем не отражен в переписках с Шереметевым и Волковой, то есть казанские годы, и — в меньшей степени — московский период до последних его лет, то есть до конца 1890-х, когда Смоленский начинает часто писать Шереметеву, а затем и Волковой.

Удивительное внимание, проявленное Победоносцевым в 1880-е годы к делам и судьбе скромного педагога казанской Учительской семинарии, связано не только и не столько с талантами самого Степана Васильевича — безусловно, редкими и замечательными. Поощряя практические и научные труды Смоленского предоставлением субсидий на их публикацию, привлекая его к деятельности Учебного комитета при Св. Синоде и, наконец, выдвинув его «Азбуку Александра Мезенца» на Макарьевскую премию и подписав его назначение директором Синодального училища и хора, Победоносцев исполнял пожелания, советы, просьбы тех людей, которым он безоговорочно доверял, которых искренно любил и уважал. Это был прежде всего Рачинский, а также Ильминский. Смоленский же почитал этих людей не менее чем родного отца: Ильминский в известной степени и заменил ему отца в годы молодости, а Рачинский стал его главным духовным руководителем в годы зрелости. Встреча с Рачинским была самым большим счастьем, самой большой удачей в судьбе Смоленского, и эта звезда, ведшая его через сложные жизненные перипетии, закатилась с кончиной Рачинского в 1902 (Ильминский скончался десятилетием ранее). Замены таким людям Степан Васильевич не нашел, хотя и искал, как показано выше, в общении с Волковой и Шереметевым, тоже часто исповедальном.

Здесь, безусловно, не место давать характеристики столь уникальным личностям, какими были Рачинский и Ильминский. Собственно, люди они совсем

разные, и круг их жизненной деятельности был разным: Ильминский был известен в педагогических и особенно миссионерских кругах, отчасти в среде славистов и лингвистов; Рачинский, тоже очень известный в педагогической сфере, имел в числе своих близких знакомых Льва Николаевича Толстого и Петра Ильича Чайковского. Один был не более чем директором казанской школы для крещеных инородцев, другой происходил из старинной аристократической семьи и с юности принадлежал к высшему обществу Москвы и Петербурга. Рачинский и Ильминский лично не встречались, но переписывались, а главное, пристально следили за деятельностью друг друга, постоянно ощущая близкое духовное родство. Характеристика, которую дал Ильминский Рачинскому в одном из писем к Победоносцеву, вполне может быть «обращена» и на него самого: в сочинениях «татевского подвижника и светильника», писал Ильминский,

светские знания... так сказать, облиты господствующим церковно-религиозным и нравственно-воспитательным колоритом: так от лучей восходящего или нисходящего солнца всякая болотина и всякая кочка горит огнем и блещет бриллиантами¹.

Оба были чистейшими идеалистами, отказавшимися от открывавшейся перед ними великолепной академической, научной карьеры в пользу служения народу, но отнюдь не в специфически «народническом» смысле данного понятия.

Ильминский в этом смысле фигура, может быть, более понятная, более однозначная: выходец из духовной среды, одаренный редкими лингвистическими талантами, а также прямым и упорным характером, он по окончании Казанской духовной академии пошел не по пути кабинетного ученого, а по пути «деятеля жизни». Общаясь с многочисленными народностями Поволжья, вникая в их быт, изучая их языки, полюбив этих людей и сочувствуя им, он стал заботиться об их просвещении, создав первую сеть школ, где преподавание велось на родных языках этих народов, где учителями были выпускники казанской Учительской семинарии, возглавляемой Ильминским. Главной его задачей как филолога являлся поиск средств для передачи на языках этих народов, а также и на языках других «малых народностей» России, богатейшего содержания книг Священного Писания и богослужебных книг. Казань и ее духовная академия являлись тогда центром православного миссионерства, там трудилось немало талантливых ученых, и еще больше преданных своему служению людей, главным образом из духовенства, учились в Казани и приезжали туда для обсуждения и издания своих переводов. Редкая духовная красота таких деятелей нашла отражение на страницах Воспоминаний Смоленского, который, закончив юридический факультет университета и не найдя себя

¹ Письма Николая Ивановича Ильминского. Казань, 1895. С. 169—170.

в судебной деятельности, по совету Ильминского закончил второй факультет и стал педагогом географии в инородческой семинарии, где еще раньше нашел применение своим музыкальным талантам, а несколько позже — своим талантам историка и археографа.

В Воспоминаниях Степан Васильевич писал:

Время от 1875 по 1887, когда я, полный силы, энергии, любознательности, переменил свою судебную деятельность на педагогическую и с увлечением работал над своими курсами церковного пения, географии и истории (общей и русской), я считаю лучшею порою моей жизни².

В отношении пения Ильминский, по словам его биографа, требовал, чтобы «инородческое церковное пение, будучи свободным в своем развитии, не уклонялось от священных образцов и форм русской богослужбной музыки». Но, продолжает историк, пересказывая мысли Ильминского,

церковные напевы нельзя слишком буквально и механически перелгать с русских текстов на инородческие... частью потому что в переводе может быть другое количество слогов и речений, а еще более потому, что при иной своеобразной инородческой конструкции выразительные и особенно сильные слова в инородческом переводе получают совсем другое место, чем в русском тексте. Поэтому изложение церковных напевов в инородческом переводе требует особого умения и искусства...³

Именно овладением подобным искусством занимался под руководством Ильминского Смоленский, и именно такое проникновение в «конструкцию» обычного русского церковного пения стало фундаментом всех его дальнейших достижений.

С Победоносцевым Ильминский познакомился еще в 1870-е годы, впоследствии Константин Петрович посещал Казань и ее инородческую семинарию, слушал хор, которым руководил Смоленский, и на посту обер-прокурора всячески способствовал многосторонней деятельности Ильминского. Письма последнего к Победоносцеву даются в Приложении с некоторыми «излишествами», то есть включают фрагменты, не относящиеся непосредственно к Смоленскому, но показывающие круг интересов его учителя, отношение Ильминского к людям, его подход к церковнославянским текстам, которыми он неутомимо занимался. Влияние Ильминского заложило, несомненно, фундамент

² РДМ. Т. IV. С. 202.

³ С.М.П. [Священник М. П. Петров]. Положение инородцев в Волжско-Камском крае и просветительная система Н. И. Ильминского // Николай Иванович Ильминский. Сб. статей. Казань, 1916. С. 97—98.

мировоззрения Смоленского как ученого и как педагога; нетрудно заметить, что и сама эпистолярная манера учителя находит отражение в письмах Смоленского и ранних, и особенно зрелых лет. Показательно также, что при почтительном тоне Ильминский пишет Победоносцеву совершенно свободно и даже, в некоторых отношениях, как коллеге-ученому, на что, разумеется, имел основания: Победоносцеву была совсем не чужда историко-филологическая проблематика, и он хорошо разбирался в подобных вопросах.

Как ценил Победоносцев Ильминского, можно понять из глубоко прочувствованных строк, написанных им памяти Николая Ивановича в 1892:

Мир человеческий — та же вселенная, и тоже держится силою тяготения. Избранная душа с глубоким чувством благожелания, с горячим стремлением к правде в жизни — тоже светило, силою коего держится, движется и обращается целый мир малых светил, ибо действие одной души на другую безгранично и бесконечно. Таким светилом был в кругу своем незабвенный Николай Иванович. Это был поистине учитель в высшем значении слова, светильник, от которого многие огни загорались ясным светом. Ученики его во множестве разошлись, им наученные и направленные по дальнему Востоку учителями, священниками, диаконами инородческих местностей; из глубины пустынь оренбургских, иркутских, алтайских, якутских отзывались сочувственные голоса на зов его, к нему обращались за советом и одушевлением — не именитые, не знатные, не богатые, но те «малые и простые», кои работают по темным углам, проливая свет посреди мрака, холода и неведения. <...>

Другой такой ясной и чистой души не приходилось мне встречать в жизни: отрадно было смотреть в глубокие, добрые и умные глаза его, светившие в душу внутренним душевным светом, а беседа его была ни с чем несравненная... Когда он говорил о Священном Писании, особливо о псалмах, которые любил особенно, о богослужебных песнопениях — как оживлялось лицо его, каким свежим ключом лилась из уст его речь, исполненная глубоких философских и филологических сближений, поэтических образов, картин из природы...⁴

Иные, и гораздо более близкие, отношения связывали Победоносцева с С. А. Рачинским. В свое время, в начале 1860-х они оба были молодыми профессорами Московского университета, блестящими, известными всему городу лекторами, сторонниками и защитниками реформ этой эпохи. Далее, во второй половине 1860-х, их пути круто разошлись: Победоносцев был призван в Петербург для чтения лекций наследнику Николаю Александровичу (и другим молодым представителям царствующей семьи), после кончины цесаревича он стал наставником его брата, в будущем императора Александра III, и после его восшествия на престол — обер-прокурором Св. Синода и едва ли не са-

⁴ Победоносцев К. П. Н. И. Ильминский. СПб., 1892. С. 12—13.

мой влиятельной фигурой всего царствования, а также учителем следующего императора — Николая II. Рачинский во второй половине 1860-х, покинув Московский университет из-за известной истории с ограничением университетской автономии, уехал в родовое имение Татево в Смоленской губернии (ныне Тверская область), там заинтересовался школой для крестьянских детей, которую основала его сестра, и постепенно так глубоко вошел в это дело, что стал сам каждый день учить в школе и затем развил целую сеть учебных заведений, куда со временем пришли педагогами его же ученики. Отчасти путь Рачинского напоминает об известном этапе в биографии Л. Н. Толстого с его яснополянской школой, но то, что для великого писателя явилось этапом, для Рачинского стало делом всей жизни.

Сколько-нибудь полная биография Рачинского до сих пор не написана⁵, и нам неизвестно в подробностях, что именно — в плане внутреннем — послужило причиной резкой перемены в его жизни; возможно, дело было не только в «университетской истории». В личности Рачинского чувствуется неразгаданная тайна. Такое ощущение возникало и у людей, лично знавших Рачинского. Как писал один из мемуаристов, он покориал «неожиданностью своих поступков, так они были необычны, непохожи на все другие и так глубоки по своему смыслу»⁶. Но как бы то ни было, основным мотивом, конечно, выступало сознание долга и исторической ответственности.

Историческая минута, переживаемая нами — минута великая и страшная. При вашей жизни, на ваших глазах завершится приобщение путем быстрого распространения грамотности многочисленнейшего из христианских народов мира к первым ступеням жизни сознательной,

— писал Рачинский в начале 1860-х⁷.

Однако до того времени, когда Рачинский почти безвыездно поселился в Татево, им была прожита другая, очень насыщенная разными событиями жизнь. По отцу Сергей Александрович принадлежал к весьма древнему польскому роду, издавна находившемуся на русской службе, по матери — был пле-

⁵ Хотя о Рачинском в последние годы появилось немало публикаций, они главным образом посвящены «прикладной» проблематике церковно-приходской школы и методов обучения в ней. Исключением из этого ряда является книга М. Е. Стеклова «С. А. Рачинский — народный учитель» (М., 2002), где, несмотря на заглавие, речь идет не только об «учительстве». В значительной степени это относится и к небольшой, но в высшей степени содержательной статье О. Е. Майоровой «Московский педиметр. Из истории русского утопизма» (Лица. Биографический альманах. Вып. 4. М.—СПб., 1994).

⁶ Цит. по: Стеков М. Е. Указ. изд. С. 18—19.

⁷ Рачинский С. А. Из записок сельского учителя. СПб., 1890. С. 15.

мянником поэта Баратынского. Он учился в Дерпте, закончил физико-математический факультет в Москве как биолог, продолжал совершенствоваться в Германии у крупнейших ученых той эпохи, защитил диссертацию по ботанике, занимаясь одновременно философией и богословием, а также музыкой: находясь в Веймаре, он сблизился с Ференцем Листом, в Москве — с Чайковским. О степени музыкальной грамотности Рачинского говорят хотя бы те факты, что впоследствии он свободно читал хоровые партитуры и разучивал их с хором татевской церкви, что он сумел высоко оценить Палестрину и рекомендовал его сочинения для исполнения в Синодальном хоре, что он сам исполнял для крестьянских детей Пассионы Баха на рояле или на фисгармонии. Особенно близок был Рачинский к московским славянофилам и даже перевел на немецкий язык «Семейную хронику» С. Т. Аксакова. Уехав в Татеву, он сохранял старые связи, и едва ли не самым главным памятником жизни Рачинского стали не его переводы, не его великолепные статьи в периодике (особенно в аксаковской «Руси»), а отобранные и переплетенные им самим десятки толстых томов писем к нему — то, что он называл оправданием своей жизни, «обозом к потомству». Всякий, кто знакомился с письмами самого Рачинского, согласится, что они по крайней мере составляют еще один «обоз», вряд ли менее ценный, чем собранный в толстых томах писем к нему. Со временем бывший «московский говорун», а ныне «татевский отшельник» стал для многих, часто очень влиятельных, обитателей обеих столиц своего рода арбитром, советчиком, учителем жизни. В частности, и Победоносцев писал ему очень регулярно и советовался о многом; нередко именно Рачинский являлся «скрытой пружиной» многих административных действий обер-прокурора.

Конечно, Рачинский, опубликовавший в начале 1880-х в московской газете И. С. Аксакова «Русь» покорившие всю страну «Письма о сельской школе» (одно из них, связанное с искусством, напечатано в III томе РДМ), был необычным школьным учителем и сам сознавал, что с его уходом придет конец тому вдохновенному, артистическому преподаванию, которое царило в его школах. В Воспоминаниях Смоленский называет Рачинского «художником-аристократом с головы до ног»: живя в глуши, он все читал и все знал по многим дисциплинам. Как пишет Смоленский,

огромное образование, художественное чутье и теплая любовь ко всему русскому давали ему возможность делать иногда самые остроумные сближения... В церковном древнем пении, особенно же в крюковой нотации, он не имел никаких сведений, но, слушая мои о том и другом посильные ему пояснения, он иногда самым поразительным образом вдруг угадывал подробности, тут же сближал их, воодушевлялся и читал мне экспромтом целую лекцию о предмете, знакомом мне ранее его, но не разгаданном мною в новом для меня значении⁸.

⁸ РДМ. Т. IV. С. 413—414.

Действительно, письма Рачинского к Смоленскому поражают исключительно чуткими догадками в очень специальных областях древнего церковного пения и музыкальной палеографии. Знакомство их сначала состоялось в эпистолярном общении, личная же встреча летом 1886 года подтвердила впечатления Рачинского:

Право, мне иногда кажется, что я одарен медиумическими способностями, — писал он Победоносцеву. — Смоленский — *материализация* того преподавания музыки, о коем я всегда мечтал для моих учеников. И он сам вздумал приехать ко мне!

Поверив в Смоленского, Рачинский повел его по жизни, не бросая до последних своих дней. Даже чтение фрагментов их переписки в Приложении к этому разделу, не говоря уже о полной эпистолярии, убеждает, что не было такого важного события в жизни Смоленского, которое не было бы «устроено» Рачинским (сначала также при дополнительном воздействии на обер-прокурора со стороны Ильминского): от получения субсидии Св. Синода на издание первой работы Степана Васильевича — «Курса хорового церковного пения» до назначения в Придворную капеллу (включая также знакомства с С. Д. Шереметевым и С. С. Волковой). К Победоносцеву Рачинский умел в нужных случаях применять тонкие дипломатические приемы: например, соглашаясь с его претензиями к неуживчивому характеру Смоленского, но упорно проводя мысль, что замены такому человеку нет и нужно, несмотря ни на что, его поддерживать. В отношении церковного пения Рачинский был для Победоносцева безусловным экспертом, так как сам обер-прокурор, любя церковное пение, не особенно в нем разбирался, как, впрочем, и Ильминский. Хотя и у Рачинского возникали некоторые претензии к деятельности Смоленского в Москве — в частности, одно время он опасался, что с Синодальным училищем произойдет то, что произошло с Капеллой, куда по его же рекомендации внедрили Балакирева: то есть перерастание школы церковного пения во «вторую консерваторию», — тем не менее окончательный вывод, сделанный им в письме к Победоносцеву в декабре 1900 года, звучит так:

Конечно — художественное совершенство вокального исполнения, создание музыкальной археологии отечественной — не прямые цели, поставленные Синодальному училищу и хору. Но ведь эти сверх-программные вещи могут вдохнуть истинную жизнь во всю нашу церковно-певческую практику. Вы это чувствуете сами, и добрая поддержка, которую Вы постоянно оказывали Смоленскому — одна из великих Ваших заслуг.

Именно такая, «художественная» позиция была поистине плодотворной для обновления церковно-певческой жизни, и Рачинский был одним из очень

немногих, кто это понимал. Отношение Рачинского к церковному пению гармонично согласуется с тем общим «утопическим» смыслом его жизни, о котором пишет современный исследователь:

Утопия Рачинского по духу своему была панэстетической утопией, всеми сторонами «замыкавшейся» на красоту: цельный патриархальный мир, покоряюще-гармоничный сам по себе, служил безошибочным критерием прекрасного, — избавляя от надуманного и ложного, и главное — мог, очнувшись от векового сна, стать почвой будущего совершенного искусства⁹.

Вместе с тем, Рачинский сознавал, что кроме «сверх-программных вещей» необходим и повседневный «хлеб насущный», каким стали для него и его деревенских хоров четырехголосные переложения Смоленского (литургия, всенощная, молебное пение, панихида), опубликованные — по настоянию Рачинского и с копий, выполненных им самим, — как приложение к «Церковным ведомостям» за 1893. По поводу этих переложений им была написана заметка для «Русского обозрения»; цитаты из нее, касающиеся прямо переложений, приводятся в этом разделе далее, но особенно важна еще одна общая позиция, выдвигаемая Рачинским:

...Не могу достаточно рекомендовать... издание и тем из читателей, которые не имеют прямых отношений к делам церковным и школьным, но коим дорога музыка, дорого церковное благолепие. Музыкальные сокровища церковного круга недостаточно известны большинству из нас. <...> Исполнение переложений на фортепиано — еще лучше на фисгармонике — доступно всякому, кто когда-либо касался клавишных инструментов. Знакомство с нашими древними церковными напевами составляет столь же существенный элемент музыкального воспитания, как знакомство с богослужебными текстами — воспитания литературного, и последнее без первого мертво и неполно. Богослужебные наши книги составлены не для кабинетного чтения, а для церковного исполнения. Обозначение в них гласов, подобнов и т. д., то есть напевов, присвоенных каждому отдельному песнопению, одно позволит нам и при чтении оценивать впечатление, производимое этими текстами при исполнении церковном.

Возвращение нашего искусства на путь церковный, столь блистательно осуществленное в области живописи работами В. М. Васнецова и его сподвижников, несомненно подготавливается и в области музыки¹⁰.

Это высказывание хочется продолжить вдохновенными словами из писем Рачинского о сельской школе:

⁹ Майорова О. Е. Цит. изд. С. 70.

¹⁰ Рачинский С. Музыкальная заметка // Русское обозрение, 1894, март. С. 174—175.

Есть ли надобность перед людьми, обладающими хоть тенью музыкального чутья, настаивать на несравненной красоте наших древних церковных напевов?.. Тому, кто окунулся в этот мир строгого влияния, глубокого озарения всех движений человеческого духа, тому доступны и Бах, и Палестрина, и самые светлые вдохновения Моцарта, и самые мистические дерзновения Бетховена и Глинки¹¹.

Отсюда и ответ на вопрос, почему именно Смоленский оказался для Рачинского, говоря его же словами, «материализацией того преподавания музыки, о коем я всегда мечтал для моих учеников». Потому что, продолжим цитировать «Русское обозрение»,

Смоленский соединяет с обширнейшим знанием западной музыки, церковной и светской, такое знание нашего церковного музыкального творчества, какое возможно только человеку, всю жизнь трудившемуся над первоисточниками этого знания, и педагогическую опытность, согретую духом истинно церковным¹².

Может быть поставлен вопрос, каким образом К. П. Победоносцев, которого нередко представляли «злым гением» русской истории, во всяком случае деятелем, чья роль в истории русской церковной жизни далеко не однозначна, — каким образом этот человек мог быть душевно близким с такими светлыми, любящими и всеми любимыми людьми, как Рачинский или Ильминский, почему и Смоленский не только уважал Победоносцева, но был привязан к нему, впоследствии глубоко переживал его отставку и кончину. «Много надо терпения и такта, чтобы вести себя так очаровательно, каков именно был наш милый и умный гость», — пишет он, например, о посещении обер-прокурором Синодального училища в 1890.

Личность Константина Петровича Победоносцева богата и многогранна, и к людям круга Смоленского она была обращена своей лучшей, задушевной стороной, не видимой большинству. Как известно, сам обер-прокурор наиболее ценным из своих деяний на высоком посту считал возрождение и укрепление народной церковной (приходской) школы. Здесь Рачинский, Ильминский, Смоленский были его полными союзниками, и более того, вдохновителями: их примеры показывали, чем может стать церковная школа в руках талантливых людей, хотя, конечно, Победоносцеву было ясно, что школы Рачинского и Ильминского — индивидуальные произведения педагогического искусства, не воспроизводимые буквально.

Наверное, мог иметь значение также личный мотив.

Напомним характеристику, данную Победоносцеву его «сослуживцем» и во многих отношениях оппонентом — С. Ю. Витте:

¹¹ РДМ. Т. III. С. 351.

¹² Рачинский С. Музыкальная заметка. С. 171.

Это был человек несомненно высокодаровитый, высококультурный и в полном смысле слова человек ученый. Как человек он... был наполнен критикой разумной и талантливой, но страдал полным отсутствием положительного жизненного творчества... Тем не менее я должен сказать, что из всех государственных деятелей России, с которыми мне пришлось иметь дело во время моей... государственной карьеры... Константин Петрович Победоносцев был человек, наиболее выдающийся по своему таланту, или, вернее, не столько по таланту, как по своему уму и образованию; мне было приятнее всего беседовать с Победоносцевым, гораздо приятнее, нежели со всеми остальными моими коллегами и другими государственными деятелями России, с которыми мне приходилось встречаться¹³.

Точнее было бы сказать, что творческий элемент не был чужд Победоносцеву (достаточно почитать некоторые необычайно красиво написанные тексты в его «Московском сборнике»), но действительно перекрывался «критикой», и сам Победоносцев это отлично понимал. В лице Рачинского или Ильминского пред ним представляли чистые образы «положительного жизненного творчества», недоступного ему ни по занимаемому им посту, ни, может быть, по свойствам личности. И Победоносцев умел ценить их по достоинству. Рачинский в особенности был для него словно воплощенной совестью, сильнейшей нравственной поддержкой на тернистом пути человека власти.

Что же касается отношений Победоносцева со Смоленским, то сначала они являлись следствием отношения к Смоленскому его наставников. Можно догадываться, что позже конфликт Смоленского с прокурором Ширинским-Шихматовым и результаты ревизии в Синодальном училище весьма раздосадовали обер-прокурора. Хотя в качестве очень умного человека Победоносцев наверняка не питал иллюзий по поводу личности Ширинского-Шихматова, подобный беспорядок в синодальном ведомстве не мог быть терпим. В одном из писем Смоленского в период отставки из Придворной капеллы мелькает даже выражение «мечь Победоносцева», что, конечно, не соответствует действительности. Однако, когда после отставки Смоленский пришел за работой в синодальное ведомство, ему было — корректно и любезно, под разными благовидными предлогами — отказано. Может быть, Победоносцев в конце своего пути просто устал от общения со столь «пассионарным» человеком, каким был Степан Васильевич, но рискнем предположить: если бы был жив к этому времени Рачинский, ответ мог бы оказаться иным. С другой стороны, Победоносцев был справедлив, и когда в тот же период Синодальное училище отказало Смоленскому в высылке ему в Петербург для работы им же собранных рукописей, обер-прокурор одной строкой личного распоряжения дал Степану Васильевичу возможность продолжать свою научную деятельность.

¹³ Витте С. Ю. Воспоминания, мемуары. М.—Минск, 2002. Т. III. С. 397.

Итог их отношениям подвел сам Смоленский в письме к С. С. Волковой от 7 марта 1907:

Вы угадали, что я утратил с кончиною умного и честного Константина Петровича целый ряд страниц, наполненных самыми дорогими для меня именами. Я был у покойного сейчас же по его кончине и был за час до выноса его из дома в далекую Владимирскую школу. Завтра я впервые поклонюсь его могиле, ибо не найду, вероятно, в 9-й день ту толпу мундиров, от которой я стал удаляться в последние месяцы. Рад буду, если удастся в одиночку и втихомолку душевно побыть вместе с покойным, хоть бы на несколько минут. Я всегда глубоко почитал Константина Петровича, жалел его исстрадавшуюся душу, его озлобившийся ум и оскорбленное сердце...

Смоленский — Победоносцеву

Москва, 10 января 1889

Ваше Высокопревосходительство,
Милостивый Государь Константин Петрович.

А. Н. Шишков предложил мне сегодня обратиться к Вашему Высокопревосходительству с изложением моих мыслей относительно вопроса о перемещении меня на должность Директора Синодального училища церковного пения¹. Его Превосходительство изволит предполагать, что такое мое изложение будет хоть отчасти способствовать лучшему уяснению дела и исполнению моих желаний. Посему почтительнейше имею честь просить Ваше Высокопревосходительство принять мои нижеследующие объяснения.

Не более недели тому назад я имел недостаточно верные сведения о положении должности профессора истории русского церковного пения в Московской консерватории. Ободренный к исканию этого места словами самого покойного о. Разумовского, ввиду его преклонных лет и тяжелой болезни, я обратился за советом по этому поводу к С. А. Рачинскому и прибыл в Москву с неперменным желанием обеспечить себе это место. В Москве, при получении известия о кончине о. Разумовского, я получил впервые 2 января сего года предложение А. Н. Шишкова принять место Директора Синодального хора и состоящего при нем Синодального училища церковного пения. Рассуждая об этом, я не подозревал, что труд и вознаграждение покойного о. Разумовского были сведены к одной часовой лекции в неделю и плате 100 рублей в год, то есть к полной невозможности для меня принять только место в Консерватории. А. Н. Шишков дал мне время обдумать его предложение места и иметь возможность хоть кратко ознакомиться с Синодальным хором, училищем, правами и занятиями их Директора. Я все-таки останавливался более на мысли быть профессором Консерватории и работать для нотных изданий Московской Синодальной типографии.

Между тем мои переговоры с Директором Консерватории С. И. Танеевым, бывшие 7 января, выяснили его неперменное желание иметь профессором истории церковного пения именно меня. К подобному решительному заявлению г. Танеев пришел, как он лично мне высказал, ввиду предсмертной воли о том покойного о. Разумовского, ввиду знакомства его с моими изданиями. Но г. Танеев тут же указал на необходимость для меня иметь в Москве другое место, обеспечивающее мне и работу и средства к жизни.

С другой стороны, мое знакомство с Синодальным хором и состоящим при нем училищем породили во мне живейшие к ним симпатии и выяснили несколько вполне возможных для меня сторон деятельности, для развития которых надобно много работать и можно принести хорошую пользу как самим заведениям, так и родному музыкальному искусству. Понимая эти стороны будущей деятельности, я не устрасился ныне хозяйственной части, возлагае-

мой на меня по этой должности, ибо, в отличие от предлагавшейся мне три года назад, эта часть ныне существенно ограничена, а главное — заведена сполна и состоит в порядке. Тогда я не надеялся завести и хорошо поставить вновь все надобное, ныне же я полагаю, что сумею продолжить и даже усовершенствовать существующее, тем более потому, что сущность ведения дела весьма несложна и мне достаточно известна по службе в Казанской Учительской Семинарии, воспитывающей только живущих в ней мальчиков. Что же касается до установления учебной дисциплины и административной деятельности, то я оглядываюсь на 16-летнюю мою службу при Н. И. Ильминском и хорошую дисциплину в Казанской Учительской Семинарии. Понимание учебной дисциплины выработалось у меня давно и твердо под руководством опытного педагога и начальника, а уставление этой дисциплины в других было обязательно для меня по казанской службе, и поддержание ее знакомо мне давно весьма достаточно.

Вопрос о переходе в Москву невольно заставил меня узнать от А. Н. Шишкова причину, по которой он изволил предпочесть меня г-ну Добровольскому. Его Превосходительство весьма лестно для меня высказал, что предпочитает остановить свое внимание на мне как на знающем и усердном работнике, уместном для хора и училища, а также могущем принести пользу Синодальной типографии, что затем [ввиду] необходимости иметь под рукою лицо вместо покойного о. Разумовского и очевидности недостаточно сильной в музыке компетентности г. Добровольского, Его Превосходительство находит более удобным перевод меня в Москву. С своей стороны, думая о перемене моей деятельности, я остановился ныне на вопросе возможности поменяться местом с г. Добровольским; место преподавателя истории и географии в Казанской Учительской Семинарии (кстати сказать, весьма высоко ценимой) дает 1200 рублей в год и квартиру натурою или 300 рублей квартирных. Без сомнения Н. И. Ильминский примет в Семинарию г. Добровольского, ибо Добровольский имеет право занять такое место, а затем мне известно, что Н. И. Ильминский пока не имеет никого в виду².

Наконец, вопрос о моем вознаграждении, еще прежде получения изумительных сведений о положении должности профессора Консерватории, был формулирован А. Н. Шишковым в смысле возможности наиболее обеспечить меня соединением двух жалований директора и инспектора, и даже возможности назначения мне еще 500 рублей за наблюдение над преподаванием инструментальной музыки. Должность инспектора до сих пор оставалась вакантною, что доказывало возможность исполнения ее самим директором. Лишь такие условия для меня возможны, ибо в Казани я зарабатываю более 2000 рублей и имею притом достаточно свободного времени для научных занятий и летнего отдыха. Выигрывая в получении содержания, я очень много теряю; кроме того увеличение моей служебной работы, которой по моему характеру и убеждениям я не могу иначе отдаться как вполне и с беззаветною предан-

ностью, дает мне основания думать, что едва ли я выиграю в деньгах и что предлагаемое мне даже наибольшее вознаграждение все-таки будет всего больше выгодно для Синодального ведомства. Смеею быть уверенным, что Ваше Высокопревосходительство достаточно изволит знать, что я не корыстолюбив, не честолюбив, а люблю работать по мере моих сил и знаний. Болезнь моего горла требует отдыха от чрезмерного утомления и решительно воспрещает мне дальнейшие занятия преподаванием и требует перемены деятельности; мои познания и опытность дают мне возможность думать, что я буду работать с пользой и в Москве.

Три года назад, когда у меня не было этой уверенности, я отказался от предлагаемого мне ныне места деятельности, ныне же имею смелость думать, что мне окажут доверие³. Не сомневаюсь также, что и достопочтенный Н. И. Ильминский благословит меня на новую работу.

РГИА, ф. 1119, № 16, л. 51—51 об. Черновик

1. История назначения Смоленского директором Синодального училища и хора довольно подробно изложена в его Воспоминаниях.

Сама идея перемещения казанского педагога именно в это время в «какое-либо центральное учреждение, специально музыкальное» несомненно принадлежит Рачинскому (см., например, его письма к Победоносцеву от 22 августа и 20 декабря 1888 в Приложении к разделу). В косвенной форме эту идею выражает и Ильминский, рассказывая в письмах к Победоносцеву и о болезни горла, которая препятствует работе Смоленского в Учительской семинарии, и о его крупных научных достижениях. Большое значение имело также непосредственное общение Смоленского со своим будущим начальником А. Н. Шишковым на почве исправления певческих книг на квадратной ноте для их нового синодального издания.

2. Идея «обмена» местами с исполнявшим должность директора Синодального училища Н. Ф. Добровольским оказалась несостоятельной, и ситуация разрешилась иначе, о чем говорится в письме к Смоленскому А. Н. Шишкова, датированном 23 мая 1889:

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Возвратясь из Петербурга, куда я проводил Константина Петровича, приехавшего в Москву на денек, я не успел написать вам, как того хотел, потому что, во-первых, после 11-дневного отсутствия накопилось здесь разных делишек, а во-вторых, что почти тотчас же уехал во Владимир на торжество принесения иконы Богоматери из Боголюбовского монастыря. Возвратясь, извещаю вас о том, что место для Добровольского очищается 30 июня, когда один из инспекторов народных училищ в Москве — Каверзнев подаст в отставку как выслуживший срок на пенсию, о чем мне объявил Садоков. Вместе с тем и действия по вашему определению тогда же начнутся, именно тотчас по получении от учебного округа Московского запроса о том, нет ли препятствий по определению Добровольского на

место Каверзнева. За сим Победоносцев дозволил мне сообщить вам, что он согласен на назначение вам усиленного жалованья в размере 3500 рублей. После сего, при утверждении синеньких книжурок нотных синодами, упомянуто, что издание их имеет быть произведено под вашим надзором и назначено выдать вам на проезд и вообще на командировку по сему следующие деньги.

Вот в каком положении дело о зачислении вас Директором нашего училища. Во всяком случае июнь не за горами, а формальное письменное удостоверение Садокова, что Добровольский получит место (переданное мною с согласия Константина Петровича) уже не ставит сего дела вопреки. Проект перестройки училища утвержден, и мы на днях начинаем копать фундаменты. Дай Бог в добрый час! <...>

Желаю вам побольше здоровья.

Ваш покорный слуга А. Шишков.

Трезвоньки вызвали сильное сопротивление в Синоде. Пр[еосвященный] Никанор обещал однако провести их. Очень вредят стихиры, отсутствующие в служебных книгах, а потому их почитают изверженными Никоном. Синенькие книги будем издавать с потребными поправками, а потому если в Казани что есть пригодное для сего, то укажите мне, чтобы я мог попросить Академию о высылке их нам.

(ОПИ ГИМ, ф. 379, № 4, л. 141—142 об.)

Письмо это, показывающее ход «продвижения» Смоленского на место директора Синадального училища, свидетельствует также об активности его совместной с Шишковым работы над изданиями синодальных книг на квадратной ноте, в частности книги Трезвонов, ранее никогда не издававшейся.

Преосвященный Никанор — архиепископ Херсонский и Одесский (Александр Иванович Бровкович; 1826—1890).

3. О первом предложении ему возглавить Синадальное училище, последовавшем в 1886, Смоленский говорит в Воспоминаниях. Приглашение это, исходившее опять-таки от А. Н. Шишкова, по сути подразумевало иной круг обязанностей, нежели в 1889: тогдашний регламент должности включал в себя управление недвижимыми синодальными имуществами в Москве и окрестностях, и, посоветовавшись с Ильминским, Смоленский отклонил подобное предложение (см.: РДМ. Т. IV. С. 216).

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 2 августа 1890

Почтеннейший Степан Васильевич.

Я говорил вам, будучи в Москве, об одном молодом англичанине, г. Биркбеке, любителе древней музыки, с коим я нахожусь в корреспонденции и от ко-

его получил присланное вам ученое английское издание . Он теперь здесь; дней через 7-8 поедет в Москву и явится к вам с моей карточкой. Прошу вас, объясните ему что нужно о крюках и о проч. и доставьте ему возможность послушать Синодальный хор. Под Успенев день надо провести его в собор к вечерне. Затем попросите Никольского показать ему Печатную палату . Он уже много ездил по России, говорит кое-как по-русски, хорошо образован.

1-я Лепту на днях вышлю Вам¹.

Саблера все еще жду, но и слуху об нем нет.

Душевно преданный К. Победоносцев.

[*Карандашом записан английский адрес Биркбека, возможно, его рукой:*
W. J. Birkbeck. Esq-ge. 30. Thurloe Square. London S.W.]

РГБ, М 10795, № 7, л. 1—2

1. В августе 1890 Биркбек уже четвертый раз приезжал в Россию; судя по письму Смоленского к Рачинскому от 24 августа 1890, он уделил английскому гостю много времени (см. также: РДМ. Т. IV. С. 550). Можно предположить, что была прислана статья Биркбека «The Russian Church in the Diocese of Archangel» (The Guardian. 1890, 17 December).

2. Речь идет о Михаиле Васильевиче Никольском (1848—1917), профессоре Московской Духовной академии, справщике Московской Синодальной типографии на Никольской улице; ее Победоносцев и именует Печатной палатой.

3. «Лепта» — сборники духовно-нравственных песен, издававшиеся в пользу Алтайской миссии в Бийске, которую тогда возглавлял Макарий (Невский), епископ Бийский (1884—1891), впоследствии митрополит Московский. Первая «Лепта», изданная впервые в Москве в 1847, переиздавалась затем в 1889, 1890 и др. Вторая «Лепта», вышедшая впервые в 1888, также несколько раз переиздавалась.

Смоленский принимал некоторое участие в издании этих сборников (перевод напевов на цифровую нотацию); отдельные песни из «Лепт» входили в репертуар Синодального хора (см. подробнее: РДМ. Т. IV. С. 530—533).

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 24 мая 1891

Почтеннейший Степан Васильевич.

Не знаю, как подвинулось у вас печатание выбранных статей из *Лепты*. Предполагалось к сборнику предисловие. Как материал для него могу указать вам на статью о Лепте в Церковных ведомостях (1-я половина 1890 г., стр. 632) и на прилагаемые листки из Томских епархиальных ведомостей нынешнего года .

Не знаю также, в каком состоянии печатание Сборника обычных песнопений .

А. Н. Шишков перед отъездом передавал мне по слухам благоприятные вести о впечатлении, произведенном на Государя Синодальным хором. Я еще не видал Государя по приезде, а когда увижу, постараюсь узнать.

Бедного Сергея Александровича Рачинского постигло горе — хотя и предвиденное, с кончиною почтенной его матушки. Вечная ей память, но для него это потеря невознаграждаемая, и я боюсь, что он сам теперь еще больше ослабеет...

Душевно преданный К. Победоносцев³.

ОПИ ГИМ, ф. 379, № 5, л. 140—141

1. Это письмо оказалось подшитым не в подборку писем к Смоленскому разных лиц, а в подборку служебной переписки по Синодальному училищу.

Готовился сборник «Хоровые духовно-нравственные песнопения, заимствованные из сборников “Лепта” и 2-я “Лепта”, изданных Алтайской миссией». В этом издании песнопения приводились на обычных нотах. Сборник вышел в свет в Москве в октябре 1891.

В «Томских епархиальных ведомостях» за 1891 (№ 7) опубликована статья без подписи «Две Лепты в пользу Алтайской миссии» (С. 27—31), где рассказывается об истории этих сборников, в частности, о новом их издании:

Настоящий начальник миссий, Преосвященный Макарий, при посредстве одного сановного благотворителя, издал новым (4-м) изданием [Первую] Лепту. Вслед за тем... сделан новый сборник песнопений под названием *Вторая Лепта*.

Под «благотворителем» здесь, конечно, надо разуметь К. П. Победоносцева, ибо далее цитируется его отзыв:

На днях я слышал исполнение Синодальным хором некоторых пиес из Лепты, оно привело меня в восхищение, и я думаю предпринять особое издание избранных пиес из обих Лепт с переложением на круглые ноты. <...> Первая Лепта содержит в себе такие прекрасные, поэтические песнопения, что я жду ее появления, дабы распространить ее по возможности (С. 29).

Далее цитируется и письмо Смоленского к епископу Макарию (Невскому):

Вашу «Лепту» и «Вторую Лепту» я пропагандирую двояко: прежде всего пел с Синодальным хором 12 номеров из нее в присутствии лиц, сильных в мире нашем. Слушатели были умилены и поражены неожиданно открытым им прелестным источником наслаждения. Затем во второй раз в устроенном мною концерте было отведено «Лепте» особое отделение программы из 8 номеров; публика была также приятно удивлена, что, конечно, расширит горизонт «Лепты».

Кроме сего, по поручению и по своему желанию я перекладываю избранные номера на ноты, и этот нотный сборник будет напечатан, что, конечно, еще усилит «Аспту» в ее распространенности (С. 30).

2. Из писем А. Н. Шишкова того же времени явствует, что тексты и ноты этого сборника уже прошли набор. По-видимому, имеется в виду напечатанная Московской Синодальной типографией в 1891 книга Е. А. Богданова и И. Н. Лебедева «Пособие к церковному чтению, положенное для вразумительности чтения на ноты на основании обычного древнецерковного пения, а частью на основании письменных памятников древнецерковного пения».

3. Между предыдущим и последующим письмом хронологически располагаются две записки Победоносцева, направленные А. Н. Шишкову, но по смыслу относящиеся к Смоленскому и ко всему училищу и хору:

23 июня 1892, Петербург

Спешу написать вам несколько слов наскоро по поводу вашего письма. Скажите Смоленскому, что никакого Сахарова или Скворцова вы и *не имете права* пускать без разрешения обер-прокурора. Так и объявите, в случае нужды сославшись на меня.

К. Победоносцев.

(ОПИ ГИМ, ф. 379, № 5, л. 200)

В тот же день А. Н. Шишков писал Смоленскому:

Многоуважаемый Степан Васильевич, сейчас получил от Константина Петровича письмо, в коем *положительно запрещается* посылать певчих в дом генерал-губернатора в его отсутствие. Он пишет и Степанову, да и нас уполномочивает о сем объяснить Степанову.

Ваш усердный слуга А. Шишков.

(ОПИ ГИМ, ф. 379, № 5, л. 203)

М. П. Степанов, брат будущего прокурора Московской Синодальной конторы Ф. П. Степанова, был личным адъютантом великого князя Сергея Александровича.

31 октября 1892, 9 ч. вечера. Петербург

Сейчас получен от Государя утвержденный Устав Училища с тем, чтобы по предметам треб[уемое] законод[ательное] рассмотрение внесено б[ыло] предст[авлением] в Государственный Совет.

(ОПИ ГИМ, ф. 379, № 5, л. 216)

Ситуация комментируется письмом А. Н. Шишкова к Смоленскому от 2 ноября 1892:

Спешу передать вам извещение г-на обер-прокурора Св. Синода о последовавшем Высочайшем утверждении Устава Синодального Училища церковного пения. Поздравляю вас и всех наших сослуживцев с этой радостною вестью, и будем надеяться, что и в Государственном совете судьба училища решится благополучно и в отношении прав, о которых мы для него ходатайствуем.

Усердный слуга Ваш А. Шишков.

Письмо Константина Петровича храните как драгоценность.

(ОПИ ГИМ, ф. 379, № 5, л. 215)

Об изменении предметных планов Синодального училища в связи с его новым Уставом и о правах, за которые оно боролось, см.: РДМ. Т. II. Кн. 2.

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 10 марта 1893

Прошу Степана Васильевича просмотреть эти ноты и вскоре сказать мне свое мнение. Ничего не понимаю в этих нотах, но отношусь подозрительно к переложениям церковных пьес, за кои ныне все берутся. Боюсь, узнает ли церковное ухо привычные тоны песен Страстной недели в этих переложениях свящ. Соломина .

К. Победоносцев.

(ОПИ ГИМ, ф. 73, № 4, л. 96)

1. На письме имеется помета рукой Смоленского: «Отв. 15 марта». Что ответил Смоленский, неизвестно, но в списке сочинений и переложений священника (впоследствии протоиерея) И. П. Соломина опус под названием «Сборник песнопений во всю Страстную Седмицу для четырех голосов» (56 номеров) значится как «допущенный к употреблению в церковно-приходских школах в качестве учебного пособия определением Учебного Совета при Св. Синоде от 22 февраля — 19 марта 1893 года за № 43, утвержденным г-ном обер-прокурором».

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 20 декабря 1893

Почтеннейший Степан Васильевич.

Ничего не имею против детского концерта Эрарского на 2 января — жалею только, что сам не могу быть. Вы не пишете, но вероятно предполагается публичный. В таком случае, как не будет духовного пения, то можно публиковать о концерте и о программе¹.

Сегодня был у меня некто Саккетти с письмом от Кильтеброннса (которое для сведения прилагаю). Он принес мне свою книгу «Очерк всеобщей истории музыки», которая, полагаю, есть у вас. Если нет, напишите.

Он предполагает издать хрестоматию *всеобщей* музыкальной литературы и хочет включить туда крюковые и знаменные образцы. Я сказал, что нет препятствий.

Он занимается вообще древней музыкой. Я советовал ему побывать в Москве у вас. Он здесь профессор музыки и эстетики в Консерватории.

Душевно преданный К. Победоносцев.

ОПИ ГИМ, ф. 73, № 4, л. 96

1. Речь идет о концерте так называемого «детского оркестра»; о сотрудничестве талантливого педагога А. А. Эрарского с Синодальным училищем см. в I, II и IV томах серии.

2. В подборке писем к Смоленскому в ОПИ ГИМ имеется письмо Л. А. Саккетти, отправленное в тот же день:

Многоуважаемый Степан Васильевич.

Вернувшись от Константина Петровича Победоносцева, который удостоил меня своим вниманием, я счел для себя приятною обязанностью сообщить Вам его мнение о том, что для моих работ было бы крайнею необходимостью с Вами лично переговорить и прослушать Ваш хор. О последнем, как и вообще о всей Вашей деятельности, Константин Петрович самого высокого мнения. Мне очень хотелось бы побывать в Москве на Рождественских праздниках. Но Товарищ Министра Народного Просвещения князь Михаил Сергеевич Волконский дал мне довольно сложное дело на это время, и я не знаю, найду ли я возможность к Вам приехать. Поэтому, на основании Вашего любезного письма, на которое я тотчас ответил Вам, я решаюсь просить Вас указать мне источники для ознакомления с демественным пением (образцы и литературу предмета). Имея в виду воспользоваться Вашим указанием для моей распространенной Хрестоматии, я принужден в ее сокращенной форме, в которой она теперь печатается, оставить образцы знаменного роспева, выбранные мною и уже награвированные до того времени, когда мне посчастливилось вступить

с Вами в переписку. Вполне сознавая недостаточность этих примеров, мне все-таки кажется, что выбранные мною мелодии настолько типичны и их художественное достоинство велико, что они могут дать читателю довольно верное понятие о древнем духовном пении Православной Церкви. Очень желал бы узнать Ваше мнение в этом смысле.

Примите выражение истинного почтения
всегда готового к услугам А. Саккетти.

(ОПИ ГИМ, ф. 379, № 4, л. 147—148 об.)

Ливерий Антонович Саккетти, подобно Биркбеку, близко сошелся со Смоленским и даже изучал под его руководством крюковое пение (о чем красочно рассказывается в Воспоминаниях Степана Васильевича). Как уже упоминалось, в 1900, выступая на конгрессе по истории музыки в Париже, Саккетти читал свой реферат «Главные моменты в развитии русского православного духовного пения», а также доклад не поехавшего в Париж Смоленского (см. в комментариях к переписке с Шереметевым). В архивных фондах Смоленского сохранились письма Саккетти, свидетельствующие о теплых дружеских отношениях, которые продолжались и когда Смоленский переехал в Петербург, а Саккетти стал помощником В. В. Стасова в Публичной библиотеке.

В письме Победоносцева упоминаются издания Саккетти: «Очерк всеобщей истории музыки» (СПб., 1883; 2-е изд. 1891) и печатающаяся «Краткая историческая музыкальная хрестоматия с древнейших времен до XVII века включительно» (СПб., 1896), в которой имеется восемь образцов «классического» знаменного распева разных гласов и разных жанров, изложенных круглой нотой.

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 28 декабря 1893

Почтеннейший Степан Васильевич.

Относительно портрета А. Н. Шишкова поступите по вашему усмотрению. Мне кажется, это не требует особого разрешения, ибо дело идет не о живописном портрете, составляющем некоторого рода памятник. А ныне всюду фотографии, кои употребляются так сказать домашним образом¹.

Душевно преданный К. Победоносцев.

ОПИ ГИМ, ф. 73, № 4, л. 97

1. В связи с уходом Шишкова с должности управляющего Московской Синодальной типографией и Синодальным училищем и хором Смоленский намеревался почтить деятельность Андрея Николаевича, разместив в репетиционном зале училища его фотопортрет. Вообще, несмотря на довольно насмешливую характеристику, данную Шиш-

кову в Воспоминаниях Смоленского, несмотря на время от времени вспыхивавшие между ними конфликты, в целом Шишков был, несомненно, лучшим из «трех Ш», под руководством которых трудился Степан Васильевич (значительно лучше А. А. Ширинского-Шихматова и тем более А. Д. Шереметева в Придворной капелле), и в итоге их отношения оставались теплыми, а со стороны Смоленского — почтительными в силу преклонного возраста Шишкова.

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 4 января 1895

Почтеннейший Степан Васильевич.

1. Предполагаете ли вы осуществить задуманные вами исторические концерты и когда?¹

2. Печатается здесь (частн[ым] предпр[инимателем]) сборник песен для сельских хоров. Вот программа. Что вы скажете?²

3. Я посылал вам раз (надеюсь, получили) листки немецкой газеты о церковной музыке. Посылаю теперь 2 книжки журнала. Здесь статья *Principes musicae*, которая вероятно будет интересовать вас. Только эти книжки возвратите мне, чтобы не разрознился год издания. Это иезуитский журнал, очень умный³.

4. Обедню Протопопова исполнял для меня Казанского собора хор, прекрасно. Очень интересно и красиво, но утомительно и не по-нашему⁴.

5. Смотрел новый Стихирарь с разделениями // . Разделения эти, или цезуры стоило бы пересмотреть — они очень важны и означают смысл и паузы выражения. А многое у нас перепутано. Например: в утрени Великого Четверга, на хвалитех последняя стихира: *Тайноводствуя* совсем теряется, ибо цезура должна быть поставлена особо: // *о друзи зрите* //, а это слито с следующей фразой, и должно быть живо, а выходит механика. Или на Пасхе: *Еже прежде солнца солнце зашедшее* и проч. надо непременно отделить: // *о другини* //, а оно слито и выходит Бог знает что. Или — в // *Неопальная огню* // слито вместе, тогда как *неопальная* должно стоять отдельно.

К. Победоносцев.

ОПИ ГИМ, ф. 73, № 4, л. 98—99 об.

1. Исторические концерты Синодального хора состоялись в феврале-марте 1895 года (программы см.: РДМ. Т. II. Кн. 2; там же отзывы прессы на эти концерты).

2. Возможно, имеется в виду сборник из серии «Приходская библиотека» под названием «Сельские хоры. Сборник для школьного и народного пения а cappella» под редакцией В. И. Шемякина и В. И. Главача. Он впервые вышел в Петербурге в 1895

и затем выдержал до десятка изданий. В программу сборника кроме народных и популярных песен входили рубрики «Гимны» и «Духовные стихи»; в связи с этим, вероятно, программа была послана в Св. Синод.

3. Какую газету посылал Смоленскому Победоносцев, неизвестно, а что касается «иезуитского журнала», то это, возможно, «Echo d'Orient», который был, по крайней мере, католически-миссионерским журналом.

4. Имеется в виду протоиерей Сергей Васильевич Протопопов (1851—1931), долгое время служивший в Германии и выступавший как с духовными сочинениями, так и с теоретическими статьями о духовном пении. В данном случае речь идет о Литургии Es dug для большого мужского хора (издана в 1894).

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 21 января 1895

Благодарю за пространное и интересное письмо по поводу статьи Мироносицкого. Я и не рассчитывал дать вам труд, а желал лишь вызвать ваш отзыв, хотя и сам по прочтении статьи ставил вопрос: чего же он хочет?¹

Постараюсь достать Вам Палестрину².

Очень жалею, что едва ли услышу Ваши концерты³. Поездки в Москву зимой стали крайне для меня затруднительны, потому что силы много убыло и холод заставляет ограничивать выезды даже в Петербурге лишь крайнюю необходимость.

Первый концерт предполагается у вас 3 февраля. Но следовало бы кажется огласить ваши предположения заранее.

Есть ли у вас каталог собранной библиотеки? Если собрание богато, то не полезно ли было бы отпечатать его?⁴

К. Победоносцев.

РГБ, М 10795, № 7, л. 3

1. Порфирий Петрович Мироносицкий (1867—1933) — член Училищного совета при Св. Синоде, регент и учитель церковного пения; речь, вероятно, идет о его статье «Церковно-приходская школа и церковное пение» (Церковные ведомости, 1894, № 37. С. 1281—1291).

2. Сочинения этого великого композитора входили в небольшом числе в концертный репертуар хора и — гораздо шире — исполнялись им в домашних концертах, для специально приглашенных лиц. Ноты сочинений Палестрины Смоленский получал от С. И. Танеева (переписку с ним см. во второй книге этого тома). Что касается 1895 года, то в Воспоминаниях Смоленский описывает концерт 18 сентября с исполнением Мессы папы Марчелло Палестрины, на репетицию которого был приглашен А. Н. Толстой.

3. На Исторических концертах Синодального хора Победоносцев не присутствовал.

4. Каталог рукописного собрания Синодального училища, составленный Смоленским и затем несколько дополненный другими хранителями собрания, не опубликован по сей день, хотя вопрос этот неоднократно поднимался и при жизни Смоленского, и позже.

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 22 января 1895

Почтеннейший Степан Васильевич.

Ничего не могу изменить в вашем изложении, тем более что по музыкальной и исторической части считаю себя совсем не судьей. Спешу возвратить корректуру с поправками вашими, так как она конечно нужна вам. Заметил в двух местах опечатки: *силъ* вместо *силъ*¹.

Буду очень сожалеть, если (что более чем вероятно) не удастся мне слышать ваш концерт. По отпечатании брошюры пришлите несколько экземпляров. Пошлите ее конечно и Рачинскому. Он обещает приехать на 2-й неделе Поста — но боюсь, в силах ли будет.

Но вот что надо сказать вам. О ваших юных питомцах последнего выпуска слышу все, что затрудняются ими. А про здешнего слышал, что робок, не умеет поправить хор и овладеть им. А сегодня был у меня Витебский Губернатор и жаловался на упадок церковного пения — ищет хорошего регента. Я указал было ему на ваше училище, а оказалось, что у них есть уже ваш и что им недовольны. Говорит: юн очень, знает теорию, но не умеет справиться с хором — Бог знает что выходит. И так он ездил к Саблеру просить, не найдет ли ему здесь регента. Об этих отзывах стоит подумать².

Душевно преданный К. Победоносцев.

Р. S. В Казани начали печатать собрание писем ко мне Н. И. Ильминского³.

РГБ, М 10795, № 7, л. 4—5

1. Речь идет о публикации брошюры Смоленского «Обзор исторических концертов Синодального училища церковного пения в 1895 году» (см.: РДМ. Т. II. Кн. 1).

2. Речь идет о выпускниках реформированного Синодального училища 1893 года: Алексее Петрове в Петербургской духовной семинарии и Сергее Делищеве в Витебском духовном училище.

3. Это издание под названием «Письма Николая Ивановича Ильминского» вышло в Казани в 1895 и широко цитируется в следующем далее Приложении.

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 4 марта 1895

Вы пишете С. А. Рачинскому о желании выехать к нему в Осташков¹. Тут и вам и ему хлопоты с вашим посещением. Не проще ли вам *приехать сюда в Петербург* — тут на свободе целый день наговоритесь — а он все сидит дома, никуда не выезжая. Советую лучше так поступить, да и у нас найдется о чем переговорить с вами.

К. Победоносцев.

РГБ, М 10795, № 7, л. 6

1. С. А. Рачинский со своей школой два раза ходил пешком в излюбленную тверским и смоленским народом пустынь преподобного Нила Столобенского на озере Селигер близ города Осташкова, в ста двадцати верстах от Татево. Первое богомолье было совершено им в 1879 с тридцатью взрослыми учениками, во второй раз — в 1887, когда паломников было уже шестьдесят шесть человек, из них сорок шесть детей. Что предполагал делать Рачинский в Осташкове весной 1895 — неизвестно: возможно, захватить в пустынь по дороге из Петербурга в Татево.

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 15 марта 1895

Почтеннейший Степан Васильевич.

Великий Князь С[ергей] А[лександрович] говорил мне, что очень рад будет приехать в залу слушать пение. Из его слов (я напомнил ему при последнем свидании перед отъездом его, в воскресенье) [следует,] что он думает это сделать на шестой неделе Поста.

Истомину я говорил об этом.

Думаю, что не мешало бы составить список пиес, которые предполагается исполнить в присутствии Великого Князя и сообщить этот список Истомину. Великий Князь мог бы выбрать или еще назначить, что ему нравится¹.

Я говорил Истомину, что от Великого Князя зависит пригласить, кого ему угодно, к пению.

Душевно преданный К. Победоносцев.

Сейчас Рачинский пишет, что приехал благополучно 11 числа. Метель принудила его заночевать во Ржеве.

РГБ, М 10795, № 7, л. 7

1. Речь идет о домашнем концерте Синодального хора под управлением В. С. Орлова, состоявшемся 23 марта 1895 года, для великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, а также сопровождавших их лиц, которых, судя по Дневнику Смоленского, было 35—40 человек. Великий князь очень высоко оценил пение и программу, в общем повторявшую с сокращениями программы трех Исторических концертов.

Истомин Владимир Константинович (1847—1914) — гофмейстер, управляющий канцелярией московского генерал-губернатора.

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 27 марта 1895

О Металлове, помнится, желали вы, чтобы он определился на приход к Малому Вознесению, предполагая вероятно, что там вскоре очистится место.

Потом от Саблера слышал я, что он говорил с Митрополитом, но Митрополит не соглашается, ссылаясь на то, что у него много своих кандидатов.

Перед отъездом отсюда Митрополита я говорил с ним о Металлове — и услышал от него, что он *не противится*. Только место у Вознесения, по словам его, занято¹.

Концерт для Великого Князя, судя по отзыву Ширинского и по газетным откликам, прошел благополучно. А в газетах извещают, что 9 апреля предполагается дневной концерт².

К. Победоносцев.

РГИА, ф. 1119, № 152, л. 41—41 об.

1. Длительная история «определения» В. М. Металлова в Синодальное училище подробно освещается в его переписке со Смоленским. Суть дела состояла в том, что саратовский священник, обремененный большой семьей, не мог выехать в Москву только приняв место преподавателя Синодального училища, без определения на священническое служение. Смоленский предполагал поставить его на место болевшего священника храма Малого Вознесения на Большой Никитской, напротив Синодального училища; в результате Металлов был переведен в том же 1895 в церковь св. Василия Кесарийского на Тверской.

Митрополитом Московским тогда был Сергей (Ляпидевский).

2. 9 апреля 1895 концерта Синодального хора не было; следовательно, речь идет о «светском» концерте в зале Синодального училища.

Победоносцев — Смоленскому

Царское Село, 20 августа 1895

Почтеннейший Степан Васильевич.

Письмо Ваше от 11 августа пришло в мое отсутствие и достигло до меня лишь сегодня. Мне удалось исполнить давнишнее желание и съездить в Таево, откуда я сегодня вернулся.

Что делать с Металловым? Вместе с сим я пишу об нем Митрополиту, но по словам вашим выходит, что Митрополит предложит ему место покуда без штата и без жалованья. И так не совсем понятно, что вы просите меня помочь «в ускорении перемещения его в Москву», куда он по словам вашим должен приехать 18 числа. Но как переместить, когда не оказывается приличного места — и где найти его? Предполагалось в вашем приходе, но ведь старый и больной священник там остается? Митрополита я прошу, но не ведаю, что он может придумать!

Душевно преданный К. Победоносцев.

РГБ, М 10795, № 7, л. 8

Смоленский — Победоносцеву

София, 12 августа 1897

Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь

Константин Петрович!

Считаю долгом от всего сердца поблагодарить Вас за возможность побывать в Сербии и Болгарии¹. К сожалению, мое путешествие, в смысле возможности воспользоваться содействием Митрополитов Михаила Сербского и Климента Болгарского, кончилось вполне неудачно, так как Митрополит Михаил внезапно захворал и накануне моего приезда в Белград выехал на воды, а Митрополит Климент находится сейчас в Тырнове. Но довольно с меня и полученных впечатлений, сделанных наблюдений и покупок. Хотя я и надеялся воспользоваться своим путешествием гораздо шире, но, очевидно, надобно будет побывать здесь еще раз, не в летнее время и с гораздо большею подготовкою. Конечно, последнее относится к поездкам внутри старой Сербии и менее разоренных частей Болгарии, особенно же в сторону Северной Македонии. Надобно будет и подготовить здесь почву для приобретений, так как материалов бездна, выбирать самому нет ни времени, ни сил (даже и знаний); кроме того к приобретателям вроде меня относятся совершенно недоверчиво и даже вполне несочувственно...

Очень интересны для меня сравнения храмов и обрядов, сделанные мною во множестве и в короткое время. Кроме времени в дороге, я не пропустил ни

одной церковной службы в разных храмах от Вены (униатская церковь) до Софии. Сопоставляя виденное только что с воспоминаниями о моих наблюдениях от Загреба и Герцеговины, через Львов, до Черновцев и Белой Криницы², ныне дивлюсь стойкости обрядового православия во многом, прекрасным частностям в некоторых обрядах и утверждаюсь в мысли о вреде вводимого здесь, как и в Сербии, Славонии, Крайне, Угорщине и Буковине, нового хорошего пения, повторяющего, по-видимому, все даже и подробности нашего и страдающего тою же бездарностью и отсутствием дисциплины, в смысле сдержанности, которые до сих пор господствуют в наших хорах и в местностях удаленных от столиц. То, что я слышал здесь в хоровом исполнении — возмутительно для церковной службы, но, к несчастью, здесь как будто бы считается за высшее художество, нуждающееся только в поощрении. Те же *sui generis* [в своем роде] Багрецовы и проч.³ написали здесь то, что считается «дуже красно», пользуется любовью и мало помалу подтачивает, как у нас, древний напев, то есть «Византийско црквенско пјеније», скромно укрывшееся в будничные службы в столицах и еще господствующее в малых городах и селах. Конечно, этот напев не балует ухо, прескверно исполняется с его наводящим хандру «исоном»; конечно, носовое пение ужасно, но в нем есть дисциплина, легко ощутимая связь с родной стариной, уже много сделавшей услуг этим славянам. Связь эту передовые люди необдуманно рвут на куски.

Старое церковное пение так пало в Сербии, что ученики богословской школы, несмотря на всякое понуждение, «стыдятся» петь в своей Великой церкви. В Болгарии знают точно напев уже очень редкие старые дьячки, а молодые более импровизируют. В обеих их столицах никто из молодых не учится петь по старому надписанию, и искусство истового певца пропало за смертью стариков и под давлением руководящих хоров. В селах поют однако твердо, хотя и понаслышке. С превеликим трудом достал я в Софии крюковые болгарские издания, да и то не сполна. Нужда в этих книгах пропала в близоруких служителях алтаря, и новые издания не предвидятся.

Зато обрядовая сторона держится вполне твердо и некоторые подробности, очевидно очень древние, мне прямо понравились. Устройство здешних храмов, как и вообще у всех заграничных славян, отличается многими особенностями, вообще же храмы малы, бедны сравнительно с нашими, лишены нашего прелестного звона и нашей сановитости в службе. Встречается и бестолочь: в Белградском соборе над левым клиросом висит кафедра чуть не из костела, на которую даже нет входа; в Софийском соборе такая же кафедра у столба в левой середине собора, и с нее диакон читает Евангелие за литургией; звон в Белграде производится касающимися колоколами и оттого весьма нескладен, а в Софии колоколья стоит на краю соборной площади, и звонарь этих первых колоколов из России совершенно не представляет собою художника — звонит очень коротко, вполне неритмично, безвкусно, вроде бывающих у нас дилетантских звонов на Пасхе.

Но есть и хорошее. Мне помнится, что я докладывал Вам о полном смысле выходе служащих на амвон перед словами «и молим Ти ся» для троекратного чтения «Господи, иже пресвятаго Твоего духа» и о пении всем народом этих слов, о земном поклоне всех Св. Дарам. Ныне я ни разу не видал этого герцеговинского обряда, удержавшегося в долине, недалеко от Загреба, сохранившей у себя даже глаголическую грамоту в книгах и, кажется, даже и в прессе. Зато мне очень понравилась «молитва о здравии» в Болгарии, состоящая, кроме молитвословия, в наложении на коленопреклоненного епитрахили и благословения по ней. Эта молитва заменяет здесь нашу возможность ежедневно вынимать части, ибо здесь обедни кроме суббот и праздников не служатся, а молитва может быть совершена после всякой службы. Так как здесь (Болгария и Сербия только) ежедневно только вечерни в 4 ч. дня и утрени в 6 ч. утра, то народ после каждой службы во множестве принимает эти молитвы.

Очень хорошо здесь также каждение, удержавшееся и в нашем старообрядчестве. В два приема перед *каждым* богомольцем, подающим руки, как у нас для получения благословения, кадящий описывает кадилом в воздухе крест. Кадило болгарское, весьма шумливое от бубенчиков в середине цепей, обильно ладаном. Хорошо и то, что диакон по окончании ектений на амвоне всегда кланяется народу; священники слушают Апостол (от диакона), стоя перед престолом в ряд и лицом к народу; один из священников, также стоя в ряду, читает Евангелие; во время Херувимской кадит старший священник, а не диаконы.

Мне случилось быть на трех похоронах, и здесь я удивился совершенной разнице между нашим погребением и здешним, точно будто бы все наше выпускается, а выпускаемое нами вычитывается и поется. В качестве особых подробностей упомяну о белом платке, украшающем все предметы в похоронном шествии, то есть крест, готовый для могилы, две рипиды, крест напрестольный с ними, кутью, несомую на голове впереди шествия с крестом, свечи у всех духовных и родных, у провожатых, покойного, держащего в руке также платок вместе с букетом цветов. Свечи (премаленькие) держатся, смотря по степени сочувствия покойному, по 1, 2, 3 и 4 зараз; в последнем случае держащий располагает их в руке как бы веером; покойному в Болгарии вставляют в руки зажженную свечу, 2 и 3. Но что здесь великолепно — это пение всех восьми несравненных по красоте тропарей Дамаскина, от «Кая житейская сладость» до «Плачу и рыдаю», и пение выразительных блажен со всеми положенными здесь стихами. В Сербии на весьма богатых похоронах шесть священников стояли в ряд перед гробом и пели очень хорошо почти все, ибо хор пел только ектении, также очень хорошим напевом; в Софии духовенство, также на весьма богатых похоронах, стоит перед амвоном лицом к покойному. С покойным здесь не прощаются, а только целуют икону; в Сербии же кланяются закрытому гробу. Близкие родные весьма сдержанны, вообще все почти не крепятся, кроме уставных знаменей.

Есть здесь и мало симпатичное. Кроме надоедливо-тоскливого носового исона, при пении и чтении вообще очень спешат, много говорят в церкви, слушают здесь певчих чуть не спиной к алтарю, крестятся в перчатках, не снимаемых во всю службу нарядными богомольцами, постоянно сидят на местах, часто украшенных надписью, что место такого-то, вообще очень плохо и мало молятся, хотя церкви полны народом в праздники и достаточно многочисленны в будни.

Вид Белграда в полнолуние с многоводного Дуная и славной Савы очень интересен, да и город с электрической дорогой и освещением весьма благообразен. Крепость Белграда прямо величественна. Но потрясающее впечатление произвели на меня великолепные развалины древнейшего храма св. Софии в Болгарской столице. Мне говорили, что сюда ждут нашего г. Преображенского⁶. Этот храм прямо несравнен после талантливого восстановления.

Приобретения мои для библиотеки Синодального училища пока незначительны количественно, хотя мне и удалось купить хорошие книги, несколько нот. Гораздо большую цену даю возможности иметь здесь хороших корреспондентов по певческой части, в числе которых обещался быть любезный г. Бахметьев⁴. Оказывается, что г-н Фердинанд⁵ любит старину и усердно собирает ее, формируя народный музей и библиотеку. Вообще София производит отличное впечатление своею выправкою во всем, начиная от улиц и полиции с войском. На месте разрушенных 25 лет назад жалких улиц стоят ныне ряды отличных домов, готовых уже и во множестве строящихся. Но народ мало гостеприимен, вообще очень беден, решительно не может быть сравнен даже с галичанами и буковинцами, не говоря уже о западных славянах. Национальный костюм совсем утрачен и заменяется либо пиджаком или кофтою с высокими буфами на плечах, либо чем-то полу-турецким; в Сербии еще того более. Невольно вспоминаю красивую одежду словинцев и герцеговинцев с босняками, даже и длинноволосых галичан, сохранивших у себя старую одежду, вроде подрясников. Залюбовался я здесь только одним человеком, известным истребителем турок в Черногории — Архимандритом Дучичем⁷. Этот монументальный колосс, уже 70-летний старец, посвятил себя родной археологии и теперь заканчивает печатание своих трудов. Он огромного роста, необычайно широк в плечах; фигура эта между шкафами с книгами, среди мирной науки, не вяжется с знаменитым ее прошлым и монашеством, но производит совершенно особенное впечатление. Живость и кротость его речи часто мешаются с вспышками одушевления; поднявшись в это время со стула, он обрисовывает свою могучую фигуру во весь рост, и тут он неизъяснимо прелестен.

Сербы и болгары соблюдают посты, среды и пятницы с удивительною строгостью...

1. О своем путешествии летом 1897 Смоленский кратко рассказывает в Воспоминаниях: вместе с женой он прошел курс лечения в Франценсбаде, затем они посетили Швейцарию, Париж, Вену. Оттуда Анна Ильинична вернулась домой, а Степан Васильевич «проехал через Пешт, Сербию, Болгарию в Константинополь». На эту поездку Св. Синодом было выдано пособие в 1000 рублей, которое Смоленский решил потратить на приобретение книг, нот и прочих вещей для Синодального училища. Содержащиеся далее в письме оценки церковного пения в Сербии и Болгарии безусловно нуждаются в корректировке: для их верного понимания нужно встать на позицию ученого-медиевиста, который в первую очередь стремился услышать «древний напев».

2. Смоленский вспоминает о своей первой поездке в славянские страны, которая состоялась в 1892 (см. во Вступительной статье к тому).

3. Багрецов Федор Алексеевич (1812—1874) — знаменитый в Москве регент Чудовского хора и автор духовно-музыкальных сочинений, которые Смоленским рассматривались как образец безвкусицы в церковном пении.

4. Бахметьев Георгий Петрович — в 1897—1905 русский посланник в Болгарии.

5. Фердинанд I Кобургский — князь, впоследствии царь Болгарии.

6. Имеется в виду известный архитектор Михаил Тимофеевич Преображенский (1854—1931); им построен в Софии храм св. Николая Чудотворца.

7. Об архимандрите Дучиче см. комментарий к письму Смоленского к Шереметеву от 30—31 мая 1903.

Смоленский — Победоносцеву

Вена, 5 апреля 1899, вечером

Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь
Константин Петрович!

За границу, в поздний вечер и после совершенно исключительных впечатлений, решаюсь писать Вам вне присущей моему положению формы, ибо не имею под руками даже надлежащей бумаги.

Со слезами на глазах пишу Вам, может быть через меру чувствуя только что полученные овации Синодальному хору в Венском концерте¹. Я только что вернулся из самого блестящего общества наилучших музыкальных сил Вены, из битком набитой залы Венской консерватории, из дружеского семейного кружка знаменитого Ганса Рихтера, самым сердечным образом обласкавшего меня и В. С. Орлова.

Все службы были исполнены в Вене достаточно удовлетворительно, но мы очень боялись концерта, так как силы наши все же были слабы для огромного зала, да к тому же и несколько утомлены тремя последними днями.

И вдруг, сверх всяких ожиданий, благословением Владыки перед началом концерта, радостным [представился?] случай показать на чужой стороне

достоинства нашего родного напева, нашего родного вдохновения, — наши силы поднялись, и Синодальный хор запел торжественно, стройно, изящно и одушевленно. В пении есть звуки глубокого чувства, неподдельной веры, которые не могут быть выражены никакими словами и никакими знаками, кроме душевного отклика тех, кому эти звуки поются. Чуткие венцы с первого же номера концерта поняли эти звуки и ответили нам так, что связь певцов со слушателями, сочувственная сначала, стала расти крепко, энергично и достигла под конец концерта размеров самой выразительной симпатии.

Отрадно, счастливо было у меня на душе, когда я видел сущее творчество всех русских. Надобно ли говорить о бессвязно восторженных речах славян-православных? Со своими певцами не знаю что и делать, так как их упование, их радость вне всякого описания; вот уже третий час пополуночи, как не могу уговорить их радости и овации по адресу В. С. Орлова.

Этот истинно скромный, умный и вполне достойный художник с полнейшею честью оправдал все ожидания и оказал репутации нашего искусства за границу самую существенную услугу.

Сердечнейше благодаря Ваше Высокопревосходительство за старания Ваши дать нам возможность испытать такие незабвенные минуты, прошу еще раз извинить меня в некоторой нескладности этого письма. От избытка сердца [уста] глаголят суетная.

Вашего Высокопревосходительства усердно преданный слуга

Ст. Смоленский.

РНБ, ф. 631, № 106, л. 25—26

1. История венского концерта Синодального хора подробно освещается в Воспоминаниях Смоленского и в материалах, помещенных во второй книге второго тома РДМ. Средства на поездку были даны Св. Синодом; утомление хора, о котором идет речь в письме, было вызвано его участием в длительных службах на освящении венской посольской церкви. Упоминаемый в письме владыка — архиепископ Варшавский и Холмский Иероним (Экземплярский).

Смоленский — Победоносцеву

Москва, 30 мая 1899

Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь
Константин Петрович!

От всей души благодарю Вас за статью о М. Лисицына о Львове¹. Статья весьма обстоятельная, хотя и имеет некоторые мелкие ошибки. Я, близкий к семье Львовых, отпраздновал семейно, потихоньку столетие рождения А. Ф. Львова еще в прошлом году, так как несомненно и доказательно известно, что покой-

ный композитор родился 25 мая 1798, а не 99 года. Скажу по правде и то, что, близясь к 25 мая прошлого года, я и Орлов, уговорившись устроить более широкое памятование, сами забыли о том за суетою экзаменов и нашей повседневной работы. Поэтому заупокойной обедней и панихидой, да домашним поминовением ограничилось у нас все, тем более потому, что не хотелось обоим нам второй раз подводить Придворную капеллу, проспавшую и 25-летие со дня смерти, и 100-летие со дня рождения того человека, который отдал Капелле все свои силы, весь свой труд и составил, конечно, лучшую славу Капеллы².

По вышеуказанному, несомненно удостоверяю, что в нынешнем году 25 мая мы не поминали А. Ф. Львова каким-либо особенным образом.

Пушкинские празднества, особливо же обед, не удалась в Москве. Погода здесь все время стоит нестерпимо холодная, сырая, ветреная. Обед литераторов был так жалок, что я уехал с него, угнетаемый пустословием, бездарностью и безличностью. Вместо огневых речей Достоевского, Тургенева, Островского, вместо общего неподдельно искреннего ликования и высокого подъема духа я увидел фальшь, бессодержательность и даже ложь, злобу и непримиримую партийность. Один друг мой верно подметил особенность этого собрания: в 80-м году в этой самой комнате не было так много репортеров; это ли не оскудение?³

Мы хорошо помянули покойного гения. В храме Б. Вознесения, где Пушкин венчался, мы пели заупокойную обедню и панихиду при весьма большом числе богомольцев, накануне того домашними силами был устроен вечер с чтением, пением и туманными картинами.

Вашего Высокопревосходительства усердный слуга

Ст. Смоленский.

РНБ, ф. 631, № 107, л. 77. Письмо было переслано Рачинскому Победоносцевым

1. Статья М. А. Лисицына о Львове была опубликована в № 22 журнала Петербургской епархии «Санкт-Петербургский духовный вестник» за 1899 (С. 255–258).

2. В современных исследованиях датой рождения А. Ф. Львова указывается 1798 год, однако в старых источниках указывается 25 мая 1799 (см., например: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий Т. 1. СПб., 1886. С. 578–579). Говоря о своей близости к семье Львовых, Смоленский имеет в виду то обстоятельство, что его первым серьезным учителем музыки в Казани был брат Алексея Федоровича — Леонид Федорович Львов (в прошлом управляющий московскими Императорскими театрами); Смоленский дружил с его сыном Федором, а находясь в Москве, регулярно посещал еще одного брата — Федора Федоровича Львова, директора Строгановского училища.

Надо заметить, что при Смоленском сочинения Львова довольно широко были представлены в репертуаре Синодального хора, хотя, казалось бы, их стилистика противоречила избранному тогда «направлению». Впоследствии, в Петербурге, Смоленский неоднократно выступал в печати с высокой оценкой деятельности Львова в области русского церковного пения, в частности в статье «Памяти духовного композитора

А. Ф. Львова» в сб. «Памяти духовных композиторов Бортнянского, Турчанинова и Львова» (СПб., 1908).

В связи с этим понятно, почему Смоленскому понравилась статья Лисицына: автор называет Львова «великим человеком и талантливым композитором», который сделал «большой шаг вперед по сравнению с эпохой Бортнянского» и открыл «большую стезю для упрочения в нашей церковной музыке стиля строгого, для сохранения обиходных роспевов». Критические замечания в адрес Львова выражены здесь в очень корректной форме.

3. Смоленский сравнивает торжества 1880 года в связи с открытием памятника А. С. Пушкину в Москве на Тверском бульваре (когда была произнесена знаменитая речь Ф. М. Достоевского) и празднество в связи со 100-летием со дня рождения поэта.

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 23 января 1900

Вот письмо Металлова, но я ничего не могу тут сделать. О месте у Троицы хлопочет тут Марков¹ для своего зятя, подобно тому как и он поступил на место тестя. Но Митрополит считает приход одним из завидных, на который имеют больше прав старшие священники. А Металлов из недавних. Притом с Митрополитом Московским я не имею близкого обхождения. Что касается до расстояния, то церковь Василия Кесарийского едва ли не ближе к Синодальному Училищу, нежели Троица на Арбате — разница лишь та, что дорога по Тверской в гору.

К. Победоносцев.

РГБ, М 10795, № 7, л. 9

1. Вероятно, Владимир Семенович Марков, протопресвитер Большого Успенского собора (см. о нем: РДМ. Т. II. Кн. 1).

Смоленский — Победоносцеву

Москва, 6 сентября 1900

Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь

Константин Петрович!

Не велики две, при сем посылаемые, брошюры, которые прошу принять благосклонно, но значительна почва, на которой выросли эти два сочинения. В прошлом Вы уже изволили снисходительно выслушать мое переложение древнего роспева «Буди имя Господне»; добавленные мною «Ектении» сами собою стали обиходными в Успенском соборе, где они поются неотменно с самого дня их написания в июле прошлого года. «Ектении» — также переложение

ние древнего роспева, а появление их в печати — дело внимания к ним Владимира Карловича [Саблера]¹.

Брошюра «Краткое предварительное сообщение о собрании рукописей в Синодальном училище» есть моя исповедь и как бы завещание будущим работникам в области певческих рукописей. В брошюре много намеков, предостережений и прямых указаний. Подлинный текст наполовину сделанной работы слишком велик и еще несвоевременен для издания, ибо легко могут оказаться еще новости неожиданные, даже затмевающие открытые уже богатства².

По поводу последних строк имею к Вашему Высокопревосходительству просьбу о разрешении мне прибыть в Петербург на краткое время, дабы ходатайствовать о Вашем снисходительном внимании к нижеследующему.

Энергия моя, подвижность, здоровье значительно ухудшились в последние годы, и я работаю в качестве директора Синодального хора и Синодального училища гораздо хуже, чем прежде. Вместе с этим чрезвычайно усилилось во мне стремление к занятиям тихим, малоподвижным, не бьющим по нервам, в области древнерусской певческой старины. Поэтому, после долгих размышлений, я добросовестно решил выйти в отставку, но упротить меня при библиотеке рукописей Синодального училища, мною же собранной, почти сполна описанной и отданной училищу в память обо мне.

До выслуги полной 35-летней пенсии мне остается еще 7 лет, но я не в силах служить более на таком трудном месте, каково директорство в Синодальном хоре и училище. Нервы мои не выносят более, стремления мои работать в области древнего пения неосуществимы за постоянным недосугом и волнениями. С другой стороны, благодаря Бога, мне удалось уже уставить и училище и хор так твердо, что следующий директор, более меня предприимчивый и энергичный, может повести дело вполне к чести Св. Синода.

Но я — бедняк, и притом я совершенно не в силах расстаться с библиотекой рукописей, в которой все главнейшее уже сделано мною и остается мне лишь констатировать многие ценнейшие для науки открытия, уберечь будущих работников от пережитых мною ошибок и увлечений и осмыслить всю меру огромной важности этой библиотеки для науки и для нарождающегося истинно русского и церковного певческого искусства.

Поэтому, думая выйти в отставку, я думаю о пенсии, хотя сколько-нибудь вознаграждающей мои труды для училища и хора, равно и об устройстве меня, хотя как-нибудь, но при библиотеке рукописей на весь остаток годов моих. Частно, мечтаю и о лекциях в Московской Духовной академии.

Вот, кратко, мое ходатайство к Вашему Высокопревосходительству. Я прошу позволить мне приехать в Петербург и снисходительно выслушать подробности моего по сему ходатайства³.

Вашему Высокопревосходительству усердно преданный

Ст. Смоленский.

РНБ, ф. 631, № 116, л. 13а—13а об. Письмо было переслано Победоносцевым Рачинскому

1. Упомянутые сочинения Смоленского были первоначально, в 1900, изданы в качестве приложения к журналу «Церковные ведомости», а затем, в 1905, изданы на средства автора.

7 августа 1899 Смоленский писал Рачинскому о Ектениях:

Посылаю Вам еще одну мелочь, но как-то сразу сделавшуюся обиходною в Успенском соборе. Написались эти Ектении на темы, до сих пор употребительные в басовом хоре братии Успенского собора, и написались как-то сразу, да так складно, точно давным-давно привычны.

(РНБ, ф. 631, № 107, л. 179—179 об.)

2. Эта работа, написанная по настоянию редактора-издателя «Русской музыкальной газеты» Н. Ф. Финдейзена и опубликованная в ряде номеров за 1899 и отдельным оттиском (который и посылает Смоленский Победоносцеву), является одной из центральных в наследии ученого (см. текст с комментариями: РДМ. Т. II. Кн. 1). Говоря о существующем, хотя и незавершенном продолжении работы, Смоленский, возможно, имеет в виду текст, который уже после его смерти был опубликован в журнале «Хоровое и регентское дело» под заглавием «О русской хоровой церковно-певческой литературе с половины XVI века до начала влияния приезжих итальянцев». Но вообще практически все сколько-нибудь крупные работы Смоленского начиная с этого времени так или иначе связаны с рукописями из собрания Синодального училища.

3. Об этом письме к Победоносцеву Смоленский в Воспоминаниях упоминает как о «решающем», а об ответе обер-прокурора (не сохранившемся) как об «уклончивом» (на самом деле ответ был просто «отрицательный»; см. письма Победоносцева к Рачинскому в Приложении к разделу). Смоленский еще не знал тогда о близящейся ревизии Синодального училища (в результате которой он вынужден был уйти) и считал возможным ставить как условие продолжения своей деятельности в Москве «нсмеленное удаление» своего непосредственного начальника А. А. Ширинского-Шихматова (это требование было предъявлено им ревизору П. И. Нецаеву).

Письму к Победоносцеву предшествовали два летних (от 10 июня и от 5 июля) письма к Рачинскому, который как будто одобрил план Смоленского:

<...> А я действительно устал. Вместе с тем меня тяготит то, что судьбе угодно было втянуть меня в массу таких новых данных по рукописной части, которые совершенно изменяют направление будущих работ по церковному пению. Я работаю над этим делом не покладая рук, не теряя ни одного свободного часа, отдавая все время этой библиотеке. Теперь получилось такое состояние, что при этом труде библиотечном, вполне надобном для будущего и возможном к осуществлению мною

вследствие чуть не 20-летней подготовки, моя служба со всеми ее дрязгами и мелочами становится мне тяжелой, подчас горькой, обидной. Я начинаю думать так: Синодальный хор поставлен уже несколько лет на хорошую ногу, как в направлении деятельности, так и в своей дисциплине; Синодальное училище также поставлено хорошо, сколько хватило у меня силы и умения пролабировать между всякими нелепыми воздействиями; библиотечное дело — труд покойный, одинокий, бессрочный, самостоятельный, вполне надобный по крайней мере на 10 лет жизни. Отсюда вывод: вполне легко можно найти директора, который поведет дело или по уставленному пути, получившему довольно всяких одобрений, или даже по лучшему направлению, ныне недоступному моим усталым силам. Но трудно найти мне преемника в моем задушевном труде — рукописном, где я работал всегда один и где только теперь образовался (года 2—2 1/2) кружок посвященных во все главнейшее. Посему, пока еще жив К. П. [Победоносцев] и не померкла чистота моего имени от какой-нибудь петербургской или архиерейской выходки, лучше уйти мне спокойно, оставшись хоть «чиновником особых поручений» при К. П., командированным для занятий в собрании певческих рукописей. Тогда я, сам друг с женой, не нуждающийся ни в директорской большой квартире, ни в нынешнем моем, пожалуй, известном художественном имени, мог бы успеть «неоконченная исправить» и оставить после себя действительно богатое наследство русскому певческому искусству и его науке. <...>

(РНБ, ф. 631, № 114, л. 51 об.—52)

<...> Большое впечатление произвело на меня Ваше слово одобрения о моем плане для будущего. Я уже составил начерно план подробного письма к К. П. и прошу позволения у Вас прислать его Вам, чтобы Вы не отказали мне в Вашем искреннем мудром совете. <...> Я измотался с Синодальным хором и училищем, силы мои ныне совсем не те, об энергии недавних лет нет и помину; мне жалко будет умереть, не записав сотни страниц моих наблюдений в рукописях и не закончив многие толстые томы каталогов, над которыми я убил столько трудов в последние 5—6 лет. <...>

Простая каталогизация, но подробнейшая, есть в сущности черновая работа, занимающая сейчас у меня только время и утомляющая только физически. Ум мой слаб уже для мотивирования комбинаций и сближений, вызываемых перерождением напевов от огромного протяжения нашей Руси и от разных влияний иноверия и иноплеменности. Вот тут-то, в уяснении типов, в сближении родов пения, в установлении точных редакций, равно и относительно хорового пения: в установлении правил гармонии и контрапункта, которыми, минуя подробности, сочли надобным руководиться русские музыканты XVII и начала XIX века, — тут-то и лежит весь смысл предполагаемой мною работы, которой мне хочется отдаться вне всякой служебной суетоки. <...>

(РНБ, ф. 631, № 115, л. 21—21 об.)

Победоносцев — Смоленскому

Петербург, 7 декабря 1901

Сегодня приехал Рачинский и эти два дня сидит дома¹.

РГБ, М 10795, № 7, л. 10. Записка карандашом на бланке обер-прокурора Св. Синода

1. В это время Смоленский уже был управляющим Придворной капеллой.

Смоленский — ПобедоносцевуТатево, 4 мая 1902¹

Ваше Высокопревосходительство Милостивый Государь
Константин Петрович!

У гроба Вашего давнишнего и наилучшего друга, у гроба одного из милейших, вполне чистых людей, в котором дарования, знание так обаятельно соединялись с душевною красотою, пишу Вам. Размыкиваю в этих строках и свою горькую утрату. Ничем, конечно, не сумею утешить Вас, но думаю, что сообщение Вам подробностей болезни, кончины и отдания последнего долга покойному все же облегчит Ваше застонавшее от утраты, любящее сердце; все же лучше хоть что-нибудь, чем ничего.

Я получил известие о кончине незабвенного Сергея Александровича через несколько часов после того, как его не стало. Мне сообщил о том Н. П. Богданов-Бельский. Известив с своей стороны А. Н. Нарышкину, Е. В. Сабурову, С. С. Волкову, графа С. Д. Шереметева, я вдруг собрался в путь. Мне страшно захотелось проститься с покойным, так снисходительно и постоянно не отказывавшим мне в своем внимании и участии. Мне захотелось благодарно, мерою моей любви и молитвы поклониться Сергею Александровичу, моему доброму и умному учителю. Самое простое, но неудержимое чувство сыновней любви и преданности ученика вспыхнуло во мне с неожиданною для меня самого силою. Я вдруг почувствовал, что опора моей жизни, бывшая у меня в моем почтенном отце, затем в незабвеннейшем Николае Ивановиче и, наконец, в Сергее Александровиче, — внезапно рухнула и нет у меня более такого чистого и умного, доброго человека, которому бы я, как духовному отцу, как любящий и благодарный сын и ученик, исповедовался в беседе и в письме, врачевался душевно на безукоризненном примере одного из наилучших русских людей. И я собрался живо, бросив все в Петербурге. Невыразимо трогательными показались мне розы, привезенные на вокзал Е. В. Сабуровою и С. С. Волковою для украшения этими чудными цветами праха покойного. Скорбные лица этих двух добрых почитательниц-друзей Сергея Александровича свидетельствовали

и о мере их утраты. Я рад теперь, что доvez эти чудные розы, что кладя за по-славших их, как по поручению жены моей земные поклоны за покойного, нахожу в себе больший подъем духа, большее облегчение, несмотря на всю горесть, на всю безграничную, неопишемую горесть всех окружающих. Надо знать Татеву, надо понимать меру благоденствия Сергея Александровича окрестному населению, надо знать меру любви к нему его родных, его друзей, чтобы почувствовать, что кроется за этими серьезными лицами, за немногими слезинками, за немногими сдержанными вздохами. А это все здесь, перед моими глазами, и сам я плачу вместе с ними, и у самого нет сил переломить себя, нет сил побороть горе хотя бы тихою молитвою. Я был в школе и не пойду туда более, — это что-то растерявшееся, сейчас ни на что не похоже: каждый уголок этой чудной большой избы священен для меня бывшею на моих глазах неподражаемою школьною идиллией, бывшими восхитительными беседами художника-учителя и народолюбца; припоминаю и свой, полный юношеского увлечения труд в этой школе. Теперь вижу вполне осиротелую семью, для которой нет даже надежды пережить что-либо подобное очаровательному прошлому. Теперь вижу людей, говорящих шепотом, как бы покойный был тут же; вижу пустой рабочий стол, за которым писались знаменитые «Записки о сельской школе», но вижу вместе с тем и полную, неотвратимую смерть всего дела Рачинского, в смысле утраты идиллии и высокого художества. Останутся, конечно, школа и ее отрасли, но не школы Рачинского. Они, пожалуй, уже и умерли, как от игры артиста не остается ничего кроме благодарных и восторженных воспоминаний. А что Сергей Александрович был большой и чуткий художник-учитель, — надо ли говорить о том.

Предвижу и смерть самого Татева как выморочного будущего имени Рачинских, либо холостых, либо бездетных, ибо не будет ли жестокою насмешкою переход такого имени в род Толстых?² Или, может быть, близкие моему сердцу могилы стариков Рачинских, ныне добавленные еще одною свежею могилою, раздражают мои мысли, или в самом деле вымирают и не восстановятся в будущих людях простые и величавые фигуры вроде Варвары Абрамовны и сегодняшнего покойного? Чем удержится высокая аристократичность, тонкая деликатность и интеллигентность Татева? Не вымирает ли и это сущее дворянское гнездо лучшего сорта? Не умерло ли оно даже и с кончины Сергея Александровича? Как благородны стены комнат Татевского дома, украшенные наилучшими обоями в виде шкафов с книгами, содержимыми в величайшем порядке! Как изящны те же комнаты, украшенные всякими реликвиями искусства и памятями о людях науки! Как богаты и умны цветники, аллеи Татевского парка, где во множестве уголков так и чуется художник-ботаник, наслаждавшийся природою, умно сочтанною им со всякими прикладными искусствами. Все островки, водопады, бугорки со скамейками так просты, изящны, порядочны. Я обошел их сегодня, припоминая то ту, то другую беседу в том или другом месте, — волнуясь и сейчас, глядя в окно на скамейку,

где мы сживали чаще всего! И ничего то не уцелеет! Ничто не повторится! Придется завтра отдать последний поклон и очаровательному Татеву!

Невыразимо тяжело было мне войти и увидеть в первый раз на столе неподвижного уже Сергея Александровича. Лицо его, несмотря на истекшие полные двое суток, вполне сохранилось, серьезно и кротко. Никого ведь нет и не было из своих как при кончине, так и до сих пор, кроме брата Александра Александровича. Из рассказов мне неясно до сих пор, что такое именно было причиною кончины. Вероятнее всего — паралич сердца. В воскресенье, 28 апреля, Варвара Александровна¹ надумала уехать в Тамбов, в имения матери, где не была 17 лет. Уже одно это показывает, что даже Варвара Александровна, берегшая брата как зеницу ока, не подозревала ничего, да и не могло быть никаких опасений. Сергей Александрович был вполне здоров, и если жаловался в понедельник и вторник, то только на ревматическую боль в руке. В среду почувствовалось какое-то онемение в ноге, не представлявшее ничего особенного. Утром в четверг Сергей Александрович встал в 6 часов, пил кофе, читал газеты, потом вздумал выпить чаю и прилег после того. Все время Сергей Александрович был благодушен, так же как и в утро 2 мая. Надзор за ним, самый тщательный в течение уже нескольких лет, побудил фельдшера заглянуть к Сергею Александровичу в 8 часов 45 [минут] утра, и тут оказалось, что Сергей Александрович только что скончался, так как за четверть часа перед этим он был в кругу своих домашних. Смерть была вполне внезапна и безболезненна, после последнего его письма к сестре Варваре Александровне в Тамбов, отправленного уже по кончине.

Сегодня в 4 [часа] утра я приехал в Татевое вместе с Богдановым-Бельским и Григорием Алексеевичем Рачинским, ехавшим через Москву. К полудню ждут Константина Александровича Рачинского¹, завтра, 5-го, Варвару Александровну. В этом кругу состоится завтра погребение дорогого покойного. До сих пор служитя масса панихид окрестными священниками, сегодня же вечером будет отслужена зауспокойная всенощная. Псалтырь читает вполне истово, со старообрядческою несколько интонациею, ученик — крестьянин лет сорока, и читает великолепно, четко, ясно и неторопливо.

В доме безхозяйном — жутко и скорбно, тяжело очень. Я положил как бы от лица всех по поклону покойному. Богданов-Бельский обдумывает, как послужить в последний раз своему благодетелю. На дворе чудный майский теплый день, сердце радуется первому солнечному весеннему теплу, — а на душе жутко. Я вышел на крыльцо, и первое, что бросилось в глаза — две срубленные огромные березы направо от крыльца, те самые, которые Сергей Александрович собственноручно посадил лет 60 назад, — ныне зимой захиревшие березы срублены...

Нет времени писать еще — торопят отсылкою письма, так как отправляют лошадей на станцию. Завтра напишу еще.

Душевно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 4

Машинописная копия — РГАЛИ, ф. 723, оп. 1, № 85, л. 1—3

1. Как следует из Дневников Смоленского, это и нижеследующее письмо были написаны им во время прощания и похорон С. А. Рачинского, но отосланы не Победоносцеву непосредственно, а сначала А. И. Смоленской для прочтения. Последняя решила, что письма в таком виде посылать тяжело переживавшему кончину друга и находившемуся за рубежом Победоносцеву — неудобно. Впоследствии, вернувшись в Петербург, Смоленский показал эти послания своей приятельнице С. С. Волковой, которая, будучи сама большой поклонницей Рачинского, сделала с них машинописные копии. Одна из копий сохранилась в архиве Волковой. Читал ли Победоносцев эти письма — неизвестно.

2. Единственной представительницей младшего поколения в большой семье Рачинских была Мария Константиновна Рачинская, вышедшая замуж за С. А. Толстого, сына писателя. Брак этот оказался крайне неудачным, Мария Константиновна скончалась раньше Сергея Александровича, в 1900-м. Поэтому Смоленскому и показалось, что наследником Татеево должен стать С. А. Толстой, чего в действительности не произошло.

3. Имеется в виду мать Сергея Александровича, урожденная Баратынская, сестра поэта.

4. Упоминается сестра С. А. Рачинского, жившая постоянно в Татеево и преподававшая в школе для крестьянских детей.

5. Упоминаются еще один брат С. А. Рачинского, директор Московского сельскохозяйственного института, и его двоюродный брат Г. А. Рачинский, известный литератор и переводчик.

Смоленский — Победоносцеву

Татеево, 5 мая — Ржев, 6 мая 1902

Ваше Высокопревосходительство Милостивый Государь

Константин Петрович!

Продолжаю вчерашнее письмо, под впечатлениями всего пережитого. Сергей Александрович уже в сырой земле, и осталась только память об этом чудном душою и сердцем, несравненном человеколюбце, — остались его дела, остались и друзья, одинаково осиротевшие.

Неважно поют школьные хоры здешней местности, но умеют здесь горячо молиться, а простые крестьянские души хотя, может быть, и не сполна понимают, но живо чувствуют меру постигшей их утраты. Панихиды вчера шли одна за другою почти без перерывов, то одной, то другой школе, то одному, то другому приезжему, в такой степени, что, отходя ко сну после татеевского обычая, то есть в 10 час. вечера, я был удивлен, увидав приготовления к новой панихиде, после только что пропетой Тарховскою школою.

Особенно выразительны минуты, когда все, начиная со священника до певцов, поют стоя на коленях, поют же с высоким подъемом духа, хоть и нескладно, но энергично.

Прибыл о. ректор Смоленской семинарии и много всяких соседних священников, думаю, что более 12-ти, так что всем и тесновато в алтаре Татевской церкви. К утру сегодня прибыла из Тамбова Варвара Александровна, прибыли многие соседи, многие из Ржева, Москвы и Петербурга, так что в Татевском тихом доме образовалось давно не бывшее многолюдство. Но эта толпа была как-то особенно тиха, тише обычной толпы на похоронах, и объяснимы для меня притворно веселые разговоры в отдаленных комнатах Татевского дома, которыми так нервно отдаляли от себя переживаемое горе родные братья покойного. Их светская находчивость, остроумие, конечно, делали беседу весьма интересною, но вздох часто обличал все, что тяготило душу. Остальные, главным же образом дамы, сначала Софья Николаевна Рачинская, потом же Варвара Александровна не перемогли своего горя. Об учителях, учениках — говорить нечего.

Пусть не верят совпадениям всякие скептики, но совпадение 2 мая в 8 1/2 утра очень поразительно. 2 мая — день рождения Сергея Александровича, начавшего свой 70-й год. Варвара Александровна, узнав в тамбовском имении о случайно заказанной кем-то литургии в местном храме, послала вынуть части и, судя по разности часов от разных меридианов Татева и Кирсанова, в момент смерти Сергея Александровича были вынуты *ошибочно* части вместо заздравных — за упокой. Несколько часов спустя Варвара Александровна получила депешу о внезапной кончине Вашего друга.

Сегодня с утра была прелестная теплая погода, как и вчера и третьего дня. Под песни первой весенней любви пролетных птиц, при первых распустившихся весенних цветах скончался человек, так восторженно любивший природу. Если благоухающие розы от петербургских почитательниц покойного были трогательны и изящны, то не менее красивы были букеты примулов, только что распустившихся маргариток, некоторых сортов гиацинтов и фиалок, согретых на воле теплотою этих дней. И как хороши эти первые цветы весны в гробу Рачинского! Как походили на них простые русские лица детей — учеников, певших умильные похоронные песни, хотя бы и нестройно! Как умиротелен был солнечный луч из верхнего в куполе церковного окна, падавший прямо в лицо покойного! Все мы, во тьме ходящие, как-то сразу заметили свет лица великого учителя во время отпевания. Или это нервы ходили...

Литургия была совершена очень многими священниками, из которых многие говорили надгробные речи. Говорил и дровнинский Василий Ал. Лебедев, пробрал до горьких слез о. Александр Петрович Васильев из Петербурга, говорил и ректор Смоленской семинарии Алипий. Пели восхитительную Херувимскую № 3 Турчанинова, особенно любимую Сергеем Александровичем,

ту самую, в которой к недоумению когда-то первых ее слушателей Турчанинов, нечаянно для себя, угадал впервые употребление нами гармоний древнего лада и вдохновенно гармонизовал совершенно по-русски целую строку. Служба затянулась долго, так как после выноса в 8 1/2 часа утра мы вернулись домой в 1 ч. дня.

Семейный склеп скрыл в себе останки прелестного человека при каком-то концерте птиц, чирикавших неугомонно, при мягком солнечном тепле, в тишине множества печальных лиц, умиленно молившихся и прощально глядевших в последний раз на Сергея Александровича. Не одна горькая простая слеза пролилась в эту трогательную минуту у каждого из бывших тут. Татеву прощалось со своим светочем, со своей красотой, со своим любимцем, со своей гордостью и радостью, столь привычными ему в многие последние годы. Скромнейший из людей, вероятно, и не подозревал, как любили его и как по-своему гордились и радовались им все его окружавшие. Но чувствовался и демонстративный недочет в бывшем сегодня прощании. Впрочем, где же не проявляет себя, хотя бы блеском отсутствия, все мыслящее показным, чувствующее по законам и меряющее по своим близоруким и самолюбивым требованиям. Ни земец, ни дворянин, ни представитель народного просвещения не явился в Татеву к 5 мая.

Я дописываю эти строки уже в Ржеве, 6 мая, так как тороплюсь в Капеллу, в котел всякой столичной и придворной пакости, где честный, правдивый голос принимается только с оглядкой и опаской, с подозрением в нем какого-либо предательства. Изолгавшийся мирок, полный неверия, праздности, корысти, недружелюбия и самолюбия, совершенно далек от Татевской тишины и ясности душевной. И в этот раз, как и во все прошлые, побывав в Татеве, чувствую себя временно чище, порядочнее, спокойнее духом, хотя уже не было у меня беседы с моим несравненным другом-учителем. Не знаю теперь, попаду ли я хоть один раз в милое, дорогое сердцу Татеву, преклоню ли мои колени перед дорогою мне могилою, в которую около достойнейшей, величавой старицы-матери сегодня лег такой достойный ее сын. Как ни тяжело, как ни жалко потерять такого человека, радуюсь и горжусь, что у меня был в моей жизни такой чудный близкий человек, не отказавший и мне во многом для меня учительном. С чувством самой глубокой благодарности поклонился я ему и целовал его в прощальную минуту. Поклонился ему и за Вас, и за Екатерину Александровну, думая, что и в Ваших сердцах болью отозвалась потеря столь любимого и столь любившего Вас давнего друга.

А я осиротел очень. Надобность дать исход сыновнему чувству, все еще живому во мне, теснит мою душу, и нет у меня доброго человека, хотя бы и не старого, которому бы я исповедовался так же, как то было в течение многих последних лет. Чувствую, что несмотря на 54 мои года, эта надобность иметь душевного, умного отца-друга как бы указывает на не начавшуюся еще мою старость, но чувствую также, что без умного, сердечно чтимого, прямого

друга будут тяжелы эти годы поисков. А как трудно найти такого человека, как редки такие друзья! Где ныне вполне прямодушные — люди, так зараженные недоверием, зараженные «тактом», возобладали всюду, что простое сердечное к ним обращение принимается за наивность и даже невоспитанность. Тяжело было и уезжать из Татева, где столько раз очищалась душа моя краткими свиданиями с незабвенным Сергеем Александровичем. Около меня собралась кучка моих бывших татевских учеников, и мы обошли несколько аллей, посидели на некоторых особо любимых покойным скамейках, потужили, поговорили и один перед другим передавали о Сергее Александровича разные свои воспоминания.

Кончаю письмо, чтобы не затянуть отсылки. Не осудите беспорядочность изложения: на душе слишком сиротливо и свежи еще пережитые сильные впечатления. Других бодрил я, а сам не раз плакал и дивился невольным, неудержимым слезам. Вспомнишь что-нибудь — слезы, вспомнишь радость от участия покойного — опять слезы... Вот, например, случайно вышло, что вместо литии перед школой понесли в самую школу, а вынося, толкнули сильно часы на без 7 минут 10 часов. Кто-то сказал: «Последний урок дан, учительство Рачинского в знаменитой Татевской школе кончено» — и опять слезы только от того, что часы встали...

Особенно жалко сестер Сергея Александровича Варвару Александровну и Софью Николаевну. Как ни плох, вероятно, был в качестве хозяина милейший Сергей Александрович, все-таки не было Варваре Александровне ее нынешнего одиночества. А вот восхитительная учительница Софья Николаевна так уж совсем осиротела, и вряд ли, несмотря на дивного своего дьякона Михеюшку с его женой-француженкой, уцелеет славная школа в Меженинке². Нигде я вполне и с такою радостью не наслаждался идиллией школьной семьи, как у Софьи Николаевны. Нигде нет постоянных, кроме ребят, 20-ти взрослых умелых церковных певцов, как в той же Меженинковой церкви. Поют прямо отлично, а все делает любовь и простота, даже и при крайней скудости средств. Вот уж истинная соль земли. Вечная память Сергею Александровичу!

Простите вновь за долги. Не могу оторваться от милых хороших людей.

Прошу принять мои пожелания Вам и Екатерине Александровне доброго здоровья и всякой тихой радости.

Сердечно преданный Вам Ст. Смоленский.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 4.

1. Упоминаются ученик Рачинского, священник соседнего с Татевом села Дровнино Василий Александрович Лебедев и тоже ученик Рачинского священник А. П. Васильев, впоследствии очень известный в Петербурге и при дворе (см. о нем в комментариях к переписке с С. Д. Шереметевым).

Алипий (Александр Александрович Попов; 1864—1912) — с 1901 ректор Смоленской духовной семинарии, впоследствии епископ Старицкий, викарий Тверской епархии.

2. О двоюродной сестре С. А. Рачинского Софье Николаевне, тоже занимавшейся народным образованием, и диаконе Михее, бывшем ученике крестьянской школы, см. в Воспоминаниях Смоленского (глава «С. А. Рачинский и Татев»).

Смоленский — Победоносцеву

Петербург, 21—22 сентября 1904

Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь
Константин Петрович!

В августе месяце сего года, занимаясь в московских библиотеках, я подал прошение в Правление Синодального Училища о высылке мне в г. Петербург, сроком до трех месяцев, трех певческих раскольничьих рукописей и карточных, мною составленных и собственноручно написанных каталогов, равно и тематического нотного указателя разных хоровых сочинений XVII и начала XVIII века. В ответ на это прошение я получил следующую бумагу от г. Директора В. С. Орлова, от 16 сентября с. г., за № 531:

Вследствие Вашего прошения на имя Правления Синодального училища церковного пения о высылке карточных каталогов и трех рукописей, Правление постановило: усматривая из поданного прошения, что 33 рукописи Синодального училища, отосланные в 1902 г. в Архив при Св. Синоде для занятий в помещении Архива и под наблюдением заведующих им лиц, находятся на частной квартире Вашего Превосходительства, что этим самым резким образом нарушены владельческие права училища и Правление поставлено в невозможность охранять целостность рукописей, что в них ощущается нужда и в Москве для занятий разных лиц, которые (как г. Сенатов) горько жалуется на продолжительность пребывания рукописных книг у Вашего Превосходительства и с нетерпением ждут их возвращения в училищное книгохранилище, — ходатайствовать перед г. Прокурором Конторы о скорейшем возвращении взятых Вашим Превосходительством рукописей в библиотеку Синодального училища и, по возвращении их, иметь суждение об удовлетворении Вашей новой просьбы. Сообщая о сем постановлении, имею честь просить Вас выслать в Правление 2 гербовые марки по 60 коп., которыми по существующим узаконениям оплачиваются прошения в присутственные места и ответы на них. Директор В. Орлов. Делопроизводитель Н. Попов.

Конечно, по получении такой бумаги я счел себя обязанным немедленно сдать в Архив Св. Синода все 33 рукописи, выданные мне на дом по личному

распоряжению Вашего Превосходительства от 21 мая 1902 г. на трехлетний срок, с правом продолжить и впредь пользование теми рукописями. Сдача эта состоялась 20 сентября и по моей просьбе, во избежание всяких недоразумений, была произведена г. Начальником Архива К. Я. Здравомысловым с самою точною проверкою каждой рукописи по описи Синодального Училища. Излишне прибавлять, что рукописи оказались в полной сохранности и исправности, что все опасения Правления, столь неожиданно вытребовавшего у меня рукописи и прервавшего мои научные занятия, оказались совершенно напрасными.

Вполне огорченный таким насильственным и незаслуженным лишением меня рукописей, я решился обратиться к Вашему Превосходительству с убедительной просьбою о помощи мне в этом деле и в деле урегулирования более уважительных ко мне отношений Правления Синодального Училища. Эту библиотеку, как собранную и каталогизованную мною, я считаю для себя единственно удобною для моих занятий по моему точному и многолетнему знакомству с каждой ее рукописью и особенно по множеству моих домашних записей о страницах, где имеются надобные и найденные мною материалы. Мне нельзя и начать теперь свои работы по другим документам. Поэтому мне, уже стареющему, приходится теперь или просить о восстановлении мне бывших до сего условий моего труда, чем спасти все сделанное, хотя и недоконченное, либо совсем бросить занятия церковным пением, оставив без опубликования большие сочинения и каталогизации, уже сделанные мною в прошлые годы на $\frac{3}{4}$ их содержания.

Год тому назад я имел честь лично доложить Вашему Превосходительству, что, выйдя в отставку, я решил посвятить мои немногие уже последние годы завершению и напечатанию моих научных работ по церковному пению. Их немало у меня начато, немало почти закончено, немало обдуманно во всех подробностях по записанным в прежние годы справкам из рукописей Синодального Училища. Непрерывность моих занятий в последнюю зиму достаточно доказывается тем, что я сделал 28 ноября 1903 года, 19 марта и 16 апреля 1904 три научных сообщения в Императорском Обществе Любителей Древней Письменности. Первое из них, «О ближайших задачах русской церковно-певческой археологии», уже напечатано, а два остальных, «О сказании инока Евфросина», 1651 года, и «Мусикия» диакона Коренева, 1681 года, приготовлены к печати. Независимо от сего из мира древних напевов скомпонирована мною и печатается уже для мужского хора «Панихида древних роспевов», впервые исполненная 26 февраля 1904 года на годовом собрании Общества Ревнителев Русского Исторического Просвещения. Кроме того смею думать, что прилагаемые при сем мои рукописи (о возвращении которых прошу) «сравнительные изложения» развития певческих текстов 8-ми догматиков и 8-ми более типичных ирмосов с XII века по XIX должны убедить Ваше Превосходительство, что я не теряю время без работы². Наконец и самая недавняя просьба в Правление Синодального Училища есть следствие желания

закончить две работы: 1) «Практическое руководство для обучения пению по крюкам» и 2) «Исторический очерк развития хорового пения по крюкам и нотам с половины XVII века до начала господства у нас итальянского искусства»³. Составленные мною несколько лет назад каталоги всех найденных мною где-либо хоровых сочинений, составляющие мою неоспоримую авторскую собственность, имелись мною в виду для последней работы как самая существенная часть этого сочинения.

Судя по немногому числу работников в области церковного пения, можно заключить только о трудности этих исследований. По слабой надежде иметь многих читателей и по отсутствию моего товара на денежном рынке, я, и по искреннему убеждению, и по практическому осуществлению своих трудов, могу назвать пока деятельность этих работников только идейною, бескорыстною, исполняемою только «во славу Божию». Таковы были и мои труды во все прошлые годы моей жизни, таковы останутся они и до моего недалекого уже конца. Не могу однако не сказать, что знаки внимания и участия истинно просвещенных людей, уважение их к моему труду и снисходительное отношение к нему печати и ученых обществ очень бодрят мои слабеющие силы. Такое мое впечатление было у меня и от недавно присужденной мне премии Митрополита Макария⁴. Между тем, что же встречаю я на пути моего труда и притом из столь сердечно любимого мною и, признаться, столь обязанного мне в прошлом Синодального Училища!

Повторительное чтение вышеприведенной бумаги не оставляет сомнений в том, что, минуя ее очевидную несдержанность, существуют основания, по которым в Правлении Синодального Училища могут проявляться вполне нежелательные для моей работы отношения и в будущем. Я объясняю их вполне просто — отсутствием определенных свыше отношений и неурегулированностью отношений ко мне лично. К такому объяснению я имею четыре причины: 1) неопределенность положения библиотеки рукописей Синодального Училища как не публичной, 2) особенные мои отношения к этой библиотеке как имеющего права авторские на открытия в ней и на сделанные каталогизации, равносильные открытиям, 3) особенности размера моего пользования рукописями, вызываемые самим характером и содержанием моих научных работ и, наконец, 4) просвещенное и благосклонное участие Вашего Превосходительства, разрешившее 2 года назад ряд препятствий по выдаче из Москвы, как и по доставке мне на дом и на трехлетний срок рукописей, о чем, очевидно, Синодальное Училище либо не было своевременно поставлено в известность, либо запамтовало.

Немногие подробности этих причин заключаются в следующем.

1. Библиотека рукописей Синодального Училища стала еще при мне первым в России по богатству собранием документов преимущественно XVII и XVIII веков; каталогизация и прикладные работы по приведению в систему этих документов осмыслили важность для науки этого собрания как со-

державшего в себе превеликое множество драгоценнейших по содержанию художественных и исторических новостей. Количество более древних рукописей в библиотеке, не далее конца XVI века, вполне незначительно, так как таких рукописей не более 5-ти, а всех позднейших уже при мне было собрано более 1100 №№. До 90 % этого числа относится к крюковому и нотному одноголосному пению, остальная же часть — к хоровому (не считая массы томов голосовых партий). Из этой массы одноголосных рукописей, то есть почти 1000 томов, я выбрал себе для занятий только 33 рукописи (возвращенные 20 сентября) и вновь просил о временной выдаче еще трех рукописей. Если принять во внимание, что русская церковная жизнь выработала для своей практики только 7 типов певчих книг, то есть Октоих, Ирмолог, Триодь, Праздники, Трезвоны, Обиход и Минею общую, то понятны и 5 видоизменений этих типов в течение бурного для певческого искусства XVIII столетия. Эти видоизменения устанавливаются мною как: 1) рукописи, перешедшие в хоровых редакциях от конца XVI века, 2) рукописи самовольных исправлений до патриарха Никона, 3) рукописи с новоисправленными текстами после собора 1666 года, 4) раскольничьи и единоверческо-старообрядческие рукописи и 5) нотные рукописи, перешедшие затем в издания Св. Синода. Приблизительно по этому порядку мною были выбраны (7 x 5) 33 рукописи для моих научных работ. В этом выборе не было безусловно ни одной рукописи ни более древней, ни сколько-нибудь редкой, так как меня интересуют лишь общие черты развития русского певческого искусства. По этим данным нетрудно утвердительно и очевидно доказать, что певчие книги всякого содержания и видоизменения, числом до 35, при разности составов и видоизменений, не могут не повториться в 1000 рукописей множество раз и таким образом представить богатое число дубликатов, ибо $1000 : 35 = 28,1$. Таковое число их в библиотеке Синодального Училища на самом деле существует, и странно мне слышать о «горьких жалобах» на продолжительное пребывание у меня именно [этих] рукописей. В этом можно убедиться по составленному и пожертвованному мною, для подыскания дубликатов, систематическому указателю. Правление Синодального Училища не обратило внимания на деликатность моего выбора, на то уважение к полноте в библиотеке всех редакций всяких певчих книг, которыми обеспечивался другим исследователям полный простор занятий. Именно по этой причине в прежний мой выбор не были взяты две из трех временно просимых сейчас раскольничьих рукописей как не имеющих себе дубликатов. По этим соображениям самый простой доклад о. библиотекаря Металлова, самая простая справка по существующему в библиотеке моему систематическому указателю могли бы удержать Правление от столь неосторожных вышеуказанных утверждений. Последними мне представляются выражения, что будто бы в находившихся у меня рукописях «ощущается нужда и в Москве для занятий разных лиц, которые (как г. Сенатов) горько жалуются» и проч.⁶

Я, давно занимающийся по рукописям, не только знаю почти всех в России моих товарищей и учеников по этой части, но даже и сношуся с ними по подробностям их работ. Не касаясь ссылки Правления на г. Сенатова, я, зная число дубликатов в Москве, вполне понимая лишь общее значение бывших у меня в Петербурге рукописей, ставлю вполне прямо и открыто вопрос о снятии сделанных мне Правлением Училища незаслуженных и несправедливых упреков. Если у меня была $\frac{1}{30}$ части библиотеки, и притом безусловно без более древних редких рукописей, то наличность остальных $\frac{29}{30}$ частей в Москве следует, право, признать более чем достаточною для ученых сил в Москве, хотя бы и крайне требовательных к библиотеке, заведомо не публичной. Да по правде сказать, и нет у нас пока 29-ти специалистов не только в Москве, но и во всей России по рукописной церковно-певческой части. Я полагаю, что — нет и половины.

2. Нисколько не опираясь на признания моих заслуг и трудов по собиранию и каталогизации рукописей Синодального Училища как уже ранее констатированные в журнале Правления (от 30 октября 1901 г., № 4, стр. 1), я считаю необходимым однако обеспечить себе мои авторские права на множество открытий, записанных мною в каталогических по библиотеке моих работах. Эти работы сделаны только мною и по собственному почину. Опубликование их, кроме пользы для науки и для церковно-певческого искусства, есть прежде всего возвеличение чести и прояснение богатств данного Училища. В этом смысле я надеюсь в будущем увидеть со стороны Правления гораздо более поощрения моим трудам, гораздо большее участие, чем весьма прозрачно намеченное будущее суждение Правления о моей второй просьбе и требование прислать 2 гербовые марки.

3. Особенности большого размера моего пользования многими зараз рукописями, превышающими числом обычные выдачи их из библиотеки, могут оправдываться тем сравнительно-историческим способом исследования, с помощью которого, при первых шагах нашей молодой науки, только и возможно констатирование роста русских музыкальных идей и географического, по векам, их распространения. Сравнительное исследование было мною употреблено впервые еще при исследовании «Азбуки А. Мезенца» (1888 год), удостоенной тогда премии Митрополита Макария; представляемые при сем сравнительные изложения текстов догматиков и типичных ирмосов показывают, что этот способ исследования до сих пор не оставлен мною. Для такого исследования, кроме редчайших и древнейших рукописей, для пользования которыми я имею вход и корреспондентов во все библиотеки и музеи, в России и за границей, мне надо иметь одновременно под руками знакомые рукописи в числе до 35-ти. О их возвращении мое почтительнейшее это ходатайство к Вашему Высокопревосходительству и теперь, в виде моего желания иметь вновь именно те же самые, знакомые мне рукописи, по которым я работал в последние два года и которые, к сожалению, я был вынужден возвратить

в Москву ранее разрешенного мне срока. Если, несмотря на полную исправность бережно сохраненных и возвращенных без промедления мною рукописей, все-таки будет признано неудобным дать мне рукописи как частному лицу, то я бы ходатайствовал о доставлении мне рукописей через Императорское Общество Любителей Древней Письменности, где я имею честь быть заведующим 2-м отделом Общества (то есть русского искусства) и откуда, в случае надобности соблюсти формальности, может быть сделан надобный запрос. С своей стороны я могу лишь добавить, что ни большего, ни меньшего количества рукописей мне не надо, так как мои работы уже приобрели привычную и предельную для меня обстановку, кроме незначительных случайных подробностей, вроде моей второй просьбы о временном доставлении мне трех рукописей.

4. Собрание и каталогизация рукописной библиотеки для Синодального Училища мною были предприняты, признаюсь откровенно, при моем бывшем постоянном желании остаться до конца дней моих только в Москве и притом на месте Директора Синодального Училища. Служебные недоразумения с бывшим прокурором князем А. А. Ширинским-Шихматовым повлекли за собою потерю столь дорогого моему сердцу места. Но еще в Москве, в мае 1901, отъезжая на должность Управляющего Придворной Капеллой, я подал первое прошение о выдаче мне рукописей для продолжения научных работ. Понадобился однако ряд новых моих личных ходатайств в Москве, понадобился целый год ожидания и понадобилось наконец мое обращение к сильному и просвещенному заступничеству Вашего Высокопревосходительства, чтобы получить возможность работать. Нетрудно увидеть, как скрытое давление моего бывшего начальника отразилось на ряде вполне последовательных постановлений Правления Синодального Училища и за уходом князя. Всех случаев сношений Правления со мною по делам библиотеки было три. Разрешение их было очевидно систематичным: то Правление, признавая высылку рукописей принципиально нежелательною, все-таки «в виде исключения, во внимание к особенным трудам моим по собиранию библиотеки», постановляет выдавать вместо просимых 33-х только по три рукописи, меняя их по возвращении на другие (1901); то Правление возбуждает (1902) какое-то через меня, почему-то замолкнувшее потом, требование отобрать объяснения у бывшего моего сослуживца г. Преображенского по поводу будто бы какой-то утраты рукописей; то посылка направляется не ко мне, а в Архив Св. Синода и мое пользование рукописями «под надзором заведующих им лиц» обставляется из Москвы условиями совершенно невозможными для успешной работы. Наконец теперь, когда Правление узнало, будто бы только из моего прошения, о нахождении рукописей у меня на квартире, я получаю еще более неожиданный упрек в «самом резком нарушении владельческих прав Синодального Училища», почему «Правление, поставленное в невозможность охранять целостность рукописей, постановило ходатайствовать перед г. Прокурором Сино-

дальной Конторы о скорейшем возвращении рукописей в библиотеку Синодального Училища и, по возвращении их, иметь суждение об удовлетворении Вашей новой просьбы».

Позволяю себе доложить Вашему Высокопревосходительству, что при получении рукописей в Архив Св. Синода в мае 1902 года, я, озадаченный неожиданными условиями для работы, обратился, по счастливому совету Д. Н. Соловьева, к Вашему Высокопревосходительству с прошением об отмене поставленных мне условий поднадзорного пользования рукописями в Архиве Св. Синода и о выдаче их мне на дом; вместе с тем я просил не только об установлении трехгодичного срока пользования этими рукописями, но и о возможности продления этого срока, в случае надобности, вновь на три года. Резолюция Вашего Высокопревосходительства с буквальной точностью гласила: «можно сдать рукописи г. Смоленскому на условиях, изложенных в его прошении с надлежащею распискою». Это было 21 мая 1902 года. Трехлетний срок, истекающий еще в мае будущего 1905 года, посему нарушен требованием Правления Синодального Училища от 16 сентября за № 531. Я полагаю, что данный случай мог произойти в Москве только по недоразумению или по забыванию. Ввиду намерения Правления Синодального Училища иметь суждение об удовлетворении моей второй просьбы лишь по возвращении бывших у меня рукописей, невольно вырисовывается возможность потерять надежду не только на обратное получение бывших у меня 33-х рукописей до срока в мае 1905 года, но и на продление моих работ по ним на дальнейший срок. Конечно для меня такое незаслуженное лишение равно насильственному прекращению моих научных работ по знакомым и привычным мне документам и равно очень болезненному наказанию за что-то.

Безукоризненная сдача мною рукописей г. начальнику Архива Св. Синода К. Я. Здравомыслову, смею думать, достаточно может убедить Ваше Высокопревосходительство в моем умении беречь рукописи и в ненадобности для Правления Синодального Училища никаких охранных мер при доверчивой выдаче рукописей именно мне, собравшему и отдавшему их сердечно-любимому учреждению на долгую о себе память.

Скажу откровенно Вашему Высокопревосходительству: я совершенно не в силах понять отношения Правления ко мне лично, моим трудам для науки и русского искусства. Самый искренний вопрос себе: чем могли бы быть вызваны такие отношения с моей стороны, остается для меня только самой полной загадкой. Нас разделяют 600 верст и полная ненадобность считается в чем-либо. Ваше Высокопревосходительство сами изволили провести за научную работу не один десяток лет, Вы видели всяких работников науки. Поэтому смею надеяться, что Вам угодно будет признать и мою посильную деятельность, хотя бы в наглядно осязательной форме сделанных мною изданий и представляемых при сем неоконченных еще рукописных работ; полагаю, что Вам угодно будет и во второй раз порадовать меня возможностью работать

далее. Я убедительно прошу Ваше Высокопревосходительство о разрешении мне беспрепятственно впредь пользоваться рукописями Синодального Училища на условиях, уже признанных Вами допустимыми в резолюции от 21 мая 1902 года. Как бы ни был мал мой вполне идейный труд, все же он, как труд честный, имеет право на просвещенное внимание, поддержку и защиту. Именно об этом и в форме уже Вами указанной я прошу Ваше Высокопревосходительство ради себя и других. С своей стороны я обещаю Вашему Высокопревосходительству нисколько не злоупотребить Вашим доверием и вполне честно исполнять принятые на себя, ради науки, вполне посильные мне обязательства относительно сохранности рукописей.

Вашего Высокопревосходительства покорный слуга
Ст. Смоленский⁷.

РГИА, ф. 1119, оп. 1, № 9, л. 167—172. Вклеенный в Дневник 5 черновик письма

1. О «Сказании» инока Евфросина был сделан доклад в ОЛДП (и опубликованы его тезисы), но закончена эта работа не была, сохранились лишь подготовительные материалы. «Мусикия» была опубликована ОЛДП после кончины Смоленского.

2. Упомянутые «сравнительные изложения» сохранились в архиве Смоленского в РГИА, не опубликованы.

3. Первая из упомянутых работ, задуманная еще в Казани, не была написана (в архиве сохранились лишь фрагменты предисловия к Азбуке); вторая — в каком-то ее варианте, возможно, не окончательном — опубликована посмертно под названием «О русской хоровой церковно-певческой литературе с половины XVI века до начала влияния приезжих итальянцев» (Хоровое и регентское дело, 1910, № 1, 3, 5/6).

4. Премия была получена за работу «О ближайших практических задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии» (ОЛДП, 1904).

5. О Систематическом указателе, оставленном в Москве, см. во Вступительной статье к тому.

6. Василий Гаврилович Сенатов, старообрядец-беспоповец, довольно известный писатель-полемист, перешел сначала в синодальную церковь, а потом — обратно в старообрядчество, но уже приемлющее священство. О занятиях его крюковым пением ничего не известно.

7. В Дневнике 5 данное письмо прокомментировано самим Смоленским следующим образом:

Это письмо с значительно измененным концом, так как я не в силах что-либо из своих посланий переписывать в точности, было передано 23 сентября Дм. Ник. Соловьеву, от которого я узнал, что самолюбивый чиновник Завьялов встал горой за ответ мне Синодального училища. Подробность эта также зиждется на мелочах: Завьялов был Начальником Архива [Св. Синода], когда туда пришли рукописи от Шихматова, а теперь он занимает место последнего, то есть

в качестве Московского Прокурора начальствует над Синодальным хором и училищем. Тогда он, за счет Дм. Ник. Соловьева, обиделся на меня, что, не спросив его мнения, ему *было приказано* передать мне рукописи; об этом он, для передачи мне, жаловался Невзорову. Теперь, как он имел случай лично объяснить мне, считает долгом «не поставить себя в противоречие с сослуживцами». Дм. Ник. Соловьев сказал мне, что он уже знает о моем деле потому, что ранее ответа мне из Синодального училища «была зондирована почва здесь!» О, людишки! О, самолюбьишки! О, бюрократия!

(Дневник 5, л. 172 об.—173)

Алексей Александрович Завьялов пробыл прокурором Синодальной конторы сравнительно недолго (1903—1906); симпатизировавший Смоленскому Дмитрий Николаевич Соловьев являлся в это время директором канцелярии обер-прокурора Св. Синода, а старый, еще по Казани, знакомый Смоленского Николай Кесариевич Невзоров служил в Училищном совете при Св. Синоде (см. о нем в переписке с С. Д. Шереметевым). История конфликта Смоленского с сотрудниками Синодального училища по поводу пользования рукописями довольно подробно изложена во вступительной статье С. Г. Зверевой к разделу «Архивные документы» в первой книге второго тома РДМ.

Следующий комментарий в Дневнике 5:

8 октября была получена мною копия с моего письма к К. П. Победоносцеву — с надписью «Последует соответствующее распоряжение. 23 сентября».

(Дневник 5, л. 173 об.; оригинал строки рукою Победоносцева вклеен в Дневник тут же)

Распоряжение было выполнено: рукописи Смоленский получил, вскоре «помирися» с Синодальным училищем и в дальнейшем беспрепятственно пользовался его рукописным собранием. Очевидно, это было последнее (и весьма важное) «благодарение», оказанное Победоносцевым Смоленскому.

Приложение

Вокруг Смоленского: переписка разных лиц*

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 28 февраля 1883

...Я получил длинное и милое письмо от Балакирева, исполненное радости и благодарности к Вам. Помогайте ему, чем можете, в устройстве образцовой школы регентов при Певческой Капелле. Это дело великой важности для церкви, и нужный для этого дела человек — именно Балакирев¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4411, № 4, л. 16

1. К этому времени Рачинский уже был знаком с первым, литографированным изданием «Курса» Смоленского и высоко его оценил (см. фрагмент из письма Рачинского к Ильминскому от 24 ноября 1882: РДМ. Т. IV. С. 573). Однако из письма видно, что надежды на создание «образцовой школы церковного пения», а также и образцового певческого круга, он пока возлагает на Балакирева как нового управляющего Придворной капеллой.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 12 августа 1883

Дорогой Константин Петрович.

Курс хорового пения Смоленского — вещь драгоценная, и издание этой книги в высшей степени желательно. Она содержит то, что нам необходимо — приличную, удобоисполнимую гармонизацию песнопений (обычного напева) не только литургии, но и вечерни и утрени, с приложением лучших творений наших первых духовных композиторов. Теоретическая часть составлена весьма толково и обстоятельно. Что касается до цифирной нотации, то каковы бы ни были ее достоинства и недостатки, употребление ее быстро распространяется, и она обладает тем громадным преимуществом, что уменьшает раз в десять объем нотных книг и в еще большей пропорции понижает их ценность. Для книги школьной — это соображение первостепенное. Переложение на линейную нотацию не представляет никакой трудности (я перекладывал для мужского хора — что несравненно кропотливее). Издать сборник Смоленского линейными нотами — компактно и дешево — невозможно — а главное его достоинство — богатство и полнота.

* В этом разделе большинство документов приводится фрагментарно; знаки купюр ставятся только *внутри* фрагментов. — М. Р.

Конечно, ввиду испрашиваемой субсидии, желательно было бы Вам заручиться отзывом человека более специально знакомого с техникою музыкального преподавания, чем я. Компетентнее всех — Балакирев, но имейте в виду, что его художественные требования и чересчур высоки, и несколько своеобразны. Миропольский — в этом деле более дилетант, чем знаток. Весьма ценен был бы отзыв Ломакина — но он собирается издать собственные свои переложения Обихода и едва ли заинтересуется чужим трудом, который может соперничать с его собственным¹.

Отвечаю Вам постепенно, и поэтому о прочем сегодня не пишу. Назначению Саблера — душевно радуюсь. Он — человек прекрасный и нелицемерно Вам преданный. Дай Бог Вам побольше таких сотрудников.

Да хранит Вас Бог. Пишу в Петербург, но надеюсь, что письмо это Вас не застанет в России и что Вы теперь уже на пути в Зальцбург.

Преданный Вам С. Рачинский.

РГБ, ф. 230, карт. 4411, № 4, л. 49—50 об.

1. За субсидией в Св. Синод обратился Н. И. Ильминский как глава Учительской семинарии, но из дальнейшего видно, что окончательное решение о предоставлении субсидии было принято под влиянием Рачинского, так как отзывы Балакирева и С. И. Миропольского на первое, литографированное издание «Курса» Смоленского оказались отрицательными, в частности, оба возражали против цифровой нотации, но не только против нес. В следующих письмах Рачинский разъясняет ситуацию для Победоносцева.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 14 августа 1883

Я получил сегодня, дорогой Константин Петрович, Ваше письмо с приложением ходатайства Ильминского и записки Миропольского. Не имея еще в руках исправленного экземпляра книги Смоленского, не могу сказать на ее счет окончательного слова. Относительно замечаний Миропольского могу пока сказать следующее. С общим их смыслом я, в теории, согласен. Придворный напев во многом уступает напевам обиходным (знаменному и киевскому). Но благодаря долгой монополии изданий Певческой Капеллы, он стал напевом обычным. К тому же это напев не произвольно выдуманный, а сложившийся исторически, из слияния разных местных напевов, под влиянием западной системы гармонии, которую я отнюдь не считаю греховною и которая безраздельно овладела нашим церковным (многоголосным) пением, даже в монастырях. Об этом можно сожалеть, но не следует забывать, что гармонизации в церковных ладах у нас еще не существует (за исключением двух отрывков

Глинки и неудачных опытов Потулова) и что требовать от учебника создания целой новой музыкальной литературы — невозможно. Смоленский предлагает в своей хрестоматии лучшее из имеющегося налицо, и притом песнопения придворного напева, составляющие основу его сборника, приспособлены у него к скромным голосовым средствам сельского хора, между тем как те же напевы в редакциях Львова и Бахметева, рассчитанные на хоры первоклассные, губительно действуют на голоса заурядные.

Само собою разумеется, что учебником Смоленского не исчерпывается курс пения, обязательный для духовно-учебных заведений. Это курс пения *хорового*, а в этих заведениях требуется прежде всего пение *одноголосное*. Но для пения *хорового*, также в этих заведениях *обязательного*, он сможет служить отличным руководством. Ошибки, на которые указывает Миропольский, — есть простые *описки* и как таковые легко поправимы (я переписывал на линейные ноты «Вятскую» Херувимскую — прекрасный, неожиданный местный напев — и ни одна из этих описок не ввела меня в затруднение).

По получении Вашего первого письма я еще пересматривал «Учебник» и прихожу к заключению, что субсидия со стороны Духовного Ведомства желательна. Конечно, ввиду несомненной пользы учебника для светских учебных заведений (признанной и Миропольским) весьма прилично было бы Министерству Народного Просвещения взять на себя по крайней мере половину этой субсидии. Приложенные к книге извлечения из богослужебных книг, хотя бы они для духовно-учебных заведений были бесполезны, необходимо сохранить. Духовное Ведомство не может не интересоваться распространением, в среде юношей светских, знакомства со всеми видами нашего богослужения — и такие извлечения (говорю по опыту) — служат отличным приготовлением к пользованию книгами богослужебными, прямой приступ к коим не совсем легок.

РГБ, ф. 230, карт. 4411, № 4, л. 51—57 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 15 сентября 1883

Я отослал в Вашу канцелярию рукопись Ильминского и руководство к хоровому пению Смоленского. Относительно последнего труда остаюсь при моем мнении. Книга полезная, заслуживающая материальной поддержки со стороны Учебного и Духовного ведомства. Для сельских школ — она неценнена, ибо дает в дешевой форме массу нотного матерьяла, доступного для исполнения.

Что Балакирев? Дождемся ли хотя его Литургии? Отчего Ломакин не издает своих прекрасных переложений, своих вполне приличных сочинений, распространенных по всей России в искаженных списках?¹

РГБ, ф. 230, карт. 4411, № 4, л. 118 об.—119

1. Литургии Балакирева Россия так и не дождалась; переложения и сочинения Г. Я. Ломакина в большом количестве были изданы на средства С. Д. Шереметева в 1884. Хотя граф Сергей Дмитриевич и сам высоко ценил Ломакина, можно не сомневаться, что издание его наследия было предпринято в соответствии с пожеланием Рачинского. Сергею Александровичу неукоснительно посылались все издания ОЛДП и вообще все издания, в которых принимал участие Шереметев; часто в своих письмах граф советуется с Рачинским относительно состава и содержания того или иного издательского проекта.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 2 марта 1884

Будем ожидать с нетерпением появления в печати сочинений, и в особенности переложений Ломакина. Пока в нашем околотке распространяется Литургия Смоленского — весьма практическая для сельских хоров.

РГБ, ф. 230, карт. 4412, № 1, л. 28

1. Имеется в виду цикл песнопений литургии, помещенный во второй части «Курса» Смоленского; в цикле представлены в фактурно упрощенном и отредактированном изложении по цифровой системе как разные обиходные роспевы, так и некоторые авторские композиции.

Ильминский — Победоносцеву

8 июня 1884

Теперь скажу об Октоихе. В деле церковном, православном я консерватор с археологическим оттенком, то есть стремится мое сердце к стройности и выразительности языка Кирилло-Мефодиевского (а кстати: сделано ли что со службой и тропарем наших святых Первоучителей?). Если бы я не знал господствующей даже в духовной и церковной нашей интеллигенции склонности, или, вернее, поползновенности к поновлениям, то есть к попиранию Кирилло-Мефодиевского труда и характера, я не прочь бы желать радикального пересмотра и исправления наших богослужебных книг, именно ради возвращения их в первобытную чистоту и благолепие. Но с какими надеждами подняли бы мы вопрос об исправлении богослужебных книг, когда виды на исход дела самые рискованные и даже, можно сказать, несчастные. Итак, теперь опасно затевать пересмотр церковного Октоиха в полном его

составе, но и посильных моих замечаний и исправлений жалко. Мне вдруг пришла мысль по прочтении Вашего письма от 30 мая: нельзя ли, то есть не будет ли найдено безобидным и возможным — те мои изменения в тексте, которые членами Св. Синода будут признаны основательными, но только неудобными с консервативной точки зрения, — нельзя ли их поместить «на брезу» [на полях]? Но во всяком случае желательно и необходимо издать Учебный Октоих в намеченных мною границах, хотя бы даже без всяких поправок и изменений.

Кажется, я высказал все свои задушевные мысли и желания, и мне оставалось бы только проститься до свидания. Но не могу удержаться, чтобы не повторить убедительнейшей просьбы: защитите, поддержите и осуществите курс хорового пения Смоленского; он один своею пользою и потребностью перевесит все октоихи и часословы в сложности, ибо пение влиятельнее и сильнее чтения. Во вчерашнем письме, — как мне пришло на мысль после его отправления, — я может быть нагрешил против музыкальной техники и терминологии...

Письма Н. И. Ильминского. С. 115

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 11 июня 1884

Надеюсь получить завтра «Всенощную» Ломакина, коею мы все в высшей степени заинтересованы. Гармонизация именно знаменного распева представляет значительные трудности, и поэтому он почти повсюду вытеснен киевским (и так много из него заимствовавшим придворным). Между тем распев знаменный еще величественнее киевского, и дельная, удобоисполнимая гармонизация его, каковой можно ожидать от Ломакина — труд драгоценный.

РГБ, ф. 230, карт. 4412, № 1, л. 64

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 7 июля 1884

Прочел я приложения к Вашему письму. Ведь Ильминский прав. Бумага Балакирева написана с непростительною небрежностью и односторонностью, с явным недоброжелательством. Вопрос об употреблении той или иной системы нотации далеко не существенная часть дела. Ничто не мешает пользоваться Сборником Смоленского, переписывая отдельные голоса линейными нота-

ми там, где не в употреблении цифирная нотация. (Ведь и всякую линейную партитуру приходится переписывать по голосам.) А Сборник этот содержит полную школьную музыкальную библиотеку, прекрасно выбранную, и придворный напев (дополненный множеством вещей иных напевов) в нем целиком переложено способом, значительно облегчающим исполнение для сельских хоров. (В нашем околотке это переложение усердно переписывается и распространяется.) Уже из-за одного этого Сборника (составляющего три четверти книги) — распространение ее в высшей степени желательно. Теоретическая часть изложена очень полно, дельно и ясно. Вы понимаете, что относительно таких технических специальностей, каков выбор и последовательность голосовых упражнений, мне как дилетанту судить не приходится. Но практические успехи, достигаемые Смоленским, заставляют думать, что эта часть труда Смоленского (не представляющая резких отличий от прочих руководств к пению) — соответствует своей цели. Мне кажется, что ходатайство Ильминского (о рекомендации книги Смоленского в качестве пособия) — вполне основательно. Говорю это не наобум. Уже три года пользуюсь я Сборником Смоленского. Ни из одного из существующих музыкальных изданий не почерпнул я так много вещей, удержавшихся в моих школах.

Говорю беспристрастно, ибо в моих школах не введена цифирная нотация. Тем не менее, лучшего подарка, чем книга Смоленского, я не мог бы сделать моим регентам. Дело в том, что цифирная партитура читается еще легче, чем фортепианное переложение. Между тем партитура нотная (и в различных ключах) требует для беглого чтения такой музыкальной практики, какой нет ни у одного сельского регента, — нет между прочим и у Вашего покорнейшего слуги, бегло разыгрывающего на фисгармонии всякую цифирную партитуру.

Быть может, если от Синода ничего не добьешься, Вы могли бы из сумм, находящихся в Вашем личном распоряжении, назначить Смоленскому пособие на издание его труда — и вопрос о рекомендации его отложить до появления о нем отзывов в печати? Полагаю, что это были бы деньги, употребленные с пользою.

РГБ, ф. 230, карт. 4412, № 1, л. 74—78 об.

Ильминский — Победоносцеву

25 октября 1884

После долгого перерыва за время отсутствия Вашего два следовавшие вскоре одно за другим письма от 13 и 15 октября и между ними посылка с крюковыми нотами были для меня яко роса на сено и яко туча на трескот¹. Учебник хорового пения я передал Смоленскому, который принялся делать

в нем исправления и изменения. Прежде всего он займется второю частью, в ней особенных перемен не предвидится, нужно только из третьей части перенести некоторые праздничные, более сложные напевы, так как третья часть должна быть исключена из его учебника. Вторую часть он не замедлит представить Вам; а первую подвергнет капитальной переделке и перепишет заново. С того времени как его рукопись была Вам представлена, он не переставал обдумывать и испытывать свою методу преподавания; в прошлую вакацию сделал некоторые наблюдения над преподаванием хорового пения и музыки за границей². Он взял за правило записывать свои мысли и заметки относительно пения в книгу, и у него уже накопилось немало такого рода замечаний. Нет сомнения, что он значительно улучшит свое сочинение. Я уверен, что издание его учебника и та польза, какую эта книга станет приносить народным школам, усугубит ревность Смоленского к церковному пению и сильно поощрит и подвинет его собственное певческое образование и опытность. Ему же я передал крюковое издание. Он пришел в восторг, увидавши ученое предисловие протоиерея Разумовского и подробную монографию о крюковых нотах.

Кстати: Смоленский пересмотрел и довольно подробно изучил певческие рукописи Соловецкой библиотеки. Рукописей очень много, большинство их крюковые, есть несколько очень старых — XVI и XV века. Он собрал из них много материала, который, по приведении в порядок и некоторой обработке, может составить своего рода археологическую монографию о церковном пении. Так как специалистов по тому предмету не много, например, в Казани он один только и занимается исследованием старинного церковного пения, то поэтому было бы полезно напечатать особо это предполагаемое им сочинение о нотных Соловецких рукописях, с примерами и выписками. А в систематическое описание рукописей Соловецкой библиотеки, издаваемое профессорами Казанской академии и в котором Смоленский пожелал принять участие по своей специальности, он бы внес краткий перечень рукописей со ссылками на упомянутую монографию. Но об этом после, по издании теперешнего учебника, когда монография о крюках будет готова¹. Я держусь той мысли, что людей любознательных и живых полезно возбуждать перспективой деятельности, дабы не впали они в отчаяние или апатию.

В письме от 6 октября 1883 года Вы упомянули вскользь об издании Саратовского братства Креста: «Молитвы и песнопения из Богослужбных книг православной церкви». Я недавно выписал несколько экземпляров этой книжки для своих певчих. Она составлена весьма хорошо. Одно жаль, что орфография принята совершенно русская, нет не только сокращений с титлами, но даже и ударений, церковное предание и издавна установившаяся орфография богослужбных книг окончательно пренебрежена в этом издании. Я нарочно посмотрел на стр. 29-й 5-й ирмос 3-го гласа и на стр. 44-й 9-й ирмос 7-го гласа — в первом напечатано *мірови* (то есть чрез і десятиричное), а во втором *нетления* (то есть не отделяя отрицания). Очень прискорбно видеть та-

кую хорошую и полезную книжку в таком неуряде и безграмотстве. Хорошо б ее перепечатать в Московской синодальной типографии, приведя ее в орфографию церковно-богослужбных книг.

Письма Н. И. Ильминского. С. 128—130

1. В посылке содержался (кроме рукописи учебника самого Смоленского) Круг древнего знаменного пения, изданный ОЛДП под редакцией, со вступлением и азбуками Д. В. Разумовского. Чуть позже Смоленский вступит в переписку по поводу этого издания с самим о. Дмитрием (переписка будет опубликована во второй книге этого тома).

2. Об этой посылке Смоленского за рубеж подробных сведений нет.

3. В описываемый период работа над соловецкими рукописями была потеснена работой над изданием Азбуки Александра Мезенца, которая практически и стала тем, что Ильминский называет «археологической монографией по церковному пению», хотя на самом деле сохранившийся в архиве Смоленского план книги о соловецких рукописях тоже включает в себя подробный очерк развития крюковой нотации. Затем в работу над соловецкими рукописями «вклинилось» описание Ново-Иерусалимского древнего Ирмолога. В конце концов Ильминский в 1887 напечатал в казанском журнале «Православный собеседник» (февраль) то, что должно было стать вступлением к «соловецкой монографии» Смоленского: «Общий очерк исторического и музыкального значения певчих рукописей Соловецкой библиотеки и “Азбуки певчей” Александра Мезенца».

Ильминский — Победоносцеву

2 ноября 1884

Посредствуя в пересылке к Вам 2-й части учебника Смоленского и письма его, считаю своим долгом высказать самую живую и искреннюю признательность за Ваше высокое покровительство этому полезному труду. Решаюсь с своей стороны присоединить, что желательно, чтобы бумага на этот учебник была употреблена твердая и толстоватая, хотя бы и серая, корректуры все желает непременно просматривать сам Смоленский, что и необходимо для верности и аккуратности в таком специальном издании; приложенные же им образцы и размеры букв, цифр, строчек, расстояний и формата, хотя выбранные по общему нашему рассуждению, можно, кажется, немного и изменить в случае крайнего затруднения типографии поставить такой именно шрифт и такие именно цифры, к которым бы оставалось добавить только цифры, приспособленные к пению, то есть перечеркнутые и с точками. Впрочем, эта уступка мне сейчас только пришла на мысль, а Смоленский долго и заботливо пересматривал и выбирал образцы из нескольких изданий: видно, он полагал в них большое значение как опытный знаток своего дела; и я уже сомневаюсь и боюсь отступить от его назначения.

Обращаюсь к письму Вашему от 15 октября. При всем Вашем покровительстве, мой «Октоих» приостановился. Прискорбно это было мне, но во время всенощной в прошлую субботу пришел он мне на память, и притом с такой новой точки зрения: если он нравится некоторым даже духовным лицам (ибо Вы пишете: «посмотрели, похвалили и прошли мимо»), но они не признают удобным его напечатать, то вероятно еще не пришло время подобным изданиям, не подготовлен еще народ наш и даже духовенство к основательному и верному взгляду на церковно-богослужebные тексты. И я остановился на той мысли, что «Октоих» в таком сокращении для народных школ напечатать необходимо, но текст нужно оставить церковный, исправивши только явные опечатки, как, например *нетления* вместо *не тления* в 9-й песни 7-го гласа или *мірови* вместо *мирови* в 5-м ирмосе 3-го гласа. Исправления, самые основательные и несомненные, допустить ли на брезе или и их уничтожить, — вот вопрос, не лишенный значения. И на брезе эти изменения могут останавливать внимание читающих и наводить на соображения, невыгодные для нашего церковного текста. Итак, я готов пожертвовать и самыми несомненными поправками, чтобы сохранить мир церкви. Но я просил бы Вас сохранить мою объяснительную к «Октоиху» записку, не хоронить ее заживо в архивной могиле, где, полагаю, столько лежит без движения деяний, мыслей и забот. <...>

Но оставляю распутия бесконечных отступлений и возвращаюсь на царский путь славянства, по содержанию письма Вашего от 15 октября. Русский перевод Псалтири дубоват по языку и не симпатичен для православного сердца по своему уклонению к еврейскому тексту от текста греческого, который, как вообще весь перевод LXX [семидесяти], лег в основание и проник все содержание нашей церковности. Разрушая свое основание, мы ведь собственными руками приготавливаем распадение нашей православной церковности. Во 2-й сентябрьской книжке харьковского журнала «Вера и разум», в статье «Православная церковь и сектантство» (стр. 353, строка 7-я снизу) читаем следующее замечательное рассуждение протестанта: «Самая опасная для русской церкви сила — это Новый Завет на русском языке. С того времени как дозволено распространение этой книги, борьба церкви против *разлагающего* движения делается с каждым годом тяжелее, и если ей не удастся отменить царское приказание, то всякое внешнее давление на отдельных личностей и их религиозные отправления останутся напрасными» и т. д. Этим словам нельзя отказать в справедливости. В своем «Размышлении» (стр. 79—81)* я разъяснял, как мог, и доказал церковное значение славянского языка и непригодность русского языка для православного богослужения. Если наоборот православные миряне, пленяясь, благодаря ясному русскому изложению, содержанием Евангелия и вообще Библии, принимают русский перевод и бросают текст славянский, то

* Размышление о сравнительном достоинстве в отношении языка разновременных редакций церковнославянского перевода Псалтири и Евангелия. Казань, 1882 и СПб., 1886.

они уже прервали внутреннюю связь с православною церковью. И в этом смысле художественный русский перевод слова Божия может быть опаснее нынешнего топорного.

Письма Н. И. Ильминского. С. 133—137

Ильминский — Победоносцеву

24 ноября 1884

...Вторую часть учебника Смоленского печатать в Казани можно, а для корректуры его и гораздо удобнее, чем в Москве и Петербурге. Я еще не успел навести окончательных и полных справок, но постараюсь в непродолжительном времени представить Вам по этому предмету сведения. А Вы между тем добыли бы цензурное разрешение на печатание этой второй части.

Письма Н. И. Ильминского. С. 149

Ильминский — Победоносцеву

18 марта 1886

Другое письмо получил из Казани от Смоленского. Возвратная из Петербурга дорога, особенно от Нижнего до Казани, его сильно утомила и он сначала недомогал¹. Теперь, по-видимому, снова одушевился. Пишет, что опять пришло расположение духа; работает зараз — то над переделкою своего курса для духовных семинарий, то над азбукой к Обиходу². Работа по переделке курса оказалась гораздо труднее, чем он думал. Спрашивает меня: есть ли надежда на субсидию для издания *Мезенца и описания Соловецких крюковых нотных рукописей*. Мне кажется, Смоленский достаточно заявил свое знание дела и уменье работать. С другой стороны, его работы полезны и даже, можно сказать, необходимы (как мне по крайней мере кажется) преимущественно для нашего духовного и церковного образования.

Осмеливаюсь призывать благосклонное внимание Ваше, во-первых, на деятельность и нужды Симбирской чувашской школы со включением ее учредителя и главного деятеля и труженика Яковлева, и во-вторых, на труды Смоленского, относящиеся к церковному пению.

Письма Н. И. Ильминского. С. 188—189

1. Зимой 1886 Смоленский съездил по вызову Св. Синода в Петербург для участия в комиссии по обсуждению программ пения для городских училищ и духовных учеб-

ных заведений. До этого Победоносцев и министр народного просвещения И. Д. Делянов посетили Казань, где на них сильное впечатление произвело пение семинарского хора под управлением Смоленского.

2. Не совсем понятно, о какой азбуке идет речь: крюковой или на квадратной ноте; оба плана развиваются в переписке Смоленского. Скорее все же имеется в виду азбука на квадратной ноте, поскольку в письмах к Д. В. Разумовскому этого периода Смоленский спрашивает, не осталось ли каких-либо черновиков от аналогичной работы В. Ф. Одоевского (подробнее о неосуществленных планах Одоевского по исправлению синодальных книг на квадратной ноте и азбуки к ним см.: Князь Владимир Одоевский. Дневник. Переписка. Материалы. М., 2005).

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 27 июля 1886

Дорогой Константин Петрович.

Моя школа повернута вверх дном. Неделю тому назад приехал Смоленский¹. Каждый день по два урока (по 2—3 часа каждый), и все промежутки наполнены писанием партитур, голосовыми упражнениями, etc. Даже во сне ребята выкрикивают кварты и септимы. Это напряженное учение необходимо, чтобы унедрить в моих учеников сжатый, но чрезвычайно содержательный курс, нарочито для них обдуманый Смоленским.

Учитель он — феноменальный по энергии и умелости, и музыкант самой высокой школы. Только теперь оцению по достоинству все преимущества его методы и его учебника — и об этом предмете напишу Вам подробно по окончании курса. Привез он с собою и новую, еще неоконченную работу — азбуку церковного пения, в коей все голосовые упражнения, все примеры взяты исключительно из нотных книг богослужебных. Он работает над нею давно и намерен работать еще долго, чтобы довести ее при малых размерах до возможной полноты и совершенства.

Право, мне иногда кажется, что я одарен медиумическими способностями. Смоленский — *материализация* того преподавания музыки, о коем я всегда мечтал для моих учеников. И он сам вздумал приехать ко мне!

Под его магнетическим влиянием запел даже Ивасава — и уже мечтает о том, чтобы ввести его методу в Японию — вместе с пчеловодством (коего, странно сказать, в Японии нет и которое очень его заинтересовало).

Поджидаем Нестора², не ведая ни дня ни часа его приезда. Боюсь, что моя школа покажется ему сумасшедшим домом.

Всю эту неделю я был слаб и болен, и весьма кстати — ибо при Смоленском заниматься чем-либо, кроме пения, невозможно. Я мог отлежаться, и уже чувствую себя лучше.

Смоленский неутомим. Кроме ежедневных двух уроков для старших (21 человек) — он устроил еще ежедневные спевки для всего хора (со включением малышей). Школа полна, как яйцо. Большой дом также полон гостей, более или менее музыкальных — и он находит время и там музицировать. Ребята моими очарованы и уже поговаривают о новом приезде будущим летом. В уроках участвует и моя крестница, к великой своей пользе: это для нее превосходное приготовление к консерваторскому курсу гармонии.

На днях получу статью Горбова³ — итог его Глуховского искуса. Содержание ее мне известно и сочувственно: не знаю — сумел ли он придать ему убедительную и ясную форму...

Хотел Вам написать путное письмо, но музыка, овладевшая нами, не дает ни о чем ином думать, ни о чем говорить — и теперь пишу оглушенный хроматическими гаммами... Да хранит Вас Бог.

Преданный Вам С. Рачинский.

РГБ, ф. 230, карт. 4413, № 1, л. 64—66 об.

1. Смоленский впервые приехал в Татево 22 июля 1886; его восторженный отзыв об увиденном см. в Главе VIII Воспоминаний. Далее в письме упоминаются принявшие православие японец Сергей Никодимович Сгодзи (Ивасава) и крестница матери Рачинского Ольга Львовна Хигерович.

2. Нестор (Алексей Сергеевич Метаниев; 1830—1910) — епископ Смоленский и Дорогобужский.

3. Писатель Николай Михайлович Горбов (1859—1912) — ученик и последователь Рачинского.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 26 августа 1886

Нет времени и потому не могу писать Вам подробно о Смоленском. Скажу вкратце, что трехнедельный курс, коим он нас подарил, окончательно убедил меня в превосходстве его методы (в коей цифирная нотация составляет лишь внешний прием, впрочем, в педагогическом отношении неоцененный). Наше пение вдруг поднялось в степени изумительной.

Необходимо еще более распространить его учебник. Первое издание (лиотографированное) уже почти все разошлось. На второе издание (набором) я уже разыскал денежные средства. Боюсь только, чтобы тут не оказалась *matière à procès* [спорный момент]. В музыкальной хрестоматии, составляющей весьма ценную часть учебника — много композиций *Турчанинова*, который умер в 50-х годах. Я уже написал Тертию [Филиппову], чтобы он узнал мне, кому принадлежит право издания этих сочинений. Если Капелле — Вы нам поможете.

Но это предмет столь важный, столь близкий моему сердцу, что об нем пошлю Вам особый трактатец, как только выдастся свободный денек...

РГБ, ф. 230, карт. 4413, № 1, л. 67—67 об.

Победоносцев — Ильминскому

Петербург, 18 ноября 1886

Пишет мне давно уже С. А. Рачинский о недоумении Смоленского — не подвергнется ли какой неприятности за «курс», что пропечатает у себя хрестоматически часть сочинений Турчанинова и Львова; не нужно ли спрашивать чьего разрешения.

Скажите от меня Смоленскому — пусть печатает благословясь, никого не спрашивая. Это всего благоразумнее. Если спрашивать, то вопрошаемый себя начнет спрашивать — да не накинуть ли крючок? Ибо редкие люди ясную мысль имеют о себе и своем праве. Итак пусть печатается, а если паче чаяния кто соблазнится, то мы постараемся утолить его.

РГИА, ф. 1119, № 16, л. 9 об. Выписка Смоленского из письма Победоносцева

Рачинский — Победоносцеву

Татсво, 21 декабря 1886

Нашел здесь письма от Ильминского и Смоленского. Мои предположения оправдались. Денег у Смоленского хватает только на издание курса¹ — а археологические издания он предпринял в надежде на неожиданную помощь. Учебник он хочет продавать по 1 рублю (каждый экземпляр обойдется ему в 60 копеек). Это безумие, ибо не наберется даже денег на новое издание. Необходимо сохранить прежнюю, уже баснословно дешевую цену — 1 рубль 50 копеек.

РГБ, ф. 230, карт. 4413, № 1, л. 85—85 об.

1. Имеется в виду первое типографское — то есть 2-е, исправленное и дополненное издание «Курса хорового церковного пения», которое вышло в Казани в начале 1887.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 19 февраля 1887

...Посылаю Вам при сем статью Смоленского о предпринятых им изданиях. Если представится случай оказать ему денежную помощь на эти два издания, воспользуйтесь им, ибо это будет помощь на дело весьма важное не только в смысле археологическом, но и церковном (стр. 10)¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4413, № 2, л. 14 об.

1. Посылаемая статья — «Общий очерк...» из «Православного собеседника»; «два издания» — Азбука Мезенца и Описание Соловецких рукописей. На с. 10 «Общего очерка» рассматривается история современных богослужбных текстов.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 15 марта 1887

Наконец еще просьба, бесстыдная просьба о деньгах. Смоленский! Он запутывается, et je suis à sec [а я на мели]. Тут есть и моя вина. Я доставил ему средства на издание учебника, и так как он источника их не знает, он естественным образом понадеялся, что я могу добыть ему денег и на издание памятников, и предпринял это дело в долг. Пишу на случай, если бы у Вас оказалось (как иногда бывает) рублей 800—1000, пожертвованных на благое дело по Вашему усмотрению. Простите великодушно, что беспокою Вас мелочами в минуту, где Вы удручены заботами столь важными. Но Смоленский заслуживает поддержки: из всех наших деятелей по церковному пению он самый усердный, самый практичный — и самый бескорыстный. Деньги, если они отыщутся, конечно желательнее препроводить ему не через меня, а прямо или через Н. И. Ильминского.

РГБ, ф. 230, карт. 4413, № 2, л. 26 об.—27

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 17 апреля 1887

Смоленский пишет мне, что Вы подали ему надежду на денежную помощь. Он в восторге, а я благодарю Вас от души.

РГБ, ф. 230, карт. 4413, № 2, л. 32

Ильминский — Победоносцеву

4 июня 1887

Ваше сообщение — в том же письме от 29 мая — о денежном пособии на издание описания певчих рукописей Соловецкой библиотеки я немедленно передал С. В. Смоленскому; это сильно воодушевило его и приободрило. Он сразу ведет три, даже можно сказать — четыре работы: вторую часть курса хорошего пения (издаваемого теперь печатно, а не литографически) набирают трое, первую часть того же курса — двое; в то же время печатается Азбука

Мезенца; а в литографии продолжается оттискивание крюковых снимков, которые нужно в корректуре тщательно проверять. Таким образом каждый Божий день почти с утра до вечера сидит он над разнообразными корректурами; в таком мудреном, специальном деле и помочь-то ему некому; но он мимоходом теперь напечатает еще описание харатейного Ирмология Воскресенского монастыря XII века со снимками замечательнейших мест. И такой работы достанет ему до июля. Ваше радостное известие оживило утомившиеся мысли Смоленского.

Но его работа с курсом и крюками, производимая так энергично и отчетливо, во-первых, ясно указала и определила его талант и призвание, во-вторых, решительно содействовала его развитию и возмужанию: теперь можно сказать, что он пришел в меру возраста настоящего работника на этой важной и обширной ниве православно-русской церковности — церковного пения, для которого в нем соединились и критическое суждение, и музыкальный талант, и практическая опытность и сила регентская. Имею я слабость обобщать и строить планы. Эта моя черта так и рвется пофантазировать над будущей судьбой вышеупомянутого крупного и редкого таланта; но здесь я поставлю точку.

Письма Н. И. Ильминского. С. 225—226

Победоносцев — Ильминскому

25 сентября 1887¹

Получил новое издание «Курса» Смоленского и смотрю на него не без скорби. Я надеялся, что он выйдет с круглою нотою. С цифрой он отвратит от себя великое множество людей. Как ни уверяй, людей не переуверишь, и жестоко противу рожна прати. Зная высокое достоинство изложения и методы Смоленского по свидетельству опытных знатоков, тем более сожалею о цифрах.

РНБ, ф. 631, т. 41, л. 29—30

1. Фрагмент несохранившегося письма Победоносцева процитирован в письме Смоленского к Рачинскому от 18 октября 1887. Последующее письмо Ильминского является ответом на высказанное мнение.

Ильминский — Победоносцеву

8 октября 1887

Ваше письмо от 25 сентября я получил в конце месяца. Глубоко благодарен за Вашу о мне заботливость и добрую память. Но и душевно сожалею, что сами-то Вы провели лето в поездках и трудах и, не отдохнувши порядком, снова принялись за труды уже не престаемые. Господь да укрепит Ваши силы для блага церкви и отечества. Аминь.

Вторую половину письма о новом издании курса хорового церковного пения я показывал Смоленскому. Его прежде всего тронуло Ваше доброе мнение о достоинстве его изложения и методы и участливое отношение к судьбе его труда. Но за тем он опасается, нет ли тут и недоразумения. Он припомнил разговор Ваш с ним в Петербурге. Вы изволили его спросить о переделке его курса на круглые ноты, по-видимому ввиду духовных семинарий. Тогда он высказывал такие соображения, что курс его в настоящем виде и составе предназначен и годится для людей, начинающих нотное обучение прямо с азов: назначен для преподавания в учительской семинарии, в которой 1) есть детские голоса из учеников приготовительного класса и начальных школ, 2) есть достаточное число часов для занятий.

В духовных семинариях учащиеся старше и развитее. Эти учащиеся уже прошли элементарный курс пения в духовных училищах, имеют в начале семинарского курса «mutation vocis», решительно не допускающее голосовых занятий. «Курс пения» должен быть составлен для учащихся в духовных семинариях по пятилинейной системе, ибо обучение пению было начато по квадратным нотам. Отдел голосовых упражнений и чтения нот должен быть уменьшен и заменен более пространством изложением главных правил гармонии. Партитура курса должна быть изложена кратко для хора мужских голосов, то есть только для теноров и басов. Это изложение может быть сделано на двух пятилинейных строках, экономя в месте и помещая в верхней строке партии обоих теноров, а в нижней — обоих басов; состав песнопений должен быть ограничен теми, которые надобны всего более для обычного богослужения и толкования правил гармонии. Издание более подробной партитуры, хотя и безусловно надобное, невозможно как явная и чистая контрафакция нотных пятилинейных изданий. Для духовных семинарий по сему надобно другое руководство. В случае требования и поручения он и обещался переделать и изложить нотами свой курс в вышеуказанном направлении.

Доселе Смоленский. Я с своей стороны присовокуплю на буквальный смысл Вашего письма: если многие не расположены к цифирной нотации, зато есть также немало людей, которые понимают и ценят ее практическое удобство и пользу. Например Рязань оказала курсу большое сочувствие и поощрение; протоиерей Виноградов¹ пишет Смоленскому дружественные письма одобрительного содержания. Цифирная система, весьма удобная для на-

чального обучения и для разъяснения элементарных правил пения и гармонии, крепко принялась в здешней учительской семинарии, а также у татар, чуваш и других инородцев. Благодаря цифрам все эти простые дети основательно усваивают законы музыки, сознательно исполняют церковное песнопение, могут дать отчет в построении аккордов и распределении голосов. Если цифровая система уже так прочно укоренилась и получила столь широкое распространение, то и оставим ее в покое. Я слышал, что она практиковалась не очень давно и в Петербурге, в заведениях императрицы Марии. Значит и в Петербурге она может иметь сторонников. Против нее стоят в Петербурге: 1) члены Придворной капеллы, опасаясь подрыва своим изданиям, 2) петербургские производители школьных пособий, они же и ценители, не беспристрастные к произведениям провинциалов. К этому нужно присоединить и силу привычки.

Архиерейский певчий от молодых ногтей зубрит ноты, — и много достается ему за ошибки и недоносы, — естественно свыкается, как бы сродняется с круглою нотой, и ему не милы не только цифры, но даже и квадратные ноты. Я грешу (= предполагаю с сомнением), не эта ли была причина, что в Петербурге на этих годах некоторые учебники для церковного пения, обиходного, были напечатаны круглыми нотами вместо квадратных. Но мне представляется другая точка зрения на этот предмет. Круглые ноты — создание итальянское, католическое, иноземное и иноверное. Вошли они в русскую церковь случайно и не особенно давно; вошли силою власти, через Придворную капеллу и архиерейские хоры, как на Западе уния вошла через высшее духовенство и магнатов. С этими нотами вошли в нашу церковь чужие, а подчас даже неприличные напевы. Мне кажется, круглые ноты принесли в нашу церковь столько зла и растления, что их пора бы давно изгнать из церковной ограды; пусть они остаются на театральных подмостках. Цифры мне тем дороги, что они исподтишка подкапывают веру в решительный и исключительный авторитет и необходимость итальянской ноты. Потеряли мы, как старый хлам, отбросили почтенные, чисто русские знамена. В июне Ястребов² прислал Смоленскому греческий учебник церковного пения в двух частях, составленный и напечатанный в Салониках в недавнее время. Это что-то очень интересное. Когда покончит свои работы над Соловецкими крюками, Смоленский хочет, при помощи какого-нибудь грека, приняться за этот учебник и узнать греческую систему церковного пения. Достоин замечания и даже бы подражания, что в этом учебнике напевы изображены не нотами, а своими греческими знаменами, отличными от наших крюков. Не думаю, чтобы салоникский грек был незнаком с итальянской музыкой и с круглыми нотами, но он стало быть крепче нас, русских, духом патриотизма и церковности. Но об этом довольно.

Мне в Вашем письме запали слова: «как ни уверяй, людей не переуверишь, и жестоко противу рожна прати». С этим я не могу согласиться. Да мне кажется, что сами Вы нередко прете против рожна, чувствуя, конечно, сколь

это жестоко. Например, явное покровительство Ваше древнему пению, допущение его в торжественных собраниях братства Пресвятой Богородицы — не идет ли против общей отвычки от древних напевов? Вы из продолжительного, многолетнего забвения извлекли драгоценную и весьма назидательную молитву на изгнание галлов — разве это было приятно иным господам, а может, и отцам? Вошло было обыкновение молитвенник печатать гражданскими буквами, потому что русская аристократия не любит церковной печати; Вы прекратили этот беспорядок. Все это мне по душе. К этому же разряду я осмелился бы относить и свои микроскопические попытки исправления церковно-славянской орфографии, распространение понятия о древнеславянских, кирилло-мефодиевских формах. Под влиянием таких мыслей я вздумал представить Вам свое соображение относительно молебного пения при начале учения отроков: хочется мне его изгнать из духовных и церковно-приходских училищ. По моему мнению, следовало бы на первых порах напечатать особой тетрадкой «Последование егда приходит отроча учиться священным писанием» из полного требника нового церковного издания Московской Синодальной типографии 1873 года, глава 73-я, лист 171-й, и через Училищный Совет, с благословения Св. Синода, разослать по епархиальным советам и по церквям; а впоследствии, как только будет издаваться книга молебных пений в Петербурге ли, в Москве, Киеве или Почаеве, это последование и поставить на место нынешнего молебного пения. Вместе с ним я представляю при докладе записку для сообщения, если признаете нужным, на рассмотрение Училищному Совету. Теперь же я прилагаю листок размышления о некоторых тропарях, размышления, не требующего производства, которое не должно отнимать времени, а могло бы быть прочитано, если бы оказались минуты досуга.

Прилагаю при сем оттиск своей статьи «История молебного пения»³, в которой проведены и довольно подробно разобраны все молитвы и последование и т. д. пред началом ученья. Пусть будут под руками все данные, если вопрос найден будет заслуживающим внимания и распоряжения.

Я впрочем теперь нахожусь в каком-то отливе энергии душевной и потому прошу дать ход этому моему желанию не иначе, как предварительно частным образом узнавши мнение заправил церковно-приходского дела. Страхуюсь участи синицы, которая наделала славы, а моря не зажгла.

Вот у меня какое колебание. Ослабел я что-то головой и частью ногами, все еще не приду в норму. Но я уже дожил до лет не малых. А вот жаль: Смоленский нажил какие-то нелады в горле, почти совсем охрип. Он ездил в Москву, являлся к профессорам Склифосовскому и Беляеву. Они ему сказали, что у него расстроены голосовые связки от крайнего утомления (напряжения), и это не со вчерашнего дня, а издавна у него, и присоветовали ему воздерживаться от пения и даже от сколько-нибудь громкого разговора. Поездка его в Петербург в 1886 году его сильно воодушевила и поощрила, и он с удвоенной горячностью принялся за обучение хора и спевки чуть не каждый день;

притом, когда он преподает, он не щадит себя и своего голоса. Ну, и надсадил горло. Притом прошлую весну и часть лета он сильно и безотрывно работал по печатанию курса и других своих изданий. Это было бы большим несчастьем потерять такого талантливое и усердного работника на поле церковного пения, которое он разрабатывает и научно и практически и уже собрал силы и знания твердые и самостоятельные.

Письма Н. И. Ильминского. С. 233—238

1. Виноградов Михаил Александрович (1810—1888) — протоиерей, регент и духовный композитор.

2. Речь идет об Иване Степановиче Ястребове, выпускнике Казанской духовной академии, который впоследствии поступил на дипломатическую службу, в частности работал в Турции и Сербии. Он был очень одаренным лингвистом, регулярно посещал Казань, привозил новые издания для библиотек академии и университета. Привезенные им певческие книги, о которых упоминает Ильминский, были тщательно изучены Смоленским, о чем свидетельствуют хотя бы соответствующие разделы более поздней работы — «О древнерусских певческих нотациях».

3. Эта статья под названием «История молебного пения при начатии учения отроков» была напечатана в журнале «Православный собеседник», 1884, март.

Ильминский — Победоносцеву

2 февраля 1888

Третьего дня Смоленский отправил Вам свой новый труд «Певческая Азбука Александра Мезенца». Он работал над ним от всей души и весьма старательно. Со стороны сердечно участвуя в судьбе этого произведения, я бы осмеливался просить Вас не лишить его Вашего внимания и по возможности покровительства.

Письма Н. И. Ильминского. С. 241

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 22 августа 1888

Смоленский до меня не доехал. Он носится с двумя мечтами, из коих одна исполнима, другая несбыточна. Первая — издание всего круга богослужебных песнопений — знаменную нотацию — о коем хлопотал еще Боршнянский. Вторая — создание при Казанской Академии кафедры истории и теории церковного пения и назначение его на оную. Несомненно, что его знани-

ем и преподавательским талантом желательно воспользоваться, но не так и не там, а при каком-либо центральном учреждении, специально-музыкальном, в Москве или Петербурге. Саблер вполне со мною согласен и обещался об этом подумать.

РГБ, ф. 230, карт. 4413, № 3, л. 51—51 об.

1. О смысле и задачах издания знаменного Круга, всего через несколько лет после появления в печати крюкового Круга под редакцией Д. В. Разумовского, говорится в письмах Смоленского к Рачинскому. Большой интерес представляет также письмо Смоленского к А. Н. Шишкову как управляющему Синодальной типографией и, следовательно, ответственному за новые издания певческих книг на квадратной ноте. Исправлением таковых занимался долгое время Д. В. Разумовский, а затем С. В. Смоленский и, как выясняется из письма, единоверческий священник о. Михаил Щетнев. Правда, Смоленский пишет Шишкову не о знаменном Круге, а об изданиях на квадратной ноте, но на тех же основаниях он собирался составлять и крюковой Круг. Задачи тут две: во-первых, дать старообрядцам и единоверцам такой певческий материал, который мог бы объединить все согласия и толки; во-вторых, дать возможность петь по крюкам и в синодальной церкви, то есть разрешить проблему не только напевов, но и богослужебных текстов. Безусловно, Круг под редакцией Разумовского не отвечал таким задачам: составленный старообрядцем белокрыницкого согласия И. А. Фортовым, он отражал только практику данного согласия, и уже — вкусы и привычки данного регента и его хора.

Мысли Смоленского по данному вопросу столь актуальны (хотя, конечно, не бесспорны), что имеет смысл привести его письмо к Шишкову от 6 мая 1889 полностью:

Ваше Превосходительство Милостивый Государь
Андрей Николаевич.

В достопочтенном письме Вашем от 30 апреля сего года за № 2864 Вы изволите затрогивать вопрос чрезвычайно важный, вопрос, трудный к доказательному разрешению и обыкновенно всего чаще склоняемый к решению по личным вкусам и привычкам. Ваше Превосходительство изволили встретить для себя некоторые недоумения относительно целесообразности напечатания напевов Триоди по Соловецкой редакции и, вследствие заявленного Вам о. Щетневым мнения о большей пригодности к напечатанию Триоди по напевам Московским, а также вследствие некоторых соображений о значении нотных Синодальных изданий для старообрядцев и единоверцев, изволите спрашивать меня: возможно ли без ущерба для существа дела сделать уступку в пользу Московской редакции Триоди? Постараюсь ответить вполне беспристрастно.

Вопрос этот в значительной степени как бы предreshается трезвым взглядом на значение Соловецкой редакции напевов, который я нахожу в начале Ва-

шего письма. В указываемом месте я читаю, что по более близком знакомстве с сущностью сделанных мною исправлений в рукописях Триоди о. Щетнева и покойного о. Разумовского Вы изволите признавать, что Соловецкая редакция напевов «пространнее и полнее Московской, а потому может быть первоначальнее и чище; рукописи Московские авторитетнее Соловецких». Эти взгляды я, как близко знакомый с нотными Соловецкими рукописями, могу только подтвердить, ибо Соловецкие нотные рукописи, как изложенные отличными певцами и с отличных крюковых оригиналов, представляют редакцию наших древних роспевов самую истовую, сделанную в конце XVII века и притом вне влияний, столь губительно повлиявших с этого времени на судьбу древнерусских напевов. Точно так же, если припомнить при этом монашеский подвиг письма рукописей с стремлением к их полной достоверности, ибо малейшие ошибки и все последовавшие изменения в текстах выправлены в тех рукописях самым тщательным образом рукою позднейших певцов (до 2-й четверти XVIII века), что почти каждая рукопись носит явные следы многолетнего употребления на клиросе или в школе певческой, то неоспоримо следует признать, что в рукописях Соловецких должны быть хорошо изложенные напевы. Это подтверждаю и я в той мере, насколько мои знания позволяют мне высказаться категорично.

Ваше Превосходительство изволите сопоставлять достоинства Соловецкой редакции напевов с Московской. Я немного недоумеваю, в чем здесь дело. Если признать Московскую редакцию например роспев, ныне употребительный у московских единоверцев, то я считаю таковой неудовлетворительным; если же считать Московскую редакцию роспев, имеющийся в Московских рукописях после Мезенца, — то он вполне удовлетворителен. Доказательство у меня налицо: я прошу Ваше Превосходительство сравнить значительное число поправок, которые [я] решился сделать в рукописи о. Щетнева, весьма почитасмого мною, и число поправок в рукописи о. Разумовского. Если желательно сделать уступку Московской редакции, то нужно переделать всю работу покойного о. Разумовского, руководившего только рукописями и притом хорошими. Если же позволено будет надеяться на получение действительно хорошей певчей Триоди, то придется поверить мне, так как я сделал поправки на основании также хороших рукописей, может быть даже лучших, чем какие были у покойного о. Разумовского. Если же, наконец, оставить Триодь в той мере, как она изложена, без моих поправок, то Вы будете иметь книгу в первой половине вполне удовлетворительную и изложенную хорошим знаменным роспевом, а во второй половине знаменным же роспевом, но упрощенным теми сокращениями, которые выработались полуторавековой практикою у старообрядцев и частью единоверцев.

Я должен здесь оговориться: я считаю непростительным для себя промахом то, что я позволил себе сделать многие весьма большие изменения в роспевах о. Щетнева, которого весьма почитаю и не думал оскорбить его своими поправками. При приезде в Москву искренно паду ему в ноги, прося извинения. Но надеюсь, что и о. Щетнев считает наше дело святым, а меня — честным, бла-

говеино трудящимся, и поверит искренности и правдивости моей работы. По-нятно, везде, где я ошибся, я заранее соглашаюсь на всякие умные поправки.

Позволяю себе затем несколько более распространиться о других соображениях, которыми, по-видимому, мотивируется возможность уступки в сторону напевов Московской редакции. Соображения эти следующие: 1) старообрядцы и единоверцы смежной с Москвою местности твердо держатся напевов Московской редакции; 2) эта редакция вполне совпадает с Синодальной редакцией печатных книг; 3) есть надежда привлечь старообрядцев нашими нотными изданиями (то есть по Московской редакции) к православной церкви и 4) введение в нотные книги Соловецкой редакции, даже при явном ее превосходстве, может оттолкнуть от наших изданий многих приверженцев древне-церковного пения среди единоверцев.

Не сочтите, Ваше Превосходительство, нескромным с моей стороны начало основного (?) возражения личным аргументом: для меня, не знавшего с детства и не имевшего потому привычки к древне-церковным напевам, а начавшего их изучение и полюбившего их в зрелом возрасте и после весьма достаточной музыкальной подготовки и общеобразовательного курса, нет повода пристрастно отнестись к какой-либо редакции напевов, но, наоборот, есть полная возможность критически отнестись к качествам напевов по памятникам разных внутренних достоинств, разной древности и места написания. Сверх того, не доверяя своему теоретическому опыту, я счел необходимым ознакомиться в возможной для меня мере как с Синодальными изданиями, так особенно с практикуемым ныне пением единоверцев, старообрядцев, поморцев, поющих по «хомоням» и наречно поющих. Я слушал это разнообразное пение множество раз и в Москве, и в Казани, и во многих других местах, вникая в смысл местных особенностей напевов, кажущихся их исполнителям единственно верным изложением. Мне случалось наблюдать часто совершенно систематический ряд неверностей и своеобразных приемов исполнения, вырвавшийся в выдержанный ряд изменений напевов и казавшийся исполнителям вполне естественным, исключительно правильным, приятным для слуха, самым истовым. С другой стороны, могу подтвердить, что уже не малое число раз я сообщал интересующимся выписки из Соловецких рукописей и замечал страстное желание многих старообрядцев сделать в церковном пении возможно большие успехи и приобрести возможно большее знание. Как беспристрастный судья, не связанный традицией, я могу уверить, что пение единоверцев и старообрядцев ныне находится в самом печальном упадке вследствие почти поголовного и самого глубокого невежества их певцов, поющих не более как на слух. В продолжение моих восьмилетних занятий и наблюдений я встретил всего трех знающих певцов: А. П. Пичугина в Казани, И. А. Фортова в Богородске и о. М. И. Щетнева в Москве. Но и эти певцы, несомненно, очень даровитые и любознательные люди, любящие свое дело, все-таки не в силах критически оценить и вникнуть в достоинства не известных им с детства напевов, как не принятых в их обществах или не распеваемых в их ме-

стностях. Глубоко уважая этих певцов, я в то же время не раз задумывался над вопросом: какими драгоценными столпами пения воздвиглись бы эти талантливые люди, если бы они имели возможность стать выше установившихся вокруг них слепых традиций, если бы кроме своего отличного опыта они были бы хоть сколько-нибудь укреплены в своих взглядах теоретическим музыкальным общим образованием? Среда, в которой проявляют свою деятельность подобные личности, ужасна по своей слепоте и давит их, заставляя забывать всякое стремление к истине и только стоять за традиции своего толка.

Приснопамятный о. Д. В. Разумовский, без сомнения глубокий знаток старообрядческого мира, писал мне 21 сентября 1884 года по поводу моего негодования, что старообрядцы, даже такие как вышеупомянутый А. П. Пичугин и весьма авторитетный А. П. Богатенков, вырывают из Морозовского «Круга» певчую Азбуку И. А. Фортова, следующее: «Не удивляюсь, что старообрядцы вырвали азбуку Фортова из полного издания “Круга”, сделанного Обществом Любителей древней письменности. Этого надо было ожидать от них. Можно было ожидать, что они вырвут и все, что предпослано в “Круге”. Старообрядчество как самочинное общество несомненно будет пользоваться самым “Кругом”, а это важно в том отношении, что положит предел тому произволу их певцов-писцов, который видим почти в каждой рукописи. У старообрядцев сколько писцов, столько и образцов, — ничего положительного и определенного. Фортов — один из их же певцов, он — певец знающий. Но пределы знания крайне обширны даже и в области церковного пения. Азбука Фортова, также неоспоримо, содержит в себе немало совершенно произвольных положений».

Нужно помнить ум и бесстрашие покойного, чтобы должным образом оценить эти слова. Каждая мысль этого отзыва покойного великого ученого есть сущая находка для ответа Вашему Превосходительству. О. Разумовский утверждает: 1) что старообрядцы не владеют терпимостью и потому и неудивительно их насилие над трудом столь авторитетного между ними певца, как И. А. Фортов. Сказанное имеет тем большее значение потому, что кто же не знает, зачем был издан этот «Круг» А. И. Морозовым? 2) что в старообрядстве (как и единоверии) господствует полный произвол певцов-писцов и не существует строго определенного пения; 3) что даже такой знаток, как И. А. Фортов, допустил в своей Азбуке немало совершенно произвольных положений. Прибавлю здесь от себя, что эти произвольные положения, часто трудно объяснимые и оправдываемые, не безусловно принятые в одном из самых влиятельных центров — в городе Богородске, сделали то, что «Круг» не вошел в богослужебную практику даже старообрядцев их толка, а принят только для справок и для полноты библиотек.

Наконец, существует одна весьма характерная черта рассматриваемого вопроса. Старообрядцы, не принимая вполне в свою практику напевы, печатаемые квадратною нотой в Синодальных и частных изданиях, все-таки следят за ними с неослабным вниманием и, изучая нотные напевы, совершенствуются в пении

и наглядно убеждаются в бедности и беспорядочности своих напевов. Полнота издаваемых Синодом нотных книг и высокое достоинство изложенных в них напевов ударяют старообрядцев в самое больное место, ибо превосходство Синодальных изданий более чем очевидно. Вместе с тем стремление к исправлению своих певчих (крюковых) книг и к приведению их в систему вполне неосуществимо между старообрядцами как по взаимной розни между их многочисленными толками, так и по недостатку между ними знающих дело и авторитетных певцов. Крайняя строгость требований, предъявляемых каждым старообрядцем к делу исправления нынешнего церковного пения, порождает, с одной стороны, недоверие в певцах к своим знаниям и потому страх перед мыслью приняться за это дело, а с другой — недоверие к певцам со стороны самих мирян, изверившихся в своих певцах и не умеющих к тому же найти средства доказать негодность напевов и найти понятный всем критерий; немало, конечно, помогают тут и убивающие раскол взаимные обличения и анафемы самочинного старообрядческого общества. Поэтому следует думать, что старообрядчество никогда само не придет к единомыслию о церковном пении и никогда не издаст исправленного и вполне авторитетного для себя «Круга». Поэтому же следует думать, что в Синодальных изданиях должно быть принято, сообразно предыдущим изданиям Праздников и Октоиха, наилучшее и самое авторитетное изложение знаменного роспева, ибо только оно, независимо от нужд нашей православной церкви и авторитета Св. Синода, может привлечь внимание старообрядцев; помещение же одного какого-либо видоизменения роспева, удовлетворяющего например единоверцев, не даст им ничего нового и следовательно не привлечет своими достоинствами, а для нас, православных, будет авторитетно в той же мере, как например пресловутый роспев Успенского собора. Полагаю, что подобный результат вполне нежелателен.

Несравненный по красоте большой знаменный роспев есть именно то сокровище, утрата которого так чувствительна для старообрядцев, ибо помимо назидательности роспева его правильное изложение делает вполне наглядным строение его частей, симметричность их и, наконец, чрезвычайно облегчает самое исполнение. Этот роспев есть лучшая и притом единственно употребительная до сих пор школа русского пения. Малый роспев, сведенный главнейшим образом к пению самогласнов и подобнов, предназначен лишь к тому, чтобы скорее справить службу. В старообрядческих певчих азбуках он даже и не приводится в примерах.

На основании всего вышеизложенного я с полным убеждением и по чистой совести полагаю целесообразным продолжить издание Триоди в духе напечатанных Праздников и Октоиха, всегда печатаемого Ирмолога и приготовленных к печати Трезвонов, то есть большим знаменным роспевом в самом правильном его изложении. Не думаю, чтобы это изложение могло быть названо «Соловецкою редакцией», ибо например начало Триоди, Праздники и Учебный Обиход в изложении большим роспевом изложены вполне безукоризненно и, сколь-

ко мне известно, без всяких справок с Соловецкими рукописями.

Вашего Превосходительства усердно преданный слуга

Ст. Смоленский.

(РГИА, ф. 1119, № 16, л. 159—162 об.)

Ильминский — Победоносцеву

2 декабря 1888

По Вашему указанию прочитал я в Трудах Киевской Академии за ноябрь статью Епископа Августина «По поводу издания...». Видно, что автор много занимался сличением богослужебных книг с греческим подлинником и много набрал темных и трудных мест и воспитал в себе сильное желание видеть наши богослужебные книги коренным образом переделанными в смысле приближения к русскому складу и слову. Учебные Октоих и Часослов, по-видимому, дали только ему повод излить накопившиеся у него на сердце мысли и чувства. Но он неправильно представляет, как на свет явились эти книжицы. Он их приписывает частному лицу, которое называет издателем, и на его ответственность возлагает типографские (весьма впрочем немногие) опечатки, например: мірови вместо мирови, и изменение, сделанное преосвященным, давшим об учебном Октоихе отзыв, на основании которого Св. Синод разрешил напечатать его. Предположив издание этих книг самопроизвольным делом частного лица, автор статьи на 96-й странице говорит: будущие наши «справщики» обязуются сделать то-то и то-то.

Таким образом он замышляет и пророчит радикальное и широкое исправление, или вернее — переделку, всех богослужебных книг. Если автор есть Епископ Августин, то жалость и опасность такого радикального направления в одном из высших и властных членов Русской Православной Иерархии представляется ярче и решительнее¹. Теперь он свои мысли обнаруживает в общую известность, а орган высшего богословского училища принимает эти мечтания на свои страницы, содействуя их пропаганде. Есть, конечно, и в Петербурге и везде несколько лиц духовных и мирян, которые сочувствуют подобным мыслям. Тем бдительнее и строже должно ограждать церковный наш круг от исправительских поползновений, ибо мы далеко еще не достигли тех знаний, которые необходимы для основательного и достоюжного исправления богослужебных книг. Я во всяком случае полагаю, что наши исправления, и прежние и настоящие, только портили тексты. Не решаясь и не умея изложить план желательных исправлений, ограничусь присовокуплением, что мне желательно на эту статью написать и в «Православном собеседнике» напечатать ответ, в котором бы я рассказал историю учебных Октоиха и Часослова и цель их издания. У меня осталась черновая записка, подлинник которой был представлен Вам от 23 ап-

реля 1884 года вместе с проектом Учебного Октоиха. Есть у меня и другие документы из этой переписки. Сопоставление действительных фактов с воображениями нашего автора должно значительно поколебать самоуверенный его тон. Прошу Вас мне разрешить воспользоваться сими официальными документами для предлагаемого ответа и историей издания. После этого можно высказать, что исправление церковных книг никогда не может и не должно быть делом частного произвола. Это еще должно посбавить отвагу его.

Наконец можно протестовать противу того способа и направления переделки церковного текста, о коем мечтает Епископ Августин. Кроме текста, нужно принять в соображение и *напев*, так как многие части богослужения поются. С. В. Смоленский, занимающийся теперь редактированием так называемых «трезвонов», то есть служб святым, по рукописям Соловецкой библиотеки, передавал мне свои затруднения. Есть рукописи с текстом исправленным, к которому вполне применимы древние напевы. Но в наших минеях оказывается еще несколько исправлений, состоящих чаще в замене слов, а изредка в перемещении слов. Когда заменяющее слово имеет больше слогов или перемещается логическое ударение, тогда требуется значительная переделка в напеве, в распределении нот. Воображаю, какая страшная ломка в напевах должна произойти при том решительном изменении текста богослужбного, какое с решительною самоуверенностью и настойчивою требовательностью провозглашает упомянутый прожектер².

Письма Н. И. Ильминского. С. 266—268

1. Речь идет о статье епископа Донского Августина (Андрея Федоровича Гуляницкого) «По поводу издания Учебного Октоиха и Учебного Часослова», опубликованной в томе III Трудов Киевской духовной академии за 1888. В современной Православной энциклопедии полемика между епископом и Ильминским характеризуется следующим образом:

В отличие от своего оппонента Н. И. Ильминского, стремившегося к архаизации церковнославянского языка, Августин считал, что язык богослужебных книг, зачастую непонятный из-за буквального копирования греческого оригинала, нужно упростить... устаревшие славянизмы... необходимо заменить синонимами, общими для церковнославянского и русского языков, возможна замена собственно русским словом (Т. I. С. 111).

Достаточно внимательно прочесть упомянутую выше работу Ильминского «Размышление о сравнительном достоинстве...», чтобы понять: Ильминский стремился не к архаизации церковнославянского языка, а к его чистоте и к пониманию его законов (отнюдь не отрицая при этом возможности «домашнего» пользования русскими переводами).

2. Это и предыдущее письма особенно ясно показывают, в какой атмосфере формировалось научное сознание Смоленского, как работа рядом с учителем могла воспитывать в нем благоговейное и в то же время критически осмысленное отношение к древним текстам, словесным и певческим.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 30 декабря 1888

Вчера вечером нас оставил Смоленский. Наговорились мы всласть о музыке. Его второй археологический труд — описание Соловецких рукописей — окончен и обещает быть в высшей степени интересным. Надеюсь, что он выйдет в свет в будущем году. Кроме множества fac-simile с рукописей крюковых, к нему будет приложена масса памятников, изложенных квадратною нотой, между прочим полный Октоих XVII века на четыре голоса¹. Судя по отзывам Смоленского это вещь в высшей степени знаменательная — образец высшего развития того вольного многоголосного пения, предание коего еще сохранилось в наших монастырях. Первый голос исполняет буквально уставную мелодию, прочие сопровождают ее богатым узором, составленным из элементов той же мелодии. Происходящий от этого контрапункт отнюдь не сколок с контрапункта западного, но представляет замечательную аналогию с гармоническими приемами Глинки! Словом, эта книга будет истинная Fundgrube [сокровищница] для наших композиторов духовной музыки.

Смоленский петь уже не может, по болезни горла, и мечтает о профессорской кафедре в Москве. Полагаю, что мечта эта осуществима. Разумовский уже так стар и болен, что недолго останется на своем месте, и единственный мыслимый для него преемник при Консерватории — Смоленский, соединяющий глубочайшее знание русской церковной музыки с самым широким кругозором в области музыки Запада, духовной и светской.

РГБ, ф. 230, карт. 4413, № 3, л. 70—72

1. Говоря об окончании работы Смоленского над соловецкими рукописями, Рачинский имеет в виду завершение процесса описывания рукописей и снятия оттисков с них для иллюстрирования предстоящего издания (эту очень трудоемкую работу — копии снимались через кальку — Смоленский выполнял вместе со своими друзьями, молодыми старообрядцами). Что же касается издания четырехголосного Октоиха, то эта идея не была осуществлена, хотя высокое мнение о ранних гармонизациях роспевов как фундаменте современного церковного пения Смоленский сохранял до конца дней; эта позиция выражена во многих его работах.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 8 января 1889

Получил зараз два взволнованных письма от Смоленского. Разумовский скончался, завещав Консерватории пригласить на свое место Смоленского. С другой стороны Шишков предлагает ему место директора Синодального хора. Итак, будущность его обеспечена, et il n'a que l'embarras du choix [он может даже выбирать].

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 1, л. 47

Победоносцев — Шишкову

Петербург, 18 января 1889¹

Вчера получил я подробное письмо от Смоленского из Москвы от 10 января. Еще раз повторяю, что поступление к нам Смоленского считал бы важным и единственным в своем роде приобретением, но считаю нравственным долгом устранить сначала Добровольского, а как и где его устроить, того ясно не вижу, ибо едва ли охотно поедет он в Казань, где, по уходе Смоленского, будет он иметь положение много хуже и меньше на 800 руб. содержания.

Душевно преданный К. Победоносцев.

РГБ, М 10795, № 7, л. 12

1. Это письмо сохранилось в подборке писем Победоносцева к Смоленскому, то есть оно было переслано последнему, возможно, А. Н. Шишковым (упоминаемое письмо Смоленского от 10 января см. в переписке Смоленского с Победоносцевым).

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 18 января 1889

Дорогой Константин Петрович.

С наименьшим недоумением, чем Вы, узнаю я о распоряжении Шишкова. О Добровольском я понятия не имею, и естественным образом подумал, что данный ему continuum abenni [отставка] вызван совершенною его негодностью и что Шишков распорядился по соглашению с Вами. Ныне же оказывается, что удаление Добровольского — для Вас сюрприз, да еще возлагает на Вас некоторое нравственное обязательство пристроить его инде. Между тем Смоленский считает свое дело уже улаженным...

Вполне понимаю настойчивое желание Шишкова иметь при себе Смоленского. За смертью Разумовского он — единственный человек в России, коему можно поручить издание древних нотных текстов — и притом он регент первостепенный. О размерах его педагогических способностей судить не берусь. Знаю только, что он их не лишен (судя по порученному ему моему ученику) — и что он весь пропитан здоровым духом Казанской Семинарии. Полагаю, что и в этом отношении он будет стоять несравненно выше средних педагогов духовного воспитания.

Кафедра церковного пения при Консерватории оказалась почти фиктивной. Один урок в неделю и вознаграждение в *сто рублей!* Ясно, что это — дело, которое можно взять на себя лишь между прочим.

Вы видите, что у меня недостает данных для суждения о всем этом деле. Все зависит от личности Добровольского. Если он — человек на своем месте полезный, то Шишков конечно поступил крайне опрометчиво, так неожиданно, даже для Вас, выбросивши его на улицу... Но он вероятно уже доставил Вам нужные по этому делу разъяснения.

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 1, л. 52—53 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татсво, 26 января 1889

Дорогой Константин Петрович.

Благодарю Вас от души за обещанный подарок. Теперь сведу концы с концами в нынешний учебный год. Только времени не хватает, чтобы его наполнить как следует. Вот — о. Егор Кутузов. Следовало бы его посетить. Но до него — 90 верст. А у меня на руках три группы учеников, и не могу урвать даже в соседние школы. Едва вижу мать и сестру.

Часто получаю письма от Смоленского. Он человек разумный и вполне понимает, что может подняться на место Добровольского лишь в случае, если сей последний найдет себе иное, приличное положение. По его словам, Шишков собирался в Петербург, чтобы переговорить с Вами об этом деле.

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 3, л. 54—54 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татсво, 6 июля 1889

Дорогой Константин Петрович.

Давно не писал Вам, просто потому, что на душе было нелегко. Людей,

обремененных столь тяжелыми заботами, как Ваши, тревожить печальными письмами просто безбожно, а нужно ловить возможность написать Вам что-нибудь отрадное.

Здоровье мое очень плохо, но нисколько меня не заботит. Наступивший мясоед дает мне возможность пить воды, и они мне помогут, как помогли весной. Удручают меня заботы материальные, денежные.

Впрочем истекшим месяцем я доволен. Занимались мы усердно, преимущественно церковным пением, теорией и упражнениями в пении на гласы. Юный ученик Смоленского, руководивший этими занятиями, превзошел мои ожидания. В конце месяца приехал сам Смоленский и в течение пяти дней неустанно занимался пением с нашим хором, скрипичною игрою с нашими скрипачами, а в антрактах успел переиграть в четыре руки с моею крестницею все квартеты Бетховена. Такой страсти к музыке и к музыкальному преподаванию мне ни в ком до сих пор не случалось видеть. Попал он к нам потому, что был вызван в Москву Шишковым по делу о его перемещении, но Шишкова не застал — он уехал в Самару по случаю постигшего его несчастия, обещаясь вернуться около 1 июля. О 1000 рублей на подъем Смоленский не говорил мне ни слова и едва ли рассчитывает на эту новую милость, испрашиваемую для него Шишковым, ибо и в самом назначении своем еще не вполне уверен. Очень жалею, что письмо Ваше не застало его здесь и что я не мог разъяснить ему, до свидания с Шишковым, что просить столь многого зараз не совсем прилично.

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 1, л. 40—40 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 3 февраля 1890

Получил от Смоленского радостное письмо по поводу посещения Вами его школы. Надеюсь, что и Вы вынесли впечатление доброе. Смоленский всею душою погрузился в свое новое дело. Он бездетен. Хор стал для него горячо любимую семьею.

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 2, л. 6 об.

1. 20 января 1890 Смоленский писал Рачинскому:

Пишу к Вам после проводов дорогого гостя Константина Петровича, только что обласкавшего наше училище. Конечно, мы подтянулись изрядно в певческом и музыкальном отношении, особенно за последний месяц, но я рискнул на

свой страх показать Константину Петровичу все училище в его будничной обстановке. <...> Много надо терпения и такта, чтобы вести себя так очаровательно, каков именно был наш милый и умный гость.

(РНБ, ф. 631, т. 32, л. 135—136)

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 2 августа 1890

На днях Смоленский прислал мне положенную им для меня на мужские голоса обедню. Переписываю ее с любовью по голосам. Мужское пение в церкви мне особенно по душе, и летом в Татеве всегда возможно.

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 2, л. 36 об.

1. Вскоре Рачинский стал инициатором целой серии переложений Смоленского для квартета мужских голосов, которая была издана как приложение к «Церковным ведомостям» в 1893.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 25 января 1891

Недели две тому назад нас посетил Смоленский, провел воскресенье и правил нашим хором в церкви, поощрил и ободрил моих регентов en herbe [«недозревших»]. Сих двух юношей он предлагает мне прислать к нему летом на месяц, для усиленного слушания пения и возможного в столь краткий срок научения. Он уверяет, что они могут быть помещены без всякого стеснения кому-либо с синодальными певчими (отправлять их в Москву на вольное житье не решаюсь). Но он просил меня предупредить Вас, ибо такая госпитация никакими правилами не предвидится¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 3, л. 6 об.

1. В Москву приехал Александр Кочкарев; с ним занимался один из старших воспитанников училища Михаил Чесноков (брат Павла и Александра Чесноковых).

Ильминский — Победоносцеву

24 апреля 1891

Преосвященный Дионисий Уфимский¹ в письме от 31 марта сего года сообщил мне, что сестра милосердия англичанка Кэт Марзден, отправляющаяся в Якутск для исследования местной болезни вроде проказы с целью оказать помощь несчастным страдальцам, пожелала приобрести 5 тысяч экземпляров якутского перевода Евангелия малого формата для раздачи больным и другим якутам, а если таковых книг нет в продаже, то просила заказать отпечатать их на ее счет в Петербургской Синодальной типографии. Преосвященный и упомянутую госпожу уведомил, и мне сообщил, что он находит гораздо удобнее напечатать это Евангелие в Казани (где обыкновенно печатаются ино-родческие книги) под моим наблюдением, причем указал мне помощника в корректуре студента Казанской академии Николая Нифонтова, природного якута. <...>

Доверие Преосвященного Дионисия, маститого миссионера и переводчи-ка, для меня весьма дорого и чувствительно, а указанная им мне помощь в лице природного якута студента Академии обнадеживает меня исполнить это де-ло без особенного обременения. Нужно заметить, что я впервые по сему слу-чаю, в апреле 1891 года, узнал о существовании в Казани с августа прошлого года природного якута. И как мое сердце не учуяло близость такой драгоцен-ной для меня личности? Как только из письма Преосвященного я узнал о Ни-фонтове, я сейчас же отправился в Академию и познакомился с ним. <...>

Нифонтов не один выехал из Якутска в Россию. Он приехал в Казанскую академию, один его товарищ поступил в Московскую академию, а еще один товарищ же и также природный якут поступил в Императорскую капеллу для приготовления в регенты. Нифонтов вырос в якутской семье и в продолжении своего учения в духовных школах все-таки поддерживал свой родной язык, так что он не забыл разговорного якутского языка. Но, по словам его, его то-варищи, московский академист и петербургский капеллан, сильнее его в язы-ке, особенно студент Московской академии. Просмотрев несколько страниц якутского Евангелия, я с точки зрения татарской конструкции заметил неко-торую в якутском переводе неточность в расположении слов, приближающем-ся более к русскому порядку. Это свое замечание я сообщил Нифонтову, он подтвердил, что якутские переводы вообще хороши и понятны, но не вполне складны и не вполне согласны с строем якутского языка. Продолжая разго-вор с ним и дав волю течению своих мыслей, я договорился до того, что в бу-дущую ваканцию нам, то есть Нифонтову и мне, следует соединиться с моск-овским академистом, а если возможно, так и с воспитанником Капеллы, — и за-няться радикальным пересмотром перевода Евангелия и напечатать его в воз-можно правильном строе по языку, нисколько не изменяя смысла прежнего перевода и даже сохраняя, сколь возможно, его лексический материал. <...>

Настоящий случай пересмотра и перепечатки якутского Евангелия, при участии и помощи вышеупомянутых якутских студентов, мог бы, по моему мнению, навести их на правильные понятия как на свой родной и на соседственные инородческие языки, так и на важное значение инородческих переводов в миссионерском деле.

Если идею о миссионерских потребностях применить к тому якуту, что поступил в Придворную капеллу, то мне кажется, что ему полезнее было бы готовиться в регенты для Якутской епархии в Московском Синодальном хоре, потому что Ст. В. Смоленский в Казанской учительской семинарии не только наслушался инородческого пения, но и содействовал благоустройству нотных переложений для инородческих богослужебных текстов. Под его руководством якут — будущий регент — мог бы переложить на ноты якутские церковные песнопения и вернуться на родину со знанием в голове и с партитурой в руках².

Письма Н. И. Ильминского. С. 388—392

1. Дионисий (Димитрий Васильевич Хитров; 1819—1896), с 1883 епископ Уфимский и Мензелинский — один из самых талантливых русских миссионеров, любимый ученик митрополита Иннокентия (Попова-Вениаминова), трудившийся долгие годы на Крайнем Севере и занимавшийся переводами на языки северных народов. Некоторые из этих переводов редактировал и издавал Ильминский.

2. О появлении якутского регента в стенах Синодального училища ничего не известно.

Рачинский — Победоносцеву

Татеево, 2 октября 1891

В настоящее время имею в руках отчет Смоленского по Синодальному хору и училищу. Отчет этот, конечно, будет представлен Вам, и, конечно, Вы прочтете его с интересом. Написан он в высшей степени обстоятельно и живо, местами резко, и не имеет ничего общего с шаблонными отчетами, зауряд подаваемыми. *Desiderata* [пожелания], выраженные в нем, кажутся мне исполнимыми и разумными. Это, во-первых — дарование училищу права выдавать регентские дипломы, дающие скромные привилегии, приличные этому званию. Полагаю, что это была бы мера примирительная. Ныне духовенство перестало помещать своих детей в училище, так как оно перестало быть лазейкой для проникновения в духовную семинарию. Дарование некоторых прав вновь привлекло бы этот контингент учеников (весьма желательный), и, быть может, это обстоятельство несколько примирило бы с училищем Московского Владыку¹.

Другой desideratum — некоторое облегчение хора в исполнении служб Успенского собора. Часть этих служб необходимо поручить многочисленному соборному причту, хотя бы для того, чтобы сохранить специальный напев Успенского Собора, имеющий интерес архаический и художественный. Первоклассный же хор, подобный Синодальному, состоящий из детей, не может вынести, без ущерба для своего совершенства, столь усиленной работы¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 3, л. 48—49 об.

1. О борьбе за права выпускников Синодального училища подробно рассказывается в Воспоминаниях Смоленского и в посвященных училищу и хору томах РДМ. Митрополит Иоанникий (Руднев), судя по дневниковым записям Смоленского, относился к училищу весьма жестко, утверждая, что в нем «духовного мало».

2. В мягкой, корректной форме Рачинский пересказывает жалобу, проходящую через ряд писем Смоленского к нему, например, от 26 июня 1891:

Я рискнул доложить один раз, что рысак не может быть водовозкой, — на меня цыкнули. <...> Духовенству решительно нет дела, как начало работать училище, оно требует просто плевчих, чтобы самому отдыхать на дачах за городом.

(РНБ, ф. 631, т. 34, л. 161)

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 16 июля 1892

Смоленского уговорил поместить в «Церковных ведомостях», в виде приложения, свою обедню для мужских голосов. Я с своей стороны изготовил для номера, к которому эта обедня приложится, пояснительную статейку¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 4, л. 28

1. В Прибавлении к № 12 «Церковных ведомостей» за 1893 опубликована статья Рачинского о значении публикации переложений Смоленского, предназначенных для деревенских хоров.

В основу его переложения положены напевы обиходные и обычные, самые распространенные в сельских церквях России. Но в некоторых песнопениях он придерживается напевов более древних, менее распространенных в церковной практике. <...> [Литургия] производит прекрасное впечатление при самом малом составе хора, даже при исполнении четырьмя только голосами... простая и бла-

гозвучная ее гармонизация прилась по сердцу и певцам, и посетителям наших сельских церквей (С. 499).

Рачинский считал, что участие в богослужении составленного из прихожан мужского хора (для которого и предназначались переложения Смоленского) есть путь к всенародному церковному пению.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 11 ноября 1892

Смоленский обещается прислать мне через неделю и Литургию, и Всенощную на мужские голоса. Пришлю Вам и то, и другое, с моим предисловием, давно готовым.

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 4, л. 59 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 18 декабря 1892

На днях получил от Смоленского полную рукопись Литургии, Всенощной, Панихиды и Благодарственного молебна, на четыре мужских голоса. С рукописью этою не могу расстаться и потому принялся ее переписывать (что между прочим облегчит набор). Как только будет готова Литургия, пришлю ее с моим предисловием для приложения к «Церковным ведомостям». Эта переписка — труд немалый, но здоровье мое столь плохо, что я целыми днями и неделями ни на что более серьезное не способен.

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 4, л. 66—66 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 24 декабря 1892

Дорогой Константин Петрович.

Посылаю Вам при сем, под особою заказною бандеролью, переписанную мною Литургию Смоленского, с моим предисловием, для приложения к «Церковным ведомостям». Святками надеюсь переписать Всенощную.

При этом прошу передать редакции следующие желания Смоленского.

1-е. Чтобы ему была прислана на просмотр последняя корректура.

2-е. Чтобы текст был отпечатан шрифтом церковнославянским.

3-е. Чтобы для него было приготовлено 100 отдельных оттисков.

Я, с своей стороны, прошу о десятке оттисков — за *внушение* этого труда.

При переписке Литургии мне пришло в голову, какую великую пользу принесет это переложение духовным семинариям. В них сплошь да рядом пение исполняется смешанным хором, в коем партии детские ведутся новобранцами, между коими немало мальчиков лет 14, 15. Это ведет к гибели их голосов, находящихся в состоянии переходном, а голос в духовном звании — капитал бесценный!

РГБ, ф. 230, карт. 4414, № 4, л. 68—68 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 8 января 1893

Посылаю Вам при сем Всенощную Смоленского, за коею вскоре воследуют Панихида и Молебное пение. Начинаю успевать в нотной каллиграфии.

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 1, л. 1 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 15 января 1893

Посылаю Вам при сем под бандеролью Молебное пение и Панихиду в переложении Смоленского¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 1, л. 3

1. Таким образом, Рачинский завершил переписку нотной рукописи Смоленского. Издание вышло, как и планировалось, приложением к «Церковным ведомостям» за 1893, в трех выпусках под общим названием «Главнейшие песнопения Божественной Литургии, молебного пения, панихиды и всенощного бдения, переложенные для хора мужских голосов Ст. В. Смоленским».

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 21 января 1893

Дорогой Константин Петрович,
Вы совершенно правы в Вашей оценке последних писаний Розанова. Да,

слог его портится; его мысли, коими ему в Белом делиться решительно не с кем, принимают течение причудливое, извилистое. Тем не менее, это — ум самостоятельный и сильный, талант своеобразный. Вижу из Вашего письма, что этот учебный год ему придется дотянуть в прогимназии. Но смею надеяться, что Вы его не забудете и при первом удобном случае поможете ему выбраться из Бельской труппы — в сферу более пригодную для мыслителя и писателя, еще не вполне овладевшего собственными силами.

А вот еще беда. Между Шишковым и Смоленским произошло серьезное недоразумение, чуть не заставившее последнего подать в отставку. Рискую быть нескромным, посылаю Вам его письмо, ибо изложить своими словами эту сложную историю не берусь. И Смоленского, по близкому с ним знакомству, и Шишкова, по моим посильным впечатлениям, считаю людьми в высшей степени порядочными и полезными и несказанно дорожу тем делом, которое процветает благодаря их совместным усилиям и несомненно будет испорчено раздором между ними. Примирение между ними необходимо, и может быть достигнуто лишь при Вашем содействии, при содействии Владимира Карловича².

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 1, л. 5—7

1. Первый абзац письма оставлен в настоящей подборке, чтобы показать, какое значение имело вмешательство Рачинского в судьбу другого замечательного человека — писателя В. В. Розанова: ему вскоре действительно помогли «выбраться из труппы», и он всю жизнь оставался благодарным Рачинскому за понимание и содействие. См. также в комментариях к переписке с Волковой.

2. Имеется в виду товарищ обер-прокурора и давний знакомый Смоленского В. К. Саблер. Суть конфликта состояла в том, что Шишков взял на освободившееся место воспитателя не работавшего преподавателем в училище П. А. Флерины, а выпускника Владимирской семинарии А. К. Смирнова. Впоследствии Александр Константинович стал близким сотрудником, а потом и личным другом Смоленского, вслед за ним уехал в Петербург в Придворную капеллу и оставил содержательные воспоминания, опубликованные в I томе РДМ.

Рачинский — Победоносцеву

Татсво, 26 января 1893

Дорогой Константин Петрович.

Вместе с двумя Вашими письмами я получил отчаянное письмо от Смоленского. Он собирается подать в отставку, к чему между прочим побуждает его жена.

Смоленский уверяет, что на злополучный концерт он дважды получил устное разрешение Шишкова, чему в сущности не противоречит письмо по-

следнего. Итак, этот инцидент в сущности есть недоразумение, происшедшее от забывчивости Шишкова — а не самоуправство, заслуживающее кары...

Но, по крайнему моему разумению, подобные случаи неизбежны, пока в зале Синодального хора будут даваться посторонними артистами светские концерты. Их бы следовало вовсе отменить. Программа, в глазах мирян самая невинная, архиереям может показаться легкомысленною. Так, например, струнные квартеты мне кажутся в этой зале приличными и слушанием для певчих полезным. Но если они соблазняют Преосвященных, ими следует пожертвовать — ибо раздоры между лицами начальствующими — гибель всякого учебного заведения¹.

Еще до получения Вашего письма я написал Смоленскому, настойчиво советуя ему иметь все возможные *egardi* [знаки уважения] к Шишкову, человеку, быть может имеющему свои недостатки, но почтенному и старому... Но из сегодняшнего его письма вижу, что дело еще обострилось и что нужно личное вмешательство Ваше или Саблера, чтобы восстановить между Ш. и С. сносный *modus vivendi* [способ сосуществования].

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 1, л. 8—9

1. Этот эпизод описан как в Воспоминаниях Смоленского, так и в его письмах к Рачинскому, например, от 22 января 1893:

20-го января был у нас в училищном зале концерт артистки. Дня три тому назад № «Московских ведомостей» попал архиереям в руки, должно быть, во время заседания, и они прямо преподнесли его Константину Петровичу с воплями о нашем еретичестве: концерт дается там же, где и всенощная, — баба иностранка играет в Синодальном и т. п. Константина Петровича, очевидно, сильно задела такие речи, и он написал Андрею Николаевичу, должно быть, очень резкое письмо. Андрею Николаевичу надо было все свалить на меня, и он мне написал бумагу, в которой требует от меня объяснения.

(РНБ, ф. 631, № 68, л. 50)

Рачинский — Победоносцеву

Татсво, 29 января 1893

Сверхкомплектная почта сейчас принесла мне Ваше письмо от 26 января. Вижу из него, что есть надежда на примирение между Смоленским и Шишковым. Делаю, что могу, чтобы первого своими письмами образумить и успокоить. При первом свидании я и сестра постараемся втолковать ему окончательно необходимость признать и подчеркнуть церковный характер хора и училища¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 1, л. 16 об.

I. Примирение состоялось, 7 февраля Смоленский писал Рачинскому:

Дорогой мой Сергей Александрович! Сегодня, в день прощенья, пойду к столь обидевшему меня старику, паду ему в ноги и со всюю чистосердечностью объяснюсь с ним.

(РНБ, ф. 631, № 68, л. 113)

Это и было исполнено.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 23 февраля 1893

В последнем своем письме Смоленский вскользь выражает мысль, которая кажется мне исполнимою, исполнение коей кажется мне желательным.

Музыкальный отдел Соловецкой библиотеки остается в Казани таким же мертвым капиталом, каким он был в Соловках. Самое описание этих сокровищ, почти оконченное Смоленским, подготовленное до исполнения массы прекрасных снимков включительно, не может быть издано, ибо Смоленскому отлучиться надолго из Москвы ни зимою, ни летом невозможно, а окончание труда требует беспрестанных справок с подлинными рукописями. Естественное место этой единственной коллекции — очевидно при Синодальном хоре. Трудно предположить, чтобы в числе профессоров Казанской Академии когда-либо оказался специалист по музыке, а только таковому доступны Соловецкие иероглифы. При Синодальном же хоре имеется (и Бог даст, никогда не переведется) целый штат специалистов, глубоко заинтересованных нашими древними напевами, — и их прямая обязанность — раскрыть перед нами, в изданиях и исполнении — сокровища нашего древнего церковного творчества. С расширением такой деятельности исчезнут и те недоразумения и нарекания, которые до сих пор возбуждает новая организация хора.

Пока Смоленский деятельно занят продолжением начатого им по моему настоянию труда. Готовит он в четырехголосном (для мужских голосов) переложении песнопения великопостные, пасхальные, сборник Херувимских и Милостей старинных напевов. Приложение таких переложений очень обширно. Укажу между прочим на полковые хоры, коим иные переложения недоступны. С нетерпением ожидаю появления Литургии¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 1, л. 25—26 об.

1. Оба проекта, изложенные в письме, не были осуществлены: Соловецкое собрание оставалось в Казани до того времени, когда оно попало в Публичную библиотеку (РНБ, где ныне и находится); занятость Смоленского не позволила ему продолжить цикл переложений для мужского хора, хотя, судя по последующим письмам, эта работа была начата. Рачинский ждет выхода из печати первого выпуска приложения к «Церковным ведомостям».

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 18 июня 1893

Провел у нас четыре дня Смоленский. Несмотря на маленькие недоразумения с Шишковым, с духовенством, он так счастлив своею деятельностью и ее успехами, так на месте в своей музыкально-педагогической сфере, что смотреть на него отрадно.

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 1, л. 53 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 4 февраля 1894

Смоленский, по-видимому, сошелся с кн. Ширинским-Шихматовым и отдает полную справедливость его уму, деловитости и доброжелательству¹. Полагаю, что странная ошибка, по которой он, при передержке в 15000 рублей, считал за Училищем экономию в 3000, находится в связи с не порядками, попущенными Шишковым, и впредь повториться не может. Средства Синодального хора столь широки, что должны покрывать все разумные издержки. Пользуясь двумя днями нездоровья, я настроил для «Русского обозрения» маленькую заметку о духовных песнопениях, приложенных к «Церковным ведомостям». Нужно обратить внимание публики на действительно образцовую деятельность этого учреждения, и я имел коварство добавить и маленький комплимент по адресу Балакирева — чтобы гусей подразнить².

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 2, л. 8 об.—9

1. Подобное впечатление оказалось обманчивым, хотя поначалу дело обстояло именно так, а в деловитости Ширинскому и впоследствии нельзя было отказать.

2. Этот текст под названием «Музыкальная заметка» появился в мартовском номере московского журнала «Русское обозрение». Там, в частности говорилось:

В течение минувшего года были приложены к «Церковным ведомостям» — следовательно, разосланы всем нашим церковным причтам — нотные тетрадки, за-

ключающие в себе главнейшие песнопения литургии, всенощной, панихиды и молебного пения, переложенные на четыре мужских голоса С. В. Смоленским. <...>

Гармонизация их ведена в стиле простом и строгом, без тех сомнительного свойства архаизмов, которые специалистам могут казаться интересными, но в сущности для слуха невыносимы. Она сплошь благозвучна и прозрачна и местами возвышается до редкого изящества.

Наконец, переложения эти доступны самым скромным голосовым средствам. <...> ...В приходах, в коих с давних пор существует при школе постоянный хор, с каждым годом размножается количество взрослых певцов, способных участвовать в церковном пении. <...> Нельзя достаточно высоко ценить ту живую связь, которую поддерживает в них с церковью постоянное участие в богослужении. <...>

Этим взрослым певцам вполне посильно и исполнение всенощной, исполнение истовое и сознательное. <...> Само собою разумеется, что полное и дельное переложение церковного круга на мужские голоса имеет великое значение не только для сельских хоров, но и для всех учебных заведений, духовных и светских, в коих, по возрасту воспитанников, преобладают мужские голоса или вовсе отсутствуют детские. Не менее драгоценно такое переложение для тех мужских монастырей, — а число их немало, — в коих утратилось или не успело укорениться традиционное, свободное разделение голосов, на коем основано величавое пение, ошибочно называемое одногласным, составляющее красу наших древних обителей.

Про Балакирева в конце статьи говорится так:

Нельзя достаточно радоваться тому, что именно теперь совершается возрождение плодотворной деятельности древнего Патриаршего хора; что именно теперь другой институт, специально посвященный музыке духовной — Императорская Капелла, — находится под управлением такого великого художника, такого ревнителя церковной старины, как М. А. Балакирев.

Встает вопрос: каких гусей дразнит, по его собственному выражению, Рачинский? По-видимому, Балакирева, который очень мало проявлял себя на поприще церковной музыки. Содержащийся в статье пассаж о «сомнительного свойства архаизмах» может относиться к «Всенощному бдению древних роспевов», выпущенному Капеллой (хотя главный «гармонизатор» там — Римский-Корсаков, а не Балакирев).

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 23 февраля 1894

Судя по письмам Смоленского, у него с Ширинским устанавливаются отношения добрые. Дай Бог.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 19 марта 1894

Смоленский пишет: «Дело о Постном обиходе к величайшей моей радости быстро идет вперед и 7 листов уже готовы. Страстную буду кончать на будущей неделе. Часть эта будет несравненно интереснее всех прочих. Очень удалась XVII кафизма. Пишу с великой любовью и радостью. Никогда так не наслаждался трудом, как за эту работую».

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 2, л. 48 об.—49

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 21 июня 1894

Погостил у нас денька три и Смоленский, как всегда, кипящий деятельностью, погруженный в свои художественные и педагогические предприятия. И у меня он откопал несколько старинных рукописных Херувимских, заслуживающих воскрешения.

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 2, л. 74

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 10 февраля 1895

Как интересны концерты Смоленского, его письма по их поводу и изданная им объяснительная брошюрка!¹

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 3, л. 8 об.

1. Речь идет об Исторических концертах Синодального хора. Сопроводительный к ним текст Смоленского см.: РДМ. Т. II. Кн. I.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 2 августа 1895

Ревизия Синодального хора в отсутствие Смоленского — случайность несчастная. Предвижу целый ряд недоразумений и неприятностей. Да и вообще — вся деятельность Смоленского очевидно страдает отсутствием меры и практичности. Уместнее он был бы во главе Капеллы, чем хора учебного.

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 3, л. 52 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 20 октября 1895

Вчера получил от Смоленского блаженное письмо. Вот человек, истинно осчастливленный своим положением, дающим простор всем его способностям и стремлениям. Вижу между прочим из его письма, что коллекция музыкальных рукописей, ревностно им пополняемая, становится первую в России.

РГБ, ф. 230, карт. 4415, № 3, л. 80 об.

1. Противоречивые оценки деятельности Смоленского в письмах, разделенных всего парой месяцев, свидетельствуют, как трудно шло обновление жизни училища и репертуара Синодального хора, какие сомнения это вызывало даже у такого тонкого ценителя, как Рачинский. Показательно, что присланные Рачинскому Смоленским сочинения воспитанников Синодального училища он отправил С. С. Волковой, желая знать ее мнение как человека, получившего широкое музыкальное образование (см. следующие письма).

Рачинский — Волковой

Татево, 4 декабря 1895

Радуюсь тому, что вы слышали исполнение мессы папы Марчелло в исполнении Синодального хора. Мне она известна лишь по отрывкам, слышанным мною давно, в Берлинской Singakademie. Но эти отрывки оставили во мне впечатление чего-то единственного по серьезности и величию. Вы ничего не потеряли, не прочитавши «Власть тьмы».

*РГАЛИ, ф. 623, № 62, л. 7***Рачинский — Волковой**

Татево, 10 июля 1896

Послал двух моих учителей на два месяца к Смоленскому — попитаться атмосферой его хора, кое-чему научиться. Право, отрадно заниматься вещами естественными. За двадцать лет мне удалось во всех церквях нашего околотка установить известный, весьма скромный, уровень церковного пения, значительно однако же поднявший и посещение церквей молящимися, и сочувствие народонаселения к школам. Но так как жить мне остается недолго, необходимо дело еще поднять и упорчить, чтобы оно не умерло вместе со мною.

РГАЛИ, ф. 623, № 62, л. 25—26

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 10 октября 1896

Смоленский замышляет приехать к нам дня на два, но в такое время (конец октября), когда это ему едва ли удастся.

РГБ, ф. 230, карт. 4416, № 1, л. 54

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 4 марта 1897

На Смоленского поездка в Петербург произвела впечатление отрезвляющее¹. Получаю от него спокойные письма. Но нужно ему съездить в Карлсбад: у него расстроена печень.

РГБ, ф. 230, карт. 4416, № 2, л. 15 об.

1. Поездка в Петербург убедила Смоленского, что в его столкновении с Ширинским-Шихматовым на почве разделения прав прокурора Синодальной конторы и директора училища и хора и утверждения нового устава он не найдет поддержки в Св. Синоде (см.: Воспоминания. С. 328—331). Между тем это был период высокого расцвета в деятельности училища и хора.

Полечиться в Европу Смоленский действительно съездил летом этого года.

Рачинский — Волковой

Татево, 6 марта 1897

Посылаю Вам при сем композицию одного из учеников Смоленского. Как школьная работа — *c'est très méritoire* [очень похвально], — но стиль ее объясняет мне недоумения, возбуждаемые в духовном мире деятельностью Смоленского. Боюсь и я, что из его птенцов выйдут не «сыны Кореевы», а сочинители сюит и сонат¹.

РГАЛИ, ф. 623, № 62, л. 36

1. Последняя фраза явно намекает на возможность повторения в Синодальном училище того, что произошло в Придворной капелле, когда ею руководили Балакирев и Римский-Корсаков: то есть подмены духовного образования светским, консерваторского типа.

Рачинский — Волковой

Татево, 19 апреля 1897

Благодарю Вас за программу Вашего прелестного концерта и еще более за то, что Вы пишете о Смоленском. То же самое говорю я ему беспрестанно: при случае сообщу ему, с должными ménagements [предосторожностями], и Ваше мнение, коим он очень дорожит. Кое в чем необходимо его воздерживать.

Дело в том, что тот элемент пошлого музыкантства, который он пришивает к своему преподаванию, действительно смущает не одних нас с Вами: он крайне неприятен начальству Смоленского и ведет к беспрестанным недоразумениям и столкновениям, которые могут кончиться оставлением им должности, в сущности для него созданной, как он создан для нее.

РГАЛИ, ф. 623, № 62, л. 39—40

Рачинский — Волковой

Татево, 9 августа 1897

Смоленский в славянских землях и собирает старинные церковные книги¹.

РГАЛИ, ф. 623, № 62, л. 54

1. См. письмо к Победоносцеву от 12 августа 1897.

Рачинский — Волковой

Татево, 24 октября 1897

Радуюсь тому, что Смоленскому удалось попотчевать Вас музыкою незаурядною. Положение его в Синодальном хоре не считаю испорченным непоправимо. Правда, с ближайшим своим начальником (кн. Ширинским, мнящим себя музыкантом) он ладить не может! Но выше ценят по достоинству его редкие заслуги; судя по последним его письмам он стал духом спокойнее и решился быть осторожнее во избежание новых столкновений с начальством. Ширинский рано или поздно будет повышен, и тогда все образуется¹.

РГАЛИ, ф. 623, № 62, л. 57—58

1. Предсказание сбылось наполовину: Ширинский-Шихматов был «повышен» в должности (стал тверским губернатором), но это произошло после ухода Смоленского из Синодального училища.

Рачинский — Волковой

Татево, 9 февраля 1898

Посылаю Вам при сем композиции учеников Смоленского. На мой взгляд, все это — очень похвально, но более с точки зрения гармонической техники, чем оригинального творчества. Притом все это — весьма мало церковно. Херувимская № 2 была бы совсем хороша — если бы была Херувимскою, а не прекрасною тематическою обработкою мотива — характера народного.

Последнее обстоятельство меня тревожит ввиду судеб «музыкальной академии», созданной Смоленским под фирмою Синодального хора. Конечно, он в нем не виноват. Не от него зависит свойство и сила талантов, коими обладают его ученики. Но не могу не желать, чтобы между ними нашелся хоть один, в коем бы ясно звенела струнка духовно-музыкального творчества. При превосходной школе, созданной Смоленским, всякий подобный талант непременно получил бы полное развитие и оправдал бы приемы, употребляемые в училище и смущающие духовные власти.

Впрочем, своему суждению не слишком доверяю. Быть может, я слишком требователен или недостаточно чуток. Поэтому обращаюсь к Вашему.

РГАЛИ, ф. 623, № 62, л. 62—64

Рачинский — Волковой

Татево, 8 мая 1898

Нотные листки, возвращенные Вами, принадлежат мне, и поэтому Вы могли бы даже оставить их у себя, если бы они представляли для Вас малейший интерес. За критику этих вещиц премного Вас благодарю. Приблизительно то же высказал и Смоленскому, но слишком голословно. Сообщу ему, с должными ménagementi, Ваше мнение.

РГАЛИ, ф. 623, № 62, л. 65—66

Волкова — Рачинскому

Высокое, [начало июля 1898]

По дороге сюда мы провели несколько дней в Москве. Видели Смоленского и говорили о присланных им сочинениях. Не знаю, понимаем ли мы друг друга. Оказывается, Кастальский не ученик Синодальной школы, а музыкальный приятель и единомышленник Степана Васильевича, мне показалось, что критикующие его произведения тотчас заподозреваются Смоленским в обскурантизме! Куда они стремятся? Я пока не знаю. Смоленский говорил, до чего хорошо звучат молитвы Кастальского при исполнении хором. Послушать хора этот раз не пришлось.

*РНБ, ф. 631, № 100, л. 17***Рачинский — Волковой**

Татеево, 16 июля 1898

Вижу из Вашего письма, что Смоленский все более увлекается более чем посредственными композиторскими опытами своего музыкального кружка¹. Толки его о *благозвучии* этих вещей в голосовом исполнении мало для меня убедительны. Всякое правильное последование аккордов в образцовом исполнении Синодального хора будет звучать внушительно. Все это вредит Смоленскому, и в художественном отношении, и в отношении служебном.

РГАЛИ, ф. 623, № 62, л. 70

1. Кружок Смоленского в это время — П. Г. Чесноков, А. Д. Кастальский, А. Т. Гречанинов, М. М. Ипполитов-Иванов и некоторые другие московские музыканты.

Волкова — Рачинскому

Высокое, 27 сентября 1898

Не знаю, удастся ли мне повидать в Москве Смоленского, а хотелось бы. Мне очень грустно слышать от Вас, что его музыкальные увлечения могут повредить ему в служебном отношении. Кого же могли бы найти лучшего? Разве он не создан для этого поста? Не могу забыть отрадного впечатления, вынесенного прошлую осень из двух посещений Школы. С нами был тогда Колюс, преподаватель в консерватории, знакомый с музыкальными кружками и требованиями Парижа и США; он не мог надивиться легкости, с какой хор Синодальной школы читает с листа, и всей сознательности их отношения и го-

ворил, что ему не приходилось видеть ничего подобного. Неужели увлеченья Смоленского мешают ему выполнить свои служебные задачи? Увлеченья его представлялись мне «сверхкомплектными», принимаемыми им к сердцу сверх занятий любимой им школой и изучением древнего церковного лада. Доволен ли он утверждением нового устава?

РНБ, ф. 631, № 101, л. 57—57а

Рачинский — Волковой

Татево, 14 октября 1898

Насчет Смоленского совершенно успокоен. Празднества 16 августа были для него настоящим триумфом¹. Пение Синодального хора привело в восторг все царственные особы, да и всех присутствовавших. Государь всех обладал и отдал.

Еще прежде произошло полное примирение между Смоленским и прямым его начальником кн. Ширинским-Шихматовым. Этим устраняются неудобства, которые Смоленский усматривал в новом уставе. Устав этот, естественным образом, несколько ограничивает ту полную свободу, которую Смоленский пользовался до его утверждения и которая не может быть оставлена всем его преемникам. Но при добрых отношениях с ближайшим начальством существенных стеснений не предвидится². Что касается до внепрограммных трудов хора по теории и композиции, то теперь для всех ясно, что прямым задачам учреждения они не препятствуют, а напротив способствуют их осуществлению.

Кажется, что теперь могу сказать, что водворение Смоленского в Москве — одна из крупных удач моей жизни.

РГАЛИ, ф. 623, № 62, л. 75—76

1. Речь идет о торжествах в связи с открытием памятника Александру II. Государь несколько раз слушал Синодальный хор и нашел, что он «поет превосходно», «некуда идти более». Это мнение поддержал и великий князь Владимир Александрович.

2. 12 декабря 1898 Смоленский писал Рачинскому:

...Свободы, доверия у нас нет, а на все прилагай имеющиеся где-либо разрешения или заготовляй «оправдательный документ». Можно ли при таком режиме служить так правде и любви, как то читается между строк «Новой школы»? Разве не останется только воровски и юродски быть человеком?

(РНБ, ф. 631, № 103, л. 174 об.)

Победоносцев — Рачинскому

Петербург, 9 ноября 1898

...Вчера мы вернулись из Москвы, где ночевали две ночи. <...> В Синодальном училище угостили нас дивным пением. У них замечательный талант Кастальский. Его произведения поражают талантом и силою. Одна вещь — просто душу до глубины трогает — это его «Сам [Един] еси безсмертный» заупокойное, — не для церкви, ибо слишком страстно и могуче до устрашения — вещь удивительная. Хотелось бы, чтобы Вы послушали. Хор — совершенство — не знаю, куда идти далее.

*РНБ, ф. 631, № 103, л. 34—35***Рачинский — Победоносцеву**

Татево, 3 апреля 1899

С наслаждением прочитал первый том Остафьевского Архива. Какими драгоценностями дарит нас Шереметев! Вот, благодаря ему и Барсукову, станет возможною история русской литературы XIX века¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4417, № 2

1. Речь идет об изданиях и трудах С. Д. Шереметева (см. подробнее во вступительной статье в разделе переписки с ним); возможно, в это время Рачинскому пришло на ум сблизить и ранее знавших друг друга Шереметева и Смоленского.

Победоносцев — Рачинскому

Царское Село, 8 сентября 1900

Посылаю Вам письмо, сейчас полученное от Смоленского¹. <...> Дело, им затеянное, я не могу для него устроить. Надобно создавать для него новую должность, небывалую доселе: откуда взять для этого средства — и еще удержать за ним квартиру, которая понадобится для нового директора. Он очень хочет быть как бы академиком науки пения и почетным пенсионером.

<...> Училище существует для целей практических, а он стремится устроить из него какую-то академию и образовать артистов и композиторов. И выходит, что выпущенные им учителя не удовлетворяют потребности. На них жалуются, что они сильны в теории, но не могут организовать хор и поставить его как следует и заинтересовать класс живым делом... Не знаю, писал ли Вам Смоленский об этом своем замысле? В Москве я слышал от не-

го жалобы, что класс его в Консерватории мало посещается. А в прошлом году он задумывал еще взять уроки в здешней Консерватории и ездить сюда два раза в неделю!²

РНБ, ф. 631, № 116, л. 13

1. См. это письмо в переписке с Победоносцевым.

2. Идея была первоначально предложена профессором Петербургской консерватории Л. А. Саккетти, который, судя по его письмам к Смоленскому, собирался представить ее на заседании дирекции Петербургского отделения РМО. Однако вскоре началась сложная история с перемещением Смоленского в Придворную капеллу, а несколько лет спустя, когда Смоленский оказался свободным от службы, сама консерватория отказалась от его услуг.

Рачинский — Победоносцеву

Татеево, 30 сентября 1900

Замечательно бестолков — Смоленский. Получил от него письмо, гораздо более спокойное. И что же оказывается? Он совсем не прочь остаться на месте, с тем, чтобы ему давались летние отпуска для разработки накопленных им музыкальных сокровищ. Это кажется мне в известных пределах вполне исполнимым. Но об этом-то он забыл написать и Вам и мне. Паки и паки уговариваю его не досаждать Вам ни письмами, ни просьбами о вызове в Петербург, а дожидаться приезда Вашего в Москву и тогда одумавшись изложить Вам устно свои желания. В каком бы качестве он ни состоял при Синодальном хоре, с Ширинским он не споется, и на это нужно покориться. Хору же, несмотря на неизбежные трения, он приносит громадную пользу. Уговариваю его также для распространения своих музыкальных взглядов держаться пути печати, а не лекций, ибо область, в коей вращаются его исследования, слишком специальна, ибо немногие, коим она доступна, по России слишком разбросаны.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 1, л. 91 об.—92

1. 8 сентября 1900 Смоленский написал Рачинскому:

Я давно и крепко полюбил училище и расстаться с ним, совсем устраниться, как-то и страшно мне представить. Расстаться с рукописями я прямо уже не могу. Лучше останусь терпеть Ширинского-Шихматова, ибо придет же время, когда его уберут куда-нибудь...

(РНБ, ф. 631, № 116, л. 13а—13а об.)

Победоносцев — Рачинскому

Царское Село, 2 октября 1900

Смоленскому я написал, чтобы подождал приехать сюда. А Вы, если будете писать ему, не посоветуете ли остаться спокойно на своей настоящей должности, которую и ему самому тяжело было бы покинуть.

*РНБ, ф. 631, № 116, л. 13***Рачинский — Победоносцеву**

Татево, 14 октября 1900

Смоленский значительно успокоился. Вот что он пишет: «Сердечно благодарю за прелестнейшее Ваше письмо и истинно добрый, истинно дружеский совет, которого прямо обещаю слушаться»¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 1, л. 95а

¹ Совет, естественно, заключался в том, чтобы Смоленский спокойно оставался на своем месте. Но злополучная ревизия уже надвигалась.

Рачинский — Победоносцеву

Татево, декабрь 1900

Иное дело — вопрос о Смоленском. Тут есть заслуги, для всех очевидные. Поднятие Синодального хора до высоты художественного исполнения в России беспримерно и факт бесспорный. Как ни велики в этом деле заслуги Орлова, столь настойчиво подчеркиваемые самим Смоленским — такие результаты достигаются не одним техническим совершенством регентования, но именно тем музыкальным развитием исполнителей, которое Смоленскому ставится в вину. Никаким механизмом они объяснены быть не могут, а только возбуждением в хоре художественной самодеятельности. Великая заслуга Смоленского также — собрание музыкальных памятников и ведущаяся им разработка этого материала, без коей он остался бы недоступным и бесплодным. Что работы эти пока возбуждают мало сочувствия, что слушателей у Смоленского в консерватории мало — более чем естественно. Дело — слишком серьезно и специально, чтобы увлечь легкомысленную толпу.

Но это — не все. Не подлежит сомнению, что воспитанию и обучению питомцев Смоленский посвящает самое сердечное, самое настойчивое внимание, что вследствие этого он внушает им самую горячую привязанность. Диа-

метрально противоположные отзывы, сообщаемые Вами, убеждают меня лишь в том, что против Смоленского ведется злостная интрига.

Затем, нет сомнения, что он в отношениях служебных в высшей степени наивен, непрактичен и неловок — подчас неудобен. *On n'est pas parfait* [Нет совершенства].

Что же в подобных случаях желательно? Конечно, установить *modus vivendi*, который удержал бы на таком месте деятеля *незаменимого* и в сущности достаточно умного, чтобы идти на уступки необходимые. Дай Бог, чтобы Нечаев (кого не знаю) обладал достаточным тактом и пониманием дела, чтобы достигнуть этого результата.

Конечно — художественное совершенство вокального исполнения, создание музыкальной археологии отечественной — не прямые цели, поставленные Синодальному училищу и хору. Но ведь эти сверх-программные вещи могут вдохнуть истинную жизнь во всю нашу церковно-певческую практику. Вы это чувствуете сами, и добрая поддержка, которую Вы постоянно оказывали Смоленскому, — одна из великих Ваших заслуг. Уверен я также, что дело может быть улажено — именно Вашим веским словом — ибо *Вам Смоленский беззаветно предан*¹.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 1, л. 122—123

1. Победоносцев уже написал Рачинскому о неутешительных для Смоленского прогнозах ревизии, проводившейся синодальным чиновником П. И. Нечаевым. Между тем сам Смоленский смотрел на дело несколько иначе, хотя тоже тревожился. 31 декабря 1900 он писал Рачинскому:

Наконец-то я дождался ревизии Синодального училища и наконец-то удалось показать то, над чем я так усердно работал вместе с сослуживцами и сотрудниками. Посещения П. И. Нечаева были для меня сущими праздниками с 12 по 17 декабря, и *roug le bonne bouche* [наконц] я имел случай исповедаться ему в причинах моего решения выйти в отставку. <...> Конечно, может случиться, что в Петербурге всему дадут другую цену, но я все же радуюсь тому, что облегчил свою душу и успел при себе показать Синодальное училище. <...>

Числа 25—26 января я думаю быть в Петербурге и тогда надеюсь выслушать от Константина Петровича решение своего будущего. А то — очень устал и жена извелась, тяжело за себя и за нее. Может быть и уладится все к лучшему, но жестоко было бы выйти со службы. Нечаев объяснил, к полному моему удивлению, что за 28 лет службы мне предстоит получить половинную пенсию в количестве 280—285 р. в год или что-то около того. Конечно, такая будущность улыбается очень мало, даже и в полном размере через 7 лет впрдь.

(РНБ, ф. 631, № 118, л. 4а)

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 2 января 1901

Сейчас получил письмо Ваше от 29 декабря. Вижу из него, что с непрактичностью Смоленского ничего не поделаешь. <...> Очевидно, о продолжении его директорства не может быть речи. Дай Бог, чтобы отыскался способ сохранить *полезное* его участие в деле Синодального хора. NB: квартира, как он высказывал сам в своих письмах, нужна ему самая скромная, так как он бездетен.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 2, л. 82—82 об.

Шереметев — Рачинскому

20 марта 1901

Дело Смоленского все еще не разрешилось, роды медленные и трудные — но Бог даст, *сказанное слово будет выполнено*¹. Грустно, что и в *таком* деле, и по отношению к *таким* людям приходится считаться с темными и враждебными силами, без должной опоры, где можно было ее ожидать².

РНБ, ф. 631, № 119, л. 46—46 об.

1. Под «сказанным словом» Шереметев подразумевает обещание императора.

2. 17 марта 1901 Рачинский получил письмо от Смоленского по поводу плана перемещения его в Придворную капеллу, которым занимался Шереметев:

Дорогой Сергей Александрович! О, как я живо чувствую всю величину Вашей помощи в моем деле и как живо чувствую меру моей благодарности! Пишет мне и С. Д. Шереметев о столь трогательном для меня Вашем участливом вмешательстве в мою было незадавшуюся кандидатуру в Петербурге.

(РНБ, ф. 631, № 119, л. 34)

Рачинский — Победоносцеву

Татево, 3 апреля 1901

Очень буду рад, если наконец состоится перемещение Смоленского. Он неосторожен и горяч, и в Москве окружен недоброжелателями, которые преувеличивают всякую его неловкость. Дай Бог, чтобы в Петербурге ему удалось

поставить себя в положение сносное. Боюсь музыкальных столкновений с А. Шереметевым.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 2, л. 111 об.

Рачинский — Победоносцеву

Татсво, 5 мая 1901

Что делается со Смоленским? Давно он мне не пишет. Читал я в газетах о прощании его с Синодальным училищем. О поступлении же его в Капеллу — никаких вестей. И на днях уезжает из Петербурга хлопотавший о нем Шереметев.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 2, л. 128

Рачинский — Победоносцеву

Татсво, 12 мая 1901

Ни писем от Смоленского, ни официального извещения о назначении А. Шереметева. Боюсь, что все это дело упало в воду.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 2, л. 130

Рачинский — Победоносцеву

Татсво, 19 мая 1901

Наконец узнал из газет о назначении Шереметева и Смоленского. Vogue la galère! [Была — не была!] Но подводных камней много. Во всяком случае для Синодального хора — потеря незаменимая. Орлов — отличный регент, и он на время поддержит технику исполнения. Но дух погасит, и падение неизбежно.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 2, л. 132 об.

1. Все прогнозы Рачинского оказались верными: «музыкальные столкновения» с А. Д. Шереметевым стали впоследствии причиной ухода Смоленского из Капеллы; В. С. Орлов действительно плохо справлялся с ролью директора Синодального училища, и пение хора стало постепенно ухудшаться.

Рачинский — Победоносцеву

Татеево, 22 мая 1901

Получил письмо от Смоленского. Он вполне сознает, что А. Шереметев — плохая поддержка, что трудно будет бороться против внедрившегося в Капеллу воровства, лени и разврата. Но памятуя состояние, в коем он застал двенадцать лет тому назад Синодальный хор, он не унывает.

РГБ, ф. 230, карт. 4418, № 2, л. 134—134 об.

Эпилог**Смоленский — Рачинскому**

Петербург, 20 мая 1901

Дорогой, бесконечно дорогой сердцу Сергей Александрович! Не знаю, как благодарить Вас за письмо, пришедшее в грустнейшие дни моей жизни! О, в какой «переплет» попал я здесь после милого Синодального Училища, кажущегося теперь мне раем в сравнении с Капеллою и проводившего меня и с трогательнейшими подарками на память, и со слезами. И я поплакал не раз на прощаньях с московскими друзьями, особенно же с ребятишками.

То, что узнаю здесь — ужасно, даже ужаснее бывшего в Москве в [18]89 году. Воровство — как кажется, весьма окрепшее, привычное, обставленное всеми соблюдениями всяких формальностей. Конечно из 216 [тысяч] воруются чуть не половина. Лень, праздность, разврат учеников, отсутствие повиновения пока так устрашают меня, что еще не выпускаю свои когти. Незнание — уж говорить нечего. Поет Капелла неизмеримо хуже Синодального хора, но сомнение уже мне заявлено весьма категорично и (хотя я и не думаю уступить) весьма требовательно. Чтобы охарактеризовать юношество — достаточно сказать, что они и в этом году перед отъездом в Петергоф выполнили традиционный скандал, то есть выбили все нижние стекла в классах. Читали Вы, может быть, о недавнем взрыве в подвале в Капелле. Экзаменов в этом году не было во избежание «переутомления» этих невозможных празднолюбцев.

Решительно не имею времени писать сейчас, но буду писать Вам подробно и обо всем, ибо некому мне отводить душу и сердце, а Татеевская коллекция моих писем давно уже приняла характер моих исповедей. Я вглядываюсь в Капеллу очень подробно и весьма беспристрастно, ибо все лезутся и на ножах между собою. Придется действительно очищать многое, но надобно заручиться гарантией сверху, а Шереметев А. Д. действительно не деловой,

а шалый. Бог милостив однако — обойдусь и заработаем. Не в первый ведь раз. Поклоны Вам и Вашим до земли.

Сердечно Ваш Ст. Смоленский.

РНБ, ф. 631, № 120, л. 35

Смоленский — Рачинскому

Петербург, первая половина апреля 1902

Дорогой мой Сергей Александрович! Давно я не писал Вам, но не по лениности, не по забвению то, а сами легко согласитесь, что переживается трудное и нехорошее время, беспокойное и тревожное. Не буду Вам жаловаться на Капеллу — пока еще терплю, силы не все израсходованы, и дело налаживается, но туго, очень медленно и с большими подчас тревогами.

Я уже много лет, более десяти, писал Вам в вечер перед пасхальной заутреней — в вечер особенно мною любимый. На эту Пасху пишу Вам ранее, так как по новости моей службы все впечатления и все порядки переживаю впервые и не могу загадать вперед — найдется ли свободный час в этот вечер. Но обещаю Вам мысленно быть с Вами и поприветствовать Вас при первом «Христос воскресе» из царской церкви. Хотя я ни разу не был в Татеве в эту службу, но представляю ее себе живо, не иначе как с покойным о. Петром и с покойными Варварою Абрамовной и Екатериной Антоновной. Почему это — не знаю, но думаю, что моя давняя привычка поминать, во время пения «Христос воскресе» в притворе храма, сначала всех дорогих сердцу покойных, а потом мысленно христосоваться с дорогими живущими, — скомбинировала в уме и картину притвора Татевской церкви.

А как хороша эта минута! Как чудесна, неподражаемо поэтична тихая минута теплой весенней ночи в Москве, когда тысячи народа стоят между Кремлевскими соборами и ждут мягкий и густой удар большого колокола! Как возвышенно и трогательно настроена эта толпа, снявшая шапки и, перекрестившись, зажигающая свечи после начала благовеста! Тишина этой толпы так поразительна, что топот лошадей подъезжающего митрополита слышен далеко из-за угла, несмотря на стон сорока сороков, именно стон медный, только и возможный в Москве, ныне столь дорогой моему сердцу, столь несравненной по своей русской красоте в эти минуты. Только однажды, за все 12 лет в Москве, затащил меня Эрарский на большое крыльцо у колокольни Ивана Великого, рисуя величие картины пасхального крестного хода. Он говорил мне, что известный рассказчик Иван Федорович Горбунов, который приезжал из Питера в Москву к этому дню каждый год, только этим впечатлением и разгонял свою «меланхолию». Впечатление это меня потрясло совершенно. Представьте себе море огоньков среди черной тучи толпы в едва светлую ночь.

Посреди этого моря неподвижных, но живых огоньков одновременно идут как огненные змии — крестные ходы одновременно из трех соборов, из храма Двенадцати Апостолов, из храма у колокольни Ивана Великого, из Чудова монастыря — палят пушки, играет музыка, звон «во вся», пение хоров и общий стон, общий вздох всей толпы... О, какая величавая красота, какой чистый подъем духа, какое удивительное молитвенное настроение всех без исключения! Именно «Христос воскрес»!

Но еще трогательнее минута, когда встанут все перед притвором. По звону «ясака» смолкает звон Ивана Великого, и у покойного митрополита Сергия хватало таланта промолчать пол-минуты, чтобы в чарующей выжидательной тишине его слабый голос был слышен всем: «Слава святей...» Не могу Вам описать силы этого гимна «Христос воскрес»! Я всегда плакал в эту минуту на паперти Успенского собора. Мне вдруг вспоминалось и вообразалось: вот стоит Иван Четвертый, вот «Тишайший», или вспоминалась неподражаемая минута, когда в Казанской учительской семинарии стоял передо мною Н. И. Ильминский с большим Евангелием на руках, а моя команда в знак братства всех православных пела по очереди на 10—12 языках «Христос воскрес», или вспоминаю, как в юности моей я встретил эту святую минуту в Казанском тюремном замке и видел бритые половины голов, озаренные радостью праздника лица всякого рода людей.

Увижу ли такую радость в эту Пасху в церкви Зимнего дворца, будут ли радостны во Христе лица камергеров и тайных советников?

А царь наш хорош! Я заплакал от умиления, глядя на то, как истово, по-русски положил он три поклона перед каждой местной иконой, идя причащаться на 1-й неделе Поста. Его поклон, в смысле получения от нас прощения перед причастием, был просто непередаваем по сердечной простоте и кротости. Я давно люблю царя Николая, еще с Гааги, а теперь привязался к нему совершенно, хотя и жалко мне глядеть на него, столь окруженного немцем и высокою стеною от всего русского. Горько ему, должно быть, живет в наши такие трудные дни. Какие огромные душевные силы надо иметь, чтобы сберечь свое благодушие, умение владеть собою среди всей этой мишуры, лжи, ложного величия и преданности!

Носит меня в этом письме из стороны в сторону. Не могу не сообщить Вам, что я глубоко тронут вниманием ко мне некоторых дам Чичеринской семьи, конечно с А. Н. Нарышкиной во главе, оказавшихся основательно знакомыми и сочувствующими деятельности Н. И. Ильминского. Вот уж этого я никак не думал встретить в петербургском дамском обществе. Да и представьте себе меня среди дам... Только и могу поставить многоточие по этому случаю.

С милой С. С. Волковой моя искренняя дружба крепнет, к великой моей радости. Славный она человек, и ее семья радует меня, вместе и с Сабуровыми, трогательно нежным чувством к Вам. Кажется, нет того свидания

моего с этими людьми, когда бы не пришлось мне делиться своими воспоминаниями о Татеве и любоваться их удовольствием при речах о Вас и Вашей школе.

С Константином Петровичем я не видался, хотя навестить его очень хочется. Недавний выбор Максима Горького в академики едва ли кто почувствовал большее его. Хочется мне потолковать с ним и о бедном Синодальном училище в Москве. Бог знает что там делается! Разлад полный, уныние общее от растерявшегося Орлова, начавшего с горя пить безобразно вследствие оскорбительных воздействий князя Ширинского-Шихматова. Пишут мне мои бывшие товарищи не просьбы, а какие-то заклинания на тему «изведи из темницы душу мою», так как исстрадались уж многие от грубости и бестолочи князя. А жалко очень — хорошее было училище, работающее, благовоспитанное и успевавшее! Как я просил и убеждал еще давно удалить Ширинского от Синодального училища или хоть сократить этого князя — не послушали тогда, а теперь стон идет от него, да и дело рушится. Превосходнейший регент Орлов погиб уже в качестве больного человека, оскорбленного и взявшегося не за свое дело. Живая душа, так переполнявшая всю службу хора и училища, ныне грубо ушиблена и заменена канцелярщиной и бранью... Больно и вспомнить о бывшем когда-то мире, согласии и возвышенном труде на Никитской.

Лист идет к концу. «Христос воскрес!»; дорогой мой, сердечно любимый Сергей Александрович! Приветствую Вас от всей души с пожеланиями Вам всяких благ, тихой радости, доброго. Примите и привет жены моей. Приветствуем мы оба и добрейшую Варвару Александровну и всех в Меженинке. Будьте здоровы и веселы.

Душевно Ваш Ст. Смоленский.

Приложения к тому



1. «О мерах к улучшению церковного пения в России»

[Вступление]

В Бозе почившему Великому Государю Императору Александру III благоугодно было указать мне на необходимость принятия мер к улучшению церковного пения в России, о чем неоднократно имел я счастье слышать лично от Его Императорского Величества.

Прямым последствием данных мне указаний было составление от Управления Придворной Капеллой записки, которая с разрешения Государя Императора была мною представлена лично.

Последовавший ответ г. Обер-Прокурора Св. Синода был также лично передан мне Его Императорским Величеством с указанием на необходимость ответа.

Таковой и был представлен мною при письме на имя Его Императорского Величества в 1885 году.

Граф Сергей Шереметев.

О мерах к улучшению церковного пения в России (Первая записка Придворной певческой капеллы)*

Церковное пение в России, постепенно искажаясь и уклоняясь от строгого стия, сообразного его священному назначению, достигло в наше время полного расстройства, которое, лишая величавое и благолепное богослужение Православной церкви его лучшего украшения, лишает в то же время и благочестивый народ высоких духовных утешений, разрушая его молитвенное настроение.

Возвращение церковному пению его строгого художественного образа и глубоко умилительного строя — есть та великая задача, к благоприятному разрешению которой Придворная Капелла употребит все находящиеся в ее распоряжении силы и средства, и начало к достижению этой цели ею уже положено. Сознывая, что восстановление церковного пения невозможно без предварительного приготовления хорошо образованных учителей, она еще в 1882 году имела счастье исходатайствовать чрез Министра Императорского Двора Высочайшее утверждение составленного ею нового положения о Регентском Классе, который в преобразованном своем виде, несомненно, послужит, в доступной ему мере, достижению цели, поставленной при его преобразовании. Но при организации его будущим регентам и учителям церковного пения не предоставлено никаких прав и льгот по отбыванию воинской повин-

* Примечание С. Д. Шереметева: «Подана мною Государю Императору в 1885 году».

ности, и в этом отношении они представляют единственное и совершенно исключительное явление, так как ученикам других учебных заведений дарованы права и льготы, соразмерно с объемом пройденного ими научного курса. Этот пропуск в новом положении о Регентском Классе требует исправления, так как лишение прав и льгот может повести к тому, что недостаточные люди, несмотря на несомненное дарование и личную склонность к занятию церковным пением, принуждены будут искать иного, более обеспечивающего их пути. Им даже не будет надобности оставлять занятия музыкою, ибо они могут поступить в Консерваторию, которая окончившим в ней полный курс по специальности теории или какой-либо другой дает звание свободного художника с исключением из податного состояния и льготу первого разряда по отбыванию воинской повинности¹.

Так как полный курс Регентского Класса по своему объему равняется полному консерваторскому курсу теории с присовокуплением специальных знаний в области церковной музыки, то Капелла рапортом от 14 ноября сего года ходатайствовала у Министра Императорского Двора об испрошении Высочайшего соизволения на следующие права и льготы для окончивших курс в Регентском Классе:

1) Окончившим курс со свидетельством 1 разряда, которое дает звание «*учителя церковного пения и теории музыки*», — присвоить права, сопряженные со званием личного почетного гражданина; в отношении же их к сроку по отбыванию воинской повинности причислять их к следующему высшему разряду по сравнению с тем, которому они подлежат по своему образованию: состоящих в третьем разряде перечислять во второй, а числящихся во втором — в первый разряд.

2) Окончивших курс со свидетельством 1 и 2 разряда, дающим звание *регента*, и состоящих на службе в звании учителей церковного пения при духовно-учебных заведениях или при архиерейских хорах, по примеру народных учителей сельских школ не привлекать к отбыванию воинской повинности и вовсе освобождать от оной, когда они прослужат в указанных должностях тот срок, на который они могли бы быть привлечены в войска.

3) Получившим свидетельство 3 разряда, дающее звание *регентского помощника*, не давать иных льгот и прав, кроме тех, которые они имеют по своему происхождению и по общему образованию.

4) Ученикам Регентского Класса отбывание воинской повинности отсрочить до выхода их из сего класса.

5) Лицам, не обучавшимся в Регентском Классе, но удостоенным по экзамену того или другого из означенных свидетельств, даровать вышеуказанные права и льготы по отбыванию воинской повинности, соответственно разряду полученных ими свидетельств.

Но заботы и старания Капеллы, как бы они ни были усердны и постоянны, не могут иметь должного успеха без сочувствия и деятельного содействия

ее усилиям самого духовного ведомства; между тем в Регентском Класе, в котором обучаются придворные певчие, частные лица и стипендиаты от полков, нет по сие время ни одного стипендиата духовного ведомства, присланного из какой-либо епархии, хотя в прежнее время, в царствование Императора Николая I, были примеры, что для обучения в Капелле регентскому искусству высылались из епархий молодые люди, которые прикомандировывались к Невской лавре и там находили себе даровой приют и содержание².

Можно надеяться, что и в настоящее время на содержание в Петербурге на первый раз 10—12, а впоследствии 20—30 молодых людей, вызванных для нужд Св. Церкви, духовная власть без особенного затруднения найдет средства, подобно тому как загородные полки не затрудняются командировать на жительство в Петербург своих стипендиатов для обучения их в Регентском Класе.

Кроме того, необходимо изыскать средства для лучшего устройства положения учителей церковного пения, которые находятся ныне в безотрадном состоянии: им не дано никаких прав служебных; содержание, ими получаемое, ничтожно, так, например, регент С.-Петербургского Митрополичьего хора Львовский, известный любителям церковного пения по своим несомненным на этом поприще заслугам, получает в год содержания 120 рублей³.

Такое поистине бедственное положение руководителей архиерейских хоров вынуждает их искать заработков на стороне, причем вверенные их попечению певчие подвергаются всем последствиям своенравных требований невежественных нанимателей. Особенности опасности постигают при этом детей, которым, кроме потери голоса, эти прибыльные занятия грозят раннею утратою здоровья и добрых нравов. Эти несчастные дети требуют христианских забот еще более, чем малолетние работники на фабриках, коих положение уже несравненно лучше тем, что они находятся большею частию под надзором и попечением своих родителей и родственников, там же работающих, между тем как малолетние певчие, оторванные от своих семейств и состоящие в полном и бесконтрольном распоряжении у своего регента, а иногда и у больших певчих, лишены возможности получить хотя самое начальное образование, живут вне необходимого за ними нравственного надзора и потому окончательно деморализуются.

Можно было бы достигнуть улучшения положения регентов архиерейских хоров чрез совмещение сей должности с должностью преподавателя церковного пения в семинариях, в программе коих этот предмет должен занять видное и почетное место. При надлежащей постановке сего предмета в семинариях преподавателю оного могло бы быть предоставлено приличное служебное положение, и соединение преподавательской должности с регентской обеспечивало бы ему безбедное содержание.

Исходя из сих соображений, Придворная Капелла считала бы необходимым для поднятия уровня церковного пения в России постановить следующее:

1) Подтвердить Высочайший указ 30 июня 1849 года, воспреещающий определять регентами архиерейских хоров лиц, не имеющих аттестатов от Придворной Капеллы.

2) Предоставить воспитанникам Регентского при Капелле Класса вышеприведенные права и льготы, согласно рапорту Начальника Придворной Капеллы Министру Императорского Двора от 14 сего ноября.

3) Должность регента Архиерейского хора соединить в одном лице с должностию преподавателя церковного пения в духовно-учебных заведениях, с присвоением оной соответственных ее значению прав Государственной службы.

4) Постановить, чтобы епархии по известной очереди высылали в Петербург, по избранию местных духовных властей, двоих способнейших молодых людей для обучения их в Регентском Классе Придворной Капеллы в надежде возвратить их себе хорошо приготовленными регентами и учителями церковного пения.

5) Изыскать способ к постановке архиерейских хоров в иные материальные условия, которые давали бы возможность существовать им, не прибегая к частным заработкам и не отрывая малолетних певчих от прохождения ими учебного курса.

6) Установить, в том или другом виде, строгий надзор за частными хорами, преимущественно в ограждение малолетних певчих.

7) Подчинить регентов церковных хоров по всей России, а равно и учителей церковного пения и самое преподавание оногo, надзору Придворной Капеллы, с предоставлением ее начальству права устранять регента или учителя в случаях самовольного исполнения недозволенных сочинений или за неспособностию и незнанием своего дела.

8) Предоставить Начальнику Капеллы право и средства командировать подчиненных ему лиц для наблюдения за состоянием архиерейских и частных хоров, равно как и за состоянием преподавания церковного пения в учебных заведениях.

Записка К. П. Победоносцева

В целях улучшения церковного пения в России запискою проектируется ряд мер, из коих некоторые целесообразны, другие неудобоприемлемы.

1) Назначение регентами архиерейских хоров лиц, имеющих аттестаты от Придворной Капеллы, практиковалось прежде и беспрепятственно может применяться далее: препятствий к сему не встречается.

2) Предоставление воспитанникам регентских классов Капеллы прав и льгот по воинской повинности составляет меру справедливую и желательную.

3) Соединение должностей регента архиерейского хора и учителя церковного пения в духовных семинариях в одном лице в тех случаях, когда это оказывалось возможным, делалось прежде, делается и ныне. Нет сомнения, что и на будущее время духовные семинарии с охотою примут учителями церковного пения хорошо подготовленных, опытных и усердных регентов архиерейских хоров; но делать соединение сих должностей в одном лице *обязательным* представляется неудобным и нежелательным. Опыт показал, что регенты-учители, отвлекаемые обязанностями по хору, по богослужениям и частными приглашениями, иногда по дальности расстояния семинарий от архиерейских домов, нередко манкируют своими обязанностями, пропускают уроки и относятся к делу небрежно, тем более, что вознаграждение по семинарии незначительно (за шесть [годовых] уроков 300 р.). Обязательность для регента занятий по семинарии может усилить манкировки, так как регент будет знать, что как бы ни было плохо и неисправно его преподавание, учительская должность останется за ним.

Что касается духовных училищ, большинство коих рассеяно по уездным городам, то об обязательности для регентов быть учителями в сих учебных заведениях нечего и говорить.

4) О высылке в Капеллу способных молодых людей для приготовления в регенты надлежит сказать, что таковая практиковалась в прежнее время, но прекратилась за бесполезностию, так как выходившие из Капеллы в прежнее время регенты оказывались мало подготовленными для своего дела, особенно в отношении церковности. Сии-то регенты и внесли порчу в церковное пение архиерейских хоров. С преобразованием регентских классов, если новые регенты действительно зарекомендуют себя опытными и знающими людьми, нет сомнения, епархиальные архиереи не преминут воспользоваться сим учреждением для приобретения регентов в архиерейские хоры; но делать *обязательною* высылку молодых людей для приготовления регентов по всей России представляется преждевременным и неудобным. Первое затруднение является здесь в материальных средствах. Содержание двух стипендиатов в регентских классах, с уплатою за обучение, обойдется не менее тысячи рублей в год. Записка не указывает, из каких источников епархиальные начальства могут почерпнуть средства на этот расход. Второе затруднение в будущем: куда девать и как пристроить этих регентов, если мера эта распространится на всю Россию. Можно рекомендовать эту меру вниманию епархиальных начальств, но делать ее *обязательною* нет оснований; тем более, что Св. Синод, в целях приготовления регентов и учителей церковного пения, знакомых со всею практикою богослужения, церковным уставом и особенно с составом и характером древних церковных напевов, предпринял уже преобразование Московского Синодального (бывшего Патриаршего) хора в 8-классное церковно-певческое училище с регентским курсом. Таким образом потребность в регентах может быть удовлетворена и без напрасного отягощения епархий обя-

зательную повинности высылать своих стипендиатов и содержать их в Петербурге многие годы.

5) Относительно положения малолетних певчих в архиерейских хорах следует сказать, что записка представляет дело преувеличенно. Мрачные картины этого положения относятся к прошлому, а не к настоящему. Св. Синодом давно уже сделаны распоряжения об устранении неудобств, кои излагаются в записке. Ныне малолетние певчие архиерейских хоров не утрачивают здоровья и доброй нравственности, не находятся в бесконтрольном распоряжении регентов и не терпят ущерба в образовании. Содержание малолетних певчих улучшено, ученики без особо уважительных причин не опускают уроков, для нравственного надзора и для наблюдения за учебными занятиями певчих имеются особые надзиратели. Вследствие принятых мер родители охотно отдают детей своих в архиерейские хоры, и певчие нередко ныне являются в числе лучших учеников, иные поступают и в духовные академии.

Заработки архиерейских хоров на стороне, бесспорно, желательно было бы прекратить; но для этого нужны средства, о коих записка умалчивает. Архиерейские хоры содержатся на средства архиерейских домов, бюджет коих весьма ограничен. С устранением посторонних заработков, восполняющих недостаток средств, является вопрос — чем заместить их. Так как такое возмещение может быть сделано только на местные средства, то возможно лишь рекомендовать епархиальным начальствам освобождать хоры, по мере возможности, от заработков на стороне; обязательность же в сем деле могла бы привести хоры к обнищанию и ухудшить материальное положение певчих, и без того мало обеспечиваемых.

6) Что касается «строгого надзора» за частными хорами, то при всей его желательности не представляется практической возможности осуществить его. Частные хоры существуют в городах губернских, уездных и во множестве богатых сел. Хоры эти не зарегистрированы, но число их значительно. Условия их существования весьма разнообразны.

При этом частные хоры не суть учреждения постоянные: они возникают в одном месте, закрываются в другом. Все зависит от местных условий. Родители, отдавая своих детей в хоры, вступают в частные соглашения с регентами. Регулирование отношений регентов к певчим здесь представило бы многие затруднения, и надзор за сими хорами по всей России потребовал бы целый штат инспекторов и при этом не достиг бы цели. Но в этом надзоре не представляется нужды, ибо существующее законодательство не оставляет детей беззащитными и в сих хорах: отношения малолетних певчих к их содержателям подчиняются общим законоположениям касательно учеников, помещаемых родителями в мастерские заведения.

7-м и 8-м пунктами записки проектируется подчинение церковных хоров всей России и учителей церковного пения надзору Придворной Капеллы, с правом устранять регентов и учителей в случаях исполнения ими недозво-

ленных сочинений, за неспособность и незнание дела и с правом ревизовать архиерейские и частные хоры и наблюдать за преподаванием церковного пения в учебных заведениях.

Помимо практической неосуществимости меры сии, проектированные в противность прежде состоявшимся Высочайшим повелениям, не согласны с церковными постановлениями, по существу дела не состоятельны, не соответствуют цели и неудобоприемлемы.

Высочайшим повелением 1850 года по поводу положения Львовым древнецерковных напевов на ноты было утверждено, что принятие и непринятие таких переложений (следовательно выбор гармонизаций для церковного употребления) принадлежит непосредственному усмотрению Св. Синода, обязанного наблюдать за сохранением единства и древности в церковных напевах, к коим привык слух молящихся, а все распоряжения относительно клира и пения принадлежат, по иерархическому порядку, епархиальным архиереям и обер-священникам гвардии, гренадерских корпусов, армии и флота (Указ Св. Синода 26 мая 1850 г. № 5549). Хоры церковные принадлежат к церковному клиру и потому могут быть подчинены в отношении исполнения песнопений в церкви только духовной власти, ведающей все, что касается благочиния церковного и богослужения с пением.

Такое отношение духовной власти к хору церковному и пению совершенно соответствует основным началам церковного управления, соборным постановлениям и преданиям Церкви православной; посему не об упразднении его надлежит думать, а об усилении и оживлении его. Опыт минувшего показывает, что стеснение Церкви в сем отношении полномочиями Капеллы и было причиною того упадка церковного пения, о коем заявляется в записке.

Неблагоприятное влияние Капеллы, безусловно заведовавшей делом церковного пения в России в течение более полувека, обнаруживалось в следующем:

1) Капелла в своих хоровых изданиях прежде всего наложила руку на древнецерковные напевы: она их изменила, сократила и даже исказила (так, в Обиходе Бахметева все гласовые напевы, служащие основой церковного пения, изложены неправильно). Такое произвольное изменение напевов, под авторитетом Капеллы, мало помалу вкралось в церковную практику, стало обычным и привело к забвению древнецерковные гласы.

2) Капелла внесла в церковное пение чуждую духу нашей церкви итальянскую гармонизацию, а сделал свои издания обязательными, она утвердила это направление, сделала его всеобщим и создала целую школу, давшую нам массу композиций, совершенно удалившихся от истинного типа церковных мелодий.

3) Капелла пользовалась исключительным правом готовить регентов для церковных хоров и выдавать регентам свидетельства; но это право не послужило церкви во благо: регенты со свидетельствами Капеллы оказывались

малоподготовленными, не понимающими дух церковного пения. Эти регенты, воспитанные на придворном пении и итальянской музыке, не обладавшие церковным вкусом и знаниями, обнаруживали особую ревность в исполнении шумных концертов, игривых и бравурных гармонизаций, которыми оскорбляли слух молящихся и портили вкус хоров. Порча эта проникла в учебные заведения и частные хоры.

4) Ревниво охраняя свои права, директора Капеллы налагали руку на все, что создавалось вне Капеллы и тем устранили мало помалу от обработки церковных гармонизаций людей даровитых, опытных и знающих. Так, Бахметев не позволял издание даже таких строго церковных переложений, каковы Пютулова, хотя они были одобрены великим иерархом русской церкви Митрополитом Московским Филаретом⁷.

5) Отстраняя других, Капелла сама ничего не делала для подъема и улучшения церковного пения, она не дала нашей духовной школе ни руководств, ни программ, ни учебников церковного пения, ни разъяснения способов обучения ему, хотя и могла бы это сделать, обладая опытными и сведущими преподавателями. При этом Капелла, назначая свои композиции и переложения для Придворного хора, обладающего богатыми голосовыми средствами, ничего не делала для удовлетворения нужд и потребностей массы хоров с небольшими голосовыми средствами.

6) Наконец, при периодической замене одного директора Капеллы другим утрачивалось единство направления в церковном пении, так как личные отношения каждого из директоров к этому делу побуждали их заменять издания предшественников новыми, почитаемыми ими за более совершенные. Например, Бахметев исходатайствовал Высочайшее повеление об изъятии из употребления Обихода Львова и об обязательном употреблении своего Обихода, хотя в отношении церковности переложения Львова несомненно выше переложений Бахметева. Неустойчивость направления в руководителях церковного пения явилась естественным последствием удаления их от основ древнецерковного напева.

Таким образом опыт истории показывает, что полное заведение церковным пением Придворной Капеллы не только не принесло полезных результатов, но привело его к упадку. Ныне, минуя опыт истории, записка думает исправить дело усилением власти Капеллы новыми правами чисто внешнего, полицейского надзора, как выше замечено, практически не осуществимого.

Придворная Капелла, при ее исключительном положении и средствах, руководясь указаниями исторического опыта, могла бы оказать неоцененные услуги возвышению церковного пения мерами совсем другого рода, а именно, кроме приготовления регентов и учителей церковного пения, чем ныне Капелла озабочена:

1) восстановлением точных напевов древнерусской церкви в изданиях Капеллы;

2) переложением древнецерковных напевов в духе церковных преданий и освобождением гармонизаций их от усвоенного Капеллою прежнего времени итальянского стиля;

3) привлечением к обработке церковной музыки отличных знатоков ее;

4) изданием полезных руководств для изучения церковного пения и указанием избранных гармонизаций для исполнения при богослужениях;

5) распространением в дешевых изданиях хоровых избранных переложений древнецерковных мелодий; наконец,

6) образцовым исполнением церковных песнопений публично, для развития в массах вкуса к художественному исполнению произведений строгого стиля.

Действуя в сем направлении, Капелла могла бы создать новую школу церковной музыки в истинном духе и стиле древнерусского церковного пения. Удовлетворяя этим насущным потребностям, Капелла могла бы действительно послужить делу во благо и приобрести высокое нравственное руководственное значение, которое в сем деле выше всякой внешней полицейской власти.

Св. Синод, со своей стороны, принял уже ряд мер к улучшению церковного пения, особенно в отношении преподавания его в духовно-учебных заведениях; но для церковных хоров настает нужда в простых, художественно и в строгом стиле исполненных гармонизациях древних церковных напевов; недостаток таковых часто и бывает причиною того, что хоры прибегают к исполнению произведений, не соответствующих духу церкви православной.

Надзор за исполнением церковной музыки при богослужениях и за сохранением характера церковности при обучении пению в духовно-учебных заведениях может и должен принадлежать только духовной власти. Охранительный надзор в сем деле входит прямо в обязанности пастырей церкви, кои призваны заботиться о благолепии и благоустройстве в церквях и наблюдать, чтобы молитвословия исполнялись по чину чтецами и певцами благоговейно, по духу и преданиям церкви православной. Выбор и одобрение церковно-музыкальных переложений для исполнения при богослужении вовсе не требует технической оценки и специальной критики их (это дело Капеллы и других специально-музыкальных учреждений); задача пастыря церкви — определить, удовлетворяет ли избранное музыкальное переложение истинно православному духу и преданиям церкви, соответствует ли оно святости места и молитвенным потребностям предстоящих. Пастыри церкви по образованию, по служению своему, по близости к нуждам и потребностям пасомых в такой оценке вполне компетентны. Православная церковь обладает полнотою сил для своего внутреннего развития и благоустройства. Не Капелла и не какое-либо другое светское учреждение сохранили нам святыню древних церковных напевов; но церковь сама сберегла их и доныне блюдет; порча церковного пения шла извне под влиянием светских лиц и учреждений. Чем более будет для церкви свободы в сем деле, тем вернее и совершеннее явится обновление древнего духа в церковном пении.

Излишне говорить, что проектируемые запискою новые права Капеллы над церковным пением, регентами и учителями в практическом отношении ничего не обещают, кроме новых замешательств, пререканий и много различных затруднений ко вреду дела. Если ревизоры Капеллы станут распоряжаться архиерейскими хорами и учителями пения духовно-учебных заведений по своему усмотрению, помимо епархиальных архиереев, то можно ожидать при-скорбных результатов: церковное пение может быть отторгнуто от своих естественных и ближайших блюстителей и руководителей, подобно тому, как в недавнее время народная школа была отторгнута от духовенства.

*Обер-прокурор Св. Синода К. Победоносцев.
20 января 1886 года*

С. Д. Шереметев — Александру III

Ваше Императорское Величество.

Исполняя данное Вашим Императорским Величеством повеление, имею счастье всеподданнейше повергнуть на Всемиловнейшее воззрение составленную Управлением Придворной Певческой Капеллы записку в ответ на таковую же господина Обер-Прокурор Св. Синода, по вопросу «О мерах к улучшению церковного пения в России».

Священным долгом почитаю выразить Вашему Императорскому Величеству искреннее убеждение, что в деле, имеющем столь важное значение, и при единственном желании пользы и добра — возможно достижение желанной высокой цели только в духе полного единения и совместными, единокорными стремлениями и трудами всех близко стоящих к этому делу лиц, как духовных, так и мирских, направленными исключительно к одной цели, Вашим Императорским Величеством указанной — улучшению церковного пения в России.

Вашего Императорского Величества верноподданный
Граф Сергей Шереметев.

Вторая записка Придворной певческой капеллы

Записка «О мерах к улучшению церковного пения в России», составленная Придворной Капеллой в 1885 году, не нашла, к сожалению, сочувствия в духовном ведомстве и вызывала с его стороны не только возражения, но даже желание вовсе устранить Капеллу от участия в разрешении этого вопроса. Признав возможным допустить лишь некоторые из частных предположений Капеллы, г. Обер-прокурор Св. Синода направил свои замечания против глав-

ных и наиболее существенных мер, какими, по мнению Капеллы, могло бы быть достигнуто улучшение церковного пения в России. Г. Обер-прокурор находит даже, что предоставление Капелле власти над регентами было бы несогласно с церковными постановлениями, и утверждает, будто бы опыт прошедшего времени свидетельствует о неблагоприятном влиянии Капеллы на состояние церковного пения.

В подтверждение первого положения не приводится однако и невозможно привести ни одного из канонов церкви; ибо в действительности нет ни единого правила, которое воспрещало бы архиереям или их сонму, то есть Св. Синоду, поручить надзор за регентами такому учреждению, как Придворная Капелла, которая не только способна выполнить это поручение с полным успехом, но и прямо к тому призвана. Подобное воспрещение просто невысказано, ибо в настоящем случае речь идет не о чем-либо догматическом или обрядовом, а только о правильном в церковном духе, техническом исполнении церковного пения.

Второе положение вызывает на следующие соображения. В записке заявлено, что Капелла не только удалилась от древней истинной церковной мелодии в своих переложениях песнопений, но даже внесла в церковное пение итальянский стиль и создала целую школу, давшую нам массу композиций, совершенно удалившихся от истинного типа церковных мелодий; а потому и настоящий упадок нашего церковного пения приписывается Капелле, будто бы вредно действовавшей чрез обученных ею регентов, которых и считают главными разорителями истинного церковного пения.

Для разъяснения этих вопросов полезно обратиться к свидетельству истории.

В ту пору, когда европейские понятия и вкусы приобрели, вследствие преобразований Петра I, господство во всех отраслях нашей государственной и общественной жизни, предстоятели церкви, особенно приближенные к высшему церковному управлению, подпали также под их власть и не оберегли вверенную им святыню от западного влияния, допустив в области церковной жизни много такого, что могло только угнетать дух православного человека, волей-неволей заставляя его приближаться в религиозных понятиях и вкусах к западному европейцу. Так, например: допущено было украшать церкви, вместо икон, картинами итальянской живописи хотя и религиозного содержания, но лишенными благоговейного чувства и потому производившими соблазн. Этот новый путь, по которому церковь принуждена была идти за своими пастырями, повел еще далее: дело дошло до того, что в собор Александро-Невской Лавры внесены были портреты Императора Петра I и Императрицы Екатерины II.

При таких резких переменах, происшедших в духе и направлении самих руководителей церковной жизни, тогдашняя Капелла не могла не пойти по новой ими же указанной ей дороге. Вот почему и образовалась в прошлом

столетии целая группа композиторов итальянского стиля, вроде Сарти, Галуппи и других, существованием которых несправедливо укорять современную Капеллу, ни в чем не повинную и готовую направить все силы своего знания и усердия к восстановлению и упрочению истинно церковных напевов. При этом особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что, когда последовали в 1816, 1846 и 1859 годах Высочайшие указы, воспрещавшие исполнение в церквах каких-либо песнопений без одобрения Директора Капеллы и так называемых концертов, то мера эта была крайне враждебно встречена именно архиерейскими хорами, в которых и по сие время исполняются соблазнительные сочинения в итальянском стиле, даже с оперными фиоритурами.

Г-н Обер-прокурор считает виновницею этих бесчиний Капеллу, но не объясняет, каким образом она могла быть причиной неисполнений Высочайших указов певческими хорами с их регентами, от нее несколько не зависящими и всецело подчиненными своим архиереям, из коих иные так мало знакомы были с истинным церковным пением, что даже гордились исполнением при своем служении композиций оперного характера. Неужели Капелла виновата и в том, что церковное пение было вовсе исключено из числа обязательных предметов преподавания в духовно-учебных заведениях и восстановлено не более двух лет тому назад? Она ли виновата в том, что при таком направлении духовно-учебного дела молодые люди, предназначавшиеся к пастырскому служению, выходя из семинарий и духовных академий, вовсе не знали церковное пение и что церковь при таких пастырях не уберегла святыню древних напевов, сохранившихся только в печати, на практике же подвергнувшихся сильному искажению? Убедиться в том не трудно: стоит лишь взять в руки Обиход нотного пения Синодального издания в цефалном ключе и дать себе труд проверить, то ли поют в церквах псаломщики, которые получают свое образование не в Капелле, а в духовно-учебных заведениях. Как далеко ушла эта практика церковного пения от истинно древних напевов, можно судить по изданному в Москве Сборнику напевов Московской епархии, записанных с голосов лучших певцов и знатоков. Сборник этот не представляет ничего самостоятельного, так как заключающееся в нем есть не что иное, как напевы подлинного Обихода, только искаженные и перепутанные. К сожалению, Сборник этот, памятник упадка нашего церковного пения, нашел себе доступ в духовно-учебные заведения как вспомогательное руководство при изучении церковного пения, несмотря на самые невыгодные о нем отзывы действительных знатоков дела из среды самого духовного ведомства. Трудно согласиться с мнением, будто выбор и одобрение церковно-музыкальных переложений для употребления при богослужении не требует технической оценки и специальной критики, то есть технического знания, и будто бы для безошибочного приговора в этом вопросе достаточно непосредственного чувства пастыря. В действительности самый достойный во всех других отно-

шениях пастырь может не иметь ни вкуса, ни знаний церковных напевов, изучение коих, как сказано выше, не было обязательно для воспитанников семинарий и духовных академий до недавнего времени.

Г-н Обер-прокурор обвиняет Капеллу еще в том, что в своих хоровых изданиях она изменила и исказила древние церковные напевы, внося в их гармонизацию итальянизмы, воспитывая регентов на итальянской музыке; и что издавая партитуры, рассчитанные на богатые голосовые средства своего хора, она ничего не делала для удовлетворения потребностей массы хоров с небольшими голосовыми средствами.

По поводу этих обвинений необходимо объяснить следующее.

Если в переложениях Львова древние мелодии подверглись некоторой перемене, то это произошло от того, что при гармонизации мелодии брались не в том виде, в каком они сохранились на бумаге, а в каком употреблялись на практике певцами при церковных службах; и если напевы эти на практике подверглись искажению, то ни Львов, ни Капелла в этом, кажется, не могут быть виновны. Если бы при первых опытах хоровых переложений были взяты настоящие церковные напевы, то исполнение их представило бы гораздо более трудностей, особенно в те времена, когда только начиналась правильная постановка певческих хоров. Что же касается итальянской гармонизации, то выше уже объяснено, по чьей вине итальянизмы нашли себе место в церковном пении. К чести же Капеллы следует отнести, что, при наступлении в области церковных вкусов благотворного поворота к благочестивой старине, она явилась во главе этого стремления и покончила навсегда с итальянскою музыкою, которую в настоящее время исполняют только архиерейские хоры. Года три тому назад г. Обер-прокурор при посещении им Капеллы восхищался образчиками новых церковных мелодий, которые были для него исполнены, причем об итальянизмах в гармонии не было речи¹⁰. С тех пор Капелла не изменила ни в чем направления своей деятельности.

Обвинение в отсутствии забот Капеллы о доставлении переложений, доступных хорам с ограниченными средствами, устраняется простою справкою. В настоящее время изданы:

а) Упрощенное переложение Литургии св. Иоанна Златоустаго и Св. Василия Великаго простого общепринятого напева. Это переложение теперь печатается для трехголосного хора однородных голосов и предназначается для женских учебных заведений, детских приютов и для приходских церквей в исполнении мужскими хорами. Цена партитуре 1 руб.

б) Всенощная с приложением прошений, как вспомогательное руководство для регентов малых хоров. Цена 1 руб.

в) Пение при Архиерейском служении (при вечерне и Литургии). Цена партитуре 75 коп.

г) Награвиrowана и в скором времени выйдет из печати Всенощная с древних напевов по Синодальному Обиходу.

Кроме того Капеллою разрешено к печатанию и употреблению при богослужении множество новых духовно-музыкальных сочинений и переложений.

Упрощенное переложение литургийного пения предложено Министерством Народного Просвещения для употребления в учебных заведениях; духовное же ведомство предпочитает вводить у себя переложения дилетантов, которым оказывает предпочтение перед трудами специалистов¹¹.

Наконец, при обсуждении вопроса о поднятии уровня нашего церковного пения не следует упускать из виду и материальный быт певчих в России. Записка утверждает, что мрачные краски, коими описан Капеллою быт малолетних певчих, оторванных от родных, лишенных нравственного надзора и предоставленных бесконтрольной власти безнравственных регентов и взрослых певчих, преувеличены и что будто бы духовное ведомство уже озаботилось об улучшении их быта. Но, по наведенным достоверным справкам в здешнем Митрополичьем хоре, оказалось, что никаких улучшений быта не сделано и не делается и что певчие находятся в отношении своего материального положения в тех же условиях, в каких находились 30 лет назад. И если в столице Российской Империи, в хоре певчих у первенствующего члена Св. Синода никаких улучшений быта певчих не произведено и не производится, то в глубине России, в епархиальных хорах, еще менее можно предполагать забот об улучшении участи несчастных отверженцев за свое служение церкви.

Что же касается частных хоров, то духовное ведомство, как свидетельствует записка г. Обер-прокурора, не находит возможным входить в их положение. А потому для попечения о них необходимы были бы иные меры, а именно: необходимо поставить их под бдительный надзор фабричной инспекции, которая на основании буквы и смысла закона обязана наблюдать над их положением, так как они служат для своих владельцев орудием промысла. До сих пор однако такого наблюдения на деле не установлено: потому что хоры певчих всегда оказывались причисленными к какой-нибудь церкви, причем фабричные инспекторы, из боязни столкновения с духовным ведомством, проходили мимо ужасающего их положения, несравненно худшего положения малолетних работающих на фабрике уже потому, что они совершенно оторваны от своих родных, между тем как фабричные дети работают вместе если не с родителями, то непременно с родственниками или по крайней мере с земляками, под надзором коих и состоят.

Итак, ввиду того, что нынешнее положение регентов, вполне зависимых только от архиереев и не подлежащих за тем никакому специальному контролю, привело церковное пение в упадок, — является настоятельная необходимость предоставить Капелле как высшему специальному учреждению, совмещающему теоретическое преподавание с художественным выполнением церковной музыки, надзор как за деятельностью регентов, так и за преподаванием церковного пения в учебных заведениях, и таковые права архиереи могли бы предоставить Капелле без всякого урона для своего авторитета. Вообще же

для улучшения нашего церковного пения полезны были бы меры, выраженные в главных чертах в предыдущей записке Капеллы, а именно:

1) Дозволить определять регентами архиерейских хоров только лиц, имеющих аттестаты от Придворной Капеллы не ниже 2 разряда на звание регента.

2) Предоставить воспитанникам Регентского при Капелле класса права и льготы, указанные в первой записке, сообразно рапорту Начальника Придворной Капеллы Министру Императорского Двора от 14 ноября 1885 года, необходимость коих сознает и духовное ведомство.

3) Должность регента архиерейского хора соединить, где представляется возможным, в одном лице с должностью преподавателя церковного пения в духовно-учебных заведениях, с присвоением оным соответственных их значению содержания и прав Государственной службы.

4) Постановить, чтобы епархии по известной очереди высылали в С.-Петербург, по избранию местных духовных властей, способнейших молодых людей для обучения их в Регентском Классе Придворной Капеллы в надежде возвратить их себе хорошо подготовленными регентами и учителями церковного пения.

Примечание. Певческое училище, устроенное в Москве при Синодальном хоре и поставленное в высшее против Придворной Капеллы положение по служебным правам и по классам должностей и потому совершенно от нее независимое, следовало бы для единства направления подчинить высшему надзору Капеллы¹².

5) Изыскать способы к постановке архиерейских хоров в иные материальные условия, которые давали бы возможность существовать им, не прибегая к частным заработкам и не отрывая малолетних певчих от прохождения ими учебного курса.

6) Предписать фабричным инспекторам иметь надзор за всеми хорами, занимающимися певческим промыслом, за исключением архиерейских, полковых и учебных заведений.

7) Подчинить регентов церковных хоров по всей России, а равно и учителей церковного пения и самое преподавание оного надзору Придворной Капеллы с предоставлением ей права устранять регента или учителя.

8) Предоставить Начальнику Капеллы право и средства командировать подчиненных ему лиц для наблюдения за состоянием архиерейских и частных хоров, равно как и за состоянием преподавания церковного пения в учебных заведениях.

[Послесловие С. А. Шереметева]

С первых дней по назначении моем Начальником Придворной Певческой Капеллы почивший незабвенный Государь Александр III не раз высказы-

вал свой взгляд на необходимость обратить внимание на церковное пение в России.

Принимая на себя возложенную обязанность, я лично считал ее для себя выполнимой только при условии привлечения к делу лучших музыкальных русских сил.

Когда обеспечено было вступление в управление Капеллою М. А. Балакирева и Н. А. Римского-Корсакова, связанных тогда дружбою, я уже не мог уклониться и по личным отношениям к Государю — долгом почел принять возлагаемую на меня обязанность. При этом я почитал главною своею задачею — принести пользу делу церковного пения в России — помощью сил, сосредоточенных в Придворной Капелле, которой принадлежит наблюдение за правильностью употребляемых в церквах [напевов] и за музыкальными произведениями.

Весьма скоро я мог убедиться, что такой взгляд не разделялся Министерством Двора, которое высказало категорически, что моя задача — исключительно наблюдение за правильным исполнением церковных напевов в присутствии Их Величеств.

Такой узкий взгляд не мог меня удовлетворить, тем более что он расходился со взглядом самого Государя. Мне показалось даже, что при таком взгляде Министерства — мое личное участие становилось излишним. Между тем Государь — весьма определенно и настойчиво возвращался к вопросу о церковном пении, вообще указывал на неудовлетворительность его, на плохое состояние хоров, не исключая и епархиальных, на малое внимание к детям, к их нуждам и воспитанию.

Когда взгляд Государя выразился совершенно определенно, я позволил себе предложить — составление записки о нуждах церковного пения в России для представления Ему — на что и получил согласие с видимым удовольствием.

Последствием этого разрешения явилась записка № 1, но здесь необходимо некоторое пояснение.

Лишенный поддержки Министерства Двора по вопросу принципиальному, я одновременно подвергся подозрительному вниманию Обер-прокурора Св. Синода, всегда ревниво относящегося даже к посторонней деятельности.

Подозрительность его несколько однако оправдывалась (хотя не относительно меня) — отношениями к Придворной Капелле Т. И. Филиппова, который относительно Балакирева играл смешанную роль руководителя, духовника и *impresario*. По личным вопросам Балакирев находился в полном повиновении у Филиппова, борьба которого и соперничество с Победоносцевым уже достаточно тогда определились.

Филиппов несочувственно относился к Победоносцеву как Обер-прокурору Св. Синода на простом основании известного изречения «*Êtes toi que je t'y mette*» [«Ты — то, чем я должен быть»]¹³, и отношения их достаточно

обострились после сожительства и приязни, некогда их сближавших в царствовании Императора Александра II.

Сообщенное мною Балакиреву согласие Государя на представление записки дало почесть момент благоприятным для открытия похода против Обер-прокурора Св. Синода, пользуясь стремлением его к умалению значения Придворной Капеллы.

В этом наступательном движении на личной подкладке — я должен был играть роль передаточной инстанции и исполнителя.

Составление записки № 1 было делом Т. И. Филиппова, к которому обратился Балакирев. В окончательном виде она была доставлена ко мне, для подписи и для беспрекословного исполнения.

Не желая быть орудием чужих расчетов, я отказался от подписи того, что не мною составлено, но согласился передать записку Государю, пользуясь только положительною ее стороною — предварительно сгладив все заносчивое и полемическое.

Такой отпор с моей стороны не был предвиден; но пришлось мне уступить ради движения дела. Записка в несколько исправленном виде и без подписи — была мною лично представлена Государю.

Когда она была в руках Государя, Он сказал мне, что по прочтении передаст ее Обер-прокурору.

Через несколько времени получился ответ последнего (№ 2), который опять-таки лично был мне передан Государем; причем Он сказал, что Он со многим в ней не согласен и выразил желание, чтобы на нее был бы составлен ответ — и также доставлен Ему.

Записка № 3 составлена была теми же лицами, то есть Балакиревым, но главным образом Т. И. Филипповым.

На этот раз я почувствовал над собою особое давление.

От Филиппова получил я записку, в которой он ополчал меня на брань — призывая на помощь силы небесные. Так некогда преподобный Сергей ополчал Дмитрия Донского.

С моей стороны повторился тот же отпор относительно подписи, но ввиду ожесточенного протеста Балакирева несколько менее сгладил я шероховатостей и в таком виде обещался доставить записку Государю, несмотря на полемический ее характер.

Оно и было мною исполнено — но опасаясь, что такой полемике не будет пределов и желая идти навстречу действительному желанию Государя, я записку Ему послал — вложив ее предварительно в собственноручное мое письмо к Государю, в котором я старался указать на возможный примирительный исход.

Последствием было назначение особой комиссии из представителей двух сторон, под председательством Министра Двора и по его инициативе. Мысль хорошая, представлявшая единственную возможность продолжения дела на примирительной и практической почве.

О назначении этой Комиссии я узнал лично от Министра Двора, но тем дело и кончилось. Эта Комиссия никогда не собиралась!!!

Очутившись между двух огней, причем Обер-прокурор и Государственный контролер сводили свои личные счета — я старался непосредственно идти к цели и достиг ее, ибо Государь меня одобрил и сочувствие Его было на моей стороне.

И тем не менее вопрос замер... Государю было ясно, что причину этого застоя... Он дал мне это понять и почувствовать, как Он один умел это делать, но я в то же время понял, что, занятый важнейшим делом, Он не желал обострять отношений...

Прошло немало времени; Он возвращался к тому же вопросу, выражая сожаление — заговаривал об этом нарочно, и я всякий раз только пожимал плечами, а Он выразительно и невесело улыбался — и дело не двигалось.

Таков был сложный характер Государя. Ему было ясно, какими иной раз мелкими расчетами руководились люди, и в то же время тяжело было вести постоянную борьбу с людским ничтожеством. И Он не напирал, но в то же время и не забывал психологических оттенков того или другого недоумения — и у Него складывалось мнение о людях, и видоизменялось оно смотря по течению дел.

В результате дело замерло — и я лично никому не угодил, между Министром и мною стояла орава чиновников Министерства Двора с всесильным тогда Петровым во главе. С этого времени Филиппов с Балакиревым поняли, что со мною каши не сварить, а Победоносцев стал еще подозрительнее и ревнивее.

Дело замерло — и быть может навсегда. Но никогда не забуду личного в нем участия Государя, участия теплого, искреннего, преисполненного желания добра и пользы делу церковного пения, которое Он действительно любил; и это сознание придавало силы выдерживать испытания и неудачи, — и я был счастлив, что истинные побуждения мои были поняты, оценены человеком, пред нравственною силою которого я преклонялся и которого глубоко любил — как воплощение всего возвышенного, чистого, благородного и в своей простоте великого — каковым был мудрый Царь Александр III.

Теперь уже нет Его между нами, но светлый образ Его будет мне путеводным до конца дней...

Вечная Ему память, первому Русскому Царю XIX века.

С.-Петербург, 27 января 1895 года

Примечания

1. Хотя окончившие Синодальное училище в мирное время не призывались на военную службу по той причине, что работа преподавателя пения в учебных заведениях освобождала их от армии, и то же самое могло касаться выпускников Регентского

класса, тем не менее лучшие из учащихся считали нужным завершать свое образование в консерваториях.

2. Впоследствии присылки стипендиатов из епархий безуспешно пытался добиться Смоленский в своем Регентском училище.

3. Заслуги Г. Ф. Львовского в деле церковного пения несомненны. Он занимал должность регента петербургского Митрополичьего хора в течение почти сорока лет (с 1856 по 1893); его композиторское наследие предвещает Новое направление.

4. Императорский указ «О преобразовании управления Московским синодальным певческим хором, училищем при нем...» был подписан в июне 1886, новый штат училища и хора начал действовать с августа 1886 (см. в переписке с Победоносцевым).

5. О тяжелом положении певчих, и особенно малолетних, в частных хорах подробно рассказывается, например, в докладе конца 1880-х (за подписью «В. Д.») обер-прокурору, озаглавленном «О московских частных духовно-певческих хорах» (см.: РДМ. Т. II. Кн. 1. С. 330—345).

6. Почти точная цитата из текста митрополита Филарета (Дроздова) под названием «О нотном церковном пении в начальных народных училищах и о правах Придворной капеллы в отношении к оному» (см.: РДМ. Т. III. С. 82—83).

7. Действительно, переложения Н. М. Потулова, одобренные митрополитом Филаретом и исполнявшиеся в московских храмах, были опубликованы лишь после кончины Потулова (1873) и в изданиях, которые могли миновать цензуру Капеллы (о борьбе с Придворной капеллой за публикацию переложений Потулова см. подробнее: «Князь Одоевский. Дневник. Переписка. Материалы». М., 2005. Раздел «Дело о церковном пении»).

8. В это время началось обсуждение новых программ по церковному пению для духовных учебных заведений; в дискуссии принял участие и Смоленский, чья совместная с Д. В. Разумовским программа была принята в 1886, но вскоре отменена.

9. Речь идет о первых трех частях Круга церковных песнопений обычного напева Московской епархии (1881—1883; четвертая часть — 1915). См. отрицательные отзывы об этом издании Г. Ф. Львовского и Д. В. Разумовского, на которых и ссылается автор записки: РДМ. Т. III. Раздел «Общество любителей церковного пения».

10. Вероятно, имеется в виду строгий стиль гармонизации в песнопениях «Всенощного бдения древних напевов», над которым в это время работала Капелла.

11. Под «дилетантами» могут подразумеваться, например, Д. Н. Соловьев, Н. М. Потулов и ряд других лиц, чьи переложения публиковались под покровительством Св. Синода или в его изданиях.

12. Заявление несправедливо: Синодальный хор и училище в материальном смысле и в ту пору и позже обеспечивались значительно хуже, чем Придворная капелла.

13. Любопытно, что ситуация соперничества между Победоносцевым и Филипповым, метившим на пост обер-прокурора Св. Синода, повторилась в 1905 между Победоносцевым и Шереметевым.

*

Публикуемые тексты представляют собой подборку разных материалов, оформленную как единый документ С. Д. Шереметевым и озаглавленную им «О мерах к улучшению церковного пения в России. По вопросу, возбужденному императором Александром III. 1885 год» (РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3932, машинопись).

Подборка представляет несомненный интерес. Во-первых, проясняются мотивы приглашения в 1883 двух великих русских музыкантов, М. А. Балакирева и Н. А. Римского-Корсакова, в Придворную капеллу; выясняется и роль, сыгранная в этих назначениях С. Д. Шереметевым как новым начальником Капеллы. Во-вторых, в подборке четко обозначены позиции двух сторон, Капеллы и Св. Синода, в дискуссии о церковном пении; противоречия эти сохранялись в последующую эпоху и явственно отразились на судьбе С. В. Смоленского как директора Синодального училища и управляющего Придворной капеллой.

Исторический контекст документа раскрыт в послесловии Шереметева: император Александр III пожелал принять меры к улучшению церковного пения и избрал орудием Придворную капеллу, назначив ее начальником преданного ему и высокообразованного человека. Но из этих планов ничего не получилось по причинам, как полагает Шереметев, либо чисто личного, либо административного порядка. В числе личных причин — вражда между двумя влиятельнейшими фигурами описываемого периода: обер-прокурором К. П. Победоносцевым и государственным контролером Т. И. Филипповым, наставником и другом управляющего Капеллой Балакирева. В числе административных причин — позиция Министерства двора, которому была подчинена Капелла и которое требовало от нее лишь пристойного пения за службами в присутствии императора и его семьи. Между тем, в планах Капеллы было тогда реформирование пения по всей России и подчинение Капелле всех связанных с пением лиц (регентов, учителей, певчих и т. д.).

Цели намеревались достигнуть путем приглашения в Капеллу «лучших русских музыкальных сил». Ближайшей же целью являлось создание образцового круга пения в национальном стиле на основе традиционных распевов. Как известно, плоды проекта не соответствовали ожиданиям. О некоторых из них идет речь во второй записке, когда Балакирев, отбиваясь от упреков в бездействии, он называет ряд изданий Капеллы, и среди них одно действительно ценное: «Всенощное бдение древних напевов», гармонизованное сотрудниками Капеллы под руководством Римского-Корсакова. После «обмена любезностями» между Капеллой и Синодом никаких дальнейших действий по обработке Обихода «обидевшаяся» Капелла не предпринимала.

Важными и злободневными являются также вопросы «собственности» на церковное пение и «ответственности» за него. Столкновение позиций может быть выражено двумя тезисами.

Победоносцев. Хоры церковные принадлежат к церковному клиру и потому могут быть подчинены в отношении исполнения песнопений в церкви только духовной власти.

Балакирев: Возвращение церковному пению его строгого художественного образа и глубоко умирительного строя — есть та великая задача, к благоприятному разрешению которой Придворная капелла употребит все находящиеся в ее распоряжении силы и средства... Самый достойный в других отношениях пастырь может не иметь ни вкуса, ни знаний церковных напевов...

Обратим внимание, что тезис Победоносцева буквально повторяет положения, высказанные митрополитом Филаретом в 1866. В более позднюю эпоху подобные противоречия оставались актуальными, только с переходом ведущей «цензурной» роли от Капеллы к Наблюдательному совету Синодального училища. Собственно, реформы в училище, начатые, как и указывается в записке Победоносцева, в середине 1880-х, имели целью противопоставить всевластной в течение долгого времени Придворной капелле внутрицерковную певческо-образовательную и цензурную структуру. Однако эта структура после реформы начала выходить далеко за пределы установленных ей рамок, ярким подтверждением чему может служить история увольнения Смоленского из Синодального училища. И тут возникали идеи установления единообразного повседневного церковного пения в России, и эти намерения тоже остались неисполненными.

Что же касается «исторической» аргументации, то здесь правы обе спорящие стороны. Прав Победоносцев в своей критике Капеллы, но правы и Балакирев с Филипповым, отвечающие, что, будучи придворной, Капелла и не могла пойти по другому пути и что не она виновата в недостатках церковно-певческого образования клира...

Вся эта история не была забыта С. Д. Шереметевым, когда он упорно сражался за назначение Смоленского управляющим Капеллой. Граф искренне стремился помочь талантливому человеку, но кроме того он явно хотел взять реванш за неудачу почти 20-летней давности.

2. Общество любителей древней письменности

Устав

На основании Высочайше утвержденного 6 мая 1877 года положения комитета Министров, утверждено 18-го того же месяца г. Министром народного просвещения

Цель и деятельность Общества

§ 1. Общество имеет целью издавать славяно-русские рукописи, замечательные в литературном, научном, художественном или бытовом отношении и перепечатывать книги, сделавшиеся библиографическою редкостью, без изъятий.

§ 2. В круг деятельности Общества не входит обнаружение таких письменных памятников, изданием которых занимаются правительственные учреждения и ученые общества.

§ 3. Обществу предоставляется, однако, издавать и эти памятники, но не иначе, как в точных снимках, с воспроизведением лицевых изображений и орнаментов посредством светопечати, литохромии, ксилографии и другими способами.

§ 4. Памятники, издание которых входит в круг занятий Общества, по своему содержанию образуют семь следующих отделов:

1. Рукописи Св. Писания с лицевыми изображениями и без оных, но лишь в точных снимках; отдельные жития святых, пастырские поучения, слова, беседы и другие статьи духовного содержания.
2. Учебники старого времени, как то: буквари, грамматики, цифирное искусство и проч.; теоретические статьи по разным наукам и искусствам; трактаты по естествоведению, астрономии, медицине, музыке, военному искусству и т. п.
3. Рукописи географического содержания: космографии, описания городов и монастырей, хождения и путешествия, древние карты, планы и рисунки.
4. Исторические сочинения и переводы, летописи с лицевыми изображениями, хронографы, древние русские переводы польских летописцев и т. д.
5. Рукописи, содержащие произведения словесности, не исключая и народной, как то: повести, легенды, сборники песен и басен, драматические произведения и т. п.

6. Кроме рукописей с лицевыми изображениями по предыдущим отделам, вообще рукописи с лицевыми изображениями, предназначаемые для точного и роскошного их воспроизведения.
7. Отдельные листы, воспроизводимые посредством светописи или гравирования, по всем вышеупомянутым отделам.

§ 5. Общество издает отчеты с приложениями, в которых помещаются: описание рукописей по всем отделам, хранящихся в общественных и частных библиотеках, протоколы и годовые отчеты комитета Общества, варианты, пояснения, исправления и указатели к изданиям, напечатанным Обществом в течение года. Отчет и приложения, составляющие восьмой отдел, печатаются в том числе экземпляров, которое будет определено на первом собрании Общества.

§ 6. Общество печатает свои издания в числе двухсот экземпляров, занумерованных и не поступающих в продажу. Из них девяносто экземпляров печатается на прочной и высшего достоинства бумаге и сто десять — на обыкновенной хорошей бумаге. Из сих последних предоставляется исключительно приобретать библиотекам высших и средних учебных заведений, но не более, как по одному экземпляру для каждой библиотеки и с платою по 30 рублей за годовое издание.

§ 7. Общество входит в сношение как внутри Империи, так и за границей с книгохранилищами, обществами и лицами, от которых может ожидать содействия и сообщения нужных ему сведений.

Примечание: Лицам этим Общество может выдавать дипломы на звание членов-корреспондентов.

Члены Общества. Их права и обязанности

§ 8. Общество состоит из членов учредителей, действительных и почетных.

§ 9. Лица, подписавшие проект устава, и все лица, которые впоследствии внесут не менее четырех тысяч руб., считаются членами-учредителями.

§ 10. Действительными членами считаются те, которые на то изъявят желание и вносят ежегодно по двести рублей или внесут одновременно не менее четырех тысяч рублей.

§ 11. Число членов учредителей и действительных, со включением подписчиков на издания Общества, не превышает семидесяти.

§ 12. Членами Общества могут быть также и учреждения, которые, в таком случае, имеют право назначать от себя представителя. Представитель этот пользуется в собраниях теми же правами, как и члены Общества.

§ 13. Лица, не изъявившие при подписке на издания Общества желания быть членами Общества, а также учреждения, не назначившие представителя, и не присутствующие почетные члены, при счете голосов в собраниях не включаются в число действительных членов Общества.

§ 14. В действительные члены Общества могут поступать изъявившие на то желание лица, не иначе, как по предложению трех действительных членов.

§ 15. Лица, оказавшие значительные услуги Обществу участием в издательской его деятельности, могут быть избираемы в почетные члены.

§ 16. Число почетных членов полагается не свыше десяти, причем в первые пять лет существования Общества избирается не более пяти почетных членов. Ранее двух лет Общество не может приступить к избранию оных.

§ 17. Почетные члены получают на это звание диплом за подписью председателя и членов комитета.

§ 18. Действительные члены присутствуют во всех собраниях Общества с правом голоса. Они избирают и избираются во все должности по Обществу.

§ 19. Действительные члены имеют право сообщать комитету о тех рукописях, издание которых было бы им желательно, и представляют письменно свои предположения о том, что считают полезным для Общества. Предложения, за подписью семи членов, по обсуждении в комитете, предлагаются на обсуждение в одном из двух первых собраний Общества.

§ 20. Каждый действительный член принимает на себя обязанность содействовать, зависящими от него мерами, к осуществлению цели, с которою учреждено Общество.

§ 21. Ежегодные взносы членов делаются в течение первых трех месяцев по наступлении года. Не внесший взноса к 1 апреля считается сложившим с себя звание члена, которое предоставляется лицу, изъявившему желание вступить в число членов.

§ 22. Действительные члены получают все издания Общества на лучшей бумаге, со времени вступления их в число членов; на равного достоинства эк-

земляры имеют право и подписчики, платящие по двести рублей в год.

§ 23. Почетные члены приглашаются в очередные и чрезвычайные собрания и в последних имеют право голоса.

§ 24. Лица, внесшие единовременно 5000 рублей, могут передавать по завещанию свои права по Обществу; в случае же отсутствия заявления со стороны вкладчика капитал остается неприкосновенной собственностью Общества.

Управление делами Общества

§ 25. Всеми делами Общества, как издательскими, так и хозяйственными, заведует комитет, на основании сего Устава.

§ 26. Комитет состоит из председателя и трех действительных членов, избираемых Обществом на три года. Один из этих трех членов ежегодно выбывает из комитета, в первые два года по жребию, а затем по очереди. Выбывающий может быть вновь избираем.

§ 27. Вместе с избранием председателя и членов комитета избираются четыре кандидата для замещения отсутствующих.

§ 28. Председатель комитета есть, вместе с тем, и председатель Общества; от его имени производятся все сношения по делам Общества с местами и лицами.

§ 29. В случае избрания почетного председателя Общества он же председательствует и в комитете, если на это изъявит свое желание.

§ 30. Назначение секретаря и казначея из числа членов или посторонних для Общества лиц зависит от председателя комитета. Секретарь ведет протоколы заседания, заведует перепискою Общества и к годовому собранию prepares отчет о деятельности Общества за истекший год и программу изданий на следующий. Казначей заведует денежными делами и счетами, принимает денежные взносы и пожертвования как от членов Общества, так и от посторонних лиц.

§ 31. Комитет наблюдает за точным исполнением задач Общества и с этою целью избирает на год из числа членов Общества по одному, для заведования каждым из восьми отделов. Заведование двумя отделами может быть предоставлено одному и тому же лицу.

§ 32. Заведующий отделом избирает из числа одобренных к изданию памятников тот, обнаружение которого наиболее соответствует, по его мнению, цели Общества и средствам, ежегодно назначаемым на расходы по отделу.

§ 33. Заведующий отделом может избирать себе помощников из числа членов, желающих принять на себя заведование одним из подразделений отдела.

§ 34. По утверждении комитетом избранного помощника этот последний принимает на себя ответственность по издаваемым под его наблюдением памятникам.

§ 35. На заведующих отделами лежит обязанность привлекать ученых или к принятию на себя труда приготовить к изданию какой-либо памятник письменности, или к наблюдению за его печатанием.

§ 36. Председатель комитета приглашает в его заседания заведующих отделами, а также и посторонних лиц, во всех случаях когда, для пользы дела, то будет признано нужным.

Собрания Общества

§ 37. Собрания Общества бывают очередные, чрезвычайные и годовое.

§ 38. Для очередных собраний назначаются особые дни, по определению комитета. В этих собраниях представляются работы Общества, рукописи и рисунки, читаются пояснительные записки и сведения о древних памятниках и т. д.

§ 39. В очередные и чрезвычайные собрания председателем Общества могут быть приглашаемы, по билетам, и посторонние лица.

§ 40. Чрезвычайные собрания назначаются, смотря по надобности, в январе, феврале, марте, апреле, ноябре и декабре месяцах. В них происходят: совещания по вопросам, или не предусмотренным в настоящем Уставе, или об управлении Обществом, рассмотрение всех предложений членов Общества относительно изданий, согласно с порядком, изложенным в параграфе 19-м; определение количества экземпляров, в каком следует печатать приложения к отчету, а также решение предложений об увеличении числа экземпляров некоторых изданий Общества, наконец рассмотрение заключений ревизионной комиссии.

§ 41. Число экземпляров издания, одобренного комитетом и печатаемого на счет одного из членов Общества, не подлежит ограничению, ни обсуждению в собрании.

§ 42. Смета доходов и расходов и предположения о том, какие из памятников войдут в издания Общества на следующий год, объявляются членам за две недели до последнего годового чрезвычайного собрания.

§ 43. В день учреждения Общества происходит годовое собрание, на котором комитет представляет отчет о деятельности Общества и происходят выборы председателя и членов комитета, а также членов ревизионной комиссии.

§ 44. Во всех собраниях Общества, в отсутствие председателя, место его занимает кандидат на эту должность.

§ 45. Для рассмотрения отчета о действиях Общества за истекший год и правильности произведенных расходов в годовом собрании избирается ревизионная комиссия из трех членов, которая свое заключение представляет в следующее за годовым чрезвычайное собрание.

Средства Общества

§ 46. Денежные средства Общества состоят:

- а) из процентов с неприкосновенного капитала, который образуется из единовременных взносов членов;
- б) из ежегодных взносов членов Общества;
- в) из денег, поступающих от подписки на издания Общества;
- г) из пожертвований в пользу Общества;
- д) из остатков предыдущего года.

§ 47. Капиталы, принадлежащие Обществу, обращаются на имя Общества в государственные фонды или гарантированные правительством процентные бумаги и хранятся в одном из государственных учреждений. Взносы подписчиков поступают прямо на текущий счет Общества в кредитные учреждения. Годовой билет на звание члена выдается казначеем Общества.

§ 48. Расходы производятся по протоколам комитета и рассматриваются в порядке, указанном в параграфе 45.

§ 49. Все годовые денежные средства делятся на равные части между восьмью отделами, перечисленными в параграфах 4 и 5.

§ 50. Сметы расходов не подлежат ежегодному утверждению Общества, так как оные определяются самим Уставом на основании предыдущего параграфа.

§ 51. Сумма, остающаяся не израсходованною по одному отделу сметы, не может быть перенесена на другой и причисляется к смете следующего года. Назначение этой суммы определяется в чрезвычайном собрании простым большинством голосов.

Список членов-учредителей

Макарий, архиепископ Литовский и Виленский
Платон, архиепископ Херсонский и Одесский
Савва, епископ Харьковский и Ахтырский
Князь Александр Иванович Барятинский
Граф Сергей Григорьевич Строганов
Димитрий Фомич Кобеко
Петр Александрович Валуев
Арист Аристович-Куник
Юрий Васильевич Толстой
Граф Алексей Васильевич Бобринский
Геннадий Федорович Карпов
Федор Николаевич Ладыженский
Петр Илларионович Солдаткин
Александр Александрович Половцов
Аскалон Николаевич Труворов
Иван Петрович Хрущов
Граф Александр Александрович Мордвинов
Тимофей Саввич Морозов
Николай Николаевич Селифонтов
Козма Терентьевич Солдатенков
Федор Федорович Трепов
Граф Александр Дмитриевич Шереметев
Князь Григорий Григорьевич Гагарин
Василий Андреевич Дашков
Илья Федулович Громов
Графиня Екатерина Павловна Шереметева
Граф Сергей Димитриевич Шереметев
Владимир Александрович Ратьков-Рожнов
Евфим Савельевич Егоров
Князь Павел Петрович Вяземский

Петр Иванович Бартенев
Андрей Федорович Гамбургер
Князь Константин Александрович Горчаков
Николай Владимирович Мезенцов
Рудольф Иванович Минцлов
Павел Иванович Демидов, князь Сан-Дonato
Димитрий Аркадьевич Столыпин
Александр Петрович Крыжин
Борис Сергеевич Шереметев
Юрий Всеволодович Мерлин
Князь Виктор Николаевич Гагарин
Митрофан Сергеевич Мазурин
Павел Иванович Савваитов
Князь Петр Андреевич Вяземский
Елпидифор Васильевич Барсов
Петр Андреевич Гильтебрандт
Николай Саввич Тихонравов
Василий Осипович Ключевский

Хроника

27 октября 1900 на заседании Комитета было выражено согласие на предложение С. В. Смоленского напечатать в Памятниках древней письменности и культуры **«Сказание о различных ересех...» инока Евфросина** (по рукописи Синодального училища, № 74).

1 декабря 1900 на заседании Комитета было решено к 25-летию ОЛДП издать описание рукописей собрания князя П. П. Вяземского (Смоленский принял участие в работах по описанию музыкальной части собрания).

26 января 1901 на общем собрании ОЛДП директор Московского Синодального хора С. В. Смоленский прочел реферат **«О русских певческих нотациях»** (напечатан в т. СXLV Памятников):

Вопросы, которые были рассмотрены референтом, и выводы, к которым привело его изучение упомянутых нотаций, в общих чертах характеризуются следующей программой реферата:

1. Разности семиографий сербской, болгаро-греческой и русской не оставляют сомнения в том, что русские певческие нотации изобретены вне графических иноземных влияний, хотя и под давлением греческого церковного устава. Мелодическая сторона русских певчих книг должна считаться самос-

тоятельным русским народным творчеством, начавшимся, вероятно, во время первых христиан в нашей родине, задолго до крещения Руси. Уставная часть и только небольшая часть византийской теоретической дисциплины — несомненное влияние греков. Дальнейшее развитие мелодий и нотаций к ним есть плод только русского вдохновения и остроумия.

2. Отношения русских к заимствованным напевам и к их записям всегда кончались только самым полным их обрусением.

3. Данные о кондакарном знамени как недостаточно самостоятельном и, вероятно, мало подходившем по своим мелодиям к русским вкусам, а потому и изъятом из употребления.

4. Данные летописей об учителях-греках. Сомнения и основания к тому относительно точности и достоверности известного параграфа Степенной книги о приходе греков-певцов при великом князе Ярославе.

5. Значение старообрядческого и особенно беспоповщинского (хомового) пения как живого подспорья для изучения древнерусского церковного пения. Услуги современному русскому музыкальному и церковно-певческому искусству, которые могут быть ныне сделаны певческой археологией и современной техникой русской музыки.

6. Братство между церковным напевом и народной песнью. Значение крюковой нотации как научного средства, которым можно осветить музыкальные формы и возможные разработки народной песни, еще не записанной точно по несовершенству современного нотного письма.

7. Развитие знаменной нотации с XI века до наших дней: образцы древнейшего истинноречия, 1-го периода раздельноречия, нового истинноречия и письма старообрядцев и беспоповцев. Нотное киевское и великорусское письмо. Киевское усовершенствование нотного письма, указанное Гербиниём.

8. Второстепенные нотации. Демество и основание его письма с XV века. Указатели музыкальных форм в демественном пении: почин демеством, захват демеством звука Э в качестве показателя отдельных строк.

9. «Путевая» нотация и ее применение к контрапунктическому пению «строчному». «Верх» и «низ» в качестве первых явлений хорового пения в России на контрапунктической почве XV—XVI столетий.

10. Совместное употребление разных нотаций. Украшение текста «анейками» с XI века. Примеры XV и XVII веков из «Царских часов».

11. Казанское знамя, буквенное «красное» знамя. Пермская трехлинейная нотация.

12. Значение перехода от крюкового пения к пению по нотам. Упадок знания древних роспевов. Два направления в пении с конца XVII века: старообрядческое и западноевропейское. Значение сближения этих направлений на почве музыкальной археологии и современной музыкальной техники. Певческая литература внебогослужебная (в «покаянных» и «умилительных» стилях). Удивительные успехи хорового пения в России в течение XVIII века.

Заключение: не одни только богослужебные тексты иллюстрированы древними напевами, так как существует еще целая литература духовных стихов, «вещей драгих» и композиций всякого назидательного содержания. Значение нашего времени и всех последних успехов науки может быть приравнено только к подготовительной работе к будущему истинно русскому искусству XX века; в этом обще-музыкальном подъеме древние напевы несомненно должны быть одним из главных краеугольных камней.

Сообщение сопровождалось демонстрированием при помощи волшебного фонаря снимков с нотных рукописей (Отчеты 1900/1901).

9 марта 1901 на заседании Комитета принято предложение С. Д. Шереметева напечатать на его счет в Памятниках древней письменности и культуры реферат С. В. Смоленского **«О древнерусских певческих нотациях»**.

13 апреля 1901 на заседании Комитета С. В. Смоленский избран в члены ОЛДП.

31 октября 1903 на заседании Комитета постановлено:

Выразить благодарность члену-корреспонденту Общества С. В. Смоленскому за принесение в дар 177 фотографических негативов с лучших рукописей и изданий, относящихся к церковному пению, и 21 снимка для демонстраций с помощью волшебного фонаря.

Избрать С. В. Смоленского, согласно параграфа 31 Устава заведующим 2-м Отделом, в круг занятий которого, в числе других предметов, входит разработка вопросов по старинной русской музыке, и пригласить С. В. Смоленского принять участие в трудах комитета.

28 ноября 1903 на общем собрании С. В. Смоленский сделал сообщение **«О ближайших научных задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии»** (напечатан в т. СЛІ Памятников):

Последние находки и открытия в наших церковно-певческих рукописях открывают те же художественные широкие горизонты, как и новости в последних изданиях русских народных песен, былин и духовных стихов. Сближение обоих народных искусств и выяснение одинаковых оснований их теоретического построения возможно через давно выработанную крюковую грамматику русского церковного пения, а применение этой грамматики к народному мирскому искусству может объяснить строение русских напевов, их ритмов и музыкальных форм. Оба искусства, сохраненные точно и вполне живые до сих пор на севере России, развитые там богаче, чем на нашем юге, подтверждают теоретические соображения, вытекающие из сближения обоих ис-

кусств. Таким образом рассмотрение исполняемых коренных и добавочных частей и очевидное сходство последних в мирских и церковных напевах дают новые основания науке музыкальной теории. Принимая во внимание сказанное, является очевидною надобность издания справочного музыкально-тематического словаря, как руководительного указателя для будущих научных работ и композиторов. Бывшие потери труда и неудачи русского церковно-певческого искусства XIX века от отсутствия такого словаря, несмотря на указания в известном проекте Бортнянского и в сочинении Львова «О свободном несимметричном ритме», только подтверждают необходимость сближения двух народных искусств на основании древней письменной грамматики русского церковного пения.

На заседании Комитета 15 декабря 1903 постановлено напечатать в «Памятниках» сообщение С. В. Смоленского: **«О ближайших практических задачах и научных разысканиях в области русской церковно-певческой археологии»**.

9 января 1904 на общем собрании прочитан реферат А. В. Преображенского **«Агафоник и вопрос о единогласии церковного чтения и пения в XVII веке»**.

16 апреля 1904 на годовом заседании Общества прочитано сообщение С. В. Смоленского **«О рукописи “Мусикия”, составленной диаконом Иоанником Кореневым и Николаем Павловичем Дилецким в 1681 году»**:

«Мусикия» 1681 года состоит из двух частей, связанных между собою лишь общностью цели, то есть преобразованием русского церковного пения на западноевропейский лад. Первая часть есть двойной трактат диакона Иоанникия Трофимова Коренева: 1) о негодности демественного и тристрочного пения и 2) о надобности нового искусства, основанного на правильных научных началах, притом же и не противоречащего во внешних своих формах церковным обычаям. Вторая часть есть сокращенная редакция известной «Мусикийской грамматики» Николая Павлова Дилецкого. Важность «Мусикии» определяется по причинам, вызвавшим ее появление, и по последствиям, происшедшим от ее влияния. Первая часть написана резко и запальчиво, непримиримо воюя с действительно надоевшими всем «аненайками и хабувами», сильно развившимися во всех родах пения, вне столпового роспева; другая половина первой части обличает несовершенства первого у нас, еще по крюкам, хорового пения на 3 голоса. Отсюда, с помощью всяких своих «изысканий» и «с писем древних доброписцев», вывод о надобности немедленно изъять оба эти рода пения из храмов и усвоить «Мусикию», правила которой тут же предлагаются в «Грамматике» Дилецкого. Дилецкий был, несомненно, отлично выученный

музыкант-теоретик, композитор с отличною техникою письма и опытный педагог. Для точности суждений о достоинствах сведений, сообщаемых им в его руководстве, необходимо иметь в виду уровень теоретических успехов западноевропейской музыкальной науки в 1-й половине XVII века, притом же польско-немецкого направления. Ряд из 30 имен русских композиторов, с дьяком Василием Титовым во главе, только и мог выучиться в школе Дилецкого. Масса их сочинений, проникшая в дальние монастыри и уездные города, профильтровалась в среде народных певцов и выработалась в ту литературу «Херувимских», «Милость мира», которая столь излюбленна до сих пор повсюду. Имена авторов забыты, и сочинения, переделанные народом, приобрели названия Старо-Симоновских, Ипатьевских, Московских, Ярославских, Софрониевских и т. п. В высших сферах скоро появилась новая мода на итальянское пение, так что от школы Дилецкого тут уцелели разве только польские кунтуши на архиерейских певчих. Но переложения древних напевов на 4 голоса уцелели от времени Дилецкого повсюду и, переродившись влиянием времени и отдельных регентов, составляют обычное ныне церковное хоровое пение так называемого «простого напева» или «придворного». Из этих соображений видно, что если и поставить в заслугу Кореневу его энергичную борьбу с недостатками церковного пения первой половины XVII века, то заслуга эта умалется захирением подлинно русского хорового пения «трострочного» от нападений того же Коренева; если и осудить введение Дилецким в наши храмы церковно-певческого искусства, построенного на чуждых нам основаниях и приемах западного искусства, вернее — немецко-польского, и католического притом, то смысл русский, чутье своей красоты скоро отбросило в этом искусстве все чуждое и переработало из него почти все то, что мы слышим в наших храмах и в настоящее время.

17 декабря 1904 на общем собрании С. В. Смоленским прочтен реферат **«О стихах покаянных и беседных по крюковым и нотным рукописям XVI и XVII веков»**:

Референт указал, что впервые сборник таких стихов появляется в наших певческих стихирарях во 2-й половине XVI века, то есть в пору очень большого подъема русской композиции, вследствие надобности новых служб святым, канонизированным на соборах 1547 и 1549 годов.

«Стихи покаяльны и беседны» написаны на церковнославянские прозаические тексты и распеты по знаменной, крюковой нотации, почему не имеют ничего общего с народными духовными стихами. «Стихи» XVI века — исключительно аскетические.

Сборники XVI века, в которых «Стихи» расположены в порядке восьми церковных гласов, с 1-го по 8-й, были живы до церковной реформы при патриархе Никоне. В эту пору вторжение хорового пения, киевских кантов

и, наконец, раскол вызвали сочинение многих новых «Стихов», забвение многих старых и раздвоение изложения их в певчих книгах. У старообрядцев удержалась форма отдельной книги для стихов; в господствующей церкви «Стихи» сделались случайными и оттого бессистемными статьями в певческих рукописях.

У старообрядцев «Стихи» живы до сих пор в их скитском и домашнем пении, но репертуар их дополнился сочинением многих куплетных стихов, очень плохого достоинства. Появились у старообрядцев теперь даже нотные сборники «стихов умиленных».

У монахов-никониан скоро вымерли аскетические стихи; их место заменили стихи исторические, частью же, особенно в кругу молодежи монастырской — стихи сатирические, а в кругу певчих даже увеселительные. К XIX веку «стихи» более серьезные исчезли совершенно; стихи менее серьезные выродились в ряд куплетных сочинений с хоровую музыкую.

21 апреля 1905 на заседании 2-го отдела ОЛДП С. С. Волкова прочла доклад, при издании озаглавленный **«О древнерусских церковных напевах и о значении их для будущности русского музыкального искусства»**.

22 апреля 1905 в общем собрании ОЛДП прочтен С. В. Смоленским реферат **«О русской хоровой литературе с половины XVI века до начала влияния заезжих итальянцев»**:

Референт устанавливает три типа хоровых произведений, составляющих три отдельные певческие богослужебные литературы с присоединяющимися к ним отделами полудуховного содержания. Первая литература контрапунктическая — в казанском знамени и в следовавших за ним крюковых партитурах XVI и XVII веков, где есть произведения на 2, 3 и 4 голоса, излагавшиеся позднее и обычными крюками. Вторая литература — переложения гармонические, преимущественно на 4 голоса, причем, кроме знаменного обычного роспева, здесь имеются сполна и на разное число (до 12) голосов гармонизованные роспевы киевский, греческий и частью болгарский. Третья литература — свободные композиции учеников Н. П. Дилецкого; в ней особенно развились так называемые «Службы Божии», то есть обедни или всенощные, и еще более — концерты. К этим литературам присоединяются: 1) к первой стихи покаянные и беседные XVI—XVII веков, 2) ко второй стихи духовные, канты и псалмы одноголосные, равно и множество юго-западных богослужебных напевов и 3) к третьей стихи духовные трехголосные, канты и псалмы (например, музыка Вас. Титова к стихотворной псалтири и к календарю Симеона Полоцкого). Указывая на сущность произведений первой литературы, С. В. Смоленский обратил внимание на несомненность контрапунктических построений, найденных им в книге «Кокизы, сиречь ключ казанскому знамени» и в трехголосных партиту-

рах «Праздников». При обозрении хоровых переложений древних роспевов референт указал на массу сделанных гармонизаций; тематический указатель всех редакций дает их для Октоиха 17 и для Праздников 21, притом на разное число голосов. Говоря о партесных богослужебных сочинениях и концертах (третья литература), С. В. Смоленский выяснил значение слова «концерт» как пение соло и как форма хорового сочинения. При обзоре концертной литературы было обращено внимание на самую крупную по числу форму 12-голосных концертов, которых найдено около 550-ти; эта цифра и достоинство композиции свидетельствуют о процветании у нас хорового искусства в конце XVI века и в XVII веке. Для пояснения сообщения хором певцов-любителей были исполнены: 1) отрывки из псалма «На реце Вавилонстей ту седохом...» в двухголосном сложении XVI века, затем в гармоническом сложении XVII века и в возродившемся вновь контрапунктическом письме начала XVIII века; 2) стихи из стихотворной псалтири и стихотворного календаря Симеона Полоцкого; 3) кант на 3 голоса и «Ектения» и 4) «Большое многолетие» Вас. Титова.

7 мая 1905 на заседании Комитета постановлено: напечатать доклад С. С. Волковой и избрать ее в члены-корреспонденты Общества. Предоставить С. В. Смоленскому помещение ОЛДП для предположенного чтения курса по истории русского церковного пения.

16 декабря 1905 в общем собрании ОЛДП С. В. Смоленским сделано сообщение «**О Старо-болгарском церковном пении, собранном по русским нотным рукописям XVII—XVIII века Анастасом Николовым**»:

Николов, ученик референта по Московскому Синодальному училищу церковного пения, был командирован в 1901 году в Россию к нему же, референту, Болгарским Синодом и приготовил настоящее пробное издание после четырехлетнего труда. Цель труда — восстановление староболгарского церковного пения и замена им как искусством народным пением греческого, которое давно и насильно было введено в Болгарии фанариотским духовенством, позаботившимся между прочим и об истреблении всех староболгарских певческих рукописей. Ввиду обозначившегося, уже 15 лет назад, нахождения полного круга староболгарского церковного пения, труд А. Николова, кроме его новых находок, свелся к научному и практическому сведению разночтений, происходивших от разности до- и после-никоновских текстов, равно и к систематизации всех найденных напевов. Особая важность труда г. Николова для русской музыкальной науки представляется в находке им несомненно болгарских напевов среди считавшихся у нас за киевские и западнорусские. Представив характеристику болгарского роспева, референт выяснил нравственное, художественное и историко-археологическое значение труда г. Николова для России и особенно для духовно возрождающейся Болгарии, возвращающейся к своей родной старине.

После чтения хор любителей-болгар исполнил тропарь св. Кириллу и Мефодию, первоучителям Славянским, и некоторые другие песнопения из сборника «Старо-Българско Церковно Пение», гласно обновив таким образом труд г. А. Николова.

11 апреля 1906 на собрании Комитета постановлено:

Доложить общему собранию заявление г. председателя о поступившей в его распоряжение сумме в три тысячи (3000) рублей с исключительной целью осуществления в 1906 г. особой экспедиции, от имени Общества, на Афон, в Солунь и в Охриду и прочесть в том же собрании записку членов-корреспондентов Общества С. В. Смоленского, П. А. Лаврова, А. В. Преображенского и А. Н. Николова, выясняющую задачи и цели этой экспедиции.

Принять предложение С. В. Смоленского о напечатании в «Памятниках» труда Д. Аллеманова и А. Зверева **«Нотописание современной греческой церкви. Руководство к чтению нотного-богослужбных книг греческой и болгарской церквей»**.

14 апреля 1906 на общем собрании ОЛДП С. В. Смоленский прочел сообщение **«Несколько новых данных о так называемом Кондакарном знамени и о Кондакарях XII—XIII века»**:

Референт, устанавливая связь кондакарного пения с другими родами певческого древнерусского искусства, представил обозрение всех пяти существующих Кондакарей и опыты системы приведения в отдельные как нотации кондакарной, так и краснодемественной. Устанавливая затем пение кондаков по особой дисциплине их «подобнов», референт указал на неожиданные прояснения, получившиеся от сопоставления редакций всех пяти Кондакарей. Сравнения кондаков одинакового текста выяснили замену одних знаков другими и следовательно их одинаковое музыкальное значение. Сравнение разных кондаков по тексту, но распетых на один и тот же напев, выяснило многие способы изложения одного и того же музыкального содержания, а главное — музыкальную форму этих композиций. По наличности в Кондакарях кондаков первым русским святым, по массе дополнительных статей в наших Кондакарях, по наличности у нас роспевов полных кондаков (вместо их окончаний, как то у греков) и постепенному ослаблению замечаемых грецизмов референт заключил о последовательном перерождении кондакарного пения в чисто русское искусство, перешедшее потом в обыкновенные знаменные книги и возродившееся потом, может быть, в демественном пении XV—XVI веков.

9 октября 1906 в заседании Комитета С. В. Смоленским был сообщен краткий отчет об увенчавшейся полным успехом экспедиции Общества, от-

правленной им на Славянский юг и на Афон, с целью изучения церковно-певческих рукописей древнеславянских и греческих.

8 декабря 1906 в общем собрании ОЛДП С. В. Смоленским прочитано сообщение «**О поездке на Афон летом 1906 года**»:

Референт представил Обществу около 1000 негативов и фотографических с них отпечатков, снятых с 12 Афонских рукописей, и свыше 600 фотографических снимков, изготовленных в Вене с рукописей Придворной библиотеки № 33, 136 и 204. Все эти рукописи греческие, IX—XII века, нотированные тою до-дамаскинскою системою, с которою находятся в родстве древнейше-русские певческие нотации. Референт сообщил затем, что подробный отчет о чрезвычайно удачных результатах экспедиции на Афон пока невозможен именно по огромному числу находок и по крайней трудности вскоре разобраться в их массе. Но общие заключения, насколько они прояснились даже при поверхностном рассмотрении находок во время их каталогизации, состоят в том, что в Россию теперь доставлены отличные и многочисленные материалы не только для изучения отношения древнегреческого пения к русскому, но и для изучения самого греческого искусства, очевидно, весьма высокого в ту пору. Графические разно-сти между греческими и русскими певческими нотациями, множество знаков, присущих отдельно каждой нотации, ослабляют ту духовную связь между греческим и русским пением, которая как бы утверждается общими у нас певческими знаками. Очевидно, что певческий алфавит был заимствован у греков очень давно, но искусства обеих народностей развились вскоре самостоятельно, идя своими силами и своими дорогами. Затем референт сообщил о снимках с рукописей, снабженных знаками для чтения на распев, то есть о снимках с греческих Евангелий, Апостолов и Паремейников, равно и с 6-ти листов болгарской Триоди, найденной в Софийской Народной Библиотеке под № 47, являющейся теперь 2-м экфонетическим славянским памятником после Куприяновского листка Евангелия XI в. В заключение референт, предъявив начатый членом экспедиции А. В. Преображенским «Каталог песнопений, имеющихя в Афонских и Венских снимках», доложил краткое описание каждой из этих 15-ти рукописей.

26 января 1907 в заседании Комитета постановлено: выписать для С. В. Смоленского рукописи из Московской Духовной Академии: 1) рукопись библиотеки Горского № 267 (по старому каталогу 317) и 2) рукопись библиотеки МДА № 154 (врем. кат.).

27 апреля 1907 в общем заседании ОЛДП С. В. Смоленским сделан **отчет по Афонской экспедиции**:

Цели Афонской экспедиции 1906 года оказались вполне достигнутыми. Экспедиция возвратилась с массой находок в области церковно-певческих гре-

ческих рукописей и древнеславянских документов разного содержания, в том числе и певческого. Первые находки были сделаны с помощью И. В. Ягича в Венской Придворной Библиотеке, где оказалась великолепная греческая певчая рукопись XI века, снабженная точными до-дамаскинскими певческими знаками, которые легли в основание русской знаменной семиографии. С рукописи этой, равно и с двух других XI—XII веков с такими же знаками, снято 611 снимков, изготовленных Венским фотографическим институтом новоизобретенным способом съемки призмой прямо на бумагу. В этом деле оказал большое содействие дьякон Русской посольской церкви в Вене П. Г. Преображенский.

Следующая находка была сделана С. В. Смоленским в Болгарской Народной Библиотеке в Софии: здесь оказалось 6 пергаменных листов XIII века Постной Триоди сербско-болгарской редакции, снабженных экфонетическими знаками, то есть для чтения на распев. После известного Куприяновского листа из Евангелия XI века и Болонской Псалтири с такими же знаками это третья славянская рукопись подобного рода: впрочем, надо отметить, что экфонетические знаки греческого типа имеются также и в Остромировом Евангелии.

Софийская находка заставила членов экспедиции обратить внимание на древнейшие афонские Евангелия, Апостолы и Паремейники: экспедиция изготовила до 35 экфонетических снимков.

Ввиду специальной цели экспедиции как церковно-певческой, первый объезд Афонских библиотек был посвящен проверке указаний по каталогу Ламброса на рукописи с отметкой «*con notis antiquis musicis*» [«с древними музыкальными знаками»], равно и собственным поискам в библиотеках Афанасиевской лавры и Ватопеда, куда Ламброс не был допущен. Результатом просмотра не одной рукописи было то, что на Афоне по каталогу Ламброса было найдено только две рукописи: Кутлумушский Стихирарь XI—XII века и Иверский Ирмолог XII века, из первого снято 6 снимков, второй снят сполна.

Так как о существовании Есфигменского Ирмолога было известно еще по Севастьяновским снимкам и по данным в Путешествии преосв. Порфирия, то экспедиция сделала из него 24 снимка, а остальные 116 заказала о. Гавриилу, монаху Афонского Пантелеимонова монастыря.

Самостоятельные поиски увенчались самым неожиданным по объему успехом; в библиотеках Афанасиевской лавры, Ватопеда и Андреевского скита найдено 9 рукописей, с которых были тоже делаемы снимки. Всего снимков сделано свыше 2000.

Такое подавляющее количество найденного и впервые доставленного в Россию по преимуществу греческого певческого материала не могло не повлечь за собою невозможности разобраться в достоинстве его на месте находок. Достоинство и научная важность Афонских снимков начали выясняться только теперь, когда уже составлен полный каталог всех греческих песнопле-

ний и когда начало выясняться значение всего найденного по содержанию русских древнейших певческих рукописей. Такое сравнение впервые приводит к прояснению того: 1) что имелось общего по части церковного пения на греческом языке и славянском, 2) что имелось только на одном греческом языке и, следовательно, не было воспринято славянами от греков, и 3) что имеется в наших рукописях только на славянском языке и, следовательно, отсутствуя в греческом пении, составляет предмет своего, русского, искусства, независимого во многих чертах и во многих коренных основаниях от полученного нашими предками искусства греческого.

Вся эта работа над разбором песнопений по указанным рубрикам требует еще много труда и продолжительного времени.

Во время Афонской экспедиции были заведены сношения с библиотекой монастыря Св. Христудула на о. Патмос; получение оттуда нескольких снимков удостоверяет, что и на Патмосе имеется новый родник драгоценных рукописей XI—XII веков, нотация которых близка к русской.

7 декабря 1907 в заседании ОЛДП С. В. Смоленским прочитано сообщение «**О трехголосных кантах и псалмах по рукописям XVII и начала XVIII века**» (повторено в Москве 13 марта 1908):

Референт установил сначала преемственную связь народных духовных стихов со «стихами покаянными и беседными» XVI века, а затем с раскольничьими стихами, излагавшимися знаменным роспевом с помощью крюковой нотации, при текстах на церковнославянском языке. Быстрое распространение польских кантов в московском обществе середины XVII века совпало с появлением южно-русских кантов и псалмов, принесенных в Москву питомцами братств и особенно Киево-Могилянской академии, принесших с собою одновременно и церковное так называемое партесное пение. Затем грамота патриархов Александрийского Паисия и Антиохийского Макария впервые благословляет прихожан на употребление партесного пения в московской Иоанно-Богословской церкви в 1668 году. Государев певчий дьяк Василий Титов, гениальный композитор, посвящает царевне Софии Алексеевне в 1678 году музыку к стихотворной псалтири Симеона Полоцкого. В 1681 году государев диакон Иоанникий Коренев пишет свою «Мусикию», вторая часть которой есть особая, 3-я редакция известной «Мусикийской грамматики» Николая Павлова Дилецкого. Этими датами устанавливается время появления первых русских кантов, псалмов и партесных церковных сочинений, наибольшая часть которых написана в эту пору именно Титовым. Силлабическое сложение и требования тогдашней музыкальной грамматики очень мешали техническому развитию кантов и псалмов. Русские композиторы сумели однако и здесь ввести народные напевы; вследствие этого все приемы голосоведения кантов, смягченные временем, до сих пор живы в нашем церковном так называемом «про-

стом роспеве». Содержание кантов очень разнообразно. Их каталог включает в себе свыше 500 номеров, из которых очень многие выдаются по своей задушевности и по мастерской простоте изложения.

Сообщение сопровождалось хоровым пением 15-ти номеров кантов и псалмов, причем лектор предпосылал каждому номеру краткие объяснения.

21 декабря 1907 в общем заседании ОЛДП прочитаны сообщения А. В. Преображенского «О сходстве русского музыкального письма с греческим в певчих рукописях XI—XII века» и С. В. Смоленского «О каталогизации церковных песнопений, оказавшихся в Афонских и Венских греческих певческих рукописях и о дополнительной к ней каталогизации песнопений, оказавшихся в русских певчих древнейших рукописях»:

Первое сообщение было прочитано А. В. Преображенским. Докладчик указал, что по вопросу о происхождении русского церковного пения и знаменной семиографии существуют различные предположения: одни — о. Разумовский, о. Металлов и другие — стоят за греко-славянский источник, другие — С. В. Смоленский — за оригинальность его русского происхождения. Между тем до сих пор никто из исследователей не предпринял труда сличить в подробностях семиографию греческую и нашу древнюю нотацию. Доставленные Афонской экспедицией 1906 года в ОЛДП фотографии с древнейших крюковых греческих рукописей впервые дают возможность установить — на основании документов — непосредственную зависимость русского церковного пения от пения Греческой церкви: настолько значительно открывшееся сходство этих невматических манускриптов. В частности референт остановился на сходстве названий и начертаний греческих и русских крюков, а затем путем параллельного изложения в семиографических знаках одних и тех же песнопений по греческим и славянским рукописям объяснил полную тождественность записи, а следовательно и напева — для целого ряда песнопений. Встречающиеся различия были оправдываемы неодинаковым количеством слогов текста в греческом подлиннике и славянском переводе, равно — необходимым для нового текста перенесением сильного ритмического ударения в певчей строке. Такое приспособление греческого напева к славянскому тексту, по мнению лектора, имело иногда своим последствием нарушение правильности славянских акцентов, открытие чего приобретает особенно важное значение в истории развития так называемого хомового пения, извратившего правильность славянской речи в церковном пении.

Второе сообщение, «О каталогизации церковных песнопений...» принадлежало С. В. Смоленскому. Первая часть этой каталогизации относится к труду А. В. Преображенского над снимками, привезенными экспедицией 1906 года, вторая, то есть русская, часть сделана референтом. Каталогиза-

ция оказалась необходимою для текущих работ по разбору и сравнению материалов греческих и русских. Но с первых же листов каталога оказалось, что такая работа, хотя и трудная, отчасти почти механическая, выясняет однако не только возможность сравнить содержание всех рукописей между собою, не только дает возможность скоро иметь точную справку о числе экземпляров и месте нахождения любого песнопения, но и дает возможность установить отношения между певческою литературою греческою и древнерусскою. Эти отношения уже теперь выясняются в трех типах песнопений: общих у греков и русских, затем не воспринятых от греков и, наконец, распетых русскими певцами. Последние песнопения, хотя бы отчасти и изложенные по греческим образцам и греческими знаками, следует считать как первый лепет русского церковно-певческого творчества: таковыми надо считать певчие службы русским святым кн. Борису и Глебу, Феодосию Печерскому и др., имеющиеся почти во всех наших певчих рукописях XII века.

11 января 1908 в общем заседании ОЛДП было сделано В. В. Майковым сообщение **«Неизвестное послание к патриарху Гермогену по поводу употребления слова хабува в церковном пении»**; дополнения к сообщению сделал С. В. Смоленский.

20 ноября 1908 в заседании комитета постановлено: принять предложение С. В. Смоленского «подробно описать все нотные рукописи, принадлежащие Обществу».

5 декабря 1908 в общем заседании С.В. Смоленским сделано сообщение **«Клавесинная музыка в России по русским сочинениям второй половины XVIII века»**:

Референт доложил об автографе Дм. Ст. Бортнянского, 8 сонат которого, вместе с другими сочинениями этого автора, составляют целый том, и о рукописи различных сочинений для клавикорд, оказавшейся в древлехранилище при Ярославской Архивной Комиссии. После краткого общего очерка музыки в России во второй половине XVIII века, из которого референт особо выделил музыку камерную немецкого склада, был доложен очерк домашней, собственно клавесинной, музыки, в которой были выделены танцы и песни. В пояснение сделанных очерков референт исполнил на пьянино и на клавесине (Gabriel Bundebart et Sievers 1781 года) по автографу сонату соч. Бортнянского и из ярославской рукописи: «Полонез», «Менуэт», «Столовую Штуку», два русских танца и 6 русских песен с вариациями.

6 ноября 1909 в заседании Комитета постановлено: «Избрать члена-корреспондента А. В. Преображенского за кончиною С. В. Смоленского заведующим 2-м Отделом Общества... Просить А. В. Преображенского:

1) принять на себя труд закончить печатание Памятника «Муסיкия Николая Дилецкого», начатое покойным С. В. Смоленским, и снабдить это издание хотя бы кратким предисловием;

2) разобрать бумаги С. В. Смоленского, относящиеся к экспедиции на Афон, и представить в комитет Общества записку о них и

3) содействовать тому, чтобы все материалы, вывезенные этой экспедицией, были переданы в архив Общества. <...>

Благодарить А. В. Преображенского за предоставление Обществу 15-ти экземпляров его доклада, читанного им 21 декабря 1907 года, и предоставить ему право воспользоваться несколькими клише из изданного Обществом сочинения С. В. Смоленского «О древнерусских певческих нотациях» для печатаемого г. Преображенским «Очерка истории церковного пения в России».

4 декабря 1909 в общем собрании А. В. Преображенский прочел некролог Смоленского (в Отчетах ОЛДП отсутствует).

Задачей этого приложения не является, конечно, полное освещение деятельности ОЛДП в тот период, когда С. В. Смоленский был его членом. В кратком хронографе представлены лишь события, в которых Смоленский и близкие ему (обычно — принятые по его рекомендации) члены ОЛДП принимали активное участие. Составленный по Отчетам ОЛДП, по издаваемой Обществом серии «Памятники древней письменности» и другим материалам, хронограф призван служить дополнительным комментарием к публикуемым в основном тексте письмам. В тех случаях, когда в Отчетах Общества опубликованы тезисы выступлений Смоленского, эти тексты включаются в хронограф, даже если потом сообщения или доклады были напечатаны Обществом полностью.

3. «Проекты» С. В. Смоленского

Проект 1904 года

1. Сближение русских музыкальных искусств, народной русской песни и древнего церковного напева, оказывается ныне не только возможным, но и прямо указывающим дорогу будущего русского искусства, как светского, так и церковного.

Археология может русским художникам дать не только теоретическое объяснение главных устоев родного музыкального искусства, но и прямые практические указания состава народных мелодий, для их художественной разработки.

Теоретические объяснения древних церковных напевов, составленные русскими певцами во всей подробности еще в XVII веке, должны принести современному искусству огромную пользу, разъяснив теорию строения вообще русских народных напевов, их ритмов и музыкальных форм.

По этим разысканиям церковно-певческой теории может быть дано объяснение неразгаданного еще строения русской народной песни.

Практические указания, заимствованные из ряда древнерусских руководств, могут быть с полным успехом приложимы и к технике современной композиции. Такое расширение искусства родными звуками и совершенно русскими приемами разработки художественной мысли может только оживить русское искусство. Издание древне-теоретических трактатов посему вполне надобно.

Составление всех этих работ предполагается только в направлении практическом, то есть в смысле прямых указаний всех новых материалов, которые могли [бы] быть разработаны далее композиторами и археологами. При современном состоянии русского музыкального искусства и русской церковной певческой археологии издание таких общедоступных работ крайне желательно и даже неотложно.

В Московском дворцовом архиве при Троицкой башне хранится не одна сотня певческих рукописей; одиночные рукописи имеются в ризницах некоторых дворцовых церквей и в некоторых дворцовых библиотеках. Истолкование этих, несомненно наилучших рукописей, как Царских, принесло бы огромную пользу русскому музыкальному искусству, как церковному, так и светскому. Не меньшая польза была бы от таких работ и для русской исторической науки.

В число этих работ войдут: 1) *Каталогические*, по части приведения в известность роспевов и заглавий всех церковных песнопений, в изложении крюковом и нотном, в редакциях одногласной и хоровой. 2) *Теоретические*, по части приведения в известность подлинников теоретических трактатов и по части применения их содержания к удобному пользованию для современного искусства; в этом же отделе самую главную работу предполагается составление *тематического словаря* русских церковных напевов, их отдельных мелких частей и соединительных между ними попевок. 3) *Исторические*, по части указания для будущих археологических работ всех отдельных мест хранения

рукописей церковного пения и сближения содержания главнейших в них памятников. Кроме того способ сравнительного исследования развития одного напева *в последовательности веков* приводит здесь к историческому уяснению постепенного роста русских художественных идей; способ же сравнительного исследования разных напевов *по местам их происхождения* приводит к историческому уяснению составления самих напевов и их вариантов.

Вышеозначенные работы могут быть осуществлены, если будет составлено *описание всех древнепевческих рукописей, имеющихся в разных дворцовых архивах.*

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3936. Рукопись Смоленского с исправлениями (л. 6—7), чистовая машинописная перепечатка текста (л. 10—11).

В той же единице хранения имеется предварительная машинописная перепечатка с вопросами Шереметева и его замечаниями (л. 8—9), полностью реализованными в приведенном окончательном тексте. В приложенной записке Шереметева Смоленскому, датированной 20 января 1904, говорится также:

Так как сегодня вечером — придется встретить Г[осударя] у [великой княгини] Ольги Александровны, то записка должна быть наготове для движения.

В подшивке писем Шереметева к Смоленскому в РНБ сохранился и предварительный вариант текста, написанный рукой С. С. Волковой, с примечанием, из которого следует, что она отредактировала присланные ей Смоленским «листки» (л. 171—172).

Кроме того, в деле находится написанный рукой Шереметева черновик его письма к государю, с примечанием Смоленского: «С таким письмом книга («О ближайших задачах...») была послана 20 января 1904» (л. 173):

Ваше Императорское Величество.

Чсть имею представить последнее издание Императорского Общества Любителей Древней Письменности. Оно касается живого вопроса о сближении двух народных искусств — песенного и церковного.

На стр. 60 и до конца — заключаются надежды и пожелания лучших русских людей. «Подавленный тернием отечественный гений» (слова Бортнянского) возрождается Вами, Государь, в другой области искусства... «связь народных песен и церковных напевов — главные устои русской музыки будущего».

Вашего Императорского Величества верноподданный Г. С. Ш.

На машинописи своего доклада Смоленский написал:

Доклад Государю Императору, предполагавшийся, но не имевший места 22 января 1904 г.

И еще одна поясняющая запись на л. 166 подшивки писем Шереметева:

Проект 14 марта 1905 г., не приведенный в исполнение. Но все отчеркнутое ниже, со слов «в публичных музеях» было послано Государю Шереметевым на случай возможности устроить по такому предлогу мою реабилитацию и продолжение моих работ. К продолжению этого предприятия относятся слова Шереметева 26 марта «Царское Село молчит» в приклеенном далее письме.

Это письмо без даты (л. 177) представляет собой открытку с видом Кусково, где, наряду с благодарностью за комментарии к приобретенному им рисунку (вид Тобольска), Шереметев пишет:

Я отрешился от злобы дня и живу вне сих сцен. Пишу и отвожу душу чернилами. <...> Царское Село молчит...

Выражение «отчеркнутое ниже» относится к печатному тексту доклада Смоленского «О ближайших задачах...».

Как уже говорилось в комментариях к письмам, в тот день, когда Шереметев намеревался поговорить с императором об «особом поручении» Смоленскому (22 января 1904; накануне он поднес императору работу Смоленского), аудиенция была прервана сообщением министра иностранных дел об обострении обстановки на дальневосточной границе. Вскоре началась русско-японская война, и в это время обращаться к императору с вопросами церковного пения посчитали неуместным.

Но более года спустя Шереметев предпринял все же еще одну попытку. В РГАДА имеется дело, озаглавленное рукой графа: «Поднесение Государю Императору изданий Имп[ераторской] Археографической комиссии, И[мператорского] Общества Ревнителей Русского Исторического Просвещения в память Императора Александра Третьего и проч. и Записки Смоленского. 1905 г.» (ф. 1287, оп. 1, № 4440). В деле имеются, помимо прочего, разные варианты все той же «записки для государя», рукописные и машинописные, с редактурой самого Смоленского и Шереметева. На первом листе дела стоит дата «22 марта 1905», и это означает, что граф надеялся использовать благоприятный момент «поднесения» для того, чтобы напомнить об «особом поручении».

Проект 1906 года

Его Сиятельству, Господину Обер-Прокурору Св. Синода
Князю Алексею Дмитриевичу Оболенскому

Действительного Статского Советника
Степана Васильевича Смоленского

Докладная записка

Ваше сиятельство изволили удостоить меня беседы сего 21 и 23 января по части моих занятий древнепевческим искусством. В развитие мыслей, мною высказанных, честь имею доложить еще нижеследующие соображения о необходимос-

ти систематических каталогизаций наших древне-певческих рукописей и о практическом приложении этих работ к нуждам современного церковного пения.

Древнепевческие рукописи, по которым я желал бы работать, находятся в Москве и составляют отдельную библиотеку при Синодальном училище церковного пения. Это есть самое полное собрание рукописей, по которым можно не только раскрыть множество новых страниц нашего художественного прошлого, но и установить все надобное для приведения в порядок нынешнего так называемого «обиходного пения».

Я говорю столь утвердительно потому, что эта библиотека собрана, частью же описана и каталогизована моим десятилетним трудом с 1891 года, в бытность мою директором Московского Синодального училища. Искренне любя древнепевческое искусство, особенно же предвидя культурное его значение для будущего, я устраивал эту библиотеку, надеясь провести в ней весь остаток моей жизни. Поэтому я не жалел трудов, чтобы сделать ее наилучшим в России собранием и обставить ее всякими удобствами для научных работ. Но назначение меня в 1901 году Управляющим Придворной Певческой Капеллой прервало продолжение всех начатых мною работ. Теперь, состоя в отставке, я, конечно, с полною готовностью согласился бы взяться за их окончание, равно и за новые разыскания, надобность и успешность которых выяснились для меня вполне определенно.

О мере богатства этой библиотеки можно судить, например, по следующим фактам: в середине 80-х годов Св. Синод имел желание дополнить круг своих певческих изданий так называемой Певческою Общею Минеею (**1. Благодаря библиотеке Синодальной школы такое издание теперь могло бы быть несравненно лучше исполнено**), равно и напечатанием всех отдельных певческих служб святым и на малые праздники, искони называемые у нас «Трезвонами». В ту пору нашлась только в Казани и только одна редкая рукопись Минеи, а число «Трезвонов», собранных мною в разных библиотеках, едва превысило 50 «памятей» на разные дни. В библиотеке же Синодального училища оказалось 8 Минеи разных редакций, в том числе и автограф знаменитого справщика старца Александра Мезенца, приготовленный ко времени Собора 1666—67 гг. Точно так же и «Трезвонов» в той библиотеке оказалось собранных на 153 дня в одном только нотном изложении новоисправленного текста, то есть втрое более. (**2. Следовательно, еще многих трезвонов не хватает. Или есть крюковые?**) Или, например, недавно удалось восстановить почти полный круг древне-болгарского пения, сохраненного в наших рукописях XVIII века. Этот труд был успешно выполнен г. Николовым, командированным лично ко мне Болгарским Св. Синодом (**3. Болгарский круг.**)

Конечно, скопление научно-художественных документов, дающее возможность подобных работ, соответствует и фактическому составу библиотеки. Она

* Жирным шрифтом выделены замечания и вставки, внесенные в машинописный текст С. С. Волковой (красным карандашом).

состоит ныне в числе до 1300 названий, почти в 3000 томов и тетрадей. В этой массе рукописей имеются сполна все три рода памятников русского древнепевческого искусства, то есть рукописи крюковые, нотно-одноголосные и хоровые.

1. Рукописи крюковые имеются в массе экземпляров письма всех (кроме наидревнейших) певческих систем и в составе всех редакций богослужебных текстов, включительно донныне употребляемых. Здесь есть полные певческие круги чуть не на каждое 25-летие от XV и до XVIII веков; здесь же полные картины развития нашего крюкового письма и его различий чуть не во всех местностях старой Руси, до старообрядческих редакций включительно. Здесь же есть огромная масса вновь найденных драгоценнейших памятников демественного пения, путевого, казанского знамени, так называемого «строчного пения» — одноголосного и хорового. Здесь же и множество древних певчих азбук и теоретических трактатов.

Важность научно-художественного значения этого отдела, думаю, очевидна уже по одному перечислению его содержания. Эта значительность однако усугубляется тем, что под рукою же, в Московской Синодальной [Патриаршей] библиотеке, затем в **Синодальной типографии**, в Румянцевском музее, находятся наидревнейшие певческие памятники, выразительно дополняющие все собранное в библиотеке Синодального училища. Таким соседством облегчаются самые широкие научные обобщения. **(Где эти рукописи?)**

2. Рукописи нотного письма имеются также в массе экземпляров всех редакций богослужебных текстов со второй половины XVII века и, что главное, от юго-западных до северо-восточных включительно. Этот отдел, еще более богатый в сравнении с предыдущим, заключает в себе изложение сполна всего русского певческого искусства, выработавшегося из крюкового пения. По нему именно создались все те устои, на которых зиждется пение современное и на которых имеет впредь развиваться русское церковно-певческое искусство. Поэтому значение этого отдела следует назвать не только научным, но и вполне практическим. Например выше уже были указаны услуги этого отдела по части «Трезвонов» и древне-болгарского роспева; точно так же для будущего, например, в области нашего русского «Обихода» **(4.)** несомненно могут ожидать самые существенные услуги. Следует ожидать также значительного просветления, например, в областях киевского, греческого, болгарского, как и множества поместно-русских роспевов. Здесь я считаю надобным прежде закончить мою многолетнюю работу по части самого простого приведения в системы и по составлению тематического каталога всех бывших у нас напевов со всеми их вариантами. **(5.)**

Эти работы прежде всего ведут к познанию того, что собственно мы имели на обширнейшем поле русского церковно-певческого творчества. Познание это вместе выясняет, какими именно многими дорогами создались круги ныне употребительного пения хорового и одноголосного. Здесь же выясняются достоинства всего вновь сочиненного под влияниями века и затем гармонизован-

ного по разным уровням науки. В этих же работах и возможность широкого выбора напевов для будущего их церковного употребления и художественной разработки. Наконец, теоретический и исторический интересы (6.) в области этих нотных-одноголосных рукописей выясняются сами собою при сравнительном исследовании развития одного и того же напева в разных местностях (и сравнении их с местными народными песнями и особенностями их музыкальных оборотов), а также и одного и того же напева в последовательности веков.

3. Рукописи хоровые, нотные и крюковые, заключают в себе необозримую массу композиций и гармонизаций от 3-голосных до 12-хорных, или на 48 голосов. Они имеют только научно-исторический интерес, так как позднейший рост русского хорового искусства подчинился правилам западноевропейского музыкального изложения. Их отжившие свое время принципы уже омертвели повсюду. Существенный интерес этого отдела состоит в том, что общеизвестные теперь «Херувимские», «Милость мира», «Достойно есть» и проч., известные под названиями «Ипатьевских», «Софроньевских», «Старо-Симоновских», «Монастырских», «Лаврских» и т. п., оказались сочинениями XVII и XVIII века. Но главное значение этого отдела состоит несомненно в том, что наше более древнее церковное пение может быть выяснено в своих русских основаниях еще с той поры, когда наше пение было самостоятельным и когда на Западе еще не была выработана та музыкальная наука, которая потом заполонила наше церковно-певческое искусство. Наше крюковое хоровое пение началось еще с XVI века и представляет в этом отношении величайший научный интерес. Здесь, может быть, предстоят открытия капитальной важности для будущего русского искусства. Подробнейшие каталогические работы в этом отделе безусловно необходимы.

Особо от этих трех отделов стоят рукописи, заключающие в себе множество самостоятельных статей, например целую литературу псалмов, кантов, виршей, духовных стихов, стихов «покаянных» и проч., также всякого рода теоретические трактаты и множество дополнительных статей всякого содержания. Все это — совершенно нетронутые нивы.

Обращаясь к вопросу о надобности и своевременности каталогических работ в области церковно-певческих рукописей, я позволю себе кратко высказать следующие соображения.

В 1-й половине XIX века весь круг русских музыкантов был очень незначителен, и главные из них — Бортнянский, Львов, Турчанинов и др. отдали для церковного пения очень много труда. В ту же пору древние напевы были общеизвестны и употребительны несравненно более, чем теперь. Оттого готовность немногих светских музыкантов прийти на помощь духовенству в певческом искусстве была почти постоянною. Но с тех пор русская светская музыка, по могучему почину Глинки, сделала огромные успехи. В то время как для светской музыки были основаны консерватории и школы, духовная музыка начала слабеть, довольствоваться малодейственными композиторами, среди кото-

рых заняли незаслуженные места даже самоучки, вроде Багрецова, арх. Феофана и проч. Блестящий ряд таких работников, как Даргомыжский, Серов, кн. Одоевский, Мусоргский, Чайковский, оба Рубинштейны, Бородин, Балакирев, Ляпунов, Глазунов, Лядов, Гречанинов, Римский-Корсаков — привели в цветущее состояние нашу светскую музыку. Все они пошли, приблизительно, по дорогам, указанным Глинкою. Только некоторые из них едва уделили несколько внимания к музыке церковной.

Но в эти же недавние годы, к сожалению, не были обновлены Синодальные издания в смысле их полноты и корректности, чтобы привлечь к ним симпатии образованных музыкантов. (7. 8.)

С тех же недавних годов начался и упадок преподавания пения в наших духовно-учебных заведениях (9.), а сокращения в личных составах приходских причтов скоро ослабили ряды опытных певцов (10.). Эта убыль не могла уже пополниться молодыми силами, и охлаждение к древним напевам обозначилось вполне определенно.

Оттого же увеличилось еще более равнодушие к древним напевам со стороны представителей светской музыки. Последние ушли далеко вперед и жили прекрасными успехами в исследовании и разработке народной песни. Отставшие от них духовные композиторы в огромном большинстве вторично обнаружили только свою теоретическую малоподготовленность и совершенно поверхностное понимание красоты и возможности разработки древне-церковных напевов.

Это печальное недоразумение продолжается даже и сейчас, несмотря на то, что уже давно прозорливый и незабвенный о. Д. В. Разумовский угадал дорогу для верного шага вперед в церковно-певческом русском искусстве. И только теперь, усилиями весьма немногих людей, отдавших себя научной и художественной разработке наших напевов, как будто начинает укрепляться некоторый поворот в эту истинно разумную сторону. Но совершенно неудовлетворительная постановка преподавания церковного пения в духовно-учебных заведениях по-прежнему только продолжает дело упадка пения в среде духовенства и вызывает, по нынешним временам, к самым энергичным и дальновидным мерам для восстановления народно-церковного искусства. Св. Синоду необходимо, может быть и с значительными затратами, непременно влить мощные, художественные струи в дело предстоящего преобразования духовно-учебных заведений, — струи умилительно-величавые, облагораживающие и истинно воспитывающие; необходимо учредить при духовных академиях кафедры истории церковного пения или, может быть, даже и отдельные факультеты для высшего изучения церковных искусств вообще. Св. Синоду необходимо именно «встать впереди движения» и научно раскрыть мелодические сокровища русского древне-певческого искусства. Только этою мелодическою красотой и повышением уровня образования между избранными учениками, способными к композиции, можно восстановить интерес к цер-

ковному пению и ослабить равнодушие общества, соскучившегося от повсеместного упадка певческого искусства. Древнепевческие, вместе же и глубоко народные сокровища находятся только в рукописях, и их научное издание поэтому вполне необходимо. С помощью только рукописей можно выправить и дополнить певческие Синодальные издания. Без этого начала дело совершенно непоправимо.

Применяя к себе последние положения, я смею считать себя достаточно подготовленным к вышеуказанным каталогическим работам, число которых, как видно из вышеизложенного, представляется очень значительным. Так как мне уже 58 лет, то я, при всем трудолюбии, могу взяться на первые годы лишь за исполнение работ, надобных прежде всего, то есть за приведение в систему всех напевов и их вариантов, равно и [за] подробный каталог древних напевов. Желая иметь возможность трудиться, пока будут способны к работе мои силы, я прошу доверить мне эти работы.

Но, *отдельно от сего*, я не могу расстаться с упованием, что кафедры истории церковного пения в духовных академиях будут непременно открыты. Как бывший профессор Московской консерватории и *honoris causa* приват-доцент С.-Петербургского университета именно по этому предмету я желал бы занять эту кафедру в С.-Петербургской духовной академии. Мое дальнейшее пребывание в Петербурге связано еще с 2-м Отделом Императорского Общества Любителей Древней Письменности и притом именно с целью издательской его деятельности по русскому церковно-певческому искусству. Поэтому, ради успехов дела, мне выгоднее остаться в С.-Петербурге. В сущности для работы над московскими рукописями мне будет нужна не Москва, а только рукописи Синодального училища. Эти рукописи в условленном порядке, от 25 до 30 №№, могут быть свободно пересылаемы ко мне для занятий в С.-Петербурге и обмениваться на следующие такие же партии, по мере окончания моей над ними работы **(а рукописи Синодальной Типографии и Румянцевского Музея?.. Здешние рукописи в Духовной Академии, в Академии Наук и в Публичной Библиотеке могут ли их заменить?)**.

По всем вышеизложенным соображениям я с сущою готовностью мог бы принять на себя все вышеуказанные работы по библиотеке Синодального училища, впредь до конца моей работоспособности, за вознаграждение по вольному найму по 3000 р. в год. Из этой суммы я могу принять на себя все канцелярские расходы, несмотря (как то мне известно по опыту) на всю их значительность. Отчеты по моим работам я мог бы обязаться представлять ежегодно к 1 января. Но я оговорил бы лишь временное у себя оставление некоторых работ ради достижения единства и согласования в каталогах надобных справок и указателей. Все законченные мною работы будут затем сдаваться в библиотеку рукописей Московского Синодального училища церковного пения.

С.-Петербург, 27 января 1906 г.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3936, л. 1—4 об. Машинопись. Чистовой вариант
РГАЛИ, ф. 723, оп. 1, № 28. Машинопись с замечаниями Волковой

Поставленные С. С. Волковой цифры в скобках, очевидно, обозначают разделение текста по «пунктам», по «проблемам» для лучшего уразумения сути дела. Кроме того, 20 января 1906, Волкова направила письмо Оболенскому с ответом на вопросы, возникшие у него при личной встрече с Софьей Сергеевной:

Многоуважаемый Князь Алексей Дмитриевич,

позволяю себе ответить письменно на некоторые Ваши вопросы более подробно и точно, нежели я сумела сделать это на словах.

Дело Наблюдательного Комитета [при Синодальном училище] административно певческое и цензурное, он наблюдает за певческими хорами в Москве. Наблюдательный Комитет не имеет ни копейки денег; никогда ничего не издавал, никаких древних напевов не изучал и крюковыми рукописями не интересовался.

Общество любителей древней письменности готово взять на себя издания рукописных крюковых памятников, составление каталогов и фотографические снимки с рукописей и расходы по печатанию этих изданий. Общество Л.Д.П. желает продолжать археологическую и научную деятельность князя В. Ф. Одоевского и протоиерея Разумовского.

Это Общество напечатало, при основании своем князем Вяземским, еще в 1878 году, единственный изданный в России «Круг Знаменного Пения» — впрочем, старообрядческий (крюковых изданий с новоисправленным текстом до сих пор в России нет). Других цельных крюковых изданий до сих пор в России нет.

За последние годы, стараниями С. В. Смоленского, составлена при Московском Синодальном Училище Церковного Пения библиотека крюковых и потных рукописей, от XV по XVIII век включительно, содержащая свыше 1100 номеров (то есть без малого 3000 томов). Им же издано немало научных исследований по этим вопросам, первое из которых, «Азбука Знаменного Пения старца Мезенца», обратило на него внимание К. П. Победоносцева.

Но до сих пор труды в этой области носят характер частных и разрозненных стараний в деле, которое по значению своему требовало бы систематической и объединенной разработки.

Дело это чрезвычайно важно не только для старообрядчества, но и для православного богослужения, так как только путем этих археологических изысканий можно достигнуть правильного дальнейшего исторического развития нашего церковного пения.

Можно ли надеяться, что Св. Синод окажет поддержку и покровительство в важном и трудном деле *собирания, каталогизации, издания и исследования древних напевов?*

Примите...

РГАЛИ, ф. 723, оп. 1, № 42. Черновик

Как ясно из писем и комментариев к ним, новый обер-прокурор А. Д. Оболенский отнесся к просьбе Смоленского достаточно внимательно, однако ему казалась нелогичной пересылка рукописей, и он предложил подумать о переезде ученого в Москву. 6 февраля Шереметев получил следующее письмо Оболенского:

Милостивый Государь, граф Сергей Дмитриевич.

На письмо Вашего Сиятельства от 3-го сего февраля долгом считаю уведомить Вас, что, ввиду представленного мне С.В. Смоленским предложения о каталогизации церковно-певческих рукописей, находящихся в библиотеке Московского Синодального училища, признавая всю важность научных исследований по разработке вопросов, относящихся к изучению нашего древнего церковного пения и при полном моем желании оказать этому делу зависящее от меня содействие, я, предварительно общего решения настоящего вопроса, весьма затрудняюсь самый способ исполнения этих работ, какой указывает г. Смоленский, признать правильным, так как возникает естественное опасение, при пересылке рукописей, особенно же партиями в значительном количестве, — без чего и самая работа не может быть выполнима, — за целостность и сохранность рукописей, при неизбежных к тому же неудобствах комплектования, сдачи, приема пакетов в Москве и здесь и т. п. Но, независимо от сего, окончательное решение этого вопроса я нахожу нужным отложить до моих личных переговоров с лицами, близко стоящими к этому делу, во время имеющей вскоре состояться моей поездки в Москву.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Кн. А. Оболенский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 5071, л. 240—240 об.

Фрагмент этого письма зафиксирован и в Дневнике 6 Смоленского.

Во время поездки Оболенского в Москву в Великий Пост 1906 года он встретился и с сотрудниками Синодального училища, и с находившимся тогда в Москве Смоленским. Возможно, какое-то решение было бы найдено, но вскоре Оболенский покинул обер-прокурорское место.

4. Программа публичного курса лекций

В Комитет Общества Любителей Древней Письменности

В заседаниях Комитета Общества 21 апреля с. г. и Общего Собрания 22 апреля с. г. было принято мое предложение прочесть в зиму будущего 1905/06 года частный, публичный курс лекций по истории русского церковного пения, в целях большего распространения знаний по сему предмету, равно и для привлечения интересующихся к совместной деятельности со 2-м Отделением Общества.

Всех чтений мною предположено 12, по понедельникам, в помещении Общества, с 8 1/2 часов вечера, в следующие дни: 28 ноября; 5, 12 и 19 декабря 1905 года; 9, 16, 23 и 30 января 1906 года; 6, 13, 20 и 27 февраля.

Изложение каждого чтения предположено мною разделенным на две части: сначала — чтение, в виде лекции (от 45 минут до 1 часа) собственно по истории русского церковного пения, а затем в виде ряда практических и объяснительных занятий, начало которых предполагается после краткого отдыха минут в 10—15; эти занятия будут продолжаться от 25 минут до получаса. Содержание практических и объяснительных занятий заключается частью в изучении предложенных материалов, частью в предварительном ознакомлении с материалами имеющих еще быть предложенными; посему программа этих занятий почти все время сопутствует изложению лекционному. Цель этих занятий состоит в возможно ясном, хотя и кратком ознакомлении слушателей, с помощью их непосредственного труда, с наиболее типичными образцами мелодий знаменного роспева, с их построением и записью крюками; затем с ростом русской музыкальной мысли, с развитием нашей творческой техники, которые будут объяснены на тех же самых образцах мелодий знаменного роспева, но уже в гармонизациях и в разных художественных развитиях с конца XVII века по настоящее время. Если представится возможность, для меня, впрочем, весьма вероятная, то было бы весьма желательно на трех средних лекциях услышать подлинное пение тех же самых примеров от певцов из старообрядцев, беспоповцев, болгар, сербов и греков, а также повторение примеров, исполненных на годовом собрании Общества 22 апреля с. г.

Для изучения и истолкования примеров мне будут нужны рояль (хотя бы какой-нибудь) и классная доска; вероятно, к началу чтений понадобится также налитографирование примеров, объемом до 2-х — 3-х листов. Программа чтений и занятий при сем прилагается.

7 мая 1905 года

Ст. Смоленский

Программа чтений и занятий по истории русского церковного пения, предполагаемая к исполнению во 2-м Отделении ОЛДП зимою 1905—1906 года

1-е чтение, 28 ноября 1905 года

Общий взгляд на состояние нынешнего церковно-певческого искусства и предстоящие горизонты его художественного развития на основаниях не только успехов музыкальной науки, но более всего на успехах нашего знаком-

ства с сокровищами нашей художественной старины и с достоинствами давно бывших у нас художественных движений.

Две составные части духовно-музыкального творчества: тематическая и сопровождающая, мелодии и их художественное сопровождение. Мелодии самостоятельно сочиненные, мелодии древних роспевов и мелодии, сочиненные в духе древних роспевов; художественные сопровождения к этим мелодиям в стиле западноевропейском или с народно-русским направлением.

Значительная зависимость свободного творчества от современных ему направлений общественных и умственных движений и оттого, в случаях поверхностных движений — быстро отцветающие направления свободного творчества. Здоровая, вековая, жизненная мощь свободного творчества, создающая себе направление, в случаях обоснованности ее на началах народных и последовательно развитых в течение веков. Оттого — умная доля народности и самостоятельности в будущем свободном творчестве как основанном на устоях, для нас постоянных в смысле русском и общекультурном; оттого — надобность изучения нашей народной музыки, в частности, нашего церковно-певческого искусства как подробно записанного во все века нашей истории, — и все-таки не стеснение, а еще большее расширение нашего свободного творчества в средствах его выражения.

Музыкальное наследство, хранимое в России в виде живых еще в народе древних церковных роспевов, хранимое в печатных изданиях тех роспевов, хранимое в рукописях крюковых и нотных, одноголосных и хоровых.

Разность оснований древнего и современного музыкального искусства. Мелодии древние и контрапунктическая их разработка в области естественных звукорядов. Темперационный строй нынешней музыкальной системы и значение современных диссонирующих гармоний.

Мелодии, ритмы и музыкальные формы современной музыки и в древней, насколько они очевидны в русских церковно-певческих рукописях.

Возможная почва будущего русского музыкального искусства, вытекающая из свободного сочинения в духе народного творчества, при пользовании древнецерковными и народными напевами, равно и при пользовании средствами нынешней музыкальной техники.

Общий вывод из этих положений как причина и цель настоящего курса и как указатель направления будущих занятий.

Практические и объяснительные занятия:

Объяснение це-фа-утного ключа и пение по нему; если найдется время — пение догматика 1-го гласа «Всемирную славу».

2-е чтение, 5 декабря

Несомненно точная связь нашего церковного пения с византийским по части употребления одинаковых текстов и соблюдения одинакового церковного устава. О дословном переводе богослужебных книг с греческого языка на славянский и о влиянии такой дословности на соблюдение у нас тех же литературно-стихотворных форм, как и в греческом оригинале. О сходстве в начертаниях некоторых греческих певчих знаков с нашими, доньше у нас сохранными, но изменившими свое певческое значение. Выводы из этих положений, в связи с дру-

гими данными, представляющимися в древнейших русских певческих рукописях.

Св. Иоанн Дамаскин и его Октоих. Система осмогласия как церковно-уставная дисциплина и как дисциплина собственно музыкальная. Неудачи недавних попыток уставить у нас теорию церковных гамм в применении собственно к нашим древним напевам. Надобность разгадать это основание нашей музыки и для того надобность двух параллельных разысканий: в области живых, но древнейших народных песен и в области наших древнейших церковно-певческих рукописей, где записаны еще самые простые изложения, может быть, в системе самого строгого музыкально-теоретического осмогласия.

Сомнения в возможности получить по этой части помощь от западной науки, где теории церковных ладов можно назвать только спутанными.

Современные объяснения осмогласия в наших древнецерковных напевах. Парные гласы. Попевки. Модуляции. Учение о преобладающих и об окончательных нотах как указывающих лады напевов. Древнерусская теория трихордов.

Практические и объяснительные занятия:

Чтение догматиков 1-го и 2-го гласов («Всемирную славу» и «Преиде сень законная»). Объяснение их формы по рифмованию строк и по построению текста.

3-е чтение, 12 декабря: Крюковое пение в России до Собора 1666 года

Краткий очерк нашего церковного пения по объему и составу наших древнейших рукописей. Предположения о существовании нашего церковного пения задолго до Крещения Руси. Разности древнейших нотаций греческой, болгарской, русской, армянской, грузинской и, особенно, сербской, как между собою, так и с невмами западной церкви. Кондакарное знамя.

Наши древнейшие певческие рукописи.

Предполагаемое 1-е преобразование русского знаменного письма в конце XIII или начале XIV века. Следы его в рукописях, и оттого возможность для нас пока читать с достаточною точностью только до этого времени.

Перерождение русского языка как одно из объяснений происхождения, в ряду других второстепенных причин, так называемого хомового, или раздельноречного пения. Два периода раздельноречия, или хомонии: первоначальный — как бы естественный поместный, соответствующий разным говорам, и позднейший — искусственный и потому чрезмерный. Аненайки и другие украшения в текстах XV—XVI веков.

Казанское знамя и первые следы самостоятельно созданного у нас контрапункта. «Путь» и «демество», «верх» и «низ» в крюковых хоровых партитурах. Расширение певческой литературы и начало упадка пения.

Практические и объяснительные занятия:

Чтение и объяснение догматиков 3-го и 4-го гласов: «Како не дивимся» и «Иже Тебе».

4-е чтение (продолжение), 19 декабря

Смутное время в Московской и Малой Руси, отражения его в певческом искусстве: полная беспорядочность пения на севере и начало нового — хоро-

вого искусства на юге, вследствие соревнования церковных братств с унией. Краткий очерк состояния южно-русского искусства. Общая картина русского церковно-певческого искусства к концу первой половины XVII века: непомерное развитие хомонии и самовольные переправы в богослужебных певчих книгах; композиторы, теоретики и полемисты: головщик Логгин, новгородец Аким Шайдуров, Опекалов, Арх[имандрит] Дионисий, инок Евфросин, Агафоник и др. — двоеение и троеение пения в храмах.

Комиссии старца Александра Мезенца и 2-е преобразование русского знаменного письма к Собору 1666 года.

Практические и объяснительные занятия:

Чтение и объяснение догматиков 5-го и 6-го гласов: «В Чермнем мори» и «Кто Тебе не ублажит».

5-е чтение, 9 января 1906 года: Нововведения второй половины XVII века

Столкновение старого и нового искусства по доводам, изложенным в «Предисловиях» к «Извещению о согласнейших пометах» старца Александра Мезенца и к «Муסיкии» диакона Иоанникия Трофимова Коренева.

Краткий обзор состояния «преискренняго польскаго художества» в эту же пору и обзор «Муסיкийской грамматики» Дилецкого.

Сущность преобразования, сделанного в древнем знаменном пении комиссией Мезенца и последствия такого преобразования теоретические и практические.

Значение возникновения раскола для истории русского церковного пения. Пение и певческие книги старообрядцев — поповцев и беспоповцев.

Расширение русского церковного пения от допущения в богослужебную практику напевов киевских, западно-русских, болгарских и греческих в переводах их на пятилинейные ноты.

Сущность перемены художественного направления, указываемого «Муסיкиею» Коренева.

Новые искусства, указываемые «Грамматикою» Дилецкого.

Практические и объяснительные занятия:

Чтение и объяснение догматиков 7-го и 8-го гласов: «Мати убо позналася еси» и «Царю небесный».

6-е чтение, 16 января

Три духовно-певческие литературы и соответствующие им три богослужебные певческие литературы нового художественного направления с конца XVIII века до начала влияния приезжих иностранцев.

Древние стихи «покаяльны и беседны» и перерождение их в новые духовные стихи, также и в стихи раскольников.

Древние одноголосные русские и иноземные роспевы и новые хоровые их изложения в гармоническом складе на разное число голосов.

Древнее контрапунктическое сложение, видимое в крюковых партитурах, и новые свободные сочинения в литературе хоровых кантов и псалмов, а также и огромное число вновь сочиненных концертов.

Краткие характеристики всех этих отделов. Примеры гармонизаций и свободных композиций этого времени.

7-е чтение, 23 января

Учреждение хора «камер-певчих» и начало влияния приезжих итальянцев на русское церковное пение. Общая картина русского церковно-певческого искусства в расколе и в господствующей церкви.

Цоппис, Галуппи, Сарти как русские духовно-музыкальные сочинители. Сочинения их с сопровождением оркестра. Первые их ученики и последователи, водворившие господство у нас итальянского искусства. Краткая характеристика достоинств музыки итальянцев XVIII века.

Примеры сочинений итальянцев и их учеников.

8-е чтение, 30 января

Краткие биографии Березовского, Дегтярева, Бортнянского и Веделя. Отпор их направлению, выразившийся в опрощении бывших до них гармонизаций и композиций, утвердившихся вне больших городов. Киевский хоровой распев.

Начало церковно-певческого возрождения. Издание Св. Синодом четырех певческих нотных книг с 1772 года. Деятельность Бышковского, «Краткие правила ирмологического пения» изд. Феофиста, епископа Курского, 1801. Первые издания «Обихода» Придворной Капеллы и первые сочинения и переложения Бортнянского.

Начало духовно-певческой цензуры.

Проект Бортнянского об издании знаменного Круга.

9-е чтение, 6 февраля

Возрождение церковно-художественное. Деятельность директоров Придворной Капеллы Ф. П. и А. Ф. Львовых. Служба М. И. Глинки в Придворной Капелле. Деятельность прот. П. И. Турчанинова. Издание переложений древних роспевов Львова, Воротникова и Ломакина. «Придворный Обиход».

Усиление духовно-певческой цензуры. Столкновения Львова с московскими певцами. Трактат Львова «О свободном несимметричном ритме».

Практические и объяснительные занятия:

Догматики знаменного распева в «московской» певческой редакции и в переложении Львова. Сочинения архимандрита Феофана, переложения Турчанинова.

10-е чтение, 13 февраля (продолжение)

Московское творчество: сочинения Багрецова, иеромонаха Виктора, также Эсаулова и других и борьба с ними в Петербурге и Москве. Деятельность директора Придворной Капеллы Н. И. Бахметева. Новое издание «Придворного Обихода». Усиление духовно-певческой цензуры при Бахметеве и судебный процесс из-за конфискации «Литургии» Чайковского.

Практические и объяснительные занятия:

Сочинения Багрецова, Эсаулова; догматики — по Обиходу, исправленному под руководством Бахметева. Некоторые духовно-музыкальные сочинения Бахметева и Чайковского.

*11-е чтение, 20 февраля**Возрождение церковно-археологическое*

Краткие биографии и характеристики деятельности: кн. В. Ф. Одоевского, Н. М. Потулова, прот. Д. В. Разумовского и Ю. К. Арнольда. Обзор их сочинений в связи с открытием Московского Общества любителей церковного пения. Его издания. Открытие Московского Синодального училища церковного пения. Усиление преподавания древнего пения в духовно-учебных заведениях. Отпечатание «Знаменного Круга» ОЛДП. Новое усиление духовно-певческой цензуры в Св. Синоде.

12-е чтение, 27 февраля (продолжение)

Деятельность Придворной Капеллы по восстановлению древних роспевов при М. А. Балакиреве и Н. А. Римском-Корсакове. «Всенощные бдения» в изданиях Капеллы, Чайковского и о. В. М. Металлова. Переложения и сочинения А. А. Архангельского, Г. Ф. Львовского и др. Новые веяния в разработке церковных древних напевов, проявившиеся в сочинениях и переложениях А. Д. Кастальского, П. Г. Чеснокова и Н. И. Компанейского.

Дополнительные занятия после чтений 6, 7 и 8, по части объяснения теории крюкового письма, могут быть предложены только по заявлениям достаточного числа слушателей.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1461, л. 1—5. Переплетенная в картон тетрадь с наклейкой: «Программа чтений и занятий по истории русского церковного пения С. Смоленского». Машинописная копия

Как ясно из комментариев к письмам, курс публичных лекций Смоленского в зале Фонтанного дома, на чтение которого были получены все необходимые разрешения, не был проведен ввиду политических событий осени 1905 года. Можно полагать, что его программа до известной степени совпадает с программой того курса, который Смоленский в это же время начал читать в Петербургском университете, хотя несомненно, что университетский курс был пространнее.

В комментариях упоминалось также, что в архиве Н. Ф. Финдейзена в РНБ сохранился черновик текста двух первых чтений (ф. 816, оп. 3, № 2649); начало его написано на бланке с печатью 2-го отдела ОЛДП. Этот текст до сих пор не издан, и неизвестно, продолжил ли Смоленский запись чтений, так как уже к октябрю 1905 выяснилась невозможность проведения курса.

З. М. Гусейновой опубликована более ранняя «Программа курса лекций по истории церковного пения в России», отражающая опыт работы Смоленского в Московской консерватории (см.: Петербургский музыкальный архив. Вып. 3 СПб., 1999. С. 106—109).

5. Дело о Регентском училище

Преподаватели Регентского училища — С. Д. Шереметеву

Петербург, [3 ноября 1909]

Ваше Сиятельство.

Сочувственное расположение Вашего Сиятельства к делу регентского образования на началах, выработанных Степаном Васильевичем Смоленским, обязывает нас представить Вашему Сиятельству настоящее положение учрежденного Степаном Васильевичем Училища.

После смерти Степана Васильевича, нашего дорогого учителя и руководителя, мы, преподаватели Регентского Училища, участвовавшие вместе с ним в ведении дела в первые два года, решили продолжать начатое дело в память Степана Васильевича, по его заветам и указаниям.

1909/10 учебный год Училище начало в новом помещении, намеченном еще покойным при жизни (Мытнинская 5, Коммерческое училище М. А. Минцловой).

Число учащихся — 25 человек — составилось из 18 прежних учеников, оставшихся для продолжения образования, и 7 вновь принятых. Стипендиатов от епархий, которые предполагались по одобренному Св. Синодом проекту Степана Васильевича, до настоящего времени не поступило ни одного; почти все епархии еще при жизни Степана Васильевича поставили Училище в известность об отказе в присылке стипендиатов.

Материальное положение Училища является довольно тяжелым вследствие необеспеченности большинства учащихся и такого числа их, которое не может оправдать всех необходимых по Училищу расходов. К тому же денежные остатки от щедрого дара Его Императорского Величества, Государя Императора, от стипендий Вашего Сиятельства и Ее Высокопревосходительства А. Н. Нарышкиной должны были подвергнуться задержанию в депозитах Суда вплоть до утверждения в правах наследства супруги покойного (что состоится не ранее февраля-марта 1910 года).

Такое положение вынудило нас временно заниматься в Училище без всякого вознаграждения: прекратить начатое Степаном Васильевичем дело представлялось нам крайне тягостным, как ввиду его важности и необходимости, так и ради памяти незабвенного Степана Васильевича.

А. Преображенский
П. Петров
Н. Ковин
П. Толстяков

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 1 декабря 1909

Ваше Сиятельство Граф Сергей Дмитриевич.

От имени преподавателей Регентского Училища, учрежденного покойным С. В. Смоленским, имею честь представить Вашему Сиятельству сведения о предстоящем лишении Училища на 1910 год субсидии Св. Синода в 1000 рублей.

В 1908 году Св. Синод постановил выдавать Регентскому Училищу ежегодно по 1000 рублей в течение трех лет. За два года (1908 и 1909) сумма эта действительно была получена самим Степаном Васильевичем. Но в настоящее время — по собранным сведениям — Училищный Совет при Св. Синоде, в смете которого значится предполагаемая субсидия, готовит на днях доклад Св. Синоду о прекращении с 1910 года выдачи субсидии.

Ввиду близости срока рассмотрения и утверждения сметы само Училище, предполагавшее неизменность постановления Св. Синода о выдаче 3000 рублей на три года с 1908-го, едва ли успеет войти с решающим ходатайством о продолжении субсидии, и потому, памятуя неизменно благожелательное отношение Вашего Сиятельства к созданию покойного Степана Васильевича, осмеливаемся обратиться к Вашему Сиятельству с почтительнейшею просьбою о возможном содействии к сохранению за Училищем субсидии от Св. Синода в 1000 рублей на предстоящий 1910 год. Лишение этой суммы окажется необыкновенно тяжелым для Училища и может привести к окончательному закрытию его.

Вашего Сиятельства почтительнейший и преданный слуга,
преподаватель Регентского Училища А. Преображенский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 6—7

С. Д. Шереметев — обер-прокурору Св. Синода С. М. Лукьянову

Петербург, 3 декабря 1909

Искренно уважаемый Сергей Михайлович.

Принимая близко к сердцу нужды основанного С. В. Смоленским Регентского Училища, встревожен известием, будто Училищный Совет при Св. Синоде, в смете которого значится предполагаемая субсидия (выдаваемая в размере 1000 рублей), готовит на днях доклад Св. Синоду о прекращении выдачи этой субсидии. Лишение этой суммы окажется необыкновенно тяжелым для Училища и может привести к окончательному закрытию его. Неужели подобный исход соответствует признанию значения этого Училища, связанного с почтенным именем Смоленского, столь безвременно отошедшего, но оставившего в лице А. В. Преображенского достойного и даровитого продолжателя в области церковно-певческого искусства.

Прошу Ваше Высокопревосходительство принять уверение в истинном моем почтении и совершенной преданности.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 9. Копия

С. Д. Шереметев — А. В. Преображенскому

Петербург, 3 декабря 1909
Лукьянову написал. Копию с письма моего пришлю к Вам. Шереметев

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 10. Копия телеграммы

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 8 декабря 1909

Ваше Сиятельство, высокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич.

Спешу сообщить только что — не без труда — полученное мною достоверное известие, что протокол Синодального заседания, в котором рассматривалось дело о субсидии Регентскому Училищу на 1910 год, «задержан», так как докладу Училищного Совета хода не дано. Больших подробностей о том, каково будет окончательное решение Синода, узнать пока не мог, но, очевидно, письмо Вашего Сиятельства возымело свое действие. Нет слов выразить Вашему Сиятельству нашу благодарность за скорое просвещенное заступничество.

От глубины души благодарю Ваше Сиятельство и за оказанную мне незаслуженную высокую честь приглашения в дом Вашего Сиятельства и глубоко ценю Ваше внимание ко мне.

Вашего Сиятельства почтительнейший и преданный слуга

А. Преображенский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 11

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 7 января 1910

Не могу ли просить Ваше Сиятельство назначить день и час для личного доклада.

Преображенский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 12

С. Д. Шереметев — А. В. Преображенскому

Петербург, 10 января 1910

Милостивый Государь Антонин Викторович.

Могу Вам сообщить, что вчера был у А. Н. Нарышкиной; она выразила мне свое удовольствие, что познакомилась с Вами, но повторила мне то, что Вам сказала относительно Консерватории и герцогини Альтенбургской, добавив, что в Консерватории теперь у нее сидит какая-то приятельница.

Я возражал по существу и высказал убеждение в живучести дела, начатого Степаном Васильевичем, а равно и в том, что необходимая для поддержки его сумма найдется, что мало того, следовало бы хлопотать о помещении и что во всяком случае я от него не отстранюсь. Что же касается сомневающихся в успехе, то им следует по крайней мере воздержаться от заключений в течение года, так как положение должно выясниться именно в этот срок, и время покажет, продолжит ли Синод свою поддержку и найдутся ли другие желающие поддержать живое и полезное дело. Она как будто задумалась и затем предложила устроить Постом в нашей зале, по прежним примерам, вечер, посвященный в память Степана Васильевича, и устроить это в течение Великого поста, установив сбор в пользу Регентского Училища. Я, конечно, выразил полную готовность и полагаю, что одно другому не мешает, вечер вечером, а добывание необходимых обеспечивающих средств своим чередом. Отделить личность Степана Васильевича от завещанного им дела для меня, по крайней мере, невысказано.

Быть может зайдете в среду вечером, и тогда поговорим. Знакомы ли Вы с П. Н. Шеффером, большим поклонником Степана Васильевича? Он также у меня будет. Его следовало бы познакомить с положением как человека, могущего быть полезным извне.

Итак, надеюсь до свидания.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 13—13 об. Машинописная копия

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

[Петербург, 10 января 1910]

Глубоко благодарен Вам, Ваше Сиятельство, за извещение. С Петром Николаевичем Шеффером знаком по Обществу. В среду постараюсь быть.

Преображенский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 14. Телеграмма

Записка о положении Регентского училища, учрежденного С. В. Смоленским в 1907 году

Расход

На подготовительном курсе преподаются: 1. Церковное пение. 2. Управление церковным хором. 3. Элементарная теория музыки. 4. Сольфеджио. Каждый предмет по 2 часа в неделю 8 часов.

На первом курсе: 1. Церковное пение. 2. Чтение хоровых партитур. 3. Гармония. 4. Сольфеджио. Каждый — по 2 часа 8 часов.

На втором курсе: 1. Церковное пение. 2. Чтение хоровых партитур. 3. Гармония. 4. Сольфеджио. Из них Гармония — 4 часа 10 часов.

Сверх того, на всех трех курсах: 1. Церковный Устав — 1 ч. 2. Методика обучения пению — 1 ч. 3. История церковного пения и музыки — 2 часа, а всего 4 часа.

Всего на трех курсах учебных часов в неделю 30 часов.

В это число не входят уроки фортепиано и скрипки.

Плата преподавателям за годовой час положена в 60 рублей, следовательно за 30 уроков следует уплатить 1800 рублей.

Плата за помещение, освещение и прислугу 1000 рублей.

Расходы по содержанию в порядке инструментов и др . . 200 рублей.

Итого: 3000 рублей

Примечание: В цифру расхода не внесена плата преподавателям фортепиано и скрипки, так как они получают по 40 руб. в год с каждого ученика из платы за право учения в 100 руб.

Приведенная смета является минимальной. Осуществление в полной мере надлежащей постановки регентского образования, как оно предполагалось С. В. Смоленским, требует введения в смету некоторых дополнительных расходов. Так, в подготовительном курсе желательно увеличение числа уроков по управлению церковным хором с 2 до 4 часов в неделю 2 часа

и введение особого урока для музыкального диктанта . . . 1 час.

На 1 и 2 курсе желательно ввести изучение древнерусских церковных роспевов и русской народной песни, на что необходимо 2 часа, увеличение числа уроков по чтению партитуры (знакомство с хоровой литературой), на что необходимо 2 часа.

Итого: 7 часов.

Стоимость этих дополнительных 7 часов, по 60 руб. каждый — 420 руб.

Кроме того, для практических занятий учеников 1 и 2 курсов необходимо возобновление Хорового Класа из любителей пения, под руководством отдельного преподавателя.

На содержание Хорового Класа — 300 руб.

А всего дополнительных расходов — 720 руб.

Открытие при Училище не существующих в настоящее время 3 и 4 курсов не может быть осуществлено ввиду полной невозможности оплаты предметов этих курсов силами самих учеников, хотя бы даже и в третьей доле.

Приход

Так как Училище с каждого ученика из платы в 100 руб. получает (за вычетом 40 руб. за уроки фортепиано и скрипки) 60 руб., а количество учеников колеблется около цифры 25, то приход 1500 руб.

Примечание: Ввиду исключительной бедности учеников взносы за право учения при самой широкой рассрочке уплаты поступают неаккуратно и иногда не в полной сумме.

Ежегодная субсидия Св. Синода 1000 руб.

Итого: 2500 руб.

Расход: 3000 руб.

Итого расход превышает приход на 500 руб.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 15—16

С. Д. Шереметев — А. В. Преображенскому

Петербург, 14 января 1910

Милостивый государь Антонин Викторович.

Прочел с большим вниманием данную мне Вами вчера записку. Хотелось бы выяснить, существует ли мой стипендиат, и вообще, желательно ли продолжение пособия в таком виде или же лучше сделать это иначе?

До свидания в пятницу.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 17. Копия

С. Д. Шереметев — А. В. Преображенскому

Петербург, 18 января 1910

Милостивый государь Антонин Викторович.

Глубоко сочувствуя живому делу, завещанному незабвенным Степаном Васильевичем Смоленским, прошу Вас принять прилагаемые при сем пятьсот рублей (500) на покрытие дефицита в росписи содержания Регентского Класа, основанного С. В. Смоленским.

Примите уверение в истинном моем почтении и совершенной преданности.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 18. Копия

С. Д. Шереметев — А. В. Преображенскому

Петербург, 18 января 1910

Милостивый государь Антонин Викторович.

Весьма желал бы с Вами переговорить по поводу торжественного заседания Общества Ревнителей Русского Исторического Просвещения в память Императора Александра III, имеющего состояться 26 февраля сего года, при обширной аудитории, во время которого крайне желательно было бы выслушать только одно музыкальное произведение, буде возможно, хором любителей за определенное заранее вознаграждение.

Почитаю крайне желательным, в интересах Регентского Класса, устроить вечер в память Степана Васильевича в течение Великого поста, для чего готов предложить мою залу, по примеру бывших уже вечеров при жизни Степана Васильевича. Сему чрезвычайно сочувствует А. Н. Нарышкина, содействие которой тем самым может обеспечить. Обо всем этом хотелось бы с Вами поговорить и буду Вас, согласно уговору, ожидать в 5 1/2 часов.

Примите уверения в истинном моем почтении и совершенной преданности.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 19. Копия

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 21 января 1910

Я вчера имел беседу с Александрой Николаевной о концерте. Она предполагает быть у Митрополита Антония в воскресенье. Подробности пока еще не выяснены. Об этом долгом считаю сообщить Вашему Сиятельству. Преображенский

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 20. Телеграмма

С. Д. Шереметев — А. В. Преображенскому

Петербург, 27 января 1910

С Нарышкиной отправляемся в понедельник к Митрополиту относительно хора. Не зайдете ли завтра вечером. Шереметев

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 21. Копия телеграммы

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 8 февраля 1910

Позвольте принести Вашему Сиятельству мою искреннюю благодарность за внимание. Я только что говорил с Терновым. Он уже получил положительную инструкцию, но не осмеливается письменно доложить о том Вашему Сиятельству. Формальный ответ, очевидно, случайно задерживается.

Преображенский

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 24. Телеграмма

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 12 марта 1910

Ваше Сиятельство, глубокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич.

Одновременно с телеграммой Вашего Сиятельства я получил ответ от Александры Николаевны [Нарышкиной]. Считаю за лучшее приложить его в подлиннике. Очевидно, концерта не будет, так как «очень интересный» и «отменно-великолепный» концерт по представлению А. Н. не может иметь в своей программе то, что должно быть исполнено по нашим понятиям.

Предположения Вашего Сиятельства об участии Александры Николаевны в деле покойного Степана Васильевича начинают сбываться. Последняя фраза письма о необходимости «советоваться» с Вами, так как Вы «все должны решить», а не она, — очень напоминает речь об отказе в содействии к устройству концерта.

Искренно преданный, Вашего Сиятельства покорный слуга

А. Преображенский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 22. Письмо А. Н. Нарышкиной в деле отсутствует.

А. Н. Нарышкина — С. Д. Шереметеву

Петербург, 15 марта 1910

Любезнейший граф. Боюсь, что Вы не застанете меня, если вздумаете приехать завтра — вторник. Дома не буду от 2-х до 6-ти, а в среду — милости прошу — решить концерт. Сердечный привет.

А. Нарышкина.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 25

С. Д. Шереметев — А. В. Преображенскому

Петербург, 16 марта 1910

Милостивый государь Антонин Викторович.

Возвращая при сем письмо А. Н. Нарышкиной, спешу передать Вам, что я ей ответил присоединением к ее взгляду, с выражением готовности содействовать этому делу в будущем сезоне. Тем более, добавил я, что дело стоит твердо и завет Степана Васильевича войдет в жизнь, что для меня самое дорогое.

Вдова Степана Васильевича подала в Комиссию прошений относительно дополнительной пенсии и получила отказ. Жаль, что не дала мне возможности предупредить барона Будберга. Впрочем, мало было надежды на успех. Почему бы ей не дать нам некоторых писем Степана Васильевича для напечатания в «Старине и новизне»?

Нельзя ли Вам напомнить регенту Митрополичьего хора, чтобы прислал мне расчет для уплаты за пение панихиды 26 февраля.

Остаюсь здесь до конца пятой недели [Великого поста].

Преданный Вам С. Шереметев.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 23. Копия

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 2 апреля 1910

Ваше Сиятельство, глубокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич.

Прошу извинить мне мое молчание о хоре. Вопрос этот обсуждался в собрании преподавателей Регентского Училища, но окончательного решения по нему еще не принято, так как необходимо было войти в переговоры с лицом, которое взяло бы на себя заведование хором. Ответ его ожидается на днях, и я не замедлю представить Вашему Сиятельству наши предположения. В настоящий раз могу лишь уверить Ваше Сиятельство, что мы глубоко ценим новый знак внимания Вашего к делу Регентского Училища и доверия к его руководителям и убеждены, что нам удастся составить надобный хор из опытных певцов. Отношение его к предположенному Хоровому Классу в Училище пока также остается невыясненным, но мы решили сначала организовать хор для церкви Вашего Сиятельства, а потом уже воспользоваться его составом для устройства нашего Хорового Класса.

Вашего Сиятельства покорный слуга А. Преображенский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 26

**Справка о Регентском училище,
учрежденном С. В. Смоленским в С.-Петербурге**

На Приготовительном курсе преподаются:

Церковное пение — 2 часа в неделю	
Управление хором и чтение партитур — 3 часа	
Сольфеджио — 2 часа	
Элементарная теория музыки — 2 часа	Всего 9 часов

На I курсе:

Церковное пение — 2 часа	
Чтение хоровых партитур — 2 часа	
Гармония — 3 часа	
Сольфеджио — 2 часа	Всего 9 часов

На II курсе:

Церковное пение — 2 часа	
Чтение хоровых партитур — 2 часа	
Гармония — 3 часа	
Сольфеджио — 2 часа	Всего 9 часов

На III курсе:

Изучение хоровой литературы — 2 часа	
Контрапункт строгого и свободного стиля — 2 часа	
История церковного пения и музыки — 2 часа	
Педагогика и эстетика — 1 час	
Методика обучения пению — 1 час	Всего 8 часов

Сверх того на Приготовительном, 1 и 2 курсах преподаются: История церковного пения и музыки — 2 часа, Церковный устав — 1 час, Методика обучения пению — 1 час и на 2—3 курсе — Изучение русской народной песни. Всего — 5 часов.

Итого — общее количество часов — 40.

Приход

Получено от Его Сиятельства графа С. Д. Шереметева	300
Субсидия Св. Синода Регентскому Училищу	1000
Взносы учеников за право обучения	1900
Числится недоимкою за учениками	600
Выручено от продажи изданий Регентского Училища	150

Итого:	3950
Расход:	4100
	150

Расход

На наем помещения для Регентского Училища	1000
Плата преподавателям за 40 годовых часов по расчету 60 руб. годовой час	2400
Руководителю Хорового Класа за 4 недельных урока	200
Объявления, литографии, ноты для Хорового Класа	100
Расходы по содержанию Училища, настройке инструментов, приобретению пособий и проч	200

Итого:	4100
Расход:	3950
	150

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 27—28

Ведомость о состоянии Училища за 1910—1911 год

В 1910/11 учебном году в Регентском Училище было открыто 4 курса: Приготовительный, на котором было 14 учеников, 1-й — 9 учеников, 2-й — 6 учеников и 3-й, учительский, с 6 учениками.

На Приготовительном курсе преподавались: Изучение церковного пения, Управление хором, Сольфеджио и муз. диктант и Элементарная теория. Всего 9 уроков.

На первом курсе: Изучение церковного пения, Чтение хоровой партитуры, Сольфеджио и муз. диктант, Гармония. Всего 9 уроков.

На втором курсе: Изучение церковного пения, Чтение хоровых партитур, Сольфеджио и муз. диктант, Гармония. Всего 9 уроков.

На третьем (учительском) курсе: Изучение хоровой литературы, Методика преподавания пения, Педагогика, Дидактика, Контрапункт и Формы музыкальных сочинений. Всего 7 уроков.

Кроме того для всех курсов преподавались: История церковного пения, История музыки, История русской народной песни, Постановка голоса, Методика преподавания пения в начальной школе. Всего 6 уроков.

На всех курсах было всего 40 часов.

Изучение игры на фортепиано и скрипке происходило в отдельных занятиях каждого ученика с преподавателем два раза в неделю по каждому предмету.

Учеников было в Училище всего 35 человек.

С них было получено взносов за обучение 2 228 руб.

От Св. Синода вспомоществование 1 000 руб.

От Его Сиятельства графа С. Д. Ш.	300 руб.
Всего	3 528 руб.

Недополучено было взносов за обучение свыше 600 руб., так как два ученика по бедности были обучаемы бесплатно, с обязательством уплаты денег по их поступлении на места, один ученик, Осокин, как стипендиат Ее Высочайшего Превосходительства А. Н. Нарышкиной, не внес платы за обучение, и многие, по бедности, не доплатили взносов. Сверх того, от продажи изданий Училища было выручено около 100 руб., то есть всего в приходе было 3 628 руб.

Расходы Училища:

Наем помещения	1000 руб.
Плата преподавателям по 50 руб. за час	2000 руб.
За уроки фортепиано и скрипки	1150 руб.
За публикации, инструменты и др. расходы	100 руб.
Итого	4250 руб.,

то есть перерасход составляет около 600 руб. Он был покрыт из сумм следующего учебного года (взносов учеников за новое полугодие), а также из сумм, вырученных от продажи изданий Училища.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 29—40

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 2 мая 1911

Ваше Сиятельство, глубокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич.

Осмеливаюсь просить Вас о назначении дня и часа, когда я мог бы лично представить Вашему Сиятельству доклад о состоянии Регентского Училища и ответ по поводу рукописи Дегтярева «Боже, Боже мой».

Вашего Сиятельства покорный слуга А. Преображенский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1386, л. 1

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 24 января 1912

Ваше Сиятельство, глубокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич.

Прошу извинить, что замедлил сообщением об участии Митрополичьего хора 26 февраля: в воскресенье я получил от регента хора уведомление о том, что хор будет петь 26 февраля в собрании Общества Ревнителей Исторического Просвещения. Согласно высказанному Вашим Сиятельством желанию будет исполнена Панихида — обычного напева, а «Со святыми упокой» — С. В. Смоленского.

Что касается пения после Панихиды, то регент Митрополичьего хора предлагает: 1. «Приидите ублажим» — Бортнянского. 2. «Предстояще Кресту» — Львова. 3. «Кресту Твоему» — Чеснокова или 4. Стихиры Креста — «Приидите вернии» и «Днесь Владыка твари».

Я буду ожидать Вашего, граф, указания.

Вашего Сиятельства покорный слуга А. Преображенский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1386, л. 2

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 12 июня 1912

Регентское дело по заветам незабвенного основателя своего открыло вторые летние регентско-учительские курсы в присутствии ста регентов и учителей со всех концов России. Памятуя неизменно благосклонное внимание Вашего Сиятельства к училищу и его делу, от лица преподавателей и слушателей почтительнейше прошу принять нашу глубокую благодарность за дарованную училищу, по настоянию Вашего Сиятельства, возможность послужить делу распространения церковно-певческого просвещения. Преображенский

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 41—42. Телеграмма

С. Д. Шереметев — А. В. Преображенскому

[Михайловское?], 13 июня 1912

Примите лично и передайте господам преподавателям и слушателям глубокую благодарность мою за дорогое для меня внимание Ваше. Душевно радуюсь развитию и успехам святого дела, завещанного всем нам незабвенным Степаном Васильевичем.

Гр. С. Ш.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 43. Телеграмма

А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву

Петербург, 11 июля 1912

Ваше Сиятельство, глубокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич.

Прошу простить мне нескорый ответ. Я передал г. Чернову выражение благодарности Вашего Сиятельства за книгу «Минин и Пожарский» и переговорил с прежним регентом хора Вашего Сиятельства: он обещался устроить и хор и устранить в его пении те недостатки, какие замечались раньше.

Пользуюсь случаем несколько подробнее сообщить Вашему Сиятельству о положении Регентского Училища. Кажущееся благополучие его существования не устраняет у меня мысли о невозможности дальнейшего развития Училища по плану покойного Степана Васильевича. Прошли первые пять лет жизни Училища (основано в 1907), но надо сказать, что оно не имеет уверенности в завтрашнем дне: у него нет никаких средств ни для того, чтобы пошире публиковать о себе, — а в провинции все еще мало знают Училище, — ни для того, чтобы пополнить скудные запасы своих учебных пособий, ни для того, наконец, чтобы удержать у себя тех бедняков-учеников, которые имеют возможность учиться только при какой-либо посторонней материальной помощи. Я не говорю уже о том, что многие из преподавателей скрепя сердце — как говорится — отдают свой труд Училищу за ничтожное вознаграждение в 48 руб. за годовую урок: это, конечно, трудно устранимый недостаток, так как повышать годовой взнос учеников нельзя, — для большинства из них и настоящая плата в 100 руб. непосильна. Между тем при бюджете в 3500 руб. Училище должно ежегодно платить 1000 руб. только за помещение. Но главное в том, что при таких обстоятельствах думать об осуществлении плана Степана Васильевича решительно невозможно. Училище теперь имеет три отделения вместо пяти; количество учащихся не превосходит 25—30; отсутствует хоровой класс; свободных средств — никаких. За протекшие пять лет оно сводило концы с концами чрезвычайно неровно и только благодаря покровительству Вашего Сиятельства и отчасти своему небольшому издательству пособий и руководств. Но продолжать дело этого издательства дальше Училище не в состоянии, для этого нет средств. Прибыль от продажи изданий помогала нам покрывать дефицит по содержанию Училища, но и этот источник приходит к концу.

Мысль Степана Васильевича о распространении регентского образования привела нас к устройству при Училище кроме зимних (сентябрь — май) занятий — кратких (6 недель) летних Регентско-Учительских курсов. Второй опыт нынешнего года, как и первый прошлого, оказался очень удачным: приехало около 100 слушателей, и Курсы пока окупают себя. Для самого Училища они очень важны в смысле большей связи с регентским мирком и в смысле поддержания репутации Училища, но опять-таки при плате со слушателя в 30 руб. Курсы не могут оказать существенной материальной помощи Училищу. Поэтому приходится ограничиваться тою небольшою по существу работой Училища, которая выражается в конечном результате выпуском ежегодно 5—8 регентов, и дело Училища сводится к самой обыкновенной школьной подготовке среднего регента.

Я позволил себе изложить эти соображения в целях осведомленности Вашего Сиятельства об истинном положении Регентского Училища, учрежденного Степаном Васильевичем с значительно более широкими целями.

Вашего Сиятельства покорный слуга А. Преображенский.

С. Д. Шереметев — А. В. Преображенскому

[Михайловское?], 14 июля 1912

Милостивый государь Антонин Викторович.

Письмо Ваше, только что мною полученное, меня поразило тем, что впервые слышу от Вас столь минорный тон по столь интересующему нас делу. Вы задели меня за живое Вашей мрачной безотрадной картиной. Но что грустнее всего — то, что Вы ничего не предлагаете и ни на что не указываете для борьбы и поддержки признаваемого Вами безнадежным дела. Неужели ж нет возможности сплотиться и сплотить вокруг подымаемого стяга и не время ли теперь, когда столько говорят об обновлении церковном, выдвинуть этот вопрос существенного значения. Если б я был моложе, да жив был человек, которому только что поставили памятник [император Александр III], поверьте, нашелся бы отклик всему истинно народному. Не хочется верить, чтобы Вы были в таком мрачном настроении. Мне кажется, если бы была составлена записка руководительная о значении того, что рискуем потерять, то путем ее возможно было бы начать разговор и первое действие. Если бы Вы выдвинули это дело и этот вопрос из Вашего отдела О.Л.Д.П., то нашлась бы и почва более твердая для начинания. Скажите мне откровенно Ваше мнение и не слишком предавайтесь унынию.

Преданный Вам С. Шереметев.

*РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 3937, л. 46—46 об. Копия***А. В. Преображенский — С. Д. Шереметеву**

Петербург, 15 мая 1913

Ваше Сиятельство, глубокоуважаемый граф Сергей Дмитриевич.

Все мои попытки узнать о судьбе проекта реорганизации Регентского Училища доселе не увенчались успехом. В Канцелярию Обер-Прокурора проект не поступал, и надо думать — лежит в портфеле его. Это вероятно и потому, что наступило «каникулярное» время, и у Обер-Прокурора теперь немало других забот, конечно — более важных и неотложных. Ждать в скором времени движения проекта едва ли можно. Впрочем, с своей стороны Регентское Училище вынуждено еще раз напомнить о себе Св. Синоду: мы отправляем ходатайство о продолжении Училищу денежной субсидии на 1914 год по примеру прошлых лет.

Готовимся к устройству с 17 июня летних Регентско-Учительских курсов, так охотно посещаемых учителями пения и регентами со всех концов России. Это уже третьи Курсы, и в настоящем году многие из слушателей получают регентские дипломы от Придворной Капеллы. Для нашего «частного» Регентского Училища — хорошая рекомендация.

Ваше Сиятельство, положение хора при вашей домово́й церкви — для меня не тайна: я знал, что были допущены значительные отклонения от нормы,

но сделать ничего не мог. К Пасхе из хора ушли главные силы, и их пришлось заменить случайными певцами. Ушли только потому, что нашли более выгодным для себя уехать в провинцию в качестве... театральных хористов. Тяжело говорить об этом, но ведь в их положении все измеряется количеством заработка: предложили больше — и ничто не в силах было удержать их на прежнем месте. Немалое вознаграждение певцов Вашего хора оказывается недостаточным для них, так как в других хорах при большем количестве служб и работы они получают лучшее содержание. Вопрос о наилучшем устройстве хора с осени решить не легко. Мысль Вашего Сиятельства обратиться к Тернову с предложением организовать приличный хор может, мне думается, служить лучшим исходом из создавшегося положения; боюсь только одного, что у Тернова не хватит времени для надзора за хором.

Что касается регента хора для церкви в Михайловском, то в случае отказа Кастальского рекомендовать такого регента, не позволите ли мне подыскать подходящего кандидата среди тех курсистов, которые съедутся к нам в Училище на лето. Из провинциалов скорее можно найти желающих иметь такое место. К сожалению, это может быть только в конце июля.

Вашего Сиятельства покорнейший слуга А. Преображенский.

РГАДА, ф. 1287, оп. 1, № 1386, л. 4—6

Эта подборка документов, в значительной степени сформированная С. Д. Шереметевым (под названием «Дело о Регентском училище С. В. Смоленского. 4 ноября 1909—1912»), красноречиво свидетельствует о судьбе того дела, которое было главным для Смоленского в последние годы жизни — Регентского училища со всеми его подразделениями (летние курсы, хоровой класс, издательская деятельность). Документы показывают, сколь верным и стойким оказался наследник Смоленского — А. В. Преображенский, который перенял практически все дела Степана Васильевича: по Регентскому училищу, по Обществу любителей древней письменности, по Обществу ревнителей и даже по подысканию регентов для домовых храмов графа Шереметева. В свою очередь Сергей Дмитриевич, как видно, сделал более, чем кто-либо другой, для того, чтобы поддержать начинания безвременно ушедшего человека, которого он исключительно высоко ценил и считал своим другом.

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА
В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ

Том VI

С. В. СМОЛЕНСКИЙ И ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТЫ
Переписка с С. Д. Шереметевым и К. П. Победоносцевым

Книга I

Издатель А. Кошелев

Зав. редакцией М. Тимофеева
Корректор О. Онинко
Оператор Е. Зуева
Оригинал-макет подготовлен Ю. Евстигнеевой

Подписано в печать 15.07.2008. Формат 70 × 100¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Mysl.
Усл. печ. л. 67,28. Тираж 800 экз. Заказ № 9576.

Издательство «Языки славянских культур».
№ государственной регистрации 1037789030641.
Тел.: 607-86-93. E-mail: lrc.phouse@gmail.com
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

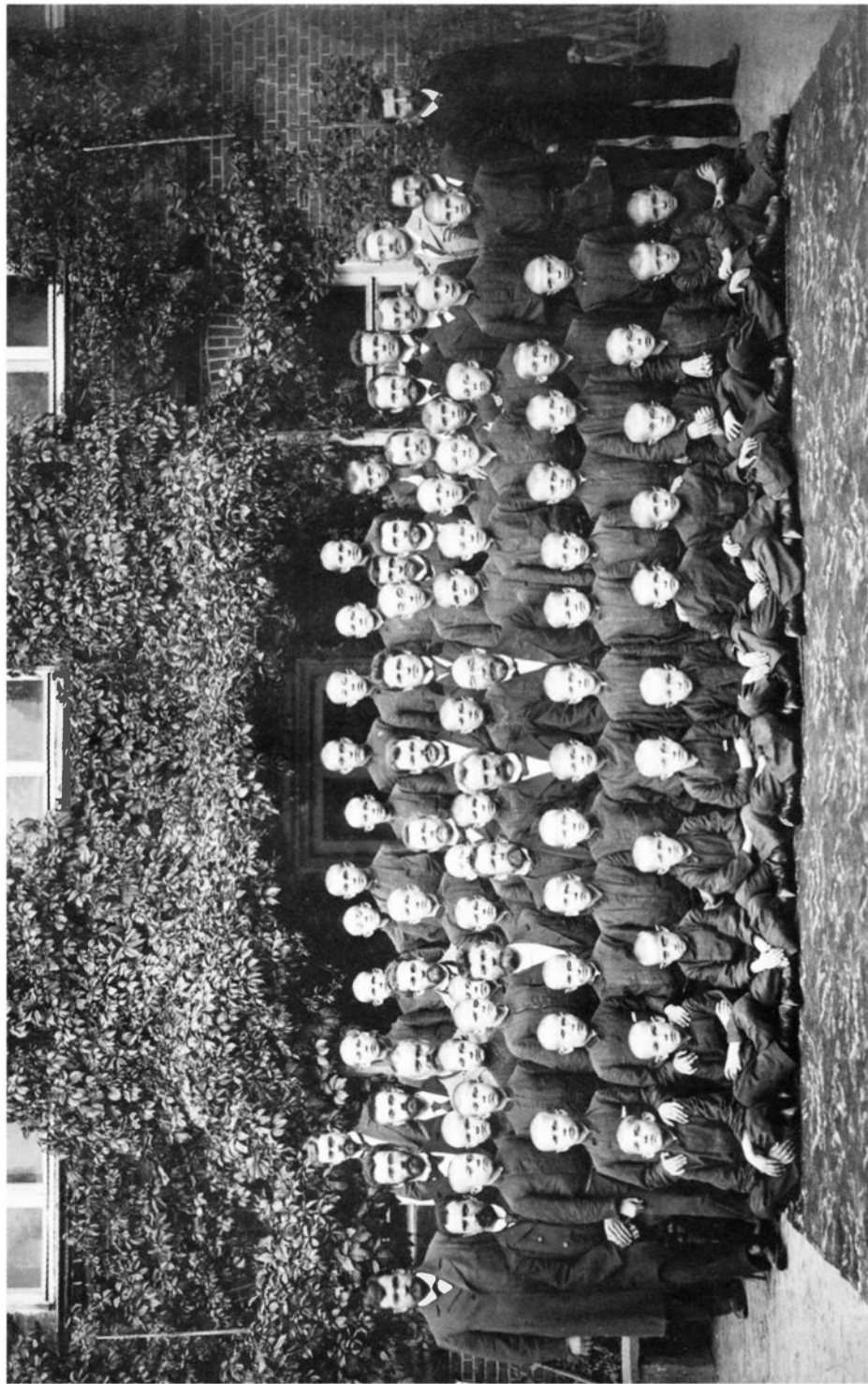
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО ордена «Знак Почета»
«Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова».
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

*

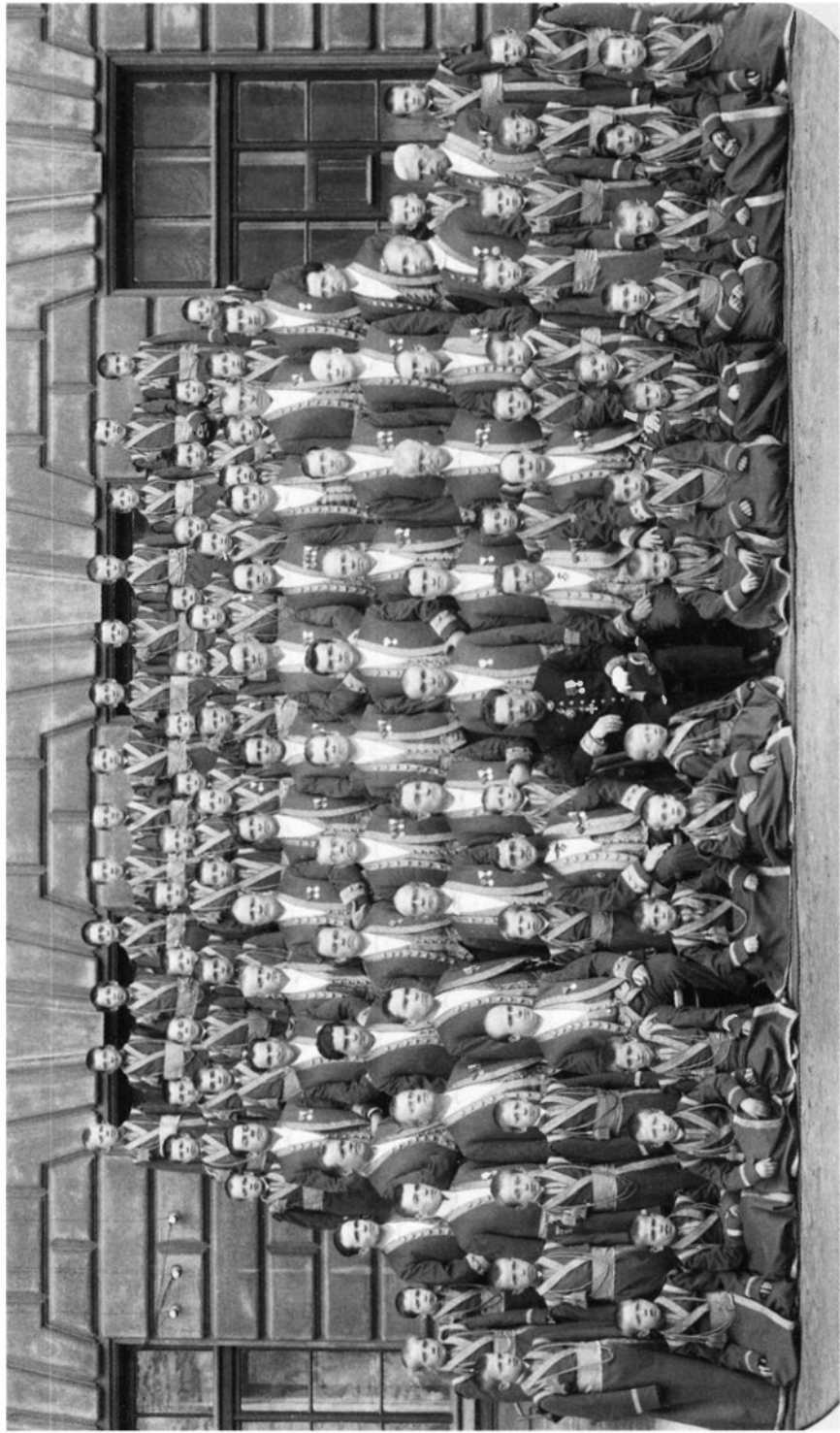
Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел./факс: 8 (499) 255-77-57, тел.: 246-05-48, e-mail: gnosis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Зубовский проезд, 2, стр. 1
(Метро «Парк Культуры»)



**С. В. Смоленский в библиотеке древнепечатных рукописей
Синодального училища. Вторая половина 1890-х гг.**



Синодальный хор (сидят в центре: А. Д. Кастальский, В. С. Орлов, С. В. Смоленский). 1900 г.



Придворная певческая капелла

(сидят во втором ряду: К. К. Варгин, С. А. Смирнов, А. С. Аренский, Е. С. Азеев, В. И. Попков). Конец 1890-х гг.



Сидят: А. Н. Корещенко (первый слева), А. Г. Чесноков (третий), С. В. Смоленский; стоят: П. А. Петров-Бояринов (первый слева), П. Н. Толстяков (третий), М. Г. Климов. Петербург, 1903 г.

А. Д. Шереметев



Афонская экспедиция: П. А. Лавров, А. В. Преображенский,
проигумен Хризостом, С. В. Смоленский. Афон, 1906 г.



Кабинет С. В. Смоленского в квартире на 8-й Рождественской улице.
Фото П. Крестинина. Петербург, 1909 г. (из фондов РГАЛИ)



Вид на Васильсурск и Волгу. Фотооткрытка



Михайловское. Вид центрального дома усадьбы с севера.
Фото П. Павлова. 1903 г. (из фондов музея-усадьбы «Останкино»)



С. Д. Шереметев с женой Е. П. Шереметевой и свояченицей А. П. Вяземской.
Начало 1870-х гг. (из фондов музея-усадьбы «Останкино»)



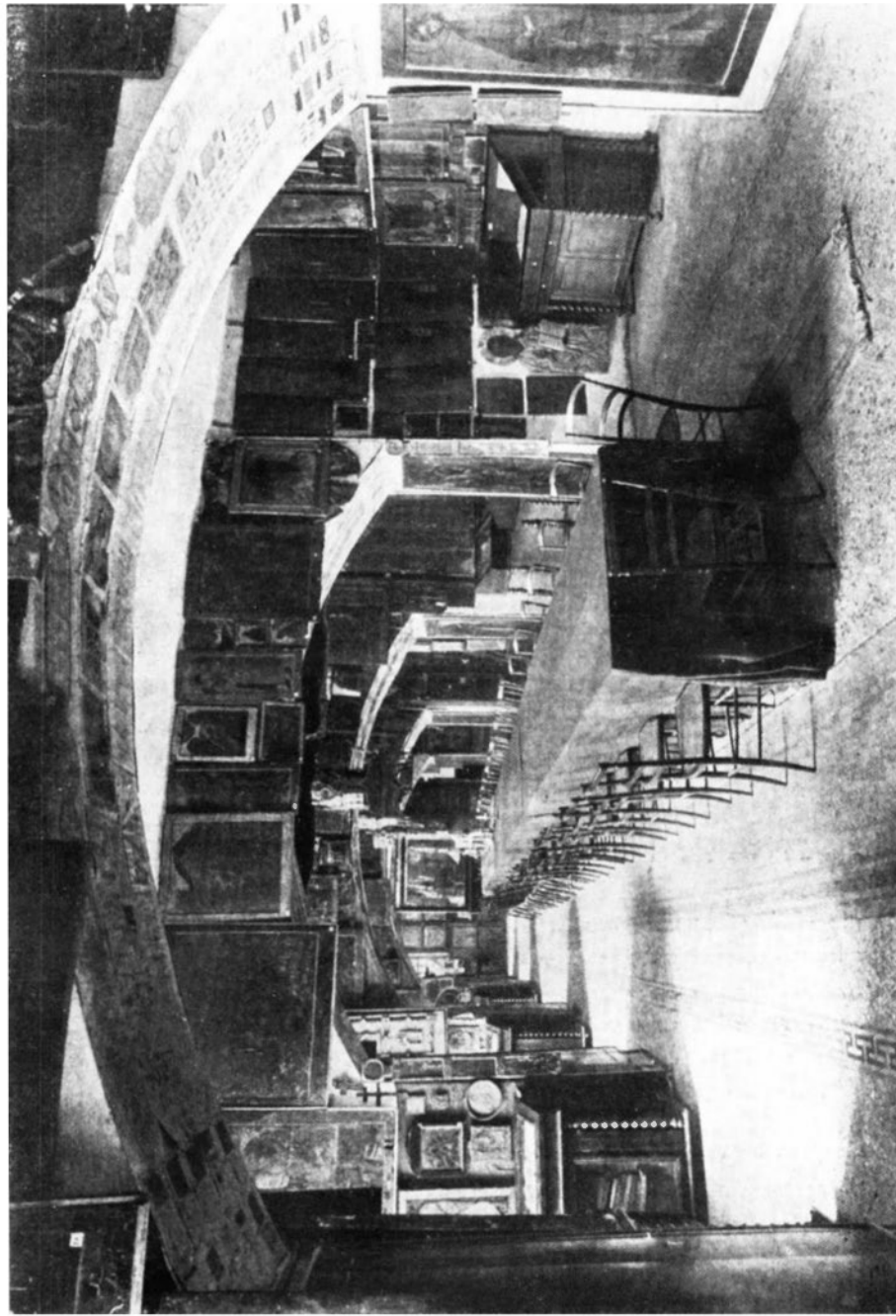
С. Д. Шереметев с внуком Сергеем. Около 1905 г.



Фонтанный дом Шереметевых в Петербурге



Церковь Великомученицы Варвары в доме Шереметевых на Фонтанке

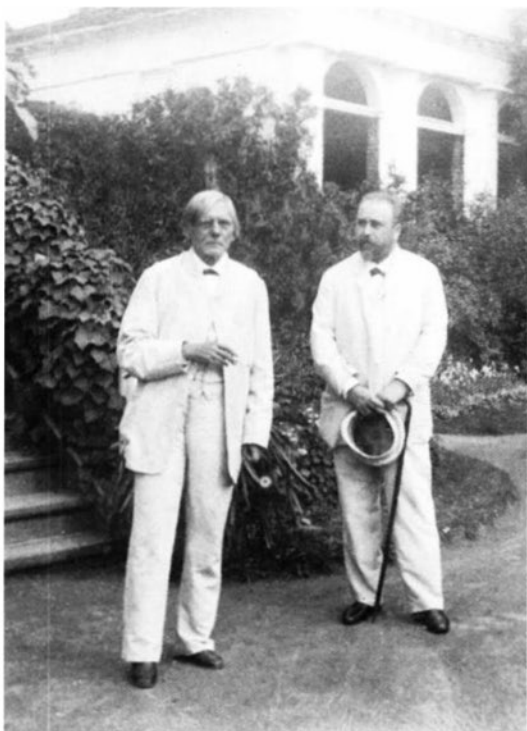


Помещение для заседаний Общества любителей древней письменности
в Фонтанном доме. 1911 г.

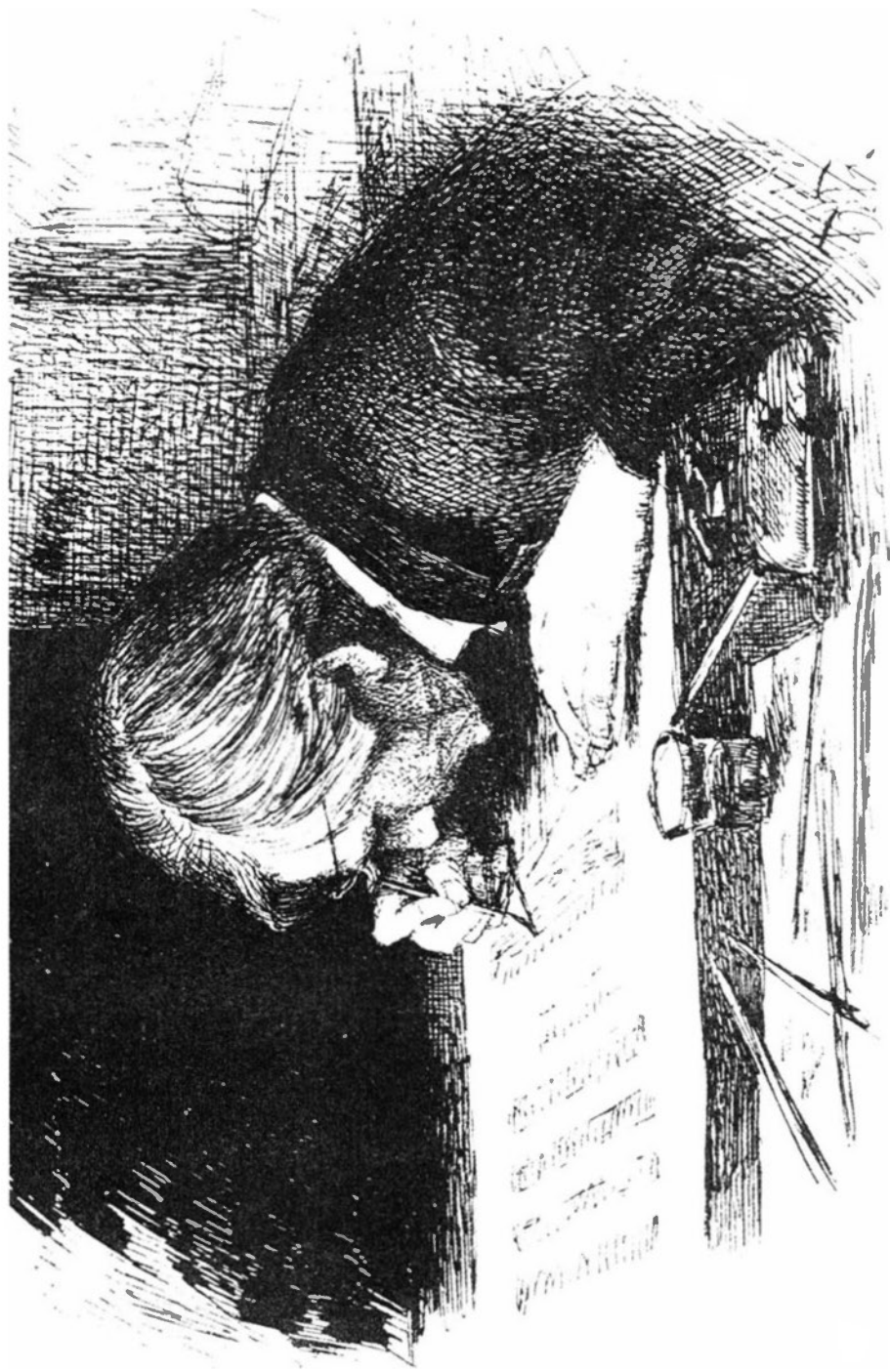


Члены семьи и родственники С. Д. Шереметева. Кусково, 10 июня 1908 г. Сидят: М. Ламсдорф, Е. П. Шереметева, И. И. Шереметева, мисс Армстронг (гувернантка), Варвара Гудович, Д. С. Шереметев, С. Д. Шереметев (младший), Дмитрий Гудович, М. С. Гудович, Е. Д. Шереметева; стоят: С. Д. Шереметев, А. К. Варжениевский, Б. С. Шереметев, И. Д. Шереметева, А. С. Еврешинова (из фондов музея-усадьбы «Останкино»)

**А. П. Нарышкина.
Фото А. Денъера. 1890-е гг.**



**С. А. Рачинский и С. Д. Шереметев.
Татеве, июль 1898 г.
(из фондов РГАЛИ)**



С. А. Рачинский. Гравированный портрет с рисунка Н. П. Богданова-Бельского. 1903 г.



К. П. Победоносцев. Фото С. Левицкого.
Середина 1890-х гг. (из фондов РГАЛИ)



Е. А. Победоносцева.
Фото К. Бергамаско.
Начало 1870-х гг.
(из фондов РГАЛН)

